

ЧЕХОВ

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Большое собрание юмористических рассказов

Антон Павлович Чехов

Аннотация
Антон Чехов. Большое собрание юмористических рассказов
Шалость
Письмо к ученому соседу
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь
Папаша
Тысяча одна страсть, или Страшная ночь. (Роман в одной части с эпилогом)
Перед свадьбой
Жены артистов. (Перевод… с португальского)
Петров день
Темпераменты. (По последним выводам науки)
В вагоне
Грешник из Толедо. (Перевод с испанского)
Исповедь, или Оля, Женя, Зоя. (Письмо)
Случай первый
Случай другой
Случай третий
Летающие острова. Соч. Жюля Верна Перевод

М. Чехонте
Глава I. Речь
Глава II. Таинственный незнакомец
Глава III. Таинственные пятна
Глава IV. Скандал на небе
Глава V. Остров князя Мещерского
Глава VI. Возвращение
Заключение
Сказки Мельпомены
Он и она
Два скандала
Барон
Месть
Трагик
Из сборника «Пестрые рассказы»
Темною ночью
На гвозде
Размазня
Патриот своего отечества
Случай из судебной практики
Загадочная натура
Верба
Вор
Раз в год
Герой-барыня
Смерть чиновника

Добродетельный кабатчик. (Плач оскудевшего)
Дочь Альбиона
Краткая анатомия человека
Шведская спичка. (Уголовный рассказ)
Отставной раб
Осенью
Толстый и тонкий
Клевета
В Рождественскую ночь
Орден
Комик
Репетитор
Певчие
Трифон
Дачница
Русский уголь. (Правдивая история)
Брожение умов. (Из летописи одного города)
Экзамен на чин
Хирургия
Хамелеон
Надлежащие меры
Винт
Брак по расчету. (Роман в двух частях)
  Часть первая
  Части второй и последней
Господа обыватели. (Пьеса в двух действиях)

Действие первое
Действие второе
Устрицы
Капитанский мундир
У предводительши
Живая хронология
Разговор человека с собакой
Оба лучше
Мелюзга
Упразднили!
Канитель
Последняя могиканша
Симулянты
Налим
В аптеке
Не судьба!
Мыслитель
Заблудшие
Егерь
Злоумышленник
Конь и трепетная лань
Свистуны
Отец семейства
Мертвое тело
Кухарка женится
Стена

Два газетчика. (Неправдоподобный рассказ)
На чужбине
Циник
Сонная одурь
Тапер
Пересолил
Старость
Горе
Ну, публика!
Шило в мешке
Восклицательный знак. (Святочный рассказ)
Зеркало
Детвора
Тоска
Анюта
Актерская гибель
Иван Матвеич
Нахлебники

Рассказы 1880–1886 годов

Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?
Каникулярные работы институтки Наденьки N
Мой юбилей
За яблочки
По-американски
Салон де варьете

Суд
И то и се. Поэзия и проза
И то и се. <Письма и телеграммы>
На волчьей садке
Задачи сумасшедшего математика
Забыл!!
Жизнь в вопросах и восклицаниях
Встреча весны. (Рассуждение)
Зеленая Коса. (Маленький роман)
Глава I
Глава II
«Свидание хотя и состоялось, но...»
Корреспондент
Сельские эскулапы
Пропащее дело. (водевильное происшествие)
Скверная история. Нечто романообразное
Двадцать девятое июня. (Рассказ охотника, никогда в цель не попадающего)
Который из трех?. (Старая, но вечно новая история)
Ярмарка
Речь и ремешок
Нарвался
Неудачный визит
Идиллия – увы и ах!
Добрый знакомый

Пережитое. (Психологический этюд)
Философские определения жизни
Мошенники поневоле. (Новогодняя побрехушка)
Гадальщики и гадальщицы. (Подновогодние картинки)
Кривое зеркало. (Святочный рассказ)
Два романа
I. Роман доктора
II. Роман репортера
Гречневая каша сама себя хвалит. (Нечто спиритическое)
Ряженые
Двое в одном
Радость
Отвергнутая любовь. (Перевод с испанского)
Библиография
Мысли читателя газет и журналов
Единственное средство. (A propos процесса Петерб. общества взаимного кредита)
Случаи mania grandiosa. (вниманию газеты «Врач»)
Исповедь
На магнетическом сеансе
Ушла
В цирульне

Современные молитвы
Роман адвоката. (Протокол)
Что лучше?. (Праздные рассуждения штык-юнкера Крокодилова)
Благодарный. (Психологический этюд)
Совет
Вопросы и ответы
Крест
Женщина без предрассудков. (Роман)
Ревнитель
Коллекция
Баран и барышня. (Эпизодик из жизни «милостивых государей»)
Торжество победителя. (Рассказ отставного коллежского регистратора)
Умный дворник
Дурак. (Рассказ холостяка)
Рассказ, которому трудно подобрать название
Братец
Филантроп
Разговор
Рыцари без страха и упрека
Обер-верхи
Лист. (Кое-что пасхальное)
Слова, слова и слова
Двадцать шесть. (выписки из дневника)

Теща-адвокат
Моя Нана
Случай с классиком
Закуска. (Приятное воспоминание)
Съезд естествоиспытателей в Филадельфии. (Статья научного содержания)
Кое-что
Мамаша и Г. Лентовский
Злодеи и Г. Егоров
Находчивость Г. Родона
Бенефис соловья. (Рецензия)
Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало
О том, как я в законный брак вступил. (Рассказец)
Из дневника помощника бухгалтера
Весь в дедушку
Козел или негодяй?
Кое-что 2
Г-н Гулевич (автор) и утопленник
Сущая правда
Злой мальчик
3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка
Перепутанные объявления
Приданое

Справка
Мои чины и титулы
Дура, или Капитан в отставке. (Сценка из несуществующего водевиля)
В ландо
В Москве на Трубной площади
Новая болезнь и старое средство
Признательный немец
Мои остроты и изречения
Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу на выставке в Амстердаме
Дочь коммерции советника. (Роман)
Опекун
Знамение времени
В почтовом отделении
Юристка
Из дневника одной девицы
Начальник станции
Сборник для детей
В гостиной
Экзамен. (Из беседы двух очень умных людей)
Либерал. (Новогодний рассказ)
Завещание старого, 1883-го года
Контракт 1884 года с человечеством
75 000

Марья Ивановна
Молодой человек
Perpetuum mobile
Месть женщины
Ванька
На охоте
О женщины, женщины!
Наивный леший. (Сказка)
Прощение
Сон репортера
Два письма
I. Серьезный вопрос
II. Обстоятельный ответ
Жалобная книга
Чтение. (Рассказ старого воробья)
Жизнеописания достопримечательных современников
I. Письмо в редакцию
II. Александр Иванович Иванов
Плоды долгих размышлений
Несколько мыслей о душе
Говорить или молчать?. (Сказка)
Гордый человек. (Рассказ)
Альбом
Несообразные мысли
Самообольщение. (Сказка)

Из огня да в полымя
«Кавардак в Риме». Комическая странность в 3-х действиях, 5-ти картинах, с прологом и двумя провалами
Пролог
Действие I
Действия II и III
Затмение Луны. (Из провинциальной жизни)
На кладбище
Гусиный разговор
Язык до Киева доведет
И прекрасное должно иметь пределы
Вывеска
Свадьба с генералом. (Рассказ)
К характеристике народов. (Из записок одного наивного члена русского географического об-щества)
Картинки из недавнего прошлого
Страшная ночь
Не в духе
Предписание. (Из захолустной жизни)
Праздничная повинность
Дело о 1884 годе. (От нашего корреспондента)
Масленичные правила дисциплины
Служебные пометки
В бане

«О марте. Об апреле. О мае. Об июне и июле. Об августе». (Филологические заметки)
О марте
Об апреле
О мае
Об июне и июле
Об августе
Не тлетворные мысли
Женский тост
Правила для начинающих авторов. (Юбилейный подарок – вместо почтового ящика)
Красная горка
Жизнь прекрасна!. (Покушающимся на самоубийство)
На гулянье в Сокольниках
Женщина с точки зрения пьяницы
Дипломат. (Сценка)
О том, о сем…
Финтифлюшки
Ворона
Кулачье гнездо
Кое-что об А. С. Даргомыжском
Бумажник
Сапоги
Нервы
Вверх по лестнице

Дачники
Стража под стражей. (Сценка)
Мои жены. (Письмо в редакцию – Рауля Синей Бороды)
Надул. (Очень древний анекдот)
Интеллигентное бревно. (Сценка)
Рыбье дело. (Густой трактат по жидкому вопросу)
Лошадиная фамилия
Необходимое предисловие
Нечто серьезное
Жених и папенька. (Нечто современное)
Гость. (Сценка)
Утопленник. (Сценка)
Женское счастье
После бенефиса. (Сценка)
Общее образование. (Последние выводы зубоврачебной науки)
Психопаты. (Сценка)
Индейский петух. (Маленькое недоразумение)
Средство от запоя
Дорогая собака
Контрабас и флейта. (Сценка)
Руководство для желающих жениться. (Секретно)
Писатель

Брак через 10–15 лет
Тряпка. (Сценка)
Моя беседа с Эдисоном. (От нашего собственного корреспондента)
Святая простота. (Рассказ)
Mari d'Elle
Антрепренер под диваном. (Закулисная история)
Ряженые
Новогодние великомученики
Шампанское. (Мысли с новогоднего похмелья)
Неудача
К сведению мужей. (Научная статья)
Первый дебют. (Рассказ)
У телефона
Открытие
Переполох
Беседа пьяного с трезвым чертом
Глупый француз
О бренности. (Масленичная тема для проповеди)
Персона
Отрава
Мой разговор с почтмейстером
О женщинах
Знакомый мужчина

Литературная табель о рангах
Счастливчик
Рисунки Николая Павловича Чехова

Аннотация

Знаменитый Антон Павлович Чехов (1860–1904) первые шаги в русской литературе делал под псевдонимами Антоша Чехонте, «Человек без селезенки», «Брат моего брата», как автор юмористических рассказов и фельетонов, которые издавались в сатирических московских журналах «Будильник», «Зритель» и др. и петербургских юмористических еженедельниках «Осколки», «Стрекоза» и вошли в первые книги начинающего автора. Именно первые сборники А. Чехова – «Шалость», «Сказки Мельпомены», «Пестрые рассказы», а также рассказы, печатавшиеся в журналах «Осколки», «Зеркало» и др., – включены в это издание, раскрывающее и эту грань таланта признанного во всем мире писателя. Книга представляет наиболее полное собрание юмористических рассказов и фельетонов А.П. Чехова.

Антон Чехов
Большое собрание юмористических рассказов

В книге сохранены авторские знаки препинания

Сопроводительная статья подготовлена *Л. П. Чудаковым, М. Л. Чудаковой*

В коллаже на обложке использованы карикатуры из журнала «Будильник»

В оформлении вкладки в серии «Большие буквы» использованы фото: Mikhail Markovskiy, LIUDMILA ERMOLENKO / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com



© Чудаков А.П., Чудакова М.А., сопроводительная статья, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021



Антон Чехов
1860–1904

Город, в котором родился Чехов, был как будто обычным заштатным городом Российской империи. Правда, в нем прожил свои последние дни Александр I, и Таганрог некоторое время был как бы столицей государства. Жители это помнили хорошо. Каждый год 19 ноября гимназистов собирали на панихиду в местном соборе.

Это был южный, портовый город. В разгар летней навигации пароходам и парусникам со всего света было тесно в гавани.

Таганрог ощущал себя городом морским. Открытый в 1874 году Таганрогский мореходный класс давал выпускникам дипломы штурманов малого плавания.

Крупная торговля накладывала отпечаток на всю жизнь и представления жителей города. Львиная доля торгового оборота была в руках греческих негоциантов, поэтому греков было много. «Таганрог — это греческое царство, — писал в 1877 году В. А. Слепцов. — Немножко похож на Киев, только здесь… греки. Все греки: разносчики, попы, гимназисты, мастеровые — греки. Даже вывески греческие».

Отец Чехова решил дать двум сыновьям, Николаю и Антону, греческое образование, и они один учебный год провели в греческой приходской

школе.

На улицах Таганрога звучала разноязыкая речь — здесь были не только греки, но и турки, французы, англичане.

Пройдет время, Чехов узнает жизнь столиц, увидит Рим, Париж, Коломбо, трезво оценит Европу, но непреодолимое чувство — тяга к «другому миру», — в пространстве ли (в Алжир, на Север), во времени ли (через 200–300 лет), останется, и не раз он выскажет его сам и выскажут его герои. Этого «краешка» Европы было достаточно, чтобы ощутить, как «грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен» средний заштатный российский город, и навсегда получить отвращение к этой лени и грязи. Врачебное образование еще более в этом его укрепит. И молодой Чехов уже будет удивлять современников: откуда у юноши из провинции такой врожденный вкус к изяществу и европейским формам жизни?

В последние гимназические годы Чехова из таганрогских газет постепенно стали исчезать списки иностранных кораблей, цены на фрахты и курсы лондонской биржи. Все чаще появлялись сообщения совсем другого свойства: «Ничего замечательного на нашем рынке не произошло. Совершенная бездеятельность, и заказов на вес-

ну никаких». Правда, все постоянно на что-то надеялись. Ощущение краха, неустойчивости и каких-то неясных надежд — та атмосфера, которая окружала Чехова в последние годы в родном городе. Но это уже был конец 1870-х, а в 1840-е — 1850-е годы все было иначе. Таганрог был признанным центром Приазовья, с ним не могли соперничать ни Бердянск, ни Мариуполь, ни даже Ростов. Именно в этом торговом центре скрестились пути будущих родителей Чехова.



Антон Павлович Чехов родился в Таганроге 29 января 1860 года (по новому стилю), в доме на Полицейской улице (ныне Чеховская улица, дом 47). Дом на Полицейской улице был маленьким домиком из земляного кирпича (кое-где на юге и в Средней Азии его называют «саман»), белёным снаружи и внутри. Он сохранился. В нем три комнатки, общей площадью 23 квадратных метра. Увидев его снова уже взрослым, Чехов писал: «Дивлюсь, как это мы могли жить в нем?»

Сведения о раннем детстве Чехова восходят в основном к двум источникам: воспоминаниям Александра Павловича, самого старшего из детей Чеховых, и Михаила Павловича — самого младшего. В рисуемых картинах жизни семьи эти источники сильно разнятся, а в некоторых существенных деталях просто противоположны. Ал. П. Чехов особо подчеркивает деспотизм отца, его суровость по отношению к детям, говорит о телесных наказаниях, тяжелой работе Антона в лавке и резюмирует: «Ребенком он был несчастный человек». Этого будущий писатель «никогда не мог простить отцу», по собственным его словам.

Из письма Александра Чехова о том времени, когда Антону было 12–13 лет: «Тут впервые проявился твой самостоятельный характер, мое

влияние, как старшего по принципу, начало исчезать. Как ни был глуп я тогда, но я начинал это чувствовать. По логике тогдашнего возраста, я, для того чтобы снова покорить тебя себе, огрел тебя жестянкою по голове. Ты, вероятно, помнишь это. Ты ушел из лавки и отправился к отцу. Я ждал сильной порки, но через несколько часов ты величественно, в сопровождении Гаврюшки, прошел мимо дверей моей лавки с каким-то поручением фатера и умышленно не взглянул на меня. Я долго смотрел тебе вслед, когда ты удалялся, и, сам не знаю почему, заплакал…»

С тех пор и до конца жизни не было человека или доктрины, чьему влиянию, воздействию подчинился бы Чехов. И не было той силы — среды, семьи, обстоятельств, общественного мнения, — которая могла бы к этому его принудить.

Дети в семье Чеховых рано становились самостоятельными. С малолетства их помощь в доме, в лавке, в занятиях родителей была уже существенной. Очень рано заработки детей, и прежде всего Антона, стали основой благосостояния семьи.

Старшие братья еще застали благополучное время и получили дополнительное домашнее образование. Когда подрос Антон, ничего этого

уже не было. На долю Антона выпала самая большая самостоятельность — в 16 лет он остался в Таганроге один, без денег, в бывшем своем, но теперь чужом доме.

Когда говорят, что Чехов получил демократическое (в 1930-х годах писали: «трудовое») воспитание, то имеют в виду работу в лавке или портняжный эпизод. Но и то и другое все же было ремесло, дело, дающее реальные результаты. И не в этом было отличие детства будущего изобразителя будничной жизни от детства других русских писателей.

С самых ранних лет Чехов был погружен в быт. Хозяйство целиком вела Евгения Яковлевна. Помогали дети, чаще всего Антон, как самый безотказный.

Тяжесть такого быта — в утомительном однообразии, бессмысленной повторяемости домашних дел, которые на другой день в том же количестве набегают снова, в их отупляющей нескончаемости, что особенно тяжко для юного сознания, которое заполняется этим целиком. Но не только для юного — потом Чехов покажет, как при постоянном контакте с недуховным, при отсутствии внутреннего сопротивления человек погружается в «бытовое» полностью, как мир духовный

целиком замещается миром вещно-бытовым. Эта ситуация была понята Чеховым не наблюдательски, но осознана и почувствована изнутри.



Таганрогская гимназия, в которой учился Чехов

Столь же насильственно мальчик Чехов был окунаем и в стихию церковнославянского языка — с обязательным посещением вечерни и заутрени (сначала с нянькою), слушанием акафистов дома, ежедневным чтением Евангелия и Псалтыри, пением в церковном хоре. Но — странное дело! — в гимназии на уроках закона Божьего он стал любимым учеником преподавателя этого

предмета Ф. П. Покровского, обессмертившего себя придуманным своему ученику прозвищем Чехонте. В ранних рассказах пародируется стиль его писем к Чехову, в которых макаронически перемешивались церковнославянизмы со словами самыми современными.

…

Таганрог детства Антона имел еще один лик — степной, морской. Не морской торговый, но морской солнечный, песчаный. Город стоял на берегу теплого залива, и за шлагбаумом начиналась степь.

Приехав в родные места уже известным писателем, Чехов писал: «Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-Могилу […], вспоминаю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен».

Но все это оказалось нужным ему самому, и не только как «материал» — это вошло в структуру его личности. Природа для Чехова — часть его существования. Всем этим он обязан своему степному детству.

В его рассказах человек «оприрожен», природа

— очеловечена. Деревья, цветы, облака, собаки, волки чувствуют и думают, как люди («Агафья», «Каштанка», «Белолобый», «Страх»). Они огорчаются, радуются, волнуются, грустят. Волчиха из «Белолобого» — домашнее, понятное, чадолюбивое существо: «Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. [...] Ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая...».

В произведениях и в собственной жизни Чехов дал образцы истинной этики человека в его общении с братьями нашими меньшими.

Итак, с 16 до 18 лет, после разорения отца и бегства родителей в Москву, Чехов жил в Таганроге один. Знакомство с мировой культурой мальчик Чехов начал с Библии, знакомство с современной умственной жизнью — с газет.

В начале 70-х годов в провинции возникло множество частных газет; в Таганроге тоже появилась такая газета, называлась она «Азовский вестник» и выходила в 1871–1878 годах. Это была газета чеховского детства.

У многих из рассыпанных в чеховских сочинениях редких сведений, анекдотических историй, фактов («Бальзак венчался в Бердичеве»), за-

живших второй жизнью именно благодаря появлению в его произведениях, явственно чувствуется газетное происхождение.

Ощутимы были и издержки газетного образования. Отзвуки расхожих мнений — о немцах и Германии («страна стихов и бутербродов, пива и солдат»), французах, славянофилах (И. С. Аксакове), живописи — чувствуются в его ранней фельетонистике и юмористике, и освободился он от этого далеко не сразу.

Какую же литературу находил внимательный читатель — таганрогский гимназист — в этих газетах и журналах? Литература юмористических и иллюстрированных еженедельников была своеобразным зеркальным отражением литературы «большой» прессы и «толстых» литературно-художественных журналов. В «большой» прессе популярен очерк — «малая» пресса печатает очерки; появляется там сценка — «малая» пресса мгновенно заполняется сценками; в литературно-художественных журналах распространяется светская повесть — и «малая» пресса печатает повести.

Систематическим чтением этой литературы объясняется такое хорошее знакомство Чехова с ее стилистикой, ее приемами, ее словарем. Им

же объясняется и то характерное для Чехова, но несколько необычное для человека 80-х годов отношение к романтическому эпигонству как к живому литературному явлению, достойному если не литературной борьбы, то пародийного осмеяния.

Пародирование возвышенно-романтического стиля и насмешку над нелепым употреблением «ученых» слов и оборотов мы находим в первом известном нам печатном произведении Чехова — «Письме к ученому соседу». «Потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами, гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого, т. е. подлунного».

С этим учено-выспренним стилем Чехов был тоже знаком с детства. Так писал его дед, Егор Михайлович: «Не имею времени [...] через сию мертвую бумагу продолжать свою беседу».

Но подобные языковые образования Чехов с детства слышал и в живой речи — в лавке, в таганрогском саду, клубе. Он сызмальства был погружен в стихию полукультурной мещанской речи, застрявшей где-то на полдороге от просто-

речия к интеллигентскому языку. И не случайно в русской литературе именно Чехову суждено было наиболее выразительно запечатлеть носителя этого языка, дать самую обширную галерею речевых портретов любителей «ученого» слога среди лиц самых разных профессий. «Европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь! Баллада!» — витийствует герой чеховского рассказа «Перед свадьбой», напечатанного через полгода после «Письма к ученому соседу». В рассказе «Умный дворник» (1883) о пользе наук рассуждает другой любитель книг, набравшийся из них ученых слов, — дворник: «Не видать в вас никакой цивилизации… Потому что нет у вашего брата настоящей точки».

В юмористических журналах и местной печати Чехов прочел и первые «сценки» — жанр, занимающий значительное место в его раннем творчестве. Возможно, с этого жанра и началось его творчество.



Лавка в Таганроге, где работал Антон Чехов

Среди влиятельнейших художественных впечатлений Чехова был театр. Страсть к драматическому искусству проявилась в нем рано, и все соученики помнят его завзятым театралом.

Гимназист Чехов был вхож за кулисы таганрогского театра. Здесь он завязал первые театральные знакомства: с Н. Н. Соловцовым, которому потом посвятит «Медведя» (1888) и о котором напишет заметку в «Новое время» (1889), с М. Ф. Яковлевым. Именно здесь Чехов познакомился с типами провинциальных актеров, изображенных во многих его рассказах — таких как «Барон» (1882), «Комик» (1884), «Бумажник», «Калхас», «После бенефиса», «Сапоги», «Средство от запоя» (все — 1885). «Иногда достаточно бывает выслушать какого-нибудь захудалого, испитого комика, вспоминающего былое, чтобы в вашем воображении вырос один из привлекательнейших поэтических образов, образ человека легкомысленного до могилы, взбалмошного, часто порочного, но неутомимого в своих скитаниях, выносливого как камень, бурного, беспокойного, верующего и всегда несчастного, своею широкою натурой, беззаботностью и небудничным образом жизни напоминающего былых богатырей… Достаточно послушать воспоминания, чтобы простить

рассказчику все его прегрешения, вольные и невольные, увлечься и позавидовать» («Юбилей», 1886).

В апреле 1876 года Павел Егорович Чехов разорился, ему угрожала долговая яма. Он вынужден был бежать в Москву. Позже к нему выехали остальные члены семьи (Александр и Николай уехали еще раньше — учиться).

Для Антона Чехова начались годы самостоятельной и, несмотря на постигшую бедность, свободной жизни.



Это были годы лишений, твердости, мужества и одиночества. Все решалось наедине с собою, сомнения и колебания не выплескивались ни перед кем. Это стало фундаментом характера. Никто никогда не узнал, почему был выбран медицинский факультет (если не считать главной причиной со-

веты Евгении Яковлевны и Павла Егоровича, что «медицинский факультет практичный», что это — «самое лучшее занятие»). Когда через много лет Чехова об этом спросили прямо, он написал: «Не помню». Не сохранилось никаких высказываний Чехова и об обстоятельствах решения оставить медицину — решения, давшегося, надо думать, не вдруг и не просто. Точно так же, когда он станет уже известным писателем и ему будет 30 лет, никто из близких не узнает, как и когда он принял третье важнейшее решение, изменившее его мировосприятие и стоившее ему здоровья, — ехать на Сахалин, и сложится легенда, что путешествие было задумано «совершенно случайно», «как-то вдруг, неожиданно» (М. П. Чехов), под влиянием знакомства с лекциями брата по уголовному праву и тюрьмоведению.

В Таганроге Антон распродавал оставшиеся вещи, отсылая деньги в Москву. Вещи покупали плохо или давали за них гроши. Трудности не делали Антона мрачным: он острит в письмах к братьям, в посылку вкладывает дверную петлю и бублик, шутит в письмах к родителям, которых это иногда обижает. «Мы от тебя получили 2 письма, наполнены шутками, а у нас в то время только было 4 коп. и на хлеб и на светло» (на

освещение). Энергия в нем кипела — его хватало и на учебу, и на театр, и на дела по ликвидации «гнезда», и на литературные занятия, на посещение библиотеки и городского сада.

Предпоследние и последние гимназические каникулы Чехов проводил в городе, у моря и на хуторе у отца своего ученика Пети Кравцова. Впредь у моря и в степи он будет уже гостем.



Основы мировосприятия человека закладываются в детстве. И справедливее всего это по отношению к писателю. Человек взрослеет, приобретаются разнообразные сведения о мире, расширяется социальный опыт. Но некоторые

главные черты мироощущения формируются в юные годы. Детство между душной лавкою и морем, коридорами гимназии и бесконечною степью, чиновно-казенным укладом и бытом вольных хуторян, жизнь, которая так явственно показывала значение того природновещного окружения, в которое погружен человек, — все это готовило и обещало необычное художественное восприятие мира.

Студенческая университетская среда оставила мало следов в сознании Чехова. Ни с кем он особенно не сблизился; им тоже интересовались мало. «В университете я начал работать в журналах с первого курса, — рассказывал Чехов А. С. Лазареву-Грузинскому, — пока я учился, я успел напечатать сотни рассказов под псевдонимом “А. Чехонте”, который, как видите, очень похож на мою фамилию. И решительно никто из моих товарищей по университету не знал, что “А. Чехонте” — я, никто из них этим не интересовался. Знали, что пишу где-то что-то, и баста. До моих писаний никому не было дела».

Среда у Чехова-студента была явно другая — и достаточно рано. Уже на первом курсе он стал печататься. В следующие несколько лет его продуктивность систематически растет, удиви-

тельно совмещаясь с учебой на таком трудоемком факультете. Удивительного, впрочем, мало — секрет был прост: постоянная напряженная работа, дневная и ночная, от которой он дергался по ночам в нервных судорогах и временами так худел, что его едва узнавали знакомые. Даже на лето в первые два года он из Москвы не выезжал (Воскресенск, Бабкино были позже).

Взаимоотношения редакций юмористических журналов со своими авторами были иными, чем в солидных литературных журналах: с ними не церемонились. Так обращались не только с неизвестными дебютантами. Чехову, уже напечатавшему в журнале около десятка вещей, среди которых были такие, как «Письмо к ученому соседу», «Перед свадьбой» и «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?», писали в том же духе: «Москва, Сретенка, г. А. Ч. Очень длинно и бесцветно, нечто вроде белой бумажной ленты, китайцем изо рта вытянутой» («Стрекоза», 1880, № 48).

Тематика иллюстрированного юмористического или иллюстрированного литературного журнала была связана с повседневным бытом, с бытом был сращен и сам журнал. Его редакция — это маленькое помещение, где тут же находится

и редактор, который вполне может быть в халате и домашних туфлях.

Литературная школа, пройденная Чеховым в молодости, казалось, никак не могла сформировать оригинального художника. Главными жанрами юмористической прессы были так называемые «мелочи», писавшиеся по давно отвердевшим канонам, устоявшимся шаблонам. Чехов работал почти во всех этих жанрах. Одним из самых распространенных был жанр комического календаря и разнообразных «пророчеств». И Чехов ведет подобный юмористический календарь в марте — апреле 1881 года в журнале «Будильник».

Но жанр «мелочей» рано начал тяготить Чехова.

Раннее внутреннее противостояние путам «малой» прессы позволило Чехову взглянуть на нее свободно и непредвзято.

В юмористических журналах, в газетах в плане собственно литературном — в фабуле, приемах композиции, стиле — была несвязанность никакими художественными канонами. «Малая» пресса была принципиально разностильна. Каждый автор мог писать в любой манере, изобретать новое, реформировать старое, пробовать лю-

бые формы. Чехов почувствовал это очень рано. Беспрестанно обращался он к новым манерам, повествовательным маскам, ситуациям из все новых и новых сфер жизни.

Когда кончались университетские занятия, плодовитость и работоспособность начинающего, почти дебютанта не уступали продуктивности Чехова — зрелого писателя. С мая до середины августа 1882 года написанное им составило целый том — более 200 страниц обычного формата. На самом деле написано было гораздо больше. Из первого пятилетия чеховского творчества до нас не дошло около трех десятков вещей — рассказов, юморесок, водевилей, пародий, публицистических заметок, рецензий. Не принятые в журналах, они пропали в недрах редакций или, возвращенные автору, в недрах семейных чеховских квартир, как и сотни других рукописей писателя.

В этом году жизнь Чехова мало была похожа на студенческую и гораздо больше — на жизнь профессионального литератора. Тем же летом он, собрав свои ранние рассказы, пытается издать сборник под названием «Шалость», к которому брат Николай сделал талантливые иллюстрации. Сборник был набран (сохранились два неполных

экземпляра), но в свет не вышел.

Осенью начинается его сотрудничество в петербургском журнале «Осколки», который издавал Н. А. Лейкин (печатался там и сам издатель). Журнал этот стоит на первом месте по числу напечатанных чеховских вещей. В 1882–1887 годах в «Осколках» было опубликовано более двухсот произведений Чехова, в том числе его первый сборник рассказов «Сказки Мельпомены». Среди них «На гвозде», «Барон», «Смерть чиновника», «Он и она», «Трагик».

В 1884 году, получив степень лекаря, Чехов начинает работать в земской лечебнице под Воскресенском (г. Истра). Жил он в тех местах и позже: три лета (1885–1887) Чехов вместе с семьей провел в трех верстах от Воскресенска, в Бабкине. «Нанял я дачу с мебелью, овощами, молоком и проч., — писал Чехов Лейкину в конце апреля 1885 года. — Усадьба, очень красивая, стоит на крутом берегу… Внизу река, богатая рыбой, за рекой громадный лес, по сию сторону реки тоже лес…»

В Бабкине Чехов впервые близко сошелся с людьми другого круга, другого воспитания, которые спокойно, как об обычном, рассказывают о беседах с А. Н. Островским, А. С. Даргомыжским,

П. И. Чайковским. То, что в среде разночинной богемы Чехов видел редко — изящество, манеры, вкус, — здесь было естественной нормой аристократического поведения.

«Он всегда думал, всегда, всякую минуту, всякую секунду. Слушая веселый рассказ, сам рассказывая что-нибудь, сидя в приятельской пирушке, говоря с женщиной, играя с собакой — Чехов всегда думал. (…) Благодаря этому он среди разговора присаживался к столу и что-то писал на своих листках почтовой бумаги; благодаря этому, стоя лицом к лицу с вами, он вдруг начинал смотреть куда-то вглубь себя…» (В. А. Тихонов). В работу он включался мгновенно, не разрешая себе роскоши раскачки. Жестокая школа писания к сроку — независимо от настроения, здоровья, условий, времени суток — выработала литературного профессионала высокого класса.

Рассказ «Егерь» (1885), очень выверенный литературно, Чехов написал в купальне, лежа на животе на полу, карандашом; тут же, не переписывая, заклеил в конверт и по пути домой занес на почту.

Рассказ обычно сначала долго обдумывался — во время езды на извозчике в дальние концы, рыбной ловли, в грибном лесу и, наконец, во

время хождения из угла в угол по комнате. Потом он писал не отрываясь. Если дело шло и рассказ был короткий, он мог быть занесен на бумагу за два — два с половиной часа.



А.П. Чехов в 1883

В течение двух лет (с перерывами) Чехов вел постоянное фельетонное обозрение «Осколки московской жизни» в журнале «Осколки». О чем он писал? О крушении на железной дороге, страховании скота от чумы, об Академии художеств, канализации, о колокольном звоне, порядках в Зоологическом саду, о московских увеселительных заведениях, о грязи на фабриках, о собачьем вопросе и собачьем приюте, о жизни мальчиков-приказчиков, о театрах, о питьевой воде…

Просмотрев рассказы Чехова первых пяти лет, можно убедиться, что трудно назвать тот социальный слой, профессию, род занятий, которые не были бы представлены среди его героев.

В читательском сознании и сегодня сосуществуют два Чехова: автор «Толстого и тонкого», «Хамелеона», «Лошадиной фамилии», «Жалобной книги» — и автор «Скучной истории», «Дома с мезонином», «Дамы с собачкой». Кажется: что общего между ними? Так думали уже современники. «Трудно найти какую-нибудь связь, — писал в 1897 году Н. К. Михайловский, — между “Мужиками” и “Ивановым”, “Степью”, “Палатой № 6”, “Черным монахом”, водевилями вроде “Медведя”, многочисленными мелкими рассказами». Меж

тем связь эта тесна; роль «юмористического» прошлого в создании новаторского художественного мышления Чехова значительна.

Многие художественные принципы, выработанные в первое пятилетие работы, навсегда останутся в прозе Чехова.

Никаких предварительных подробных описаний обстановки, экскурсов в прошлое героев и прочих подступов к действию — оно начинается сразу. Отсутствуют развернутые авторские рассуждения, они всегда сжаты (там, где есть вообще).

Герой юмористического рассказа погружен в мир вещей. Он не существует вне ближайшего предметного окружения, он не может быть изображен без него. И он изображается в бане, в больнице, в вагоне поезда и вагоне конки, за уженьем рыбы и вытаскиваньем апельсинных корок из графина, Персонаж юмористических рассказов — целиком погружен в заботы: как доехать до дачи, как заснуть, когда над головой и за стеной нажаривают на фортепьяно или рыдают, как получить обратно свои, хорошие, сапоги взамен надетых по ошибке чужих, с заплатками и стоптанными каблуками. Возможно, этот герой и позволил увидеть, как тесно сращен человек с

обступившими его вещами. И может быть, именно благодаря этому герою Чехов пришел к мысли, что к своему вещному окружению прикован любой человек, что он не может оторваться от него ни в какой момент своей жизни — и только так он и может быть изображен.

Не может оторваться он и от окружающей его природы — она полноправный герой в любых рассказах, пьесах, повестях. Пейзаж также запечатлевает трепетный, меняющийся облик мира, сближая явления природы с миром бытовых явлений и вещей.

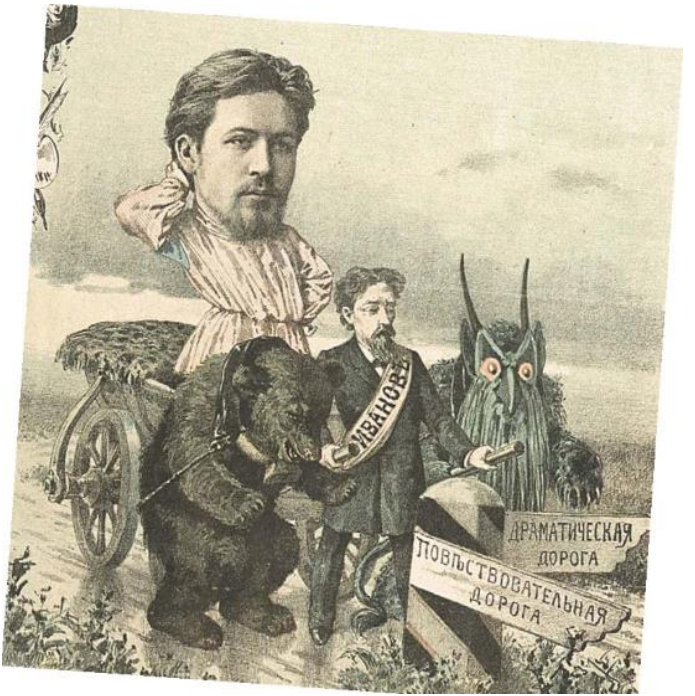
И писал он не об уникальной жизни человека наедине с природой в краю непуганых птиц, а о повседневном общении с ней человека современной цивилизации в условиях города, квартиры, пригородной дачи.

Когда Чехонте стал Чеховым, то его новый художественный мир — мир «Дуэли», «Дома с мезонином», «Архиерея» — уже не помнил о своем «юмористическом» происхождении, но приемы, отшлифованные в ежедневном написании коротких рассказов (позже заговорят о его «импрессионизме»), вошли в его более позднее творчество — случайные предмет и ситуация.

Каждая чеховская вещь, несмотря на «малый

жанр», в котором она была написана, поднимает огромные пласты жизни общества. Знаменитые чеховские детали демонстрируют, что всякая картина — как бы «сегмент», вынуты «целиком» из круга жизни вместе со всеми главными и побочными чертами. Это его пристальный интерес к человеку во всей полноте его существования, где важно и интересно все.

Конец 1880-х — начало 1890-х годов — время расцвета таланта Чехова. Появляются новые сборники его рассказов. За сборник «В сумерках» в 1888 году 28-летнему писателю присуждена Пушкинская премия.



При этом в 1889 году могли появиться и вот

такие рецензии критиков, где его обвиняли в «мелочности концепции»: «Мозаичное письмо г. Чехова имеет лишь кое-какие внешние достоинства: довольно опрятную форму, живой, литературный язык и юмор, — очень дешевенький и неглубокий, но местами бесспорно жизненный» («День» 1889, 2 сентября N 471, с. 2)



Впрочем, критика преследовала Чехова с самого начала и до самого конца — и как беллетриста,

и как драматурга, хотя художественное видение его постепенно менялось, особенно под влиянием его поездки на Сахалин, куда он внезапно сорвался весной 1890 года, в самый разгар своих литературных успехов. В 1900 году в Ялте, когда жить ему оставалось совсем недолго, он занялся проблемами туберкулезных больных. И так было всю его жизнь.

Мечта и мысль Чехова были обращены к человеку подвижнического труда. Если перечислить даже не полно, что делал в своей жизни сам Чехов, то можно подумать, что речь идет об общественном деятеле. Он лечил, организовывал помощь голодающим губерниям, был заведующим холерным участком, строил школы, больницы, укомплектовывал общественные библиотеки, выступал с обращениями о помощи и сам, лично, помог сотням людей в их нуждах и бедах; печатал публицистические статьи; написал книгу о каторжном острове — Сахалине, проделав для этого путь через всю Сибирь, в том числе четыре тысячи верст на лошадях. Это делал человек, никогда не отличавшийся крепким здоровьем. И все это наряду с непрекращающимся, гигантским литературным трудом, с созданием произведений, открывших новую страницу в

мировом искусстве.

Александр Чудаков

Подготовка и обработка текста Марии Чудаковой.

Шалость

Письмо к ученому соседу

Село Блины-Съедены

Дорогой Соседушка

Максим (забыл как по батюшке, извените великодушно!) Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих гиероглифоф познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизацыя и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы,

лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный максимус понтифекс отец Герасим и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую Провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металов, металоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если

я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на щот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище;

мой прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана (Манора). Абат значит католический поп. Извените меня неука за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую посвоему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам. О. Герасим сообщил мне, что Вы неправильно мыслите об луне т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне т. е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами *и* тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить,

а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине.

Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от воз-

жения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приежжайте ко мне дорогой соседушко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня погаденького вычислениям различным поучите.

Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученый. И насщот этого мы поговорим. Приежжайте, сделайте милость. Приежжайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе, все у ней дураки, только она одна умная. Молодеж теперь я Вам скажу дает себя знать. Дай им бог! Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Майор), человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук не любит. Это письмо должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера.

Если же привезет его пожже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемониться. Если доставит пожже, то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приежжайте с машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Извените меня негодника за беспокойство.

Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед

Василий Семи-Булатов.

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь

Пробило 12 часов дня, и майор Щелколобов, обладатель тысячи десятин земли и молоденькой жены, высунул свою плешивую голову из-под ситцевого одеяла и громко выругался. Вчера, проходя мимо беседки, он слышал, как молодая жена его, майорша Каролина Карловна, более чем милостиво беседовала со своим приезжим кузеном, называла своего супруга, майора Щелколобова, бараном и с женским легкомыслием доказывала, что она своего мужа не любила, не любит и любить не будет за его, Щелколобова, тупоумие, мужицкие манеры и наклонность к умопомешательству и хроническому пьянству. Такое отношение жены поразило, возмутило и привело в сильнейшее негодование майора. Он не спал целую ночь и целое утро. В голове у него кипела непривычная работа, лицо горело и было краснее вареного рака; кулаки судорожно сжимались, а в груди происходила такая возня и стукотня, какой майор и под Карсом не видал и не слыхал. Выглянув из-под одеяла на свет божий и

выругавшись, он спрыгнул с кровати и, потрясая кулаками, зашагал по комнате.

— Эй, болваны! — крикнул он.

Затрещала дверь, и пред лицо майора предстал его камердинер, куафер и поломойка Пантелей, в одежонке с барского плеча и с щенком под мышкой. Он уперся о косяк двери и почтительно замигал глазами.

— Послушай, Пантелей, — начал майор, — я хочу с тобой поговорить по-человечески, как с человеком, откровенно. Стой ровней! Выпусти из кулака мух! Вот так! Будешь ли ты отвечать мне откровенно, от глубины души, или нет?

— Буду-с.

— Не смотри на меня с таким удивлением. На господ нельзя смотреть с удивлением. Закрой рот! Какой же ты бык, братец! Не знаешь, как нужно вести себя в моем присутствии. Отвечай мне прямо, без запинки! Колотишь ли ты свою жену или нет?

Пантелей закрыл рот рукою и преглупо ухмыльнулся.

— Кажинный вторник, ваше в<ысокоблагороди>е! — пробормотал он и захихикал.

— Очень хорошо. Чего ты смеешься? Над этим шутить нельзя! Закрой рот! Не чешись при мне:

я этого не люблю. (Майор подумал.) Я полагаю, братец, что не одни только мужики наказывают своих жен. Как ты думаешь относительно этого?

— Не одни, ваше в-е!

— Пример!

— В городе есть судья Петр Иваныч… Изволите знать? Я у них годов десять тому назад в дворниках состоял. Славный барин, в одно слово, то есть… а как подвыпимши, то бережись. Бывало, как придут подвыпимши, то и начнут кулачищем в бок барыню подсаживать. Штоб мне провалиться на ентом самом месте, коли не верите! Да и меня за конпанию ни с того ни с сего в бок, бывало, саданут. Бьют барыню да и говорят: «Ты, говорят, дура, меня не любишь, так я тебя, говорят, за это убить желаю и твоей жисти предел положить…»

— Ну, а она что?

— Простите, говорит.

— Ну? Ей-богу? Да это отлично!

И майор от удовольствия потер себе руки.

— Истинная правда-с, ваше в-е! Да как и не бить, ваше в-е? Вот, например, моя… Как не побить! Гармонийку ногой раздавила да барские пирожки поела… Нешто это возможно? Гм!..

— Да ты, болван, не рассуждай! Чего рассужда-

ешь? Ведь умного ничего не сумеешь сказать? Не берись не за свое дело! Что барыня делает?

— Спят.

— Ну, что будет, то будет! Поди, скажи Марье, чтобы разбудила барыню и просила ее ко мне... Постой!.. Как на твой взгляд? Я похож на мужика?

— Зачем вам походить, ваше в-е? Откудова это видно, штоб барин на мужика похож был? И вовсе нет!

Пантелей пожал плечами, дверь опять затрещала, и он вышел, а майор с озабоченной миной на лице начал умываться и одеваться.

— Душенька! — сказал одевшийся майор самым что ни на есть разъехидственным тоном вошедшей к нему хорошенькой двадцатилетней майорше, — не можешь ли ты уделить мне часок из твоего столь полезного для нас времени?

— С удовольствием, мой друг! — ответила майорша и подставила свой лоб к губам майора.

— Я, душенька, хочу погулять, по озеру покататься... Не можешь ли ты из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию?

— А не жарко ли будет? Впрочем, изволь, папочка, я с удовольствием. Ты будешь грести, а я рулем править. Не взять ли нам с собой закусок?

Я ужасно есть хочу…

— Я уже взял закуску, — ответил майор и ощупал в своем кармане плетку.

Через полчаса после этого разговора майор и майорша плыли на лодке к средине озера. Майор потел над веслами, а майорша управляла рулем. «Какова? Какова? Какова?» — бормотал майор, свирепо поглядывая на замечтавшуюся жену и горя от нетерпения. «Стой!» — забасил он, когда лодка достигла середины. Лодка остановилась. У майора побагровела физиономия и затряслись поджилки.

— Что с тобой, Аполлоша? — спросила майорша, с удивлением глядя на мужа.

— Так я, — забормотал он, — баааран? Так я… я… кто я? Так я тупоумен? Так ты меня не любила и любить не будешь? Так ты… я…

Майор зарычал, простер вверх длани, потряс в воздухе плетью и в лодке… o tempora, o mores!..[1] поднялась страшная возня, такая возня, какую не только описать, но и вообразить едва ли возможно. Произошло то, чего не в состоянии изобразить даже художник, побывавший в Италии и обладающий самым пылким воображением… Не успел

---

[1] Примечания: 1
О времена, о нравы! *(лат.)*

майор Щелколобов почувствовать отсутствие растительности на голове своей, не успела майорша воспользоваться вырванной из рук супруга плетью, как перевернулась лодка и…

В это время на берегу озера прогуливался бывший ключник майора, а ныне волостной писарь Иван Павлович и, в ожидании того блаженного времени, когда деревенские молодухи выйдут на озеро купаться, посвистывал, покуривал и размышлял о цели своей прогулки. Вдруг он услышал раздирающий душу крик. В этом крике он узнал голос своих бывших господ. «Помогите!» — кричали майор и майорша. Писарь, не долго думая, сбросил с себя пиджак, брюки и сапоги, перекрестился трижды и поплыл на помощь к средине озера. Плавал он лучше, чем писал и разбирал писанное, а потому через какие-нибудь три минуты был уже возле погибавших. Иван Павлович подплыл к погибавшим и стал втупик.

«Кого спасать? — подумал он. — Вот черти!» Двоих спасать ему было совсем не под силу. Для него достаточно было и одного. Он скорчил на лице своем гримасу, выражавшую величайшее недоумение, и начал хвататься то за майора, то за майоршу.

— Кто-нибудь один! — сказал он. — Обоих вас

куда мне взять? Что я, кашалот, что ли?

— Ваня, голубчик, спаси меня, — пропищала дрожащая майорша, держась за фалду майора, — меня спаси! Если меня спасешь, то я выйду за тебя замуж! Клянусь всем для меня святым! Ай, ай, я утопаю!

— Иван! Иван Павлович! По-рыцарски!., того! — забасил, захлебываясь, майор. — Спаси, братец! Рубль на водку! Будь отцом-благодетелем, не дай погибнуть во цвете лет… Озолочу с ног до головы… Да ну же, спасай! Какой же ты, право… Женюсь на твоей сестре Марье… Ей-богу, женюсь! Она у тебя красавица. Майоршу не спасай, черт с ней! Не спасешь меня — убью, жить не позволю!

У Ивана Павловича закружилась голова, и он чуть-чуть не пошел ко дну. Оба обещания казались ему одинаково выгодными — одно другого лучше. Что выбирать? А время не терпит! «Спасу-ка обоих! — порешил он. — С двоих получать лучше, чем с одного. Вот это так, ей-богу. Бог не выдаст, свинья не съест. Господи благослови!» Иван Павлович перекрестился, схватил под правую руку майоршу, а указательным пальцем той же руки за галстух майора и поплыл, кряхтя, к берегу. «Ногами болтайте!» — командовал он, гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей

будущности. «Барыня — жена, майор — зять… Шик! Гуляй, Ваня! Вот когда пирожных наемся да дорогие цыгары курить будем! Слава тебе, господи!» Трудно было Ивану Павловичу тянуть одной рукой двойную ношу и плыть против ветра, но мысль о блестящей будущности поддержала его. Он, улыбаясь и хихикая от счастья, доставил майора и майоршу на сушу. Велика была его радость. Но, увидев майора и майоршу, дружно вцепившихся друг в друга, он… вдруг побледнел, ударил себя кулаком по лбу, зарыдал и не обратил внимания на девок, которые, вылезши из воды, густою толпой окружали майора и майоршу и с удивлением посматривали на храброго писаря.

На другой день Иван Павлович, по проискам майора, был удален из волостного правления, а майорша изгнала из своих апартаментов Марью с приказом отправляться ей «к своему милому барину».

— О, люди, люди! — вслух произносил Иван Павлович, гуляя по берегу рокового пруда, — что же благодарностию вы именуете?

Папаша

Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше и кашлянула. При входе ее с колен папаши спорхнула горничная и шмыгнула за портьеру; мамаша не обратила на это ни малейшего внимания, потому что успела уже привыкнуть к маленьким слабостям папаши и смотрела на них с точки зрения умной жены, понимающей своего цивилизованного мужа.

— Пампушка, — сказала она, садясь на папашины колени, — я пришла к тебе, мой родной, посоветоваться. Утри свои губы, я хочу поцеловать тебя.

Папаша замигал глазами и вытер рукавом губы.

— Что тебе? — спросил он.

— Вот что, папочка… Что нам делать с нашим сыном?

— А что такое?

— А ты не знаешь? Боже мой! Как вы все, отцы, беспечны! Это ужасно! Пампушка, да будь же хоть отцом наконец, если не хочешь… не можешь быть мужем!

— Опять свое! Слышал тысячу раз уж!

Папаша сделал нетерпеливое движение, и мамаша чуть было не упала с колен папаши.

— Все вы, мужчины, таковы, не любите слушать правды.

— Ты про правду пришла рассказывать или про сына?

— Ну, ну, не буду… Пампуша, сын наш опять нехорошие отметки из гимназии принес.

— Ну, так что ж?

— Как что ж? Ведь его не допустят к экзамену! Он не перейдет в четвертый класс!

— Пускай не переходит. Невелика беда. Лишь бы учился да дома не баловался.

— Ведь ему, папочка, пятнадцать лет! Можно ли в таких летах быть в третьем классе? Представь, этот негодный арифметик опять ему вывел двойку… Ну, на что это похоже?

— Выпороть нужно, вот на что похоже.

Мамаша мизинчиком провела по жирным губам папаши, и ей показалось, что она кокетливо нахмурила бровки.

— Нет, пампушка, о наказаниях мне не говори… Сын наш не виноват… Тут интрига… Сын наш, нечего скромничать, так развит, что невероятно, чтобы он не знал какой-нибудь глупой арифме-

тики. Он все прекрасно знает, в этом я уверена!

— Шарлатан он, вот что-с! Ежели б поменьше баловался да побольше учился… Сядь-ка, мать моя, на стул… Не думаю, чтоб тебе удобно было сидеть на моих коленях.

Мамаша спорхнула с колен папаши, и ей показалось, что она лебединым шагом направилась к креслу.

— Боже, какое бесчувствие! — прошептала она, усевшись и закрыв глаза. — Нет, ты не любишь сына! Наш сын так хорош, так умен, так красив… Интрига, интрига! Нет, он не должен оставаться на второй год, я этого не допущу!

— Допустишь, коли негодяй скверно учится… Эх, вы, матери!.. Ну, иди с богом, а я тут кое-чем должен… позаняться…

Папаша повернулся к столу, нагнулся к какой-то бумажке и искоса, как собака на тарелку, посмотрел на портьеру.

— Папочка, я не уйду… я не уйду! Я вижу, что я тебе в тягость, но потерпи… Папочка, ты должен сходить к учителю арифметики и приказать ему поставить нашему сыну хорошую отметку… Ты ему должен сказать, что сын наш хорошо знает арифметику, что он слаб здоровьем, а потому и не может угождать всякому. Ты принудь учителя.

Можно ли мужчине сидеть в третьем классе? Постарайся, пампуша! Представь, Софья Николаевна нашла, что сын наш похож на Париса!

— Для меня это очень лестно, но не пойду! Некогда мне шляться.

— Нет, пойдешь, папочка!

— Не пойду… Слово твердо… Ну, уходи с богом, душенька… Мне бы заняться нужно вот тут кое-чем…

— Пойдешь!

Мамаша поднялась и возвысила голос.

— Не пойду!

— Пойдешь!! — крикнула мамаша. — А если не пойдешь, если не захочешь пожалеть своего единственного сына, то…

Мамаша взвизгнула и жестом взбешенного трагика указала на портьеру… Папаша сконфузился, растерялся, ни к селу ни к городу запел какую-то песню и сбросил с себя сюртук… Он всегда терялся и становился совершенным идиотом, когда мамаша указывала ему на его портьеру. Он сдался. Позвали сына и потребовали от него слова. Сынок рассердился, нахмурился, насупился и сказал, что он арифметику знает лучше самого учителя и что он не виноват в том, что на этом свете пятерки получаются одними только гимназистками, бога-

чами да подлипалами. Он разрыдался и сообщил адрес учителя арифметики во всех подробностях. Папаша побрился, поводил у себя по лысине гребнем, оделся поприличнее и отправился «пожалеть единственного сына».

По обыкновению большинства папашей, он вошел к учителю арифметики без доклада. Каких только вещей не увидишь и не услышишь, вошедши без доклада! Он слышал, как учитель сказал своей жене: «Дорого ты стоишь мне, Ариадна!.. Прихоти твои не имеют пределов!» И видел, как учительша бросилась на шею к учителю и сказала: «Прости меня! Ты мне дешево стоишь, но я тебя дорого ценю!» Папаша нашел, что учительша очень хороша собой и что, будь она совершенно одета, она не была бы так прелестна.

— Здравствуйте! — сказал он, развязно подходя к супругам и шаркая ножкой. Учитель на минуту растерялся, а учительша вспыхнула и с быстротою молнии шмыгнула в соседнюю комнату.

— Извините, — начал папаша с улыбочкой, — я, может быть, того… вас в некотором роде обеспокоил… Очень хорошо понимаю… Здоровы-с? Честь имею рекомендоваться… Не из безызвестных, как видите… Тоже служака… Ха-ха-ха! Да вы не беспокойтесь!

Г-н учитель чуточку, приличия ради, улыбнулся и вежливо указал на стул. Папаша повернулся на одной ножке и сел.

— Я, — продолжал он, показывая г. учителю свои золотые часы, — пришел с вами поговорить-с… Мм-да… Вы, конечно, меня извините… Я по-ученому выражаться не мастер. Наш брат, знаете ли, все спроста… Ха-ха-ха! Вы в университете обучались?

— Да, в университете.

— Так-ссс!.. Н-ну, да… А сегодня тепло-с… Вы, Иван Федорыч, моему сынишке двоек там наставили… Мм… да… Но это ничего, знаете… Кто чего достоин… Ему же дань — дань, ему же урок — урок… Хе-хе-хе!.. Но, знаете ли, неприятно. Неужели мой сын плохо арифметику понимает?

— Как вам сказать? Не то чтобы плохо, но, знаете ли, не занимается. Да, он плохо знает.

— Почему же он плохо знает?

Учитель сделал большие глаза.

— Как почему? — сказал он. — Потому, что плохо знает и не занимается.

— Помилуйте, Иван Федорыч! Сын мой превосходно занимается! Я сам с ним занимаюсь… Он ночи сидит… Он все отлично знает… Ну, а что пошаливает… Ну, да ведь это молодость… Кто из

нас не был молод? Я вас не обеспокоил?

— Помилуйте, что вы?.. Очень вам благодарен даже… Вы, отцы, такие редкие гости у нас, педагогов… Впрочем, это показывает на то, как вы сильно нам доверяете; а главное во всем — это доверие.

— Разумеется… Главное — не вмешиваемся… Значит, сын мой не перейдет в IV класс?

— Да. У него ведь не по одной только арифметике годовая двойка?

— Можно будет и к другим съездить. Ну, а насчет арифметики?.. Ххе!.. Исправите?

— Не могу-с! (Учитель улыбнулся.) Не могу-с!.. Я желал, чтобы сын ваш перешел, я старался всеми силами, но ваш сын не занимается, говорит дерзости… Мне несколько раз приходилось иметь с ним неприятности.

— М-молод… Что поделаешь?! Да вы уж переправьте на троечку!

— Не могу!

— Да ну, пустяки!.. Что вы мне рассказываете? Как будто бы я не знаю, что можно, чего нельзя. Можно, Иван Федорыч!

— Не могу! Что скажут другие двоечники? Несправедливо, как ни поверните дело. Ей-ей, не могу!

Папаша мигнул одним глазом.

— Можете, Иван Федорыч! Иван Федорыч! Не будем долго рассказывать! Не таково дело, чтобы о нем три часа балясы точить… Вы скажите мне, что вы по-своему, по-ученому, считаете справедливым? Ведь мы знаем, что такое ваша справедливость. Хе-хе-хе! Говорили бы прямо, Иван Федорыч, без экивок! Вы ведь с намерением поставили двойку… Где же тут справедливость?

Учитель сделал большие глаза и… только; а почему он не обиделся — это останется для меня навсегда тайною учительского сердца.

— С намерением, — продолжал папаша. — Вы гостя ожидали-с. Ха-хе-ха-хе!.. Что ж? Извольте-с!.. Я согласен… Ему же дань — дань… Понимаю службу, как видите… Как ни прогрессируйте там, а… все-таки, знаете… ммда… старые обычаи лучше всего, полезнее… Чем богат, тем и рад.

Папаша с сопеньем вытащил из кармана бумажник, и двадцатипятирублевка потянулась к кулаку учителя.

— Извольте-с!

Учитель покраснел, съежился и… только. Почему он не указал папаше на дверь — для меня останется навсегда тайной учительского сердца…

— Вы, — продолжал папаша, — не конфузьтесь… Ведь я понимаю… Кто говорит, что не берет, — тот берет… Кто теперь не берет? Нельзя, батенька, не брать… Не привыкли еще, значит? Пожалуйте-с!

— Нет, ради бога…

— Мало? Ну, больше дать не могу… Не возьмете?

— Помилуйте!..

— Как прикажете… Ну, а уж двоечку исправьте!.. Не так я прошу, как мать… Плачет, знаете ли… Сердцебиение там и прочее…

— Вполне сочувствую вашей супруге, но не могу.

— Если сын не перейдет в IV класс, то… что же будет?.. Ммда… Нет, уж вы переведите его!

— Рад бы, но не могу… Прикажете папиросу?

— Гранд мерси… Перевести бы не мешало… А в каком чине состоите?

— Титулярный… Впрочем, по должности VIII класса. Кгм!..

— Так-ссс… Ну, да мы с вами поладим… Единым почерком пера, а? идет? Хе-хе!..

— Не могу-с, хоть убейте, не могу!

Папаша немного помолчал, подумал и опять наступил на г. учителя. Наступление продолжа-

лось еще очень долго. Учителю пришлось раз двадцать повторить свое неизменное «не могу-с». Наконец папаша надоел учителю и стал больше невыносим. Он начал лезть целоваться, просил проэкзаменовать *его* по арифметике, рассказал несколько сальных анекдотов и зафамильярничал. Учителя затошнило.

— Ваня, тебе пора ехать! — крикнула из другой комнаты учительша. Папаша понял, в чем дело, и своею широкою фигуркой загородил г. учителю дверь. Учитель выбился из сил и начал ныть. Наконец ему показалось, что он придумал гениальнейшую вещь.

— Вот что, — сказал он папаше. — Я тогда только исправлю вашему сыну годовую отметку, когда и другие мои товарищи поставят ему по тройке по своим предметам.

— Честное слово?

— Да, я исправлю, если они исправят.

— Дело! Руку вашу! Вы не человек, а — шик! Я им скажу, что вы уже исправили. Идет девка за парубка! Бутылка шампанского за мной. Ну, а когда их можно застать у себя?

— Хоть сейчас.

— Ну, а мы, разумеется, будем знакомы? Заедете когда-нибудь на часок попросту?

— С удовольствием. Будьте здоровы!

— О ревуар![2] Хе-хе-хе-хмы!.. Ох, молодой человек, молодой человек!.. Прощайте!.. Вашим господам товарищам, разумеется, от вас поклон? Передам. Вашей супруге от меня почтительное резюме… Заходите же!

Папаша шаркнул ножкой, надел шляпу и улетучился.

«Славный малый, — подумал г. учитель, глядя вслед уходившему папаше. — Славный малый! Что у него на душе, то и на языке. Прост и добр, как видно… Люблю таких людей».

В тот же день вечером у папаши на коленях опять сидела мамаша (а уж после нее сидела горничная). Папаша уверял ее, что «сын наш» перейдет и что ученых людей не так уломаешь деньгами, как приятным обхождением и вежливеньким наступлением на горло.

---

[2] Примечания: 2

До свидания! (от *франц.* — Ou revoir.)

Тысяча одна страсть, или Страшная ночь
(Роман в одной части с эпилогом)

Посвящаю Виктору Гюго

На башне Св. Ста сорока шести мучеников пробила полночь. Я задрожал. Настало время. Я судорожно схватил Теодора за руку и вышел с ним на улицу. Небо было темно, как типографская тушь. Было темно, как в шляпе, надетой на голову. Темная ночь — это день в ореховой скорлупе. Мы закутались в плащи и отправились. Сильный ветер продувал нас насквозь. Дождь и снег — эти мокрые братья — страшно били в наши физиономии. Молния, несмотря на зимнее время, бороздила небо по всем направлениям. Гром, грозный, величественный спутник прелестной, как миганье голубых глаз, быстрой, как мысль, молнии, ужасающе потрясал воздух. Уши Теодора засветились электричеством. Огни Св. Эльма с треском пролетали над нашими головами. Я взглянул наверх. Я затрепетал. Кто не трепещет пред величием природы? По небу пролетело несколько блестящих метеоров. Я начал считать

их и насчитал 28. Я указал на них Теодору.

— Нехорошее предзнаменование! — пробормотал он, бледный, как изваяние из каррарского мрамора.

Ветер стонал, выл, рыдал… Стон ветра — стон совести, утонувшей в страшных преступлениях. Возле нас громом разрушило и зажгло восьмиэтажный дом. Я слышал вопли, вылетавшие из него. Мы прошли мимо. До горевшего ли дома мне было, когда у меня в груди горело полтораста домов? Где-то в пространстве заунывно, медленно, монотонно звонил колокол. Была борьба стихий. Какие-то неведомые силы, казалось, трудились над ужасающею гармониею стихии. Кто эти силы? Узнает ли их когда-нибудь человек?

Пугливая, но дерзкая мечта!!!

Мы крикнули кошэ. Мы сели в карету и помчались. Кошэ — брат ветра. Мы мчались, как смелая мысль мчится в таинственных извилинах мозга. Я всунул в руку кошэ кошелек с золотом. Золото помогло бичу удвоить быстроту лошадиных ног.

— Антонио, куда ты меня везешь? — простонал Теодор. — Ты смотришь злым гением… В твоих черных глазах светится ад… Я начинаю бояться…

Жалкий трус!! Я промолчал. Он любил *ее. Она* любила страстно его… Я должен был убить его,

потому что любил больше жизни ее. Я любил *ее* и ненавидел его. Он должен был умереть в эту страшную ночь и заплатить смертью за свою любовь. Во мне кипели любовь и ненависть. Они были вторым моим бытием. Эти две сестры, живя в одной оболочке, производят опустошение: они — духовные вандалы.

— Стой! — сказал я кошэ, когда карета подкатила к цели.

Я и Теодор выскочили. Из-за туч холодно взглянула на нас луна. Луна — беспристрастный, молчаливый свидетель сладостных мгновений любви и мщения. Она должна была быть свидетелем смерти одного из нас. Пред нами была пропасть, бездна без дна, как бочка преступных дочерей Даная. Мы стояли у края жерла потухшего вулкана. Об этом вулкане ходят в народе страшные легенды. Я сделал движение коленом, и Теодор полетел вниз, в страшную пропасть. Жерло вулкана — пасть земли.

— Проклятие!!! — закричал он в ответ на мое проклятие.

Сильный муж, ниспровергающий своего врага в кратер вулкана из-за прекрасных глаз женщины, — величественная, грандиозная и поучительная картина! Недоставало только лавы!

Кошэ. Кошэ — статуя, поставленная роком невежеству. Прочь рутина! Кошэ последовал за Теодором. Я почувствовал, что в груди у меня осталась одна только любовь. Я пал лицом на землю и заплакал от восторга. Слезы восторга — результат божественной реакции, производимой в недрах любящего сердца. Лошади весело заржали. Как тягостно быть не человеком! Я освободил их от животной, страдальческой жизни. Я убил их. Смерть есть и оковы и освобождение от оков.

Я зашел в гостиницу «Фиолетового гиппопотама» и выпил пять стаканов доброго вина.

Через три часа после мщения я был у дверей ее квартиры. Кинжал, друг смерти, помог мне по трупам добраться до ее дверей. Я стал прислушиваться. Она не спала. Она мечтала. Я слушал. Она молчала. Молчание длилось часа четыре. Четыре часа для влюбленного — четыре девятнадцатых столетия! Наконец она позвала горничную. Горничная прошла мимо меня. Я демонически взглянул на нее. Она уловила мой взгляд. Рассудок оставил ее. Я убил ее. Лучше умереть, чем жить без рассудка.

— Анета! — крикнула *она.* — Что это Теодор нейдет? Тоска грызет мое сердце. Меня душит какое-то тяжелое предчувствие. О, Анета! Сходи

за ним. Он, наверно, кутит теперь вместе с безбожным, ужасным Антонио!.. Боже, кого я вижу?! Антонио!

Я вошел к ней. Она побледнела.

— Подите прочь! — закричала она, и ужас исказил ее благородные, прекрасные черты.

Я взглянул на нее. Взгляд есть меч души. Она пошатнулась. В моем взгляде она увидела все: и смерть Теодора, и демоническую страсть, и тысячу человеческих желаний… Поза моя — было величие. В глазах моих светилось электричество. Волосы мои шевелились и стояли дыбом. Она видела пред собою демона в земной оболочке. Я видел, что она залюбовалась мной. Часа четыре продолжалось гробовое молчание и созерцание друг друга. Загремел гром, и она пала мне на грудь. Грудь мужчины — крепость женщины. Я сжал ее в своих объятиях. Оба мы крикнули. Кости ее затрещали. Гальванический ток пробежал по нашим телам. Горячий поцелуй…

Она полюбила во мне демона. Я хотел, чтобы она полюбила во мне ангела. «Полтора миллиона франков отдаю бедным!» — сказал я. Она полюбила во мне ангела и заплакала. Я тоже заплакал. Что это были за слезы!!! Через месяц в церкви Св. Тита и Гортензии происходило торжественное

венчание. Я венчался с *ней. Она* венчалась со мной. Бедные нас благословляли! *Она* упросила меня простить врагов моих, которых я ранее убил. Я простил. С молодою женой я уехал в Америку. Молодая любящая жена была ангелом в девственных лесах Америки, ангелом, пред которым склонялись львы и тигры. Я был молодым тигром. Через три года после нашей свадьбы старый Сам носился уже с курчавым мальчишкой. Мальчишка был более похож на мать, чем на меня. Это меня злило. Вчера у меня родился второй сын… и сам я от радости повесился… Второй мой мальчишка протягивает ручки к читателям и просит их не верить его папаше, потому что у его папаши не было не только детей, но даже и жены. Папаша его боится женитьбы, как огня. Мальчишка мой не лжет. Он младенец. Ему верьте. Детский возраст — святой возраст. Ничего этого никогда не было… Спокойной ночи!

Перед свадьбой

В четверг на прошлой неделе девица Подзатылкина в доме своих почтенных родителей была объявлена невестой коллежского регистратора Назарьева. Сговор сошел как нельзя лучше. Выпито было две бутылки ланинского шампанского, полтора ведра водки; барышни выпили бутылку лафита. Папаши и мамаши жениха и невесты плакали вовремя, жених и невеста целовались охотно; гимназист восьмого класса произнес тост со словами: «O tempora, o mores!»[3] и «Salvete, boni futuri conjuges!»[4] — произнес с шиком; рыжий Ванька Смысломалов, в ожидании вынутия жребия ровно ничего не делающий, в самый подходящий момент, в «самый раз» ударился в страшный трагизм, взъерошил волосы на своей большой голове, трахнул кулаком себя по колену и воскликнул: «Черт возьми, я любил и люблю ее!» — чем и доставил невыразимое удовольствие девицам.

---

[3] Примечания: 3
О времена, о нравы! *(лат.)*

[4] Примечания: 4
Да здравствуют будущие добрые супруги! *(лат.)*

Девица Подзатылкина замечательна только тем, что ничем не замечательна. Ума ее никто не видал и не знает, а потому о нем — ни слова. Наружность у нее самая обыкновенная: нос папашин, подбородок мамашин, глаза кошачьи, бюстик посредственный. Играть на фортепьяне умеет, но без нот; мамаше на кухне помогает, без корсета не ходит, постного кушать не может, в уразумении буквы «G» видит начало и конец всех премудростей и больше всего на свете любит статных мужчин и имя «Роланд».

Господин Назарьев — мужчина роста среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоский. Где-то служит, жалованье получает тщедушное, едва на табак хватающее; вечно пахнет яичным мылом и карболкой, считает себя страшным волокитой, говорит громко, день и ночь удивляется; когда говорит — брызжет. Франтит, на родителей смотрит свысока и ни одну барышню не пропустит, чтобы не сказать ей: «Как вы наивны! Вы бы читали литературу!» Любит больше всего на свете свой почерк, журнал «Развлечение» и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя, и в особенности в ту минуту, когда сидит в обществе девиц, пьет чай внакладку и с остервенением

отрицает чертей.

Вот каковы девица Подзатылкина и господин Назарьев!

На другой день после сговора, утром, девица Подзатылкина, восстав от сна, была позвана кухаркой к мамаше. Мамаша, лежа на кровати, прочла ей следующую нотацию:

— С какой это стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье? Могла бы нонче и в барежевом походить. Голова-то как болит, ужасть! Вчера лысая образина, твой отец то есть, изволил пошутить. Нужны мне его шутки дурацкие! Подносит это мне что-то в рюмке… «Выпей», говорит. Думала, что в рюмке вино, — ну, и выпила, а в рюмке-то был уксус с маслом из-под селедок. Это он пошутил, пьяная образина! Срамить только, слюнявый, умеет! Меня сильно изумляет и удивляет, что ты вчера веселая была и не плакала. Чему рада была? Деньги нашла, что ли? Удивляюсь! Всякий и подумал, что ты рада родительский дом оставить. Оно, должно быть, так и выходит. Что? Любовь? Какая там любовь? И вовсе ты не по любви идешь за своего, а так, за чином его погналась! Что, разве неправда? То-то, что правда. А мне, мать моя, твой не нравится. Уж больно занослив и горделив. Ты его осади… Что-о-о-о? И

не думай!.. Через месяц же драться будете: и он таковский, и ты таковская. Замужество только девицам одним нравится, а в нем ничего нет хорошего. Сама испытала, знаю. Поживешь — узнаешь. Не вертись так, у меня и без того голова кружится. Мужчины все дураки, с ними жить не очень-то сладко. И твой тоже дурак, хоть и высоко голову держит. Ты его не больно-то слушайся, не потакай ему во всем и не очень-то уважай: не за что. Обо всем мать спрашивай. Чуть что случится, так и иди ко мне. Сама без матери ничего не делай, боже тебя сохрани! Муж ничего доброго не посоветует, добру не научит, а все норовит в свою пользу. Ты это знай! Отца также не больно слушай. К себе в дом не приглашай жить, а то ты, пожалуй, чего доброго, сдуру… и ляпнешь. Он так и норовит с вас стянуть что-нибудь. Будет у вас сидеть по целым дням, а на что он вам сдался? Водки будет просить да мужнин табак курить. Он скверный и вредный человек, хоть и отец тебе. Лицо-то у него, негодника, доброе, ну, а душа зато страсть какая ехидная! Занимать денег станет — не давайте, потому что он жулик, хоть он и тютюлярный советник. Вон он кричит, тебя зовет! Ступай к нему, да не говори ему того, что я тебе сейчас про него говорила. А то сейчас

пристанет, изверг рода христианского, горой его положь! Ступай, покедова у меня сердце на месте!.. Враги вы мои! Умру, так попомните слова мои! Мучители!

Девица Подзатылкина оставила мать свою и отправилась к папаше, который сидел в это время у себя на кровати и посыпал свою подушку персидским порошком.

— Дочь моя! — сказал ей папаша. — Я очень рад, что ты намерена сочетаться с таким умным господином, как господин Назарьев. Очень рад и вполне одобряю сей брак. Выходи, дочь моя, и не страшись! Брак это такой торжественный факт, что… ну, да что там говорить? Живи, плодись и размножайся. Бог тебя благословит! Я… я… плачу. Впрочем, слезы ни к чему не ведут. Что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия и больше ничего! Выслушай же, дочь моя, совет мой! Не забывай родителей своих! Муж для тебя не будет лучше родителей, право, не будет! Мужу нравится одна только твоя материальная красота, а нам ты вся нравишься. За что тебя будет любить муж твой? За характер? За доброту? За эмблему чувств? Нет-с! Он будет любить тебя за приданое твое. Ведь мы даем за тобой, душенька, не копейку какую-нибудь, а ровно

тысячу рублей! Ты это понять должна! Господин Назарьев весьма хороший господин, но ты его не уважай паче отца. Он прилепится к тебе, но не будет истинным другом твоим. Будут моменты, когда он… Нет, умолчу лучше, дочь моя! Мать, душенька, слушай, но с осторожностью. Женщина она добрая, но двулично-вольнодумствующая, легкомысленная, жеманственная. Она благородная, честная особа, но… шут с ней! Она тебе того посоветовать не может, что советует тебе отец твой, бытия твоего виновник. В дом свой ее не бери. Мужья тещей не обожают. Я сам не любил своей тещи, так не любил, что неоднократно позволял себе подсыпать в ее кофей жженой пробочки, отчего выходили весьма презентабельные проферансы. Подпоручик Зюмбумбунчиков военным судом за тещу судился. Разве не помнишь сего факта? Впрочем, тебя еще тогда на свете не существовало. Главное во всем и везде отец. Это ты знай и одного его только и слушай. Потом, дочь моя… Европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь! Баллада! Чем больше у родителей детей, тем лучше. Впрочем, нет! Не то! Совсем наоборот! Я ошибся, душенька. Чем меньше детей, тем лучше. Это

я вчера читал в одной журналистике. Какой-то Мальтус сочинил. Так-то… Кто-то подъехал… Ба! Да это жених твой! С шиком, канашка, шельмец этакой! Ай да мужчина! Настоящий Вальтер Скотт! Пойди, душенька, прими его, а я пока оденусь.

Прикатил господин Назарьев. Невеста встретила его и сказала:

— Прошу садиться без церемоний!

Он шаркнул два раза правой ногой и сел возле невесты.

— Как вы поживаете? — начал он с обычною развязностью. — Как вам спалось? А я, знаете ли, всю ночь напролет не спал. Зола читал да о вас мечтал. Вы читали Зола? Неужели нет? Ай-я-яй! Да это преступление! Мне один чиновник дал. Шикарно пишет! Я вам прочитать дам. Ах! Когда бы вы могли понять! Я такие чувствую чувства, каких вы никогда не чувствовали! Позвольте вас чмокнуть!

Господин Назарьев привстал и поцеловал нижнюю губу девицы Подзатылкиной.

— А где ваши? — продолжал он еще развязнее. — Мне их повидать надо. Я на них, признаться, немножко сердит. Они меня здорово надули. Вы заметьте… Ваш папаша говорили мне, что

оне надворный советник, а оказывается теперь, что оне всего только титулярный. Гм!.. Разве так можно? Потом-с… Оне обещали дать за вами полторы тысячи, а маменька ваша вчера сказали мне, что больше тысячи я не получу. Разве это не свинство? Черкесы кровожадный народ, да и то так не делают. Я не позволю себя надувать! Все делай, но самолюбия и самозабвения моих не трогай! Это не гуманно! Это не рационально! Я честный человек, а потому не люблю нечестных! У меня все можно, но не хитри, не язви, а делай так, как совесть у человека! Так-то! У них и лица какие-то невежественные! Что это за лица? Это не лица! Вы меня извините, но родственных чувств я к ним не чувствую. Вот как повенчаемся, так мы их приструним. Нахальства и варварства не люблю! Я хоть и не скептик и не циник, а все-таки в образовании толк понимаю. Мы их приструним! Мои родители у меня давно уж ни гу-гу. Что, вы уж пили кофей? Нет? Ну, так и я с вами напьюсь. Пойдите мне на папироску принесите, а то я свой табак дома забыл.

Невеста вышла.

Это перед свадьбой… А что будет после свадьбы, я полагаю, известно не одним только пророкам да сомнамбулам.

Жены артистов
(Перевод… с португальского)

Свободнейший гражданин столичного города Лиссабона, Альфонсо Зинзага, молодой романист, столь известный… только самому себе и подающий великие надежды… тоже самому себе, утомленный целодневным хождением по бульварам и редакциям и голодный, как самая голодная собака, пришел к себе домой. Обитал он в 147 номере гостиницы, известной в одном из его романов под именем гостиницы «Ядовитого лебедя». Вошедши в 147 номер, он окинул взглядом свое коротенькое, узенькое и невысокое жилище, покрутил носом и зажег свечу, после чего взорам его представилась умилительная картина. Среди массы бумаг, книг, прошлогодних газет, ветхих стульев, сапог, халатов, кинжалов и колпаков, на маленькой, обитой сизым коленкором кушетке спала его хорошенькая жена, Амаранта. Умиленный Зинзага подошел к ней и, после некоторого размышления, дернул ее за руку. Она не просыпалась. Он дернул ее за другую руку. Она глубоко вздохнула, но не проснулась.

Он похлопал ее по плечу, постукал пальцем по ее мраморному лбу, потрогал за башмак, рванул за платье, чхнул на всю гостиницу, а она… даже и не пошевельнулась.

«Вот спит-то! — подумал Зинзага. — Что за черт? Не приняла ли она яду? Моя неудача с последним романом могла сильно повлиять на нее…»

И Зинзага, сделав большие глаза, потряс кушетку. С Амаранты медленно сползла какая-то книга и, шелестя, шлепнулась об пол. Романист поднял книгу, раскрыл ее, взглянул и побледнел. Это была не какая-то и отнюдь не какая-нибудь книга, а его последний роман, напечатанный на средства графа дон Барабанта-Алимонда, — роман «Колесование в Санкт-Московске сорока четырех двадцатиженцев», роман, как видите, из русской, значит, самой интересной жизни — и вдруг…

— Она уснула, читая мой роман!?! — прошептал Зинзага. — Какое неуважение к изданию графа Барабанта-Алимонда и к трудам Альфонсо Зинзаги, давшего ей славное имя Зинзаги!

— Женщина! — гаркнул Зинзага во все свое португальское горло и стукнул кулаком о край кушетки.

Амаранта глубоко вздохнула, открыла свои черные глаза и улыбнулась.

— Это ты, Альфонсо? — сказала она, протягивая руки.

— Да, это я!.. Ты спишь? Ты… спишь?.. — забормотал Альфонсо, садясь на дрябло-хилый стул. — Что ты делала перед тем, как уснула?

— Ходила к матери просить денег.

— А потом?

— Читала твой роман.

— И уснула? Говори! И уснула?

— И уснула… Ну, чего сердишься, Альфонсо?

— Я не сержусь, но мне кажется оскорбительным, что ты так легкомысленно относишься к тому, что если еще и не дало, то даст мне славу! Ты уснула, потому что читала мой роман! Я так понимаю этот сон!

— Полно, Альфонсо! Твой роман я читала с большим наслаждением… Я приковалась к твоему роману. Я… я… Меня особенно поразила сцена, где молодой писатель, Альфонсо Зензега, застреливается из пистолета…

— Эта сцена не из этого романа, а из «Тысячи огней»!

— Да? Так какая же сцена поразила меня в этом романе? Ах, да… Я плакала на том месте, где русский маркиз Иван Ивановитш бросается из ее окна в реку… реку… Волгу.

— Аааaа… Гм!

— И утопает, благословляя виконтессу Ксению Петровну… Я была поражена…

— Почему же ты уснула, если была поражена?

— Мне так хотелось спать! Я ведь всю ночь прошлую не спала. Всю ночь напролет ты был так мил, что читал мне свой новый, хороший роман, а удовольствие слушать тебя я не могла променять на сон…

— Аааа… Гм… Понимаю! Дай мне есть!

— А разве ты еще не обедал?

— Нет.

— Ты же, уходя утром, сказал мне, что будешь сегодня обедать у редактора «Лиссабонских губернских ведомостей»?

— Да, я полагал, что мое стихотворение будет помещено в этих «Ведомостях», чтобы черт их взял!

— Неужели же не помещено?

— Нет…

— Это несчастие! С тех пор, как я стала твоей, я всей душой ненавижу редакторов! И ты голоден?

— Голоден.

— Бедняжка Альфонсо! И денег у тебя нет?

— Гм… Что за вопрос?! Ничего нет поесть?

— Нет, мой друг! Мать меня только покормила,

а денег мне не дала.

— Гм…

Стул затрещал. Зинзага поднялся и зашагал… Пошагав немного и подумав, он почувствовал сильнейшее желание во что бы то ни стало убедить себя в том, что голод есть малодушие, что человек создан для борьбы с природой, что не единым хлебом сыт будет человек, что тот не артист, кто не голоден, и т. д., и, наверное, убедил бы себя, если бы, размышляя, не вспомнил, что рядом с ним, в 148 номере «Ядовитого лебедя», обитает художник-жанрист, итальянец, Франческо Бутронца, человек талантливый, кое-кому известный и, что так немаловажно под луной, обладающий уменьем, которого никогда не знал за собой Зинзага, — ежедневно обедать.

— Пойду к нему! — решил Зинзага и отправился к соседу.

Вошедши в 148 номер, Зинзага увидел сцену, которая привела его в восторг, как романиста, и ущемила за сердце, как голодного. Надежда пообедать в обществе Франческо Бутронца канула в воду, когда романист среди рамок, подрамников, безруких манекенов, мольбертов и стульев, увешанных полинялыми костюмами всех родов и веков, усмотрел своего друга, Франческо Бутрон-

ца… Франческо Бутронца, в шляпе a la Vandic и в костюме Петра Амьенского, стоял на табурете, неистово махал муштабелем и гремел. Он был более чем ужасен. Одна нога его стояла на табурете, другая на столе. Лицо его горело, глаза блестели, эспаньолка дрожала, волосы его стояли дыбом и каждую минуту, казалось, готовы были поднять его шляпу на воздух. В углу, прижавшись к статуе, изображающей безрукого, безносого, с большим угловатым отверстием на груди Аполлона, стояла жена горячего Франческо Бутронца, немочка Каролина, и с ужасом смотрела на лампу. Она была бледна и дрожала всем телом.

— Варвары! — гремел Бутронца. — Вы не любите, а душите искусство, чтобы черт вас взял! И я мог жениться на тебе, немецкая холодная кровь?! И я мог, глупец, свободного, как ветер, человека, орла, серну, одним словом, артиста, привязать к этому куску льда, сотканному из предрассудков и мелочей… Diablo!!![5] Ты — лед! Ты — деревянная, каменная говядина! Ты… ты дура! Плачь, несчастная, переваренная немецкая колбаса! Муж твой — артист, а не торгаш! Плачь, пивная бутылка! Это вы, Зинзага? Не уходите! Подождите! Я рад,

[5] Примечания: 5
Дьявол! *(исп.)*

что вы пришли… Посмотрите на эту женщину!

И Бутронца левой ногой указал на Каролину. Каролина заплакала.

— Полноте! — начал Зинзага. — Что вы ссоритесь, дон Бутронца? Что сделала вам донна Бутронца? Зачем вы доводите ее до слез? Вспомните вашу великую родину, дон Бутронца, вашу родину, страну, в которой поклонение красоте тесно связано с поклонением женщине! Вспомните!

— Я возмущен! — закричал Бутронца. — Вы войдите в мое положение! Я, как вам известно, принялся по предложению графа Барабанта-Алимонда за грандиозную картину… Граф просил меня изобразить ветхозаветную Сусанну… Я прошу ее, вот эту толстую немку, раздеться и стать мне на натуру, прошу с самого утра, ползаю на коленях, выхожу из себя, а она не хочет! Вы войдите в мое положение! Могу ли я писать без натуры?

— Я не могу! — зарыдала Каролина. — Ведь это неприлично!

— Видите? Видите? Это — оправдание, черт возьми?

— Я не могу! Честное слово, не могу! Велит мне раздеться да еще стать у окошка…

— Мне так нужно! Я хочу изобразить Сусанну

при лунном свете! Лунный свет падает ей на грудь… Свет от факелов сбежавшихся фарисеев бьет ей в спину… Игра цветов! Я не могу иначе!

— Ради искусства, донна, — сказал Зинзага, — вы должны забыть не только стыдливость, но и все… чувства!..

— Не могу же я пересилить себя, дон Зинзага! Не могу же я стать у окна напоказ!

— Напоказ… Право, можно подумать, донна Бутронца, что вы боитесь глаз толпы, которая, так сказать, если смотреть на нее… Точка зрения искусства и разума, донна… такова, что…

И Зинзага сказал что-то такое, чего умному человеку нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать, — что-то весьма приличное, но крайне непонятное.

Каролина замахала руками и забегала по комнате, как бы боясь, чтобы ее насильно не раздели.

— Я мою его кисти, палитры и тряпки, я пачкаю свои платья о его картины, я хожу на уроки, чтобы прокормить его, я шью для него костюмы, я выношу запах конопляного масла, стою по целым дням на натуре, все делаю, но… голой? голой? — не могу!!!

— Я разведусь с тобой, рыжеволосая гарпи-

гия! — крикнул Бутронца.

— Куда же мне деваться? — ахнула Каролина. — Дай мне денег, чтобы я могла доехать до Берлина, откуда ты увез меня, тогда и разводись!

— Хорошо! Кончу Сусанну и отправлю тебя в твою Пруссию, страну тараканов, испорченных колбас и трихины! — крикнул Бутронца, незаметно для самого себя толкая локтем в грудь Зинзагу. — Ты не можешь быть моей женой, если не можешь жертвовать собою для искусства! Вввв… Ррр… Диабло!

Каролина зарыдала, ухватилась за голову и опустилась на стул.

— Что ты делаешь? — заорал Бутронца. — Ты села на мою палитру!!

Каролина поднялась. Под ней действительно была палитра со свежеразведенными красками… О, боги! Зачем я не художник? Будь я художником, я дал бы Португалии великую картину! Зинзага махнул рукой и выскочил из 148 номера, радуясь, что он не художник, и скорбя всем сердцем, что он романист, которому не удалось пообедать у художника.

У дверей 147 номера его встретила бледная, встревоженная, дрожащая жилица ИЗ номера, жена будущего артиста королевских театров,

Петра Петрученца-Петрурио.

— Что с вами? — спросил ее Зинзага.

— Ах, дон Зинзага! У нас несчастье! Что мне делать? Мой Петр ушибся!

— Как ушибся?

— Учился падать и ударился виском о сундук.

— Несчастный!

— Он умирает! Что мне делать?

— К доктору, донна!

— Но он не хочет доктора! Он не верит в медицину и к тому же… он всем докторам должен.

— В таком случае сходите в аптеку и купите свинцовой примочки. Эта примочка очень помогает при ушибах.

— А сколько стоит эта примочка?

— Дешево, очень дешево, донна.

— Благодарю вас. Вы всегда были хорошим другом моего Петра! У нас осталось еще немного денег, которые выручил он на любительском спектакле у графа Барабанта-Алимонда… Не знаю, хватит ли?.. Вы… вы не можете дать немного взаймы на эту оловянную примочку?

— Свинцовую, донна.

— Мы вам скоро отдадим.

— Не могу, донна. Я истратил свои последние деньги на покупку трех стоп бумаги.

— Прощайте!

— Будьте здоровы! — сказал Зинзага и поклонился.

Не успела отойти от него жена будущего артиста королевских театров, как он увидел пред собою жилицу 101 номера, супругу опереточного певца, будущего португальского Оффенбаха, виолончелиста и флейтиста Фердинанда Лай.

— Что вам угодно? — спросил он ее.

— Дон Зинзага, — сказала супруга певца и музыканта, ломая руки, — будьте так любезны, уймите моего буяна! Вы друг его… Может быть, вам удастся остановить его. С самого утра бессовестный человек дерет горло и своим пением жить мне не дает! Ребенку спать нельзя, а меня он просто на клочки рвет своим баритоном! Ради бога, дон Зинзага! Мне соседей даже стыдно за него… Верите ли? И соседские дети не спят по его милости. Пойдемте, пожалуйста! Может быть, вам удастся унять его как-нибудь.

— К вашим услугам, донна!

Зинзага подал жене певца и музыканта руку и отправился в 101 номер. В 101 номере между кроватью, занимающею половину, и колыбелью, занимающею четверть номера, стоял пюпитр. На пюпитре лежали пожелтевшие ноты, а в но-

ты глядел будущий португальский Оффенбах и пел. Трудно было сразу понять, что и как он пел. Только по вспотевшему, красному лицу его и по впечатлению, которое производил он на свои и чужие уши, можно было догадаться, что он пел и ужасно, и мучительно, и с остервенением. Видно было, что он пел и в то же время страдал. Он отбивал правой ногой и кулаком такт, причем поднимал высоко руку и ногу, постоянно сбивал с пюпитра ноты, вытягивал шею, щурил глаза, кривил рот, бил кулаком себя по животу… В колыбели лежал маленький человечек, который криком, визгом и писком аккомпанировал своему расходившемуся папаше.

— Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? — спросил Лая вошедший Зинзага.

Лай не слышал.

— Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? — повторил Зинзага.

— Уберите его отсюда! — пропел Лай и указал подбородком на колыбель.

— Что это вы разучиваете? — спросил Зинзага, стараясь перекричать Лая. — Что вы разу-чива-ете?

Лай поперхнулся, замолк и уставил глаза на Зинзагу.

— Вам что угодно? — спросил он.

— Мне? Гм... Я... то есть... не пора ли вам отдохнуть?

— А вам какое дело?

— Но вы утомились, дон Лай! Что это вы разучиваете?

— Кантату, посвященную ее сиятельству графине Барабанта-Алимонда. Впрочем, вам какое дело?

— Но уже ночь... Пора, некоторым образом, спать...

— Я должен петь до десяти часов завтрашнего утра. Сон нам ничего не даст. Пусть спят те, кому угодно, а я для блага Португалии, а может быть и всего света, не должен спать.

— Но, мой друг, — вмешалась жена, — мне и ребенку нашему хочется спать! Ты так громко кричишь, что нет возможности не только спать, но даже сидеть в комнате!

— Коли захочешь, так заснешь!

Сказавши это, Лай ударил ногой такт и запел.

Зинзага заткнул уши и как сумасшедший выскочил из 101 номера. Пришедши в свой номер, он увидел умилительную картину. Его Амаранта сидела за столом и переписывала начисто одну из его повестей. Из ее больших глаз капали на

черновую тетрадку крупные слезы.

— Амаранта! — крикнул он, хватая жену за руку. — Неужели жалкий герой моей жалкой повести мог тронуть тебя до слез? Неужели, Амаранта?

— Нет, я плачу не над твоим героем…

— Чего же? — спросил разочарованный Зинзага.

— Моя подруга, жена твоего друга-скульптора, Софья Фердра-бантеро-Неракруц-Розга, разбила статую, которую готовил ее муж для поднесения графу Барабанта-Алимонда, и… не перенесла горя мужа… Отравилась спичками!

— Несчастная… статуя! О, жены, чтобы черт вас взял, вместе с вашими всезацепляющими шлейфами! Она отравилась? Черт возьми, тема для романа!!! Впрочем, мелка!.. Все смертно на этом свете, мой друг… Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, твоя подруга, все одно, должна была умереть… Утри свои слезы и лучше, чем плакать, выслушай меня…

— Тема для нового романа? — спросила тихо Амаранта.

— Да…

— Не лучше ли будет, мой друг, если я выслушаю тебя завтра утром? Утром мозги свежей

как-то…

— Нет, сегодня выслушай. Завтра мне будет некогда. Приехал в Лиссабон русский писатель Державин, и мне нужно будет завтра утром сделать ему визит. Он приехал вместе с твоим любимым… к сожалению, любимым, Виктором Гюго.

— Да?

— Да… Выслушай же меня!

Зинзага сел против Амаранты, откинул назад голову и начал:

— Место действия весь свет… Португалия, Испания, Франция, Россия, Бразилия и т. д. Герой в Лиссабоне узнает из газет о несчастии с героиней в Нью-Йорке. Едет. Его хватают пираты, подкупленные агентами Бисмарка. Героиня — агент Франции. В газетах намеки… Англичане. Секта поляков в Австрии и цыган в Индии. Интриги. Герой в тюрьме. Его хотят подкупить. Понимаешь? Далее…

Зинзага говорил увлекательно, горячо, махая руками, сверкая глазами… говорил долго, долго… ужасно долго!

Амаранта два раза засыпала и два раза просыпалась, на улицах потушили фонари и взошло солнце, а он все говорил. Пробило шесть часов,

желудок Амаранты ущемила тоска по утреннем чае, а он все говорил.

— Бисмарк подает в отставку, и герой, не желая долее скрывать своего имени, называет себя Альфонсо Зунзуга и умирает в страшных муках. Тихий ангел уносит в голубое небо его тихую Душу…

Так кончил Зинзага, когда пробило семь часов.

— Ну? — спросил он Амаранту. — Что скажешь? Не находишь ли ты, что сцену между Альфонсо и Марией не пропустит цензура? А?

— Нет, сценка мила!

— Вообще хорошо? Ты говори откровенно. Ты женщина, а большинство моих читателей — женщины, потому мне необходимо знать твое мнение.

— Как тебе сказать? Мне кажется, что я твоего героя где-то уже встречала, не помню только, где именно…

— Не может быть!

— Право. С твоим героем я встречалась в одном романе, и, надо тебе сказать, в глупейшем романе! Когда читала этот роман, я удивлялась, как это могут печатать подобную чушь, а когда прочла его, то решила, что автор должен быть, по меньшей мере, глуп как пробка… Чушь печатают,

а тебя мало печатают. Удивительно!

— Не припомнишь ли хотя название этого романа?

— Названия не помню, но имя героя помню. Это имя врезалось мне в память, потому что имеет в себе четыре «р» подряд… Глупое имя… Карррро!

— Не в романе ли «Сомнамбула среди океана»?

— Да, да, да, в этом самом. Как хорошо ты помнишь нашу литературу! В этом самом… Твой герой очень похож на Карррро, но твой, разумеется, умней. Что с тобой, Альфонсо?

Альфонсо вскочил.

— «Сомнамбула среди океана» — мой роман!!! — крикнул он. Амаранта покраснела.

— Значит, это мой роман глупейший, мой? — крикнул он так громко, что даже у Амаранты заболело горло. — Ах ты, безмозглая утка! Так-то вы, сударыня, смотрите на мои произведения? Так-то, ослица? Проговорились? Больше меня уж вы не увидите! Прощайте! Гм… бррр… идиотка! Мой роман глупейший?! Граф Барабанта-Алимонда знал, что издавал!

Бросив презрительный взгляд на жену, Зинзага нахлобучил на глаза шляпу, хлопнул дверью и вышел из 147 номера.

Амаранта вздохнула, но не заплакала и в обмо-

рок не упала. Она знала, что Альфонсо Зинзага воротится в 147 номер, как бы сильно ни был сердит. Оставить навсегда 147 номер для романиста значит то же самое, что начать жить, а следовательно, и писать и иметь даровую переписчицу на лиссабонских бульварах, под голубым португальским небом. Это знала Амаранта и не сильно волновалась по уходе супруга. Она только вздохнула и принялась утешать себя. Обыкновенно после частых ссор с мужем она утешала себя чтением старого газетного листка, который хранился у нее в жестяной коробочке из-под монпансье, рядом с крошечной бутылочкой из-под духов. Старый газетный листок между объявлениями, телеграммами, политикой, хроникой и другими рук человеческих делами заключал в себе перл, известный в газетах под именем смеси. В этой смеси, под рассказом о том, как американец перехитрил американца и как известная певица мисс Дубадолла Свист съела бочку устриц и прошла, не замочив ботинок, Анды, помещался рассказец, весьма годный для утешения Амаранты и других жен артистов. Привожу дословно этот рассказ:

«Вниманию португальцев и их дочерей. В одном из городов Америки, открытой Христофором Колумбом, человеком крайне энергичным и

отважным, жил-был себе доктор Таннер. Этот Таннер был более артистом в своем роде, чем ученым, а потому известен земному шару и Португалии не как ученый, а как артист в своем роде. Будучи американцем, он в то же самое время был и человеком, а если он был человеком, то рано или поздно он должен был влюбиться, что и сделал он однажды. Влюбился он в одну прекрасную американку, влюбился до безумия, как артист, влюбился до того, что однажды вместо aquae distillatae[6] прописал argentum nitricum[7], — влюбился, предложил руку и женился. Жил он с прекрасной американкой на первых порах весьма счастливо, так счастливо, что медовый месяц[8] тянулся, вопреки естеству этого месяца, не месяц, а шесть месяцев[9]. Нет сомнения, что Таннер, будучи человеком ученым, а следовательно, и самым уживчивым, прожил бы с женой счастливо до самой могилы, если бы не усмотрел

---

[6] Примечания: 6
Дистиллированная вода *(лат.).*

[7] Примечания: 7
Ляпис *(лат.).*

[8] Примечания: 8
Медовый месяц меньше лунного. Содержит он в себе 20 дней, 5 часов, 15 минут, 16 секунд. — *Примеч. переводчика.*

[9] Примечания: 9
Невероятно! — *Примеч. переводчика.*

за нею одного страшного порока. Порок madame Таннер заключался в том, что она ела по-человечески. Этот порок жены кольнул Таннера в самое сердце. «Я перевоспитаю ее!» — задал он себе задачу и начал развивать m-me Таннер. Сперва отучил он ее завтракать и ужинать, потом чай пить. Через год после свадьбы m-me Таннер приготовляла к обеду уже не четыре, а только одно блюдо, через два же года после подписания свадебного контракта она умела уже довольствоваться баснословным количеством пищи.

А именно, в одни сутки поедала и выпивала она следующее количество питательных веществ:

1 gr. солей
5 gr. белковых веществ
2 gr. жира
7 gr. воды (дистиллированной)
$^{1}/_{23}$ gr. венгерского вина.
Итого $15^{1}/_{23}$ гран.

Газов мы не считаем, потому что наука еще не в состоянии точно определять количество потребляемых нами газов. Таннер торжествовал, но недолго. На четвертый год его брачной жизни его начала терзать мысль, что m-me Таннер поедает много белковых веществ. Он еще с большей энергией принялся за дрессировку и, пожалуй,

достиг бы сокращения 5 гран до одного или нуля, если бы не почувствовал, что он разлюбил свою жену. Будучи эстетиком, он не мог не разлюбить своей жены. M-me Таннер, вместо того чтобы до глубокой старости быть американской красавицей, вздумала ни с того ни с сего обратиться в подобие американской щепки, лишиться своих прекрасных форм и умственных способностей, чем и показала, что она хотя и годится еще для дальнейших дрессировок, но стала уже совершенно негодной для супружеской жизни. D-r Таннер потребовал развода. Явились в его дом ученые эксперты, осмотрели со всех сторон m-me Таннер, посоветовали ей ехать на воды, делать гимнастику, прописали ей диету и нашли требование своего уважаемого коллеги вполне законным. D-r Таннер дал своим коллегам-экспертам по доллару, угостил их хорошим завтраком и… с этих пор Таннер живет в одном месте, а жена его в другом. Печальная история! Женщины, как часто вы бываете причиною несчастий великих людей! Женщины, не вы ли виновницы того, что великие люди очень часто не оставляют после себя потомства? Португальцы, на вашей совести лежит воспитание ваших дочерей! Не делайте из ваших дочерей разорительниц домашних

очагов и гнезд!! Мы кончили. Завтрашний номер, по случаю дня рождения редактора, не выйдет. Португальцы!

Кто из вас не взнес подписных денег сполна, тот пусть поспешит доплатить!»

— Бедная m-me Таннер! — прошептала Амаранта, пробежав этот рассказец. — Бедная! Как она несчастлива! О, как я счастлива сравнительно с нею! Как я счастлива!

Амаранта, обрадованная тем, что есть на этом свете люди несчастнее ее, старательно сложила газетный лист, положила его в коробочку и, радуясь, что она не m-me Таннер, разделась и легла спать.

Спала она до тех пор, пока не разбудил ее ужаснейший голод в лице Альфонсо Зинзаги.

— Я хочу есть! — сказал Зинзага. — Оденься, моя дорогая, и ступай к своей madre за деньгами. A propos[10]: я извиняюсь перед тобой. Я был неправ. Я сейчас только узнал от русского писателя Державина, который приехал вместе с Аермантофф, другим русским писателем, что есть два романа, совершенно не похожие друг на друга и носящие одно и то же имя: «Сомнамбула

---

[10] Примечания: 10
Кстати *(франц.).*

среди океана». Иди, мой друг!

И Зинзага рассказал Амаранте, пока она одевалась, один случай, который он намерен описать, сказав между прочим, мимоходом, что описание этого, трогающего за душу и тело, случая потребует у нее некоторой жертвы.

— Жертва, мой друг, будет невелика! — сказал он. — Ты должна будешь писать это описание под мою диктовку, что отнимет у тебя не более семи-восьми часов, и переписать его начисто и между прочим, этак мимоходом, изложить на бумаге и свое мнение относительно всех моих произведений… Ты женщина, а большинство моих читателей составляют женщины…

Зинзага немножко солгал. Не большинство, а всех его читателей составляла одна только женщина, потому что Амаранта была не «женщины», а только всего «женщина».

— Согласна?

— Да, — сказала тихо Амаранта, побледнела и упала без чувств на растрепанный, вечно валяющийся, пыльный энциклопедический словарь…

— Удивительный народ эти женщины! — воскликнул Зинзага. — Прав был я, когда назвал женщину в «Тысяче огней» существом, которое вечно будет загадкой и удивлением для рода

человеческого! Малейшая радость способна повалить ее на пол! О, женские нервы!

И счастливый Зинзага опустился на колено перед несчастной Амарантой и поцеловал ее в лоб…

Такие-то дела, читательницы!

Знаете что, девицы и вдовы? Не выходите вы замуж за этих артистов! «Цур им и пек, этим артистам!», как говорят хохлы. Лучше, девицы и вдовы, жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре, чем жить в самом лучшем номере «Ядовитого лебедя», с самым лучшим протеже графа Барабанта-Алимонда.

Право, лучше!

Петров день

Наступило утро желанного, давно снившегося дня, наступило — урааа, господа охотники!! — 29 июня… Наступил день, в который забываются долги, жучки, дорогие харчи, тещи и даже молодые жены, — день, в который г. урядник, запрещающему стрелять, можно показать двадцать кукишей…

Побледнели и затуманились звезды… Кое-где послышались голоса… Из деревенских труб повалил сизый, едкий дым. На серой колокольне показался не совсем еще проснувшийся пономарь и ударил к обедне… Послышалось храпенье растянувшегося под деревом ночного сторожа. Проснулись щуры, закопошились, залетали с одного конца сада на другой и подняли свое невыносимое, надоедливое чириканье… В терновнике запела иволга… Над людской кухней засуетились скворцы и удоды… Начался даровой утренний концерт…

К развалившемуся, живописно обросшему колючей крапивой крыльцу дома отставного гвардии корнета Егора Егорыча Обтем-перанского подъехали две тройки. В доме и во дворе

поднялась страшная кутерьма. Все живущее вокруг Егора Егорыча заходило, забегало и застучало по всем лестницам, сараям и конюшням… Переменили одного коренного. У кучеров слетели с голов картузы, у лакея, Катькина прихвостня, засиял под носом красный фонарь, кухарок назвали «стервозами», послышалось имя сатаны и аггелов[11] его… В пять минут тарантасы наполнились коврами, полостями, кульками с провизией, ружейными чехлами.

— Готово-с! — пробасил Аввакум.

— Пожалуйте! Готово! — крикнул сладеньким голоском Егор Егорыч, и на крыльце показалась многочисленная публика. Первый вскочил в тарантас молодой доктор. За ним вполз архангельский мещанин Кузьма Больва, старичок в сапогах без каблуков, в рыжем цилиндре, с двадцатипятифунтовой двустволкой и с желто-зелеными пятнами на шее. Больва — плебей, но гг. помещики, из уважения к его преклонным летам (он родился в конце прошлого столетия) и уменью попадать в подброшенный двугривенный, не брезгуют его плебейством и берут с собой на охоту.

---

[11] Примечания: 11
Ангелов.

— Пожалуйте, ваше превосходительство! — обратился Егор Егорыч к маленькому седому толстячку в белом со светлыми пуговицами кителе и с аннинским крестом на шее. — Подвиньтесь, доктор!

Отставной генерал крякнул, стал одной ногой на подножку и, поддерживаемый Егором Егорычем, толкнул животом доктора и грузно уселся возле Больвы. За генералом вскочили генеральский щенок Тщетный и легавый Егора Егорыча, Музыкант.

— М-м-м… того, братец… Ваня! — обратился генерал к своему племяннику, юноше-гимназисту с длинной одностволкой через спину. — Ты можешь сесть здесь, возле меня. Иди сюда! Н-да… Вот здесь. Не шали, мой друг! Лошадь может испугаться!

Пустив еще раз в нос коренному табачного дыма, Ваня вскочил в тарантас, отодвинул Больву от генерала и, повертевшись, сел. Егор Егорыч перекрестился и сел рядом с доктором. На козлах, рядом с Аввакумом, примостился длинный и сухой преподаватель математики и физики в Ваниной гимназии, г. Манже.

Первый тарантас наполнился. Началась нагрузка второго тарантаса.

— Готово! — крикнул Егор Егорыч, когда во второй тарантас, после долгих споров и беганья вокруг и около, поместились остальные восемь человек и три собаки.

— Готово! — крикнули гости.

— Ну? Итак, значит, трогать, ваше превосходительство? Господи благослови, — трогай, Аввакумка!

Первый тарантас покачнулся и тронулся с места. Второй, вмещавший в себе самых ярых охотников, покачнулся, отчаянно скрипнул, взял немного в сторону и, очутившись впереди первого, покатил к воротам. Охотники улыбнулись все разом и захлопали от восторга в ладоши. Все почувствовали себя на седьмом небе, но… злая судьба!.. не успели они выехать со двора, как случился скандал…

— Стой! Подожди! Стой!!! — раздался сзади троек пронзительный тенор.

Охотники оглянулись и побледнели. За тройками гнался невыносимейший в мире человек, известный всей губернии скандалист, брат Егора Егорыча, отставной капитан 2-го ранга Михей Егорыч… Он отчаянно махал руками. Тройки остановились.

— Что тебе? — спросил Егор Егорыч.

Михей Егорыч подбежал к тарантасу, стал на подножку и замахнулся на Егора Егорыча. Охотники зашумели.

— Что такое? — спросил покрасневший Егор Егорыч.

— То такое, — закричал Михей Егорыч, — что ты Иуда, скотина, свинья!.. Свинья, ваше превосходительство! Ты отчего не разбудил меня? Отчего ты не разбудил меня, осел, я тебя спрашиваю, подлеца этакого? Позвольте, господа… Я ничего… Я его только поучить хочу! Ты почему не разбудил меня? Не хочешь брать с собой? Я помешаю тебе? Напоил меня вчера вечером нарочно и думал, что я просплю до двенадцати часов! Каков молодец! Позвольте, ваше превосходительство… Я его только раз… смажу… Позвольте!

— Чего вы лезете? — крикнул генерал, растопыривая руки. — Разве не видите, что нет места? Вы уж слишком… позволяете…

— Напрасно ты бранишься, Михей, — сказал Егор Егорыч. — Я не разбудил тебя потому, что тебе незачем ехать с нами… Ты не умеешь стрелять. Зачем тебе ехать? Мешать? Ведь ты не умеешь стрелять!

— Не умею? Не умею я стрелять? — закричал Михей Егорыч так громко, что даже Вольва за-

ткнул уши. — Но, в таком случае, за каким чертом доктор едет! Он тоже не умеет стрелять! Он лучше меня стреляет?

— Он прав, господа, — сказал доктор. — Я не умею стрелять, не умею ружья даже держать… Я терпеть не могу стрельбы… Я не знаю, зачем вы берете меня с собой… За каким дьяволом? Пусть он садится на мое место! Я остаюсь!.. Есть место, Михей Егорыч!

— Слышишь, слышишь? Зачем же ты его берешь?

Доктор поднялся с явным намерением вылезти из тарантаса. Егор Егорыч схватил доктора за фалду и потянул его вниз.

— Но… не рвите сюртука! Он тридцать рублей стоит… Пустите! И вообще, господа, я просил бы вас не беседовать со мной сегодня… Я не в духе и могу неприятностей наделать, сам того не желая. Пустите, Егор Егорыч! Садитесь на мое место, Михей Егорыч! Я спать пойду!

— Вы должны ехать, доктор! — сказал Егор Егорыч, не выпуская фалды. — Вы дали честное слово, что поедете!

— Это было вынужденное честное слово. Ну, для чего мне ехать, для чего?

— А для того, — запищал Михей Егорыч, — что-

бы вы не остались с его женой! Вот для чего! Он ревнует к вам, доктор. Не езжайте, голубчик! Назло не езжайте! Ревнует, ей-богу ревнует!

Егор Егорыч густо покраснел и сжал кулаки.

— Эй, вы! — крикнули с другого тарантаса. — Михей Егорыч, будет вам ерундить! Идите сюда, нашлось место!

Михей Егорыч ехидно улыбнулся.

— А что, акула? — сказал он. — Чья взяла? Слышал? Нашлось место! Назло поеду! Поеду и буду мешать! Честное слово, буду мешать! Ни черта не убьешь! А вы, доктор, не езжайте. Пусть лопнет от ревности.

Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками. Глаза его налились кровью.

— Негодяй! — сказал он, обращаясь к брату. — Ты не брат мне! Недаром прокляла тебя матушка покойница! Батюшка скончался во цвете лет чрез твое безнравственное поведение!

— Господа… — вмешался генерал. — Я полагаю… достаточно. Братья, рродные братья!

— Он родной осел, ваше превосходительство, а не брат! Не езжайте, доктор! Не езжайте!

— Трогай, чтобы черт побрал вас… А-а-а… Черт знает, что такое! Трогай! — крикнул генерал и ударил кулаком в спину Аввакума. — Тррогай!

Аввакум ударил по лошадям, и тройка тронулась с места. Во втором тарантасе писатель, капитан Кардамонов, взял себе на колени двух собак, а на их место усадил ретивого Михея Егорыча.

— Счастье его, что нашлось место! — сказал Михей Егорыч, усаживаясь в тарантасе, — а то бы я его… Опишите-ка этого разбойника, Кардамонов!

Кардамонов послал в прошлом году в «Ниву» статью под заглавием: «Интересный случай многоплодия среди крестьянского народонаселения», прочел в почтовом ящике неприятный для авторского самолюбия ответ, пожаловался соседям и прослыл писателем.

Согласно предначертанному плану действий, решено было ехать прежде всего на крестьянский сенокос, находящийся в семи верстах от имения Егора Егорыча, — ехать на перепелов. Приехавши на сенокос, охотники вылезли из тарантасов и разделились на две группы. Одна группа, имея во главе генерала и Егора Егорыча, направилась направо; другая, с Кардамоновым во главе, пошла налево. Больва отстал и пошел сам по себе. На охоте он любил тишину и молчание. Музыкант с лаем побежал вперед и через минуту согнал перепела. Ваня выстрелил и не попал.

— Высоко взял, черт возьми! — проворчал он. Щенок Тщетный, взятый «приучаться», услышав первый раз в жизни выстрел, залаял и, поджав хвост, побежал к тарантасам. Манже выстрелил в жаворонка и попал.

— Нравится мне эта птичка! — сказал он, показывая доктору жаворонка.

— Проваливайте… — сказал тот. — Вообще я просил бы вас не беседовать со мною… Я сегодня не в духе. Отойдите от меня!

— Вы скептик, доктор!

— Я-то? Гм… А что значит скептик?

Манже задумался.

— Скептик значит человеко… человеко… нелюбец, — сказал он.

— Врете. Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете. Отойдите от меня! Я могу наделать неприятностей, сам того не желая… Я не в духе…

Музыкант сделал стойку. Генерал и Егор Егорыч побледнели и притаили дыхание.

— Я выстрелю! — прошептал генерал. — Я… я… позвольте! Вы во второй раз уж того…

Но не удалась стойка. Доктор от нечего делать пустил камешком в Музыканта и попал между ушей… Музыкант взвизгнул и подскочил. Генерал и Егор Егорыч оглянулись. В траве послышался

шорох и взлетел крупный стрепет. Во второй группе зашумели и указали на стрепета. Генерал, Манже и Ваня прицелились. Ваня выстрелил, у Манже осеклось… Поздно было! Стрепет полетел за курган и опустился в рожь.

— Полагаю, доктор, что… не время теперь шутить! — обратился генерал к доктору. — Не время-с!

— А?

— Не время теперь шутить.

— Я не шучу.

— Неловко, доктор! — заметил Егор Егорыч.

— Не брали бы… Кто вас просил брать меня? Впрочем… не желаю объясняться… Я не в духе сегодня…

Манже убил другого жаворонка. Ваня согнал молодого грача, выстрелил и не попал.

— Высоко взял, черт возьми! — проворчал он.

Послышались два подряд выстрела: Вольва уложил за курганом своей тяжелой двустволкой двух перепелов и положил их в карман. Егор Егорыч согнал перепела и выстрелил. Подстреленная перепелка упала в траву. Торжествующий Егор Егорыч поднял ее и поднес генералу.

— В крылышко, ваше превосходительство! Жива еще-с!

— Н-да… Жива… Надо предать скорой смерти.

Сказавши это, генерал поднес перепелку ко рту и клыками перегрыз ей горло. Манже убил третьего жаворонка. Музыкант сделал другую стойку. Генерал сбросил с головы фуражку, навел ружье… «Пиль!» Взлетел крупный перепел, но… мерзавец доктор торчал как раз в области выстрела, почти перед дулом!

— Прочь! — крикнул генерал.

Доктор отскочил, генерал выстрелил, и, разумеется, дробь опоздала.

— Это низко, молодой человек! — крикнул генерал.

— Что такое? — спросил доктор.

— Вы мешаете! Черт вас просит мешать! По вашей милости я промахнулся! Черт знает что такое — из рук вон!

— Да вы-то чего кричите? Пфф… не боюсь! Я генералов не боюсь, ваше превосходительство, а в особенности отставных. Потише, пожалуйста!

— Удивительный человек! Ходит и мешает, ходит и мешает, — ангел выйдет из терпения!

— Не кричите, пожалуйста, генерал! Кричите вот на Манже! Он, кстати, боится генералов. Хорошему охотнику никто не помешает. Скажите лучше, что стрелять не умеете!

— Довольно-с! Вам слово — вы десять… Ваничка, дай-ка сюда пороховницу! — обратился генерал к Ване.

— Для чего ты пригласил на охоту этого бурбона? — спросил доктор Егора Егорыча.

— Нельзя, брат! — ответил Егор Егорыч. — Нельзя было не взять. Ведь я ему того… восемь тысяч… Э-хе-хе, братец! Не будь этих проклятых долгов…

Егор Егорыч не договорил и махнул рукою.

— Правда, что ты ревнуешь?

Егор Егорыч отвернулся и прицелился в высоко летевшего коршуна.

— Ты его потерял, молокосос! — раздался громовый голос генерала. — Ты потерял его! Он сто рублей стоит, поросенок!

Егор Егорыч подошел к генералу и осведомился, в чем дело. Оказалось, что Ваня потерял генеральский патронташ. Начались поиски за патронташем, и охота была прервана. Поиски продолжались час с четвертью и увенчались успехом. Нашедши патронташ, охотники сели отдохнуть.

Во второй группе перепелиная охота была тоже не совсем удачна. В этой группе Михей Егорыч был тем же, чем доктор в первой, даже хуже. Он выбивал из рук ружья, бранился, бил собак,

рассыпал порох, словом — выделывал черт знает что… После неудачных выстрелов по перепелам, Кардамонов со своими собаками погнался за молодым коршуном. Коршуна подстрелили и не нашли. Капитан 2-го ранга убил камнем суслика.

— Господа, давайте анатомировать суслика! — предложил письмоводитель предводителя дворянства, Некричихвостов.

Охотники сели на траву, вынули перочинные ножи и занялись анатомией.

— Я в этом суслике ничего не нахожу, — сказал Некричихвостов, когда суслик был изрезан на мелкие кусочки. — Даже сердца нет. Вот кишки так есть. Знаете что, господа? Поедемте-ка на болота! Что мы тут можем убить? Перепела — не дичь; то ли дело кулички, бекасы… А? Едем!

Охотники поднялись и лениво направились к тарантасам. Приближаясь к тарантасам, они сделали залп по свойским голубям и убили одного.

— Ваше превосх… Егорыгорч! Ваше… Егорч… — закричала вторая группа, увидев отдыхающую первую. — Ау, ау!

Генерал и Егор Егорыч оглянулись. Вторая группа замахала фуражками.

— Зачем? — крикнул Егор Егорыч.

— Дело есть! Дрохву убили! Скорей сюда!

Первая группа дрохве не поверила, но к тарантасам пошла. Усевшись в тарантасы, охотники порешили оставить перепелов в покое и согласно маршруту проехать еще пять верст — к болотам.

— Я ужасно горяч на охоте, — обратился генерал к доктору, когда тройки отъехали версты на две от сенокоса. — Ужасно! Отца родного не пощажу. Уж вы того… извините старику!

— Гм…

— Каким добряком, шельмец, стал! — шепнул Егор Егорыч доктору на ухо. — Что значит мода пошла дочек за докторов отдавать! Хитер его превосходительство! Хе-хе-хе…

— А просторней стало! — заметил Ваня.

— Да.

— Отчего бы это? Совсем просторно…

— Господа, а Больва где? — хватился Манже.

Охотники посмотрели друг на друга.

— Где Больва? — повторил Манже.

— Должно быть, на той тройке. Господа, — крикнул Егор Егорыч, — Больва с вами?

— Нет, нету! — крикнул Кардамонов.

Охотники задумались.

— Ну, черт с ним! — порешил генерал. — Не ворочаться же за ним!

— Надо бы, ваше превосходительство, воротить-

ся. Слаб уж очень! Без воды умрет. Не дойдет.

— Захочет, так дойдет.

— Умрет старичок. Ведь ему девяносто!

— Пустяки.

Подъехав к болотам, наши охотники вытянули физиономии… Болота были запружены охотниками, и вылезать из тарантасов поэтому не стоило. Немного подумав, охотники порешили проехать еще пять верст, к казенным лесам.

— Кого же вы там стрелять будете? — спросил доктор.

— Дроздов, орлиц… Ну, тетеревов.

— Так-с. Ну, а что поделывают теперь мои несчастные больные? И зачем вы меня взяли с собой, Егор Егорыч? Эх!

Доктор вздохнул и почесал затылок. Подъехав к первому попавшемуся леску, охотники повылезли из тарантасов и начали совещаться: кому идти направо и кому налево?

— Знаете что, господа? — предложил Некричихвостов. — В силу того закона, так сказать, в некотором роде природы, что дичь от нас не уйдет… Гм… Дичь от нас не уйдет, господа! Давайте-ка прежде всего подкрепимся! Винца, водочки, икорки… балычка… Вот тут, на травке! Вы какого мнения, доктор? Вам лучше это знать: вы доктор.

Ведь нужно подкрепиться?

Предложение Некричихвостова было принято. Аввакум и Фире разостлали два ковра и разложили вокруг них кульки со свертками и бутылками. Егор Егорыч порезал колбасу, сыр, балык, Некричихвостов раскупорил бутылки, Манже нарезал хлеба… Охотники облизнулись и возлегли.

— Ну-с, ваше превосходительство! По маленькой…

Охотники выпили и закусили. Доктор тотчас же налил себе другую и выпил. Ваня последовал его примеру.

— А ведь тут, надо полагать, и волки есть, — глубокомысленно заметил Кардамонов, посматривая искоса на деревья.

Охотники подумали, поговорили и минут через десять порешили, что волков, надо полагать, нет.

— Ну-с? По другой? Пропустим-ка! Егор Егорыч, вы чего смотрите?

Выпили по другой.

— Молодой человек! — обратился Егор Егорыч к Ване. — Вы-то чего думаете?

Ваня замотал головой.

— Но при мне можешь, — сказал генерал. — Без меня не пей, но при мне… Выпей немножко!

Ваня налил рюмку и выпил.

— Ну-с? По третьей? Ваше превосходительство…

Выпили по третьей. Доктор выпил шестую.

— Молодой человек!

Ваня замотал головой.

— Пейте, Амфитеатров! — сказал покровительственным тоном Манже.

— При мне можешь, но без меня… Выпей немного!

Ваня выпил.

— Чего это небо сегодня такое синее? — спросил Кардамонов.

Охотники подумали, потолковали и через четверть часа порешили, что неизвестно, отчего это небо сегодня такое синее.

— Заяц… заяц… заяц!!! Держи!!!

За бугром показался заяц. За ним гнались две дворняги. Охотники повскакали и ухватились за ружья. Заяц пролетел мимо, помчался в лес, увлекая за собой дворняг, Музыканта и других собак. Тщетный подумал, посмотрел подозрительно на генерала и тоже помчался за зайцем.

— Крупный!.. Вот его бы того… Как это мы… прозевали?

— Да. Чего же эта бутылка тут того… Это вы

не выпили, ваше высокопревосходительство? Э-э-э-э… Так вот вы как? Хо-ро-шо-с!

Выпили по четвертой. Доктор выпил девятую, с остервенением крякнул и отправился в лес. Выбрав самую широкую тень, он лег на травку, подложил под голову сюртук и тотчас же захрапел. Ваню развезло. Он выпил еще рюмочку, принялся за пиво, и в нем взыграла душа. Он стал на колени и продекламировал 20 стихов из Овидия.

Генерал заметил, что латинский язык очень похож на французский… Егор Егорыч согласился с ним и добавил, что при изучении французского языка необходимо знать похожий на него латинский. Манже не согласился с Егором Егорычем, заметив, что не место толковать там про языки, где сидит физико-математик и стоит так много бутылок, добавив, что ружье его прежде дорого стоило, что теперь нельзя найти хорошего ружья, что…

— По восьмой, господа?

— Не много ли будет?

— Ну-у-у… Что вы! Восемь, и много?! Вы, значит, не пили никогда!

Выпили по восьмой.

— Молодой человек!

Ваня замотал головой.

— Полно! Ну-ка, по-военному! Вы так хорошо стреляете…

— Выпейте, Амфитеатров! — сказал Манже.

— При мне пей, но без меня… Выпей немного!

Ваня отставил в сторону пиво и выпил еще рюмочку.

— По девятой, господа, а? Какого мнения? Терпеть не могу числа восемь. Восьмого числа у меня умер отец… Федор… то есть, Иван… Егор Егорыч! Наливайте!

Выпили по девятой.

— Жарко, однако.

— Да, жарко, но это не помешает нам выпить по десятой!

— Но…

— Плевать на жару! Докажем, господа, стихиям, что мы их не боимся! Молодой человек! Покажите-ка пример… Пристыдите вашего дядюшку! Не боимся ни хлада, ни жары…

Ваня выпил рюмочку. Охотники крикнули «ура» и последовали его примеру.

— Солнечный удар может приключиться, — сказал генерал.

— Не может.

— Не может… при нашем климате? Гм…

— Однако бывали же случаи… Мой крестный умер от солнечного удара…

— Вы, доктор, как думаете? Может ли при нашем климате удар приключиться… солнечный, а? Доктор!

Ответа не последовало.

— Вам не приходилось лечить, а? Мы про солнечный… Доктор, где же доктор?

— Где доктор? Доктор!

Охотники посмотрели вокруг себя: доктора не было.

— Где же доктор? Исчезоша? Яко воск от лица огня! Ха-ха-ха.

— К Егоровой жене отправился! — ляпнул Михей Егорыч.

Егор Егорыч побледнел и уронил бутылку.

— К жене его отправился! — продолжал Михей Егорыч, кушая балык.

— Чего же вы врете? — спросил Манже. — Вы видели?

— Видел. Ехал мимо мужик на таратайке… ну, а он сел и уехал. Ей-богу. По одиннадцатой, господа?

Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками.

— Я спрашиваю: куда вы едете? — продолжал Михей Егорыч. — За клубникой, говорит. Рожки

шлифовать. Я, говорит, уж наставил рожки, а теперь шлифовать еду. Прощайте, говорит, милый Михей Егорыч! Кланяйтесь, говорит, свояку Егору Егорычу! И этак еще глазом сделал. На здоровье… хе-хе-хе.

— Лошадей!! — крикнул Егор Егорыч и, покачиваясь, побежал к тарантасу.

— Скорей, а то опоздаешь! — крикнул Михей Егорыч.

Егор Егорыч втащил на козлы Аввакума, вскочил в тарантас и, погрозив охотникам кулаком, покатил домой…

— Что же все это значит, господа? — спросил генерал, когда скрылась с глаз белая фуражка Егора Егорыча. — Он уехал… На чем же, черт возьми, я уеду? Он на моем тарантасе уехал! То есть не на моем, а на том, на котором мне нужно уехать… Это странно… Гм… Дерзко с его стороны…

С Ваней сделалось дурно. Водка, смешанная с пивом, подействовала как рвотное… Нужно было везти Ваню домой. После пятнадцатой охотники порешили тройку уступить генералу, с тем только условием, чтобы он, приехавши домой, немедленно выслал свежих лошадей за остальной компанией.

Генерал стал прощаться.

— Передайте ему, господа, — сказал он, — что… что так делают одне только свиньи.

— Вы, ваше превосходительство, векселя его протестуйте! — посоветовал Михей Егорыч.

— А? Векселя? Нда-с… Пора уже ему… Нужно честь знать… Я ждал, ждал и наконец утомился ждать… Скажите ему, что протест… Прощайте, господа! Прошу ко мне! А он свинья-с!

Охотники простились с генералом и положили его в тарантас рядом с заболевшим Ваней.

— Трогай!

Ваня и генерал уехали.

После восемнадцатой охотники отправились в лес и, постреляв немного в цель, улеглись спать. Перед вечером приехали за ними генеральские лошади. Фире вручил Михею Егорычу письмо с передачей «братцу». В этом письме была просьба, за неисполнение которой грозилось судебным приставом. После третьей (проснувшись, охотники повели новый счет) генеральские кучера уложили охотников в тарантасы и развезли их по домам.

Егор Егорыч, приехавши домой, был встречен Музыкантом и Тщетным, для которых заяц был только предлогом, чтобы удрать домой. Посмотрев грозно на свою жену, Егор Егорыч принялся

за поиски. Были обысканы все кладовые, шкафы, сундуки, комоды, — доктора не нашел Егор Егорыч. Он нашел другого: под женихой кроватью обрел он псаломщика Фортунатова…

Было уже темно, когда проснулся доктор… Поблуждав немного по лесу и вспомнивши, что он на охоте, доктор громко выругался и принялся аукать. Ответа на ауканье, разумеется, не последовало, и он порешил отправиться домой пешочком. Дорога была хорошая, безопасная, светлая. Двадцать четыре версты он отмахал в какие-нибудь четыре часа и к утру был уже в земской больнице. Побранившись всласть с фельдшерами, акушеркой и больными, он принялся сочинять огромнейшее письмо к Егору Егорычу. В этом письме требовалось «объяснение неблаговидных поступков», бранились ревнивые мужья и давалась клятва не ходить никогда более на охоту, — никогда! даже и двадцать девятого июня.

Темпераменты
(По последним выводам науки)

Сангвиник. Все впечатления действуют на него легко и быстро: отсюда, говорит Гуфеланд, происходит легкомыслие… В молодости он ЬёЬё[12] и Spitzbube[13]. Грубит учителям, не стрижется, не бреется, носит очки и пачкает стены. Учится скверно, но курсы оканчивает. Родителей не почитает. Когда богат, франтит; будучи же убогим, живет по-свински. Спит до двенадцати часов, ложится в неопределенное время. Пишет с ошибками. Для любви одной природа его на свет произвела: только тем и занимается, что любит. Всегда не прочь нализаться до положения риз; напившись вечером до зеленых чертиков, утром встает как встрепанный, с чуть заметной тяжестью в голове, не нуждаясь в «similia similibus curantur»[14]. Женится нечаянно. Вечно воюет

---

[12] Примечания: 12
Малыш *(франц.).*

[13] Примечания: 13
Плут *(нем.).*

[14] Примечания: 14
«Подобное лечится подобным» *(лат.).*

с тещей. С родней в ссоре. Врет напропалую. Ужасно любит скандалы и любительские спектакли. В оркестре он — первая скрипка. Будучи легкомысленен, либерален. Или вовсе никогда ничего не читает, или же читает запоем. Газеты любит и сам не прочь погазетничать. Почтовый ящик юмористических журналов выдуман исключительно для одних только сангвиников. Постоянен в своем непостоянстве. На службе он чиновник особых поручений или что-либо подобное. В гимназии преподает словесность. Редко дослуживается до действительного статского советника; дослужившись же, делается флегматиком и иногда холериком. Шалопаи, прохвосты и брандахлысты — сангвиники. Спать в одной комнате с сангвиником не рекомендуется: всю ночь анекдоты рассказывает, а за неимением анекдотов, ближних осуждает или врет. Умирает от болезней органов пищеварения и преждевременного истощения.

Женщина-сангвиник — самая сносная женщина, если она не глупа.

Холерик. Желчен и лицом желто-сер. Нос несколько крив, и глаза ворочаются в орбитах, как голодные волки в тесной клетке. Раздражителен. За укушение блохи или укол булавкой готов

разорвать на клочки весь свет. Когда говорит, брызжет и показывает свои коричневые или очень белые зубы. Глубоко убежден, что зимой «черт знает как холодно», а летом «черт знает как жарко…». Еженедельно меняет кухарок. Обедая, чувствует себя очень скверно, потому что все бывает пережарено, пересолено… Большею частью холостяк, а если женат, то запирает жену на замок. Ревнив до чертиков. Шуток не понимает. Все терпеть не может. Газеты читает только для того, чтобы ругнуть газетчиков. Еще во чреве матери был убежден в том, что все газеты врут. Как муж и приятель — невозможен; как подчиненный — едва ли мыслим; как начальник — невыносим и весьма нежелателен. Нередко, к несчастью, он педагог: преподает математику и греческий язык. В одной комнате спать с ним не советую: всю ночь кашляет, харкает и громко бранит блох. Услышав ночью пение котов или петухов, кашляет и дребезжащим голосом посылает лакея на крышу поймать и, во что бы то ни стало, задушить певца. Умирает от чахотки или болезней печени.

Женщина-холерик — черт в юбке, крокодил.

Флегматик. Милый человек (я говорю, разумеется, не про англичанина, а про российского флегматика). Наружность самая обыкновенная,

топорная. Вечно серьезен, потому что лень смеяться. Ест когда и что угодно; не пьет, потому что боится кондрашки, спит 20 часов в сутки. Непременный член всевозможных комиссий, заседаний и экстренных собраний, на которых ничего не понимает, дремлет без зазрения совести и терпеливо ожидает конца. Женится в 30 лет при помощи дядюшек и тетушек. Самый удобный для женитьбы человек: на все согласен, не ропщет и покладист. Жену величает душенькой. Любит поросеночка с хреном, певчих, все кисленькое и холодок. Фраза «Vanitas vanitatum et omnia vanitas»[15]выдумана флегматиком. Бывает болен только тогда, когда его избирают в присяжные заседатели. Завидев толстую бабу, кряхтит, шевелит пальцами и старается улыбнуться. Выписывает «Ниву» и сердится, что в ней не раскрашивают картинок и не пишут смешного. Пишущих считает людьми умнейшими и в то же время вреднейшими. Жалеет, что его детей не секут в гимназии, и сам иногда не прочь посечь. На службе счастлив. В оркестре он — контрабас, фагот, тромбон. В театре — кассир, лакей, суфлер

[15] Примечания: 15
«Суета сует и всяческая суета» *(лат.).*

и иногда pour manger[16] актер. Умирает от паралича или водянки.

Женщина-флегматик — это слезливая, пучеглазая, толстая, крупичатая, сдобная немка. Похожа на куль с мукою. Родится, чтобы со временем стать тещей. Быть тещей — ее идеал.

Меланхолик. Глаза серо-голубые, готовые прослезиться. На лбу и около носа морщинки. Рот несколько крив. Зубы черные. Склонен к ипохондрии. Вечно жалуется на боль под ложечкой, колотье в боку и плохое пищеварение. Любимое занятие — стоять перед зеркалом и рассматривать свой вялый язык. Думает, что слаб грудью и нервен, а потому ежедневно пьет вместо чая декокт и вместо водки — жизненный эликсир. С прискорбием и со слезами в голосе уведомляет своих ближних, что лавровишневые и валериановые капли ему уже не помогают… Полагает, что раз в неделю не мешало бы принимать слабительное. Давно уже порешил, что его не понимают доктора. Знахари, знахарки, шептуны, пьяные фельдшера, иногда повивальные бабки — первые его благодетели. Шубу надевает в сентябре, снимает в мае. В каждой собаке подо-

---

[16] Примечания: 16
Ради хлеба *(франц.).*

зревает водобоязнь, а с тех пор, как его приятель сообщил ему, что кошка в состоянии задушить спящего человека, видит в кошках непримиримых врагов человечества. Духовное завещание у него давно уже готово. Божится и клянется, что ничего не пьет. Изредка пьет теплое пиво. Женится на сиротке. Тещу, если она у него есть, величает прекраснейшей и мудрейшей особой; наставления ее выслушивает молча, склонив голову набок; целовать ее пухлые, потные, пахнущие огуречным рассолом руки считает своей священнейшей обязанностью. Ведет деятельную переписку с дяденьками, тетеньками, крестной мамашей и друзьями детства. Газет не читает. Читал когда-то «Московские ведомости», но, чувствуя при чтении этой газеты тяжесть под ложечкой, сердцебиение и муть в глазах, он бросил ее. Втихомолку читает Дебе и Жозана. Во время ветлянской чумы пять раз говел. Страдает слезотечением и кошмарами. На службе не особенно счастлив: далее помощника столоначальника не дотянет. Любит «Лучинушку». В оркестре он — флейта и виолончель. Вздыхает день и ночь, а потому спать с ним в одной комнате не советую. Предчувствует потопы, землетрясение, войну, конечное падение нравственности и собствен-

ную смерть от какой-нибудь ужасной болезни. Умирает от пороков сердца, лечения знахарей и зачастую от ипохондрии.

Женщина-меланхолик — невыносимейшее, беспокойнейшее существо. Как жена — доводит до отупения, до отчаяния и самоубийства. Тем только и хороша, что от нее избавиться нетрудно: дайте ей денег и спровадьте ее на богомолье.

Холерико-меланхолик. Во дни юности был сангвиником. Черная кошка перебежала дорогу, черт ударил по затылку, и сделался он холерико-меланхоликом. Я говорю о известнейшем, бессмертнейшем соседе редакции «Зрителя». Девяносто девять процентов славянофилов — холерико-меланхолики. Непризнанный поэт, непризнанный pater patriae[17], непризнанный Юпитер и Демосфен… и т. д. Рогатый муж. Вообще всякий крикливый, но не сильный.

---

[17] Примечания: 17
Отец отечества *(лат.).*

В вагоне

Почтовый поезд номер такой-то мчится на всех парах от станции «Веселый Трах-Тарарах» до станции «Спасайся, кто может!». Локомотив свистит, шипит, пыхтит, сопит… Вагоны дрожат и своими неподмазанными колесами воют волками и кричат совами. На небе, на земле и в вагонах тьма… «Что-то будет! что-то будет!» — стучат дрожащие от старости лет вагоны… «Огого-гого-о-о!» — подхватывает локомотив… По вагонам вместе с карманолюбцами гуляют сквозные ветры. Страшно… Я высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые: скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска и станционных огней не видно… Тьма, тоска, мысль о смерти, воспоминания детства… Боже мой!

— Грешен!! — шепчу я. — Ох, как грешен!..

Кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего, но все-таки ужасно… Я оборачиваюсь. Предо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и темно-серая блуза.

— Что вам угодно? — спрашиваю я его, ощупывая свои карманы.

— Ничего-с! Я в окно смотрю-с! — отвечает он, отдергивая руку и налегая мне на спину.

Слышен сиплый пронзительный свист… Поезд начинает идти все тише и тише и наконец останавливается. Выхожу из вагона и иду к буфету выпить для храбрости. У буфета теснится публика и поездная бригада.

— Гм… Водка, а не горько! — говорит солидный обер-кондуктор, обращаясь к толстому господину. Толстый господин хочет что-то сказать и не может: поперек горла остановился у него годовалый бутерброд.

— Жиндаррр!!! Жиндаррр!! — кричит кто-то на плацформе таким голосом, каким во время оно, до потопа, кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры… Иду посмотреть, в чем дело… У одного из вагонов первого класса стоит господин с кокардой и указывает публике на свои ноги. С несчастного, в то время когда он спал, стащили сапоги и чулки…

— В чем же я поеду теперь? — кричит он. — Мне до Ррревеля ехать! Вы должны смотреть!

Перед ним стоит жандарм и уверяет его, что «здесь кричать не приходится»… Иду в свой вагон № 224. В моем вагоне все то же: тьма, храп, табачный и сивушный запахи, пахнет русским духом.

Возле меня храпит рыженький судебный следователь, едущий в Киев из Рязани… В двух-трех шагах от следователя дремлет хорошенькая… Крестьянин, в соломенной шляпе, сопит, пыхтит, переворачивается на все бока и не знает, куда положить свои длинные ноги… Кто-то в углу закусывает и чамкает во всеуслышание… Под скамьями спит богатырским сном народ. Скрипит дверь. Входят две сморщенные старушонки с котомками на спинах…

— Сядем сюда, мать моя! — говорит одна. — Темень-то какая! Искушение да и только… Никак наступила на кого… А где Пахом?

— Пахом? Ах, батюшти! Где ж это он? Ах, батюшти!

Старушонка суетится, отворяет окно и осматривает плацформу.

— Пахо-ом! — дребезжит она. — Где ты? Пахом! Мы тутотко!

— У меня беда-а! — кричит голос за окном. — В машину не пущают!

— Не пущают? Который это не пущает? Плюнь! Не может тебя никто не пустить, ежели у тебя настоящий билет есть!

— Билеты уже не продают! Касс заперли!

По плацформе кто-то ведет лошадь. Топот и

фырканье.

— Сдай назад! — кричит жандарм. — Куда лезешь? Чего скандалишь?

— Петровна! — стонет Пахом.

Петровна сбрасывает с себя узел, хватает в руки большой жестяной чайник и выбегает из вагона. Бьет второй звонок. Входит маленький кондуктор с черными усиками.

— Вы бы взяли билет! — обращается он к старцу, сидящему против меня. — Контролер здесь!

— Да? Гм… Это нехорошо… Какой?.. Князь?

— Ну… Князя сюда и палками не загонишь…

— Так кто же? С бородой?

— Да, с бородой…

— Ну, коли этот, то ничего. Он добрый человек.

— Как хотите.

— А много зайцев едет?

— Душ сорок будет.

— Ннно? Моллодцы! Ай да коммерсанты!

Сердце у меня сжимается. Я тоже зайцем еду. Я всегда езжу зайцем. На железных дорогах зайцами называются гг. пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов. Хорошо, читатель, ездить зайцем! Зайцам полагается, по нигде еще не напечатанному тарифу, 75 % уступки, им не нужно толпиться около кассы,

вынимать ежеминутно из кармана билет, с ними кондуктора вежливее и… все что хотите, одним словом!

— Чтоб я заплатил когда-нибудь и что-нибудь!? — бормочет старец. — Да никогда! Я плачу кондуктору. У кондуктора меньше денег, чем у Полякова!

Дребезжит третий звонок.

— Ах, матушки! — хлопочет старушонка. — Где ж это Петровна? Ведь вот уж и третий звонок! Наказание божие… Осталась! Осталась бедная… А вещи ее тут… Што с вещами-то делать, с сумочкой? Родимые мои, ведь она осталась!

Старушонка на минуту задумывается.

— Пущай с вещами остается! — говорит она и бросает сумочку Петровны в окно.

Едем к станции Халдеево, а по путеводителю «Фрум — Общая Могила». Входят контролер и обер-кондуктор со свечой.

— Вашшш… билеты! — кричит обер-кондуктор.

— Ваш билет! — обращается контролер ко мне и к старцу.

Мы ежимся, сжимаемся, прячем руки и впиваемся глазами в ободряющее лицо обер-кондуктора.

— Получите! — говорит контролер своему спутнику и отходит. Мы спасены.

— Ваш билет! Ты! Ваш билет! — толкает обер-кондуктор спящего парня. Парень просыпается и вынимает из шапки желтый билетик.

— Куда же ты едешь? — говорит контролер, вертя между пальцами билет. — Ты не туда едешь!

— Ты, дуб, не туда едешь! — говорит обер-кондуктор. — Ты не на тот поезд сел, голова! Тебе нужно на Живодерово, а мы едем на Халдеево! Вааазьми! Вот не нужно быть никогда дураком!

Парень усиленно моргает глазами, тупо смотрит на улыбающуюся публику и начинает тереть рукавом глаза.

— Ты не плачь! — советует публика. — Ты лучше попроси! Такой здоровый болван, а ревешь! Женат небось, детей имеешь.

— Вашшш… билет!.. — обращается обер-кондуктор к косарю в цилиндре.

— Га?

— Вашшш… билеты! Поворачивайся!

— Билет? Нешто нужно?

— Билет!!!

— Понимаем… Отчего не дать, коли нужно? Даадим! — Косарь в цилиндре лезет за пазуху и со скоростью двух с половиною вершков в час

вытаскивает оттуда засаленную бумагу и подает ее контролеру.

— Кого даешь? Это паспорт! Ты давай билет!

— Другого у меня билета нету! — говорит косарь, видимо встревоженный.

— Как же ты едешь, когда у тебя нет билета?

— Да я заплатил.

— Кому ты заплатил? Что врешь?

— Кондухтырю.

— Какому?

— А шут его знает какому! Кондухтырю, вот и все… Не бери, говорил, билета, мы тебя и так провезем… Ну, я и не взял…

— А вот мы с тобой на станции поговорим! Мадам, ваш билет!

Дверь скрипит, отворяется, и, ко всеобщему нашему удивлению, входит Петровна.

— Насилу, мать моя, нашла свой вагон… Кто их разберет, все одинаковые… А Пахома так и не впустили, аспиды… Где моя сумочка?

— Гм… Искушение… Я тебе ее в окошко выбросила! Я думала, что ты осталась!

— Куда бросила?

— В окно… Кто ж тебя знал?

— Спасибо… Кто тебя просил? Ну да и ведьма, прости господи! Что теперь делать? Своей не

бросила, паскуда… Морду бы свою ты лучше выбросила! Аааа… штоб тебе повылазило!

— Нужно будет со следующей станции телеграфировать! — советует смеющаяся публика.

Петровна начинает голосить и нечестиво браниться. Ее подруга держится за свою суму и также плачет. Входит кондуктор.

— Чьи веш-ш-ш… чи! — выкрикивает он, держа в руках вещи Петровны.

— Хорошенькая! — шепчет мне мой vis-a-vis старец, кивая на хорошенькую. — Гм-м-м… хорррошенькая… Черт подери, хлороформу нет! Дал бы ей понюхать, да и целуй во все лопатки! Благо все спят!..

Соломенная шляпа ворочается и во всеуслышание сердится на свои непослушные ноги.

— Ученые… — бормочет он. — Ученые… Небось, против естества вещей и предметов не пойдешь!.. Ученые… гм… Небось, не сделают так, чтоб ноги можно было отвинчивать и привинчивать по произволению!

— Я тут ни при чем… Спросите товарища прокурора! — бредит мой сосед-следователь.

В дальнем углу два гимназиста, унтер-офицер и молодой человек в синих очках при свете четырех папирос жарят в картеж…

Направо от меня сидит высокая барыня из породы «само собою разумеется». От нее разит пудрой и пачулями.

— Ах, что за прелесть эта дорога! — шепчет над ее ухом какой-то гусь, шепчет приторно до… до отвращения, как-то французисто выговаривая буквы *г, н* и *р.* — Нигде так быстро и приятно не бывает сближение, как в дороге! Люблю тебя, дорога!

Поцелуй… Другой… Черт знает что! Хорошенькая просыпается, обводит глазами публику и… бессознательно кладет головку на плечо соседа, жреца Фемиды… а он, дурак, спит!!

Поезд останавливается. Полустанок.

— Поезд стоит две минуты… — бормочет сиплый, надтреснутый бас вне вагона. Проходят две минуты, проходят еще две… Проходит пять, десять, двадцать, а поезд все еще стоит. Что за черт? Выхожу из вагона и направляюсь к локомотиву.

— Иван Матвеич! Скоро ж ты, наконец? Черт! — кричит обер-кондуктор под локомотив.

Из-под локомотива выползает на брюхе машинист, красный, мокрый, с куском сажи на носу…

— У тебя есть бог или нет? — обращается он к обер-кондуктору. — Ты человек или нет? Что подгоняешь? Не видишь, что ли? Ааа… чтоб вам

всем повылазило!.. Разве это локомотив? Это не локомотив, а тряпка! Не могу я везти на нем!

— Что же делать?

— Делай что хочешь! Давай другой, а на этом не поеду! Да ты войди в положение…

Помощники машиниста бегают вокруг неисправного локомотива, стучат, кричат… Начальник станции в красной фуражке стоит возле и рассказывает своему помощнику анекдоты из превеселого еврейского быта… Идет дождь… Направляюсь в вагон… Мимо мчится незнакомец в соломенной шляпе и темно-серой блузе… В его руках чемодан. Чемодан этот мой… Боже мой!

Грешник из Толедо
(Перевод с испанского)

«Кто укажет место, в котором находится теперь ведьма, именующая себя Марией Спаланцо, или кто доставит ее в заседание судей живой или мертвой, тот получит отпущение грехов».

Это объявление было подписано епископом Барцелоны и четырьмя судьями в один из тех давно минувших дней, которые навсегда останутся неизгладимыми пятнами в истории Испании и, пожалуй, человечества.

Объявление прочла вся Барцелона. Начались поиски. Было задержано шестьдесят женщин, походивших на искомую ведьму, были пытаемы ее родственники… Существовало смешное и в то же время глубокое убеждение, что ведьмы обладают способностью обращаться в кошек, собак или других животных и непременно в черных. Рассказывали, что очень часто охотник, отрезав лапу у нападавшего животного, уносил ее как трофей, но, открывая свою сумку, находил в ней только окровавленную руку, в которой узнавал руку своей жены. Жители Барцелоны убили

всех черных кошек и собак, но не узнали в этих ненужных жертвах Марии Спаланцо.

Мария Спаланцо была дочерью одного крупного барцелонского торговца. Отец ее был французом, мать испанкой. От отца получила она в наследство галльскую беспечность и ту безграничную веселость, которая так привлекательна во француженках, от матери же — чисто испанское тело. Прекрасная, вечно веселая, умная, посвятившая свою жизнь веселому испанскому ничегонеделанию и искусствам, она до двадцати лет не пролила ни одной слезы… Она была счастлива, как ребенок… В тот день, когда ей исполнилось ровно двадцать лет, она выходила замуж за известного всей Барцелоне моряка Спаланцо, очень красивого и, как говорили, ученейшего испанца. Выходила она замуж по любви.

Муж поклялся ей, что он убьет себя, если она не будет с ним счастлива. Он любил ее без памяти.

На второй день свадьбы участь ее была решена.

Под вечер отправилась она из дома мужа к матери и заблудилась. Барцелона велика, и не всякая испанка сумеет указать вам кратчайшую дорогу от одного конца города до другого. Ей встретился молодой монах.

— Как пройти на улицу св. Марка? — обратилась она к монаху.

Монах остановился и, о чем-то думая, начал смотреть на нее… Солнце уже успело зайти. Взошла луна и бросала свои холодные лучи на прекрасное лицо Марии. Недаром поэты, воспевая женщин, упоминают о луне! При луне женщина во сто крат прекраснее. Прекрасные черные волосы Марии, благодаря быстрой походке, рассыпались по плечам и по глубоко дышавшей, вздымавшейся груди… Поддерживая на шее косынку, она обнажила руки до локтей…

— Клянусь кровью св. Януария, что ты ведьма! — сказал вдруг ни с того ни с сего молодой монах.

— Если бы ты не был монахом, то я подумала бы, что ты пьян! — сказала она.

— Ты ведьма!!

Монах сквозь зубы пробормотал какое-то заклинание.

— Где собака, которая бежала сейчас впереди меня? Собака эта обратилась в тебя! Я видел!.. Я знаю… Я не прожил еще и двадцати пяти лет, а уже уличил пятьдесят ведьм! Ты пятьдесят первая! Я — Августин…

Сказавши это, монах перекрестился, повернул

назад и скрылся.

Мария знала Августина… Она многое слышала о нем от родителей… Она знала его как ревностнейшего истребителя ведьм и как автора одной ученой книги. В этой книге он проклинал женщин и ненавидел мужчину за то, что тот родился от женщины, и хвалился любовью ко Христу. Но может ли, не раз думала Мария, любить тот Христа, кто не любит человека? Прошедши полверсты, Мария еще раз встретилась с Августином. Из ворот одного большого дома с длинной латинской надписью вышли четыре черные фигуры. Эти четыре фигуры пропустили ее мимо себя и последовали за ней. В одной из них она узнала того же Августина. Они проводили ее до самого дома.

Через три дня после встречи с Августином к Спаланцо явился человек в черном, с опухшим бритым лицом, по всем признакам судья. Этот человек приказал Спаланцо идти немедленно к епископу.

— Твоя жена ведьма! — объявил епископ Спаланцо.

Спаланцо побледнел.

— Поблагодари бога! — продолжал епископ. — Человек, имеющий от бога драгоценный дар

открывать в людях нечистого духа, открыл нам и тебе глаза. Видели, как она обратилась в черную собаку и как черная собака обратилась в твою жену…

— Она не ведьма, а… моя жена! — пробормотал ошеломленный Спаланцо.

— Она не может быть женою католика! Она жена сатаны! Неужели ты до сих пор не замечал, несчастный, что она не раз уже изменяла тебе для нечистого духа? Иди домой и приведи ее сейчас сюда…

Епископ был очень ученый человек. Слово «femina» производил он от двух слов: «бе» и «minus», на том якобы законном основании, что женщина имеет меньше веры…

Спаланцо стал бледнее мертвеца. Он вышел из епископских покоев и схватил себя за голову. Где и кому сказать теперь, что Мария не ведьма? Кто не поверит тому, во что верят монахи? Теперь вся Барцелона убеждена в том, что его жена ведьма! Вся! Нет ничего легче, как убедить в какой-нибудь небывальщине глупого человека, а испанцы все глупы!

— Нет народа глупее испанцев! — сказал когда-то Спаланцо его умирающий отец, лекарь. — Презирай испанцев и не верь в то, во что верят они!

Спаланцо верил в то, во что верят испанцы, но не поверил словам епископа. Он хорошо знал свою жену и был убежден в том, что женщины делаются ведьмами только под старость…

— Тебя хотят монахи сжечь, Мария! — сказал он жене, пришедши домой от епископа. — Они говорят, что ты ведьма, и приказали мне привести тебя *туда*… Послушай, жена! Если ты на самом деле ведьма, то бог с тобой! — обратись в черную кошку и убеги куда-нибудь; если же в тебе нет нечистого духа, то я не отдам тебя монахам… Они наденут на тебя ошейник и не дадут тебе спать до тех пор, пока ты не наврешь на себя. Убегай же, если ты ведьма!

Мария в черную кошку не обратилась и не убежала… Она только заплакала и стала молиться богу.

— Послушай! — сказал Спаланцо плачущей жене. — Мой покойный отец говорил мне, что скоро настанет время, когда будут смеяться над теми, которые веруют в существование ведьм. Мой отец был безбожник, но всегда говорил правду. Нужно, значит, спрятаться куда-нибудь и выждать то время… Очень просто! В гавани починяется корабль моего брата Христофора. Я спрячу тебя в этот корабль, и ты не выйдешь из

него до тех пор, пока не настанет время, о котором говорил мой отец. Время это, по его словам, настанет скоро…

Вечером Мария сидела уже на самом дне корабля и, дрожа от холода и страха, прислушивалась к шуму волн и с нетерпением ожидала того невозможного времени, о котором говорил отец Спаланцо.

— Где твоя жена? — спросил Спаланцо епископ.

— Она обратилась в черную кошку и убежала от меня, — соврал Спаланцо.

— Я ожидал, предвидел это! Но ничего. Мы найдем ее… Великий дар у Августина! О, чудный дар! Иди с миром и другой раз не женись на ведьмах! Были примеры, что нечистые духи переселялись из жен в мужей… В прошлом году я сжег одного благочестивого католика, который через прикосновение к нечистой женщине против воли отдал душу свою сатане… Ступай!

Мария долго просидела в корабле. Спаланцо посещал ее каждую ночь и приносил ей все необходимое. Просидела она месяц, другой, просидела третий, но не наступало желаемое время. Прав был отец Спаланцо, но месяцев мало для предрассудков. Они живучи, как рыбы, и им нужны

целые столетия… Мария привыкла к своему новому житью-бытью и уже начала посмеиваться над монахами, которых называла воронами… Она прожила бы еще долго и, пожалуй, уплыла бы вместе с починенным кораблем, как говорил Христофор, в далекие страны, подальше от глупой Испании, если бы не случилось одного страшного, непоправимого несчастья.

Объявление епископа, ходившее по рукам барцелонцев и наклеенное на всех площадях и рынках, попало и в руки Спаланцо. Спаланцо прочел это объявление и задумался. Его заняло отпущение грехов, обещанное в конце объявления.

— Хорошо бы получить отпущение грехов! — вздохнул Спаланцо.

Спаланцо считал себя страшным грешником. На его совести лежала масса таких грехов, за которые пошло на костер и умерло на пытке много католиков. В юности Спаланцо жил в Толедо. Толедо в то время был сборным пунктом магиков и волшебников… В XII и XIII столетиях там больше, чем где-либо в Европе, процветала математика. От математики в испанских городах до магии один только шаг… Спаланцо под руководством отца тоже занимался магией. Он вскрывал внутренности животных и собирал

необыкновенные травы… Однажды он толок что-то в железной ступе, и из ступы с страшным треском вышел нечистый дух в виде синеватого пламени. Жизнь в Толедо состояла всплошную из подобных грехов. Оставив Толедо после смерти отца, Спаланцо почувствовал вскоре страшные угрызения совести. Один старый, очень ученый монах-доктор сказал ему, что его грехи не простятся ему, если он не получит отпущения грехов за какой-нибудь недюжинный подвиг. За отпущение грехов Спаланцо готов был отдать все, лишь бы только освободить свою душу от воспоминаний о позорном толедском житье и избежать ада. Он отдал бы половину своего состояния, если бы тогда продавались в Испании индульгенции… Он отправился бы пешком в святые места, если бы его не удерживали его дела.

«Не будь я ее мужем, я выдал бы ее…» — подумал он, прочитав объявление епископа.

Мысль, что ему стоит только сказать одно слово, чтобы получить отпущение, застряла в его голове и не давала ему покоя ни днем, ни ночью… Он любил свою жену, сильно любил… Не будь этой любви, этой слабости, которую так презирают монахи и даже толедские доктора, пожалуй, можно было бы… Он показал объявление брату

Христофору…

— Я выдал бы ее, — сказал брат, — если бы она была ведьма и не была бы такой красивой… Отпущение вещь хорошая… Впрочем, мы не будем в убытке, если подождем смерти Марии и выдадим ее тем воронам мертвую…

Пусть сожгут мертвую… Мертвым не больно. Она умрет, когда мы будем стары, а в старости-то нам и понадобится отпущение…

Сказавши это, Христофор захохотал и ударил брата по плечу.

— Я могу умереть раньше ее, — заметил Спаланцо. — Но, клянусь богом, я выдал бы ее, если бы не был ее мужем!

Через неделю после этой беседы Спаланцо ходил по палубе корабля и бормотал:

— О, если бы она была мертвой! Живую я ее не выдам, нет! Но я выдал бы ее мертвой! Я обманул бы тех старых проклятых ворон и получил бы от них отпущение!

И глупый Спаланцо отравил свою бедную жену…

Труп Марии был отнесен Спаланцо в заседание судей и предан сожжению.

Спаланцо получил отпущение толедских грехов… Его простили за то, что он учился лечить

людей и занимался наукой, которая впоследствии стала называться химией. Епископ похвалил его и подарил ему книгу собственного сочинения… В этой книге ученый епископ писал, что бесы чаще всего вселяются в женщин с черными волосами, потому что черные волосы имеют цвет бесов.

Исповедь, или Оля, Женя, Зоя (Письмо)

Вы, ma chere[18], мой дорогой, незабвенный друг, в своем милом письме спрашиваете меня между прочим, почему я до сих пор не женат, несмотря на свои 39 лет?

Моя дорогая! Я всей душой люблю семейную жизнь и не женат потому только, что каналье судьбе не угодно было, чтобы я женился. Жениться собирался я раз 15 и не женился потому, что все на этом свете, в особенности же моя жизнь, подчиняется случаю, все зависит от него! Случай — деспот. Привожу несколько случаев, благодаря которым я до сих пор влачу свою жизнь в презренном одиночестве…

Случай первый

Было восхитительное июньское утро. Небо было чисто, как самая чистая берлинская лазурь. Солнце играло в реке и скользило своими лучами

---

[18] Примечания: 18
Моя милая *(франц.).*

по росистой траве. Река и зелень, казалось, были осыпаны дорогими алмазами. Птицы пели, как по нотам… Мы шли по аллейке, усыпанной желтым песком, и счастливыми грудями вдыхали в себя ароматы июньского утра. Деревья смотрели на нас так ласково, шептали нам что-то такое, должно быть, очень хорошее, нежное… Рука Оли Груздовской (которая теперь за сыном вашего исправника) покоилась на моей руке, и ее крошечный мизинчик дрожал на моем большом пальце… Щечки ее горели, а глаза… О, ma chere, это были чудные глаза! Сколько прелести, правды, невинности, веселости, детской наивности светилось в этих голубых глазах! Я любовался ее белокурыми косами и маленькими следами, которые оставляли на песке ее крошечные ножки…

— Жизнь свою, Ольга Максимовна, посвятил я науке, — шептал я, боясь, чтобы ее мизинчик не сполз с моего большого пальца. — В будущем ожидает меня профессорская кафедра… На моей совести вопросы… научные… Жизнь трудовая, полная забот, высоких… как их… Ну, одним словом, я буду профессором… Я честен, Ольга Максимовна… Я не богат, но… Мне нужна подруга, которая бы своим присутствием (Оля

сконфузилась и опустила глазки; мизинчик задрожал)… которая бы своим присутствием… Оля! взгляните на небо! Оно чисто… но и жизнь моя так же чиста, беспредельна…

Не успел мой язык выкарабкаться из этой чуши, как Оля подняла голову, рванула от меня свою руку и захлопала в ладоши. Навстречу нам шли гуси и гусята. Оля подбежала к гусям и, звонко хохоча, протянула к ним свои ручки… О, что это были за ручки, ma chere!

— Тер… тер… тер… — заговорили гуси, поднимая шеи и искоса поглядывая на Олю.

— Гуся, гуся, гуся! — закричала Оля и протянула руку за гусенком.

Гусенок был умен не по летам. Он побежал от Олиной руки к своему папаше, очень большому и глупому гусаку, и, по-видимому, пожаловался ему. Гусак растопырил крылья. Шалунья Оля потянулась за другим гусенком. В это время случилось нечто ужасное. Гусак пригнул шею к земле и, шипя, как змея, грозно зашагал к Оле. Оля взвизгнула и побежала назад. Гусак за ней. Оля оглянулась, взвизгнула сильней и побледнела. Ее красивое девичье личико исказилось ужасом и отчаянием. Казалось, что за ней гналось триста чертей.

Я поспешил к ней на помощь и ударил по голове гусака тростью. Негодяю-гусаку удалось-таки ущипнуть ее за кончик платья. Оля с большими глазами, с исказившимся лицом, дрожа всем телом, упала мне на грудь…

— Какая вы трусиха! — сказал я.

— Побейте гуску! — сказала она и заплакала…

Сколько не наивного, не детского, а идиотского было в этом испугавшемся личике! Не терплю, ma chere, малодушия! Не могу вообразить себя женатым на малодушной, трусливой женщине!

Гусак испортил все дело… Успокоивши Олю, я ушел домой, и малодушное до идиотства личико застряло в моей голове… Оля потеряла для меня всю прелесть. Я отказался от нее.

Случай другой

Вы, конечно, знаете, мой друг, что я писатель. Боги зажгли в моей груди священный огонь, и я считаю себя не вправе не браться за перо. Я жрец Аполлона… Все до единого биения сердца моего, все вздохи мои, короче — всего себя я отдал на алтарь муз. Я пишу, пишу, пишу… Отнимите у меня перо — и я помер. Вы смеетесь, не верите… Клянусь, что так!

Но вы, конечно, знаете, ma chere, что земной шар — плохое место для искусства. Земля велика и обильна, но писателю жить в ней негде. Писатель — это вечный сирота, изгнанник, козел отпущения, беззащитное дитя… Человечество разделяю я на две части: на писателей и завистников. Первые пишут, а вторые умирают от зависти и строят разные пакости первым. Я погиб, погибаю и буду погибать от завистников. Они испортили мою жизнь. Они забрали в руки бразды правления в писательском деле, именуют себя редакторами, издателями и всеми силами стараются утопить нашу братию. Проклятие им!!

Слушайте…

Некоторое время я ухаживал за Женей Пшиковой. Вы, конечно, помните это милое, черноволосое, мечтательное дитя… Она теперь замужем за вашим соседом Карлом Ивановичем Ванце (a propos[19]: по-немецки Ванце значит… клоп. Не говорите этого Жене, она обидится). Женя любила во мне писателя. Она так же глубоко, как и я, верила в мое назначение. Она жила моими надеждами. Но она была молода! Она не могла понимать еще упомянутого разделения

---

[19] Примечания: 19
Кстати *(франц.).*

человечества на две части! Она не верила в это разделение! Не верила, и мы в один прекрасный день… погибли.

Я жил на даче у Пешковых. Меня считали женихом, Женю — невестой. Я писал, она читала. Что это за критик, ma chere! Она была справедлива, как Аристид, и строга, как Катон. Произведения свои посвящал я ей… Одно из этих произведений сильно понравилось Жене. Женя захотела видеть его в печати. Я послал его в один из юмористических журналов. Послал первого июля и ответа ожидал через две недели. Наступило 15 июля. Мы с Женей получили желанный нумер. Поспешно распечатали его и прочли в почтовом ящике ответ. Она покраснела, я побледнел. В почтовом ящике напечатано было по моему адресу следующее: «Село Шлендово. Г. М. Б-у. Таланта у вас ни капельки. Черт знает что нагородили! Не тратьте марок понапрасну и оставьте нас в покое. Займитесь чем-нибудь другим».

Ну, и глупо… Сейчас видно, что дураки писали.

— Мммммм… — промычала Женя.

— Ка-кие мерр-зав-цы!!! — пробормотал я. — Каково? И вы, Евгения Марковна, станете теперь улыбаться моему разделению?

Женя задумалась и зевнула.

— Что ж? — сказала она. — Может быть, у вас и на самом таки деле нет таланта! Им это лучше знать. В прошлом году Федор Федосеевич со мной целое лето рыбу удил, а вы все пишете, пишете… Как это скучно!

Каково? И это после бессонных ночей, проведенных вместе над писаньем и питаньем! После обоюдного жертвоприношения музам… А?

Женя охладела к моему писательству, а следовательно, и ко мне. Мы разошлись. Иначе и быть не могло…

Случай третий

Вы, конечно, знаете, мой незабвенный друг, что я страшно люблю музыку. Музыка моя страсть, стихия… Имена Моцарта, Бетховена, Шопена, Мендельсона, Гуно — имена не людей, а гигантов! Я люблю классическую музыку. Оперетку я отрицаю, как отрицаю водевиль. Я один из постояннейших посетителей оперы. Хохлов, Кочетова, Барцал, Усатов, Корсов… дивные люди! Как я жалею, что я не знаком с певцами! Будь я знаком с ними, я в благодарностях излил бы пред ними свою душу. В прошлую зиму я особенно часто ходил на оперу. Ходил я не один, а с семей-

ством Пепсиновых. Жаль, что вы не знакомы с этим милым семейством! Пепсиновы каждую зиму абонируют ложу. Они преданы музыке всей душой… Украшением этого милого семейства служит дочь полковника Пепсинова — Зоя. Что это за девушка, моя дорогая! Одни ее розовые губки способны свести с ума такого человека, как я! Стройна, красива, умна… Я любил ее… Любил бешено, страстно, ужасно! Кровь моя кипела, когда я сидел с нею рядом. Вы улыбаетесь, ma chere… Улыбайтесь! Вам незнакома, чужда любовь писателя… Любовь писателя — Этна плюс Везувий. Зоя любила меня. Ее глаза всегда покоились на моих глазах, которые постоянно были устремлены на ее глаза… Мы были счастливы. До свадьбы был один только шаг…

Но мы погибли.

Давали «Фауста». «Фауста», моя дорогая, написал Гуно, а Гуно — величайший музыкант. Идя в театр, я порешил дорогой объясниться с Зоей в любви во время первого действия, которого я не понимаю. Великий Гуно напрасно написал первое действие!

Спектакль начался. Я и Зоя уединились в фойе. Она сидела возле меня и, дрожа от ожидания и счастья, машинально играла веером. При вечер-

нем освещении, ma chere, она прекрасна, ужасно прекрасна!

— Увертюра, — объяснялся я в любви, — навела меня на некоторые размышления, Зоя Егоровна… Столько чувства, столько… Слушаешь и жаждешь… Жаждешь чего-то такого и слушаешь…

Я икнул и продолжал:

— Чего-то такого особенного… Жаждешь неземного… Любви? Страсти? Да, должно быть… любви… (Я икнул.) Да, любви…

Зоя улыбнулась, сконфузилась и усиленно замахала веером. Я икнул. Терпеть не могу икоты!

— Зоя Егоровна! Скажите, умоляю вас! Вам знакомо это чувство? (Я икнул.) Зоя Егоровна! Я жду ответа!

— Я… я… вас не понимаю…

— На меня напала икота. Пройдет… Я говорю о том всеобъемлющем чувстве, которое… Черт знает что!

— Вы выпейте воды!

«Объяснюсь, да тогда уж и схожу в буфет», — подумал я и продолжал:

— Я скажу коротко, Зоя Егоровна… Вы, конечно, уж заметили…

Я икнул и с досады на икоту укусил себя за язык.

— Конечно, заметили… (Я икнул.) Вы меня знаете около года… Гм… Я честный человек, Зоя Егоровна! Я труженик! Я не богат, это правда, но…

Я икнул и вскочил.

— Вы выпейте воды! — посоветовала Зоя.

Я сделал несколько шагов около дивана, подавил себе пальцами горло и опять икнул. Ma chere, я был в ужаснейшем положении! Зоя поднялась и направилась к ложе. Я за ней. Впуская ее в ложу, я икнул и побежал в буфет. Выпил я воды стаканов пять, и икота как будто бы немножко утихла. Я выкурил папиросу и отправился в ложу. Брат Зои поднялся и уступил мне свое место, место около моей Зои. Я сел и тотчас же… икнул. Прошло минут пять — я икнул, икнул как-то особенно, с хрипом. Я поднялся и стал у дверей ложи. Лучше, ma chere, икать у дверей, чем над ухом любимой женщины! Икнул. Гимназист из соседней ложи посмотрел на меня и громко засмеялся… С каким наслаждением он, каналья, засмеялся! С каким наслаждением я оторвал бы ухо с корнем у этого молососа-мерзавца! Смеется в то время, когда на сцене поют великого «Фауста»! Кощунство! Нет, ma chere, когда мы были детьми, мы были много лучше. Кляня дерзкого гимназиста, я еще

раз икнул… В соседних ложах засмеялись.

— Bis! — прошипел гимназист.

— Черт знает что! — пробормотал полковник Пепсинов мне на ухо. — Могли бы и дома поикать, сударь!

Зоя покраснела. Я еще раз икнул и, бешено стиснув кулаки, выбежал из ложи. Начал я ходить по коридору. Хожу, хожу, хожу — и все икаю. Чего я только не ел, чего не пил! В начале четвертого акта я плюнул и уехал домой. Приехавши домой, я, как назло, перестал икать… Я ударил себя по затылку и воскликнул:

— Теперь можешь икать, освистанный жених! Нет, ты не освистанный! Ты не освистал себя, а… объикал!

На другой день отправился я, по обыкновению, к Пепсиновым. Зоя не вышла обедать и велела передать мне, что видеться со мною по болезни не может, а Пепсинов тянул речь о том, что некоторые молодые люди не умеют держать себя прилично в обществе… Болван! Он не знает того, что органы, производящие икоту, не находятся в зависимости от волевых стимулов.

Стимул, ma chere, значит двигатель.

— Вы отдали бы свою дочь, если бы таковая имелась у вас, — обратился ко мне Пепсинов

после обеда, — за человека, который позволяет себе в обществе заниматься отрыжкой? А? Что-с?

— Отдал бы… — пробормотал я.

— Напрасно-с!

Зоя для меня погибла. Она не сумела простить мне икоты. Я погиб.

Не описать ли вам еще и остальные 12 случаев?

Описал бы, но… довольно! Жилы надулись на моих висках, слезы брызжут, и ворочается печень… Братья писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое! Позвольте, ma chere, пожелать вам всего лучшего! Жму вашу руку и шлю поклон вашему Полю. Он, я слышал, хороший муж и хороший отец… Хвала ему! Жаль только, что он пьет горькую (это не упрек, ma chere!). Будьте здоровы, ma chere, счастливы и не забывайте, что у вас есть покорнейший слуга

Макар Балдастов.

Летающие острова
Соч. Жюля Верна Перевод М. Чехонте
Глава I
Речь

— …Я кончил, джентльмены! — сказал мистер Джон Лунд, молодой член королевского географического общества, и, утомленный, опустился в кресло. Зала заседания огласилась яростнейшими аплодисментами, криками «браво» и дрогнула. Джентльмены начали один за другим подходить к Джону Лунду и пожимать его руку. Семнадцать джентльменов в знак своего изумления сломали семнадцать стульев и свихнули восемь длинных шей, принадлежавших восьми джентльменам, из которых один был капитаном «Катавасии», яхты в 100 009 тонн…

— Джентльмены! — проговорил тронутый мистер Лунд. — Считаю священнейшим долгом благодарить вас за то адское терпение, с которым вы прослушали мою речь, продолжавшуюся 40 часов, 32 минуты и 14 секунд! Том Бекас, — обратился он к своему старому слуге, — разбудите меня через пять минут. *Я буду* спать в то время,

когда джентльмены будут извинять меня за то, что я осмеливаюсь спать в их присутствии!!

— Слушаю, сэр! — сказал старый Том Бекас.

Джон Лунд закинул назад голову и тотчас же заснул.

Джон Лунд был родом шотландец. Он нигде не воспитывался, ничему никогда не учился, но знал все. Он принадлежал к числу тех счастливых натур, которые до познания всего прекрасного и великого доходят своим умом. Восторг, который произвел он своею речью, был им вполне заслужен. В продолжение 40 часов он предлагал на рассмотрение господам джентльменам великий проект, исполнение которого стяжало впоследствии великую славу для Англии и показало, как далеко может иногда хватать ум человеческий! *«Просверление Луны колоссальным буравом»* — вот что служило предметом речи мистера Лунда!

Глава II
Таинственный незнакомец

Сэр Лунд не проспал и трех минут. Чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо, и он проснулся. Перед ним стоял джентльмен 48 ½ вершков роста, тонкий, как пика, и худой, как засушенная змея.

Он был совершенно лыс. Одетый во все черное, он имел на носу четыре пары очков, а на груди и на спине по термометру.

— Идите за мной! — гробовым голосом произнес лысый джентльмен.

— Куда?

— Идите за мной, Джон Лунд!

— А если я не пойду?

— Тогда я буду принужден просверлить Луну раньше вас!

— В таком случае, сэр, я к вашим услугам.

— Ваш слуга последует за нами!

Мистер Лунд, лысый джентльмен и Том Бекас оставили залу заседания и все трое зашагали по освещенным улицам Лондона. Шли они очень долго.

— Сэр, — обратился Бекас к мистеру Лунду, — если наш путь так же длинен, как и этот джентльмен, то на основании законов трения мы лишимся своих подошв!

Джентльмены подумали и, через десять минут нашедши, что слова Бекаса остроумны, громко засмеялись.

— С кем я имею честь смеяться, сэр? — спросил Лунд лысого джентльмена.

— Вы имеете честь идти, смеяться и говорить

с членом всех географических, археологических и этнографических обществ, магистром всех существовавших и существующих наук, членом Московского артистического кружка, почетным попечителем школы коровьих акушеров в Саутгамптоне, подписчиком «Иллюстрированного беса», профессором желто-зеленой магии и начальной гастрономии в будущем Новозеландском университете, директором Безымянной обсерватории, Вильямом Болваниусом. Я веду вас, сэр, в…

Джон Лунд и Том Бекас преклонили свои колени перед великим человеком, о котором они так много слышали, и почтительно опустили головы…

— Я веду вас, сэр, в свою обсерваторию, находящуюся в 20 милях отсюда. Сэр! Мне нужен товарищ в моем предприятии, значение которого вы в состоянии постигнуть только обоими полушариями вашего головного мозга. Мой выбор пал на вас… Вы после сорокачасовой речи навряд ли захотите вступать со мной в какие бы то ни было разговоры, а я, сэр, ничего так не люблю, как свой телескоп и продолжительное молчание. Язык вашего слуги, я надеюсь, свяжется вашим, сэр, приказанием. Да здравствует пауза!!! Я веду

вас… Вы ничего не имеете против этого?

— Ничего, сэр! Мне остается пожалеть только о том, что мы не скороходы и что мы имеем под ступнями подошвы, которые стоят денег и…

— Я вам куплю новые сапоги.

— Благодарю вас, сэр.

Кто из читателей воспылает желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом Болваниусом, тот пусть прочтет его замечательное сочинение *«Существовала ли Луна до потопа? Если существовала, то почему же и она не утонула?»* При этом сочинении приложена и запрещенная брошюра, написанная им за год перед смертью: *«Способ стереть вселенную в порошок и не погибнуть в то же время».* В этих сочинениях как нельзя лучше характеризуется личность этого замечательнейшего из людей.

Между прочим там описывается, как он прожил два года в австралийских камышах, где питался раками, тиной и яйцами крокодилов и в эти два года не видел ни разу огня. Будучи в камышах, он изобрел микроскоп, совершенно сходный с нашим обыкновенным микроскопом, и нашел спинной хребет у рыб вида «Riba». Воротившись из своего долгого путешествия, он поселился в нескольких милях от Лондона и всецело по-

святил себя астрономии. Будучи порядочным женоненавистником (он был три раза женат, а потому и имел три пары прекраснейших, ветвистых рогов) и не желая до поры до времени быть открытым, он жил аскетом. Обладая тонким, дипломатическим умом, он ухитрился сделать так, что обсерватория и труды его по астрономии были известны только одному ему. К сожалению и несчастью всех благомыслящих англичан, этот великий человек не дожил до нашего времени. В прошлом году он тихо скончался: купаясь в Ниле, он был проглочен тремя крокодилами.

Глава III
Таинственные пятна

Обсерватория, в которую ввел он Лунда и старого Тома Бекаса *(следует длиннейшее и скучнейшее описание обсерватории, которое переводчик в видах экономии места и времени нашел нужным не переводить)…* стоял телескоп, усовершенствованный Болваниусом. Мистер Лунд подошел к телескопу и начал смотреть на Луну.

— Что вы там видите, сэр?

— Луну, сэр.

— А возле Луны что вы видите, мистер Лунд?

— Я имею честь видеть одну только Луну.

— А не видите ли вы бледных пятен, движущихся возле Луны?

— Черт возьми, сэр! Называйте меня ослом, если я не вижу этих пятен! Что это за пятна?

— Это пятна, которые видны в один только мой телескоп. Довольно! Оставьте телескоп! Мистер Лунд и Том Бекас! Я должен, я хочу узнать, что это за пятна! Я буду скоро там! Я иду к этим пятнам! Вы следуете за мной!

— Ура! Да здравствуют пятна! — крикнули Джон Лунд и Том Бекас.

Глава IV
Скандал на небе

Через полчаса мистеры Вильям Болваниус, Джон Лунд и шотландец Том Бекас летели уже к таинственным пятнам на восемнадцати аэростатах. Они сидели в герметически закупоренном кубе, в котором находился сгущенный воздух и препараты для изготовления кислорода[20]. Начало этого грандиозного, доселе небывалого полета

[20] Примечания: 20

Химиками выдуманный дух. Говорят, что без него жить невозможно. Пустяки. Без денег только жить невозможно. — *Примеч. переводчика.*

было совершено в ночь под 13-е марта 1870 года. Дул юго-западный ветер. Магнитная стрелка показывала NWW *(следует скучнейшее описание куба и 18 аэростатов)...* В кубе царило глубокое молчание. Джентльмены кутались в плащи и курили сигары. Том Бекас, растянувшись на полу, спал, как у себя дома. Термометр[21] показывал ниже 0. В продолжение первых 20 часов не было сказано ни одного слова и особенного ничего не произошло. Шары проникли в область облаков. Несколько молний погнались за шарами, но их не догнали, потому что они принадлежали англичанину. На третий день Джон Лунд заболел дифтеритом, а Тома Бекаса обуял сплин. Куб, столкнувшись с аэролитом, получил страшный толчок. Термометр показывал —76.

— Как ваше здоровье, сэр? — прервал наконец молчание Бол-ваниус, обратясь на пятый день к сэру Лунду.

— Благодарю вас, сэр! — отвечал тронутый Лунд. — Ваше внимание трогает меня. Я ужасно страдаю! А где мой верный Том?

— Он сидит теперь в углу, жует табак и старается походить на человека, женившегося сразу

---

[21] Примечания: 21
Такой инструмент есть. — *Примеч. переводчика.*

на десятерых.

— Ха, ха, ха, сэр Болваниус!

— Благодарю вас, сэр!

Не успел мистер Болваниус пожать руку молодому Лунду, как произошло нечто ужасное. Раздался страшный треск… Что-то треснуло, раздалась тысяча пушечных выстрелов, пронесся гул, неистовый свист. Медный куб, попав в среду разреженную, не вынес внутреннего давления, треснул, и клочья его понеслись в бесконечное пространство.

Это была ужасная, единственная в истории вселенной минута!!

Мистер Болваниус ухватился за ноги Тома Бекаса, этот последний ухватился за ноги Джона Лунда, и все трое с быстротою молнии понеслись в неведомую бездну. Шары отделились от них и, освобожденные от тяжести, закружились и с треском полопались.

— Где мы, сэр?

— В эфире.

— Гм… Если в эфире, то чем же мы дышать будем?

— А где сила вашей воли, сэр Лунд?

— Мистеры! — крикнул Бекас. — Честь имею объявить вам, что мы почему-то летим не вниз,

а вверх!

— Гм… Сто чертей! Значит, мы уже не находимся в области притяжения Земли… Нас тянет к себе наша цель! Ураа! Сэр Лунд, как ваше здоровье?

— Благодарю вас, сэр! Я вижу наверху Землю, сэр!

— Это не Земля, а одно из наших пятен! Мы сейчас разобьемся о него!

Тррррах!!!!

Глава V
Остров князя Мещерского

Первый пришел в чувство Том Бекас. Он протер глаза и начал обозревать местность, на которой лежали он, Болваниус и Лунд. Он снял чулок и принялся тереть им джентльменов. Джентльмены не замедлили очнуться.

— Где мы? — спросил Лунд.

— Вы на острове, принадлежащем к группе летающих! Ураа!

— Ураа! Посмотрите, сэр, вверх! Мы затмили Колумба!

Над островом летало еще несколько островов *(следует описание картины, понятной одним только англичанам)*… Пошли осматривать

остров. Он был шириной… длиной… *(цифры и цифры… Бог с ними!)* Тому Бекасу удалось найти дерево, соком своим напоминающее русскую водку. Странно, что деревья были ниже травы (?). Остров был необитаем. Ни одно живое существо не касалось доселе его почвы…

— Сэр, посмотрите, что это такое? — обратился мистер Лунд к сэру Болваниусу, поднимая какой-то сверток.

— Странно… Удивительно… Поразительно… — забормотал Болваниус.

Сверток оказался сочинениями какого-то князя Мещерского, писанными на одном из варварских языков, кажется, русском.

Как попали сюда эти сочинения?

— Прррроклятие! — закричал мистер Болваниус. — Здесь были раньше нас?!!? Кто мог быть здесь?!. Скажите — кто, кто? Прро-клятие! Оооо! Размозжите, громы небесные, мои великие мозги! Дайте мне сюда его! Дайте мне его! Я проглочу его, с его сочинениями!

И мистер Болваниус, подняв вверх руки, страшно захохотал. В глазах его блеснул подозрительный огонек. Он сошел с ума.

Глава VI
Возвращение

— Урааа!! — кричали жители Гавра, наполняя собою все гаврские набережные. Воздух оглашался радостными криками, звоном и музыкой. Черная масса, грозившая всем смертью, опускалась не на город, а в залив… Корабли поспешили убраться в открытое море. Черная масса, столько дней закрывавшая собою солнце, при торжественных кликах народа и при громе музыки важно (pesamment) шлепнулась в залив и обрызгала всю набережную. Упав на залив, она утонула. Через минуту залив был уже открытым. Волны бороздили его по всем направлениям… На средине залива барахтались три человека. То были безумный Болваниус, Джон Лунд и Том Бекас. Их поспешили принять на лодки.

— Мы пятьдесят семь дней не ели! — пробормотал худой, как голодный художник, мистер Лунд и рассказал, в чем дело.

Остров князя Мещерского уже более не существует. Он, приняв на себя трех отважных людей, стал тяжелей и, вышедши из нейтральной по-

лосы, был притянут Землей и утонул в Гаврском заливе…

Заключение

Джон Лунд занят теперь вопросом о просверлении Луны. Близко уже то время, когда Луна украсится дырой. Дыра будет принадлежать англичанам. Том Бекас живет теперь в Ирландии и занимается сельским хозяйством. Он разводит кур и сечет свою единственную дочь, которую воспитывает по-спартански. Ему не чужды и вопросы науки: он страшно сердится на себя за то, что забыл взять с Летающего острова семян от дерева, соком напоминающего русскую водку.

Сказки Мельпомены

Он и она

Они кочуют. Одному только Парижу дарят они месяцы, для Берлина же, Вены, Неаполя, Мадрида, Петербурга и Других столиц они скупы. В Париже чувствуют они себя quasi-дома[22]; для них Париж — столица, резиденция, остальная же Европа — скучная, бестолковая провинция, на которую можно смотреть только сквозь опущенные сторы grand-hotel'en или с авансцены. Они не стары, но успели уже побывать по два, по три раза во всех европейских столицах. Им уже надоела Европа, и они стали поговаривать о поездке в Америку и будут поговаривать до тех пор, пока их не убедят, что у нее не такой уж замечательный голос, чтобы стоило показывать его обоим полушариям.

Увидеть их трудно. На улицах их видеть нельзя, потому что они ездят в каретах, ездят, когда темно, вечером и ночью. До обеда они спят. Просыпаются же обыкновенно в плохом расположении духа и никого не принимают. Принимают они только иногда, в неопределенное время, за кулисами или садясь за ужин.

---

[22] Примечания: 22
Как бы дома *(лат.).*

Ее можно видеть на карточках, которые продаются. Но на карточках она — красавица, а красавицей она никогда не была. Карточкам ее не верьте: она урод. Большинство видит ее, глядя на сцену. Но на сцене она неузнаваема. Белила, румяна, тушь и чужие волосы покрывают ее лицо, как маска. На концертах то же самое.

Играя Маргариту, она, двадцатисемилетняя, морщинистая, неповоротливая, с носом, покрытым веснушками, выглядывает стройной, хорошенькой, семнадцатилетней девочкой. На сцене она менее всего напоминает самое себя.

Коли хотите их видеть, приобретите право присутствовать на обедах, которые даются ей и которые иногда она сама дает перед отъездом из одной столицы в другую. Приобрести это право легко только на первый взгляд, добраться же до обеденного стола могут только люди избранные… К последним относятся господа рецензенты, пролазы, выдающие себя за рецензентов, туземные певцы, дирижеры и капельмейстеры, любители и ценители с зализанными лысинами, попавшие в театральные завсегдатаи и блюдолизы благодаря злату, сребру и родству. Обеды эти выходят не скучные, для человека наблюдающего интересные… Раза два стоит пообедать.

Известные (между обедающими много таких) едят и говорят. Поза их вольная: шея на один бок, голова на другой, один локоть — на столе. Старички даже ковыряют в зубах.

Газетчики занимают стулья, ближайшие к ее стулу. Они почти все пьяны и держат себя весьма развязно, как будто бы они знакомы с ней уже сто лет. Возьми они градусом выше, дело дошло бы до фамильярности. Они громко острят, пьют, перебивают друг друга (причем не забывают сказать: «pardon!»), произносят трескучие тосты и, видимо, не боятся сглупить; некоторые, джентльменски переваливаясь через угол стола, целуют ее ручку.

Выдающие себя за рецензентов менторски беседуют с любителями и ценителями. Любители и ценители молчат. Они завидуют газетчикам, блаженно улыбаются и пьют одно только красное, которое на этих обедах бывает особенно хорошо.

Она, царица обеда, одета простенько, но ужасно дорого. Крупный бриллиант выглядывает на шее из-под кружевной оборочки. На обеих руках — по массивному гладкому браслету. Прическа в высшей степени неопределенная: дамам — нравится, мужчинам — не нравится. Лицо ее сияет и льет на всю обедающую братию широчайшую улыбку.

Она умеет улыбаться всем сразу, говорить сразу со всеми, мило кивать головой; кивок головы достается каждому обедающему. Посмотрите на ее лицо, и вам покажется, что вокруг нее сидят одни только друзья и что она к этим друзьям питает самое дружеское расположение. В конце обеда она кое-кому дарит свои карточки; сзади карточки она пишет тут же за столом имя и фамилию счастливчика-получателя и автограф. Говорит она, разумеется, по-французски, в конце же обеда и на других языках. По-английски и по-немецки она говорит плохо до смешного, но и эта плохость выходит у нее милой. Вообще она так мила, что вы надолго забываете, что она — урод.

А он? Он, le marl d'elle[23], сидит от нее за пять стульев, много пьет, много ест, много молчит, катает из хлеба шарики и перечитывает ярлыки на бутылках. Глядя на его фигуру, чувствуется, что ему нечего делать, скучно, лень, надоело…

Он белокур, с плешью, которая дорожками пробегает по его голове. Женщины, вино, бессонные ночи и таскание по белу свету бороздой проехали по его лицу и оставили глубокие морщины. Ему лет тридцать пять, не больше, но он старше на

---

[23] Примечания: 23
Ее муж *(франц.).*

вид. Лицо как бы вымоченное в квасу. Глаза хорошие, но ленивые… Он когда-то не был уродом, но теперь урод. Ноги дугой, руки землистого цвета, шея волосистая. Благодаря этим кривым ногам и особенной странной походке его дразнят в Европе почему-то «коляской». В своем фраке напоминает он мокрую галку с сухим хвостом. Обедающие его не замечают. Он платит тем же.

Попадите вы на обед, глядите на них, на этих супругов, наблюдайте и скажите мне, что связало и что связывает этих двух людей.

Глядя на них, вы ответите (разумеется, приблизительно) так:

— Она — известная певица, он — только муж известной певицы, или, выражаясь закулисным термином, муж своей жены. Она зарабатывает до восьмидесяти тысяч в год на русские деньги, он ничего не делает, стало быть, у него есть время быть ее слугой. Ей нужен кассир и человек, который возился бы с антрепренерами, контрактами, договорами… Она знается с одной только аплодирующей публикой, до кассы же, до прозаической стороны своей деятельности она не снисходит, ей нет до нее дела. Следовательно, он ей нужен, нужен как прихвостень, слуга… Она прогнала бы его, если бы умела управляться

сама. Он же, получая от нее солидное жалованье (она не знает цены деньгам!), как дважды два — четыре, обкрадывает ее заодно с горничными, сорит ее деньгами, кутит напропалую, быть может, даже прячет про черный день — и доволен своим положением, как червяк, забравшийся в хорошее яблоко. Он ушел бы от нее, если бы у нее не было денег.

Так думают и говорят все те, которые рассматривают их во время обедов. Думают так и говорят, потому что, не имея возможности проникнуть в глубь дела, могут судить только поверхностно. На нее глядят, как на диву, от него же сторонятся, как от пигмея, покрытого лягушечьею слизью; а между тем эта европейская дива связана с этим лягушонком завиднейшей, благороднейшей связью.

Вот что пишет он:

«Спрашивают меня, за что я люблю эту мегеру? Правда, эта женщина не стоит любви. Она не стоит и ненависти. Стоит она только того, чтобы на нее не обращали внимания, игнорировали ее существование. Чтобы любить ее, нужно быть или мной, или сумасшедшим, что, впрочем, одно и то же.

Она некрасива. Когда я женился на ней, она

была уродом, а теперь и подавно. У нее нет лба; вместо бровей над глазами лежат две едва заметные полоски; вместо глаз у нее две неглубокие щели. В этих щелях ничего не светится: ни ума, ни желаний, ни страсти. Нос — картофелью. Рот мал, красив, зато зубы ужасны. У нее нет груди и талии. Последний недостаток скрашивается, впрочем, ее чертовским уменьем как-то сверхъестественно искусно затягиваться в корсет. Она коротка и полна. Полнота ее обрюзглая. En masse[24], во всем ее теле есть недостаток, который я считаю наиважнейшим, — это полное отсутствие женственности. Бледность кожи и мышечное бессилие я не считаю за женственность и в этом отношении расхожусь во взгляде с очень многими. Она не дама, не барыня, а лавочница с угловатыми манерами: ходит — руками машет, сидит, положив ногу на ногу, покачиваясь взад и вперед всем корпусом, лежит, подняв ноги, и т. д.

Она неряшлива. Особенно характерны в этом отношении ее чемоданы. В них чистое белье перемешано с грязным, манжеты с туфлями и моими сапогами, новые корсеты с изломанными. Мы никогда никого не принимаем, потому что

---

[24] Примечания: 24
Вообще *(франц).*

в наших номерах вечно присутствует грязный беспорядок... Ах, да что говорить? Посмотрите на нее в полдень, когда она просыпается и лениво выползает из-под своего одеяла, и вы не узнаете в ней женщину с соловьиным голосом. Непричесанная, с перепутавшимися волосами, с заспанными, заплывшими глазами, в сорочке с продранными плечами, босая, косая, окутанная облаком вчерашнего табачного дыма — похожа ли она на соловья?

Она пьет. Пьет она, как гусар, когда угодно и что угодно. Пьет уже давно. Если бы она не пила, она была бы выше Патти и во всяком случае не ниже. Она пропила половину своей карьеры и очень скоро пропьет другую. Негодяи немцы научили ее пить пиво, и она теперь не ложится спать, не выпив на сон грядущий двух-трех бутылок. Если бы она не пила, у нее не было бы катара желудка.

Она невежлива, чему свидетели студенты, которые иногда приглашают ее на свои концерты.

Она любит рекламу. Реклама обходится нам ежегодно в несколько тысяч франков. Я всей душой презираю рекламу. Как бы ни была дорога эта глупая реклама, она всегда будет дешевле ее голоса. Жена любит, чтобы ее гладили по головке, не любит, чтобы о ней говорили правду, не

похожую на похвалу. Для нее купленный Иудин поцелуй милее некупленной критики. Полное отсутствие сознания собственного достоинства!

Она умна, но ум ее недовоспитан. Мозги ее давно уже потеряли свою эластичность; они покрылись жиром и спят.

Она капризна, непостоянна, не имеет ни одного прочного убеждения. Вчера она говорила, что деньги — ерунда, что вся суть не в них, сегодня же она дает концерты в четырех местах, потому что пришла к убеждению, что на этом свете нет ничего выше денег. Завтра она скажет то, что говорила вчера. Она не хочет знать отечества, у нее нет политических героев, нет любимой газеты, любимых авторов.

Она богата, но не помогает бедным. Мало того, она часто не доплачивает модисткам и парикмахерам. У нее нет сердца.

Тысячу раз испорченная женщина!

Но поглядите вы на эту мегеру, когда она, намазанная, зализанная, стянутая, приближается к рампе, чтобы начать соперничать с соловьями и жаворонком, приветствующим майскую зарю. Сколько достоинства и сколько прелести в этой лебединой походке! Приглядитесь и будьте, умоляю вас, внимательны. Когда она впервые

поднимает руку и раскрывает рот, ее щелочки превращаются в большие глаза и наполняются блеском и страстью… Нигде в другом месте вы не найдете таких чудных глаз. Когда она, моя жена, начинает петь, когда по воздуху пробегают первые трели, когда я начинаю чувствовать, что под влиянием этих чудных звуков стихает моя взбаламученная душа, тогда поглядите на мое лицо и вам откроется тайна моей любви.

— Не правда ли, она прекрасна? — спрашиваю я тогда своих соседей.

Они говорят «да», но мне мало этого. Мне хочется уничтожить того, кто мог бы подумать, что эта необыкновенная женщина не моя жена. Я все забываю, что было раньше, и живу только одним настоящим.

Посмотрите, какая она актриса! Сколько глубокого смысла кроется в каждом ее движении! Она понимает все: и любовь, и ненависть, и человеческую душу… Недаром театр дрожит от аплодисментов.

По окончании последнего акта я веду ее из театра, бледную, изнеможенную, в один вечер пережившую целую жизнь. *Я тоже бледен* и изнурен. Мы садимся в карету и едем в отель. В отеле она молча, не раздеваясь, бросается в по-

стель. Я молча сажусь на край кровати и целую ее руку. В этот вечер она не гонит меня от себя. Вместе мы и засыпаем, спим до утра и просыпаемся, чтобы послать к черту друг друга и…

Знаете, еще когда я люблю ее? Когда она присутствует на балах или обедах. И здесь я люблю в ней замечательную актрису. Какой, в самом деле, нужно быть актрисой, чтобы уметь перехитрить и пересилить свою природу так, как она умеет… Я не узнаю ее на этих глупых обедах… Из ощипанной утки она делает павлина…»

Это письмо написано пьяным, едва разборчивым почерком. Писано оно по-немецки и испещрено орфографическими ошибками.

Вот что пишет она:

«Вы спрашиваете меня, люблю ли я этого мальчика? Да, иногда… За что? Бог знает…

Правда, он некрасив и несимпатичен. Такие, как он, не рождены для того, чтобы иметь право на взаимную любовь. Такие, как он, могут только покупать любовь, даром же она им не дается. Судите сами.

Он день и ночь пьян как сапожник. Руки его трясутся, что очень некрасиво. Когда он пьян, он брюзжит и дерется. Он бьет и меня. Когда он трезв, он лежит на чем попало и молчит.

Он вечно оборван, хотя и не имеет недостатка в деньгах на платье. Половина моих сборов проскальзывает, неизвестно куда, сквозь его руки.

Никак не соберусь проконтролировать его. У несчастных замужних артисток ужасно дороги кассиры. Мужья получают за свои труды полкассы.

Тратит он не на женщин, я это знаю. Он презирает женщин.

Он — лентяй. Я не видала, чтобы он делал когда-нибудь что-нибудь. Он пьет, ест, спит — и только.

Он нигде не кончил курса. Его исключили из первого курса университета за дерзости.

Он не дворянин и, что ужаснее всего, немец.

Я не люблю господ немцев. На сто немцев приходится девяносто девять идиотов и один гений. Последнее я узнала от одного принца, немца на французской подкладке.

Он курит отвратительный табак.

Но у него есть хорошие стороны. Он более меня любит мое благородное искусство. Когда перед началом спектакля объявляют, что я по болезни петь не могу, т. е. капризничаю, он ходит как убитый и сжимает кулаки.

Он не трус и не боится людей. Это я люблю в

людях больше всего. Я расскажу вам маленький эпизодик из моей жизни. Дело было в Париже, год спустя по выходе моем из консерватории. Я была тогда еще очень молода и училась пить. Кутила я каждый вечер, насколько хватало у меня моих молодых сил. Кутила я, разумеется, в компании. В один из таких кутежей, когда я чокалась со своими знатными почитателями, к столу подошел очень некрасивый и не знакомый мне мальчик и, глядя мне прямо в глаза, спросил:

— Для чего вы пьете?

Мы захохотали. Мой мальчик не смутился.

Второй вопрос был более дерзок и вылетел прямо из души:

— Чего вы смеетесь? Негодяи, которые спаивают вас теперь вином, не дадут вам ни гроша, когда вы пропьете голос и станете нищей!

Какова дерзость? Компания моя зашумела. Я же посадила мальчика возле себя и приказала подать ему вина. Оказалось, что поборник трезвости прекрасно пьет вино. A propos[25]: мальчиком я называю его только потому, что у него очень маленькие усы.

За его дерзость я заплатила браком с ним.

---

[25] Примечания: 25
Кстати *(франц.)*.

Он больше молчит. Чаще всего говорит он одно слово. Это слово говорит он грудным голосом, с дрожью в горле, с судорогой на лице. Это слово случается произносить ему, когда он сидит среди людей, на обеде, на балу… Когда кто-нибудь (кто бы то ни было) скажет ложь, он поднимает голову и, не глядя ни на что, не смущаясь, говорит:

— Неправда!

Это его любимое слово. Какая женщина устоит против блеска глаз, с которым произносится это слово? Я люблю это слово, и этот блеск, и эту судорогу на лице. Не всякий умеет сказать это хорошее, смелое слово, а муж мой произносит его везде и всегда. Я люблю его иногда, и это «иногда», насколько я помню, совпадает с произнесением этого хорошего слова. Впрочем, бог знает, за что я его люблю. Я плохой психолог, а в данном случае затронут, кажется, психологический вопрос…»

Это письмо писано по-французски, прекрасным, почти мужским почерком. В нем вы не найдете ни одной грамматической ошибки.

Два скандала

— Стойте, черт вас возьми! Если эти козлы-тенора не перестанут рознить, то я уйду! Глядеть в ноты, рыжая! Вы, рыжая, третья с правой стороны! Я с вами говорю! Если не умеете петь, то за каким чертом вы лезете на сцену со своим вороньим карканьем? Начинайте сначала!

Так кричал он и трещал по партитуре своей дирижерской палочкой. Этим косматым господам дирижерам многое прощается. Да иначе и нельзя. Ведь если он посылает к черту, бранится и рвет на себе волосы, то этим самым он заступается за святое искусство, с которым никто не смеет шутить. Он стоит настороже, а не будь его, кто бы не пускал в воздух этих отвратительных полутонов, которые то и дело расстраивают и убивают гармонию? Он бережет эту гармонию и за нее готов повесить весь свет и сам повеситься. На него нельзя сердиться. Заступайся он за себя, ну тогда другое дело!

Большая часть его желчи, горькой, пенящейся, доставалась на долю рыжей девочки, стоявшей третьей с правого фланга. Он готов был проглотить ее, провалить сквозь землю, поломать и

выбросить в окно. Она рознила больше всех, и он ненавидел и презирал ее, рыжую, больше всех на свете. Если б она провалилась сквозь землю, умерла тут же на его глазах, если бы запачканный ламповщик зажег ее вместо лампы или побил ее публично, он захохотал бы от счастья.

— А, черт вас возьми! Поймите же, наконец, что вы столько же смыслите в пении и музыке, как я в китоловстве! Я с вами говорю, рыжая! Растолкуйте ей, что там не «фа диэз», а просто «фа»! Поучите этого неуча нотам! Ну, пойте одна! Начинайте! Вторая скрипка, убирайтесь вы к черту с вашим неподмазанным смычком!

Она, восемнадцатилетняя девочка, стояла, глядела в ноты и дрожала, как струна, которую сильно дернули пальцем. Ее маленькое лицо то и дело вспыхивало, как зарево. На глазах блестели слезы, готовые каждую минуту закапать на музыкальные значки с черными булавочными головками. Если бы шелковые золотистые волосы, которые водопадом падали на ее плечи и спину, скрыли ее лицо от людей, она была бы счастлива.

Ее грудь вздымалась под корсажем, как волна. Там, под корсажем и грудью, происходила страшная возня: тоска, угрызения совести, презрение

к самой себе, страх… Бедная девочка чувствовала себя виноватой, и совесть исцарапала все ее внутренности. Она виновата перед искусством, дирижером, товарищами, оркестром и, наверное, будет виновата и перед публикой… Если ее ошикают, то будут тысячу раз правы. Глаза ее боялись глядеть на людей, но она чувствовала, что на нее глядят все с ненавистью и презрением… В особенности он! Он готов швырнуть ее на край света, подальше от своих музыкальных ушей.

«Боже, прикажи мне петь как следует!» — думала она, и в ее сильном дрожащем сопрано слышалась отчаянная нотка.

Он не хотел понять этой нотки, а бранился и хватал себя за длинные волосы. Плевать ему на страдания, если вечером спектакль!

— Это из рук вон! Эта девчонка готова сегодня зарезать меня своим козлиным голосом! Вы не примадонна, а прачка! Возьмите у рыжей ноты!

Она рада бы петь хорошо, не фальшивить… Она и умела не фальшивить, была мастером своего дела. Но разве виновата она была, что ее глаза не повиновались ей? Они, эти красивые, но недобросовестные глаза, которые она будет проклинать до самой смерти, они, вместо того чтобы глядеть в ноты и следить за движениями его палочки,

смотрели в волосы и в глаза дирижера… Ее глазам нравились всклокоченные волосы и дирижерские глаза, из которых сыпались на нее искры и в которые страшно смотреть.

Бедная девочка без памяти любила лицо, по которому бегали тучи и молнии. Разве виновата она была, что ее маленький ум, вместо того чтобы утонуть в репетиции, думал о посторонних вещах, которые мешают дело делать, жить, быть покойной…

Глаза ее устремлялись в ноты, с нот они перебегали на его палочку, с палочки на его белый галстух, подбородок, усики и так далее…

— Возьмите у нее ноты! Она больна! — крикнул наконец он. — *Я не* продолжаю!

— Да, я больна, — прошептала покорно она, готовая просить тысячу извинений…

Ее отпустили домой, и ее место в спектакле было занято Другой, у которой хуже голос, но которая умеет критически относиться к своему делу, работать честно, добросовестно, не думая о белом галстухе и усиках.

И дома он не давал ей покоя. Приехав из театра, она упала на постель. Спрятав голову под подушку, она видела во мраке своих закрытых глаз его физиономию, искаженную гневом, и ей казалось,

что он бьет ее по вискам своей палочкой. Этот дерзкий был ее первою любовью!

И первый блин вышел комом.

На другой день после репетиции к ней приезжали ее товарищи по искусству, чтобы осведомиться об ее здоровье. В газетах и на афишах было напечатано, что она заболела. Приезжал директор театра, режиссер, и каждый засвидетельствовал ей свое почтительное участие. Приезжал и он.

Когда он не стоит во главе оркестра и не глядит на свою партитуру, он совсем другой человек. Тогда он вежлив, любезен и почтителен, как мальчик. По лицу его разлита почтительная, сладенькая улыбочка. Он не только не посылает к черту, но даже боится в присутствии дам курить и класть ногу на ногу. Тогда добрей и порядочней его трудно найти человека.

Он приехал с очень озабоченным лицом и сказал ей, что ее болезнь — большое несчастие для искусства, что все ее товарищи и он сам готовы все отдать для того только, чтобы «notre petit rossignol»[26] был здоров и покоен. О, эти болезни! Они многое отняли у искусства. Нужно сказать директору, что если на сцене будет по-прежнему

---

[26] Примечания: 26
Наш маленький соловей *(франц.).*

сквозной ветер, то никто не согласится служить, всякий уйдет. Здоровье дороже всего на свете! Он с чувством пожал ее ручку, искренно вздохнул, попросил позволения побывать у нее еще раз и уехал, проклиная болезни.

Славный малый! Но зато, когда она сказалась здоровой и пожаловала на сцену, он опять послал ее к «самому черному» черту, и опять по лицу его забегали молнии.

В сущности он очень порядочный человек. Она стояла однажды за кулисами и, опершись о розовый куст с деревянными цветами, следила за его движениями. Дух ее захватывало от восторга при виде этого человека. Он стоял за кулисами и, громко хохоча, пил с Мефистофелем и Валентином шампанское. Остроты так и сыпались из его рта, привыкшего посылать к черту. Выпивши три стакана, он отошел от певцов и направился к выходу в оркестр, где уже настраивались скрипки и виолончели. Он прошел мимо нее, улыбаясь, сияя и махая руками. Лицо его горело довольством. Кто осмелится сказать, что он плохой дирижер? Никто! Она покраснела и улыбнулась ему. Он, пьяный, остановился около нее и заговорил:

— Я раскис… — сказал он. — Боже мой! Мне так хорошо сегодня! Ха! ха! Вы сегодня все такие хо-

рошие! У вас чудные волосы! Боже мой, неужели я до сих пор не замечал, что у этого соловья такая чудная грива?

Он нагнулся и поцеловал ее плечо, на котором лежали волосы.

— Я раскис через это проклятое вино… Мой милый соловей, ведь мы не будем больше ошибаться? Будем со вниманием петь? Зачем вы так часто фальшивите? С вами этого не было прежде, золотая головка!

Дирижер совсем раскис и поцеловал ее руку. Она тоже заговорила…

— Не браните меня… Ведь я… я… Вы меня убиваете своей бранью… Я не перенесу… Клянусь вам!

И слезы навернулись на ее глазах. Она, сама того не замечая, оперлась о его локоть и почти повисла на нем.

— Ведь вы не знаете… Вы такой злой. Клянусь вам…

Он сел на куст и чуть не свалился с него… Чтобы не свалиться, он ухватился за ее талию.

— Звонок, моя крошка. До следующего антракта!

После спектакля она ехала домой не одна. С ней ехал пьяный, хохочущий от счастья, раскисший *он*| Как она счастлива! Боже мой! Она ехала, чув-

ствовала его объятия и не верила своему счастию. Ей казалось, что лжет судьба! Но как бы там ни было, а целую неделю публика читала в афише, что дирижер и его *она* больны… Он не выходил от нее целую неделю, и эта неделя показалась обоим минутой. Девочка отпустила его от себя только тогда, когда уж неловко было скрываться от людей и ничего не делать.

— Нужно проветрить нашу любовь, — сказал дирижер на седьмой день. — Я соскучился без своего оркестра.

На восьмой день он уже махал палочкой и посылал к черту всех, не исключая даже и «рыжей».

Эти женщины любят, как кошки. Моя героиня, сошедшись и начавши жить со своим пугалом, не отказалась от своих глупых привычек. Она по-прежнему, вместо того чтобы глядеть в ноты и на палочку, глядела на его галстух и лицо… На репетициях и во время спектакля она то и дело фальшивила и еще в большей степени, чем прежде. Зато же и бранил он ее! Прежде бранил он ее только на репетициях, теперь же мог это делать и дома, после спектакля, стоя перед ее постелью. Сентиментальная девчонка! Достаточно ей было, когда она пела, взглянуть на любимое лицо, чтобы отстать на целых четверть такта или

вздрогнуть голосом. Когда она пела, она глядела на него со сцены, когда же не пела, она стояла за кулисами и не отрывала глаз от его длинной фигуры. Во время антракта они сходились в уборной, где оба пили шампанское и смеялись над ее поклонниками. Когда оркестр играл увертюру, она стояла на сцене и глядела на него в маленькое отверстие в занавесе. В это отверстие актеры смеются над плешью первого ряда и по количеству видимых голов определяют величину сбора.

Отверстие в занавесе погубило ее счастье. Случился скандал.

В одну масленицу, когда театр бывает наименее пуст, давали «Гугенотов». Когда дирижер перед началом пробирался между пюпитрами к своему месту, она стояла уже у занавеса и с жадностью, с замиранием сердца глядела в отверстие.

Он состроил кисло-серьезную физиономию и замахал во все стороны своей палочкой. Заиграли увертюру. Красивое лицо его сначала было относительно покойно… Потом же, когда увертюра близилась к середине, по его правой щеке забегали молнии и правый глаз прищурился. Беспорядок слышался справа: там сфальшивила флейта и не вовремя закашлял фагот. Кашель может помешать начать вовремя. Потом покраснела

и задвигалась левая щека. Сколько движения и огня в этом лице! Она глядела на него и чувствовала себя на седьмом небе, наверху блаженства.

— Виолончель к чертям! — пробормотал он сквозь зубы быстро, чуть слышно.

Эта виолончель знает ноты, но не хочет знать души! Можно ли поручать этот нежный и мягкозвучный инструмент людям, не умеющим чувствовать? По всему лицу дирижера забегали судороги, и свободная рука вцепилась в пюпитр, точно пюпитр виноват в том, что толстый виолончелист играет только ради денег, а не потому, что этого хочется его душе!

— Долой со сцены! — послышалось где-то вблизи…

Вдруг лицо дирижера просияло и засветилось счастьем. Губы его улыбнулись. Одно из трудных мест было пройдено первыми скрипками более чем блистательно. Это приятно дирижерскому сердцу. У моей рыжеволосой героини стало на душе тоже приятно, как будто бы она играла на первых скрипках или имела дирижерское сердце. Но это сердце было не дирижерское, хотя и сидел в нем дирижер. «Рыжая чертовка», глядя на улыбающееся лицо, сама заулыбалась… но не время было улыбаться. Случилось нечто сверхъ-

естественное и ужасно глупое…

Отверстие вдруг исчезло перед ее глазом. Куда оно девалось? Наверху что-то зашумело, точно подул ровный ветер… По ее лицу что-то поползло вверх… Что случилось? Она начала глазом искать отверстие, чтобы увидеть любимое лицо, но вместо отверстия она увидала вдруг целую массу света, высокую и глубокую… В массе света замелькало бесчисленное множество огней и голов, и между этими разнообразными головами она увидела дирижерскую голову… Дирижерская голова посмотрела на нее и замерла от изумления… Потом изумление уступило место невыразимому ужасу и отчаянию… Она, сама того не замечая, сделала полшага к рампе… Из второго яруса послышался смех, и скоро весь театр утонул в нескончаемом смехе и шиканье. Черт возьми! На «Гугенотах» будет петь барыня в перчатках, шляпе и платье самого новейшего времени!..

— Ха-ха-ха!

В первом ряду задвигались смеющиеся плеши… Поднялся шум… А его лицо стало старо и морщинисто, как лицо Эзопа! Оно дышало ненавистью, проклятиями… Он топнул ногой и бросил под ноги свою дирижерскую палочку, которую он не променяет на фельдмаршальский жезл. Оркестр

секунду понес чепуху и умолк… Она отступила назад и, пошатываясь, поглядела в сторону… В стороне были кулисы, из-за которых смотрели на нее бледные, злобные рыла… Эти звериные рыла шипели…

— Вы губите нас! — шипел антрепренер…

Занавес пополз вниз медленно, волнуясь, нерешительно, точно его спускали не туда, куда нужно… Она зашаталась и оперлась о кулису…

— Вы губите меня, развратная, сумасшедшая… о, чтобы черт тебя забрал, отвратительнейшая гадина!

Это говорил голос, который час тому назад, когда она собиралась в театр, шептал ей: «Тебя нельзя не любить, моя крошка! Ты мой добрый гений! Твой поцелуй стоит магометова рая!» А теперь? Она погибла, честное слово, погибла!

Когда порядок в театре был водворен и взбешенный дирижер принялся во второй раз за увертюру, она была уже у себя дома. Она быстро разделась и прыгнула под одеяло. Лежа не так страшно умирать, как стоя или сидя, а она была уверена, что угрызения совести и тоска убьют ее… Она спрятала голову под подушку и, дрожа, боясь думать и задыхаясь от стыда, завертелась под одеялом… От одеяла пахло сигарами, которые

курил *он*... Что-то он скажет, когда придет?

В третьем часу ночи пришел *он.* Дирижер был пьян. Он напился с горя и от бешенства. Ноги его подгибались, а руки и губы дрожали, как листья при слабом ветре. Он, не скидая шубы и шапки, подошел к постели и постоял минуту молча. Она притаила дыхание.

— Мы можем спать покойно после того, как осрамились на весь свет! — прошипел он. — Мы, истинные артисты, умеем мириться со своею совестью! Истинная артистка! Ха! ха! Ведьма!

Он сдернул с нее одеяло и швырнул его к камину.

— Знаешь, что ты сделала? Ты посмеялась надо мной, чтоб черт забрал тебя! Ты знаешь это? Или ты не знаешь? Вставай!

Он рванул ее за руку. Она села на край кровати и спрятала свое лицо за спутавшимися волосами. Плечи ее дрожали.

— Прости меня!

— Ха! ха! Рыжая!

Он рванул ее за сорочку и увидел белое, как снег, чудное плечо. Но ему было не до плеч.

— Вон из моего дома! Одевайся! Ты отравила мою жизнь, ничтожная!

Она пошла к стулу, на котором беспорядочной

кучей лежало ее платье, и начала одеваться. Она отравила его жизнь! Подло и гнусно с ее стороны отравлять жизнь этого великого человека! Она уйдет, чтобы не продолжать этой подлости. И без нее есть кому отравлять жизни…

— Вон отсюда! Сейчас же!

Он бросил ей в лицо кофточку и заскрежетал зубами. Она оделась и встала около двери. Он замолчал. Но недолго продолжалось молчание. Дирижер, покачиваясь, указал ей на дверь. Она вышла в переднюю. Он отворил дверь на улицу.

— Прочь, мерзкая!

И, взяв ее за маленькую спину, он вытолкал ее…

— Прощай! — прошептала она кающимся голосом и исчезла в темноте.

А было туманно и холодно… С неба моросил мелкий дождь…

— К черту! — крикнул ей вослед дирижер и, не прислушиваясь к ее шлепанью по грязи, запер дверь. Выгнав подругу в холодный туман, он улегся в теплую постель и захрапел.

— Так ей и следует! — сказал он утром, проснувшись, но… он лгал! Кошки скребли его музыкальную душу, и тоска по рыжей защемила его сердце. Неделю ходил он, как полупьяный, стра-

дая, поджидая ее и терзаясь неизвестностью. Он думал, что она придет, верил в это… Но она не пришла. Отравление человека, которого она любит больше жизни, не входит в ее программу. Ее вычеркнули из списка артисток театра за «неприличное поведение». Ей не простили скандала. Об отставке ей не было сообщено, потому что никто не знал, куда она исчезла. Не знали ничего, но предполагали многое…

— Она замерзла или утопилась! — предполагал дирижер.

Через полгода забыли о ней. Забыл о ней и дирижер. На совести каждого красивого артиста много женщин, и, чтобы помнить каждую, нужно иметь слишком большую память.

Все наказывается на этом свете, если верить добродетельным и благочестивым людям. Был ли наказан дирижер?

Да, был.

Пять лет спустя дирижер проезжал через город Х. В Х. прекрасная опера, и он остался в нем на день, чтобы познакомиться с ее составом. Остановился он в лучшем Hotel'е и в первое же утро после приезда получил письмо, которое ясно показывает, какою популярностью пользовался мой длинноволосый герой. В письме просили его

продирижировать «Фауста». Дирижер Н. внезапно заболел, и дирижерская палочка вакантна. Не пожелает ли он, мой герой (просили его в письме), взять на себя труд воспользоваться случаем и угостить своим искусством музыкальнейших обывателей города Х.? Мой герой согласился.

Он взялся за палочку, и «чужие» музыканты увидели лицо с молниями и тучами. Молний было много. И немудрено: репетиций не было, и пришлось начинать блистать своим искусством прямо со спектакля.

Первое действие прошло благополучно. То же случилось и со вторым. Но во время третьего произошел маленький скандал. Дирижер не имеет привычки смотреть на сцену или куда бы то ни было. Все его внимание обращено на партитуру.

Когда в третьем действии Маргарита, прекрасное, сильное сопрано, запела за прялкой свою песню, он улыбнулся от удовольствия: барыня пела прелестно. Но когда же эта самая барыня опоздала на осьмую такта, по лицу его пробежали молнии, и он с ненавистью поглядел на сцену. Но шах и мат молниям! Рот широко раскрылся от изумления, и глаза стали большими, как у теленка.

На сцене за прялкой сидела та рыжая, которую

он когда-то выгнал из теплой постели и толкнул в темный, холодный туман. За прялкой сидела она, рыжая, но уже не совсем такая, какую он выгнал, а другая. Лицо было прежнее, но голос и тело не те. Тот и другое были изящнее, грациознее и смелее в своих движениях.

Дирижер разинул рот и побледнел. Палочка его нервно задвигалась, беспорядочно заболталась на одном месте и замерла в одном положении…

— Это она! — сказал он вслух и засмеялся.

Удивление, восторг и беспредельная радость овладели его душой. Его рыжая, которую он выгнал, не пропала, а стала великаном. Это приятно для его дирижерского сердца. Одним светилом больше, и искусство в его лице захлебывается от радости!

— Это она! Она!

Палочка замерла в одном положении, и, когда он, желая поправить дело, махнул ею, она выпала из его рук и застучала по полу… Первая скрипка с удивлением поглядела на него и нагнулась за палочкой. Виолончель подумала, что с дирижером дурно, замолкла и опять начала, но невпопад… Звуки завертелись, закружились в воздухе и, ища выхода из беспорядка, затянули возмутительную резь…

Она, рыжая Маргарита, вскочила и гневным взором измерила «этих пьяниц», которые… Она побледнела, и глаза ее забегали по дирижеру…

А публика, которой нет ни до чего дела, которая заплатила свои деньги, затрещала и засвистала…

К довершению скандала Маргарита взвизгнула на весь театр и, подняв вверх руки, подалась всем телом к рампе… Она узнала его и теперь ничего не видела, кроме молний и туч, опять появившихся на его лице.

— А, проклятая гадина! — крикнул он и ударил кулаком по партитуре.

Что сказал бы Гуно, если бы видел, как издеваются над его творением! О, Гуно убил бы его и был бы прав!

Он ошибся первый раз в жизни, и той ошибки, того скандала не простил он себе.

Он выбежал из театра с окровавленной нижней губой и, прибежав к себе в отель, заперся. Запершись, просидел он три дня и три ночи, занимаясь самосозерцанием и самобичеванием.

Музыканты рассказывают, что он поседел в эти трое суток и выдернул из своей головы половину волос…

— Я оскорбил ее! — плачет он теперь, когда

бывает пьян. — Я испортил ее партию! Я — не дирижер!

Отчего же он не говорил ничего подобного после того, как выгнал ее?

Барон

Барон — маленький, худенький старикашка лет шестидесяти. Его шея дает с позвоночником тупой угол, который скоро станет прямым. У него большая угловатая голова, кислые глаза, нос шишкой и лиловатый подбородок. По всему лицу его разлита слабая синюха, вероятно, потому, что спирт стоит в том шкафу, который редко запирается бутафором. Впрочем, кроме казенного спирта, барон употребляет иногда и шампанское, которое можно найти очень часто в уборных, на донышках бутылок и стаканов. Его щеки и мешочки под глазами висят и дрожат, как тряпочки, повешенные для просушки. На лысине зеленоватый налет от зеленой подкладки ушастой меховой шапки, которую барон, когда не носит на голове, вешает на испортившийся газовый рожок за третьей кулисой. Голос его дребезжит, как треснувшая кастрюля. А костюм? Если вы смеетесь над этим костюмом, то вы, значит, не признаете авторитетов, что не делает вам чести. Коричневый сюртук без пуговиц, с лоснящимися локтями и подкладкой, обратившейся в бахрому, — замечательный сюртук. Он болтает-

ся на узких плечах барона, как на поломанной вешалке, но... что ж из этого следует? Зато он облекал когда-то гениальное тело величайшего из комиков. Бархатная жилетка с голубыми цветами имеет двадцать прорех и бесчисленное множество пятен, но нельзя же бросить ее, если она найдена в том нумере, в котором жил могучий Сальвини! Кто может поручиться, что этой жилетки не носил сам трагик? А найдена она была на другой день после отъезда великана-артиста; следовательно, можно поклясться, что она не фальшивая. Галстух, греющий шею барона, не менее замечательный галстух. Им можно похвастать, хотя и следовало бы его в чисто гигиенических и эстетических видах заменить другим, более прочным и менее засаленным. Он выкроен из останков того великого плаща, которым покрывал когда-то свои плечи Эрнесто Росси, беседуя в «Макбете» с ведьмами.

— От моего галстуха пахнет кровью короля Дункана! — говорит часто барон, ища в своем галстухе паразитов.

Над пестренькими, полосатыми брючками барона можете смеяться сколько вам угодно. Их не носило ранее ни одно авторитетное лицо, хотя актеры и шутят, что эти брючки сшиты из

паруса парохода, на котором Сара Бернар ездила в Америку. Они куплены у капельдинера № 16.

Зиму и лето барон ходит в больших калошах, чтобы сапоги были целей и чтобы не простудить своих ревматических ног на сквозном ветру, гуляющем по полу его суфлерской будки.

Барона можно видеть только в трех местах: в кассе, в суфлерской будке и за сценой в мужской уборной. Вне этих мест он не существует и едва ли мыслим. В кассе он ночью ночует, а днем записывает фамилии покупающих ложи и играет с кассиром в шашки. Старый и золотушный кассир — единственный человек, который слушает барона и отвечает на его вопросы. В суфлерской будке барон исполняет свои священные обязанности; там он зарабатывает себе кусок насущного хлеба. Эта будка выкрашена в блестящий, белый цвет только снаружи; внутри же стенки ее покрыты паутиной, щелями и занозами. В ней пахнет сыростью, копченой рыбой и спиртом. В антрактах барон торчит в мужской уборной. Новички, первый раз входящие в эту уборную, увидев барона, хохочут и аплодируют. Они принимают его за актера.

— Браво, браво! — говорят они. — Вы прелестно загримировались! Какая у вас смешная рожица!

А где вы достали такой оригинальный костюм?

Бедный барон! Люди не могут допустить, что он имеет собственную физиономию!

В уборной он наслаждается созерцанием светил или же, если нет светил, осмеливается вставлять в чужие речи свои замечания, которых у него очень много. Замечаний его никто не слушает, потому что они всем надоели и попахивают рутиной; их пускают мимо ушей без всяких церемоний. С бароном вообще не любят церемониться. Если он вертится перед носом и мешает, ему говорят: убирайтесь! Если он шепчет из своей будки слишком тихо или слишком громко, его посылают к черту и грозят ему штрафом или отставкой. Он служит мишенью для большинства закулисных острот и каламбуров. На нем смело можно пробовать свое остроумие: он не ответит.

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как его начали дразнить «бароном», но за все эти двадцать лет он ни разу не протестовал против этого прозвища.

Заставить его переписать роль и не заплатить ему — тоже можно. Все можно! Он улыбается, извиняется и конфузится, когда наступают ему на ногу. Побейте его публично по морщинистым щекам, и, ручаюсь вам честным словом, он не

пойдет с жалобой к мировому. Оторвите от его замечательного, горячо любимого сюртука кусок подкладки, как это сделал недавно jeune premier[27], он только замигает глазками и покраснеет. Такова сила его забитости и смирения! Его никто не уважает. Пока он жив, его выносят, когда же умрет, его забудут немедленно. Жалкое он создание!

А между тем было когда-то время, когда он чуть было не сделался товарищем и братом людей, которым он поклонялся и которых любил больше жизни. (Он не мог не любить людей, которые бывают иногда Гамлетами и Францами Моор!) Он сам едва не стал артистом и, наверное, стал бы им, если бы не помешал ему один смешной пустяк. Таланта было много, желания — тоже, была на первых порах и протекция, но не хватило пустяка: смелости. Ему вечно казалось, что *они,* эти головы, которыми усеяны все пять ярусов, низ и верх, захохочут и зашикают, если он позволит себе показаться на сцене. Он бледнел, краснел и немел от ужаса, когда предлагали ему подебютировать.

— Я подожду немного, — говорил он.

---

[27] Примечания: 27
Первый любовник *(франц.).*

И он ждал до тех пор, пока не состарился, не разорился и не попал, по протекции, в суфлерскую будку.

Он стал суфлером, но это не беда. Теперь уж его не выгонят из театра за неимение билета: он должностное лицо. Он сидит впереди первого ряда, видит лучше всех и не платит за свое место ни копейки. Это хорошо. Он счастлив и доволен.

Обязанность свою исполняет он прекрасно. Перед спектаклем он несколько раз прочитывает пьесу, чтобы не ошибиться, а когда бьет первый звонок, он уже сидит в будке и перелистывает свою книжку. Усердней его трудно найти кого-либо во всем театре.

Но все-таки нужно выгнать его из театра.

Беспорядки не должны быть терпимы в театре, а барон производит иногда страшные беспорядки. Он скандалист.

Когда на сцене играют особенно хорошо, он отрывает глаза от своей книжки и перестает шептать. Очень часто он прерывает свое чтение криками: браво! превосходно! — и позволяет себе аплодировать в то время, когда не аплодирует публика. Раз даже он шикал, за что чуть было не потерял места.

Вообще поглядите на него, когда он сидит в

своей вонючей будке и шепчет. Он краснеет, бледнеет, жестикулирует руками, шепчет громче, чем следует, задыхается. Иногда бывает его слышно даже в коридорах, где около платья зевают капельдинеры. Он позволяет себе даже браниться из будки и подавать актеру советы.

— Правую руку вверх! — шепчет он часто. — У вас горячие слова, но лицо — лед! Это не ваша роль! Вы молокосос для этой роли! Вы бы поглядели в этой роли Эрнесто Росси! К чему же шарж? О, боже мой! Он все испортил своей мещанской манерой!

И подобные вещи шепчет он, вместо того чтобы шептать по книжке. Напрасно терпят этого чудака. Если бы его выгнали, то публике не пришлось бы быть свидетельницей скандала, который произошел на этих днях.

Скандал состоял в следующем.

Давали «Гамлета». Театр был полон. В наши дни Шекспир слушается так же охотно, как и сто лет тому назад. Когда дают Шекспира, барон находится в самом возбужденном состоянии. Он много пьет, много говорит и не переставая трет кулаками свои виски. За висками кипит жестокая работа. Старческие мозги взбудораживаются бешеной завистью, отчаянием, ненавистью,

мечтами… Ему самому следовало бы поиграть Гамлета, хоть Гамлет и плохо вяжется с горбом и со спиртом, который забывает запирать бутафор. Ему, а не этим пигмеям, играющим сегодня лакеев, завтра сводников, послезавтра Гамлета! Сорок лет штудирует он этого датского принца, о котором мечтают все порядочные артисты и который дал лавровый венец не одному только Шекспиру Сорок лет он штудирует, страдает, сгорает от мечты… Смерть не за горами. Она скоро придет и навсегда возьмет его из театра… Хоть бы раз в жизни ему посчастливилось пройтись по сцене в принцевой куртке, вблизи моря, около скал, где одна пустыня места,

Сама собой, готова довести

К отчаянью, когда посмотришь в бездну

И слышишь в ней далекий плеск волны.

Если даже мечты заставляют таять не по дням, а по часам, то каким огнем сгорел бы лысый барон, если бы мечта приняла форму действительности!

В описываемый вечер он готов был проглотить весь свет от зависти и злости. Гамлета дали играть мальчишке, говорящему жидким тенором,

а главное — рыжему. Неужели Гамлет был рыж?

Барон сидел в своей будке, как на горячих угольях. Когда Гамлета не было на сцене, он был еще относительно покоен, когда же на сцену появлялся жидкий рыжеволосый тенор, он начинал вертеться, метаться, ныть. Шепот его походил больше на стон, чем на чтение. Руки его тряслись, страницы путались, подсвечники ставились то ближе, то дальше… Он впивался в лицо Гамлета и переставал шептать… Ему страстно хотелось повыщипать из рыжей головы все волосы до единого. Пусть Гамлет будет лучше лыс, чем рыж! Шарж — так шарж, черт возьми!

Во втором действии он уж вовсе не шептал, а злобно хихикал, бранился и шикал. К его счастью, актеры хорошо знали свои роли и не замечали его молчания.

— Хорош Гамлет! — бранился он. — Нечего сказать! Ха-ха! Господа юнкера не знают своего места! Им следует за швейками бегать, а не на сцене играть! Если бы у Гамлета было такое глупое лицо, то едва ли Шекспир написал бы свою трагедию!

Когда ему надоело браниться, он начал учить рыжего актера. Жестикулируя руками и лицом, читая и стуча кулаками о книжку, он потре-

бовал, чтобы актер следовал его советам. Ему нужно было спасти Шекспира от поругания, а для Шекспира он на все готов: хоть на сто тысяч скандалов!

Беседуя с актерами, рыжий Гамлет был ужасен. Он ломался, как тот «дюжий длинноволосый молодец» — актер, о котором сам Гамлет говорит: «Такого актера я в состоянии бы высечь». Когда он начал декламировать, барон не вынес. Задыхаясь и стуча лысиной по потолку будки, он положил левую руку на грудь, а правой зажестикулировал. Старческий, надорванный голос прервал рыжего актера и заставил его оглянуться на будку:

Распаленный гневом,
В крови, засохшей на его доспехах,
С огнем в очах, свирепый ищет Пирр
Отца Приама.

И, высунувшись наполовину из будки, барон кивнул головой первому актеру и прибавил уже не декламирующим, а небрежным, потухшим голосом:

— Продолжай!

Первый актер продолжал, но не тотчас. Минуту он промедлил, и минуту в театре царило глубокое молчание. Это молчание нарушил сам барон,

когда, потянувшись назад, стукнулся головой о край будки. Послышался смех.

— Браво, барабанщик! — крикнули из райка.

Думали, что прервал Гамлета не суфлер, а старый барабанщик, дремавший в оркестре. Барабанщик шутовски раскланялся с райком, и весь театр огласился смехом. Публика любит театральные недоразумения, и если бы вместо пьес давали недоразумения, она платила бы вдвое больше.

Первый актер продолжал, и тишина была мало-помалу водворена.

Чудак же барон, услышавши смех, побагровел от стыда и схватил себя за лысину, забыв, вероятно, что на ней уже нет тех волос, в которые влюблялись когда-то красивые женщины. Теперь мало того, что над ним будет смеяться весь город и все юмористические журналы, его еще выгонят из театра! Он горел от стыда, злился на себя, а между тем все члены его дрожали от восторга: он сейчас декламировал!

«Не твое дело, старая, заржавленная щеколда! — думал он. — Твое дело быть только суфлером, если не хочешь, чтобы тебе дали по шее, как последнему лакею. Но это возмутительно, однако! Рыжий мальчишка решительно не хочет играть

по-человечески! Разве это место так ведется?»

И, впившись глазами в актера, барон опять начал бормотать советы. Он еще раз не вынес и еще раз заставил смеяться публику. Этот чудак был слишком нервен. Когда актер, читая последний монолог второго действия, сделал маленькую передышку, чтобы молча покачать головой, из будки опять понесся голос, полный желчи, презрения, ненависти, но, увы! уже разбитый временем и бессильный:

Кровавый сластолюбец! Лицемер!

Бесчувственный, продажный, подлый изверг!

Помолчав секунд десять, барон глубоко вздохнул и прибавил уже не так громко:

Глупец, глупец! Куда как я отважен!

Этот голос был бы голосом Гамлета настоящего, не рыжего Гамлета, если бы на земле не было старости. Многое портит и многому мешает старость.

Бедный барон! Впрочем, не он первый, не он и последний.

Теперь его выгонят из театра. Согласитесь, что эта мера необходима.

Месть

Был день бенефиса нашей ingenue[28].

В десятом часу утра у ее двери стоял комик. Он прислушивался и стучал по обеим половинкам двери своими большими кулаками. Ему необходимо было видеть ingenue. Она должна была вылезть из-под своего одеяла во что бы то ни стало, как бы ей ни хотелось спать…

— Отворите же, черт возьми! Долго ли еще мне придется коченеть на этом сквозном ветру? Если б вы знали, что в вашем коридоре двадцать градусов мороза, вы не заставили бы меня ждать так долго! Или, быть может, у вас нет сердца?

В четверть одиннадцатого комик услышал глубокий вздох. За вздохом последовал скачок с кровати, а за скачком шлепанье туфель.

— Что вам угодно? Кто вы?

— Это я…

Комику не нужно было называть себя. Его легко можно было узнать по голосу, шипящему и дребезжащему, как у больного дифтеритом.

— Подождите, я оденусь…

---

[28] Примечания: 28
Инженю *(франц.).*

Через три минуты его впустили. Он вошел, поцеловал у ingenue руку и сел на кровать.

— Я к вам по делу, — начал он, закуривая сигару. — *Я хожу* к людям только по делу, ходить же в гости я предоставляю господам бездельникам. Но к делу… Сегодня я играю в вашей пьесе графа… Вы, конечно, это знаете?

— Да.

— Старого графа. Во втором действии я появляюсь на сцену в халате. Вы, надеюсь, и это знаете… Знаете?

— Да.

— Отлично. Если я буду не в халате, то я согрешу против истины. На сцене же, как и везде, прежде всего — истина! Впрочем, mademoiselle, к чему я говорю это? Ведь, в сущности говоря, человек и создан для того только, чтобы стремиться к истине…

— Да, это правда…

— Итак, после всего сказанного вы видите, что халат мне необходим. Но у меня нет халата, приличного графу. Если я покажусь публике в своем ситцевом халате, то вы много потеряете. На вашем бенефисе будет лежать пятно.

— Я вам могу помочь?

— Да. После *вашего* у вас остался прекрасный

голубой халат с бархатным воротником и красными кистями. Прекрасный, чудный халат!

Наша ingenue вспыхнула… Глазки ее покраснели, замигали и заискрились, как стеклянные бусы, вынесенные на солнце.

— Вы мне одолжите этот халат на сегодняшний спектакль…

Ingenue заходила по комнате. Нечесаные волосы ее попадали беспорядочно на лицо и плечи… Она зашевелила губами и пальцами…

— Нет, не могу! — сказала она…

— Это странно… Гм… Можно узнать почему?

— Почему? Ах, боже мой, да ведь это так понятно! Могу ли я? Нет!., нет! Никогда! *Он* нехорошо поступил со мной, он неправ… Это правда! Он поступил со мной, как последний негодяй… Я согласна с этим! Он бросил меня только потому, что я получаю мало жалованья и не умею обирать мужчин! Он хотел, чтобы я брала у этих господ деньги и носила эти подлые деньги к нему, — он хотел этого! Подло, гадко! На подобные притязания способны одни только бессовестные пошляки!

Ingenue повалилась в кресло, на котором лежала свежевыглаженная сорочка, и закрыла руками лицо. Сквозь ее маленькие пальчики комик

увидел блестящие точки: то окно отражалось в слезинках…

— Он ограбил меня! — продолжала она всхлипывая. — Грабь, если хочешь, но зачем же бросать? Зачем? Что я ему сделала? Что я тебе сделала? Что?

Комик встал и подошел к ней.

— Не будем плакать, — сказал он. — Слезы есть малодушие. И к тому же мы можем найти утешение во всякую минуту… Утешьтесь!.. Искусство — самый радикальный утешитель!

Но ничего не поделал радикальный утешитель.

За всхлипыванием последовала истерика.

— Это пройдет! — сказал комик. — Я подожду.

Он в ожидании, пока она придет в себя, походил по комнате, зевнул и лег на кровать. Ее постель женская, но она не так мягка, как те постели, на которых спят ingenue порядочных театров. Комика заколола в бок какая-то пружина, и его лысину зачесали перья, кончики которых робко выглядывали из подушки, сквозь розовую наволочку. Края кровати были холодны, как лед. Но все это не мешало нахалу сладко потянуться. Черт возьми, от этих бабьих кроватей так хорошо пахнет!

Он лежал и потягивался, а плечи ingenue пры-

гали, из груди ее вылетали отрывистые стоны, пальцы корчились и рвали на груди фланелевую кофточку… Комик напомнил ей самую несчастную страницу одного из несчастнейших романов! Истерика продолжалась минут десять. Очнувшись, ingenue откинула назад волосы, обвела комнату глазами и продолжала говорить.

Когда дама говорит с вами, неловко лежать на кровати. Вежливость прежде всего. Комик крякнул, поднялся и сел.

— Он поступил со мной нечестно, — продолжала она, — но из этого не следует, что я должна отдавать вам халат. Несмотря на его подлый поступок, я еще продолжаю любить его, и халат единственная вещь, оставшаяся у меня после него! Когда я вижу халат, я думаю о нем и… плачу…

— Я ничего не имею против этих похвальных чувств, — сказал комик, — напротив, в наш реальный, чертовски практический век приятно встретить человека с таким сердцем и с такой душой. Если вы дадите мне на один вечер халат, то вы принесете жертву, согласен… Но, подумайте, как приятно жертвовать для искусства!

И, подумав немного, комик вздохнул и прибавил:

— Тем более, что я вам завтра же возвращу его…

— Ни за что!

— Но почему же? Ведь я же не съем его, возвращу! Какая вы, право…

— Нет, нет! Ни за что!

Ingenue забегала по комнате и замахала руками.

— Ни за что! Вы хотите лишить меня единственной дорогой для меня вещи! Я скорей умру, но не отдам! Я еще люблю этого человека!

— Вполне понимаю, но не постигаю только одного, сударыня: как можете вы менять халат на искусство?.. Вы — артистка!

— Ни за что! И не говорите!

Комик покраснел и поцарапал себя по лысине. Он помолчал немного и спросил:

— Не дадите?

— Ни за что!

— Гм… Тэкссс… Это по-товарищески… Так поступают только товарищи!

Комик вздохнул и продолжал:

— Жалко, черт возьми! Очень жаль, что мы товарищи только на словах, а не на деле. Впрочем, несогласие слова с делом очень характерно для нашего времени. Взгляните, например, на

литературу! Очень жаль! В частности же нас, артистов, губит отсутствие солидарности, истинного товарищества… Ах, как нас губит это! Впрочем, нет! Это только показывает, что мы не артисты, не художники! Мы лакеи, а не артисты! Сцена дана нам только для того, чтобы показывать публике свои голые локти и плечи… чтобы глазки делать… щекотать инстинкты райка… Не дадите?

— Ни за какие деньги!

— Это последнее слово?

— Да-

— Прелестно…

Комик надел шапку, церемонно раскланялся и вышел из комнаты ingenue. Красный как рак, дрожащий от гнева, шипящий ругательствами, пошел он по улице, прямо к театру. Он шел и стучал палкой по мерзлой мостовой. С каким наслаждением нанизал бы он своих подлых товарищей на эту сучковатую палку! Еще лучше, если бы он мог проколоть этой артистической палкой насквозь всю землю! Будь он астрономом, он сумел бы доказать, что это худшая из планет!

Театр стоит на конце улицы, в трехстах шагах от острога. Он выкрашен в краску кирпичного цвета. Краска все замазала, кроме зияющих

щелей, показывающих, что театр деревянный. Когда-то театр был амбаром, в котором складывались кули с мукой. Амбар был произведен в театры не за какие-либо заслуги, а за то, что он самый высокий сарай в городе.

Комик пошел в кассу. Там, за грязным липовым столом, сидел его друг и приятель, кассир Штамм, немец, выдававший себя за англичанина. Кассир подслеповат, глуп и глух, но все это, однако, не мешает ему с должным вниманием выслушивать своих товарищей.

Комик вошел в кассу, нахмурил брови и остановился перед кассиром в позе боксера, скрестившего на груди руки. Он помолчал немного, покачал головой и воскликнул:

— Как прикажете назвать этих людей, мистер Штамм?!

Комик стукнул кулаком по столу и, негодующий, опустился на деревянную скамью. Не поток, а океан ядовитых, отчаянных, бешеных слов полился из его рта, окруженного давно уже не бритым пространством. Пусть посочувствует ему хоть кассир! Девчонка, сентиментальная кислятина, не уважила просьбы того, без которого рухнул бы этот дрянный сарай! Не сделать одолжения (не говорю уж, оказать услугу) первому

комику, которого десять лет тому назад приглашали в столичный театр! Возмутительно!

Но, однако, в этом бедняжке-театре более чем холодно. В собачьей конуре не холодней. Старый кассир умно делает, что сидит в шубе и валяных калошах. На окне — лед, а по полу гуляет ветер, которому позавидовал бы даже Северный полюс. Дверь плохо притворяется, и края ее белы от инея. Черт знает что! И сердиться даже холодно.

— Она будет меня помнить! — закончил свою филиппику комик.

Он положил свои ноги на скамью и прикрыл их полой своей шубы, оставшейся ему в наследство двенадцать лет тому назад от одного приятеля-актера, умершего от чахотки. Он плотнее завернулся в шубу, умолк и начал дышать в шубу себе на грудь.

Язык молчал, но зато действовали мозги. Эти мозги искали способа. Нужно же отмстить этой дерзкой, неуважительной девчонке!

Комик не завернул глаз в шубу, а пустил их на волю: гляди, коли хочешь… Они же, кстати, и не мерзнут.

В кассе нет ничего интересного для глаз. У деревянной перегородки стол, перед столом скамья, на скамье — старый кассир в собачьей шубе и

валенках. Все серо, обыденно, старо. И грязь даже старая. На столе лежит еще не початая книга билетов. Покупатели не идут. Они начнут ходить во время обеда. Кроме стола, скамьи, билетов и кучи бумаг в углу — больше ничего нет. Ужасная бедность и ужасная скука!

Впрочем, виноват: в кассе есть один предмет роскоши. Этот предмет валяется под столом вместе с ненужной бумагой, которую не выметают вон только потому, что холодно. Да и веник куда-то запропал.

Под столом валяется большой картонный лист, запыленный и оборванный. Кассир топчет его своими валенками и плюет на него без всякой церемонии. Этот-то лист и есть предмет роскоши. На нем крупными буквами написано: *«На сегодняшний спектакль все билеты распроданы»*. Ему за все время своего существования ни разу еще не приходилось висеть над окошком кассы, и никто из публики не может похвастать тем, что видел его. Хороший, но ехидный лист! Жаль, что он не находит себе употребления. Публика не любит его, но зато в него влюблены все артисты!

Глаза комика, гулявшие по стенам и по полу, не могли не натолкнуться на эту драгоценность. Комик не мастер соображать, но на этот раз он

сообразил. Увидев картонный лист, он ударил себя по лбу и воскликнул:

— Идея! Прелестно!

Он нагнулся и потянул к себе повесть о распроданных билетах.

— Прекрасно! Бесподобно! Это обойдется ей дороже голубого халата с красными кистями!

Через десять минут картонный лист первый и последний раз за все время своего существования висел над окошечком и… лгал.

Он лгал, но ему поверили. Вечером наша ingenue лежала у себя в номере и рыдала на всю гостиницу.

— Меня не любит публика! — говорила она.

Один только ветер взял на себя труд посочувствовать ей. Он, этот добрый ветер, плакал в трубе и в вентиляциях, плакал на разные голоса и, вероятно, искренно. Вечером же в портерной сидел комик и пил пиво. Пил пиво и — больше ничего[29].

---

[29] Примечания: 29

Рассказ «Жены артистов», вошедший в «Сказки Мельпомены», читайте на стр. 32. первоначально был включен в неизданный сборник «Шалость».

Трагик

Был бенефис трагика Феногенова.

Давали «Князя Серебряного». Сам бенефициант играл Вяземского, антрепренер Лимонадов — Дружину Морозова, г-жа Беобахтова — Елену… Спектакль вышел на славу. Трагик делал буквально чудеса. Он похищал Елену одной рукой и держал ее выше головы, когда проносил через сцену. Он кричал, шипел, стучал ногами, рвал у себя на груди кафтан. Отказываясь от поединка с Морозовым, он трясся всем телом, как в действительности никогда не трясутся, и с шумом задыхался. Театр дрожал от аплодисментов. Вызовам не было конца. Феногенову поднесли серебряный портсигар и букет с длинными лентами. Дамы махали платками, заставляли мужчин аплодировать, многие плакали… Но более всех восторгалась игрой и волновалась дочь исправника Сидорецкого, Маша. Она сидела в первом ряду кресел, рядом со своим папашей, не отрывала глаз от сцены даже в антрактах и была в полном восторге. Ее тоненькие ручки и ножки дрожали, глазки были полны слез, лицо становилось все бледней и бледней. И не мудрено: она

была в театре первый раз в жизни!

— Как хорошо они представляют! Как отлично! — обращалась она к своему папаше-исправнику всякий раз, когда опускался занавес. — Как хорош Феногенов!

И если бы папаша мог читать на лицах, он прочел бы на бледном личике своей дочки восторг, доходящий до страдания. Она страдала и от игры, и от пьесы, и от обстановки. Когда в антракте полковой оркестр начинал играть свою музыку, она в изнеможении закрывала глаза.

— Папа! — обратилась она к отцу в последнем антракте. — Пойди на сцену и скажи им всем, чтобы приходили к нам завтра обедать!

Исправник пошел за сцену, похвалил там всех за хорошую игру и сказал г-же Беобахтовой комплимент:

— Ваше красивое лицо просится на полотно. О, зачем я не владею кистью!

И шаркнул ногой, потом пригласил артистов к себе на обед.

— Все приходите, кроме женского пола, — шепнул он. — Актрис не надо, потому что у меня дочка.

На другой день у исправника обедали артисты. Пришли только антрепренер Лимонадов, трагик

Феногенов и комик Водолазов; остальные сослались на недосуг и не пришли. Обед прошел не скучно. Лимонадов все время уверял исправника, что он его уважает и вообще чтит всякое начальство, Водолазов представлял пьяных купцов и армян, а Феногенов, высокий, плотный малоросс (в паспорте он назывался Кныш) с черными глазами и нахмуренным лбом, продекламировал «У парадного подъезда» и «Быть или не быть?». Лимонадов со слезами на глазах рассказал о свидании своем с бывшим губернатором генералом Канючиным. Исправник слушал, скучал и благодушно улыбался. Несмотря даже на то, что от Лимонадова сильно пахло жженными перьями, а на Феногенове был чужой фрак и сапоги с кривыми каблуками, он был доволен. Они нравились его дочке, веселили ее, и этого ему было достаточно! А Маша глядела на артистов, не отрывала от них глаз ни на минуту. Никогда ранее она не видала таких умных, необыкновенных людей!

Вечером исправник и Маша опять были в театре. Через неделю артисты опять обедали у начальства и с этого раза стали почти каждый день приходить в дом исправника, то обедать, то ужинать, и Маша еще сильнее привязалась к театру и стала бывать в нем ежедневно.

Она влюбилась в трагика Феногенова. В одно прекрасное утро, когда исправник ездил встречать архиерея, она бежала с труппой Лимонадова и на пути повенчалась со своим возлюбленным. Отпраздновав свадьбу, артисты сочинили длинное, чувствительное письмо и отправили его к исправнику. Сочиняли все разом.

— Ты ему мотивы, мотивы ты ему! — говорил Лимонадов, диктуя Водолазову. — Почтения ему подпусти… Они, чинодралы, любят это. Надбавь чего-нибудь этакого… чтоб прослезился…

Ответ на это письмо был самый неутешительный. Исправник отрекался от дочери, вышедшей, как он писал, «за глупого, праздношатающегося хохла, не имеющего определенных занятий».

И на другой день после того, как пришел этот ответ, Маша писала своему отцу:

«Папа, он бьет меня! Прости нас!»

Он бил ее, бил за кулисами в присутствии Лимонадова, прачки и двух ламповщиков! Он помнил, как за четыре дня до свадьбы, вечером, сидел он со всей труппой в трактире «Лондон»; все говорили о Маше, труппа советовала ему «рискнуть», а Лимонадов убеждал со слезами на глазах:

— Глупо и нерационально отказываться от такого случая! Да ведь за этакие деньги не то что

жениться, в Сибирь пойти можно! Женишься, построишь свой собственный театр, и бери меня тогда к себе в труппу. Не я уж тогда владыка, а ты владыка.

Феногенов помнил об этом и теперь бормотал, сжимая кулаки:

— Если он не пришлет денег, так я из нее щепы нащеплю. Я не позволю себя обманывать, черт меня раздери!

Из одного губернского города труппа хотела уехать тайком от Маши, но Маша узнала и прибежала на вокзал после второго звонка, когда актеры уже сидели в вагонах.

— Я оскорблен вашим отцом! — сказал ей трагик. — Между нами все кончено!

А она, несмотря на то, что в вагоне был народ, согнула свои маленькие ножки, стала перед ним на колени и протянула с мольбой руки.

— Я люблю вас! — просила она. — Не гоните меня, Кондратий Иваныч! Я не могу жить без вас!

Вняли ее мольбам и, посоветовавшись, приняли ее в труппу на амплуа «сплошной графини», — так называли маленьких актрис, выходивших на сцену обыкновенно толпой и игравших роли без речей… Сначала Маша играла горничных и пажей, но потом, когда г-жа Беобахтова, цвет

лимонадовской труппы, бежала, то ее сделали ingenue. Играла она плохо: сюсюкала, конфузилась.

Скоро, впрочем, привыкла и стала нравиться публике. Феногенов был очень недоволен.

— Разве это актриса? — говорил он. — Ни фигуры, ни манер, а так только… одна глупость…

В одном губернском городе труппа Лимонадова давала «Разбойников» Шиллера. Феногенов изображал Франца, Маша — Амалию. Трагик кричал и трясся, Маша читала свою роль, как хорошо заученный урок, и пьеса сошла бы, как сходят вообще пьесы, если бы не случился маленький скандал. Все шло благополучно до того места в пьесе, где Франц объясняется в любви Амалии, а она хватает его шпагу. Малоросс прокричал, прошипел, затрясся и сжал в своих железных объятиях Машу. А Маша вместо того, чтобы отпихнуть его, крикнуть ему «прочь!», задрожала в его объятиях, как птичка, и не двигалась… Она точно застыла.

— Пожалейте меня! — прошептала она ему на ухо. — О, пожалейте меня! Я так несчастна!

— Роли не знаешь! Суфлера слушай! — прошипел трагик и сунул ей в руки шпагу.

После спектакля Лимонадов и Феногенов сиде-

ли в кассе и вели беседу.

— Жена твоя ролей не учит, это ты правильно… — говорил антрепренер. — Функции своей не знает… У всякого человека есть своя функция… Так вот она ее-то не знает…

Феногенов слушал, вздыхал и хмурился, хмурился…

На другой день утром Маша сидела в мелочной лавочке и писала:

«Папа, он бьет меня! Прости нас! Вышли нам денег!»

Из сборника «Пестрые рассказы»

Темною ночью

Ни луны, ни звезд… Ни контуров, ни силуэтов, ни одной мало-мальски светлой точки… Все утонуло в сплошном, непроницаемом мраке. Глядишь, глядишь и ничего не видишь, точно тебе глаза выкололи… Дождь жарит, как из ведра… Грязь страшная…

По проселочной дороге плетется пара почтовых кляч. В таратайке сидит мужчина в шинели инженера-путейца. Рядом с ним его жена. Оба промокли. Ямщик пьян как стелька. Коренной хромает, фыркает, вздрагивает и плетется еле-еле… Пугливая пристяжная то и дело спотыкается, останавливается и бросается в сторону. Дорога ужасная… Что ни шаг, то колдобина, бугор, размытый мостик. Налево воет волк; направо, говорят, овраг.

— Не сбились ли мы с дороги? — вздыхает инженерша. — Ужасная дорога! Не вывороти нас!

— Зачем выворачивать? Ээ… т! Какая мне надомность вас выворачивать? Эх, по… подлая! Дрожи! Ми… лая!

— Мы, кажется, сбились с дороги, — говорит инженер. — Куда ты везешь, дьявол? Не видишь,

что ли? Разве это дорога?

— Стало быть, дорога!..

— Грунт не тот, пьяная морда! Сворачивай! Поворачивай вправо! Ну, погоняй! Где кнут?

— По… потерял, ваше высоко…

— Убью, коли что… Помни! Погоняй, подлец! Стой, куда едешь? Разве там дорога?

Лошади останавливаются. Инженер вскакивает, нависает на ямщицкие плечи, натягивает вожжи и тянет за правую. Коренной шлепает по грязи, круто поворачивает и вдруг, ни с того ни с сего, начинает как-то странно барахтаться… Ямщик сваливается и исчезает, пристяжная цепляется за какой-то утес, и инженер чувствует, что таратайка вместе с пассажирами летит куда-то к черту…

Овраг не глубок. Инженер поднимается, берет в охапку жену и выкарабкивается наверх. Наверху, на краю оврага, сидит ямщик и стонет. Путеец подскакивает к нему и, подняв вверх кулаки, готов растерзать, уничтожить, раздавить…

— Убью, ррразбойник! — кричит он.

Кулак размахнулся и уже на половине дороги к ямщицкой физии… Еще секунда и…

— Миша, вспомни Кукуевку! — говорит жена.

Миша вздрагивает и его грозный кулак оста-

навливается на полпути. Ямщик спасен.

На гвозде

По Невскому плелась со службы компания коллежских регистраторов и губернских секретарей. Их вел к себе на именины именинник Стручков.

— Да и пожрем же мы сейчас, братцы! — мечтал вслух именинник. — Страсть как пожрем! Женка пирог приготовила. Сам вчера вечером за мукой бегал. Коньяк есть… Воронцовская… Жена, небось, заждалась!

Стручков обитал у черта на куличках. Шли, шли к нему и наконец пришли. Вошли в переднюю. Носы почувствовали запах пирога и жареного гуся.

— Чувствуете? — спросил Стручков и захихикал от удовольствия. — Раздевайтесь, господа! Кладите шубы на сундук! А где Катя? Эй, Катя! Сбор всех частей прикатил! Акулина, поди помоги господам раздеться!

— А это что такое? — спросил один из компании, указывая на стену.

На стене торчал большой гвоздь, а на гвозде висела новая фуражка с сияющим козырьком и кокардой. Чиновники поглядели друг на друга и побледнели.

— Это его фуражка! — прошептали они. — Он… здесь!?!

— Да, он здесь, — пробормотал Стручков. — У Кати… Выйдемте, господа! Посидим где-нибудь в трактире, подождем, пока он уйдет.

Компания застегнула шубы, вышла и лениво поплелась к трактиру.

— Гусем у тебя пахнет, потому что гусь у тебя сидит! — слиберальничал помощник архивариуса. — Черти его принесли! Он скоро уйдет?

— Скоро. Больше двух часов никогда не сидит. Есть хочется! Перво-наперво мы водки выпьем и килечкой закусим… Потом повторим, братцы… После второй сейчас же пирог. Иначе аппетит пропадет… Моя женка хорошо пироги делает. Щи будут…

— А сардин купил?

— Две коробки. Колбаса четырех сортов… Жене, должно быть, тоже есть хочется… Ввалился, черт!

Часа полтора посидели в трактире, выпили для блезиру по стакану чаю и опять пошли к Стручкову. Вошли в переднюю. Пахло сильней прежнего. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели гуся и чашку с огурцами. Акулина что-то вынимала из печи.

— Опять неблагополучно, братцы!

— Что такое?

Чиновные желудки сжались от горя: голод не тетка, а на подлом гвозде висела кунья шапка.

— Это Прокатилова шапка, — сказал Стручков. — Выйдемте, господа! Переждем где-нибудь… Этот недолго сидит…

— И у этакого сквернавца такая хорошенькая жена! — послышался сиплый бас из гостиной.

— Дуракам счастье, ваше превосходительство! — аккомпанировал женский голос.

— Выйдемте! — простонал Стручков.

Пошли опять в трактир. Потребовали пива.

— Прокатилов — сила! — начала компания утешать Стручкова. — Час у твоей посидит, да зато тебе… десять лет блаженства. Фортуна, брат! Зачем огорчаться? Огорчаться не надо.

— Ян без вас знаю, что не надо. Не в том дело! Мне обидно, что есть хочется!

Через полтора часа опять пошли к Стручкову. Кунья шапка продолжала еще висеть на гвозде. Пришлось опять ретироваться.

Только в восьмом часу вечера гвоздь был свободен от постоя и можно было приняться за пирог! Пирог был сух, щи теплы, гусь пережарен — все перепортила карьера Стручкова! Ели, впрочем,

с аппетитом.

Размазня

На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться.

— Садитесь, Юлия Васильевна! — сказал я ей. — Давайте посчитаемся. Вам наверное нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите… Ну-с… Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц…

— По сорока…

— Нет, по тридцати… У меня записано… Я всегда платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, прожили вы два месяца…

— Два месяца и пять дней…

— Ровно два месяца… У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят рублей… Вычесть девять воскресений… вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только… да три праздника…

Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но… ни слова!..

— Три праздника… Долой, следовательно, двенадцать рублей… Четыре дня Коля был болен и не было занятий… Вы занимались с одной

только Варей… Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда… Двенадцать и семь — девятнадцать. Вычесть… останется… гм… сорок один рубль… Верно?

Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но — ни слова!..

— Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля… Чашка стоит дороже, она фамильная, но… бог с вами! Где наше не пропадало? Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок… Долой десять… Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки.

Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять… Десятого января вы взяли у меня десять рублей…

— Я не брала, — шепнула Юлия Васильевна.

— Но у меня записано!

— Ну, пусть… хорошо.

— Из сорока одного вычесть двадцать семь — останется четырнадцать…

Оба глаза наполнились слезами… На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!

— Я раз только брала, — сказала она дрожащим голосом. — Я у вашей супруги взяла три рубля… Больше не брала…

— Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать… Вот вам ваши деньги, милейшая! Три… три, три… один и один… Получите-с!

И я подал ей одиннадцать рублей… Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.

— Mercі, — прошептала она.

Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.

— За что же mercі? — спросил я.

— За деньги…

— Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же mercі?

— В других местах мне и вовсе не давали…

— Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам… Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?

Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»

Я попросил у нее прощение за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла… Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!

Патриот своего отечества

Маленький немецкий городок. Имя этого городка носит одна из известнейших целебных вод. В нем больше отелей, чем домов, и больше иностранцев, чем немцев.

Хорошее пиво, хорошеньких служанок и чудный вид вы можете найти в отеле, стоящем на краю (левом) города, на высокой горе, в тени прелестнейшего садика.

В один прекрасный вечер на террасе этого отеля, за белым мраморным столиком, сидело двое русских. Они пили пиво и играли в шашки. Оба старательно лезли «в дамки» и беседовали об успехах лечения. Оба приехали сюда лечиться от большого живота и ожирения печени.

Сквозь листву пахучих лип глядела на них немецкая луна… Маленький кокетливый ветерок нежно теребил российские усы и бороды и вдувал в уши русских толстячков чуднейшие звуки. У подножия горы играла музыка. Немцы праздновали годовщину какого-то немецкого события. Мотивы не доносились до вершины горы — далеко! Доносилась одна только мелодия… Мелодия меланхолическая, самая разнемецкая,

плакучая, тягучая… Слушаешь ее — и сладко ныть хочется…

Русские лезли «в дамки» и задумчиво внимали. Оба были в блаженнейшем настроении духа. Шепот лип, кокетливый ветерок, мелодия со своей меланхолией — все это, вместе взятое, развезло их русские души.

— При этакой обстановке, Тарас Иваныч, хорошо тово… любить, — сказал один из них. — Влюбиться в какую-нибудь да по темной аллейке пройтись…

— М-да…

И наши русские завели речь о любви, о дружбе… Сладкие мгновения! Кончилось тем, что оба незаметно, бессознательно оставили в покое шашки, подперли свои русские головы кулаками и задумались.

Мелодия становилась все слышнее и слышнее. Скоро она уступила свое место мотиву. Стали слышны не только трубы и контрабасы, но и скрипки.

Русские поглядели вниз и увидели факельную процессию. Процессия двигалась вверх. Скоро сквозь липы блеснули красные огни факелов, послышалось стройное пение, и музыка загремела над самыми ушами русских. Молодые девушки,

женщины, солдаты, бурши, старцы в мгновение наполнили длинную стройную аллею, осветили весь сад и страшно загалдели… Сзади несли бочонки с пивом и вином. Сыпали цветы и жгли разноцветные бенгальские огни.

Русские умилились духом. И им захотелось участвовать в процессии. Они взяли свои бутылки и смешались с толпой. Процессия остановилась на полянке за отелем. Вышел на средину какой-то старичок и сказал что-то. Ему аплодировали. Какой-то бурш взобрался на стол и произнес трескучую речь. За ним — другой, третий, четвертый… Говорили, взвизгивали, махали руками…

Петр Фомич умилился. В груди его стало светло, тепло, уютно. При виде говорящей толпы самому хочется говорить. Речь заразительна. Петр Фомич протискался сквозь толпу и остановился около стола. Помахав руками, он взобрался на стол. Еще раз помахал руками. Лицо его побагровело. Он покачнулся и закричал коснеющим, пьяным языком: «Ребята! Не… немцев бить!»

Счастье его, что немцы не понимают по-русски!

Случай из судебной практики

Дело происходило в N…ckom окружном суде, в одну из последних его сессий.

На скамье подсудимых заседал N-..ский мещанин Сидор Шельмецов, малый лет тридцати, с цыганским подвижным лицом и плутоватыми глазками. Обвиняли его в краже со взломом, мошенничестве и проживательстве по чужому виду. Последнее беззаконие осложнялось еще присвоением не принадлежащих титулов. Обвинял товарищ прокурора. Имя сему товарищу — легион. Особенных примет и качеств, дающих популярность и солидный гонорарий, он за собой ведать не ведает: подобен себе подобным. Говорит в нос, буквы «к» не выговаривает, ежеминутно сморкается.

Защищал же знаменитейший и популярнейший адвокат. Этого адвоката знает весь свет. Чудные речи его цитируются, фамилия его произносится с благоговением…

В плохих романах, оканчивающихся полным оправданием героя и аплодисментами публики, он играет немалую роль. В этих романах фамилию его производят от грома, молнии и других не

менее внушительных стихий.

Когда товарищ прокурора сумел доказать, что Шельмецов виновен и не заслуживает снисхождения; когда он уяснил, убедил и сказал: «Я кончил», — поднялся защитник. Все навострили уши. Воцарилась тишина. Адвокат заговорил и… пошли плясать нервы N-..ской публики! Он вытянул свою смугловатую шею, склонил набок голову, засверкал глазами, поднял вверх руку, и необъяснимая сладость полилась в напряженные уши. Язык его заиграл на нервах, как на балалайке… После первых же двух-трех фраз его кто-то из публики громко ахнул и вынесли из залы заседания какую-то бледную даму. Через три минуты председатель принужден был уже потянуться к звонку и трижды позвонить. Судебный пристав с красным носиком завертелся на своем стуле и стал угрожающе посматривать на увлеченную публику. Все зрачки расширились, лица побледнели от страстного ожидания последующих фраз, они вытянулись… А что делалось с сердцами?!

— Мы — люди, господа присяжные заседатели, будем же и судить по-человечески! — сказал между прочим защитник. — Прежде чем предстать пред вами, этот человек выстрадал шестимесячное предварительное заключение. В

продолжение шести месяцев жена лишена была горячо любимого супруга, глаза детей не высыхали от слез при мысли, что около них нет дорогого отца! О, если бы вы посмотрели на этих детей! Они голодны, потому что их некому кормить, они плачут, потому что они глубоко несчастны… Да поглядите же! Они протягивают к вам свои ручонки, прося вас возвратить им их отца! Их здесь нет, но вы можете себе их представить. (Пауза.) Заключение… Гм… Его посадили рядом с ворами и убийцами… Его! (Пауза.) Надо только представить себе его нравственные муки в этом заключении, вдали от жены и детей, чтобы… Да что говорить?!

В публике послышались всхлипывания… Заплакала какая-то девушка с большой брошкой на груди. Вслед за ней захныкала соседка ее, старушонка.

Защитник говорил и говорил… Факты он миновал, а напирал больше на психологию.

— Знать его душу — значит знать особый, отдельный мир, полный движений. Я изучил этот мир… Изучая его, я, признаюсь, впервые изучил человека. Я понял человека… Каждое движение его души говорит за то, что в своем клиенте я имею честь видеть идеального человека…

Судебный пристав перестал глядеть угрожающе и полез в карман за платком. Вынесли из залы еще двух дам. Председатель оставил в покое звонок и надел очки, чтобы не заметили слезинки, навернувшейся в его правом глазу. Все полезли за платками. Прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственнейший из организмов, беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть под стол… Слезы засверкали сквозь его очки.

«Было б мне отказаться от обвинения! — подумал он. — Ведь этакое фиаско потерпеть! А?»

— Взгляните на его глаза! — продолжал защитник (подбородок его дрожал, голос дрожал, и сквозь глаза глядела страдающая душа). Неужели эти кроткие, нежные глаза могут равнодушно глядеть на преступление? О, нет! Они, эти глаза, плачут! Под этими калмыцкими скулами скрываются тонкие нервы! Под этой грубой, уродливой грудью бьется далеко не преступное сердце! И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват?!

Тут не вынес и сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать. Он замигал глазами, заплакал и беспокойно задвигался…

— Виноват! — заговорил он, перебивая защитника. — Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенства строил! Окаянный я человек! Деньги

я из сундука взял, а шубу краденую велел свояченице спрятать… Каюсь! Во всем виноват!

И подсудимый рассказал, как было дело. Его осудили.

Загадочная натура

Купе первого класса.

На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке, pince-nez то и дело спадает с ее хорошенького носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована… Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, «новэллы» — из великосветской жизни… Он глядит ей в лицо, глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает… Душа ее, вся ее психология у него как на ладони.

— О, я постигаю вас! — говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета. — Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта… Да! Борьба страшная, чудовищная, но… не унывайте! Вы будете победительницей! Да!

— Опишите меня, Вольдемар! — говорит дамочка, грустно улыбаясь. — Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра… Но главное — я несчастна! Я страдалица во вкусе Достоевского… Покажите миру мою душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу! Вы — психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!

— Говорите! Умоляю вас, говорите!

— Слушайте. Родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, умный, но… дух времени и среды… vous comprenez[30], я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты… брал взятки… Мать же… Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества… Ах, не заставляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой пробивать себе путь… Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь… А борьба со средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя?.. Ах! Вы писатель и знаете нас, женщин. Вы поймете… К несчастью, я наделена широкой натурой… Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть чело-

---

[30] Примечания: 30
Вы понимаете *(франц.)*.

веком! Да! Быть человеком — в этом я видела свое счастье!

— Чудная! — лепечет писатель, целуя руку около браслета. — Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал.

— О, Вольдемар! Мне нужна была слава… шум, блеск, как для всякой — к чему скромничать? — недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновенного… не женского! И вот… И вот… подвернулся на моем пути богатый старик-генерал… Поймите меня, Вольдемар! Ведь это было самопожертвование, самоотречение, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро… А как я страдала, как невыносимы, низменно-пошлы были для меня объятия этого генерала, хотя, надо отдать ему справедливость, в свое время он храбро сражался. Бывали минуты… ужасные минуты! Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня-завтра умрет, что я стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива… А у меня есть такой человек, Вольдемар! Видит бог, есть!

Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение.

— Но вот старик умер… Мне он оставил кое-что, я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо… Не правда ли, Вольдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но… нет! Вольдемар, слушайте, заклинаю вас! Теперь-то и отдаться любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой… отдохнуть… Но как все пошло, гадко и глупо на этом свете! Как все подло, Вольдемар! Я несчастна, несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ах, сколько мук, если б вы знали! Сколько мук!

— Но что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите! Что же?

— Другой богатый старик…

Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки…

Верба

Кто ездил по почтовому тракту между Б. и Т.?

Кто ездил, тот, конечно, помнит и Андреевскую мельницу, одиноко стоящую на берегу речки Козявки. Мельница маленькая, в два постава… Ей больше ста лет, давно уже она не была в работе, и не мудрено поэтому, что она напоминает собой маленькую, сгорбленную, оборванную старушонку, готовую свалиться каждую минуту. И эта старушонка давно бы свалилась, если бы она не облокачивалась о старую, широкую вербу. Верба широкая, не обхватить ее и двоим. Ее лоснящаяся листва спускается на крышу, на плотину; нижние ветви купаются в воде и стелются по земле. Она тоже стара и сгорблена. Ее горбатый ствол обезображен большим темным дуплом. Всуньте руку в дупло, и ваша рука увязнет в черном меду. Дикие пчелы зажужжат около вашей головы и зажалят. Сколько ей лет? Архип, ее приятель, говорит, что она была старой еще и тогда, когда он служил у барина во «французах», а потом у барыни в «неграх»; а это было слишком давно.

Верба подпирает и другую развалину — старика Архипа, который, сидя у ее корня, от зари

до зари удит рыбку. Он стар, горбат, как верба, и беззубый рот его похож на дупло. Днем он удит, а ночью сидит у корня и думает. Оба, старуха-верба и Архип, день и ночь шепчут… Оба на своем веку видывали виды. Послушайте их…

Лет тридцать тому назад, в Вербное воскресенье, в день именин старухи-вербы, старик сидел на своем месте, глядел на весну и удил… Кругом было тихо, как всегда… Слышался только шепот стариков, да изредка всплескивала гуляющая рыба. Старик удил и ждал полдня. В полдень он начинал варить уху. Когда тень вербы начинала отходить от того берега, наступал полдень. Время Архип узнавал еще и по почтовым звонкам. Ровно в полдень через плотину проезжала Т-я почта.

И в это воскресенье Архипу послышались звонки. Он оставил удочку и стал глядеть на плотину. Тройка перевалила через бугор, спустилась вниз и шагом поехала к плотине. Почтальон спал. Въехав на плотину, тройка почему-то остановилась. Давно уже не удивлялся Архип, но на этот раз пришлось ему сильно удивиться. Случилось нечто необыкновенное. Ямщик оглянулся, беспокойно задвигался, сдернул с лица почтальона платок и взмахнул кистенем. Почтальон не пошевельнулся. На его белокурой голове зазияло багровое

пятно. Ямщик соскочил с телеги и, размахнувшись, нанес другой удар. Через минуту Архип услышал возле себя шаги: с берега спускался ямщик и шел прямо на него… Его загоревшее лицо было бледно, глаза тупо глядели бог знает куда. Трясясь всем телом, он подбежал к вербе и, не замечая Архипа, сунул в дупло почтовую сумку; потом побежал вверх, вскочил на телегу и, странно показалось Архипу, нанес себе по виску удар. Окровавив себе лицо, он ударил по лошадям.

— Караул! Режут! — закричал он.

Ему вторило эхо, и долго Архип слышал это «караул».

Дней через шесть на мельницу приехало следствие. Сняли план мельницы и плотины, измерили для чего-то глубину реки и, пообедав под вербой, уехали, а Архип во все время следствия сидел под колесом, дрожал и глядел в сумку. Там видел он конверты с пятью печатями. День и ночь глядел он на эти печати и думал, а старуха-верба днем молчала, а ночью плакала. «Дура!» — думал Архип, прислушиваясь к ее плачу. Через неделю Архип шел уже с сумкой в город.

— Где здесь присутственное место? — спросил он, войдя за заставу.

Ему указали на большой желтый дом с поло-

сатой будкой у двери. Он вошел и в передней увидел барина со светлыми пуговицами. Барин курил трубку и бранил за что-то сторожа. Архип подошел к нему и, дрожа всем телом, рассказал про эпизод со старухой-вербой. Чиновник взял в руки сумку, расстегнул ремешки, побледнел, покраснел.

— Сейчас! — сказал он и побежал в присутствие. Там окружили его чиновники… Забегали, засуетились, зашептали… Через десять минут чиновник вынес Архипу сумку и сказал:

— Ты не туда, братец, пришел. Ты иди на Нижнюю улицу, там тебе укажут, а здесь казначейство, милый мой! Ты иди в полицию.

Архип взял сумку и вышел.

«А сумка полегче стала! — подумал он. — Наполовину меньше стала!»

На Нижней улице ему указали на другой желтый дом, с двумя будками. Архип вошел. Передней тут не было, и присутствие начиналось прямо с лестницы. Старик подошел к одному из столов и рассказал писцам историю сумки. Те вырвали у него из рук сумку, покричали на него и послали за старшим. Явился толстый усач. После короткого допроса он взял сумку и заперся с ней в другой комнате.

— А деньги же где? — послышалось через минуту из этой комнаты. — Сумка пуста! Скажите, впрочем, старику, что он может идти! Или задержать его! Отведите его к Ивану Марковичу! Нет, впрочем, пусть идет!

Архип поклонился и вышел. Через день караси и окуни опять уже видели его седую бороду…

Дело было глубокою осенью. Старик сидел и удил. Лицо его было так же мрачно, как и пожелтевшая верба: он не любил осени. Лицо его стало еще мрачней, когда он увидел возле себя ямщика. Ямщик, не замечая его, подошел к вербе и сунул в дупло руку. Пчелы, мокрые и ленивые, поползли по его рукаву. Пошарив немного, он побледнел, а через час сидел над рекой и бессмысленно глядел в воду.

— Где *она?* — спрашивал он Архипа.

Архип сначала молчал и угрюмо сторонился убийцы, но скоро сжалился над ним.

— Як начальству снес! — сказал он. — Но ты, дурень, не бойся… Я сказал там, что под вербой нашел…

Ямщик вскочил, взревел и набросился на Архипа. Долго он бил его. Избил его старое лицо, повалил на землю, топтал ногами. Побивши старика, он не ушел от него, а остался жить при

мельнице, вместе с Архипом.

Днем он спал и молчал, а ночью ходил по плотине. По плотине гуляла тень почтальона, и он беседовал с ней. Наступила весна, а ямщик продолжал еще молчать и гулять. Однажды ночью подошел к нему старик.

— Будет тебе, дурень, слоняться! — сказал он ему, искоса поглядывая на почтальона. — Уходи.

И почтальон то же самое сказал… И верба прошептала то же…

— Не могу! — сказал ямщик. — Пошел бы, да ноги болят, душа болит!

Старик взял под руку ямщика и повел его в город. Он повел его на Нижнюю улицу, в то самое присутствие, куда отдал сумку. Ямщик упал перед «старшим» на колени и покаялся. Усач удивился.

— Чего на себя клепаешь, дурак! — сказал он. — Пьян? Хочешь, чтоб я тебя в холодную засадил? Перебесились все, мерзавцы! Только путают дело… Преступник не найден — ну, и шабаш! Что ж тебе еще нужно? Убирайся!

Когда старик напомнил про сумку, усач захохотал, а писцы удивились. Память, видно, у них плоха… Не нашел ямщик искупления на Нижней улице. Пришлось возвращаться к вербе…

И пришлось бежать от совести в воду, возму-

тить то именно место, где плавают поплавки Архипа. Утопился ямщик. На плотине видят теперь старик и старуха-верба две тени… Не с ними ли они шепчутся?

Вор

Пробило двенадцать. Федор Степаныч накинул на себя шубу и вышел на двор. Его охватило сыростью ночи… Дул сырой, холодный ветер, с темного неба моросил мелкий дождь. Федор Степаныч перешагнул через полуразрушенный забор и тихо пошел вдоль по улице. А улица широкая, что твоя площадь; редки в Европейской России такие улицы. Ни освещения, ни тротуаров… даже намеков нет на эту роскошь.

У заборов и стен мелькали темные силуэты горожан, спешивших в церковь. Впереди Федора Степаныча шлепали по грязи две фигуры. В одной из них, маленькой и сгорбленной, он узнал здешнего доктора, единственного на весь уезд «образованного человека». Старик-доктор не брезговал знакомством с ним и всегда дружелюбно вздыхал, когда глядел на него. На этот раз старик был в форменной старомодной треуголке, и голова его походила на две утиные головы, склеенные затылками. Из-под фалды его шубенки болталась шпага. Рядом с ним двигался высокий и худой человек, тоже в треуголке.

— Христос воскрес, Гурий Иваныч! — остано-

вил доктора Федор Степаныч.

Доктор молча пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы, чтобы похвастать перед *ссыльным* петличкой, в которой болтался «Станислав».

— А я, доктор, после заутрени хочу к вам пробраться, — сказал Федор Степаныч. — Вы уж позвольте мне у вас разговеться… Прошу вас… Я, бывало, *там* в эту ночь всегда в семье разговлялся. Воспоминанием будет…

— Едва ли это будет удобно… — сконфузился доктор. — У меня семейство, знаете ли… жена… Вы хотя и тово… но все-таки не тово… Все-таки предубеждение! Я, впрочем, ничего… Кгм… Кашель…

— А Барабаев? — проговорил Федор Степаныч, кривя рот и желчно ухмыляясь. — Барабаева со мной вместе судили, вместе нас выслали, а между тем он у вас каждый день обедает и чай пьет. Он больше украл, вот что!..

Федор Степаныч остановился и прислонился к мокрому забору: пусть пройдут. Далеко впереди него мелькали огоньки. Потухая и вспыхивая, они двигались по одному направлению.

«Крестный ход, — подумал ссыльный. — Как и *там*, у нас…»

От огоньков несся звон. Колокола-тенора за-

ливались всевозможными голосами и быстро отбивали звуки, точно спешили куда-нибудь.

«Первая Пасха здесь, в этом холоде, — подумал Федор Степаныч, — и… не последняя. Скверно! А *там* теперь, небось…»

И он задумался о *«там»*… Там теперь под ногами не грязный снег, не холодные лужи, а молодая зелень; там ветер не бьет по лицу, как мокрая тряпка, а несет дыхание весны… Небо там темное, но звездное, с белой полосой на востоке… Вместо этого грязного забора зеленый палисадник и его домик с тремя окнами. За окнами светлые, теплые комнаты. В одной из них стол, покрытый белой скатертью, с куличами, закусками, водками…

«Хорошо бы теперь хватить тамошней водки! Здесь дрянная водка, пить нельзя…»

Наутро глубокий, хороший сон, за сном визиты, выпивка… Вспомнил он, разумеется, и Олю с ее кошачьей, плаксивой, хорошенькой рожицей. Теперь она спит, должно быть, и не снится он ей. Эти женщины скоро утешаются. Не будь Оли, не был бы он здесь. Она подкузьмила его, глупца. Ей нужны были деньги, нужны ужасно, до болезни, как и всякой моднице! Без денег она не могла ни жить, ни любить, ни страдать…

— А если меня в Сибирь сошлют? — спросил он

ее. — Пойдешь со мной?

— Разумеется! Хоть на край света!

Он украл, попался и пошел в эту Сибирь, а Оля смалодушествовала, не пошла, разумеется. Теперь ее глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, а ноги далеко от грязного снега.

«На суд разодетой явилась и ни разу не взглянула даже… Смеялась, когда защитник острил… Убить мало…»

И эти воспоминания сильно утомили Федора Степаныча. Он утомился, заболел, точно всем телом думал. Ноги его ослабели, подогнулись, и не хватило сил идти в церковь, к родной заутрене… Он воротился домой и, не снимая шубы и сапог, повалился на постель.

Над его кроватью висела клетка с птицей. Та и другая принадлежали хозяину. Птица какая-то странная, с длинным носом, тощая, ему неизвестная. Крылья у нее подрезаны, на голове повырваны перья. Кормят ее какой-то кислятиной, от которой воняет на всю комнату. Птица беспокойно возилась в клетке, стучала носом о жестянку с водой и пела то скворцом, то иволгой…

«Спать не дает! — подумал Федор Степаныч. —

Че-ерт…»

Он поднялся и потряс рукой клетку. Птица замолчала. Ссыльный лег и о край кровати стащил с себя сапоги. Через минуту птица опять завозилась. Кусочек кислятины упал на его голову и повис в волосах.

— Ты не перестанешь? Не замолчишь? Тебя еще недоставало!

Федор Степаныч вскочил, рванул с остервенением клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала.

Но минут через десять она, показалось ссыльному, вышла из угла на средину комнаты и завертела носом в глиняном полу… Нос, как буравчик… Вертела, вертела, и нет конца ее носу. Захлопали крылья, и ссыльному показалось, что он лежит на полу и что по его вискам хлопают крылья… Нос, наконец, поломался, и все ушло в перья… Ссыльный забылся…

— Ты за што это тварь убил, душегубец? — услышал он под утро.

Федор Степаныч раскрыл глаза и увидел пред собой хозяина-раскольника, юродивого старца. Лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами.

— За што ты, окаянный, убил мою пташку?

Певунью-то мою за што ты убил, сатана чертова? А? Кого это ты? За што такое? Глаза твои бесстыжие, пес лютый! Уходи из моего дома, и чтоб духу твоего здесь не было! Сею минутою уходи! Сичас!

Федор Степаныч надел шубу и вышел на улицу. Утро было серое, пасмурное… Глядя на свинцовое небо, не верилось, чтобы высоко за ним могло сиять солнце. Дождь продолжал еще моросить…

— Бон-жур! С праздником, мон-шер! — услышал ссыльный, выйдя за ворота.

Мимо ворот на новенькой пролетке катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком.

«Визиты делает! — подумал Федор Степаныч. — И тут, скотина, сумел примазаться… Знакомых имеет… Было б и мне побольше украсть!»

Подходя к церкви, Федор Степаныч услыхал другой голос, на этот раз женский. Навстречу ему ехал почтовый тарантас, набитый чемоданами. Из-за чемоданов выглядывала женская головка.

— Где здесь… Батюшки, Федор Степаныч! Вы ли это? — запищала головка.

Ссыльный подбежал к тарантасу, впился глазами в головку, узнал, схватил за руку…

— Неужели я не сплю?! Что такое? Ко мне?! Надумала, Оля?

— Где здесь Барабаев живет?

— А на что тебе Барабаев?

— Он меня выписал… Две тысячи, вообрази, прислал… По триста в месяц, кроме того, буду получать. Есть здесь театры?..

До самого вечера шатался ссыльный по городу и искал квартиры. Дождь лил весь день, и не показывалось солнце.

«Неужели эти звери могут жить без солнца? — думал он, меся ногами жидкий снег. — Веселы, довольны без солнца! Впрочем, у них свой вкус».

Раз в год

Маленький трехоконный домик княжны имеет праздничный вид. Он помолодел точно. Вокруг него тщательно подметено, ворота открыты, с окон сняты решетчатые жалюзи. Свежевымытые оконные стекла робко заигрывают с весенним солнышком. У парадной двери стоит швейцар Марк, старый и дряхлый, одетый в изъеденную молью ливрею. Его колючий подбородок, над бритьем которого провозились дрожащие руки целое утро, свежевычищенные сапоги и гербовые пуговицы тоже отражают в себе солнце. Марк выполз из своей каморки недаром. Сегодня день именин княжны, и он должен отворять дверь визитерам и выкрикивать их имена. В передней пахнет не кофейной гущей, как обыкновенно, не постным супом, а какими-то духами, напоминающими запах яичного мыла. В комнатах старательно прибрано. Повешены гардины, снята кисея с картин, навощены потертые, занозистые полы. Злая Жулька, кошка с котятами и цыплята заперты до вечера в кухню.

Сама княжна, хозяйка трехоконного домика, сгорбленная и сморщенная старушка, сидит в

большом кресле и то и дело поправляет складки своего белого кисейного платья. Одна только роза, приколотая к ее тощей груди, говорит, что на этом свете есть еще молодость! Княжна ожидает визитеров-поздравителей. У нее должны быть: барон Трамб с сыном, князь Халахадзе, камергер Бурластов, кузен генерал Битков и многие другие… человек двадцать! Они приедут и наполнят ее гостиную говором. Князь Халахадзе споет что-нибудь, а генерал Битков два часа будет просить у нее розу… А она знает, как держать себя с этими господами! Неприступность, величавость и грация будут сквозить во всех ее движениях… Приедут, между прочим, купцы Хтулкин и Переулков: для этих господ положены в передней лист бумаги и перо. Каждый сверчок знай свой шесток. Пусть распишутся и уйдут…

Двенадцать часов. Княжна поправляет платье и розу. Она прислушивается: не звонит ли кто? С шумом проезжает экипаж, останавливается. Проходят пять минут.

«Не к нам!» — думает княжна.

Да, не к вам, княжна! Повторяется история прошлых годов. Безжалостная история! В два часа княжна, как и в прошлом году, идет к себе в спальную, нюхает нашатырный спирт и плачет.

— Никто не приехал! Никто!

Около княжны суетится старый Марк. Он не менее огорчен: испортились люди! Прежде валили в гостиную, как мухи, а теперь…

— Никто не приехал! — плачет княжна. — Ни барон, ни князь Халахадзе, ни Жорж Бувицкий… Оставили меня! А ведь не будь меня, что бы из них вышло? Мне обязаны они своим счастьем, своей карьерой — только мне. Без меня из них ничего бы не вышло.

— Не вышло бы-с! — поддакивает Марк.

— Я не прошу благодарности… Не нужна она мне! Мне нужно чувство! Боже мой, как обидно! Даже племянник Жан не приехал. Отчего он не приехал? Что я ему худого сделала? Я заплатила по всем его векселям, выдала замуж его сестру Таню за хорошего человека. Дорого мне стоит этот Жан! Я сдержала слово, данное моему брату, его отцу… Я истратила на него… сам знаешь…

— И родителям их вы, можно сказать, ваше сиятельство, заместо родителей были.

— И вот… вот она благодарность! О люди!

В три часа, как и в прошлом году, с княжной делается истерический припадок. Встревоженный Марк надевает свою шляпу с галунами, долго торгуется с извозчиком и едет к племяннику

Жану. К счастью, меблированные комнаты, в которых обитает князь Жан, не слишком далеко… Марк застает князя валяющимся на кровати. Жан только что воротился со вчерашней попойки. Его помятое мордастое лицо багрово, на лбу пот. В голове его шум, в желудке революция. Он рад бы уснуть, да нельзя: мутит. Его скучающие глаза устремлены на рукомойник, наполненный доверху сором и мыльной водой.

Марк входит в грязный номер и, брезгливо пожимаясь, робко подходит к кровати.

— Нехорошо-с, Иван Михалыч! — говорит он, укоризненно покачивая головой. — Нехорошо-с!

— Что нехорошо?

— Почему вы сегодня не пожаловали вашу тетушку с ангелом поздравить? Нешто это хорошо?

— Убирайся к черту! — говорит Жан, не отрывая глаз от мыльной воды.

— Нешто это тетушке не обидно? А? Эх, Иван Михалыч, ваше сиятельство! Чувств у вас никаких нету! Ну с какой стати вы их огорчаете?

— Я не делаю визитов… Так и скажи ей. Этот обычай давно уже устарел… Некогда нам разъезжать. Разъезжайте сами, коли делать вам нечего, а меня оставьте. Ну, проваливай! Спать хочу…

— Спать хочу… Лицо-то небось воротите! Стыд-

но в глаза глядеть!

— Ну… тсс… Дрянь ты этакая! Паршак!

Продолжительное молчание.

— А уж вы, батюшка, съездите, поздравьте! — говорит Марк ласково. — Оне плачут, мечутся на постельке… Уж вы будьте такие добрые, окажите им свое почтение… Съездите, батюшка!

— Не поеду. Незачем и некогда… Да и что я буду делать у старой девки?

— Съездите, ваше сиятельство! Уважьте, батюшка! Сделайте такую милость! Страсть как огорчены оне вашею, можно сказать, неблагодарностью и бесчувствием!

Марк проводит рукавом по глазам.

— Сделайте милость!

— Гм… А коньяк будет? — говорит Жан.

— Будет, батюшка, ваше сиятельство!

Князь подмигивает глазом.

— Ну, а сто рублей будет? — спрашивает он.

— Никак это невозможно! Самим вам небезызвестно, ваше сиятельство, капиталов у нас уж нет тех, что были… Разорили нас родственники, Иван Михалыч. Когда были у нас деньги, все хаживали, а теперь… Божья воля!

— В прошлом году я за визит с вас… сколько взял? Двести рублей взял. А теперь и ста нет?

Шутки шутишь, ворона! Поройся-ка у старухи, найдешь… Впрочем, убирайся. Спать хочу.

— Будьте так благодушны, ваше сиятельство! Стары оне, слабы… Душа в теле еле держится. Пожалейте их, Иван Михалыч, ваше сиятельство!

Жан неумолим. Марк начинает торговаться. В пятом часу Жан сдается, надевает фрак и едет к княжне…

— Ma tante[31], — говорит он, прижимаясь к ее руке.

И, севши на софу, он начинает прошлогодний разговор.

— Мари Крыскина, ma tante, получила письмо из Ниццы… Муженек-то! А? Каков? Очень развязно описывает дуэль, которая была у него с одним англичанином из-за какой-то певицы… забыл ее фамилию…

— Неужели?

Княжна закатывает глаза, всплескивает руками и с изумлением, смешанным с долею ужаса, повторяет:

— Неужели?

— Да… На дуэлях дерется, за певицами бегает, а тут жена… чахни и сохни по его милости… Не

---

[31] Примечания: 31
Тетушка *(франц.).*

понимаю таких людей, ma tante!

Счастливая княжна поближе подсаживается к Жану, и разговор их затягивается… Подается чай с коньяком.

И в то время как счастливая княжна, слушая Жана, хохочет, ужасается, поражается, старый Марк роется в своих сундучках и собирает кредитные бумажки. Князь Жан сделал большую уступку. Ему нужно заплатить только пятьдесят рублей. Но, чтобы заплатить эти пятьдесят рублей, нужно перерыть не один сундучок!

Герой-барыня

Лидия Егоровна вышла на террасу пить утренний кофе. Время было уже близко к жаркому и душному полудню, однако это не помешало моей героине нарядиться в черное шелковое платье, застегнутое у самого подбородка и тисками сжимавшее талию. Она знала, что этот черный цвет идет к ее золотистым кудряшкам и строгому профилю, и расставалась с ним только ночью. Когда она сделала первый глоток из своей китайской чашечки, к террасе подошел почтальон и подал ей письмо. Письмо было от мужа: «Дядя не дал ни гроша, и твое имение продано. Ничего не поделал...» Лидия Егоровна побледнела, покачнулась на стуле и продолжала читать: «Уезжаю месяца на два в Одессу по важному делу. Целую».

— Разорены! На два месяца в Одессу... — простонала Лидия Егоровна. — К своей, значит, поехал... Боже мой!

Она подкатила глаза, зашаталась, ухватилась рукой за перила и готова уже была упасть, как послышались внизу голоса. На террасу взбирался ее сосед по даче и кузен, отставной генерал Зазубрин, старый, как анекдот о собаке Каквасе, и

хилый, как новорожденный котенок. Он ступал еле-еле, осторожно, перебирая палкой ступени, словно боясь за их прочность. За ним семенил маленький бритый старичок, отставной профессор Павел Иванович Кнопка, в большом стародавнем цилиндре с широкими приподнятыми полями. Генерал, по обыкновению, был весь в пуху и крошках, а профессор поражал белизною своих одежд и гладкостью подбородка. Оба сияли.

— А мы к вам, шарманочка! — продребезжал генерал, довольный тем, что сумел по-своему переделать слово «charmante»[32]. — С добрым утром, фея! Фея пьет кофея…

Генерал сострил глупо, но Кнопка и Лидия Егоровна расхохотались. Моя героиня отдернула от перил руку, вытянулась и, бесконечно улыбаясь, протянула к гостям обе руки. Те облобызали и сели.

— Вы, кузен, вечно веселы! — начала кузина гостинный разговор. — Счастливый характер!

— Как, бишь, я сказал? Ах, да! Фея пьет кофея… Ха-ха-ха. А мы с герром профессором уж выкупались, позавтракали и визиты делаем… Беда мне с этим профессором! Жалуюсь вам, фея! Беда!

---

[32] Примечания: 32
Прелестная *(франц.).*

Собираюсь его под суд отдать! Хе-хе-хе… Либерал! Вольтер, можно сказать!

— Что вы?! — улыбнулась Лидия Егоровна и подумала: «В Одессу на два месяца… к той…»

— Честное слово! Такие идеи проповедует… такие идеи! Совсем красный! А знаете ли вы, Павел Иванович, друг мой, кто красному рад? Знаете кто? Хххе… Ответьте-ка! Вот вам и запятая, либералам!

— Каков генерал? — захохотал Кнопка, кривя свой ученый подбородок. — И мы, ваше превосходительство, сумеем вам, консерваторам, запятую поставить: одни только быки боятся красного! Ха-ха-ха… Что, съели-с?

— Однако! Что вижу! У вас цветут олеандры! — послышался внизу террасы женский голос, и через минуту на террасу входила княгиня Дромадерова, соседка по даче. — Ах! У вас мужчины, а я такая растрепка! Извините, пожалуйста! О чем вы тут? Продолжайте, генерал, я не помешаю…

— Мы о красном-с! — продолжал Зазубрин. — А вот-с, кстати, о быках… Вы это верно, Павел Иванович, насчет быков! Раз в Грузии, где я батальоном командовал, бык увидал мою красную подкладку, испугался и полетел на меня… рогами прямо… Саблю пришлось обнажить. Честное

слово! Спасибо, казак близко был и пикой его, каналью, отогнал… Чего вы смеетесь? Не верите? Ей-богу, отогнал…

Лидия Егоровна изумилась, ахнула и подумала: «В Одессе теперь… развратник!»

Кнопка заговорил о быках и буйволах. Княгиня Дромадерова заявила, что все это скучно. Заговорили о красной подкладке…

— Касательно этой подкладки у меня в памяти случай есть, — сказал Зазубрин, обсасывая сухарик. — Был у меня в баталионе полковничек, некий Конвертов, Петр Петрович… Старичок славный такой, добром его помянуть, простачок, басенник… Из простых солдафонов в высшие чины вышел, за заслуги особенные… В боях был. Любил я его, покойника. Лет ему семьдесят было, когда его в полковники произвели, на лошадь уж не умел садиться и подагрой его ломало во все корки. Вынет, бывало, на маневрах саблю из ножен, а вложить ее уже не может, ординарец вкладывал… Расстегнется, извините, а застегнуться уж и не может… И у этого расслабленника мечта в голове была генералом быть. Стар, слаб, помирать собирается, а мечтает… натура, значит, такая… воин! И в отставку не хотел из-за генеральства… Прослужил лет пять в полковниках,

представили его… И что ж вы думаете? А? Вот судьба! Трах его паралич в самый тот раз, когда производство вышло… Отняло ему, сердяге, левую щеку и правую руку, да ноги поослабли сильно… Поневоле пришлось в отставку выйти и не довелось литых погонов носить честолюбцу! Взял отставку и поехал со своей старухой в Тифлис на покой. Едет, плачет и смеется, что его ямщик превосходительством обзывает. Одна щека плачет и смеется, а другая недвижима, как монумент. Одно только утешение осталось ему: красная подкладка. Идет по Тифлису, растопыривает фалды, как крылья, и показывает публике красноту. Знай, мол, кого видишь! Целый день по городу шкандыляет и хвастает подкладкой… Только и было у него, друга, радостей. В баню пойдет и разложит пальто на лавке подкладкой вверх… Утешался, утешался как малый дите, да и ослеп от старости. Наняли ему человека по городу его водить и подкладку показывать… Идет слепенький, седенький, еле-еле телепкается, о воздух спотыкается, а у самого на лице гордыня написана! Зима лютая, холод, а у него пальто нараспашку… Чудачок! Скоро за тем померла у него старушка. Хоронит ее, ноет, в могилку к ней просится и подкладку духовенству показывает.

Приставили к нему другую особу, вдовицу какую-то, чтоб поберегла… А вдовица, известное дело, знает свою долю лучше хозяйской. Скопидомка… Сахарку припрячет, чайку там, копеечку… Кругом его ощипала. Щипала-щипала, ерзала-ерзала подлая баба, да и дошла до апофеоза! Взяла, стервоза, да и отпорола его красную подкладку себе на кофту, а вместо красной подкладки серенькую сарпинку подшила. Идет мой Петр Петрович, выворачивает перед публикой свое пальто, а сам, слепенький, и не видит, что у него вместо генеральской подкладки сарпинка с крапушками!..

Дромадерова нашла, что все это очень скучно, и заговорила о сыне-поручике. Перед обедом явились соседки — девицы Клянчины с maman. Они сели за рояль и запели любимую песню Зазубрина. Сели обедать.

— Отличный редис! — заметил профессор. — Где вы такой покупаете?

— Он теперь в Одессе… с этой женщиной! — ответила Лидия Егоровна.

— Что-с?

— Ах… Я не о том! Не знаю, где повар берет… Что это со мной?

И Лидия Егоровна, закинув назад голову, захохотала над своей рассеянностью… После обеда

пришла толстая профессорша с детьми. Сели за карты. Вечером приезжали гости из города…

Только в ночь, проводив последнего гостя и простояв неподвижно, пока не перестали слышаться его шаги, Лидия Егоровна могла ухватиться одной рукой за те же перила, покачнуться и зарыдать.

— Мало того, что прокутил! Ему мало этого! Он еще изменил!

Из глаз вырвались на свободу горячие слезы, и бледное лицо исказилось отчаянием. Уж не было нужды в этикете, и она могла рыдать!

Черт знает на что уходит иногда силища!

Смерть чиновника

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг… В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось… он отвел от глаз бинокль, нагнулся и… апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не

мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал… я нечаянно…

— Ничего, ничего…

— Ради бога, извините. Я ведь… я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжало-ву, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше-ство… Простите… Я ведь… не то чтобы…

— Ах, полноте… Я уж забыл, а вы все о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал… что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно… Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить… Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство, — начал докладывать экзекутор, — я чихнул-с и… нечаянно обрызгал… Изв…

— Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, значит… Нет, этого нельзя так

оставить… Я ему объясню…»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с… а смеяться я и не думал.

Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам… не будет…

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.

Он понял!

Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого клонится лист и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску.

Вероятно, и будет гроза. На западе синеет и хмурится какая-то полоска. Добро пожаловать!

По опушке леса крадется маленький сутуловатый мужичонок, ростом в полтора аршина, в огромнейших серо-коричневых сапогах и синих панталонах с белыми полосками. Голенища сапог

спустились до половины. Донельзя изношенные, заплатанные штаны мешками отвисают у колен и болтаются, как фалды. Засаленный веревочный поясок сполз с живота на бедра, а рубаху так и тянет вверх к лопаткам.

В руках мужичонка ружье. Заржавленная трубка в аршин длиною, с прицелом, напоминающим добрый сапожный гвоздь, вделана в белый самоделковый приклад, выточенный очень искусно из ели, с вырезками, полосками и цветами. Не будь этого приклада, ружье не было бы похоже на ружье, да и с ним оно напоминает что-то средневековое, не теперешнее… Курок, коричневый от ржавчины, весь опутан проволокой и нитками. А всего смешнее белый лоснящийся шомпол, только что срезанный с вербы. Он сыр, свеж и много длиннее ствола.

Мужичонок бледен. Его косые, воспаленные глазки беспокойно глядят вверх и по сторонам. Жиденькая, козлиная бородка дрожит, как тряпочка, вместе с нижней губой. Он широко шагает, нагибает туловище вперед и, видимо, спешит. За ним, высунув свой длинный, серый от пыли язык, бежит большая дворняга, худая, как собачий скелет, с всклокоченной шерстью. На ее боках и хвосте висят большие клочья старой, отлиняв-

шей шерсти. Задняя нога повязана тряпочкой: болит, должно быть. Мужичонок то и дело оборачивается к своему спутнику.

— Пшла! — говорит он пугливо.

Дворняга отскакивает назад, оглядывается и, постояв немного, продолжает шествовать за своим хозяином.

Охотник рад бы шмыгнуть в сторону, в лес, но нельзя: по краю стеной тянется густой колючий терновник, а за терновником высокий душный болиголов с крапивой. Но вот, наконец, тропинка. Мужичонок еще раз машет собаке и бросается по тропинке в кусты. Под ногами всхлипывает почва: тут еще не высохло. Пахнет сырьем и менее душно. По сторонам кусты, можжевельник, а до настоящего леса еще далеко, шагов триста.

В стороне что-то издает звук неподмазанного колеса. Мужичонок вздрагивает и косится на молодую ольху. На ольхе усматривает он черное подвижное пятнышко, подходит ближе и узнает в пятнышке молодого скворца. Скворец сидит на ветке и глядит себе под поднятое крылышко. Мужичонок топчется на одном месте, сбрасывает с себя шапку, прижимает к плечу приклад и начинает прицеливаться. Прицелившись, он поднимает курок и придерживает его, чтобы он не

опустился раньше, чем следует. Пружина испорчена, собачка не действует, а курок не слушается: ходнем ходит. Скворец опускает крыло и начинает подозрительно поглядывать на стрелка. Еще секунда — и он улетит. Стрелок еще раз прицеливается и отнимает руку от курка. Курок, сверх ожидания, не опускается. Мужичонок разрывает ногтем какую-то ниточку, гнет проволочку и дает курку щелчок. Слышится щелканье, а за щелканьем выстрел. Стрелку сильно отдает в плечо. Видно, что он не пожалел пороха. Бросив наземь ружье, он бежит к ольхе и начинает шарить в траве. Около гнилого, заплесневелого сучка он находит кровяное пятно и пушок, а поискав еще немного, узнает в маленьком, еще горячем трупе, лежащем у самого ствола, свою жертву.

— В голову попал! — говорит он с восторгом дворняге.

Дворняга нюхает скворца и видит, что хозяин попал не в одну только голову. На груди зияет рана, перебита одна ножка, на клюве висит большая кровяная капля…

Мужичонок быстро лезет в карман за новым зарядом, причем из кармана сыплются на траву тряпочки, бумажки, ниточки. Он заряжает ружье и, готовый продолжать свою охоту, идет далее.

Как из земли вырастает перед ним поляк Кржевецкий, господский приказчик. Мужичонок видит его надменно-строгое, рыжеволосое лицо и холодеет от ужаса. Шапка сама собой валится с его головы.

— Вы что же это? Стреляете? — говорит поляк насмешливым голосом. — Очень приятно!

Охотник робко косится в сторону и видит воз с хворостом и около воза мужиков. Увлекшись охотой, он и не заметил, как набрел на людей.

— Как же вы смеете стрелять? — спрашивает Кржевецкий, возвышая голос. — Это, стало быть, ваш лес? Или, быть может, по-вашему, уже прошел Петров день? Вы кто такой?

— Павел Хромой, — еле-еле выговаривает мужичонок, прижимая к себе ружье. — Из Кашиловки.

— Из Кашиловки, черт побрал! Кто же позволял вам стрелять? — продолжает поляк, стараясь не делать ударения на втором слоге от конца. — Дайте сюда ружье!

Хромой подает поляку ружье и думает:

«Лучше б ты меня по морде, чем выкать...»

— И шапку давайте...

Хромой подает и шапку.

— Вот я вам покажу, как стрелять! Черт побрал!

Пойдемте!

Кржевецкий поворачивается к нему спиной и шагает за заскрипевшим возом. Павел Хромой, ощупывая в кармане свою дичину, идет за ним.

Через час Кржевецкий и Хромой входят в просторную комнату с низким потолком и синими полинялыми стенами. Это господская контора. В конторе никого нет, но тем не менее сильно пахнет жильем. Посреди конторы — большой дубовый стол. На столе две-три счетные книги, чернильница с песочницей и чайник с отбитым носиком. Все это покрыто серым слоем пыли. В углу стоит большой шкаф, с которого давно уже слезла краска. На шкафу жестянка из-под керосина и бутыль с какою-то смесью. В другом углу маленький образ, затянутый паутиной…

— Надо будет акт составить, — говорит Кржевецкий. — Сейчас барину доложу и за урядником пошлю. Снимайте сапоги!

Хромой садится на пол и молча, дрожащими руками стаскивает с себя сапоги.

— Вы у меня не уйдете, — говорит приказчик, зевая. — А уйдете босиком, хуже будет. Сидите здесь и дожидайтесь, пока урядник придет…

Поляк запирает в шкаф сапоги и ружье и выходит из конторы.

По уходе Кржевецкого Хромой долго и медленно чешет свой маленький затылок, точно решает вопрос — где он. Он вздыхает и пугливо осматривается. Шкаф, стол, чайник без носика и образок глядят на него укоризненно, тоскливо… Мухи, которыми так изобилуют господские конторы, жужжат над его головой так жалобно, что ему делается нестерпимо жутко.

— Дззз… — жужжат мухи. — Попался? Попался?

По окну ползет большая оса. Ей хочется вылететь на воздух, но не пускает стекло. Ее движения полны скуки, тоски… Хромой пятится к двери, становится у косяка и, опустив руки по швам, задумывается…

Проходит час, другой, а он стоит у косяка, ждет и думает.

Глаза его косятся на осу.

«Отчего она, дура, в дверь не летит?» — думает он.

Проходит еще два часа. Кругом все тихо, беззвучно, мертво… Хромому начинает думаться, что про него забыли и что ему не скоро еще вырваться отсюда, как и осе, которая все еще, то и дело, падает со стекла. Оса уснет к ночи, — ну, а ему-то как быть?

— Так вот и люди, — философствует Хромой, глядя на осу. — Так и человек, стало быть… Есть место, где ему на волю выскочить, а он по невежеству и не знает, где оно, место-то это самое…

Наконец где-то хлопают дверью. Слышатся чьи-то поспешные шаги, и через минуту в контору входит маленький, толстенький человечек в широчайших брюках и помочах. Он без сюртука и без жилетки. На спине в уровень с лопатками идет полоса от пота; на груди такая же полоса. Это сам барин, Петр Егорыч Волчков, отставной подполковник. Толстое, красное лицо и вспотевшая лысина говорят, что он дорого бы дал, если бы вместо этой жары пристукнул крещенский мороз. Он страдает от зноя и духоты. По заплывшим, сонным глазам видно, что он только что поднялся со своей ужасно мягкой и душной перины.

Войдя, он прохаживается несколько раз вдоль по комнате, как бы не замечая Хромого, потом останавливается перед пленником и долго, пристально смотрит ему в лицо. Смотрит в упор, с презрением, которое сначала светится чуть заметно в одних только глазках, потом же постепенно разливается по всему жирному лицу. Хромой не выносит этого взгляда и опускает глаза. Ему стыдно…

— Покажи-ка, что ты убил! — шепчет Волчков. — Ну-кася, покажи, молодчик, Вильгельм Тель! Покажи, образина!

Хромой лезет в карман и достает оттуда несчастного скворца. Скворец уже потерял свой птичий образ. Он сильно помят и начинает сохнуть. Волчков презрительно усмехается и пожимает плечами.

— Дурак! — говорит он. — Дурандас ты! Дурында пустоголовая! И тебе не грех? И тебе не стыдно?

— Стыдно, батюшка Петр Егорыч! — говорит Хромой, пересиливая глотательные движения, мешающие ему говорить…

— Мало того, что ты, разбойник-июда, без спроса в моем лесу охотишься, ты смеешь еще идти против государственных законов! Разве тебе не известен закон, возбраняющий несвоевременную охоту? В законе сказано, чтобы никто не смел стрелять до Петрова дня. Тебе это не известно? Подойди-ка сюда!

Волчков подходит к столу; за ним идет к тому же столу и Хромой. Барин раскрывает книгу, долго перелистывает и начинает читать высоким протяжным тенором статью, возбраняющую охоту до Петрова дня.

— Так ты этого не знаешь? — спрашивает барин, окончив чтение.

— Как не знать? Знаем, ваше высокоблагородие. Да нешто мы понимаем? Нешто в нас есть понятие?

— А? Какое же тут понятие, ежели ты безо всякого смысла тварь божию портишь? Птичку вот эту убил. За что ты ее убил? Ты ее нешто можешь воскресить? Можешь, я тебя спрашиваю?

— Не могу, батюшка!

— А убил… И какая из этой птицы корысть, не понимаю! Скворец! Ни мяса, ни перья… Так… Взял себе да сдуру и убил…

Волчков щурит глаза и начинает выпрямлять у скворца перебитую ножку. Ножка отрывается и падает на босую ногу Хромого.

— Анафема ты, анафема! — продолжает Волчков. — Жада ты, хищник! От жадности ты этот поступок сделал! Видит пташку, и ему досадно, что пташка по воле летает, бога прославляет! Дай, мол, ее убью и… сожру… Жадность человеческая! Видеть тебя не могу! Не гляди и ты на меня своими глазами! Косая ты шельма, косая! Ты вот убил ее, а у нее, может быть, маленькие деточки есть… Пищат теперь…

Волчков делает плаксивую гримасу и, опустив

руку к земле, показывает, как малы могут быть деточки…

— Не от жадности это я сделал, Петр Егорыч, — оправдывается дрожащим голосом Хромой.

— От чего же? Известно, от жадности!

— Никак нет, Петр Егорыч… Ежели я взял грех на душу, то не от жадности, не из корысти-с, Петр Егорыч! Нечистый попутал…

— Таковский ты, чтоб тебя нечистый попутал! Сам ты нечистого попутать можешь! Все вы, кашиловские, разбойники!

Волчков с сопеньем выпускает из груди струю воздуха, вбирает в себя новую порцию и продолжает, понизив голос:

— Что ж мне теперь с тобой делать? А? Принимая во внимание твое умственное убожество, тебя отпустить бы следовало; соображаясь же с поступком и твоею наглостью, тебе задать надо… Непременно надо… Довольно уж вас баловать… До-воль-но! Послал за урядником… Акт сейчас составим… Послал… Улика налицо… Пеняй на себя… Не я тебя наказываю, а тебя твой грех наказывает… Умел грешить, сумей и наказание претерпеть… Охо-хоххх… Господи, прости нас грешных! Беда с этими… Ну, как у вас яровое?..

— Ничего… милости господни…

— Чего же ты глазами моргаешь?

Хромой конфузливо кашляет в кулак и поправляет поясок.

— Чего глазами моргаешь? — повторяет Волчков. — Ты скворца убил, ты же и плакать собираешься?

— Ваше высокоблагородие! — говорит Хромой дребезжащей фистулой, громко, как бы собравшись с силами. — Вам, по вашему человеколюбию, обидно за то, что я птаху, положим, убил… Укоряете вы меня, это самое, не потому, стало быть, что вы барин есть, а потому, что обидно… по вашему человеколюбию… А мне нешто не обидно? Я человек глупый, хоть и без понятия, а и мне… обидно-с… Разрази господи…

— Так зачем же ты стрелял, ежели тебе обидно?

— Нечистый попутал. Дозвольте мне рассказать, Петр Егорыч! Я чистую правду, как перед богом… Пущай урядник наезжает… Мой грех, я за него и ответчик перед богом и судом, а вам всю сущую правду, как на духу… Дозвольте, ваше высокоблагородие!

— Да что мне позволять? Позволяй там или не позволяй, а все умного не скажешь. Мне что? Не я буду составлять… Говори! Чего же молчишь?

Говори, Вильгельм Тель!

Хромой проводит рукавом по дрожащим губам. Глаза его делаются еще косее и мельче…

— Никакого мне антиресу нет от этого скворца, — говорит он. — Будь их, скворцов, хоть тыща, да что с них толку? Ни продашь, ни съешь, так только… пустяк один. Сами можете понимать…

— Нет, не говори… Ты охотник вот, а не понимаешь… Скворец, ежели поджаренный, в каше хорош… И соус можно… Как рябчик — один вкус почти…

И, как бы спохватившись за свой равнодушный тон, Волчков хмурится и добавляет:

— Узнаешь сейчас, какого он вкуса… Увидишь…

— Не разбираем мы вкусов… Был бы хлеб, Петр Егорыч… Самим небезызвестно… А убил скворца от тоски… Тоска прижала…

— Какая тоска?

— А нечистый знает, какая она! Дозвольте вам объяснить. Зачала она мучить меня с самой Святой, тоска-то эта… Дозвольте вам объяснить… Выхожу это я, значит, утром после заутрени, как пасхи освятили, и иду себе… Наши бабы впереди пошли, а я позади иду. Шел, шел да и остановился на плотине… Стою и смотрю на свет божий,

как все в нем происходит, как всякая тварь и былинка, можно сказать, свое место знает… Утро рассвело и солнышко всходит… Вижу все это, радуюсь и на пташек гляжу, Петр Егорыч. Вдруг у меня в сердце что-то: ек! Екнуло, стало быть…

— Отчего же это?

— Оттого, что пташек увидал. Сейчас же мне в голову и мысль пришла. Хорошо бы, думаю, пострелять, да жалко, закон не приказывает. А тут еще в поднебесье две уточки пролетели, да куличок прокричал где-тось за речкой. Страсть как охоты захотел! С этаким воображением и домой пришел. Сижу, разговляюсь с бабами, а у самого в глазах пташки. Ем и слышу, как лес шумит и пташка кричит: цвиринь! цвиринь! Ах ты, господи! Хочется мне на охоту, да и шабаш! А водки как выпил, разговлямшись, так и совсем шальной стал. Голоса стал слышать. Слышно мне, как какой-то тоненький, словно как будто андельский, голосочек звенит тебе в ухе и рассказывает: поди, Пашка, постреляй! Наваждение! Могу предположить, ваше высокоблагородие, Петр Егорыч, што это самое чертененок, а не кто другой. И так сладко и тоненько, словно дите. С того утра и взяла меня, это самое, тоска. Сижу на призбе, опущу руки, как дурной, да и думаю

себе… Думаю, думаю… И все у меня в воображении братец ваш, покойник, Сергей, стало быть, Егорыч, царство им небесное. Вспоминалось мне, глупому, как я с ними, с покойничком, на охоту хаживал. Я у ихнего высокоблагородия, дай им бог… в наипервейших охотниках состоял. Занимательно и трогательно им было, что я, косой на оба глаза, стрелять был артист! Хотели в город везти докторам показывать мою способность при моем безобразии-с. Удивительно и чувствительно оно было, Петр Егорыч. Выйдем мы, бывалыча, чуть свет, кликнем собак Кару и Ледку, да… аах! Верст тридцать в день проходим! Да что говорить! Петр Егорыч! Батюшка благородный! Истинно вам говорю, что окроме вашего братца во всем свете нет и не было человека настоящего! Жестокий они были человек, грозный, строптивый, но никто супротив него по охотничьей части устоять не мог! Его сиятельство, граф Тирборк, бил-ся-бился со своею охотой, да так и помер завидуючи. Куда ему! И красоты той не было, и ружья такого в руках держать не приходилось, как у вашего братца!

Двустволка, извольте понимать, марсельская, фабрики Лепелье и компании. На двести шагов-с! Утку! Шутка сказать!

Хромой быстро вытирает губы и, мигая косыми глазами, продолжает:

— От них я и тоску эту самую получил. Как нет стрельбы, так и беда — за сердце душит!

— Баловство!

— Никак нет, Петр Егорыч! Всю Святую неделю как шальной ходил, не пил, не ел. На Фоминой почистил ружье, поисправил — отлегло малость. На Преполовенье опять затошнило. Тянет да и тянет на охоту, хоть ты тресни тут. Водку ходил пить — не помогает, еще того хуже. Не баловство-с! После водосвятья напился… Назавтра тоска пуще прежнего… Ломит тебя да из избы гонит… Так и гонит, так и гонит! Сила! Взял я ружье, вышел с ним на огород и давай галок стрелять! Набил их штук с десять, а самому не легче: в лес тянет… к болоту. Да и старуха срамить начала: «Галок нешто можно стрелять? Птица она неблагородная, и перед богом грех: неурожай будет, ежели галку убьешь». Взял, Петр Егорыч, и разбил ружье… Шут с ним! Отлегло…

— Баловство!

— Не баловство-с! Истинно вам говорю, что не баловство, Петр Егорыч! Дозвольте уж вам объяснить… Просыпаюсь вчера ночью. Лежу и думаю… Баба моя спит, и не с кем мне слово вымолвить.

«А можно ли мое ружье таперича починить али нет?» — думаю. Встал да и давай починять.

— Ну?

— Ну, и ничего… Починил да выбежал с ним, как оглашенный. Поймался вот… Туда мне и дорога… Птицу эту саму взять да и по морде, чтобы понимал…

— Сейчас урядник придет… Ступай в сени!

— Пойду-с… И на духу каялся… Батюшка, отец Петра, тоже сказывает, что баловство… А по моему глупому предположению,

как я это дело понимаю, это не баловство, а болесть… Все одно как запой… Один шут… Ты не хочешь, а тебя за душу тянет. Рад бы не пить, перед образом зарок даешь, а тебя подмывает: выпей! выпей! Пил, знаю…

Красный нос Волчкова делается багровым.

— Запой — другое дело, — говорит он.

— Одинаково-с! Разрази бог, одинаково-с! Истинно вам говорю!

И молчание… Молчат минут пять и друг на друга смотрят.

Багровый нос Волчкова делается темно-синим.

— Одно слово-с — запой… Сами изволите понимать по человеколюбию своему, какая это слабость есть.

Не по человеколюбию понимает подполковник, а по опыту.

— Ступай! — говорит он Хромому.

Хромой не понимает.

— Ступай и больше не попадайся!

— Сапожки пожалуйте-с! — говорит понявший и просиявший мужичонок.

— А где они?

— В шкафе-с…

Хромой получает свою обувь, шапку и ружье. С легкой душою выходит он из конторы, косится вверх, а на небе уж черная, тяжелая туча. Ветер шалит по траве и деревьям. Первые брызги уже застучали по горячей кровле. В душном воздухе делается все легче и легче.

Волчков пихает изнутри окно. Окно с шумом отворяется, и Хромой видит улетающую осу.

Воздух, Хромой и оса празднуют свою свободу.

Добродетельный кабатчик (Плач оскудевшего)

«– Подай, голубчик, холодненькой закусочки… Ну и… водочки…»

(Надгробная эпитафия)

Сижу теперь, тоскую и мудрствую.

Во время оно в родовой усадьбе моей были куры, гуси, индейки — птица глупая, нерассудительная, но весьма и весьма вкусная. На моем конском заводе плодились и размножались «ах, вы, кони мои, кони…», мельницы не стояли без дела, копи уголь давали, бабы малину собирали. На десятинах преизбыточествовали флора и фауна, хочешь — ешь, хочешь — зоологией и ботаникой занимайся… Можно было и в первом ряду посидеть, и в картишки поиграть, и содержаночкой похвастать…

Теперь не то, совсем не то!

Год тому назад, на Ильин день, сидел я у себя на террасе и тосковал. Передо мной стоял чайник, засыпанный рублевым чаем… На душе кошки скребли, реветь хотелось…

Я тосковал и не заметил, как подошел ко мне

Ефим Цуцыков, кабатчик, мой бывший крепостной. Он подошел и почтительно остановился возле стола.

— Вы бы приказали, барин, крышу выкрасить! — сказал он, ставя на стол бутылку водки. — Крыша железная, без краски ржавеет. А ржа, известно, ест… Дыры будут!

— За какие же деньги я выкрашу, Ефимушка? — говорю я. — Сам знаешь…

— Займите-с! Дыры будут, ежели… Да приказали бы еще, барин, сторожа в сад принанять… Деревья воруют!

— Ах, опять-таки нужны деньги!

— Я дам… Все одно, отдадите. Не в первый раз берете-то…

Отвалил мне Цуцыков пятьсот целковых, взял вексель и ушел. По уходе его я подпер голову кулаками и задумался о народе и его свойствах… Хотел даже в «Русь» статью писать…

— Благодетельствует мне, великодушничает… за что? За то, что я его… сек когда-то… Какое отсутствие злопамятности! Учитесь, иностранцы!

Через неделю загорелся у меня во дворе сарайчик. Первым прибежал на пожар Цуцыков. Он собственноручно разнес сарайчик и притащил свои брезенты, чтобы в случае чего укрыть ими

мой дом. Он дрожал, был красен, мокр, точно свое добро отстаивал.

— Теперь новый строить нужно, — сказал он мне после пожара. — У меня лесок есть, пришлю… Приказали бы, барин, прудик почистить… Вчерась карасей ловили и весь невод о водоросль разорвали… Триста рублей стоит… Возьмите! Не впервой берете-то…

И так далее… Почистили пруд, выкрасили все крыши, ремонтировали конюшни — и все это на деньги Цуцыкова.

Неделю тому назад приходит ко мне Цуцыков, становится у дверей и почтительно кашляет в кулак.

— И не узнаешь теперь вашей усадьбы-то, — говорит он. — Графу аль князю впору жить… И пруды вычистили, и озимь посеяли, лошадушек завели…

— А все ты, Ефимушка! — говорю я, чуть не плача от умиления.

Встаю и самым искреннейшим образом обнимаю мужика…

— Бог даст, дела поправятся, все отдам, Ефимушка… С процентами. Дай мне еще раз обнять тебя!

— Все починили и благоустроили… Помог бог! Осталось теперь одно только: лисицу отседа

выкурить…

— Какую лисицу, Ефимушка?

— Известно какую…

И, помолчав немного, Цуцыков добавляет:

— Судебный пристав там приехал… Вы бутылки приберите-то… Неравно пристав увидит… Подумает, что у меня в имении только и дела, что пьянство… Фатеру прикажете вам в деревне нанять аль в город поедете?

Сижу теперь и мудрствую.

Дочь Альбиона

К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.

— Господа дома? — спросил предводитель.

— Никак нет-с. Барыня с детями в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.

Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул… Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели

золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.

— Охота смертная, да участь горькая! — засмеялся Отцов. — Здравствуй, Иван Кузьмич!

— А… это ты? — спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. — Приехал?

— Как видишь… А ты все еще своей ерундой занимаешься! Не отвык еще?

— Кой черт… Весь день ловлю, с утра… Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим и хоть бы один черт! Просто хоть караул кричи.

— А ты наплюй. Пойдем водку пить!

— Постой… Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше… Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью… с чертовкой с этой…

— Но… ты с ума сошел? — спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку. — Бранишься при

даме… и ее же…

— Да черт с ней! Все одно, ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани — ей все равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду таращит.

Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку.

— Удивляюсь, брат, я немало! — продолжал Грябов. — Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они… черт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!

— Ну, перестань… Неловко… Что напал на женщину?

— Она не женщина, а девица… О женихах, небось, мечтает, чертова кукла. И пахнет от нее какою-то гнилью… Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на все смотрит… Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она

царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!., и не выговоришь!

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно.

— Видал? — спросил Грябов, хохоча. — Нате, мол, вам! Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил… Нос точно у ястреба… А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой… У меня, кажется, клюет…

Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась… Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.

— Зацепилась! — сказал он и поморщился. — За камень, должно быть… Черт возьми…

На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.

— Экая жалость! В воду лезть надо.

— Да ты брось!

— Нельзя… Под вечер хорошо ловится… Ведь

этакая комиссия, прости господи! Придется лезть в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо… При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!

Грябов сбросил шляпу и галстук.

— Мисс… эээ… — обратился он к англичанке. — Мисс Тфайс! Же ву при…[33] Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте… туда! Туда уходите! Слышишь?

Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.

— Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кукла! Туда ступай! Туда!

Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там… Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.

— Первый раз в жизни ее голос слышу… Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?

— Плюнь! Пойдем водки выпьем!

---

[33] Примечания: 33

Я прошу вас (от *франц.* — Je vous prie).

— Нельзя, теперь ловиться должно… Вечер… Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется при ней раздеваться…

Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.

— Послушай, Иван Кузьмич, — сказал предводитель, хохоча в кулак. — Это уж, друг мой, глумление, издевательство.

— Ее никто не просит не понимать! Это наука им, иностранцам!

Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами… По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка.

— Надо остынуть, — сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. — Скажи на милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?

— Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!

— И хоть бы сконфузилась, подлая! — сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. — Брр… холодная вода… Посмотри, как бровями двигает! Не уходит… Выше толпы стоит! Хе-хе-хе… И за людей

нас не считает!

Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:

— Это, брат, ей не Англия!

Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.

Краткая анатомия человека

Одного семинариста спросили на экзамене: «Что такое человек?» Он отвечал: «Животное»… И, подумав немного, прибавил: «но… разумное»… Просвещенные экзаменаторы согласились только со второй половиной ответа, за первую же влепили единицу.

Человека как анатомическое данное составляют:

Скелет или, как говорят фельдшера и классные дамы, «шкилет». Имеет вид смерти. Покрытый простынею, «пужает насмерть», без простыни же — не насмерть.

Голова имеется у всякого, но не всякому нужна. По мнению одних, дана для того, чтобы думать, по мнению других — для того, чтобы носить шляпу. Второе мнение не так рискованно… Иногда содержит в себе мозговое вещество. Один околоточный надзиратель, присутствуя однажды на вскрытии скоропостижно умершего, увидал мозг. «Это что такое?» — спросил он доктора. — «Это то, чем думают», — отвечал доктор. Околоточный презрительно усмехнулся…

Лицо. Зеркало души, но только не у адвокатов.

Имеет множество синонимов: морда, физиономия (у духовенства — физиогномия и лице), физия, физиомордия, рожество, образина, рыло, харя и проч.

Лоб. Его функции: стучать о пол при испрошении благ и биться о стену при неполучении этих благ. Очень часто дает реакцию на медь.

Глаза — полицеймейстеры головы. Блюдут и на ус мотают. Слепой подобен городу, из которого выехало начальство. В дни печалей плачут. В нынешние, беспечальные, времена плачут только от умиления.

Нос дан для насморков и обоняния. В политику не вмешивается. Изредка участвует в увеличении табачного акциза, чего ради и может быть причислен к полезным органам. Бывает красен, но не от вольнодумства — так полагают, по крайней мере, сведущие люди.

Язык. По Цицерону: hostis hominum et amicus diaboli feminarum-que[34]. С тех пор, как доносы стали писаться на бумаге, остался за штатом. У женщин и змей служит органом приятного времяпрепровождения. Самый лучший язык — вареный.

---

[34] Примечания: 34

Враг людей и друг дьявола и женщин *(лат.).*

Затылок нужен одним только мужикам на случай накопления недоимки. Орган для расходившихся рук крайне соблазнительный.

Уши. Любят дверные щели, открытые окна, высокую траву и тонкие заборы.

Руки. Пишут фельетоны, играют на скрипке, ловят, берут, ведут, сажают, бьют… У маленьких служат средством пропитания, у тех, кто побольше, — для отличия правой стороны от левой.

Сердце — вместилище патриотических и многих других чувств. У женщин — постоялый двор: желудочки заняты военными, предсердия — штатскими, верхушка — мужем. Имеет вид червонного туза.

Талия. Ахиллесова пятка читательниц «Модного света», натурщиц, швеек и прапорщиков-идеалистов. Любимое женское место у молодых женихов и у… продавцов корсетов. Второй наступательный пункт при любовно-объяснительной атаке. Первым считается поцелуй.

Брюшко. Орган не врожденный, а благоприобретенный. Начинает расти с чина надворного советника. Статский советник без брюшка — не действительный статский советник. (Каламбур?! Ха, ха!) У чинов ниже надворного советника называется брюхом, у купцов — нутром, у купчих

— утробой.

Микитки. Орган в науке не исследованный. По мнению дворников, находится пониже груди, по мнению фельдфебелей — повыше живота.

Ноги растут из того места, ради которого природа березу придумала. В большом употреблении у почталионов, должников, репортеров и посыльных.

Пятки. Местопребывание души у провинившегося мужа, проговорившегося обывателя и воина, бегущего с поля брани.

Шведская спичка
(Уголовный рассказ)

I

Утром, 6 октября 1885 г., в канцелярию станового пристава 2-го участка С-го уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали, и глаза были полны ужаса.

— С кем я имею честь говорить? — спросил его становой.

— Псеков, управляющий Кляузова. Агроном и механик.

Становой и понятые, прибывшие вместе с Песковым на место происшествия, нашли следующее. Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весть о происшествии с быстротою молнии облетела окрестности, и народ, благодаря праздничному дню, стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор. Кое-где попадались бледные, заплаканные физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена

была запертой. Изнутри торчал ключ.

— Очевидно, злодеи пробрались к нему через окно, — заметил при осмотре двери Псеков.

Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно глядело мрачно, зловеще. Оно было занавешено зеленой полинялой занавеской. Один угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню.

— Смотрел ли кто-нибудь из вас в окно? — спросил становой.

— Никак нет, ваше высокородие, — сказал садовник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом отставного унтера. — Не до гляденья тут, коли все поджилки трясутся!

— Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! — вздохнул становой, глядя на окно. — Говорил я тебе, что ты плохим кончишь! Говорил я тебе, сердяге, — не слушался! Распутство не доводит до добра!

— Спасибо Ефрему, — сказал Псеков, — без него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здесь что-то не так. Приходит сегодня ко мне утром и говорит: «А отчего это наш барин так долго не просыпается? Целую неделю из спальни не выходит!» Как сказал он мне это, меня точно кто обухом… Мысль сейчас мелькнула… Он не показывался с прошлой субботы, а ведь се-

годня воскресенье! Семь дней — шутка сказать!

— Да, бедняга… — вздохнул еще раз становой. — Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царствие ему небесное! Я всего ожидал! Степан, — обратился становой к одному из понятых, — съезди сию минуту ко мне и пошли Андрюшку к исправнику, пущай доложит! Скажи: Марка Иваныча убили! Да забеги к уряднику — чего он там прохлаждается? Пущай сюда едет! А сам ты поезжай, как можно скорее, к следователю Николаю Ермолаичу и скажи ему, чтобы ехал сюда! Постой, я ему письмо напишу.

Становой расставил вокруг флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошел к управляющему пить чай. Минут через десять он сидел на табурете, осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай.

— Вот-с… — говорил он Псекову. — Вот-с… Дворянин, богатый человек… любимец богов, можно сказать, как выразился Пушкин, а что из него вышло? Ничего! Пьянствовал, распутничал и… вот-с!.. убили.

Через два часа прикатил следователь. Николай Ермолаевич Чубиков (так зовут следователя), высокий, плотный старик лет шестидесяти,

подвизается на своем поприще уже четверть столетия. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его непременный спутник, помощник и письмоводитель Дюковский, высокий молодой человек лет двадцати шести.

— Неужели, господа? — заговорил Чубиков, входя в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки. — Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нет, это невозможно! Не-воз-мож-но!

— Подите же вот… — вздохнул становой.

— Господи ты боже мой! Да ведь я же его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, извините, водку пил!

— Подите же вот… — вздохнул еще раз становой.

Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю.

— Расступись! — крикнул урядник народу.

Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить какими-либо указаниями, найдено не было. Приступлено было ко взлому.

— Прошу, господа, лишних удалиться! — сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь уступила топору и долоту. — Прошу это в интересах следствия... Урядник, никого не впускать!

Чубиков, его помощник и становой открыли дверь и нерешительно, один за другим, вошли в спальню. Их глазам представилось следующее зрелище. У единственного окна стояла большая деревянная кровать с огромной пуховой периной. На измятой перине лежало скомканное измятое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столике перед кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета двадцатикопеечного достоинства. Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, столика и единственного стула, другой мебели в спальне не было. Заглянув под кровать, становой увидел десятка два пустых бутылок, старую соломенную шляпу и четверть водки. Под столиком валялся один сапог, покрытый пылью. Окинув взглядом комнату, следователь нахмурился и покраснел.

— Мерзавцы! — пробормотал он, сжимая кулаки.

— А где же Марк Иваныч? — тихо спросил Дю-

ковский.

— Прошу вас не вмешиваться! — грубо сказал ему Чубиков. — Извольте осмотреть пол! Это второй такой случай в моей практике, Евграф Кузьмич, — обратился он к становому, понизив голос. — В 1870 году был у меня тоже такой случай. Да вы, наверное, помните… Убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы убили и вытащили труп через окно…

Чубиков подошел к окну, отдернул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось.

— Отворяется, значит, не было заперто… Гм!.. Следы на подоконнике. Видите? Вот след от колена… Кто-то лез оттуда… Нужно будет как следует осмотреть окно.

— На полу ничего особенного не заметно, — сказал Дюковский. — Ни пятен, ни царапин. Нашел одну только обгоревшую шведскую спичку. Вот она! Насколько я помню, Марк Иваныч не курил; в общежитии же он употреблял серные спички, отнюдь же не шведские. Эта спичка может служить уликой…

— Ах… замолчите, пожалуйста! — махнул рукой следователь. — Лезет со своей спичкой! Не терплю горячих голов! Чем спички искать, вы бы

лучше постель осмотрели!

По осмотре постели Дюковский отрапортовал:

— Ни кровяных, ни каких-либо других пятен… Свежих разрывов также нет. На подушке следы зубов. Одеяло облито жидкостью, имеющею запах пива и вкус его же… Общий вид постели дает право думать, что на ней происходила борьба.

— Без вас знаю, что борьба! Вас не о борьбе спрашивают. Чем борьбу-то искать, вы бы лучше…

— Один сапог здесь, другого же нет налицо.

— Ну, так что же?

— А то, что его задушили, когда он снимал сапоги. Не успел он снять другого сапога, как…

— Понес!.. И почем вы знаете, что его задушили?

— На подушке следы зубов. Сама подушка сильно помята и отброшена от кровати на два с половиной аршина.

— Толкует, пустомеля! Пойдемте-ка лучше в сад. Вы бы лучше в саду посмотрели, чем здесь рыться… Это я и без вас сделаю.

Придя в сад, следствие прежде всего занялось осмотром травы. Трава под окном была помята. Куст репейника под окном у самой стены оказался тоже помятым. Дюковскому удалось найти на нем несколько поломанных веточек и кусочек

ваты. На верхних головках были найдены тонкие волоски темно-синей шерсти.

— Какого цвета был его последний костюм? — спросил Дюковский у Псекова.

— Желтый, парусинковый.

— Отлично. Они, значит, были в синем.

Несколько головок репейника было срезано и старательно заворочено в бумагу. В это время приехали исправник Арцыбашев-Свистаковский и доктор Тютюев. Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлетворять свое любопытство; доктор же, высокий и в высшей степени тощий человек со впалыми глазами, длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здороваясь и ни о чем не спрашивая, сел на пень, вздохнул и проговорил:

— А сербы опять взбудоражились! Что им нужно, не понимаю! Ах, Австрия, Австрия! Твои это дела!

Осмотр окна снаружи не дал решительно ничего; осмотр же травы и ближайших к окну кустов дал следствию много полезных указаний. Дюковскому удалось, например, проследить на траве длинную темную полосу, состоявшую из пятен и тянувшуюся от окна на несколько сажен в глубь сада. Полоса заканчивалась под одним из сирене-

вых кустов большим темно-коричневым пятном. Под тем же кустом был найден сапог, который оказался парой сапога, найденного в спальне.

— Это давнишняя кровь! — сказал Дюковский, осматривая пятна.

Доктор при слове «кровь» поднялся и лениво, мельком взглянул на пятна.

— Да, кровь, — пробормотал он.

— Значит, не задушен, коли кровь! — сказал Чубиков, язвительно поглядев на Дюковского.

— В спальне его задушили, здесь же, боясь, чтобы он не ожил, его ударили чем-то острым. Пятно под кустом показывает, что он лежал там относительно долгое время, пока они искали способов, как и на чем вынести его из сада.

— Ну, а сапог?

— Этот сапог еще более подтверждает мою мысль, что его убили, когда он снимал перед сном сапоги. Один сапог он снял, другой же, то есть этот, он успел снять только наполовину. Наполовину снятый сапог во время тряски и падения сам снялся…

— Сообразительность, посмотришь! — усмехнулся Чубиков. — Так и режет, так и режет! И когда вы отучитесь лезть со своими рассуждениями? Чем рассуждать, вы бы лучше взяли для

анализа немного травы с кровью!

По осмотре и снятии плана местности следствие отправилось к управляющему писать протокол и завтракать. За завтраком разговорились.

— Часы, деньги и прочее… все цело, — начал разговор Чубиков. — Как дважды два — четыре, убийство совершено не с корыстными целями.

— Совершено человеком интеллигентным, — вставил Дюковский.

— Из чего же это вы заключаете?

— К моим услугам шведская спичка, употребления которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют этакие спички только помещики, и то не все. Убивал, кстати сказать, не один, а минимум трое: двое держали, а третий душил. Кляузов был силен, и убийцы должны были знать это.

— К чему могла послужить ему его сила, ежели он, положим, спал?

— Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал сапоги, значит не спал.

— Нечего выдумывать! Ешьте лучше!

— А по моему понятию, ваше высокоблагородие, — сказал садовник Ефрем, ставя на стол самовар, — пакость эту самую сделал никто другой, как Николашка.

— Весьма возможно, — сказал Псеков.

— А кто этот Николашка?

— Баринов камердинер, ваше высокоблагородие, — отвечал Ефрем. — Кому другому, как не ему? Разбойник, ваше высокоблагородие! Пьяница и распутник такой, что и не приведи царица небесная! Барину он водку завсегда носил, барина он укладывал в постелю… Кому же, как не ему? А еще тоже, смею предположить вашему высокоблагородию, похвалялся раз, шельма, в кабаке, что барина убьет. Из-за Акульки все вышло, из-за бабы… Была у него солдатка такая… Барину она пондравилась, они ее к себе приблизили, ну, а он… известно, осерчал… На кухне пьяный валяется теперь. Плачет… Врет, что барина жалко…

— А действительно, из-за Акульки можно осерчать, — сказал Псеков. — Она солдатка, баба, но… Недаром Марк Иваныч прозвал ее Наной. В ней есть что-то, напоминающее Нану… привлекательное…

— Видал… Знаю… — сказал следователь, сморкаясь в красный платок.

Дюковский покраснел и опустил глаза. Становой забарабанил пальцем по блюдечку. Исправник закашлялся и полез зачем-то в портфель. На одного только доктора, по-видимому, не произвело никакого впечатления напоминание об

Акульке и Нане. Следователь приказал привести Николашку. Николашка, молодой долговязый парень с длинным рябым носом и впалой грудью, в пиджаке с барского плеча, вошел в комнату Псекова и поклонился следователю в ноги. Лицо его было сонно и заплакано. Сам он был пьян и еле держался на ногах.

— Где барин? — спросил его Чубиков.

— Убили, ваше высокоблагородие.

Сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал.

— Знаем, что убили. А где он теперь? Тело-то его где?

— Сказывают, в окно вытащили и в саду закопали.

— Гм!.. О результатах следствия уже известно на кухне... Скверно. Любезный, где ты был в ту ночь, когда убили барина? В субботу, то есть?

Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался.

— Не могу знать, ваше высокоблагородие, — сказал он. — Был выпимши и не помню.

— Alibi! — шепнул Дюковский, усмехаясь и потирая руки.

— Так-с. Ну, а отчего это у барина под окном кровь?

Николашка задрал вверх голову и задумался.

— Скорей думай! — сказал исправник.

— Сичас. Кровь эта от пустяка, ваше высокоблагородие. Курицу я резал. Я ее резал очень просто, как обыкновенно, а она возьми да и вырвись из рук, возьми да побеги… От этого самого и кровь.

Ефрем показал, что, действительно, Николашка каждый вечер режет кур и в разных местах, но никто не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать безусловно.

— Alibi, — усмехнулся Дюковский. — И какое дурацкое alibi!

— С Акулькой знавался?

— Был грех.

— А барин у тебя сманил ее?

— Никак нет. У меня Акульку отбили вот они-с, господин Песков, Иван Михайлыч-с, а у Ивана Михайлыча отбил барин. Так дело было.

Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. Дюковский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул. На управляющем увидел он синие панталоны, на которые ранее не обратил внимания. Панталоны напомнили ему о синих волосках, найденных на репейнике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно взглянул

на Псекова.

— Ступай! — сказал он Николашке. — А теперь позвольте вам задать один вопрос, г. Псеков. Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь?

— Да, в десять часов я ужинал с Марком Иванычем.

— А потом?

Псеков смутился и встал из-за стола.

— Потом… потом… Право, не помню, — забормотал он. — Я много выпил тогда… Не помню, где и когда уснул… Чего вы на меня все так смотрите? Точно я убил!

— Где вы проснулись?

— Проснулся в людской кухне на печи… Все могут подтвердить. Как я попал на печь, не знаю…

— Вы не волнуйтесь… Акулину вы знали?

— Ничего нет тут особенного…

— От вас она перешла к Кляузову?

— Да… Ефрем, подай еще грибов! Хотите чаю, Евграф Кузьмич?

Наступило молчание — тяжелое, жуткое, длившееся минут пять. Дюковский молчал и не отрывал своих колючих глаз от побледневшего лица Псекова. Молчание нарушил следователь.

— Нужно будет, — сказал он, — сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного,

Марьей Ивановной. Не даст ли она нам каких-либо указаний.

Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Кляузова, Марью Ивановну, сорокапятилетнюю деву, застали они молящейся перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках гостей портфели и фуражки с кокардами, она побледнела.

— Приношу, прежде всего, извинение за нарушение, так сказать, вашего молитвенного настроения, — начал, расшаркиваясь, галантный Чубиков. — Мы к вам с просьбой. Вы, конечно, уже слышали… Существует подозрение, что ваш братец, некоторым образом, убит. Божья воля, знаете ли… Смерти не миновать никому, ни царям, ни пахарям. Не можете ли вы помочь нам каким-либо указанием, разъяснением…

— Ах, не спрашивайте меня! — сказала Марья Ивановна, еще более бледнея и закрывая лицо руками. — Ничего я не могу вам сказать! Ничего! Умоляю вас! Я ничего… Что я могу? Ах, нет, нет… ни слова про брата! Умирать буду, не скажу!

Марья Ивановна заплакала и ушла в другую комнату. Следователи переглянулись, пожали плечами и ретировались.

— Чертова баба! — выругался Дюковский, вы-

ходя из большого дома. — По-видимому, что-то знает и скрывает. И у горничной что-то на лице написано… Постойте же, черти! Все разберем!

Вечером Чубиков и его помощник, освещенные бледнолицей луной, возвращались к себе домой; они сидели в шарабане и подводили в своих головах итоги минувшего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков вообще не любил говорить в дороге, болтун же Дюковский молчал в угоду старику. В конце пути, однако, помощник не вынес молчания и заговорил:

— Что Николашка причастен в этом деле, — сказал он, — поп dubitandum est[35]. И по роже его видно, что он за штука… Alibi выдает его с руками и ногами. Нет также сомнения, что в этом деле не он инициатор. Он был только глупым, нанятым орудием. Согласны? Не последнюю также роль в этом деле играет и скромный Псеков. Синие панталоны, смущение, лежанье на печи от страха после убийства, alibi и Акулька.

— Мели, Емеля, твоя неделя. По-вашему, значит, тот и убийца, кто Акульку знал? Эх вы, горячка! Соску бы вам сосать, а не дела разбирать! Вы тоже за Акулькой ухаживали, — значит, и вы участник

---

[35] Примечания: 35
Нет сомнения *(лат.)*.

в этом деле?

— У вас тоже Акулька месяц в кухарках жила, но… я ничего не говорю. В ночь под то воскресенье я играл с вами в карты, видел вас, иначе бы я и к вам придрался. Дело, батенька, не в бабе. Дело в подленьком, гаденьком, скверненьком чувстве… Скромному молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он верх взял. Самолюбие, видите ли… Мстить захотелось. Потом-с… Толстые губы его сильно говорят о чувственности. Помните, как он губами причмокивал, когда Акульку с Наной сравнивал? Что он, мерзавец, сгорает страстью — несомненно! Итак: оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для того, чтобы совершить убийство. Двое в наших руках; но кто же третий? Николашка и Псеков держали. Кто же душил? Псеков робок, конфузлив, вообще трус. Николашки же не умеют душить подушкой; они действуют топором, обухом… Душил кто-то третий, но кто он?

Дюковский нахлобучил на глаза шляпу и задумался. Молчал он до тех пор, пока шарабан не подъехал к дому следователя.

— Эврика! — сказал он, входя в домик и снимая пальто. — Эврика, Николай Ермолаич! Не знаю только, как мне это раньше в голову не пришло.

Знаете, кто третий?

— Отстаньте, пожалуйста! Вон ужин готов! Садитесь ужинать!

Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал:

— Так знайте же, что третий, действовавший заодно с негодяем Песковым и душивший, — была женщина! Да-с! Я говорю о сестре убитого, Марье Ивановне!

Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского.

— Вы… не тово? Голова у вас… не тово? Не болит?

— Я здоров. Хорошо, пусть я с ума сошел, но чем вы объясните ее смущение при нашем появлении? Как вы объясните ее нежелание давать показания? Допустим, что это пустяки — хорошо! ладно! — так вспомните про их отношения! Она ненавидела своего брата! Она староверка, он развратник, безбожник… Вот где гнездится ненависть! Говорят, что он успел убедить ее в том, что он аггел сатаны. При ней он занимался спиритизмом!

— Ну, так что же?

— Вы не понимаете? Она, староверка, убила его

из фанатизма! Мало того, что она убила плевел, развратника, она освободила мир от антихриста — ив этом, мнит она, ее заслуга, ее религиозный подвиг! О, вы не знаете этих старых дев, староверок! Прочитайте-ка Достоевского! А что пишут Лесков, Печерский!.. Она и она, хоть зарежьте! Она душила! О, ехидная баба! Разве не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы отвести нам глаза? Дай, мол, стану и буду молиться, а они подумают, что я покойна, что я не ожидаю их! Это метод всех преступников-новичков. Голубчик, Николай Ермолаич! Родной мой! Отдайте мне это дело! Дайте мне лично довести его до конца! Милый мой! Я начал, я и до конца доведу!

Чубиков замотал головой и нахмурился.

— Мы и сами умеем трудные дела разбирать, — сказал он. — А ваше дело не лезть, куда не следует. Пишите себе под диктовку, когда вам диктуют, — вот ваше дело!

Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел.

— Умница, шельма! — пробормотал, глядя ему вслед, Чубиков. — Бо-ольшая умница! Горяч только некстати. Нужно будет ему на ярмарке портсигар в презент купить…

На другой день утром к следователю был приведен из Кляузовки молодой парень с большой головой и заячьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересное показание.

— Был я выпимши, — сказал он. — До полночи у кумы просидел. Идучи домой, спьяна полез в реку купаться. Купаюсь я… глядь! Идут по плотине два человека и что-то черное несут. «Тю!» — крикнул я на них. Они испужались и что есть духу давай стрекача к макарьевским огородам. Побей меня бог, коли то не барина волокли!

В тот же день перед вечером Псеков и Николашка были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок.

II

Прошло двенадцать дней.

Было утро. Следователь Николай Ермолаич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал «кляузовское» дело; Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол.

— Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова, — говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. — Отчего же вы не хотите убедиться

в виновности Марьи Ивановны? Вам мало улик, что ли?

— Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не верится как-то… Улик настоящих нет, а все какая-то философия… Фанатизм, то да се…

— А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни!.. Юристы! Так я же вам докажу! Вы перестанете у меня так халатно относиться к психической стороне дела! Быть вашей Марье Ивановне в Сибири! Я докажу! Мало вам философии, так у меня есть нечто вещественное… Оно покажет вам, как права моя философия! Дайте мне только поездить.

— О чем это вы?

— Про шведскую спичку-с… Забыли? А я не забыл! Я узнаю, кто зажигал ее в комнате убитого! Зажигал не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а третий, то есть Марья Ивановна. И я докажу!.. Дайте только поездить по уезду, поразузнать…

— Ну, ладно, садитесь… Давайте допрос делать.

Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаги.

— Ввести Николая Тетехова! — крикнул следователь.

Ввели Николашку. Николашка был бледен и

худ как щепка. Он дрожал.

— Тетехов! — начал Чубиков. — В 1879 г. вы судились у судьи 1-го участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. В 1882 г. вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму… Нам все известно…

На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведение следователя изумило его. Но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели.

— Ввести Псекова! — приказал следователь.

Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия.

— Садитесь, Псеков, — сказал Чубиков. — Надеюсь, что сегодняшний раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы. Во все те дни вы отрицали свое участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. Сознание облегчает вину. Сегодня я беседую с вами в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будет уже поздно. Ну, рассказывайте нам…

— Ничего я не знаю… И улик ваших не знаю, — прошептал Псеков.

— Напрасно-с! Ну, так позвольте же мне рассказать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели в спальне Кляузова и пили с ним водку и пиво (Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал его в продолжение всего монолога). Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своем желании ложиться спать. В первом часу он всегда ложился. Когда он снимал сапоги и отдавал вам приказания по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили опьяневшего хозяина и опрокинули его на постель. Один из вас сел ему на ноги, Другой на голову. В это время из сеней вошла известная вам женщина в черном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свеча. Женщина вынула из кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. Не так ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду. Но далее. Задушив его и убедившись, что он не дышит, вы и Николай вытащили его через окно и положили около репейника. Боясь, чтобы он не ожил, вы ударили его чем-то острым. Затем вы понесли и положили его на некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и подумав, вы понесли

его… Перенесли через плетень… Потом пошли по дороге… Далее следует плотина. Около плотины испугал вас какой-то мужик. Но что с вами?

Псеков, бледный как полотно, поднялся и зашатался.

— Мне душно! — сказал он. — Хорошо… пусть… Только я выйду… пожалуйста.

Псекова вывели.

— Наконец-таки сознался! — сладко потянулся Чубиков. — Выдал себя! Как я его ловко, однако! Так и засыпал…

— И женщину в черном не отрицает! — засмеялся Дюковский. — Но, однако, меня ужасно мучит шведская спичка! Не могу долее терпеть! Прощайте! Еду.

Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает…

— Жила я только с вами, а больше ни с кем! — сказала она.

В шестом часу вечера воротился Дюковский. Он был взволнован, как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился не без новости.

— Veni, vidi, vici![36] — сказал он, влетая в комнату Чубикова и падая в кресло. — Клянусь вам честью, я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, черт вас возьми совсем! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смешно и грустно! В ваших руках уже есть трое… не так ли? Я нашел четвертого или, вернее — четвертую, ибо и эта есть женщина! И какая женщина! За одно прикосновение к ее плечам я отдал бы десять лет жизни! Но… слушайте… Поехал я в Кляузовку и давай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути все лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили «нет». Колесил я до сей поры. Двадцать раз я терял надежду и столько же раз получал ее обратно. Валандался целый день и только час тому назад набрел на искомое. За три версты отсюда. Подают мне пачку из десяти коробочек. Одной коробки нет как нет… Сейчас: «Кто купил эту коробку?» Такая-то… «Понравилось ей… пшикают». Голубчик мой! Николай Ермолаич! Что может иногда сделать человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся Габорио, так уму непостижимо! С сегодняшнего дня начинаю уважать себя!..

---

[36] Примечания: 36
Пришел, увидел, победил! *(лат.)*

Уффф… Ну, едем!

— Куда это?

— К ней, к четвертой… Поспешить нужно, иначе… иначе я сгорю от нетерпения! Знаете, кто она? Не угадаете! Молоденькая жена нашего станового, старца Евграфа Кузьмича, Ольга Петровна — вот кто! Она купила ту коробку спичек!

— Вы… ты… вы… с ума сошел?

— Очень понятно! Во-первых, она курит. Во-вторых, она по уши была влюблена в Кляузова. Он отверг ее любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Теперь я вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. Она клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей дым в лицо. Но, однако, поедемте… Скорее, а то уже темнеет… Поедемте!

— Я еще не сошел с ума настолько, чтобы из-за какого-нибудь мальчишки беспокоить ночью благородную, честную женщину!

— Благородная, честная… Тряпка вы после этого, а не следователь! Никогда не осмеливался бранить вас, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! Халат! Ну, голубчик, Николай Ермолаич! Прошу вас!

Следователь махнул рукой и плюнул.

— Прошу вас! Прошу не для себя, а в интересах правосудия! Умоляю, наконец! Сделайте мне

одолжение хоть раз в жизни!

Дюковский стал на колени.

— Николай Ермолаич! Ну, будьте так добры! Назовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь относительно этой женщины! Дело ведь какое! Дело-то! Роман, а не дело! На всю Россию слава пойдет! Следователем по особо важным делам вас сделают! Поймите вы, неразумный старик!

Следователь нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе.

— Ну, черт с тобой! — сказал он. — Едем.

Было уже темно, когда шарабан следователя подкатил к крыльцу станового.

— Какие мы свиньи! — сказал Чубиков, берясь за звонок. — Беспокоим людей.

— Ничего, ничего… Не робейте… Скажем, что у нас рессора лопнула.

Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина, лет двадцати трех, с черными, как смоль, бровями и жирными, красными губами. Это была сама Ольга Петровна.

— Ах… очень приятно! — сказала она, улыбаясь во все лицо. — Как раз к ужину поспели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома… У попа засиделся… Но мы и без него обойдемся… Садитесь! Вы это со

следствия?..

— Да-с… У нас, знаете ли, рессора лопнула, — начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло.

— Вы сразу… ошеломите! — шепнул ему Дюковский. — Ошеломите!

— Рессора… Мм… да… Взяли и заехали.

— Ошеломите, вам говорят! Догадается, коли канителить будете!

— Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь! — пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. — Не могу! Ты заварил кашу, ты и расхлебывай!

— Да, рессора… — начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. — Мы заехали не для того, чтобы… эээ… ужинать и не к Евграфу Кузьмичу. Мы приехали затем, чтобы спросить вас, милостивая государыня: где находится Марк Иванович, которого вы убили?

— Что? Какой Марк Иваныч? — залепетала становиха, и ее большое лицо вдруг, в один миг, залилось алой краской. — Я… не понимаю.

— Спрашиваю вас именем закона! Где Кляузов? Нам все известно!

— Через кого? — спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковского.

— Извольте указать нам — где он!?

— Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал?

— Нам все известно-с! Я требую именем закона!

Следователь, ободренный замешательством становихи, подошел к ней и сказал:

— Укажите нам, и мы уйдем. Иначе же мы…

— На что он вам?

— К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать! Вы дрожите, смущены… Да, он убит, и, если хотите, убит вами! Сообщники выдали вас!

Становиха побледнела.

— Пойдемте, — сказала она тихо, ломая руки. — Он у меня в бане спрятан. Только, ради бога, не говорите мужу! Умоляю вас! Он не вынесет.

Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно. Накрапывал мелкий дождь. Становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями — маленький домик с покрививше-

юся трубой.

— Это баня, — сказала становиха. — Но умоляю вас, не говорите никому!

Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромнейший висячий замок.

— Приготовьте огарок и спички! — шепнул следователь своему помощнику.

Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса.

— Дальше!

Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бутыль с водкой, тарелки, ножи, вилки.

— Но где же… этот? Где убитый? — спросил следователь.

— Он на верхней полочке! — прошептала становиха, все еще бледная и дрожащая.

Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп…

— Нас морочат, черт возьми! — закричал Дю-

ковский.

— Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван. Эй, кто вы, черт вас возьми?

Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову.

— Кто это лезет? — спросил охрипший, тяжелый бас. — Тебе что нужно?

Дюковский поднес к лицу неизвестного огарок и вскрикнул. В багровом носе, взъерошенных, нечесаных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал корнета Кляузова.

— Вы… Марк… Иваныч?! Не может быть! — Следователь взглянул наверх и замер…

— Это я, да… А это вы, Дюковский! Какого дьявола вам здесь нужно? А там, внизу, что еще за рожа? Батюшки, следователь! Какими судьбами?

Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь.

— Какими путями? Выпьем, черт возьми! Трата-ти-то-том… Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? Впрочем, все равно! Выпьем!

Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки.

— То есть, я тебя не понимаю, — сказал следователь, разводя руками. — Ты это или не ты?

— Будет тебе… Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку! Проведемте ж, друзья-я, эту… Чего смотрите? Пейте!

— Все-таки я не могу понять, — сказал следователь, машинально выпивая водку. — Зачем ты здесь?

— Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо?

Кляузов выпил и закусил ветчиной.

— Живу у становихи, как видишь. В глуши, в дебрях, как домовой какой-нибудь. Пей! Жалко, брат, мне ее стало! Сжалился, ну, и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником… Питаюсь. На будущей неделе думаю убраться отсюда… Уж надоело…

— Непостижимо! — сказал Дюковский.

— Что же тут непостижимого?

— Непостижимо! Ради бога, как попал ваш сапог в сад?

— Какой сапог?

— Мы нашли один сапог в спальне, а другой

в саду.

— А вам для чего это знать? Не ваше дело… Да пейте же, черт вас возьми. Разбудили, так пейте! Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь, был, подшофе… Она приходит под окно и начинает ругаться… Знаешь, как бабы… вообще… Я, спьяна, возьми да и пусти в нее сапогом… Ха-ха… Не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь… Любовь, водка и закуска! Но куда вы? Чубиков, куда ты?

Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такою скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости, Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице.

Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал «Ниву».

— Дела-то какие на белом свете! — сказал он, встречая следователя, с грустной улыбкой. — Опять Австрия того!.. И Гладстон тоже некоторым

образом…

Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся.

— Скелет чертов! Не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своею политикой! Не до политики тут! А тебе, — обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком, — а тебе… во веки веков не забуду!

— Но… шведская спичка ведь! Мог ли я знать!

— Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, а то я из тебя черт знает что сделаю! Чтобы и ноги твоей не было!

Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел.

— Пойду запью! — решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир.

Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной.

— Зачем следователь приезжал? — спросил муж.

— Приезжал сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены!

— Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! — вздохнул становой, поднимая вверх глаза. — Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра! Говорил я тебе, — не слушался!

Отставной раб

— Наша речка извивалась змейкой, словно зигзага… Бежала она по полю изгибами, вертикулясами этакими, как поломанная… Когда, бывало, на гору взлезешь и вниз посмотришь, то всю ее, как на ладонке, видать. Днем она как зеркало, а ночью ртутью отливает. По бережку камыш стоит и в воду поглядывает… Красота! Тут камыш, там ивнячок, а там вербы…

Так расписывал Никифор Филимоныч, сидя в портерной за столиком и глотая пиво. Говорил он с увлечением, с жаром… Его морщинистое бритое лицо и коричневая шея вздрагивали и подергивались судорогой всякий раз, когда он подчеркивал в своем рассказе какое-либо особенно поэтическое место. Слушала его хорошенькая шестнадцатилетняя сиделица, Таня. Лежа грудью на прилавке и подперев голову кулаками, она, изумляясь, бледнея и не мигая глазами, восторженно ловила каждое слово.

Никифор Филимоныч каждый вечер бывал в портерной и беседовал с Таней. Любил он ее за сиротство и тихую ласковость, которою залито было все ее бледное востроглазое лицо. А кого он

любил, тому отдавал все тайны своего прошлого. Начинал он беседы обыкновенно с самого начала — с описания природы. С природы переходил он на охоту, с охоты — на личность покойного барина, князя Свинцова.

— Знаменитый был человек! — рассказывал он про князя. — Славен он был не столько богатством и широтою земель, сколько характером. Он был донжуан-с.

— А что значит донжуан?

— Это обозначает, что он до женского пола большой донжуан был. Любил вашего брата. Все свое состояние на женский пол провалил. Да-с… А когда мы в Москве жили, у нас в грандателе почти весь верхний этаж на наши средства существовал. В Петербурге мы с баронессой фон Туссих большие связи имели и дитя-тю прижили. Баронесса эта самая в одну ночь все свое состояние в штосс проиграла и руки на себя наложить хотела, а князь не дал ей жизнь прикончить. Красивая была, молодая такая… Год с ним попуталась и померла… А как женщины любили его, Танечка! Как любили! Жить без него не могли!

— Он был красив?

— Какой… Старый был, некрасивый… Вот и вы бы, Танечка, ему понравились… Он любил таких

худеньких, бледненьких… Вы не конфузьтесь. Чего конфузиться? Не врал я во веки веков и теперь не вру-с…

Потом Никифор Филимоныч принимался за описание экипажей, лошадей, нарядов… Во всем этом он знал толк. Потом начинал перечислять вина.

— А есть такие вина, что четвертную за бутылку стоит. Выпьешь ты рюмку, а у тебя в животе делается, словно ты от радости помер.

Тане более всего нравилось описание тихих лунных ночей… Летом шумная оргия в зелени, среди цветов, а зимой — в санях с теплой полостью, в санях, которые летят как молния.

— Летят санки-с, а вам кажется, что луна бежит… Чудно-с!

Долго рассказывал таким образом Никифор Филимоныч. Оканчивал он, когда мальчишка тушил над дверью фонарь и вносил в портерную дверную вывеску.

В один зимний вечер Никифор Филимоныч лежал пьяный под забором и простудился. Его свезли в больницу. Выписавшись через месяц из больницы, он уже не нашел в портерной своей слушательницы. Она исчезла.

Через полтора года шел Никифор Филимоныч

в Москве по Тверской и продавал поношенное летнее пальто. Ему встретилась его любимица, Таня. Она, набеленная, расфранченная, в шляпе с отчаянно загнутыми полями, шла под руку с каким-то господином в цилиндре и чему-то громко хохотала… Старик поглядел на нее, узнал, проводил глазами и медленно снял шапку. По его лицу пробежало умиление, на глазах сверкнула слезинка.

— Ну, дай бог ей… — прошептал он. — Она хорошая.

И, надевши шапку, он тихо засмеялся.

Осенью

Время было близко к ночи.

В кабаке дяди Тихона сидела компания извозчиков и богомольцев. Их загнал в кабак осенний ливень и неистовый мокрый ветер, хлеставший по лицам, как плетью. Промокшие и уставшие путники сидели у стен на скамьях и, прислушиваясь к ветру, дремали. На лицах была написана скука. У одного извозчика, малого с рябым, исцарапанным лицом, лежала на коленях мокрая гармонийка: играл и машинально перестал.

Над дверью, вокруг тусклого, засаленного фонарика, летали дождевые брызги. Ветер выл волком, визжал и, видимо, старался сорвать с петель кабацкую дверь. Со двора слышалось фырканье лошадей и шлепанье по грязи. Было сыро и холодно.

За прилавком сидел сам дядя Тихон, высокий мордастый мужик с сонными, заплывшими глазками. Перед ним по сю сторону прилавка стоял человек лет сорока, одетый грязно, больше чем дешево, но интеллигентно. На нем было помятое, вымоченное в грязи летнее пальто, сарпинковые брюки и резиновые калоши на босую ногу.

Голова, руки, заложенные в карманы, и худые, колючие локти его тряслись, как в лихорадке. Изредка по всему исхудалому телу, начиная с страшно испитого лица и кончая резиновыми калошами, пробегала легкая судорога.

— Дай Христа ради! — просил он Тихона разбитым, дребезжащим тенором. — Рюмочку… вот эту, маленькую. В долг ведь!

— Ладно… Много вас шляется тут, прохвостов!

Прохвост поглядел на Тихона с презрением, с ненавистью. Он убил бы его, если б можно было!

— Пойми ты, дура ты этакая, невежа! Не я прошу, нутро, выражаясь по-твоему, по-мужицкому, просит! Болезнь моя просит! Пойми!

— Нечего нам понимать. Отходи…

— Ведь если я не выпью сейчас, пойми ты это, если я не удовлетворю своей страсти, то я могу преступление совершить! Я бог знает что могу сделать! Видал ты, хам, на своем кабацком веку много пьяного люда; неужели же до сих пор ты не сумел уяснить себе, что это за люди? Это больные! На цепь их посади, бей, режь, а водки дай! Ну, покорнейше прошу! Сделай милость! Унижаюсь… Боже мой, как я унижаюсь!

Прохвост покачал головой и медленно сплюнул.

— Деньги давай, тогда и водка будет! — сказал Тихон.

— Где же мне взять денег? Все пропито! Все дотла! Пальто вот одно только осталось. Его дать тебе не могу, потому что оно на голом теле… Хочешь шапку?

Прохвост подал Тихону свою драповую шапочку, из которой кое-где выглядывала вата. Тихон взял шапку, оглядел ее и отрицательно покачал головой.

— И даром не надо… — сказал он. — Навоз…

— Не нравится? Ну, так в долг дай, ежели не нравится. Буду идти из города обратно, занесу тебе твой пятак. Подавись ты тогда этим пятаком! Подавись!

— Какой такой ты жулик? Что за человек? Зачем пришел?

— Выпить хочу. Не я хочу, болезнь моя хочет! Пойми!

— Чего беспокоишь? Много вас, шельмованных, по большой дороге шатается! Ступай вон проси православных, пущай угощают тебя Христа ради, коли желают, а я Христа ради только хлеб подаю. Сволочь!

— Дери ты с них, бедняков, а я уж… извини! Не мне их обирать! Не мне!

Прохвост вдруг оборвал свою речь, покраснел и обратился к богомольцам:

— А ведь это идея, православные! Пожертвуйте пятачишку! Нутро просит! Болен!

— Водицы выпей, — усмехнулся малый с рябым лицом.

Прохвосту стало совестно. Он закашлялся и умолк. Через минуту он опять умолял Тихона. В конце концов он заплакал и стал предлагать за рюмку водки свое мокрое пальто. В темноте не увидели его слез, а пальто не приняли, потому что в кабаке были богомолки, которые не пожелали видеть мужскую наготу.

— Что же мне теперь делать? — спросил тихо прохвост голосом, полным отчаяния. — Что же делать? Не выпить мне нельзя. Иначе я преступление совершу или на самоубийство решусь… Что же делать?

Он прошелся по кабаку.

Подъехал со звонками почтовый тарантас. Мокрый почтальон вошел в кабак, выпил стакан водки и вышел. Почта поехала дальше.

— Я тебе дам одну золотую вещь, — обратился прохвост к Тихону, ставши вдруг бледным, как полотно. — Изволь, я тебе дам. Так и быть… Хоть это подло, мерзко с моей стороны, но возьми…

Я сделаю эту гадость, будучи невменяем… И на суде бы меня оправдали… Возьми, но только с условием: возвратить мне потом, когда обратно пойду. Даю тебе при свидетелях…

Прохвост полез мокрой рукой себе за пазуху и достал оттуда маленький золотой медальон. Он раскрыл его и мельком взглянул на портрет.

— Надо бы портрет вынуть, да некуда мне его положить: я весь мокрый. Черт с тобой, грабь с портретом. Только с условием… Голубчик мой, дорогой… я прошу… Ты пальцами не трогай за это лицо… Умоляю, голубчик! Ты извини меня за грубости, за то, что я с тобой грубо говорил… Я глуп… Не трогай пальцами и не гляди своими глазами на это лицо…

Тихон взял медальон, поглядел на пробу и положил его к себе в карман.

— Краденые часики, — сказал он, наливая стакан. — Ну ладно… пей…

Пьяница взял в руки стакан, сверкнул на него глазами, насколько хватило силы сверкнуть у его пьяных, мутных глаз, и выпил… выпил с чувством, с судорожной расстановкой. Пропив медальон с портретом, он стыдливо опустил глаза и пошел в угол. Там он примостился на скамье возле богомолки, съежился и закрыл глаза.

Прошло полчаса в тишине и безмолвии. Шумел только ветер, напевая в трубе свою осеннюю рапсодию. Богомолки стали молиться богу и бесшумно располагаться под скамьями на ночлег. Тихон раскрыл медальон и загляделся на женскую головку, улыбавшуюся из золотой рамочки кабаку, Тихону, бутылкам.

На дворе скрипнула телега. Послышалось «тпррр» и шлепанье по грязи… В кабак вбежал маленький мужичок в длинном тулупе и с острой бородой. Он был мокр и грязен.

— Ну-кася! — крикнул он, стуча пятаком о прилавок. — Стакан мадеры настоящей! Наливай!

И, ухарски повернувшись на одной ноге, он окинул взглядом всю компанию.

— Растаяли сахарные, тетка ваша подкурятина! Дождя испугались, ахиды! Нежные! А это что за изюмина?

Мужичонок прыгнул к прохвосту и поглядел ему в лицо.

— Вот туды! Барин! — сказал он. — Семен Сергеич! Господа наши! А? С какой такой стати вы в этом кабаке прохлаждаетесь? Нешто вам здесь место? Эх… мученик несчастный!

Барин взглянул на мужичонка и закрылся рукавом. Мужичонок вздохнул, покачал головой,

отчаянно махнул обеими руками и пошел к прилавку пить водку.

— Это наш барин, — шепнул он Тихону, кивнув на прохвоста. — Наш помещик, Семен Сергеич. Видал, каков? На какого человека похож теперь? А? То-то вот… пьянство до какой степени…

Выпив водку, мужичонок вытер рукавом губы и продолжал:

— Я из его деревни. За четыреста верст отседа, из Ахтиловки… Крепостными у его отца были… Этакая жалость, брат! Этакая жалость! Славный такой господин был… Вон она, лошадка-то на дворе! Видишь? Это он мне на лошадку дал! Ха-ха! Судьба!

Через десять минут вокруг мужичонка сидели извозчики и богомольцы. Тихим, нервным тенорком, под шумок осени, рассказывал он им повесть. Семен Сергеич сидел в том же углу, закрыв глаза и бормоча. Он тоже слушал.

— Все это из одного малодушества вышло, — рассказывал мужичонок, двигаясь и жестикулируя руками. — С жиру… Господин он был богатый, большой, на всю, значит, губернию… Ешь, пей — не хочу! Сами, небось, видали… Сколько разов тут в коляске мимо этого самого кабака проезжал. Богатый был… Помню, лет пять тому назад едет

через Микишкинский паром и заместо пятака рупь выкидывает… Из-за пустяшного предмета разоренье его началось. Первое дело — из-за бабы. Полюбил он, сердешный, одну городскую… Пуще жизни. Полюбилась ворона пуще ясна сокола… Марьей Егоровной, подлая, прозывалась, а фамилия такая чудная, что и не выговоришь. Полюбил и посватался, стало быть, как это по-божецки требуется. А она, известно, согласие дала, потому — барин он не из пустяшных, тверезый и при деньгах… Прохожу я однажды вечерком, помню это, через ихний сад; смотрю, а они сидят на лавочке и друг дружку целуют. Он ее раз, она, змея, его — два. Он ее за белу ручку, а она — вспых! так и жмется к ему, чтоб ей шут!.. Люблю говорит тебя, Сеня… А Сеня, как окаянный человек, ходит везде и счастьем похваляется сдуру… Тому рупь, тому два… Мне вот на лошадь дал… Всем нам долги простил на радостях. Подошло дело к свадьбе… Повенчались, как следовает… В самый раз, когда господам за ужин садиться, она возьми да и убеги в карете… В город к аблакату бежала, к полюбовнику. После венца-то, шкура! А? В самый настоящий момент! А? Очумел с той поры, запил… Вот как, видишь… Ходит, как шальной, и об ней, шкуре, думает. Любит! Должно, идет

теперь пешком в город на нее одним глазочком взглянуть… Второе дело, братцы, откуда разоренье пошло, — зять, сестрин муж… Вздумал он за зятя в банковом обчестве поручиться… тысяч на тридцать… Зять, известно, знает, шельма, свою пользу и ухом своим собачьим не ведет, а с нашего взяли все тридцать тысяч… Глупый человек за глупость и муки терпит… Жена со своим аблакатом детей прижила, зять около Полтавы именье купил, а наш ходит, как дурак, по кабакам да к нашему брату мужику с жалобой лезет: «Потерял я, братцы, веру! Не в кого мне теперь, это самое, верить!» Малодушество! У всякого человека свое горе бывает, так и пить, значит? Вот у нас, к примеру взять, старшина. Жена к себе учителя среди бела дня водит, мужнины деньги на хмель изводит, а старшина ходит себе да усмешки на лице делает… Поосунулся только малость…

— Кому какую бог силу дал… — вздохнул Тихон.

— Сила разная бывает — это правильно.

Долго мужичонок рассказывал. Когда он кончил, воцарилась в кабаке тишина.

— Эй, ты… как вас?., несчастный человек! Иди, выпей! — сказал Тихон, обращаясь к барину.

Барин подошел к прилавку и с наслаждением

выпил милостыню…

— Дай мне на минутку медальон! — шепнул он Тихону. — Посмотрю только и… отдам…

Тихон нахмурился и молча отдал ему медальон. Малый с рябым лицом вздохнул, покрутил головой и потребовал водки.

— Выпей, барин! Эх! Без водки хорошо, а с водкой еще лучше! При водке и горе не горе! Валяй!

Выпив пять стаканов, барин отправился в угол, раскрыл медальон и пьяными, мутными глазами стал искать дорогое лицо… Но лица уже не было… Оно было выцарапано из медальона ногтями добродетельного Тихона.

Фонарь вспыхнул и потух. В углу скороговоркой забредила богомолка. Малый с рябым лицом вслух помолился богу и растянулся на прилавке. Кто-то еще подъехал… А дождь лил и лил… Холод становился все сильней и сильней, и, казалось, конца не будет этой подлой, темной осени. Барин впивался глазами в медальон и все искал женское лицо… Тухла свеча.

Весна, где ты?

Толстый и тонкий

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же кра-

савец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо… Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе… А это моя жена, урожденная Ванценбах… лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое… ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, пони-

маешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству… Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира…

— Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте… Что вы-с… — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы живительной влаги… Это вот, ваше превосхо-

дительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым образом…

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

Клевета

Учитель чистописания Сергей Капитоныч Ахинеев выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича Лошадиных. Свадебное веселье текло как по маслу. В зале пели, играли, плясали. По комнатам, как угорелые, сновали взад и вперед взятые напрокат из клуба лакеи в черных фраках и белых запачканных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов, француз Падекуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктыч Мзда, сидя рядом на диване, спеша и перебивая друг друга, рассказывали гостям случаи погребения заживо и высказывали свое мнение о спиритизме. Все трое не верили в спиритизм, но допускали, что на этом свете есть много такого, чего никогда не постигнет ум человеческий. В другой комнате учитель словесности Додонский объяснял гостям случаи, когда часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но весьма приятные. В окна со двора засматривали люди, по своему социальному положению не имевшие права войти внутрь.

Ровно в полночь хозяин Ахинеев прошел в кухню поглядеть, все ли готово к ужину. В кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных и многих других запахов. На двух столах были разложены и расставлены в художественном беспорядке атрибуты закусок и выпивок. Около столов суетилась кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом.

— Покажи-ка мне, матушка, осетра! — сказал Ахинеев, потирая руки и облизываясь. — Запах-то какой, миазма какая! Так бы и съел всю кухню! Ну-кася, покажи осетра!

Марфа подошла к одной из скамей и осторожно приподняла засаленный газетный лист. Под этим листом, на огромнейшем блюде, покоился большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой. Ахинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просияло, глаза подкатились. Он нагнулся и издал губами звук неподмазанного колеса. Постояв немного, он щелкнул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул губами.

— Ба! Звук горячего поцелуя… Ты с кем это здесь целуешься, Марфуша? — послышался голос из соседней комнаты, и в дверях показалась стриженая голова помощника классных наставников,

Ванькина. — С кем это ты? А-а-а… очень приятно! С Сергей Капитонычем! Хорош дед, нечего сказать! С женским полонезом тет-а-тет!

— Я вовсе не целуюсь, — сконфузился Ахинеев, — кто это тебе, дураку, сказал? Это я тово… губами чмокнул в отношении… в рассуждении удовольствия… При виде рыбы…

— Рассказывай!

Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась за дверью. Ахинеев покраснел.

«Черт знает что! — подумал он. — Пойдет теперь, мерзавец, и насплетничает. На весь город осрамит, скотина…»

Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в сторону: где Ванькин? Ванькин стоял около фортепиано и, ухарски изогнувшись, шептал что-то смеявшейся свояченице инспектора.

«Это про меня! — подумал Ахинеев. — Про меня, чтоб его разорвало! А та и верит… и верит! Смеется! Боже ты мой! Нет, так нельзя оставить… нет… Нужно будет сделать, чтоб ему не поверили… Поговорю со всеми с ними, и он же у меня в дураках-сплетниках останется».

Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Падекуа.

— Сейчас я в кухне был и насчет ужина рас-

поряжался, — сказал он французу. — Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, осетр, вво! В два аршина! Хе-хе-хе… Да, кстати… чуть было не забыл… В кухне-то сейчас, с осетром с этим — сущий анекдот! Вхожу я сейчас в кухню и хочу кушанья оглядеть… Гляжу на осетра и от удовольствия… от пикантности губами чмок! А в это время вдруг дурак этот Ванькин входит и говорит… ха-ха-ха… и говорит: «А-а-а… вы целуетесь здесь?» С Марфой-то, с кухаркой! Выдумал же, глупый человек! У бабы ни рожи, ни кожи, на всех зверей похожа, а он… целоваться! Чудак!

— Кто чудак? — спросил подошедший Тарантулов.

— Да вон тот. Ванькин! Вхожу, это, я в кухню…

И он рассказал про Ванькина.

— Насмешил, чудак! А по-моему, приятней с барбосом целоваться, чем с Марфой, — прибавил Ахинеев, оглянулся и увидел сзади себя Мзду.

— Мы насчет Ванькина, — сказал он ему. — Чудачина! Входит, это, в кухню, увидел меня рядом с Марфой да и давай штуки разные выдумывать. «Чего, говорит, вы целуетесь?» Спьяна-то ему примерещилось. А я, говорю, скорей с индюком поцелуюсь, чем с Марфой. Да у меня и жена есть, говорю, дурак ты этакий. Насмешил!

— Кто вас насмешил? — спросил подошедший к Ахинееву отец-законоучитель.

— Ванькин. Стою я, знаете, в кухне и на осетра гляжу…

И так далее. Через какие-нибудь полчаса уже все гости знали про историю с осетром и Ванькиным.

«Пусть теперь им рассказывает! — думал Ахинеев, потирая руки. — Пусть! Он начнет рассказывать, а ему сейчас: «Полно тебе, дурак, чепуху городить! Нам все известно!»

И Ахинеев до того успокоился, что выпил от радости лишних четыре рюмки. Проводив после ужина молодых в спальню, он отправился к себе и уснул, как ни в чем не повинный ребенок, а на другой день он уже не помнил истории с осетром. Но, увы! Человек предполагает, а бог располагает. Злой язык сделал свое злое дело, и не помогла Ахинееву его хитрость! Ровно через неделю, а именно в среду после третьего урока, когда Ахинеев стоял среди учительской и толковал о порочных наклонностях ученика Высекина, к нему подошел директор и отозвал его в сторону.

— Вот что, Сергей Капитоныч, — сказал директор. — Вы извините… Не мое это дело, но все-таки я должен дать понять… Моя обязанность… Ви-

дите ли, ходят слухи, что вы живете с этой… с кухаркой… Не мое это дело, но… Живите с ней, целуйтесь… что хотите, только, пожалуйста, не так гласно! Прошу вас! Не забывайте, что вы педагог!

Ахинеев озяб и обомлел. Как ужаленный сразу целым роем и как ошпаренный кипятком, он пошел домой. Шел он домой, и ему казалось, что на него весь город глядит, как на вымазанного дегтем… Дома ожидала его новая беда.

— Ты что же это ничего не трескаешь? — спросила его за обедом жена. — О чем задумался? Об амурах думаешь? О Марфушке стосковался? Все мне, махамет, известно! Открыли глаза люди добрые! У-у-у… вварвар!

И шлеп его по щеке!.. Он встал из-за стола и, не чувствуя под собой земли, без шапки и пальто, побрел к Ванькину. Ванькина он застал дома.

— Подлец ты! — обратился Ахинеев к Ванькину. — За что ты меня перед всем светом в грязи выпачкал? За что ты на меня клевету пустил?

— Какую клевету? Что вы выдумываете!

— А кто насплетничал, будто я с Марфой целовался? Не ты, скажешь? Не ты, разбойник?

Ванькин заморгал и замигал всеми фибрами своего поношенного лица, поднял глаза к образу и проговорил:

— Накажи меня бог! Лопни мои глаза и чтоб я издох, ежели хоть одно слово про вас сказал! Чтоб мне ни дна, ни покрышки! Холеры мало!..

Искренность Ванькина не подлежала сомнению. Очевидно, не он насплетничал.

«Но кто же? Кто? — задумался Ахинеев, перебирая в своей памяти всех своих знакомых и стуча себя по груди. — Кто же?»

— Кто же? — спросим и мы читателя…

В Рождественскую ночь

Молодая женщина лет двадцати трех, с страшно бледным лицом, стояла на берегу моря и глядела в даль. От ее маленьких ножек, обутых в бархатные полусапожки, шла вниз к морю ветхая, узкая лесенка с одним очень подвижным перилом.

Женщина глядела в даль, где зиял простор, залитый глубоким, непроницаемым мраком. Не было видно ни звезд, ни моря, покрытого снегом, ни огней. Шел сильный дождь…

«Что там?» — думала женщина, вглядываясь в даль и кутаясь от ветра и дождя в измокшую шубейку и шаль.

Где-то там, в этой непроницаемой тьме, верст за пять — за десять или даже больше, должен быть в это время ее муж, помещик Литвинов, со своею рыболовной артелью. Если метель в последние два дня на море не засыпала снегом Литвинова и его рыбаков, то они спешат теперь к берегу. Море вздулось и, говорят, скоро начнет ломать лед. Лед не может вынести этого ветра. Успеют ли их рыбачьи сани с безобразными крыльями, тяжелые и неповоротливые, достигнуть берега

прежде, чем бледная женщина услышит рев проснувшегося моря?

Женщине страстно захотелось спуститься вниз. Перило задвигалось под ее рукой и, мокрое, липкое, выскользнуло из ее рук, как вьюн. Она присела на ступени и стала спускаться на четвереньках, крепко держась руками за холодные грязные ступени. Рванул ветер и распахнул ее шубу. Eta грудь пахнуло сыростью.

— Святой чудотворец Николай, этой лестнице и конца не будет! — шептала молодая женщина, перебирая ступени.

В лестнице было ровно девяносто ступеней. Она шла не изгибами, а вниз по прямой линии, под острым углом к отвесу. Ветер зло шатал ее из стороны в сторону, и она скрипела, как доска, готовая треснуть.

Через десять минут женщина была уже внизу, у самого моря. И здесь внизу была такая же тьма. Ветер здесь стал еще злее, чем наверху. Дождь лил, и, казалось, конца ему не было.

— Кто идет? — послышался мужской голос.

— Это я, Денис…

Денис, высокий плотный старик с большой седой бородой, стоял на берегу, с большой палкой, и тоже глядел в непроницаемую даль. Он стоял

и искал на своей одежде сухого места, чтобы зажечь о него спичку и закурить трубку.

— Это вы, барыня Наталья Сергеевна? — спросил он недоумевающим голосом. — В этакое ненастье?! И что вам тут делать? При вашей комплекцыи после родов простуда — первая гибель. Идите, матушка, домой!

Послышался плач старухи. Плакала мать рыбака Евсея, поехавшего с Литвиновым на ловлю. Денис вздохнул и махнул рукой.

— Жила ты, старуха, — сказал он в пространство, — семьдесят годков на эфтом свете, а словно малый ребенок, без понятия. Ведь на все, дура ты, воля божья! При твоей старческой слабости тебе на печи лежать, а не в сырости сидеть! Иди отсюда с богом!

— Да ведь Евсей мой, Евсей! Один он у меня, Денисушка!

— Божья воля! Ежели ему не суждено, скажем, в море помереть, так пущай море хоть сто раз ломает, а он живой останется. А коли, мать моя, суждено ему в нынешний раз смерть принять, так не нам судить. Не плачь, старуха! Не один Евсей в море! Там и барин Андрей Петрович. Там и Федька, и Кузьма, и Тарасенков Алешка.

— А они живы, Денисушка? — спросила Ната-

лья Сергеевна дрожащим голосом.

— А кто ж их знает, барыня! Ежели вчерась и третьего дня их не занесло метелью, то, стало быть, живы. Море ежели не взломает, то и вовсе живы будут. Ишь ведь, какой ветер. Словно нанялся, бог с ним!

— Кто-то идет по льду! — сказала вдруг молодая женщина неестественно хриплым голосом, словно с испугом, сделав шаг назад.

Денис прищурил глаза и прислушался.

— Нет, барыня, никто нейдет, — сказал он. — Это в лодке дурачок Петруша сидит и веслами двигает. Петруша! — крикнул Денис. — Сидишь?

— Сижу, дед! — послышался слабый, больной голос.

— Больно?

— Больно, дед! Силы моей нету!

На берегу, у самого льда стояла лодка. В лодке на самом дне ее сидел высокий парень с безобразно длинными руками и ногами. Это был дурачок Петруша. Стиснув зубы и дрожа всем телом, он глядел в темную даль и тоже старался разглядеть что-то. Чего-то и он ждал от моря. Длинные руки его держались за весла, а левая нога была подогнута под туловище.

— Болеет наш дурачок! — сказал Денис, подходя

к лодке. — Нога у него болит, у сердешного. И рассудок парень потерял от боли. Ты бы, Петруша, в тепло пошел! Здесь еще хуже простудишься…

Петруша молчал. Он дрожал и морщился от боли. Болело левое бедро, задняя сторона его, в том именно месте, где проходит нерв.

— Поди, Петруша! — сказал Денис мягким, отеческим голосом. — Приляг на печку, а бог даст, к утрене и уймется нога!

— Чую! — пробормотал Петруша, разжав челюсти.

— Что ты чуешь, дурачок?

— Лед взломало.

— Откуда ты чуешь?

— Шум такой слышу. Один шум от ветра, другой от воды. И ветер другой стал: помягче. Верст за десять отседа уж ломает.

Старик прислушался. Он долго слушал, но в общем гуле не понял ничего, кроме воя ветра и ровного шума от дождя.

Прошло полчаса в ожидании и молчании. Ветер делал свое дело. Он становился все злее и злее и, казалось, решил во что бы то ни стало взломать лед и отнять у старухи сына Евсея, а у бледной женщины мужа. Дождь между тем становился все слабей и слабей. Скоро он стал так редок, что

можно уже было различить в темноте человеческие фигуры, силуэт лодки и белизну снега. Сквозь вой ветра можно было расслышать звон. Это звонили наверху, в рыбачьей деревушке, на ветхой колокольне. Люди, застигнутые в море метелью, а потом дождем, должны были ехать на этот звон, — соломинка, за которую хватается утопающий.

— Дед, вода уж близко! Слышишь?

Дед прислушался. На этот раз он услышал гул, не похожий на вой ветра или шум деревьев. Дурачок был прав. Нельзя уже было сомневаться, что Литвинов со своими рыбаками не воротится на сушу праздновать Рождество.

— Кончено! — сказал Денис. — Ломает!

Старуха взвизгнула и присела к земле. Барыня, мокрая и дрожащая от холода, подошла к лодке и стала слушать. И она услышала зловещий гул.

— Может быть, это ветер! — сказала она. — Ты убежден, Денис, что это лед ломает?

— Божья воля-с!.. За грехи наши, сударыня…

Денис вздохнул и добавил нежным голосом:

— Пожалуйте наверх, сударыня! Вы и так вымокли!

И люди, стоявшие на берегу, услышали тихий смех, смех детский, счастливый… Смеялась блед-

ная женщина. Денис крякнул. Он всегда крякал, когда ему хотелось плакать.

— Тронулась в уме-то! — шепнул он темному силуэту мужика.

В воздухе стало светлей. Выглянула луна. Теперь все было видно: и море с наполовину истаявшими сугробами, и барыню, и Дениса, и дурачка Петрушу, морщившегося от невыносимой боли. В стороне стояли мужики и держали в руках для чего-то веревки.

Раздался первый явственный треск невдалеке от берега. Скоро раздался другой, третий, и воздух огласился ужасающим треском. Белая бесконечная громада заколыхалась и потемнела. Чудовище проснулось и начало свою бурную жизнь.

Вой ветра, шум деревьев, стоны Петруши и звон — все умолкло за ревом моря.

— Надо уходить наверх! — крикнул Денис. — Сейчас берег зальет и занесет кригами. Да и утреня сейчас начнется, ребята! Пойдите, матушка-барыня! Богу так угодно!

Денис подошел к Наталье Сергеевне и осторожно взял ее под локти…

— Пойдемте, матушка! — сказал он нежно, голосом, полным сострадания.

Барыня отстранила рукой Дениса и, бодро подняв голову, пошла к лестнице. Она уже не была так смертельно бледна; на щеках ее играл здоровый румянец, словно в ее организм налили свежей крови; глаза не глядели уже плачущими, и руки, придерживавшие на груди шаль, не дрожали, как прежде… Она теперь чувствовала, что сама, без посторонней помощи, сумеет пройти высокую лестницу…

Ступив на третью ступень, она остановилась как вкопанная. Перед ней стоял высокий, статный мужчина в больших сапогах и полушубке…

— Это я, Наташа… Не бойся! — сказал мужчина.

Наталья Сергеевна пошатнулась. В высокой мерлушковой шапке, черных усах и черных глазах она узнала своего мужа, помещика Литвинова. Муж поднял ее на руки и поцеловал в щеку, причем обдал ее парами хереса и коньяка. Он был слегка пьян.

— Радуйся, Наташа! — сказал он. — Я не пропал под снегом и не утонул. Во время метели я со своими ребятами добрел до Таганрога, откуда вот и приехал к тебе… и приехал…

Он бормотал, а она, опять бледная и дрожащая, глядела на него недоумевающими, испуганными

глазами. Она не верила…

— Как ты измокла, как дрожишь! — прошептал он, прижимая ее к груди…

И по его опьяневшему от счастья и вина лицу разлилась мягкая, детски добрая улыбка… Его ждали на этом холоде, в эту ночную пору! Это ли не любовь? И он засмеялся от счастья…

Пронзительный, душу раздирающий вопль ответил на этот тихий, счастливый смех. Ни рев моря, ни ветер — ничто не было в состоянии заглушить его. С лицом, искаженным отчаянием, молодая женщина не была в силах удержать этот вопль, и он вырвался наружу. В нем слышалось все: и замужество поневоле, и непреоборимая антипатия к мужу, и тоска одиночества, и наконец рухнувшая надежда на свободное вдовство. Вся ее жизнь с ее горем, слезами и болью вылилась в этом вопле, не заглушенном даже трещавшими льдинами. Муж понял этот вопль, да и нельзя было не понять его…

— Тебе горько, что меня не занесло снегом или не раздавило льдом! — пробормотал он.

Нижняя губа его задрожала, и по лицу разлилась горькая улыбка. Он сошел со ступеней и опустил жену наземь.

— Пусть будет по-твоему! — сказал он.

И, отвернувшись от жены, он пошел к лодке. Там дурачок Петруша, стиснув зубы, дрожа и прыгая на одной ноге, тащил лодку в воду.

— Куда ты? — спросил его Литвинов.

— Больно мне, ваше высокоблагородие! Я утонуть хочу… Покойникам не больно…

Литвинов прыгнул в лодку. Дурачок полез за ним.

— Прощай, Наташа! — крикнул помещик. — Пусть будет по-твоему! Получай то, чего ждала, стоя здесь на холоде! С богом!

Дурачок взмахнул веслами, и лодка, толкнувшись о большую льдину, поплыла навстречу высоким волнам.

— Греби, Петруша, греби! — говорил Литвинов. — Дальше, дальше!

Литвинов, держась за края лодки, качался и глядел назад. Исчезла его Наташа, исчезли огоньки от трубок, исчез наконец берег…

— Воротись! — услышал он женский надорванный голос.

И в этом «воротись», казалось ему, слышалось отчаяние.

— Воротись!

У Литвинова забилось сердце… Его звала жена; а тут еще на берегу в церкви зазвонили к рожде-

ственской заутрене.

— Воротись! — повторил с мольбой тот же голос.

Эхо повторило это слово. Протрещали это слово льдины, взвизгнул его ветер, да и рождественский звон говорил: «Воротись».

— Едем назад! — сказал Литвинов, дернув дурачка за рукав.

Но дурачок не слышал. Стиснув зубы от боли и глядя с надеждою в даль, он работал своими длинными руками… Ему никто не кричал «воротись», а боль в нерве, начавшаяся сызмальства, делалась все острее и жгучей… Литвинов схватил его за руки и потянул их назад. Но руки были тверды, как камень, и не легко было оторвать их от весел. Да и поздно было. Навстречу лодке неслась громадная льдина. Эта льдина должна была избавить навсегда Петрушу от боли…

До утра простояла бледная женщина на берегу моря. Когда ее, полузамерзшую и изнемогшую от нравственной муки, отнесли домой и уложили в постель, губы ее все еще продолжали шептать: «Воротись!»

В ночь под Рождество она полюбила своего мужа…

Орден

Учитель военной прогимназии, коллежский регистратор Лев Пустяков, обитал рядом с другом своим, поручиком Леденцовым. К последнему он и направил свои стопы в новогоднее утро.

— Видишь ли, в чем дело, Гриша, — сказал он поручику после обычного поздравления с Новым годом. — Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя надобность. Одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обедаю у купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина: он страшно любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в петлице. И к тому же у него две дочери… Настя, знаешь, и Зина… Говорю, как другу… Ты меня понимаешь, милый мой. Дай, сделай милость!

Все это проговорил Пустяков заикаясь, краснея и робко оглядываясь на дверь. Поручик выругался, но согласился.

В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкиным и, распахнувши чуточку шубу, глядел себе на грудь. На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав.

«Как-то и уважения к себе больше чувствуешь! — думал учитель, покрякивая. — Маленькая штучка, рублей пять, не больше стоит, а какой фурор производит!»

Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу и стал медленно расплачиваться с извозчиком. Извозчик, как показалось ему, увидев его погоны, пуговицы и Станислава, окаменел. Пустяков самодовольно кашлянул и вошел в дом. Снимая в передней шубу, он заглянул в залу. Там за длинным обеденным столом сидели уже человек пятнадцать и обедали. Слышался говор и звяканье посуды.

— Кто это там звонит? — послышался голос хозяина. — Ба, Лев Николаич! Милости просим. Немножко опоздали, но это не беда… Сейчас только сели.

Пустяков выставил вперед грудь, поднял голову и, потирая руки, вошел в залу. Но тут он увидел нечто ужасное. За столом, рядом с Зиной, сидел его товарищ по службе, учитель французского языка Трамблян. Показать французу орден — значило бы вызвать массу самых неприятных вопросов, значило бы осрамиться навеки, обесславиться… Первою мыслью Пустякова было сорвать орден или бежать назад; но орден был

крепко пришит, и отступление было уже невозможно. Быстро прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, неловко отдал общий поклон и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стул, как раз против сослуживца-француза.

«Выпивши, должно быть!» — подумал Спичкин, поглядев на его сконфуженное лицо.

Перед Пустяковым поставили тарелку супу. Он взял левой рукой ложку, но, вспомнив, что левой рукой не подобает есть в благоустроенном обществе, заявил, что он уже отобедал и есть не хочет.

— Я уже покушал-с… Мерси-с… — пробормотал он. — Был я с визитом у дяди, протоиерея Елеева, и он упросил меня… тово… пообедать.

Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой: суп издавал вкусный запах, а от паровой осетрины шел необыкновенно аппетитный дымок. Учитель попробовал освободить правую руку и прикрыть орден левой, но это оказалось неудобным.

«Заметят… И через всю грудь рука будет протянута, точно петь собираюсь. Господи, хоть бы скорее обед кончился! В трактире ужо пообедаю!»

После третьего блюда он робко, одним глазком

поглядел на француза. Трамблян, почему-то сильно сконфуженный, глядел на него и тоже ничего не ел. Поглядев друг на друга, оба еще более сконфузились и опустили глаза в пустые тарелки.

«Заметил, подлец! — подумал Пустяков. — По роже вижу, что заметил! А он, мерзавец, кляузник. Завтра же донесет директору!»

Съели хозяева и гости четвертое блюдо, съели, волею судеб, и пятое…

Поднялся какой-то высокий господин с широкими волосистыми ноздрями, горбатым носом и от природы прищуренными глазами. Он погладил себя по голове и провозгласил:

— Э-э-э… эп… эп… эпредлагаю эвыпить за процветание сидящих здесь дам!

Обедающие шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкое «ура» пронеслось по всем комнатам. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяков поднялся и взял свою рюмку в левую руку.

— Лев Николаич, потрудитесь передать этот бокал Настасье Тимофеевне! — обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал. — Заставьте ее выпить!

На этот раз Пустяков, к великому своему ужасу, должен был пустить в дело и правую руку.

Станислав с помятой красной ленточкой увидел наконец свет и засиял. Учитель побледнел, опустил голову и робко поглядел в сторону француза. Тот глядел на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались, и с лица медленно сползал конфуз…

— Юлий Августович! — обратился к французу хозяин. — Передайте бутылочку по принадлежности!

Трамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке и… о, счастье! Пустяков увидал на его груди орден. И то был не Станислав, а целая Анна! Значит, и француз сжульничал! Пустяков засмеялся от удовольствия, сел на стул и развалился… Теперь уже не было надобности скрывать Станислава! Оба грешны одним грехом, и некому, стало быть, доносить и бесславить…

— А-а-а… гм!.. — промычал Спичкин, увидев на груди учителя орден.

— Да-с! — сказал Пустяков. — Удивительное дело, Юлий Августович! Как было мало у нас перед праздниками представлений! Сколько у нас народу, а получили только вы да я! Уди-вительное дело!

Трамблян весело закивал головой и выставил вперед левый лацкан, на котором красовалась

Анна 3-й степени.

После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышням орден. На душе у него было легко, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод.

«Знай я такую штуку, — думал он, завистливо поглядывая на Трамбляна, беседовавшего со Спичкиным об орденах, — я бы Владимира нацепил. Эх, не догадался!»

Только эта одна мысль и помучивала его. В остальном же он был совершенно счастлив.

Комик

Комик Иван Акимович Воробьев-Соколов заложил руки в карманы своих широких панталон, повернулся к окну и устремил свои ленивые глаза на окно противоположного дома. Прошло минут пять в молчании…

— Ску-ка! — зевнула ingenue Марья Андреевна. — Что же вы молчите, Иван Акимыч? Коли пришли и помешали зубрить роль, то хоть разговаривайте! Несносный вы, право…

— Гм… Собираюсь сказать вам одну штуку, да как-то неловко… Скажешь вам спроста, без деликатесов… по-мужицки, а вы сейчас и осудите, на смех поднимете… Нет, не скажу лучше! Удержу язык мой от зла…

«О чем же это он собирается говорить? — подумала ingenue. — Возбужден, как-то странно смотрит, переминается с ноги на ногу… Уж не объясниться ли в любви хочет? Гм… Беда с этими сорванцами! Вчера первая скрипка объяснялась, сегодня всю репетицию резонер провздыхал… Перебесились все от скуки!»

Комик отошел от окна и, подойдя к комоду, стал рассматривать ножницы и баночку от губной

помады.

— Тэк-ссс… Хочется сказать, а боюсь… неловко… Вам скажешь спроста, по-российски, а вы сейчас: невежа! мужик! то да се… Знаем вас… Лучше уж молчать…

«А что ему сказать, если он в самом деле начнет объясняться в любви? — продолжала думать ingenue. — Он добрый, славный такой, талантливый, но… мне не нравится. Некрасив уж больно… Сгорбившись ходит, и на лице какие-то волдыри… Голос хриплый… И к тому же эти манеры… Нет, никогда!»

Комик молча прошелся по комнате, тяжело опустился в кресло и с шумом потянул к себе со стола газету.

Глаза его забегали по газете, словно ища чего-то, потом остановились на одной букве и задремали.

— Господи… хоть бы мухи были! — проворчал он. — Все-таки веселей…

«Впрочем, у него глаза недурны, — продолжала думать ingenue. — Но что у него лучше всего, так это характер, а у мужчины не так важна красота, как душа, ум… Замуж еще, пожалуй, можно пойти за него, но так жить с ним… ни за что! Как он, однако, сейчас на меня взглянул… Ожег! И чего

он робеет, не понимаю!»

Комик тяжело вздохнул и крякнул. Видно было, что ему дорого стоило его молчание. Он стал красен, как рак, и покривил рот в сторону… На лице его выражалось страдание…

«Пожалуй, с ним и так жить можно, — не переставала думать ingenue. — Содержание он получает хорошее… Во всяком случае, с ним лучше жить, чем с каким-нибудь оборвышем капитаном. Право, возьму и скажу ему, что я согласна! Зачем обижать его, бедного, отказом? Ему и так горько живется!»

— Нет! Не могу! — закряхтел комик, поднимаясь и бросая газету. — Ведь этакая у меня разанафемская натура! Не могу себя побороть! Бейте, браните, а уж я скажу, Марья Андреевна!

— Да говорите, говорите. Будет вам юродствовать!

— Матушка! Голубушка! Простите великодушно… ручку целую коленопреклоненно…

На глазах комика выступили слезы с горошину величиной.

— Да говорите… противный! Что такое?

— Нет ли у вас, голубушка… рюмочки водочки? Душа горит! Такие во рту после вчерашнего перепоя окиси, закиси и перекиси, что никакой

химик не разберет! Верите ли? Душу воротит! Жить не могу!

Ingenue покраснела, нахмурилась, но потом спохватилась и выдала комику рюмку водки… Тот выпил, ожил и принялся рассказывать анекдоты.

Репетитор

Гимназист VII класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, двенадцатилетний мальчуган в сером костюмчике, пухлый и краснощекий, с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкап за тетрадками. Занятие начинается.

Согласно условию, заключенному с отцом Удодовым, Зиберов должен заниматься с Петей по два часа ежедневно, за что и получает шесть рублей в месяц. Готовит он его во II класс гимназии. (В прошлом году он готовил его в I класс, но Петя порезался.)

— Ну-с… — начинает Зиберов, закуривая папиросу. — Вам задано четвертое склонение. Склоняйте fructus!

Петя начинает склонять.

— Опять вы не выучили! — говорит Зиберов, вставая. — В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы ни в зуб толконуть! Когда же, наконец, вы начнете учить уроки?

— Опять не выучил? — слышится за дверями кашляющий голос, и в комнату входит Петин папаша, отставной губернский секретарь Удо-

дов. — Опять? Почему же ты не выучил? Ах ты, свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеич? Ведь и вчерась порол!

И, тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривает в истрепанного Кюнера. Зиберов начинает экзаменовать Петю при отце. Пусть глупый отец узнает, как глуп его сын! Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького краснощекого тупицу, готов побить его. Ему даже досадно делается, когда мальчуган отвечает впопад — так опротивел ему этот Петя!

— Вы даже второго склонения не знаете! Не знаете вы и первого! Вот вы как учитесь! Ну, скажите мне, как будет звательный падеж от mens filius?[37]

— От mens filius? Meus filius будет… это будет…

Петя долго глядит в потолок, долго шевелит губами, но не дает ответа.

— А как будет дательный множественного от dea?[38]

— Deabus… filiabus! — отчеканивает Петя.

Старик Удодов одобрительно кивает головой.

---

[37] Примечания: 37
Мой сын *(лат.)*.

[38] Примечания: 38
Богиня *(лат.)*.

Гимназист, не ожидавший удачного ответа, чувствует досаду.

— А еще какое существительное имеет в дательном abus? — спрашивает он.

Оказывается, что и «anima — душа» имеет в дательном abus, чего нет в Кюнере.

— Звучный язык латинский! — замечает Удодов. — Алон… трон… бонус… антропос… Премудрость! И все ведь это нужно! — говорит он со вздохом.

«Мешает, скотина, заниматься… — думает Зиберов. — Сидит над душой тут и надзирает. Терпеть не могу контроля!» — Ну-с, — обращается он к Пете. — К следующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь по арифметике… Берите доску. Какая следующая задача?

Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует:

— «Купец купил 138 арш. черного и синего сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 руб. за аршин, а черное 3 руб.?» Повторите задачу.

Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138.

— Для чего же это вы делите? Постойте! Впрочем, так… продолжайте. Остаток получается?

Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю!

Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.

«Странно… — думает он, ероша волосы и краснея. — Как же она решается? Гм!.. Это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая»…

Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63.

«Гм!., странно… Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так, что ли? Нет, не то».

— Решайте же! — говорит он Пете.

— Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая! — говорит Удодов Пете. — Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеич.

Егор Алексеич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.

— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая, — говорит он. — Ее с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я, вот, разделил… понимаете? Теперь, вот, надо вычесть… понимаете? Или, вот что… Решите мне эту задачу сами к завтраму… Подумайте…

Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик VII класса еще пуще конфузится, встает и

начинает ходить из угла в угол.

— И без алгебры решить можно, — говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая. — Вот, извольте видеть…

Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.

— В от-с… по-нашему, по-неученому.

Учителю становится нестерпимо жутко. С замиранием сердца поглядывает он на часы и видит, что до конца урока остается еще час с четвертью — целая вечность!

— Теперь диктант.

После диктанта — география, за географией — закон божий, потом русский язык, — много на этом свете наук! Но вот, наконец, кончается двухчасовой урок. Зиберов берется за шапку, милостиво подает Пете руку и прощается с Удодовым.

— Не можете ли вы сегодня дать мне немного денег? — просит он робко. — Завтра мне нужно взносить плату за учение. Вы должны мне за шесть месяцев.

— Я? Ах, да, да… — бормочет Удодов, не глядя на Зиберова. — С удовольствием! Только у меня сейчас нету, а я вам через недельку… или через две…

Зиберов соглашается и, надев свои тяжелые, грязные калоши, идет на другой урок.

Певчие

С легкой руки мирового, получившего письмо из Питера, разнеслись слухи, что скоро в Ефремово прибудет барин, граф Владимир Иваныч. Когда он прибудет, — неизвестно.

— Яко тать в нощи, — говорит отец Кузьма, маленький, седенький попик в лиловой ряске. — А ежели он приедет, то и прохода здесь не будет от дворянства и прочего высшего сословия. Все соседи съедутся. Уж ты тово… постарайся, Алексей Алексеич… Сердечно прошу…

— Мне-то что! — говорит Алексей Алексеич, хмурясь. — Я свое дело сделаю. Аишь бы только мой враг ектению в тон читал. А то ведь он назло…

— Ну, ну… я умолю дьякона… умолю…

Алексей Алексеич состоит псаломщиком при ефремовской Трехсвятительской церкви. В то же время он обучает школьных мальчиков церковному и светскому пению, за что получает от графской конторы шестьдесят рублей в год. Школьные же мальчики за свое обучение обязаны петь в церкви. Алексей Алексеич — высокий, плотный мужчина с солидною походкой и бри-

тым жирным лицом, похожим на коровье вымя. Своею статностью и двухэтажным подбородком он более похож на человека, занимающего не последнюю ступень в высшей светской иерархии, чем на дьячка. Странно было глядеть, как он, статный и солидный, бухал владыке земные поклоны и как однажды, после одной слишком громкой распри с дьяконом Евлампием Авдиесовым, стоял два часа на коленях, по приказу отца благочинного. Величие более прилично его фигуре, чем унижение.

Ввиду слухов о приезде графа, он делает спевки каждый день утром и вечером. Спевки производятся в школе. Школьным занятиям они мало мешают. Во время пения учитель Сергей Макарыч задает ученикам чистописание и сам присоединяется к тенорам, как любитель.

Вот как производятся спевки. В классную комнату, хлопая дверью, входит сморкающийся Алексей Алексеич. Из-за ученических столов с шумом выползают дисканты и альты. Со двора, стуча ногами, как лошади, входят давно уже ожидающие тенора и басы. Все становятся на свои места. Алексей Алексеич вытягивается, делает знак, чтобы молчали, и издает камертоном звук.

— То-то-ти-то-том… До-ми-с оль-до!

— Аааа-минь!

— Адажьо… адажьо… Еще раз…

После «аминь» следует «Господи помилуй» великой ектении. Все это давно уже выучено, тысячу раз пето, пережевано и поется только так, для проформы. Поется лениво, бессознательно. Алексей Алексеич покойно машет рукой и подпевает то тенором, то басом. Все тихо, ничего интересного… Но перед «Херувимской» весь хор вдруг начинает сморкаться, кашлять и усиленно перелистывать ноты. Регент отворачивается от хора и с таинственным выражением лица начинает настраивать скрипку. Минуты две длятся приготовления.

— Становитесь. Глядите в ноты получше… Басы, не напирайте… помягче…

Выбирается «Херувимская» Бортнянского, № 7. По данному знаку наступает тишина. Глаза устремляются в ноты, и дисканты раскрывают рты. Алексей Алексеич тихо опускает руку.

— Пиано… пиано… Ведь там «пиано» написано… Легче, легче!

— …ви-ти-мы…

Когда нужно петь piano, на лице Алексея Алексеича разлита доброта, ласковость, словно он хорошую закуску во сне видит.

— Форте… форте! Напирайте!

И когда нужно петь forte, жирное лицо регента выражает сильный испуг и даже ужас.

«Херувимская» поется хорошо, так хорошо, что школьники оставляют свое чистописание и начинают следить за движениями Алексея Алексеича. Под окнами останавливается народ. Входит в класс сторож Василий, в фартуке, со столовым ножом в руке, и заслушивается. Как из земли вырастает отец Кузьма с озабоченным лицом… После «отложим попечение» Алексей Алексеич вытирает со лба пот и в волнении подходит к отцу Кузьме.

— Недоумеваю, отец Кузьма! — говорит он, пожимая плечами. — Отчего это в русском народе понимания нет? Недоумеваю, накажи меня бог! Такой необразованный народ, что никак не разберешь, что у него там в горле: глотка или другая какая внутренность? Подавился ты, что ли? — обращается он к басу Геннадию Семичеву, брату кабатчика.

— А что?

— На что у тебя голос похож? Трещит, словно кастрюля. Опять, небось, вчерась трахнул за галстук? Так и есть! Изо рта, как из кабака… Эээх! Мужик, братец, ты! Невежа ты! Какой же ты пев-

чий, ежели ты с мужиками в кабаке компанию водишь? Эх, ты осел, братец!

— Грех, брат, грех… — бормочет отец Кузьма. — Бог все видит… насквозь…

— Оттого ты и пения нисколько не понимаешь, что у тебя в мыслях водка, а не божественное, дурак ты этакой.

— Не раздражайся, не раздражайся… — говорит отец Кузьма. — Не сердись… Я его умолю.

Отец Кузьма подходит к Геннадию Семичеву и начинает его умолять:

— Зачем же ты? Ты, тово, пойми у себя в уме. Человек, который поет, должен себя воздерживать, потому что глотка у него тово… нежная.

Геннадий чешет себе шею и косится на окно, точно не к нему речь.

После «Херувимской» поют «Верую», потом «Достойно и праведно», поют чувствительно, гладенько — и так до «Отче наш».

— А по-моему, отец Кузьма, — говорит регент, — простое «Отче наш» лучше нотного. Его бы и спеть при графе.

— Нет, нет… Пой нотное. Потому граф в столицах, к обедне ходючи, окроме нотного ничего… Небось, там в капеллах… Там, брат, еще и не такие ноты!..

После «Отче наш» опять кашель, сморканье и перелистыванье нот. Предстоит исполнить самое трудное: концерт. Алексей Алексеич изучает две вещи: «Кто бог велий» и «Всемирную славу». Что лучше выучат, то и будут петь при графе. Во время концерта регент входит в азарт. Выражение доброты то и дело сменяется испугом. Он машет руками, шевелит пальцами, дергает плечами…

— Форте! — бормочет он. — Анданте! Разжимайте… разжимайте! Пой, идол! Тенора, не доносите! То-то-ти-то-том… Соль… си… соль, дурья твоя голова! Велий! Басы, ве… ве… лий…

Его смычок гуляет по головам и плечам фальшивящих дискантов и альтов. Левая рука то и дело хватает за уши маленьких певцов. Раз даже, увлекшись, он согнутым большим пальцем бьет под подбородок баса Геннадия. Но певчие не плачут и не сердятся на побои: они сознают всю важность исполняемой задачи.

После концерта проходит минута в молчании. Алексей Алексеич, вспотевший, красный, изнеможенный, садится на подоконник и окидывает присутствующих мутным, отяжелевшим, но победным взглядом. В толпе слушателей он, к великому своему неудовольствию, усматривает диакона Авдиесова. Диакон, высокий, плотный

мужчина, с красным рябым лицом и с соломой в волосах, стоит, облокотившись о печь, и презрительно ухмыляется.

— Ладно, пой! Выводи ноты! — бормочет он густым басом. — Очень нужно грахву твое пение! Ему хоть по нотам пой, хоть без нот… Потому — атеист…

Отец Кузьма испуганно озирается и шевелит пальцами.

— Ну, ну… — шепчет он. — Молчи, диакон. Молю…

После концерта поют «Да исполнятся уста наша», и спевка кончается. Певчие расходятся, чтобы сойтись вечером для новой спевки. И так каждый день.

Проходит месяц, другой…

Уже и управляющий получил уведомление о скором приезде графа. Но вот наконец с господских окон снимаются запыленные жалюзи и Ефремово слышит звуки разбитого, расстроенного рояля. Отец Кузьма чахнет и сам не знает, отчего он чахнет: от восторга ли, от испуга ли… Диакон ходит и ухмыляется.

В ближайший субботний вечер отец Кузьма входит в квартиру регента. Лицо его бледно, плечи осунулись, блеск лиловой рясы померк.

— Был сейчас у его сиятельства, — говорит он, заикаясь, регенту. — Образованный господин, с деликатными понятиями… Но, тово… обидно, брат… В каком часу, говорю, ваше сиятельство, прикажете завтра к литургии ударить? А они мне: «Когда знаете… Только нельзя ли как-нибудь поскорее, покороче… без певчих». Без певчих! Тово, понимаешь… без певчих…

Алексей Алексеич багровеет. Легче ему еще раз простоять два часа на коленях, чем этакие слова слышать! Всю ночь не спит он. Не так обидно ему, что пропали его труды, как то, что Авдиесов не даст ему теперь прохода своими насмешками. Авдиесов рад его горю. На другой день всю обедню он презрительно косится на клирос, где один, как перст, басит Алексей Алексеич. Проходя с кадилом мимо клироса, он бормочет:

— Выводи ноты, выводи! Старайся! Грахв красненькую на хор даст!

После обедни регент, уничтоженный и больной от обиды, идет домой. У ворот догоняет его красный Авдиесов.

— Постой, Алеша, — говорит диакон. — Постой, дура, не сердись! Не ты один, и я, брат, в накладе! Подходит сейчас после обедни к грахву отец Кузьма и спрашивает: «А какого вы понятия о

голосе диакона, ваше сиятельство? Не правда ли, совершеннейшая октава?» А грахв-то, знаешь, что выразил? Конплимент! «Кричать, говорит, всякий может. Не так, говорит, важен в человеке голос, как ум». Питерский дока! Атеист и есть атеист! Пойдем, брат сирота, с обиды тарарахнем точию по единой!

И враги, взявшись под руки, идут в ворота…

Трифон

«И не жаль мне прошлого ничуть».

Лермонтов.

У Григория Семеновича Щеглова заломило в пояснице. Он проснулся и заворочался в постели.

— Настюша! — зашептал он, — возьми-ка, мать, спиртику и натри-ка мне спинозу!

Ответа не последовало. Щеглов зашарил около себя руками и не нашел никого. Постель, если не считать самого Щеглова, была пуста.

«Где же она?» — подумал он. — Настя! Настенька!

И на этот раз не последовало ответа. Послышалось только стучанье сторожа в колотушку да треск тухнувшей лампадки. Щеглов, предчувствуя недоброе, вытер на лбу холодный пот и вскочил с постели. Было три часа ночи — время, в которое Настя спала обыкновенно крепким сном ребенка. Не спать могли заставить ее только особенные причины. Щеглов быстро оделся и вышел на двор.

Луна, полная и солидная, как генеральская экономка, плыла по небу и заливала своим хорошим

светом небо, двор с бесконечными постройками, сад, темневший по обе стороны дома. Свет мягкий, ровный, ласкающий… На земле и на деревьях не было ни одного зеленого листка, сад глядел черно и сурово, но во всем чувствовался конец марта, начало весны. Щеглов окинул глазами двор. На большом пространстве не было видно никого, кроме теленка, который, запутавши одну ногу в веревку, неистово прыгал. Щеглов пошел в сад. Там было тихо, светло. От темных кустов веяло сырьем, как из погреба.

«А вдруг она в деревню ушла! — думал Григорий Семеныч, дрожа от беспокойства и холода. — Ежели ее в беседке нет, то придется в деревню посылать».

Щеглов знал за Настей две слабости: она часто с тоски уходила от него к родным в деревню и имела также привычку уходить ночью в беседку, где сидела в темноте и пела грустные песни.

«Я старый, дряхлый… — думал Григорий Семеныч. — Ей не сахар со мной…»

Подойдя к беседке, он услышал женский голос. Но этот голос не пел, а говорил… Говорил он что-то быстро, не останавливаясь, без запинки, словно жаловался…

— Брось ты этого старого черта! — перебил

женскую речь грубый мужской голос. — Сделай милость! В шелку только ходишь да с тарелки хрустальной ешь, а оно, того, дура, не понимаешь, грех ведь выходит… Эххх… Шалишь, Настюха! Бить бы тебя, да некому!

— Беспонятный ты, Триша! Коли б одна голова, ушла бы я от него за сто верст, а то ведь… тятька, вон, избу строить хочет… да брат на службе. Табаку послать или что…

Послышались всхлипыванья, затем поцелуи. По спине Щеглова от затылка до пяток пробежал мороз. В мужчине узнал он своего объездчика Трифона.

«Которую я из грязи вытащил, к себе приблизил и, можно сказать, облагодетельствовал, — ужаснулся он, — заместо как бы жены, и вдруг — с Тришкой, с хамом! А? В шелку водил, с собой за один стол, как барыню, а она… с Тришкой!»

У старика от гнева и с горя подогнулись колени. Он послушал еще немного и, больной, ошеломленный, поплелся к себе в дом.

«А мне наплевать! — думал он, ложась в постель. — Она воображает, может быть, что я без нее жить не могу! Ну, нет… Завтра же ее выгоню. Пусть себе там со своими мужиками мякину жует. А Тришку-подлеца… чтоб и духу не было!

Утром же расчет…»

Он укрылся одеялом и стал думать. Думы были мучительные, скверные, а когда воротилась из сада Настя и, как ни в чем не бывало, улеглась спать, его от мыслей бросило в лихорадку.

«Завтра же его прогоню… Впрочем, нет… не прогоню… Его прогонишь, а он на другое место — и ничего себе, словно и не виноват… Его бы наказать, чтоб всю жизнь помнил… Выпороть бы, как прежде… Разложить бы в конюшне и этак… в десять рук, семо и овамо… Ты его порешь, а он просит и молит, а ты стоишь около и только руки потираешь: «Так его! шибче! шибче!» Ее около поставить и смотреть, как у ней на лице: — Ну, что, матушка? Ааа… то-то!»

Утром Настя, по обыкновению, разливала чай. Он сидел и наблюдал за ней. Лицо ее было покойно, глаза глядели ясно, бесхитростно.

«Я ей ничего не скажу, — думал он. — Пусть сама поймет… Я ее нравственно… нравственно страдать заставлю! Не буду с ней разговаривать, сердиться на нее буду, а она и поймет… Ну, а что, ежели она послушает подлеца Тришку и в самом деле уйдет?»

Была минута, когда последняя мысль до того испугала его, что он побледнел и сказал:

— Настенька, что ж ты, душенька, кренделечка не кушаешь? Для тебя ведь куплено!

В девятом часу приходил с докладом объездчик Трифон. Щеглову показалось, что мужик глядит на него с ненавистью, презрением, с каким-то победным нахальством.

«Мало прогнать… — подумал он, измеряя его взглядом. — Выпороть бы». — Ничего я тут не пойму! — начал он придираться, пробегая квитанции, поданные Трифоном. — Это какая цифра? 75 или 15? Дубина ты этакая! Закорючку не можешь даже, как следует, над семью поставить! Семь похоже на кочергу, а один — на кнутик с коротким хвостиком. Этого не знаешь? Ду-би-на… За это самое вашего брата прежде на конюшне драли!

— Мало ли чего прежде не было… — проворчал Трифон, глядя в потолок.

Щеглов искоса поглядел на Трифона. Мужик, показалось ему, ехидно улыбался и глядел еще с большим нахальством…

— Пошел вон!! — взвизгнул Щеглов, не вынося трифоновской физиономии.

До вечера Щеглов ходил по двору и придумывал план наказания и мести. Многие планы перебывали в его голове, но что он ни придумывал, все

подходило под ту или другую статью уложения о наказаниях. После долгого, мучительного размышления оказалось, что он ничего не смел…

В третьем часу ночи, стоя возле беседки, он услышал разговор хуже вчерашнего. Трифон со смехом передавал Насте беседу свою с барином:

— Взять бы его, знаешь, за ворот, потрясти маленько этак — и душа вон.

Щеглов не вынес.

— Кого это, прохвост? — взвизгнул он. — Чья душа вон?

В беседке вдруг умолкли. Трифон конфузливо крякнул. Через минуту он нерешительно вышел из беседки и уперся плечом в косяк.

— Кто здесь кричит? Кто таков? А, это вы!.. — сказал он, увидев барина. — Вот кто!

Минута прошла в молчании…

— За это прежде нашего брата на конюшне пороли, а теперь не знаю, что будет… — сказал Трифон, усмехаясь и глядя на луну. — Чай, расчет дадут… Боязно!

Засмеялся и пошел по аллее к дому. Щеглов засеменил рядом с ним.

— Трифон! — забормотал он, хватая его за рукав, когда оба они подошли к садовой калитке. — Триша! Я тебе одно только слово скажу… Постой! Я

ведь ничего… Слово одно только… Послушай! Прошу и умоляю тебя, подлеца, на старости лет! Голубчик!

— Ну?

— Видишь ли… Я тебе четвертную дам и даже, ежели желаешь, жалованья прибавлю… Тридцать рублей дам, а ты… дай я тебя выпорю! Разик! Разик выпорю и больше ничего!

Трифон подумал немного, взглянул на луну и махнул рукой.

— Не согласен! — сказал он и поплелся в людскую…

Дачница

Леля NN, хорошенькая двадцатилетняя блондинка, стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Все далекое поле, клочковатые облака на небе, темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в десяти шагах от палисадника, залиты светом багровой, поднимающейся из-за кургана луны. Ветерок от нечего делать весело рябит речку и шуршит травкой… Кругом тишина… Леля думает… Хорошенькое лицо ее так грустно, в глазах темнеет столько тоски, что, право, неделикатно и жестоко не поделиться с ней ее горем.

Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама m-lle Morceau, забитое, больное и ужасно недалекое созданье с вечно испуганным лицом и большим, вспотевшим носом, водила выпускных в фотографию сниматься.

— Ах, умоляю вас, — просила она конторщицу в фотографии, — не показывайте им карточек мужчин!

Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого «демона» она умела читать райское блаженство, неминуемо ведущее к неведомой, страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Morceau, но, пропитанные насквозь «идеалами», они не могли не разделять ее священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братцев-вольноопределяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники… Гляди на эту кишащую толпу и выбирай!

В частности, Леля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнется с тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых вперегонку трактуют все романы и даже все учебники по истории — древней, средней и новой…

В этом мае Леля уже замужем. Муж ее красив, богат, молод, образован, всеми уважаем, но, несмотря на все это, он (совестно сознаться перед

поэтическим маем!) груб, неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев.

Просыпается он ровно в десять часов утра и, надевши халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьет какие-то воды, тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во все тщательно вычищенное и выглаженное, целует женину руку и в собственном экипаже едет на службу в «Страховое общество». Что он делает в этом «обществе», Леля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты или, быть может, даже вращает судьбами «общества» — неизвестно. В четвертом часу приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает. Говорит все больше о высоких материях. Решает женский и финансовый вопросы, бранит за что-то Англию, хвалит Бисмарка. Достается от него газетам, медицине, актерам, студентам… «Молодежь ужжасно измельчала!» За один обед успеет сотню вопросов решить. Но, что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжелого человека и поддакивают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и

может служить авторитетом.

— Нет у нас теперь хороших писателей! — вздыхает он за каждым обедом, и это убеждение вынес он не из книг. Он никогда ничего не читает — ни книг, ни газет. Тургенева смешивает с Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже, а прочитав однажды, по совету Лели, Щедрина, нашел, что Щедрин «туманно» пишет.

— Пушкин, ma chere[39], лучше… У Пушкина есть очень смешные вещи! Я читал… помню…

После обеда он идет на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго, сосредоточенно, хмурясь и морщась… О чем он думает, неведомо Леле. Она знает только, что после двухчасовой думы он нисколько не умнеет и несет все ту же чушь. Вечером игра в карты. Играет он аккуратно. Над каждым ходом долго думает и, в случае ошибки партнера, ровным, отчеканивающим голосом излагает правила карточной игры. После карт, по уходе гостей, он пьет те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он покоен, как лежачее бревно. Изредка только бредит, но и бред его нелеп.

---

[39] Примечания: 39
Моя дорогая *(франц).*

— Извозчик! Извозчик! — услышала от него Леля на вторую ночь после свадьбы.

Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, животе…

Больше ничего не может сказать о нем Леля. Она стоит теперь у палисадника, думает о нем, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и находит, что он лучше всех; но ей не легче от этого. Священный ужас m-lle Morceau обещал ей больше.

Русский уголь
(Правдивая история)

В одно прекрасное апрельское утро русский le comte[40] Тулупов ехал на немецком пароходе вниз по Рейну и от нечего делать беседовал с «колбасником». Его собеседник, молодой сухопарый немец, весь состоящий из надменно-ученой физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков, отрекомендовался горным мастером Артуром Имбс и упорно не сворачивал с начатого и уже надоевшего графу разговора о русском каменном угле.

— Судьба нашего угля весьма плачевна, — сказал, между прочим, граф, испустив вздох ученого знатока. — Вы не можете себе представить: Петербург и Москва живут английским углем, Россия жжет в печах свои роскошные, девственные леса, а между тем недра нашего юга содержат неисчерпаемые богатства!

Имбс печально покачал головой, досадливо крякнул и потребовал карту России.

Когда лакей принес карту, граф провел ногтем

---

[40] Примечания: 40
Граф *(франц).*

мизинца по берегу Азовского моря, поцарапал тем же ногтем возле Харькова и проговорил:

— Вот здесь… вообще… Понимаете? Весь юг!!.

Имбсу хотелось точнее узнать те именно места, где залегает наш уголь, но граф не сказал ничего определенного; он беспорядочно тыкал своим ногтем по всей России и раз даже, желая показать богатую углем Донскую область, ткнул на Ставропольскую губернию. Русский граф, по-видимому, плохо знал географию своей родины. Он ужасно удивился и даже изобразил на своем лице недоверие, когда Имбс сказал ему, что в России есть Карпатские горы.

— У меня у самого, знаете ли, есть в Донской области имение, — сказал граф. — Восемь тысяч десятин земли. Прекрасное имение! Угля в нем, представьте себе… eine zahllose… eine oceanische Menge![41]Миллионы в земле зарыты… пропадают даром… Давно уже мечтаю заняться этим вопросом… Подыскиваю случая… подходящего человека. У нас в России нет ведь специалистов! Полное безлюдье!

Заговорили вообще о специалистах. Говорили много и долго… Кончилось тем, что граф вскочил

---

[41] Примечания: 41
Бесчисленная… океанская масса! *(нем.)*

вдруг, как ужаленный, хлопнул себя по лбу и сказал:

— Знаете что? Я очень рад, что с вами встретился. Не хотите ли ехать ко мне в имение? А? Что вам здесь делать, в Германии? Здесь ученых немцев и без вас много, а у меня вы дело сделаете! И какое дело!.. Хотите? Соглашайтесь скорей!

Имбс нахмурился, походил по каюте из угла в угол и, рассудив и взвесив, дал согласие.

Граф пожал ему руку и крикнул шампанского…

— Ну, теперь я покоен, — сказал он. — У меня будет уголь…

Через неделю Имбс, нагруженный книгами, чертежами и надеждами, ехал уже в Россию, нецеломудренно мечтая о русских рублях. В Москве граф дал ему двести рублей, адрес имения и приказал ехать на юг.

— Езжайте себе и начинайте там… Я, может быть, осенью приеду. Пишите, как и что…

Прибыв в имение Тулупова, Имбс поселился во флигеле и на другой же день после приезда занялся «снабжением России углем». Через три недели он послал графу первое письмо. «Я уже ознакомился с углем вашей земли, — писал он после длинного робкого вступления, — и нашел,

что, благодаря своему низкому качеству, он не стоит того, чтобы его выкапывали из земли. Если бы он был втрое лучше, то и тогда бы не следовало трогать его. Помимо качества угля, меня поражает также полное отсутствие спроса. У вашего соседа, углепромышленника Алпатова, заготовлено пятнадцать миллионов пудов, а между тем нет никого, кто бы дал ему хотя бы по копейке за пуд. Донецкая Каменноугольная дорога, идущая через ваше имение, построена специально для перевозки каменного угля, но, как оказывается, ей за все время своего существования не удалось провезти еще ни одного пуда. Нужно быть нечестным или слишком легкомысленным, чтобы подать вам хотя бы каплю надежды на успех. Осмелюсь также добавить, что ваше хозяйство до того расстроено и распущено, что добывание угля и вообще какие бы то ни было нововведения являются роскошью». В конце концов немец просил графа порекомендовать его другим русским «Fiirsten oder Grafen»[42] или же выслать ему «ein wenig»[43]на обратный путь в Германию. В ожидании милостивого ответа Имбс занялся уженьем

[42] Примечания: 42
«Князьям или графам» *(нем.).*

[43] Примечания: 43
«Немного» *(нем.).*

карасей и ловлей перепелов на дудочку.

Ответ на это письмо получил не Имбс, а управляющий, поляк Дзержинский. «А немцу скажите, что он ни черта не понимает, — писал граф в постскриптуме. — Я показывал его письмо одному горному инженеру (тайному советнику Млееву), и оно возбудило смех. Впрочем, я его не держу. Пусть себе уезжает. Деньги же на дорогу у него есть. Я дал ему 200 руб. Если он потратил на дорогу 50, то и тогда останется у него 150 руб.». Узнав о таком ответе, Имбс ужасно испугался. Он сел и покрыл своим немецким, расплывающимся почерком два листа почтовой бумаги. Он умолял графа простить его великодушно за то, что он скрыл от него в первом письме многое «очень важное». Со слезами на глазах и угрызаемый совестью он писал, что оставшиеся после дороги из Москвы 172 рубля он имел неосторожность проиграть в карты Дзержинскому. «Впоследствии я выиграл с него 250 р., но он не отдает мне их, хотя и получил с меня весь мой проигрыш, а потому осмеливаюсь прибегать к вашему всемогуществу, заставьте уважаемого господина Дзержинского уплатить мне хоть половину, чтобы я мог оставить Россию и не есть даром вашего хлеба». Много воды утекло в море и много карасей и перепелов

поймал Имбс, пока получил ответ на это второе письмо. Однажды, в конце июля, в его комнату вошел поляк и, севши на кровать, принялся припоминать вслух все ругательства, имеющиеся на немецком языке.

— Удивительный осел этот граф! — сказал он, хлопая фуражкой о край стола. — Пишет мне, что уезжает на днях в Италию, а не дает никаких распоряжений относительно вас. Куда мне вас девать? Водку вами закусывать, что ли? И на чертей ему дался этот уголь! Уголь ему нужен так же, как мне ваша физиономия, черт его возьми! И вы тоже хороши, нечего сказать! Глупый, объевшийся баловень наболтал вам от нечего делать, а вы ему поверили!

— Граф уезжает в Италию? — удивился Имбс, бледнея. — А денег мне прислал? Нет?! Как же я уеду отсюда? Ведь у меня ни копейки!.. Послушайте меня, уважаемый господин Дзержинский… Если вы не можете отдать мне вашего проигрыша, то не купите ли вы моих книг и чертежей? В России вы сбудете их за очень большую сумму!

— В России не нужны ваши книги и чертежи.

Имбс сел и задумался. Пока поляк наполнял воздух своею желчью, немец решал свой шкурный вопрос и чувствовал всеми своими немецкими

чувствами, как у него портилась в эти минуты кровь. Он похудел, обрюзг, и выражение надменной учености на лице уступило место выражению боли, безнадежности… Сознание безвыходного плена, вдали от рейнских волн и компании горных мастеров, заставило его плакать… Вечером он сидел у окна и глядел на луну… Кругом была тишина. Где-то вдали пиликала гармонийка и ныла жалобная русская песенка. Эти звуки защемили Имбса за сердце… Его охватила такая тоска по родине, по праву и справедливости, что он отдал бы всю жизнь за то только, чтобы очутиться в эту ночь дома…

«И здесь светит эта луна, и там она светит, а какая разница!» — думал он.

Всю ночь тосковал Имбс. Под утро он не вынес тоски и порешил уйти. Сложив свои «ненужные в России» книги и чертежи в котомку, он выпил натощак воды и ровно в четыре часа утра поплелся пешечком к северу. Он порешил идти в тот самый Харьков, который еще так недавно граф поцарапал на карте своим розовым ногтем. В Харькове надеялся он встретить немцев, которые могли бы дать ему денег на дорогу.

— Дорогой стащили с меня, сонного, сапоги, — рассказывал Имбс своим приятелям, сидя через

месяц на том же пароходе. — Такова «русская честность»! Но в конце концов нужно отдать ей справедливость: от Славянска до Харькова русский кондуктор провез меня за сорок копеек — деньги, вырученные мною за мою пенковую трубку. Это нечестно, но зато очень дешево!

Брожение умов
(Из летописи одного города)

Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся: дошел до 35,8° и в нерешимости остановился… С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал; лень было вытирать.

По большой базарной площади, ввиду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя: казначей Почешихин и ходатай по делам (он же и старинный корреспондент «Сына отечества») Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренное направление спутника, он молчал.

На середине площади Почешихин вдруг остановился и стал глядеть на небо.

— Что вы смотрите, Евпл Серапионыч?

— Скворцы полетели. Гляжу, куда сядут. Туча тучей! Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать… да ежели… В саду отца

протоиерея сели!

— Нисколько, Евпл Серапионыч. Не у отца протоиерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. Да и за что их, посудите, убивать? Птица насчет ягод вредная, это верно, но все-таки тварь, всякое дыхание. Скворец, скажем, поет… А для чего он, спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое дыхание да хвалит господа. Ой, нет! Кажется, у отца протоиерея сели!

Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лапотках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протоиерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца протоиерея.

— Да, вы правду сказали, они у отца протоиерея сели, — продолжал Оптимов. — У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать.

Из Протопоповой калитки вышел сам отец протоиерей Восьмистишиев и с ним дьячок Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди,

он остановился и, вместе с дьячком, стал тоже глядеть вверх, чтобы понять.

— Отец Паисий, надо полагать, на требу идет, — сказал Почешихин. — Помогай ему бог!

В пространстве между друзьями и отцом протоиереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Паисия, напрягавшего свое внимание на высь поднебесную, и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ведший нищего-слепца, и мужик, несший для свалки на площади бочонок испортившихся сельдей.

— Что-то случилось, надо думать, — сказал Почешихин. — Пожар, что ли? Да нет, не видать дыму! Эй, Кузьма! — крикнул он остановившемуся мужику. — Что там случилось?

Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лабаз купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела.

Это показалось подозрительным.

— Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкайтесь! Черт свинячий!

— Где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь! Вас честью просят!

— Должно, внутри загорелось!

— Честью просит, а сам руками тычет. Не махайте руками! Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать!

— На мозоль наступил! А, чтоб тебя раздавило!

— Кого раздавило? Ребята, человека задавили!

— Почему такая толпа? За какой надобностью?

— Человека, ваше выскблаародие, задавило!

— Где? Рразойдитесь! Господа, честью прошу! Честью просят тебя, дубина!

— Мужиков толкай, а благородных не смей трогать! Не прикасайся!

— Нешто это люди? Нешто их, чертей, проймешь добрым словом? Сидоров, сбегай-ка за Акимом Данилычем! Живо! Господа, ведь вам же плохо будет! Придет Аким Данилыч, и вам же достанется! И ты тут, Парфен?! А еще тоже слепец, святой старец! Ничего не видит, а туда же, куда и люди, не повинуется! Смирнов, запиши Парфена!

— Слушаю! И пуровских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухши, — это пуровский!

— Пуровских не записывай покуда… Пуров завтра именинник!

Скворцы темной тучей поднялись над садом отца протоиерея, но Почешихин и Оптимов уже не видели их; они стояли и все глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилыч. Что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врезался в толпу.

— Пожжаррные, приготовьсь! Рразойдитесь! Господин Оптимов, разойдитесь, ведь вам же плохо будет! Чем в газеты на порядочных людей писать разные критики, вы бы лучше сами старались вести себя посущественней! Добру-то не научат газеты!

— Прошу вас не касаться гласности! — вспылил Оптимов. — Я литератор и не дозволю вам касаться гласности, хотя, по долгу гражданина, и почитаю вас, как отца и благодетеля!

— Пожарные, лей!

— Воды нет, ваше высокоблаародие!

— Не рразговаривать! Поезжайте за водой! Живааа!

— Не на чем ехать, ваше высокоблагородие. Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать!

— Разойдитесь! Сдай назад, чтоб тебя черти взяли… Съел? Запиши-ка его, черта!

— Карандаш потерялся, ваше высокоблаародие…

Толпа все увеличивалась и увеличивалась… Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если бы в трактире Грешкина не вздумали пробовать полученный на днях из Москвы новый орган. Заслышав «Стрелочка», толпа ахнула и повалила к трактиру. Так никто и не узнал, почему собралась толпа, а Оптимов и Почешихин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествия. Через час город был уже недвижим и тих, и виден был только один-единственный человек — это пожарный, ходивший на каланче…

Вечером того же дня Аким Данилыч сидел в бакалейной лавке Фертикулина, пил лимонад-газес с коньяком и писал: «Кроме официальной бумаги, смею добавить, ваше-ство, и от себя некоторое присовокупление. Отец и благодетель! Именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благорастворенной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних

пределов! Столько я вынес за сей день, что и описать не могу. Распорядительность Крушенского и пожарного майора Портупеева не находит себе подходящего названия. Горжусь сими достойными слугами отечества! Я же сделал все, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему ничего не желающий, и, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами Того, кто не допустил до кровопролития. Виновные, за недостатком улик, сидят пока взаперти, но думаю их выпустить через недельку. От невежества преступили заповедь!»

Экзамен на чин

— Учитель географии Галкин на меня злобу имеет и, верьте-с, я у него не выдержу сегодня экзамента, — говорил, нервно потирая руки и потея, приемщик Х-го почтового отделения Ефим За-харыч Фендриков, седой, бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом. — Не выдержу… Это как бог свят… А злится он на меня совсем из-за пустяков-с. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтоб я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочие. Это не годится… Хоть он и образованного класса, а все-таки соблюдай порядок и жди. Я ему сделал приличное замечание. «Дожидайтесь, — говорю, — очереди, милостивый государь». Он вспыхнул и с той поры восстает на меня, аки Саул. Сынишке моему Егорушке единицы выводит, а про меня разные названия по городу распускает. Иду я однажды-с мимо трактира Кухтина, а он высунулся с бильярдным кием из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь: «Господа, поглядите: марка, бывшая в употреблении, идет!»

Учитель русского языка Пивомедов, стояв-

ший в передней Х-го уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил:

— Не волнуйтесь. У нас и примера не было, чтоб вашего брата на экзаменах резали. Проформа!

Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек с жидкой, словно оборванной бородкой, в парусинковых брюках и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше.

Затем разнесся слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменующимся впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Змиежалов в камилавке и с наперстным крестом. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор народных училищ Ахахов громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Через пять минут приступили к экзаменам.

Проэкзаменовали двух поповичей на сельского учителя. Один выдержал, другой же не выдержал. Провалившийся высморкался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Проэкзаме-

новали двух вольноопределяющихся третьего разряда. После этого пробил час Фендрикова…

— Вы где служите? — обратился к нему инспектор.

— Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше высокородие, — проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. — Прослужил двадцать один год, ваше высокородие, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего и осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин.

— Так-с… Напишите диктант.

Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым, пронзительным басом, стараясь уловить экзаменующегося на словах, которые пишутся не так, как выговариваются: «Хараша халодная вада, кагда хочица пить» и проч.

Но как ни изощрялся хитроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику. В слове «чрезвычайно» он написал два «н», слово «лучше» написал «лутше», а словами «новое поприще» вызвал на лице инспектора улыбку, так

как написал «новое подприще»; но ведь все это не грубые ошибки.

— Диктант удовлетворителен, — сказал инспектор.

— Осмелюсь довести до сведения вашего высокородия, — сказал подбодренный Фендриков, искоса поглядывая на врага своего Галкина, — осмелюсь доложить, что геометрию я учил из книги Давыдова, отчасти же обучался ей у племянника Варсонофия, приезжавшего на каникулах из Троице-Сергиевской, Вифанской тож, семинарии. И планиметрию, учил и стереометрию… все как есть…

— Стереометрии по программе не полагается.

— Не полагается? А я месяц над ней сидел… Этакая жалость! — вздохнул Фендриков.

— Но оставим пока геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно, любите. География — наука почтальонов.

Все учителя почтительно улыбнулись. Фендриков был не согласен с тем, что география есть наука почтальонов (об этом нигде не было написано ни в почтовых правилах, ни в приказах по округу), но из почтительности сказал: «Точно так». Он нервно кашлянул и с ужасом стал ждать

вопросов. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросил протяжно:

— Э… скажите мне, какое правление в Турции?

— Известно какое… Турецкое…

— Гм!., турецкое… Это понятие растяжимое. Там правление конституционное. А какие вы знаете притоки Ганга?

— Я географию Смирнова учил и, извините, не отчетливо выучил… Ганг, это которая река в Индии текет… река эта текет в океан.

— Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет Ганг? Не знаете? А где течет Араке? И этого не знаете? Странно… Какой губернии Житомир?

— Тракт 18, место 121.

На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык.

— Как перед истинным богом, ваше высокородие, — забормотал он. — Даже отец протоиерей могут подтвердить… Двадцать один год прослужил и теперь это самое, которое… Век буду бога молить…

— Хорошо, оставим географию. Что вы из арифметики приготовили?

— И арифметику не отчетливо… Даже отец

протоиерей могут подтвердить… Век буду бога молить… С самого Покрова учусь, учусь и… ничего толку… Постарел для умственности… Будьте столь милостивы, ваше высокородие, заставьте вечно бога молить.

На ресницах у Фендрикова повисли слезы.

— Прослужил честно и беспорочно… Говею ежегодно… Даже отец протоиерей могут подтвердить… Будьте великодушны, ваше высокородие.

— Ничего не приготовили?

— Все приготовил-с, но ничего не помню-с… Скоро шестьдесят стукнет, ваше высокородие, где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость!

— Уж и шапку с кокардой себе заказал… — сказал протоиерей Змиежалов и усмехнулся.

— Хорошо, ступайте!.. — сказал инспектор.

Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло, в глазах светилось счастье, но ежеминутное почесывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль.

— Экая жалость! — бормотал он. — Ведь этакая, скажи на милость, глупость с моей стороны!

— Да что такое? — спросил Пивомедов.

— Зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней, подлой,

сидел. Этакая жалость!

Хирургия

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— А-а-а… мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич… К вашей милости… Истинно и правдиво в Псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворах». Сел намедни со старухой чай пить

и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай… Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону… Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом… Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих… За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши…

— М-да… Садитесь… Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост…

— Предрассудок… (Пауза.) Вырвать его нужно,

Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем… На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные… по гроб жизни…

— Пустяки… — скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки… Тут во всем привычка, твердость руки… Раз плюнуть… Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский… Тоже с зубом… Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству… В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал… Долго мы с ним тут… Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя… Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом… Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире… — говорит он,

подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его… тово… Раз плюнуть… Десну подрезать только… тракцию сделать по вертикальной оси… и все… (подрезывает десну) и все…

— Благодетели вы наши… Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил…

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт… Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки… Этот — раз плюнуть… (Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь… Сидите неподвижно… В мгновение ока… (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять (тянет)… чтоб коронка не сломалась…

— Отцы наши… Мать пресвятая… Ввв…

— Не тово… не тово… как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас… Вот, вот… Дело-то ведь не легкое…

— Отцы… радетели… (Кричит.) Ангелы! Ого-го… Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь… хирургия… Сразу нельзя… Вот, вот…

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит… На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет… Проходят мучительнейшие

полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу…

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова… Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты… Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов… Человек почище тебя, а не хватал руками… Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу… Дай дух перевести… Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай… Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими… очумеешь! Раскрой рот… (Накладывает щипцы.) Хирургия,

брат, не шутка… Это не на клиросе читать… (Делает тракцию.) Не дергайся… Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил… (Тянет.)

Не шевелись… Так… так… Не шевелись… Ну, ну… (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен… Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой… — бормочет фельдшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый черт… — выговаривает он. — Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут… — бормочет фельдшер, кладя в шкап щипцы. — Невежа… Мало тебя в бурсе березой потчевали… Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не ругался… А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси…

Хамелеон

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина… На площади ни души… Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А… а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше благородие!.. — го-

ворит городовой.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» — да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец… Вы меня извините, я человек, который работающий… Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну… Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари

терпеть… Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете…

— Гм!.. Хорошо… — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо… Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу Кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная… Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем… Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь… известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура и тяпни… Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом… А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано… Нынче все равны… У меня у самого брат в жандарах… ежели хотите знать…

— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская… — глубокомысленно замечает городовой. — У генерала таких нет. У него все больше легавые…

— Ты это верно знаешь?

— Верно, ваше благородие…

— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна только… И этакую собаку держать?!. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй… Нужно проучить! Пора…

— А может быть, и генеральская… — думает вслух городовой. — На морде у ней не написано…

Намедни во дворе у него такую видел.

— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло… Знобит… Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу… Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь… А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим… Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов. — Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая… Истребить, вот и все.

— Это не наша, — продолжает Прохор. — Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч…

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты,

господи! А я и не знал! Погостить приехали?

— В гости…

— Ишь ты, господи… Соскучились по братце… А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее… Собачонка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… Ну, чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится, шельма… цуцык этакий…

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада… Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

Надлежащие меры

Маленький, заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от Думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из городового врача, полицейского надзирателя, двух уполномоченных от думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые… Путь комиссии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Санитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечистоте, вони, надлежащих мерах и прочих холерных материях. Разговоры до того умные, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет:

— Вот так бы нам, господа, почаще собираться да рассуждать! И приятно, и в обществе себя чувствуешь, а то только и знаем, что ссоримся. Да ей-богу!

— С кого бы нам начать? — обращается торговый депутат к врачу тоном палача, выбирающего

жертву. — Не начать ли нам, Аникита Николаич, с лавки Ошейникова? Мошенник, во-первых, и… во-вторых, пора уж до него добраться. Намедни приносят мне от него гречневую крупу, а в ней, извините, крысиный помет… Жена так и не ела!

— Ну что ж? С Ошейникова начинать, так с Ошейникова, — говорит безучастно врач.

Санитары входят в «Магазин чаю, сахару и кофию и прочих колоннеальных товаров А. М. Ошейникова» и тотчас же, без длинных предисловий, приступают к ревизии.

— М-да-с… — говорит врач, рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла. — Каких ты у себя здесь из мыла вавилонов настроил! Изобретательность, подумаешь! Э… э… э! Это что же такое? Поглядите, господа! Демьян Гаврилыч изволит мыло и хлеб одним и тем же ножом резать!

— От этого холеры не выйдет-с, Аникита Николаич! — резонно замечает хозяин.

— Оно-то так, но ведь противно! Ведь и я у тебя хлеб покупаю.

— Для кого поблагородней, мы особый нож держим. Будьте покойны-с… Что вы-с…

Полицейский надзиратель щурит свои близорукие глаза на окорок, долго царапает его ногтем,

громко нюхает, затем, пощелкав по окороку пальцем, спрашивает:

— А он у тебя, бывает, не с стрихнинами?

— Что вы-с… Помилуйте-с… Нешто можно-с!

Надзиратель конфузится, отходит от окорока и щурит глаза на прейскурант Асмолова и К°. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое… Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность.

— Кисаньки… кисаньки! Манюнечки мои! — лепечет он. — Лежат в крупе и мордочки подняли… нежатся… Ты бы, Демьян Гаврилыч, прислал мне одного котеночка!

— Это можно-с… А вот, господа, закуски, ежели желаете осмотреть… Селедки вот, сыр… балык, изволите видеть… Балык в четверг получил, самый лучшшшш… Мишка, дай-ка сюда ножик!

Санитары отрезывают по куску балыка и, понюхав, пробуют.

— Закушу уж и я кстати… — говорит как бы про себя хозяин лавки Демьян Гаврилыч. — Там где-то у меня бутылочка валялась. Пойти перед балыком выпить… Другой вкус тогда… Мишка, дай-ка сюда бутылочку.

Мишка, надув щеки и выпучив глаза, рас-

купоривает бутылку и со звоном ставит ее на прилавок.

— Пить натощак… — говорит полицейский надзиратель, в нерешимости почесывая затылок. — Впрочем, ежели по одной… Только ты поскорей, Демьян Гаврилыч, нам некогда с твоей водкой!

Через четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко.

Тут, как назло, пройти негде… Человек пять молодцов, с красными, вспотевшими физиономиями, катят из лавки бочонок с маслом.

— Держи вправо!.. Тяни за край… тяни, тяни! Брусок подложи… а, черт! Отойдите, ваше благородие, ноги отдавим!

Бочонок застревает в дверях и — ни с места… Молодцы налегают на него и прут изо всех сил, испуская громкое сопенье и бранясь на всю площадь. После таких усилий, когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою чистоту, бочонок, наконец, выкатывается и почему-то, вопреки законам природы, катится назад и опять застревает в дверях. Сопенье начинается снова.

— Тьфу! — плюет надзиратель. — Пойдемте к

Шибукину. Эти черти до вечера будут пыхтеть.

Шибукинскую лавку санитары находят запертой.

— Да ведь она же была отперта! — удивляются санитары, переглядываясь. — Когда мы к Ошейникову входили, Шибукин стоял на пороге и медный чайник полоскал. Где он? — обращаются они к нищему, стоящему около запертой лавки.

— Подайте милостыньку, Христа ради, — сипит нищий, — убогому калеке, что милость ваша, господа благодетели… родителям вашим…

Санитары машут руками и идут дальше, за исключением одного только уполномоченного от думы, Плюнина. Этот подает нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бежит вдогонку за компанией.

Часа через два комиссия идет обратно. Вид у санитаров утомленный, замученный. Ходили они не даром: один из городовых, торжественно шагая, несет лоток, наполненный гнилыми яблоками.

— Теперь, после трудов праведных, недурно бы дрызнуть, — говорит надзиратель, косясь на вывеску «Ренсковый погреб вин и водок». — Подкрепиться бы.

— М-да, не мешает. Зайдемте, если хотите!

Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Надзиратель кивает сидельцу, и на столе появляется бутылка.

— Жаль, что закусить нечем, — говорит торговый депутат, выпивая и морщась. — Огурчика дал бы, что ли… Впрочем…

Депутат поворачивается к городовому с лотком, выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает.

— Ах… тут есть и не очень гнилые! — как бы удивляется надзиратель. — Дай-ка и я себе выберу! Да ты поставь здесь лоток… Какие лучше — мы выберем, почистим, а остальные можешь уничтожить. Аникита Николаич, наливайте! Вот так почаще бы нам собираться да рассуждать. А то живешь-живешь в этой глуши, никакого образования, ни клуба, ни общества — Австралия, да и только! Наливайте, господа! Доктор, яблочек! Самолично для вас очистил!

— Ваше благородие, куда лоток девать прикажете? — спрашивает городовой надзирателя, выходящего с компанией из погреба.

— Ло… лоток? Который лоток? П-понимаю! Уничтожь вместе с яблоками… потому — зараза!

— Яблоки вы изволили скушать!

— А-а… очень приятно! Послушш… поди ко мне домой и скажи Марье Власьевне, чтоб не сердилась… Я только на часок… к Плюнину спать… Понимаешь? Спать… объятия Морфея. Шпрехен зи деич, Иван Андреич.

И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит:

— Так и вся жизнь наша!

Винт

В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходившие из дежурной комнаты, были ярко освещены.

«Неужели они до сих пор с отчетом возятся? — подумал Пересолин. — Четыре их там дурака, и до сих пор еще не кончили! Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью покоя не даю. Пойду подгоню их...» — Остановись, Гурий!

Пересолин вылез из экипажа и пошел в правление. Парадная дверь была заперта, задний же ход, имевший одну только испортившуюся задвижку, был настежь. Пересолин воспользовался последним и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена, и Пересолин, взглянув в нее, увидел нечто необычайное. За столом, завален-

ным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего боже избави, фальшивых монетчиков… Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт; судя же по всему тому, что услышал Пересолин, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное и таинственное… В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звиздулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина.

— Как же ты это ходишь, черт голландский, — рассердился Звиздулин, с остервенением глядя на своего партнера vis-a-vis. — Разве так можно ходить? У меня на руках был Дорофеев сам-друг, Шепелев с женой да Степка Ерлаков, а ты ходишь с Кофейкина. Вот мы и без двух! А тебе бы, садовая голова, с Поганкина ходить!

— Ну, и что ж тогда б вышло? — окрысился партнер. — Я пошел бы с Поганкина, а у Ивана Андреича Пересолин на руках.

«Мою фамилию к чему-то приплели… — пожал

плечами Пересолин. — Не понимаю!»

Писулин сдал снова, и чиновники продолжали:

— Государственный банк…

— Два — казенная палата…

— Без козыря…

— Ты без козыря?? Гм!.. Губернское правленье — два… Погибать — так погибать, шут возьми! Тот раз на народном просвещении без одной остался, сейчас на губернском правлении нарвусь. Плевать!

— Маленький шлем на народном просвещении!

«Не понимаю!» — прошептал Пересолин.

— Хожу со статского… Бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернского.

— Зачем нам титуляшку? Мы и Пересолиным хватим…

— А мы твоего Пересолина по зубам… по зубам… У нас Рыбников есть. Быть вам без трех! Показывайте Пересолиху! Нечего вам ее, каналью, за обшлаг прятать!

«Мою жену затрогали… — подумал Пересолин. — Не понимаю».

И, не желая долее оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если

бы перед чиновниками явился сам черт с рогами и с хвостом, то он не удивил бы и не испугал так, как испугал и удивил их начальник. Явись перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговори он им гробовым голосом: «Идите за мной, аггелы, в место, уготованное канальям», и дыхни он на них холодом могилы, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав Пересолина. У Недоехова от перепугу даже кровь из носа пошла, а у Кулакевича забарабанило в правом ухе и сам собою развязался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царила тишина…

— Хорошо же вы отчет переписываете! — начал Пересолин. — Теперь понятно, почему вы так любите с отчетом возиться… Что вы сейчас делали?

— Мы только на минутку, ваше-ство… — прошептал Звиздулин. — Карточки рассматривали… Отдыхали…

Пересолин подошел к столу и медленно пожал плечами. На столе лежали не карты, а фотографические карточки обыкновенного формата, снятые с картона и наклеенные на игральные карты. Карточек было много. Рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих

подчиненных, знакомых…

— Какая чепуха… Как же вы это играете?

— Это не мы, ваше-ство, выдумали… Сохрани бог… Это мы только пример взяли…

— Объясни-ка, Звиздулин! Как вы играли? Я все видел и слышал, как вы меня Рыбниковым били… Ну, чего мнешься? Ведь я тебя не ем? Рассказывай!

Звиздулин долго стеснялся и трусил. Наконец, когда Пересолин стал сердиться, фыркать и краснеть от нетерпения, он послушался. Собрав карточки и перетасовав, он разложил их по столу и начал объяснять:

— Каждый портрет, ваше-ство, как и каждая карта, свою суть имеет… значение. Как и в колоде, так и здесь 52 карты и четыре масти… Чиновники казенной палаты — черви, губернское правление — трефы, служащие по министерству народного просвещения — бубны, а пиками будет отделение государственного банка. Ну-с… Действительные статские советники у нас тузы, статские советники — короли, супруги особ IV и V класса — дамы, коллежские советники — валеты, надворные советники — десятки, и так далее. Я, например, — вот моя карточка, — тройка, так как, будучи губернский секретарь…

— Ишь ты… Я, стало быть, туз?

— Трефовый-с, а ее превосходительство — дама-с…

— Гм!.. Это оригинально… А ну-ка, давайте сыграем! Посмотрю…

Пересолин снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели по его приказанию, и игра началась…

Сторож Назар, пришедший в семь часов утра мести дежурную комнату, был поражен. Картина, которую увидел он, войдя со щеткой, была так поразительна, что он помнит ее теперь даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспамятстве. Пересолин, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Недоеховым и, держа его за пуговицу, говорил:

— Пойми же, что ты не мог с Шепелева ходить, если знал, что у меня на руках я сам-четверт. У Звиздулина Рыбников с женой, три учителя гимназии да моя жена, у Недоехова банковцы и три маленьких из губернской управы. Тебе бы нужно было с Крыш-кина ходить! Ты не гляди, что они с казенной палаты ходят! Они себе на уме!

— Я, ваше-ство, пошел с титулярного, потому, думал, что у них действительный.

— Ах, голубчик, да ведь так нельзя думать!

Это не игра! Так играют одни только сапожники. Ты рассуждай!.. Когда Кулакевич пошел с надворного губернского правления, ты должен был бросать Ивана Ивановича Гренландского, потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна сам-третей с Егор Егорычем… Ты все испортил! Я тебе сейчас докажу. Садитесь, господа, еще один роббер сыграем!

И, уславши удивленного Назара, чиновники уселись и продолжали игру.

Брак по расчету
(Роман в двух частях)
Часть первая

В доме вдовы Мымриной, что в Пятисобачьем переулке, свадебный ужин. Ужинает 23 человека, из коих восемь ничего не едят, клюют носом и жалуются, что их «мутит». Свечи, лампы и хромая люстра, взятая напрокат из трактира, горят до того ярко, что один из гостей, сидящих за столом, телеграфист, кокетливо щурит глаза и то и дело заговаривает об электрическом освещении — ни к селу ни к городу. Этому освещению и вообще электричеству он пророчит блестящую будущность, но тем не менее ужинающие слушают его с некоторым пренебрежением.

— Электричество… — бормочет посаженый отец, тупо глядя в свою тарелку. — А по моему взгляду, электрическое освещение одно только жульничество. Всунут туда уголек и думают глаза отвести! Нет, брат, уж ежели ты даешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться! Ты давай огня — по-

нимаешь? — огня, который натуральный, а не умственный.

— Ежели бы вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, — говорит телеграфист, рисуясь, — то вы иначе бы рассуждали.

— И не желаю видеть. Жульничество… Народ простой надувают… Соки последние выжимают. Знаем мы их, этих самых… А вы, господин молодой человек, — не имею чести знать вашего имени-отчества, — чем за жульничество вступаться, лучше бы выпили и другим налили.

— Яс вами, папаша, вполне согласен, — говорит хриплым тенором жених Апломбов, молодой человек с длинной шеей и щетинистыми волосами. — К чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле, но ведь на это есть другое время! Ты какого мнения, машер?[44] — обращается жених к сидящей рядом невесте.

Невеста Дашенька, у которой на лице написаны все добродетели, кроме одной — способности мыслить, вспыхивает и говорит:

— Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном.

---

[44] Примечания: 44
Дорогая (от *франц.* — ma chere).

— Слава богу, прожили век без образования и вот уж, благодарить бога, третью дочку за хорошего человека выдаем, — говорит с другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обращаясь к телеграфисту: — А ежели мы, по-вашему, выходим необразованные, то зачем вы к нам ходите? Шли бы к своим образованным!

Наступает молчание. Телеграфист сконфужен. Он никак не ожидал, что разговор об электричестве примет такой странный оборот. Наступившее молчание имеет характер враждебный, кажется ему симптомом всеобщего неудовольствия, и он находит нужным оправдаться.

— Я, Татьяна Петровна, всегда уважал ваше семейство, — говорит он, — а ежели я насчет электрического освещения, так это еще не значит, что я из гордости. Даже вот выпить могу… Я всегда от всех чувств желал Дарье Ивановне хорошего жениха. В наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти за хорошего человека. Нынче каждый норовит вступить в брак из-за интереса, из-за денег…

— Это намек! — говорит жених, багровея и мигая глазами.

— И никакого тут нет намека, — говорит телеграфист, несколько струсив. — Я не говорю

о присутствующих. Это я так… вообще… Помилуйте!.. Все знают, что вы из любви… Приданое пустяшное…

— Нет, не пустяшное! — обижается Дашенькина мать. — Ты говори, сударь, да не заговаривайся! Кроме того, что мы тысячу рублей, мы три салопа даем, постелю и вот эту всю мебель! Поди-кась найди в другом месте такое приданое!

— Я ничего… Мебель, действительно, хорошая… но я в том смысле, что вот они обижаются, будто я намекнул…

— А вы не намекайте, — говорит невестина мать. — Мы вас по вашим родителям почитаем и на свадьбу пригласили, а вы разные слова… А ежели вы знали, что Егор Федорыч из интереса женится, то что же вы раньше молчали? Пришли бы да и сказали по-родственному: так и так, мол, на интерес польстился… А тебе, батюшка, грех! — обращается вдруг невестина мать к жениху, слезливо мигая глазами. — Я ее, может, вскормила, вспоила… берегла пуще алмаза изумрудного, деточку мою, а ты… ты из интереса…

— И вы поверили клевете? — говорит Апломбов, вставая из-за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы. — Покорнейше вас благодарю! Мерси за такое мнение! А вы, господин

Блинчиков, — обращается он к телеграфисту, — вы хоть и знакомый мне, но я не позволю вам такие безобразия строить в чужом доме! Позвольте вам выйти вон!

— То есть как?

— Позвольте вам выйти вон! Желаю, чтобы и вы были таким честным человеком, как я! Одним словом, позвольте вам выйти вон!

— Да оставь! Будет тебе! — осаживают жениха его приятели. — Ну, стоит ли? Садись! Оставь!

— Нет, я желаю показать, что он не имеет никакой полной правы! Я по любви вступил в законный брак. Чего же вы сидите, не понимаю! Позвольте вам выйти вон!

— Я ничего… Я ведь… — говорит ошеломленный телеграфист, поднимаясь из-за стола. — Не понимаю даже… Извольте, я уйду… Только вы отдайте мне сначала три рубля, что вы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вот еще и… уйду, только вы сначала долг отдайте.

Жених долго шепчется со своими приятелями. Те по мелочам дают ему три рубля, он с негодованием бросает их телеграфисту, и последний, после долгих поисков своей форменной фуражки, раскланивается и уходит.

Так иногда может кончиться невинный разго-

вор об электричестве! Но вот кончается ужин… Наступает ночь. Благовоспитанный автор надевает на свою фантазию крепкую узду и накидывает на текущие события темную вуаль таинственности.

Розоперстая Аврора застает еще Гименея в Пятисобачьем переулке, но вот настает серое утро и дает автору богатый материал для

Части второй и последней

Серое осеннее утро. Еще нет и восьми часов, а в Пятисобачьем переулке необычайное движение. По тротуарам бегают встревоженные городовые и дворники; у ворот толпятся озябшие кухарки с выражением крайнего недоумения на лицах… Во все окна глядят обыватели. Из открытого окна прачечной, нажимая друг друга висками и подбородками, глядят женские головы.

— Не то снег, не то… и не разберешь, что оно такое, — слышатся голоса.

В воздухе от земли до крыш кружится что-то белое, очень похожее на снег. Мостовая бела, уличные фонари, крыши, дворницкие скамьи у ворот, плечи и шапки прохожих — все бело.

— Что случилось? — спрашивают прачки у

бегущих дворников.

Те в ответ машут руками и бегут дальше… Они и сами не знают, в чем дело. Но вот наконец медленно проходит один дворник и, беседуя сам с собой, жестикулирует руками. Очевидно, он побывал на месте происшествия и знает все.

— Что, родименький, случилось? — спрашивают у него прачки из окна.

— Неудовольствие, — отвечает он. — В доме Мымриной, что вчерась была свадьба, жениха обсчитали. Вместо тысячи — девятьсот дали.

— Ну, а он что?

— Осерчал. Я, говорит, того, говорит… Распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно… Ишь, сколько пуху! Снег словно!

— Ведут! Ведут! — слышатся голоса. — Ведут!

От дома вдовы Мымриной движется процессия. Впереди идут два городовых с озабоченными лицами… Сзади них шагает Апломбов в триковом пальто и в цилиндре.

На лице у него написано: «Я честный человек, но надувать себя не позволю!»

— Ужо правосудие покажет вам, что я за человек! — бормочет он, то и дело оборачиваясь.

За ним идут плачущие Татьяна Петровна и Дашенька. Шествие замыкается дворником с

книгой и толпой мальчишек.

— О чем плачешь, молодуха? — обращаются прачки к Дашеньке.

— Перины жалко! — отвечает за нее мать. — Три пуда, голубчики! И пух-то ведь какой! Пушинка к пушинке — ни одного перышка! Наказал бог на старости лет!

Процессия поворачивает за угол, и Пятисобачий переулок успокаивается. Пух летает до вечера.

Господа обыватели
(Пьеса в двух действиях)
Действие первое

Городская управа. Заседание.

Городской голова*(почавкав губами и медленно поковыряв у себя в ухе).* В таком разе не угодно ли вам будет, господа, выслушать мнение брандмейстера Семена Вавилыча, который по этой части специалист? Пускай объяснит, а там мы рассудим!

Брандмейстер. Я так понимаю… *(Сморкается в клетчатый платок.)* Десять тысяч, ассигнованные на пожарную часть, может быть, и большие деньги, но… *(вытирает лысину)* это одна только видимость. Это не деньги, а мечта, атмосфера. Конечно, и за десять тысяч можно иметь пожарную команду, но какую? Один смех только! Видите ли… Самое важное в жизни человеческой — это каланча, и всякий ученый вам это скажет. Наша же городская каланча, рассуждая категорически, совсем не годится, потому что мала. Дома высокие *(поднимает вверх руку),* они кругом загораживают каланчу, и не только что пожар, но дай бог

хоть небо увидеть. Я взыскиваю с пожарных, но разве они виноваты, что им не видно? Потом в отношении лошадином и в рассуждении бочек… *(Расстегивает жилетку, вздыхает и продолжает речь в том же духе.)*

Гласные *(единогласно).* Прибавить сверх сметы еще две тысячи!

Городской голова делает минутный перерыв для вывода из залы заседания корреспондента.

Брандмейстер. Хорошо-с. Теперь, стало быть, вы рассуждаете, чтобы каланча была возвышена на два аршина… Хорошо. Но ежели взглянуть с той точки и в том смысле, что тут заинтересованы общественные, так сказать, государственные интересы, то я должен заметить, господа гласные, что если за это дело возьмется подрядчик, то я должен вам иметь в виду, что это обойдется городу вдвое дороже, так как подрядчик будет соблюдать тут свой интерес, а не общественный. Если же строить хозяйственным способом, не спеша, то ежели… кирпич, положим, по пятнадцати рублей за тысячу и доставка на пожарных лошадях и ежели *(поднимает глаза к потолку, как бы мысленно считая)* и ежели пятьдесят двенадцатиаршинных бревен в пять вершков… *(Считает.)*

Гласные *(подавляющим большинством голосов).* Поручить ремонт каланчи Семену Вавилычу, для каковой цели ассигновать на первый раз тысячу пятьсот двадцать три рубля сорок четыре копейки!

Брандмейстерша *(сидит среди публики и шепчет соседке).* Не знаю, зачем это мой Сеня берет на себя столько хлопот! С его ли здоровьем заниматься постройками? Тоже, это весело — целый день рабочих по зубам бить! Наживет на ремонте какой-нибудь пустяк, рублей пятьсот, а здоровья себе испортит на тысячу. Губит его, дурака, доброта!

Брандмейстер. Хорошо-с. Теперь будем говорить о служебном персонале. Конечно, я, как лицо, можно сказать, заинтересованное *(конфузится),* могу только заметить, что мне… мне все равно… Я человек уже не молодой, больной, не сегодня-завтра могу умереть. Доктор сказал, что у меня во внутренностях затвердение и что если я не буду оберегать своего здоровья, то внутри во мне лопнет жила и я помру без покаяния…

Шепот в публике. Собаке собачья и смерть.

Брандмейстер. Но я о себе не хлопочу. Пожил я, и слава богу. Ничего мне не нужно… Только мне удивительно и… и даже обидно… *(Машет*

безнадежно рукой.) Служишь за одно только жалованье, честно, беспорочно… ни днем, ни ночью покою, не щадишь здоровья и… и не знаешь, к чему все это? Для чего хлопочу? Какой интерес? Я не про себя рассуждаю, а вообще… Другой не станет жить при таком иждивении… Пьяница пойдет на эту должность, а человек дельный, солидный скорей с голоду помрет, чем за такое жалованье станет тут хлопотать с лошадьми да с пожарными… *(Пожав плечами.)* Какой интерес? Если бы увидели иностранцы, какие у нас порядки, то, я думаю, досталось бы нам на орехи во всех заграничных газетах. В Западной Европе, взять хоть, например, Париж, на каждой улице по каланче, и брандмейстерам каждогодно выдают пособие в размере годового жалованья. Там можно служить!

Гласные. Выдать Семену Вавилычу в виде единовременного пособия за долголетнюю службу двести рублей!

Брандмейстерша*(шепчет соседке).* Это хорошо, что он выпросил… Умник. Намедни мы были у отца протопопа, проиграли у него в стуколку сто рублей и теперь, знаете ли, так жалко! *(Зевает.)* Ах, так жалко! Пора бы уж домой идти, чай пить.

Действие второе

Сцена у каланчи. Стража.

Часовой на каланче *(кричит вниз).* Эй! На лесопильном дворе горит! Бей тревогу!

Часовой внизу. А ты только сейчас увидел? Народ уж полчаса как бежит, а ты, чудак, только сейчас спохватился? *(Глубокомысленно.)* Дурака хоть наверху поставь, хоть внизу — все равно. *(Бьет тревогу.)*

Через три минуты в окне своей квартиры, находящейся против каланчи, показывается брандмейстер в дезабилье и с заспанными глазами.

Брандмейстер. Где горит, Денис?

Часовой внизу *(вытягивается и делает под козырек).* На лесопильном дворе, вашескородие!

Брандмейстер *(покачивает головой).* Упаси бог! Ветер дует, сушь такая... *(Машетрукой.)* И не дай бог! Горе да и только с этими несчастьями!.. *(Погладив себя по лицу.)* Вот что, Денис... Скажи им, братец ты мой, чтоб запрягали и ехали себе, а я сейчас... немного погодя приеду... Одеться надо, то да се...

Часовой внизу. Да некому ехать, вашескородие! Все поуходили, один Андрей дома.

Брандмейстер*(испуганно).* Где же они, мерзавцы?

Часовой внизу. Макар новые подметки ставил, теперь сапоги понес в слободку, к дьякону. Михайлу, ваше высокородие, вы сами изволили послать овес продавать… Егор на пожарных лошадях повез за реку надзирателеву свояченицу, Никита выпивши.

Брандмейстер. А Алексей?

Часовой внизу. Алексей пошел раков ловить, потому вы изволили ему давеча приказать, говорили, что завтра у вас к обеду гости будут.

Брандмейстер*(презрительно покачав головой).* Изволь вот служить с таким народом! Невежество, необразованность… пьянство… Если бы увидели иностранцы, то досталось бы нам в заграничных журналах! Там, взять хоть Париж, пожарная команда все время скачет по улице, народ давит; есть пожар или нет, а ты скачи! Тут же горит лесопильный двор, опасность, а их никого дома нет, словно… черт их слопал! Нет, далеко еще нам до Европы! *(Поворачивается лицом в комнату, нежно.)* Машенька, приготовь мне мундир!

Устрицы

Мне не нужно слишком напрягать память, чтобы во всех подробностях вспомнить дождливые осенние сумерки, когда я стою с отцом на одной из многолюдных московских улиц и чувствую, как мною постепенно овладевает странная болезнь. Боли нет никакой, но ноги мои подгибаются, слова останавливаются поперек горла, голова бессильно склоняется набок… По-видимому, я сейчас должен упасть и потерять сознание.

Попади я в эти минуты в больницу, доктора должны были бы написать на моей доске: Fames[45] — болезнь, которой нет в медицинских учебниках.

Возле меня на тротуаре стоит мой родной отец в поношенном летнем пальто и триковой шапочке, из которой торчит белеющий кусочек ваты. На его ногах большие, тяжелые калоши. Суетный человек, боясь, чтобы люди не увидели, что он носит калоши на босую ногу, натянул на голени старые голенища.

Этот бедный, глуповатый чудак, которого я

---

[45] Примечания: 45
Голод *(лат.)*.

люблю тем сильнее, чем оборваннее и грязнее делается его летнее франтоватое пальто, пять месяцев тому назад прибыл в столицу искать должности по письменной части. Все пять месяцев он шатался по городу, просил дела и только сегодня решился выйти на улицу просить милостыню…

Против нас большой трехэтажный дом с синей вывеской: «Трактир». Голова моя слабо откинута назад и набок, и я поневоле гляжу вверх, на освещенные окна трактира. В окнах мелькают человеческие фигуры. Виден правый бок оркестриона, две олеографии, висячие лампы… Вглядываясь в одно из окон, я усматриваю белеющее пятно. Пятно это неподвижно и своими прямолинейными контурами резко выделяется из общего темно-коричневого фона. Я напрягаю зрение и в пятне узнаю белую стенную вывеску. На ней что-то написано, но что именно — не видно…

Полчаса я не отрываю глаз от вывески. Своею белизною она притягивает мои глаза и словно гипнотизирует мой мозг. Я стараюсь прочесть, но старания мои тщетны.

Наконец странная болезнь вступает в свои права.

Шум экипажей начинает казаться мне громом, в уличной вони различаю я тысячи запахов, глаза мои в трактирных лампах и уличных фонарях видят ослепительные молнии. Мои пять чувств напряжены и хватают через норму. Я начинаю видеть то, чего не видел ранее.

— Устрицы… — разбираю я на вывеске.

Странное слово! Прожил я на земле ровно восемь лет и три месяца, но ни разу не слыхал этого слова. Что оно значит? Не есть ли это фамилия хозяина трактира? Но ведь вывески с фамилиями вешаются на дверях, а не на стенах!

— Папа, что значит устрицы? — спрашиваю я хриплым голосом, силясь повернуть лицо в сторону отца.

Отец мой не слышит. Он всматривается в движения толпы и провожает глазами каждого прохожего… По его глазам я вижу, что он хочет сказать что-то прохожим, но роковое слово тяжелой гирей висит на его дрожащих губах и никак не может сорваться. За одним прохожим он даже шагнул и тронул его за рукав, но когда тот обернулся, он сказал «виноват», сконфузился и попятился назад.

— Папа, что значит устрицы? — повторяю я.

— Это такое животное… Живет в море…

Я мигом представляю себе это неведомое морское животное. Оно должно быть чем-то средним между рыбой и раком. Так как оно морское, то из него приготовляют, конечно, очень вкусную горячую уху с душистым перцем и лавровым листом, кисловатую селянку с хрящиками, раковый соус, холодное с хреном… Я живо воображаю себе, как приносят с рынка это животное, быстро чистят его, быстро суют в горшок… быстро, быстро, потому что всем есть хочется… ужасно хочется! Из кухни несется запах рыбного жаркого и ракового супа.

Я чувствую, как этот запах щекочет мое нёбо, ноздри, как он постепенно овладевает всем моим телом… Трактир, отец, белая вывеска, мои рукава — все пахнет этим запахом, пахнет до того сильно, что я начинаю жевать. Я жую и делаю глотки, словно и в самом деле в моем рту лежит кусок морского животного…

Ноги мои гнутся от наслаждения, которое я чувствую, и я, чтобы не упасть, хватаю отца за рукав и припадаю к его мокрому летнему пальто. Отец дрожит и жмется. Ему холодно…

— Папа, устрицы постные или скоромные? — спрашиваю я.

— Их едят живыми… — говорит отец. — Они

в раковинах, как черепахи, но… из двух половинок.

Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое тело, и иллюзия пропадает… Теперь я все понимаю!

— Какая гадость, — шепчу я, — какая гадость!

Так вот что значит устрицы! Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит в раковине, глядит оттуда большими блестящими глазами и играет своими отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное в раковине, с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей… Дети все прячутся, а кухарка, брезгливо морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в столовую. Взрослые берут его и едят… едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками! А оно пищит и старается укусить за губу…

Я морщусь, но… но зачем же зубы мои начинают жевать? Животное мерзко, отвратительно, страшно, но я ем его, ем с жадностью, боясь разгадать его вкус и запах. Одно животное съедено, а я уже вижу блестящие глаза другого, третьего… Я ем и этих… Наконец, ем салфетку, тарелку, калоши отца, белую вывеску… Ем все, что только попадется мне на глаза, потому что я чувствую,

что только от еды пройдет моя болезнь. Устрицы страшно глядят глазами и отвратительны, я дрожу от мысли о них, но я хочу есть! Есть!

— Дайте устриц! Дайте мне устриц! — вырывается из моей груди крик, и я протягиваю вперед руки.

— Помогите, господа! — слышу я в это время глухой, придушенный голос отца. — Совестно просить, но — боже мой! — сил не хватает!

— Дайте устриц! — кричу я, теребя отца за фалды.

— А ты разве ешь устриц? Такой маленький! — слышу я возле себя смех.

Перед нами стоят два господина в цилиндрах и со смехом глядят мне в лицо.

— Ты, мальчуган, ешь устриц? В самом деле? Это интересно! Как же ты их ешь?

Помню, чья-то сильная рука тащит меня к освещенному трактиру. Через минуту собирается вокруг толпа и глядит на меня с любопытством и смехом. Я сижу за столом и ем что-то склизкое, соленое, отдающее сыростью и плесенью. Я ем с жадностью, не жуя, не глядя и не осведомляясь, что я ем. Мне кажется, что если я открою глаза, то непременно увижу блестящие глаза, клешни и острые зубы…

Я вдруг начинаю жевать что-то твердое. Слышится хрустенье.

— Ха-ха! Он раковины ест! — смеется толпа. — Дурачок, разве это можно есть?

Засим я помню страшную жажду. Я лежу на своей постели и не могу уснуть от изжоги и странного вкуса, который я чувствую в своем горячем рту. Отец мой ходит из угла в угол и жестикулирует руками.

— Я, кажется, простудился, — бормочет он. — Что-то такое чувствую в голове… Словно сидит в ней кто-то… А может быть, это оттого, что я не… тово… не ел сегодня… Я, право, странный какой-то, глупый… Вижу, что эти господа платят за устриц десять рублей, отчего бы мне не подойти и не попросить у них несколько… взаймы? Наверное бы дали.

К утру я засыпаю, и мне снится лягушка с клешнями, сидящая в раковине и играющая глазами. В полдень просыпаюсь от жажды и ищу глазами отца: он все еще ходит и жестикулирует…

Капитанский мундир

Восходящее солнце хмурилось на уездный город, петухи еще только потягивались, а между тем в кабаке дяди Рылкина уже были посетители. Их было трое: портной Меркулов, городовой Жратва и казначейский рассыльный Смехунов. Все трое были выпивши.

— Не говори! И не говори! — рассуждал Меркулов, держа городового за пуговицу. — Чин гражданского ведомства, ежели взять которого повыше, в портняжном смысле завсегда утрет нос генералу. Взять таперича хотя камергера… Что это за человек? Какого звания? А ты считай… Четыре аршина сукна наилучшего фабрики Прюнделя с сыновьями, пуговки, золотой воротник, штаны белые с золотым лампасом, все груди в золоте, на вороте, на рукавах и на клапанах блеск! Таперича ежели шить на господ гофмейстеров, шталмейстеров, церемониймейстеров и прочих министерий… Ты как понимаешь? Помню это, шили мы на гофмейстера графа Андрея Семеныча Вонляревского. Мундир — не подходи! Берешься за него руками, а в жилках пульса — цик! цик! Настоящие господа ежели шьют, то не

смей их беспокоить. Снял мерку и шей, а ходить примеривать да прифасониваться никак невозможно. Ежели ты стоющий портной, то сразу по мерке сделай… С колокольни спрыгни, в сапоги попади — во как! А около нас был, братец ты мой, как теперь помню, жандармский корпус… Хозяин наш Осип Яклич и выбирал из жандармов, которые подходящие, чтоб заказчику под корпус подходили, для примерки. Ну-с, это самое… выбрали мы, братец ты мой, для графского мундира одного подходящего жандармика. Позвали… Надевай, харя, и чувствуй!.. Потеха! Надел он, это самое, мундир таперя, поглядел на груди — и что ж! Обомлел, знаешь, затрепетал, без чувств…

— А на исправников шили? — осведомился Смехунов.

— Эко-ся, важная птица! В Петербурге исправников этих, как собак нерезаных… Тут перед ними шапку ломают, а там — «посторонись, чево прешь!». Шили мы на господ военных да на особ первых четырех классов. Особа особе рознь… Ежели ты, положим, пятого класса, то ты — пустяки… Приходи через неделю и все готово — потому, окромя воротника и нарукавников, ничего… А ежели который четвертого класса, или третьего, или, положим, второго, тут уж хозяин

всем в зубы, и беги в жандармский корпус. Шили мы раз, братец ты мой, на персидского консула. Нашили мы ему на грудях и на спине золотых кренделей на полторы тыщи. Думали, что не отдаст; ан нет, заплатил… В Петербурге даже и в татарах благородство есть.

Долго рассказывал Меркулов. В девятом часу он, под влиянием воспоминаний, заплакал и стал горько жаловаться на судьбу, загнавшую его в городишко, наполненный одними только купцами и мещанами. Городовой отвел уже двоих в полицию, рассыльный уходил два раза на почту и в казначейство и опять приходил, а он все жаловался. В полдень он стоял перед дьячком, бил себя кулаком по груди и роптал:

— Не желаю я на хамов шить! Не согласен! В Петербурге я самолично на барона Шпуцеля и на господ офицеров шил! Отойди от меня, длиннополая кутья, чтоб я тебя не видел своими глазами! Отойди!

— Возмечтали вы о себе высоко, Трифон Пантелеич, — убеждал портного дьячок. — Хоть вы и артист в своем цехе, но бога и религию не должны забывать. Арий возмечтал, вроде как вы, и помер поносной смертью. Ой, помрете и вы!

— И помру! Пущай лучше помру, чем зипуны

шить!

— Мой анафема здесь? — послышался вдруг за дверью бабий голос, и в кабак вошла жена Меркулова Аксинья, пожилая баба с подсученными рукавами и перетянутым животом. — Где он, идол? — окинула она негодующим взором посетителей. — Иди домой, чтоб тебя разорвало, там тебя какой-то офицер спрашивает!

— Какой офицер? — удивился Меркулов.

— А шут его знает! Сказывает, заказать пришел.

Меркулов почесал всей пятерней свой большой нос, что он делал всякий раз, когда хотел выразить крайнее изумление, и пробормотал:

— Белены баба объелась… Пятнадцать годов не видал лица благородного и вдруг нынче, в постный день — офицер с заказом! Гм!.. Пойти поглядеть…

Меркулов вышел из кабака и, спотыкаясь, побрел домой… Жена не обманула его. У порога своей избы он увидел капитана Урчаева, делопроизводителя местного воинского начальника.

— Ты где это шатаешься? — встретил его капитан. — Целый час жду… Можешь мне мундир сшить?

— Ваше благор… Господи! — забормотал Мер-

кулов, захлебываясь и срывая со своей головы шапку вместе с клочком волос. — Ваше благородие! Да нешто впервой мне это самое? Ах, господи! На барона Шпуцеля шил… Эдуарда Карлыча… Господин подпоручик Зембулатов до сей поры мне десять рублей должен. Ах! Жена, да дай же его благородию стульчик, побей меня бог… Прикажете мерочку снять или дозволите шить на глазомер?

— Ну-с… Твое сукно и чтоб через неделю было готово… Сколько возьмешь?

— Помилуйте, ваше благородие… Что вы-с, — усмехнулся Меркулов. — Я не купец какой-нибудь. Мы ведь понимаем, как с господами… Когда на консула персидского шили, и то без слов…

Снявши с капитана мерку и проводив его, Меркулов целый час стоял посреди избы и с отупением глядел на жену. Ему не верилось…

— Ведь этакая, скажи на милость, оказия! — проворчал он наконец. — Где же я денег возьму на сукно? Аксинья, дай-ка, братец ты мой, мне в кредит те деньги, что за корову выручили!

Аксинья показала ему кукиш и плюнула. Немного погодя она работала кочергой, била на мужниной голове горшки, таскала его за бороду, выбегала на улицу и кричала: «Ратуйте, кто в бога

верует! Убил!..» — но ни к чему не привели эти протесты. На другое утро она лежала в постели и прятала от подмастерий свои синяки, а Меркулов ходил по лавкам и, ругаясь с купцами, выбирал подходящее сукно.

Для портного наступила новая эра. Просыпаясь утром и обводя мутными глазами свой маленький мирок, он уже не плевал с остервенением… А что диковиннее всего, он перестал ходить в кабак и занялся работой. Тихо помолившись, он надевал большие стальные очки, хмурился и священнодейственно раскладывал на столе сукно.

Через неделю мундир был готов. Выгладив его, Меркулов вышел на улицу, повесил на плетень и занялся чисткой; снимет пушинку, отойдет на сажень, щурится долго на мундир и опять снимет пушинку — и этак часа два.

— Беда с этими господами! — говорил он прохожим. — Нет уж больше моей возможности, замучился! Образованные, деликатные — подикась угоди!

На другой день после чистки Меркулов помазал голову маслом, причесался, завернул мундир в новый коленкор и отправился к капитану.

— Некогда мне с тобой, остолопом, разговаривать! — останавливал он каждого встречного. —

Нешто не видишь, что мундир к капитану несу?

Через полчаса он воротился от капитана.

— С получением вас, Трифон Пантелеич! — встретила его Аксинья, широко ухмыляясь и застыдившись.

— Ну и дура! — ответил ей муж. — Нешто настоящие господа платят сразу? Это не купец какой-нибудь — взял да тебе сразу и вывалил! Дура…

Два дня Меркулов лежал на печи, не пил, не ел и предавался чувству самоудовлетворения, точь-в-точь как Геркулес по совершении всех своих подвигов. На третий он отправился за получкой.

— Их благородие вставши? — прошептал он, вползая в переднюю и обращаясь к денщику.

И, получив отрицательный ответ, он стал столбом у косяка и принялся ждать.

— Гони в шею! Скажи, что в субботу! — услышал он, после продолжительного ожидания, хрипенье капитана.

То же самое услышал он в субботу, в одну, потом в другую… Целый месяц ходил он к капитану, высиживал долгие часы в передней и вместо денег получал приглашение убираться к черту и прийти в субботу. Но он не унывал, не роптал, а напротив… Он даже пополнел. Ему нравилось

долгое ожидание в передней, «гони в шею» звучало в его ушах сладкой мелодией.

— Сейчас узнаешь благородного! — восторгался он всякий раз, возвращаясь от капитана домой. — У нас в Питере все такие были…

До конца дней своих согласился бы Меркулов ходить к капитану и ждать в передней, если бы не Аксинья, требовавшая обратно деньги, вырученные за корову.

— Принес деньги? — встречала она его каждый раз. — Нет? Что же ты со мной делаешь, пес лютый? А?.. Митька, где кочерга?

Однажды под вечер Меркулов шел с рынка и тащил на спине куль с углем. За ним торопилась Аксинья.

— Ужо будет тебе дома на орехи! Погоди! — бормотала она, думая о деньгах, вырученных за корову.

Вдруг Меркулов остановился как вкопанный и радостно вскрикнул. Из трактира «Веселие», мимо которого они шли, опрометью выбежал какой-то господин в цилиндре, с красным лицом и пьяными глазами. За ним гнался капитан Урчаев с кием в руке, без шапки, растрепанный, разлохмаченный. Новый мундир его был весь в мелу, одна погона глядела в сторону.

— Я заставлю тебя играть, шулер! — кричал капитан, неистово махая кием и утирая со лба пот. — Я научу тебя, протобестия, как играть с порядочными людьми!

— Погляди-кась, дура! — зашептал Меркулов, толкая жену под локоть и хихикая. — Сейчас видать благородного. Купец ежели что сошьет для своего мужицкого рыла, так и сносу нет, лет десять таскает, а этот уж истрепал мундир! Хоть новый шей!

— Поди попроси у него деньги! — сказала Аксинья. — Поди!

— Что ты, дура! На улице? И ни-ни…

Как ни противился Меркулов, но жена заставила его подойти к рассвирепевшему капитану и заговорить о деньгах.

— Пошел вон! — ответил ему капитан. — Ты мне надоел!

— Я, ваше благородие, понимаю-с… Я ничего-с… но жена… неразумная тварь… Сами знаете, какой ум в голове у ихнего бабьего звания…

— Ты мне надоел, говорят тебе! — взревел капитан, тараща на него пьяные, мутные глаза. — Пошел прочь!

— Понимаю, ваше благородие! Но я касательно бабы, потому, изволите знать, деньги-то коро-

вьи… Отцу Иуде корову продали…

— Ааа… ты еще разговаривать, тля!

Капитан размахнулся и — трах! Со спины Меркулова посыпался уголь, из глаз — искры, из рук выпала шапка… Аксинья обомлела. Минуту стояла она неподвижно, как Лотова жена, обращенная в соляной столб, потом зашла вперед и робко взглянула на лицо мужа… К ее великому удивлению, на лице Меркулова плавала блаженная улыбка, на смеющихся глазах блестели слезы…

— Сейчас видать настоящих господ! — бормотал он. — Люди деликатные, образованные… Точь-в-точь, бывало… по самому этому месту, когда носил шубу к барону Шпуцелю, Эдуарду Карлычу… Размахнулись и — трах! И господин подпоручик Зембулатов тоже… Пришел к ним, а они вскочили и изо всей мочи… Эх, прошло, жена, мое время! Не понимаешь ты ничего! Прошло мое время!

Меркулов махнул рукой и, собрав уголь, побрел домой.

У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика Трифона, в имении вдовы бывшего уездного предводителя Трифона Львовича Завзятова бывает необычайное движение. В этот день вдова предводителя Любовь Петровна служит по усопшем имениннике панихиду, а после панихиды — благодарственное господу богу молебствие. На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите теперешнего предводителя Хрумова, председателя земской управы Марфуткина, непременного члена Потрашкова, обоих участковых мировых, исправника Кринолинова, двух становых, земского врача Дворнягина, пахнущего йодоформом, всех помещиков, больших и малых, и проч. Всего набирается человек около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, пробираются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги бесшумны, но торжественность случая заставляет инстинктивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе руками. В зале уже все готово. Отец Евмений, маленький старичок, в высокой полинявшей камилавке, надевает черные ризы. Диакон Конкордиев,

красный как рак и уже облаченный, бесшумно перелистывает требник и закладывает в него бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука, надув широко щеки и выпучив глаза, раздувает кадило. Зала постепенно наполняется синеватым, прозрачным дымком и запахом ладана. Народный учитель Геликонский, молодой человек, в новом мешковатом сюртуке и с большими угрями на испуганном лице, разносит на мельхиоровом подносе восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит впереди около столика с кутьей и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая вздохами. Лица у всех натянутые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи слабо потрескивают. Пение, сначала резкое и оглушительное, вскоре, когда певчие мало-помалу приспособляются к акустическим условиям комнат, делается тихим, стройным… Мотивы все печальные, заунывные… Гости мало-помалу настраиваются на меланхолический лад и задумываются. В головы их лезут мысли о краткости жизни человеческой, о бренности, суете мирской… Припоминается покойный Завзятов, плотный, краснощекий,

выпивавший залпом бутылку шампанского и разбивавший лбом зеркала. А когда поют «Со святыми упокой» и слышатся всхлипыванья хозяйки, гости начинают тоскливо переминаться с ноги на ногу. У более чувствительных начинает почесываться в горле и около век. Председатель земской управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чувство, нагибается к уху исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петровичем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… Ольга Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта искусственный зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почтительно отбирает свечи, и панихида кончается. За сим следуют минутная суматоха, перемена риз и молебен. После молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости потирают руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте покойного Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой рассказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу на ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот завтрак до того роскошен,

что дьякон Конкордиев ежегодно, при взгляде на него, считает своею обязанностью развести руками, покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые богам.

Завтрак действительно необыкновенен. На столе есть все, что только могут дать флора и фауна, сверхъестественного же в нем разве только одно: на столе есть все, кроме… спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать в доме карт и спиртных напитков — двух вещей, погубивших ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом и маслом, словно на смех и в наказание завтракающим, всплошную состоящим из отчаянных пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводительша. — Только, извините, водки у меня нет… Не держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно приступают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в резанье, в жевании видна какая-то лень, апатия… Видимо, чего-то не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один мировой другому. — Такое же чувство было у меня, когда жена с инженером бежала… Не

могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в карманах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает он громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.

— Что, небось, противно всухомятку трескать? — шепчет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там у меня в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторожней, бутылкой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! два слова… по секрету! — догоняет его Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — хвастает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… двести пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это известие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не верят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть на шубу и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не выносит

тайком из передней пять пустых бутылок… Когда подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он забыл свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы одному не скучно было идти, он берет с собою диакона, которому кстати же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в кабинете и пишет старинной петербургской подруге письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она между прочим, — у меня была панихида по покойном. Были на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те годы, горячих напитков — ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со своего дома. Отец Евмений в восторге от моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, ma chere[46], если б ты знала, как любят меня мои медведи! Председатель земской управы Марфуткин после завтрака припал к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно замотав головой, заплакал:

---

[46] Примечания: 46
Моя дорогая *(франц.)*.

много чувства, но нет слов! Отец Евмений, этот чудный старикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, но понять искреннее чувство я умею. Исправник, тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, стал передо мной на колени, хотел прочесть стихи своего сочинения (он у нас поэт), но… не хватило сил… покачнулся и упал… С великаном сделалась истерика… Можешь представить мой восторг! Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный председатель мирового съезда Алалыкин, человек полный и апоплексический, почувствовал себя дурно и пролежал на диване в бессознательном состоянии два часа. Пришлось отливать его водой… Спасибо доктору Дворнягину: принес из своей аптеки бутылку коньяку и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел в себя и был увезен…»

Живая хронология

Гостиная статского советника Шарамыкина окутана приятным полумраком. Большая бронзовая лампа с зеленым абажуром красит в зелень à la «украинская ночь» стены, мебель, лица… Изредка в потухающем камине вспыхивает тлеющее полено и на мгновение заливает лица цветом пожарного зарева; но это не портит общей световой гармонии. Общий тон, как говорят художники, выдержан.

Перед камином в кресле, в позе только что пообедавшего человека, сидит сам Шарамыкин, пожилой господин с седыми чиновничьими бакенами и с кроткими голубыми глазами. По лицу его разлита нежность, губы сложены в грустную улыбку. У его ног, протянув к камину ноги и лениво потягиваясь, сидит на скамеечке вице-губернатор Лопнев, бравый мужчина лет сорока. Около пианино возятся дети Шарамыкина: Нина, Коля, Надя и Ваня. Из слегка отворенной двери, ведущей в кабинет г-жи Шарамыкиной, робко пробивается свет. Там за дверью, за своим письменным столом сидит жена Шарамыкина, Анна Павловна, председательница местного дам-

ского комитета, живая и пикантная дамочка лет тридцати с хвостиком. Ее черные бойкие глазки бегают сквозь пенсне по страницам французского романа. Под романом лежит растрепанный комитетский отчет за прошлый год.

— Прежде наш город в этом отношении был счастливее, — говорит Шарамыкин, щуря свои кроткие глаза на тлеющие уголья. — Ни одной зимы не проходило без того, чтобы не приезжала какая-нибудь звезда. Бывали и знаменитые актеры и певцы, а нынче… черт знает что! — кроме фокусников да шарманщиков, никто не наезжает. Никакого эстетического удовольствия… Живем, как в лесу. Да-с… А помните, ваше превосходительство, того итальянского трагика… как его?., еще такой брюнет, высокий… Дай бог память… Ах да! Луиджи Эрнесто де Руджиеро… Талант замечательный… Сила! Одно слово скажет, бывало, и театр ходором ходит. Моя Анюточка принимала большое участие в его таланте. Она ему и театр выхлопотала, и билеты на десять спектаклей распродала… Он ее за это декламации и мимике учил. Душа человек! Приезжал он сюда… чтоб не соврать… лет двенадцать тому назад… Нет, вру… Меньше, лет десять… Анюточка, сколько нашей Нине лет?

— Десятый год! — кричит из своего кабинета Анна Павловна. — А что?

— Ничего, мамочка, это я так… И певцы хорошие приезжали, бывало… Помните вы tenore di grazia[47] Прилипчина? Что за душа человек! Что за наружность! Блондин… лицо этакое выразительное, манеры парижские… А что за голос, ваше превосходительство! Одна только беда: некоторые ноты желудком пел и «ре» фистулой брал, а то все хорошо. У Тамберлика, говорил, учился… Мы с Анюточкой выхлопотали ему залу в общественном собрании, и в благодарность за это он, бывало, нам целые дни и ночи распевал… Анюточку петь учил… Приезжал он, как теперь помню, в Великом посту, лет… лет двенадцать тому назад. Нет, больше… Вот память, прости господи! Анюточка, сколько нашей Надечке лет?

— Двенадцать!

— Двенадцать… ежели прибавить десять месяцев… Ну, так и есть… тринадцать!.. Прежде у нас в городе как-то и жизни больше было… Взять к примеру хоть благотворительные вечера. Какие прекрасные бывали у нас прежде вечера. Что за прелесть! И поют, и играют, и читают… После

---

[47] Примечания: 47
Лирический тенор *(итал.).*

войны, помню, когда здесь пленные турки стояли, Анюточка делала вечер в пользу раненых. Собрали тысячу сто рублей… Турки-офицеры, помню, без ума были от Анюточкина голоса, и все ей руку целовали. Хе, хе… Хоть и азиаты, а признательная нация. Вечер до того удался, что я, верите ли, в дневник записал. Это было, как теперь помню, в… семьдесят шестом… нет! в семьдесят седьмом… Нет! Позвольте, когда у нас турки стояли? Анюточка, сколько нашему Колечке лет?

— Мне, папа, семь лет! — говорит Коля, черномазый мальчуган с смуглым лицом и черными, как уголь, волосами.

— Да, постарели, и энергии той уж нет!.. — соглашается Лопнев, вздыхая. — Вот где причина… Старость, батенька! Новых инициаторов нет, а старые состарились… Нет уж того огня. Я, когда был помоложе, не любил, чтоб общество скучало… Я был первым помощником вашей Анны Павловны… Вечер ли с благотворительною целью устроить, лотерею ли, приезжую ли знаменитость поддержать — все бросал и начинал хлопотать. Одну зиму, помню, я до того захлопотался и набегался, что даже заболел… Не забыть мне этой зимы!.. Помните, какой спектакль сочинили мы с вашей Анной Павловной в пользу

погорельцев?

— Да это в каком году было?

— Не очень давно… В семьдесят девятом… Нет, в восьмидесятом, кажется! Позвольте, сколько вашему Ване лет?

— Пять! — кричит из кабинета Анна Павловна.

— Ну, стало быть, это было шесть лет тому назад… Да-с, батенька, были дела! Теперь уж не то! Нет того огня!

Лопнев и Шарамыкин задумываются. Тлеющее полено вспыхивает в последний раз и подергивается пеплом.

Разговор человека с собакой

Была лунная морозная ночь. Алексей Иваныч Романсов сбил с рукава зеленого чертика, отворил осторожно калитку и вошел во Двор.

— Человек, — философствовал он, обходя помойную яму и балансируя, — есть прах, мираж, пепел… Павел Николаич губернатор, но и он пепел. Видимое величие его — мечта, дым… Дунуть раз и — нет его!

— Рррр… — донеслось до ушей философа.

Романсов взглянул в сторону и в двух шагах от себя увидел громадную черную собаку из породы степных овчарок и ростом с доброго волка. Она сидела около дворницкой будки и позвякивала цепью. Романсов поглядел на нее, подумал и изобразил на своем лице удивление. Затем он пожал плечами, покачал головой и грустно улыбнулся.

— Рррр… — повторила собака.

— Нне понимаю! — развел руками Романсов. — И ты… ты можешь рычать на человека? А? Первый раз в жизни слышу. Побей бог… Да нешто тебе не известно, что человек есть венец мироздания? Ты погляди… Я подойду к тебе… Гляди вот… Ведь я человек? Как, по-твоему? Человек я

или не человек? Объясняй!

— Рррр… Гав!

— Лапу! — протянул Романсов собаке руку. — Алану! Не даете? Не желаете? И не нужно. Так и запишем. А пока позвольте вас по морде… Я любя…

— Гав! Гав! Ррр… гав! Авав!

— Аааа… ты кусаться? Очень хорошо, ладно. Так и будем помнить. Значит, тебе плевать на то, что человек есть венец мироздания… царь животных? Значит, из этого следует, что и Павла Николаича ты укусить можешь? Да? Перед Павлом Николаичем все ниц падают, а тебе что он, что другой предмет — все равно? Так ли я тебя понимаю? Ааа… Так, стало быть, ты социалист? Постой, ты мне отвечай… Ты социалист?

— Ррр… гав! гав!

— Постой, не кусайся… О чем бишь я?.. Ах да, насчет пепла. Дунуть и — нет его! Пфф! А для чего живем, спрашивается? Родимся в болезнях матери, едим, пьем, науки проходим, помираем… а для чего все это? Пепел! Ничего не стоит человек! Ты вот собака и ничего не понимаешь, а ежели бы ты могла… залезть в душу! Ежели бы ты могла в психологию проникнуть!

Романсов покрутил головой и сплюнул.

— Грязь… Тебе кажется, что я, Романсов, коллежский секретарь… царь природы… Ошибаешься! Я тунеядец, взяточник, лицемер!.. Я гад!

Алексей Иваныч ударил кулаком себя по груди и заплакал.

— Наушник, шептун… Ты думаешь, что Егорку Корнюшкина не через меня прогнали? А? А кто, позвольте вас спросить, комитетские двести рублей зажилил да на Сургучова свалил? Нешто не я? Гад, фарисей… Иуда! Подлипала, лихоимец… сволочь!

Романсов вытер рукавом слезы и зарыдал.

— Кусай! Ешь! Никто отродясь мне путного слова не сказал… Все только в душе подлецом считают, а в глаза кроме хвалений да улыбок — ни-ни! Хоть бы раз кто по морде съездил да выругал! Ешь, пес! Кусай! Рррви анафему! Лопай предателя!

Романсов покачнулся и упал на собаку.

— Так, именно так! Рви мордализацию! Не жалко! Хоть и больно, а не щади. На, и руки кусай! Ага, кровь течет! Так тебе и нужно, шмерцу! Так! Мерси, Жучка… или как тебя? Мерси… Рви и шубу. Все одно, взятка… Продал ближнего и купил на вырученные деньги шубу… И фуражка с кокардой тоже… Однако о чем бишь я?.. Пора

идти… Прощай, собачечка… шельмочка…

— Рррр.

Романсов погладил собаку и, дав ей еще раз укусить себя за икру, запахнулся в шубу и, пошатываясь, побрел к своей двери…

Проснувшись на другой день в полдень, Романсов увидел нечто необычайное. Голова, руки и ноги его были в повязках. Около кровати стояли заплаканная жена и озабоченный доктор.

Оба лучше

— Непременно же, mes enfants[48], заезжайте к баронессе Шепплинг (через два «и»)... — повторила в десятый раз теща, усаживая меня и мою молодую жену в карету. — Баронесса моя старинная приятельница... Навестите, кстати, и генеральшу Жеребчикову... Она обидится, если вы не сделаете ей визита...

Мы сели в карету и поехали делать послесвадебные визиты. Физиономия моей жены, казалось мне, приняла торжественное выражение, я же повесил нос и впал в меланхолию... Много несходств было между мной и женой, но ни одно из них не причиня до мне столько душевных терзаний, как несходство наших знакомств и связей. В списке жениных знакомых пестрели полковницы, генеральши, баронесса Шепплинг (через два «и»), граф Дерзай-Чертовщинов и целая куча институтских подруг-аристократок; с моей же стороны было одно сплошное моветонство: дядюшка, отставной тюремный смотритель, кузина, содержащая модную мастерскую, чиновники-сослуживцы — все

---

[48] Примечания: 48
Мои дети *(франц.)*.

горькие пьяницы и забулдыги, из которых ни один не был выше титулярного, купец Плевков и проч. Мне было совестно… Чтобы избегнуть срама, следовало бы вовсе не ехать к моим знакомым, но не поехать значило бы навлечь на себя множество нареканий и неприятностей. Кузину еще, пожалуй, можно было похерить, визиты же к дяде и Плевкову были неизбежны. У дяди я брал деньги на свадебные расходы, Плевкову был должен за мебель.

— Сейчас, душончик, — стал я подъезжать к своей супруге, — мы приедем к моему дяде Пупкину. Человек старинного, дворянского рода… дядя у него викарием в какой-то епархии, но оригинал и живет по-свински; т. е. не викарий живет по-свински, а он сам, Пупкин… Везу тебя, чтобы дать тебе случай посмеяться… Болван ужасный…

Карета остановилась около маленького, трехоконного домика с серыми, заржавленными ставнями. Мы вышли из кареты и позвонили… Послышался громкий собачий лай, за лаем внушительное «цыц, проклятая!», визг, возня за дверью… После долгой возни дверь отворилась, и мы вошли в переднюю… Нас встретила моя кузина Маша, маленькая девочка в материнской кофте и с запачканным носом. *Я сделал вид, что*

не узнал ее, и пошел к вешалке, на которой рядом с дядюшкиной лисьей шубой висели чьи-то панталоны и накрахмаленная юбка. Снимая калоши, я робко заглянул в залу. Там за столом сидел мой дядюшка в халате и в туфлях на босую ногу. Надежда не застать его дома обратилась во прах… Прищурив глаза и сопя на весь дом, он вынимал проволокой из водочного графина апельсиновые корки. Вид имел он озабоченный и сосредоточенный, словно телефон выдумывал. Мы вошли… Увидав нас, Пупкин застыдился, выронил из рук проволоку и, подобрав полы халата, опрометью выбежал из залы…

— Я сейчас! — крикнул он.

— Ударился в бегство… — засмеялся я, сгорая со стыда и боясь взглянуть на жену. — Не правда ли, Соня, смешно? Оригинал страшный… А погляди, какая мебель! Стол о трех ножках, параличное фортепиано, часы с кукушкой… Можно подумать, что здесь не люди живут, а мамонты…

— Это что нарисовано? — спросила жена, рассматривая картины, висевшие вперемежку с фотографическими карточками.

— Это старец Серафим в Саровской пустыни медведя кормит… А это портрет викария, когда он еще был инспектором семинарии… Видишь,

«Анну» имеет… Личность почтенная… Я… (я высморкался).

Но ничего мне не было так совестно, как запаха… Пахло водкой, прокисшими апельсинами, скипидаром, которым дядя спасался от моли, кофейной гущей, что в общем давало пронзительную кислятину… Вошел мой кузен Митя, маленький гимназистик с большими оттопыренными ушами, и шаркнул ножкой… Подобрав апельсинные корки, он взял с дивана подушку, смахнул рукавом пыль с фортепиано и вышел… Очевидно, его прислали «прибрать»…

— А вот и я! — заговорил наконец дядя, входя и застегивая жилетку. — А вот и я! Очень рад… весьма! Садитесь, пожалуйста! Только не садитесь на диван: задняя ножка сломана. Садись, Сеня!

Мы сели… Наступило молчание, во время которого Пупкин поглаживал себя по колену, а я старался не глядеть на жену и конфузился.

— Мда… — начал дядя, закуривая сигару (при гостях он всегда курит сигары). — Женился ты, стало быть… Так-с… С одной стороны, это хорошо… Милое существо около, любовь, романсы; с другой же стороны, как пойдут дети, так пуще волка взвоешь! Одному сапоги, другому штанишки, за третьего в гимназию платить надо… и не

приведи бог! У меня, слава богу, жена половину мертвых рожала.

— Как ваше здоровье? — спросил я, желая переменить разговор.

— Плохо, брат! Намедни весь день провалялся… Грудь ломит, озноб, жар… Жена говорит: прими хинины и не раздражайся… А как тут не раздражаться? С утра приказал почистить снег у крыльца, и хоть бы тебе кто! Ни одна шельма ни с места… Не могу же я сам чистить! Я человек болезненный, слабый… Во мне скрытый геморрой ходит.

Я сконфузился и начал громко сморкаться.

— Или, может быть, у меня это от бани… — продолжал дядя, задумчиво глядя на окно. — Может быть! Был я, знаешь, в четверг в бане… часа три парился. А от пару геморрой еще пуще разыгрывается… Доктора говорят, что баня для здоровья нехорошо… Это, сударыня, неправильно… Я сызмальства привык, потому — у меня отец в Киеве на Крещатике баню держал… Бывало, целый день паришься… Благо не платить…

Мне стало невыносимо совестно. Я поднялся и, заикаясь, начал прощаться.

— Куда же это так? — удивился дядя, хватая меня за рукав. — Сейчас тетка выйдет! Закусим,

чем бог послал, наливочки выпьем!.. Солонинка есть, Митя за колбасой побежал… Экие вы, право, церемонные! Загордился, Сеня! Нехорошо! Венчальное платье не у Глаши заказал! Моя дочь, сударыня, белошвейную держит… Шила вам, я знаю, мадам Степанид, да нешто Степанидка с нами сравняется! Мы бы и дешевле взяли…

Не помню, как я простился с дядей, как добрался до кареты… Я чувствовал, что я уничтожен, оплеван, и ждал каждое мгновение услышать презрительный смех институтки-жены…

«А какой мове-жанр ждет нас у Плевкова! — думал я, леденея от ужаса. — Хоть бы скорее отделаться, черт бы их взял совсем! И на мое несчастье — ни одного знакомого генерала! Есть один знакомый полковник в отставке, да и тот портерную держит! Ведь этакий я несчастный!» — Ты, Сонечка, — обратился я к жене плачущим голосом, — извини, что я возил тебя сейчас в тот хлев… Думал дать тебе случай посмеяться, понаблюдать типы… Не моя вина, что вышло так пошло, мерзко… Извиняюсь…

Я робко взглянул на жену и увидал больше, чем мог ожидать при всей моей мнительности. Глаза жены были налиты слезами, на щеках горел румянец не то стыда, не то гнева, руки судорожно

щипали бахрому у каретного окна… Меня бросило в жар и передернуло…

«Ну, начинается мой срам!» — подумал я, чувствуя, как наливаются свинцом мои руки и ноги. — Но не виноват же я, Соня! — вырвался у меня вопль. — Как, право, глупо с твоей стороны! Свиньи они, моветоны, но ведь не я же произвел их в свои родичи!

— Если тебе не нравятся твои простяки, — всхлипнула Соня, глядя на меня умоляющими глазами, — то мои и подавно не понравятся… Мне совестно, и я никак не решусь тебе высказать… Голубчик, миленький… Сейчас баронесса Шепплинг начнет тебе рассказывать, что мама служила у нее в экономках и что мы с мамой неблагодарные, не благодарим ее за прошлые благодеяния теперь, когда она впала в бедность… Но ты не верь ей, пожалуйста! Эта нахалка любит врать… Клянусь тебе, что к каждому празднику мы посылаем ей голову сахару и фунт чаю!

— Да ты шутишь, Соня! — удивился я, чувствуя, как свинец оставляет мои члены и как по всему телу разливается живительная легкость. — Баронессе голову сахару и фунт чаю!.. Ах!

— А когда увидишь генеральшу Жеребчикову, то не смейся над ней, голубчик! Она такая

несчастная! Если она постоянно плачет и заговаривается, то это оттого, что ее обобрал граф Дерзай-Чертовщинов. Она будет жаловаться на свою судьбу и попросит у тебя взаймы; но ты… тово… не давай… Хорошо бы, если б она на себя потратила, а то все равно графу отдаст!

— Мамочка… ангел! — принялся я от восторга обнимать жену. — Зюмбумбунчик мой! Да ведь это сюрприз! Скажи ты мне,

что твоя баронесса Шепплинг (через два «и») нагишом по улице ходит, то ты бы меня еще больше разодолжила! Ручку!

И мне вдруг стало жаль, что я отказался у дяди от солонины, не побренчал на его параличном фортепиано, не выпил наливочки… Но тут мне вспомнилось, что у Плевкова подают хороший коньяк и поросенка с хреном.

— Валяй к Плевкову! — крикнул я во все горло вознице.

Мелюзга

«Милостивый государь, отец и благодетель! — сочинял начерно чиновник Невыразимов поздравительное письмо. — Желаю как сей Светлый день, так и многие предбудущие провести в добром здравии и благополучии. А также и семейству жел…»

Лампа, в которой керосин был уже на исходе, коптила и воняла гарью. По столу, около пишущей руки Невыразимова, бегал встревоженно заблудившийся таракан. Через две комнаты от дежурной швейцар Парамон чистил уже в третий раз свои парадные сапоги, и с такой энергией, что его плевки и шум ваксельной щетки были слышны во всех комнатах.

«Что бы еще такое ему, подлецу, написать?» — задумался Невыразимов, поднимая глаза на закопченный потолок.

На потолке увидел он темный круг — тень от абажура. Ниже были запыленные карнизы, еще ниже — стены, выкрашенные во время оно в сине-бурую краску. И дежурная комната показалась ему такой пустыней, что стало жалко не только себя, но даже таракана…

«Я-то отдежурю и выйду отсюда, а он весь свой тараканий век здесь продежурит, — подумал он, потягиваясь. — Тоска! Сапоги себе почистить, что ли?»

И, еще раз потянувшись, Невыразимов лениво поплелся в швейцарскую. Парамон уже не чистил сапог… Держа в одной руке щетку, а другой крестясь, он стоял у открытой форточки и слушал…

— Звонют-с! — шепнул он Невыразимову, глядя на него неподвижными, широко раскрытыми глазами. — Уже-с!

Невыразимов подставил ухо к форточке и прислушался. В форточку, вместе со свежим весенним воздухом, рвался в комнату пасхальный звон. Рев колоколов мешался с шумом экипажей, и из звукового хаоса выделялся только бойкий теноровый звон ближайшей церкви да чей-то громкий, визгливый смех.

— Народу-то сколько! — вздохнул Невыразимов, поглядев вниз на улицу, где около зажженных плошек мелькали одна за другой человеческие тени. — Все к заутрене бегут… Наши-то теперь, небось, выпили и по городу шатаются. Смеху-то этого сколько, разговору! Один только я несчастный такой, что должен здесь сидеть в этакий день. И каждый год мне это приходится!

— А кто вам велит наниматься? Ведь вы не дежурный сегодня, а Заступов вас за себя нанял. Как людям гулять, так вы и нанимаетесь… Жадность!

— Какой черт жадность? Не из чего и жадничать: всего два рубля денег да галстук на придачу… Нужда, а не жадность! А хорошо бы теперь, знаешь, пойти с компанией к заутрене, а потом разговляться… Выпить бы этак, закусить, да и спать завалиться… Сидишь ты за столом, свяченый кулич, а тут самовар шипит и сбоку какая-нибудь этакая обжешка…[49] Рюмочку выпил и за подбородочек подержал, а оно и чувствительно… человеком себя чувствуешь… Эхх… пропала жизнь! Вон какая-то шельма в коляске проехала, а ты тут сиди да мысли думай…

— Всякому свое, Иван Данилыч. Бог даст, и вы дослужитесь, в колясках ездить будете.

— Я-то? Ну, нет, брат, шалишь. Мне дальше титулярного не пойти, хоть тресни… Я необразованный.

— Наш генерал тоже без всякого образования, одначе…

— Ну, генерал, прежде чем этого достигнуть, сто тысяч украл. И осанка, брат, у него не та, что

---

[49] Примечания: 49
Предмет (*от франц.* — objet).

у меня… С моей осанкой недалеко уйдешь! И фамилия преподлейшая: Невыразимов! Одним словом, брат, положение безвыходное. Хочешь — так живи, а не хочешь — вешайся…

Невыразимов отошел от форточки и в тоске зашагал по комнатам. Рев колоколов становился все сильнее и сильнее. Чтобы слышать его, не было уже надобности стоять у окна. И чем явственнее слышался звон, чем громче стучали экипажи, тем темнее казались бурые стены и закопченные карнизы, тем сильнее коптила лампа.

«Нешто удрать с дежурства?» — подумал Невыразимов.

Но бегство это не обещало ничего путного… Выйдя из правления и пошатавшись по городу, Невыразимов отправился бы к себе на квартиру, а на квартире у него было еще серее и хуже, чем в дежурной комнате… Допустим, что этот день он провел бы хорошо, с комфортом, но что же дальше? Все те же серые стены, все те же дежурства по найму и поздравительные письма…

Невыразимов остановился посреди дежурной комнаты и задумался.

Потребность новой, лучшей жизни невыносимо больно защемила его за сердце. Ему страстно захотелось очутиться вдруг на улице, слиться

с живой толпой, быть участником торжества, ради которого ревели все эти колокола и гремели экипажи. Ему захотелось того, что переживал он когда-то в детстве: семейный кружок, торжественные физиономии близких, белая скатерть, свет, тепло… Вспомнил он коляску, в которой только что проехала барыня, пальто, в котором щеголяет экзекутор, золотую цепочку, украшающую грудь секретаря… Вспомнил теплую постель, Станислава, новые сапоги, виц-мундир без протертых локтей… вспомнил потому, что всего этого у него не было…

«Украсть нешто? — подумал он. — Украсть-то, положим, не трудно, но вот спрятать-то мудрено… В Америку, говорят, с краденым бегают, а черт ее знает, где эта самая Америка! Для того, чтобы украсть, тоже ведь надо образование иметь».

Звон утих. Слышался только отдаленный шум экипажей да кашель Парамона, а грусть и злоба Невыразимова становились все сильнее, невыносимей. В присутствии часы пробили половину первого.

«Донос написать, что ли? Прошкин донес и в гору пошел…»

Невыразимов сел за свой стол и задумался. Лампа, в которой керосин совсем уже выгорел,

сильно коптила и грозила потухнуть. Заблудившийся таракан все еще сновал по столу и не находил пристанища…

«Донести-то можно, да как его сочинишь! Надо со всеми экивоками, с подходцами, как Прошкин… А куда мне! Такое сочиню, что мне же потом и влетит. Бестолочь, черт возьми меня совсем!»

И Невыразимов, ломая голову над способами, как выйти из безвыходного положения, уставился на написанное им черновое письмо. Письмо это было писано к человеку, которого он ненавидел всей душой и боялся, от которого десять лет уже добивался перевода с шестнадцатирублевого места на восемнадцатирублевое…

— А… бегаешь тут, черт! — хлопнул он со злобой ладонью по таракану, имевшему несчастье попасться ему на глаза. — Гадость этакая!

Таракан упал на спину и отчаянно замотал ногами… Невыразимов взял его за одну ножку и бросил в стекло. В стекле вспыхнуло и затрещало…

И Невыразимову стало легче.

Упразднили!

Недавно, во время половодья, помещик, отставной прапорщик Вывертов, угощал заехавшего к нему землемера Катавасова. Выпивали, закусывали и говорили о новостях. Катавасов, как городской житель, обо всем знал: о холере, о войне и даже об увеличении акциза в размере одной копейки на градус. Он говорил, а Вывертов слушал, ахал и каждую новость встречал восклицаниями: «Скажите, однако! Ишь ты ведь! Ааа...»

— А отчего вы нынче без погончиков, Семен Антипыч? — полюбопытствовал он между прочим.

Землемер не сразу ответил. Он помолчал, выпил рюмку водки, махнул рукой и тогда уже сказал:

— Упразднили!

— Ишь ты! Ааа... Я газет-то не читаю и ничего про это не знаю. Стало быть, нынче гражданское ведомство не носит уже погонов? Скажите, однако! А это, знаете ли, отчасти хорошо: солдатики не будут вас с господами офицерами смешивать и честь вам отдавать. Отчасти же, признаться, и нехорошо. Нет уже у вас того вида, сановитости! Нет того благородства!

— Ну, да что! — сказал землемер и махнул рукой. — Внешний вид наружности не составляет важного предмета. В погонах ты или без погонов — это все равно, было бы в тебе звание сохранено. Мы нисколько не обижаемся. А вот вас так действительно обидели, Павел Игнатьич! Могу посочувствовать.

— То есть как-с? — спросил Вывертов. — Кто же меня может обидеть?

— Я насчет того факта, что вас упразднили. Прапорщик хоть и маленький чин, хоть и ни то ни се, но все же он слуга отечества, офицер… кровь проливал… За что его упразднять?

— То есть… извините, я вас не совсем понимаю-с… — залепетал Вывертов, бледнея и делая большие глаза. — Кто же меня упразднял?

— Да разве вы не слыхали? Был такой указ, чтоб прапорщиков вовсе не было. Чтоб ни одного прапорщика! Чтоб и духу их не было! Да разве вы не слыхали? Всех служащих прапорщиков велено в подпоручики произвести, а вы, отставные, как знаете. Хотите, будьте прапорщиками, а не хотите, так и не надо.

— Гм… Кто же я теперь такой есть?

— А бог вас знает, кто вы. Вы теперь — ничего, недоумение, эфир! Теперь вы и сами не разберете,

кто вы такой.

Вывертов хотел спросить что-то, но не смог. Под ложечкой у него похолодело, колени подогнулись, язык не поворачивался. Как жевал колбасу, так она и осталась у него во рту не разжеванной.

— Нехорошо с вами поступили, что и говорить! — сказал землемер и вздохнул. — Все хорошо, но этого мероприятия одобрить не могу. То-то, небось, теперь в иностранных газетах! А?

— Опять-таки я не понимаю… — выговорил Вывертов. — Ежели я теперь не прапорщик, то кто же я такой? Никто? Нуль? Стало быть, ежели я вас понимаю, мне может теперь всякий сгрубить, может на меня тыкнуть?

— Этого уж я не знаю. Нас же принимают теперь за кондукторов! Намедни начальник движения на здешней дороге идет, знаете ли, в своей инженерной шинели, по-нынешнему без погонов, а какой-то генерал и кричит: «Кондуктор, скоро ли поезд пойдет?» Вцепились! Скандал! Об этом в газетах нельзя писать, но ведь… всем известно! Шила в мешке не утаишь!

Вывертов, ошеломленный новостью, уж больше не пил и не ел. Раз попробовал он выпить холодного квасу, чтобы прийти в чувство, но квас остановился поперек горла и — назад.

Проводив землемера, упраздненный прапорщик заходил по всем комнатам и стал думать. Думал, думал и ничего не надумал. Ночью он лежал в постели, вздыхал и тоже думал.

— Да будет тебе мурлыкать! — сказала жена Арина Матвеевна и толкнула его локтем. — Стонет, словно родить собирается! Может быть, это еще и неправда. Ты завтра съезди к кому-нибудь и спроси. Тряпка!

— А вот как останешься без звания и титула, тогда тебе и будет тряпка. Развалилась тут, как белуга, и — тряпка! Не ты, небось, кровь проливала!

На другой день, утром, всю ночь не спавший Вывертов запряг своего каурого в бричку и поехал наводить справки. Решил он заехать к кому-нибудь из соседей, а ежели представится надобность, то и к самому предводителю. Проезжая через Ипатьево, он встретился там с протоиереем Пафнутием Амаликитянским. Отец протоиерей шел от церкви к дому и, сердито помахивая жезлом, то и дело оборачивался к шедшему за ним дьячку и бормотал: «Да и дурак же ты, братец! Вот дурак!»

Вывертов вылез из брички и подошел под благословение.

— С праздником вас, отец протоиерей! — поздравил он, целуя руку. — Обедню изволили служить-с?

— Да, литургию.

— Так-с… У всякого свое дело! Вы стадо духовное пасете, мы землю удобряем по мере сил… А отчего вы сегодня без орденов?

Батюшка вместо ответа нахмурился, махнул рукой и зашагал дальше.

— Им запретили! — пояснил дьячок шепотом.

Вывертов проводил глазами сердито шагавшего протоиерея, и сердце его сжалось от горького предчувствия: сообщение, сделанное землемером, казалось теперь близким к истине!

Прежде всего заехал он к соседу майору Ижице, и, когда его бричка въезжала в майорский двор, он увидел картину. Ижица в халате и турецкой феске стоял посреди двора, сердито топал ногами и размахивал руками. Мимо него взад и вперед кучер Филька водил хромавшую лошадь.

— Негодяй! — кипятился майор. — Мошенник! Каналья! Повесить тебя мало, анафему! Афганец! Ах, мое вам почтение! — сказал он, увидев Вывертова. — Очень рад вас видеть. Как вам это нравится? Неделя уж, как ссадил лошади ногу, и молчит, мошенник! Ни слова! Не догляди я сам,

пропало бы к черту копыто! А? Каков народец? И его не бить по морде? Не бить? Не бить, я вас спрашиваю?

— Лошадка славная, — сказал Вывертов, подходя к Ижице. — Жалко! Вы, майор, за коновалом пошлите. У меня, майор, на деревне есть отличный коновал!

— Майор… — проворчал Ижица, презрительно улыбаясь. — Майор!.. Не до шуток мне! У меня лошадь заболела, а вы: майор! майор! Точно галка: крр!.. крр!

— Я вас, майор, не понимаю. Нешто можно благородного человека с галкой сравнивать?

— Да какой же я майор? Нешто я майор?

— Кто же вы?

— А черт меня знает, кто я! — сказал Ижица. — Уж больше года, как майоров нет. Да вы что же это? Вчера только родились, что ли?

Вывертов с ужасом поглядел на Ижицу и стал отирать с лица пот, предчувствуя что-то очень недоброе.

— Однако позвольте же… — сказал он. — Я вас все-таки не понимаю… Майор ведь чин значительный!

— Да-с!!

— Так как же это? И вы… ничего?

Майор только махнул рукой и начал рассказывать ему, как подлец Филька сшиб лошади копыто, рассказывал длинно и в конце концов даже к самому лицу его поднес больное копыто с гноящейся ссадиной и навозным пластырем, но Вывертов не понимал, не чувствовал и глядел на все, как сквозь решетку. Бессознательно он простился, влез в свою бричку и крикнул с отчаянием:

— К предводителю! Живо! Лупи кнутом!

Предводитель, действительный статский советник Ягодышев, жил недалеко. Через какой-нибудь час Вывертов входил к нему в кабинет и кланялся. Предводитель сидел на софе и читал «Новое время». Увидев входящего, он кивнул головой и указал на кресло.

— Я, ваше превосходительство, — начал Вывертов, — должен был сначала представиться вам, но, находясь в неведении касательно своего звания, осмеливаюсь прибегнуть к вашему превосходительству за разъяснением…

— Позвольте-с, почтеннейший, — перебил его предводитель. — Прежде всего не называйте меня превосходительством. Прошу-с!

— Что вы-с… Мы люди маленькие…

— Не в том дело-с! Пишут вот… (предводитель

ткнул в «Новое время» и проткнул его пальцем) пишут вот, что мы, действительные статские советники, не будем уж более превосходительствами. За достоверное сообщают-с! Что ж? И не нужно, милостивый государь! Не нужно! Не называйте! И не надо!

Ягодышев встал и гордо прошелся по кабинету… Вывертов испустил вздох и уронил на пол фуражку.

«Уж ежели до них добрались, — подумал он, — то о прапорщиках да о майорах и спрашивать нечего. Уйду лучше…»

Вывертов пробормотал что-то и вышел, забыв в кабинете предводителя фуражку. Через два часа он приехал к себе домой бледный, без шапки, с тупым выражением ужаса на лице. Вылезая из брички, он робко взглянул на небо: не упразднили ли уж и солнца? Жена, пораженная его видом, забросала его вопросами, но на все вопросы он отвечал только маханием руки…

Неделю он не пил, не ел, не спал, а как шальной ходил из угла в угол и думал. Лицо его осунулось, взоры потускнели… Ни с кем он не заговаривал, ни к кому ни за чем не обращался, а когда Арина Матвеевна приставала к нему с вопросами, он только отмахивался рукой и — ни звука… Уж

чего только с ним не делали, чтобы привести его в чувство! Поили его бузиной, давали «на внутрь» масла из лампадки, сажали на горячий кирпич, но ничто не помогало, он хирел и отмахивался. Позвали наконец для вразумления отца Пафнутия. Протоиерей полдня бился, объясняя ему, что все теперь клонится не к уничижению, а к возвеличению, но доброе семя его упало на неблагодарную почву. Взял пятерку за труды, да так и уехал, ничего не добившись.

Помолчав неделю, Вывертов как будто бы заговорил.

— Что ж ты молчишь, харя? — набросился он внезапно на казачка Илюшку. — Груби! Издевайся! Тыкай на уничтоженного! Торжествуй!

Сказал это, заплакал и опять замолчал на неделю. Арина Матвеевна решила пустить ему кровь. Приехал фельдшер, выпустил из него две тарелки крови, и от этого словно бы полегчало. На другой день после кровопролития Вывертов подошел к кровати, на которой лежала жена, и сказал:

— Я, Арина, этого так не оставлю. Теперь я на все решился… Чин я свой заслужил, и никто не имеет полного права на него посягать. Я вот что надумал: напишу какому-нибудь высокопоставленному лицу прошение и подпишусь:

прапорщик такой-то… пра-пор-щик… Понимаешь? Назло! Пра-пор-щик… Пускай! Назло!

И эта мысль так понравилась Вывертову, что он просиял и даже попросил есть. Теперь он, озаренный новым решением, ходит по комнатам, язвительно улыбается и мечтает:

— Пра-пор-щик… Назло!

Канитель

На клиросе стоит дьячок Отлукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная от розового и кончая темно-синим. Перед ним на рыжем переплете Цветной триоди лежат две бумажки. На одной из них написано «о здравии», на другой — «за упокой», и под обоими заглавиями по ряду имен… Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она задумалась.

— Дальше кого? — спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом. — Скорей, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану.

— Сейчас, батюшка… Ну, пиши… О здравии рабов божиих: Андрея и Дарьи со чады… Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи…

— Постой, не шибко… Не за зайцем скачешь, успеешь.

— Написал Марию? Ну, таперя Кирилла, Гордея, младенца новопреставленного Герасима, Пантелея… Записал усопшего Пантелея?

— Постой… Пантелей помер?

— Помер… — вздыхает старуха.

— Так как же ты велишь о здравии записывать? — сердится дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку. — Вот тоже еще… Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой?

— За упокой? Сейчас… постой… Ну, пиши… Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора… Запиши… воина Захара… Как пошел на службу в четвертом годе, так с той поры и не слыхать…

— Стало быть, он помер?

— А кто ж его знает? Может, помер, а может, и жив… Ты пиши…

— Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой, коли жив, то о здравии… Пойми вот вашего брата!

— Гм!.. Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его ни записывай: непутящий человек… пропащий… Записал? Таперя за упокой Марка, Левонтия, Арину… ну, и Кузьму с Анной… болящую Федосью…

— Болящую-то Федосью за упокой? Тю!

— Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?

— Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего

в за упокой лезть! Путаешь тут! Изволь вот теперь Федосью херить и в другое место писать… всю бумагу изгадил! Ну, слушай, я тебе прочту… О здравии Андрея, Дарьи со чады, паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новопреставленного младенца Гер… Постой, как же сюда этот Герасим попал? Новопреставленный, и вдруг — о здравии! Нет, запутала ты меня, убогая! Бог с тобой, совсем запутала!

Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел.

— Слушай! О здравии Марии, Кирилла, воина Захарии… Кого еще?

— Авдотью записал?

— Авдотью? Гм… Авдотью… Евдокию… — пересматривает дьячок обе бумажки. — Помню, записывал ее, а теперь шут ее знает… никак не найдешь… Вот она! За упокой записана!

— Авдотью-то за упокой? — удивляется старуха. — Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь!.. Сам вот, сердешный, путаешь, а на меня злобишься. Ты с молитвой пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит да путает…

— Постой, не мешай…

Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачер-

кивает на заупокойном листе Авдотью. Перо на букве «д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок.

— Авдотью, стало быть, долой отсюда… — бормочет он смущенно, — а записать ее туда… Так? Постой… Ежели ее туда, то будет о здравии, ежели же сюда, то за упокой… Совсем запутала баба! И этот еще воин Захария встрял сюда… Шут его принес… Ничего не разберу! Надо сызнова…

Дьячок лезет в шкапчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги.

— Выкинь Захарию, коли так… — говорит старуха. — Уж бог с ним, выкинь…

— Молчи!

Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый листок.

— Я их всех гуртом запишу, — говорит он, — а ты неси к отцу дьякону… Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый; он в семинарии обучался, а я этих самых делов… хоть убей, ничего не понимаю.

Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные полторы копейки и семенит к алтарю.

Последняя могиканша

Я и помещик отставной штаб-ротмистр Докукин, у которого я гостил весною, сидели в одно прекрасное весеннее утро в бабушкиных креслах и лениво глядели в окно. Скука была ужасная.

— Тьфу! — бормотал Докукин. — Такая тоска, что судебному приставу рад будешь!

«Спать улечься, что ли?» — думал я.

И думали мы на тему о скуке долго, очень долго, до тех пор, пока сквозь давно не мытые, отливавшие радугой оконные стекла не заметили маленькой перемены, происшедшей в круговороте вселенной: петух, стоявший около ворот на куче прошлогодней листвы и поднимавший то одну ногу, то другую (ему хотелось поднять обе ноги разом), вдруг встрепенулся и, как ужаленный, бросился от ворот в сторону.

— Кто-то идет или едет… — улыбнулся Докукин. — Хоть бы гостей нелегкая принесла. Все-таки повеселее бы…

Петух не обманул нас. В воротах показалась сначала лошадиная голова с зеленой дугой, затем целая лошадь, и, наконец, темная, тяжелая бричка с большими безобразными крыльями,

напоминавшими крылья жука, когда последний собирается лететь. Бричка въехала во двор, неуклюже повернула налево и с визгом и тарахтением покатила к конюшне. В ней сидели две человеческие фигуры: одна женская, другая, поменьше, — мужская.

— Черт возьми… — пробормотал Докукин, глядя на меня испуганными глазами и почесывая висок. — Не было печали, так вот черти накачали. Недаром я сегодня во сне печь видел.

— А что? Кто это приехал?

— Сестрица с мужем, чтоб их…

Докукин поднялся и нервно прошелся по комнате.

— Даже под сердцем похолодело… — проворчал он. — Грешно не иметь к родной сестре родственных чувств, но — верите ли? — легче мне с разбойничьим атаманом в лесу встретиться, чем с нею. Не спрятаться ли нам? Пусть Тимошка соврет, что мы на съезд уехали.

Докукин стал громко звать Тимошку. Но поздно было лгать и прятаться. Через минуту в передней послышалось шушуканье: женский бас шептался с мужским тенорком.

— Поправь мне внизу оборку! — говорил женский бас. — Опять ты не те брюки надел!

— Синие брюки вы дяденьке Василию Антипычу отдали-с, а пестрые приказали мне до зимы спрятать, — оправдывался тенорок. — Шаль за вами нести или тут прикажете оставить?

Дверь наконец отворилась, и в комнату вошла дама лет сорока, высокая, полная, рассыпчатая, в шелковом голубом платье. На ее краснощеком весноватом лице было написано столько тупой важности, что я сразу как-то почувствовал, почему ее так не любит Докукин. Вслед за полной дамой семенил маленький, худенький человечек в пестром сюртучке, широких панталонах и бархатной жилетке, — узкоплечий, бритый, с красным носиком. На его жилетке болталась золотая цепочка, похожая на цепь от лампадки. В его одежде, движениях, носике, во всей его нескладной фигуре сквозило что-то рабски приниженное, пришибленное… Барыня вошла и, как бы не замечая нас, направилась к иконам и стала креститься.

— Крестись! — обернулась она к мужу.

Человечек с красным носиком вздрогнул и начал креститься.

— Здравствуй, сестра! — сказал Докукин, обращаясь к даме, когда та кончила молиться, и вздохнул.

Дама солидно улыбнулась и потянула свои губы к губам Докукина.

Человечек тоже полез целоваться.

— Позвольте представить… Моя сестра Олимпиада Егоровна Хлыкина… Ее муж Досифей Андреич. А это мой хороший знакомый…

— Очень рада, — сказала протяжно Олимпиада Егоровна, не подавая мне руки. — Очень рада…

Мы сели и минуту помолчали.

— Чай, не ждал гостей? — начала Олимпиада Егоровна, обращаясь к Докукину. — Ян сама не думала быть у тебя, братец, да вот к предводителю еду, так мимоездом…

— А зачем к предводителю едешь? — спросил Докукин.

— Зачем? Да вот на него жаловаться! — кивнула дама на своего мужа.

Досифей Андреич потупил глазки, поджал ноги под стул и конфузливо кашлянул в кулак.

— За что же на него жаловаться?

Олимпиада Егоровна вздохнула.

— Звание свое забывает! — сказала она. — Что ж? Жалилась я и тебе, братец, и его родителям, и к отцу Григорию его возила, чтоб наставление ему прочел, и сама всякие меры принимала, ничего же не вышло! Поневоле приходится господина

предводителя беспокоить…

— Но что же он сделал такое?

— Ничего не сделал, а звания своего не помнит! Он, положим, не пьющий, смиренный, уважительный, но что с того толку, ежели он не помнит своего звания! Погляди-ка, сгорбившись сидит, словно проситель какой или разночинец. Нешто дворяне так сидят? Сиди как следует! Слышишь?

Досифей Андреич вытянул шею, поднял вверх подбородок, вероятно для того, чтобы сесть как следует, и пугливо, исподлобья поглядел на жену. Так глядят маленькие дети, когда бывают виноваты. Видя, что разговор принимает характер интимный, семейный, я поднялся, чтобы выйти. Хлыкина заметила мое движение.

— Ничего, сидите! — остановила она меня. — Молодым людям полезно это слушать. Хоть мы и не ученые, но больше вас пожили. Дай бог всем так пожить, как мы жили… А мы, братец, уж у вас и пообедаем заодно, — повернулась Хлыкина к брату. — Но небось сегодня у вас скоромное готовили. Чай, ты и не помнишь, что нынче среда… — Она вздохнула. — Нам уж прикажи постное изготовить. Скоромного мы есть не станем, это как тебе угодно, братец.

Докукин позвал Тимошку и заказал постный

обед.

— Пообедаем, и к предводителю… — продолжала Хлыкина. — Буду его молить, чтоб он обратил внимание. Его дело глядеть, чтоб дворяне с панталыку не сбивались…

— Да нешто Досифей сбился? — спросил Докукин.

— Словно ты в первый раз слышишь, — нахмурилась Хлыкина. — И то, правду сказать, тебе все равно… Ты-то и сам не слишком свое звание помнишь… А вот мы господина молодого человека спросим. Молодой человек, — обратилась она ко мне, — по-вашему, это хорошо, ежели благородный человек со всякою шушвалью компанию водит?

— Смотря с кем… — замялся я.

— Да хоть бы с купцом Гусевым. Я этого Гусева и к порогу не допускаю, а он с ним в шашки играет да закусывать к нему ходит. Нешто прилично ему с писарем на охоту ходить? О чем он может с писарем разговаривать? Писарь не только что разговаривать, пискнуть при нем не смей, — ежели желаете знать, милостивый государь!

— Характер у меня слабый… — прошептал Досифей Андреич.

— А вот я покажу тебе характер! — погрози-

ла ему жена, сердито стуча перстнем о спинку стула. — Я не дозволю тебе нашу фамилию конфузить! Хоть ты и муж мне, а я тебя осрамлю! Ты должен понимать! Я тебя в люди вывела! Ихний род Хлыкиных, сударь, захудалый род, и ежели я, Докукина урожденная, вышла за него, так он это ценить должен и чувствовать! Он мне, сударь, не дешево стоит, ежели желаете знать! Что мне стоило его на службу определить! Спросите-ка у него! Ежели желаете знать, так мне один только его экзамен на первый чин триста рубликов стоил! А из-за чего хлопочу! Ты думаешь, тетеря, я из-за тебя хлопочу? Не думай! Мне фамилия рода нашего дорога! Ежели б не фамилия, так ты у меня давно бы на кухне сгнил, ежели желаешь знать!

Бедный Досифей Андреич слушал, молчал и только пожимался, не знаю, отчего — от страха или срама. И за обедом не оставляла его в покое строгая супруга. Она не спускала с него глаз и следила за каждым его движением.

— Посоли себе суп! Не так ложку держишь! Отодвинь от себя салатник, а то рукавом зацепишь! Не мигай глазами!

А он торопливо ел и ежился под ее взглядом, как кролик под взглядом удава. Ел он с женою постное и то и дело взглядывал с вожделением

на наши котлетки.

— Молись! — сказала ему жена после обеда. — Благодари братца.

Пообедав, Хлыкина пошла в спальню отдохнуть. По уходе ее Докукин схватил себя за волосы и заходил по комнате.

— Ну, да и несчастный же ты, братец, человек! — сказал он Досифею, тяжело переводя дух. — Я час посидел с ней — замучился; каково же тебе-то с ней дни и ночи… ах! Мученик ты, мученик несчастный! Младенец ты вифлеемский, Иродом убиенный!

Досифей замигал глазками и проговорил:

— Строги они, это действительно-с, но должен я за них денно и нощно бога молить, потому, кроме благодеяний и любви, я от них ничего не вижу.

— Пропащий человек! — махнул рукой Докукин. — А когда-то речи в собраниях говорил, новую сеялку изобретал! Заездила ведьма человека! Эхх!

— Досифей! — послышался женский бас. — Где же ты? Поди сюда, мух от меня отгоняй!

Досифей Андреич вздрогнул и на цыпочках побежал в спальню…

— Тьфу! — плюнул ему вслед Докукин.

Симулянты

Генеральша Марфа Петровна Печонкина, или, как ее зовут мужики, Печончиха, десять лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимает у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптечка, лечебник и счета гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамках под стеклом висят письма какого-то петербургского гомеопата, по мнению Марфы Петровны, очень знаменитого и даже великого, и висит портрет отца Аристарха, которому генеральша обязана своим спасением: отречением от зловредной аллопатии и знанием истины. В передней сидят и ждут пациенты, все больше мужики. Все они, кроме двух-трех, босы, так как генеральша велит оставлять вонючие сапоги на дворе.

Марфа Петровна приняла уже десять человек и вызывает одиннадцатого:

— Гаврила Груздь!

Дверь отворяется и, вместо Гаврилы Груздя, в кабинет входит Замухришин, генеральшин сосед, помещик из оскудевших, маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой

под мышкой. Он ставит палку в угол, подходит к генеральше и молча становится перед ней на одно колено.

— Что вы! Что вы, Кузьма Кузьмич! — ужасается генеральша, вся вспыхивая. — Бога ради!

— Покуда жив буду, не встану! — говорит Замухришин, прижимаясь к ручке. — Пусть весь народ видит мое коленопреклонение, ангел-хранитель наш, благодетельница рода человеческого! Пусть! Которая благодетельная фея даровала мне жизнь, указала мне путь истинный и просветила мудрование мое скептическое, перед тою согласен стоять не только на коленях, но и в огне, целительница наша чудесная, мать сирых и вдовых! Выздоровел! Воскрес, волшебница!

— Я… я очень рада… — бормочет генеральша, краснея от удовольствия. — Это так приятно слышать… Садитесь, пожалуйста! А ведь вы в тот вторник были так тяжело больны!

— Да ведь как болен! Вспомнить страшно! — говорит Замухришин, садясь. — Во всех частях и органах ревматизм стоял. Восемь лет мучился, покою себе не знал… Ни днем ни ночью, благодетельница моя! Лечился я и у докторов, и к профессорам в Казань ездил, и грязями разными лечился, и воды лил, и чего только я не

перепробовал! Состояние свое пролечил, матушка-красавица. Доктора эти, кроме вреда, ничего мне не принесли. Они болезнь мою вовнутрь мне вогнали. Вогнать-то вогнали, а выгнать — наука ихняя не дошла… Только деньги любят брать, разбойники, а ежели касательно пользы человечества, то им и горя мало. Пропишет какой-нибудь хиромантии, а ты пей. Душегубцы, одним словом. Если бы не вы, ангел наш, быть бы мне в могиле! Прихожу от вас в тот вторник, гляжу на крупинки, что вы дали тогда, и думаю: «Ну, какой в них толк? Нешто эти песчинки, еле видимые, могут излечить мою громадную застарелую болезнь?» Думаю, маловер, и улыбаюсь, а как принял крупинку — моментально! словно и болен не был или рукой сняло. Жена глядит на меня выпученными глазами и не верит: «Да ты ли это, Кузя?» — «Я», говорю. И стали мы с ней перед образом на коленки и давай молиться за ангела нашего: «Пошли ты ей, господи, всего, что мы только чувствуем!»

Замухришин вытирает рукавом глаза, поднимается со стула и выказывает намерение снова стать на одно колено, но генеральша останавливает и усаживает его.

— Не меня благодарите! — говорит она, красная

от волнения и глядя восторженно на портрет отца Аристарха. — Не меня! Я тут только послушное орудие… Действительно, чудеса! Застарелый, восьмилетний ревматизм от одной крупинки скрофулозо!

— Изволили вы дать мне три крупинки. Из них одну принял я в обед — и моментально! Другую вечером, а третью на другой день, — и с той поры хоть бы тебе что! Хоть бы кольнуло где! А ведь помирать уже собрался, сыну в Москву написал, чтоб приехал! Умудрил вас господь, целительница! Теперь вот хожу, и словно в раю… В тот вторник, когда у вас был, хромал, а теперь хоть за зайцем готов… Хоть еще сто лет жить. Одна только беда — недостатки наши. И здоров, а для чего здоровье, если жить не на что? Нужда одолела пуще болезни… К примеру взять хоть бы такое дело… Теперь время овес сеять, а как его посеешь, ежели Семенов нет? Нужно бы купить, а денег… известно, какие у нас деньги…

— Я вам дам овса, Кузьма Кузьмич… Сидите, сидите! Вы так меня порадовали, такое удовольствие мне доставили, что не вы, а я должна вас благодарить!

— Радость вы наша! Создаст же господь такую доброту! Радуйтесь, матушка, на свои добрые де-

ла глядючи! А вот нам, грешным, и порадоваться у себя не на что… Люди мы маленькие, малодушные, бесполезные… мелкота… Одно звание только, что дворяне, а в материальном смысле те же мужики, даже хуже… Живем в домах каменных, а выходит один мираж, потому — крыша течет… Не на что тесу купить.

— Я дам вам тесу, Кузьма Кузьмич.

Замухришин выпрашивает еще корову, рекомендательное письмо для дочки, которую намерен везти в институт, и… тронутый щедротами генеральши, от наплыва чувств всхлипывает, перекашивает рот и лезет в карман за платком… Генеральша видит, как вместе с платком из кармана его вылезает какая-то красная бумажка и бесшумно падает на пол.

— Во веки веков не забуду… — бормочет он. — И детям закажу помнить, и внукам… в род и род… Вот, дети, та, которая спасла меня от гроба, которая…

Проводив своего пациента, генеральша минуту глазами, полными слез, глядит на отца Аристарха, потом ласкающим, благоговеющим взором обводит аптечку, лечебники, счета, кресло, в котором только что сидел спасенный ею от смерти человек, и взор ее падает на оброненную пациен-

том бумажку. Генеральша поднимает бумажку, разворачивает ее и видит в ней три крупинки, те самые крупинки, которые она дала в прошлый вторник Замухришину.

— Это те самые… — недоумевает она. — Даже бумажка та самая… Он и не разворачивал даже! Что же он принимал, в таком случае? Странно… Не станет же он меня обманывать!

И в душу генеральши, в первый раз за все десять лет практики, западает сомнение… Она вызывает следующих больных и, говоря с ними о болезнях, замечает то, что прежде незаметным образом проскальзывало мимо ее ушей. Больные, все до единого, словно сговорившись, сначала славословят ее за чудесное исцеление, восхищаются ее медицинскою мудростью, бранят докторов-аллопатов, потом же, когда она становится красной от волнения, приступают к изложению своих нужд. Один просит землицы для запашки, другой дровец, третий позволения охотиться в ее лесах и т. д. Она глядит на широкую, благодушную физиономию отца Аристарха, открывшего ей истину, и новая истина начинает сосать ее за душу. Истина нехорошая, тяжелая…

Лукав человек!

Налим

Летнее утро. В воздухе тишина; только поскрипывает на берегу кузнечик да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег… Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивняка, барахтается в воде плотник Герасим, высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивняка. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима, по горло в воде, стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими, китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим, оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде…

— Да что ты все рукой тычешь? — кричит горбатый Любим, дрожа как в лихорадке. — Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдет, анафема! Держи, говорю!

— Не уйдет… Куда ему уйтить? Он под корягу забился… — говорит Герасим охрипшим, глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живо-

та. — Скользкий, шут, и ухватить не за что.

— Ты за зебры хватай, за зебры!

— Не видать жабров-то… Постой, ухватил за что-то… За губу ухватил… Кусается, шут!

— Не тащи за губу, не тащи — выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай! Опять почал рукой тыкать! Да и беспонятный же мужик, прости царица небесная! Хватай!

— «Хватай»… — дразнит Герасим. — Командер какой нашелся… Шел бы да и хватал бы сам, горбатый черт… Чего стоишь?

— Ухватил бы я, коли б можно было… Нешто при моей низкой комплекцыи можно под берегом стоять? Там глыбоко!

— Ничего, что глыбоко… Ты вплавь…

Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги, он погружается с головой и пускает пузыри.

— Говорил же, что глыбоко! — говорит он, сердито вращая белками. — На шею тебе сяду, что ли?

— А ты на корягу стань… Коряг много, словно лестница…

Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, стано-

вится на нее… Совладавши с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючие клешни рака…

— Тебя еще тут, черта, не видали! — говорит Любим и со злобой выбрасывает на берег рака.

Наконец рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного.

— Во-от он!.. — улыбается Любим. — Зда-аровый, шут… Оттопырь-ка пальцы, я его сичас… за зебры… Постой, не толкай локтем… я его сичас… сичас, дай только взяться… Далече, шут, под корягу забился, не за что и ухватиться… Не доберешься до головы… Пузо одно только и слыхать… Убей мне на шее комара — жжет! Я сичас… под зебры его… Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпыняй его пальцем!

Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами «под зебры», но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, — бултых в воду! Словно испуганные, бегут от берега волнистые круги,

и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и, фыркая, хватается за ветки.

— Утонешь еще, черт, отвечать за тебя придется!.. — хрипит Герасим. — Вылазь, ну тя к лешему! Я сам вытащу!

Начинается ругань… А солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки… Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах. Уж скоро полдень, а Герасим и Любим все еще барахтаются под ивняком. Хриплый бас и озябший, визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня.

— Тащи его за зебры, тащи! Постой, я его выпихну! Да куда суешься-то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком — рыло! Заходи сбоку! Слева заходи, слева, а то вправе колдобина! Угодишь к лешему на ужин! Тяни за губу!

Слышится хлопанье бича… По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову, и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы.

— Потолкай его из-под низу! — слышит он голос

Любима. — Просунь палец! Да ты глухой, че-ерт, что ли? Тьфу!

— Кого это вы, братцы? — кричит Ефим.

— Налима! Никак не вытащим! Под корягу забился! Заходи сбоку! Заходи, заходи!

Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми, темными руками, лезет в портах в воду… Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь.

— Постой, ребятушки! — кричит он. — Постой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо умеючи!..

Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте… Горбатый Любим захлебывается, и воздух оглашается резким, судорожным кашлем.

— Где пастух? — слышится с берега крик. — Ефи-им! Пастух! Где ты? Стадо в сад полезло! Гони, гони из саду! Гони! Да где ж он, старый разбойник?

Слышатся мужские голоса, затем женский… Из-за решетки барского сада показывается барин

Андрей Андреич в халате из персидской шали и с газетой в руке…

Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит к купальне…

— Что здесь? Кто орет? — спрашивает он строго, увидав сквозь ветви ивняка три мокрые головы рыболовов. — Что вы здесь копошитесь?

— Ры… рыбку ловим… — лепечет Ефим, не поднимая головы.

— А вот я тебе задам рыбку! Стадо в сад полезло, а он рыбку!.. Когда же купальня будет готова, черти? Два дня как работаете, а где ваша работа?

— Бу… будет готова… — кряхтит Герасим. — Лето велико, успеешь еще, вашескородие, помыться… Пфррр… Никак вот тут с налимом не управимся… Забрался под корягу и словно в норе: ни туда ни сюда…

— Налим? — спрашивает барин и глаза его подергиваются лаком. — Так тащите его скорей!

— Ужо дашь полтинничек… Удружим ежели… Здоровенный налим, что твоя купчиха… Стоит, вашескородие, полтинник… за труды… Не мни его, Любим, не мни, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человек… как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол! Не болтайте

ногами!

Проходит пять минут, десять… Барину становится невтерпеж.

— Василий! — кричит он, повернувшись к усадьбе. — Васька! Позовите ко мне Василия!

Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит.

— Полезай в воду, — приказывает ему барин, — помоги им вытащить налима… Налима не вытащат!

Василий быстро раздевается и лезет в воду.

— Я сичас… — бормочет он. — Где налим? Я сичас… Мы это мигом! А ты бы ушел, Ефим! Нечего тебе тут, старому человеку, не в свое дело мешаться! Который тут налим? *Я его* сичас… Вот он! Пустите руки!

— Да чего пустите руки? Сами знаем: пустите руки! А ты вытащи!

— Да нешто его так вытащишь? Надо за голову!

— А голова под корягой! Знамо дело, дурак!

— Ну, не лай, а то влетит! Сволочь!

— При господине барине и такие слова… — лепечет Ефим. — Не вытащите вы, братцы! Уж больно ловко он засел туда!

— Погодите, я сейчас… — говорит барин и на-

чинает торопливо раздеваться. — Четыре вас дурака, и налима вытащить не можете!

Раздевшись, Андрей Андреич дает себе остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведет ни к чему.

— Подрубить корягу надо! — решает наконец Любим. — Герасим, сходи за топором! Топор подайте!

— Пальцев-то себе не отрубите! — говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу. — Ефим, пошел вон отсюда! Постойте, я налима вытащу… Вы не тово…

Коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреич, к великому своему удовольствию, чувствует, как его пальцы лезут налиму под жабры.

— Тащу, братцы! Не толпитесь… стойте… тащу!

На поверхности показывается большая налимья голова и за нею черное аршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться.

— Шалишь… Дудки, брат. Попался? Ага!

По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании.

— Знатный налим! — лепечет Ефим, почесывая под ключицами. — Чай, фунтов десять будет…

— Н-да… — соглашается барин. — Печенка-то так и отдувается. Так и прет ее из нутра. А… ах!

Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный плеск… Все растопыривают руки, но уже поздно; налим — поминай как звали.

В аптеке

Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку.

«Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику, — думал он, забираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами. — Ступить страшно!»

Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой, лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с выхоленными бакенами — по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, все на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В

стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал:

— Calomedi grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decern![50]

— Ja![51] — послышался из глубины аптеки резкий, металлический голос.

Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру.

— Ja! — послышалось из другого угла.

Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету.

— Через час будет готово, — процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.

— Нельзя ли поскорее? — пробормотал Свойкин. — Мне решительно невозможно ждать.

---

[50] Примечания: 50
Каломели два грана, сахару пять гран, десять порошков! *(лат.)*

[51] Примечания: 51
Да! *(нем.)*

Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завозилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы.

Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флер, а однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове… Разбитость и головной туман овладевали его телом все больше и больше, так что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором…

— Должно быть, у меня горячка начинается, — сказал он. — Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб… Еще счастье мое, что я в столице заболел, а не дай бог этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек!

Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкину он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал… Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны спичкой… Стук мраморной ступки становился все громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи… Перед ним замелькали сначала всевозможные «радиксы»: генциана, пимпинелла, торментилла, зедоариа и проч. За радиксами замелькали тинктуры, oleum'bi, semen'bi, с названиями одно другого мудренее и допотопнее.

«Сколько, должно быть, здесь ненужного балласта! — подумал Свойкин. — Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время как все это солидно и внушительно!»

С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, косметические мыла, мазь для ращения волос…

В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 коп. бычачьей желчи.

— Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? — обратился учитель к провизору, обрадовавшись теме для разговора.

Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно-ученую физиономию провизора.

«Странные люди, ей-богу! — подумал он. — Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки… Средневековое из себя что-то корчат… В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, черствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной фигуры…»

Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь во что бы то ни стало, подальше от света, ученой физиономии и стука мраморной ступки… Болезненное утомление овладело всем его существом… Он подошел к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил:

— Будьте так любезны, отпустите меня! Я… я болен…

— Сейчас… Пожалуйста, не облокачивайтесь!

Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир.

«Полчаса еще только прошло, — подумал он. — Еще осталось столько же… Невыносимо!»

Но вот, наконец, к провизору подошел маленький, черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью… Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами… Засим он написал сигнатуру, привязал ее к горлышку склянки и потянулся за печаткой…

«Ну, к чему эти церемонии? — подумал Свойкин. — Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут».

Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками.

— Получите! — проговорил он наконец, не глядя на Свойкина. — Взнесите в кассу рубль шесть копеек!

Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки…

— Рубль шесть копеек? — забормотал он, кон-

фузясь. — А у меня только всего один рубль… Думал, что рубля хватит… Как же быть-то?

— Не знаю! — отчеканил провизор, принимаясь за газету.

— В таком случае уж вы извините… Шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю…

— Этого нельзя… У нас кредита нет…

— Как же мне быть-то?

— Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства получите.

— Пожалуй, но… мне тяжело ходить, а прислать некого…

— Не знаю… Не мое дело…

— Гм… — задумался учитель. — Хорошо, я схожу домой…

Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой… Пока он добрался до своего номера, то садился отдыхать раз пять… Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть… Какая-то сила потянула его голову к подушке… Он прилег, как бы на минутку… Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание… Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медяки высыпались из кулака, и больному

стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором.

Не судьба!

Часу в десятом утра два помещика, Гадюкин и Шилохвостов, ехали на выборы участкового мирового судьи. Погода стояла великолепная. Дорога, по которой ехали приятели, зеленела на всем своем протяжении. Старые березы, насаженные по краям ее, тихо шептались молодой листвой. Направо и налево тянулись богатые луга, оглашаемые криками перепелов, чибисов и куличков. На горизонте там и сям белели в синеющей дали церкви и барские усадьбы с зелеными крышами.

— Взять бы сюда нашего председателя и носом его потыкать... — проворчал Гадюкин, толстый седовласый барин в грязной соломенной шляпе и с развязавшимся пестрым галстуком, когда бричка, подпрыгивая и звякая всеми своими суставами, объезжала мостик. — Наши земские мосты для того только и строятся, чтобы их объезжали. Правду сказал на прошлом земском собрании граф Дублеве, что земские мосты построены для испытания умственных способностей: ежели человек объехал мост, то, стало быть, он умный, ежели же взъехал на мостик и, как водится, шею

сломал, то дурак. А все председатель виноват. Будь у нас председателем другой кто-нибудь, а не пьяница, не соня, не размазня, не было бы таких мостов. Тут нужен человек с понятием, энергический, зубастый, как ты, например… Нелегкая тебя несет в мировые судьи! Баллотировался бы, право, в председатели!

— А вот погоди, как прокатят сегодня на вороных, — скромно заметил Шилохвостов, высокий рыжий человек в новой дворянской фуражке, — то поневоле придется баллотироваться в председатели.

— Не прокатят… — зевнул Гадюкин. — Нам нужны образованные люди, а университетских-то у нас в уезде всего-навсего один — ты! Кого же и выбирать, как не тебя? Так уж и решили… Только напрасно ты в мировые лезешь… В председателях ты нужнее был бы…

— Все равно, друг… И мировой получает 2400, и председатель 2400. Мировой знай сиди себе дома, а председатель то и дело трясись в бричке в управу… Мировому не в пример легче, и к тому же…

Шилохвостов не договорил… Он вдруг беспокойно задвигался и вперил взор вперед на дорогу. Затем он побагровел, плюнул и откинулся на задок.

— Так и знал! Чуяло мое сердце! — пробормотал он, снимая фуражку и вытирая со лба пот. — Опять не выберут!

— Что такое? Почему?

— Да нешто не видишь, что отец Онисим навстречу едет? Уж это как пить дать… Встретится тебе на дороге этакая фигура, можешь назад воротиться, потому — ни черта не выйдет. Это уж я знаю! Митька, поворачивай назад! Господи, нарочно пораньше выехал, чтоб с этим иезуитом не встречаться, так нет, пронюхал, что еду! Чутье у него такое!

— Да полно, будет тебе! Выдумываешь, ей-богу!

— Не выдумываю! Ежели священник на дороге встретится, то быть беде, а он каждый раз, как я еду на выборы, всегда норовит мне навстречу выехать. Старый, чуть живой, помирать собирается, а такая злоба, что не приведи создатель! Недаром уж двадцать лет за штатом сидит! И за что мстит-то? За образ мыслей! Мысли мои ему не нравятся! Были мы, знаешь, однажды у Ульева. После обеда, выпивши, конечно, сел я за фортепианы и давай без всякой, знаешь, задней мысли петь «Настоечка травная» да «Грянем в хороводе при всем честном народе», а он услыхал и говорит: «Не подобает судии быть с таким образом мыслей

касательно иерархии. Не допущу до избрания!» И с той поры каждый раз навстречу ездит… Уж я и ругался с ним и дороги менял — ничего не помогает! Чутьем слышит, когда я выезжаю… Что ж? Теперь надо ворочаться! Все равно не выберут! Это уж как пить дать… В прошлые разы не выбирали, — а почему? По его милости!

— Ну, полно, образованный человек, в университете кончил, а в бабьи предрассудки веришь…

— Не верю я в предрассудки, но у меня примета: как только начну что-нибудь 13-го числа или встречусь с этой фигурой, то всегда кончаю плохо. Все это, конечно, чепуха, вздор, нельзя этому верить, но… объясни, почему всегда так случается, как приметы говорят? Не объяснишь же вот! По-моему, верить не нужно, но на всякий случай не мешает подчиняться этим проклятым приметам… Вернемся! Ни меня, ни тебя, брат, не выберут, и вдобавок еще ось сломается или проиграемся… Вот увидишь!

С бричкой поравнялась крестьянская телега, в которой сидел маленький, дряхленький иерей в широкополом, позеленевшем от времени цилиндре и в парусинковой ряске. Поравнявшись с бричкой, он снял цилиндр и поклонился.

— Так нехорошо делать, батюшка! — замахал

ему рукой Шилохвостов. — Такие ехидные поступки неприличны вашему сану! Да-с! За это вы ответ должны дать на страшном судилище!.. Воротимся! — обратился он к Гадюкину. — Даром только едем…

Но Гадюкин не согласился вернуться…

Вечером того же дня приятели ехали обратно домой… Оба были багровы и сумрачны, как вечерняя заря перед плохой погодой.

— Говорил ведь я тебе, что нужно было вернуться! — ворчал Шилохвостов. — Говорил ведь. Отчего не послушался? Вот тебе и предрассудки! Будешь теперь не верить! Мало того, что на вороных, подлецы, прокатили, но еще и на смех подняли, анафемы! «Кабак, говорят, на своей земле держишь!» Ну, и держу! Кому какое дело? Держу, да!

— Ничего, через месяц в председатели будешь баллотироваться… — успокоил Гадюкин. — Тебя нарочно сегодня прокатили, чтоб в председатели тебя выбрать…

— Пой соловьем! Всегда ты меня, ехида, утешаешь, а сам первый норовишь черняков набросать! Сегодня ни одного белого не было, все черняки, стало быть, и ты, друг, черняка положил… Мерси…

Через месяц приятели по той же дороге ехали на выборы председателя земской управы, но уже ехали не в десятом часу утра, а в седьмом. Шилохвостов ерзал в бричке и беспокойно поглядывал на дорогу…

— Он не ожидает, что мы так рано выедем, — говорил он, — но все-таки надо спешить… Черт его знает, может быть, у него шпионы есть! Гони, Митька! Шибче!.. Вчера, брат, — обратился он к Гадюкину, — я послал отцу Онисиму два мешка овса и фунт чаю… Думал его лаской умилостивить, а он взял подарки и говорит Федору: «Кланяйся барину и поблагодари его за дар совершен, но, говорит, скажи ему, что я неподкупен. Не токмо овсом, но и золотом он не поколеблет моих мыслей». Каков? Погоди же… Поедешь и черта пухлого встретишь… Гони, Митька!

Бричка въехала в деревню, где жил отец Онисим… Проезжая мимо его двора, приятели заглянули в ворота… Отец Онисим суетился около телеги и торопился запрячь лошадь. Одной рукой он застегивал себе пояс, другой рукой и зубами надевал на лошадь шлею…

— Опоздал! — захохотал Шилохвостов. — Донесли шпионы, да поздно! Ха, ха! На-кося выкуси! Что, съел? Вот тебе и неподкупен! Ха, ха!

Бричка выехала из деревни, и Шилохвостов почувствовал себя вне опасности. Он заликовал.

— Ну, у меня, брат, таких мостов не будет! — начал бравировать будущий председатель, подмигивая глазом. — Я их подтяну, этих подрядчиков! У меня, брат, не такие школы будут! Чуть замечу, что который из учителей пьяница или социалист — айда, брат! Чтоб и духу твоего не было! У меня, брат, земские доктора не посмеют в красных рубахах ходить! Я, брат… ты, брат… Гони, Митька, чтоб другой какой поп не встретился!.. Ну, кажись, благополучно доеха… Ай!

Шилохвостов вдруг побледнел и вскочил, как ужаленный.

— Заяц! Заяц! — закричал он. — Заяц дорогу перебежал! Аа… черт подери, чтоб его разорвало!

Шилохвостов махнул рукой и опустил голову. Он помолчал немного, подумал и, проведя рукой по бледному, вспотевшему лбу, прошептал:

— Не судьба, знать, мне 2400 получать… Воротчай назад, Митька! Не судьба!

Мыслитель

Знойный полдень. В воздухе ни звуков, ни движений… Вся природа похожа на одну очень большую, забытую богом и людьми, усадьбу. Под опустившейся листвой старой липы, стоящей около квартиры тюремного смотрителя Яшкина, за маленьким треногим столом сидят сам Яшкин и его гость, штатный смотритель уездного училища Пимфов. Оба без сюртуков; жилетки их расстегнуты; лица потны, красны, неподвижны; способность их выражать что-нибудь парализована зноем… Лицо Пимфова совсем скисло и заплыло ленью, глаза его посоловели, нижняя губа отвисла. В глазах же и на лбу у Яшкина еще заметна кое-какая деятельность; по-видимому, он о чем-то думает… Оба глядят друг на друга, молчат и выражают свои мучения пыхтеньем и хлопаньем ладонями по мухам. На столе графин с водкой, мочалистая вареная говядина и коробка из-под сардин с серой солью. Выпиты уже первая, вторая, третья…

— Да-с! — издает вдруг Яшкин, и так неожиданно, что собака, дремлющая недалеко от стола, вздрагивает и, поджав хвост, бежит в сторону. —

Да-с! Что ни говорите, Филипп Максимыч, а в русском языке очень много лишних знаков препинания!

— То есть, почему же-с? — скромно вопрошает Пимфов, вынимая из рюмки крылышко мухи. — Хотя и много знаков, но каждый из них имеет свое значение и место.

— Уж это вы оставьте! Никакого значения не имеют ваши знаки. Одно только мудрование… Наставит десяток запятых в одной строчке и думает, что он умный. Например, товарищ прокурора Меринов после каждого слова запятую ставит. Для чего это? Милостивый государь — запятая, посетив тюрьму такого-то числа — запятая, я заметил — запятая, что арестанты — запятая… тьфу! В глазах рябит! Да и в книгах то же самое… Точка с запятой, двоеточие, кавычки разные. Противно читать даже. А иной франт, мало ему одной точки, возьмет и натыкает их целый ряд… Для чего это?

— Наука того требует… — вздыхает Пимфов.

— Наука… Умопомрачение, а не наука… Для форсу выдумали… пыль в глаза пущать… Например, ни в одном иностранном языке нет этого ять, а в России есть… Для чего он, спрашивается? Напиши ты хлеб с ятем или без ятя, нешто не

все равно?

— Бог знает что вы говорите, Илья Мартыныч! — обижается Пимфов. — Как же это можно хлеб через *е* писать? Такое говорят, что слушать даже неприятно.

Пимфов выпивает рюмку и, обиженно моргая глазами, отворачивает лицо в сторону.

— Да и секли же меня за этот ять! — продолжает Яшкин. — Помню это, вызывает меня раз учитель к черной доске и диктует: «Аекарь уехал в город». Я взял и написал *лекар*ь с *е.* Выпорол. Через неделю опять к доске, опять пиши: «Лекарь уехал в город». Пишу на этот раз с ятем. Опять пороть. За что же, Иван Фомич? Помилуйте, сами же вы говорили, что тут ять нужно! «Тогда, говорит, я заблуждался, прочитав же вчера сочинение некоего академика о ять в слове *лекар*ь, соглашаюсь с академией наук. Порю же я тебя по долгу присяги…» Ну, и порол. Да и у моего Васютки всегда ухо вспухши от этого ять… Будь я министром, запретил бы я вашему брату ятем людей морочить.

— Прощайте, — вздыхает Пимфов, моргая глазами и надевая сюртук. — Не могу я слышать, ежели про науки…

— Ну, ну, ну… уж и обиделся! — говорит Яшкин, хватая Пимфова за рукав. — Я ведь это так, для

разговора только… Ну, сядем, выпьем!

Оскорбленный Пимфов садится, выпивает и отворачивает лицо в сторону. Наступает тишина. Мимо пьющих кухарка Феона проносит лохань с помоями. Слышится помойный плеск и визг облитой собаки. Безжизненное лицо Пимфова раскисает еще больше; вот-вот растает от жары и потечет вниз на жилетку. На лбу Яшкина собираются морщинки. Он сосредоточенно глядит на мочалистую говядину и думает… Подходит к столу инвалид, угрюмо косится на графин и, увидев, что он пуст, приносит новую порцию… Еще выпивают.

— Да-с! — говорит вдруг Яшкин.

Пимфов вздрагивает и с испугом глядит на Яшкина. Он ждет от него новых ересей.

— Да-с! — повторяет Яшкин, задумчиво глядя на графин. — По моему мнению, и наук много лишних!

— То есть, как же это-с? — тихо спрашивает Пимфов. — Какие науки вы находите лишними?

— Всякие… Чем больше наук знает человек, тем больше он мечтает о себе. Гордости больше… Я бы перевешал все эти… науки… Ну, ну… уж и обиделся! Экий какой, ей-богу, обидчивый, слова сказать нельзя! Сядем, выпьем!

Подходит Феона и, сердито тыкая в стороны своими пухлыми локтями, ставит перед приятелями зеленые щи в миске. Начинается громкое хлебание и чавканье. Словно из земли вырастают три собаки и кошка. Они стоят перед столом и умильно поглядывают на жующие рты. За щами следует молочная каша, которую Феона ставит с такой злобой, что со стола сыплются ложки и корки. Перед кашей приятели молча выпивают.

— Все на этом свете лишнее! — замечает вдруг Яшкин.

Пимфов роняет на колени ложку, испуганно глядит на Яшкина, хочет протестовать, но язык ослабел от хмеля и запутался в густой каше… Вместо обычного «то есть, как же это-с?» получается одно только мычание.

— Все лишнее… — продолжает Яшкин. — И науки, и люди… и тюремные заведения, и мухи… и каша… И вы лишний… Хоть вы и хороший человек, и в бога веруете, но и вы лишний…

— Прощайте, Илья Мартыныч! — лепечет Пимфов, силясь надеть сюртук и никак не попадая в рукава.

— Сейчас вот мы натрескались, налопались, — а для чего это? Так… Все это лишнее… Едим и сами не знаем, для чего… Ну, ну… уж и обиделся! Я ведь

это так только… для разговора! И куда вам идти? Посидим, потолкуем… выпьем!

Наступает тишина, изредка только прерываемая звяканьем рюмок да пьяным покрякиваньем… Солнце начинает уже клониться к западу, и тень липы все растет и растет. Приходит Феона и, фыркая, резко махая руками, расстилает окола стола коврик. Приятели молча выпивают по последней, располагаются на ковре и, повернувшись друг к другу спинами, начинают засыпать…

«Слава богу, — думает Пимфов, — сегодня не дошел до сотворения мира и иерархии, а то бы волосы дыбом, хоть святых выноси…»

Заблудшие

Дачная местность, окутанная ночным мраком. На деревенской колокольне бьет час. Присяжные поверенные Козявкин и Лаев, оба в отменном настроении и слегка пошатываясь, выходят из лесу и направляются к дачам.

— Ну, слава создателю, пришли… — говорит Козявкин, переводя дух. — В нашем положении пройти пехтурой пять верст от полустанка — подвиг. Страшно умаялся! И, как назло, ни одного извозчика…

— Голубчик, Петя… не могу! Если через пять минут я не буду в постели, то умру, кажется…

— В по-сте-ли? Ну, это шалишь, брат! Мы сначала поужинаем, выпьем красненького, а потом уж и в постель. Мы с Верочкой не дадим тебе спать… А хорошо, братец ты мой, быть женатым! Ты не понимаешь этого, черствая душа! Приду я сейчас к себе домой утомленный, замученный… меня встретит любящая жена, попоит чайком, даст поесть и, в благодарность за мой труд, за любовь, взглянет на меня своими черненькими глазенками так ласково и приветливо, что забуду я, братец ты мой, и усталость, и кражу со взломом, и

судебную палату, и кассационный департамент… Хоррошо!

— Но… у меня, кажется, ноги отломались… Я едва иду… Пить страшно хочется…

— Ну, вот мы и дома.

Приятели подходят к одной из дач и останавливаются перед крайним окном.

— Дачка славная, — говорит Козявкин. — Вот завтра увидишь, какие здесь виды! Темно в окнах. Стало быть, Верочка уже легла, не захотела дожидаться. Лежит и, должно быть, мучится, что меня до сих пор нет… (пихает тростью окно, которое отворяется). Этакая ведь бесстрашная, ложится в постель и не запирает окон (снимает крылатку и бросает ее вместе с портфелем в окно). Жарко! Давай-ка затянем серенаду, посмешим ее… (поет): «Месяц плывет по ночным небесам… Ветерочек чуть-чуть дышит… ветерочек чуть колышет»… Пой, Алеша! Верочка, спеть тебе серенаду Шуберта? (поет): «Пе-еснь моя-я-я… лети-ит с мольбо-о-о-ю»… (голос обрывается судорожным кашлем). Тьфу! Верочка, скажи-ка Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! (пауза). Верочка! Не ленись же, встань, милая! (становится на камень и глядит в окно). Верунчик, мумочка моя, веревьюнчик… ангелочек, жена моя бесподобная,

встань и скажи Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! Ведь не спишь же! Мамочка, ей-богу, мы так утомлены и обессилены, что нам вовсе не до шуток. Ведь мы пешком от станции шли! Да ты слышишь или нет? А, черт возьми! (делает попытку влезть в окно и срывается). Может быть, гостю неприятны эти шутки! Ты, я вижу, Вера, такая же институтка, как была, все бы тебе шалить…

— А может быть, Вера Степановна спит! — говорит Ааев.

— Не спит! Ей, вероятно, хочется, чтобы я поднял шум и взбудоражил всех соседей! Я уже начинаю сердиться, Вера! А, черт возьми! Подсади меня, Алеша, я влезу! Девчонка ты, школьница и больше ничего!.. Подсади!

Лаев с пыхтеньем подсаживает Козявкина. Тот влезает в окно и исчезает во мраке комнаты.

— Верка! — слышит через минуту Лаев. — Где ты? Черррт… Тьфу, во что-то руку выпачкал! Тьфу!

Слышится шорох, хлопанье крыльев и отчаянный крик курицы.

— Вот те на! — слышит Лаев. — Вера, откуда у нас куры? Черт возьми, да тут их пропасть! Плетушка с индейкой… Клюется, п-подлая!

Из окна с шумом вылетают две курицы и, крича

во все горло, мчатся по улице.

— Алеша, да мы не туда попали! — говорит Козявкин плачущим голосом. — Тут куры какие-то… Я, должно быть, обознался… Да ну вас к черту, разлетались тут, анафемы!

— Так ты выходи поскорей! Понимаешь? Умираю от жажды!

— Сейчас… Найду вот крылатку и портфель…

— Ты спичку зажги!

— Спички в крылатке… Угораздило же меня сюда забраться! Все дачи одинаковые, сам черт не различит их в потемках. Ой, индейка в щеку клюнула! П-подлая…

— Выходи поскорее, а то подумают, что мы кур воруем!

— Сейчас… Крылатки никак не найду. Тряпья здесь валяется много, и не разберешь, где тут крылатка. Брось-ка мне спички!

— У меня нет спичек!

— Положение, нечего сказать! Как же быть-то? Без крылатки и портфеля никак нельзя. Надо отыскать их.

— Не понимаю, как это можно не узнать своей собственной дачи, — возмущается Лаев. — Пьяная рожа… Если б я знал, что будет такая история, ни за что бы не поехал с тобой. Теперь бы я был

дома, спал безмятежно, а тут изволь вот мучиться… Страшно утомлен, пить хочется… голова кружится!

— Сейчас, сейчас… не умрешь…

Через голову Ааева с криком пролетает большой петух. Лаев глубоко вздыхает и, безнадежно махнув рукой, садится на камень. Душа у него горит от жажды, глаза слипаются, голову клонит вниз… Проходит минут пять, десять, наконец, двадцать, а Козявкин все еще возится с курами.

— Петр, скоро ли ты?

— Сейчас. Нашел было портфель, да опять потерял.

Лаев подпирает голову кулаками и закрывает глаза. Куриный крик становится все громче. Обитательницы пустой дачи вылетают из окна и, кажется ему, как совы кружатся во тьме над его головой. От их крика в ушах его стоит звон, душой овладевает ужас.

«Сскотина!.. — думает он. — Пригласил в гости, обещал угостить вином да простоквашей, а вместо того заставил пройтись от станции пешком и этих кур слушать…»

Возмущаясь, Лаев сует подбородок в воротник, кладет голову на свой портфель и мало-помалу успокаивается. Утомление берет свое, и он начи-

нает засыпать.

— Нашел портфель! — слышит он торжествующий крик Козявкина. — Найду сейчас крылатку и — баста, идем!

Но вот сквозь сон слышит он собачий лай. Лает сначала одна собака, потом другая, третья… и собачий лай, мешаясь с куриным кудахтаньем, дает какую-то дикую музыку. Кто-то подходит к Лае-ву и спрашивает о чем-то. Засим слышит он, что через его голову лезут в окно, стучат, кричат… Женщина в красном фартуке стоит около него с фонарем в руке и о чем-то спрашивает.

— Вы не имеете права говорить это! — слышит он голос Козявкина. — Я присяжный поверенный, кандидат прав Козявкин. Вот вам моя визитная карточка!

— На что мне ваша карточка! — говорит кто-то хриплым басом. — Вы у меня всех кур поразгоняли, вы подавили яйца! Поглядите, что вы наделали! Не сегодня-завтра индюшата должны были вылупиться, а вы подавили. На что же, сударь, сдалась мне ваша карточка?

— Вы не смеете меня удерживать! Да-с! Я не позволю!

«Пить хочется»… — думает Лаев, стараясь открыть глаза и чувствуя, как через его голову

кто-то лезет из окна.

— Я — Козявкин! Тут моя дача, меня тут все знают!

— Никакого Козявкина мы не знаем!

— Что ты мне рассказываешь? Позвать старосту! Он меня знает!

— Не горячитесь, сейчас урядник приедет… Всех дачников тутошних мы знаем, а вас отродясь не видели.

— Я уж пятый год в Гнилых Выселках на даче живу!

— Эва! Нешто это Выселки? Здесь Хилово, а Гнилые Выселки правее будут, за спичечной фабрикой. Версты за четыре отсюда.

— Черт меня возьми! Это, значит, я не той дорогой пошел!

Человеческие и птичьи крики мешаются с собачьим лаем, и из смеси звукового хаоса выделяется голос Козявкина:

— Вы не смеете! Я заплачу! Вы узнаете, с кем имеете дело!

Наконец, голоса мало-помалу стихают. Лаев чувствует, что его треплют за плечо.

Егерь

Знойный и душный полдень. На небе ни облачка… Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно: хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей… Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то.

По краю сечи лениво, вразвалку, плетется высокий узкоплечий мужчина лет сорока, в красной рубахе, латаных господских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге. Направо зеленеет сеча, налево, до самого горизонта, тянется золотистое море поспевшей ржи… Он красен и вспотел. На его красивой белокурой голове ухарски сидит белый картузик с прямым, жокейским козырьком, очевидно подарок какого-нибудь расщедрившегося барича. Через плечо перекинут ягдташ, в котором лежит скомканный петух-тетерев. Мужчина держит в руках двустволку со взведенными курками и щурит глаза на своего старого, тощего пса, который бежит впереди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, ни звука… Все живое попряталось от зноя.

— Егор Власыч! — слышит вдруг охотник ти-

хий голос.

Он вздрагивает и, оглядевшись, хмурит брови. Возле него, словно из земли выросши, стоит бледнолицая баба лет тридцати, с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается.

— А, это ты, Пелагея! — говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки. — Гм!.. Как же это ты сюда попала?

— Тут из нашей деревни бабы работают, так вот и я с ими… В работницах, Егор Власыч.

— Тэк… — мычит Егор Власыч и медленно идет дальше.

Пелагея за ним. Проходят молча шагов двадцать.

— Давно уж я вас не видала, Егор Власыч… — говорит Пелагея, нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотника. — Как заходили вы на Святой в нашу избу воды напиться, так с той поры вас и не видали… На Святой на минутку зашли, да и то бог знает как… в пьяном виде… Побранили, побили и ушли… Уж я ждала, ждала… глаза все проглядела, вас поджидаючи… Эх, Егор Власыч, Егор Власыч! Хоть бы разочек зашли!

— Что ж мне у тебя делать-то?

— Оно, конечно, делать нечего, да так… все-таки

ж хозяйство… Поглядеть, как и что… Вы хозяин… Ишь ты, тетерьку подстрелили. Егор Власыч! Да вы бы сели, отдохнули…

Говоря все это, Пелагея смеется, как дурочка, и глядит вверх на лицо Егора… От лица ее так и дышит счастьем…

— Посидеть? Пожалуй… — говорит равнодушным тоном Егор и выбирает местечко между двумя рядом растущими елками. — Что ж ты стоишь? Садись и ты!

Пелагея садится поодаль на припеке и, стыдясь своей радости, закрывает рукой улыбающийся рот. Минуты две проходят в молчании.

— Хоть бы разочек зашли, — говорит тихо Пелагея.

— Зачем? — вздыхает Егор, снимая свой картузик и вытирая рукавом красный лоб. — Нет никакой надобности. Зайти на час-другой — канитель одна, только тебя взбаламутишь, а постоянно

жить в деревне — душа не терпит… Сама знаешь, человек я балованный… Мне чтоб и кровать была, и чай хороший, и разговоры деликатные… чтоб все степени мне были, а у тебя там на деревне беднота, копоть… Я и дня не выживу. Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб беспременно

мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы на себя наложил. Сызмалетства во мне это баловство сидит, ничего не поделаешь.

— Таперя вы где живете?

— У барина, Дмитрия Иваныча, в охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так… из-за удовольствия меня держит.

— Не степенное ваше дело, Егор Власыч… Для людей это баловство, а у вас оно словно как бы и ремесло… занятие настоящее…

— Не понимаешь ты, глупая, — говорит Егор, мечтательно глядя на небо. — Ты отродясь не понимала и век тебе не понять, что я за человек… По-твоему, я шальной заблудящий человек, а который понимающий, для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют и даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотницкой части… А что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я окромя ружья и собак никакого занятия не знал. Ружье отнимают, я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну, и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились, а сама знаешь, что ежели который му-

жик записался в охотники или в лошадники, то прощай соха. Раз сядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже вот ежели который барин пойдет в ахтеры или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты баба, не понимаешь, а это понимать надо.

— Я понимаю, Егор Власыч.

— Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься…

— Я… я не плачу… — говорит Пелагея, отворачиваясь. — Грех, Егор Власыч! Хоть бы денек со мной, несчастной, пожили. Уж двенадцать лет, как я за вас вышла, а… а промеж нас ни разу Любови не было!.. Я… я не плачу…

— Любови… — бормочет Егор, почесывая руку. — Никакой любови не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена, а нешто это так и есть? Я для тебя дикий человек есть, ты для меня простая баба, не понимающая. Нешто мы пара? Я вольный, балованный, гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. О себе я так понимаю, что я по охотницкой части первый человек, а ты с жалостью на меня глядишь… Где же тут пара?

— Да ведь венчаны, Егор Власыч! — всхлипы-

вает Пелагея.

— Не волей венчаны… Нешто забыла? Графа Сергея Павлыча благодари… и себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю, месяц целый вином меня спаивал, а пьяного не токмо что перевенчать, но и в другую веру совратить можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил… Егеря на скотнице! Ты видала, что я пьяный, зачем выходила? Не крепостная ведь, могла супротив пойти! Оно, конечно, скотнице счастье за егеря выйти, да ведь надо рассуждение иметь. Ну, вот теперь и мучайся, плачь. Графу смешки, а ты плачь… бейся об стену…

Наступает молчание. Над сечей пролетают три дикие утки. Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видные точки, не опускаются далеко за лесом.

— Чем живешь? — спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею.

— Таперя на работу хожу, а зимой ребеночка из воспитательного дома беру, кормлю соской. Полтора рубля в месяц дают.

— Тэк…

Опять молчание. С сжатой полосы несется тихая песня, которая обрывается в самом начале.

Жарко петь…

— Сказывают, что вы Акулине новую избу поставили, — говорит Пелагея.

Егор молчит.

— Стало быть, она вам по сердцу…

— Счастье уж твое такое, судьба! — говорит охотник, потягиваясь. — Терпи, сирота. Но, одначе, прощай, заболтался… К вечеру мне в Болтово поспеть нужно…

Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье через плечо. Пелагея встает.

— А когда же в деревню придете? — спрашивает она тихо.

— Незачем. Тверезый никогда не приду, а от пьяного тебе мало корысти. Злоблюсь я пьяный… Прощай!

— Прощайте, Егор Власыч…

Егор надевает картуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой путь. Пелагея стоит на месте и глядит ему вслед… Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивую, небрежную поступь, и глаза ее наполняются грустью и нежной лаской… Взгляд ее бегает по тощей, высокой фигуре мужа и ласкает, нежит его… Он, словно чувствуя этот взгляд, останавливается и оглядывается… Молчит он, но по его лицу, по

приподнятым плечам Пелагее видно, что он хочет ей сказать что-то. Она робко подходит к нему и глядит на него умоляющими глазами.

— На тебе! — говорит он, отворачиваясь.

Он подает ей истрепанный рубль и быстро отходит.

— Прощайте, Егор Власыч! — говорит она, машинально принимая рубль.

Он идет по длинной, прямой, как вытянутый ремень, дороге… Она, бледная, неподвижная, как статуя, стоит и ловит взглядом каждый его шаг. Но вот красный цвет его рубахи сливается с темным цветом брюк, шаги не видимы, собаку не отличишь от сапог. Виден только один картузик, но… вдруг Егор круто поворачивает направо в сечу, и картузик исчезает в зелени.

— Прощайте, Егор Власыч! — шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидать белый картузик.

Злоумышленник

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

— Чаво?

— Так ли все это было, как объясняет Акинфов?

— Знамо, было.

— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

— Чаво?

— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.

— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем…

— Кто это — мы?

— Мы, народ… Климовские мужики, то есть.

— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

— Отродясь не врал, а тут вру… — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру… — усмехается Денис. — Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко… В нашей реке не живет шилишпер… Эта рыба простор любит.

— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка

не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан…

— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

— А то что же? Не в бабки ж играть!

— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю… гвоздик какой-нибудь…

— Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить… И тяжелая, и дыра есть.

— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

— Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было… Спаси и помилуй, царица небесная… Что вы-с!

— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво щурит на сле-

дователя глаза.

— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение… людей убил… Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то… тьфу! гайка!

— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

— Это мы понимаем… Мы ведь не все отвинчиваем… оставляем… Не без ума делаем… понимаем…

Денис зевает и крестит рот.

— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, — говорит следователь. — Теперь понятно, почему…

— Чего изволите?

— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов… Я понимаю!

— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши… Господь знал, кому понятие давал… Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит… Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум… Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по

зубам ударил и в груди.

— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку… Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

— С каким Митрофаном?

— С Митрофаном Петровым… Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять…

— Послушай… 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье… понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание… он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

— Конечно, вы лучше знаете… Мы люди тем-

ные… нешто мы понимаем?

— Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите… Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

— Ты еще про шилишпера расскажи! — улыбается следователь.

— Шилишпер у нас не водится… Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

— Ну, молчи…

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.

— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

— То есть, как же в тюрьму? Ваше благородие!

Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить…

— Молчи, не мешай.

— В тюрьму… Было б за что, пошел бы, а то так… здорово живешь… За что? И не крал, кажись, и не дрался… А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте…

Вы господина непременного члена спросите… Креста на нем нет, на старосте-то…

— Молчи!

— Я и так молчу… — бормочет Денис. — А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой… Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев…

— Ты мне мешаешь… Эй, Семен! — кричит следователь. — Увести его!

— Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик… Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай… Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям… Надо судить умеючи, не зря… Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести…

Конь и трепетная лань

Третий час ночи. Супруги Фибровы не спят. Он ворочается с боку на бок и то и дело сплевывает, она, маленькая худощавая брюнеточка, лежит неподвижно и задумчиво смотрит на открытое окно, в которое нелюдимо и сурово глядится рассвет…

— Не спится! — вздыхает она. — Тебя мутит?

— Да, немножко.

— Не понимаю, Вася, как тебе не надоест каждый день являться домой в таком виде! Не проходит ночи, чтоб ты не был болен. Стыдно!

— Ну, извини… Я это нечаянно. Выпил в редакции бутылку пива, да в «Аркадии» немножко перепустил. Извини.

— Да что извинять? Самому тебе должно быть противно и гадко. Плюет, икает… Бог знает на что похож. И ведь это каждую ночь, каждую ночь! Я не помню, когда ты являлся домой трезвым.

— Я не хочу пить, да оно как-то само собой пьется. Должность такая анафемская. Целый день по городу рыскаешь. Там рюмку выпьешь, в другом месте пива, а там, глядь, приятель пьющий встретился… нельзя не выпить. А иной раз и све-

дения не получишь без того, чтоб с какой-нибудь свиньей бутылку водки не стрескать. Сегодня, например, на пожаре нельзя было с агентом не выпить.

— Да, проклятая должность! — вздыхает брюнетка. — Бросил бы ты ее, Вася!

— Бросить? Как можно!

— Очень можно. Добро бы ты писатель настоящий был, писал бы хорошие стихи или повести, а то так, репортер какой-то, про кражи да пожары пишешь. Такие пустяки пишешь, что иной раз и читать совестно. Хорошо бы еще, пожалуй, если б зарабатывал много, этак рублей двести-триста в месяц, а то получаешь какие-то несчастные пятьдесят рублей, да и то неаккуратно. Живем мы бедно, грязно. Квартира прачечной пропахла, кругом все мастеровые да развратные женщины живут. Целый день только и слышишь неприличные слова и песни. Ни мебели у нас, ни белья. Ты одет неприлично, бедно, так что хозяйка на тебя тыкает, я хуже модистки всякой. Едим мы хуже всяких поденщиков… Ты где-то на стороне в трактирах какую-то дрянь ешь, и то, вероятно, не на свой счет, я… одному только богу известно, что я ем. Ну, будь мы какие-нибудь плебеи, необразованные, тогда бы помирилась я с этим

житьем, а то ведь ты дворянин, в университете кончил, по-французски говоришь. Я в институте кончила, избалована.

— Погоди, Катюша, пригласят меня в «Куриную слепоту» отдел хроники вести, тогда иначе заживем. Я номер тогда возьму.

— Это уж ты мне третий год обещаешь. Да что толку, если и пригласят? Сколько бы ты ни получал, все равно пропьешь. Не перестанешь же водить компанию со своими писателями и актерами! А знаешь что, Вася? Написала бы я к дяде Дмитрию Федорычу в Тулу. Нашел бы он тебе прекрасное место где-нибудь в банке или казенном учреждении. Хорошо, Вася? Ходил бы ты, как люди, на службу, получал бы каждое 20-е число жалованье — и горя мало! Наняли бы мы себе дом-особнячок с двором, с сараями, с сенником. Там за двести рублей в год отличный дом можно нанять. Купили бы мебели, посуды, скатертей, наняли бы кухарку и обедали бы каждый день. Пришел бы ты со службы в три часа, взглянул на стол, а на нем чистенькие приборы, редиска, закуска разная. Завели бы мы себе кур, уток, голубей, купили бы корову. В провинции, если не роскошно жить и не пропивать, все это можно иметь за тысячу рублей в год. И дети бы наши не

умирали от сырости, как теперь, и мне бы не приходилось таскаться то и дело в больницу. Вася, богом молю тебя, поедем жить в провинцию!

— Там с дикарями от скуки подохнешь.

— А здесь разве весело? Ни общества у нас, ни знакомства… С чистенькими, мало-мальски порядочными людьми у тебя только деловое знакомство, а семейно ни с кем ты не знаком. Кто у нас бывает? Ну, кто? Эта Клеопатра Сергеевна. По-твоему, она знаменитость, фельетоны музыкальные пишет, а по-моему, — она содержанка, распущенная женщина. Ну, можно ли женщине пить водку и при мужчинах корсет снимать? Пишет статьи, говорит постоянно о честности, а как взяла в прошлом году у меня рубль взаймы, так до сих пор не отдает. Потом, ходит к тебе этот твой любимый поэт. Ты гордишься, что знаком с такой знаменитостью, а рассуди ты по совести: стоит ли он этого?

— Честнейший человек!

— Но веселого в нем очень мало. Приходит к нам для того только, чтобы напиться… Пьет и рассказывает неприличные анекдоты. Третьего дня, например, нализался и проспал здесь на полу целую ночь. А актеры! Когда я была девушкой, то боготворила этих знаменитостей, с тех пор

же, как вышла за тебя, я не могу на театр глядеть равнодушно. Вечно пьяны, грубы, не умеют держать себя в женском обществе, надменны, ходят в грязных ботфортах. Ужасно тяжелый народ! Не понимаю, что веселого ты находишь в их анекдотах, которые они рассказывают с громким, хриплым смехом! И глядишь ты на них как-то заискивающе, словно одолжение делают тебе эти знаменитости, что знакомы с тобой… Фи!

— Оставь, пожалуйста!

— А там, в провинции, ходили бы к нам чиновники, учителя гимназии, офицеры. Народ все воспитанный, мягкий, без претензий. Напьются чаю, выпьют по рюмке, если подашь, и уйдут. Ни шуму, ни анекдотов, все так степенно, деликатно. Сидят, знаешь, на креслах и на диване и рассуждают о разных разностях, а тут горничная разносит им чай с вареньем и с сухариками. После чаю играют на рояле, поют, пляшут. Хорошо, Вася! Часу в двенадцатом легонькая закуска: колбаса, сыр, жаркое, что от обеда осталось… После ужина ты идешь дам провожать, а я остаюсь дома и прибираю.

— Скучно, Катюша!

— Если дома скучно, то ступай в клуб или на гулянье… Здесь на гуляньях души знакомой не

встретишь, поневоле запьешь, а там кого ни встретил, всякий тебе знаком. С кем хочешь, с тем и беседуй… Учителя, юристы, доктора — есть с кем умное слово сказать… Образованными там очень интересуются, Вася! Ты бы там одним из первых был…

И долго мечтает вслух Катюша… Серо-свинцовый свет за окном постепенно переходит в белый… Тишина ночи незаметно уступает свое место утреннему оживлению. Репортер не спит, слушает и то и дело приподнимает свою тяжелую голову, чтобы сплюнуть… Вдруг, неожиданно для Катюши, он делает резкое движение и вскакивает с постели… Лицо его бледно, на лбу пот…

— Чертовски меня мутит, — перебивает он мечтания Катюши. — Постой, я сейчас…

Накинув на плечи одеяло, он быстро выбегает из комнаты. С ним происходит неприятный казус, так знакомый по своим утренним посещениям пьющим людям. Минуты через две он возвращается бледный, томный… Его пошатывает… На лице его выражение омерзения, отчаяния, почти ужаса, словно он сейчас только понял всю внешнюю неприглядность своего житья-бытья. Дневной свет освещает перед ним бедность и грязь его комнаты, и выражение безнадежности

на его лице становится еще живее.

— Катюша, напиши дяде! — бормочет он.

— Да? Ты согласен? — торжествует брюнетка. — Завтра же напишу и даю тебе честное слово, что ты получишь прекрасное место! Вася, ты это… не нарочно?

— Катюша, прошу… ради бога…

И Катюша опять начинает мечтать вслух. Под звук своего голоса и засыпает она. Снится ей дом-особнячок, двор, по которому солидно шагают ее собственные куры и утки. Она видит, как из слухового окна глядят на нее голуби, и слышит, как мычит корова. Кругом все тихо: ни соседей-жильцов, ни хриплого смеха, не слышно даже этого ненавистного, спешащего скрипа перьев. Вася чинно и благородно шагает около палисадника к калитке. Это идет он на службу. И душу ее наполняет чувство покоя, когда ничего не желается, мало думается…

К полудню просыпается она в прекраснейшем настроении духа. Сон благотворно повлиял на нее. Но вот, протерев глаза, она глядит на то место, где так недавно ворочался Вася, и обхватывавшее ее чувство радости сваливается с нее, как тяжелая пуля. Вася ушел, чтобы возвратиться поздно ночью в нетрезвом виде, как возвращался

он вчера, третьего дня… всегда… Опять она будет мечтать, опять на лице его мелькнет омерзение.

— Незачем писать дяде! — вздыхает она.

Свистуны

Алексей Федорович Восьмеркин водил по своей усадьбе приехавшего к нему погостить брата-магистра и показывал ему свое хозяйство. Оба только что позавтракали и были слегка навеселе.

— Это, братец ты мой, кузница… — пояснял Восьмеркин. — На этой виселице лошадей подковывают… А вот это, братец ты мой, баня… Тут в бане длинный диван стоит, а под диваном индейки сидят в решетах на яйцах… Как взглянешь на диван, так и вспомнишь толикая многая… Баню только зимой топлю… Важная, брат, штукенция! Только русский человек и мог выдумать баню! За один час на верхней полочке столько переживешь, чего итальянцу или немцу в сто лет не пережить… Лежишь, как в пекле, а тут Авдотья тебя веником, веником, чики-чики… чики-чики… Встанешь, выпьешь холодного квасу и опять чики-чики… Слезешь потом с полки, как сатана красный… А вот это людская… Тут мои вольнонаемники… Зайдем?

Помещик и магистр нагнулись и вошли в похилившуюся, нештукатуренную развалюшку

с продавленной крышей и разбитым окном. При входе их обдало запахом варева. В людской обедали… Мужики и бабы сидели за длинным столом и большими ложками ели гороховую похлебку. Увидев господ, они перестали жевать и поднялись.

— Вот они, мои… — начал Восьмеркин, окидывая глазами обедающих. — Хлеб да соль, ребята!

— Алалаблблбл…

— Вот они! Русь, братец ты мой! Настоящая Русь! Народ на подбор! И что за народ! Какому, прости господи, скоту немцу или французу сравняться? Супротив нашего народа все то свиньи, тля!

— Ну не говори… — залепетал магистр, закуривая для чистоты воздуха сигару. — У всякого народа свое историческое прошлое… свое будущее…

— Ты западник! Разве ты понимаешь? Вот то-то и жаль, что вы, ученые, чужое выучили, а своего знать не хотите! Вы презираете, чуждаетесь! А я читал и согласен: интеллигенция протухла, а ежели в ком еще можно искать идеалов, так только вот в них, вот в этих лодырях… Взять хоть бы Фильку…

Восьмеркин подошел к пастуху Фильке и потряс его за плечо. Филька ухмыльнулся и издал

звук «гы-ы»…

— Взять хоть бы этого Фильку… Ну, чего, дурак, смеешься? Я серьезно говорю, а ты смеешься… Взять хоть этого дурня… Погляди, магистр! В плечах — косая сажень! Грудища, словно у слона! С места, анафему, не сдвинешь! А сколько в нем силы-то этой нравственной таится! Сколько таится! Этой силы на десяток вас, интеллигентов, хватит… Дерзай, Филька! Бди! Не отступай от своего! Крепко держись! Ежели кто будет говорить тебе что-нибудь, совращать, то плюй, не слушай… Ты сильнее, лучше! Мы тебе подражать должны!

— Господа наши милостивые! — замигал глазами степенный кучер Антии. — Нешто он это чувствует? Нешто понимает господскую ласку? Ты в ножки, простофиля, поклонись и ручку поцелуй… Милостивцы вы наши! На что хуже человека, как Филька, да и то вы ему прощаете, а ежели человек чверезый, не баловник, так такому не жисть, а рай… дай бог всякому… И награждаете и взыскиваете.

— Ввво! Самая суть заговорила! Патриарх лесов! Понимаешь, магистр! «И награждаете и взыскиваете»… В простых словах идея справедливости!.. Преклоняюсь, брат! Веришь ли? Учусь у них! Учусь!

— Это верно-с… — заметил Антии.

— Что верно?

— Насчет ученья-с…

— Какого ученья? Что ты мелешь?

— Я насчет ваших слов-с… насчет учения-с… На то вы и господа, чтоб всякие учения постигать… Мы темень! Видим, что вывеска написана, а что она, какой смысл обозначает, нам и невдомек… Носом больше понимаем… Ежели водкой пахнет, то значит — кабак, ежели дегтем, то — лавка…

— Магистр, а? Что скажешь? Каков народ? Что ни слово, то с закорючкой, что ни фраза, то глубокая истина! Гнездо, брат, правды в Антипкиной голове! А погляди-ка на Дуняшку! Дуняшка, пошла сюда!

Скотница Дуняша, весноватая, с вздернутым носом, застыдилась и зацарапала стол ногтем.

— Дуняшка, тебе говорят, пошла сюда! Чего, дура, стыдишься? Не укусим!

Дуняша вышла из-за стола и остановилась перед барином.

— Какова? Так и дышит силищей! Видал ты таких у себя там, в Питере? Там у вас спички, жилы да кости, а эта, гляди, кровь с молоком! Простота, ширь! Улыбку погляди, румянец щек! Все это натура, правда, действительность, не так,

как у вас там! Что это у тебя за щеками набито?

Дуняша пожевала и проглотила что-то…

— А погляди-ка, братец ты мой, на плечищи, на ножищи! — продолжал Восьмеркин. — Небось, как бултыхнет этим кулачищем в спинищу своего любезного, так звон пойдет, словно из бочки… Что, все еще с Андрюшкой валандаешься? Смотри мне, Андрюшка, задам я тебе пфеферу. Смейся, смейся… Магистр, а? Формы-то, формы…

Восьмеркин нагнулся к уху магистра и зашептал… Дворня стала смеяться.

— Вот и дождалась, что тебя на смех подняли, непутящая… — заметил Антии, глядя с укоризной на Дуняшу. — Что, красней рака стала? Про путную девку не стали бы так рассказывать…

— Теперь, магистр, на Любку посмотри! — продолжал Восьмеркин. — Эта у нас первая запевала… Ты там ездишь меж своих чухонцев и собираешь плоды народного творчества… Нет, ты наших послушай! Пусть тебе наши споют, так слюной истечешь! Ну-кося, ребята! Ну-кося! Любка, начинай! Да ну же, свиньи! Слушаться!

Люба стыдливо кашлянула в кулак и резким, сиплым голосом затянула песню. Ей вторили остальные… Восьмеркин замахал руками, замигал глазами и, стараясь прочесть на лице

магистра восторг, закудахтал.

Магистр нахмурился, стиснул губы и с видом глубокого знатока стал слушать.

— М-да… — сказал он. — Вариант этой песни имеется у Киреевского, выпуск седьмой, разряд третий, песнь одиннадцатая… М-да… Надо записать…

Магистр вынул из кармана книжку и, еще больше нахмурившись, стал записывать… Пропев одну песню, «люди» начали Другую… А похлебка между тем простыла, и каша, которую вынули из печи, перестала уже испускать из себя дымок.

— Так его! — притопывал Восьмеркин. — Так его! Важно! Преклоняюсь!

Дело, вероятно, дошло бы и до танцев, если бы не вошел в людскую лакей Петр и не доложил господам, что кушать подано.

— А мы, отщепенцы, отбросы, осмеливаемся еще считать себя выше и лучше! — негодовал плаксивым голосом Восьмеркин, выходя с братом из людской. — Что мы? Кто мы? Ни идеалов, ни науки, ни труда… Ты слышишь, они хохочут? Это они над нами!.. И они правы! Чуют фальшь! Тысячу раз правы и… и… А видал Дуняшку? Ше-ельма девчонка! Ужо, погоди, после обеда я позову ее…

За обедом оба брата все время рассказывали о

самобытности, нетронутости и целости, бранили себя и искали смысла в слове «интеллигент».

После обеда легли спать. Выспавшись, вышли на крыльцо, приказали подать себе зельтерской и опять начали о том же…

— Петька! — крикнул Восьмеркин лакею. — Поди позови сюда Дуняшку, Любку и прочих! Скажи, хороводы водить! Да чтоб скорей! Живо у меня!

Отец семейства

Это случается обыкновенно после хорошего проигрыша или после попойки, когда разыгрывается катар. Степан Степаныч Жилин просыпается в необычайно пасмурном настроении. Вид у него кислый, помятый, разлохмаченный; на сером лице выражение недовольства: не то он обиделся, не то брезгает чем-то. Он медленно одевается, медленно пьет свое виши и начинает ходить по всем комнатам.

— Желал бы я знать, какая с-с-скотина ходит здесь и не затворяет дверей? — ворчит он сердито, запахиваясь в халат и громко отплевываясь. — Убрать эту бумагу! Зачем она здесь валяется? Держим двадцать прислуг, а порядка меньше, чем в корчме. Кто там звонил? Кого принесло?

— Это бабушка Анфиса, что нашего Федю принимала, — отвечает жена.

— Шляются тут… дармоеды!

— Тебя не поймешь, Степан Степаныч. Сам приглашал ее, а теперь бранишься.

— Я не бранюсь, а говорю. Занялась бы чем-нибудь, матушка, чем сидеть этак, сложа руки, и на спор лезть! Не понимаю этих женщин, клянусь

честью! Не по-ни-маю! Как они могут проводить целые дни без дела? Муж работает, трудится, как вол, как с-с-скотина, а жена, подруга жизни, сидит, как цацочка, ничего не делает и ждет только случая, как бы побраниться от скуки с мужем. Пора, матушка, оставить эти институтские привычки! Ты теперь уже не институтка, не барышня, а мать, жена! Отворачиваешься? Ага! Неприятно слушать горькие истины?

— Странно, что горькие истины ты говоришь, только когда у тебя печень болит.

— Да, начинай сцены, начинай…

— Ты вчера был за городом? Или играл у кого-нибудь?

— А хотя бы и так? Кому какое дело? Разве я обязан отдавать кому-нибудь отчет? Разве я проигрываю не свои деньги? То, что я сам трачу, и то, что тратится в этом доме, принадлежит мне! Слышите ли? Мне!

И так далее, все в таком роде. Но ни в какое другое время Степан Степаныч не бывает так рассудителен, добродетелен, строг и справедлив, как за обедом, когда около него сидят все его домочадцы. Начинается обыкновенно с супа. Проглотив первую ложку, Жилин вдруг морщится и перестает есть.

— Черт знает что… — бормочет он. — Придется, должно быть, в трактире обедать.

— А что? — тревожится жена. — Разве суп не хорош?

— Не знаю, какой нужно иметь свинский вкус, чтобы есть эту бурду! Пересолен, тряпкой воняет… клопы какие-то вместо лука… Просто возмутительно, Анфиса Ивановна! — обращается он к гостье-бабушке. — Каждый день даешь прорву денег на провизию… во всем себе отказываешь, и вот тебя чем кормят! Они, вероятно, хотят, чтобы я оставил службу и сам пошел в кухню стряпать.

— Суп сегодня хорош… — робко замечает гувернантка.

— Да? Вы находите? — говорит Жилин, сердито щурясь на нее. — Впрочем, у всякого свой вкус. Вообще, надо сознаться, мы с вами сильно расходимся во вкусах, Варвара Васильевна. Вам, например, нравится поведение этого мальчишки (Жилин трагическим жестом указывает на своего сына Федю), вы в восторге от него, а я… я возмущаюсь. Да-с!

Федя, семилетний мальчик с бледным, болезненным лицом, перестает есть и опускает глаза. Лицо его еще больше бледнеет.

— Да-с, вы в восторге, а я возмущаюсь… Кто из нас прав, не знаю, но смею думать, что я, как отец, лучше знаю своего сына, чем вы. Поглядите, как он сидит! Разве так сидят воспитанные дети? Сядь хорошенько!

Федя поднимает вверх подбородок и вытягивает шею, и ему кажется, что он сидит ровнее. На глазах у него навертываются слезы.

— Ешь! Держи ложку как следует! Погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка! Не сметь плакать! Гляди на меня прямо!

Федя старается глядеть прямо, но лицо его дрожит, и глаза переполняются слезами.

— Ааа… ты плакать! Ты виноват, ты же и плачешь? Пошел, стань в угол, скотина!

— Но… пусть он сначала пообедает! — вступается жена.

— Без обеда! Такие мерз… такие шалуны не имеют права обедать!

Федя, кривя лицо и подергивая всем телом, сползает со стула и идет в угол.

— Не то еще тебе будет! — продолжает родитель. — Если никто не желает заняться твоим воспитанием, то, так и быть, начну я… У меня, брат, не будешь шалить да плакать за обедом! Болван! Дело нужно делать! Понимаешь? Дело

делать! Отец твой работает, и ты работай! Никто не должен даром есть хлеба! Нужно быть человеком! Че-ло-ве-ком!

— Перестань, ради бога! — просит жена по-французски. — Хоть при посторонних не ешь нас… Старуха все слышит, и теперь, благодаря ей, всему городу будет известно…

— Я не боюсь посторонних, — отвечает Жилин по-русски. — Анфиса Ивановна видит, что я справедливо говорю. Что ж, по-твоему, я должен быть доволен этим мальчишкой? Ты знаешь, сколько он мне стоит? Ты знаешь, мерзкий мальчишка, сколько ты мне стоишь? Или ты думаешь, что я деньги фабрикую, что мне достаются они даром? Не реветь! Молчать! Да ты слышишь меня или нет? Хочешь, чтоб я тебя, подлеца этакого, высек?

Федя громко взвизгивает и начинает рыдать.

— Это, наконец, невыносимо! — говорит его мать, вставая из-за стола и бросая салфетку. — Никогда не даст покойно пообедать! Вот где у меня твой кусок сидит!

Она показывает на затылок и, приложив платок к глазам, выходит из столовой.

— Оне обиделись… — ворчит Жилин, насильно улыбаясь. — Нежно воспитаны… Так-то, Анфиса

Ивановна, не любят нынче слушать правду… Мы же и виноваты!

Проходит несколько минут в молчании. Жилин обводит глазами тарелки и, заметив, что к супу еще никто не прикасался, глубоко вздыхает и глядит в упор на покрасневшее, полное тревоги лицо гувернантки.

— Что же вы не едите, Варвара Васильевна? — спрашивает он. — Обиделись, стало быть? Тэк-с… Не нравится правда. Ну, извините-с, такая у меня натура, не могу лицемерить… Всегда режу правду-матку (вздох). Однако я замечаю, что присутствие мое неприятно. При мне не могут ни говорить, ни кушать… Что ж? Сказали бы мне, я бы ушел… Я и уйду.

Жилин поднимается и с достоинством идет к двери. Проходя мимо плачущего Феди, он останавливается.

— После всего, что здесь произошло, вы с-с-свободны! — говорит он Феде, с достоинством закидывая назад голову. — Я больше в ваше воспитание не вмешиваюсь. Умываю руки! Прошу извинения, что, искренно, как отец, желая вам добра, обеспокоил вас и ваших руководительниц. Вместе с тем раз навсегда слагаю с себя ответственность за вашу судьбу…

Федя взвизгивает и рыдает еще громче. Жилин с достоинством поворачивает к двери и уходит к себе в спальную.

Выспавшись после обеда, Жилин начинает чувствовать угрызения совести. Ему совестно жены, сына, Анфисы Ивановны и даже становится невыносимо жутко при воспоминании о том, что было за обедом, но самолюбие слишком велико, не хватает мужества быть искренним, и он продолжает дуться и ворчать…

Проснувшись на другой день утром, он чувствует себя в отличном настроении и, умываясь, весело посвистывает. Придя в столовую пить кофе, он застает там Федю, который при виде отца поднимается и глядит на него растерянно.

— Ну, что, молодой человек? — спрашивает весело Жилин, садясь за стол. — Что у вас нового, молодой человек? Живешь? Ну, иди, бутуз, поцелуй своего отца.

Федя, бледный, с серьезным лицом, подходит к отцу и касается дрожащими губами его щеки, потом отходит и молча садится на свое место.

Мертвое тело

Тихая августовская ночь. С поля медленно поднимается туман и матовой пеленой застилает все, доступное для глаза. Освещенный луною, этот туман дает впечатление то спокойного, беспредельного моря, то громадной белой стены. В воздухе сыро и холодно. Утро еще далеко. На шаг от проселочной дороги, идущей по опушке леса, светится огонек. Тут, под молодым дубом, лежит мертвое тело, покрытое с головы до ног новой белой холстиной. На груди большой деревянный образок. Возле трупа, почти у самой дороги, сидит «очередь» — два мужика, исполняющих одну из самых тяжелых и неприглядных крестьянских повинностей. Один — молодой высокий парень с едва заметными усами и с густыми черными бровями, в рваном полушубке и лаптях, сидит на мокрой траве, протянув вперед ноги, и старается скоротать время работой. Он нагнул свою длинную шею и, громко сопя, делает из большой угловатой деревяшки ложку. Другой — маленький мужичонко со старческим лицом, тощий, рябой, с жидкими усами и козлиной бородкой, свесил на колени руки и, не двигаясь, глядит без-

участно на огонь. Между обоими лениво догорает небольшой костер и освещает их лица в красный цвет. Тишина. Слышно только, как скрипит под ножом деревяшка и потрескивают в костре сырые бревнышки.

— А ты, Сема, не спи… — говорит молодой.

— Я… не сплю… — заикается козлиная бородка.

— То-то… Одному сидеть жутко, страх берет. Рассказал бы что-нибудь, Сема!

— Не… не умею…

— Чудной ты человек, Семушка! Другие люди и посмеются, и небылицу какую расскажут, и песню споют, а ты — бог тебя знает, какой. Сидишь, как пугало огородное, и глаза на огонь таращишь. Слова путем сказать не умеешь… Говоришь и будто боишься. Чай, уж годов пятьдесят есть, а рассудка меньше, чем в дите… И тебе не жалко, что ты дурачок?

— Жалко… — угрюмо отвечает козлиная бородка.

— А нам нешто не жалко глядеть на твою глупость? Мужик ты добрый, тверезый, одно только горе — ума в голове нету. А ты бы, ежели господь тебя обидел, рассудка не дал, сам бы ума набирался… Ты понатужься, Сема… Где что хорошее скажут, ты и вникай, бери себе в толк, да все ду-

май, думай… Ежели какое слово тебе непонятно, ты понатужься и рассуди в голове, в каких смыслах это самое слово. Понял? Понатужься! А ежели сам до ума доходить не будешь, то так и помрешь дурачком, последним человеком.

Вдруг в лесу раздается протяжный, стонущий звук. Что-то, как будто сорвавшись с самой верхушки дерева, шелестит листвой и падает на землю. Всему этому глухо вторит эхо. Молодой вздрагивает и вопросительно глядит на своего товарища.

— Это сова пташек забижает, — говорит угрюмо Сема.

— А что, Сема, ведь уж время птицам лететь в теплые края!

— Знамо, время.

— Холодные нынче зори стали. Х-холодно! Журавль зябкая тварь, нежная. Для него такой холод — смерть. Вот я не журавль, а замерз… Подложика дровец!

Сема поднимается и исчезает в темной чаще. Пока он возится за кустами и ломает сухие сучья, его товарищ закрывает руками глаза и вздрагивает от каждого звука. Сема приносит охапку хворосту и кладет ее на костер. Огонь нерешительно облизывает язычками черные сучья,

потом вдруг, словно по команде, охватывает их и освещает в багровый цвет лица, дорогу, белую холстину с ее рельефами от рук и ног мертвеца, образок… «Очередь» молчит. Молодой еще ниже нагибает шею и еще нервнее принимается за работу. Козлиная бородка сидит по-прежнему неподвижно и не сводит глаз с огня…

— «Ненавидящие Сиона… посрамистеся от господа…» — слышится вдруг в ночной тишине поющая фистула, потом слышатся тихие шаги, и на дороге в багровых лучах костра вырастает темная человеческая фигура в короткой монашеской ряске, широкополой шляпе и с котомкой за плечами.

— Господи, твоя воля! Мать честная! — говорит эта фигура сиплым дискантом. — Увидал огонь во тьме кромешной и взыгрался духом… Сначала думал — ночное, потом же и думаю: какое же это ночное, ежели коней не видать? Не тати ли сие, думаю, не разбойники ли, богатого Лазаря поджидающие? Не цыганская ли это нация, жертвы идолам приносящая? И взыграся дух мой… Иди, говорю себе, раб Феодосий, и приими венец мученический! И понесло меня на огонь, как мотыля легкокрылого. Теперь стою перед вами и по наружным физиогномиям вашим сужу о душах

ваших: не тати вы и не язычники. Мир вам!

— Здорово.

— Православные, не знаете ли вы, как тут пройтить до Макухинских кирпичных заводов?

— Близко. Вот это, стало быть, пойдете прямо по дороге; версты две пройдете, там будет Ананово, наша деревня. От деревни, батюшка, возьмешь вправо, берегом, и дойдешь до заводов. От Ананова версты три будет.

— Дай бог здоровья. А вы чего тут сидите?

— Понятыми сидим. Вишь, мертвое тело…

— Что? Какое тело? Мать честная!

Странник видит белую холстину с образком и вздрагивает так сильно, что его ноги делают легкий прыжок. Это неожиданное зрелище действует на него подавляюще. Он весь съеживается и, раскрыв рот, выпуча глаза, стоит, как вкопанный… Минуты три он молчит, словно не верит глазам своим, потом начинает бормотать:

— Господи! Мать честная!! Шел себе, никого не трогал, и вдруг этакое наказание…

— Вы из каких будете? — спрашивает парень. — Из духовенства?

— Не… нет… Я по монастырям хожу… Знаешь Ми… Михайлу Поликарпыча, заводского управляющего? Так вот, я ихний племянник… Господи,

твоя воля! Зачем же вы тут?

— Сторожим… Велят.

— Так, так… — бормочет ряска, поводя рукой по глазам. — А откуда покойник-то?

— Прохожий.

— Жизнь наша! Одначе, братцы, я тово… пойду… Оторопь берет. Боюсь мертвецов пуще всего, родимые мои… Ведь вот, скажи на милость! Покеда этот человек жив был, не замечали его, теперь же, когда он мертв и тлену предается, мы трепещем перед ним, как перед каким-нибудь славным полководцем или преосвященным владыкою… Жизнь наша! Что ж, его убили, что ли?

— Христос его знает! Может, убили, а может, и сам помер.

— Так, так… Кто знает, братцы, может, душа его теперь сладости райские вкушает!

— Душа его еще здесь около тела ходит… — говорит парень. — Она три дня от тела не идет.

— М-да… Холода какие нынче! Зуб на зуб не попадет… Так, стало быть, идти все прямо и прямо…

— Покеда в деревню не упрешься, а там возьмешь вправо берегом.

— Берегом… Так… Что же это я стою? Идти надо… Прощайте, братцы!

Ряска делает шагов пять по дороге и останавливается.

— Забыл копеечку на погребение положить, — говорит она. — Православные, можно монетку положить?

— Тебе это лучше знать, ты по монастырям ходишь. Ежели настоящей смертью он помер, то пойдет за душу, ежели самоубивец, то грех.

— Верно… Может, и в самом деле самоубийца! Так уж лучше я свою монетку при себе оставлю. Ох, грехи, грехи! Дай мне тыщу рублей, и то б не согласился тут сидеть… Прощайте, братцы!

Ряска медленно отходит и опять останавливается.

— Ума не приложу, как мне быть… — бормочет она. — Тут около огня остаться, рассвета подождать… страшно. Идти тоже страшно. Всю дорогу в потемках покойник будет мерещиться… Вот наказал господь! Пятьсот верст пешком прошел, и ничего, а к дому стал подходить, и горе… Не могу идти!

— Это правда, что страшно…

— Не боюсь ни волков, ни татей, ни тьмы, а покойников боюсь. Боюсь, да и шабаш! Братцы православные, молю вас коленопреклоненно, проводите меня до деревни!

— Нам не велено от тела отходить.

— Никто не увидит, братцы! Ей-же-ей, не увидит! Господь вам сторицею воздаст! Борода, проводи, сделай милость! Борода! Что ты все молчишь?

— Он у нас дурачок… — говорит парень.

— Проводи, друг! Пятачок дам!

— За пятачок бы можно, — говорит парень, почесывая затылок, — да не велено… Ежели вот Сема, дурачок-то, один посидит, то провожу. Сема, посидишь тут один?

— Посижу… — соглашается дурачок.

— Ну и ладно. Пойдем!

Парень поднимается и идет с ряской. Через минуту их шаги и говор смолкают. Сема закрывает глаза и тихо дремлет. Костер начинает тухнуть, и на мертвое тело ложится большая черная тень…

Кухарка женится

Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную скважину. В кухне происходило нечто, по его мнению, необыкновенное, доселе невиданное. За кухонным столом, на котором обыкновенно рубят мясо и крошат лук, сидел большой, плотный мужик в извозчичьем кафтане, рыжий, бородатый, с большой каплей пота на носу. Он держал на пяти пальцах правой руки блюдечко и пил чай, причем так громко кусал сахар, что Гришину спину подирал мороз. Против него на грязном табурете сидела старуха нянька Аксинья Степановна и тоже пила чай. Лицо у няньки было серьезно и в то же время сияло каким-то торжеством. Кухарка Пелагея возилась около печки и, видимо, старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо. А на ее лице Гриша видел целую иллюминацию: оно горело и переливало всеми цветами, начиная с красно-багрового и кончая смертельно-бледным. Она, не переставая, хваталась дрожащими руками за ножи, вилки, дрова, тряпки, двигалась, ворчала, стучала, но в сущности ничего не делала. На стол,

за которым пили чай, она ни разу не взглянула, а на вопросы, задаваемые нянькой, отвечала отрывисто, сурово, не поворачивая лица.

— Кушайте, Данило Семеныч! — угощала нянька извозчика. — Да что вы все чай да чай? Вы бы водочки выкушали!

И нянька придвигала к гостю сороковушку и рюмку, причем лицо ее принимало ехиднейшее выражение.

— Не потребляю-с… нет-с… — отнекивался извозчик. — Не невольте, Аксинья Степановна.

— Какой же вы… Извозчики, а не пьете… Холостому человеку невозможно, чтоб не пить. Выкушайте!

Извозчик косился на водку, потом на ехидное лицо няньки, и лицо его самого принимало не менее ехидное выражение: нет, мол, не поймаешь, старая ведьма!

— Не пью-с, увольте-с… При нашем деле не годится это малодушество. Мастеровой человек может пить, потому он на одном месте сидит, наш же брат завсегда на виду в публике. Не так ли-с? Пойдешь в кабак, а тут лошадь ушла; напьешься ежели — еще хуже: того и гляди, уснешь или с козел свалишься. Дело такое.

— А вы сколько в день выручаете, Данило Се-

меныч?

— Какой день. В иной день на зелененькую выездишь, а в Другой раз так и без гроша ко двору поедешь. Дни разные бывают-с. Нониче наше дело совсем ничего не стоит. Извозчиков, сами знаете, хоть пруд пруди, сено дорогое, а седок пустяковый, норовит все на конке проехать. А все ж, благодарить бога, не на что жалиться. И сыты, и одеты, и… можем даже другого кого осчастливить… (извозчик покосился на Пелагею)… ежели им по сердцу.

Что дальше говорилось, Гриша не слышал. Подошла к двери мамаша и послала его в детскую учиться.

— Ступай учиться. Не твое дело тут слушать!

Придя к себе в детскую, Гриша положил перед собой «Родное слово», но ему не читалось. Все только что виденное и слышанное вызвало в его голове массу вопросов.

«Кухарка женится… — думал он. — Странно. Не понимаю, зачем это жениться? Мамаша женилась на папаше, кузина Верочка — на Павле Андреиче. Но на папе и Павле Андреиче, так и быть уж, можно жениться: у них есть золотые цепочки, хорошие костюмы, у них всегда сапоги вычищенные; но жениться на этом страшном

извозчике с красным носом, в валенках… фи! И почему это няньке хочется, чтоб бедная Пелагея женилась?»

Когда из кухни ушел гость, Пелагея явилась в комнаты и занялась уборкой. Волнение еще не оставило ее. Лицо ее было красно и словно испуганно. Она едва касалась веником пола и по пяти раз мела каждый угол. Долго она не выходила из той комнаты, где сидела мамаша. Ее, очевидно, тяготило одиночество, и ей хотелось высказаться, поделиться с кем-нибудь впечатлениями, излить душу.

— Ушел! — проворчала она, видя, что мамаша не начинает разговора.

— А он, заметно, хороший человек, — сказала мамаша, не отрывая глаз от вышиванья. — Трезвый такой, степенный.

— Ей-богу, барыня, не выйду! — крикнула вдруг Пелагея, вся вспыхнув. — Ей-богу, не выйду!

— Ты не дури, не маленькая. Это шаг серьезный, нужно обдумать хорошенько, а так, зря, нечего кричать. Он тебе нравится?

— Выдумываете, барыня! — застыдилась Пелагея. — Такое скажут, что… ей-богу…

«Сказала бы: не нравится!» — подумал Гриша.

— Какая ты, однако, ломака… Нравится?

— Да он, барыня, старый! Гы-ы!

— Выдумывай еще! — окрысилась на Пелагею из другой комнаты нянька. — Сорока годов еще не исполнилось. Да на что тебе молодой? С лица, дура, воды не пить… Выходи, вот и все!

— Ей-богу, не выйду! — взвизгнула Пелагея.

— Блажишь! Какого лешего тебе еще нужно? Другая бы в ножки поклонилась, а ты — не выйду! Тебе бы все с почтальонами да лепетиторами перемигиваться! К Гришеньке лепетитор ходит, барыня, так она об него все свои глазищи обмозолила. У, бесстыжая!

— Ты этого Данилу раньше видала? — спросила барыня Пелагею.

— Где мне его видеть? Первый раз сегодня вижу. Аксинья откуда-то привела… черта окаянного… И откуда он взялся на мою голову!

За обедом, когда Пелагея подавала кушанья, все обедающие засматривали ей в лицо и дразнили ее извозчиком. Она страшно краснела и принужденно хихикала.

«Должно быть, совестно жениться… — думал Гриша. — Ужасно совестно!»

Все кушанья были пересолены, из недожаренных цыплят сочилась кровь, и, в довершение всего, во время обеда из рук Пелагеи сыпались

тарелки и ножи, как с похилившейся полки, но никто не сказал ей ни слова упрека, так как все понимали состояние ее духа. Раз только папаша с сердцем швырнул салфетку и сказал мамаше:

— Что у тебя за охота всех женить да замуж выдавать! Какое тебе дело? Пусть сами женятся, как хотят.

После обеда в кухне замелькали соседские кухарки и горничные, и до самого вечера слышалось шушуканье. Откуда они пронюхали о сватовстве — бог весть. Проснувшись в полночь, Гриша слышал, как в детской за занавеской шушукались нянька и кухарка. Нянька убеждала, а кухарка то всхлипывала, то хихикала. Заснувши после этого, Гриша видел во сне похищение Пелагеи Черномором и ведьмой…

С другого дня наступило затишье. Кухонная жизнь пошла своим чередом, словно извозчика и на свете не было. Изредка только нянька одевалась в новую шаль, принимала торжественно-суровое выражение и уходила куда-то часа на два, очевидно, для переговоров… Пелагея с извозчиком не видалась, и, когда ей напоминали о нем, она вспыхивала и кричала:

— Да будь он трижды проклят, чтоб я о нем думала! Тьфу!

Однажды вечером в кухню, когда там Пелагея и нянька что-то усердно кроили, вошла мамаша и сказала:

— Выходить за него ты, конечно, можешь, твое это дело, но, Пелагея, знай, что он не может здесь жить… Ты знаешь, я не люблю, если кто в кухне сидит. Смотри же, помни… И тебя я не буду отпускать на ночь.

— И бог знает что выдумываете, барыня! — взвизгнула кухарка. — Да что вы меня им попрекаете? Пущай он сбесится! Вот еще навязался на мою голову, чтоб ему…

Заглянув в одно воскресное утро в кухню, Гриша замер от удивления. Кухня битком была набита народом. Тут были кухарки со всего двора, дворник, два городовых, унтер с нашивками, мальчик Филька… Этот Филька обыкновенно трется около прачешной и играет с собаками, теперь же он был причесан, умыт и держал икону в фольговой ризе. Посреди кухни стояла Пелагея в новом ситцевом платье и с цветком на голове. Рядом с нею стоял извозчик. Оба молодые были красны, потны и усиленно моргали глазами.

— Ну-с… кажись, время… — начал унтер после долгого молчания.

Пелагея заморгала всем лицом и заревела…

Унтер взял со стола большой хлеб, стал рядом с нянькой и начал благословлять. Извозчик подошел к унтеру, бухнул перед ним поклон и чмокнул его в руку. То же самое сделал он и перед Аксиньей. Пелагея машинально следовала за ним и тоже бухала поклоны. Наконец отворилась наружная дверь, в кухню пахнул белый туман, и вся публика с шумом двинулась из кухни на двор.

«Бедная, бедная! — думал Гриша, прислушиваясь к рыданьям кухарки. — Куда ее повели? Отчего папа и мама не заступятся?»

После венца до самого вечера в прачешной пели и играли на гармонике. Мамаша все время сердилась, что от няньки пахнет водкой и что из-за этих свадеб некому поставить самовар. Когда Гриша ложился спать, Пелагея еще не возвращалась.

«Бедная, плачет теперь где-нибудь в потемках! — думал он. — А извозчик на нее: цыц! цыц!»

На другой день утром кухарка была уже в кухне. Заходил на минуту извозчик. Он поблагодарил мамашу и, взглянув сурово на Пелагею, сказал:

— Вы же, барыня, поглядывайте за ней. Будьте заместо отца-матери. И вы тоже, Аксинья Степанна, не оставьте, посматривайте, чтоб все

благородно… без шалостев… А также, барыня, дозвольте рубликов пять в счет ейного жалованья. Хомут надо купить новый.

Опять задача для Гриши: жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчета, и вдруг, ни с того ни с сего, явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и собственность! Грише стало горько. Ему страстно, до слез захотелось приласкать эту, как он думал, жертву человеческого насилия. Выбрав в кладовой самое большое яблоко, он прокрался на кухню, сунул его в руку Пелагее и опрометью бросился назад.

Стена

…люди, кончившие курс в специальных заведениях, сидят без дела или же занимают должности, не имеющие ничего общего с их специальностью, и таким образом высшее техническое образование является у нас пока непроизводительным…

(Из передовой статьи)

— Тут, ваше превосходительство, по два раза на день ходит какой-то Маслов, вас спрашивает… — говорил камердинер Иван, брея своего барина Букина. — И сегодня приходил, сказывал, что в управляющие хочет наниматься… Обещался сегодня в час прийти… Чудной человек!

— Что такое?

— Сидит в передней и все бормочет. Я, говорит, не лакей и не проситель, чтоб в передней по два часа тереться. Я, говорит, человек образованный… Хоть, говорит, твой барин и генерал, а скажи ему, что это невежливо людей в передней морить…

— И он бесконечно прав! — нахмурился Бу-

кин. — Как ты, братец, иногда бываешь нетактичен! Видишь, что человек порядочный, из чистеньких, ну и пригласил бы его куда-нибудь… к себе в комнату, что ли…

— Не важная птица! — усмехнулся Иван. — Не в генералы пришел наниматься, и в передней посидишь. Сидят люди и почище твоего носа, и то не обижаются… Коли ежели ты управляющий, слуга своему господину, то и будь управляющим, а нечего выдумки выдумывать, в образованные лезть… Тоже, поди ты, в гостиную захотел… харя немытая… Уж оченно много нониче смешных людей развелось, ваше превосходительство!

— Если сегодня еще раз придет этот Маслов, то проси…

Ровно в час явился Маслов. Иван повел его в кабинет.

— Вас граф ко мне прислал? — встретил его Букин. — Очень приятно познакомиться! Садитесь! Вот сюда садитесь, молодой человек, тут помягче будет… Вы уж тут были… мне говорили об этом, но, pardon[52], я вечно или в отлучке, или занят. Курите, милейший… Да, действительно, мне нужен управляющий… С прежним мы немножко не

---

[52] Примечания: 52
Извините *(франц.).*

поладили… Я ему не уважил, он мне не потрафил, пошли, знаете ли, контры… Хе-хе-хе… Вы ранее управляли где-нибудь именьем?

— Да, я у Киршмахера год служил младшим управляющим… Именье было продано с аукциона, и мне поневоле пришлось ретироваться… Опыта у меня, конечно, почти нет, но я кончил в Петровской земледельческой академии, где изучал агрономию… Думаю, что мои науки хоть немного заменят мне практику…

— Какие же там, батенька, науки? Глядеть за рабочими, за лесниками… хлеб продавать, отчетность раз в год представлять… никаких тут наук не нужно! Тут нужны глаз острый, рот зубастый, голосина… Впрочем, знания не мешают… — вздохнул Букин. — Ну-с, именье мое находится в Орловской губернии. Как, что и почему, узнаете вы вот из этих планов и отчетов, сам же я в имении никогда не бываю, в дела не вмешиваюсь, и от меня, как от Расплюева, ничего не добьетесь, кроме того, что земля черная, лес зеленый. Условия, я думаю, останутся прежние, то есть тысяча жалованья, квартира, провизия, экипаж и полнейшая свобода действий!

«Да он душка!» — подумал Маслов.

— Только вот что, батенька… Простите, но луч-

ше заранее уговориться, чем потом ссориться. Делайте там что хотите, но да хранит вас бог от нововведений, не сбивайте с толку мужиков и, что главнее всего, хапайте не более тысячи в год…

— Простите, я не расслышал последней фразы… — пробормотал Маслов.

— Хапайте не больше тысячи в год… Конечно, без хапанья нельзя обойтись, но, милый мой, мера, мера! Ваш предшественник увлекся и на одной шерсти стилиснул пять тысяч, и… и мы разошлись. Конечно, по-своему он прав… человек ищет, где лучше, и своя рубашка ближе к телу, но, согласитесь, для меня это тяжеленько. Так вот помните же: тысячу можно… ну, так и быть уж — две, но не дальше!

— Вы говорите со мной, словно с мошенником! — вспыхнул Маслов, поднимаясь. — Извините, я к таким беседам не привык…

— Да? Как угодно-с… Не смею удерживать…

Маслов взял шапку и быстро вышел.

— Что, папа, нанял управляющего? — спросила Букина его дочь по уходе Маслова.

— Нет… Уж больно малый… тово… честен…

— Что ж, и отлично! Чего же тебе еще нужно?

— Нет, спаси господи и помилуй от честных лю-

дей… Если честен, то, наверное, или дела своего не знает, или же авантюрист, пустомеля… дурак. Избави бог… Честный не крадет, не крадет, да уж зато как царапнет залпом за один раз, так только рот разинешь… Нет, душечка, спаси бог от этих честных…

Букин подумал и сказал:

— Пять человек являлось, и все такие, как этот… Черт знает счастье какое! Придется, вероятно, прежнего управляющего пригласить…

Два газетчика
(Неправдоподобный рассказ)

Рыбкин, сотрудник газеты «Начихать вам на головы!», человек обрюзглый, сырой и тусклый, стоял посреди своего номера и любовно поглядывал на потолок, где торчал крючок, приспособленный для лампы. В руках у него болталась веревка.

«Выдержит или не выдержит? — думал он. — Оборвется, чего доброго, и крючком по голове… Жизнь анафемская! Даже повеситься путем негде!»

Не знаю, чем кончились бы размышления безумца, если бы не отворилась дверь и не вошел в номер приятель Рыбкина, Шлепкин, сотрудник газеты «Иуда предатель», живой, веселый, розовый.

— Здорово, Вася! — начал он, садясь. — Я за тобой… Едем! В Выборгской покушение на убийство, строк на тридцать… Какая-то шельма резала и не дорезала. Резал бы уж на целых сто строк, подлец! Часто, брат, я думаю и даже хочу об этом писать: если бы человечество было гуманно и

знало, как нам жрать хочется, то оно вешалось бы, горело и судилось во сто раз чаще. Ба! Это что такое? — развел он руками, увидев веревку. — Уж не вешаться ли вздумал?

— Да, брат… — вздохнул Рыбкин. — Шабаш… прощай! Опротивела жизнь! Пора уж…

— Ну, не идиотство ли? Чем же могла тебе жизнь опротиветь?

— Да так, всем… Туман какой-то кругом, неопределенность… безызвестность… писать не о чем. От одной мысли можно десять раз повеситься: кругом друг друга едят, грабят, топят, друг другу в морды плюют, а писать не о чем! Жизнь кипит, трещит, шипит, а писать не о чем! Дуализм проклятый какой-то…

— Как же не о чем писать? Будь у тебя десять рук, и на все бы десять работы хватило.

— Нет, не о чем писать! Кончена моя жизнь! Ну, о чем прикажешь писать? О кассирах писали, об аптеках писали, про восточный вопрос писали… до того писали, что все перепутали и ни черта в этом вопросе не поймешь. Писали о неверии, тещах, о юбилеях, о пожарах, женских шляпках, падении нравов, о Цукки… Всю вселенную перебрали, и ничего не осталось. Ты вот сейчас про убийство говоришь: человека зарезали… Эка

невидаль! Я знаю такое убийство, что человека повесили, зарезали, керосином облили и сожгли — все это сразу, и то я молчу. Наплевать мне! Все это уже было, и ничего тут нет необыкновенного. Допустим, что ты двести тысяч украл или что Невский с двух концов поджег, — наплевать и на это! Все это обыкновенно, и писали уж об этом. Прощай!

— Не понимаю! Такая масса вопросов… такое разнообразие явлений! В собаку камень бросишь, а в вопрос или явление попадешь…

— Ничего не стоят ни вопросы, ни явления… Например, вот я вешаюсь сейчас… По-твоему, это вопрос, событие; а по-моему, пять строк петита — и больше ничего. И писать незачем. Околевали, околевают и будут околевать — ничего тут нет нового… Все эти, брат, разнообразия, кипения, шипения очень уж однообразны… И самому писать тошно, да и читателя жалко: за что его, бедного, в меланхолию вгонять?

Рыбкин вздохнул, покачал головой и горько улыбнулся.

— А вот если бы, — сказал он, — случилось что-нибудь особенное, этакое, знаешь, зашибательное, что-нибудь мерзейшее, распереподлое, такое, чтоб черти с перепугу передохли, ну, тогда

ожил бы я! Прошла бы земля сквозь хвост кометы, что ли, Бисмарк бы в магометанскую веру перешел, или турки Калугу приступом взяли бы… или, знаешь, Нотовича в тайные советники произвели бы… одним словом, что-нибудь зажигательное, отчаянное, — ах, как бы я зажил тогда!

— Любишь ты широко глядеть, а ты попробуй помельче плавать. Вглядись в былинку, в песчинку, в щелочку… всюду жизнь, драма, трагедия! В каждой щепке, в каждой свинье драма!

— Благо у тебя натура такая, что ты и про выеденное яйцо можешь писать, а я… нет!

— А что ж? — окрысился Шлепкин. — Чем, по-твоему, плохо выеденное яйцо? Масса вопросов! Во-первых, когда ты видишь перед собой выеденное яйцо, тебя охватывает негодование, ты возмущен!! Яйцо, предназначенное природою для воспроизведения жизни индивидуума… понимаешь! жизни!., жизни, которая в свою очередь дала бы жизнь целому поколению, а это поколение тысячам будущих поколений, вдруг съедено, стало жертвою чревоугодия, прихоти! Это яйцо дало бы курицу, курица в течение всей своей жизни снесла бы тысячу яиц… — вот тебе, как на ладони, подрыв экономического строя, заедание будущего! Во-вторых, глядя на выеден-

ное яйцо, ты радуешься: если яйцо съедено, то, значит, на Руси хорошо питаются… В-третьих, тебе приходит на мысль, что яичной скорлупой удобряют землю, и ты советуешь читателю дорожить отбросами. В-четвертых, выеденное яйцо наводит тебя на мысль о бренности всего земного: жило и нет его! В-пятых… Да что я считаю? На сто нумеров хватит!

— Нет, куда мне! Да и веру я в себя потерял, в уныние впал… Ну его, все к черту!

Рыбкин стал на табурет и прицепил веревку к крючку.

— Напрасно, ей-богу, напрасно! — убеждал Шлепкин. — Ты погляди: двадцать у нас газет и все полны! Стало быть, есть о чем писать! Даже провинциальные газеты, и те полны!

— Нет… Спящие гласные, кассиры… — забормотал Рыбкин, как бы ища за что ухватиться, — дворянский банк, паспортная система… упразднение чинов, Румелия… Бог с ними!

— Ну, как знаешь…

Рыбкин накинул себе петлю на шею и с удовольствием повесился. Шлепкин сел за стол и в один миг написал: заметку о самоубийстве, некролог Рыбкина, фельетон по поводу частых самоубийств, передовую об усилении кары, на-

лагаемой на самоубийц, и еще несколько других статей на ту же тему. Написав все это, он положил в карман и весело побежал в редакцию, где его ждали мзда, слава и читатели.

На чужбине

Воскресный полдень. Помещик Камышев сидит у себя в столовой за роскошно сервированным столом и медленно завтракает. С ним разделяет трапезу чистенький, гладко выбритый старик французик, m-r Шампунь. Этот Шампунь был когда-то у Камышева гувернером, учил его детей манерам, хорошему произношению и танцам, потом же, когда дети Камышева выросли и стали поручиками, Шампунь остался чем-то вроде бонны мужского пола. Обязанности бывшего гувернера не сложны. Он должен прилично одеваться, пахнуть духами, выслушивать праздную болтовню Камышева, есть, пить, спать — и больше, кажется, ничего. За это он получает стол, комнату и неопределенное жалованье.

Камышев ест и, по обыкновению, празднословит.

— Смерть! — говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска ветчины, густо вымазанного горчицей. — Уф! В голову и во все суставы ударило. А вот от вашей французской горчицы не будет этого, хоть всю банку съешь.

— Кто любит французскую, а кто русскую… —

кротко заявляет Шампунь.

— Никто не любит французской, разве только одни французы. А французу что ни подай — все съест: и лягушку, и крысу, и тараканов… брр! Вам, например, эта ветчина не нравится, потому что она русская, а подай вам жареное стекло и скажи, что оно французское, вы станете есть и причмокивать… По-вашему, все русское скверно.

— Я этого не говорю.

— Все русское скверно, а французское — о, сэ трэ жоли![53] По-вашему, лучше и страны нет, как Франция, а по-моему… ну, что такое Франция, говоря по совести? Кусочек земли! Пошли туда нашего исправника, так он через месяц же перевода запросит: повернуться негде! Вашу Францию всю в один день объездить можно, а у нас выйдешь за ворота — конца-краю не видно! Едешь, едешь…

— Да, monsieur, Россия громадная страна.

— То-то вот и есть! По-вашему, лучше французов и людей нет. Ученый, умный народ. Цивилизация! Согласен, французы все ученые, манерные… это верно… Француз никогда не позволит себе невежества: вовремя даме стул подаст, раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол, но… нет то-

---

[53] Примечания: 53

Это очень мило! (от *франц.* — c'est tres joli).

го духу! Духу того в нем нет! Я не могу только вам объяснить, но, как бы это выразиться, во французе не хватает чего-то такого, этакого (говорящий шевелит пальцами), чего-то такого… юридического. Я, помню, читал где-то, что у вас у всех ум приобретенный, из книг, а у нас ум врожденный. Если русского обучить как следует наукам, то никакой ваш профессор не сравняется.

— Может быть… — как бы нехотя говорит Шампунь.

— Нет, не может быть, а верно! Нечего морщиться, правду говорю! Русский ум — изобретательный ум! Только, конечно, ходу ему не дают, да и хвастать он не умеет… Изобретет что-нибудь и поломает или же детишкам отдаст поиграть, а ваш француз изобретет какую-нибудь чепуху и на весь свет кричит. Намедни кучер Иона сделал из дерева человечка: дернешь этого человечка за ниточку, а он и сделает непристойность. Однако же Иона не хвастает. Вообще… не нравятся мне французы! Я про вас не говорю, а вообще… Безнравственный народ! Наружностью словно как бы и на людей походят, а живут как собаки… Взять хоть, например, брак. У нас коли женился, так прилепись к жене и никаких разговоров, а у вас черт знает что. Муж целый день в кафе сидит,

а жена напустит полный дом французов и давай с ними канканировать.

— Это неправда! — не выдерживает Шампунь, вспыхивая. — Во Франции семейный принцип стоит очень высоко!

— Знаем мы этот принцип! А вам стыдно защищать. Надо беспристрастно: свиньи, так и есть свиньи… Спасибо немцам за то, что побили… Ей-богу, спасибо. Дай бог им здоровья…

— В таком случае, monsieur, я не понимаю, — говорит француз, вскакивая и сверкая глазами, — если вы ненавидите французов, то зачем вы меня держите?

— Куда же мне вас девать?

— Отпустите меня, и я уеду во Францию!

— Что-о-о? Да нешто вас пустят теперь во Францию? Ведь вы изменник своему отечеству! То у вас Наполеон великий человек, то Гамбетта… сам черт вас не разберет!

— Monsieur, — говорит по-французски Шампунь, брызжа и комкая в руках салфетку. — Выше оскорбления, которое вы нанесли сейчас моему чувству, не мог бы придумать и враг мой! Все кончено!!

И, сделав рукой трагический жест, француз манерно бросает на стол салфетку и с достоинством

выходит.

Часа через три на столе переменяется сервировка и прислуга подает обед. Камышев садится за обед один. После предобеденной рюмки у него является жажда празднословия. Поболтать хочется, а слушателя нет…

— Что делает Альфонс Людовикович? — спрашивает он лакея.

— Чемодан укладывают-с.

— Экая дуррында, прости господи!.. — говорит Камышев и идет к французу.

Шампунь сидит у себя на полу среди комнаты и дрожащими руками укладывает в чемодан белье, флаконы из-под духов, молитвенники, помочи, галстуки… Вся его приличная фигура, чемодан, кровать и стол так и дышат изяществом и женственностью. Из его больших голубых глаз капают в чемодан крупные слезы.

— Куда же это вы? — спрашивает Камышев, постояв немного.

Француз молчит.

— Уезжать хотите? — продолжает Камышев. — Что ж, как знаете… Не смею удерживать… Только вот что странно: как это вы без паспорта поедете? Удивляюсь! Вы знаете, я ведь потерял ваш паспорт. Сунул его куда-то между бумаг, он и

потерялся… А у нас насчет паспортов строго. Не успеете и пяти верст проехать, как вас сцарапают.

Шампунь поднимает голову и недоверчиво глядит на Камышева.

— Да… Вот увидите! Заметят по лицу, что вы без паспорта, и сейчас: кто таков? Альфонс Шампунь! Знаем мы этих Альфонсов Шампуней! А не угодно ли вам по этапу в не столь отдаленные!

— Вы это шутите?

— С какой стати мне шутить! Очень мне нужно! Только смотрите, условие: не извольте потом хныкать и письма писать. И пальцем не пошевельну, когда вас мимо в кандалах проведут!

Шампунь вскакивает и, бледный, широкоглазый, начинает шагать по комнате.

— Что вы со мной делаете?! — говорит он, в отчаянии хватая себя за голову. — Боже мой! О, будь проклят тот час, когда мне пришла в голову пагубная мысль оставить отечество!

— Ну, ну, ну… я пошутил! — говорит Камышев, понизив тон. — Чудак какой, шуток не понимает! Слова сказать нельзя!

— Дорогой мой! — взвизгивает Шампунь, успокоенный тоном Камышева. — Клянусь вам, я привязан к России, к вам и к вашим детям… Оста-

вить вас для меня так же тяжело, как умереть! Но каждое ваше слово режет мне сердце!

— Ах, чудак! Если я французов ругаю, так вам-то с какой стати обижаться? Мало ли кого мы ругаем, так всем и обижаться? Чудак, право! Берите пример вот с Лазаря Исакича, арендатора… Я его и так, и этак, и жидом, и пархом, и свинячье ухо из полы делаю, и за пейсы хватаю… не обижается же!

— Но то ведь раб! Из-за копейки он готов на всякую низость!

— Ну, ну, ну… будет! Пойдем обедать! Мир и согласие!

Шампунь пудрит свое заплаканное лицо и идет с Камышевым в столовую. Первое блюдо съедается молча, после второго начинается та же история, и таким образом страдания Шампуня не имеют конца.

Циник

Полдень. Управляющий «Зверинца братьев Пихнау», отставной портупей-юнкер Егор Сюсин, здоровеннейший парень с обрюзглым, испитым лицом, в грязной сорочке и в засаленном фраке, уже пьян. Перед публикой вертится он, как черт перед заутреней: бегает, изгибается, хихикает, играет глазами и словно кокетничает своими угловатыми манерами и расстегнутыми пуговками. Когда его большая стриженая голова бывает наполнена винными парами, публика любит его. В это время он «объясняет» зверей не просто, а по новому, ему одному только принадлежащему способу.

— Как объяснять? — спрашивает он публику, подмигивая глазом. — Просто или с психологией и тенденцией?

— С психологией и тенденцией!

— Бепе![54] Начинаю! Африканский лев! — говорит он, покачиваясь и насмешливо глядя на льва, сидящего в углу клетки и кротко мигающего глазами. — Синоним могущества, соединенного с

---

[54] Примечания: 54
Хорошо! *(лат.)*

грацией, краса и гордость фауны! Когда-то, в дни молодости, пленял своею мощью и ревом наводил ужас на окрестности, а теперь… Хо-хо-хо… а теперь, болван этакий, сидит в клетке… Что, братец лев? Сидишь? Философствуешь? А небось, как по лесам рыскал, так — куда тебе! — думал, что сильнее и зверя нет, что и черт тебе не брат, — ан и вышло, что дура судьба сильнее… хоть и дура она, а сильнее… Хо-хо-хо! Ишь ведь, куда черти занесли из Африки! Чай, и не снилось, что сюда попадешь! Меня тоже, братец ты мой, ух как черти носили! Был я и в гимназии, и в канцелярии, и в землемерах, и на телеграфе, и на военной, и на макаронной фабрике… и черт меня знает, где я только не был! В конце концов в зверинец попал… в вонь… Хо-хо-хо!

И публика, зараженная искренним смехом пьяного Сюсина, сама гогочет.

— Чай, хочется на свободу! — мигает глазом на льва малый, пахнущий краской и покрытый разноцветными жирными пятнами.

— Куда ему! Выпусти его, так он опять в клетку придет. Примирился. Хо-хо-хо… Помирать, лев, пора, вот что! Что уж тут, брат, тово… канителить? Взял бы да издох! Ждать ведь нечего! Что глядишь? Верно говорю!

Сюсин подводит публику к следующей клетке, где мечется и бьется о решетку дикая кошка.

— Дикая кошка! Прародитель наших васек и марусек! Еще и трех месяцев нет, как поймана и посажена в клетку. Шипит, мечется, сверкает глазами, не позволяет подойти близко. День и ночь царапает решетку: выхода ищет! Миллион, полжизни, детей отдала бы теперь, чтобы только домой попасть. Хо-хо-хо… Ну, что мечешься, дура? Что снуешь? Ведь не выйдешь отсюда! Издохнешь, не выйдешь! Да еще привыкнешь, примиришься! Мало того, что привыкнешь, но еще нам, мучителям твоим, руки лизать будешь! Хо-хо-хо… Тут, брат, тот же дантовский ад: оставьте всякую надежду!

Цинизм Сюсина начинает мало-помалу раздражать публику.

— Не понимаю, что тут смешного! — замечает чей-то бас.

— Скалит зубы и сам не знает, с какой радости… — говорит красильщик.

— Это обезьяна! — продолжает Сюсин, подходя к следующей клетке. — Дрянь животное! Знаю, что вот ненавидит нас, рада бы, кажется, в клочки изорвать, а улыбается, лижет руку! Холуйская натура! Хо-хо-хо… За кусочек сахару

своему мучителю и в ножки поклонится, и шута разыграет… Не люблю таких!.. А вот это, рекомендую, газель! — говорит Сюсин, подводя публику к клетке, где сидит маленькая, тощая газель с большими заплаканными глазами. — Эта уже готова! Не успела попасть в клетку, как уже готова развязка: в последнем градусе чахотки! Хо-хо-хо… Поглядите: глаза совсем человечьи — плачут! Оно и понятно. Молодая, красивая… жить хочется! Ей бы теперь на воле скакать да с красавцами нюхаться, а она тут на грязной соломе, где воняет псиной да конюшней. Странно: умирает, а в глазах все-таки надежда! Что значит молодость! А? Потеха с вами, с молодыми! Это ты напрасно надеешься, матушка! Так со своей надеждой и протянешь ножки. Хо-хо-хо…

— Ты, брат, тово… не донимай ее словами… — говорит красильщик, хмурясь. — Жутко!

Публика уже не смеется. Хохочет и фыркает один только Сюсин. Чем угрюмее становится публика, тем громче и резче его смех. И все почему-то начинают замечать, что он безобразен, грязен, циничен, во всех глазах появляется ненависть, злоба.

— А вот это сам журавль! — не унимается Сюсин, подходя к журавлю, стоящему около одной из

клеток. — Родился в России, бывал перелетом на Ниле, где с крокодилами и тиграми разговаривал. Прошлое самое блестящее… Глядите: задумался, сосредоточен! Так занят мыслями, что ничего не замечает… Мечты, мечты! Хо-хо-хо… «Вот, думает, продолблю всем головы, вылечу в окошко и — айда в синеву, в лазурь небесную! А в синеве-то теперь вереницы журавлей в теплые края летят и крл… крл… крл…» О, глядите: перья дыбом стали! Это, значит, в самый разгар мечтаний вспомнил, что у него крылья подрезаны, и… ужас охватил его, отчаяние. Хо-хо-хо… Натура непримиримая. Вечно этак перья будут дыбом торчать, до самой дохлой смерти. Непримиримый, гордый! А нам, тре-журавле, плевать на то, что ты непримиримый! Ты гордый, непримиримый, а я вот захочу и поведу тебя при публике за нос. Хо-хо-хо…

Сюсин берет журавля за клюв и ведет его.

— Не издеваться! — слышатся голоса. — Оставить! Черт знает что! Где хозяин? Как это позволяют пьяному… мучить животных!

— Хо-хо-хо… Да чем же я их мучу?..

— Тем… вот этим, разными этими… шутками… Не надо!

— Да ведь вы сами просили, чтоб я с психологией!.. Хо-хо-хо…

Публика вспоминает, что только за «психологией» и пришла она в зверинец, что она с нетерпением ждала, когда выйдет из своей каморки пьяный Сюсин и начнет объяснения, и, чтобы хоть чем-нибудь мотивировать свою злобу, она начинает придираться к плохой кормежке, тесноте клеток и проч.

— Мы их кормим, — говорит Сюсин, насмешливо щуря глаза на публику. — Даже сейчас будет кормление… помилуйте!

Пожав плечами, он лезет под прилавок и достает из нагретых одеял маленького удава.

— Мы их кормим… Нельзя! Те же актеры: не корми — околеют! Господин кролик, вене ней![55] Пожалуйте!

На сцену появляется белый, красноглазый кролик.

— Мое почтение-с! — говорит Сюсин, жестикулируя перед его мордочкой пальцами. — Честь имею представиться! Рекомендую господина удава, который желает вас скушать! Хо-хо-хо… Неприятно, брат? Морщишься? Что ж, ничего не поделаешь! Не моя тут вина! Не сегодня, так завтра… не я, так другой… все равно. Философия,

---

[55] Примечания: 55
Идите сюда (от *франц.* — venez ici).

брат кролик! Сейчас вот ты жив, воздух нюхаешь, мыслишь, а через минуту ты — бесформенная масса! Пожалуйте. А жизнь, брат, так хороша! Боже, как хороша!

— Не нужно кормления! — слышатся голоса. — Довольно! Не надо!

— Обидно! — продолжает Сюсин, как бы не слыша ропота публики. — Личность, индивидуум, целая жизнь… имеет самочку, деточек и… и вдруг сейчас — гам! Пожалуйте! Как ни жаль, но что делать!

Сюсин берет кролика и со смехом ставит его против пасти удава. Но не успевает кролик окаменеть от ужаса, как его хватают десятки рук. Слышны восклицания публики по адресу общества покровительства животным. Галдят, машут руками, стучат. Сюсин со смехом убегает в свою каморку.

Публика выходит из зверинца злая. Ее тошнит, как от проглоченной мухи. Но проходит день-другой, и успокоенных завсегдатаев зверинца начинает потягивать к Сюсину, как к водке или табаку. Им опять хочется его задирательного, дерущего холодом вдоль спины цинизма.

Сонная одурь

В зале окружного суда идет заседание. На скамье подсудимых господин средних лет, с испитым лицом, обвиняемый в растрате и подлогах. Тощий, узкогрудый секретарь читает тихим тенорком обвинительный акт. Он не признает ни точек, ни запятых, и его монотонное чтение похоже на жужжание пчел или журчанье ручейка. Под такое чтение хорошо мечтать, вспоминать, спать… Судьи, присяжные и публика нахохлились от скуки… Тишина. Изредка только донесутся чьи-нибудь мерные шаги из судейского коридора или осторожно кашлянет в кулак зевающий присяжный…

Защитник подпер свою кудрявую голову кулаком и тихо дремлет. Под влиянием жужжания секретаря мысли его потеряли всякий порядок и бродят.

«Какой, однако, длинный нос у этого судебного пристава, — думает он, моргая отяжелевшими веками. — Нужно же было природе так изгадить умное лицо! Если бы у людей были носы подлиннее, этак сажени две-три, то, пожалуй, было бы тесно жить и пришлось бы делать дома попро-

сторнее…»

Защитник встряхивает головой, как лошадь, которую укусила муха, и продолжает думать:

«Что-то теперь у меня дома делается? В эту пору обыкновенно все бывают дома: и жена, и теща, и дети… Детишки Колька и Зинка, наверное, теперь в моем кабинете… Колька стоит на кресле, уперся грудью о край стола и рисует что-нибудь на моих бумагах. Нарисовал уже лошадь с острой мордой и с точкой вместо глаза, человека с протянутой рукой, кривой домик; а Зина стоит тут же, около стола, вытягивает шею и старается увидеть, что нарисовал ее брат… «Нарисуй папу!» — просит она. Колька принимается за меня. Человечек у него уже есть, остается только пририсовать черную бороду — и папа готов. Потом Колька начинает искать в Своде законов картинок, а Зина хозяйничает на столе. Попалась на глаза сонетка — звонят; видят чернильницу — нужно палец обмакнуть; если ящик в столе не заперт, то это значит, что нужно порыться в нем. В конце концов обоих осеняет мысль, что оба они индейцы и что под моим столом они могут отлично прятаться от врагов. Оба лезут под стол, кричат, визжат и возятся там до тех пор, пока со стола не падает лампа или вазочка… Ох! А в гостиной

теперь, наверное, солидно прогуливается мамка с третьим произведением… Произведение ревет, ревет… без конца ревет!»

— По текущим счетам Копелова, — жужжит секретарь, — Ачкасова, Зимаковского и Чикиной проценты выданы не были, сумма же 1425 рублей 41 копейка была приписана к остатку 1883 года…

«А может быть, у нас уже обедают! — плывут мысли у защитника. — За столом сидят теща, жена Надя, брат жены Вася, дети… У тещи по обыкновению на лице тупая озабоченность и выражение достоинства. Надя, худая, уже блекнущая, но все еще с идеально белой, прозрачной кожицей на лице, сидит за столом с таким выражением, будто ее заставили насильно сидеть; она ничего не ест и делает вид, что больна. По лицу у нее, как у тещи, разлита озабоченность. Еще бы! У нее на руках дети, кухня, белье мужа, гости, моль в шубах, прием гостей, игра на пианино! Как много обязанностей и как мало работы! Надя и ее мать не делают решительно ничего. Если от скуки польют цветы или побранятся с кухаркой, то потом два дня стонут от утомления и говорят о каторге… Брат жены, Вася, тихо жует и угрюмо молчит, так как получил сегодня по латинскому языку единицу. Малый тихий, услужливый,

признательный, но изнашивает такую массу сапог, брюк и книг, что просто беда… Детишки, конечно, капризничают. Требуют уксусу и перцу, жалуются друг на друга, то и дело роняют ложки. Даже при воспоминании голова кружится! Жена и теща зорко блюдут хороший тон… Храни бог положить локоть на стол, взять нож во весь кулак, или есть с ножа, или, подавая кушанье, подойти справа, а не слева. Все кушанья, даже ветчина с горошком, пахнут пудрой и монпансье. Все невкусно, приторно, мизерно… Нет и тени добрых щей и каши, которые я ел, когда был холостяком. Теща и жена все время говорят по-французски, но когда речь заходит обо мне, то теща начинает говорить по-русски, ибо такой бесчувственный, бессердечный, бесстыдный, грубый человек, как я, недостоин, чтобы о нем говорили на нежном французском языке… «Бедный Мишель, вероятно, проголодался, — говорит жена. — Выпил утром стакан чаю без хлеба, так и побежал в суд…» — «Не беспокойся, матушка! — злорадствует теща. — Такой не проголодается! Небось, уж пять раз в буфет бегал. Устроили себе в суде буфет и каждые пять минут просят у председателя, нельзя ли перерыв сделать». После обеда теща и жена толкуют о сокращении расходов…

Считают, записывают и находят в конце концов, что расходы безобразно велики. Приглашается кухарка, начинают считать с ней вместе, попрекают ее, поднимается брань из-за пятака… Слезы, ядовитые слова… Потом уборка комнат, перестановка мебели — и все от нечего делать».

— Коллежский асессор Черепков показал, — жужжит секретарь, — что хотя ему и была прислана квитанция № 811, но, тем не менее, следуемые ему 46 р. 2 к. он не получал, о чем и заявил тогда же…

«Как подумаешь, да рассудишь, да взвесишь все обстоятельства, — продолжает думать защитник, — и, право, махнешь на все рукой и все пошлешь к черту… Как истомишься, ошалеешь, угоришь за весь день в этом чаду скуки и пошлости, то поневоле захочешь дать своей душе хоть одну светлую минуту отдыха. Заберешься к Наташе или, когда деньги есть, к цыганам — и все забудешь… честное слово, все забудешь! Черт его знает где, далеко за городом, в отдельном кабинете, развалишься на софе, азиаты поют, скачут, галдят, и чувствуешь, как всю душу твою переворачивает голос этой обаятельной, этой страшной, бешеной цыганки Глаши… Глаша! Милая, славная, чудесная Глаша! Что за зубы,

глаза… спина!»

А секретарь жужжит, жужжит, жужжит… В глазах защитника начинает все сливаться и прыгать. Судьи и присяжные уходят в самих себя, публика рябит, потолок то опускается, то поднимается… Мысли тоже прыгают и наконец обрываются… Надя, теща, длинный нос судебного пристава, подсудимый, Глаша — все это прыгает, вертится и уходит далеко, далеко, далеко…

«Хорошо… — тихо шепчет защитник, засыпая. — Хорошо… Лежишь на софе, а кругом уютно… тепло… Глаша поет…»

— Господин защитник! — раздается резкий оклик.

«Хорошо… тепло… Нет ни тещи, ни кормилицы… ни супа, от которого пахнет пудрой… Глаша добрая, хорошая…»

— Господин защитник! — раздается тот же резкий голос.

Защитник вздрагивает и открывает глаза. Прямо, в упор, на него глядят черные глаза цыганки Глаши, улыбаются сочные губы, сияет смуглое, красивое лицо. Ошеломленный, еще не совсем проснувшийся, полагая, что это сон или привидение, он медленно поднимается и, разинув рот, смотрит на цыганку.

— Господин защитник, не желаете ли спросить что-нибудь у свидетельницы? — спрашивает председатель.

— Ах… да! Это свидетельница… Нет, не… не желаю. Ничего не имею.

Защитник встряхивает головой и окончательно просыпается. Теперь ему понятно, что это в самом деле стоит цыганка Глаша, что она вызвана сюда в качестве свидетельницы.

— Впрочем, виноват, я имею кое-что спросить, — говорит он громко. — Свидетельница, — обращается он к Глаше, — вы служите в цыганском хоре Кузьминова, скажите, как часто в вашем ресторане кутил обвиняемый? Так-с… А не помните ли, сам ли он за себя платил всякий раз или же случалось, что и другие платили за него? Благодарю вас… достаточно.

Он выпивает два стакана воды, и сонная одурь проходит совсем…

Тапер

Второй час ночи. Я сижу у себя в номере и пишу заказанный мне фельетон в стихах. Вдруг отворяется дверь, и в номер совсем неожиданно входит мой сожитель, бывший ученик М-ой консерватории, Петр Рублев. В цилиндре, в шубе нараспашку, он напоминает мне на первых порах Репетилова; потом же, когда я всматриваюсь в его бледное лицо и необыкновенно острые, словно воспаленные глаза, сходство с Репетиловым исчезает.

— Отчего ты так рано? — спрашиваю я. — Ведь еще только два часа! Разве свадьба уже кончилась?

Сожитель не отвечает. Он молча уходит за перегородку, быстро раздевается и с сопением ложится на свою кровать.

— Спи же, с-скотина! — слышу я через десять минут его шепот. — Лег, ну и спи! А не хочешь спать, так… ну тебя к черту!

— Не спится, Петя? — спрашиваю я.

— Да черт его знает… не спится что-то… Смех разбирает… Не дает смех уснуть! Ха-ха!

— Что же тебе смешно?

— История смешная случилась. Нужно же было случиться этой анафемской истории!

Рублев выходит из-за перегородки и со смехом садится около меня.

— Смешно и… совестно… — говорит он, ероша свою прическу. — Отродясь, братец ты мой, не испытывал еще таких пассажей… Ха-ха… Скандал — первый сорт! Великосветский скандал!

Рублев бьет себя кулаком по колену, вскакивает и начинает шагать босиком по холодному полу.

— В шею дали! — говорит он. — Оттого и пришел рано.

— Полно, что врать-то!

— Ей-богу… В шею дали — буквально!

Я гляжу на Рублева… Лицо у него испитое и поношенное, но во всей его внешности уцелело еще столько порядочности, барской изнеженности и приличия, что это грубое «дали в шею» совсем не вяжется с его интеллигентной фигурой.

— Скандал первостатейный… Шел домой и всю дорогу хохотал. Ах, да брось ты свою ерунду писать! Выскажусь, вылью все из души, может, не так… смешно будет!.. Брось! История интересная… Ну, слушай же… На Арбате живет некий Присвистов, отставной подполковник, женатый на побочной дочери графа фон Крах… Аристо-

крат, стало быть… Выдает он дочку за купеческого сына Ескимосова… Этот Ескимосов парвеню[56] и мовежанр[57], свинья в ермолке и моветон, но папаше с дочкой манже и буар[58] хочется, так что тут некогда рассуждать о мовежанрах. Отправляюсь я сегодня в девятом часу к Присвистову таперствовать. На улицах грязища, дождь, туман… На душе, по обыкновению, гнусно.

— Ты покороче, — говорю я Рублеву. — Без психологии…

— Ладно… Прихожу к Присвистову… Молодые и гости после венца фрукты трескают. В ожидании танцев иду к своему посту — роялю — и сажусь.

— А, а… вы пришли! — увидел меня хозяин. — Так вы уж, любезный, смотрите: играть как следует, и главное — не напиваться…

— Я, брат, привык к таким приветствиям, не обижаюсь… Ха-ха… Назвался груздем — полезай в кузов… Не так ли? Что я такое? Тапер, прислуга… официант, умеющий играть!.. У купцов тыкают и на чай дают — и нисколько не обидно! Ну-с, от

---

[56] Примечания: 56
Выскочка (от *франц.* — parvenu).

[57] Примечания: 57
Невежа (от *франц.* — mauvais genre).

[58] Примечания: 58
Есть и пить (от *франц.* — manger et boire).

нечего делать, до танцев начинаю побринкивать этак слегка, чтоб, знаешь, пальцы разошлись. Играю и слышу немного погодя, братец ты мой, что сзади меня кто-то подпевает. Оглядываюсь — барышня! Стоит, бестия, сзади меня и на клавиши умильно глядит. «Я, говорю, m-lle, и не знал, что меня слушают!» А она вздыхает и говорит: «Хорошая вещь!» — «Да, говорю, хорошая… А вы нешто любите музыку?» И завязался разговор… Барышня оказалась разговорчивая. Я ее за язык не тянул, сама разболталась. «Как, говорит, жаль, что нынешняя молодежь не занимается серьезной музыкой». Я, дуррак, болван, рад, что на меня обратили внимание… осталось еще это гнусное самолюбие!.. Принимаю, знаешь, этакую позу и объясняю ей индифферентизм молодежи отсутствием в нашем обществе эстетических потребностей… Зафилософствовался!

— В чем же скандал? — спрашиваю я Рублева. — Влюбился, что ли?

— Выдумал! Любовь — это скандал личного свойства, а тут, брат, произошло нечто всеобщее, великосветское… да! Беседую я с барышней и вдруг начинаю замечать что-то неладное: за моей спиной сидят какие-то фигуры и шепчутся… Слышу слово «тапер», хихиканье… Про меня,

значит, говорят… Что за оказия? Не галстук ли у меня развязался? Пробую галстук — ничего… Не обращаю, конечно, внимания и продолжаю разговор… А барышня горячится, спорит, раскраснелась вся… Так и чешет! Такую критику пустила на композиторов, что держись шапка! В «Демоне» оркестровка хороша, а мотивов нет, Римский-Корсаков барабанщик, Варламов не мог создать ничего цельного и проч. Нынешние мальчики и девочки едва гаммы играют, платят по четвертаку за урок, а уж не прочь музыкальные рецензии писать… Так и моя барышня… Я слушаю и не оспариваю… Люблю, когда молодое, зеленое дуется, мозгами шевелит… Ну, а сзади-то все бормочут, бормочут… И что же? Вдруг к моей барышне подплывает толстая пава, из породы маменек или тетенек, солидная, багровая, в пять обхватов… не глядит на меня и что-то шепчет ей на ухо… Слушай же… Барышня вспыхивает, хватается за щеки и, как ужаленная, отскакивает от рояля… Что за оказия? Мудрый Эдип, разреши! Ну, думаю, наверное, или фрак у меня на спине лопнул, или у девочки в туалете какой-нибудь грех приключился, иначе трудно понять этот казус. На всякий случай иду минут через десять в переднюю оглядеть свою фигуру… оглядываю

галстук, фрак, тралала… все на месте, ничего не лопнуло! На мое счастье, братец, в передней стояла какая-то старушонка с узлом. Все мне объяснила… Не будь ее, я так бы и остался в счастливом неведении. «Наша барышня не может без того, чтоб характера своего не показать, — рассказывает она какому-то лакею. — Увидала около фортепьянов молодца и давай с ним балясы точить, словно с настоящим каким… ахи да смехи, а молодец-то этот, выходит, не гость, а тапер… из музыкантов… Вот тебе и поговорила! Спасибо Марфе Степановне, шепнула ей, а то бы она, чего доброго, и под ручку с ним бы прошлась… Теперь и совестно, да уж поздно: слов не воротишь»… А? Каково?

— И девчонка глупа, — говорю я Рублеву, — и старуха глупа. Не стоит и внимания обращать…

— Я и не обратил внимания… Только смешно и больше ничего. Я давно уж привык к таким пассажам… Прежде, действительно, больно было, а теперь — плевать! Девчонка глупая, молодая… ее же жалко! Сажусь я и начинаю играть танцы… Серьезного там ничего не нужно… Знай себе закатываю вальсы, кадрили-монстры да гремучие марши… Коли тошно твоей музыкальной душе, то пойди рюмочку выпей, и сам же взыграешься

от Боккачио.

— Но в чем собственно скандал?

— Трещу я на клавишах и… не думаю о девочке… Смеюсь и больше ничего, но… ковыряет у меня что-то под сердцем! Точно сидит у меня под ложечкой мышь и казенные сухари грызет… Отчего мне грустно и гнусно, сам не пойму… Убеждаю себя, браню, смеюсь… подпеваю своей музыке, но саднит мою душу, да как-то особенно саднит… Повернет этак в груди, ковырнет, погрызет и вдруг к горлу подкатит, этак… точно ком… Стиснешь зубы, переждешь, а оно и оттянет, потом же опять сначала… Что за комиссия! И, как нарочно, в голове самые что ни на есть подлые мысли… Вспоминается мне, какая из меня дрянь вышла… Ехал в Москву за две тысячи верст, метил в композиторы и пианисты, а попал в таперы… В сущности, ведь это естественно… даже смешно, а меня тошнит… Вспомнился мне и ты… Думаю, сидит теперь мой сожитель и строчит… Описывает, бедняга, спящих гласных, булочных тараканов, осеннюю непогоду… описывает именно то, что давным-давно уже описано, изжевано и переварено… Думаю я и почему-то жалко мне тебя… до слез жалко!.. Малый ты славный, с душой, а нет в тебе этого, знаешь, огня, желчи, силы… нет

азарта, и почему ты не аптекарь, не сапожник, а писатель, Христос тебя знает! Вспомнились все мои приятели-неудачники, все эти певцы, художники, любители… Все это когда-то кипело, копошилось, парило в поднебесье, а теперь… черт знает что! Почему мне лезли в голову именно такие мысли, не понимаю! Гоню из головы *себя,* приятели лезут; приятелей гоню, девчонка лезет… Над девчонкой я смеюсь, ставлю ее ни в грош, но не дает она мне покоя… И что это, думаю, за черта у русского человека! Пока ты свободен, учишься или без дела шатаешься, ты можешь с ним и выпить, и по животу его похлопать, и с дочкой его полюбезничать, но как только ты стал в мало-мальски подчиненные отношения, ты уже сверчок, который должен знать свой шесток… Кое-как, знаешь, заглушаю мысль, а к горлу все-таки подкатывает… Подкатит, сожмет и этак… сдавит… В конце концов чувствую на своих глазах жидкость, Боккачио мой обрывается и… все к черту. Благородная зала оглашается другими звуками… Истерика…

— Врешь!

— Ей-богу… — говорит Рублев, краснея и стараясь засмеяться. — Каков скандал? Засим чувствую, что меня влекут в переднюю… надевают

шубу… Слышу голос хозяина: «Кто напоил тапера? Кто смел дать ему водки?» В заключение… в шею… Каков пассаж? Ха-ха… Тогда не до смеха было, а теперь ужасно смешно… ужасно! Здоровила… верзила, с пожарную каланчу ростом, и вдруг — истерика! Ха-ха-ха!

— Что же тут смешного? — спрашиваю я, глядя, как плечи и голова Рублева трясутся от смеха. — Петя, ради бога… что тут смешного? Петя! Голубчик!

Но Петя хохочет, и в его хохоте я легко узнаю истерику. Начинаю возиться с ним и бранюсь, что в московских номерах не имеют привычки ставить на ночь воду.

Пересолил

Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать-сорок. (Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет, а коли возница с мухой да кони наморены, то целых пятьдесят наберется.)

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? — обратился землемер к станционному жандарму.

— Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовых… Да вам куда ехать?

— В Девкино, имение генерала Хохотова.

— Что ж? — зевнул жандарм. — Ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров.

Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти.

— Черт знает какая у тебя телега! — поморщился землемер, влезая в телегу. — Не разберешь, где

у нее зад, где перед…

— Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад…

Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой, когда же он выбранился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места.

— Этак мы всю дорогу поедем? — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашью езду с душу выворачивающей тряской.

— До-о-едем! — успокоил возница. — Кобылка молодая, шустрая… Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь… Но-о-о, прокля… тая!

Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина, без конца и краю… Поедешь по ней, так, наверно, заедешь к черту на кулички. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря…

Налево от дороги в темнеющем воздухе высились какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здесь глушь! — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. — Ни кола ни двора. Не ровен час — нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек пали… Да и возница ненадежный… Ишь какая спинища! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная».

— Эй, милый, — спросил землемер, — как тебя зовут?

— Меня-то? Клим.

— Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?

— Ничего, бог миловал… Кому ж шалить?

— Это хорошо, что не шалят… Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера, — соврал землемер. — А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться…

Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала,

задрожала и, словно нехотя, повернула налево.

«Куда же это он меня повез? — подумал землемер. — Ехал все прямо и вдруг налево. Чего доброго, завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и… и… Бывают ведь случаи!»

— Послушай, — обратился он к вознице. — Так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль… Я люблю с разбойниками драться… На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, словно у быка… Однажды напало на меня три разбойника… Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что… что, понимаешь, богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю… Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, вроде тебя, и… и сковырнешь.

Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке.

— Да, брат… — продолжал землемер. — Не дай бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит… Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казенный, нужный… Я вот еду, а начальству известно… так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худа не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники да сотские понатыканы… По…

по… постой! — заорал вдруг землемер. — Куда же это ты въехал? Куда ты меня везешь?

— Да нешто не видите? Лес!

«Действительно, лес… — подумал землемер. — А я-то испугался! Однако, не нужно выдавать своего волнения… Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь… Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь как мчится!»

— Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?

— Я ее не гоню. Сама разбежалась… Уж как разбежится, так никаким средством ее не остановишь… И сама она не рада, что у ней ноги такие.

— Врешь, брат! Вижу, что врешь! Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь… Слышишь? Попридержи!

— Зачем?

— А затем… затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтоб они нас догнали… Они обещали догнать меня в этом лесу… С ними веселей будет ехать… Народ здоровый, коренастый… у каждого по пистолету… Что это ты все оглядываешься и движешься, как

на иголках? а? Я, брат, тово… брат… На меня нечего оглядываться… интересного во мне ничего нет… Разве вот револьверы только… Изволь, если хочешь, я их выну, покажу… Изволь…

Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще.

— Караул! — заголосил он. — Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!

Послышались скорые, удаляющиеся шаги, треск хвороста — и все смолкло… Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобней на телеге и стал думать.

«Убежал… испугался, дурак… Ну, как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл… Как быть?» — Клим! Клим!

— Клим!.. — ответило эхо.

От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом.

— Климушка! — закричал он. — Голубчик! Где ты, Климушка?

Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон.

— Клим! Это ты, голубчик? Поедем!

— У… убьешь!

— Да я пошутил, голубчик! Накажи меня господь, пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха врал! Сделай милость, поедем! Мерзну!

Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру.

— Ну, чего, дура, испугался? Я… я пошутил, а ты испугался… Садись!

— Бог с тобой, барин, — проворчал Клим, влезая в телегу. — Если б знал, и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха…

Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.

Старость

Архитектор, статский советник Узелков, приехал в свой родной город, куда он был вызван для реставрации кладбищенской церкви. В этом городе он родился, учился, вырос и женился, но, вылезши из вагона, он едва узнал его. Все изменилось… Восемнадцать лет тому назад, когда он переселился в Питер, на том, например, месте, где теперь стоит вокзал, мальчуганы ловили сусликов; теперь при въезде на главную улицу высится четырехэтажная «Вена с номерами», тогда же тут тянулся безобразный серый забор. Но ни заборы, ни дома — ничто так не изменилось, как люди. Из допроса номерного лакея Узелков узнал, что больше чем половина тех людей, которых он помнил, вымерло, обедняло, забыто.

— А Узелкова ты помнишь? — спросил он про себя у старика лакея. — Узелкова, архитектора, что с женой разводился… У него еще дом был на Свиребеевской улице… Наверное, помнишь!

— Не помню-с…

— Ну, как не помнить! Громкое было дело, даже извозчики все знали. Припомни-ка! Разводил его с женой стряпчий Шапкин, мошенник…

известный шулер, тот самый, которого в клубе высекли…

— Иван Николаич?

— Ну да, да… Что, он жив? Умер?

— Живы-с, слава богу-с. Они теперь нотариусом, контору держат. Хорошо живут. Два дома на Кирпичной улице. Недавно дочь замуж выдали…

Узелков пошагал из угла в угол, подумал и решил, скуки ради, повидаться с Шапкиным. Когда он вышел из гостиницы и тихо поплелся на Кирпичную улицу, был полдень. Шапкина он застал в конторе и еле узнал его. Из когда-то стройного, ловкого стряпчего с подвижной, нахальной, вечно пьяной физиономией Шапкин превратился в скромного, седовласого, хилого старца.

— Вы меня не узнаете, забыли… — начал Узелков. — Я ваш давнишний клиент, Узелков…

— Узелков? Какой Узелков? Ах!

Шапкин вспомнил, узнал и обомлел. Посыпались восклицания, расспросы, воспоминания.

— Вот не ожидал! Вот не думал! — кудахтал Шапкин. — Угощать-то чем? Шампанского хотите? Может, устриц желаете? Голубушка моя, столько я от вас деньжищ перебрал в свое время, что и угощения не подберу…

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — сказал

Узелков. — Мне некогда. Сейчас нужно мне на кладбище ехать, церковь осматривать. Я заказ взял.

— И отлично! Закусим, выпьем и поедем вместе. У меня отличные лошади! И свезу вас, и со старостой познакомлю… все устрою… Да что вы, ангел, словно сторонитесь меня, боитесь? Сядьте поближе! Теперь уж нечего бояться… Хе-хе… Прежде, действительно, ловкий парень был, жох мужчина… никто не подходи близко, а теперь тише воды, ниже травы; постарел, семейным стал… дети есть. Умирать пора!

Приятели закусили, выпили и на паре поехали за город, на кладбище.

— Да, было времечко! — вспоминал Шапкин, сидя в санях. — Вспоминаешь и просто не веришь. А помните, как вы с вашей супругой разводились? Уж почти двадцать лет прошло, и, небось, вы все забыли, а я помню, словно вчера разводил вас. Господи, сколько я крови тогда испортил! Парень я был ловкий, казуист, крючок, отчаянная голова… Так, бывало, и рвусь ухватиться за какое-нибудь казусное дело, особливо ежели гонорарий хороший, как, например, в вашем процессе. Что вы мне тогда заплатили? Пять-шесть тысяч! Ну, как тут крови не испортить? Вы тогда уехали в

Петербург и все дело мне на руки бросили: делай как знаешь! А покойница супруга ваша, Софья Михайловна, была хоть и из купеческого дома, но гордая, самолюбивая. Подкупить ее, чтоб она на себя вину приняла, было трудно… ужасно трудно! Прихожу к ней, бывало, для переговоров, а она завидит мена и кричит горничной: «Маша, ведь я приказала тебе не принимать подлецов!» Уж я и так, и этак… и письма ей пишу, и нечаянно норовлю встретиться — не берет! Пришлось через третье лицо действовать. Долго я возился с ней, и только тогда, когда вы десять тысяч согласились дать ей, поддалась… Десяти тысяч не выдержала, не устояла… Заплакала, в лицо мне плюнула, но согласилась, приняла вину!

— Кажется, она взяла с меня не десять, а пятнадцать тысяч, — сказал Узелков.

— Да, да… пятнадцать, ошибся! — смутился Шапкин. — Впрочем, дело прошлое, нечего греха таить. Ей я десять дал, а остальные пять я у вас на свою долю выторговал. Обоих вас обманул… Дело прошлое, стыдиться нечего… Да и с кого же мне было брать, Борис Петрович, ежели не с вас, судите сами… Человек вы были богатый, сытый… С жиру вы женились, с жиру разводились. Наживали вы пропасть… Помню, с одного

подряда дерябнули двадцать тысяч. С кого же и тянуть, как не с вас? Да и, признаться, зависть мучила… Вы ежели хапнете, перед вами шапки ломают, меня же, бывало, за рубли и секут, и в клубе по щекам бьют… Ну, да что вспоминать! Забыть пора.

— Скажите, пожалуйста, как потом жила Софья Михайловна?

— С десятью тысячами-то? Плохиссиме… Бог ее знает, азарт ли на нее такой напал, или совесть и гордость стали мучить, что себя за деньги продала, или, может быть, любила вас, только, знаете ли, запила… Получила деньги и давай на тройках с офицерами разъезжать. Пьянство, гульба, беспутство… Заедет с офицерами в трактир и не то, чтобы портвейнцу или чего-нибудь полегче, а норовит коньячищу хватить, чтоб жгло, в одурь бросало.

— Да, она эксцентричная была… Натерпелся я от нее. Бывало, обидится на что-нибудь и начнет нервничать… А потом что было?

— Проходит неделя, другая… Сижу я у себя дома и что-то строчу. Вдруг отворяется дверь и входит она… пьяная. «Возьмите, говорит, назад проклятые ваши деньги!» — и бросила мне в лицо пачку. Не выдержала, значит! Я подобрал деньги,

сосчитал… Пятисот не хватало. Только пятьсот и успела прокутить.

— Куда же вы девали деньги?

— Дело прошлое… таиться незачем… Конечно, себе! Что вы на меня так поглядели? Погодите, что еще дальше будет… Роман целый, психиатрия! Этак месяца через два прихожу я однажды ночью к себе домой пьяный, скверный… Зажигаю огонь, гляжу, а у меня на диване сидит Софья Михайловна, и тоже пьяная, в растрепанных чувствах, дикая какая-то, словно из Бедлама бежала… «Давайте, говорит, мне назад мои деньги, я раздумала. Падать, так уж падать, как следует, взасос! Поворачивайтесь же, подлец, давайте деньги!» Безобразие!

— И вы… дали?

— Дал, помню, десять рублей…

— Ах! ну можно ли? — поморщился Узелков. — Если вы сами не могли или не хотели дать ей, то написали бы мне, что ли… И я не знал! А? И я не знал!

— Голубчик мой, да зачем мне писать, если она сама вам писала, когда потом в больнице лежала?

— Впрочем, я так был занят тогда новым браком, так кружился, что мне не до писем было…

Но вы, частный человек, вы антипатии к Софье не чувствовали… отчего не подали ей руки?

— На теперешний аршин нельзя мерить, Борис Петрович. Теперь мы так думаем, а тогда совсем иначе думали… Теперь я ей, может быть, и тысячу рублей дал бы, а тогда и те десять… не задаром отдал. Скверная история! Забыть надо… Но вот и приехали…

Сани остановились у кладбищенских ворот. Узелков и Шапкин вылезли из саней, вошли в ворота и направились по длинной, широкой аллее. Оголенные вишневые деревья и акации, серые кресты и памятники серебрились инеем. В каждой снежинке отражался ясный солнечный день. Пахло, как вообще пахнет на всех кладбищах: ладаном и свежевскопанной землей…

— Хорошенькое у нас кладбище, — сказал Узелков. — Совсем сад!

— Да, но жалко, воры памятники воруют… А вон за тем чугунным памятником, что направо, Софья Михайловна похоронена. Хотите посмотреть?

Приятели повернули направо и по глубокому снегу направились к чугунному памятнику.

— Вот тут… — сказал Шапкин, указывая на маленький памятник из белого мрамора. — Прапорщик какой-то памятник на ее могилке

поставил.

Узелков медленно снял шапку и показал солнцу свою плешь. Шапкин, глядя на него, тоже снял шапку, и другая плешь заблестела на солнце. Тишина кругом была могильная, точно и воздух был мертв. Приятели глядели на памятник, молчали и думали.

— Спит себе! — прервал молчание Шапкин. — И горя ей мало, что вину она на себя приняла и коньяк пила. Сознайтесь, Борис Петрович!

— В чем? — угрюмо спросил Узелков.

— А в том… Как ни противно прошлое, но оно лучше, чем это.

И Шапкин указал на свои седины.

— Бывало, и не думал о смертном часе… Встретиться со смертью, так, кажется, десять очков вперед дал бы ей, а теперь… Ну, да что!

Узелковым овладела грусть. Ему вдруг захотелось плакать, страстно, как когда-то хотелось любви… И он чувствовал, что плач этот вышел бы у него вкусный, освежающий. На глазах выступила влага, и уже к горлу подкатил ком, но… рядом стоял Шапкин, и Узелков устыдился малодушествовать при свидетеле. Он круто повернул назад и пошел к церкви.

Только часа два спустя, переговорив со старо-

стой и осмотрев церковь, он улучил минутку, когда Шапкин заговорился со священником, и побежал плакать… Подкрался он к памятнику тайком, воровски, ежеминутно оглядываясь. Маленький белый памятник глядел на него задумчиво, грустно и так невинно, словно под ним лежала девочка, а не распутная, разведенная жена.

«Плакать, плакать!» — думал Узелков.

Но момент для плача был уже упущен. Как ни мигал глазами старик, как ни настраивал себя, а слезы не текли и ком не подступал к горлу… Постояв минут десять, Узелков махнул рукой и пошел искать Шапкина.

Горе

Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст тридцать, а между тем дорога ужасная, с которой не справиться казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий, холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба, или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса, а когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергиванье головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.

— Ты, Матрена, не плачь… — бормочет он. — Потерпи малость. В больницу, бог даст, приедем и мигом у тебя, это самое… Даст тебе Павел Ива-

ныч капелек, или кровь пустить прикажет, или, может, милости его угодно будет спиртиком каким тебя растереть, оно и тово… оттянет от бока. Павел Иваныч постарается… Покричит, ногами потопочет, а уж постарается… Славный господин, обходительный, дай бог ему здоровья… Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое? — закричит. — Почему не вовремя приехал? Нешто я собака какая, чтоб цельный день с вами, чертями, возиться? Почему утром не приехал? Вон! Чтоб и духу твоего не было. Завтра приезжай!» А я и скажу: «Господин доктор! Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие!» Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, черт! Но!

Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос:

— «Ваше высокоблагородие! Истинно, как перед богом… вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сроку поспеть, ежели господь… матерь божия… прогневался и метель такую послал? Сами изволите видеть… Какая лошадь поблагороднее, и та не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» А Павел Иваныч нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю!

Небось, раз пять в кабак заезжал!» А я ему: «Ваше высокоблагородие! Да нешто я злодей какой или нехристь? Старуха душу богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать! Что вы, помилуйте! Чтоб им пусто было, кабакам этим!» Тогда Павел Иваныч прикажет тебя в больницу снесть. А я в ноги… «Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие! Благодарим вас всепокорно! Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать!» А Павел Иваныч взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть тебя надо!» — «Истинно пороть, Павел Иваныч, побей меня бог, пороть! А как же нам в ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие! Верно слово… вот как перед богом… плюньте тогда в глаза, ежели обману: как только моя Матрена, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сделаю! Портсигарчик, ежели желаете, из карельской березы… шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные… все для вас сделаю! Ни копейки с вас не возьму! В Москве бы

с вас за такой портсигарчик четыре рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно… Чувствую! Только жалко, что ты пьяница…» Я, брат старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы бог с дороги не сбиться. Ишь метет! Все глаза заворошило.

И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно, в пьяном полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.

Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно

выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих, странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иваныч порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд.

— Ты же, Матрена, тово… — бормочет он. — Ежели Павел Иваныч спросит, бил я тебя или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горя мало, а я вот везу… стараюсь. А метет-то, метет! Господи, твоя воля! Привел бы только бог с дороги не сбиться… Что, болит бок? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болит бок?

Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытянулось, приняло бледносерый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным.

— Ну и дура! — бормочет токарь. — Я тебе по совести, как перед богом… а ты, тово… Ну и дура! Возьму вот и не повезу к Павлу Иванычу!

Токарь опускает вожжи и задумывается. Ог-

лянуться на старуху он не решается: страшно! Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтоб покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает как плеть.

— Померла, стало быть! Комиссия!

И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете все быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли, словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И, как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней.

— А ведь она по миру ходила! — вспоминает он. — Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то, небось, думает, что я и взаправду такой. Мать пресвятая, да куда же к лешему я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай!

Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом стано-

вится все хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся.

«Жить бы сызнова…» — думает токарь.

Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж потому, что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы — хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали сорок лет.

Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.

— Куда ж я еду? — спохватывается вдруг токарь. — Хоронить надо, а я в больницу… Ошалел словно!

Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и, фыркая, бежит мелкой рысцой. Токарь раз за разом хлещет ее по спине… Сзади слышится какой-то стук, и он, хоть не оглядывается, но

знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух все темнеет и темнеет, ветер становится холоднее и резче…

«Сызнова бы жить… — думает токарь. — Инструмент бы новый завесть, заказы брать… деньги бы старухе отдавать… да!»

И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять и никак не поднимет; руки не действуют…

«Все равно… — думает он, — сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь… Покеда там похороны или панихида, прилечь бы».

Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя, он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду…

Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места… И он безмятежно засыпает.

Просыпается он в большой комнате с крашеными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием.

— Панихидку бы, братцы, по старухе! — говорит он. — Батюшке бы сказать…

— Ну, ладно, ладно! Лежи уж! — обрывает его

чей-то голос.

— Батюшка! Павел Иваныч! — удивляется токарь, видя перед собой доктора. — Вашескородие! Благодетель!

Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.

— Ваше высокородие! Ноги же мои где? Где руки?

— Прощайся с руками и ногами… Отморозил! Ну, ну… чего же ты плачешь? Пожил, и слава богу! Небось, шесть десятков прожил — будет с тебя!

— Горе!.. Вашескородие, горе ведь! Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть…

— Зачем?

— Лошадь-то чужая, отдать надо… Старуху хоронить… И как на этом свете все скоро делается! Ваше высокородие! Павел Иваныч! Портсигарик из карельской березы наилучший! Крокетик выточу…

Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю — аминь!

Ну, публика!

— Шабаш, не буду больше пить!.. Ни… ни за что! Пора уж за ум взяться. Надо работать, трудиться… Любишь жалованье получать, так работай честно, усердно, по совести, пренебрегая покоем и сном. Баловство брось… Привык, брат, задаром жалованье получать, а это вот и нехорошо… и нехорошо…

Прочитав себе несколько подобных нравоучений, обер-кондуктор Подтягин начинает чувствовать непреодолимое стремление к труду. Уже второй час ночи, но, несмотря на это, он будит кондукторов и вместе с ними идет по вагонам контролировать билеты.

— Вашш… билеты! — выкрикивает он, весело пощелкивая щипчиками.

Сонные фигуры, окутанные вагонным полумраком, вздрагивают, встряхивают головами и подают свои билеты.

— Вашш… билеты! — обращается Подтягин к пассажиру II класса, тощему, жилистому человеку, окутанному в шубу и одеяло и окруженному подушками. — Вашш… билеты!

Жилистый человек не отвечает. Он погружен в

сон. Обер-кондуктор трогает его за плечо и нетерпеливо повторяет:

— Вашш… билеты!

Пассажир вздрагивает, открывает глаза и с ужасом глядит на Подтягина.

— Что? Кто? а?

— Вам говорят по-челаэчески: вашш… билеты! Па-а-трудитесь!

— Боже мой! — стонет жилистый человек, делая плачущее лицо. — Господи, боже мой! Я страдаю ревматизмом… три ночи не спал, нарочно морфию принял, чтоб уснуть, а вы… с билетом! Ведь это безжалостно, бесчеловечно! Если бы вы знали, как трудно мне уснуть, то не стали бы беспокоить меня такой чепухой… Безжалостно, нелепо! И на что вам мой билет понадобился? Глупо даже!

Подтягин думает, обидеться ему или нет, — и решает обидеться.

— Вы здесь не кричите! Здесь не кабак! — говорит он.

— Да в кабаке люди человечней… — кашляет пассажир. — Изволь я теперь уснуть во второй раз! И удивительное дело: всю заграницу объездил, и никто у меня там билета не спрашивал, а тут, словно черт их под локоть толкает, то и дело,

то и дело!..

— Ну, и поезжайте за границу, ежели вам нравится!

— Глупо, сударь! Да! Мало того, что морят пассажиров угаром, духотой и сквозняком, так хотят еще, черт ее подери, формалистикой добить. Билет ему понадобился! Скажите, какое усердие! Добро бы это для контроля делалось, а то ведь половина поезда без билетов едет!

— Послушайте, господин! — вспыхивает Подтягин. — Вы извольте подтвердить ваши доводы! И ежели вы не перестанете кричать и беспокоить публику, то я принужден буду высадить вас на станции и составить акт об этом факте!

— Это возмутительно! — негодует публика. — Пристает к больному человеку! Послушайте, да имейте же сожаление!

— Да ведь они сами ругаются! — трусит Подтягин. — Хорошо, я не возьму билета… Как угодно… Только ведь, сами знаете, служба моя этого требует… Ежели б не служба, то, конечно… Можете даже начальника станции спросить… Кого угодно спросите…

Подтягин пожимает плечами в отходит от больного. Сначала он чувствует себя обиженным и несколько третированным, потом же, пройдя

вагона два-три, он начинает ощущать в своей обер-кондукторской груди некоторое беспокойство, похожее на угрызения совести.

«Действительно, не нужно было будить больного, — думает он. — Впрочем, я не виноват… Они там думают, что это я с жиру, от нечего делать, а того не знают, что этого служба требует… Ежели они не верят, так я могу к ним начальника станции привести».

Станция. Поезд стоит пять минут. Перед третьим звонком в описанный вагон II класса входит Подтягин. За ним шествует начальник станции, в красной фуражке.

— Вот этот господин, — начинает Подтягин, — говорят, что я не имею полного права спрашивать с них билет, и… и обижаются. Прошу вас, господин начальник станции, объяснить им — по службе я требую билет или зря? Господин, — обращается Подтягин к жилистому человеку. — Господин! Можете вот начальника станции спросить, ежели мне не верите.

Больной вздрагивает, словно ужаленный, открывает глаза и, сделав плачущее лицо, откидывается на спинку дивана.

— Боже мой! Принял другой порошок и только что задремал, как он опять!.. Умоляю вас, имейте

вы сожаление!

— Вы можете поговорить вот с господином начальником станции… Имею я полное право билет спрашивать или нет?

— Это невыносимо! Нате вам ваш билет! Нате! Я куплю еще пять билетов, только дайте мне умереть спокойно! Неужели вы сами никогда не были больны? Бесчувственный народ!

— Это просто издевательство! — негодует какой-то господин в военной форме. — Иначе я не могу понять этого приставанья!

— Оставьте… — морщится начальник станции, дергая Подтягина за рукав.

Подтягин пожимает плечами и медленно уходит за начальником станции.

«Изволь тут угодить! — недоумевает он. — Я для него же позвал начальника станции, чтоб он понимал, успокоился, а он… ругается».

Другая станция. Поезд стоит десять минут. Перед вторым звонком, когда Подтягин стоит около буфета и пьет сельтерскую воду, к нему подходят два господина, один в форме инженера, другой в военном пальто.

— Послушайте, г. обер-кондуктор! — обращается инженер к Подтягину. — Ваше поведение по отношению к больному пассажиру возму-

тило всех очевидцев. Я инженер Пузицкий, это вот… господин полковник. Если вы не извинитесь перед пассажиром, то мы подадим жалобу начальнику движения, нашему общему знакомому.

— Господа, да ведь я… да ведь вы… — оторопел Подтягин.

— Объяснений нам не надо. Но предупреждаем, если не извинитесь, то мы берем пассажира под свою защиту.

— Хорошо, я… я, пожалуй, извинюсь… Извольте…

Через полчаса Подтягин, придумав извинительную фразу, которая бы удовлетворила пассажира и не умалила его достоинства, входит в вагон.

— Господин! — обращается он к больному. — Послушайте, господин!

Больной вздрагивает и вскакивает.

— Что?

— Я тово… как его?.. Вы не обижайтесь…

— Ох… воды… — задыхается больной, хватаясь за сердце. — Третий порошок морфия принял, задремал и… опять! Боже, когда же, наконец, кончится эта пытка!

— Я тово… Вы извините…

— Слушайте… Высадите меня на следующей

станции… Более терпеть я не в состоянии. Я… я умираю…

— Это подло, гадко! — возмущается публика. — Убирайтесь вон отсюда! Вы поплатитесь за подобное издевательство! Вон!

Подтягин машет рукой, вздыхает и выходит из вагона. Идет он в служебный вагон, садится изнеможенный за стол и жалуется:

«Ну, публика! Извольте вот ей угодить! Извольте вот служить, трудиться! Поневоле плюнешь на все и запьешь… Ничего не делаешь — сердятся, начнешь делать — тоже сердятся… Выпить!»

Подтягин выпивает сразу полбутылки и больше уже не думает о труде, долге и честности.

Шило в мешке

На обывательской тройке, проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, спешил Петр Павлович Посудин в уездный городишко N., куда вызывало его полученное им анонимное письмо.

«Накрыть… Как снег на голову… — мечтал он, пряча лицо свое в воротник. — Натворили мерзостей, пакостники, и торжествуют, небось, воображают, что концы в воду спрятали… Ха-ха… Воображаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышится: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!» То-то переполох будет! Ха-ха…»

Намечтавшись вдоволь, Посудин вступил в разговор со своим возницей. Как человек, алчущий популярности, он прежде всего спросил о себе самом:

— А Посудина ты знаешь?

— Как не знать! — ухмыльнулся возница. — Знаем мы его!

— Что же ты смеешься?

— Чудное дело! Каждого последнего писаря знаешь, а чтоб Посудина не знать! На то он здесь и поставлен, чтоб его все знали.

— Это так… Ну, что? Как он, по-твоему? Хорош?

— Ничего… — зевнул возница. — Господин хороший, знает свое дело… Двух годов еще нет, как его сюда прислали, а уж наделал делов.

— Что же он такое особенное сделал?

— Много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал, Хохрюкова в нашем уезде увольнил… Конца-краю не было этому Хохрюкову… Шельма был, выжига, все прежние его руку держали, а приехал Посудин — и загудел Хохрюков к черту, словно его и не было… Во, брат! Посудина, брат, не подкупишь, не-ет! Дай ты ему хоть сто, хоть тыщу, а он не станет тебе приймать грех на душу… Не-ет!

«Слава богу, хоть с этой стороны меня поняли, — подумал Посудин, ликуя. — Это хорошо».

— Образованный господин… — продолжал возница, — не гордый… Наши ездили к нему жаловаться, так он словно с господами: всех за ручку, «вы, садитесь»… Горячий такой, быстрый… Слова тебе путем не скажет, а все — фырк! фырк! Чтоб он тебе шагом ходил или как — ни боже мой, а норовит все бегом, все бегом! Наши ему и слова сказать не успели, как он: «Лошадей!!» — да прямо сюда… Приехал и все обделал… ни копейки не взял. Куда лучше прежнего! Конечно, и прежний

хорош был. Видный такой, важный, звончее его во всей губернии никто не кричал… Бывало, едет, так за десять верст слыхать; но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда ловчее! У нынешнего в голове этой самой мозги во сто раз больше… Одно только горе… Всем хорош человек, но одна беда: пьяница!

«Вот так клюква!» — подумал Посудин.

— Откуда же ты знаешь, — спросил он, — что я… что он пьяница?

— Оно, конечно, ваше благородие, сам я не видал его пьяного, не стану врать, но люди сказывали. И люди-то его пьяным не видали, а слава такая про него ходит… При публике, или куда в гости пойдет, на бал, это, или в обчество, никогда не пьет. Дома хлещет… Встанет утром, протрет глаза и первым делом — водки! Камердин принесет ему стакан, а он уж другого просит… Так цельный день и глушит. И скажи ты на милость: пьет, и ни в одном глазе! Стало быть, соблюдать себя может. Бывало, как наш Хохрюков запьет, так не то что люди, даже собаки воют. Посудин же — хоть бы тебе нос у него покраснел! Запрется у себя в кабинете и лакает… Чтоб люди не приметили, он себе в столе ящик такой приспособил, с трубочкой. Всегда в этом ящике водка… Нагнешь-

ся к трубочке, пососешь, и пьян… В карете тоже, в портфеле…

«Откуда они знают? — ужаснулся Посудин. — Боже мой, даже это известно! Какая мерзость…»

— А вот тоже насчет женского пола… Шельма! (Возница засмеялся и покрутил головой.) Безобразие, да и только! Штук десять у него этих самых… вертефлюх… Две у него в доме живут… Одна у него, эта Настасья Ивановна, как бы заместо распорядительши, другая — как ее, черт? — Людмила Семеновна, на манер писарши… Главнее всех Настасья. Эта что захочет, он все делает… Так и вертит им, словно лиса хвостом. Большая власть ей дадена. И его так не боятся, как ее… Ха-ха… А третья вертуха на Канальной улице живет… Срамота!

«Даже по именам знает, — подумал Посудин, краснея. — И кто же знает? Мужик, ямщик… который и в городе-то никогда не бывал!.. Какая мерзость… гадость… пошлость!»

— Откуда же ты все это знаешь? — спросил он раздраженным голосом.

— Люди сказывали… Сам я не видал, но от людей слыхивал. Да узнать нешто трудно? Камердину или кучеру языка не отрежешь… Да, чай, и сама Настасья ходит по всем переулкам да

счастьем своим бабьим похваляется. От людского глаза не скроешься… Вот тоже взял манеру этот Посудин потихоньку на следствия ездить… Прежний, бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает знать, а когда едет, так шуму этого, грому, звону и… не приведи создатель! И спереди его скачут, и сзади скачут, и с боков скачут. Приедет к месту, выспится, наестся, напьется и давай по служебной части глотку драть. Подерет глотку, потопочет ногами, опять выспится и тем же порядком назад… А нынешний, как прослышит что, норовит съездить потихоньку, быстро, чтоб никто не видал и не знал… Па-а-теха! Выйдет неприметно из дому, чтоб чиновники не видали, и на машину… Доедет до какой ему нужно станции и не то что почтовых или что поблагородней, а норовит мужика нанять. Закутается весь, как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтоб голоса его не узнали. Просто кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают… Едет, дурень, и думает, что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человеку — тьфу! раз плюнуть…

— Как же его узнают?

— Оченно просто. Прежде, как наш Хохрюков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым

рукам узнавали. Ежели седок бьет по зубам, то это, значит, и есть Хохрюков. А Посудина сразу увидать можно… Простой пассажир просто себя и держит, а Посудин не таковский, чтоб простоту соблюдать. Приедет, скажем, хоть на почтовую станцию, и начнет!.. Ему и воняет, и душно, и холодно… Ему и цыплят подавай, и фрухтов, и вареньев всяких… Так на станциях и знают: ежели кто зимой спрашивает цыплят и фрухтов, то это и есть Посудин. Ежели кто говорит смотрителю «милейший мой» и гоняет народ за разными пустяками, то и божиться можно, что это Посудин. И пахнет от него не так, как от людей, и ложится спать на свой манер… Ляжет на станции на диване, попрыщет около себя духами и велит около подушки три свечки поставить. Лежит и бумаги читает… Уж тут не то что смотритель, но и кошка разберет, что это за человек такой…

«Правда, правда… — подумал Посудин. — И как я этого раньше не знал!»

— А кому есть надобность, то и без фрухтов и без цыплят узнает. По телеграфу все известно… Как там ни кутай рыла, как ни прячься, а уж тут знают, что едешь. Ждут… Посудин еще у себя из дому не выходил, а тут уж — сделай одолжение, все готово! Приедет он, чтоб их на месте накрыть,

под суд отдать или сменить кого, а они над ним же и посмеются. Хоть ты, скажут, ваше сиятельство, и потихоньку приехал, а гляди: у нас все чисто!.. Он повертится, повертится да с тем и уедет, с чем приехал… Да еще похвалит, руки пожмет им всем, извинения за беспокойство попросит… Вот как! А ты думал как? Хо-хо, ваше благородие! Народ тут ловкий, ловкач на ловкаче!.. Глядеть любо, что за черти! Да вот, хоть нынешний случай взять… Еду я сегодня утром порожнем, а навстречу со станции летит жид-буфетчик. «Куда, спрашиваю, ваше жидовское благородие, едешь?» А он и говорит: «В город N. вино и закуску везу. Там нынче Посудина ждут». Ловко? Посудин, может, еще только собирается ехать или кутает лицо, чтоб его не узнали. Может, уж едет и думает, что знать никто не знает, что он едет, а уж для него, скажи пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыр, и закуска разная… А? Едет он и думает: «Крышка вам, ребята!» — а ребятам и горя мало! Пущай едет! У них давно уж все спрятано!

— Назад! — прохрипел Посудин. — Поезжай назад, с-с-ско-тина!

И удивленный возница повернул назад.

Восклицательный знак
(Святочный рассказ)

В ночь под Рождество Ефим Фомич Перекладин, коллежский секретарь, лег спать обиженный и даже оскорбленный.

— Отвяжись ты, нечистая сила! — рявкнул он со злобой на жену, когда та спросила, отчего он такой хмурый.

Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было много неприятных и обидных для него вещей. Сначала заговорили о пользе образования вообще, потом же незаметно перешли к образовательному цензу служащей братии, причем было высказано много сожалений, упреков и даже насмешек по поводу низкого уровня. И тут, как это водится во всех российских компаниях, с общих материй перешли к личностям.

— Взять, например, хоть вас, Ефим Фомич, — обратился к Перекладину один юноша. — Вы занимаете приличное место… а какое образование вы получили?

— Никакого-с. Да у нас образование и не тре-

буется, — кротко ответил Перекладин. — Пиши правильно, вот и все…

— Где же это вы правильно писать-то научились?

— Привык-с… За сорок лет службы можно руку набить-с… Оно, конечно, спервоначалу трудно было, делывал ошибки, но потом привык-с… и ничего…

— А знаки препинания?

— И знаки препинания ничего… Правильно ставлю.

— Гм!.. — сконфузился юноша. — Но привычка совсем не то, что образование. Мало того, что вы знаки препинания правильно ставите… мало-с! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите… да-с! А это ваше бессознательное… рефлекторное правописание и гроша не стоит. Это машинное производство и больше ничего.

Перекладин смолчал и даже кротко улыбнулся (юноша был сын статского советника и сам имел право на чин X класса), но теперь, ложась спать, он весь обратился в негодование и злобу.

«Сорок лет служил, — думал он, — и никто меня дураком не назвал, а тут, поди ты, какие критики нашлись! «Бессознательно!.. Лефректорно! Ма-

шинное производство…» Ах ты, черт тебя возьми! Да я еще, может быть, больше тебя понимаю, даром что в твоих университетах не был!»

Излив мысленно по адресу критика все известные ему ругательства и согревшись под одеялом, Перекладин стал успокаиваться.

«Я знаю… понимаю… — думал он, засыпая. — Не поставлю там двоеточия, где запятую нужно, стало быть, сознаю, понимаю. Да… Так-то, молодой человек… Сначала пожить нужно, послужить, а потом уж стариков судить…»

В закрытых глазах засыпавшего Перекладина сквозь толпу темных, улыбавшихся облаков метеором пролетела огненная запятая. За ней другая, третья, и скоро весь безграничный темный фон, расстилавшийся перед его воображением, покрылся густыми толпами летавших запятых…

«Хоть эти запятые взять… — думал Перекладин, чувствуя, как его члены сладко немеют от наступавшего сна. — Я их отлично понимаю… Для каждой могу место найти, ежели хочешь… и… и сознательно, а не зря… Экзаменуй, и увидишь… Запятые ставятся в разных местах, где надо, где и не надо. Чем путаннее бумага выходит, тем больше запятых нужно. Ставятся они перед «который» и перед «что». Ежели в бумаге

перечислять чиновников, то каждого из них надо запятой отделять… Знаю!»

Золотые запятые завертелись и унеслись в сторону. На их место прилетели огненные точки…

«А точка в конце бумаги ставится… Где нужно большую передышку сделать и на слушателя взглянуть, там тоже точка. После всех длинных мест нужно точку, чтоб секретарь, когда будет читать, слюной не истек. Больше же нигде точка не ставится…»

Опять налетают запятые… Они мешаются с точками, кружатся — и Перекладин видит целое сонмище точек с запятой и двоеточий…

«И этих знаю… — думает он. — Где запятой мало, а точки много, там надо точку с запятой. Перед «но» и «следственно» всегда ставлю точку с запятой… Ну-с, а двоеточие? Двоеточие ставится после слов «постановили», «решили»…»

Точки с запятой и двоеточия потухли. Наступила очередь вопросительных знаков. Эти выскочили из облаков и заканканировали…

«Эка невидаль: знак вопросительный! Да хоть тысяча их, всем место найду. Ставятся они всегда, когда запрос нужно делать или, положим, о бумаге справиться… «Куда отнесен остаток сумм за такой-то год?» или: «Не найдет ли Полицей-

ское управление возможным оную Иванову и проч.?»…»

Вопросительные знаки одобрительно закивали своими крючками и моментально, словно по команде, вытянулись в знаки восклицательные…

«Гм!.. Этот знак препинания в письмах часто ставится. «Милостивый государь мой!» или «Ваше превосходительство, отец и благодетель!..» А в бумагах когда?»

Восклицательные знаки еще больше вытянулись и остановились в ожидании…

«В бумагах они ставятся, когда… тово… этого… как его? Гм!.. В самом деле, когда же их в бумагах ставят? Постой… дай бог память… Гм!..»

Перекладин открыл глаза и повернулся на другой бок. Но не успел он вновь закрыть глаза, как на темном фоне опять появились восклицательные знаки.

«Черт их возьми… Когда же их ставить нужно? — подумал он, стараясь выгнать из своего воображения непрошенных гостей. — Неужели забыл? Или забыл, или же… никогда их не ставил…»

Перекладин стал припоминать содержание всех бумаг, которые он написал за сорок лет своего служения; но как он ни думал, как ни морщил

лоб, в своем прошлом он не нашел ни одного восклицательного знака.

«Что за оказия! Сорок лет писал и ни разу восклицательного знака не поставил… Гм!.. Но когда же он, черт длинный, ставится?»

Из-за ряда огненных восклицательных знаков показалась ехидно смеющаяся рожа юноши-критика. Сами знаки улыбнулись и слились в один большой восклицательный знак.

Перекладин встряхнул головой и открыл глаза.

«Черт знает что… — подумал он. — Завтра к утрени вставать надо, а у меня это чертобесие из головы не выходит… Тьфу! Но… когда же он ставится? Вот тебе и привычка! Вот тебе и набил руку! За сорок лет ни одного восклицательного! А?»

Перекладин перекрестился и закрыл глаза, но тотчас же открыл их; на темном фоне все еще стоял большой знак…

«Тьфу! Этак всю ночь не уснешь». — Марфуша! — обратился он к своей жене, которая часто хвасталась тем, что кончила курс в пансионе. — Ты не знаешь ли, душенька, когда в бумагах ставится восклицательный знак?

— Еще бы не знать! Недаром в пансионе семь лет училась. Наизусть всю грамматику помню.

Этот знак ставится при обращениях, восклицаниях и при выражениях восторга, негодования, радости, гнева и прочих чувств.

«Тэк-с… — подумал Перекладин. — Восторг, негодование, радость, гнев и прочие чувства…»

Коллежский секретарь задумался… Сорок лет писал он бумаги, написал он их тысячи, десятки тысяч, но не помнит ни одной строки, которая выражала бы восторг, негодование или что-нибудь в этом роде…

«И прочие чувства… — думал он. — Да нешто в бумагах нужны чувства? Их и бесчувственный писать может…»

Рожа юноши-критика опять выглянула из-за огненного знака и ехидно улыбнулась. Перекладин поднялся и сел на кровати. Голова его болела, на лбу выступил холодный пот… В углу ласково теплилась лампадка, мебель глядела празднично, чистенько, от всего так и веяло теплом и присутствием женской руки, но бедному чиноше было холодно, неуютно, точно он заболел тифом. Знак восклицательный стоял уже не в закрытых глазах, а перед ним, в комнате, около женина туалета и насмешливо мигал ему…

— Пишущая машина! Машина! — шептало привидение, дуя на чиновника сухим холодом. —

Деревяшка бесчувственная!

Чиновник укрылся одеялом, но и под одеялом он увидел привидение, прильнул лицом к женину плечу и из-за плеча торчало то же самое… Всю ночь промучился бедный Перекладин, но и днем не оставило его привидение. Он видел его всюду: в надеваемых сапогах, в блюдечке с чаем, в Станиславе…

«И прочие чувства… — думал он. — Это правда, что никаких чувств не было… Пойду сейчас к начальству расписываться… а разве это с чувствами делается? Так, зря… Поздравительная машина…»

Когда Перекладин вышел на улицу и крикнул извозчика, то ему показалось, что вместо извозчика подкатил восклицательный знак.

Придя в переднюю начальника, он вместо швейцара увидел тот же знак… И все это говорило ему о восторге, негодовании, гневе… Ручка с пером тоже глядела восклицательным знаком. Перекладин взял ее, обмакнул перо в чернила и расписался:

«Коллежский секретарь Ефим Перекладин!!!»

И, ставя эти три знака, он восторгался, негодовал, радовался, кипел гневом.

— На тебе! На тебе! — бормотал он, надавливая на перо.

Огненный знак удовлетворился и исчез.

Зеркало

Подновогодний вечер. Нелли, молодая и хорошенькая дочь помещика-генерала, день и ночь мечтающая о замужестве, сидит у себя в комнате и утомленными, полузакрытыми глазами глядит в зеркало. Она бледна, напряжена и неподвижна, как зеркало.

Несуществующая, но видимая перспектива, похожая на узкий, бесконечный коридор, ряд бесчисленных свечей, отражение ее лица, рук, зеркальной рамы — все это давно уже заволоклось туманом и слилось в одно беспредельное серое море. Море колеблется, мигает, изредка вспыхивает заревом…

Глядя на неподвижные глаза и открытый рот Нелли, трудно понять, спит она или бодрствует, но, тем не менее, она видит. Сначала видит она только улыбку и мягкое, полное прелести выражение чьих-то глаз, потом же на колеблющемся сером фоне постепенно проясняются контуры головы, лицо, брови, борода. Это он, суженый, предмет долгих мечтаний и надежд. Суженый для Нелли составляет все: смысл жизни, личное счастье, карьеру, судьбу. Вне его, как и на сером

фоне, мрак, пустота, бессмыслица. И немудрено поэтому, что, видя перед собою красивую, кротко улыбающуюся голову, она чувствует наслаждение, невыразимо сладкий кошмар, который не передашь ни на словах, ни на бумаге. Далее она слышит его голос, видит, как живет с ним под одной кровлей, как ее жизнь постепенно сливается с его жизнью. На сером фоне бегут месяцы, годы… и Нелли отчетливо, во всех подробностях, видит свое будущее.

На сером фоне мелькают картина за картиной. Вот видит Нелли, как она в холодную зимнюю ночь стучится к уездному врачу Степану Лукичу. За воротами лениво и хрипло лает старый пес. В докторских окнах потемки. Кругом тишина.

— Ради бога… ради бога! — шепчет Нелли.

Но вот наконец скрипит калитка, и Нелли видит перед собой докторскую кухарку.

— Доктор дома?

— Спят-с… — шепчет кухарка в рукав, словно боясь разбудить своего барина. — Только что с эпидемии приехали. Не велено будить-с.

Но Нелли не слышит кухарки. Отстранив ее рукой, она, как сумасшедшая, бежит в докторскую квартиру. Пробежав несколько темных и душных комнат, свалив на пути два-три стула, она, нако-

нец, находит докторскую спальню. Степан Лукич лежит у себя в постели одетый, но без сюртука и, вытянув губы, дышит себе на ладонь. Около него слабо светит ночничок. Нелли, не говоря ни слова, садится на стул и начинает плакать. Плачет она горько, вздрагивая всем телом.

— Му… муж болен! — выговаривает она.

Степан Лукич молчит. Он медленно поднимается, подпирает голову кулаком и глядит на гостью сонными, неподвижными глазами.

— Муж болен! — продолжает Нелли, сдерживая рыдания. — Ради бога, поедемте… Скорее… как можно скорее!

— А? — мычит доктор, дуя на ладонь.

— Поедемте! И сию минуту! Иначе… иначе… страшно выговорить… Ради бога!

И бледная, измученная Нелли, глотая слезы и задыхаясь, начинает описывать доктору внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх. Страдания ее способны тронуть камень, но доктор глядит на нее, дует себе на ладонь и — ни с места.

— Завтра приеду… — бормочет он.

— Это невозможно! — пугается Нелли. — Я знаю, у мужа… тиф! Сейчас… сию минуту вы нужны!

— Я тово… только что приехал… — бормочет доктор. — Три дня на эпидемию ездил. И утомлен, и сам болен… Абсолютно не могу! Абсолютно! Я… я сам заразился… Вот!

И доктор сует к глазам Нелли максимальный термометр.

— Температура к сорока идет… Абсолютно не могу! Я… я даже сидеть не в состоянии. Простите: лягу…

Доктор ложится.

— Но я прошу вас, доктор! — стонет в отчаянии Нелли. — Умоляю! Помогите мне, ради бога. Соберите все ваши силы и поедемте… Я заплачу вам, доктор!

— Боже мой… да ведь я уже сказал вам! Ах!

Нелли вскакивает и нервно ходит по спальне. Ей хочется объяснить доктору, втолковать… Думается ей, что если бы он знал, как дорог для нее муж и как она несчастна, то забыл бы и утомление и свою болезнь. Но где взять красноречия?

— Поезжайте к земскому доктору… — слышит она голос Степана Лукича.

— Это невозможно!.. Он живет за двадцать пять верст отсюда, а время дорого. И лошадей не хватит: от нас сюда сорок верст да отсюда к земскому доктору почти столько… Нет, это невозможно!

Поедемте, Степан Лукич! Я подвига прошу. Ну, совершите вы подвиг! Сжальтесь!

— Черт знает что… Тут жар… дурь в голове, а она не понимает. Не могу! Отстаньте.

— Но вы обязаны ехать! И не можете вы не ехать! Это эгоизм! Человек для ближнего должен жертвовать жизнью, а вы… вы отказываетесь поехать!.. Я в суд на вас подам!

Нелли чувствует, что говорит обидную и незаслуженную ложь, но для спасения мужа она способна забыть и логику, и такт, и сострадание к людям… В ответ на ее угрозу доктор с жадностью выпивает стакан холодной воды. Нелли начинает опять умолять, взывать к состраданию, как самая последняя нищая… Наконец доктор сдается. Он медленно поднимается, отдувается, кряхтит и ищет свой сюртук.

— Вот он, сюртук! — помогает ему Нелли. — Позвольте, я его на вас надену… Вот так. Едемте. Я вам заплачу… всю жизнь буду признательна…

Но что за мука! Надевши сюртук, доктор опять ложится. Нелли поднимает его и тащит в переднюю… В передней долгая, мучительная возня с калошами, шубой… Пропала шапка… Но вот, наконец, Нелли сидит в экипаже. Возле нее доктор. Теперь остается только проехать сорок верст, и у

ее мужа будет медицинская помощь. Над землей висит тьма: зги не видно… Дует холодный зимний ветер. Под колесами мерзлые кочки. Кучер то и дело останавливается и раздумывает, какой дорогой ехать…

Нелли и доктор всю дорогу молчат. Их трясет ужасно, но они не чувствуют ни холода, ни тряски.

— Гони! Гони! — просит Нелли кучера.

К пяти часам утра замученные лошади въезжают во двор. Нелли видит знакомые ворота, колодезь с журавлем, длинный ряд конюшен и сараев… Наконец она дома.

— Погодите, я сейчас… — говорит она Степану Лукичу, сажая его в столовой на диван. — Остыньте, а я пойду посмотрю, что с ним.

Вернувшись через минуту от мужа, Нелли застает доктора лежащим. Он лежит на диване и что-то бормочет.

— Пожалуйте, доктор… Доктор!

— А? Спросите у Домны… — бормочет Степан Лукич.

— Что?

— На съезде говорили… Власов говорил… Кого? Что?

И Нелли, к великому своему ужасу, видит, что

у доктора такой же бред, как и у ее мужа. Что делать?

— К земскому врачу! — решает она.

Засим следуют опять потемки, резкий, холодный ветер, мерзлые кочки. Страдает она и душою и телом, и, чтобы уплатить за эти страдания, у обманщицы-природы не хватит никаких средств, никаких обманов…

Видит далее она на сером фоне, как муж ее каждую весну ищет денег, чтобы уплатить проценты в банк, где заложено имение. Не спит он, не спит она, и оба до боли в мозгу думают, как бы избежать визита судебного пристава.

Видит она детей. Тут вечный страх перед простудой, скарлатиной, дифтеритом, единицами, разлукой. Из пяти-шести карапузов, наверное, умрет один.

Серый фон не свободен от смертей. Оно и понятно. Муж и жена не могут умереть в одно время. Один из двух, во что бы то ни стало, должен пережить похороны другого. И Нелли видит, как умирает ее муж. Это страшное несчастие представляется ей во всех своих подробностях. Она видит гроб, свечи, дьячка и даже следы, которые оставил в передней гробовщик.

— К чему это? Для чего? — спрашивает она,

тупо глядя в лицо мертвого мужа.

И вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым, ненужным предисловием к этой смерти.

Что-то падает из рук Нелли и стучит о пол. Она вздрагивает, вскакивает и широко раскрывает глаза. Одно зеркало, видит она, лежит у ее ног, другое стоит по-прежнему на столе. Она смотрится в зеркало и видит бледное, заплаканное лицо. Серого фона уже нет.

«Я, кажется, уснула…» — думает она, легко вздыхая.

Детвора

Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они уехали на крестины к тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади. В ожидании их возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей сидят в столовой за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора уже спать; но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на крестинах был ребеночек и что подавали за ужином? Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стеклышками. Перед каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стеклышек для покрышки цифр. Посреди стола белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка недоеденное яблоко, ножницы и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Играют дети на деньги. Ставка — копейка. Условие: если кто смошенничает, того немедленно вон. В столовой, кроме играющих, нет никого. Няня Агафья Ивановна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить, а старший брат, Вася, ученик V класса, лежит в гостиной на диване и скучает.

Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький, девятилетний мальчик с догола остриженной головой, пухлыми щеками и с жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном классе, а потому считается большим и самым умным. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему сидеть покойно, сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью хватает деньги и тотчас же прячет их в карман. Сестра его Аня, девочка лет восьми, с острым подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня, девочка шести лет, с кудрявой головкой и с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках, играет в лото ради процесса игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в

ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карты. У него ни корыстолюбия, ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать — и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать, но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтоб без него не похитили его стеклышек и копеек. Так как он знает одни только единицы и те числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывает цифры Аня. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей, черномазый болезненный мальчик, в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди, стоит неподвижно и мечтательно глядит на цифры. К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию: сколько на этом свете разных цифр и как это они не перепутаются!

Выкрикивают числа все по очереди, кроме Сони и Алеши. Ввиду однообразия чисел, практика выработала много терминов и смехотворных прозвищ. Так, семь у игроков называется кочер-

гой, одиннадцать — палочками, семьдесят семь — Семен Семенычем, девяносто — дедушкой и т. д. Игра идет бойко.

— Тридцать два! — кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики. — Семнадцать! Кочерга! Двадцать восемь — сено косим!

Аня видит, что Андрей прозевал 28. В другое время она указала бы ему на это, теперь же, когда на блюдечке вместе с копейкой лежит ее самолюбие, она торжествует.

— Двадцать три! — продолжает Гриша. — Семен Семеныч! Девять!

— Прусак, прусак! — вскрикивает Соня, указывая на прусака, бегущего через стол. — Ай!

— Не бей его, — говорит басом Алеша. — У него, может быть, есть дети…

Соня провожает глазами прусака и думает о его детях: какие это, должно быть, маленькие прусачата!

— Сорок три! Один! — продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две катерны. — Шесть!

— Партия! У меня партия! — кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча.

У партнеров вытягиваются физиономии.

— Проверить! — говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню.

На правах большого и самого умного, Гриша забрал себе решающий голос. Что он хочет, то и делают. Долго и тщательно проверяют Соню, и к величайшему сожалению ее партнеров оказывается, что она не смошенничала. Начинается следующая партия.

— А что я вчера видела! — говорит Аня как бы про себя. — Филипп Филиппыч заворотил как-то веки, и у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа.

— Я тоже видел, — говорит Гриша. — Восемь! А у нас ученик умеет ушами двигать. Двадцать семь!

Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит:

— И я умею ушами шевелить…

— А ну-ка, пошевели!

Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех.

— Нехороший человек этот Филипп Филиппыч, — вздыхает Соня. — Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке… И мне стало так неприлично!

— Партия! — вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блюдечка деньги. — У меня партия! Проверяйте, если хотите!

Кухаркин сын поднимает глаза и бледнеет.

— Мне, значит, уж больше нельзя играть, — шепчет он.

— Почему?

— Потому что… потому что у меня больше денег нет.

— Без денег нельзя! — говорит Гриша.

Андрей на всякий случай еще раз роется в карманах. Не найдя в них ничего, кроме крошек и искусанного карандашика, он кривит рот и начинает страдальчески мигать глазами. Сейчас он заплачет…

— Я за тебя поставлю! — говорит Соня, не выносящая его мученического взгляда. — Только смотри, отдашь после.

Деньги взносятся, и игра продолжается.

— Кажется, где-то звонят, — говорит Аня, делая большие глаза.

Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят на темное окно. За темнотой мелькает отражение лампы.

— Это послышалось.

— Ночью только на кладбище звонят… — гово-

рит Андрей.

— А зачем там звонят?

— Чтоб разбойники в церковь не забрались. Звона они боятся.

— А для чего разбойникам в церковь забираться? — спрашивает Соня.

— Известно для чего: сторожей поубивать!

Проходит минута в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей.

— Он смошенничал, — басит ни с того ни с сего Алеша.

— Врешь, я не смошенничал!

Андрей бледнеет, кривит рот и хлоп Алешу по голове! Алеша злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь, — хлоп Андрея по щеке! Оба дают друг другу еще по одной пощечине и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, тоже начинает плакать, и столовая оглашается разноголосым ревом. Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алеша даже счастлив: недоразумение было!

В столовую входит Вася, ученик V класса. Вид у

него заспанный, разочарованный.

«Это возмутительно! — думает он, глядя, как Гриша ощупывает карман, в котором звякают копейки. — Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволять им играть в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать. Возмутительно!»

Но дети играют так вкусно, что у него самого является охота присоседиться к ним и попытать счастья.

— Погодите, и я сяду играть, — говорит он.

— Ставь копейку!

— Сейчас, — говорит он, роясь в карманах. — У меня копейки нет, но вот есть рубль. Я ставлю рубль.

— Нет, нет, нет… копейку ставь!

— Дураки вы. Ведь рубль во всяком случае дороже копейки, — объясняет гимназист. — Кто выиграет, тот мне сдачи сдаст.

— Нет, пожалуйста! Уходи!

Ученик V класса пожимает плечами и идет в кухню взять у прислуги мелочи. В кухне не оказывается ни копейки.

— В таком случае разменяй мне, — пристает он к Грише, придя из кухни. — Я тебе промен заплачу. Не хочешь? Ну продай мне за рубль

десять копеек.

Гриша подозрительно косится на Васю: не подвох ли это какой-нибудь, не жульничество ли?

— Не хочу, — говорит он, держась за карман.

Вася начинает выходить из себя, бранится, называя игроков болванами и чугунными мозгами.

— Вася, да я за тебя поставлю! — говорит Соня. — Садись!

Гимназист садится и кладет перед собой две карты. Аня начинает читать числа.

— Копейку уронил! — заявляет вдруг Гриша взволнованным голосом. — Постойте!

Снимают лампу и лезут под стол искать копейку. Хватают руками плевки, ореховую скорлупу, стукаются головами, но копейки не находят. Начинают искать снова и ищут до тех пор, пока Вася не вырывает из рук Гриши лампу и не ставит ее на место. Гриша продолжает искать в потемках.

Но вот наконец копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят продолжать игру.

— Соня спит! — заявляет Алеша.

Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и крепко, словно она уснула час тому назад. Уснула она нечаянно, пока другие искали копейку.

— Поди на мамину постель ложись! — говорит

Аня, уводя ее из столовой. — Иди!

Ее ведут все гурьбой, и через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Возле нее похрапывает Алеша. Положив на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же, кстати, заодно примостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи!

Тоска

Кому повем печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег… Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать…

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спуска-

ется вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона.

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

— На Выборгскую! — повторяет военный. — Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега… Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места…

— Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. — Куда черти несут? Пррава держи!

— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лоша-

денки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный. — Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами… Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

— А у меня, барин, тово… сын на этой неделе помер.

— Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

— А кто ж его знает! Должно, от горячки… Три дня полежал в больнице и помер… Божья воля.

— Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках. — Повылазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай… — говорит седок. — Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподни-

мается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется… Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой…

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач. — Троих… двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены… Что рубль, что пятак — для него теперь все равно, были бы только седоки… Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. — Лупи! Да и

шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти…

— Гы-ы… гы-ы… — хохочет Иона. — Какая есть…

— Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

— Голова трещит… — говорит один из длинных. — Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

— Не понимаю, зачем врать! — сердится другой длинный. — Врет, как скотина.

— Накажи меня бог, правда…

— Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

— Гы-ы! — ухмыляется Иона. — Ве-еселые господа!

— Тьфу, чтоб тебя черти!.. — возмущается горбач. — Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысника ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством

и не разражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

— А у меня на этой неделе… тово… сын помер!

— Все помрем… — вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. — Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

— А ты его легонечко подбодри… в шею!

— Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

— Гы-ы… — смеется он. — Веселые господа… дай бог здоровья!

— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.

— Я-то? Гы-ы… ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена — сырая земля… Хи-хо-хо… Могила, то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив… Чудное дело, смерть дверью обозналась… Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну…

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как

умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина… Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски… Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем…

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.

— Десятый… Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске… Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает

вожжи… Ему невмоготу.

«Ко двору, — думает он. — Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора, Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота… Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой…

«И на овес не выездил, — думает он. — Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело… который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен…»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стало быть, пить!

— Так… На здоровье… А у меня, брат, сын помер… Слыхал? На этой неделе в больнице… История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется… Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем… Нужно поговорить с толком, с расстановкой… Надо рассказать, как

заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер… Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья… И про нее нужно поговорить… Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать… А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, — думает Иона. — Спать всегда успеешь… Небось, выспишься…»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде… Про сына, когда один, думать он не может… Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко…

— Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. — Ну, жуй, жуй… Коли на овес не выездили, сено есть будем… Да… Стар уж стал я ездить… Сыну бы ездить, а не мне… То настоящий извозчик был… Жить бы только…

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то, брат кобылочка… Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря… Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать… И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить… Ведь

жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина…

Иона увлекается и рассказывает ей все…

Анюта

В самом дешевом номерке меблированных комнат «Лиссабон» из угла в угол ходил студент-медик 3-го курса, Степан Клочков, и усердно зубрил свою медицину. От неустанной, напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот.

У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилица, Анюта, маленькая, худенькая брюнетка лет 25, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная… Коридорные часы сипло пробили два пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, сор на полу — все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано…

— Правое легкое состоит из трех долей… — зубрил Клочков. — Границы! Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4–5 ребер, на боковой поверхности до четвертого ребра…

назади до spina scapulae[59]...

Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра.

— Эти ребра похожи на рояльные клавиши, — сказал он. — Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется по-штудировать на скелете и на живом человеке... А ну-ка, Анюта, дай-ка я ориентируюсь!

Анюта оставила вышиванье, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра.

— Гм... Первое ребро не прощупывается... Оно за ключицей... Вот это будет второе ребро... Так-с... Это вот третье... Это вот четвертое... Гм... Так-с... Что ты жмешься?

— У вас пальцы холодные!

— Ну, ну... не умрешь, не вертись... Стало быть, это третье ребро, а это четвертое... Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе... это третье... Нет, этак спутаешься и не представишь себе ясно... Придется нарисовать. Где мой уголек?

---

[59] Примечания: 59
До ости лопатки *(лат.)*.

Клочков взял уголек и начертил им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам.

— Превосходно. Все, как на ладони… Ну-с, а теперь и постучать можно. Встань-ка!

Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен.

— Теперь все ясно, — сказал Клочков, перестав стучать. — Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко.

И медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала и все думала, думала…

За все шесть-семь лет ее шатания по меблированным комнатам таких, как Клочков, знала она человек пять. Теперь все они уже покончали курсы, вышли в люди и, конечно, как порядочные люди, давно уже забыли ее. Один из них живет в Париже, два докторами, четвертый художник,

а пятый даже, говорят, уже профессор. Клочков — шестой… Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно, и из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек, но настоящее совсем плохо: у Клочкова нет табаку, нет чаю, и сахару осталось четыре кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышиванье, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю и табаку.

— Можно войти? — послышалось за дверью.

Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов.

— А я к вам с просьбой, — начал он, обращаясь к Клочкову и зверски глядя из-под нависших на лоб волос. — Сделайте одолжение, одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на два! Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя!

— Ах, с удовольствием! — согласился Клочков. — Ступай, Анюта.

— Чего я там не видела! — тихо проговорила Анюта.

— Ну, полно! Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь?

Анюта стала одеваться.

— А что вы пишете? — спросил Клочков.

— Психею. Хороший сюжет, да все как-то не выходит; приходится все с разных натурщиц писать. Вчера писал одну с синими ногами. Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги? Это, говорит, чулки линяют. А вы все зубрите! Счастливый человек, терпение есть.

— Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки.

— Гм… Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете! Черт знает как живете!

— То есть как? Иначе нельзя жить… От батьки я получаю только двенадцать в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно.

— Так-то так… — сказал художник и брезгливо поморщился, — но можно все-таки лучше жить… Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? А у вас тут черт знает что! Постель не прибрана, помои, сор… вчерашняя каша на тарелке… тьфу!

— Это правда, — сказал медик и сконфузился, — но Анюте некогда было сегодня убрать. Все время занята.

Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа, потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову

кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком, и его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой, в обществе жены, порядочной женщины, — и теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкий. Анюта тоже представлялась некрасивой, неряшливой, жалкой… И он решил расстаться с ней, немедля, во что бы то ни стало.

Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно:

— Вот что, моя милая… Садись и выслушай. Нам нужно расстаться! Одним словом, жить с тобою я больше не желаю.

Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острей. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали.

— Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться, — сказал медик. — Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь…

Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышиванье в бумагу, собрала нитки, иголки; сверток с четырьмя кусочками сахару нашла на окне и положила на столе возле книг.

— Это ваше… сахар… — тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы.

— Ну, что же ты плачешь? — спросил Клочков.

Он прошелся по комнате в смущении и сказал:

— Странная ты, право… Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе.

Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься, и ему стало жаль ее.

«Разве пусть еще одну неделю поживет здесь? — подумал он. — В самом деле, пусть еще поживет, а через неделю я велю ей уйти».

И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово:

— Ну, что же стоишь? Уходить, так уходить, а не хочешь, так снимай шубу и оставайся! Оставайся!

Анюта сняла шубу, молча, потихоньку, потом высморкалась, тоже потихоньку, вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции — к табурету у окна.

Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол.

— Правое легкое состоит из трех долей… — зубрил он. — Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4–5 ребер…

А в коридоре кто-то кричал во все горло:

— Грригорий, самовар!

Актерская гибель

Благородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик, славившийся не столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой, «вдрызг» поругался во время спектакля с антрепренером и в самый разгар руготни вдруг почувствовал, что у него в груди что-то оборвалось. Антрепренер Жуков обыкновенно в конце каждого горячего объяснения начинал истерически хохотать и падал в обморок, но Щипцов на сей раз не стал дожидаться такого конца и поспешил восвояси. Брань и ощущение разрыва в груди так взволновали его, что, уходя из театра, он забыл смыть с лица грим и только сорвал бороду.

Придя к себе в номер, Щипцов долго шагал из угла в угол, потом сел на кровать, подпер голову кулаками и задумался. Не шевелясь и не издав ни одного звука, просидел он таким образом до двух часов другого дня, когда в его номер вошел комик Сигаев.

— Ты что же это, Шут Иванович, на репетицию не приходил? — набросился на него комик, пересиливая одышку и наполняя номер запахом

винного перегара. — Где ты был?

Щипцов ничего не ответил и только взглянул на комика мутными, подкрашенными глазами.

— Хоть бы рожу-то вымыл! — продолжал Сигаев. — Стыдно глядеть! Ты натрескался или… болен, что ли? Да что ты молчишь? Я тебя спрашиваю: ты болен?

Щипцов молчал. Как ни была опачкана его физиономия, но комик, вглядевшись попристальнее, не мог не заметить поразительной бледности, пота и дрожания губ. Руки и ноги тоже дрожали, да и все громадное тело верзилы-простака казалось помятым, приплюснутым. Комик быстро оглядел номер, но не увидел ни штофов, ни бутылок, ни другой какой-либо подозрительной посуды.

— Знаешь, Мишутка, а ведь ты болен! — встревожился он. — Накажи меня бог, ты болен! На тебе лица нет!

Щипцов молчал и уныло глядел в пол.

— Это ты простудился! — продолжал Сигаев, беря его за руку. — Ишь какие руки горячие! Что у тебя болит?

— До… домой хочу, — пробормотал Щипцов.

— А ты нешто сейчас не дома?

— Нет… в Вязьму…

— Эва, куда захотел! До твоей Вязьмы и в три года не доскачешь… Что, к папашеньке и мамашеньке захотелось? Чай, давно уж они у тебя сгнили и могилок их не сыщешь…

— У меня там ро… родина…

— Ну, нечего, нечего мерлехлюндию распускать. Эта психопатия чувств, брат, последнее дело… Выздоравливай, да завтра тебе нужно в «Князе Серебряном» Митьку играть. Больше ведь некому. Выпей-ка чего-нибудь горячего да касторки прими. Есть у тебя деньги на касторку? Или постой, я сбегаю и куплю.

Комик пошарил у себя в карманах, нашел пятиалтынный и побежал в аптеку. Через четверть часа он вернулся.

— На, пей! — сказал он, поднося ко рту благородного отца склянку. — Пей прямо из пузырька… Разом! Вот так… На, теперь гвоздичкой закуси, чтоб душа этой дрянью не провоняла.

Комик посидел еще немного у больного, потом нежно поцеловал его и ушел. К вечеру забегал к Щипцову jeune-premier[60] Брама-Глинский. Даровитый артист был в прюнелевых полусапожках, имел на левой руке перчатку, курил сигару и

---

[60] Примечания: 60
Первый любовник *(франц.).*

даже издавал запах гелиотропа, но, тем не менее, все-таки сильно напоминал путешественника, заброшенного в страну, где нет ни бань, ни прачек, ни портных…

— Ты, я слышал, заболел? — обратился он к Щипцову, перевернувшись на каблуке. — Что с тобой? Ей-богу, что с тобой?..

Щипцов молчал и не шевелился.

— Что же ты молчишь? Дурнота в голове, что ли? Ну, молчи, не стану приставать… молчи…

Брама-Глинский (так он зовется по театру, в паспорте же он значится Гуськовым) отошел к окну, заложил руки в карманы и стал глядеть на улицу. Перед его глазами расстилалась громадная пустошь, огороженная серым забором, вдоль которого тянулся целый лес прошлогоднего репейника. За пустошью темнела чья-то заброшенная фабрика с наглухо забитыми окнами. Около трубы кружилась запоздавшая галка. Вся эта скучная, безжизненная картина начинала уже подергиваться вечерними сумерками.

— Домой надо! — услышал jeune-premier.

— Куда это домой?

— В Вязьму… на родину…

— До Вязьмы, брат, тысяча пятьсот верст… — вздохнул Брама-Глинский, барабаня по стеклу. —

А зачем тебе в Вязьму?

— Там бы помереть…

— Ну, вот еще, выдумал! Помереть… Заболел первый раз в жизни и уж воображает, что смерть пришла… Нет, брат, такого буйвола, как ты, никакая холера не проберет. До ста лет проживешь… Что у тебя болит?

— Ничего не болит, но я… чувствую…

— Ничего ты не чувствуешь, а все это у тебя от лишнего здоровья. Силы в тебе бушуют. Тебе бы теперь дербалызнуть хорошенечко, выпить этак, знаешь, чтоб во всем теле пертурбация произошла. Пьянство отлично освежает… Помнишь, как ты в Ростове-на-Дону насвистался? Господи, даже вспомнить страшно! Бочонок с вином мы с Сашкой вдвоем еле-еле донесли, а ты его один выпил да потом еще за ромом послал… Допился до того, что чертей мешком ловил и газовый фонарь с корнем вырвал. Помнишь? Тогда еще ты ходил греков бить…

Под влиянием таких приятных воспоминаний лицо Щипцова несколько прояснилось и глаза заблестели.

— А помнишь, как я антрепренера Савойкина бил? — забормотал он, поднимая голову. — Да что говорить! Бил я на своем веку тридцать трех

антрепренеров, а что меньшей братии, то и не упомню. И каких антрепренеров-то бил! Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться! Двух знаменитых писателей бил, одного художника!

— Что ж ты плачешь?

— В Херсоне лошадь кулаком убил. А в Таганроге напали раз на меня ночью жулики, человек пятнадцать. Я поснимал с них шапки, а они идут за мной да просят: «Дяденька, отдай шапку!» Такие-то дела.

— Что ж ты, дурило, плачешь?

— А теперь шабаш… чувствую. В Вязьму бы ехать!

Наступила пауза. После молчания Щипцов вдруг вскочил и схватился за шапку. Вид у него был расстроенный.

— Прощай! В Вязьму еду! — проговорил он покачиваясь.

— А деньги на дорогу?

— Гм!.. Я пешком пойду!

— Ты ошалел…

Оба взглянули друг на друга, вероятно, потому, что у обоих мелькнула в голове одна и та же мысль — о необозримых полях, нескончаемых лесах, болотах.

— Нет, ты, я вижу, спятил! — решил jeune-

premier. — Вот что, брат… Первым делом ложись, потом выпей коньяку с чаем, чтоб в пот ударило. Ну, и касторки, конечно. Постой, где бы коньяку взять?

Брама-Глинский подумал и решил сходить к купчихе Цитринниковой, попытать ее насчет кредита: авось, баба сжалится — отпустит в долг! Jeune-premier отправился и через полчаса вернулся с бутылкой коньяку и с касторкой. Щипцов по-прежнему сидел неподвижно на кровати, молчал и глядел в пол. Предложенную товарищем касторку он выпил, как автомат, без участия сознания. Как автомат, сидел он потом за столом и пил чай с коньяком; машинально выпил всю бутылку и дал товарищу уложить себя в постель. Jeune-premier укрыл его одеялом и пальто, посоветовал пропотеть и ушел.

Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок, потом, увидев луну, глядевшую в окно, он перевел глаза с потолка на спутника земли и так пролежал с открытыми глазами до самого утра. Утром, часов в девять, прибежал антрепренер Жуков.

— Что это вы, ангел, хворать вздумали? — закудахтал он, морща нос. — Ай, ай! Нешто при вашей

комплекции можно хворать? Стыдно, стыдно! А я, знаете, испугался! Ну, неужели, думаю, на него наш разговор подействовал? Душенька моя, надеюсь, что вы не от меня заболели! Ведь и вы меня, тово… И к тому же между товарищами не может быть без этого. Вы меня там и ругали и… с кулаками даже лезли, а я вас люблю! Ей-богу, люблю! Уважаю и люблю! Ну, вот объясните, ангел, за что я вас так люблю? Не родня вы мне, не сват, не жена, а как узнал, что вы прихворнули, — словно кто ножом резанул.

Жуков долго объяснялся в любви, потом полез целоваться и в конце концов так расчувствовался, что начал истерически хохотать и хотел даже упасть в обморок, но, спохватившись, вероятно, что он не у себя дома и не в театре, отложил обморок до более удобного случая и уехал.

Вскоре после него явился трагик Адабашев, личность тусклая, подслеповатая и говорящая в нос… Он долго глядел на Щипцова, долго думал и вдруг сделал открытие:

— Знаешь что, Мифа? — спросил он, произнося в нос вместо *ш* — *ф* и придавая своему лицу таинственное выражение. — Знаешь что?! Тебе нужно выпить касторки!!

Щипцов молчал. Молчал он и немного погодя,

когда трагик вливал ему в рот противное масло. Часа через два после Адабашева пришел в номер театральный парикмахер Евлампий, или, как называли его почему-то актеры, Риголетто. Он тоже, как и трагик, долго глядел на Щипцова, потом вздохнул, как паровоз, и медленно, с расстановкой начал развязывать принесенный им узел. В узле было десятка два банок и несколько пузырьков.

— Послали б за мной, и я б вам давно банки поставил! — сказал он нежно, обнажая грудь Щипцова. — Запустить болезнь не трудно!

Засим Риголетто погладил ладонью широкую грудь благородного отца и покрыл ее кровососными банками.

— Да-с… — говорил он, увязывая после этой операции свои орудия, обагренные кровью Щипцова. — Прислали бы за мной, я и пришел бы… Насчет денег беспокоиться нечего… Я из жалости… Где вам взять, ежели тот идол платить не хочет? Таперя вот извольте капель этих принять. Вкусные капли! А таперя извольте маслица выпить. Касторка самая настоящая. Вот так! На здоровье! Ну, а таперя прощайте-с…

Риголетто взял свой узел и, довольный, что помог ближнему, удалился.

Утром следующего дня комик Сигаев, зайдя к Щипцову, застал его в ужаснейшем состоянии. Он лежал под пальто, тяжело дышал и водил блуждающими глазами по потолку. В руках он судорожно мял скомканное одеяло.

— В Вязьму! — зашептал он, увидав комика. — В Вязьму!

— Вот это, брат, уж мне и не нравится! — развел руками комик. — Вот… вот… вот это, брат, и нехорошо! Извини, но… даже, брат, глупо…

— В Вязьму надо! Ей-богу, в Вязьму!

— Не… не ожидал от тебя!.. — бормотал совсем растерявшийся комик. — Черт знает! Чего ради расквасился! Э… э… э… и нехорошо! Верзила, с каланчу ростом, а плачешь. Нешто актеру можно плакать?

— Ни жены, ни детей, — бормотал Щипцов. — Не идти бы в актеры, а в Вязьме жить! Пропала, Семен, жизнь! Ох, в Вязьму бы!

— Э… э… э… и нехорошо! Вот и глупо… подло даже!

Успокоившись и приведя свои чувства в порядок, Сигаев стал утешать Щипцова, врать ему, что товарищи порешили его на общий счет в Крым отправить и проч., но тот не слушал и все бормотал про Вязьму… Наконец, комик махнул

рукой и, чтобы утешить больного, сам стал говорить про Вязьму.

— Хороший город! — утешал он. — Отличный, брат, город! Пряниками прославился. Пряники классические, но — между нами говоря — того… подгуляли. После них у меня целую неделю потом был того… Но что там хорошо, так это купец! Всем купцам купец. Уж коли угостит тебя, так угостит!

Комик говорил, а Щипцов молчал, слушал и одобрительно кивал головой.

К вечеру он умер.

Иван Матвеич

Шестой час вечера. Один из достаточно известных русских ученых — будем называть его просто ученым — сидит у себя в кабинете и нервно кусает ногти.

— Это просто возмутительно! — говорит он, то и дело посматривая на часы. — Это верх неуважения к чужому времени и труду. В Англии такой субъект не заработал бы ни гроша, умер бы с голода! Ну, погоди же, придешь ты…

И, чувствуя потребность излить на чем-нибудь свой гнев и нетерпение, ученый подходит к двери, ведущей в женину комнату, и стучится.

— Послушай, Катя, — говорит он негодующим голосом. — Если увидишь Петра Данилыча, то передай ему, что порядочные люди так не делают! Это мерзость! Рекомендует переписчика и не знает, кого он рекомендует! Мальчишка аккуратнейшим образом опаздывает каждый день на два, на три часа. Ну, разве это переписчик? Для меня эти два-три часа дороже, чем для другого два-три года! Придет он, я его изругаю, как собаку, денег ему не заплачу и вышвырну вон! С такими людьми нельзя церемониться!

— Ты каждый день это говоришь, а между тем он все ходит и ходит.

— А сегодня я решил. Достаточно уж я из-за него потерял. Ты извини, но я с ним ругаться буду, извозчицки ругаться!

Но вот наконец слышится звонок. Ученый делает серьезное лицо, выпрямляется и, закинув назад голову, идет в переднюю. Там, около вешалки, уже стоит его переписчик Иван Матвеич, молодой человек лет восемнадцати, с овальным, как яйцо, безусым лицом, в поношенном, облезлом пальто и без калош. Он запыхался и старательно вытирает свои большие, неуклюжие сапоги о подстилку, причем старается скрыть от горничной дыру на сапоге, из которой выглядывает белый чулок. Увидев ученого, он улыбается той продолжительной, широкой, немножко глуповатой улыбкой, какая бывает на лицах только у детей и очень простодушных людей.

— А, здравствуйте, — говорит он, протягивая большую мокрую руку. — Что, прошло у вас горло?

— Иван Матвеич! — говорит ученый дрогнувшим голосом, отступая назад и складывая вместе пальцы обеих рук. — Иван Матвеич!

Затем он подскакивает к переписчику, хватает

его за плечо и начинает слабо трясти.

— Что вы со мной делаете? — говорит он с отчаянием. — Ужасный, гадкий вы человек, что вы делаете со мной! Вы надо мной смеетесь, издеваетесь? Да?

Иван Матвеич, судя по улыбке, которая еще не совсем сползла с его лица, ожидал совсем другого приема, а потому, увидев дышащее негодованием лицо ученого, он еще больше вытягивает в длину свою овальную физиономию и в изумлении открывает рот.

— Что… что такое? — спрашивает он.

— И вы еще спрашиваете! — всплескивает руками ученый. — Знаете, как дорого для меня время, и так опаздываете! Вы опоздали на два часа!.. Бога вы не боитесь!

— Я ведь сейчас не из дому, — бормочет Иван Матвеич, нерешительно развязывая шарф. — Я у тетки на именинах был, а тетка верст за шесть отсюда живет… Если бы я прямо из дому шел, ну, тогда другое дело.

— Ну, сообразите, Иван Матвеич, есть ли логика в ваших поступках? Тут дело нужно делать, дело срочное, а вы по именинам да по теткам шляетесь! Ах, да развязывайте поскорее ваш ужасный шарф! Это, наконец, невыносимо!

Ученый опять подскакивает к переписчику и помогает ему распутать шарф.

— Какая вы баба… Ну, идите!.. Скорей, пожалуйста!

Сморкаясь в грязный, скомканный платочек и поправляя свой серенький пиджачок, Иван Матвеич идет через залу и гостиную в кабинет. Тут для него давно уже готово и место, и бумага, и даже папиросы.

— Садитесь, садитесь, — подгоняет ученый, нетерпеливо потирая руки. — Несносный вы человек… Знаете, что работа срочная, и так опаздываете. Поневоле браниться станешь. Ну, пишите… На чем мы остановились?

Иван Матвеич приглаживает свои щетинистые, неровно остриженные волосы и берется за перо. Ученый прохаживается из угла в угол, сосредоточивается и начинает диктовать:

— Суть в том… запятая… что некоторые, так сказать, основные формы… написали? — формы единственно обусловливаются самой сущностью тех начал… запятая… которые находят в них свое выражение и могут воплотиться только в них… С новой строки… Там, конечно, точка… Наиболее самостоятельности представляют… представляют… те формы, которые имеют не столько

политический… запятая… сколько социальный характер…

— Теперь у гимназистов другая форма… серая… — говорит Иван Матвеич. — Когда я учился, при мне лучше было: мундиры носили…

— Ах, да пишите, пожалуйста! — сердится ученый. — Характер… написали? Говоря же о преобразованиях, относящихся к устройству… государственных функций, а не регулированию народного быта… запятая… нельзя сказать, что они отличаются национальностью своих форм… последние три слова в кавычках… Э-э… тово… Так что вы хотели сказать про гимназию?

— Что при мне другую форму носили.

— Ага… так… А вы давно оставили гимназию?

— Да я же вам говорил вчера! Я уж года три как не учусь… Я из четвертого класса вышел.

— А зачем вы гимназию бросили? — спрашивает ученый, заглядывая в писанье Ивана Матвеича.

— Так, по домашним обстоятельствам.

— Опять вам говорить, Иван Матвеич! Когда, наконец, вы бросите вашу привычку растягивать строки? В строке не должно быть меньше сорока букв!

— Что ж, вы думаете, я это нарочно? — оби-

жается Иван Матвеич. — Зато в других строках больше сорока букв… Вы сочтите. А ежели вам кажется, что я натягиваю, то вы можете мне плату убавить.

— Ах, да не в том дело! Какой вы неделикатный, право… Чуть что, сейчас вы о деньгах. Главное — аккуратность, Иван Матвеич, аккуратность главное! Вы должны приучать себя к аккуратности.

Горничная вносит в кабинет на подносе два стакана чаю и корзинку с сухарями… Иван Матвеич неловко, обеими руками берет свой стакан и тотчас же начинает пить. Чай слишком горяч. Чтобы не ожечь губ, Иван Матвеич старается делать маленькие глотки. Он съедает один сухарь, потом другой, третий и, конфузливо покосившись на ученого, робко тянется за четвертым… Его громкие глотки, аппетитное чавканье и выражение голодной жадности в приподнятых бровях раздражают ученого.

— Кончайте скорей… Время дорого.

— Вы диктуйте. Я могу в одно время и пить и писать… Я, признаться, проголодался.

— Еще бы, пешком ходите!

— Да… А какая нехорошая погода! В наших краях в это время уж весной пахнет… Везде лужи,

снег тает.

— Вы ведь, кажется, южанин?

— Из Донской области… А в марте у нас совсем уж весна. Тут мороз, все в шубах ходят, а там травка… везде сухо и тарантулов даже ловить можно.

— А зачем ловить тарантулов?

— Так… от нечего делать… — говорит Иван Матвеич и вздыхает. — Их ловить забавно. Нацепишь на нитку кусочек смолы, опустишь смолку в норку и начнешь смолкой бить тарантула по спине, а он, проклятый, рассердится, схватит лапками за смолу и увязнет… А что мы с ними делали! Накидаем их, бывало, полный тазик и пустим к ним бихорку.

— Какого бихорку?

— Это такой паук есть, вроде тоже как бы тарантула. В драке он один может сто тарантулов убить.

— М-да… Однако будем писать… На чем мы остановились?

Ученый диктует еще строк двадцать, потом садится и погружается в размышление.

Иван Матвеич в ожидании, пока тот надумает, сидит и, вытягивая шею, старается привести в порядок воротничок своей сорочки. Галстук сидит не плотно, запонки выскочили, и воротник то и

дело расходится.

— М-да… — говорит ученый. — Так-с… Что, не нашли еще себе места, Иван Матвеич?

— Нет. Да где его найдешь? Я, знаете ли, надумал в вольноопределяющиеся идти. А отец советует в аптеку поступить.

— М-да… А лучше, если бы в университет поступили. Экзамен трудный, но при терпении и усидчивом труде можно выдержать. Занимайтесь, читайте побольше… Вы много читаете?

— Признаться, мало… — говорит Иван Матвеич, закуривая.

— Тургенева читали?

— Н-нет…

— А Гоголя?

— Гоголя? Гм!.. Гоголя… Нет, не читал!

— Иван Матвеич! И вам не совестно? Ай-ай! Такой хороший вы малый, так много в вас оригинального, и вдруг… даже Гоголя не читали! Извольте прочесть! Я вам дам! Обязательно прочтите! Иначе мы рассоримся!

Опять наступает молчание. Ученый полулежит на мягкой кушетке и думает, а Иван Матвеич, оставив в покое воротнички, все свое внимание обращает на сапоги. Он и не заметил, как под ногами от растаявшего снега образовались две

большие лужи. Ему совестно.

— Что-то не клеится сегодня… — бормочет ученый. — Иван Матвеич, вы, кажется, и птиц любите ловить?

— Это осенью… Здесь я не ловлю, а там, дома, всегда ловил.

— Так-с… хорошо-с. А писать все-таки нужно.

Ученый решительно встает и начинает диктовать, но через десять строк опять садится на кушетку.

— Нет уж, вероятно, отложим до завтрашнего утра, — говорит он. — Приходите завтра утром, только пораньше, часам к девяти. Храни вас бог опоздать.

Иван Матвеич кладет перо, встает из-за стола и садится на другой стул. Проходит минут пять в молчании, и он начинает чувствовать, что ему пора уходить, что он лишний, но в кабинете ученого так уютно, светло и тепло, и еще настолько свежо впечатление от сдобных сухарей и сладкого чая, что у него сжимается сердце от одной только мысли о доме. Дома — бедность, голод, холод, ворчун-отец, попреки, а тут так безмятежно, тихо и даже интересуются его тарантулами и птицами.

Ученый смотрит на часы и берется за книгу.

— Так вы дадите мне Гоголя? — спрашивает Иван Матвеич, поднимаясь.

— Дам, дам. Только куда же вы спешите, голубчик? Посидите, расскажите что-нибудь…

Иван Матвеич садится и широко улыбается. Почти каждый вечер сидит он в этом кабинете и всякий раз чувствует в голосе и во взгляде ученого что-то необыкновенно мягкое, притягательное, словно родное. Бывают даже минуты, когда ему кажется, что ученый привязался к нему, привык, и если бранит его за опаздывания, то только потому, что скучает по его болтовне о тарантулах и о том, как на Дону ловят щеглят.

Нахлебники

Мещанин Михаил Петров Зотов, старик лет семидесяти, дряхлый и одинокий, проснулся от холода и старческой ломоты во всем теле. В комнате было темно, но лампадка перед образом уже не горела. Зотов приподнял занавеску и поглядел в окно. Облака, облегавшие небо, начинали уже подергиваться белизной, и воздух становился прозрачным, — стало быть, был пятый час, не больше.

Зотов покрякал, покашлял и, пожимаясь от холода, встал с постели. По давнишней привычке, он долго стоял перед образом и молился. Прочел «Отче наш», «Богородицу», «Верую» и помянул длинный ряд имен. Кому принадлежат эти имена, он давно уже забыл и поминал только по привычке. По той же привычке он подмел комнату и сени и поставил свой толстенький четырехногий самоварчик из красной меди. Не будь у Зотова этих привычек, он не знал бы, чем наполнить свою старость.

Поставленный самоварчик медленно разгорался и вдруг неожиданно загудел дрожащим басом.

— Ну, загудел! — проворчал Зотов. — Гуди на

свою голову!

Тут же кстати старик вспомнил, что в истекшую ночь ему снилась печь, а видеть во сне печь означает печаль.

Сны и приметы составляли единственное, что еще могло возбуждать его к размышлениям. И на этот раз он с особенною любовью погрузился в решение вопросов: к чему гудит самовар, какую печаль пророчит печь? Сон на первых же порах оказался в руку: когда Зотов выполоскал чайник и захотел заварить чай, то у него в коробочке не нашлось ни одной чаинки.

— Жизнь каторжная! — ворчал он, перекатывая языком во рту крохи черного хлеба. — Экая доля собачья!

Чаю нету! Добро бы, простой мужик был, а то ведь мещанин, домовладелец. Срамота!

Ворча и разговаривая с самим собой, Зотов надел свое похожее на кринолин пальто, сунул ноги в громадные неуклюжие калоши (сшитые сапожником Прохорычем в 1867 г.) и вышел на двор. Воздух был сер, холоден и угрюмо покоен. Большой двор, кудрявый от репейника и усыпанный желтыми листьями, слегка серебрился осеннею изморозью. Ни ветра, ни звуков. Старик сел на ступени своего покосившегося крылечка,

и тотчас же произошло то, что происходит аккуратно каждое утро: к нему подошла его собака Лыска, большой дворовый пес, белый с черными пятнами, облезлый, полудохлый, с закрытым правым глазом. Подходила Лыска робко, трусливо изгибаясь, точно ее лапы касались не земли, а раскаленной плиты, и все ее дряхлое тело выражало крайнюю забитость. Зотов сделал вид, что не обращает на нее внимания; но когда она, слабо шевеля хвостом и по-прежнему изгибаясь, лизнула ему калошу, то он сердито топнул ногой.

— Пшла, чтоб ты издохла! — крикнул он. — Про-кля-та-я!

Лыска отошла в сторону, села и уставилась своим единственным глазом на хозяина.

— Черти! — продолжал Зотов. — Вас еще недоставало, иродов, на мою голову!

И он с ненавистью поглядел на свой сарай с кривой поросшей крышей; там из двери сарайчика глядела на него большая лошадиная голова. Вероятно, польщенная вниманием хозяина, голова задвигалась, подалась вперед, и из сарая показалась целая лошадь, такая же дряхлая, как Лыска, такая же робкая и забитая, тонконогая, седая, с втянутым животом и костистой спиною. Она вышла из сарая и в нерешительности оста-

новилась, точно сконфузилась.

— Провала на вас нет... — продолжал Зотов. — Не сгинули вы еще с глаз моих, фараоны каторжные... Небось, кушать желаете! — усмехнулся он, кривя свое злое лицо презрительной улыбкой. — Извольте, сию минуту! Для такого стоящего рысака овса самолучшего сколько угодно! Кушайте! Сию минуту! И великолепную дорогую собаку есть чем покормить! Ежели такая дорогая собака, как вы, хлеба не желаете, то говядинки можно.

Зотов ворчал с полчаса, раздражаясь все больше и больше; под конец он, не вынося накипевшей в нем злобы, вскочил, затопал калошами и забрюзжал на весь двор:

— Не обязан я кормить вас, дармоеды! Я не миллионщик какой, чтоб вы меня объедали и опивали! Мне самому есть нечего, одры поганые, чтоб вас холера забрала! Ни радости мне от вас, ни корысти, а одно только горе и разоренье! Почему вы не околеваете? Что вы за такие персоны, что вас даже и смерть не берет? Живите, черт с вами, но не желаю вас кормить! Довольно с меня! Не желаю!

Зотов возмущался, негодовал, а лошадь и собака слушали. Понимали ли эти два нахлебника, что

их попрекают куском хлеба, — не знаю, но животы их еще более втянулись и фигуры съежились, потускнели и стали забитее… Их смиренный вид еще более раздражил Зотова.

— Вон! — закричал он, охваченный каким-то вдохновением. — Вон из моего дома! Чтоб и глаза мои вас не видели! Не обязан я у себя на дворе всякую дрянь держать! Вон!

Старик засеменил к воротам, отворил их и, подняв с земли палку, стал выгонять со двора своих нахлебников. Лошадь мотнула головой, задвигала лопатками и захромала в ворота; собака за ней. Обе вышли на улицу и, пройдя шагов двадцать, остановились у забора.

— Я вас! — пригрозил им Зотов.

Выгнав нахлебников, он успокоился и начал мести двор. Изредка он выглядывал на улицу: лошадь и собака, как вкопанные, стояли у забора и уныло глядели на ворота.

— Поживите-ка без меня! — ворчал старик, чувствуя, как у него от сердца отлегает злоба. — Пущай-ка кто другой поглядит теперь за вами! Я и скупой и злой… со мной скверно жить, так поживите с другим… Да…

Насладившись угнетенным видом нахлебников и досыта наворчавшись, Зотов вышел за

ворота и, придав своему лицу свирепое выражение, крикнул:

— Ну, чего стоите? Кого ждете? Стали поперек дороги и мешают публике ходить! Пошли во двор!

Лошадь и собака понурили головы и с видом виноватых направились к воротам. Лыска, вероятно, чувствуя, что она не заслуживает прощения, жалобно завизжала.

— Жить живите, а уж насчет корма — на-кося, выкуси! — сказал Зотов, впуская их. — Хоть околевайте.

Между тем сквозь утреннюю мглу стало пробиваться солнце; его косые лучи заскользили по осенней изморози. Послышались голоса и шаги. Зотов поставил на место метлу и пошел со двора к своему куму и соседу Марку Иванычу, торговавшему в бакалейной лавочке. Придя к куму, он сел на складной стул, степенно вздохнул, погладил бороду и заговорил о погоде. С погоды кумовья перешли на нового диакона, с диакона на певчих, — и беседа затянулась. Незаметно было за разговором, как шло время, а когда мальчишка-лавочник притащил большой чайник с кипятком и кумовья принялись пить чай, то время полетело быстро, как птица. Зотов согрелся, повеселел.

— А у меня к тебе просьба, Марк Иваныч, — начал он после шестого стакана, стуча пальцами по прилавку. — Уж ты того… будь милостив, дай и сегодня мне осьмушку овса.

Из-за большого чайного ящика, за которым сидел Марк Иваныч, послышался глубокий вздох.

— Дай, сделай милость, — продолжал Зотов. — Чаю, уж так и быть, не давай нынче, а овса дай… Конфузно просить, одолел уж я тебя своей бедностью, но… лошадь голодная.

— Дать-то можно, — вздохнул кум. — Отчего не дать? Но на кой леший, скажи на милость, ты этих одров держишь? Добро бы лошадь путевая была, а то — тьфу! глядеть совестно… А собака — чистый шкилет! На кой черт ты их кормишь?

— Куда же мне их девать?

— Известно куда. Сведи их к Игнату на живодерню — вот и вся музыка. Давно пора им там быть. Настоящее место.

— Так-то оно так!.. Оно пожалуй…

— Живешь Христа ради, а скотов держишь, — продолжал кум. — Мне овса не жалко… Бог с тобою, но уж больше, брат, того… начетисто каждый день давать. Конца-края нет твоей бедности! Даешь, даешь и не знаешь, когда всему этому конец придет.

Кум вздохнул и погладил себя по красному лицу.

— Помирал бы ты, что ли! — сказал он. — Живешь и сам не знаешь, для чего… Да ей-богу! А то, коли господь смерти не дает, шел бы ты куда ни на есть в богадельню или странноприютный дом.

— Зачем? У меня родня есть… У меня внучка…

И Зотов начал длинно рассказывать о том, что где-то на хуторе живет внучка Глаша, дочь племянницы Катерины.

— Она обязана меня кормить! — сказал он. — Ей мой дом останется, пущай же и кормит! Возьму и пойду к ней. Это, стало быть, понимаешь, Глаша… Катина дочка, а Катя, понимаешь, брата моего Пантелея падчерица… понял? Ей дом достанется… Пущай меня кормит!

— А что ж? Чем так, Христа ради жить, давно бы пошел к ней.

— И пойду! Накажи меня бог, пойду. Обязана!

Когда час спустя кумовья выпили по рюмочке, Зотов стоял посреди лавки и говорил с воодушевлением:

— Я давно к ней собираюсь! Сегодня же пойду!

— Оно конечно! Чем так шалтай-балтай ходить и с голоду околевать, давно бы на хутора пошел.

— Сейчас пойду! Приду и скажу: бери себе мой дом, а меня корми и почитай. Обязана! Коли не желаешь, так нет тебе ни дома, ни моего благословения! Прощай, Иваныч!

Зотов выпил еще рюмку и, вдохновленный новой мыслью, поспешил к себе домой… От водки его развезло, голова кружилась, но он не лег, а собрал в узел всю свою одежду, помолился, взял палку и пошел со двора. Без оглядки, бормоча и стуча о камни палкой, он прошел всю улицу и очутился в поле. До хутора было верст 10–12. Он шел по сухой дороге, глядел на городское стадо, лениво жевавшее желтую траву, и думал о резком перевороте в своей жизни, который он только что так решительно совершил. Думал он и о своих нахлебниках. Уходя из дома, он ворот не запер и таким образом дал им волю идти куда угодно.

Не прошел он по полю и версты, как позади послышались шаги. Он оглянулся и сердито всплеснул руками: за ним, понурив головы и поджав хвосты, тихо шли лошадь и Лыска.

— Пошли назад! — махнул он им.

Те остановились, переглянулись, поглядели на него. Он пошел дальше, они за ним. Тогда он остановился и стал размышлять. К полузнакомой внучке Глаше идти с этими тварями было

невозможно, ворочаться назад и запереть их не хотелось, да и нельзя запереть, потому что ворота никуда не годятся.

«В сарае издохнут, — думал Зотов. — Нешто и впрямь к Игнату?»

Изба Игната стояла на выгоне, в шагах ста от шлагбаума. Зотов, еще не решивший окончательно и не зная, что делать, направился к ней. У него кружилась голова и темнело в глазах…

Мало он помнит из того, что произошло во дворе живодера Игната. Ему помнится противный тяжелый запах кожи, вкусный пар от щей, которые хлебал Игнат, когда он вошел к нему. Точно во сне он видел, как Игнат, заставив его прождать часа два, долго приготовлял что-то, переодевался, говорил с какой-то бабой о сулеме; помнится, что лошадь была поставлена в станок, после чего послышались два глухих удара: один по черепу, другой от падения большого тела. Когда Лыска, видя смерть своего друга, с визгом набросилась на Игната, то послышался еще третий удар, резко оборвавший визг. Далее Зотов помнит, что он, сдуру и спьяна, увидев два трупа, подошел к станку и подставил свой собственный лоб…

Потом до самого вечера его глаза заволакивало мутной пеленой, и он не мог разглядеть даже

своих пальцев.

Рассказы 1880–1886 годов

Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?

Граф, графиня со следами когда-то бывшей красоты, сосед-барон, литератор-либерал, обедневший дворянин, музыкант-иностранец, тупоумные лакеи, няни, гувернантки, немец-управляющий, эсквайр и наследник из Америки. Лица некрасивые, но симпатичные и привлекательные. Герой — спасающий героиню от взбешенной лошади, сильный духом и могущий при всяком удобном случае показать силу своих кулаков.

Высь поднебесная, даль непроглядная, необъятная… непонятная, одним словом: природа!

Белокурые друзья и рыжие враги.

Богатый дядя, либерал или консерватор, смотря по обстоятельствам. Не так полезны для героя его наставления, как смерть.

Тетка в Тамбове.

Доктор с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис; часто имеет палку с набалдашником и лысину. А где доктор, там ревматизм от трудов праведных, мигрень, воспаление мозга,

уход за раненным на дуэли и неизбежный совет ехать на воды.

Слуга — служивший еще старым господам, готовый за господ лезть куда угодно, хоть в огонь. Остряк замечательный.

Собака, не умеющая только говорить, попка и соловей.

Подмосковная дача и заложенное имение на юге.

Электричество, в большинстве случаев ни к селу ни к городу приплетаемое.

Портфель из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, револьвер, не дающий осечки, орден в петличке, ананасы, шампанское, трюфели и устрицы.

Нечаянное подслушиванье как причина великих открытий.

Бесчисленное множество междометий и попыток употребить кстати техническое словцо.

Тонкие намеки на довольно толстые обстоятельства.

Очень часто отсутствие конца.

Семь смертных грехов в начале и свадьба в конце.

Конец.

Каникулярные работы институтки Наденьки N

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

а) Пять примеров на «Сочетание предложений».

1) «Недавно Росия воевала с Заграницей, при чем много было убито турков».

2) «Железная дорога шипит, везет людей и зделана из железа и матерьялов».

3) «Говядина делается из быков и коров, баранина из овечек и баранчиков».

4) «Папу обошли на службе и не дали ему ордена, а он рассердился и вышел в отставку по домашним обстоятельствам».

5) «Я обожаю свою подругу Дуню Пешеморепереходященскую за то, что она прилежна и внимательна во время уроков и умеет представлять гусара Николая Спиридоныча».

б) Примеры на «Согласование слов».

1) «В великий пост священники и дьяконы не хотят венчать новобрачных».

2) «Мужики живут на даче зиму и лето, бьют ло-

шадей, но ужасно не чисты, потому что закапаны дегтем и не нанимают горничных и швейцаров».

3) «Родители выдают девиц замуж за военных, которые имеют состояние и свой дом».

4) «Мальчик, почитай своих папу и маму — и за это ты будешь хорошеньким и будешь любим всеми людьми на свете».

5) «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел».

в) Сочинение.

«Как я провела каникулы?

Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом Иоанном, учеником третьего класса гимназии, на дачу. К нам съехались: Катя Кузевич с мамой и папой, Зина, маленький Егорушка, Наташа и много других моих подруг, которые со мной гуляли и вышивали на свежем воздухе. Было мио-го мужчин, но мы, девицы, держали себя в стороне и не обращали на них никакого внимания. Я прочла много книг и между прочим Мещерского, Майкова, Дюму, Ливанова, Тургенева и Ломоносова. Природа была в великолепии. Молодые деревья росли очень тесно, ничей топор еще не коснулся до их стройных стволов, не густая, но почти сплошная тень ложилась от мелких листьев

на мягкую и тонкую траву, всю испещренную золотыми головками куриной слепоты, белыми точками лесных колокольчиков и малиновыми крестиками гвоздики (похищено из «Затишья» Тургенева). Солнце то восходило, то заходило. На том месте, где была заря, летела стая птиц. Где-то пастух пас свои стада и какие-то облака носились немножко ниже неба. Я ужасно люблю природу. Мой папа все лето был озабочен: негодный банк ни с того ни с сего хотел продать наш дом, а мама все ходила за папой и боялась, чтобы он на себя рук не наложил. А если же я и провела хорошо каникулы, так это потому, что занималась наукой и вела себя хорошо. Конец».

АРИФМЕТИКА.

Задача. Три купца взнесли для одного торгового предприятия капитал, на который, через год, было получено 8000 руб. прибыли. Спрашивается: сколько получил каждый из них, если первый взнес 35 000, второй 50 000, а третий 70 000?

Решение. Чтобы решить эту задачу, нужно сперва узнать, кто из них больше всех взнес, а для этого нужно все три числа повычи-тать одно из другого, и получим, следовательно, что третий купец взнес больше всех, потому что он взнес не 35 000 и не 50 000, а 70 000. Хорошо. Теперь

узнаем, сколько из них каждый получил, а для этого разделим 8000 на три части так, чтоб самая большая часть пришлась третьему. Делим: 3 в восьми содержится 2 раза. 3x2=6. Хорошо. Вычтем 6 из восьми и получим 2. Сносим нолик. Вычтем 18 из 20 и получим еще раз 2. Сносим нолик и так далее до самого конца. Выйдет то, что мы получим 2666 $^{2}/_{3}$, которая и есть то, что требуется доказать, то есть каждый купец получил 2666 $^{2}/_{3}$ руб., а третий, должно быть, немножко больше».

Подлинность удостоверяет — Чехонте

Мой юбилей

Юноши и девы!

Три года тому назад я почувствовал присутствие того священного пламени, за которое был прикован к скале ГЕрометей... И вот три года я щедрою рукою рассылаю во все концы моего обширного отечества свои произведения, прошедшие сквозь чистилище упомянутого пламени. Писал я прозой, писал стихами, писал на всякие меры, манеры и размеры, задаром и за деньги, писал во все журналы, но... увы!!!., мои завистники находили нужным не печатать моих произведений, а если и печатать, то непременно в «почтовых ящиках». Полсотни почтовых марок посеял я на «Ниве», сотню утопил в «Неве», с десяток пропалил на «Огоньке», пять сотен просадил на «Стрекозе». Короче: всех ответов из всех редакций получил я от начала моей литературной деятельности до сего дня ровно *две тысячи*| Вчера я получил последний из них, подобный по содержанию всем остальным. Ни в одном ответе не было даже и намека на «да». Юноши и девы! Материальная сторона каждой моей посылки в редакцию обходилась мне, по меньшей мере,

в гривенник; следовательно, на литературное препровождение времени просадил я 200 руб. А ведь за 200 руб. можно купить лошадь! Доходов в год я имею 800 франков, только… Поймите!!! И я должен был голодать за то, что воспевал природу, любовь, женские глазки, за то, что пускал ядовитые стрелы в корыстолюбие надменного Альбиона; за то, что делился своим пламенем с… гг., писавшими мне ответы… Две тысячи ответов — двести с лишним рублей, и ни одного «да»! Тьфу! и вместе с тем поучительная материя. Юноши и девы! Праздную сегодня свой юбилей получения двухтысячного ответа, поднимаю бокал за окончание моей литературной деятельности и почиваю на лаврах. Или укажите мне на другого, получившего в три года столько же «нет», или становите меня на незыблемый пьедестал!

Прозаический поэт

За яблочки

Между Понтом Эвксинским и Соловками, под соответственным градусом долготы и широты, на своем черноземе с давних пор обитает помещичек Трифон Семенович. Фамилия Трифона Семеновича длинна, как слово «естествоиспытатель», и происходит от очень звучного латинского слова, обозначающего единую из многочисленнейших человеческих добродетелей. Число десятин его чернозема есть 3000. Имение его, потому что оно имение, а он — помещик, заложено и продается. Продажа его началась еще тогда, когда у Трифона Семеновича лысины не было, тянется до сих пор и, благодаря банковскому легковерию да Трифона Семеновича изворотливости, ужасно плохо клеится. Банк этот когда-нибудь да лопнет, потому что Трифон Семенович, подобно себе подобным, имя коим легион, рубли взял, а процентов не платит, а если и платит кое-когда, то платит с такими церемониями, с какими добрые люди подают копеечку за упокой души и на построение. Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном Семеновичем, а иначе;

звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров. Говоря откровенно, Трифон Семенович — порядочная таки скотина. Приглашаю его самого согласиться с этим. Если до него дойдет это приглашение (он иногда почитывает «Стрекозу»), то он, наверно, не рассердится, ибо он, будучи человеком понимающим, согласится со мною вполне, да, пожалуй, еще пришлет мне осенью от щедрот своих десяток антоновских яблочков за то, что я его длинной фамилии по миру не пустил, а ограничился на этот раз одними только именем и отечеством. Описывать все добродетели Трифона Семеновича я не стану: материя длинная. Чтобы вместить всего Трифона Семеновича с руками и ногами, нужно просидеть над писанием по крайней мере столько, сколько просидел Евгений Сю над своим толстым и длинным «Вечным жидом». Я не коснусь ни его плутней в преферансе, ни политики его, в силу которой он не платит ни долгов, ни процентов, ни его проделок над батюшкою и дьячком, ниже прогулок его верхом по деревне в костюме времен Каина и Авеля, а ограничусь одной только сценкой, характеризующей его отношения к людям, в похвалу которых его тричетвертивековой опыт сочинил следующую скороговорку: «Мужички, простачки, чудачки,

дурачки проигрались в дурачки».

В одно прекрасное во всех отношениях утро (дело происходило в конце лета) Трифон Семенович прогуливался по длинным и коротким аллеям своего роскошного сада. Все, что вдохновляет господ поэтов, было рассыпано вокруг него щедрою рукою в огромном количестве и, казалось, говорило и пело: «На, бери, человече! Наслаждайся, пока еще не явилась осень!» Но Трифон Семенович не наслаждался, потому что он далеко не поэт, да и к тому же в это утро душа его с особенною жадностью вкушала хладный сон, как это делала она всегда, когда хозяин ее чувствовал себя в проигрыше. Позади Трифона Семеновича шествовал его верный вольнонаемник, Карпушка, старикашка лет шестидесяти, и посматривал по сторонам. Этот Карпушка своими добродетелями чуть ли не превосходит самого Трифона Семеновича. Он прекрасно чистит сапоги, еще лучше вешает лишних собак, обворовывает всех и вся и бесподобно шпионит. Вся деревня, с легкой руки писаря, величает его «опричником». Редкий день проходит без того, чтобы мужики и соседи не жаловались Трифону Семеновичу на нравы и обычаи Карпушки; но жалобы эти оставляются втуне, потому что Карпушка незаменим в хозяй-

стве Трифона Семеновича. Трифон Семенович, когда идет гулять, всегда берет с собою верного своего Карпа: и безопаснее и веселее. Карпушка носит в себе неистощимый источник разного рода россказней, прибауток, побасенок и обладает неумением молчать. Он всегда рассказывает что-нибудь и молчит только тогда, когда слушает что-нибудь интересное. В описываемое утро шел он позади своего барина и рассказывал ему длинную историю о том, как какие-то два гимназиста в белых картузах ехали с ружьями мимо сада и умоляли его, Карпушку, пустить их в сад поохотиться, как прельщали его эти два гимназиста полтинником, и как он, очень хорошо зная, кому служит, с негодованием отверг полтинник и спустил на гимназистов Каштана и Серка. Кончив эту историю, он начал было в ярких красках изображать возмутительный образ жизни деревенского фельдшера, но изображение не удалось, потому что до ушей Карпушки из чащи яблонь и груш донесся подозрительный шорох. Услышав шорох, Карпушка удержал свой язык, навострил уши и стал прислушиваться. Убедившись в том, что шорох есть и что этот шорох подозрителен, он дернул своего барина за полу и стрелой помчался по направлению к шороху. Трифон Семенович,

предчувствуя скандальчик, встрепенулся, засеменил своими старческими ножками и побежал вслед за Карпушкой. И было зачем бежать…

На окраине сада, под старой ветвистой яблоней, стояла крестьянская девка и жевала; подле нее на коленях ползал молодой широкоплечий парень и собирал на земле сбитые ветром яблоки; незрелые он бросал в кусты, а спелые любовно подносил на широкой серой ладони своей Дульцинее. Дульцинея, по-видимому, не боялась за свой желудок и ела яблочки не переставая и с большим аппетитом, а парень, ползая и собирая, совершенно забыл про себя и имел в виду исключительно одну только Дульцинею.

— Да ты с дерева сорви! — подзадоривала шепотом девка.

— Страшно.

— Чего страшно?! Опришник, небось, в кабаке…

Парень приподнялся, подпрыгнул, сорвал с дерева одно яблоко и подал его девке. Но парню и его девке, как и древле Адаму и Еве, не посчастливилось с этим яблочком. Только что девка откусила кусочек и подала этот кусочек парню, только что они оба почувствовали на языках своих жестокую кислоту, как лица их искривились,

потом вытянулись, побледнели… не потому, что яблоко было кисло, а потому, что они увидели перед собою строгую физиономию Трифона Семеновича и злорадно ухмыляющуюся рожицу Карпушки.

— Здравствуйте, голубчики! — сказал Трифон Семенович, подходя к ним. — Что, яблочки кушаете? Я, бывает, вам не помешал?

Парень снял шапку и опустил голову. Девка начала рассматривать свой передник.

— Ну, как твое здоровье, Григорий? — обратился Трифон Семенович к парню. — Как живешь-можешь, паренек?

— Я только один, — пробормотал парень, — да и то с земли…

— Ну, а твое как здоровье, дуся? — спросил Трифон Семенович девку.

Девка еще усерднее принялась за обзор своего передника.

— Ну, а свадьбы вашей еще не было?

— Нет еще… Да мы, барин, ей-богу, только один, да и то… так…

— Хорошо, хорошо. Молодец. Ты читать умеешь?

— Не… Да ей-богу ж, барин, мы только вот один, да и то с земли.

— Читать ты не умеешь, а воровать умеешь. Что ж, и то слава богу. Знания за плечами не носить. А давно ты воровать начал?

— Да разве я воровал, што ли?

— Ну, а милая невеста твоя, — обратился к парню Карпушка, — чего это так жалостно призадумалась? Плохо любишь нешто?

— Молчи, Карп! — сказал Трифон Семенович. — А ну-ка, Григорий, расскажи нам сказку…

Григорий кашлянул и улыбнулся.

— Я, барин, сказок не знаю, — сказал он. — Да нешто мне яблоки ваши нужны, што ли? Коли я захочу, так и купить могу.

— Очень рад, милый, что у тебя денег много. Ну, расскажи же нам какую-нибудь сказку. Я послушаю, Карп послушает, вот твоя красавица-невеста послушает. Не конфузься, будь посмелей! Воровская душа должна быть смела. Не правда ли, мой друг?

И Трифон Семенович уставил свои ехидные глаза на попавшегося парня… У парня на лбу выступил пот.

— Вы, барин, заставьте-ка его лучше песню спеть. Где ему, дураку, сказки рассказывать? — продребезжал своим гаденьким тенорком Карпушка.

— Молчи, Карп, пусть сперва сказку расскажет. Ну, рассказывай же, милый!

— Не знаю.

— Неужели не знаешь? А воровать знаешь? Как читается восьмая заповедь?

— Да что вы меня спрашиваете? Разве я знаю? Да ей-богу-с, барин, мы только один яблок съели, да и то с земли…

— Читай сказку!

Карпушка начал рвать крапиву. Парень очень хорошо знал, для чего это готовилась крапива. Трифон Семенович, подобно ему подобным, красиво самоуправничает. Вора он или запирает на сутки в погреб, или сечет крапивой, или же отпускает на свою волю, предварительно только раздев его донага… Это для вас ново? Но есть люди и места, для которых это обыденно и старо, как телега. Григорий косо посмотрел на крапиву, помялся, покашлял и начал не рассказывать сказку, а молоть сказку. Кряхтя, потея, кашляя, поминутно сморкаясь, начал он повествовать о том, как во время оно богатыри русские кощеев колотили да на красавицах женились. Трифон Семенович стоял, слушал и не спускал глаз с повествователя.

— Довольно! — сказал он, когда парень под

конец уж совершенно замололся и понес чепуху. — Славно рассказываешь, но воруешь еще лучше. А ну-ка ты, красавица… — обратился он к девке, — прочти-ка «Отче наш»!

Красавица покраснела и едва слышно, чуть дыша, прочла «Отче наш».

— Ну, а как же читается восьмая заповедь?

— Да вы думаете, мы много брали, што ли? — ответил парень и отчаянно махнул рукой. — Вот вам крест, коли не верите!..

— Плохо, родимые, что вы заповедей не знаете. Надо вас поучить. Красавица, это он тебя научил воровать? Чего же ты молчишь, херувимчик? Ты должна отвечать. Говори же! Молчишь? Молчание — знак согласия. Ну, красавица, бей же своего красавца за то, что он тебя воровать научил!

— Не стану, — прошептала девка.

— Побей немножко. Дураков надо учить. Побей его, моя дуся! Не хочешь? Ну, так я прикажу Карпу да Матвею тебя немножко крапивой… Не хочешь?

— Не стану.

— Карп, подойди сюда!

Девка опрометью подлетела к парню и дала ему пощечину. Парень преглупо улыбнулся и заплакал.

— Молодец, красавица! А ну-ка еще за волоса! Возьмись-ка, моя дуся! Не хочешь? Карп, подойди сюда!

Девка взяла своего жениха за волосы.

— Ты не держись, ему так больней! Ты потаскай его!

Девка начала таскать. Карпушка обезумел от восторга, заливался и дребезжал.

— Довольно, — сказал Трифон Семенович. — Спасибо тебе, дуся, за то, что зло покарала. А ну-ка, — обратился он к парню, — поучи-ка свою молодайку… То она тебя, а теперь ты ее…

— Выдумываете, барин, ей-богу… За что я ее буду бить?

— Как за что? Ведь она тебя била? И ты ее побей! Это ей принесет свою пользу. Не хочешь? Напрасно. Карп, крикни Матвея!

Парень плюнул, крякнул, взял в кулак косу своей невесты и начал карать зло. Карая зло, он, незаметно для самого себя, пришел в экстаз, увлекся и забыл, что он бьет не Трифона Семеновича, а свою невесту. Девка заголосила. Долго он ее бил. Не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы из-за кустов не выскочила хорошенькая дочка Трифона Семеновича, Сашенька.

— Папочка, иди чай пить! — крикнула Са-

шенька и, увидав папочкину выходку, звонко захохотала.

— Довольно! — сказал Трифон Семенович. — Можете теперь идти, голубчики. Прощайте! К свадьбе яблочков пришлю.

И Трифон Семенович низко поклонился наказанным.

Парень и девка оправились и пошли. Парень пошел направо, а девка налево и… по сей день более не встречались. А не явись Сашенька, парню и девке, чего доброго, пришлось бы попробовать и крапивы… Вот как забавляет себя на старости лет Трифон Семенович. И семейка его тоже недалеко ушла от него. Его дочки имеют обыкновение гостям «низкого звания» пришивать к шапкам луковицы, а пьяным гостям того же звания — писать на спинах мелом крупными буквами: «асел» и «дурак». Сыночек же его, отставной подпоручик, Митя, как-то зимою превзошел и самого папашу: он вкупе с Карпушкой вымазал дегтем ворота одного отставного солдатика за то, что этот солдатик не захотел Мите подарить волчонка, и за то, что этот солдатик вооружает якобы своих дочек против пряников и конфект господина отставного подпоручика…

Называй после этого Трифона Семеновича —

Трифоном Семеновичем!

По-американски

Имея сильнейшее поползновение вступить в самый законнейший брак и памятуя, что никакой брак без особы пола женского не обходится, я имею честь, счастие и удовольствие покорнейше просить вдов и девиц обратить свое благосклонное внимание на нижеследующее:

Я мужчина — это прежде всего. Это очень важно для барынь, разумеется. 2 аршина 8 вершков роста. Молод. До пожилых лет мне далеко, как кулику до Петрова дня. Знатен. Некрасив, но и недурен, и настолько недурен, что неоднократно в темноте по ошибке за красавца принимаем был. Глаза имею карие. На щеках (увы!) ямочек не имеется. Два коренных зуба попорчены. Элегантными манерами похвалиться не могу, но в крепости мышц своих никому сомневаться не позволю. Перчатки ношу № 7 %. Кроме бедных, но благородных родителей, ничего не имею. Впрочем, имею блестящую будущность. Большой любитель хорошеньких вообще и горничных в особенности. Верю во все. Занимаюсь литературой и настолько удачно, что редко проливаю слезы над почтовым ящиком «Стрекозы». Имею

в будущем написать роман, в котором главной героиней (прекрасной грешницей) будет моя супруга. Сплю 12 часов в сутки. Ем варварски много. Водку пью только в компании. Имею хорошее знакомство. Знаком с двумя литераторами, одним стихотворцем и двумя дармоедами, поучающими человечество на страницах «Русской газеты». Любимые мои поэты Пушкарев и иногда я сам. Влюбчив и не ревнив. Хочу жениться по причинам, известным одному только мне да моим кредиторам. Вот каков я! А вот какова должна быть и моя невеста:

Вдова или девица (это как ей угодно будет) не старше 30 и не моложе 15 лет. Не католичка, т. е. знающая, что на сем свете нет непогрешимых, и во всяком случае не еврейка. Еврейка всегда будет спрашивать: «А почем ты за строчку пишешь? А отчего ты к папыньке не сходил, он бы тебя наживать деньги науцил?», а я этого не люблю. Блондинка с голубыми глазами и (пожалуйста, если можно) с черными бровями. Не бледна, не красна, не худа, не полна, не высока, не низка, симпатична, не одержима бесами, не стрижена, не болтлива и домоседка. Она должна:

Иметь хороший почерк, потому что я нуждаюсь в переписчице. Работы по переписке мало.

Любить журналы, в которых я сотрудничаю, и в жизни своей направления оных придерживаться.

Не читать «Развлечения», «Еженедельного Нового времени», «Нана», не умиляться передовыми статьями «Московских ведомостей» и не падать в обморок от таковых же статей «Берега».

Уметь: петь, плясать, читать, писать, варить, жарить, поджаривать, нежничать, печь (но не распекать), занимать мужу деньги, со вкусом одеваться на *собственные средства* (NB) и жить в абсолютном послушании.

Не уметь: зудеть, шипеть, пищать, кричать, кусаться, скалить зубы, бить посуду и делать глазки друзьям дома.

Помнить, что рога не служат украшением человека и что чем короче они, тем лучше и безопаснее для того, которому с удовольствием будет заплачено за рога.

Не называться Матреной, Акулиной, Авдотьей и другими сим подобными вульгарными именами, а называться как-нибудь поблагороднее (например, Олей, Леночкой, Маруськой, Катей, Липой и т. и.).

Иметь свою маменьку, сиречь мою глубокоуважаемую тещу, от себя за тридевять земель (а то, в

противном случае, за себя не ручаюсь) и

Иметь minimum 200 000 рублей серебром.

Впрочем, последний пункт можно изменить, если это будет угодно моим кредиторам.

Салон де варьете

— Извозчик! Спишь, черт! В Салон де варьете!

— В Соленый вертеп? Тридцать копеек!

Подъезд и одинокий городовой, торчащий у подъезда, освещены фонарями. Рубль двадцать за вход и двадцать копеек за хранение платья (последнее, впрочем, не обязательно). Вы заносите ногу на первую ступень, и вас обдает уже сильнейшими запахами грошового будуара и предбанника. Слегка подпившие посетители… A propos[61]: не ходите в Salon, если вы не того… Быть немножко «подшофе» — более чем обязательно. Это принцип. Если входящий посетитель улыбается и мигает маслянистыми глазками, то это хороший признак: он не умрет от тоски и даже вкусит некоторое блаженство. Горе же ему, если он трезв! Ему не понравится Salon des varietes, и он, пришедши домой, высечет своих детей, чтобы они, выросши, не ходили в Salon… Слегка подпившие посетители ковыляют вверх по лестнице, вручают привратнику свои билеты, входят в комнату, увешанную изображениями

---

[61] Примечания: 61

Кстати *(франц.).*

великих, потягиваются и храбро устремляются в круговорот. По всем комнатам снуют взад и вперед, из двери в дверь, жаждущие сильных впечатлений, — снуют, мнутся, слоняются из угла в угол, как будто бы чего-то ищут… Что за смесь племен, лиц, красок и запахов! Дамы красные, синие, зеленые, черные, разноцветные, пестрые, точно трехкопеечные лубочные картинки…

Этих дам мы видели здесь и в прошлом году и в позапрошлом. Вы увидите их здесь и в будущем году. Декольте ни одной: и платья нет, и… груди нет. А какие чудные имена: Бланш, Мими, Фанни, Эмма, Изабелла и… ни одной Матрены, Мавры, Палагеи! Пыль ужаснейшая! Частицы румян и пудры, пары алкоголя взвешены в воздухе… Тяжело дышать, и хочется чихнуть…

……
……..

— Как вы невежливы, мужчина!

— Я-с? А… гм… так-с! Позвольте вам выразиться прозой, что мы очень хорошо понимаем ваши женственные идеи! Позвольте вам предложить ручку-с!

— Это с какой стати? Вы сперва познакомьтесь… Угостите сперва чем-нибудь!!

Подлетает офицер, берет даму за плечи и по-

ворачивает ее спиной к молодому человеку… Последнему это не нравится… Немножко подумав, он вламывается в амбицию, берет даму за плечи и поворачивает ее в свою сторону…

Сквозь толпу пробирается громаднейший немец с тупой, пьяной физией и во всеуслышание страдает отрыжкой; за ним семенит маленький рябой человечек и пожимает его руку…

— Э… эк! Гек!

— Покорнейше благодарю за благородную отрыжку! — говорит человечек.

— Ничаво… Э… эк!

Возле входа в зал толпа… В толпе два молодых купчика усердно жестикулируют руками и ненавидят друг друга. Один красен как рак, другой бледен. Оба, разумеется, пьяны как стельки.

— А ежели в морррду?

— Асел!!

— А ежели… Ты сам асел! Филантроп!!

— Сволочь! Чего руками махаешь? Вдарь! Да ты вдарь!

— Господа! — слышится из толпы женский голос. — Можно ли так браниться при дамах?

— И дам к свиньям! Черта лысого мне в твоих дамах! Тыщу таких кормлю! Ты, Катька, не того… не мешайся! Зачем он меня обидел? Ведь я его

не трогал!

К бледному купчику подлетает франт с огромнейшим галстухом и хватает его за руку.

— Митя! Тятенька здесь!

— Нино?..

— Ей-богу! С Сонькой за столом сидит! Чуть было ему на глаза не попался! Старый черт… Уходить надо! Скорей!!.

Митя пускает последний пронзительный взгляд на врага, грозит ему кулаком и стушевывается…

……

……..

— Цвиринтелкин! Ступай туда! Там тебя Раиса ищет!

— Черт с ней! Не желаю! Она на щеколду похожа… Я себе Другую мадаму выбрал… Луизу!

— Что ты? Эту пушку?

— В том-то и вся, брат, суть, что пушка… По крайности, баба! Не обхватишь!

Фрейлейн Луиза сидит за столом. Она высока, толста, потна и неповоротлива, как улитка… Перед ней на столе бутылка пива и шапка Цвиринтелкина… Контуры корсета грубо вырисовываются на ее большущей спине. Как хорошо она делает, что прячет свои ноги и руки! Руки

ее велики, красны и мозолисты. Еще в прошлом году она жила в Пруссии, где мыла полы, варила герру пастору Biersoupe[62] и нянчила маленьких Шмидтов, Миллеров и Шульцев… Но судьбе угодно было нарушить ее покой: она полюбила Фрица, Фриц полюбил ее… Но Фриц не может жениться на бедной; он назовет себя дураком, если женится на бедной! Луиза поклялась Фрицу в вечной любви и поехала из милого фатерланда[63] в русские холодные степи заработать приданое… И теперь она каждый вечер ходит в Salon. Днем она делает коробочки и вяжет скатерть. Когда соберется известная сумма, она уедет в Пруссию и выйдет за Фрица…

……

……..

— Si vous n’avez rien a me dire[64], — несется из залы…

В зале гвалт… Аплодируют всякому, кто бы ни появился на сцене… Канканчик бедненький, плохонький, но в первых рядах слюнотечение от

---

[62] Примечания: 62
Суп из пива *(нем.* и *франц.).*

[63] Примечания: 63
Отечества *(нем.* Vaterland).

[64] Примечания: 64
Если вам нечего мне сказать *(франц.).*

удовольствия… Взгляните на публику в то время, когда голосят: «Долой мужчин!» Дайте в это время публике рычаг, и она перевернет землю! Орут, голосят, визжат…

— Шш… ш… ш… — шикает в первых рядах офицерик какой-то девице…

Публика неистово протестует шиканью, и от аплодисментов содрогается вся Большая Дмитровка. Офицерик поднимается, поднимает вверх голову и важно, с шумом и звоном, выходит из зала. Достоинство, значит, поддержал!..

Гремит венгерский оркестр. Какие все эти венгерцы карапузики, и как они плохо играют! Конфузят они свою Венгрию!

За буфетом стоят сам г. Кузнецов и мадам с черными бровями; г. Кузнецов виночерпствует, мадам получает деньги. Рюмки берутся приступом.

— Рррюмку водки! Послушайте! Вводки!

— Царапнем, Коля? Пей, Мухтар!

Человек со стриженой головой тупо смотрит на рюмку, пожимает плечами и с остервенением глотает водку.

— Не могу, Иван Иваныч! У меня порок сердца!

— Плюнь! Ничего твоему пороку не поделается, ежели выпьешь!

Юноша с пороком сердца выпивает.

— Еще рюмку!

— Нет… У меня порок сердца. Я и так уж семь выпил.

— Плюнь!

Юноша выпивает…

……

……..

— Мужчина! — умоляет девочка с острым подбородком и кроличьими глазками: — угостите ужином!

Мужчина ломается…

— Есть хочу! Одну только порцию…

— Пристала… Челаэк!

Подается кусок мяса… Девочка ест, и… как ест! Ест ртом, глазами, носом…

У стрельбы в цель идет ожесточенная стрельба… Тирольки, не отдыхая, заряжают ружья… А две тирольки недурны немножко… В стороне стоит художник и рисует на обшлаге тирольку.

— До свиданиа… Будьте здоговы! — кричат тирольки.

Бьет два часа… В зале танцы. Шум, гвалт, крик, писк, канкан… Духота страшная… Зарядившиеся вновь заряжаются у буфета, и к трем часам готов уже кавардак.

В отдельных кабинетах…

Впрочем, уйдемте! Как приятен выход! Будь я содержателем Salon des varietes, я брал бы не за вход, а за выход…

Суд

Изба Кузьмы Егорова, лавочника. Душно, жарко. Проклятые комары и мухи толпятся около глаз и ушей, надоедают… Облака табачного дыму, но пахнет не табаком, а соленой рыбой. В воздухе, на лицах, в пении комаров тоска.

Большой стол; на нем блюдечко с ореховой скорлупой, ножницы, баночка с зеленой мазью, картузы, пустые штофы. За столом восседают: сам Кузьма Егоров, староста, фельдшер Иванов, дьячок Феофан Манафуилов, бас Михайло, кум Парфентий Иваныч и, приехавший из города в гости к тетке Анисье, жандарм Фортунатов. В почтительном отдалении от стола стоит сын Кузьмы Егорова, Серапион, служащий в городе в парикмахерской и теперь приехавший к отцу на праздники. Он чувствует себя очень неловко и дрожащей рукой теребит свои усики. Избу Кузьмы Егорова временно нанимают для медицинского «пункта», и теперь в передней ожидают расслабленные. Сейчас только привезли откуда-то бабу с поломанным ребром… Она лежит, стонет и ждет, когда, наконец, фельдшер обратит на нее свое благосклонное внимание. Под окнами

толпится народ, пришедший посмотреть, как Кузьма Егоров своего сына пороть будет.

— Вы все говорите, что я вру, — говорит Серапион, — а потому я с вами говорить долго не намерен. Словами, папаша, в девятнадцатом столетии ничего не возьмешь, потому что теория, как вам самим небезызвестно, без практики существовать не может.

— Молчи! — говорит строго Кузьма Егоров. — Материй ты не разводи, а говори нам толком: куда деньги мои девал?

— Деньги? Гм… Вы настолько умный человек, что сами должны понимать, что я ваших денег не трогал. Бумажки свои вы не для меня копите… Грешить нечего…

— Вы, Серапион Косьмич, будьте откровенны, — говорит дьячок. — Ведь мы вас для чего это спрашиваем? Мы вас убедить желаем, на путь наставить благой… Папашенька ваш ничего вам, окроме пользы вашей… И нас вот попросил… Вы откровенно… Кто не грешен? Вы взяли у вашего папаши двадцать пять рублей, что у них в комоде лежали, или не вы?

Серапион сплевывает в сторону и молчит.

— Говори же! — кричит Кузьма Егоров и стучит кулаком о стол. — Говори: ты или не ты?

— Как вам угодно-с… Пускай…

— Пущай, — поправляет жандарм.

— Пущай это я взял… Пущай! Только напрасно вы, папаша, на меня кричите. Стучать тоже не для чего. Как ни стучите, а стола сквозь землю не провалите. Денег ваших я никогда у вас не брал, а ежели брал когда-нибудь, то по надобности… Я живой человек, одушевленное имя существительное, и мне деньги нужны. Не камень!..

— Поди да заработай, коли деньги нужны, а меня обирать нечего. Ты у меня не один, у меня вас семь человек!

— Это я и без вашего наставления понимаю, только по слабости здоровья, как вам самим это известно, заработать, следовательно, не могу. А что вы меня сейчас куском хлеба попрекнули, так за это самое вы перед Господом Богом отвечать станете…

— Здоровьем слаб!.. Дело у тебя небольшое, знай себе стриги да стриги, а ты и от этого дела бегаешь.

— Какое у меня дело? Разве это дело? Это не дело, а одно только поползновение. И образование мое не такое, чтоб я этим делом мог существовать.

— Неправильно вы рассуждаете, Серапион Косьмич, — говорит дьячок. — Ваше дело почтен-

ное, умственное, потому вы служите в губернском городе, стрижете и бреете людей умственных, благородных. Даже генералы, и те не чуждаются вашего ремесла.

— Про генералов, ежели угодно, я и сам могу вам объяснить.

Фельдшер Иванов слегка выпивши.

— По нашему медицинскому рассуждению, — говорит он, — ты скипидар, и больше ничего.

— Мы вашу медицину понимаем… Кто, позвольте вас спросить, в прошлом годе пьяного плотника, вместо мертвого тела, чуть не вскрыл? Не проснись он, так вы бы ему живот распороли. А кто касторку вместе с конопляным маслом мешает?

— В медицине без этого нельзя.

— А кто Маланью на тот свет отправил? Вы дали ей слабительного, потом крепительного, а потом опять слабительного, она и не выдержала. Вам не людей лечить, а, извините, собак.

— Маланье царство небесное, — говорит Кузьма Егоров. — Ей царство небесное. Не она деньги взяла, не про нее и разговор… А вот ты скажи… Алене отнес?

— Гм… Алене!.. Постыдились бы хоть при духовенстве и при господине жандарме.

— А вот ты говори: ты взял деньги или не ты?

Староста вылезает из-за стола, зажигает о колено спичку и почтительно подносит ее к трубке жандарма.

— Ффф… — сердится жандарм. — Серы полный нос напустил!

Закурив трубку, жандарм встает из-за стола, подходит к Сера-пиону и, глядя на него со злобой и в упор, кричит пронзительным голосом:

— Ты кто таков? Ты что же это? Почему так? А? Что же это значит? Почему не отвечаешь? Неповиновение? Чужие деньги брать? Молчать! Отвечай! Говори! Отвечай!

— Ежели…

— Молчать!

— Ежели… Вы потише-с! Ежели… Не боюсь! Много вы об себе понимаете! А вы — дурак, и больше ничего! Ежели папаше хочется меня на растерзание отдать, то я готов… Терзайте! Бейте!

— Молчать! Не ра-а-азговаривать! Знаю твои мысли! Ты вор? Кто таков? Молчать! Перед кем стоишь? Не рассуждать!

— Наказать-с необходимо, — говорит дьячок и вздыхает. — Ежели они не желают облегчить вину свою сознанием, то необходимо, Кузьма Егорыч, посечь. Так я полагаю: необходимо!

— Влепить! — говорит бас Михайло таким низким голосом, что все пугаются.

— В последний раз: ты или нет? — спрашивает Кузьма Егоров.

— Как вам угодно-с… Пущай… Терзайте! Я готов…

— Выпороть! — решает Кузьма Егоров и, побагровев, вылезает из-за стола.

Публика нависает на окна. Расслабленные толпятся у дверей и поднимают головы. Даже баба с переломленным ребром, и та поднимает голову…

— Ложись! — говорит Кузьма Егоров. Серапион сбрасывает с себя пиджачок, крестится и со смирением ложится на скамью.

— Терзайте, — говорит он.

Кузьма Егоров снимает ремень, некоторое время глядит на публику, как бы выжидая, не поможет ли кто, потом начинает…

— Раз! Два! Три! — считает Михайло низким басом. — Восемь! Девять!

Дьячок стоит в уголку и, опустив глазки, перелистывает книжку…

— Двадцать! Двадцать один!

— Довольно! — говорит Кузьма Егоров.

— Еще-с!.. — шепчет жандарм Фортунатов. —

Еще! Еще! Так его!

— Я полагаю: необходимо еще немного! — говорит дьячок, отрываясь от книжки.

— И хоть бы пискнул! — удивляется публика.

Больные расступаются, и в комнату, треща накрахмаленными юбками, входит жена Кузьмы Егорова.

— Кузьма! — обращается она к мужу. — Что это у тебя за деньги я нашла в кармане? Это не те, что ты давеча искал?

— Оне самые и есть… Вставай, Серапион! Нашлись деньги! Я положил их вчерась в карман и забыл…

— Еще-с! — бормочет Фортунатов. — Влепить! Так его!

— Нашлись деньги! Вставай!

Серапион поднимается, надевает пиджачок и садится за стол. Продолжительное молчание. Дьячок конфузится и сморкается в платочек.

— Ты извини, — бормочет Кузьма Егоров, обращаясь к сыну. — Ты не того… Черт же его знал, что они найдутся! Извини…

— Ничего-с. Нам не впервой-с… Не беспокойтесь. Я на всякие мучения всегда готов.

— Ты выпей… Перегорит…

Серапион выпивает, поднимает вверх свой

синий носик и богатырем выходит из избы. А жандарм Фортунатов долго потом ходит по двору, красный, выпуча глаза, и говорит:

— Еще! Еще! Так его!

И то и се
Поэзия и проза

Прекрасный морозный полдень. Солнце играет в каждой снежинке. Ни туч, ни ветра. На бульварной скамье сидит парочка.

— Я вас люблю! — шепчет он.

На ее щечках играют розовые амурчики.

— Я вас люблю! — продолжает он… — Увидев впервые вас, я понял, для чего я живу, я узнал цель моей жизни! Жизнь с вами — или абсолютное небытие! Дорогая моя! Марья Ивановна! Да или нет? Маня! Марья Ивановна… Люблю… Манечка… Отвечайте или же я умру! Да или нет?

Она поднимает на него свои большие глаза. Она хочет сказать ему: «да». Она раскрывает свой ротик.

— Ах! — вскрикивает она.

На *его* белоснежных воротничках, обгоняя друг друга, бегут два большущие клопа… О, ужас!..

* * *

«Милая маменька, — писал некий художник своей маменьке. — Еду к Вам! В четверг утром я

буду иметь счастье прижимать Вас к своей полной любовью груди! Чтобы продолжить сладость свидания, я везу с собой… Кого? Угадайте! Нет, не угадаете, маменька! Не угадаете! Я везу с собой чудо красоты, перл человеческого искусства! Везу я (вижу Вашу улыбку) Аполлона Бельведерского!..»

«Милый Колечка! — отвечала маменька. — Очень рада, что ты едешь. Господь тебя благословит! Сам приезжай, а господина Бельведерского не вези с собой, нам и самим есть нечего!..»

* * *

Воздух полон запахов, располагающих к неге: пахнет сиренью, розой; поет соловей, солнце светит… и так далее.

В городском саду, на скамеечке, под широкой акацией сидит гимназист восьмого класса, в новеньком мундирчике, с пенсне на носу и с усиками. Возле него хорошенькая.

Гимназист держит ее за руку, дрожит, бледнеет, краснеет и шепчет слова любви.

— О, я люблю вас! О, если б вы знали, как я люблю вас!

— И я люблю! — шепчет она.

Гимназист берет ее за талию.

— О, жизнь! Как хороша ты! Я утону, захлебнусь

в счастье! Прав был Платон, сказавший, что… Один только поцелуй! Оля! Поцелуй — и больше ничего на свете.

Она томно опускает глазки… О, и она жаждет поцелуя! Его губы тянутся к ее розовым губкам… Соловей поет еще громче…

— Идите в класс! — раздается дребезжащий тенор над головою гимназиста.

Гимназист поднимает голову, и с его головы сваливается кепи… Перед ним инспектор…

— Идите в класс!

— Кгм… Теперь большая перемена, Александр Федорович!..

— Идите! У вас теперь латинский урок! Останетесь сегодня на два часа!

Гимназист встает, надевает кепи и идет… идет и чувствует на своей спине ее большие глаза… Вслед за ним семенит инспектор…

* * *

На сцене дают «Гамлета».

— Офелия! — кричит Гамлет. — О, нимфа! помяни мои грехи…

— У вас правый ус оторвался! — шепчет Офелия.

— Помяни мои грехи… А?

— У вас правый ус оторвался!

— Прррроклятие!.. в твоих святых молитвах...

* * *

Наполеон I приглашает на бал во дворец маркизу де Шальи.

— Я приеду с мужем, ваше величество! — говорит m-me Шальи.

— Приезжайте одни, — говорит Наполеон. — Я люблю хорошее мясо без горчицы.

И то и се
<Письма и телеграммы>

Телеграмма Целую неделю пью за здоровье Сары. Восхитительно! Стоя умирает. Далеко нашим до парижан. В кресле сидишь, как в раю. Маньке поклон. Петров.

* * *

Телеграмма Поручику Егорову. Иди возьми у меня билет. Больше не пойду. Чепуха. Ничего особенного. Пропали только деньги.

* * *

От доктора медицины Клопзона
к доктору медицины Ферфлюхтершвейн

Товарищ! Вчера я видел С. Б. Грудь паралитическая, плоская. Костный и мышечный скелеты развиты неудовлетворительно. Шея до того длинна и худа, что видны не только venae jugulares[65],

---

[65] Примечания: 65
Яремные вены *(лат.).*

но даже и arteriae carotides[66]. Musculi sterno-cleido-mastoidei[67] едва заметны. Сидя во втором ряду, я слышал анемические шумы в ее венах. Кашля нет. На сцене ее кутали, что дало мне повод заключить, что у нее лихорадка. Констатирую anaemia[68] и atrophia musculorum[69]. Замечательно. Слезные железы у нее отвечают на волевые стимулы. Слезы капали из ее глаз, и на ее носу замечалась гиперемия, когда ей, согласно театральным законам, нужно было плакать.

* * *

От Нади N. *к Кате Х.*

Милая Катя! Вчера я была в театре и видела там Сару Бирнар. Ах Катечка сколько у нее брилиянтов! Я всю ночь проплакала от мысли, что у меня никогда не будит столько брилиянтов. О платьи ее передам на словах… Как бы я желала быть Сарой Бирнар. На сцене пили настоящее шинпан-

---

[66] Примечания: 66
Сонные артерии *(лат.).*

[67] Примечания: 67
Мышцы грудно-ключично-сосковые *(лат.).*

[68] Примечания: 68
Малокровие *(лат.).*

[69] Примечания: 69
Истощение мышц *(лат.).*

ское! очень странно Катя я говорю отлично по французски но ничего не поняла что говорили на сцене актеры говорили как то иначе. Я сидела… в галерке мой урод не мог достать другого билета. Урод! жалею что я в понедельник была холодна с С. тот бы достал в партер. С. за поцелуй готов на все. На зло уроду завтра же у нас будет С. достанет билет тебе и мне.

Твоя Н.

* * *

От редактора к сотруднику

Иван Михайлович! Ведь это свинство! Шляетесь каждый вечер в театр с редакционным билетом и в то же время не несете ни одной строчки. Что же вы ждете? Сегодня Сара Бернар — злоба дня, сегодня про нее и писать нужно. Поспешите, ради бога!

Ответ: Я не знаю, что вам писать. Хвалить? Подождем, пока что другие напишут. Время не уйдет.

Ваш Х.

Буду сегодня в редакции. Приготовьте денег. Если вам жалко билета, то пришлите за ним.

* * *

Письмо г-жи N. *к тому же сотруднику*

Вы душка, Иван Михайлыч! Спасибо за билет. На Сару насмотрелась и приказываю вам ее похвалить. Спросите в редакции, можно ли и моей сестре сходить сегодня в театр с редакционными билетами?! Премного обяжете.

Примите и проч.

Ваша N.

Ответ. Можно… за плату, разумеется. Плата невелика: позволение явиться к вам в субботу.

* * *

К редактору от жены

Если ты не пришлешь мне сегодня билета на Сару Бернар, то не приходи домой. Для тебя, значит, твои сотрудники лучше, чем жена. Чтоб я была сегодня в театре!

* * *

От редактора к жене

Матушка! Хоть ты не лезь! У меня и без тебя ходором ходит голова с этой Сарой!

* * *

Из записной книжки капельдинера

Нонче впустил четверых. Читирнадцать руб.

Нонче впустил пятерых. Пятнацать р.

Нонче впустил трех и одну мадам. Пятнацать руб.

* * *

…Хорошо, что я не пошел в театр и продал свой билет. Говорят, что Сара Бернард играла на французском языке. Все одно — ничего не понял бы…

Майор Ковалев.

* * *

Митя! Сделай милость, попроси как-нибудь помягче свою жену, чтобы она, сидя с нами в ложе, потише восхищалась платьями Сары Бернар. В прошлый спектакль она до того громко шептала, что я не слышал, о чем говорилось на сцене. Попроси ее, но помягче. Премного обяжешь.

Твой У.

* * *

От слависта Х. к сыну

Сын мой!.. Я открыл свои глаза и увидел знамение разврата… Тысячи людей, русских, православных, толкующих о соединении с народом, толпами шли к театру и клали свое золото к ногам еврейки… Либералы, консерваторы…

* * *

Душенька! Ты мне лягушку хоть сахаром обсыпь, так я ее все равно есть не стану…

Собакевич.

На волчьей садке

Говорят, что теперь девятнадцатое столетие. Не верьте, читатель.

В среду, шестого января, в европейском и даже в столичном городе Москве, в галереях летнего конского бега, тесно прижавшись друг к другу, теснясь и наступая друг другу на ноги, сидели люди и наслаждались зрелищем. Не только это зрелище, но даже и описание его есть анахронизм… Нам ли, нервным, слезливым фрачникам, променявшим мускул на идею, театралам, либералам et tutti quanti[70], описывать травлю волков?! Нам ли?!

Выходит так, что нам… Делать нечего, будем описывать.

Прежде всего, я не охотник. Я во всю жизнь мою ничего не бил. Бил разве одних блох, да и то без собак, один на один. Из всех огнестрельных орудий мне знакомы одни только маленькие оловянные пистолетики, которые я покупал своим детям к елке. Я не охотник, а посему прошу извинения, если я перевру. Врут обыкновенно

---

[70] Примечания: 70
И всяким иным, подобным *(итал.).*

все неспециалисты. Постараюсь обойти те места, где бы мне можно было похвастать незнанием охотничьих терминов; буду рассуждать так, как рассуждает публика, т. е. поверхностно и по первому впечатлению…

Первый час. Позади галереи толпятся кареты, роскошные сани и извозчики. Шум, гвалт… Экипажей так много, что приходится толпиться… В галереях конского бега, в енотах, бобрах, лисицах и барашках, заседают жеребятники, кобелятники, борзятники, перепелятники и прочие лятники, мерзнут и сгорают от нетерпения. Тут же заседают, разумеется, и дамы… Без дам нигде дело не обходится. Хорошеньких, сверх обыкновения, почему-то очень много… Дам столько же, сколько и мужчин… Они тоже сгорают от нетерпения. На верхних скамьях мелькают гимназические фуражки. И гимназисты пришли поглазеть, и они тоже сгорают от нетерпения и постукивают калошами. Любители, ценители и критиканы, приперевшие на Ходынку пехтурой и не имеющие рубля, толпятся у заборов, по колена в снегу, вытягивают шеи и тоже сгорают от нетерпения. На арене несколько возов. На возах деревянные ящики. В ящиках наслаждаются жизнью герои дня — волки. Они, по всей вероятности, не сгора-

ют от нетерпения…[0]

Публика, пока еще не началась травля, любуется российскими красавицами, разъезжающими по арене на хорошеньких лошадках… Самые ужасные, отчаянные охотники критикуют собачню, приготовленную для травли. У всех в руках афиши. В дамских ручках афиши и бинокли.

— Самое приятное занятие-с, — обращается к своему соседу старичок с ощипанной бородой, в фуражке с кокардой, по всем признакам, давным-давно уже промотавшийся дворянин. — Самое приятное занятие-с… Бывало, выедешь это с компанией… Выедешь чуть свет… И дамы тоже.

— С дамами не стоит ездить, — перебивает старичка сосед.

— Почему ж?

— А потому, что при дамах ругаться нельзя. А нешто можно на охоте не ругаться?

— Невозможно. Но у нас были такие дамы, что сами ругались… Бывало, Марья Карловна, если изволите знать-с, барона Глянсера дочь… ругалась страсть как! И ты, кричит, черт, сатана, такой-сякой… И так далее-с… Многоточие-с… Первая гроза для нижних чинов была. Чуть что — сичас нагайкой.

— Мама, волки в ящиках? — спрашивает гим-

назист в огромнейшем башлыке, обращаясь к даме с большими красными щеками.

— В ящиках.

— А они не могут выскочить?

— Отстань! Вечно ты с вопросами… Утри нос! Спрашивай о чем-нибудь умном… Чего о глупостях спрашивать?

На арене замечается усиленное движение… Человек шесть, посвященных в таинства охоты, несут один ящик и ставят его посреди арены… В публике волнение.

— Господин! Чьи собаки сейчас пойдут?

— Можаровские! Мм… Нет, не Можаровские, а шереметьевские!

— И вовсе не шереметьевские! Борзые Можарова! Вон он, черный Можарова! Видите? Или разве шереметьевские. Да-да-да… Так-так-так… Господа, шереметьевские! Шереметьевские, Можаровские вон они.

По ящику стучат молотком… Нетерпение достигает maximum'а… От ящика отходят… Один дергает за веревку, стены темницы падают, и глазам публики представляется серый волк, самое почтенное из российских животных. Волк оглядывается, встает и бежит… За ним мчатся шереметьевские собаки, за шереметьевскими

бежит не по уставу Можаровская собака, за Можаровской собакой борзятник с кинжалом…

Не успел волк отбежать и двух сажен, как он уже мертв… Отличились и собаки и борзятник… и «бравооо! — кричит публика. — Браааво! Браво! Зачем Можаров спустил не в очередь? Можаров, шшшш!.. Бра… ввво!» То же самое проделывается и с другим волком…

Раскрывается третий ящик. Волк сидит и ни с места. Перед его мордой хлопают бичом. Наконец он поднимается, как бы утомленный, разбитый, едва влача за собою задние ноги… Осматривается… Нет спасения! А ему так жить хочется! Хочется жить так же сильно, как и тем, которые сидят на галерее, слушают его скрежет зубовный и глядят на кровь. Он пробует бежать, но не тут-то было! Свечинские собаки хватают его за шерсть, борзятник вонзает кинжал в самое сердце и — vae victis![71] — волк падает, унося с собою в могилу плохое мнение о человеке… Не шутя, осрамился человек перед волками, затеяв эту quasi-охоту!.. Другое дело — охота в степи, в лесу, где людскую кровожадность можно слегка извинить возможностью равной борьбы, где волк

---

[71] Примечания: 71
Горе побежденным! *(лат.)*

может защищаться, бежать…

Публика неистовствует, и так неистовствует, как будто бы на нее самое спустили всех собак со всего света…

— Зарежьте в ящике! Хороша охота! Скверно!

— Зачем же вы кричите, если вы не понимаете? Ведь вы никогда не были на охоте?

— Не был.

— Зачем же вы кричите? Что вы понимаете? По-вашему, значит, отдать волку собак, пусть их рвет? Так, по-вашему? Так?

— Да послушайте! Какое же удовольствие видеть зарезанного волка? Собакам не дают разбежаться!

— Ш-ш-ш… Фюйт!

— Чьи это собаки? — неистовствует барин в енотовой шубе. — Мальчик, поди справься, чьи это собаки!

— Лебушевские! Шереметьевские! Можаровские!

— Чей кобель?..

— Можарова! Славный кобель!.. Можарова!..

— В ящике зарежьте!..

Публике не нравится, что волка так рано зарезали… Нужно было волка погонять по арене часа два, искусать его собачьими зубами, истоптать

копытами, а потом уже зарезать… Мало того, что он уже был раз травлен, словлен и отсидел ни за что ни про что несколько недель в тюрьме.

Собаки и борзятник Стаховича берут волка живьем… Счастливого волка сажают опять в ящик. Один волк перескакивает через барьер. За ним гонятся собаки, борзятники. Сумей он вбежать в город, Москве посчастливилось бы узреть на своих улицах и переулках бесподобную травлю!..

В антрактах, полных томительного ожидания, публика хохочет и (не верите?) кричит: *Браво!* ей нравится десятикопеечная лошадка, на которой увозят опустевшие ящики с средины арены на прежнее место. Лошадка не идет, а подпрыгивает, подпрыгивает не ногами, а всем корпусом и в особенности головой. Это нравится публике, и она неистовствует.

Счастливая лошадка! Думала ли когда-нибудь она или ее родители, что ей когда-нибудь будут аплодировать?

Слышится отрывистый лай, и на сцену появляется стая гончих… Большой волк отдается им на растерзание. Гончие рвут, а борзые, которых не пускают, визжат от зависти.

— Брааво! браваао! — кричит публика. — Браво, Николай Яковлевич!

Николай Яковлевич раскланивается пред публикой с шиком, которому позавидовал бы любой артист-бенефициант.

— Подавай лисицу! — кричит он в исступлении.

На средину арены выносят маленький ящик и выпускают из него хорошенькую лисичку. Лисичка бежит, бежит… за ней бегут гончие. Никто не видел, где собаки схватили лису.

— Ушла лиса! — кричит публика. — Упустили! Ушла!

Николай Яковлевич показывается с лисицей в руке, и публика конфузится. Чтобы собрать гончих в стаю, требуется немало людей и времени. Собаки непослушные, дисциплина плохая… Гончие не нравятся публике.

Вообще публика страшно мерзнет, но очень довольна. Дамы в восторге.

— Хорошо за границей, — говорит одна дамочка. — Там есть бой быков, бой петухов… Отчего у нас не введут этого, в России?

— А потому, сударыня, что за границей есть быки, а у нас их не водится!.. — отвечает даме старичок с кокардой.

Наконец выпускают последнего волка. Этого волка закалывают, и публика, рассуждая о том,

какие собаки хороши, а какие плохи, разъезжается по домам.

В заключение вопросик: какова цель всей этой кукольной комедии? Собаками похвастаться нельзя, потому что места мало; удаль показать также негде. Какова мораль?

Мораль самого скверного свойства. Пощекотали женские нервы и больше ничего! Сбор, впрочем, тысячный. Но не смею думать, чтобы все это делалось для сбора. Сбором можно окупить все расходы, но нельзя окупить тех маленьких разрушений, которые, быть может, произведены этой травлей в маленькой душе вышеупомянутого гимназистика.

Задачи сумасшедшего математика

1) За мной гнались 30 собак, из которых 7 были белые, 8 серые, а остальные черные. Спрашивается, за какую ногу укусили меня собаки, за правую или левую?

2) Автолимед родился в 223 году, а умер после того, как прожил 84 года. Половину жизни провел он в путешествиях, треть жизни потратил на удовольствия. Сколько стоит фунт гвоздей, и был ли женат Автолимед?

3) Под Новый год из маскарада Большого театра было выведено 200 человек за драку. Если дравшихся было двести, то сколько было бранившихся, пьяных, слегка пьяных и желавших, но не находивших случая подраться?

4) Что получается по сложении сих чисел?

5) Куплено было 20 цибиков чая. В каждом цибике было по 5 пудов, каждый пуд имел 40 фунтов. Из лошадей, везших чай, две пали в дороге, один из возчиков заболел, и 18 фунтов рассыпалось. Фунт имеет 96 золотников чая. Спрашивается, какая разница между огуречным рассолом и недоумением?

6) Английский язык имеет 137 856 738 слов,

французский в 0,7 раз больше. Англичане сошлись с французами и соединили оба языка воедино. Спрашивается, что стоит третий попугай и сколько понадобилось времени, чтобы покорить сии народы?

7) В среду 17-го июня 1881 года в 3 часа ночи должен был выйти со станции *Л* поезд железной дороги, с тем, чтобы в 11 час. вечера прибыть на станцию В; но при самом отправлении поезда получено было приказание, чтобы поезд прибыл на станцию В в 7 часов вечера. Кто продолжительнее любит, мужчина или женщина?

8) Моей теще 75 лет, а жене 42. Который час?

Сообщил Антоша Чехонте

Забыл!!

Когда-то ловкий поручик, танцор и волокита, а ныне толстенький, коротенький и уже дважды разбитый параличом помещик, Иван Прохорыч Гауптвахтов, утомленный и замученный женинными покупками, зашел в большой музыкальный магазин купить нот.

— Здравствуйте-с!.. — сказал он, входя в магазин. — Позвольте мне-с…

Маленький немец, стоявший за стойкой, вытянул ему навстречу свою шею и состроил на лице улыбающийся вопросительный знак.

— Что прикажете-с?

— Позвольте мне-с… Жарко! Климат такой, что ничего не поделаешь! Позвольте мне-с… Мммм… мне-е… Мм… Позвольте… Забыл!!

— Припомните-с!

Гауптвахтов положил верхнюю губу на нижнюю, сморщил в три погибели свой маленький лоб, поднял вверх глаза и задумался.

— Забыл!! Экая, прости господи, память демонская! Да вот… вот… Позвольте-с… Мм… Забыл!!

— Припомните-с…

— Говорил ей: запиши! Так нет… Почему она не

записала? Не могу же я все помнить… Да, может быть, вы сами знаете? Пьеса заграничная, громко так играется… А?

— У нас так много, знаете ли, что…

— Ну да… Понятно! Мм… Мм… Дайте припомнить… Ну, как же быть? А без пьесы и ехать нельзя — загрызет Надя, дочь то есть; играет ее без нот, знаете ли, неловко… не то выходит! Были у ней ноты, да я, признаться, нечаянно керосином их облил и, чтоб крику не было, за комод бросил… Не люблю бабьего крику! Велела купить… Ну да… Ффф… Какой кот важный! — И Гауптвахтов погладил большого серого кота, валявшегося на стойке… Кот замурлыкал и аппетитно потянулся.

— Славный… Сибирский, знать, подлец!.. Породистый, шельма… Это кот или кошка?

— Кот.

— Ну чего глядишь? Рожа! Дурак! Тигра! Мышей ловишь? Мяу, мяу? Экая память анафемская!.. Жирный, шельмец! Котеночка у вас от него нельзя достать?

— Нет… Гм…

— А то бы я взял… Жена страсть как любит ихнего брата — котов!.. Как же быть теперь? Всю дорогу помнил, а теперь забыл… Потерял

память, шабаш! Стар стал, прошло мое время… Помирать пора… Громко так играется, с фокусами, торжественно… Позвольте-с… Кгм… Спою, может быть…

— Спойте… oder…[72] oder… или посвистайте!..

— Свистеть в комнате грех… Вон у нас Седельников свистел, свистел да и просвистелся… Вы немец или француз?

— Немец.

— То-то я по облику замечаю… Хорошо, что не француз… Не люблю французов… Хрю, хрю, хрю… свинство! Во время войны мышей ели… Свистел в своей лавке от утра до вечера и просвистел всю свою бакалию в трубу! Весь в долгах теперь… И мне двести рублей должен… Я иногда певал себе под нос… Гм… Позвольте-с… Я спою… Стойте. Сейчас… Кгм… Кашель… В горле свербит…

Гауптвахтов, щелкнув три раза пальцами, закрыл глаза и запел фистулой:

— То-то-ти-то-том… Хо-хо-хо… У меня тенор… Дома я больше все дишкантом… Позвольте-с… Три-ра-ра… Кгррм… В зубах что-то застряло… Тьфу! Семечко… О-то-о-о-уу… Кгррм… Простудился, должно быть… Пива холодного выпил в

---

[72] Примечания: 72
Или *(нем.)*.

биргалке… Тру-ру-ру… Все этак вверх… а потом, знаете ли, вниз, вниз… Заходит этак бочком, а потом берется верхняя нота, такая рассыпчатая… то-то-ти… рууу. Понимаете? А тут в это время басы берут: гу-гу-гу-туту… Понимаете?

— Не понимаю…

Кот посмотрел с удивлением на Гауптвахтова, засмеялся, должно быть, и лениво соскочил со стойки.

— Не понимаете? Жаль… Впрочем, я не так пою… Забыл совсем, экая досада!

— Вы сыграйте на рояли… Вы играете?

— Нет, не играю… Играл когда-то на скрипке, на одной струне, да и то так… сдуру… Меня не учили… Брат мой Назар играет… Того учили… Француз Рокат, может быть, знаете, Венедикт Францын учил… Такой потешный французишка… Мы его Буонапартом дразнили… Сердился… «Я, говорит, не Буонапарт… Я республик Франце»… И рожа у него, по правде сказать, была республиканская… Совсем собачья рожа… Меня покойный мой родитель ничему не учил… Деда, говаривал, твоего Иваном звали, и ты Иван, а потому ты должен быть подобен деду своему во всех своих поступках: на военную, прохвост! Пороху!! Нежностей, брат… брат… Я, брат… Я, брат,

нежностей тебе не дозволяю! Дед, в некотором роде, кониной питался, и ты оной питайся! Седло под головы себе клади вместо подушки!.. Будет мне теперь дома! Заедят! Без нот и приезжать не велено… Прощайте-с, в таком случае! Извините за беспокойство!.. Сколько эта рояля стоит?

— Восемьсот рублей!

— Фу-фу-фу… Батюшки! Это называется: купи себе роялю и без штанов ходи! Хо-хо-хо! Восемьсот руб… лей!!! Губа не дура! Прощайте-с! Шпрехензи! Гебензи…[73] Обедал я, знаете ли, однажды у одного немца… После обеда спрашиваю я у одного господина, тоже немчуры, как сказать по-немецки: «Покорнейше вас благодарю за хлеб, за соль»? А он мне и говорит… и говорит… Позвольте-с… И говорит: «Их либе дих фон ганцен герцен!» А это что значит?

— Я… я люблю тебя, — перевел немец, стоявший за стойкой, — от всей сердцы!

— Ну вот! Я подошел к хозяйской дочке, да так прямо и сказал… С ней конфуз… Чуть до истерики дело не дошло… Комиссия! Прощайте-с! За дурной головой и ногам больно… Так и мне… С дурацкой памятью беда: раз двадцать сходишь!

---

[73] Примечания: 73
Говорите! Дайте… *(нем.* sprechen Sie, geben Siej.

Будьте здоровы-с!

Гауптвахтов отворил осторожно дверь, вышел на улицу и, про-шедши пять шагов, надел шляпу.

Он ругнул свою память и задумался…

Задумался он о том, как приедет он домой, как выскочат к нему навстречу жена, дочь, детишки… Жена осмотрит покупки, ругнет его, назовет каким-нибудь животным, ослом или быком… Детишки набросятся на сладости и начнут с остервенением портить свои уже попорченные желудки… Выйдет навстречу Надя в голубом платье с розовым галстухом и спросит: «Купил ноты?» Услышавши «нет», она ругнет своего старого отца, запрется в свою комнатку, разревется и не выйдет обедать… Потом выйдет из своей комнаты и, заплаканная, убитая горем, сядет за рояль… Сыграет сначала что-нибудь жалостное, пропоет что-нибудь, глотая слезы… Под вечер Надя станет веселей, и наконец, глубоко и в последний раз вздохнувши, она сыграет это любимое: то-то-ти-то-то…

Гауптвахтов треснул себя по лбу и, как сумасшедший, побежал обратно к магазину.

— То-то-ти-то-то, огого! — заголосил он, вбежав в магазин. — Вспомнил!! Вот самое! То-то-ти-

то-то!

— Ах… Ну, теперь понятно. Это рапсодия Листа, номер второй… Hongroise…[74]

— Да, да, да… Лист, Лист! Побей меня бог, Лист! Номер второй! Да, да, да… Голубчик! Оно самое и есть! Родненький!

— Да, Листа трудно спеть… Вам какую же, original[75] или facilite?[76]

— Какую-нибудь! Лишь бы номер второй, Лист! Бедовый этот Лист! То-то-ти-то… Ха-ха-ха! Насилу вспомнил! Точно так!

Немец достал с полки тетрадку, завернул ее с массой каталогов и объявлений и подал сверток просиявшему Гауптвахтову. Гауптвахтов заплатил восемьдесят пять копеек и вышел, посвистывая.

---

[74] Примечания: 74
Венгерская… *(франц.)*

[75] Примечания: 75
Оригинальную *(франц.)*.

[76] Примечания: 76
Облегченную? *(франц.)*.

Жизнь в вопросах и восклицаниях

Детство. Кого бог дал, сына или дочь? Крестить скоро? Крупный мальчик! Не урони, мамка! Ах, ах! Упадет!! Зубки прорезались? Это у него золотуха? Возьмите у него кошку, а то она его оцарапает! Потяни дядю за ус! Так! Не плачь! Домовой идет! Он уже и ходить умеет! Унесите его отсюда — он невежлив! Что он вам наделал?! Бедный сюртук! Ну, ничего, мы высушим! Чернило опрокинул! Спи, пузырь! Он уже говорит! Ах, какая радость! А ну-ка, скажи что-нибудь! Чуть извозчики не задавили!! Прогнать няньку! Не стой на сквозном ветре! Постыдитесь, можно ли бить такого маленького? Не плачь! Дайте ему пряник!

Отрочество. Иди-ка сюда, я тебя высеку! Где это ты себе нос разбил? Не беспокой мамашу! Ты не маленький! Не подходи к столу, тебе после! Читай! Не знаешь? Пошел в угол! Единица! Не клади в карман гвоздей! Почему ты мамаши не слушаешься? Ешь как следует! Не ковыряй в носу! Это ты ударил Митю? Пострел! Читай мне «Демьянову уху»! Как будет именительный падеж множественного числа? Сложи и вычти! Вон из класса! Без обеда! Спать пора! Уже девять часов!

Он только при гостях шалит! Врешь! Причешись! Вон из-за стола! А ну-ка, покажи свои отметки! Уже порвал сапоги?! Стыдно реветь такому большому! Где это ты мундир запачкал? На вас не напасешься! Опять единица? Когда, наконец, я перестану тебя пороть? Если ты будешь курить, то я тебя из дома выгоню! Как будет превосходная степень от facilis?[77] Facilissimus? Врете! Кто это вино выпил? Дети, обезьяну на двор привели! За что вы моего сына на второй год оставили? Бабушка пришла!

Юношество. Тебе еще рано водку пить! Скажите о последовательности времен! Рано, рано, молодой человек! В ваши лета я еще ничего такого не знал! Ты еще боишься при отце курить? Ах, какой срам! Тебе кланялась Ниночка! Возьмемте Юлия Цезаря! Здесь ut consecutivum? Ах, душка! Оставьте, барин, а то я… папеньке скажу! Ну, ну… шельма! Браво, у меня уже усы растут! Где? Это ты нарисовал, а не растут! У Nadine прелестный подбородок! Вы в каком теперь классе? Согласитесь же, папа, что мне нельзя не иметь карманных денег! Наташа? Знаю! Я был у нее! Так это ты? Ах ты, скромник! Дайте покурить! О, если б ты знал,

---

[77] Примечания: 77
Легкий? *(лат.)*

как я ее люблю! Она божество! Кончу курс в гимназии и женюсь на ней! Не ваше дело, maman! Посвящаю вам свои стихи! Оставь покурить! Я пьянею уже после трех рюмок! Bis! bis! Браааво! Неужели ты не читал Борна? Не косинус, а синус! Где тангенс? У Соньки плохие ноги! Можно поцеловать? Выпьем? Ураааа, кончил курс! Запишите за мной! Займите четвертную! Я женюсь, отец! Но я дал слово! Ты где ночевал?

Между 20 и 30 годами. Займите мне сто рублей! Какой факультет? Мне все одно! Почем лекция? Дешево, однако! В Стрельну и обратно! Бис, бис! Сколько я вам должен? Завтра придете! Что сегодня в театре? О, если бы вы знали, как я вас люблю! Да или нет? Да? О, моя прелесть! В шею! Челаэк! Вы херес пьете? Марья, дай-ка огуречного рассольцу! Редактор дома? У меня нет таланта? Странно! Чем же я жить буду? Займите пять рублей! В Salon! Господа, светает! Я ее бросил! Займите фрак! Желтого в угол! Я и так уже пьян! Умираю, доктор! Займи на лекарство! Чуть не умер! Я похудел? К Яру, что ли? Стоит того! Дайте же работы! Пожалуйста! Эээ… да вы лентяй! Можно ли так опаздывать? Суть не в деньгах! Нет-с, в деньгах! Стреляюсь!! Шабаш! Черт с ним, со всем! Прощай, паскудная жизнь! Впрочем… нет!

Это ты, Лиза? Песнь моя уже спета, maman! Я уже отжил свое! Дайте мне место, дядя! Ma tante[78], карета подана! Merci, mon oncle![79] Не правда ли, я изменился, mon oncle? Пересобачился? Ха-ха! Напишите эту бумагу! Жениться?

Никогда! Она — увы! — замужем! Ваше превосходительство! Представь меня своей бабушке, Серж! Вы очаровательны, княжна! Стары? Полноте! Вы напрашиваетесь на комплименты! Позвольте мне кресло во второй ряд!

Между 30–50 годами. Сорвалось! Есть вакансия? Девять без козырей! Семь червей! Вам сдавать, votre excellence[80]. Вы ужасны, доктор! У меня ожирение печени? Чушь! Как много берут эти доктора! А сколько за ней приданого? Теперь не любите, со временем полюбите! С законным браком! Не могу я, душа моя, не играть! Катар желудка? Сына или дочь? Весь в отца! Хе-хе-хе… не знал-с! Выиграл, душа моя! Опять, черт возьми, проиграл! Сына или дочь? Весь в… отца! Уверяю тебя, что я ее не знаю! Перестань ревновать! Едем,

---

[78] Примечания: 78
Тетя *(франц.).*

[79] Примечания: 79
Благодарю, дядя! *(франц.)*

[80] Примечания: 80
Ваше превосходительство *(франц.).*

Фани! Браслет? Шампанского! С чином! Mercі! Что нужно делать, чтобы похудеть? Я лыс?! Не зудите, теща! Сына или дочь? Я пьян, Каролинхен! Дай я тебя поцелую, немочка! Опять этот каналья у жены! Сколько у вас детей? Помогите бедному человеку! Какая у вас дочь миленькая! В газетах, дьяволы, пропечатали! Иди, я тебя высеку, скверный мальчишка! Это ты измял мой парик?

Старость. Едем на воды? Выходи за него, дочь моя! Глуп? Полно! Плохо пляшет, но ноги прелестны! Сто рублей за… поцелуй?! Ах, ты, чертенок! Хе-хе-хе! Рябчика хочешь, девочка? Ты, сын, того… безнравствен! Вы забываетесь, молодой человек! Пет! пет! ист! Ллюблю музыку! Шям… Шям… панского! «Шута» читаешь? Хе-хе-хе! Внучатам конфеток несу! Сын мой хорош, но я был лучше! Где ты, то время? Я и тебя, Эммочка, в завещании не забыл! Ишь я какой! Папашка, дай часы! Водянка? Неужели? Царство небесное! Родня плачет? А к ней идет траур! От него пахнет! Мир праху твоему, честный труженик!

Встреча весны (Рассуждение)

Борея сменили зефиры. Дует ветерок не то с запада, не то с юга (я в Москве недавно и здешних стран света еще достаточно не уразумел), дует легонько, едва задевая за фалды… Не холодно, и настолько не холодно, что можно смело ходить в шляпе, пальто и с тросточкой. Мороза нет даже ночью. Снег растаял, обратился в мутную водицу, с журчаньем бегущую с гор и пригорков в грязные канавы; не растаял он только в переулках и мелких улицах, где безмятежно покоится под трехвершковым бурым, землистым слоем и будет покоиться вплоть до мая… На полях, в лесах и на бульварах робко пробивается зеленая травка… Деревья еще совершенно голы, но выглядывают как-то бодрей. Небо такое славное, чистое, светлое; лишь изредка набегают тучи и пускают на землю мелкие брызги… Солнце светит так хорошо, так тепло и так ласково, как будто бы славно выпило, сытно закусило и старинного друга увидело… Пахнет молодой травкой, навозом, дымом, плесенью, всевозможной дрянью,

степью и чем-то этаким особенным… В природе, куда ни взглянешь, приготовления, хлопоты, бесконечная стряпня… Суть в том, что весна летит.

Публика, которой ужасно надоело тратить деньги на дрова, ходить в тяжелых шубах и десятифунтовых калошах, дышать то жестким, холодным, то банным, квартирным воздухом, радостно, стремительно и став на носки протягивает руки навстречу летящей весне. Весна желанная гостья, но добрая ли? Как вам сказать? По-моему, не то, чтобы слишком уж добрая, и нельзя сказать, чтобы слишком уж и злая. Какая бы она ни была, но ждут ее с нетерпением.

Поэты старые и молодые, лучшие и худшие, оставив на время в покое кассиров, банкиров, железнодорожников и рогатых мужей, строчат на чем свет стоит мадригалы, дифирамбы, приветственные оды, баллады и прочие стихоплетные штуки, воспевая в них все до единой весенние прелести… Воспевают по обыкновению неудачно (я не говорю о присутствующих). Луна, воздух, мгла, даль, желания, «она» — у них на первом плане.

Прозаики тоже настроены на поэтический лад. Все фельетоны, ругательства и хваления начинаются и оканчиваются у них описанием

собственных чувств, навеянных приближающейся весной.

Барышни и кавалеры того… Страждут смертельно! Пульс их бьет 190 в минуту, температура горячечная. Сердца полны самых сладких предчувствий… Весна несет с собой любовь, а любовь несет с собой: «Сколько счастья, сколько муки!» На нашем рисунке весна держит амурчика на веревочке. И хорошо делает. И в любви нужна дисциплина, а что было бы, если бы она спустила Амура, дала ему, каналье, волю? Я пресерьезный человек, но и ко мне по милости весенних запахов лезет в голову всякая чертовщина. Пишу, а у самого перед глазами тенистые аллейки, фонтанчики, птички, «она» и все такое прочее. Теща уже начинает посматривать на меня подозрительно, а женушка то и дело торчит у окна…

Медицинские люди — очень серьезные люди, но и они не спят спокойно… Их душит кошмар и снятся самые обольстительные сны. Щеки докторов, фельдшеров, аптекарей горят лихорадочным румянцем. И недаром-с! Над городами стоят зловонные туманы, а туманы эти состоят из микроорганизмов, производящих болезни… Болят груди, горла, зубы… Разыгрываются старинные ревматизмы, подагры, невралгии. Чахоточных

тьма-тьмущая. В аптеках толкотня страшная. Бедным аптекарям некогда ни обедать, ни чая пить. Бертолетову соль, Доверов порошок, грудные специи, йод и дурацкие зубные средства продают буквально пудами. Я пишу и слышу, как в соседней аптеке звенят пятаками. У моей тещи флюс на обеих сторонах: урод уродом!

Мелкие коммерсантики, ссудосберегатели, практические людоедишки, жидки и кулаки пляшут от радости качучу. Весна и для них благодетельница. Тысяча шуб идут в ссудные кассы на съедение голодной моли. Все теплое, еще не переставшее быть ценным, несется к жидкам-благодетелям. Не понеси шубу в ссуду, останешься без летнего платья, будешь щеголять на даче в бобрах и енотах. За мою шубу, которая стоит minimum 100 рублей, мне дали в ссуде 32 рубля.

В Бердичевах, Житомирах, Ростовах, Полтавах — грязь по колена. Грязь бурая, вязкая, вонючая… Прохожие сидят дома и не показывают носа на улицу: того и гляди, что утонешь черт знает в чем. Оставляешь в грязи не только калоши, но даже и сапоги с носками. Ступай на улицу, коли необходимость, или босиком, или же на ходулях, а лучше всего и вовсе не ходи. В матушке Москве, надо отдать справедливость, сапог в грязи не

оставишь, но в калоши непременно наберешь. С калошами можно распрощаться навсегда только в весьма немногих местах (а именно: на углу Кузнецкого и Петровки, на Трубе и почти на всех площадях). От села до села не проедешь, не пройдешь.

Все собирается гулять и ликовать, кроме отроков и юношей. Молодежь и не увидит за экзаменами весны. Весь май пойдет на получение пятерок и единиц. Для единичников весна не желанная гостья.

Погодите немножко, дней через 5–6, много через неделю, коты запоют под окнами громче, жидкая грязь станет густою, почки на деревьях станут пушистыми, травка выглянет повсюду, солнце запечет — и весна установится самая настоящая. Из Москвы потянутся обозы с мебелью, цветами, тюфяками и горничными. Закопошатся огородники, садовники… Охотники начнут заряжать ружья.

Подождите недельку, потерпите, а пока накладывайте на ваши груди прочные бинты, дабы не выскочили из грудей ваши разбушевавшиеся, не терпящие отлагательств сердца…

Между прочим, как прикажете изобразить на бумаге весну? В каком виде? В былые време-

на ее изображали в виде прекрасной девицы, сыплющей на землю цветы. Цветы — синоним радостей… Теперь иные времена, иные нравы, иная и весна. У нас она изображена тоже дамочкой. Цветов не сыплет, ибо нет цветов и руки в муфте. Следовало бы изобразить ее тощей, худой, скелетообразной, с чахоточным румянцем, но пусть она будет комильфо![81]Делаем ей эту уступку только потому, что она дама.

[81] Примечания: 81
Как следует *(франц.* comme il faut).

Зеленая Коса
(Маленький роман)
Глава I

На берегу Черного моря, на местечке, которое в моем дневнике и в дневниках моих героев и героинь значится «Зеленой Косой», стоит прелестная дача. С точки зрения архитектора, любителей всего строгого, законченного, имеющего стиль, может быть, эта дача никуда не годится, но с точки зрения поэта, художника, она дивная прелесть. Она мне нравится за свою смиренную красоту, за то, что она своей красотой не давит окружающей красоты, за то, что от нее не веет ни холодом мрамора, ни важностью колонн. Она глядит приветливо, тепло, романтично… Из-за стройных сребристых тополей, со своими башенками, шпицами, зазубринами, шестами, выглядывает она чем-то средневековым. Когда смотрю на нее, я припоминаю сентиментальные немецкие романы с их рыцарями, замками, докторами философии, с таинственными графинями… Эта дача стоит на горе; вокруг дачи густой-прегу-стой сад с аллеями, фонтанчиками,

оранжереями, а внизу, под горой, — суровое голубое море… Воздух, сквозь который то и дело пробегает влажный кокетливый ветерок, всевозможные птичьи голоса, вечно ясное небо, прозрачная вода — чудное местечко!

Хозяйка дачи — жена не то грузина, не то черкеса-князька, Марья Егоровна Микшадзе, дама лет 50, высокая, полная и во время оно, несомненно, слывшая красавицей. Дама она добрая, милая, гостеприимная, но слишком уж строгая. Впрочем, не строгая, а капризная… Она нас отлично кормила, превосходно поила, занимала нам во все лопатки деньги и в то же время ужасно терзала. Этикет — ее конек. Что она жена князя — это ее другой конек. Катаясь на этих двух коньках, она вечно и ужасно пересаливает. Она никогда, например, не улыбается, вероятно, потому, что считает это для себя и вообще для grandes-dames[82] неприличным. Кто моложе ее хоть на один год, тот молокосос. Знатность, по ее мнению, — добродетель, перед которой все остальное — самая ерундистая чепуха. Она враг ветрености и легкомыслия, любит молчание, и т. д., и т. д. Иногда мы едва умели выносить эту

---

[82] Примечания: 82
Благородных дам *(франц.).*

барыню. Если бы не дочь ее, то, пожалуй, едва ли мы услаждали бы себя теперь воспоминаниями о Зеленой Косе. Добрая женщина составляет самое серое пятно в наших воспоминаниях. Украшение Зеленой Косы — дочь Марьи Егоровны, Оля. Оля — маленькая, стройная, хорошенькая блондиночка лет 19. Она бойка и не глупа. Хорошо рисует, занимается ботаникой, отлично говорит по-французски, плохо по-немецки, много читает и пляшет, как сама Терпсихора. Музыке училась в консерватории и играет очень недурно. Мы, мужчины, любили эту голубоглазую девочку, не «влюбились», а любили. Она для нас всех была что-то родное, свое… Зеленая Коса без нее для нас немыслима. Без нее поэзия Зеленой Косы была бы неполной. Она — хорошенькая женская фигурка на прелестном ландшафте, а я не люблю картин без людских фигур. Плеск моря и шепот деревьев сами по себе хороши, но если к ним присоединяется еще сопрано Оли с аккомпанементом наших басов, теноров и рояля, то море и сад делаются земным раем… Мы любили княжну; иначе и быть не могло. Мы величали ее дочерью нашего полка. И Оля любила нас. Она тяготела к нашей мужской компании и только среди нас чувствовала себя в своей родной стихии. Когда нас не было возле нее,

она худела и переставала петь. Наша компания состоит из гостей, летних обитателей Зеленой Косы, и соседей. К первым принадлежат: доктор Яковкин, одесский газетчик Мухин, магистр физики (ныне доцент) Фивейский, три студента, художник Чехов, один харьковский барон-юрист и я, бывший репетитор Оли (научивший ее плохо говорить по-немецки и ловить щеглят). Мы ежегодно в мае съезжались на Зеленой Косе и захватывали на целое лето лишние комнаты средневекового замка и все флигеля. Каждый март нас приглашали на Зеленую Косу два письма: одно важное, строгое, полное нотаций — от княгини, другое очень длинное, веселое, полное всевозможных проектов — от соскучившейся об нас княжны. Мы приезжали и гостили до сентября. Соседями, ежедневно приезжавшими к нам, были отставной поручик-артиллерист Егоров, молодой человек, два раза державший экзамен в Академию и два раза провалившийся, очень развитой, начитанный малый; студент-медик Коробов с женой Екатериной Ивановной, помещик Алеутов и многое множество помещиков, отставных, неотставных, веселых и скучных, шалопаев и брандахлыстов… Вся эта банда бесконечно, день и ночь, круглое лето, ела, пила, играла, пела,

пускала фейерверки, острила… Оля любила эту банду без памяти. Она кричала, вертелась и шумела больше всех. Она была душой компании.

Каждый вечер княгиня собирала нас в гостиную и с багровым лицом упрекала нас в «бессовестном» поведении, стыдила нас и клялась, что по нашей милости у нее голова болит. Она любила читать нотации; читала их искренно и глубоко была убеждена в том, что ее нотации послужат нам в пользу. Больше всех доставалось от нее Оле. По ее мнению, во всем была виновата Оля. Оля боялась матери. Она ее боготворила и выслушивала ее нотации стоя, молча, покраснев. Княгиня считала Олю дитятей. Она ставила ее в угол, оставляла без завтрака, без обеда. Заступаться за Олю значило подливать масло в огонь. Если бы можно было, то она и нас бы ставила в угол. Она посылала нас ко всенощной, приказывала вслух читать «Четьи-Минеи», считала наше белье, вмешивалась в наши дела… Мы то и дело заносили куда-нибудь ее ножницы, забывали, где ее спирт, не умели найти ей наперстка.

— Разиня! — то и дело кричала она. — Прошел мимо, уронил и не подымаешь! Подними! Сейчас подними! Наказал меня господь вами… Отойди от меня! Не стой на сквозном ветру!

Иногда для потехи кто-нибудь из нас провинится в чем-нибудь и по донесении призывается к старухе.

— Это ты на грядку наступил? — начинается суд. — Как ты смел?

— Я нечаянно…

— Молчи! Как ты смел, я тебя спрашиваю?

Суд оканчивался помилованием, целованием руки и, по выходе из комнаты судьи, гомерическим смехом. Ласкова с нами княгиня никогда не была. Ласковые слова говорит она только старухам и маленьким детям.

Я ни разу не видал ее улыбки. Старичка-генерала, который по воскресеньям приезжал к ней играть в пикет, она шепотом уверяла, что мы, доктора, магистры, частью бароны, художники, писатели, погибли бы без ее ума-разума… Мы и не старались разубеждать ее… Пусть, думали, тешится… Княгиня была бы сносна, если бы не требовала от нас, чтоб мы вставали не позже восьми часов и ложились не позже 12. Бедная Оля шла ложиться спать в И ч. Прекословить нельзя было. Да и издевались же мы над старухой за это незаконное посягательство на нашу свободу! Мы гурьбой ходили просить у нее прощение, сочиняли ей поздравительные стихи ломоносовского

пошиба, рисовали геральдическое древо князей Микшадзе и т. д. Княгиня принимала все это за чистую монету, а мы хохотали. Княгиня любила нас. Она глубоко, очень искренно вздыхала, когда выражала нам сожаление, что мы не князья. Она привыкла к нам, как к детям…

Не любила она одного только поручика Егорова. Она его ненавидела всей душой, питала к нему невозможнейшую антипатию. Принимала его только потому, что имела с ним денежные дела и этикетничала. Поручик прежде был ее любимцем. Он красив, удачно острит, много молчит и военный (это княгиня высоко ценила). Но иногда на Егорова что-то находит… Он садится, подпирает кулаками голову и начинает ужасно злословить. Злословит всех и все, не щадя ни живых, ни мертвых. Княгиня выходила из себя и прогоняла из комнат всех нас, когда он начинал говорить злые слова.

Однажды за обедом Егоров подпер голову кулаком и завел ни к селу ни к городу речь о кавказских князьях, потом вытащил из кармана «Стрекозу» и имел дерзость в присутствии княгини Микшадзе прочесть следующее: «Тифлис — хороший город. К числу достоинств прекрасного города — в котором «князья» даже улицы

метут и сапоги в гостиницах чистят — принадлежит...» и т. д. Княгиня встала из-за стола и молча вышла. Она возненавидела Егорова еще сильней, когда он в ее поминальнике около наших имен написал наши фамилии. Эта ненависть была тем более нежелательна и некстати, что поручик мечтал о женитьбе на Оле, а Оля была влюблена в поручика. Поручик ужасно мечтал, хоть и плохо верил в исполнение своих мечтаний. Оля любила тайком, украдкой, про себя, робко, чуть заметно... Любовь для нее была контрабандой, чувством, на которое было наложено жестокое veto[83]. Ей не позволено было любить.

Глава II

В средневековом замке чуть было не разыгралась одна из глупых средневековых историй.

Лет семь тому назад, когда еще был жив князь Микшадзе, на Зеленую Косу приехал погостить князь Чайхидзев, екатеринославский помещик, друг и приятель Микшадзе. Это был очень богатый человек. Он всю жизнь свою кутил, бешено кутил и, несмотря на это, до конца дней своих

---

[83] Примечания: 83
Запрещение *(лат.)*.

был богачом. Микшадзе во время оно был его собутыльником. Вместе с Микшадзе он увез из родительского дома девушку, которая впоследствии стала княгиней Чайхидзевой. Это обстоятельство связало обоих князей прочнейшими узами дружбы. Чайхидзев приехал погостить вместе со своим сыном, пучеглазым, узкогрудым, черноволосым юношей, гимназистом. Чайхидзев первым долгом вспомнил старину и закутил с Микшадзе, а юноша заухаживал за Олей, тринадцатилетней девочкой. Ухаживание было замечено. Родители подмигнули и заметили, что из юноши и Оли вышла бы недурная парочка. Пьяные князья приказали детям поцеловаться, пожали друг другу руки и сами поцеловались. Микшадзе даже заплакал от умиления.

— Так богу угодно! — сказал Чайхидзев. — У тебя дочь, у меня сын… Так богу угодно!

Детям дали по кольцу и сняли их на одной карточке. Эта карточка висела в зале и долгое время не давала покоя Егорову. Она была мишенью для бесчисленного множества острот. Княгиня Марья Егоровна важно благословила будущих супругов. Ей понравилась от скуки идея отцов. Через месяц после отъезда Чайхидзевых Оля получила по почте роскошнейший подарок. Такие подарки она

получала потом ежегодно. Молодой Чайхидзев взглянул на дело, сверх ожидания, серьезно. Это был довольно ограниченный малый. Он ежегодно приезжал на Зеленую Косу и гостил целую неделю, причем все время молчал и посылал из своей комнаты Оле любовные письма. Оля прочитывала письма и конфузилась. Умная девочка удивлялась, как это может такой большой человек писать такие глупости! А он писал глупости… Два года тому назад умер Микшадзе. Умирая, он сказал Оле следующее: «Смотри, не выйди замуж за какого-нибудь дурака! Выходи за Чайхидзева. Он умный и достойный человек». Оля знала ум Чайхидзева, но отцу не противоречила. Она дала ему слово, что выйдет за Чайхидзева.

— И это воля папы! — говорила она нам, и говорила с некоторою гордостью, как будто бы совершала какой-нибудь громаднейший подвиг. Она гордилась тем, что отец унес с собой в могилу ее обещание. Это обещание было так необыкновенно, романтично!

Но природа и рассудок брали свое: отставной поручик Егоров вертелся пред глазами, а Чайхидзев с каждым годом в ее глазах становился все глупее и глупее…

Когда однажды поручик осмелился намекнуть

ей про свою любовь, она попросила его не говорить ей более о любви, напомнила об обещании, данном отцу, и всю ночь проплакала. Княгиня каждую неделю писала письма Чайхидзеву в Москву, где он учился в университете, и приказывала ему поскорей оканчивать курс. «У меня гостят не такие бородатые, как ты, а давно уже курс покончили», — писала она ему. Чайхидзев отвечал ей почтительнейше на розовой бумаге и на двух листах доказывал, что курса ранее определенного срока кончить нельзя. Ему писала и Оля. Письма Оли ко мне далеко лучше писем ее к этому жениху. Княгиня верила в то, что Оля будет женой Чайхидзева, иначе же не пускала бы свою дочь гулять и «заниматься пустяками» в компании забияк, ветреников, безбожников и «некнязей»... Она не могла допустить и сомнения... Воля мужа для нее — священная воля... Оля тоже верила в то, что она со временем будет расписываться Чайхидзевой...

Но не тут-то было. Идея двух отцов порвалась у самого исполнения. Роман Чайхидзева не удался. Этому роману суждено было окончиться водевилем.

В прошлом году Чайхидзев приехал на Зеленую Косу в конце июня. Он приехал на этот раз уже

не студентом, а действительным студентом. Княгиня встретила его важными, торжественными объятиями и длиннейшей нотацией. Оля оделась в дорогое платье, сшитое специально для встречи жениха. Из города привезли шампанского, зажгли фейерверк, а на другой день утром

вся Зеленая Коса в один голос толковала о свадьбе, назначенной якобы в конце июля. «Бедная Оля! — шептали мы, слоняясь из угла в угол, злобно поглядывая на окна, которые выходили в сад из комнаты ненавистного нам восточного человека. — Бедная Оля!» Оля ходила по саду, бледная, худая, полумертвая. «Так угодно папе и маме!» — говорила она, когда мы начинали приставать к ней с дружескими советами. «Да ведь это глупо! дико!» — кричали мы ей. Она пожимала плечами и отворачивала от нас свое полное скорби лицо; жених сидел в своей комнате, посылал Оле с лакеями нежные письма и, глядя в окно, удивлялся смелости, с которой мы говорили и держали себя с Олей. Выходил он из своей комнаты только затем, чтобы пообедать. Обедал он молча, ни на кого не глядя, сухо отвечая на наши вопросы. Раз только он осмелился рассказать анекдот, да и тот оказался до пошлости старым. После обеда княгиня усаживала его рядом с собой и учила его

играть в пикет. Чайхидзев играл серьезно, много думая, опустив нижнюю губу и вспотев… Такое отношение к пикету нравилось княгине.

Однажды после обеда Чайхидзев улизнул от пикета и побежал за Олей, которая отправилась в сад.

— Ольга Андреевна! — начал он. — Я знаю, вы меня не любите. Сватовство наше, правда, странно, глупо. Но я, но я надеюсь, что вы меня полюбите…

Он сказал это, сильно сконфузился и пошел боком из сада в свою комнату.

Поручик Егоров сидел у себя в имении и никуда не показывался. Он не мог переварить Чайхидзева.

В воскресенье (второе после приезда Чайхидзева), кажется, 5 июля, рано утром явился в наш флигель студент, племянник княгини, и передал нам приказ. Приказ княгини состоял в том, чтобы мы к вечеру были все в порядке: одеты во все черное, белые галстухи, перчатки; были бы серьезны, умны, остроумны, послушны и завиты, как пудели; чтобы мы не шумели; чтобы в комнатах у нас было благопристойно. На Зеленой Косе затевалось нечто вроде сговора. Из города привезли вин, водок, закусок… Наши прислужники были взяты

от нас на кухню. После обеда начали съезжаться гости и съезжались до позднего вечера. В восемь часов, после катанья на лодках, начался бал.

До бала у нас, мужчин, была сходка. На этой сходке мы единогласно порешили во что бы то ни стало избавить Олю от Чайхидзева, избавить, хотя бы даже стоило это нам крупнейшего скандала. После сходки я бросился искать поручика Егорова. Он жил в своем именье, в 20 верстах от Зеленой Косы. Я помчался к нему и застал его, но как застал! Поручик был пьян как стелька и спал мертвецки. Я растолкал поручика, умыл, одел его и, несмотря на его брыкательства и ругань, повез его на Зеленую Косу.

В десять часов бал был в разгаре. Танцевали в четырех комнатах под игру двух прекрасных роялей. В антрактах в саду на горке играл третий рояль. Даже сама княгиня восхищалась нашими фейерверками. Фейерверки мы сожигали в саду, на берегу и далеко в море на лодках. На крыше замка разноцветные бенгальские огни сменяли друг друга и освещали всю Косу. Пьянствовали в двух буфетах: один буфет был в беседке в саду, другой в доме. Героем вечера, по-видимому, был Чайхидзев. С розовыми пятнышками на щеках, с вспотевшим носом, затянутый в тесный фрак,

он плясал с Олей, болезненно улыбался и чувствовал, что он неловок. Он плясал и следил за каждым своим «па». Ему страстно хотелось блеснуть хоть чем-нибудь, но не сумел он блеснуть ничем. Оля говорила мне впоследствии, что ей в этот вечер было очень жаль бедного князька. Он казался ей жалким. Он как будто бы предчувствовал, что у него отнимут невесту, о которой он, бывало, думал во время каждой лекции, ложась и просыпаясь… Когда он глядел на нас, глаза его были полны мольбы. Он предчувствовал в нас сильных и безжалостных соперников.

По приготовлениям высоких бокалов и по поглядываниям княгини на часы мы заключили, что торжественно-официальная минута приближается, что, по всей вероятности, Чайхидзев в 12 часов получит позволение поцеловать Олю. Нужно было действовать. В половине двенадцатого я попудрился, чтоб казаться бледным, своротил в сторону галстух и с озабоченным лицом и с всклокоченными волосами подошел к Оле.

— Ольга Андреевна, — начал я, схватив ее за руку, — ради бога!

— Что такое?

— Ради бога… Вы не пугайтесь, Ольга Андреевна… Иначе и быть не могло. Это и нужно было

ожидать…

— В чем дело?

— Вы не пугайтесь… Того… Ради бога, моя дорогая! Евграф…

— Что с ним?

Оля побледнела и вскинула на меня свои большие, доверчивые, дружеские глаза…

— Евграф умирает…

Оля пошатнулась и пальцами провела по побледневшему лбу.

— Случилось то, чего я ожидал, — продолжал я. — Он умирает… Спасите его, Ольга Андреевна!

Оля схватила меня за руку.

— Он… он… Где?

— Здесь в саду, в беседке. Ужасно, моя дорогая! Но… на нас смотрят. Пойдемте на террасу… Он не обвиняет вас… Он знал, что вы его…

— Что… что с ним?

— Худо, очень худо!!

— Пойдемте… Я пойду к нему… Я не хочу, чтоб он благодаря мне… благодаря мне…

Мы вышли на террасу. У Оли подгибались колени. Я сделал вид, что отер слезу… Мимо нас по террасе то и дело пробегали бледные, встревоженные члены нашей банды с озабоченными, испуганными лицами.

— Кровь остановилась… — шепнул мне магистр физики так, чтобы услышала Оля.

— Идемте! — шепнула Оля и взяла меня под руку.

Мы спустились вниз по террасе… Ночь была тихая, светлая… Звуки рояля, шепот темных деревьев, трещанье кузнечиков ласкали слух; внизу тихо плескалось море.

Оля едва шла… Ноги ее подгибались и путались в тяжелом платье. Она дрожала и со страха жалась к моему плечу.

— Но ведь я же не виновата… — шептала она. — Клянусь вам, что я не виновата. Так угодно было папе… Он должен это понять… Опасно?

— Не знаю… Михаил Павлович сделал все возможное. Он хороший доктор и любит Егорова… Мы подходим, Ольга Андреевна…

— Я… я не увижу ничего ужасного? Я боюсь… Я не могу видеть… И для чего это он вздумал?

Оля залилась слезами.

— Я не виновата… он должен был понять. Я ему объясню.

Мы подошли к беседке.

— Здесь, — сказал я.

Оля закрыла глаза и обеими руками ухватилась за меня.

— Я не могу…

— Не пугайтесь… Егоров, ты еще не умер? — крикнул я, обращаясь к беседке.

— Пока еще нет… А что?

У входа в беседку показался освещенный луною поручик, растрепанный, бледный от перепоя, с расстегнутым жилетом…

— А что? — повторил он.

Оля подняла голову и увидала Егорова… Она посмотрела на меня, потом на Егорова, потом опять на меня… Я засмеялся… Лицо ее просияло. Она вскрикнула от радости, сделала шаг вперед… Я думал, что она на нас рассердится… Но эта девочка не умела сердиться… Она сделала шаг вперед, подумала и бросилась к Егорову. Егоров быстро застегнул жилет и растопырил руки. Оля упала ему на грудь. Егоров засмеялся от удовольствия, повернул в сторону голову, чтоб не дышать на Олю, и забормотал какую-то чепуху.

— Вы не имеете права… Я не виновата, — залепетала Оля. — Так угодно папе, маме и т. д.

Я повернул назад и быстро зашагал к освещенному замку.

В замке между тем публика готовилась к поздравлению жениха и невесты и нетерпеливо поглядывала на часы… В передних толпились ла-

кеи с подносами; на подносах стояли бутылки и бокалы. Чайхидзев нетерпеливо мял правую руку в левой и глазами искал Олю. Княгиня ходила по комнатам и искала Олю, чтоб дать ей наставление, как держать себя, что ответить матери и т. д. Наши улыбались.

— Не знаешь, где Оля? — спросила меня княгиня.

— Не знаю.

— Поди поищи.

Я сошел в сад и, заложив руки назад, обошел раза два вокруг дома. Наш художник заиграл на трубе. Это значило: «Держи, не выпускай!» Егоров отвечал из беседки криком совы. Это значило: «Хорошо! Держу!»

Походив немного, я вошел в дом. В передних лакеи поставили подносы на столы и, стоя с пустыми руками, тупо поглядывали на публику. Публика, в свою очередь, с недоумением поглядывала на часы, на которых большая стрелка показывала уже четверть. Рояли замолкли. Во всех комнатах царила глубокая, томительная, глухая тишина.

— Где Оля? — спросила меня багровая княгиня.

— Не знаю… В саду нет.

Княгиня пожала плечами.

— Разве она не знает, что уже давно пора? — спросила она, дернув меня за рукав.

Я пожал плечами. Княгиня отошла от меня и зашептала что-то Чайхидзеву. Чайхидзев тоже пожал плечами. Княгиня и его дернула за рукав.

— Дурралей! — заворчала она и забегала по всему дому. Горничные и гимназисты, родственники княгини, с шумом сбежали по лестнице и отправились в глубину сада искать исчезнувшую невесту. Я тоже пошел в сад. Я боялся, что Егоров не сумеет задержать Олю и испортит задуманный нами скандал. Я направился к беседке. Напрасно я боялся! Оля сидела возле Егорова, водила перед его глазами своими пальчиками и шептала, шептала... Когда Оля переставала шептать, начинал бормотать Егоров. Он внушал ей то, что княгиня называет «идеями»... Каждое свое слово он подслащивал поцелуем. Он говорил, лез ежесекундно целоваться и в то же время отворачивал в сторону свой рот, боясь, чтобы Оля не почуяла водочного запаха. Оба они были счастливы, забыли, по-видимому, все на свете и не замечали времени. *Я постоял* немного у входа в беседку, возрадовался духом и, не желая нарушать счастливого покоя, пошел к замку.

Княгиня выходила из себя и нюхала спирт. Она

терялась в догадках, сердилась, стыдилась гостей, жениха… Она никогда не дерется, но дала горничной пощечину, когда та доложила ей, что княжны нет нигде. Гости, не дождавшись шампанского и поздравлений, заулыбались, засплетничали и опять взялись за танцы.

Пробил час, Оля не показывалась. Княгиню разбирало бешенство.

— Это все ваши штуки! — шипела она, проходя мимо кого-либо из нас. — Будет ей на орехи! Где она?

Наконец нашелся благодетель, который сообщил ей, где Оля… Этим благодетелем оказался маленький пузатый гимназистик, племянник княгини. Гимназистик прибежал из сада, как угорелый, подскочил к княгине, сел ей на колено, пригнул к себе ее голову и зашептал ей на ухо… Княгиня побледнела и до крови укусила себя за губу.

— В беседке? — спросила она.

— Да.

Княгиня поднялась и с гримасой, похожей на официальную улыбку, объявила гостям, что у Оли болит голова, что она просит извинить и т. д. Гости изъявили сожаление, наскоро поужинали и начали разъезжаться.

В два часа (Егоров поусердствовал и задержал Олю до двух) я стоял у входа на террасу за стеной из олеандровых деревцов и ждал возвращения Оли. Мне хотелось посмотреть на Олино лицо. Я люблю женские счастливые лица. Мне хотелось посмотреть, как любовь к Егорову и в то же время страх перед матерью совместятся на одном и том же лице; и что сильней: любовь или страх? Я недолго дышал запахом олеандров. Оля скоро показалась. Я впился глазами в лицо ее. Она шла медленно, приподняв немного платье и показывая свои маленькие башмачки. Лицо ее было хорошо освещено луной и фонариками, висевшими на деревьях и своим мельканьем портившими лунный свет. Лицо было серьезно, бледно. Чуть-чуть улыбались одни только губы. Глаза задумчиво смотрели в землю; с такими глазами решают обыкновенно трудные задачи. Когда Оля ступила на первую ступень, ее глаза засуетились, забегали: она вспомнила мать. Оля слегка коснулась рукой помятой прически, некоторое время постояла нерешительно на первой ступени и, тряхнув головой, смело пошла к двери… Но тут суждено было мне увидеть картину… Распахнулась дверь, и бледное лицо Оли осветилось ярким светом. Оля вздрогнула, сделала

шаг назад и слегка присела… Ее как будто что-то приплюснуло… На пороге, подняв голову, стояла княгиня, красная, дрожащая от гнева и стыда… Минуты две длилось молчание.

— Дочь князя, — заговорила княгиня, — и невеста князя ходит на свидания с поручиком!? С Евграшкой! Мерзкая!

Оля съежилась в три погибели и, трепещущая, змейкой проскользнула мимо княгини и полетела в свою комнату. Она села на свою постель, и глаза, полные ужаса и тревоги, не спускала с окна в продолжение всей ночи…

В третьем часу ночи у нас опять была сходка. На этой сходке мы посмеялись над опьяневшим от счастья Егоровым и снарядили харьковского барона-юриста к Чайхидзеву. Князь еще не спал. Харьковский барон-юрист должен был «дружески» указать Чайхидзеву на неловкость его, Чайхидзева, положения, попросить его, чтоб он, князь, как развитой человек, взял бы на себя труд уяснить себе эту неловкость, и попросить его, между прочим, чтоб он извинил нас за наше вмешательство, извинил бы «по-дружески», как развитой человек… Чайхидзев ответил барону, что он «все это хорошо понимает», что он не придает значения отцовскому завещанию, но

любит Олю, а потому и был так настойчив… Он с чувством пожал барону руку и обещал завтра же уехать.

На следующее утро Оля явилась к чаю бледная, разбитая, полная самых отчаянных ожиданий, ей было и страшно и стыдно… Но лицо ее просияло, когда она в столовой увидела и услышала нас. Мы всей компанией стояли перед княгиней и кричали. Кричали все разом. Мы сбросили наши маленькие маски и громко внушали старой княгине «идеи», очень похожие на те, которые внушал вчера Оле Егоров. Мы говорили о личности женщины, о законности свободного выбора и т. д. Княгиня молча, угрюмо слушала нас и читала письмо, присланное ей Егоровым, — это письмо было сочинено всей компанией и было переполнено словами: «по малолетству», «по неопытности», «вашими благословениями» и т. д. Княгиня выслушала нас до конца, до конца прочла длинное письмо Егорова и сказала:

— Не вам, молокососам, учить меня, старуху. Знаю, что делаю. Выпивайте чай и поезжайте отсюда кружить другие головы. Вам не жить со мной, со старухой… Вы люди умные, а я дура. С богом, сударики!.. Век вам буду благодарна!

Княгиня нас гнала. Мы написали ей благо-

дарственное письмо, приложились к ее руке и, скрепя сердца, выехали в тот же день в имение Егорова. С нами выехал и Чайхидзев. У Егорова мы занимались только тем, что кутили, скучали об Оле и утешали Егорова. Прожили мы у него недели две. На третьей неделе наш барон-юрист получил от княгини письмо. Княгиня просила барона приехать на Зеленую Косу и написать ей какую-то бумагу. Барон поехал. Дня через три после отъезда поехали и мы туда же, якобы за бароном. На Зеленую Косу приехали мы перед обедом. В дом мы не входили, а слонялись по саду, поглядывая на окна. Княгиня увидала нас в окно.

— Это вы приехали? — крикнула она.

— Мы.

— Дело есть, что ли?

— За бароном.

— Барону некогда с вами, висельниками, фордыбасничать! Он пишет.

Мы сняли шляпы и подошли к окну.

— Как ваше здоровье, княгиня? — спросил я.

— Чего слоняетесь? — ответила княгиня. — Идите в комнаты!

Мы вошли в комнаты и смирно расселись по стульям. Княгине, страшно соскучившейся об

нашей компании, понравилось это смирение. Она нас оставила обедать. За обедом одного из нас, уронившего ложку, она выбранила разиней и упрекнула нас, что мы не умеем держать себя за столом. Мы погуляли с Олей, остались переночевать… Переночевали и другую ночь и застряли на Зеленой Косе до самого сентября. Мир склеился сам собой.

Вчера получил письмо от Егорова. Поручик пишет, что всю зиму он «подмазывался» к княгине и успел гнев княгини переложить на милость. Он уверяет, что летом будет его свадьба.

Вскоре я должен получить два письма: одно строгое, официальное от княгини, другое длинное, веселое, полное проектов от Оли. В мае я еду опять на Зеленую Косу.

«Свидание хотя и состоялось, но...»

Выдержав экзамен, Гвоздиков сел на конку и за шесть копеек (он ездил всегда «на верхотуре») доехал до заставы. От заставы до дачи, версты три, он пропер пехтурой. У ворот встретила его хозяйка дачи, молодая дамочка. Сынка этой дамочки он обучал арифметике, за что и получал стол, квартиру на даче и пять рублей в месяц деньгами.

— Ну что, как? — спросила его хозяйка, протягивая руку. — Благополучно? Выдержали экзамен?

— Выдержал.

— Браво, Егор Андреевич! Много получили?

— По обыкновению... Пять... Гм...

Гвоздиков получил не пять, а только три с плюсом, но... но почему же не соврать, если можно? Экзаменующиеся так же охотно врут, как и охотники. Войдя к себе в комнату, Гвоздиков на своем столе нашел маленькое письмецо с розовой облаточкой. Письмецо пахло резедой. Гвоздиков разорвал конверт, скушал облатку и прочел следующее:

«Так и быть. Будьте ровно в 8 часов около канавы, в которую вчера упала с головы ваша шляпа.

Я буду сидеть под деревом на скамеечке. И я вас люблю, только не будьте таким неповоротливым. Надо быть бойким. Жду вечера с нетерпением. Я вас ужасно люблю. Ваша С.

P. S. Maman уехала, и мы будем гулять до полночи. Ах, как я счастлива! Бабушка будет спать, не заметит».

Прочитав это письмо, Гвоздиков широко улыбнулся, высоко подпрыгнул и, торжествующий, зашагал по комнате.

— Любим! Любим!! Любим!!! Как я счастлив, черт возьми! О-о-о! Тру-ля-ля!

Гвоздиков прочитал письмо еще раз, поцеловал его, бережно сложил и спрятал в анатомический стол. Ему принесли обедать. Он, отуманенный письмом и забывший все на свете, съел все, что ему принесли: и суп, и мясо, и хлеб. Пообедав, он лег и замечтал о всякой всячине: о дружбе, о любви, о службе… Образ Сони носился перед его глазами.

«Как жаль, что у меня часов нет! — думал он. — Будь у меня часы, я мог бы высчитать, сколько осталось до вечера. Время, как назло, протянется чертовски медленно».

Когда ему надоело лежать и мечтать, он поднялся, пошагал и послал кухарку за пивом.

«Пока суть да дело, — подумал он, — а мы выпьем. Время быстрей покажется».

Принесли пиво. Гвоздиков сел, поставил перед собой рядком все шесть бутылок и, любовно поглядывая на них, принялся пить. Выпив три стакана, он почувствовал, что в его груди и голове зажгли по лампе: стало так тепло, светло, хорошо.

«Она составит мне мое счастие! — подумал он, принимаясь за другую бутылку. — Она… она именно та, о которой я мечтал… О да!»

После второй бутылки он почувствовал, что в его голове потушили лампу, и стало темновато. Но зато как весело стало! Хорошо жить на этом свете после второй бутылки! Принимаясь за третью бутылку, Гвоздиков махал перед своим носом рукой и клялся, что счастливее его никого нет на этом свете. Клятву давал он самому себе и верил этой клятве безапелляционно.

— Я знаю, что она во мне полюбила! — забормотал он. — Знаю-с! Она полюбила во мне недюжинного человека! Так-то! Знает, кого полюбить и за что полюбить… Недюжинного человека! Я не какой-нибудь там… этакий… Я Гвозд… Я…

Принимаясь за четвертую бутылку, он воскликнул:

— Да-с! Не какой-нибудь! Полюбила она во мне… гения! Ге-ни-я! Мирового гения! Кто я? И что я? Вы думаете — Гвоздиков? Да, я Гвоздиков, но какой Гвоздиков? Как вы думаете?

Дойдя до половины четвертой бутылки, он ударил кулаком по столу, взъерошил волосы и сказал:

— *Я им* покажу, кто я таков! Пусть только кончу курс! Дайте мне только позаниматься! Я жрец науки… Она полюбила во мне жреца науки. И я докажу, что она права! Вы мне не верите? Прочь! И она не верит? Она? Соня? Прочь и ее в таком случае! Я докажу! Сейчас же начну заниматься!.. Допью только стакан… Все вы подлецы!

Гвоздиков рассердился, допил стакан, достал с полки лекции, открыл и начал читать с середины:

«При… причиной вывиха нижней челюсти может также служить па… падение, удар при открытом рте…»

— Чепуха! Челюсть… Удар… То да се… Чепуха!

Гвоздиков закрыл лекции и принялся за пятую бутылку. Выпив, наконец, пятую и шестую, он пригорюнился и задумался о ничтожестве вселенной вообще и человека в частности… Думая, он машинально ставил пробку на горлышко

бутылки и целился в нее щелчком, стараясь ударить ею в зеленое пятнышко, мелькавшее перед его глазами. Черные, зеленые и синие пятнышки забегали перед его глазами, когда он попал пробкой в зеленое пятно. Одно из пятен, буро-красное с зелеными иглами, улыбаясь, полетело к его глазам и испустило из себя что-то вроде клея… Гвоздиков почувствовал, что у него слипаются глаза…

«У меня в глазах кто-то… пищит! — подумал он. — Надо выйти на воздух, а то я ослепну. Надо по… погулять… Здесь душно. Печи все топят… О, о-ослы!! Пищат и печи топят! Дураки!» Гвоздиков надел шляпу и вышел из комнаты. На дворе уже стемнело. Был десятый час. На небе мерцали звездочки. Луны не было, и ночь обещала быть темна. На Гвоздикова пахнуло майской свежестью леса. Встретили его все атрибуты любовного rendez-vous[84]: и шепот листьев, и песнь соловья, и… даже задумчивая, белеющаяся во мраке «она». Он, сам того не замечая, дошел до места, о котором упоминалось в письме.

Она поднялась со скамьи и пошла к нему навстречу.

---

[84] Примечания: 84
Свидания *(франц.)*.

— Жорж! — сказала она, чуть дыша. — Я здесь.

Гвоздиков остановился, прислушался и начал смотреть вверх, на верхушки деревьев. Ему показалось, что его имя произнесли где-то вверху.

— Жорж, это я! — повторила она, ближе подойдя к нему.

— А?

— Это я.

— Что? Кто тут? Кого?

— Это я, Жорж… Идите… Сядемте.

Жорж протер глаза и уставился на нее…

— Чего надо?

— Смешной! Не узнаете, что ли? Неужели вы ничего не видите?

— А-а-а-а… Позвольте… Вы какое же имеете пра… пра… ввво в ночное время ходить по чужому саду? Милостивый государь! Отвечайте, милостивый государь, в противном же случае я вввам дам… в мор… мор…

Жорж протянул вперед руку и схватил ее за плечо. Она захохотала.

— Какой вы смешной! Ха-ха-ха… Как вы хорошо представлять умеете! Ну, пойдемте… Давайте болтать…

— Кого болтать? Что? Вы почему? А я почему? Смеетесь?

Она громче захохотала, взяла его под руку и потянулась вперед. Он попятился назад. Он изображал из себя упрямого коренника, а она бьющуюся вперед пристяжную.

— Мне… мне спать хочется… Пустите… — забормотал он. — Я не желаю заниматься пустяками…

— Ну, будет, будет… Отчего вы опоздали на полчаса? Занимались?

— Занимался… Я всегда занимаюсь… При… чиной вывиха нижней челюсти может быть падение, удар при открытом рте. Челюсти вышибают все больше в трактирах, в кабаках… Я хочу пива… Трехгорного.

Он и она дотащились до скамьи и сели. Он подпер лицо кулаками, уперся локтями в колена и зафыркал. Шляпа сползла с его головы и упала на ее руки. Она нагнулась и посмотрела ему в лицо.

— Что с вами? — тихо спросила она.

— И не ваше, не ваше дело… Никто не имеет права вмешиваться в мои дела… Все они дураки и вы… дураки.

Немного помолчав, Гвоздиков прибавил:

— И я дурак…

— Вы получили письмо? — спросила она.

— Получил… От Сонь… ки… От Сони… Вы — Соня? Ну и что ж? Глупо… Слово «нетерпение»

в слоге «не» пишется не чрез «ять», а чрез «е». Грамотеи! Черт бы вас взял совсем!..

— Вы пьяны, что ли?

— Нннет… Но я справедлив! Какое вы имеете пра… пр… пр… От пива нельзя быть пьяным… А? Который?

— А зачем же вы, бессовестный, чепуху мелете, если вы не пьяный?

— Ннет… Именительный — меня, родительный — тебя, дательный, именительный… Processus condyloideus et musculus sterno-cleido-mastoideus[85].

Гвоздиков захохотал, свесил голову к коленям…

— Вы спите? — спросила она.

Ответа не последовало. Она заплакала и начала ломать руки.

— Вы спите, Егор Андреевич? — повторила она.

В ответ на это послышался громкий сиплый храп. Соня поднялась.

— Мер-р-зкий!! — проворчала она. — Негодный! Так вот ты какой? Так на же, вот тебе! На тебе! На тебе!

---

[85] Примечания: 85

Яремный отросток и грудно-ключично-сосковая мышца *(лат.).*

И Соня своей маленькой ручкой раз пять коснулась до затылка Гвоздикова, и как коснулась! Ноги ее заходили по его шляпе. Мстительны женщины!

На другой день Гвоздиков послал Соне письмо следующего содержания:

«Прошу прощения. Не мог вчера явиться, потому что был ужасно болен. Назначьте другое время, хоть сегодняшний вечер, например.

Любящий Егор Гвоздиков».

Ответ на это письмо был таков:

«Шляпа ваша валяется около беседки. Можете ее взять там. Пиво пить приятнее, чем любить, а потому пейте пиво. Не хочу вам мешать.

Уже не ваша С…

P. S. Не отвечайте мне. Я вас ненавижу».

Корреспондент

Музыкантов было восемь человек. Главе их, Гурию Максимову, было заявлено, что если музыка не будет играть неумолкаемо, то музыканты не увидят ни одной рюмки водки и благодарность за труд получат с великой натяжкой. Танцы начались ровно в восемь часов вечера. В час ночи барышни обиделись на кавалеров; полупьяные кавалеры обиделись на барышень, и танцы расстроились. Гости разделились на группы. Старички заняли гостиную, в которой стоял стол с сорока четырьмя бутылками и со столькими же тарелками; барышни забились в уголок, зашептали о безобразиях кавалеров и стали решать вопрос: как это так выходит, что невеста с первого же раза начинает говорить на жениха «ты»? Кавалеры заняли другой угол и заговорили все разом, каждый про свое. Гурий, первая и плохая скрипка и дирижер, заиграл со своими семью Черняевский марш… Играл он неумолкаемо и останавливался лишь только тогда, когда хотел выпить водки или подтянуть брюки. Он был сердит: вторая и самая плохая скрипка была донельзя пьяна и чертовски фантазировала, а флейтист ежеминут-

но ронял на пол флейту, не смотрел в ноты и без причины смеялся. Шум поднялся страшный. С маленького столика попадали бутылки… Кто-то ударил по спине немца Карла Карловича Фюнф… С криком и со смехом выскочило несколько человек с красными физиономиями из спальной; за ними погнался встревоженный лакей. Дьякон Манафуилов, желая блеснуть перед пьяной и почтеннейшей публикой своим остроумием, наступил кошке на хвост и держал ее до тех пор, пока лакей не вырвал из-под его ног охрипшей кошки и не заметил ему, что «это одна только глупость». Городской голова вообразил, что у него пропали часы; он страшно перепугался, вспотел и начал браниться, доказывая, что его часы стоят сто рублей. У невесты разболелась голова… В прихожей уронили что-то тяжелое, раздался треск. В гостиной, около бутылок, старички вели себя не по-старчески. Они вспоминали свою молодость и болтали черт знает что. Рассказывали анекдотцы, прохаживались насчет любовных похождений хозяина, острили, хихикали, причем хозяин, видимо довольный, сидел, развалясь на кресле, и говорил: «И вы тоже хороши, сукины сыны; знаю я вас хорошо и любашкам вашим не раз презенты подносил»… Пробило два часа.

Гурий в седьмой раз заиграл испанскую серенаду. Старички вошли в азарт.

— Погляди, Егорий! — зашамкал один старичок, обращаясь к хозяину и указывая в угол. — Что это там за егоза сидит?

В углу, возле этажерки с книгами, смиренно, поджав ноги под себя, сидел маленький старичок в темно-зеленом поношенном сюртуке со светлыми пуговицами и от нечего делать перелистывал какую-то книжку. Хозяин посмотрел в угол, подумал и усмехнулся.

— Это, братцы мои, — сказал он, — газетчик. Нешто вы его не знаете? Великолепный человек! Иван Никитич, — обратился он к старичку со светлыми пуговицами, — что же ты там сидишь? Подходи сюда!

Иван Никитич встрепенулся, поднял свои голубые глазки и страшно сконфузился.

— Это, господа, сам писатель, журналист! — продолжал хозяин. — Мы пьем, а они, видите ли, сидят в уголку, по-умному думают, да на нас с усмешкой посматривают. Стыдно, брат. Иди выпей — грех, ведь!

Иван Никитич поднялся, смиренно подошел к столу и налил себе рюмочку водки.

— Дай бог вам… — пробормотал он, медленно

выпивая рюмку, — чтоб все… этак хорошо… обстоятельно.

— Закуси, брат! Кушай!

Иван Никитич замигал глазками и скушал сардинку. Толстяк, с серебряною медалью на шее, подошел к нему сзади и высыпал на его голову горсть соли.

— Солоней будет, червячки не заведутся! — сказал он.

Публика захохотала. Иван Никитич замотал головой и густо покраснел.

— Да ты не обижайся! — сказал толстяк. — Зачем обижаться? Это шутка с моей стороны. Чудак ты этакой! Смотри, я и себе насыплю! — Толстяк взял со стола солонку и сыпнул себе соли на голову.

— И ему, ежели хочешь, посыплю. Чего обижаться? — сказал он и посолил хозяйскую голову. Публика захохотала. Иван Никитич тоже улыбнулся и скушал другую сардинку.

— Что ж ты, политикан, не пьешь? — сказал хозяин. — Пей! Давай пить со мной! Нет, со всеми выпьем!

Старички поднялись и окружили стол. Рюмки наполнились коньяком. Иван Никитич кашлянул и осторожно взялся за рюмку.

— С меня бы довольно, — проговорил он, обращаясь к хозяину. — Я уже и так пьян-с. Ну, дай бог вам, Егор Никифорыч, чтобы… все… хорошо и благополучно. Да чего вы все на меня так смотрите? Чудной нешто я человек? Хи-хи-хи-с. Ну, дай бог вам! Егор Никифорыч, батюшка, будьте столь достолюбезны и снисходительны, прикажите Гурию, чтоб Григорий барабанить перестал. Замучил совсем, хам. Так барабанит, что в животе бурлит… За ваше здоровье!

— Пущай барабанит, — сказал хозяин. — Нешто музыка без барабана может существовать? И того не понимаешь, а еще сочинения сочиняешь. Ну, теперь со мной выпей!

Иван Никитич икнул и засеменил ножками. Хозяин налил два стакана.

— Пей, приятель, — сказал он, — а прятаться не смей. Будешь писать, что у Л-ва все пьяны были, так про себя пропишешь. Ну? Желаю здравствовать. Да ну же, умница! Экой ты ведь конфузный какой! Пей!

Иван Никитич кашлянул, высморкнулся и чокнулся с хозяином.

— Желаю вам зла-погибели и бед всяческих… избежать! — сострил купчик; старший зять хозяина захохотал.

— Ура-а-а газетнику! — крикнул толстяк, обхватил Ивана Никитича и поднял его на воздух. Подскочили другие старички, и Иван Никитич очутился выше своей головы, на руках, головах и плечах почтеннейшей и пьяной т-й интеллигенции.

— Кач… ка-ча-а-ай! Качай его, шельмеца! Неси егозу! Тащи его, темно-зеленого прохвоста! — закричали старички и понесли Ивана Никитича в залу. В зале к старичкам присоединились кавалеры и начали подбрасывать под самый потолок бедного газетчика. Барышни захлопали в ладоши, музыканты замолкли и положили свои инструменты, лакеи, взятые шика ради из клуба, заудивлялись «безобразности» и преглупо захихикали в свои аристократические кулаки. У Ивана Никитича отскочили от сюртука две пуговицы и развязался ремень. Он пыхтел, кряхтел, пищал, страдал, но… блаженно улыбался. Он ни в каком случае не ожидал такой чести для себя, «нолика», как он выражался, «между человеками еле видимого и едва заметного»…

— Гаа-га-га-га! — заорал жених и, пьяный как стелька, вцепился в ноги Ивана Никитича. Иван Никитич закачался, выскользнул из рук т-й интеллигенции и ухватился за шею толстяка с

серебряною медалью.

— Убьюсь, — забормотал он, — убьюсь! Позвольте-с! Чуточку-с! Вот так-с… Ох, нет, не так-с!

Жених выпустил ноги, и он повис на шее толстяка. Толстяк мотнул головой, и Иван Никитич упал на пол, застонал и с хихиканьем поднялся на ноги. Все хохотали, даже цивилизованные лакеи из нецивилизованного клуба снисходительно морщили носы и улыбались. Лицо Ивана Никитича сильно поморщилось от блаженной улыбки, из влажных голубых глаз его посыпались искорки, а рот покривился набок, причем верхняя губа покривилась направо, а нижняя вытянулась и искривилась налево.

— Господа почтенные! — заговорил он слабым тенорком, расставя руки и поправляя ремешок, — господа почтенные! Дай бог вам всего того, чего вы от бога желаете. Спасибо ему, благодетелю, ему… вот ему, Егору Никифоровичу… Не пренебрег мелким человечиком. Встретились это мне позавчера в Грязном переулке, да и говорят: «Приходи же, Иван Никитич. Смотри же, непременно приходи. Весь город будет, ну и ты, сплетня всероссийская, приходи!» Не пренебрегли, дай бог им здоровья. Осчастливили вы меня своею лаской искреннею, не забыли газетчика, стари-

кашку рваного. Спасибо вам. И не забывайте, господа почтенные, нашего брата. Наш брат человек маленький, это действительно, но душа у него не вредная. Не пренебрегайте, не брезгуйте, он чувствовать будет! Между людьми мы маленькие, бедненькие, а между тем соль мира есмы, и богом для полезности отечественной созданы, и всю вселенную поучаем, добро превозносим, зло человеческое поносим…

— Чего мелешь-то? — закричал хозяин. — Замолол, шут Иванович! Ты речь читай!

— Речь, речь! — заголосили гости.

— Речь? Эк-эк-гем. Слушаю-с. Позвольте подумать-с!

Иван Никитич начал думать. Кто-то всучил ему в руки бокал шампанского. Немного подумав, он вытянул шею, поднял вдруг бокал и начал тенорком, обращаясь к Егору Никифоровичу:

— Речь моя, милостивые государыни и милостивые государи, будет коротка и длиннотою своею не будет соответствовать настоящему, весьма трогательному для нас, событию. Эк-эк-гем. Великий поэт сказал: блажен, кто смолоду был молод! В истине сего я не сомневаюсь и даже полагаю, что не ошибусь, если прибавлю к нему в мыслях еще кое-что и языком воспроизведу

следующее обращение к молодым виновникам сего торжества и события: да будут наши молодые молоды не только теперь, когда они по естеству своему физически молоды еще, но и в старости своей, ибо блажен тот, кто смолоду был молод, но в стократ блаженнее тот, кто молодость свою сохранил до самой могилы. Да будут они, виновники настоящего словоблудия моего, в старости своей стары телом, но молоды душою, то есть живопарящим духом. Да не оскудевают до самой доски гробовой идеалы их, в чем истинное блаженство человеков и состоит. Жизнь их обоюдная да сольется во едино чистое, доброе и высокочестное, и да послужит нежно любящая… хи-хи-хи-с… так сказать, октавой для своего мужа, мужа крепкого в мыслях, и да составят они собою сладкозвучную гармонию! Виват, живио и ура-а-а!

Иван Никитич выпил шампанское, стукнул каблуком об пол и победителем посмотрел на окружающих.

— Ловко, ловко, Иван Никитич! — закричали гости.

Жених подошел, шатаясь, к Ивану Никитичу, попытался расшаркаться, но не расшаркался, чуть не упал, схватил оратора за руку и сказал:

— Боку… боку мерси[86]. Ваша речь очен-н-но о-чень хороша и не лишена некоторой тенденции.

Иван Никитич подпрыгнул, обнял жениха и поцеловал его в шею. Жених страшно сконфузился и, чтобы скрыть замешательство, начал обнимать тестя.

— Ловко вы объяснять чувства можете! — сказал толстяк с медалью. — У вас такая фигура, что… никак не ожидал! Право… извините-с!

— Ловко? — запищал Иван Никитич. — Ловко? Хе-хе-хе. То-то. Сам знаю, что ловко! Огня только мало, ну да где его взять, огня-то этого? Время уж не то, господа почтенные! Прежде, бывало, как скажешь что иль напишешь, так сам в умилительное состояние души приходишь и удивляешься таланту своему. Эх, было времечко! Выпить бы нужно, фра-дьяволо, за это времечко! Давайте, други, выпьем! Времечко было страсть какое авантажное!

Гости подошли к столу и взяли по рюмке. Иван Никитич преобразился. Он налил себе не рюмку, а стакан.

— Выпьем, господа почтенные, — продолжал

---

[86] Примечания: 86
Премного благодарен (*франц.* merci beaucoup).

он. — Обласкали вы меня, старика, почтите уж и время, в которое я великим человеком был! Славное было времечко! Mesdames, красоточки мои, чокнитесь с аспидом и василиском, который красоте вашей изумляется! Цок! Хе-хе-хе. Амурчики мои. Было время, сакрраменто![87] Любил и страдал, побеждал и побеждаем неоднократно был. Ура-а-а!

— Было время, — продолжал вспотевший и встревоженный Иван Никитич, — было время, сударики! И теперь время хорошее, но для нашего брата, газетчика, то время лучше было, по той самой причине, что огня и правды в людях больше было. Прежде что ни писака был, то и богатырь, рыцарь без страха и упрека, мученик, страдалец и правдивый человек. А теперь? Взгляни, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдися! Где вы, истинные писатели, публицисты и другие ратоборцы и труженики на поприще… эк… эк… гем… гласности? Ниг-де!!! Теперь все пишут. Кто хочет, тот и пишет. У кого душа грязнее и чернее сапога моего, у кого сердце не в утробе матери, а в кузнице фабриковалось, у кого правды столько имеется, сколько у меня домов собственных, и тот

---

[87] Примечания: 87
Клянусь! *(итал.* Sacramento)

дерзает теперь ступать на путь славных, — путь, принадлежащий пророкам, правдолюбцам да сребренонавистникам. Сударь вы мои дорогие! Путь этот нонче шире стал, да ходить по нем некому. Где таланты истинные? Поди ищи: ей-богу, не сыщешь!.. Все ветхо стало да обнищало. Кто из прежних удальцов и молодцов жив остался, и тот теперь обнищал духом да зарапортовался. Прежде гнались за правдой, а нонче пошла погоня за словцом красным да за копейкой, чтоб ей пусто было! Дух странный повеял! Горе, друзья мои! И я тоже, окаянный, не устыдился седин своих и тоже стал за красным словцом гоняться! Нет, нет, да и норовлю в корреспонденцию что-нибудь этакое вковырнуть. Благодарю господа, творца неба и земли, не корыстолюбив я и от голода не дерзаю писать. Теперь кому кушать хочется, тот и пишет, а пишет что хочет, лишь бы сбоку на правду похоже было. Хотите денежки из редакции получить? Желаете? Ну, коли хотите, то и валяйте, что в нашей Т. такого-то числа землетрясение было да баба Акулина, извините меня, mesdames, бесстыдника, намедни единым махом шестерых ребят родила… Сконфузились, красоточки! Простите великодушно невежду! Доктор сквернословия есмь и в древности по сему

предмету неоднократно в трактирах диссертации защищал да на диспутах разнородных прощелыг побеждал. Простите, родные! Ох-хо-хо… так-то, пиши что хочешь, все с рук сойдет. Прежде не то было! Мы если и писали ложь, так по тупоумию и глупости своей, а орудием ложь не имели, потому что то, чему работали, святыней почитали и оной поклонялись!

— Зачем это вы светлые пуговицы носите? — перебил Ивана Никитича какой-то франт с четырьмя хохлами на голове.

— Светлые пуговки? Действительно, что они светлые… По привычке-с… В древности, лет 20 тому назад, я заказал портному сюртучишко; ну, а он, портной-то, по ошибке пришил вместо черных пуговок светлые. Я и привык к светлым пуговкам, потому что тот сюртучишко лет семь таскал… Ну, так вот-с, сударики мои, как прежде было… Слушают красоточки, голубчики, слушают меня старикашку, родненькие… Хи-хи-хи-с… Дай бог вам здоровия! Красавицы мои неземные! Жить бы вам сорок лет тому назад, когда молод был и пламенем огненным сердца зажигать в состоянии был. Рабом был бы, девицы, и на коленах дырки бы себе… Смеются, цветики!.. Ох, вы, мои… Почтили старца вниманием своим.

— Вы теперь пишете что-нибудь? — перебила расходившегося Ивана Никитича курносенькая барышня.

— Пишу ли? Как не писать? Не зарою, царица души моея, таланта своего до самой могилы! Пишу! Разве не читали? А кто, позвольте вас спросить, в семьдесят шестом году корреспонденцию в «Голосе» поместил? Кто? Не читали разве? Славная корреспонденция! В семьдесят седьмом году писал в тот же «Голос» — редакция уважаемой газеты нашла статью мою для печатания неудобной… Хе-хе-хе… Неудобной… Экася!.. Статья моя с душком была, знаете ли, с душком некоторым. «У нас, — пишу, — есть патриоты видимые, но темна вода во облацех касательно того, где патриотизм их помещается: в сердцах или карманах?» Хе-хе-хе… Душок-с… Далее: «Вчера, — пишу, — была отслужена соборная панихида по под Плевной убиенным. На панихиде присутствовали все начальствующие лица и граждане, за исключением господина исправляющего должность т-го полицеймейстера, который блистал своим отсутствием, потому что окончание преферанса нашел для себя более интересным, чем разделение с гражданами общероссийской радости». Не в бровь, а в глаз! Хо-хо-хо! Не поместили! А я

уж постарался тогда, друзья мои! В прошедшем, семьдесят девятом, году посылал корреспонденцию в газету ежедневную «Русский курьер», в Москве издающуюся. Писал я, други мои, в Москву о школах уезда нашего, и корреспонденция моя была помещена, и теперь я даром «Курьера русского» получаю. Вона как! Удивляетесь? Гениям удивляйтесь, а не нолям! Нолик есмь! Эхе-хе-х! Пишу редко, господа почтенные, очень редко! Бедна наша Т. событиями, кои бы описать я мог, а ерундистики писать не хочется, самолюбив больно, да и совести своей опасаюсь. Газеты вся Россия читает, а для чего России Т.? Для чего ей мелочами надоедать? Для чего ей знать, что в нашем трактире мертвое тело нашли? А прежде-то как я писал, прежде-то, во времена оны, во времена… Писал я тогда в «Северную пчелу», в «Сын отечества», в «Московские»… Белинского современником был, Булгарина единожды в скобочках ущипнул… Хе-хе-хе… Не верите? Ей-богу! Однажды стихотворение насчет воинственной доблести написал… А что я, други мои, потерпел в то время, так это одному только богу Саваофу известно… Вспоминаю себя тогдашнего и в умиление прихожу. Молодцом и удальцом был! Страдал и мучился за идеи и мысли свои; за поползновение к труду бла-

городному мучения принимал. В сорок шестом году за корреспонденцию, помещенную мною в «Московских ведомостях», здешними мещанами так избит был, что три месяца после того в больнице на черных хлебах пролежал. Надо полагать, враг мой дорого мещанам за жестокосердие заплатил: так отдубасили раба божия, что даже и теперь последствия указать могу. А однажды это призывает меня, в 53-м году, городничий здешний, Сысой Петрович… Вы его не помните, и радуйтесь, что не помните. Воспоминание о сем человеке есть горчайшее из всех воспоминаний. Призывает он меня и говорит: «Что это ты там в «Пчеле» накляузничал, а?» А как я там накляузничал? Писал я, знаете ли, просто, что у нас шайка мошенников завелась и притоном своим трактирчик Гуськова имеет… Трактирчика этого теперь и следа уже нет, в 65-м году снят был и место свое бакалейному магазину господина Аубцоватского уступил. В конце корреспонденции я чуточку душка подпустил. Взял да и написал, знаете ли: «Не мешало бы, в силу упомянутых причин, полиции обратить внимание на трактир г. Г.». Заорал на меня и затопотал ногами Сысой Петрович: «Без тебя не знаю, что ли? Указывать ты мне, морда, станешь? Наставник ты мой, а?»

Кричал, кричал, да и засадил меня, трепещущего, в холодную. Три дня и три ночи в холодной просидел, Иону с китом припоминая, унижения всяческие претерпевая… Не забыть мне сего до помрачения памяти моей! Ни один клоп, никакая, с позволения, вошка — никакое насекомое, еле видимое, не было никогда так уничижено, как унизил меня Сысой Петрович, царство ему небесное! А то как отец благочинный, отец Панкратий, коего я юмористически в мыслях своих отцом перочинным называл, где-то по складам прочел про какого-то благочинного и вообразить изволил, что будто это про него написано и будто я по легкомыслию своему написал; а то вовсе не про него было написано и не я написал. Иду я однажды мимо собора, вдруг как свистнет меня кто-то сзади по спине да по затылку палкой, знаете ли; раз свистнет, да в другой раз, да и в третий… Тьфу ты, пропасть, что за комиссия? Оглядываюсь, а это отец Панкратий, духовник мой… Публично!! За что? За какую вину? И это перенес я со смирением… Много терпел я, друзья мои!

Стоявший возле именитый купец Грыжев усмехнулся и похлопал по плечу Ивана Никитича.

— Пиши, — сказал он, — пиши! Почему не

писать, коли можешь? А в какую газету писать станешь?

— В «Голос», Иван Петрович!

— Прочесть дашь?

— Хе-хе-хе… Всенепременно-с.

— Увидим, каких делов ты мастер. Ну, а что же ты писать станешь?

— А вот если Иван Степанович что-нибудь на прогимназию пожертвуют, то и про них напишу!

Иван Степанович, бритый и совсем не длиннополый купец, усмехнулся и покраснел.

— Что ж, напиши! — сказал он. — Я пожертвую. Отчего не пожертвовать? Тысячу рублев могу…

— Нуте?

— Могу.

— Да нет?

— Ну вот еще… Разумеется, могу.

— Вы не шутите?.. Иван Степанович!

— Могу… Только вот что… Ммм… А если я пожертвую, да ты не напишешь?

— Как это можно-с? Слово твердо, Иван Степаныч…

— Оно-то так… Гм… Ну, а когда же ты напишешь?

— Очень скоро-с, даже очень скоро-с… Вы не

шутите, Иван Степаныч?

— Зачем шутить? Ведь за шутки ты мне денег не заплатишь? Гм… Ну, а если ты не напишешь?

— Напишу-с, Иван Степаныч! Побей меня бог, напишу-с!

Иван Степанович наморщил свой большой лоснящийся лоб и начал думать. Иван Никитич засеменил ножками, заикал и впился своими сияющими глазками в Ивана Степановича.

— Вот что, Никита… Никитич… Иван, что ля? Вот что… Я дам… дам две тысячи серебра, и потом, может быть, еще что-нибудь… этакое. Только с таким условием, братец ты мой, чтоб ты взаправду написал…

— Да ей-богу же напишу! — запищал Иван Никитич.

— Ты напиши, да прежде чем посылать в газету — дашь мне прочитать, а тогда я и две тысячи выложу, ежели хорошо будет написано…

— Слушаю-с… Эк… эк-гем… Слушаю и понимаю, благородный и великодушный человек! Иван Степанович! Будьте столь досто-любезны и снисходительны, не оставьте ваше обещание без последствий, да не будет оно одним только звуком! Иван Степанович! Благодетель! Господа почтенные! Пьяный я человек, но постигаю умом

своим! Гуманнейший филантроп! Кланяюсь вам! Потщитесь! Послужите образованию народному, излейте от щедрот своих… Ох, господи!

— Ладно, ладно… Увидишь там…

Иван Никитич вцепился в полу Ивана Степановича.

— Великодушнейший! — завизжал он. — Присоедините длань свою к дланям великих… Подлейте масла в светильник, вселенную озаряющий! Позвольте выпить за ваше здоровье. Выпью, милостивый, выпью! Да здравств…

Иван Никитич закашлялся и выпил рюмку водки. Иван Степанович посмотрел на окружающих, мигнул глазами на Ивана Никитича и вышел из гостиной в залу. Иван Никитич постоял, немного подумал, погладил себя по лысине и чинно прошел, между танцующими, в гостиную.

— Оставайтесь здоровы, — обратился он к хозяину, расшаркиваясь. — Спасибо за ласки, Егор Никифорович! Век не забуду!

— Прощай, братец! Заходи и вдругорядь. В магазин заходи, коли время: с молодцами чайку попьешь. На женины именины приходи, коли желаешь, — речь скажешь. Ну, прощай, дружок!

Иван Никитич с чувством пожал протянутую руку, низко поклонился гостям и засеменил

в прихожую, где, среди множества шуб и шинелей, терялась и его маленькая поношенная шинелька.

— На чаек бы с вашего благородия! — предложил ему любезно лакей, отыскивая его шинель.

— Голубчик ты мой! Мне и самому-то впору на чаек просить, а не токмо что давать…

— Вот она, ваша шинель! Это она, ваше полу благород не? Хоть муку сей! В этой самой шинели не по гостям ходить, а в свинюшнике препровождение иметь.

Сконфузившись и надевши шинель, Иван Никитич подсучил брюки, вышел из дома т-го богача и туза, Егора Л-ва, и направился, шлепая по грязи, к своей квартире.

Квартировал он на самой главной улице, во флигеле, за который платил шестьдесят рублей в год наследникам какой-то купчихи. Флигель стоял в углу огромнейшего, поросшего репейником, двора и выглядывал из-за деревьев так смиренно, как мог выглядывать… один только Иван Никитич. Он запер на щеколду ворота и, старательно обходя репейник, направился к своему серому флигелю. Откуда-то заворчала и лениво гавкнула на него собака.

— Стамеска, Стамеска, это я… свой! — пробор-

мотал он. Дверь во флигеле была не заперта. Вычистивши щеточкой сапоги, Иван Никитич отворил дверь и вступил в свое логовище. Крякнув и снявши шинель, он помолился на икону и пошел по своим, освещенным лампадкою, комнатам. Во второй и последней комнате он опять помолился иконе и на цыпочках подошел к кровати. На кровати спала хорошенькая девушка лет 25.

— Маничка, — начал будить ее Иван Никитич, — Маничка!

— Вввввв…

— Проснись, дочь моя!

— А мня… мня… мня… мня…

— Маничка, а Маничка! Пробудись от сна!

— Кого там? Че… го, а? а?

— Проснись, ангел мой! Поднимись, кормилица моя, музыкантша моя… Дочь моя! Маничка!

Манечка повернулась на другой бок и открыла глаза.

— Чего вам? — спросила она.

— Дай мне, дружок, пожалуйста, два листика бумаги!

— Ложитесь спать!

— Дочь моя, не откажи в просьбе!

— Для чего вам?

— Корреспонденцию в «Голос» писать.

— Оставьте… Ложитесь спать! Там я вам ужинать оставила!

— Друг мой единственный!

— Вы пьяны? Прекрасно… Не мешайте спать!

— Дай бумаги! Ну что тебе стоит встать и уважить отца? Друг мой! Что же мне, на колена становиться, что ли?

— Аааа… черррт! Сейчас! Уходите отсюда!

— Слушаю.

Иван Никитич сделал два шага назад и спрятал свою голову за ширмы. Манечка спрыгнула с кровати и плотно окуталась в одеяло.

— Шляется! — проворчала она. — Вот еще наказание-то! Матерь божия, скоро ли это кончится, наконец! Ни днем, ни ночью покоя! Ну, да и бессовестный же вы!..

— Дочь, не оскорбляй отца!

— Вас никто не оскорбляет! Нате!

Манечка вынула из своего портфеля два листа бумаги и швырнула их на стол.

— Мерси, Маничка! Извини, что обеспокоил!

— Хорошо!

Манечка упала на кровать, укрылась одеялом, съежилась и тотчас же заснула.

Иван Никитич зажег свечу и сел у стола. Нем-

ного подумав, он обмакнул перо в чернила, перекрестился и начал писать.

На другой день, в восемь часов утра, Иван Никитич стоял уже у парадных дверей Ивана Степановича и дрожащей рукой дергал за звонок. Дергал он целых десять минут и в эти десять минут чуть не умер от страха за свою смелость.

— Чево надоть? Звонишь! — спросил его лакей Ивана Степановича, отворяя дверь и протирая фалдой поношенного коричневого сюртука свои заспанные и распухшие глаза.

— Иван Степанович дома?

— Барин? А где ему быть-то? А чево надоть?

— Вот… я к нему.

— Из пошты, что ль? Спит он!

— Нет, от себя… Собственно говоря…

— Из чиновников?

— Нет… но… можно обождать?

— Отчего не можно? Можно! Идите в переднюю!

Иван Никитич бочком вошел в переднюю и сел на диван, на котором валялись лакейские лохмотья.

— Аукррррмм… Кгмбррррр… Кто там? — раздалось в спальне Ивана Степановича. — Сережка! Пошел сюда!

Сережка вскочил и как сумасшедший побежал в хозяйскую спальню, а Иван Никитич испугался и начал застегиваться на все пуговицы.

— А? Кто? — доносилось до его ушей из спальни. — Кого? Языка у тебя, скотины, нету? Как? Из банка? Да говори же! Старик?

У Ивана Никитича застучало в сердце, помутилось в глазах и похолодело в ногах. Приближалась важная минута!

— Зови его! — послышалось из спальни. Явился вспотевший Сережка и, держась за ухо, повел Ивана Никитича к Ивану Степановичу. Иван Степаныч только что проснулся: он лежал на своей двухспальной кровати и выглядывал из-под ситцевого одеяла. Возле него, под тем же самым одеялом, храпел толстяк с серебряною медалью. Ложась спать, толстяк не нашел нужным раздеться: кончики его сапогов выглядывали из-под одеяла, а серебряная медаль — сползла с шеи на подушку. В спальне было и душно, и жарко, и накурено. На полу красовались осколки разбитой лампы, лужа керосина и клочья женской юбки.

— Чего тебе? — спросил Иван Степанович, глядя в лицо Ивана Никитича и морща лоб.

— Извиняюсь за причиненное беспокойство, — отчеканил Иван Никитич, вынимая из кармана

бумагу. — Высокопочтенный Иван Степанович, позвольте…

— Да ты, послушай, соловьев не разводи, у меня им есть нечего: говори дело. Чего тебе?

— Я вот, с тою целью, чтоб эк… эк-гем почтительнейше преподнесть…

— Да ты кто таков?

— Я-с? Эк… эк… гем… Я-с? Забыли-с? Я корреспондент.

— Ты? Ах да. Теперь помню. Зачем же ты?

— Корреспонденцию обещанную на прочтение преподнесть пожелал…

— Уж и написал?

— Написал-с.

— Чего так скоро?

— Скоро-с? Я до самой сей поры писал!

— Гм… Да нет, ты… не так… Ты бы подольше пописал. Зачем спешить? Поди, братец, еще попиши.

— Иван Степанович! Ни место, ни время стеснить таланта не могут… Хоть год целый дайте мне — и то, ей-богу, лучше не напишу!

— А ну-ка, дай сюда!

Иван Никитич раскрыл лист и обеими руками поднес его к голове Ивана Степановича.

Иван Степанович взял лист, прищурил глаза и

начал читать: «У нас, в Т..., ежегодно воздвигается по нескольку зданий, для чего выписываются столичные архитекторы, получаются из-за границы строительные материалы, затрачиваются громадные капиталы — и все это, надо признаться, с целями меркантильными... Жалко! Жителей у нас 20 тысяч с лишком, Т. существует уже несколько столетий, здания воздвигаются; а нет даже и хижины, в которой могла бы приютиться сила, отрезывающая корни, глубоко пускаемые невежеством... Невежество...» Что это написано?

— Это-с? Horribile dictu...[88]

— А что это значит?..

— Бог его знает, что это значит, Иван Степанович! Если пишется что-нибудь нехорошее или ужасное, то возле него и пишется в скобочках это выражение.

— «Невежество...» Мммм... «залегает у нас толстыми слоями и пользуется во всех слоях нашего общества полнейшим правом гражданства. Наконец-таки и на нас повеяло воздухом, которым дышит вся образованная Россия. Месяц тому назад мы получили от г. министра разрешение открыть в нашем городе прогимназию. Разреше-

---

[88] Примечания: 88
Страшно сказать... *(лат.)*

ние это было встречено у нас с неподдельным восторгом. Нашлись люди, которые не ограничились одним только изъявлением восторга, а пожелали еще также выказать свою любовь и на деле. Наше купечество, никогда не отвечающее отказом на приглашения — поддержать денежно какое-либо доброе начинание, и теперь также не кивнуло отрицательно головою…» Черррт! Скоро написал, а как важно! Ай да ты! Ишь! «Считаю нужным назвать здесь имена главных жертвователей. Вот их имена: Гурий Петрович Грыжев (2000), Петр Семенович Алебастров (1500), Авив Инокентиевич Потрошилов (1000) и Иван Степанович Трамбонов (2000). Последний обещал…» Кто это последний?

— Последний-с? Это вы-с!

— Так я по-твоему, значит, последний?

— Последний-с… То есть… эк… эк… гем., в смысле…

— Так я последний?

Иван Степаныч поднялся и побагровел.

— Кто последний? Я?

— Вы-с, только в каком смысле?!

— В таком смысле, что ты дурак! Понимаешь? Дурак! На тебе твою корреспонденцию!

— Ваше высокостеп… Батюшка Иван… Иван…

— Так я последний! Ах ты, прыщ ты этакой! Гусь! — Из уст Ивана Степановича посыпались роскошные выражения, одно Другого непечатнее… Иван Никитич обезумел от страха, упал на стул и завертелся.

— Ах ты, сссвинья! Последний?!? Иван Степанов Трамбонов последним никогда не был и не будет! Ты последний! Вон отсюда, чтобы и ноги твоей здесь не было!

Иван Степанович с остервенением скомкал корреспонденцию и швырнул комком в лицо корреспондента газет московских и санкт-петербургских… Иван Никитич покраснел, поднялся и, махая руками, засеменил из спальной. В передней встретил его Сережка: с глупейшей улыбкой на глупом лице он отворил ему дверь. Очутившись на улице, бледный, как бумага, Иван Никитич побрел по грязи на свою квартиру. Часа через два Иван Степанович, уходя из дома, увидел в передней, на окне, фуражку, забытую Иваном Никитичем.

— Чья это шапка? — спросил он Сережку.

— Да того миздрюшки, что намедни прогнать изволили.

— Выбрось ее! Чево ей здесь валяться?

Сережка взял фуражку и, вышедши на улицу,

бросил ее в самую жидкую грязь.

Сельские эскулапы

Земская больница. Утро.

За отсутствием доктора, уехавшего с становым на охоту, больных принимают фельдшера: Кузьма Егоров и Глеб Глебыч. Больных человек тридцать. Кузьма Егоров, в ожидании, пока запишутся больные, сидит в приемной и пьет цикорный кофе. Глеб Глебыч, не умывавшийся и не чесавшийся со дня своего рождения, лежит грудью и животом на столе, сердится и записывает больных. Записывание ведется ради статистики. Записывают имя, отчество, фамилию, звание, место жительства, грамотен ли, лета и потом, после приемки, род болезни и выданное лекарство.

— Черт знает что за перья! — сердится Глеб Глебыч, выводя в большой книге и на маленьких листочках чудовищные мыслете и азы. — Что это за чернила? Это деготь, а не чернила! Удивляюсь я этому земству! Велит больных записывать, а денег на чернила две копейки в год дает! — Подходи! — кричит он.

Подходят мужик с закутанным лицом и «бас» Михайло.

— Кто таков?

— Иван Микулов.

— А? Как? Говори по-русски!

— Иван Микулов.

— Иван Микулов! Не тебя спрашиваю! Отойди! Ты! Звать как?

Михайло улыбается.

— Нешто не знаешь? — спрашивает он.

— Чего же смеешься? Черт их знает! Тут некогда, время дорого, а они с шутками! Звать как?

— Нешто не знаешь? Угорел?

— Знаю, но должен спросить, потому что форма такая… А угореть не отчего… Не такой пьяница, как ваша милость. Не запоем пьем… Имя и фамилия?

— Зачем же я стану тебе говорить, ежели ты сам знаешь? Пять лет знаешь… Аль забыл на шестой?

— Не забыл, но форма! Понимаешь? Или ты не понимаешь русского языка? Форма!

— Ну, коли форма, так черт с тобой! Пиши! Михайло Федотыч Измученко…

— Не Измученко, а Измученков.

— Пущай будет Измученков… Как хочешь, лишь бы вылечил… Хоть Шут Иваныч… Все одно…

— Сословия какого?

— Бас.

— Лет сколько?

— А кто ж его знает! На крестинах не был, не знаю.

— Сорок будет?

— Может, и будет, а может, и не будет. Пиши как знаешь.

Глеб Глебыч смотрит некоторое время на Михайлу, думает и пишет 37. Потом, подумав, зачеркивает 37 и пишет 41.

— Грамотен?

— А нешто певчий может быть неграмотный? Голова!

— При людях ты должен мне «вы» говорить, а не кричать так. Следующий! Кто таков? Как звать?

— Микифор Пуголова, из Хайловой.

— Хапловских не лечим! Следующий!

— Сделайте такую божескую милость… Ваше высокоблагородие. Верстов двадцать пешком шел…

— Хапловских не лечим! Следующий! Отойди! Не курить здесь!

— Я не курю, Глеб Глебыч!

— А что это у тебя в руке?

— Это у меня палец завязан, Глеб Глебыч!

— А не цигарка? Хапловских не лечим! Следующий!..

Глеб Глебыч оканчивает записывание. Кузьма Егоров напивается кофе, и начинается прием. Первый берет на себя фармацевтическую часть — и идет в аптеку, второй — терапевтическую — и надевает клеенчатый фартук.

— Марья Заплаксина! — вызывает по книге Кузьма Егоров.

— Здесь, батюшка!

В приемную входит маленькая, в три погибели сморщенная, как бы злым роком приплюснутая, старушонка. Она крестится и почтительно кланяется эскулапствующему.

— Кгм… Затвори дверь!.. Что болит?

— Голова, батюшка.

— Так… Вся или только половина?

— Вся, батюшка… как есть вся…

— Головы так не кутай… Сними эту тряпку! Голова должна быть в холоде, ноги в тепле, корпус в посредственном климате… Животом страдаешь?

— Страдаю, батюшка…

— Так… А ну-ка потяни себя за нижнюю веку! Хорошо, довольно. У тебя малокровие… Я тебе капель дам… По десяти капель утром, в обед и вечером.

Кузьма Егоров садится и пишет рецепт:

«Rp. Liquor ferri[89] 3 гр. *того, что на окне стоит, а то, что на полке Иван Яковлич не велели без него распечатывать по десяти капель три раза в день Марьи Заплаксиной».*

Старуха спрашивает, на чем принимать капли, кланяется и уходит. Кузьма Егоров бросает рецепт в аптеку через окошечко, сделанное в стене, и вызывает следующего больного:

— Тимофей Стукотей!

— Здесь!

В приемную входит Стукотей, тонкий и высокий, с большой головой, очень похожий издалека на палку с набалдашником.

— Что болит?

— Сердце, Кузьма Егорыч.

— В каком месте?

Стукотей показывает под ложечку.

— Так… Давно?

— С самой Святой… Давеча пешком шел, так разов десять садился… Знобит, Кузьма Егорыч… В жар бросает, Кузьма Егорыч.

— Гм… Еще что болит?

— Признаться сказать, Кузьма Егорыч, все болит, ну, а уж вы лечите одно сердце, а насчет

---

[89] Примечания: 89
Раствор железа *(лат.).*

другого прочего — не беспокойтесь… Другое пусть бабы лечат…

Вы мне спиртику какого-нибудь дайте, чтоб к сердцу не подкатывало. К сердцу все это так подкатывает, подкатывает, а потом как подхватит, значит, вот в это самое место, как подхватит, так и… того… Спинищу дерет… В голове точно камень… И кашель тоже.

— Аппетит есть?

— Ни боже мой…

Кузьма Егоров подходит к Стукотею, нагинает его и давит ему кулаком под ложечку.

— Этак больно?

— Ой… ой… ввв… Больно!

— А этак больно?

— Ввв… Смерть!!

Кузьма Егоров задает ему несколько вопросов, думает и зовет на помощь Глеба Глебыча. Начинается консилиум.

— Покажи язык! — обращается Глеб Глебыч к больному.

Больной широко раскрывает рот и вываливает язык.

— Высунь больше!

— Больше невозможно, Глеб Глебыч.

— На этом свете все возможно.

Глеб Глебыч смотрит некоторое время на больного, о чем-то мучительно думает, пожимает плечами и молча выходит из приемной.

— Должно быть, катар! — кричит он из аптеки.

— Дайте ему olei ricini[90] и ammonii caustici![91] — кричит Кузьма Егоров. — Растирать живот утром и вечером! Следующий!

Больной выходит из приемной и идет к окошечку, ведущему из коридора в аптеку. Глеб Глебыч наливает треть чайного стакана касторки и подает Стукотею. Стукотей медленно выпивает, облизывается, закрывает глаза и трет палец о палец, т. е. просит заесть чем-нибудь.

— Это тебе спирт! — кричит Глеб Глебыч, подавая ему склянку с нашатырным спиртом. — Растирать живот суконной тряпкой утром и вечером… Посуду возвратить! Не облокачиваться! Отойди!

К окошечку, закрывая рот шалью и ухмыляясь, подходит кухарка отца Григория, Пелагея.

— Что вам угодно-с? — спрашивает ее Глеб Глебыч.

— Кланялись вам, Глеб Глебыч, Лизавета Григо-

---

[90] Примечания: 90
Касторового масла *(лат.).*

[91] Примечания: 91
Нашатырного спирта *(лат.).*

рьевна и просили у вас мятных лепешек.

— С удовольствием-ссс… Для прекрасных особ женского пола на все готов-с!

Глеб Глебыч достает с полки банку с мятными лепешками и полбанки высыпает в платок Пелагее.

— Скажите им, — говорит он, — что Глеб Глебыч улыбался от чувств, когда лепешки давал. Письмо мое получили?

— Получили и порвали. Лизавета Григорьевна любовью не занимается.

— Какая же она гризетка! Скажите ей, что она гризетка!

— Михайло Измученков! — вызывает Кузьма Егоров.

В приемную входит «бас» Михайло.

— Михайлу Федотычу! Наше глубочайшее! Что болит?

— Горло, Кузьма Егорыч! Пришел к вам, собственно говоря, чтоб вы, с вашего позволения, относительно моего здоровья того… Не так больно, как убыточно… Через болезнь петь не могу, а регент за каждую обедню сорок копеек вычитает. За всенощную вчера четвертак вычел. Нонче у господ панихида была, певчим дадено было три рубля, и на мою долю чрез болезнь ничего не

досталось. И, с вашего позволения, относительно глотки могу вам предположить, что очень уж дерет и хрипит. Точно у тебя в горле какой-то кот сидит и лапами того… Кгм… Кгм…

— От горячих напитков, стало быть?

— Не могу сказать, отчего собственно болезнь моя произошла, но могу выразиться вам, что, с вашего позволения, горячие напитки на теноров действуют, а на басов нисколько. Бас от напитков, Кузьма Егорыч, гуще делается и представительнее… На бас действует простуда больше.

Из окошечка высовывается голова Глеба Глебыча.

— Чего старухе-то дать? — спрашивает Глеб Глебыч. — Железо, что на окне стояло, вышло. Я распечатаю то, что на полке.

— Нет, нет! Не приказывал Иван Яковлич! Сердиться будет.

— Чего же ей дать?

— Чего-нибудь!

«Дать чего-нибудь» на языке Глеба Глебыча значит: «дать соды».

— Горячих напитков употреблять не следует.

— Я и так уже три дня не употребляю… У меня от простуды… Действительно, водка хрипоту придает басу, но от хрипоты октава, Кузьма Его-

рыч, как вам известно, лучше… Без водки нельзя нашему брату… Что за певчий, ежели он водки не употребляет? Не певчий, а одна только, с вашего позволения, ирония!.. Не будь у меня такой должности, я и в рот бы ее, проклятой, не взял. Водка есть кровь сатаны…

— Вот что… Я дам вам порошок… Вы разведите его в бутылке и полощите себе горло утром и вечером.

— Глотать можно?

— Можно.

— Очень хорошо… Досадно бывает, ежели глотать нельзя. Полощешь, полощешь, да и выплюнешь — жалко! И вот о чем я хотел вас, собственно говоря, спросить… А к тому, как я животом слаб, и по этой самой причине, с вашего позволения, каждый месяц кровь себе пущаю и травку пью, то можно ли мне в законный брак вступить?

Кузьма Егоров некоторое время думает и говорит:

— Нет, не советую!

— Чувствительно вам благодарен… Славный вы у нас целитель, Кузьма Егорыч! Лучше докторов всяких! Ей-богу! Сколько душ за вас Богу молится! И-и-и!.. Страасть!

Кузьма Егоров скромно опускает глазки и храбро прописывает Natri bicarbonici, т. е. соды.

Пропащее дело
(водевильное происшествие)

Ужасно плакать хочется! Зареви я, так, кажется, легче бы стало.

Был восхитительный вечер. Я нарядился, причесался, надушился и дон Жуаном покатил к ней. Живет она на даче в Сокольниках. Она молода, прекрасна, получает в приданое 30 000, немножко образованна и любит меня, автора, как кошка.

Приехав в Сокольники, я нашел ее сидящей на нашей любимой скамье под высокими, стройными елями. Увидев меня, она быстро поднялась и, сияющая, пошла мне навстречу.

— Как вы жестоки! — заговорила она. — Можно ли так опаздывать? Ведь вы знаете, как я скучаю! Экой вы!

Я поцеловал ее хорошенькую ручку и, трепещущий, пошел вместе с ней к скамье. Я трепетал, ныл и чувствовал, что мое сердце воспалено и близко к разрыву. Пульс был горячечный.

И немудрено! Я приехал решить окончательно свою судьбу. Пан, мол, или пропал… Все зависело от этого вечера.

Погода была чудесная, но не до погоды мне было. Я не слушал даже певшего над нашими головами соловья, несмотря на то, что соловья обязательно слушать на всяком мало-мальски порядочном rendez-vous[92].

— Чего же вы молчите? — спросила она, глядя мне в лицо.

— Так… Чудный вечер такой… Maman ваша здорова?

— Здорова.

— Гм… Так… Я, видите ли, Варвара Петровна, хочу с вами поговорить… Для того только я и приехал… Я молчал, молчал, но теперь… слуга покорный! Я не в состоянии молчать.

Варя нагнула голову и дрожащими пальчиками затерзала цветок. Она знала, о чем я хотел говорить. Я помолчал и продолжал:

— Для чего молчать? Как ни молчи, как ни робей, а рано или поздно придется дать волю… чувству и языку. Вы, может быть, оскорбитесь… может быть, не поймете, но… что ж?

Я умолк. Нужно было составить подходящую фразу.

«Да говори же! — протестовали ее глазки. —

---

[92] Примечания: 92
Свидании *(франц.).*

Мямля! Чего мучаешь?»

— Вы, конечно, давно уже догадались, — продолжал я, помолчав, — зачем я каждый день хожу сюда и своим присутствием мозолю ваши глаза. Как не догадаться? Вы, наверное, давно уже, со свойственною вам проницательностью, угадали во мне то чувство, которое… (Пауза.) Варвара Петровна!

Варя еще ниже нагнулась. Пальчики ее заплясали.

— Варвара Петровна!

— Ну?

— Я… Да что говорить?! Понятно и без того… Люблю, вот и все… Чего ж тут еще говорить? (Пауза.) Ужасно люблю! Я вас так люблю, как… Одним словом, соберите все на этом свете существующие романы, вычитайте все находящиеся в них объяснения в любви, клятвы, жертвы и… вы получите то, что… теперь в моей груди того… Варвара Петровна! (Пауза.) Варвара Петровна!! Чего же вы-то молчите?!

— Что вам?

— Неужели… нет?

Варя подняла головку и улыбнулась.

«Ах, черт возьми!» — подумал я. Она улыбнулась, шевельнула губками и чуть слышно

проговорила: «Почему же нет?»

Я схватил отчаянно руку, отчаянно поцеловал, бешено схватил за другую руку… Она молодец! Пока я возился с ее руками, она положила свою головку мне на грудь, причем я в первый только раз уразумел, какою роскошью были ее чудные волосы.

Я поцеловал ее в голову, и в моей груди стало так тепло, как будто бы в ней поставили самовар. Варя подняла лицо, и мне ничего не оставалось, как только поцеловать ее в губки.

И вот, когда Варя была уже окончательно в моих руках, когда решение о выдаче мне тридцати тысяч готово уже было к подписанию, когда, одним словом, хорошенькая жена, хорошие деньги и хорошая карьера были для меня почти обеспечены, черту нужно было дернуть меня за язык…

Мне захотелось перед моей суженой порисоваться, блеснуть своими принципами и похвастать. Впрочем, сам не знаю, чего мне захотелось… Вышло страсть как скверно!

— Варвара Петровна! — начал я после первого поцелуя. — Прежде чем взять с вас слово быть моею женою, считаю священнейшим долгом, во избежание могущих произойти недоразумений, сказать вам несколько слов. Я буду короток… Зна-

ете ли вы, Варвара Петровна, кто я и что я? Да, я честен! Я труженик! Я… я горд! Мало того… У меня есть будущее… Но я беден… Я ничего не имею.

— Я это знаю, — сказала Варя. — Не в деньгах счастье.

— Да… Кто же говорит о деньгах? Я… я горд своею бедностью. Копейки, которые я получаю за свои литературные работы, я не променяю на те тысячи, которые… которыми…

— Понятно. Ну-с…

— Я привык к бедности. Мне она ничего. Я в состоянии неделю не обедать… Но вы! Вы! Неужели вы, которая не в состоянии пройти двух шагов, чтобы не нанять извозчика, надевающая каждый день новое платье, бросающая в стороны деньги, не знавшая никогда нужды, вы, для которой не модный цветок есть уже большое несчастье, — неужели вы согласитесь расстаться для меня с земными благами? Гм…

— У меня есть деньги. У меня приданое!

— Пустое! Для того чтобы прожить десяток, другой тысяч, достаточно только несколько лет… А потом? Нужда? Слезы? Верьте, дорогая моя, моему опыту! Знаю-с! знаю, что говорю! Для того чтобы бороться с нуждою, нужно иметь сильную волю, нечеловеческий характер!

«Да и чепуху же я мелю!» — подумал я и продолжал:

— Подумайте, Варвара Петровна! Подумайте, на какой шаг вы решаетесь! Шаг бесповоротный! Есть у вас силы — идите за мной, нет сил бороться — откажите мне! О! Лучше пусть я буду лишен вас, чем… вы вашего покоя! Те сто рублей, которые дает мне ежемесячно литература, ничто! Их не хватит! Подумайте же, пока не поздно!

Я вскочил.

— Подумайте! Где бессилие — там слезы, упреки, ранние седины… Предупреждаю вас, потому что я честный человек. Чувствуете ли вы себя настолько сильной, чтобы разделить со мной жизнь, которая своею внешнею стороною не похожа на вашу, чужда вам? (Пауза.)

— У меня же есть приданое!

— Сколько? Двадцать, тридцать тысяч! Ха-ха! Миллион? И потом, кроме этого, позволю ли я себе присваивать то, что… Нет! Никогда! Я горд!

Я прошелся несколько раз около скамьи. Варя задумалась. Я торжествовал. Меня, значит, уважали, коли задумались.

— Итак, жизнь со мной и лишения или же жизнь без меня и богатство… Выбирайте… Есть силы? У моей Вари есть силы?

И говорил в таком роде очень долго. Я незаметно увлекся. Говорил я и в то же время чувствовал в себе раздвоение. Одна половина меня увлекалась тем, что я говорил, а другая мечтала: «А вот подожди, матушка! Заживем на твои 30 000 так, что небу жарко станет! Надолго хватит!»

Варя слушала, слушала… Наконец она поднялась и протянула мне руку.

— Благодарю вас! — сказала она и сказала таким голосом, который заставил меня вздрогнуть и взглянуть на ее глаза. На ее глазах и щеках сверкали слезы…

— Благодарю вас! Вы хорошо сделали, что были со мной откровенны… Я неженка… Я не могу… Не пара вам…

И зарыдала. Я опростоволосился… Всегда теряюсь, когда вижу плачущих женщин, а тут и подавно. Пока я думал, что предпринять, она заглушила рыданья и утерла слезы.

— Вы правы, — сказала она. — Если я пойду за вами, обману вас. Не мне быть вашей женой. Я богачка, неженка, езжу на извозчиках, кушаю бекасов и дорогие пирожки. Я никогда за обедом не ем супа и щей. Меня и мама стыдит постоянно… А не могу я без этого! Я не могу ходить пешком… Я утомляюсь… И потом платья… Все это вам при-

дется на свой счет шить… Нет! Прощайте!

И, сделав трагический жест рукой, она ни к селу ни к городу произнесла:

— Я недостойна вас! Прощайте!

Она произнесла, повернулась и пошла восвояси. А я? Я стоял, как дурак, ничего не думал, глядел ей вслед и чувствовал, что земля колеблется подо мной. Когда я пришел в себя и вспомнил, где я и какую грандиозную пакость соорудил мне мой язык, я взвыл. Ее уже и след простыл, когда я захотел крикнуть ей: «Воротитесь!!»

Посрамленный, не солоно хлебавший, отправился я домой. У заставы конки уже не было. Денег на извозчика у меня тоже не было. Пришлось домой отправляться пешком.

Дня через три поехал я в Сокольники. На даче мне сказали, что Варя чем-то больна и собирается с отцом в Петербург, к бабушке. Толку никакого не добился…

Теперь лежу я на кровати, кусаю подушку и бью себя по затылку. За душу скребут кошки… Читатель, как поправить дело? Как воротить свои слова назад? Что ей сказать или написать? Уму непостижимо! Пропало дело — и как глупо пропало!

Скверная история
Нечто романообразное

Дело завязалось еще зимой.

Был бал. Гремела музыка, горели люстры, не унывали кавалеры, и наслаждались жизнью барышни. В залах были танцы, в кабинетах картеж, в буфете выпивка, в читальне отчаянные объяснения в любви.

Леля Асловская, кругленькая розовенькая блондинка, с большими голубыми глазами, с длиннейшими волосами и с цифрой 26 в паспорте, назло всем, всему свету и себе, сидела особняком и злилась. Душу ее скребли кошки. Дело в том, что мужчины вели себя по отношению к ней больше чем по-свински. В последние два года в особенности поведение их было ужасное. Она заметила, что они перестали обращать на нее внимание. Они стали неохотно плясать с ней. Мало того. Идет, каналья, мимо — и не посмотрит даже, как будто бы она перестала уже быть красавицей. А если и взглянет какой-нибудь как-нибудь нечаянно, невзначай, то взглянет не с удивлением, не платонически, а так, как

глядят перед обедом на сдобный расстегай или поросенка.

А между тем в былые годы…

— И этак каждый вечер, каждый бал!! — злилась Леля, кусая губы. — Я знаю, почему они не замечают меня, знаю! Они мстят! Мстят мне за то, что я их презираю! Но… но когда же, наконец, замуж? Разве так выйдешь замуж? Время не ждет ведь, не ждет! Негодяи вы этакие!

В описываемый вечер судьбе угодно было сжалиться над Лелей. Когда поручик Набрыдлов, вместо того чтобы плясать с нею обещанную третью кадриль, напился как стелька пьян и, проходя мимо нее, как-то глупо чмокнул губами и тем показал свое полное пренебрежение, она не вынесла… Злоба ее достигла апогея. Голубые глаза обволоклись влагой, губы задрожали.

Слезы готовы были брызнуть… Чтобы не показать профанам своих слез, она отвернулась к темным вспотевшим окнам, и — о, чудный миг, это ты! — у одного из окон увидела прекрасного юношу, который не спускал с нее глаз. Юноша изображал из себя картину умилительную, колющую как раз в самое сердце. Поза его была — шик, глаза полны любви, удивления, вопросов, ответов; лицо грустное. Леля моментально ожила.

Она приняла надлежащую позу и принялась за надлежащее наблюдение. Последнее показало, что юноша глядел не случайно, не так себе, а не спуская глаз, упиваясь и восхищаясь.

«Боже! — подумала Леля. — Хоть бы кто-нибудь догадался его представить! Что значит свежий мужчина! Сейчас заметил!»

Вскоре юноша завертелся, заходил по залам и начал приставать к мужчинам.

«Хочет познакомиться! Просит, чтоб представили!» — подумала, захлебываясь, Леля.

И подлинно. Минуток через десять актерик-любитель, с бритой шалопайской физиономией, внял просьбам юноши и, сильно шаркая ногами, представил его Леле. Юноша оказался «нашим», до чертиков талантливым художником, Ногтевым. Ногтев — юноша лет 24-х, брюнет, с страстными грузинскими глазами, с красивыми усиками и с бледными щеками. Он никогда ничего не пишет, но он художник. У него длинные волосы, эспаньолка, есть золотая палитра на часовой цепочке, золотые палитры вместо запонок, перчатки до локтей и неимоверно высокие каблуки. Малый добрый, но глупый, как гусь. Имеет благородного папашу, таковую же мамашу и богатую бабушку. Холост. Он несмело

пожал Лелину руку, несмело сел и, севши, начал пожирать Лелю своими большими глазами. Заговорил он нескоро и несмело. Леля тарахтела, а он говорил только: «Да… нет… я, знаете ли…», говорил чуть дыша, отвечая невпопад, и то и дело в смущении почесывая (свой, а не Лелин) левый глаз. Леля духовно аплодировала. Она порешила, что художник втюрился, и торжествовала.

На другой день, после бала, Леля сидела в своей комнате у окна и, торжествуя, глядела на улицу. По улице, перед ее окнами, взад и вперед блуждал Ногтев.

Ногтев блуждал и запускал глазенапа на ее окна. Он глядел, точно помирать собирался: грустно, томно, нежно, огненно. На третий день — то же самое. На четвертый был дождь, и его под окнами не было. (Ногтева убедил кто-то, что к его фигуре не идет зонтик.) На пятый день было сделано так, что он явился в дом Лелиных родителей с визитом. Знакомство затянулось гордиевым узлом: связалось до невозможности развязать.

Недели через четыре был опять бал. (Зри начало.)

Ногтев стоял у дверей, опершись плечами о косяк, и пожирал Лелю глазами. Леля, желая возбудить в нем ревность, кокетничала вдали

с поручиком Набрыдловым, который был пьян, но не как стелька, а так, чуть-чуть, на первом взводе.

К Ногтеву боком подошел ее рара.

— Все рисуете-с? — спросил рара. — Художеством занимаетесь?

— Да.

— Тэк-с… Хорошее дело… Дай бог, дай бог… Гм… Бог талант, значит, такой послал. Тэк… У всякого свой талант…

Рара помолчал и продолжал:

— А вот вы, молодой человек, знаете ли, вот что вы сделайте, коли вы того… все рисуете. Вы весной к нам пожалуйте, в деревню. Презанимательные места там есть! Виды, я вам скажу, страсть! Рахваелю таких не доводилось рисовать. Очень рады будем. Да и дочка с вами так… сдружилась… Э-э-хме… хме… Ммолодые люди, ммолодые люди! Хе-хе-хе…

Художник поклонился и первого мая сего года, вместе со своими пожитками, покатил в имение Асловских. Его пожитки состояли из ненужного ящика с красками, жилетки-пике, пустого портсигара и двух сорочек. Принят он был с объятиями самыми распростертыми. Дали в его распоряжение две комнаты, двух холуев, лошадь и все, что

пожелает, лишь бы только надежды подавал. Он воспользовался своим новым положением как нельзя лучше: ужасно много ел, много пил, долго спал, восхищался природой и не отрывал глаз от Лели. Леля была больше чем счастлива. Ей *он* был близок, был молод, хорош, был так робок… так любил! Он был так робок, что не умел подходить к ней, а глядел на нее все больше издалека, из-за портьеры или из-за кустика.

«Робкая любовь!» — думала Леля, вздыхая…

В одно прекрасное утро ее рара и Ногтев сидели в саду на скамье и беседовали. Рара прохаживался насчет прелестей семейного счастья, а Ногтев терпеливо внимал и глазами искал Лелиного торса.

— Вы у отца один сын? — спросил, между прочим, папа.

— Нет… У меня есть брат, Иван… Славный малый! Прелесть что за человек! Вы не знакомы с ним?

— Не имею чести…

— Жаль, что вы не знакомы. Он остряк такой, знаете ли, весельчак, душа человек! Литературой занимается. Все редакции его приглашают. В «Шуте» сотрудничает. Жаль, что не знакомы. Он рад был бы познакомиться… Вот что! Хотите, я

напишу, чтоб он сюда приехал? А? Ей-богу! Веселей будет!

Сердце рара от этакого предложения точно дверью прищемило, но — нечего делать! — нужно было сказать: «Очень рад!»

Ногтев подпрыгнул в знак своего хорошего расположения и немедленно написал брату приглашение.

Брат Иван не замедлил явиться. Явился он не один, а вкупе со своим другом, поручиком Набрыдловым, и огромнейшим беззубым, старым псом Туркой. Прихватил он их с собой для того, чтобы, как он выражался, дорогой разбойники не напали и выпить было бы с кем. Им отведены были три комнаты, два холуя и одна лошадь на двоих.

— Вы, господа, — сказал Иван хозяевам, — не беспокойтесь о нас! Нам ваших беспокойств не нужно. Нам ни перин, ни соусов, ни фортепианов — ничего не нужно! А вот ежели помилосердствуете насчет пивка и водочки, ну… тогда другое дело!

Если вы вообразите себе огромнейшего тридцатилетнего мордастого малого, в парусинной блузе, с паршивенькой бородкой, опухшими глазами и с галстухом в сторону, то вы избавите

меня от описания Ивана. Это был несноснейший в мире человек.

Когда он был трезв, он был еще сносен: на кровати лежал и молчал. Пьяный же был он невыносим, как репейник на голом теле. Когда он пьян, он говорит не умолкая, причем сквернословит, не стесняясь ни женским, ни детским присутствием. Говорит он о вшах, клопах, штанах и черт знает о чем. Других тем, более новых, у него не водится. Papa, maman и Леля недоумевали и краснели, когда Иван, сидя за обедом, начинал острить.

К несчастью, во все свое пребывание в имении Асловских ему ни разу не удалось быть трезвым. Набрыдлов же, маленький куценький поручик, во все лопатки старался походить на Ивана.

— Мы с ним не художники! — говорил он. — Куды нам! Мы мужички!

Иван и Набрыдлов первым делом из барских хором, где им показалось душно, перебрались во флигель к управляющему, который не прочь был выпить с порядочными людьми. Вторым делом, они поснимали сюртуки и защеголяли по двору и по саду без сюртуков. Леле то и дело приходилось в саду наталкиваться на валявшегося под деревом в дезабилье брата или поручика. Брат

и поручик пили, ели, кормили пса печенкой, острили над хозяевами, гонялись по двору за кухарками, громко купались, мертвецки спали и благословляли судьбу, случайно загнавшую их в те места, где можно à la сыр в масле кататься.

— Послушай, ты! — сказал однажды Иван художнику, подмигивая пьяным глазом в сторону Лели. — Ежели ты за ней… то черт с тобой! Мы не тронем. Ты первый начал, тебе и книги в руки. Честь и место! Мы благородно… Желаем успеха!

— Отбивать не станем, нет! — подтвердил Набрыдлов. — Было бы свинством с нашей стороны.

Ногтев пожал плечами и устремил свои жадные очи на Лелю.

Когда надоедает тишина, хочется бури; когда надоедает сидеть чинно и благородно, хочется дебош устроить. Когда Леле надоела робкая любовь, она начала злиться. Робкая любовь — это басня для соловья. К великой досаде, в июне художник был так же робок, как и в мае. В хоромах шили приданое; рара денно и нощно мечтал о займе денег для свадьбы, а между тем их отношения не вылились еще в определенную форму. Леля заставляла художника по целым дням удить с собой рыбу. Но это не помогло. Он стоял возле нее

с удочкой, молчал, заикался, пожирал ее глазами — и только. Ни одного сладко-ужасного слова! Ни одного признания!

— Называй меня… — сказал ему однажды рара. — Называй меня… Ты извини… что я говорю тебе «ты»… Я любя, знаешь… Называй меня папой… Это я люблю.

Художник стал сдуру величать рара папой, но и это не помогло. Он по-прежнему был нем там, где следовало возроптать на богов за то, что они дали человеку один только язык, а не десять. Иван и Набрыдлов скоро подметили тактику Ногтева.

— Черт тебя знает! — возроптали они. — Сам сена не жрешь и другим не даешь! Этакая скотина! Трескай же, дуб, коли кусок сам тебе в рот лезет! Не хочешь, так мы возьмем! То-то!

Но всему на этом свете бывает конец. Будет конец и этой повести. Кончилась и неопределенность отношений художника с Лелей.

Развязка романа произошла в средине июня.

Был тихий вечер. В воздухе пахло. Соловей пел во всю ивановскую. Деревья шептались. В воздухе, выражаясь длинным языком российских беллетристов, висела нега… Луна, разумеется, тоже была. Для полноты райской поэзии не хватало только г. Фета, который, стоя за кустом, во все-

услышание читал бы свои пленительные стихи.

Леля сидела на скамье, куталась в шаль и задумчиво глядела сквозь деревья на речку.

«Неужели я так неприступна?» — думала она, и воображению ее представлялась она сама, величественная, гордая, надменная… Размышления ее прервал подошедший рара.

— Ну, что? — спросил рара. — Все то же?

— То же.

— Гм… Черрт… Когда же все это кончится? Ведь мне, матушка, прокормить этих лодырей дорого стоит! Пятьсот в месяц! Не шутка! На одного пса три гривенника в день на печенку сходит! Коли свататься, так свататься, а нет, так и к черту и с братцем и с псом! Что же он говорит, по крайней мере? Говорил он с тобой? Объяснялся?

— Нет. Он, папа, такой застенчивый!

— Застенчивый… Знаем мы их застенчивость! Глаза отводит. Подожди, я его сейчас пришлю сюда. Покончи с ним, матушка! Нечего церемониться… Пора. Изволь-ка, матушка, того… Не молоденькая… Фокусы, небось, все уже знаешь!

Рара исчез. Минут через десять, робко пробираясь кустами сирени, показался художник.

— Вы меня звали? — спросил он Лелю.

— Звала. Подойдите сюда! Полно вам меня бе-

гать! Садитесь!

Художник тихохонько подошел к Леле и тихохонько сел на краешек скамьи.

«Какой он хорошенький в темноте!» — подумала Леля и, обратясь к нему, сказала:

— Расскажите-ка что-нибудь! Отчего вы такой скрытный, Федор Пантелеич? Отчего вы все молчите? Отчего вы никогда не откроете предо мной свою душу? Чем я заслужила у вас такое недоверие? Мне обидно, право… Можно подумать, что мы с вами не друзья… Начинайте же говорить!

Художник откашлялся, прерывисто вздохнул и сказал:

— Мне вам многое нужно сказать, очень многое!

— В чем же дело стало?

— Боюсь, чтоб вы не обиделись. Елена Тимофеевна, вы не обидитесь?

Леля захихикала.

«Настала минута! — подумала она. — Как дрожит! Как он дрожит! Поймался, голубчик?»

У Лели самой затряслись поджилки. Ее охватил столь любезный каждому романисту трепет.

«Минут через десять начнутся объятия, поцелуи, клятвы… Ах!» — замечтала она и, чтобы подлить масла в огонь, своим обнаженным горя-

чим локтем коснулась художника.

— Ну? В чем же дело? — спросила она. — Я не такая недотрога, как вы думаете… (Пауза.) Говорите же!.. (Пауза.) Скорей!!

— Видите ли… Я, Елена Тимофеевна, ничего в жизни так не люблю, как художество… искусство, так сказать. Товарищи находят, что у меня талант и что из меня выйдет неплохой художник…

— О, это наверное! Sans doute![93]

— Ну, да… Так вот… Люблю я свое искусство… Значит… Я предпочитаю жанр, Елена Тимофеевна! Искусство… Искусство, знаете ли… Чудная ночь!

— Да, редкая ночь! — сказала Леля и, извиваясь змеей, съежилась в шали и полузакрыла глаза. (Молодцы женщины по части амурных деталей, страсть, какие молодцы!)

— Я, знаете ли, — продолжал Ногтев, ломая свои белые пальцы, — давно уже собирался поговорить с вами, да все… боялся. Думал, что вы рассердитесь… Но вы, если поймете меня, то… не рассердитесь. Вы тоже любите искусство!

— О… Ну да… Как же! Искусство ведь!

— Елена Тимофеевна! Вы знаете, зачем я здесь?

---

[93] Примечания: 93
Без сомнения! *(франц.)*

Вы не можете догадаться?

Леля сильно сконфузилась и, якобы нечаянно, положила свою руку на его локоть…

— Это правда, — продолжал, помолчав, Ногтев. — Есть между художниками свиньи… Это правда… Они ни в грош не ставят женскую стыдливость… Но ведь я… я ведь не такой! У меня есть чувство деликатности. Женская стыдливость есть такая… такая стыдливость, которой негли-жировать нельзя!

«Для чего он говорит мне это?» — подумала Леля и спрятала в шаль свои локти.

— Я не похож на тех… Для меня женщина — святыня! Так что вам бояться нечего… Я не такой, я такой, что не позволю себе чепуху выделывать… Елена Тимофеевна! Вы позволите? Да выслушайте, я, ей-богу, ведь искренно, потому что я не для себя, а для искусства! У меня на первом плане искусство, а не удовлетворение скотских инстинктов!

Ногтев схватил ее за руку. Она подалась чуточку в его сторону.

— Елена Тимофеевна! Ангел мой! Счастье мое!

— Н… ну?

— Можно вас попросить?

Леля захихикала. Губы ее уже сложились для

первого поцелуя.

— Можно вас попросить? Умоляю! Ей-богу, для искусства! Вы мне так понравились, так понравились! Вы та, которую именно мне и нужно! К черту других! Елена Тимофеевна! Друг мой! Будьте моей…

Леля вытянулась, готовая пасть в объятия. Сердце ее застучало.

— Будьте моей…

Художник схватил ее за другую руку. Она покорно склонила головку на его плечо. Слезы счастья блеснули на ее ресницах…

— Дорогая моя! Будьте моей… натурщицей!

Леля подняла голову.

— Что?!

— Будьте моей натурщицей!

Леля поднялась.

— Как? Кем?

— Натурщицей… Будьте!

— Гм… Только-то?

— Вы меня премного обяжете! Вы дадите мне возможность написать картину и… какую картину!

Леля побледнела. Слезы любви вдруг обратились в слезы отчаяния, злобы и других нехороших чувств.

— Так вот… что? — проговорила она, трясясь всем телом.

Бедный художник! Ярко-красное зарево окрасило одну из его белых щек, когда звуки звонкой пощечины понеслись, мешаясь с собственным эхом, по темному саду. Ногтев почесал щеку и остолбенел. С ним приключился столбняк. Он почувствовал, что он проваливается сквозь всю вселенную… Из глаз посыпались молнии…

Леля, трепещущая, бледная как смерть, ошалевшая, сделала шаг вперед, покачнулась. По ней точно колесом проехали. Собравшись с силами, она неверной, больной походкой направилась к дому. Ноги ее подгибались, из глаз сыпались искры, руки тянулись к волосам с явным намерением вцепиться в оные…

До дома оставалось только несколько сажен, когда ей еще раз пришлось побледнеть. На ее пути, около беседки, увитой диким виноградом, стоял, широко растопырив руки, пьяный, мордастый Иван, непричесанный, с расстегнутой жилеткой. Он глядел в Лелино лицо, сардонически ухмылялся и осквернял воздух мефистофелевским «ха-ха». Он схватил Лелю за руку.

— Подите прочь! — прошипела Леля и отдернула руку…

Скверная история!

Двадцать девятое июня (Рассказ охотника, никогда в цель не попадающего)

Было четыре часа утра…

Степь обливалась золотом первых солнечных лучей и, покрытая росой, сверкала, точно усыпанная бриллиантовою пылью. Туман прогнало утренним ветром, и он остановился за рекой свинцовой стеной. Ржаные колосья, головки репейника и шиповника стояли тихо, смирно, только изредка покланиваясь друг другу и пошептывая. Над травой и над нашими головами, плавно помахивая крыльями, носились коршуны, кобчики и совы. Они охотились…

Аким Петрович Отлетаев, мировой судья, земский врач, я, зять Отлетаева Предположенский и волостной старшина Козоедов ехали все шестеро на отлетаевской коляске-розвальне на охоту. За коляской, вывалив языки, бежали четыре пса. Я и земский врач народ худенький, остальные же толсты, как стоведерные бочки, а потому, несмотря на то, что дедовская коляска была и широка и глубока, нам было до чертиков тесно. Я

то и дело толкал локтем и ружейным прикладом в живот Козоедова. Все мы толкались, пыхтели, морщились, всей душой ненавидели друг друга и с нетерпением ждали того времени, когда нам можно будет вылезть из коляски. Ехали мы подальше в степь пострелять куропаток, стрепетов, перепелов, болотной дичи и, если фортуна оглянется на нас, дрохв. Предводительствовал нами хозяин коляски и коней Отлетаев, по милости которого мы и ехали на охоту. Тела наши были сдавлены, но зато души были преисполнены радостями самого высшего качества!

Кто никогда не ездил и не шлялся на охоту, тому не понять этих радостей. Мы держали наши ружья и глядели на них так любовно, как маменьки глядят на своих сыночков, подающих большие надежды.

— А каков наш будет маршрут? — спросил я, когда мы отъехали от Отлетаевки верст на десять.

— Сейчас едем на Еланчик, — отвечал Отлетаев, — бекасов стрелять… Отсюда это верст восемь будет. Там же и перепелов на просе постреляем… Пострелявши перепелов, ночевать станем, а уж завтра чуть свет у нас самая-то настоящая стрельба начнется…

— А что, господа, как думаете, — спросил я, по-

казывая пальцем на коршуна, который купался далеко в небесной синеве, — можно ли попасть отсюда? Попадете?

— Не попадешь! — сказал Отлетаев. — Далеко очень! Впрочем, из моего ружья попадешь…

— И из вашего ружья не попадешь, — заметил Предположен-ский.

— Попадешь. Дробью не попадешь, не достанет, а пулей, наверно…

— И пулей не попадешь.

— Уж это позвольте мне знать, попаду я или не попаду! Вы ружья моего не знаете, а я знаю… Вы отродясь не видали хороших ружей, а потому это вам и кажется таким странным… Я и дальше попадал…

Предположенский откинул назад голову и засмеялся…

— Чего же смеешься? — продолжал Отлетаев. — Не веришь, небось?

— Разумеется, не верю.

— Гм… Ружья моего, значит, не знаешь… Ружье замечательное! Недаром шестьсот целковых стоит…

— Сколь… ко?? — спросил Предположенский и вытянул шею… — Сколько? Повторите, папаша!

— Шестьсот рублей… Чего же ты смеешься? Ты

погляди на ружье, да потом и скаль зубы!

— Я вижу… Чьей фабрики?

— Марсельское… Фабрики Лепелье…

— Лепелье? Не слыхал что-то такой фабрики… Ружье, как ружье… Рублей сто стоит… Не люблю, тесть, когда вы врете! Зачем врать? Я не понимаю, зачем врать?

— Ружье хорошее, — заметил мировой, — но шестисот не стоит. Вы переплатили, Аким Петрович!

— Он вовсе не переплачивал! — горячился Предположенский, — он врет! Врет, как школяр!

Отлетаев завертелся и покраснел.

— Не таковский, чтоб врать, — сказал он. — Так-то-с! Ты вот… ты вот так врешь! Ну да! Ты вот так и норовишь уколоть! С тобой ездить не следует. Я не знаю, зачем я с тобой поехал!..

— И не ездил бы… Зачем врать, не понимаю! Врет, как свинья!

— Сам свинья! Свинья и дурак вместе с тем…

Мы начали усовещевать Предположенского.

— Пусть он не врет! — оправдывался непокорный зять. — Моя душа возмущается, ежели кто врет… И свиньей пусть не бранится. Сам он свинья, вот что! А если ему неприятно, что я еду, так… шут с ним! Я могу и не ехать!

— Ну, полноте! Аким Петрович и не думал вас оскорблять! Стоит ли поднимать бурю из-за пустяков?

Предположенский надулся, как объевшийся индюк, и умолк.

— Нельзя-с! — обратился, немного погодя, к Предположенскому Козоедов. — Нельзя-с! Он вам теперь, можно сказать, заместо родителев, тесть он вам, а вы грубости наносите… А грешно!

Зять взглянул презрительно на старшину и сардонически усмехнулся…

— Тебя спрашивают нешто? — спросил он. — Спрашивают? Молчи, коли… Сиди, ежели сидишь!.. Заместо родителев… Говорить еще не умеешь, а тоже лезешь… Гм… Суконное ры… Мужлан!

— Вот видите-с, какие вы! Не любите, коли люди покойно сидят. Я хотя и из простого звания произошел, хотя, могу сказать, и никакого образования не проходил, но могу сказать, что имею в груди, и в сердце, и в душе всякие чувства, а вы вот так нет, хоть вы и науки проходили по всем степеням… Так-то-с!

— Перестаньте, господа! — вмешался я. — Полно вам друг другу мораль читать! Давайте молчать…

Отлетаев с сопеньем вытащил из бокового кармана объемистый, сильно потертый портсигар и запустил в него свои толстые пальцы. Доктор и мировой протянули руки к его портсигару.

— Нет-с, извините-с! — сказал внушительно Отлетаев. — Дружба дружбой, а табачок врозь. Мне самому не хватит… Дорога велика, а у меня папирос-то с собой только четыре десятка…

Доктор и мировой сильно сконфузились и, чтобы скрыть подальше от света белого свой конфуз, засвистали из «Мадам Айго».

Отлетаев был глуп, как сорок тысяч братьев, и невежа страшная…

Мы его терпеть не могли. Сконфуженный доктор закурил собственную папироску и начал рассказывать анекдоты. Рассказал он их штук двадцать; из них только один не был сальным, остальные же так и таяли в наших ушах.

— А вы, батенька, мастер! — похвалил я доктора. — Не знал я, что вы такой юморист!

— Да-с… Кое-что знаем, — сказал доктор. — Ежели б я захотел в журналах сотрудничать, то миллионы бы имел. Больше вашего зарабатывал бы.

— Не сомневаюсь… Чего же не сотрудничаете?

— Не хочу!

— Почему же?

— Не хочу, вот и все! Совесть есть! Нешто человек с совестью может в ваших журналах писать? Никогда! Я даже не читаю никогда газет! Считаю болванами тех, кто выписывает их, тратит деньги…

— А я наоборот, — заметил мировой, — считаю тех болванами, кто не тратит деньги на газеты…

— Доктор не в духе сегодня, — сказал я. — Не будем его трогать…

— Кто вам сказал, что я не в духе? Я в духе… Вы потому так заступаетесь за газеты, что в них пишете, а по-моему, они… тьфу! Яйца выеденного не стоят. Врут, врут и врут. Первые враны и сплетники! Газетчики — те же адвокаты… Врут и не имеют совести!

— Я был адвокатом, — сказал мировой, — а совесть имел.

Предположенский и Козоедов переглянулись и ехидно улыбнулись.

— Я не про вас говорю… Я вообще… Вообще все мошенники… И газетчики, и адвокаты, и все…

Я, вместо того чтобы молчать, продолжал заступаться за газетчиков. Мировой продолжал заступаться за адвокатов… В коляске поднялся спор.

— А медицина-то ваша? — ухватился я. — Медицина?

Что она стоит? Небось не врете? Только денежки берете! Что такое доктор? Доктор есть предисловие гробокопателя… вот что-с! Впрочем, я не знаю, для чего я с вами спорю? Разве у вас есть логика? Вы кончили университет, но рассуждаете, как банщик…

— Говорите хладнокровно! Можно, полагаю, и без оскорблений!

— Газетчиков и адвокатов ругаем, — забасил Предположенский, — а самой настоящей-то врали и не видим… Потолкуйте-ка с тестюшкой, он любого адвоката по брехательной части за пояс заткнет…

И так далее… Слово за слово, гримаса за гримасой, сплетня за сплетней, и дело зашло черт знает куда…

Мы начали рассказывать все, что за зиму накопилось в наших душах друг против друга. Мы перещеголяли старых девок.

Между тем пока мы, невыспавшиеся, полупьяные, каверзили друг против друга, солнце поднималось все выше и выше… Туман исчез окончательно, и начался летний день… Было кругом тихо, славно…

Только мы одни нарушали тишину…

Подъехав к первому попавшемуся болотцу, мы вылезли из коляски и, сердитые, надутые, побрели в разные стороны. Водворять среди нас согласие взялся Козоедов. Он подбросил высоко вверх трехкопеечную монету, выстрелил в нее и попал. Мы все вместе подняли монету, сосчитали на ней число следов от дроби и кое-как разговорились.

Предположенский согнал коростеля и убил. Мы его поздравили и крикнули «ура». Согласие было бы окончательно водворено, если бы не доктор. Доктор, пока мы поздравляли Предположенского с первым успехом, подошел к коляске, развязал кулек и принялся ублажать себя водочкой и закуской.

— Доктор! Что это вы там делаете? — крикнул Отлетаев.

— Ем и пью.

— Какое же вы имеете право распоряжаться?

— А что?

— Это для вас положено? Не понимаю этого, извините, свинства! Не мог подождать! Что это вы раскупорили? Батюшки! Это моя настойка! Какое вы имеете право, милостивый государь?

— Не кричите, пожалуйста! Потише!

— Ведь эту настойку я для себя взял! Слаб здоровьем, взял настойки, и… на поди! Раскупорили! Просили его! Заверните балык!

— Не заверну! Вам, неприличный и неделикатный человек, должно быть известно, что на охоте все общее… Какой вы, извините, невежа!

Доктор выпил рюмку настойки и назло Отлетаеву отрезал себе огромнейший кусок балыка. Предположенский подскочил к коляске и, чтобы насолить тестю, выпил из горлышка половину настойки… У Отлетаева навернулись слезы.

— Это вы назло? — зашептал он, — хорошо же! Хорошо! Вот вы как… Мерси боку…[94]

Мировой, не знавший, в чем дело, подошел к коляске.

— А-а-а?.. Закусываете? — спросил он. — А не рано ли? Впрочем, одну пропустить не мешает… За ваше здоровье!

Мировой налил себе рюмку настойки и выпил.

— Очень хорошо-с! Прекрасно-с! — крикнул уже Отлетаев.

— Что прекрасно? — спросил мировой.

— Ничего…

Отлетаев сел в коляску, бросил на траву кулек,

---

[94] Примечания: 94
Очень благодарен *(франц,* merci beaucoup).

иронически нам поклонился и ударил кучера Петра по спине.

— Поезжай! — крикнул он.

— Куда это вы? — удивились мы…

— Ежели я вам противен… необразован… Козоедов! Иди садись, голубчик! Где нам, мужикам, с господами учеными охотиться? Освободим их от своего присутствия! Иди, милый!

— Куда же вы? Что вы дурака корчите?

— Ежели я дурак, то зачем вам беспокоиться?.. Пущай! Я и есть дурак… Прощайте-с… я домой…

— А мы же на чем поедем?

— На чем знаете… Коляска моя.

— Да ты, тестюшка, белены, что ли, объелся? — крикнул Предположенский.

Козоедов сел рядом с Отлетаевым и смиренно снял шляпу.

— Ты с ума сошел? — продолжал Предположенский. — Вылезай из коляски!

— Не вылезу. Прощай, зять! Ты человек образованный, гуманный, цивилизованный… А я… Что я?

— А ты — дурак! Господа, что же это такое? Кто его раздразнил? Вы, доктор? Вы, черт вас возьми, вечно лезете со своим ученым носом не в свое дело!

— Я для вас не тесть… Прошу не орать, — обиделся доктор. — Коли будете орать, так и я уеду…

— И уезжайте! Велика потеря! Скажите пожалуйста!

Доктор пожал плечами, вздохнул и полез в коляску. Мировой махнул рукой и тоже полез в коляску.

— Мы вечно так, — вздохнул он. — Никогда у нас ничего не выходит…

— Погоняй! — крикнул Отлетаев.

Петр чмокнул губами, дернул вожжи, и коляска тронулась с места.

Я и Предположенский переглянулись.

— Стой! — крикнул я и побежал за коляской. — Стой!

— Стой! — заорал Предположенский. — Стой, скоты!

Коляска остановилась, и мы уселись.

— Я тебе все это припомню! — сказал, сверкая глазами, Предположенский и погрозил тестю кулаком. — Все! До смерти будешь помнить этот день!

До самого дома мы ехали молча. В душах наших радости высшего качества сменились самыми скверными чувствами. Мы готовы были слопать друг друга и не слопали только потому, что не

знали, с какого конца начать лопать… Когда мы подъехали к отлетаевскому дому, на террасе сидела мадам Отлетаева и пила кофе…

— Вы приехали? — удивилась она. — Что так рано?

Мы вылезли из коляски и молча направились к воротам.

— Куда же вы, господа? — закричала мадам Отлетаева. — А кофе пить? А обедать? Куда вы?

Мы повернулись к крыльцу и молча, внушительно погрозили нашими огромными кулаками. Предположенский плюнул по направлению к крыльцу, выругался и отправился спать в конюшню.

Дня через два Отлетаев, Предположенский, Козоедов, мировой, земский врач и я сидели в доме Отлетаева и играли в стуколку. Мы играли в стуколку и по обыкновению грызли друг друга…

Дня через три мы поругались насмерть, а через пять пускали вместе фейерверк…

Мы ссоримся, сплетничаем, ненавидим, презираем друг друга, но разойтись мы не можем. Не удивляйтесь и не смейтесь, читатель! Поезжайте в Отлетаевку, поживите в ней зиму и лето, и вы узнаете, в чем дело…

Глушь — не столица… В Отлетаевке рак — рыба,

Фома — человек и ссора — живое слово…

Который из трех?
(Старая, но вечно новая история)

На террасе роскошной старинной дачи статской советницы Марьи Ивановны Лангер стояли дочь Марьи Ивановны — Надя и сынок известного московского коммерсанта Иван Гаврилович.

Вечер был великолепный. Будь я мастер описывать природу, я описал бы и луну, которая ласково глядела из-за тучек и обливала своим хорошим светом лес, дачу, Надино личико… Описал бы и тихий шепот деревьев, и песни соловья, и чуть слышный плеск фонтанчика… Надя стояла, опершись коленом о край кресла и держась рукой за перила. Глаза ее, томные, бархатные, глубокие, глядели неподвижно в темную зеленую чащу… На бледном, освещенном луной личике играли темные тени — пятнышки: это румянец… Иван Гаврилович стоял позади нее и нервно, дрожащей рукой пощипывал свою жидкую бородку. Когда ему надоедало щипать бородку, он начинал поглаживать и трепать другой рукой свое высокое, некрасивое жабо. Иван Гаврилович некрасив. Он похож на свою маменьку, напоми-

нающую собой деревенскую кухарку. Лоб у него маленький, узенький, точно приплюснутый; нос вздернутый, тупой, с заметной выемкой вместо горбины, волос щетиной. Глаза его, маленькие, узкие, точно у молодого котенка, вопросительно глядели на Надю.

— Вы извините меня, — говорил он, заикаясь, судорожно вздыхая и повторяясь, — извините меня, что я рассказываю вам… про свои чувства… Но я вас так полюбил, что даже не знаю, в своем ли я уме нахожусь, или нет… В груди моей такие чувства к вам, что и выразить этого невозможно! Я, Надежда Петровна, как только вас увидал, так сразу и втюрился, полюбил то есть. Вы извините меня, конечно, но… ведь… (Пауза.) Приятная нонче природа!

— Да… Погода великолепная…

— И при такой самой природе как приятно, знаете ли-с, любить такую приятную особу, как вы… Но я несчастлив!

Иван Гаврилович вздохнул и дернул себя за бородку.

— Очень несчастлив-с! Я вас люблю, страдаю, а… вы? Нешто вы можете чувствовать ко мне чувства? Вы образованная, ученая… все по-благородному… А я? Я купеческого звания и… больше

ничего! Как есть ничего! Денег-то много, но что толку с тех денег, если нет настоящего счастья? Без счастья с этими самыми деньгами одно только окаянство да… пустоцвет. Ешь хорошо, ну… пешком не ходишь… пустая жизнь… Надежда Петровна!

— Ну?

— Ни… ничего-с! Я хотел, собственно говоря, вас побеспокоить…

— Что вам?

— Можете ли вы меня любить? (Пауза.) Я предлагал вашей маменьке… мамаше то есть, свое сердце и руку относительно вас, и оне сказали, что все от вас зависит… Вы можете, говорит, и без родительской воли… Как вы мне ответите?

Надя молчала. Она взглянула в темную зеленую чащу, где еле-еле обрисовывались стволы и узорчатая листва… Ее занимали движущиеся черные тени от деревьев, которые слегка покачивались от ветерка своими верхушками. Молчание ее душило Ивана Гавриловича. На глазах его выступили слезы. Он страдал. «Ну что — ежели она откажет?» — думалось ему, и эта невеселая дума морозом резала по его широкой спине…

— Сделайте милость, Надежда Петровна, — проговорил он, — не терзайте мою душу… Ведь я,

ежели лезу к вам, то от любви… Потому… (Пауза.) Ежели… (Пауза.) Ежели вы не ответите мне, то хоть умирай.

Надя повернула свое лицо к Ивану Гавриловичу и улыбнулась… Она протянула ему свою руку и заговорила голосом, который прозвучал в ушах московского коммерсанта песнью сирены:

— Очень вам благодарна, Иван Гаврилович… Я уже давно знаю, что вы меня любите, и знаю, как вы любите… Но я… я… Я вас тоже люблю, Жан…

Вас нельзя не полюбить за ваше доброе сердце, за вашу преданность…

Иван Гаврилович раскрыл широко рот, засмеялся и, счастливый, провел себя ладонью по лицу: не сон ли, мол?

— Я знаю, что если я выйду за вас замуж, — продолжала Надя, — то я буду самая счастливая… Но знаете что, Иван Гаврилович? Подождите немножко ответа… Ответить положительно сейчас я не могу… Я должна этот шаг обдумать хорошенько… Подумать надо… Потерпите немного.

— А долго ждать?

— Нет, немного… День, много два…

— Это можно-с…

— Вы сейчас уедете, а ответ я дам письмом… Уезжайте сейчас домой, а я пойду думать… Про-

щайте… Через день…

Надя протянула руку. Иван Гаврилович схватил ее и поцеловал. Надя кивнула головой, поцеловала воздух, спорхнула с крыльца и исчезла… Иван Гаврилович постоял минуты две-три, подумал и отправился через маленький цветник и рощу к своим лошадям, которые стояли на просеке. Он раскис и ослабел от счастья, точно его целый день продержали в горячей ванне… Он шел и смеялся от счастья.

— Трофим! — разбудил он спавшего кучера. — Вставай! Едем! На чай пять желтеньких! Понял? Ха-ха!

Между тем Надя прошмыгнула сквозь все комнаты на другую террасу, спустилась с этой террасы и, пробираясь сквозь деревья, кусты и кустики, побежала на другую просеку. На этой просеке ожидал ее друг ее детства, молодой человек лет двадцати шести, барон Владимир Штраль. Штраль — миленький толстенький немец-карапузик, с уже заметной плешью на голове. Он в этом году кончил курс в университете, едет в свое харьковское именье и пришел в последний раз, проститься… Он был слегка пьян и, полулежа на скамье, насвистывал «Стрелочка».

Надя подбежала к нему и, тяжело дышащая,

утомленная бегом, повисла на его шее. Звонко хохоча и теребя его за шею, за волосы и воротник, она осыпала его жирное, потное лицо поцелуями…

— Я тебя уже целый час жду, — сказал барон, обнимая ее за талию…

— Ну что — здоров?

— Здоров…

— Едешь завтра?

— Еду…

— Противный… Возвратишься скоро?

— Не знаю…

Барон поцеловал Надю в щеку и ссадил ее с колен на скамью.

— Ну, будет целоваться, — сказала Надя. — После… Впереди еще много времени. Теперь потолкуем о деле. (Пауза.) Ты, Воля, подумал?

— Подумал…

— Ну что ж, как? Когда… свадьба?

Барон поморщился.

— Ты опять о том же! — сказал он. — Ведь я тебе еще вчера дал… положительный ответ… Ни о какой свадьбе не может быть и речи! Я тебе еще вчера сказал… Зачем заводить разговор о том, что уже тысячу раз было пересказано?..

— Но, Воля, должны наши отношения чем-ни-

будь кончиться! Как ты это не поймешь? Ведь должны?

— Должны, но не свадьбой… Ты, Nadine, повторяю я в сотый раз, наивна, как трехлетнее дитя… Наивность к лицу хорошеньким женщинам, но не в данном случае, душа моя…

— Не хочешь жениться, значит! Не хочешь? Ты говори прямо, бессовестная твоя душа, говори прямо: не хочешь?

— Не хочу… С какой стати я буду себе портить карьеру? *Я люблю* тебя, но ведь ты сгубишь меня, если я на тебе женюсь… Ты мне не дашь ни состояния, ни имени… Женитьба должна, мой друг, быть половиной карьеры, а ты… Плакать нечего… Надо рассуждать здраво… Браки по любви никогда не бывают счастливы и оканчиваются обыкновенно пуфом…

— Лжешь… Ты лжешь! Вот что!

— Женись, а потом с голоду умирай… Нищих плоди… Рассуждать нужно…

— А отчего ты тогда не рассуждал… помнишь? Ты тогда дал мне честное слово, что ты на мне женишься… Ведь дал?

— Дал… Но теперь изменились мои планы… Ведь ты не выйдешь за бедного человека? Зачем же ты заставляешь меня жениться на бедной? Я

не имею желания поступить с собой по-свински. У меня есть будущее, за которое я должен ответить пред своею совестью.

Надя утерла платком глаза и вдруг неожиданно, нечаянно бросилась опять на шею к православному немцу. Она припала к нему и принялась осыпать его лицо поцелуями.

— Женись! — залепетала она. — Женись, голубчик! Ведь я люблю тебя! Ведь я жить без тебя не могу, моя прелесть! Ты меня убьешь, если расстанешься со мной! Женишься? Да?

Немец подумал и решительным тоном сказал:

— Не могу! Любовь — хорошая вещь, но на этом свете она не прежде всего…

— Так не хочешь?

— Нет… Не могу…

— Не хочешь? Верно, что не хочешь?

— Не могу, Nadine!

— Подлец, негодяй… вот что! Мошенник! Немчура! Я тебя терпеть не могу, ненавижу, презираю! Ты гадок! Я тебя и не любила никогда! Если я в тот вечер и поддалась тебе, то только потому, что считала тебя честным человеком, думала, что ты женишься на мне… Я тебя и тогда терпеть не могла! Хотела выйти за тебя, потому что ты барон и богач!

Надя замахала руками и, отступив на несколько шагов от Штраля, пустила в него еще несколько колкостей и отправилась домой… «Напрасно я ходила сейчас к нему, — думала она, идя домой. — Ведь знала же я, что он не захочет жениться? Вот негодяй! Дура была я в тот вечер! Не поддайся я ему тогда, теперь бы не было надобности унижаться перед этой… немчурой».

Придя во двор дачи, Надя не пошла в комнаты. Она походила по двору и остановилась у одного слабо освещенного окна. Окно это выходило из комнаты, в которой обитала на летнем положении молодая, только что выпущенная из консерватории, первая скрипка, Митя Гусев. Надя начала глядеть в окно. Митя, плечистый, курчавый блондин, недурной собой, был дома. Он без сюртука и жилетки лежал на кровати и читал роман. Надя постояла, подумала и постучала в окно. Первая скрипка подняла голову.

— Кто там?

— Это я, Дмитрий Иваныч… Отворите-ка окно на минутку!..

Митя быстро надел сюртук и отворил окно.

— Идите сюда… Лезьте ко мне… — сказала Надя. Митя показался на окне и через секунду был уже возле Нади.

— Что вам угодно?

— Пойдемте! — сказала Надя и взяла Митю под руку.

— Вот что, Дмитрий Иваныч, — сказала она. — Не пишите мне, голубчик, любовных писем! Пожалуйста, не пишите! Не любите меня и не говорите мне, что вы меня любите!

Слезы сверкнули на глазах Нади и полились струей по щекам, по рукам…

Слезы были самые настоящие, горючие, крупные…

— Не любите меня, Дмитрий! Не играйте для меня на скрипке! Я гадкая, противная, нехорошая… Я такая, которую нужно презирать, ненавидеть, бить…

Надя зарыдала и положила свою головку на грудь Мити.

— И я самая гадкая, и мысли мои гадкие, и сердце…

Митя растерялся, забормотал какую-то ерунду и поцеловал Надю в голову…

— Вы добрый, хороший… Я, честное слово, люблю вас… Ну, а вы не любите меня! Я люблю больше всего на свете деньги, наряды, коляски… Я умираю, когда думаю, что у меня нет денег… Я мерзкая, эгоистка… Не любите, душечка, Дмит-

рий Иваныч! Не пишите мне писем! Я выхожу замуж… за Гаврилыча. Видите — какая я! А вы еще… любите меня! Прощайте! Я вас буду любить и замужем… Прощай, Митя!

Надя быстро обняла Гусева, быстро поцеловала его в шею и побежала к воротам.

Придя к себе в комнату, Надя села за стол и, горько плача, написала следующее письмо: «Дорогой Иван Гаврилыч! Я ваша. Я вас люблю и хочу быть вашей женою… Ваша Н.»

Письмо было запечатано и сдано горничной для отправки по адресу.

«Завтра… что-нибудь привезет…» — подумала Надя и глубоко вздохнула.

Этот вздох был финалом ее плача. Посидев немного у окна и успокоившись, Надя быстро разделась, и ровно в полночь дорогое пуховое одеяло, с вышивками и вензелями, уже грело спящее, изредка вздрагивающее тело молодой, хорошенькой, развратной гадины.

В полночь Иван Гаврилович шагал у себя по кабинету и мечтал вслух.

В кабинете сидели его родители и слушали его мечтания… Они радовались и были счастливы за счастливого сына…

— Девица-то она хорошая, благородная, — гово-

рил отец. — Советника дочь, да и красавица. Одна только беда: фамилия у нее немецкая! Подумают люди, что ты на немке женился…

Ярмарка

Маленький, еле видимый городишко. Называется городом, но на город столько же похож, сколько плохая деревня на город. Если вы хромой человек и ходите на костылях, то вы обойдете его кругом, взад и вперед, в десять-пятнадцать минут и того менее. Домики все плохенькие, ветхие. Любой дом купите за пятиалтынный с рассрочкой по третям. Жителей его можно по пальцам пересчитать: голова, надзиратель, батюшка, учитель, дьякон, человек, ходящий на каланче, дьячок, два-три обывателя, два жандарма — и больше, кажется, никого… Женского пола много, но ведь женский пол статистами в большинстве случаев во внимание не принимается. (Статисты знают, что курица — не птица, кобыла — не лошадь, офицерская жена — не барыня…) Приезжих ужасно много: помещики-соседи, дачники, поручики временно прохлаждающейся здесь батареи, волосастый дьякон из соседнего села в лиловой рясе, с бегемотовой октавой, et cetera. Погода — так себе. То и дело дождь, что наводит на купующих и куплю деющих некоторое уныние. Воздух великолепен. Московские запахи отсутствуют.

Пахнет лесом, ландышами, дегтем и как будто бы чуточку хлевом. Из всех закоулочков, щелочек и уголков веет меркантильным духом. Что ни шаг — то балаган. Два ряда балаганов тянутся по главной улице от начала до конца и загромождают собой всю площадь, в которую вливается главная улица. В церковной ограде продают бабы семена. Яблоку негде упасть. Обозов, лошадей, коров, телят, поросят ужас сколько! Мужиков мало, но баб… баб!! Все наполнено бабами. Все они в красных платьях и черных плисовых кофтах. Их так много, и стоят они так тесно, что по головам их может смело проскакать на пожар «сбор всех частей».

Пьяных — увы! — почему-то мало. В воздухе стоит непрерывный гам, писк, визг, скрип, блеянье, мычанье.

Шум такой, как будто строится вторая вавилонская башня.

Все окна обывательские настежь. Сквозь них виднеются самовары, чайники с отбитыми носиками и обывательские физии с красными носами. Под окнами торчат знакомые с покупками и жалуются на погоду. Дьякон в лиловой рясе, с соломой в волосах, пожимает всем руки и возглашает во всеуслышание: «Ммое почтение! С

праздником честь имею! А… кгм!!?»

Мужеский пол группируется около лошадей и коров. Тут торговля производится на десятки и даже на сотни рублей. Главные воротилы по лошадиной части, разумеется, цыгане. Божатся, клянутся и желают себе всяких напастей во все лопатки. Проданная лошадь передается при помощи полы, из чего явствует, что бесполый человек лошадей ни продавать, ни покупать не может. Лошади все больше чернорабочие, плебеи.

Женский пол кружится вокруг красного товара и балаганов с пряниками. Неумолимое время наложило печать на эти пряники. Они покрыты сладкой ржавчиной и плесенью. Покупайте эти пряники, но держите их, пожалуйста, подальше ото рта, не то быть беде! То же можно сказать и о сушеных грушах, о карамели. Несчастные баранки покрыты рогожей, покрыты также и пылью. Бабам все нипочем. Брюхо не зеркало.

Мухи не могут облепить так меда, как мальчишки облепили балаган с игрушками. Денег у них — ни-ни… Они стоят и только пожирают глазами лошадок, солдатиков и оловянные пистолетики. Видит око, да зуб неймет. Иной смельчак возьмет в руки пищик, подержит его, повертит, попищит,

положит на место — и, довольный, вытрет нос. Нет того балагана, около которого не торчало бы десятка два-три мальчишек. Стоят и глядят часа по два, по три, поистине с адским терпением. Купите вы какому-нибудь Федюшке, Петре, Васютке пистолетик или льва с коровьей мордой и черными полосами на спине — и вы наполните его сердце безграничнейшею радостью.

Из-за локтей мальчиков выглядывают девочки. Внимание их приковано теми же лошадками и куклами в марлевых юбочках. Детей вы увидите около мороженщиков, которые продают «сахарное» и очень плохое мороженое. У кого есть копейка, тот ест из зеленой рюмочки, ест долго, с чувством, толком, расстановкою, боясь не уловить минуты блаженства, чавкая, облизываясь, облизывая пальцы. Один ест, а десятка два не имущих копейки стоят «руки по швам» и с завистью заглядывают в рот счастливчика. А тот ест — и ломается…

— Петра, дай… ложечку! — стонет девочка, следя за правой рукой счастливчика.

— Отстань! — говорит счастливчик и крепче сжимает в кулаке зеленую рюмочку.

— Петра! — стонет мальчик в большом отцовском картузе. — Одолжи!

— Чего?

— Сахарного морожена. Немножко. (Пауза.) Дашь? Ты ложечку. Я тебе пять бабок дам.

— Отстань! — говорит счастливчик.

Счастливчик съедает свою порцию, долго облизывает губы и долго-долго живет воспоминаниями о сахарном мороженом.

Эх, кабы деньги!! Где вы, пятаки и пятиалтынные? Нет ничего хуже, томительнее и мучительнее, как ходить в отцовском картузе по ярмарке, видеть и слышать, осязать и обонять и в то же время не иметь за душой ни копейки. Сколь же счастлив тот Федюшка или Егорка, который может съесть на копейку мороженого, выстрелить во всеуслышание из пистолетика и купить за пятачок лошадку! Маленькое счастье, еле видимое, а и того нет!

Зубоскалов, пьяных и шатающихся по ярмарке без дела тянет к балаганам с артистами. Театров два. Воздвигнуты они среди площади, стоят рядом и глядят серо. Состряпаны они из дрючьев, плохих, мокрых, склизких досок и лохмотьев. На крышах латка на латке, шов на шве. Бедность страшная. На перекладинах и досках, изображающих наружную террасу, стоит человека два-три паяцов и потешают стоящую внизу публику.

Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит. Паяцы подмигивают, корчат рожи, ломают комедь, но… увы! Прародители всех наших пушкинских и не пушкинских сцен давно уже отжили свой век и давным-давно уже сослужили свою службу. Во время оно головы их были носителями едкой сатиры и заморских истин, теперь же остроумие их приводит в недоумение, а бедность таланта соперничает с бедностью балаганной обстановки. Вы слушаете, и вам становится тошно. Не странствующие артисты перед вами, а голодные двуногие волки. Голодуха загнала их к музе, а не что-либо другое… Есть страшно хочется! Голодные, оборванные, истаскавшиеся, с болезненными, тощими физиономиями, они корчатся на террасе, стараются скорчить идиотскую рожу, чтобы зазвать в свой балаган лишнего зубоскала, получить лишний гривенник… Получается не идиотская рожа, а пошлая: смесь апатии с деланной, привычной, ничего не выражающей гримасой. Подмигивание глазом, пощечины, удары друг друга по спине, фамильярные заговаривания с толпой, заговаривания свысока… и больше ничего. Слов их не слушайте. Артисты по принуждению говорят не

по вдохновению и не по заранее обдуманной, цель имеющей, программе. Речь их не имеет смысла. Произносится она с кривляньем, а потому, вероятно, и вознаграждается смехом.

— Стой ровно!

— Я не Марья Петровна, а Иван Федосеев.

Это образец их остроумия. «Шуты и дети говорят иногда правду», но, надо полагать, и шутом нужно быть по призванию, чтобы не всегда говорить чепуху, а иногда и правду…

А публика почтенная глазеет и заливается. Ей простительно, впрочем: лучшего не видала, да и позубоскалить хочется. К плохим пряникам, свободному времени, легкому «подшофе» недостает только смеха. Дайте толчок, и произойдет смех.

Балаганов числом два. В обоих каждые четверть часа даются блистательные представления. По вечерам даются особенные представления, выходящие из ряда вон. Я опишу одно из этих представлений.

Самое блистательное представление было дано перед отъездом артистов из города, в первое воскресенье после ярмарочного дня. За сутки до спектакля клоуны разносили по городу афиши (писаные). Принесли афишу и мне. Вот она, эта афиша:

«В Городи NN.

С дозволением начальства на N-..ской площади там будет большое Приставление имнастическое и акрабатическое Приставление Трубой Артистов Подуправление Н. Г. Б. состоящи из имнастических и акрабатических Искуст Куплетов таблиц и понтомин в двух оделениях.

1-е. Разные удивительные И увеселительные фокусы из белой Магий или Проворства и ловкость рук исполнено будет до 20 Предметов Клоуном уробертом.

2-е. Прышки и скачки сортале морталей воздух исполнет Клоун Доберт и малолетные Андрияс ивансон.

3-е. Английский человек бескостей или Каучук Мин у которава все члены гибки подобны резинки.

4-е. Камический куплет ивансон Тероха исполнит малолетний. (Далее в том же роде.)

9 часов вечера цена Местам

1 место — 50 к.

2 место — 40 к.

3 место — 30 к.

4 место — 20 к.

Галдарея — 10 к.»

Я укоротил афишу, но ничего не прибавил.

На описываемом спектакле присутствовала вся местная знать (становой с семьей, мировой с семьей, доктор, учитель — всего 17 человек). Интеллигенция поторговалась и заплатила за первые места только по четвертаку. Билеты продает сам хозяин, личность довольно типичная. Хозяин — тип во вкусе Грачевки и Дюковки. Мы заплатили, вошли и заняли первые места. Публика ломит, балаган полнехонек. Внутренность балагана самая нероскошная. Вместо занавеси, служащей в то же время и кулисой, ситцевая тряпочка в квадратный сажень. Вместо люстры четыре свечи. Артисты благосклонно исполняют должность артистов, и капельдинеров, и полицейских. На все руки мастера. Лучше всего оркестр, который заседает направо на лавочке. Музыкантов четыре. Один пилит на скрипке, другой на гармонии, третий на виолончели (с 3 контрабасовыми струнами), четвертый на бубнах. Играют все больше «Стрелочка», играют машинально, фальшивя на чем свет стоит. Игрок на бубнах восхитителен. Он бьет рукой, локтем, коленом и чуть ли не пяткой. Бьет, по-видимому, с наслаждением, с чувством, занимаясь собой. Рука его ходит по бубну как-то неестественно ловко, вытанцовывая пальцами такие нотки,

какие не взять в толк и скрипачу.

Кажется, что его рука движется вокруг продольной и поперечной оси.

Перед началом спектакля входит чуйка, крестится и садится на первое место. К нему подходит клоун.

— Извольте сесть в галерею, — просит клоун. — Здесь первые места.

— Отстань!

— И чиво вы уселись, как медведь какой-нибудь? Уходите! Это не ваше место!

Чуйка неумолима. Она надвигает на глаза фуражку и не хочет уступить своего места.

Начинаются фокусы. Клоун просит у публики шляпы. Публика отказывает.

— Ну, так и фокусов не будет! — говорит клоун. — Господа, нет ли у кого-нибудь пятака?

Чуйка предлагает свой пятак. Клоун проделывает фокус и, возвращая пятак, скрадывает его себе в рукав. Чуйка пугается.

— Да ты того… Постой! Фокусов ты, брат, не представляй! Ты пятак давай!

— Не желает ли кто-нибудь побриться, господа? — возглашает клоун.

Из толпы выходят два мальчика. Их покрывают грязным одеялом и измазывают их физиономии

одному сажей, другому клейстером. Не церемонятся с публикой!

— Да разве это публика? — кричит хозяйка. — Это окаянные!

После фокусов — акробатик с неизвестными «сарталями-морталями» и девицей-геркулесом, поднимающей на косах чертову пропасть пудов. На средине спектакля происходит крушение одной стены балагана, а в конце — крушение всего балагана.

В общем впечатление неказистое. Купующие и куплю деющие немного потеряли бы, если бы не было на ярмарке балагана. Странствующий артист перестал быть артистом. Ныне он шарлатанит.

Возле балаганов с артистами — качели. За пятачок вас раз пять поднимут выше всех домов и раз пять опустят. С барышнями делается дурно, а девки вкушают блаженство. Suum cuique![95]

---

[95] Примечания: 95
Каждому свое! *(лат.)*

Речь и ремешок

Он собрал нас к себе в кабинет и голосом, дрожащим от слез, трогательным, нежным, приятельским, но не допускающим возражений, сказал нам речь.

— Я знаю все, — сказал он. — Все! Да! Насквозь вижу. Я давно уже заметил этот, так сказать, э… э… э… дух, атмосферу… дуновение. Ты, Цицюльский, читаешь Щедрина, ты, Спичкин, читаешь тоже что-то такое… Все знаю. Ты, Тупоносов, сочиняешь… тово… статьи, там, всякие… и вольно держишь себя. Господа! Прошу вас! Прошу вас не как начальник, а как человек… В наше время нельзя так. Либерализм этот должен исчезнуть.

Говорил он в таком роде очень долго. Пронял всех нас, пронял теперешнее направление, похвалил науки и искусства, с оговоркой о пределе и рамках, из коих наукам выходить нельзя, и упомянул о любви матерей… Мы бледнели, краснели и слушали. Душа наша мылась в его словах. Нам хотелось умереть от раскаяния. Нам хотелось облобызать его, пасть ниц… зарыдать… Я глядел в спину архивариуса, и мне казалось, что эта спина не плачет только потому, что боится нарушить

общественную тишину.

— Идите! — кончил он. — Я все забыл! Я не злопамятен… Я… я… Господа! История говорит нам… Мне не верите, верьте истории… История говорит нам…

Но увы! Мы не узнали, что говорит нам история. Голос его задрожал, на глазах сверкнули слезы, вспотели очки. В тот же самый момент послышались всхлипывания: то рыдал Цицюльский. Спичкин покраснел, как вареный рак. Мы полезли в карманы за платками. Он замигал глазками и тоже полез за платком.

— Идите! — залепетал он плачущим голосом. — Оставьте меня! Оставь… те… Ммда…

Но увы! Выньте вы из часов маленький винтик или бросьте вы в них ничтожную песчинку — и остановятся часы. Впечатление, произведенное речью, исчезло, как дым, у самых дверей своего апогея. Апофеоз не удался… и благодаря чему же? Ничтожеству!

Он полез в задний карман и вместе с платком вытащил оттуда какой-то ремешок. Нечаянно, разумеется. Ремешок, маленький, грязненький, закорузлый, поболтался в воздухе змейкой и упал к ногам архивариуса. Архивариус поднял его обеими руками и с почтительным содроганием

во всех членах положил на стол.

— Ремешок-с, — прошептал он.

Цицюльский улыбнулся. Заметив его улыбку, я, и сам того не желая, прыснул в кулак… как дурак, как мальчишка! За мной прыснул Спичкин, за ним Трехкапитанский — и все погибло! Рухнуло здание.

— Ты чего же это смеешься? — услышал я громовой голос.

Батюшки-светы! Гляжу: *его* глаза глядят на меня, только на меня… в упор!

— Где ты находишься? А? Ты в портерной? А? Забываешься? Подавай в отставку! Мне *либералов* не надо.

Нарвался

«Спать хочется! — думал я, сидя в банке. — Приду домой и завалюсь спать».

— Какое блаженство! — шептал я, наскоро пообедав и стоя перед своей кроватью. — Хорошо жить на этом свете! Важно!

Бесконечно улыбаясь, потягиваясь и нежась на кровати, как кот на солнце, я закрыл глаза и принялся засыпать. В закрытых глазах забегали мурашки; в голове завертелся туман, замахали крылья, полетели к небу из головы какие-то меха… с неба поползла в голову вата… Все такое большое, мягкое, пушистое, туманное. В тумане забегали маленькие человечки. Они побегали, покрутились и скрылись за туманом… Когда исчез последний человечек и дело Морфея было уже в шляпе, я вздрогнул.

— Иван Осипыч, сюда! — гаркнули где-то.

Я открыл глаза. В соседнем номере стукнули и откупорили бутылку. Я повернулся на другой бок и укрыл голову одеялом.

«Я вас любил, любовь еще, быть может»… — затянул баритон в соседнем номере.

— Отчего вы не заведете себе пианино? — спро-

сил другой голос.

— Черрти, — проворчал я. — Не дадут уснуть!

Откупорили другую бутылку и зазвонили посудой. Зашагал кто-то, звеня шпорами. Хлопнули дверью.

— Тимофей, скоро же ты самовар? Живей, брат! Тарелочек еще! Ну-с, господа? По христианскому обычаю. По маленькой… Мадемуазель-стриказель, бараньи ножки, же ву при![96]

В соседнем номере начался кутеж. Я спрятал голову под подушку.

— Тимофей! Если придет высокий блондин в медвежьей шубе, то скажешь ему, что мы здесь…

Я плюнул, вскочил и постучал в стену. В соседнем номере притихли. Я опять закрыл глаза. Забегали мурашки, меха, вата… Но — увы! — через минуту опять заорали.

— Господа! — крикнул я умоляющим голосом. — Ведь это, наконец, свинство! Ведь вас просят! Я болен и спать хочу.

— Это вы нам?

— Вам.

— Что вам угодно?

— Не извольте кричать! Я спать хочу!

---

[96] Примечания: 96
Прошу вас *(франц.* je vous prie).

— Спите, вам никто не мешает; а если вы больны, так отправляйтесь к доктору! «У рыцарей любовь и честь»… — запел баритон.

— Как это глупо! — сказал я. — Очень глупо! Даже подло.

— Прошу не рассуждать! — послышался за стеной старческий голос.

— Удивительно! Повелитель какой нашелся! Птица важная! Да вы кто такой?

— Не рассуж-дать!!!

— Мужичье! Надулись водки и орут!

— Не рас-суж-дать!!! — раз десять повторил старческий, охрипший голос.

Я ворочался на кровати. Мысль, что я не сплю по милости праздных гуляк, приводила меня мало-помалу в ярость… Поднялась пляска…

— Если вы не замолчите, — крикнул я, захлебываясь от злости, — то я пошлю за полицией! Человек!! Тимофей!

— Не рассуждать!!! — еще раз крикнул старческий голосок.

Я вскочил и, как сумасшедший, побежал к соседям. Мне захотелось во что бы то ни стало настоять на своем.

Там кутили… На столе стояли бутылки. За столом сидели какие-то личности с выпуклыми,

рачьими глазами. В глубине номера на диване полулежал лысый старичок… На его груди покоилась головка известной кокотки-блондинки. Он глядел на мою стену и дребезжал:

— Не рассуждать!!

Я раскрыл рот, чтобы начать ругаться и… о ужас!!!

В старичке я узнал директора того банка, где я служу. Мигом слетели с меня и сон, и злость, и фанаберия… Я выбежал от соседей.

Целый месяц директор не глядел на меня и не сказал мне ни единого слова… Мы избегали друг друга. Через месяц он боком подошел к моему столу и, нагнув голову, глядя на пол, проговорил:

— Я полагал… надеялся, что вы сами догадаетесь… Но вижу, что вы не намерены… Гм… Вы не волнуйтесь. Даже можете сесть… Я полагал, что… Нам двоим служить невозможно… Ваше поведение в номерах Булгыхина… Вы так испугали мою племянницу… Вы понимаете… Сдадите дела Ивану Никитичу…

И, подняв голову, он отошел от меня…

А я погиб.

Неудачный визит

Франт влетает в дом, в котором ранее никогда еще не был. С визитом приехал… В передней встречается ему девочка лет шестнадцати, в ситцевом платьице и белом фартучке.

— Ваши дома? — обращается он развязно к девочке.

— Дома.

— Мм… Персик! И барыня дома?

— Дома, — говорит девочка и почему-то краснеет.

— Мм. Штучка! Шшшельмочка! Куда шапку положить?

— Куда угодно. Пустите! Странно…

— Ну, чего краснеешь? Эка! Не слопаю…

И франт бьет девочку перчаткой по талии.

— Эка! А ничего! Недурна! Поди доложи!

Девочка краснеет, как мак, и убегает.

— Молода еще! — заключает франт и идет в гостиную.

В гостиной встреча с хозяйкой. Садятся, болтают…

Минут через пять через гостиную проходит девочка в фартучке.

— Моя старшая дочь! — говорит хозяйка и указывает на ситцевое платье.

Картина.

Идиллия – увы и ах!

— Дядя мой — прекраснейший человек! — говорил мне не раз бедный племянник и единственный наследник капитана Насечкина, Гриша. — Я люблю его всей душой… Зайдемте к нему, голубчик! Он будет очень рад!

И слезы навертывались на глазах Гриши, когда он говорил о дядюшке. К чести его сказать, он не стыдился этих хороших слез и плакал публично! Я внял его просьбам и неделю тому назад зашел к капитану. Когда я вошел в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную картину. В большом кресле среди залы сидел старенький, худенький капитан и кушал чай. Перед ним на одном колене стоял Гриша и с умилением мешал ложечкой его чай.

Вокруг коричневой шеи старичка обвивалась хорошенькая ручка Гришиной невесты… Бедный племянник и невеста спорили о том, кто из них скорей поцелует дядюшку, и не жалели поцелуев для старичка.

— А теперь вы сами поцелуйтесь, наследники! — лепетал Насечкин, захлебываясь от счастья…

Между этими тремя созданиями существовала завиднейшая связь. Я, жестокий человек, замирал от счастья и зависти, глядя на них…

— Да-с! — говорил Насечкин. — Могу сказать: пожил на своем веку! Дай бог всякому. Одних осетров сколько поел! Страсть! Например, взять бы хоть того осетра, что в Скопине съели… Гм! И теперь слюнки текут…

— Расскажите, расскажите! — говорит невеста.

— Приезжаю это я в Скопин со своими тысячами, детки, и прямо… гм… к Рыкову… господину Рыкову. Человек… уу! Золотой господин! Джентльмен! Как родного принял… Какая, кажись бы, надобность ему, а… как с родным! Ей-богу! Кофеем потчевал… После кофею закуска… Стол… На столе распивочно и на вынос… Осетр… от угла до угла… Омары… икорка. Ресторант!

Я вошел в залу и прервал Насечкина. Это было аккурат в тот день, когда в Москве было получено первое телеграфическое известие о том, что скопинский банк лопнул.

— Детками наслаждаюсь! — сказал мне Насечкин после первых приветствий и, обратясь к деткам, продолжал хвастливым тоном: — И общество благородное… Чиноначальники, духовенство… иеромонахи, иереи… После каждой

рюмочки под благословение подходишь… Сам весь в орденах… Генералу нос утрет… Скушали осетра… Подали другого… Съели… Потом уха с стерлядкой… фазаны…

— На вашем месте я теперь икал и страдал бы изжогой от этих осетров, а вы хвастаетесь… — сказал я. — Много у вас пропало за Рыковым?

— Зачем пропало?

— Как зачем? Да ведь банк лопнул!

— Шутки! Стара песня… И прежде пугали…

— Так вам еще неизвестно? Батенька! Серапион Егорыч! Да ведь это… это… это… Читайте!

Я полез в карман и вытащил оттуда газетину. Насечкин надел очки и, недоверчиво улыбаясь, принялся читать. Чем более он читал, тем бледнее и длиннее делалась его физиономия.

— Ло… ло… лллопнул! — заголосил он и затрясся всеми членами. — Бедная моя головушка!

Гриша покраснел, прочитал газету, побледнел… Дрожащая рука его потянулась за шапкой… Невеста зашаталась…

— Господа! Да неужели вы только теперь об этом узнали? Ведь уж об этом вся Москва говорит. Господа! Успокойтесь!

Час спустя стоял я один-одинешенек перед капитаном и утешал его:

— Полно, Серапион Егорыч! Ну что ж? Деньги пропали, зато детки остались.

— Это правда… Деньги суета… Детки… Это точно.

Но увы! Через неделю я встретился с Гришей.

— Сходите, батенька, к дядюшке! — обратился я к нему. — Отчего вы к нему не сходите? Совсем бросили старика!

— А ну его к черту! Очень он мне нужен, старый черт! Дурак! Не мог найти другого банка!

— Все-таки сходите. Ведь он ваш дядя!

— Он? Ха-ха!.. Вы смеетесь? Откуда вы это взяли? Он троюродный брат моей мачехи! Десятая вода на киселе! Нашему слесарю двоюродный кузнец!

— Ну хоть невесту пошлите к нему!

— Да! Черт вас дернул показывать газету до свадьбы! До свадьбы не могли подождать со своими новостями!.. Теперь она рожу воротит. Тоже ведь на дядюшкин каравай рот разевала! Дура чертова… Разочарована теперь.

Так, сам того не желая, разрушил я теснейшее трио… завиднейшее трио!

Добрый знакомый

По зеркальному льду скользят мужские ботфорты и женские ботинки с меховой опушкой. Скользящих ног так много, что, будь они в Китае, для них не хватило бы бамбуковых палок. Солнце светит особенно ярко, воздух особенно прозрачен, щечки горят ярче обыкновенного, глазки обещают больше, чем следует… Живи и наслаждайся, человек, одним словом! Но…

«Дудки!» — говорит судьба в лице моего… доброго знакомого.

Я вдали от катка сижу на скамье под голым деревом и беседую с «ней». Я готов ее скушать вместе с ее шляпкой, шубкой и ножками, на которых блестят коньки, — так хороша! Страдаю и в то же время наслаждаюсь! О, любовь! Но… дудки…

Мимо нас проходит наш департаментский «отворяйло и запирайло», наш Аргус и Меркурий, пирожник и рассыльный, Спевсип Макаров. В руках его чьи-то калоши, мужские и женские, должно быть превосходительные. Спевсип делает мне под козырек и, глядя на меня с умилением и любовью, останавливается около самой скамьи.

— Холодно, ваше высокобл… бл… На чаишко

бы! Хе-хе-с…

Я даю ему двугривенный. Эта любезность трогает его донельзя. Он усиленно мигает глазками, оглядывается и говорит шепотом:

— Оченно мне жалко вас, обидно, ваше благородие!.. Страсть как жалко! Точно вы мне сынок… Человек вы золотой! Душа! Доброта! Смиренник наш! Когда намедни *он,* превосходительство то есь, накинулся на вас — тоска взяла! Ей-богу! Думаю, за что он его? Ты и лентяй, и молокосос, и тебя выгоню, то да се… За что? Когда вы вышли от него, так на вас лица вашего не было. Ей-богу… А я гляжу, и мне жалко… Ох, у меня всегда сердечность к чиновникам!

И, обратись к моей соседке, Спевсип прибавляет:

— Уж больно они плохи у нас насчет бумаг-то. Не ихнее это дело в умственных бумагах… Шли бы по торговой части или… по духовной… Ей-богу! Ни одна бумага у них толком не выходит… Все зря! Ну и достается на орехи… *Сам* зael его совсем… Турнуть хочет… А мне жалко. Их благородие добрые…

Она смотрит мне в глаза с самым обидным состраданием!

— Ступай! — говорю я Спевсипу, задыхаясь…

Я чувствую, что у меня даже калоши покраснели. Осрамил, каналья! А в стороне, за голыми кустами, сидит ее папенька, слушает и глазеет на нас, чтобы я впредь до «титулярного» не смел и думать о… На другой стороне, за другими кустами, прохаживается ее маменька и наблюдает за «ней». Я чувствую эти четыре глаза… и готов подохнуть…

Пережитое
(Психологический этюд)

Был Новый год. Я вышел в переднюю.

Там, кроме швейцара, стояло еще несколько наших: Иван Иваныч, Петр Кузьмич, Егор Сидорыч… Все пришли расписаться на листе, который величаво возлегал на столе. (Бумага, впрочем, была из дешевых, № 8.)

Я взглянул на лист. Подписей слишком много и… о лицемерие! О двуличие! Где вы, росчерки, подчерки, закорючки, хвостики? Все буквы кругленькие, ровненькие, гладенькие, точно розовые щечки. Вижу знакомые имена, но не узнаю их. Не переменили ли эти господа свои почерки?

Я осторожно умокнул перо в чернильницу, неизвестно чего ради сконфузился, притаил дыхание и осторожно начертил свою фамилию. Обыкновенно я никогда в своей подписи не употреблял конечного «ера», теперь же употребил: начал его и закончил.

— Хочешь, я тебя погублю? — услышал я около своего уха голос и дыхание Петра Кузьмича.

— Каким образом?

— Возьму и погублю. Да. Хочешь? Хе-хе-хе…

— Здесь нельзя смеяться, Петр Кузьмич. Не забывайте, где вы находитесь. Улыбки менее чем уместны. Извините, но я полагаю… Это профанация, неуважение, так сказать…

— Хочешь, я тебя погублю?

— Каким образом? — спросил я.

— А таким… Как меня пять лет тому назад фон Кляузен погубил… Хе-хе-хе. Очень просто… Возьму около твоей фамилии и поставлю закорючку. Росчерк сделаю. Хе-хе-хе. Твою подпись неуважительной сделаю. Хочешь?

Я побледнел. Действительно, жизнь моя была в руках этого человека с сизым носом. Я поглядел с боязнью и с некоторым уважением на его зловещие глаза…

Как мало нужно для того, чтобы сковырнуть человека!

— Или капну чернилами около твоей подписи. Кляксу сделаю… Хочешь?

Наступило молчание. Он с сознанием своей силы, величавый, гордый, с губительным ядом в руке, я с сознанием своего бессилия, жалкий, готовый погибнуть — оба молчали. Он впился в мое бледное лицо своими буркалами, я избегал его взгляда…

— Я пошутил, — сказал он наконец. — Не бойся.

— О, благодарю вас! — сказал я и, полный благодарности, пожал ему руку.

— Пошутил… А все-таки могу… Помни… Ступай… Покедова пошутил… А там что бог даст…

Философские определения жизни

Жизнь нашу можно уподобить лежанию в бане на верхней полочке. Жарко, душно и туманно. Веник делает свое дело, банный лист липнет, и глазам больно от мыла. Отовсюду слышны возгласы: поддай пару! Тебе мылят голову и перебирают все твои косточки. Хорошо! *(Сара Бернар)*

* * *

Жизнь нашу можно уподобить сапогу порванному: вечно каши просит, но никто ему оной не дает. *(Ж. Занд)*

* * *

Жизнь нашу можно уподобить князю Мещерскому, который вечно толчется, вечно снует, восклицает, стонет и машет руками, вечно рождается и умирает, но никогда не видит плодов от дел своих. Вечно родит, но все рождаемое — мертворожденно. *(Бокль)*

* * *

Жизнь нашу можно уподобить безумцу, ведущему самого себя в квартал и пишущему на себя кляузу. *(Коклен)*

* * *

Жизнь наша подобна газете, которой уже объявлено второе предостережение, *(Кант)*

* * *

Жизнь нашу нельзя уподобить письму, которое не опасно читать вслух, но можно уподобить письму, боящемуся не дойти по адресу. *(Дрэпер)*

* * *

Жизнь наша подобна ящику в наборной, наполненному знаками препинания. *(Конфуций)*

* * *

Жизнь наша подобна старой деве, не теряющей надежды выйти замуж, и морде, покрытой прыщами и морщинами: некрасивая морда, но

обижается, когда бьют ее. *(Араби-паша)*

* * *

Жизнь нашу, наконец, можно уподобить уху отмороженному, которое не отрезывают только потому, что надеются на его, уха, выздоровление. *(Шарко)*

Из разных философских сочинений
повычерпнул Антоша Чехонте.

Мошенники поневоле
(Новогодняя побрехушка)

У Захара Кузьмича Дядечкина вечер. Встречают Новый год и поздравляют с днем ангела хозяйку Меланью Тихоновну.

Гостей много. Народ все почтенный, солидный, трезвый и положительный. Прохвоста ни одного. На лицах умиление, приятность и чувство собственного достоинства. В зале на большом клеенчатом диване сидят квартирный хозяин Гусев и лавочник Размахалов, у которого Дядечкины забирают по книжке. Толкуют они о женихах и дочерях.

— Нонче трудно найти человека, — говорит Гусев. — Который непьющий и обстоятельный… человек, который работающий… Трудно!

— Главное в доме — порядок, Алексей Василич! Этого не будет, когда в доме не будет того… который… в доме порядок…

— Порядка коли нет в доме, тогда… все этак… Глупостев много развелось на этом свете… Где быть тут порядку? Гм…

Около них на стульях сидят три старушки и

с умилением глядят на их рты. В глазах у них написано удивление «уму-разуму». В углу стоит кум Гурий Маркович и рассматривает образа. В хозяйской спальной шум. Там барышни и кавалеры играют в лото. Ставка — копейка. Около стола стоит гимназист первого класса Коля и плачет. Ему хочется поиграть в лото, а его не пускают за стол. Разве он виноват, что он маленький и что у него нет копейки?

— Не реви, дурак! — увещевают его. — Ну, чего ревешь? Хочешь, чтоб мамаша высекла?

— Это кто ревет? Колька? — слышится из кухни голос маменьки. — Мало я его порола, пострела… Варвара Гурьевна, дерните его за ухо!

На хозяйской постели, покрытой полинялым ситцевым одеялом, сидят две барышни в розовых платьях. Перед ними стоит малый лет двадцати трех, служащий в страховом обществе, Копайский, en face очень похожий на кота. Он ухаживает.

— Я не намерен жениться, — говорит он, рисуясь и оттягивая пальцами от шеи высокие, режущие воротнички. — Женщина есть лучезарная точка в уме человеческом, но она может погубить человека. Злостное существо!

— А мужчины? Мужчина не может любить.

Грубости всякие делает.

— Как вы наивны! Я не циник и не скептик, а все-таки понимаю, что мужчина завсегда будет стоять на высшей точке относительно чувств.

Из угла в угол, как волки в клетке, снуют сам Дядечкин и его первенец Гриша. У них души горят. За обедом они сильно выпили и теперь страстно желают опохмелиться… Дядечкин идет в кухню. Там хозяйка посыпает пирог толченым сахаром.

— Малаша, — говорит Дядечкин. — Закуску бы подать. Гостям закусить бы…

— Подождут… Сейчас выпьете и съедите все, а что я подам в двенадцать часов? Не помрете. Уходи… Не вертись перед носом!

— По рюмочке бы только, Малаша… Никакого тебе от этого дефицита не будет… Можно?

— Наказание! Уйди, тебе говорят! Ступай с гостями посиди! Чего в кухне толчешься?

Дядечкин глубоко вздыхает и выходит из кухни. Он идет поглядеть на часы. Стрелки показывают восемь минут двенадцатого. До желанного мига остается еще пятьдесят две минуты. Это ужасно! Ожидание выпивки самое тяжелое из ожиданий. Лучше пять часов прождать на морозе поезд, чем пять минут ожидать выпивки… Дядечкин с ненавистью глядит на часы и, походив немно-

го, подвигает большую стрелку дальше на пять минут… А Гриша? Если Грише не дадут сейчас выпить, то он уйдет в трактир и там выпьет. Умирать от тоски он не согласен…

— Маменька, — говорит он, — гости сердятся, что вы закуски не подаете! Свинство одно только… Голодом морить!.. Дали бы по рюмке!

— Подождите… Мало осталось… Скоро уж… Не толчись в кухне.

Гриша хлопает дверью и идет в сотый раз поглядеть на часы. Большая стрелка безжалостна! Она почти на прежнем месте.

— Отстают! — утешает себя Гриша и указательным пальцем подвигает стрелку вперед на семь минут.

Мимо часов бежит Коля. Он останавливается перед ними и начинает считать время… Ему ужасно хочется поскорей дожить до того момента, когда крикнут «ура!». Стрелка своею неподвижностью колет его в самое сердце. Он взбирается на стул, робко оглядывается и похищает у вечности пять минут.

— Подите, поглядите, келер этиль?[97] — посылает одна из барышень Копайского. — Я умираю

---

[97] Примечания: 97
Который час? *(франц,* quelle heure est-il).

от нетерпения. Новый год ведь! Новое счастье!

Копайский шаркает обеими ногами и мчится к часам.

— Черт подери, — бормочет он, глядя на стрелки. — Как еще долго! А жрать страсть как хочется… Катьку беспременно поцелую, когда ура крикнут.

Копайский отходит от часов, останавливается… Подумав немного, он ворочается и укорачивает старый год на шесть минут. Дядечкин выпивает два стакана воды, но… горит душа! Он ходит, ходит, ходит… Жена то и дело гонит его из кухни. Бутылки, стоящие на окне, рвут его за душу. Что делать! Нет сил терпеть! Он опять хватается за последнее средство. Часы к его услугам. Он идет в детскую, где висят часы, и наталкивается на картину, неприятную его родительскому сердцу: перед часами стоит Гриша и двигает стрелку.

— Ты… ты… ты что это делаешь? А? Зачем ты стрелку подвинул? Дурак ты этакий! А? Зачем это? А?

Дядечкин кашляет, мнется, страшно морщится и машет рукой.

— Зачем? А-а-а… Да двигай же ее, штоб она сдохла, подлая! — говорит он и, оттолкнув сына от часов, подвигает стрелку.

До Нового года остается одиннадцать минут. Папаша и Гриша идут в зал и начинают приготовлять стол.

— Малаша! — кричит Дядечкин. — Сичас Новый год!

Меланья Тихоновна выбегает из кухни и идет проверить супруга… Она долго глядит на часы: муж не врет.

— Ну как тут быть? — шепчет она. — А ведь у меня еще горошек для ветчины не сварился! Гм. Наказание. Как я им подам?

И, подумав немного, Меланья Тихоновна дрожащей рукой двигает большую стрелку назад. Старый год обратно получает двадцать минут.

— Подождут! — говорит хозяйка и бежит в кухню.

Гадальщики и гадальщицы (Подновогодние картинки)

Старуха-нянюшка гадает папаше-интенданту.

— Дорога, — говорит она.

— Куда?

Нянюшка машет рукой на север. Лицо папаши бледнеет.

— Вы едете, — добавляет старуха, — а у вас на коленях мешок с деньгами…

По лицу папаши пробегает сияние.

* * *

Чиноша сидит за столом и при свете двух свеч глядит в зеркало. Он гадает: какого роста, цвета и темперамента будет его новый, еще пока не назначенный начальник. Он глядит в зеркало час, другой, третий… В глазах его бегают мурашки, прыгают палочки, летают перья, а начальника нет как нет! Ничего не видно, ни начальников, ни подчиненных. Проходит четвертый час, пятый… Наконец ему надоедает ожидать нового начальника. Он встает, машет рукой и вздыхает.

— Место остается вакантным, значит, — гово-

рит он. — А это нехорошо. Нет больше зла, чем безначалие!

* * *

Барышня стоит на дворе за воротами и ждет прохожего. Ей нужно узнать, как будут звать ее суженого. Идет кто-то. Она быстро отворяет калитку и спрашивает:

— Как вас звать?

В ответ на свой вопрос она слышит мычанье и сквозь полуотворенную калитку видит большую темную голову… На голове рога…

«Пожалуй, верно, — думает барышня. — Разница только в морде».

* * *

Редактор ежедневной газеты садится погадать о судьбах своего детища.

— Оставьте! — говорят ему. — Охота вам себя расстраивать! Бросьте!

Редактор не слушает и глядит в кофейную гущу.

— Рисунков много, — говорит он. — Да черт их разберет… Это рукавицы… Это на ежа похоже… А вот нос… Точно у моего Макара… Теленок вот…

Ничего не разберу!

* * *

Докторша гадает перед зеркалом и видит… гробы.

«Что-нибудь из двух, — думает она. — Или кто-нибудь умрет, или у моего мужа в этом году будет большая практика…»

Кривое зеркало
(Святочный рассказ)

Я и жена вошли в гостиную. Там пахло мохом и сыростью. Миллионы крыс и мышей бросились в стороны, когда мы осветили стены, не видавшие света в продолжение целого столетия. Когда мы затворили за собой дверь, пахнул ветер и зашевелил бумагу, стопами лежавшую в углах. Свет упал на эту бумагу, и мы увидели старинные письмена и средневековые изображения. На позеленевших от времени стенах висели портреты предков. Предки глядели надменно, сурово, как будто хотели сказать:

— Выпороть бы тебя, братец!

Шаги наши раздавались по всему дому. Моему кашлю отвечало эхо, то самое эхо, которое когда-то отвечало моим предкам…

А ветер выл и стонал. В каминной трубе кто-то плакал, и в этом плаче слышалось отчаяние. Крупные капли дождя стучали в темные, тусклые окна, и их стук наводил тоску.

— О, предки, предки! — сказал я, вздыхая значительно. — Если бы я был писателем, то, глядя

на портреты, написал бы длинный роман. Ведь каждый из этих старцев был когда-то молод и у каждого, или у каждой, был роман… и какой роман! Взгляни, например, на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая женщина имеет свою, в высшей степени интересную повесть. Видишь ли ты, — спросил я у жены, — видишь ли зеркало, которое висит там в углу?

И я указал жене на большое зеркало в черной бронзовой оправе, висевшее в углу около портрета моей прабабушки.

— Это зеркало обладает волшебными свойствами: оно погубило мою прабабушку. Она заплатила за него громадные деньги и не расставалась с ним до самой смерти. Она смотрелась в него дни и ночи, не переставая, смотрелась даже, когда пила и ела. Ложась спать, она всякий раз клала его с собой в постель и, умирая, просила положить его с ней вместе в гроб. Не исполнили ее желания только потому, что зеркало не влезло в гроб.

— Она была кокетка? — спросила жена.

— Положим. Но разве у нее не было других зеркал? Почему она так полюбила именно это зеркало, а не другое какое-нибудь? И разве у нее не было зеркал получше? Нет, тут, милая, кроется

какая-то ужасная тайна. Не иначе. Предание говорит, что в зеркале сидит черт, и что у прабабушки-де была слабость к чертям. Конечно, это вздор, но несомненно, что зеркало в бронзовой оправе обладает таинственной силой.

Я смахнул с зеркала пыль, поглядел в него и захохотал. Хохоту моему глухо ответило эхо. Зеркало было криво и физиономию мою скривило во все стороны: нос очутился на левой щеке, а подбородок раздвоился и полез в сторону.

— Странный вкус у моей прабабушки! — сказал я.

Жена нерешительно подошла к зеркалу, тоже взглянула в него — и тотчас же произошло нечто ужасное. Она побледнела, затряслась всеми членами и вскрикнула. Подсвечник выпал у нее из рук, покатился по полу, и свеча потухла. Нас окутал мрак. Тотчас же я услышал падение на пол чего-то тяжелого: то упала без чувств моя жена.

Ветер застонал еще жалобней, забегали крысы, в бумагах зашуршали мыши. Волосы мои стали дыбом и зашевелились, когда с окна сорвалась ставня и полетела вниз. В окне показалась луна…

Я схватил жену, обнял и вынес ее из жилища предков. Очнулась она только на другой день

вечером.

— Зеркало! Дайте мне зеркало! — сказала она, приходя в себя. — Где зеркало?

Целую неделю потом она не пила, не ела, не спала, а все просила, чтобы ей принесли зеркало. Она рыдала, рвала волосы на голове, металась, и наконец, когда доктор объявил, что она может умереть от истощения и что положение ее в высшей степени опасно, я, пересиливая свой страх, опять спустился вниз и принес ей оттуда прабабушкино зеркало. Увидев его, она захохотала от счастья, потом схватила его, поцеловала и впилась в него глазами.

И вот прошло уже более десяти лет, а она все еще глядится в зеркало и не отрывается ни на одно мгновение.

— Неужели это я? — шепчет она, и на лице ее вместе с румянцем вспыхивает выражение блаженства и восторга. — Да, это я! Все лжет, кроме этого зеркала! Лгут люди, лжет муж! О, если бы я раньше увидела себя, если бы я знала, какая я на самом деле, то не вышла бы за этого человека! Он не достоин меня! У ног моих должны лежать самые прекрасные, самые благородные рыцари!..

Однажды, стоя позади жены, я нечаянно поглядел в зеркало и — открыл страшную тайну. В

зеркале я увидел женщину ослепительной красоты, какой я не встречал никогда в жизни. Это было чудо природы, гармония красоты, изящества и любви. Но в чем же дело? Что случилось? Отчего моя некрасивая, неуклюжая жена в зеркале казалась такою прекрасной? Отчего?

А оттого, что кривое зеркало покривило некрасивое лицо моей жены во все стороны, и от такого перемещения его черт оно стало случайно прекрасным. Минус на минус дало плюс.

И теперь мы оба, я и жена, сидим перед зеркалом и, не отрываясь ни на одну минуту, смотрим в него: нос мой лезет на левую щеку, подбородок раздвоился и сдвинулся в сторону, но лицо жены очаровательно — и бешеная, безумная страсть овладевает мною.

— Ха-ха-ха! — дико хохочу я.

А жена шепчет едва слышно:

— Как я прекрасна!

Два романа
I. Роман доктора

Если ты достиг возмужалости и кончил науки, то recipe: feminam unam[98] и приданого quantum satis[99].

Я так и сделал: взял feminam unam (двух брать не дозволяется) и приданого. Еще древние порицали тех, которые, женясь, не берут приданого (Ихтиозавр, XII, 3).

Я прописал себе лошадей, бельэтаж, стал пить vinum gallicum rubrum[100] и купил себе шубу за 700 рублей. Одним словом, зажил lege artis[101].

Ее habitus[102] не плох. Рост средний. Окраска накожных покровов и слизистых оболочек нормальна, подкожно-клетчатый слой развит

---

[98] Примечания: 98
Бери: одну жену *(лат.)*.

[99] Примечания: 99
Сколько хочешь *(лат.)*.

[100] Примечания: 100
Красное французское вино *(лат.)*.

[101] Примечания: 101
По правилам искусства *(лат.)*.

[102] Примечания: 102
Стан, осанка *(лат.)*.

удовлетворительно. Грудь правильная, хрипов нет, дыхание везикулярное. Тоны сердца чисты.

В сфере психических явлений заметно только одно уклонение: она болтлива и криклива. Благодаря ее болтливости я страдаю гиперестезией правого слухового нерва. Когда я смотрю на язык больного, я вспоминаю жену, и это воспоминание производит во мне сердцебиение. Прав был тот философ, который сказал: «Lingua est hostis hominum amicusque diaboli et feminarum»[103]. Тем же недостатком страдает и mater feminae — теща (из разряда mammalia[104]).

И когда они обе кричат 23 часа в сутки, я страдаю наклонностью к умопомешательству и самоубийству.

По свидетельству моих уважаемых товарищей, девять десятых женщин страдают болезнью, которую Шарко назвал гиперестезией центра, заведующего речью. Шарко предлагает ампутацию языка.

Этой операцией он обещает избавить человечество от одной из страшных болезней, но — увы! — Бильрот, неоднократно делавший эту

---

[103] Примечания: 103
«Язык — враг людей и друг дьявола и женщин» *(лат.).*

[104] Примечания: 104
Млекопитающих *(лат.).*

операцию, говорит в своих классических мемуарах, что женщины научались после операции говорить пальцами и этим образом речи действовали на мужей еще хуже: они гипнотизировали мужей (Memor. Acad., 1878). Я предлагаю другое лечение (смотри мою диссертацию). Не отвергая ампутации языка, предложенной Шарко, и давая полную веру словам такого авторитета, как Бильрот, я предлагаю ампутацию языка соединить с ношением рукавиц. Мои наблюдения показали, что глухонемые, носящие рукавицы только с одним пальцем, бессловесны даже и тогда, когда бывают голодны.

II. Роман репортера

Прямой носик, дивный бюстик, чудные волосы, прелестные глазки — ни одной опечатки! Прокорректировал и женился.

— Ты должна будешь принадлежать только одному мне! — сказал я ей, женясь. — Розничную продажу безусловно запрещаю! Помни!

На другой день после свадьбы я уже заметил в своей жене некоторую перемену. Волосы были жиже, щеки не так интересно-бледны, ресницы не адски черны, а рыжи. Движения уже были не

так мягки, слова не так нежны. Увы! Жена есть невеста, наполовину зачеркнутая цензурой!

В первом полугодии я застал у нее фендрика, который лобызал ее (фендрики любят gratis'ные[105] удовольствия). Я объявил ей первое предостережение и во второй раз, строго-настрого, воспретил розничную продажу.

Во втором полугодии она подарила меня премией: у меня родился сынишка. Я поглядел на него, поглядел на себя в зеркало, опять поглядел на него и сказал жене:

— Сюжет заимствован, матушка! По роже вижу! Не обманешь!

Сказал и объявил ей второе предостережение с воспрещением попадаться мне на глаза в продолжение трех месяцев.

Но эти меры не подействовали. На втором году у моей жены был уже не один фендрик, а несколько. Видя ее нераскаяние и не желая делиться со своими сотрудниками, я объявил ей третье предостережение и выслал ее вместе с премией на родину под надзор родителей, где она находится доселе.

Гонорар родителям за кормление жены высы-

---

[105] Примечания: 105
Даровые *(лат.)*.

лается ежемесячно.

Гречневая каша сама себя хвалит (Нечто спиритическое)

Слово *Осколки* состоит из *семи* слов. *Семь* на нашей планете играет такую же важную роль, как и *три* (семь смертных грехов, семь дней в неделе и т. д.). Вывод из сего понятен.

Слово «Осколки» дает материал для следующих слов:

Силок. Мы ловим, хапаем и цапаем ближних, хотя и не служили ни в дворниках, ни в урядниках. Каемся… Наш силок, наша кутузка — сатира. Места не столь отдаленные помещаются на первой странице, столь отдаленные на последней. Первые у нас страшней вторых. Сыщики больше тайные…

Кол. Колами гимназисты величают единицы; турки — колья. Первые мы ставим поэтам почтового ящика, на вторые сажаем наши жертвы.

Колки. Мы колки, как осы. Буслаев слово «осколки» производит от двух слов: «осы» и «колки». Нужно радоваться, что у нас в России еще есть порядочные ученые… Впрочем, осы разные бывают!

Кси. Имя буквы греческой означающей число 600. Намек на 666 (число зверино). Ужасаемся! Оно же, 600, есть число постоянных сотрудников «Осколков» и число тысяч подписчиков… (Если верить почтамтским чиновникам, у нас 600 000 подписчиков.)

Клико. Вдова, произведения которой известны всему свету… Бабенка шипучая, игристая и забористая… Знакома со сведущими людьми у нас на Руси. Пандан к ерофеичу. Ею лечат сытость, ерофеичем голод… Бичуем ее и ее поклонников.

Сокол. Герой соколиных охот. Бьет глупых уток, крыловских гусей и вообще дичь… Связан неволей, а потому дает иногда промахи и не бьет все то, что ему хочется побить…

Икс. Большинство из нас — иксы. Никто не знает, кто мы, что мы, где мы… Можете ли вы поручиться,[106]

---

[106] Примечания: 106
Конец рукописи не сохранился.

Ряженые

Вечер. По улице идет пестрая толпа, состоящая из пьяных тулупов и кацавеек. Смех, говор и приплясыванье. Впереди толпы прыгает маленький солдатик в старой шинелишке и с шапкой набекрень.

Навстречу толпе идет «унтер».

— Ты отчего же мне чести не отдаешь? — набрасывается унтер на маленького солдатика. — А? Почему? Постой! Который ты это? Зачем?

— Миленький, да ведь мы ряженые! — говорит бабьим голосом солдатик, и толпа вместе с унтером закатывается громким смехом…

* * *

В ложе сидит красивая полная барыня; лета ее определить трудно, но она еще молода и долго еще будет молодой… Одета она роскошно. На белых руках ее по массивному браслету, на груди бриллиантовая брошь. Около нее лежит тысячная шубка. В коридоре ожидает ее лакей с галунами, а на улице пара вороных и сани с медвежьей полостью… Сытое красивое лицо и

обстановка говорят: «Я счастлива и богата». Но не верьте, читатель!

«Я ряженая, — думает она. — Завтра или послезавтра барон сойдется с Nadine и снимет с меня все это...»

* * *

За карточным столом сидит толстяк во фраке, с трехэтажным подбородком и белыми руками. Около его рук куча денег. Он проигрывает, но не унывает. Напротив, он улыбается. Ему ведь ничего не стоит проиграть тысячу, другую. В столовой несколько слуг приготовляют для него устриц, шампанское и фазанов. Он любит хорошо поужинать. После ужина он поедет в карете к *ней.* Она ждет его. Не правда ли, ему хорошо живется?

Он счастлив! Но посмотрите, какая чепуха шевелится в его ожиревших мозгах!

«Я ряженый. Наедет ревизия, и все узнают, что я только ряженый!..»

* * *

На суде адвокат защищает подсудимую... Это хорошенькая женщина с донельзя печальным лицом, невинная! Видит бог, что она невинна!

Глаза адвоката горят, щеки его пылают, в голосе слышны слезы… Он страдает за подсудимую, и если ее обвинят, он умрет с горя!.. Публика слушает его, замирает от наслаждения и боится, чтоб он не кончил. «Он поэт», — шепчут слушатели. Но он только нарядился поэтом!

«Дай мне истец сотней больше, я упек бы ее! — думает он. — В роли обвинителя я был бы эффектней!»

* * *

По деревне идет пьяный мужичонка, поет и визжит на гармонике. На лице его пьяное умиление. Он хихикает и подплясывает. Ему весело живется, не правда ли? Нет, он ряженый.

«Жрать хочется», — думает он.

* * *

Молодой профессор-врач читает вступительную лекцию. Он уверяет, что нет больше счастия, как служить науке. «Наука все! — говорит он, — она жизнь!» И ему верят… Но его назвали бы ряженым, если бы слышали, что он сказал своей жене после лекции. Он сказал ей:

— Теперь я, матушка, профессор. У профессора

практика вдесятеро больше, чем у обыкновенного врача. Теперь я рассчитываю на двадцать пять тысяч в год.

* * *

Шесть подъездов, тысяча огней, толпа, жандармы, барышники. Это театр. Над его дверями, как в Эрмитаже у Лентовского, написано: «Сатира и мораль». Здесь платят большие деньги, пишут длинные рецензии, много аплодируют и редко шикают… Храм!

Но этот храм ряженый. Если вы снимете «Сатиру и мораль», то вам нетрудно будет прочесть: «Канкан и зубоскальство».

Двое в одном

Не верьте этим иудам, хамелеонам! В наше время легче потерять веру, чем старую перчатку, — и я потерял!

Был вечер. Я ехал на конке. Мне, как лицу высокопоставленному, не подобает ездить на конке, но на этот раз я был в большой шубе и мог спрятаться в куний воротник. Да и дешевле, знаете… Несмотря на позднее и холодное время, вагон был битком набит. Меня никто не узнал. Куний воротник делал из меня incognito. Я ехал, дремал и рассматривал сих малых…

«Нет, это не он! — думал я, глядя на одного маленького человечка в заячьей шубенке. — Это не он! Нет, это он! Он!»

Думал я, верил и не верил своим глазам…

Человечек в заячьей шубенке ужасно походил на Ивана Капитоныча, одного из моих канцелярских… Иван Капитоныч — маленькое, пришибленное, приплюснутое создание, живущее для того только, чтобы поднимать уроненные платки и поздравлять с праздником. Он молод, но спина его согнута в дугу, колени вечно подогнуты, руки запачканы и по швам… Лицо его точно дверью

прищемлено или мокрой тряпкой побито. Оно кисло и жалко; глядя на него, хочется петь «Лучинушку» и ныть. При виде меня он дрожит, бледнеет и краснеет, точно я съесть его хочу или зарезать, а когда я его распекаю, он зябнет и трясется всеми членами.

Приниженнее, молчаливее и ничтожнее его я не знаю никого другого. Даже и животных таких не знаю, которые были бы тише его…

Человечек в заячьей шубенке сильно напоминал мне этого Ивана Капитоныча: совсем он! Только человечек не был так согнут, как тот, не казался пришибленным, держал себя развязно и, что возмутительнее всего, говорил с соседом о политике. Его слушал весь вагон.

— Гамбетта помер! — говорил он, вертясь и махая руками. — Это Бисмарку на руку. Гамбетта ведь был себе на уме! Он воевал бы с немцем и взял бы контрибуцию, Иван Матвеич! Потому что это был гений. Он был француз, но у него была русская душа. Талант!

Ах ты, дрянь этакая!

Когда кондуктор подошел к нему с билетами, он оставил Бисмарка в покое.

— Отчего это у вас в вагоне так темно? — набросился он на кондуктора. — У вас свечей нет, что

ли? Что это за беспорядки? Проучить вас некому! За границей вам задали бы! Не публика для вас, а вы для публики! Черт возьми! Не понимаю, чего это начальство смотрит!

Через минуту он требовал от нас, чтобы мы все подвинулись.

— Подвиньтесь! Вам говорят! Дайте мадаме место! Будьте повежливей! Кондуктор! Подите сюда, кондуктор! Вы деньги берете, дайте же место! Это подло!

— Здесь курить не велено! — крикнул ему кондуктор.

— Кто это не велел? Кто имеет право? Это посягательство на свободу! Я никому не позволю посягать на свою свободу! Я свободный человек!

Ах ты, тварь этакая! Я глядел на его рожицу и глазам не верил. Нет, это не он! Не может быть! Тот не знает таких слов, как «свобода» и «Гамбетта».

— Нечего сказать, хороши порядки! — сказал он, бросая папиросу. — Живи вот с этакими господами! Они помешаны на форме, на букве! Формалисты, филистеры! Душат!

Я не выдержал и захохотал. Услышав мой смех, он мельком взглянул на меня, и голос его дрогнул. Он узнал мой смех и, должно быть, узнал

мою шубу. Спина его мгновенно согнулась, лицо моментально прокисло, голос замер, руки опустились по швам, ноги подогнулись. Моментально изменился! Я уже более не сомневался: это был Иван Капитоныч, мой канцелярский. Он сел и спрятал свой носик в заячьем меху.

Теперь я посмотрел на его лицо.

«Неужели, — подумал я, — эта пришибленная, приплюснутая фигурка умеет говорить такие слова, как «филистер» и «свобода»? А? Неужели? Да, умеет. Это невероятно, но верно… Ах ты, дрянь этакая!»

Верь после этого жалким физиономиям этих хамелеонов!

Я уж больше не верю. Шабаш, не надуешь!

Радость

Было двенадцать часов ночи.

Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.

— Откуда ты? — удивились родители. — Что с тобой?

— Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это… это даже невероятно!

Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.

— Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!

Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.

— Что с тобой? На тебе лица нет!

— Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, а теперь вся

Россия знает об этом! Мамаша! О, господи!

Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.

— Да что такое случилось? Говори толком!

— Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О, господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!

— Что ты? Где?

Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.

— Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! Будем читать иногда. Поглядите!

Митя вытащил из кармана нумер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.

— Читайте!

Отец надел очки.

— Читайте же!

Мамаша взглянула на образ и перекрестилась.

Папаша кашлянул и начал читать:

«29-го декабря, в одиннадцать часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров…

— Видите, видите? Дальше!

…коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии…

— Это я с Семеном Петровичем… Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!

…и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина дер. Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку…

— Это я об оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!

…который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол.

Потерпевшему подана медицинская помощь»...

— Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!

Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.

— Побегу к Макаровым, им покажу... Надо еще Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильичу... Побегу! Прощайте!

Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу.

Отвергнутая любовь
(Перевод с испанского)

I

Сквозь изменчивый узор высоко плывущих облаков глядит луна и заливает своим светом влюбленные пары, воркующие под тенью померанца и апельсина.

Воздух, сладострастно знойный и душный от запаха гелиотропа, еще более раскаляется от слов любви и песен. Сады, леса и воды, тихо засыпая, внемлют соловью… Любви, любви!

Перед окном одного из домиков стоит прекрасный гидальго. Он перебирает пальцами струны, дрожит, пламенеет и поет. Окно закрыто, но он не унывает: на то испанец он! Его песнь зажжет сердце неприступной, окно уступит напору маленькой ручки, послушной сердцу, и — дело в шляпе с широкими полями!

II

Гидальго поет час, другой, третий… Восток начинает белеть и румяниться. На гитаре лопаются

одна за другой квинта, терция… На лбу прекрасного лица выступает пот и начинает капать на горячую землю, а… он все поет.

— Plenus venter non studet libenter! — поет он наконец. — Imperfectum conjunctivi passivi![107]

За окном слышны шаги. Наконец, таки! Окно с визгом открывается, и в нем появляется донна, прелестная, чудная, знойная… Гидальго замирает от восторга и захлебывается счастьем. О, чудные мгновенья! Она высовывается наполовину из окна и, сверкая черными глазами, говорит:

— Вы перестанете когда-нибудь или нет? Подло и гнусно! Вы не даете мне спать! Если вы не перестанете, милостивый государь, то я принуждена буду спать с городовым.

III

Окно захлопывается. Гидальго закалывается. Протокол.

---

[107] Примечания: 107

В переводе сие значит: «О, лучше убей меня, но выйди! Коли не выйдешь, кровь моя брызнет в твое окно! умираю!» *(Прим. — переводчика.)*

Библиография

Вышли из печати и продаются новые книги:

Об отмене пошлины на бамбуковые палки, вывозимые из Китая. Брошюра. Ц. 40 к.

Искусственное разведение ежей. Для фабрикующих рукавицы. Соч. отставного прапорщика Раздавилова. Ц. 15 коп. Издание общедоступное.

Путеводитель по Сибири и ее окраинам. С картой и портретом г. Юханцева. Сод. I. Лучшие рестораны. II. Портные, каретники, куаферы. III. Адресы «этих дам». IV. Указатель богатых невест. V. Из записной книжки Юханцева (анекдоты, сценки, посвящения).

Настольная книга для гг. интендантов и кассиров. Издание Буша и Макшеева. Ц. 3 р. 50 к.

Есть ли в России деньги и где они? Соч. Рыкова. Ц. 1 р.

Засаленный патриот. Ода. Посвящение самому себе. Соч. князя М. Е. Щерского. Благонамеренные же благоволят высылать по 1 р. за экземпляр.

Способ уловлять вселенную. Брошюра урядника Людоедова-Хватова. Ц. 60 к.

Мысли читателя газет и журналов

Не читайте Уфимских губернских ведомостей: из них вы не почерпнете никаких сведений об Уфимской губернии.

Русская печать имеет в своем распоряжении множество источников света. Она имеет: комаровский Свет, Зарю, Радугу, Свет и тени, Луч, Огонек, Рассвет et caet. Но почему же ей так темно?

Она имеет Наблюдателя, Инвалида и Сибирь.

Печать имеет Развлечение, Игрушечку, но из этого не следует, что ей слишком весело…

Она имеет Голос и Эхо свои собственные… Да?

Что не долговечно, то не может кичиться своим Веком…

Русь имеет мало общего с Москвой.

Русская мысль высылается… в плотной обложке.

Имеются и Здоровье и Врач, а между тем — сколько могил!

Единственное средство (A propos процесса Петерб. общества взаимного кредита)

Было время, когда кассиры грабили и наше Общество. Страшно вспомнить! Они не обкрадывали, а буквально вылизывали нашу бедную кассу. Нутро нашей кассы было обито зеленым бархатом — и бархат украли. А один так увлекся, что вместе с деньгами утащил замок и крышку. За последние пять лет у нас перебывало девять кассиров, и все девять шлют нам теперь в большие праздники из Красноярска свои визитные карточки. Все девять!

— Это ужасно! Что делать? — вздыхали мы, когда отдавали под суд девятого. — Стыд, срам! Все девять подлецы!

И стали мы судить и рядить: кого взять в кассиры? Кто не мерзавец? Кто не вор? Выбор наш пал на Ивана Петровича, помощника бухгалтера: тихоня, богомольный и живет по-свински, не комфортабельно. Мы его выбрали, благословили на борьбу с искушениями и успокоились, но… не надолго!

На другой же день Иван Петрович явился в новом галстухе. На третий он приехал в правление на извозчике, чего раньше с ним никогда не было.

— Вы заметили? — шептались мы через неделю. — Новый галстух… Пенсне… Вчера на именины приглашал. Что-то есть… Богу стал чаще молиться… Надо полагать, совесть нечиста…

Сообщили свои сомнения его превосходительству.

— Неужели и десятый окажется канальей? — вздохнул наш директор. — Нет, это невозможно… Человек такой нравственный, тихий… Впрочем… пойдемте к нему!

Подошли к Ивану Петровичу и окружили его кассу.

— Извините, Иван Петрович, — обратился к нему директор умоляющим голосом. — Мы доверяем вам…

Верим! М-да… Но, знаете ли… Позвольте обревизовать кассу! Уж вы позвольте!

— Извольте-с! Очень хорошо-с! — бойко ответил кассир. — Сколько угодно-с!

Начали считать. Считали, считали и недосчитались четырехсот рублей… И этот?! И десятый?! Ужасно! Это во-первых; а во-вторых, если он в

неделю прожрал столько денег, то сколько же украдет он в год, в два! Мы остолбенели от ужаса, изумления, отчаяния… Что делать? Ну, что? Под суд его? Нет, это старо и бесполезно. Одиннадцатый тоже украдет, двенадцатый тоже… Всех не отдашь под суд. Вздуть его? Нельзя, обидится… Изгнать и позвать вместо него другого? Но ведь одиннадцатый тоже украдет! Как быть? Красный директор и бледные мы глядели в упор на Ивана Петровича и, опершись о желтую решетку, думали… Мы думали, напрягали мозги и страдали… А он сидел и невозмутимо пощелкивал на счетах, точно не он украл… Мы долго молчали.

— Ты куда девал эти деньги? — обратился к нему наконец наш директор со слезами и дрожью в голосе.

— На нужды, ваше превосходительство!

— Гм… На нужды… Очень рад! Молчать! Я тт-тебе…

Директор прошелся по комнате и продолжал:

— Что же делать? Как уберечься от подобных… идолов? Господа, чего же вы молчите? Что делать? Не пороть же его, каналью! (Директор задумался.) Послушай, Иван Петрович… Мы взнесем эти деньги, не станем срамиться оглаской, черт с тобой, только ты откровенно, без экивок… Женский

пол любишь, что ли?

Иван Петрович улыбнулся и сконфузился.

— Ну, понятно, — сказал директор. — Кто их не любит? Это понятно… Все грешны… Все мы жаждем любви, сказал какой-то… философ… Мы тебя понимаем… Вот что… Ежели ты так уж любишь, то изволь: я дам тебе письмо к одной… Она хорошенькая… Езди к ней на мой счет. Хочешь? И к другой дам письмо… И к третьей дам письмо!.. Все три хорошенькие, говорят по-французски… пухленькие… Вино тоже любишь?

— Вина разные бывают, ваше превосходительство… Лиссабонского, например, я и в рот не возьму… Каждый напиток, ваше превосходительство, имеет, так сказать, свое значение…

— Не рассуждай… Каждую неделю буду присылать тебе дюжину шампанского. Жри, но не трать ты денег, не конфузь ты нас! Не приказываю, а умоляю! Театр тоже, небось, любишь?

И так далее… В конце концов мы порешили, помимо шампанского, абонировать для него кресло в театре, утроить жалованье, купить ему вороных, еженедельно отправлять его за город на тройке — все это в счет Общества. Портной, сигары, фотография, букеты бенефицианткам, меблировка — тоже общественные… Пусть на-

слаждается, только, пожалуйста, пусть не ворует! Пусть что хочет делает, только не ворует!

И что же? Прошел уже год, как Иван Петрович сидит за кассой, и мы не можем нахвалиться нашим кассиром. Все честно и благородно… Не ворует… Впрочем, во время каждой еженедельной ревизии недосчитываются 10–15 руб., но ведь это не деньги, а пустяки. Что-нибудь да надо же отдавать в жертву кассирскому инстинкту. Пусть лопает, лишь бы тысяч не трогал.

И мы теперь благоденствуем… Касса наша всегда полна. Правда, кассир обходится нам очень дорого, но зато он в десять раз дешевле каждого из девяти его предшественников. И могу вам ручаться, что редкое общество и редкий банк имеют такого дешевого кассира! Мы в выигрыше, а посему странные чудаки будете вы, власть имущие, если не последуете нашему примеру!

Случаи mania grandiosa[108] (вниманию газеты «Врач»)

Что цивилизация, помимо пользы, принесла человечеству и страшный вред, никто не станет сомневаться. Особенно настаивают на этом медики, не без основания видящие в прогрессе причину нервных расстройств, так часто наблюдаемых в последние десятки лет. В Америке и Европе на каждом шагу вы встретите все виды нервных страданий, начиная с простой невралгии и кончая тяжелым психозом. Мне самому приходилось наблюдать случаи тяжелого психоза, причины которого нужно искать только в цивилизации.

Я знаю одного отставного капитана, бывшего станового. Этот человек помешан на тему: «Сборища воспрещены». И только потому, что сборища воспрещены, он вырубил свой лес, не обедает с семьей, не пускает на свою землю крестьянское стадо и т. и. Когда его пригласили однажды на выборы, он воскликнул:

— А вы разве не знаете, что сборища воспре-

---

[108] Примечания: 108
Мания величия *(лат.).*

щены?

Один отставной урядник, изгнанный, кажется, за правду или за лихоимство (не помню, за что именно), помешан на тему: «А посиди-ка, братец!» Он сажает в сундук кошек, собак, кур и держит их взаперти определенные сроки. В бутылках сидят у него тараканы, клопы, пауки. А когда у него бывают деньги, он ходит по селу и нанимает желающих сесть под арест.

— Посиди, голубчик! — умоляет он. — Ну, что тобе стоит? Ведь выпущу! Уважь характеру!

Найдя охотника, он запирает его, сторожит день и ночь и выпускает на волю не ранее определенного срока.

Мой дядя, интендант, кушает гнилые сухари и носит бумажные подметки. Он щедро награждает тех из домашних, которые подражают ему.

Мой зять, акцизный, помешан на идее: «Гласность — фря!» Когда-то его отщелкали в газетах за вымогательство, и это послужило поводом к его умопомешательству. Он выписывает почти все столичные газеты, но не для того, чтобы читать их. В каждом полученном номере он ищет «предосудительное»; найдя таковое, он вооружается цветным карандашом и марает. Измарав весь номер, он отдает его кучерам на папиросы

и чувствует себя здоровым впредь до получения нового номера.

Исповедь

День был ясный, морозный… На душе было вольготно, хорошо, как у извозчика, которому по ошибке вместо двугривенного золотой дали. Хотелось и плакать, и смеяться, и молиться… Я чувствовал себя на шестнадцатом небе: меня, человека, переделали в кассира! Радовался я не потому, что хапать уже можно было. Я тогда еще не был вором и искрошил бы того, кто сказал бы мне, что я со временем цапну… Радовался я другому: повышению по службе и ничтожной прибавке жалованья — только всего.

Меня, впрочем, радовало и другое обстоятельство. Ставши кассиром, я тотчас же почувствовал на своем носу нечто вроде розовых очков. Мне вдруг стало казаться, что люди изменились. Честное слово! Все стали как будто бы лучше. Уроды стали красавцами, злые добрыми, гордые смиренными, мизантропы филантропами. Я как будто бы просветлел. Я увидел в человеке такие чудные качества, каких ранее и не подозревал. «Странно! — говорил я, глядя на людей и протирая глаза. — Или с ними что-нибудь поделалось, или же я ранее был глуп и не замечал всех этих

качеств. Прелесть что за люди!»

В день моего назначения изменился и З. Н. Казусов, один из членов нашего правления, человек гордый, надменный, игнорирующий мелкую рыбицу. Он подошел ко мне и — что с ним поделалось? — ласково улыбаясь, начал хлопать меня по плечу.

— Горды вы, батенька, не по летам, — сказал он мне. — Нехорошо! Отчего никогда не зайдете? Грешно, сударь! А у меня собирается молодежь, весело так бывает. Дочки все спрашивают: «Отчего это вы, папаша, не позовете Григория Кузьмича? Ведь он такой милый!» Да разве затащишь его? Впрочем, говорю, попробую, приглашу… Не ломайтесь же, батенька, приходите!

Удивительно! Что с ним? Не спятил ли он с ума? Был человек людоедом и вдруг… на тебе!

Придя в тот же день домой, я был поражен. Моя мамаша подала за обедом не два блюда, как всегда, а четыре. Вечером подала к чаю варенье и сдобный хлеб. На другой день опять четыре блюда, опять варенье. Гости были и шоколад пили. На третий день то же.

— Мамаша! — сказал я. — Что с вами? Чего ради вы так расщедрились, милая? Ведь жалованье мое не удвоили. Надбавка пустяшная.

Мамаша взглянула на меня с удивлением.

— Гм. Куда же тебе деньги девать? — спросила она. — Копить будешь, что ли?

Черт их разберет! Папаша заказал себе шубу, купил новую шапку, стал лечиться минеральными водами и виноградом (зимой?!?). А дней через пять я получил письмо от брата. Этот брат терпеть не мог меня. Мы разошлись с ним из-за убеждений: ему казалось, что я эгоист, дармоед, не умею жертвовать собой, и он ненавидел меня за это. В письме я прочел следующее: «Милый брат! *Я люблю* тебя, и ты не можешь себе представить, какие адские муки доставляет мне наша ссора. Давай помиримся! Протянем друг другу руки, и да восторжествует мир! Умоляю тебя! В ожидании ответа остаюсь любящий, целующий и обнимающий Евлампий». О, милый брат! Я ответил ему, что я лобызаю его и радуюсь. Через неделю я получил от него телеграмму: «Благодарю, счастлив. Вышли сто рублей. Весьма нужны. Обнимающий Е.». Выслал ему сто рублей…

Изменилась даже и *она*| Она не любила меня. Когда я однажды дерзнул намекнуть ей, что в моем сердце что-то неладно, она назвала меня нахалом и фыркнула мне в лицо. Встретив же меня через неделю после моего назначения, она улыб-

нулась, сделала на лице ямочки, сконфузилась…

— Что это с вами? — спросила она, глядя на меня. — Вы так похорошели. Когда это вы успели? Пойдемте плясать…

Душечка! Через месяц ее маменька была уж моей тещей: так я похорошел! К свадьбе нужны были деньги, и я взял из кассы триста рублей. Отчего не взять, если знаешь, что положишь обратно, когда получишь жалованье? Взял кстати и для Казусова сто рублей…

Просил взаймы… Ему нельзя не дать. Он у нас воротила и может каждую минуту спихнуть с места… *(Редактор, найдя, что рассказ несколько длинен, вычеркнул, в ущерб авторскому дивиденду, на этом самом месте восемьдесят три строки.)……*

За неделю до ареста по их просьбе я давал им вечер. Черт с ними, пусть полопают и пожрут, коли им этого так хочется! Я не считал, сколько человек было у меня на этом вечере, но помню, что все мои девять комнат были запружены народом. Были старшие и младшие… Были и такие, пред которыми гнулся в дугу даже сам Казусов. Дочери Казусова (старшая — моя обже[109])

---

[109] Примечания: 109
«Она» *(франц,* objet).

ослепляли своими нарядами… Одни цветы, покрывавшие их, стоили мне более тысячи рублей! Было очень весело… Гремела музыка, сверкали люстры, лилось шампанское… Произносились длинные речи и короткие тосты… Один газетчик поднес мне оду, а другой балладу…

— У нас в России не умеют ценить таких людей, как Григорий Кузьмич! — прокричал за ужином Казусов. — Очень жаль! жаль Россию!

И все эти кричавшие, подносившие, лобызавшие шептались и показывали мне кукиш, когда я отворачивался… Я видел улыбки, кукиши, слышал вздохи…

— Украл, подлец! — шептали они, злорадно ухмыляясь.

Ни кукиши, ни вздохи не помешали им, однако, есть, пить и наслаждаться…

Волки и страдающие диабетом не едят так, как они ели… Жена, сверкавшая бриллиантами и золотом, подошла ко мне и шепнула:

— Там говорят, что ты… украл. Если это правда, то… берегись! Я не могу жить с вором! Я уйду!

Говорила она это и поправляла свое пятитысячное платье… Черт их разберет! В этот же вечер Казусов взял с меня пять тысяч… Столько же взял взаймы и Евлампий…

— Если там шепчут правду, — сказал мне брат-принципист, кладя в карман деньги, — то… берегись! Я не могу быть братом вора!

После бала всех их я повез на тройках за город…

Был шестой час утра, когда мы кончили… Обессилев от вина и женщин, они легли в сани, чтобы ехать обратно… Когда сани тронулись, они крикнули мне на прощанье:

— Завтра ревизия!.. Merci!

Милостивые государи и милостивые государыни! Я попался… Попался, или, выражаясь длиннее: вчера я был порядочен, честен, лобызаем во все части, сегодня же я жулик, мошенник, вор… Кричите же теперь, бранитесь, трезвоньте, изумляйтесь, судите, высылайте, строчите передовые, бросайте каменья, но только… пожалуйста, не все! Не все!

На магнетическом сеансе

Большая зала светилась огнями и кишела народом. В ней царил магнетизер. Он, несмотря на свою физическую мизерность и несолидность, сиял, блистал и сверкал. Ему улыбались, аплодировали, повиновались… Перед ним бледнели.

Делал он буквально чудеса. Одного усыпил, другого окоченил, третьего положил затылком на один стул, а пятками на другой… Одного тонкого и высокого журналиста согнул в спираль. Делал, одним словом, черт знает что. Особенно сильное влияние имел он на дам.

Они падали от его взгляда, как мухи. О, женские нервы! Не будь их, скучно жилось бы на этом свете!

Испытав свое чертовское искусство на всех, магнетизер подошел и ко мне.

— Мне кажется, что у вас очень податливая натура, — сказал он мне. — Вы так нервны, экспрессивны… Не угодно ли вам уснуть?

Отчего не уснуть? Изволь, любезный, пробуй. Я сел на стул среди залы. Магнетизер сел на стул vis-a-vis, взял меня за руки и своими страшными змеиными глазами впился в мои бедные глаза.

Нас окружила публика.

— Тссс… Господа! Тссс… Тише!

Утихомирились… Сидим, смотрим в зрачки друг друга… Проходит минута, две… Мурашки забегали по спине, сердце застучало, но спать не хотелось…

Сидим… Проходит пять минут, семь…

— Он не поддается! — сказал кто-то. — Браво! Молодец мужчина!

Сидим, смотрим… Спать не хочется и даже не дремлется… От думского или земского протокола я давно бы уже спал… Публика начинает шептаться, хихикать… Магнетизер конфузится и начинает мигать глазами…

Бедняжка! Кому приятно потерпеть фиаско? Спасите его, духи, пошлите на мои веки Морфея!

— Не поддается! — говорит тот же голос. — Довольно, бросьте! Говорил же я, что все это фокусы!

И вот, в то время, когда я, вняв голосу приятеля, сделал движение, чтобы подняться, моя рука нащупала на своей ладони посторонний предмет… Пустив в ход осязание, я узнал в этом предмете бумажку. Мой папаша был доктором, а доктора одним осязанием узнают качество бумажки. По теории Дарвина, я со многими Другими способ-

ностями унаследовал от папаши и эту милую способность. В бумажке узнал я пятирублевку. Узнав, я моментально уснул.

— Браво, магнетизер!

Доктора, бывшие в зале, подошли ко мне, повертелись, понюхали и сказали:

— Н-да… Усыплен…

Магнетизер, довольный успехом, помахал над моей головой руками, и я, спящий, зашагал по зале.

— Тетанируйте его руку! — предложил кто-то. — Можете? Пусть его рука окоченеет…

Магнетизер (не робкий человек!) вытянул мою правую руку и начал производить над ней свои манипуляции: потрет, подует, похлопает. Моя рука не повиновалась. Она болталась, как тряпка, и не думала коченеть.

— Нет тетануса! Разбудите его, а то ведь вредно… Он слабенький, нервный…

Тогда моя левая рука почувствовала на своей ладони пятирублевку… Раздражение путем рефлекса передалось с левой на правую, и моментально окоченела рука.

— Браво! Поглядите, какая твердая и холодная! Как у мертвеца!

— Полная анестезия, понижение температуры

и ослабление пульса, — доложил магнетизер.

Доктора начали щупать мою руку.

— Да, пульс слабее, — заметил один из них. — Полный тетанус. Температура много ниже…

— Чем же это объяснить? — спросила одна из дамочек.

Доктор значительно пожал плечами, вздохнул и сказал:

— Мы имеем только факты! Объяснений — увы! — нет…

Вы имеете факты, а я две пятирублевки. Мои дороже… Спасибо магнетизму и за это, а объяснений мне не нужно…

Бедный магнетизер! И зачем ты со мной, с аспидом, связался?

P. S. Ну, не проклятие ли? Не свинство ли?

Сейчас только узнал, что пятирублевки вкладывал в мой кулак не магнетизер, а Петр Федорыч, мой начальник…

— Это, — говорит, — я тебе для того сделал, чтобы узнать твою честность…

Ах, черт возьми!

— Стыдно, брат… Нехорошо… Не ожидал…

— Но ведь у меня дети, ваше превосходительство… Жена… Мать… При нонешней дороговизне…

— Нехорошо… А еще тоже газету свою издавать хочешь… Плачешь, когда на обедах речи читаешь… Стыдно… Думал, что ты честный человек, а выходит, что ты… хапен зи гевезен…

Пришлось возвратить ему две пятирублевки. Что ж делать? Реноме дороже денег.

— На тебя я не сержусь! — говорит начальник. — Черт с тобой, натура уж у тебя такая… Но она! Она! У-ди-вительно! Она! Кротость, невинность, бланманже и прочее! А? Ведь и она польстилась на деньги! Тоже уснула!

Под словом *она* мой начальник подразумевает свою супругу, Матрену Николаевну…

Ушла

Пообедали. В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство, рты позевывали, глаза начали суживаться от сладкой дремоты. Муж закурил сигару, потянулся и развалился на кушетке. Жена села у изголовья и замурлыкала… Оба были счастливы.

— Расскажи что-нибудь… — зевнул муж.

— Что же тебе рассказать? Мм… Ах, да! Ты слышал? Софи Окуркова вышла замуж за этого… как его… за фон Трамба! Вот скандал!

— В чем же тут скандал?

— Да ведь Трамб подлец! Это такой негодяй… такой бессовестный человек! Без всяких принципов! Урод нравственный! Был у графа управляющим — нажился, теперь служит на железной дороге и ворует… Сестру ограбил… Негодяй и вор, одним словом. И за этакого человека выходить замуж?! Жить с ним?! Удивляюсь! Такая нравственная девушка и… на тебе! Ни за что бы не вышла за такого субъекта! Будь он хоть миллионер! Будь красив, как не знаю что, я плюнула бы на него! И представить себе не могу мужа-подлеца!

Жена вскочила и, раскрасневшаяся, негодующая, прошлась по комнате. Глазки загорелись гневом. Искренность ее была очевидна…

— Этот Трамб такая тварь! И тысячу раз глупы и пошлы те женщины, которые выходят за таких господ!

— Тэк-с… Ты, разумеется, не вышла бы… Н-да… Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже… негодяй? Что бы ты сделала?

— Я? Бросила бы тебя! Не осталась бы с тобой ни на одну секунду! Я могу любить только честного человека! Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамб, я… мигом! Adieu тогда!

— Тэк… Гм… Какая ты у меня… А я и не знал… Хе-хе-хе… Врет бабенка и не краснеет!

— Я никогда не лгу! Попробуй-ка сделать подлость, тогда и увидишь!

— К чему мне пробовать? Сама знаешь… Я еще почище твоего фон Трамба буду… Трамб — комашка сравнительно. Ты делаешь большие глаза? Это странно… (Пауза.) Сколько я получаю жалованья?

— Три тысячи в год.

— А сколько стоит колье, которое я купил тебе неделю тому назад? Две тысячи… Не так ли? Да

вчерашнее платье пятьсот… Дача две тысячи… Хе-хе-хе. Вчера твой рара выклянчил у меня тысячу…

— Но, Пьер, побочные доходы ведь…

— Лошади… Домашний доктор… Счета от модисток. Третьего дня ты проиграла в стуколку сто рублей…

Муж приподнялся, подпер голову кулаками и прочел целый обвинительный акт. Подойдя к письменному столу, он показал жене несколько вещественных доказательств…

— Теперь ты видишь, матушка, что твой фон Трамб — ерунда, карманный воришка сравнительно со мной… Adieu! Иди и впредь не осуждай!

Я кончил. Быть может, читатель еще спросит:

— И она ушла от мужа?

Да, ушла… в другую комнату.

В цирульне

Утро. Еще нет и семи часов, а цирульня Макара Кузьмича Блесткина уже отперта. Хозяин, малый лет двадцати трех, неумытый, засаленный, но франтовато одетый, занят уборкой. Убирать, в сущности, нечего, но он вспотел, работая. Там тряпочкой вытрет, там пальцем сколупнет, там клопа найдет и смахнет его со стены.

Цирульня маленькая, узенькая, поганенькая. Бревенчатые стены оклеены обоями, напоминающими полинялую ямщицкую рубаху. Между двумя тусклыми, слезоточивыми окнами — тонкая, скрипучая, тщедушная дверца, над нею позеленевший от сырости колокольчик, который вздрагивает и болезненно звенит сам, без всякой причины. А поглядите вы в зеркало, которое висит на одной из стен, и вашу физиономию перекосит во все стороны самым безжалостным образом! Перед этим зеркалом стригут и бреют. На столике, таком же неумытом и засаленном, как сам Макар Кузьмич, все есть: гребенки, ножницы, бритвы, фиксатуара на копейку, пудры на копейку, сильно разведенного одеколону на копейку. Да и вся цирульня не стоит больше

пятиалтынного.

Над дверью раздается взвизгиванье больного колокольчика, и в цирульню входит пожилой мужчина в дубленом полушубке и валенках. Его голова и шея окутаны женской шалью.

Это Эраст Иваныч Ягодов, крестный отец Макара Кузьмича. Когда-то он служил в консистории в сторожах, теперь же живет около Красного пруда и занимается слесарством.

— Макарушка, здравствуй, свет! — говорит он Макару Кузьмичу, увлекшемуся уборкой.

Целуются. Ягодов стаскивает с головы шаль, крестится и садится.

— Даль-то какая! — говорит он, кряхтя. — Шутка ли? От Красного пруда до Калужских ворот.

— Как поживаете-с?

— Плохо, брат. Горячка была.

— Что вы? Горячка!

— Горячка. Месяц лежал, думал, что помру. Соборовался. Теперь волос лезет. Доктор постричься приказал. Волос, говорит, новый пойдет, крепкий. Вот я и думаю в уме: пойду-ка к Макару. Чем к кому другому, так лучше уж к родному. И сделает лучше, и денег не возьмет. Далеконько немножко, оно правда, да ведь это что ж? Та же прогулка.

— Яс удовольствием. Пожалуйте-с!

Макар Кузьмич, шаркнув ногой, указывает на стул. Ягодов садится и глядит на себя в зеркало, и видимо доволен зрелищем: в зеркале получается кривая рожа с калмыцкими губами, тупым, широким носом и с глазами на лбу. Макар Кузьмич покрывает плечи своего клиента белой простыней с желтыми пятнами и начинает визжать ножницами.

— Я вас начисто, догола! — говорит он.

— Натурально. На татарина чтоб похож был, на бомбу. Волос гуще пойдет.

— Тетенька как поживают-с?

— Ничего, живет себе. Намедни к майорше принимать ходила. Рубль дали.

— Так-с. Рубль. Придержите ухо-с!

— Держу… Не обрежь, смотри. Ой, больно! Ты меня за волосья дергаешь.

— Это ничего-с. Без этого в нашем деле невозможно. А как поживают Анна Эрастовна?

— Дочка? Ничего, прыгает. На прошлой неделе, в среду, за Шейкина просватали. Отчего не приходил?

Ножницы перестают визжать. Макар Кузьмич опускает руки и спрашивает испуганно:

— Кого просватали?

— Анну.

— Это как же-с? За кого?

— За Шейкина, Прокофия Петрова. В Златоустенском переулке его тетка в экономках. Хорошая женщина. Натурально, все мы рады, слава богу. Через неделю свадьба. Приходи, погуляем.

— Да как же это так, Эраст Иваныч? — говорит Макар Кузьмич, бледный, удивленный, и пожимает плечами. — Как же это возможно? Это… это никак невозможно! Ведь Анна Эрастовна… ведь я… ведь я чувства к ней питал, я намерение имел. Как же так?

— Да так. Взяли и просватали. Человек хороший.

На лице у Макара Кузьмича выступает холодный пот. Он кладет на стол ножницы и начинает тереть себе кулаком нос.

— Я намерение имел… — говорит он. — Это невозможно, Эраст Иваныч! Я… я влюблен и предложение сердца делал… И тетенька обещали. Я всегда уважал вас, все равно как родителя… стригу вас всегда задаром… Всегда вы от меня одолжение имели, и, когда мой папаша скончался, вы взяли диван и десять рублей денег и назад мне не вернули. Помните?

— Как не помнить! Помню. Только какой же

ты жених, Макар? Нешто ты жених? Ни денег, ни звания, ремесло пустяшное…

— А Шейкин богатый?

— Шейкин в артельщиках. У него в залоге лежит полторы тысячи. Так-то, брат… Толкуй не толкуй, а дело уж сделано. Назад не воротишь, Макарушка. Другую себе ищи невесту… Свет не клином сошелся. Ну, стриги! Что же стоишь?

Макар Кузьмич молчит и стоит недвижим, потом достает из кармана платочек и начинает плакать.

— Ну, чего! — утешает его Эраст Иваныч. — Брось! Эка, ревет, словно баба! Ты оканчивай мою голову, да тогда и плачь. Бери ножницы!

Макар Кузьмич берет ножницы, минуту глядит на них бессмысленно и роняет на стол. Руки у него трясутся.

— Не могу! — говорит он. — Не могу сейчас, силы моей нет! Несчастный я человек! И она несчастная! Любили мы друг друга, обещались, и разлучили нас люди недобрые без всякой жалости. Уходите, Эраст Иваныч! Не могу я вас видеть.

— Так я завтра приду, Макарушка. Завтра дострижешь.

— Ладно.

— Поуспокойся, а я к тебе завтра, пораньше утром.

У Эраста Иваныча половина головы выстрижена догола, и он похож на каторжника. Неловко оставаться с такой головой, но делать нечего. Он окутывает голову и шею шалью и выходит из цирульни. Оставшись один, Макар Кузьмич садится и продолжает плакать потихоньку.

На другой день рано утром опять приходит Эраст Иваныч.

— Вам что угодно-с? — спрашивает его холодно Макар Кузьмич.

— Достриги, Макарушка. Полголовы еще осталось.

— Пожалуйте деньги вперед. Задаром не стригу-с.

Эраст Иваныч, не говоря ни слова, уходит, и до сих пор еще у него на одной половине головы волосы длинные, а на другой — короткие. Стрижку за деньги он считает роскошью и ждет, когда на остриженной половине волосы сами вырастут. Так и на свадьбе гулял.

Современные молитвы

Аполлону. — Проваливай!

Эвтерпе, музе музыки. — Молит тебя кончивший курс в консерватории и бравший уроки у Рубинштейна! Нет ли у тебя, матушка, где-нибудь на примете местечка тапера в богатом купеческом доме? Научи меня также сочинять тридцатикопеечные польки и кадрили! A propos: не можешь ли ты спихнуть с места нашу первую скрипку? Пора бы мне перестать быть второй… *Голос из публики:* Комаринска… ва!!! Наяривай!

Урании, музе астрономии (молящийся робко оглядывается, конфузится и тихо): — А все-таки она вертится! (Громко): Нельзя ли обложить сбором планеты и кометы? Разведай-ка и постарайся! Процент получишь. *Голос из публики:* А все-таки она не вертится!

Полигимнии, музе пения. — Хочется мне, муза, перебраться из оперы в буфф, да как-то, знаешь, неловко… А в буффе дороже платят и слава тамошняя ахтительней… Возьми от меня щепетильность! Испорти голоса моих товарищей, дабы я был лучше их, посели среди них интригу и сокруши рецензентов! *Голос из публики:* Спойте

что-нибудь, молодой человек!

Каллиопе, музе эпической поэзии. — Убавь во мне поэтического жара, отними у меня темы, учетвери цензуру; отколоти меня, делай что хочешь со мной, но только прибавь мне по копейке на строчку. Вразуми, о муза, платящих!

Мельпомене, музе театра. — Отдай нам наши бенефисы, бесстыдница! Купчих побольше! Антрепризу!

Эрате, музе эротической поэзии. — С тех пор, как я стал тебе молиться, Эраточка, ни одно мое стихотворение не было похерено. Все прошли! Тралала! Тралала! Нет поэта модней меня! Но… все-таки недоволен: поэзию-декольте не всюду пускают. Вразуми невежд! *Голос из публики:* Да здравствует Салон де варьете!

Терпсихоре, музе танцев. — Наполни первые ряды плешивыми, беззубыми старцами, разожги их холодную кровь! Упраздни драму, комедию и трагедию и реставрируй древнюю славу балета! *Голос из публики:* Канкан! Выходи на середину! Пет! Пет!

Талии, музе комедии. — Не нужно мне славы Островского… Нет! Не сошьешь сапог из бессмертия! Дай ты мне силу и мощь Виктора Александрова, пишущего по десяти комедий в

вечер! Денег-то сколько, матушка!

Клио, музе истории. — (Голос из публики): Мимо! Не замечай нас! Чего глазищи вытаращила? Не видала никогда безобразий, что ли?

Бахусу и Венере. — Вашшшу руку! Mercі-с! Честь и место!

Роман адвоката
(Протокол)

Место для гербовой марки в 60 коп.

Тысяча восемьсот семьдесят седьмого года, февраля десятого дня, в городе С.-Петербурге, Московской части, 2 участка, в доме второй гильдии купца Животова, что на Лиговке, я, нижеподписавшийся, встретил дочь титулярного советника Марью Алексееву Барабанову, 18 лет, вероисповедания православного, грамотную. Встретив оную Барабанову, я почувствовал к ней влечение. Так как на основании 994 ст. Улож. о наказ, незаконное сожительство влечет за собой, помимо церковного покаяния, издержки, статьею оною предусмотренные (смотри: дело купца Солодовникова 1881 г. Сб. реш. Касс, департ.), то я и предложил ей руку и сердце. Я женился, но не долго жил с нею. Я разлюбил ее. Записав на свое имя все ее приданое, я начал шататься по трактирам, ливадиям, эльдорадам и шатался в продолжение пяти лет. А так как на основании 54 ст. X т. Гражданского Судопроизводства пятилетняя безвестная отлучка дает право на развод, то

я и имею честь покорнейше просить, ваше п-во, ходатайствовать о разведении меня с женою.

Что лучше?
(Праздные рассуждения штык-юнкера Крокодилова)

В кабак могут ходить взрослые и дети, а в школу только дети.

Алкоголь замедляет обмен веществ, способствует отложению жира, веселит сердце человека. На все сие школа не способна. Ломоносов сказал: «Науки юношей питают, отраду старцам подают». Князь же Владимир неоднократно повторял: «Веселие Руси питие есть». Кому же из них двоих верить? Очевидно, тому, кто старше.

Акцизные дивиденды дает отнюдь не школа.

Польза просвещения находится еще под сомнением, вред же, им приносимый, очевиден.

Для возбуждения аппетита употребляют отнюдь не грамоту, а рюмку водки.

Кабак везде есть, а школа далеко не везде.

Всего сего достаточно, чтобы сделать вывод: кабаков не упразднять, а относительно школ подумать.

Всей грамоты отрицать нельзя. Отрицание это было бы безумством. Ибо полезно, если человек

умеет прочитать: «Питейный дом».

Благодарный
(Психологический этюд)

— Вот тебе триста рублей! — сказал Иван Петрович, подавая пачку кредиток своему секретарю и дальнему родственнику Мише Бобову. — Так и быть, возьми… Не хотел давать, но… что делать? Бери… В последний раз… Мою жену благодари. Если бы не она, я тебе не дал бы… Упросила.

Миша взял деньги и замигал глазками. Он не находил слов для благодарности. Глаза его покраснели и подернулись влагой. Он обнял бы Ивана Петровича, но… начальников обнимать так неловко!

— Жену благодари, — сказал еще раз Иван Петрович. — Она упросила… Ты ее так разжалобил своей слезливой рожицей… Ее и благодари.

Миша попятился назад и вышел из кабинета. Он пошел благодарить свою дальнюю родственницу, супругу Ивана Петровича. Она, маленькая, хорошенькая блондиночка, сидела у себя в кабинете на маленькой кушеточке и читала роман. Миша остановился перед ней и произнес:

— Не знаю, как и благодарить вас!

Она снисходительно улыбнулась, бросила книжку и милостиво указала ему на место около себя. Миша сел.

— Как мне благодарить вас? Как? Чем? Научите меня! Марья Семеновна! Вы мне сделали более чем благодеяние! Ведь на эти деньги я справлю свою свадьбу с моей милой, дорогой Катей!

По Мишиной щеке поползла слеза. Голос его дрожал.

— О, благодарю вас!

Он нагнулся и чмокнул в пухленькую ручку Марьи Семеновны.

— Вы так добры! А как добр ваш Иван Петрович! Как он добр, снисходителен! У него золотое сердце! Вы должны благодарить небо за то, что оно послало вам такого мужа! Моя дорогая, любите его! Умоляю вас, любите его!

Миша нагнулся и чмокнул в обе ручки разом. Слеза поползла и по другой щеке. Один глаз стал меньше.

— Он стар, некрасив, но зато какая у него душа! Найдите мне где-нибудь другую такую душу! Не найдете! Любите же его! Вы, молодые жены, так легкомысленны! Вы в мужчине ищете прежде всего внешности… эффекта… Умоляю вас!

Миша схватил ее локти и судорожно сжал их

между своими ладонями. В голосе его слышались рыдания.

— Не изменяйте ему! Изменить этому человеку значит изменить ангелу! Оцените его, полюбите! Любить такого чудного человека, принадлежать ему… да ведь это блаженство! Вы, женщины, не хотите понимать многое… многое… Я вас люблю страшно, бешено за то, что вы принадлежите ему! Целую святыню, принадлежащую ему… Это святой поцелуй… Не бойтесь, я жених… Ничего…

Миша, трепещущий, захлебывающийся, потянулся от ее уха к щечке и прикоснулся к ней своими усами.

— Не изменяйте ему, моя дорогая! Ведь вы его любите? Да? Любите?

— Да.

— О, чудная!

Минуту Миша восторженно и умиленно глядел в ее глаза. В них он прочел благородную душу…

— Чудная вы… — продолжал он, протянув руку к ее талии. — Вы его любите… Этого чудного… ангела… Это золотое сердце… сердце…

Она хотела освободить свою талию от его руки, завертелась, но еще более завязла… Головка ее — неудобно сидеть на этих кушетках! — нечаянно упала на Мишину грудь.

— Его душа… сердце… Где найти другого такого человека? Любить его… Слышать биения его сердца… Идти с ним рука об руку… Страдать… делить радости… Поймите меня! Поймите меня!..

Из Мишиных глаз брызнули слезы… Голова судорожно замоталась и склонилась к ее груди. Он зарыдал и сжал Марью Семеновну в своих объятиях…

Ужасно неудобно сидеть на этих кушетках! Она хотела освободиться из его объятий, утешить его, успокоить…

Он так нервен! Она поблагодарит его за то, что он так расположен к ее мужу… Но никак не встанешь!

— Любите его… Не изменяйте ему… Умоляю вас! Вы… женщины… так легкомысленны… не понимаете…

Миша не сказал более ни слова… Язык его заболтался и замер…

Через пять минут в ее кабинет зачем-то вошел Иван Петрович… Несчастный! Зачем он не пришел ранее? Когда они увидели багровое лицо начальника, его сжатые кулаки, когда услышали его глухой, задушенный голос, они вскочили…

— Что с тобой? — спросила бледная Марья Семеновна.

Спросила, потому что надо же было говорить!

— Но… но ведь я искренно, ваше превосходительство! — пробормотал Миша. — Честное слово, искренно!

Совет

Дверь самая обыкновенная, комнатная. Сделана она из дерева, выкрашена обыкновенной белой краской, висит на простых крючьях, но… отчего она так внушительна? Так и дышит олимпийством! По ту сторону двери сидит… впрочем, это не наше дело.

По сю сторону стоят два человека и рассуждают:

— Мерси-с!

— Это вам-с, детишкам на молочишко. За труды ваши, Максим Иваныч. Ведь дело три года тянется, не шутка… Извините, что мало… Старайтесь только, батюшка! (Пауза.) Хочется мне, благодетель, благодарить Порфирия Семеныча… Они мой главный благодетель и от них всего больше мое дело зависит… Поднести бы им в презент не мешало… сотенки две-три…

— Ему… сотенки?! Что вы? Да вы угорели, родной! Перекреститесь! Порфирий Семеныч не таковский, чтоб…

— Не берут? Жаль-с… Я ведь от души, Максим Иваныч… Это не какая-нибудь взятка… Это приношение от чистоты души… за труды непо-

сильные… Я ведь не бесчувственный, понимаю их труд… Кто нонче из-за одного жалованья такую тяготу на себя берет? Гм… Так-то-с… Это не взятка-с, а законное, так сказать, взятие…

— Нет, это невозможно! Он такой человек… такой человек!

— Знаю я их, Максим Иваныч! Прекрасный они человек! И сердце у них предоброе, душа филантропная… гуманическая… Ласковость такая… Глядит на тебя и всю твою психологию воротит… Молюсь за них денно и нощно… Только дело вот слишком долго тянется! Ну, да это ничего… И за все добродетели эти хочется мне благодарить их… Рубликов триста, примерно…

— Не возьмет… Натура у него другая! Строгость! И не суйтесь к нему… Трудится, беспокоится, ночей не спит, а касательно благодарности или чего прочего — ни-ни… Правила такие. И то сказать, на что ему ваши деньги? Сам миллионщик!

— Жалость какая… А мне так хотелось обнаружить им свои чувства! (Тихо.) Да и дело бы мое подвинулось… Ведь три года тянется, батюшка! Три года! (Громко.) Не знаю, как и поступить… В уныние впал я, благодетель мой… Выручьте, батюшка! (Пауза.) Сотни три я могу… Это точно. Хоть сию минуту…

— Гм… Да-с… Как же быть? (Пауза.) Я вам вот что посоветую. Коли уж желаете благодарить его за благодеяния и беспокойства, то… извольте, я ему скажу… Доложу… Я ему посоветовать могу…

— Пожалуйста, батюшка! (Продолжительная пауза.)

— Мерси-с… Он уважит… Только вы не триста рублей… С этими паршивыми деньгами и не суйтесь… Для него это нуль, ничтожество… газ… Вы ему тысячу…

— Две тысячи! — говорит кто-то по ту сторону двери.

Занавес падает. Да не подумает о сем кто-либо худо!

Вопросы и ответы

Вопросы

1) Как узнать *ее* мысли?
2) Где может читать неграмотный?
3) Любит ли меня жена?
4) Где можно стоя сидеть?

Ответы

1) Сделайте у нее обыск.
2) В сердцах.
3) Чья?
4) В участке.

Крест

В гостиную, наполненную народом, входит поэт.

— Ну что, как ваша миленькая поэма? — обращается к нему хозяйка. — Напечатали? Гонорар получили?

— И не спрашивайте… Крест получил.

— Вы получили крест? Вы, поэт?! Разве поэты получают кресты?

— От души поздравляю! — жмет ему руку хозяин. — Станислав или Анна? Очень рад… рад очень… Станислав?

— Нет, красный крест…

— Стало быть, вы гонорар пожертвовали в пользу Общества Красного креста?

— Ничего не пожертвовал.

— А вам к лицу будет орден… А ну-ка, покажите! Поэт лезет в боковой карман и достает оттуда рукопись…

— Вот он…

Публика глядит в рукопись и видит красный крест… но такой крест, который не прицепишь к сюртуку.

Женщина без предрассудков (Роман)

Максим Кузьмич Салютов высок, широкоплеч, осанист. Телосложение его смело можно назвать атлетическим. Сила его чрезвычайна. Он гнет двугривенные, вырывает с корнем молодые деревца, поднимает зубами гири и клянется, что нет на земле человека, который осмелился бы побороться с ним. Он храбр и смел. Не видели, чтобы он когда-нибудь чего-нибудь боялся. Напротив, его самого боятся и бледнеют перед ним, когда он бывает сердит. Мужчины и женщины визжат и краснеют, когда он пожимает их руки: больно! Его прекрасный баритон невозможно слушать, потому что он заглушает… Сила-человек! Другого подобного я не знаю.

И эта чудовищная, нечеловеческая, воловья сила походила на ничто, на раздавленную крысу, когда Максим Кузьмич объяснялся в любви Елене Гавриловне! Максим Кузьмич бледнел, краснел, дрожал и не был в состоянии поднять стула, когда ему приходилось выжимать из своего большого рта: «Я вас люблю!» Сила стушевывалась, и боль-

шое тело обращалось в большой пустопорожний сосуд.

Он объяснялся в любви на катке. Она порхала по льду с легкостью перышка, а он, гоняясь за ней, дрожал, млел и шептал. На лице его были написаны страдания… Ловкие, поворотливые ноги подгибались и путались, когда приходилось вырезывать на льду какой-нибудь прихотливый вензель… Вы думаете, он боялся отказа? Нет, Елена Гавриловна любила его и жаждала предложения руки и сердца… Она, маленькая, хорошенькая брюнеточка, готова была каждую минуту сгореть от нетерпения… Ему уже тридцать, чин его невелик, денег у него не особенно много, но зато он так красив, остроумен, ловок! Он отлично пляшет, прекрасно стреляет… Лучше его никто не ездит верхом. Раз он, гуляя с нею, перепрыгнул через такую канаву, перепрыгнуть через которую затруднился бы любой английский скакун!..

Нельзя не любить такого человека!

И он сам знал, что его любят. Он был уверен в этом. Страдал же он от одной мысли… Эта мысль душила его мозг, заставляла его бесноваться, плакать, не давала ему пить, есть, спать… Она отравляла его жизнь. Он клялся в любви, а она

в это время копошилась в его мозгу и стучала в его виски.

— Будьте моей женой! — говорил он Елене Гавриловне. — Я вас люблю! бешено, страшно!

И сам в то же время думал:

«Имею ли я право быть ее мужем? Нет, не имею! Если бы она знала, какого я происхождения, если бы кто-нибудь рассказал ей мое прошлое, она дала бы мне пощечину! Позорное, несчастное прошлое! Она, знатная, богатая, образованная, плюнула бы на меня, если бы знала, что я за птица!»

Когда Елена Гавриловна бросилась ему на шею и поклялась ему в любви, он не чувствовал себя счастливым.

Мысль отравила все… Возвращаясь с катка домой, он кусал себе губы и думал:

«Подлец я! Если бы я был честным человеком, я рассказал бы ей все… все! Я должен был, прежде чем объясняться в любви, посвятить ее в свою тайну! Но я этого не сделал, и я, значит, негодяй, подлец!»

Родители Елены Гавриловны согласились на брак ее с Максимом Кузьминым. Атлет нравился им: он был почтителен и как чиновник подавал большие надежды. Елена Гавриловна чувствова-

ла себя на эмпиреях. Она была счастлива. Зато бедный атлет был далеко не счастлив! До самой свадьбы его терзала та же мысль, что и во время объяснения…

Терзал его и один приятель, который, как свои пять пальцев, знал его прошлое… Приходилось отдавать приятелю почти все свое жалованье.

— Угости обедом в Эрмитаже! — говорил приятель. — А то всем расскажу… Да двадцать пять рублей дай взаймы!

Бедный Максим Кузьмич похудел, осунулся… Щеки его впали, кулаки стали жилистыми. Он заболел от мысли. Если бы не любимая женщина, он застрелился бы…

«Я подлец, негодяй! — думал он. — Я должен объясниться с ней до свадьбы! Пусть плюнет на меня!»

Но до свадьбы он не объяснился: не хватило храбрости.

Да и мысль, что после объяснения ему придется расстаться с любимой женщиной, была для него ужаснее всех мыслей!..

Наступил свадебный вечер. Молодых повенчали, поздравили, и все удивлялись их счастью. Бедный Максим Кузьмич принимал поздравления, пил, плясал, смеялся, но был страшно

несчастлив. «Я себя, скота, заставлю объясниться! Нас повенчали, но еще не поздно! Мы можем еще расстаться!»

И он объяснился…

Когда наступил вожделенный час и молодых проводили в спальню, совесть и честность взяли свое… Максим Кузьмич, бледный, дрожащий, не помнящий родства, еле дышащий, робко подошел к ней и, взяв ее за руку, сказал:

— Прежде чем мы будем принадлежать… друг другу, я должен… должен объясниться…

— Что с тобой, Макс?! Ты… бледен! Ты все эти дни бледен, молчалив… Ты болен?

— Я… должен тебе все рассказать, Леля… Сядем… Я должен тебя поразить, отравить твое счастье… но что ж делать? Долг прежде всего… Я расскажу тебе свое прошлое…

Леля сделала большие глаза и ухмыльнулась…

— Ну, рассказывай… Только скорей, пожалуйста. И не дрожи так.

— Ро… родился я в Там… там… бове… Родители мои были не знатны и страшно бедны… Я тебе расскажу, что я за птица. Ты ужаснешься. Постой… Увидишь… Я был нищим… Будучи мальчиком, я продавал яблоки… груши…

— Ты?!

— Ты ужасаешься? Но, милая, это еще не так ужасно. О, я несчастный! Вы проклянете меня, если узнаете!

— Но что же?

— Двадцати лет… я был… был… простите меня! Не гоните меня! Я был… клоуном в цирке!

— Ты?!? Клоуном?

Салютов в ожидании пощечины закрыл руками свое бледное лицо… Он был близок к обмороку…

— Ты… клоуном?!

И Леля повалилась с кушетки… вскочила, забегала…

Что с ней? Ухватилась за живот… По спальной понесся и посыпался смех, похожий на истерический…

— Ха-ха-ха… Ты был клоуном? Ты? Максинька… Голубчик! Представь что-нибудь! Докажи, что ты был им! Ха-ха-ха! Голубчик!

Она подскочила к Салютову и обняла его…

— Представь что-нибудь! Милый! Голубчик!

— Ты смеешься, несчастная? Презираешь?

— Сделай что-нибудь! И на канате умеешь ходить? Да ну же!

Она осыпала лицо мужа поцелуями, прижалась к нему, залебезила… Не заметно было, чтобы она сердилась… Он, ничего не понимающий, счаст-

ливый, уступил просьбе жены.

Подойдя к кровати, он сосчитал три и стал вверх ногами, опираясь лбом о край кровати…

— Браво, Макс! Бис! Ха-ха! Голубчик! Еще!

Макс покачнулся, прыгнул, как был, на пол и заходил на руках…

Утром родители Лели были страшно удивлены.

— Кто это там стучит наверху? — спрашивали они друг друга. — Молодые еще спят… Должно быть, прислуга шалит… Возятся-то как! Экие мерзавцы!

Папаша пошел наверх, но прислуги не нашел там.

Шумели, к великому его удивлению, в комнате молодых… Он постоял около двери, пожал плечами и слегка приотворил ее… Заглянув в спальную, он съежился и чуть не умер от удивления: среди спальни стоял Максим Кузьмич и выделывал в воздухе отчаяннейшие salto mortale; возле него стояла Леля и аплодировала. Лица обоих светились счастьем.

Ревнитель

Двадцать лет собирался директор З.-Б.-Х. железной дороги сесть за свой письменный стол и наконец, два дня тому назад, собрался. Полжизни мысль, жгучая, острая, беспокойная, вертелась у него в голове, выливалась в благоприличную форму, округлялась, деталилась, росла и наконец выросла до величины грандиознейшего проекта… Он сел за стол, взял в руки перо и… вступил на тернистый путь авторства.

Утро было тихое, светлое, морозное… В комнатах было тепло, уютно… На столе стоял стакан чая и слегка дымил… Не стучали, не кричали, не лезли с разговорами… Отлично писать при такой обстановке! Бери перо в руки да и валяй себе!

Директору не нужно было много думать, чтобы начать… В голове у него давно уже было все начато и окончено: знай себе списывай с мозгов на бумагу!

Он нахмурился, стиснул губы, потянул в себя струю воздуха и написал заглавие: «Несколько слов в защиту печати». Директор любил печать. Он был предан ей всей душой, всем сердцем и всеми своими помышлениями. Написать в защиту

ее свое слово, сказать это слово громко, во всеуслышание, было для него любимейшей, двадцатилетней мечтой! Он *ей* обязан весьма многим: своим развитием, открытием злоупотреблений, местом… многим! Нужно отблагодарить ее… Да и автором хочется побыть хоть денек… Писателей хоть и ругают, а все-таки почитают… В особенности женщины… Гм…

Написав заглавие, директор выпустил струю воздуха и в минуту написал четырнадцать строк. Хорошо вышло, гладко… Он начал вообще о печати и, исписав пол-листа, заговорил о свободе печати… Он потребовал… Протесты, исторические данные, цитаты, изречения, упреки, насмешки так и посыпались из-под его острого пера.

«Мы либералы, — писал он. — Смейтесь над этим термином! Скальте зубы! Но мы гордимся и будем гордиться этим прозвищем, покедова…»

— Газеты принесли! — доложил лакей…

В десять часов директор обыкновенно читал газеты. И на этот раз он не изменил своей привычке. Оставив писание, он встал, потянулся, разлегся на кушетке и принялся за газеты. Взяв в руки «Новое время», он презрительно усмехнулся, пробежал глазами по передовой и, не дочитав до конца, бросил.

— Краса Демидрона… — проворчал он. — *Я вам* прррропишу!

Швырнув на кресло «Новое время», директор взялся за «Голос». Глазки его затеплились хорошим чувством, на щеках заиграл румянец. Он любил «Голос» и сам когда-то в него пописывал.

Прочитал передовую и мелкие известия… Пробежал фельетон… Чем более он читал, тем маслениcтее делались его глазки. Прочитал «Среди газет и журналов»… Перевалился на третью страницу…

— Да, да. Так… И я об этом упомянул… Верно, совершенно верно!.. Гм. А это о чем?

Директор прищурил глаза…

«На З.-Б.-Х. железной дороге, — начал он читать, — приступлено на днях к разработке одного довольно странного проекта… Творец этого проекта — сам директор дороги, бывший…»

Через полчаса после чтения «Голоса» директор, красный, потный, дрожащий, сидел за своим письменным столом и писал. Писал он «приказ по линии»… В этом приказе рекомендовалось не выписывать «некоторых» газет и журналов…

Возле сердитого директора лежали бумажные клочки. Эти клочки полчаса тому назад составляли собой «несколько слов в защиту печати»…

Sic transit gloria mundi![110]

[110] Примечания: 110
Так проходит мирская слава! *(лат.)*

Коллекция

Как-то на днях я зашел к своему приятелю, журналисту Мише Коврову. Он сидел у себя на диване, чистил ногти и пил чай. Предложил и мне стакан.

— Я без хлеба не пью, — сказал я. — Пошли за хлебом!

— Ни за что! Врага, изволь, угощу хлебом, а друга никогда.

— Странно… Почему же?

— А вот почему… Иди сюда!

Миша подвел меня к столу и выдвинул один ящик:

— Гляди!

Я поглядел в ящик и не увидел решительно ничего.

— Ничего не вижу… Сор какой-то… Гвозди, тряпочки, какие-то хвостики…

— Вот именно на это-то и погляди! Десять лет собирал эти тряпочки, веревочки и гвоздички! Знаменательная коллекция.

И Миша сгреб в руки весь сор и высыпал его на газетный лист.

— Видишь эту обгоревшую спичку? — сказал

он, показывая мне обыкновенную, слегка обуглившуюся спичку. — Это интересная спичка. В прошлом году я нашел ее в баранке, купленной в булочной Севастьянова. Чуть было не подавился. Жена, спасибо, была дома и постучала мне по спине, а то бы так и осталась в горле эта спичка. Видишь этот ноготь? Три года тому назад он был найден в бисквите, купленном в булочной Филиппова. Бисквит, как видишь, был без рук, без ног, но с ногтями. Игра природы! Эта зеленая тряпочка пять лет тому назад обитала в колбасе, купленной в одном из наилучших московских магазинов. Сей засушенный таракан купался когда-то в щах, которые я ел в буфете одной железнодорожной станции, а этот гвоздь — в котлете, на той же станции. Этот крысиный хвостик и кусочек сафьяна были оба найдены в одном и том же филипповском хлебе. Кильку, от которой остались теперь одни только косточки, жена нашла в торте, который был поднесен ей в день ангела. Этот зверь, именуемый клопом, был поднесен мне в кружке пива в одной немецкой биргалке… А вот этот кусочек гуано я чуть было не проглотил, уписывая в одном трактире расстегай… И так далее, любезный.

— Дивная коллекция!

— Да. Весит она полтора фунта, не считая всего того, что я по невниманию успел проглотить и переварить. А проглотил я, наверное, фунтов пять-шесть…

Миша взял осторожно газетный лист, минуту полюбовался коллекцией и высыпал ее обратно в ящик. Я взял в руки стакан, начал пить чай, но уж не просил послать за хлебом.

Баран и барышня
(Эпизодик из жизни «милостивых государей»)

На сытой, лоснящейся физиономии милостивого государя была написана смертельнейшая скука. Он только что вышел из объятий послеобеденного Морфея и не знал, что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать… Читать надоело еще в незапамятные времена, в театр еще рано, кататься лень ехать… Что делать? Чем бы развлечься?

— Барышня какая-то пришла! — доложил Егор. — Вас спрашивает!

— Барышня? Гм… Кто же это? Все одно, впрочем, — проси…

В кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, одетая просто… даже очень просто. Она вошла и поклонилась.

— Извините, — начала она дрожащим дискантом. — Я, знаете ли… Мне сказали, что вас… вас можно застать только в шесть часов… Я… я… дочь надворного советника Пальцева…

— Очень приятно! Сссадитесь! Чем могу быть

полезен? Садитесь, не стесняйтесь!

— Я пришла к вам с просьбой… — продолжала барышня, неловко садясь и теребя дрожащими руками свои пуговки. — Я пришла… попросить у вас билет для бесплатного проезда на родину. Вы, я слышала, даете… Я хочу ехать, а у меня… я небогата… Мне от Петербурга до Курска…

— Гм… Так-с… А для чего вам в Курск ехать? Здесь нешто не нравится?

— Нет, здесь нравится, но, знаете ли… родители. Я к родителям. Давно уж у них не была… Мама, пишут, больна…

— Гм… Вы здесь служите или учитесь?

Барышня рассказала, где и у кого она служила, сколько получала жалованья, много ли было работы…

— Тэк… Служили… Да-с, нельзя сказать, чтоб ваше жалованье было велико… Нельзя сказать… Негуманно было бы не давать вам бесплатного билета… Гм… К родителям едете, значит… Ну, а небось в Курске и амурчик есть, а? Амурашка? Хе, хе, хо… Женишок? Покраснели? Ну, что ж! Дело хорошее… Езжайте себе. Вам уж пора замуж… А кто он?

— В чиновниках…

— Дело хорошее… Езжайте в Курск… Говорят,

что уже в ста верстах от Курска пахнет щами и ползают тараканы… Хе, хе, хо… Небось, скука в этом Курске? Да вы скидайте шляпу! Вот так, не стесняйтесь! Егор, дай нам чаю! Небось, скучно в этом… ммм… как его… Курске?

Барышня, не ожидавшая такого ласкового приема, просияла и описала милостивому государю все курские развлечения… Она рассказала, что у нее есть брат-чиновник, дядя-учитель, кузены-гимназисты… Егор подал чай… Барышня робко потянулась за стаканом и, боясь чамкать, начала бесшумно глотать… Милостивый государь глядел на нее и ухмылялся… Он уж не чувствовал скуки…

— Ваш жених хорош собой? — спросил он. — А как вы с ним сошлись?

Барышня конфузливо ответила на оба вопроса. Она доверчиво подвинулась к милостивому государю и, улыбаясь, рассказала, как здесь, в Питере, сватались к ней женихи и как она им отказала… Говорила она долго. Кончила тем, что вынула из кармана письмо от родителей и прочла его милостивому государю. Пробило восемь часов.

— А у вашего отца неплохой почерк… С какими он закорючками пишет! Хе, хе… Но, однако, мне пора… В театре уж началось… Прощайте, Марья

Ефимовна!

— Так я могу надеяться? — спросила барышня, поднимаясь.

— На что-с?

— На то, что вы мне дадите бесплатный билет…

— Билет? Гм… У меня нет билетов! Вы, должно быть, ошиблись, сударыня… Хе, хе, хе… Вы не туда попали, не на тот подъезд… Рядом со мной, подлинно, живет какой-то железнодорожник, а я в банке служу-с! Егор, вели заложить! Прощайте, ma chere[111] Марья Семеновна! Очень рад… рад очень…

Барышня оделась и вышла… У другого подъезда ей сказали, что *он* уехал в половине восьмого в Москву.

---

[111] Примечания: 111
Дорогая *(франц).*

Торжество победителя (Рассказ отставного коллежского регистратора)

В пятницу на масленой все отправились есть блины к Алексею Иванычу Козулину. Козулина вы не знаете; для вас, быть может, он ничтожество, нуль, для нашего же брата, не парящего высоко под небесами, он велик, всемогущ, высокомудр. Отправились к нему все, составляющие его, так сказать, подножие. Пошел и я с папашей.

Блины были такие великолепные, что выразить вам не могу, милостивый государь: пухленькие, рыхленькие, румяненькие. Возьмешь один, черт его знает, обмакнешь его в горячее масло, съешь — другой сам в рот лезет. Деталями, орнаментами и комментариями были: сметана, свежая икра, семга, тертый сыр. Вин и водок целое море. После блинов осетровую уху ели, а после ухи куропаток с подливкой. Так укомплектовались, что папаша мой тайком расстегнул пуговки на животе и, чтобы кто не заметил сего либерализма, накрылся салфеткой. Алексей Иваныч, на правах нашего начальника, которому все позволено, расстегнул

жилетку и сорочку. После обеда, не вставая из-за стола, закурили, с дозволения начальства, сигары и повели беседу. Мы слушали, а его превосходительство, Алексей Иваныч, говорил. Сюжетцы были все больше юмористического характера, масленичного… Начальник рассказывал и, видимо, желал казаться остроумным. Не знаю, сказал ли он что-нибудь смешное, но только помню, что папаша ежеминутно толкал меня в бок и говорил:

— Смейся!

Я раскрывал широко рот и смеялся. Раз даже взвизгнул от смеха, чем обратил на себя всеобщее внимание.

— Так, так! — зашептал папаша. — Молодец! Он глядит на тебя и смеется… Это хорошо; может, в самом деле даст тебе место помощника письмоводителя!

— Н-да-с! — сказал между прочим Козулин, начальник наш, пыхтя и отдуваясь. — Теперь мы блины кушаем, наисвежайшую икру употребляем, жену белотелую ласкаем. А дочки у меня такие красавицы, что не только ваша братия смиренная, а даже князья и графы засматриваются и вздыхают. А квартира? Хе-хе-хе… То-то вот! Не ропщите, не сетуйте и вы, покуда до конца

не доживете! Все бывает, ну и всякие перемены бывают… Ты теперь, положим, ничтожество, нуль, соринка… изюминка — а кто знает? Может быть, со временем и того… судьбы человеческие за вихор возьмешь! Всякое бывает!

Алексей Иваныч помолчал, покачал головой и продолжал:

— А прежде-то, прежде что было! А? Боже ты мой! Памяти своей не веришь. Без сапог, в рваных штанишках, со страхом и трепетом… За целковый, бывало, две недели работаешь. Да не дадут тебе этот целковый, нет! а скомкают да в лицо бросят: лопай! И всякий тебя раздавить может, уколоть, обухом хватить… Всякий оконфузить может… Идешь с докладом, глядишь, а у дверей собачонка сидит. Подойдешь ты к этой собачонке да за лапочку, за лапочку. Извините, мол, что мимо прошел. С добрым утром-с! А собачонка на тебя: рррр… Швейцар тебя локтем — толк! а ты ему: «Мелких нет, Иван Потапыч!.. извините-с!» А больше всего я натерпелся и поношений разных вынес от этого вот сига копченого, от этого вот… крокодила! Вот от этого самого смиренника, от Курицына!

И Алексей Иваныч указал на маленького, сгорбленного старичка, сидевшего рядом с моим

папашей. Старичок мигал утомленными глазками и с отвращением курил сигару. Обыкновенно он никогда не курит, но если начальство предлагает ему сигару, то он считает неприличным отказываться. Увидев устремленный на него палец, он страшно сконфузился и завертелся на стуле.

— Много я претерпел по милости этого смиренника! — продолжал Козулин. — Я ведь к нему к первому под начало попал. Привели меня к нему смирненького, серенького, ничтожненького и посадили за его стол. И стал он меня есть… Что ни слово — то нож острый, что ни взгляд — то пуля в грудь. Теперь-то он червячком глядит, убогеньким, а прежде что было! Нептун! Небеса разверзеся! Долго он меня терзал! Я и писал ему, и за пирожками бегал, перья чинил, тещу его старую по театрам водил. Всякие угождения ему делал. Табак нюхать выучился! Н-да… А все для него… Нельзя, думаю, надо, чтоб табакерка при мне постоянно была на случай, ежели спросит. Курицын, помнишь? Приходит к нему однажды моя матушка покойница и просит его, старушечка, чтоб он сынка, меня то есть, на два дня к тетушке отпустил, наследство делить. Как накинется на нее, как вытаращит бельмы, как закричит: «Да

он у тебя лентяй, да он у тебя дармоед, да чего ты, дура, смотришь!.. Под суд, говорит, попадет!» Пошла старушечка домой да и слегла, заболела от перепугу, чуть не померла в ту пору…

Алексей Иваныч вытер глаза платочком и залпом выпил стакан вина.

— Женить меня на своей собирался, да я на ту пору… к счастью, горячкой заболел, полгода в больнице пролежал. Вот что прежде было! Вот как живали! А теперь? Пфи! А теперь я… я над ним… Он мою тещу в театры водит, он мне табакерку подает и вот сигару курит. Хе-хе-хе… Я ему в жизнь перчику… перчику! Курицын!!

— Чего изволите-с? — спросил Курицын, вставая и вытягиваясь в струнку.

— Трагедию представь!

— Слушаю!

Курицын вытянулся, нахмурился, поднял вверх руку, скорчил рожу и пропел сиплым, дребезжащим голосом:

— Умри, вероломная! Крррови жажду!!

Мы покатились со смеху.

— Курицын! Съешь этот самый кусок хлеба с перчиком!

Сытый Курицын взял большой кусок ржаного хлеба, посыпал его перцем и сжевал при громком

смехе.

— Всякие перемены бывают, — продолжал Козулин. — Сядь, Курицын! Когда встанем, пропоешь что-нибудь… Тогда ты, а теперь я… Да… Так и померла старушечка… Да…

Козулин поднялся и покачнулся…

— А я — молчок, потому что маленький, серенький…

Мучители… Варвары… А теперь за то я… Хе-хе-хе… А ну-ка ты! Ты! Тебе говорят, безусый!

И Козулин ткнул пальцем в сторону папаши.

— Бегай вокруг стола и пой петушком!

Папаша мой улыбнулся, приятно покраснел и засеменил вокруг стола. Я за ним.

— Ку-ку-реку! — заголосили мы оба и побежали быстрее.

Я бегал и думал:

«Быть мне помощником письмоводителя!»

Умный дворник

Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставление. Его слушали лакеи, кучер, две горничные, повар, кухарка и два мальчика-поваренка, его родные дети. Каждое утро он что-нибудь да проповедовал, в это же утро предметом речи его было просвещение.

— И живете вы все как какой-нибудь свинячий народ, — говорил он, держа в руках шапку с бляхой. — Сидите вы тут сиднем и кроме невежества не видать в вас никакой цивилизации. Мишка в шашки играет, Матрена орешки щелкает, Никифор зубы скалит. Нешто это ум? Это не от ума, а от глупости. Нисколько нет в вас умственных способностей! А почему?

— Оно действительно, Филипп Никандрыч, — заметил повар. — Известно, какой в нас ум? Мужицкий. Нешто мы понимаем?

— А почему в вас нет умственных способностей? — продолжал дворник. — Потому что нет у вашего брата настоящей точки. 11 книжек вы не читаете, и насчет писаний нет у вас никакого смысла. Взяли бы книжечку, сели бы себе да почитали. Грамотны небось, разбираете печатное.

Вот ты, Миша, взял бы книжечку да прочел бы тут. Тебе польза, да и другим приятность. А в книжках обо всех предметах распространение. Там и об естестве найдешь, и о божестве, о странах земных. Что из чего делается, как разный народ на всех языках. И идолопоклонство тоже. Обо всем в книжках найдешь, была бы охота. А то сидит себе около печи, жрет да пьет. Чисто как скоты неподобные! Тьфу!

— Вам, Никандрыч, на часы пора, — заметила кухарка.

— Знаю. Не твое дело мне указывать. Вот, к примеру скажем, хоть меня взять. Какое мое занятие при моем старческом возрасте? Чем душу свою удовлетворить?

Лучше нет, как книжка или ведомости. Сейчас вот пойду на часы. Просижу у ворот часа три. И вы думаете, зевать буду или пустяки с бабами болтать? Не-ет, не таковский! Возьму с собой книжечку, сяду и буду читать себе в полное удовольствие. Так-то.

Филипп достал из шкапа истрепанную книжку и сунул ее за пазуху.

— Вот оно, мое занятие. Сызмальства привык. Ученье свет, неученье тьма — слыхали, чай? То-то…

Филипп надел шапку, крякнул и, бормоча, вышел из кухни. Он пошел за ворота, сел на скамью и нахмурился, как туча.

— Это не народ, а какие-то химики свинячие, — пробормотал он, все еще думая о кухонном населении.

Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздохнул и принялся за чтение.

«Так написано, что лучше и не надо, — подумал он, прочитав первую страницу и покрутив головой. — Умудрит же господь!»

Книжка была хорошая, московского издания: «Разведение корнеплодов. Нужна ли нам брюква». Прочитав первые две страницы, дворник значительно покачал головой и кашлянул.

— Правильно написано!

Прочитав третью страничку, Филипп задумался. Ему хотелось думать об образовании и почему-то о французах. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись в колена. Глаза прищурились.

И видел Филипп сон. Все, видел он, изменилось: земля та же самая, дома такие же, ворота прежние, но люди совсем не те стали. Все люди мудрые, нет ни одного дурака, и по улицам ходят все французы и французы. Водовоз, и тот рассуж-

дает: «Я, признаться, климатом очень недоволен и желаю на градусник поглядеть», а у самого в руках толстая книга.

— А ты почитай календарь, — говорит ему Филипп.

Кухарка глупа, но и она вмешивается в умные разговоры и вставляет свои замечания. Филипп идет в участок, чтобы прописать жильцов, — и странно, даже в этом суровом месте говорят только об умном и везде на столах лежат книжки. А вот кто-то подходит к лакею Мише, толкает его и кричит: «Ты спишь? Я тебя спрашиваю: ты спишь?»

— На часах спишь, болван? — слышит Филипп чей-то громовый голос. — Спишь, негодяй, скотина?

Филипп вскочил и протер глаза; перед ним стоял помощник участкового пристава.

— А? Спишь? Я оштрафую тебя, бестия! Я покажу тебе, как на часах спать, моррда!

Через два часа дворника потребовали в участок. Потом он опять был в кухне. Тут, тронутые его наставлениями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, который читал что-то по складам.

Филипп, нахмуренный, красный, подошел к Мише, ударил рукавицей по книге и сказал

мрачно:

— Брось!

Дурак
(Рассказ холостяка)

Прохор Петрович почесал затылок, понюхал табаку и продолжал:

— Две бутылки хересу в меня вылили. Сижу, пью и чувствую: ходят вокруг меня, улыбки ехидные строят и поздравляют. Около меня хозяйская дочка сидит, а я, пьяный дурак, чувствую, что мелю ерунду. Про семейную жизнь мелю, про утюги да горшки… После каждого слова поцелуй горячий… Тьфу! И вспоминать тошно. Просыпаюсь наутро, головешка трещит, во рту хлев свиной, а чувствую и понимаю, что я уже не прохвост, не мелюзга, а жених, самый настоящий — с кольцом на пальце! Иду к отцу-покойнику: так и так, мол, папаша милый, слово дал… венчаться хочу. Отец — известно, в смех… Не верит.

«Куда, говорит, тебе, молокососу, жениться? Ведь тебе и двадцати лет еще нет!»

— А подлинно молод я тогда был. Моложе снега первого… На голове кудри русые, в груди сердце пылкое, заместо живота этого шаровидного — талия тоненькая, женственная…

«Поживи еще да тогда и женись», — говорит отец.

— Я на дыбы… Известно, своя воля, балованный был. На своем стою.

«На ком же ты жениться хочешь?» — спрашивает. — «На Марьяшке Крыткиной…»

— Отец в ужас.

«На этой прощелыге? Да ты с ума сошел! Ведь ее отец мазурик, весь в долгу, как в шелку… Дурачат тебя! В сети свои тебя заманут хотят! Дурак!»

— А действительно, что я дураком был. Баран бараном… Бывало, постучишь себя по голове — в другой комнате слышно. Звонко! До тридцати лет ни одного умного слова не сказал. А дурак, как сами знаете, вечно в беде. Так и я… Никогда, бывало, из беды не выхожу: то одно, то другое… И поделом, не будь дураком… То бьют меня, то из домов и трактиров гонят… Семь раз из гимназии выгоняли… То женят… Ну-с… Отец бранится, кричит, чуть не дерется, а я на своем стою.

— Жениться хочу, да и шабаш! Кому какое дело? Никакой отец не может мне препятствовать, ежели у меня свое умозрение есть! Не маленький!

— Прибежала матушка-покойница. Ушам своим не верит, в обморок падает… Я на своем стою. Можно ли, думаю, мне не жениться, ежели я

желаю свое семейство иметь? А ведь Марьяша, думаю, красавица… Она-то не красавица, да мне уж так казалось. Хотелось, чтоб так казалось, в голову себе вбил дурацкую идею… Она горбатенькая, косенькая, худенькая… Да и дура вдобавок… Чучело заморское, одним словом. Крыткины от моей женитьбы интерес видели. Они бедняки были, ну, а я со средствами. У моего отца большое состояние было. Пошел отец к начальству:

«Батюшка, ваше превосходительство! Не велите вы моему аспиду в брак вступать! Сделайте божескую милость! Погибнет мальчик!»

— На мое несчастье, начальник мой с душком был. Мода тогда либеральная пошла только что, дух этот…

«Не могу, говорит, вмешиваться во внутреннюю жизнь моих подчиненных. И вам не советую посягать на свободу сына…» — «Да ведь он дурак, ваше превосходительство!»

— Начальство стук кулаком по столу!

«Кто бы он ни был, милостивый государь, а он имеет право располагать собой как ему угодно! Он свободный человек, милостивый государь! Когда вы, варвары, научитесь понимать жизнь?! Пришлите ко мне вашего сына!»

— Зовут меня. Я застегиваюсь на все пуговицы

и иду.

«Чего изволите-с?» — «Вот что, молодой человек! Ваши родители препятствуют вам поступить согласно влечениям вашего сердца. Это жестоко и гнусно с их стороны. Верьте, молодой человек, что симпатии порядочных людей всегда будут на вашей стороне. Если любите, то идите туда, куда влечет вас ваше сердце. А ежели ваши родители по невежеству будут препятствовать вам, то скажите мне. Я поступлю с ними по-своему… Я… я им покажу!»

— И, чтобы показать, что в нем сидит самый настоящий дух этот, он добавил:

«Буду у вас на свадьбе. Даже отцом посажёным могу быть. Завтра же поеду вашу невесту посмотреть».

— Кланяюсь и, ликуя, выхожу. Отец стоит тут же, чуть не плачет, а я ему из кармана кукиш показываю.

— На другой день поехал *он* невесту смотреть. Понравилась.

«Худа, говорит, но симпатия есть на лице. Доброта, говорит, какая-то на лице написана. Грации много. Вы счастливы, молодой человек!»

— Через три дня повез невесте подарки.

«Примите, говорит, от старика, желающего вам

счастья».

— И прослезился даже… На пятый день сговор был. На сговоре *он* пунш пил и два бокала шампанского выкушал. Доброта!

«Славная, говорит, у тебя бабенка! Худая, косая, а что-то французистое в ней есть! Огонь какой-то!»

— За три дня до свадьбы прихожу к невесте. С букетом, знаете ли…

«Где Марьяша?» — «Дома нету…» — «А где она?»

— Тесть мой будущий молчит и ухмыляется. Теща тут же сидит и кофий внакладку пьет. (Раньше всегда вприкуску пила.)

«Да где же она? Чего вы молчите?» — «А ты что за допросчик такой? Ступай туда, откедова пришел! Вороти оглобли!»

— Приглядываюсь и вижу: мой тестюшка, как зюзя… Нахлестался, сволочь…

«Нету! — говорит, а сам ухмыляется. — Ищи себе другую невесту, а Марьяшка… В гору пошла! Хе-хе-хе! К благодетелю пошла!» — «К какому?» — «А к тому самому… К твоему пузатому, превосходительству-то… Хе-хе-хе… Было б не привозить!»

— Я так и ахнул!..

Прохор Петрович громко высморкался, ухмыльнулся и добавил:

— Ахнул и с той поры умней стал…

Рассказ, которому трудно подобрать название

Был праздничный полдень. Мы, в количестве двадцати человек, сидели за большим столом и наслаждались жизнью. Наши пьяненькие глазки покоились на прекрасной икре, свежих омарах, чудной семге и на массе бутылок, стоявших рядами почти во всю длину стола. В желудках было жарко, или, выражаясь по-арабски, всходили солнца. Ели и повторяли. Разговоры вели либеральные… Говорили мы о… Могу я, читатель, поручиться за вашу скромность? Говорили не о клубнике, не о лошадях… нет! Мы решали вопросы. Говорили о мужике, уряднике, рубле… (не выдайте, голубчик!). Один вынул из кармана бумажечку и прочел стихи, в которых юмористически советуется брать с обывателя за смотрение двумя глазами десять рублей, а за смотрение одним — пять рублей, со слепых же ничего не брать. Любостяжаев (Федор Андреич), человек обыкновенно смирный и почтительный, на этот раз поддался общему течению. Он сказал: «Его превосходительство Иван Прохорыч

такая дылда… такая дылда!» После каждой фразы мы восклицали: «Pereat!»[112] Совратили с пути истины и официантов, заставив их выпить за фратернитэ…[113] Тосты были шипучие, забористые, самые возмутительные! Я, например, провозгласил тост за процветание ест… — могу я поручиться за вашу скромность?.. — естественных наук.

Когда подали шампанское, мы попросили губернского секретаря Оттягаева, нашего Ренана и Спинозу, сказать речь. Поломавшись малость, он согласился и, оглянувшись на дверь, сказал:

— Товарищи! Между нами нет ни старших, ни младших! Я, например, губернский секретарь, не чувствую ни малейшего поползновения показывать свою власть над сидящими здесь коллежскими регистраторами, и в то же время, надеюсь, здесь сидящие титулярные и надворные не глядят на меня, как на какую-нибудь чепуху. Позвольте же мне… Ммм… Нет, позвольте… Поглядите вокруг! Что мы видим?

Мы поглядели вокруг и увидели почтительно улыбающиеся холуйские физии.

---

[112] Примечания: 112
«Да погибнет!» *(лат.)*

[113] Примечания: 113
Братство *(франц,* fraternite).

— Мы видим, — продолжал оратор, оглянувшись на дверь, — муки, страдания… Кругом кражи, хищения, воровства, грабительства, лихоимства… Круговое пьянство… Притеснения на каждом шагу… Сколько слез! Сколько страдальцев! Пожалеем их, за… заплачем… (Оратор начинает слезоточить.) Заплачем и выпьем за…

В это время скрипнула дверь. Кто-то вошел. Мы оглянулись и увидели маленького человечка с большой лысиной и с менторской улыбочкой на губах. Этот человечек так знаком нам! Он вошел и остановился, чтобы дослушать тост.

— …заплачем и выпьем, — продолжал оратор, возвысив голос, — за здоровье нашего начальника, покровителя и благодетеля, Ивана Прохорыча Халчадаева! Урррааа!

— Урррааа! — загорланили все двадцать горл, и по всем двадцати сладкой струйкой потекло шампанское…

Старичок подошел к столу и ласково закивал нам головой. Он, видимо, был в восторге.

Братец

У окна стояла молодая девушка и задумчиво глядела на грязную мостовую. Сзади нее стоял молодой человек в чиновничьем вицмундире. Он теребил свои усики и говорил дрожащим голосом:

— Опомнись, сестра! Еще не поздно! Сделай такую милость! Откажи ты этому пузатому лабазнику, кацапу этому! Плюнь ты на эту анафему толстомордую, чтоб ему ни дна ни покрышки! Ну, сделай ты такую милость!

— Не могу, братец! Я ему слово дала.

— Умоляю! Пожалей ты нашу фамилию! Ты благородная, личная дворянка, с образованием, а ведь он квасник, мужик, хам! Хам! Пойми ты это, неразумная! Вонючим квасом да тухлыми селедками торгует! Жулик ведь! Ты ему вчера слово дала, а он сегодня же утром нашу кухарку на пятак обсчитал! Жилы тянет с бедного народа! Ну, а где твои мечтания? А? Боже ты мой, господи! А? Ты же ведь, послушай, нашего департаментского Мишку Треххвостова любишь, о нем мечтаешь! И он тебя любит…

Сестра вспыхнула. Подбородок ее задрожал,

глаза наполнились слезами. Видно было, что братец попал в самую чувствительную «центру».

— И себя губишь, и Мишку губишь… Запил малый! Эх, сестра, сестра! Польстилась ты на хамские капиталы, на сережечки да браслетки. Выходишь по расчету за дурмана какого-то… за свинство… За невежу выходишь… Фамилии путем подписать не умеет! «Митрий Неколаев». «Не»… слышишь?.. Неколаев… Ссскатина! Стар, грубый, сиволапый… Ну, сделай ты милость!

Голос братца дрогнул и засипел. Братец закашлялся и вытер глаза. И его подбородок запрыгал.

— Слово дала, братец… Да и бедность наша опротивела…

— Скажу, коли уж на то пошло! Не хотел пачкать себя в твоем мнении, а скажу… Лучше реноме потерять, чем сестру родную в погибели видеть… Послушай, Катя, я про твоего лабазника тайну одну знаю. Если ты узнаешь эту тайну, то сразу от него откажешься… Вот какая тайна… Ты знаешь, в каком пакостном месте я однажды с ним встретился? Знаешь? А?

— В каком?

Братец раскрыл рот, чтобы ответить, но ему помешали. В комнату вошел парень в поддевке, грязных сапогах и с большим кульком в руках.

Он перекрестился и стал у двери.

— Кланялси вам Митрий Терентьич, — обратился он к братцу, — и велели вас с воскресным днем проздравить-с… А вот это самое-с в собственные руки-с.

Братец нахмурился, взял кулек, взглянул в него и презрительно усмехнулся.

— Что тут? Чепуха, должно быть… Гм… Голова сахару какая-то…

Братец вытащил из кулька голову сахару, снял с нее колпак и пощелкал по сахару пальцем.

— Гм… Чьей фабрики сахар? Бобринского? То-то… А это чай? Воняет чем-то… Сардины какие-то… Помада ни к селу ни к городу… изюм с сором… Задобрить хочет, подлизывается… Не-ет-с, милый дружок! Нас не задобришь! А для чего это он цикорного кофею всунул? Я не пью. Кофей вредно пить… На нервы действует… Хорошо, ступай! Кланяйся там!

Парень вышел. Сестра подскочила к брату, схватила его за руку… Брат сильно подействовал на нее своими словами. Еще бы слово и… несдобровать бы лабазнику!

— Говори же! Говори! Где ты его видел?

— Нигде. Я пошутил… Делай, как знаешь! — сказал братец и еще раз постукал пальцем по

сахару.

Филантроп

В роскошном, затейливо убранном будуаре одной из известнейших московских бонвиванок сидел доктор. Был полдень. Она, хорошенькая хозяйка, только что поднялась со своего ложа и, развалясь на мягкой кушетке, лениво потягивалась и вопросительно заглядывала в глаза доктора. Доктор, молодой человек лет двадцати шести, сидел vis-a-vis ее в задумчивой позе и хмурился. Полуденное солнце играло на его массивных брелоках, жгло его большой белый лоб, заставляло щуриться его глаза, но он не замечал этого.

Не до физических ощущений было ему, когда другие, более жгучие и более чувствительные болячки не давали ему покоя: у него болела душа.

Он бранил себя, презирал, ненавидел… Он готов был растерзать свою особу.

Дело в том, что *она* ждала от него слова… А что он ей скажет?

«Негодяй я! — размышлял он, искоса поглядывая на личико сидевшей против него хорошенькой женщины. — Тысячу раз негодяй! Две недели я бегал за ней, надоедал ей, вертелся перед ней,

как самый последний фат, рисовался, как дурак какой-нибудь… И что же? Я добился того, что она полюбила меня… Не проходит дня, чтобы она раза четыре не присылала за мной… Я заставил ее полюбить себя, но… разве я способен платить ей тем же? Несчастная! А как жалобно она смотрит! С каким нетерпением она ожидает решительного объяснения!»

Действительно, глаза, покоившиеся на докторском лице, были полны самой нежной любви, самой горячей, трескучей, бешеной страсти!

«И для чего я добивался ее любви? — продолжал размышлять доктор. — Так… фатовства ради… Хотелось самолюбие свое пощекотать. Фаты и дураки любят побеждать женщин. Для чего им эти победы, они не спрашивают себя… Ну что я, например, буду делать с этой куклой? Бедная!»

— И правую руку ломит! — перебила дамочка докторские размышления. — Всю ночь ломило. И голова болела ночью…

— Гм… Так-с… А спали хорошо?

— Плохо… Шум в голове какой-то…

— Сердцебиение? — спросил от нечего делать доктор.

— Да, и сердцебиение, — соврала дамочка. — Вообще нервы ужасно расстроены. Не знаю, что

и делать… Каждый день вас беспокою, *и т. д.*

Прошло полчаса в подобных расспросах и ответах. Наконец противно стало.

Доктор поднялся и взялся за шляпу.

— Движения нужно побольше, — сказал он. — Волнений избегайте… Летом за границу, пожалуй, на Кавказ… Завтра заеду.

Дамочка тоже поднялась и молча сунула в протянутую руку конверт. Он взял, не глядя на нее… Но он нечаянно взглянул в зеркало и увидел там… что маленькое, хорошенькое, капризное личико собиралось заплакать. Глазки, бедные голубые глазки, усиленно мигали и подергивались влагой. Губки сжимались от злости и досады.

«Несчастная!» — подумал доктор, вздохнул и *сжалился* над нею…

— Впрочем, вот что… — пробормотал он. — Попробуйте-ка принять эти пилюли… Сейчас я пропишу… Попробуйте…

Доктор сел, вырезал из белого листа бумажку для рецепта и, после рецептурного значка (Rp.), написал:

«Быть сегодня в восемь часов вечера на углу Кузнецкого и Неглинной, около Дациаро. Буду ждать».

Доктор надел перчатку, поклонился и вышел.

В восемь часов вечера… Впрочем, поставлю точку. Одну точку я всегда предпочитал многоточию, предпочту и теперь.

Разговор

Особы обоего пола сидели в мягких креслах, кушали фрукты и, от нечего делать, бранили докторов. Порешили так, что если бы на этом свете вовсе не существовало докторов, то было бы прекрасно; по крайней мере люди не так бы часто болели и умирали.

— Впрочем, господа, иногда… впрочем… — заговорила в конце концов маленькая, тщедушная блондиночка, кушая грушу и краснея. — Иногда доктора бывают полезны… Нельзя отрицать их пользы в некоторых случаях. В семейной жизни, например. Представьте себе, что жена… Мужа моего нет здесь?

Блондинка окинула взором собеседников и, убедясь, что в гостиной нет ее мужа, продолжала:

— Представьте себе, что жена, в силу каких бы там ни было причин, не желает, чтобы, положим, он… не смел и подходить к ней… Представьте, что она не может, одним словом… любить мужа, потому что… одним словом, отдалась другому… любимому существу. Ну, что ей прикажете делать? Она отправляется к доктору и просит его, чтобы он… нашел причины… Доктор идет к мужу

и говорит ему, что если… одним словом, вы меня понимаете. У Писемского даже есть кое-что в этом роде… Доктор приходит к мужу и во имя здоровья жены приказывает ему отказаться от своих супружеских обязанностей… Vous comprenez?[114]

— А я ничего не имею против господ докторов, — сказал сидящий в стороне старичок, чиновник. — Милейший и, могу вас уверить, умнейший народ! Благодетели наши они, ежели вникнуть. Рассудите сами, сударыни мои… Вы вот, мадам, сейчас насчет супружеских обязанностей говорили, а я вам скажу насчет наших обязанностей. Мы тоже ведь любим спокойствие и вожделение душевное этакое, чтоб все хорошо было. Службу свою я знаю, но ежели, ваше, положим, превосходительство, вы изволите требовать что поверх службы, то извините-с, это уж атанде. Нам наш покой тоже дорог… Вы знаете нашего генерала? Душа человек! Великодушие! Все поступки, можно сказать, душевные. И не обидит тебя, руку тебе подаст, насчет семейства расспросит… Начальник, а равного с тобой поведения. Шуточки этак, прибауточки всякие, анекдотцы… Как отец, одним словом, короче

---

[114] Примечания: 114
Вы понимаете? *(франц.)*

говоря. Но раза три в год в этом великом человеке переворот бывает. Меняется! Совсем другим делается и… не дай тебе господи! Любит, знаете ли, реформы вводить… Это его струна, идея, как говорят социалисты. И когда вот он — раза три в год с ним это случается — начнет реформы вводить, не подходи к нему тогда! Как тигр или лев какой-нибудь! Красный ходит такой, потный, дрожит, говорит, что у него людей нет. Ходим все мы тогда бледные и… помираем от ужаса. И держит нас на службе до поздней ночи, мы пишем, бегаем, архив роем, справки… и не дай тебе господи, и злому татарину этого не пожелаю. В аду кромешном лучше. А намедни плакал, что его не понимают, что помощников настоящих у него нет… Плакал-с! А нешто нам приятно видеть, как начальник плачет?

Старичок умолк и отвернулся, чтобы не показать слез, заблестевших на его глазах.

— При чем же тут доктора? — спросила блондинка.

— А вот при чем-с… Постойте-с… Как только мы заприметим, стало быть, что начинается этот самый переворот, мы сейчас к доктору: «Иван Матвеич, голубчик! Благодетель, отец родной, выручи! На тебя только и надежда. Сделай боже-

скую милость, спровадь ты его за границу! Жить нет возможности…» Ну-с… Доктор-то старичок славный такой… Известно, сам в подчинении был и всю сладость вкусил. Идет к нашему, свидетельствует… «Печенки, — говорит, — не того… Что-то в них там не того, ваше превосходительство… Вы бы, говорит, за границу, водами пользоваться…» Ну, напугает печенками, а тот, известно, человек мнительный, болезней страшится… Сейчас за границу, а реформы — тю-тю! Вот-с!

— А вот ежели присяжным заседателем, положим… — начал купец. — К кому идти, ежели…

После купца стала говорить одна пожилая дама, сын которой недавно чуть было не пошел на военную службу.

И докторов стали хвалить; говорили, что без них никак нельзя, что если бы на этом свете не было докторов, то было бы ужасно. И решили в конце концов так, что если бы не было докторов, то люди болели бы и умирали гораздо чаще.

Рыцари без страха и упрека

На станции «Разбейся» в апартаментах г. начальника станции заседало большое общество. Тут были начальники станций, начальники дистанций, магазинов, депо и проч., отставные и неотставные, старые и молодые. Между форменными путейскими сюртуками виднелись цвета женских modes et robes[115], попадались и детские мордочки… Компания пила чай, играла в карты, музицировала и услаждала себя беседою. Говорили о случаях, случайно случившихся на той или другой линии. Рассказано было много, не написать всего. Один г. Укусилов говорил два часа… Извольте-ка написать! Буду по обычаю краток.

— Три вагона разбило! — кончил свою двухчасовую речь г. Укусилов. — Двое убитых, пять раненых, а что паче сего, то от лукавого: неофициально то есть… Хе-хе-хмы… Из одной артели было шесть раненых… Призываю их… «Ежели!.. Да кто-нибудь! Да кому-нибудь!.. Говори, что ушибся!» Двум солдатикам по трешке дадено было для успокоения: молчи и не распространяйся!

---

[115] Примечания: 115
Модных нарядов *(франц.)*.

Предостережений много принято было, а между тем не обошлось без худа. С места меня пугнули и судом пригрозили. Ты-де, мол, спал и телеграммы не дал. Начальнику станции, выходит, и спать нельзя… Народ бессовестный… Из-за пустяков семейного человека места лишили. В одном из вагонов начальнику движения из его усадьбы свежих раков везли, да при суматохе растеряли. Начальник мечтал в тот вечер раки а ла бордалез кушать. Воспитания нежного… И не будь этих самых раков подлых, не прилетело бы ко мне на станцию следствие и не потерял бы я места…

— Вы и теперь без места? — спросила поповна из соседнего села. (Она приехала на станцию попросить «по знакомству» для мамаши бесплатного проезда к тете.)

— Какое! Через неделю я служил уж на другой дороге, хоть и под судом числился.

— А вот-с… тоже случай, — начал г. Гарцунов, наливая себе водки. — Вы, конечно, знаете Ивана Михайлыча, что обер-кондуктором ездил. Бестия, я вам скажу! Честнейший человек, благороднейший, но мерзавец в своем роде, архаровец… То есть, не мерзавец, а так себе… гений в своем роде, коршун… Приходит он однажды на «Живодерово» с поездом… С товарным он ездил. В

пассажирские его не производили, потому что женщин он не мог видеть равнодушно: припадок с ним делался. Приходит он с поездом… А на ту пору на платформе человек тридцать косарей стояло. Время рабочее, знаете ли, летнее…

«Куда идете, косарики? — спрашивает. — Давайте, говорит, я вас в товарном поезде до следующей станции довезу. По гривеннику, говорит, возьму с человека, только…»

— Тем это на руку, разумеется, того только и нужно. Получил с них Иван Михайлыч по гривеннику и засадил всех в служебный вагон. Поехали наши косари… От восторга песню запели. Паатеха! На ту пору я в вагоне ехал, поспеть на крестины хотел, к Илье, вот, Петровичу… Олечку ихнюю крестили…

«Зачем вы, говорю, Иван Михайлыч, их насажали? Ведь на станции контролер!» — «Нуте?» — «Сейчас помереть…»

— Иван Михайлыч задумался… Известно, не хотелось оконфузиться. Оно-то ничего, знаете, все даром возят, и всем это великолепно известно, но неловко как-то, знаете… Да и контролеры разные бывают… Иной черт такой попадется, что жизни не рад будешь… Бывает! По злобе больше доносят или отличиться перед начальством хочет…

«Поезд не остановишь, — говорит Иван Михайлыч, — а ссадить их, чертей, надо… Как быть?»

— А тут еще поезд нам встретился, с тремя фонарями на служебном вагоне. У них, у кондукторов, знак такой: ежели на служебном вагоне три фонаря, положим, два флага или что-нибудь другое условное, то на станции, значит, контролер. Мои слова подтвердились.

Иван Михайлыч думал и надумал. Па-атеха! Отворяет в вагоне дверь, берет господ косарей за шиворот и на всем ходу — марш! Прыгай! Запрыгали косари… Хе-хе-хе… Как снопы повалились.

«Прыгай! — кричит. — Прыгай наперед, и ничего тебе не будет! Прыгай, такой-сякой! Черт, дьявол!»

— Мы глядим и со смеху помираем… Все соскочили. Один только ногу себе сломал, а остальные все благополучно. Так и пропали ихние гривенники… Хе-хе-хе… Через неделю как-то узнали об этом скандале, выцарапали откуда-то косаря со сломанной ногой… Донес кто-то, шут возьми… Злоба людская… Косарю дали пять рублей, а Ивана Михайлыча с места долой… Хе-хе…

— И он без места теперь?

— В оперу, слышал, поступает. Баритон у него славный. Едет, бывало, в поезде, напьется и давай

петь. Звери заслушивались, птицы плакали! Талантливый человек, и говорить нечего…

Обер-верхи

ВЕРХ ЛЕГКОВЕРИЯ

На днях в Т. застрелился землевладелец К., местный воротила, человек богатый и семейный. Пуля была пущена в рот и засела в мозгу. В боковом кармане несчастного было найдено письмо следующего содержания:

«Сейчас я прочел в календаре, что в этом году не будет урожая. Неурожай принесет мне банкротство. Не желая доживать до такого позора, я заранее лишаю себя жизни и прошу никого не винить в моей смерти».

ВЕРХ РАССЕЯННОСТИ

Нам передают за достоверное, что на днях в одной из лечебниц имел место следующий прискорбный случай. Известный хирург М., ампутируя обе ноги у железнодорожного стрелочника, по рассеянности одну ногу отрезал у себя, а другую — у помогавшего ему фельдшера. Обоим подана медицинская помощь.

ВЕРХ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Я сын почетного потомственного гражданина, читаю «Гражданин», хожу в гражданском платье

и пребываю со своею Анютой в гражданском браке…

ВЕРХ БЛАГОНАМЕРЕННОСТИ

Нам пишут, что на днях один из сотрудников «Киевлянина», некий Т, начитавшись московских газет, в припадке сомнения сделал у самого себя обыск. Не нашедши ничего предосудительного, он все-таки сводил себя в квартал.

Лист
(Кое-что пасхальное)

Передняя. В углу ломберный столик. На столике лист серой казенной бумаги, чернильница с пером и песочница. Из угла в угол шагает швейцар, алчущий и жаждущий. На сытом рыле его написано корыстолюбие, в карманах позванивают плоды лихоимства. В десять часов начинает вползать с улицы в переднюю маленький человек, или, как изволит называть его — ство, «субъект». Субъект вползает, подходит на цыпочках к столу, робко берет в дрожащую руку перо и выводит на сером листе свою негромкую фамилию. Выводит он долго, с чувством, с толком, точно чистописанию учится… Набирает чернил на перо чуть-чуть, немножечко, раз пять: капнуть боится. Сделай он кляксу и… все погибло! (Был однажды такой случай… Впрочем, некогда…) Росчерка он не подмахивает: ни-ни… И «ер» вырисовывает. Кончив чистописание, он долго глядит на свою каллиграфию, ищет ошибки и, не найдя таковой, вытирает на лбу пот.

— Христос воскрес! — обращается он к швей-

цару.

Нафабренные усы приходят в троекратное соприкосновение с колючими усами… Раздаются звуки поцелуя, и в карман цербера с приятным звоном падает новая «малая толика». За первым субъектом вползает другой, за этим третий… и так до часу. Лист со всех сторон покрывается подписями. В четвертом часу цербер несет его в апартаменты. Старичок берет его в руки и начинает считать.

— Все… Но, однако, что это значит? Нс! Тут, эээ… я не вижу ни одного знакомого почерка! Тут один чей-то почерк! Какой-то каллиграф писал! Наняли каллиграфа, тот и подписался за них! Хороши, нечего сказать! Трудно им было самим прийти и поздравить! А-ах! Что я им худого сделал? За что они меня так не уважают? (Пауза.) Эээ… Максим! Поезжай, братец, к экзекутору *и т. д.*…

* * *

Одиннадцать часов. Молодой человек с кокардой на дне фуражки вспотел, тяжело дышит, красен… Он взбирается по бесконечной лестнице на пятый этаж… Взобравшись, он с остервенением дергает за звонок. Ему отворяет молодая женщина.

— Ваш Иван Капитоныч дома? — спрашивает молодой человек, задыхаясь от усталости. — Ох! Скажите ему, чтобы он как можно скорей бежал к его — ству опять расписываться! Украли тот лист! Ох… Нужно теперь новый лист… Скорей!!

— Кто же это украл? Кому он нужен?

— Его чертовка… эта… ффф… Его экономка стянула! Бумагу собирает, на пуды продает… Сквалыжная баба, чтоб ей ни дна ни покрышки! Однако мне к восьмерым еще бежать нужно… Прощайте!

* * *

Еще передняя… Стол и лист. В углу на табурете сидит швейцар, старый, как «Сын отечества», и худой, как щепка… В одиннадцать часов открывается дверь из апартаментов. Высовывается лысая голова.

— Что, еще никого не было, Ефимушка? — спрашивает голова.

— Никого-с, ваше-ство…

В первом часу высовывается та же голова.

— Что, еще никого не было, Ефимушка?

— Ни единой души, ваше — ство!

— Гм… Ишь ты… Гм…

Во втором часу — то же, в третьем — то же… В

четвертом из апартаментов высовывается все туловище, с ногами и руками. Старичок подходит к столику и долго глядит на пустой лист. На лице его написана великая скорбь.

— Гм… не то, что в прошлые годы, Ефимушка! — говорит он, вздыхая. — Так… Гм… И на лбу, значит, роковые слова: «В отставке!» У Некрасова, кажется, так… Чтоб моя старуха не смеялась надо мной, давай хоть мы распишемся за них!.. Бери перо…

Слова, слова и слова

На большом номерном диване лежал телеграфист Груздев. Подперев кулаками свою белокурую голову, он рассматривал маленькую рыжеволосую девушку и вздыхал.

— Катя, что заставило тебя так пасть? Скажи мне! — вздохнул между прочим Груздев. — Как ты озябла, однако!

На дворе был один из самых скверных мартовских вечеров. Тусклые фонарные огни едва освещали грязный, разжиженный снег. Все было мокро, грязно, серо… Ветер напевал тихо, робко, точно боялся, чтобы ему не запретили петь. Слышалось шлепанье по грязи… Тошнило природу!

— Катя, что заставило тебя так пасть? — спросил еще раз Груздев.

Катя робко поглядела в глаза Груздеву. Глаза честные, теплые, искренние — так показалось ей. А эти падшие создания так и лезут на честные глаза, лезут и налетают, как мотыльки на огонь. Кашей их не покорми, а только взгляни на них потеплей. Катя, теребя бахрому от скатерти, конфузливо рассказала Груздеву свою жалкую повесть. Повесть самая обыкновенная, подлая:

он, обещание, надувательство и проч.

— Какой же *он* подлец! — проворчал Груздев, негодуя. — Есть же такие мерзавцы, черт бы их взял совсем! Богат он, что ли?

— Да, богат…

— Так и знал… И вы-то хороши, нечего сказать. Зачем вы, бабы, деньги так любите! На что они вам?

— Он побожился, что на всю жизнь обеспечит, — прошептала Катя. — А разве это плохо? Я и польстилась… У меня мать-старуха.

— Гм… Несчастные вы, несчастные! А все по глупости, по пустоте… Малодушны все вы, бабы!.. Несчастные, жалкие… Послушай, Катя! Не мое это дело, не люблю вмешиваться в чужие дела, но лицо у тебя такое несчастное, что нет сил не вмешаться! Катя, отчего ты не исправишься? Как тебе не стыдно? По всему ведь видно, что ты еще не совсем погибла, что возврат еще возможен… Отчего же ты не постараешься стать на путь истинный? Могла бы, Катя! Лицо у тебя такое хорошее, глаза добрые, грустные… И улыбаешься ты как-то особенно симпатично…

Груздев взял Катю за обе руки и, заглядывая ей сквозь глаза в самую душу, сказал много хороших слов. Говорил он тихо, дрожащим тенором, со

слезами на глазах… Его горячее дыхание обдавало все ее лицо, шею…

— Можно исправиться, Катя! Ты так молода еще… Попробуй!

— Я уже пробовала, но… ничего не вышло. Все было… Раз пошла даже в горничные, хоть… и дворянка я! Думалось исправиться. Лучше самый грязный труд, чем наше дело. Я к купцу поступила… Жила месяц, и ничего, можно жить… Но хозяйка приревновала к хозяину, хотя я и внимания на него не обращала, приревновала, прогнала, места нет и… опять пошло сначала… Опять!

Катя сделала большие глаза, побледнела и вдруг взвизгнула. В соседнем номере кто-то уронил что-то: испугался, должно быть. Мелкий, истерический плач понесся сквозь все тонкие номерные перегородки. Груздев бросился за водой. Через десять минут Катя лежала на диване и рыдала:

— Подлая я, гадкая! Хуже всех на свете! Никогда я не исправлюсь, никогда не исправлюсь, никогда не сделаюсь порядочной! Разве я могу? Пошлая! Стыдно тебе, больно? Так тебе и следует, мерзкая!

Катя сказала немного, меньше Груздева, но понять можно было многое. Она хотела прочесть

целую исповедь, так хорошо знакомую каждому «честному развратнику», но не получилось из ее речи ничего, кроме нравственных самопощечин. Всю душу себе исцарапала!

— Пробовала уже, но ничего не выходит! Ничего! Все одно погибать! — кончила она со вздохом и поправила свои волосы.

Молодой человек взглянул на часы.

— Не быть из меня толку! А вам спасибо… Я первый раз в жизни слышу такие ласковые слова. Вы один только обошлись со мной по-человечески, хоть я и беспорядочная, гадкая…

И Катя вдруг остановилась говорить. Сквозь ее мозг молнией пробежал один маленький роман, который она читала когда-то, где-то… Герой этого романа ведет к себе падшую и, наговорив ей с три короба, обращает ее на путь истины, обратив же, делает ее своей подругой… Катя задумалась. Не герой ли подобного романа этот белокурый Груздев? Что-то похоже… Даже очень похоже. Она с стучащим сердцем стала смотреть на его лицо. Слезы ни к селу ни к городу опять полились из ее глаз.

— Ну, полно, Катя, утешься! — вздохнул Груздев, взглянув на часы. — Исправишься, бог даст, коли захочешь.

Плачущая Катя медленно расстегнула три верхние пуговки шубки. Роман с красноречивым героем стушевался из ее головы…

В вентиляцию отчаянно взвизгнул ветер, точно он первый раз в жизни видел насилие, которое может совершать иногда насущный кусок хлеба. Наверху, где-то далеко за потолком, забренчали на плохой гитаре. Пошлая музыка!

Двадцать шесть
(выписки из дневника)

2-го того же мес. Пообедав, размышлял о плачевном состоянии западноевропейских финансов. Пригласил в экономки.

18-го июня. Бунтовала за обедом. Переживает, по-видимому, душевный переворот. Боюсь, чтоб не амуры. Читал в «Голосе» передовую статью… Нельзя-с!

4-го декабря. Всю ночь хлопали калиткой. В пять часов утра видел канцеляриста Карявова выходящим из моего двора. На мой вопрос, зачем он здесь, Карявов смутился. На что-то покуситься хотел, шельма. Надо будет уволить.

28-го того же мес. Бунтовала весь день. Кой черт это шляется? Поймал в деле № 1302 мышь. Убил.

Новый год. Принимал поздравления. Преподнес ей для назидания душеполезную книгу. Весь день бунтовала. Находясь в унынии, писал сочинение: «О нападении печенегов на Уфимскую губернию». Видел видение.

4-го того же мес. Разорвала и книгу и мое сочи-

нение. Приказала воротить Карявова. Исполню, душенька! Вечером бунтовала, рвала мои бумаги, падала в гистерику и объявила, что на днях уезжает в Самарскую губ. лечиться от грудей. Не пущу!!

6-го февраля. Уехала!! Лежал целый день на ее кровати, плакал и так рассуждал: «Она здорова, следственно не лечиться поехала. Тут другая статья: амуры. Подозреваю, что увлечена одним из моих молокососов канцелярских. Но с кем и как? Узнаю завтра, ибо виновник попросится в отпуск, дабы к ней поехать. Он, шельма, подает мне прошение об отпуске, а я его… цап!! Ночью не хлопали калиткой, а все-таки спал плохо. Несмотря на уныние, размышлял о бедственном состоянии Франции. Видел два видения сразу. Господи, прости нас, грешных!

7-го февраля. Подано двадцать шесть прошений об отпуске. Все!!! Постой же… Просятся в Кронштадт. Так вот она где, эта Самарская губ.! Постой же…

8-го того же мес. Не менее скорблю. Пребываю в унынии. Разнес всех и вся. Вся канцелярия вспотела — не до любви ей теперь. Видел во сне Кронштадт.

14-го того же мес. Вчера, в воскресенье, Каря-

вов ездил куда-то за город, сегодня же ходит по канцелярии и саркастически улыбается… Уволю.

25-го того же мес. Получил от нее письмо. Приказывает прислать денег и снова принять на службу Карявова. Исполню, душенька! Дожидайся! Вчера еще трое ездили за город… Чьей-то калиткой хлопают они теперь?

Теща-адвокат

Это произошло в одно прекрасное утро, ровно через месяц после свадьбы Мишеля Пузырева с Лизой Мамуниной. Когда Мишель выпил свой утренний кофе и стал искать глазами шляпу, чтобы ретироваться на службу, к нему в кабинет вошла теща.

— Я задержу вас, Мишель, минут на пять, — сказала она. — Не хмурьтесь, мой друг… Я знаю, что зятья не любят говорить с тещами, но мы, кажется… сошлись с вами, Мишель. Мы не зять и не теща, а умные люди… У нас много общего… Ведь да?

Теща и зять уселись на диване.

— Чем могу быть полезен, муттерхен?[116]

— Вы умный человек, Мишель, очень умный; я тоже… неглупа… Мы поймем друг друга, надеюсь. *Я давно уже* собираюсь поговорить с вами, mon petit[117]… Скажите мне откровенно, ради… ради всего святого, что вы хотите сделать с моей

---

[116] Примечания: 116
Мамочка *(нем.* mutterchen).

[117] Примечания: 117
Дитя мое *(франц.).*

дочерью?

Зять сделал большие глаза.

— Я, знаете ли, согласна… Пусть! Почему же? Наука вещь хорошая, без литературы нельзя… Поэзия ведь! Я понимаю! Приятно, если женщина образованна… Я сама воспитывалась, понимаю… Но для чего, mon ange[118], крайности?

— То есть? Я не совсем вас понимаю…

— Я не понимаю ваших отношений к моей Лизе! Вы женились на ней, но разве она вам жена, подруга? Она ваша жертва! Науки, книги там, теории разные… Все это очень хорошие вещи, но, мой друг, вы не забывайте, что она моя дочь! Я не позволю! Она моя плоть и кровь! Вы убиваете ее! Не прошло и месяца со дня вашей свадьбы, а она уже похожа у вас на щепку! Целый день сидит она у вас за книгой, читает эти глупые журналы! Бумаги какие-то переписывает! Разве это женское дело? Вы не вывозите ее, не даете ей жить! Она у вас не видит общества, не танцует! Невероятно даже! Ни разу за все время не была на балу! Ни ра-зу!

— Ни разу не была на балу, потому что сама не хотела. Потолкуйте-ка с ней самой… Вы узнае-

---

[118] Примечания: 118
Мой ангел *(франц.).*

те, какого она мнения о ваших балах и танцах. Нет, ma chere![119] Ей противно ваше безделье! Если она сидит по целым дням за книгой или за работой, то, верьте, в этом никто не насилует ее убеждений… За это-то я ее и люблю… А за сим честь имею кланяться и прошу впредь в наши отношения не вмешиваться. Лиза сама скажет, если ей понадобится что-нибудь сказать…

— Вы думаете? Неужели вы не видите, как она кротка и нема? Любовь связала ей язык! Не будь меня, вы бы на нее хомут надели, милостивый государь! Да-с! Вы тиран, деспот! Извольте сегодня же изменить ваше поведение!

— И слушать не хочу…

— Не хотите? И не нужно! Не велика честь! Я и говорить бы с вами не стала, если бы не Лиза! Мне ее жаль! Она умолила меня поговорить с вами!

— Ну, уж это вы лжете… Это уж ложь, сознайтесь…

— Ложь? Так погляди же, грубая душа!

Теща вскочила и рванула за дверную ручку. Дверь распахнулась, и Мишель увидел свою Лизу. Она стояла на пороге, ломала себе руки и всхлипывала. Ее хорошенькая мордочка была вся

---

[119] Примечания: 119
Дорогая *(франц.)*.

в слезах. Мишель подскочил к ней…

— Ты слышала? Так скажи же ей! Пусть поймет свою дочь!

— Мама… мама говорит правду, — заголосила Лиза. — Я не выношу этой жизни… Я страдаю…

— Гм… Вот как! Странно… Но почему же ты сама со мной не поговоришь об этом?

— Я… я… ты рассердишься…

— Но ведь ты же сама постоянно трактовала против безделья! Ты говорила, что любишь меня только за мои убеждения, что тебе противна жизнь твоей среды! Я и полюбил тебя за это! До свадьбы ты презирала, ненавидела эту суетную жизнь! Чем же объяснить такую перемену?

— Тогда я боялась, что ты на мне не женишься… Милый Мишель! поедем сегодня на jour fixe[120] к Марье Петровне!.. — И Лиза упала на грудь Мишеля.

— Ну, вот видите! Теперь убедились? — сказала теща и торжествующе вышла из кабинета…

— Ах ты, дурак! — простонал Мишель.

— Кто дурак? — спросила Лиза.

— Тот, кто ошибся!..

---

[120] Примечания: 120
Журфикс *(франц.).*

Моя Нана

Это было тогда, когда я еще не был неизвестным литератором и мои колючие усы не были еще даже чуть заметными полосками…

Был хороший весенний вечер. Я воротился с дачного «круга», на котором мы учиняли пляс, как угорелые. В моем юношеском организме, выражаясь образно, камня на камне не было, восстал язык на язык, царство на царство. В моей отчаянной душе раскалялась и бурлила наиотчаяннейшая любовь. Любовь была жгучая, острая, дух захватывающая — первая, одним словом. Влюбился я в высокую статную барыньку, лет двадцати трех, с глупеньким, но хорошеньким личиком, с чудными ямочками на щеках. Влюбился я и в эти ямочки и в белокурые волосы, которые кудряшками падали на красивые плечи из-под широкополой соломенной шляпки… Ах, одним словом! Воротясь с круга, я повалился на свое ложе и застонал, как пришибленный. Через час я сидел за столом и, дрожа всем телом, измарав целую десть бумаги, сочинял письмо следующего содержания:

«Валерия Андреевна! Я знаком с вами очень

мало, почти незнаком, но это не может послужить мне препятствием на пути к достижению намеченных мною целей. Минуя громкие фразы, я прямо приступаю к цели: я люблю вас! Да, я люблю вас, и люблю больше жизни! Это не гипербола. Я честен, тружусь (следует длиннейшее описание моих доблестей)… Жизнь моя мне не дорога. Не сегодня — так завтра, не завтра — так через год… не все ли равно? На моем столе, в двух футах от моей груди, лежит револьвер (шестизарядка). Я в ваших руках. Если вам дорога жизнь страстно любящего вас человека, то отвечайте. Жду ответа. Ваша Палаша знает меня. Можете через нее ответить. Ваш вчерашний vis-a-vis (такой-то, имя рек)…

P. S. Сжальтесь!»

Запечатав это письмо, я положил перед собой на стол револьвер — для «фантазии» больше, чем для самоубийства — и пошел между дач искать почтового ящика. Ящик был найден и письмо опущено.

Вот что произошло, как рассказывала мне потом Палаша, с моим письмом. На другой день утром, часов в одиннадцать, Палаша, после прихода почтальона, положила мое письмо на серебряный поднос и понесла его в спальную

хозяйки. Валерия Андреевна лежала под воздушным шелковым одеялом и лениво потягивалась. Она только что проснулась и выкуривала первую папироску. Глазки ее капризно щурились от луча, который сквозь окно назойливо бил в ее лицо. Увидев мое письмо, она состроила кислую гримасу.

— От кого это? — спросила она. — Прочти сама, Палаша! Я не люблю читать этих писем. Глупости все…

Палаша распечатала мое письмо и принялась за чтение. Чем больше углублялась она в чтение моего сочинения, тем круглее и шире делались глаза ее госпожи. Когда она дочитала до револьвера, Валерия Андреевна раскрыла рот и с ужасом поглядела на Палашу.

— Что это значит? — спросила она недоумевая.

Палаша прочла еще раз. Валерия Андреевна замигала глазками.

— Кто же это? Кто он? Ну, зачем он так пишет? — заговорила она плаксиво. — Кто он?

Палаша припомнила и описала меня.

— Ах! Да зачем он это пишет? Ну, разве так можно? Что же я могу сделать? Не могу же я, Палаша! Он богат, что ли?

Палаша, которой я отдавал на чай почти все

свои дивиденды, подумала и сказала, что я, вероятно, богат.

— Не могу же я! Сегодня, вот, у меня Алексей Матвеич будет, завтра барон… В четверг Ромб будет… Когда же я могу его принять? Днем разве?

— Григорий Григорьич обещались у вас быть нынче днем…

— Ну, вот видишь! Разве я могу? Ну, скажи ему… Пусть… Пусть хоть чай придет сегодня пить… Больше я не могу…

Валерия Андреевна готова была заплакать. Первый раз в жизни она узнала, что за штука револьвер, и узнала из моего сочинения! Вечером я был у нее и пил чай. Выпил четыре стакана, хоть и страдал… На мое счастье, был дождь и не приехал к Валерии ее Алексей Матвеич. В конце концов я ликовал.

Случай с классиком

Собираясь идти на экзамен греческого языка, Ваня Оттепелев перецеловал все иконы. В животе у него перекатывало, под сердцем веяло холодом, само сердце стучало и замирало от страха перед неизвестностью. Что-то ему будет сегодня? Тройка или двойка? Раз шесть подходил он к мамаше под благословение, а уходя, просил тетю помолиться за него. Идя в гимназию, он подал нищему две копейки, в расчете, что эти две копейки окупят его незнания и что ему, бог даст, не попадутся числительные с этими тессараконта и октокайдека.

Воротился он из гимназии поздно, в пятом часу. Пришел и бесшумно лег. Тощее лицо его было бледно. Около покрасневших глаз темнели круги.

— Ну, что? Как? Сколько получил? — спросила мамаша, подойдя к кровати.

Ваня замигал глазами, скривил в сторону рот и заплакал. Мамаша побледнела, разинула рот и всплеснула руками. Штанишки, которые она починяла, выпали у нее из рук.

— Чего же ты плачешь? Не выдержал, стало

быть? — спросила она.

— По… порезался… Двойку получил…

— Так и знала! И предчувствие мое такое было! — заговорила мамаша. — Ох, господи! Как же ты это не выдержал? Отчего? По какому предмету?

— По греческому… Я, мамочка… Спросили меня, как будет будущее от «феро», а я… я вместо того, чтоб сказать «ойсомай», сказал «опсомай». Потом… потом… облеченное ударение не ставится, если последний слог долгий, а я… я оробел… забыл, что альфа тут долгая… взял да и поставил облеченное. Потом Артаксерксов велел перечислить энклитические частицы… Я перечислял и нечаянно местоимение впутал… Ошибся…

Он и поставил двойку… Несчастный… я человек… Всю ночь занимался… Всю эту неделю в четыре часа вставал…

— Нет, не ты, а я у тебя несчастная, подлый мальчишка! Я у тебя несчастная! Щепку ты из меня сделал, ирод, мучитель, злое мое произволение! Плачу за тебя, за дрянь этакую непутящую, спину гну, мучаюсь и, можно сказать, страдаю, а какое от тебя внимание? Как ты учишься?

— Я… я занимаюсь. Всю ночь… Сами видели…

— Молила бога, чтоб смерть мне послал, не по-

сылает, грешнице… Мучитель ты мой! У других дети, как дети, а у меня один-единственный — и никакой точки от него, никакого пути. Бить тебя? Била бы, да где же мне сил взять? Где же, божья матерь, сил взять?

Мамаша закрыла лицо полой кофточки и зарыдала. Ваня завертелся от тоски и прижал свой лоб к стене. Вошла тетя.

— Ну, вот… Предчувствие мое… — заговорила она, сразу догадавшись, в чем дело, бледнея и всплескивая руками. — Все утро тоска… Ну-у, думаю, быть беде… Оно вот так и вышло…

— Разбойник мой, мучитель! — проговорила мамаша.

— Чего же ты его ругаешь? — набросилась на нее тетя, нервно стаскивая со своей головки платочек кофейного цвета. — Нешто он виноват? Ты виноватая! Ты! Ну, с какой стати ты его в эту гимназию отдала? Что ты за дворянка такая? В дворяне лезете? А-а-а-а… Как же, беспременно, так вот вас и сделают дворянами! А было бы вот, как я говорила, по торговой бы части… в контору-то, как мой Кузя… Кузя-то, вот, пятьсот в год получает. Пятьсот — шутка ли? И себя ты замучила, и мальчишку замучила ученостью этой, чтоб ей пусто было. Худенький, кашляет…

погляди: тринадцать лет ему, а вид у него, точно у десятилетнего.

— Нет, Настенька, нет, милая! Мало я его била, мучителя моего! Бить бы нужно, вот что! У-у-у… иезуит, магомет, мучитель мой! — замахнулась она на сына. — Пороть бы тебя, да силы у меня нет. Говорили мне прежде, когда он еще мал был: «Бей, бей»… Не послушала, грешница. Вот и мучаюсь теперь. Постой же! Я тебя выдеру! Постой…

Мамаша погрозила мокрым кулаком и, плача, пошла в комнату жильца. Ее жилец, Евтихий Кузьмич Купоросов, сидел у себя за столом и читал «Самоучитель танцев». Евтихий Кузьмич — человек умный и образованный. Он говорит в нос, умывается с мылом, от которого пахнет чем-то таким, от чего чихают все в доме, кушает он в постные дни скоромное и ищет образованную невесту, а потому считается самым умным жильцом. Поет он тенором.

— Батюшка! — обратилась к нему мамаша, заливаясь слезами. — Будьте столь благородны, посеките моего… Сделайте милость! Не выдержал, горе мое! Верите ли, не выдержал! Не могу я наказывать, по слабости моего нездоровья… Посеките его заместо меня, будьте столь благородны и деликатны, Евтихий Кузьмич! Уважьте

больную женщину!

Купоросов нахмурился и выпустил сквозь ноздри глубочайший вздох. Он подумал, постучал пальцами по столу и, еще раз вздохнув, пошел к Ване.

— Вас, так сказать, учат! — начал он. — Образовывают, ход дают, возмутительный молодой человек! Вы почему?

Он долго говорил, сказал целую речь. Упомянул о науке, о свете и тьме.

— Н-да-с, молодой человек!

Кончив речь, он снял с себя ремень и потянул Ваню за руку.

— С вами иначе нельзя! — сказал он.

Ваня покорно нагнулся и сунул свою голову в его колени. Розовые, торчащие уши его задвигались по новым триковым брюкам с коричневыми лампасами…

Ваня не издал ни одного звука. Вечером, на семейном совете, решено было отдать его по торговой части.

Закуска
(Приятное воспоминание)

Был пасхальный канун. За час до заутрени зашли за мной мои приятели. Они были во фраках и белых галстухах.

— Очень кстати, господа, — сказал я. — Вы поможете мне убрать стол… Я человек холостой, бабенции у меня не полагается, а посему… помощь дружеская. Плумбов, давай стол отодвинем!

Приятели двинулись к столу, и через какие-нибудь пять минут мой стол уже изображал собой аппетитнейшую картину. Окорок, колбасы, водки, вина, заливной поросенок… Убрав стол, мы взялись за цилиндры: пора! Но не тут-то было… Кто-то позвонил…

— Дома? — услышали мы чей-то хриплый голос. — Входи, Илья, не бойся!

Вошел Прекрасновкусов. За ним робко шагал маленький, чахлый человечек. У обоих под мышками были портфели…

— Тссс… — сказал я приятелям. — Язык за зубами!

— Рекомендую! — сказал Прекрасновкусов, указывая на чахлого человечка. — Илья Дробискулов! На днях к нам поступил, к нашему лику причислился… Да ты не конфузься, Илюша! Пора привыкнуть! А мы, знаете ли, шли-шли, взяли да и зашли. Дай, думаю, зайдем, праздничные возьмем, чтоб завтра не беспокоить…

Я сунул обоим по синенькой. Дробискулов сконфузился.

— Так-с, — продолжал Прекрасновкусов, заглянув себе в кулак. — Вы уж уходите? А не рано ли? Давайте-ка посидим минуту… отдохнем. Садись, Илья, не бойся! Привыкай! Закусок-то сколько, закусок! А? Закусок-то! Мне окорок напоминает один анекдот…

И Прекрасновкусов, пожирая глазами мои закуски, рассказал нам похабный анекдот. Прошло четверть часа. Чтобы выжить гостей, я послал своего Андрюшку на улицу прокричать «караул». Андрюшка вышел и кричал минут пять, но гости мои ни гугу… И внимания не обратили, как будто бы «караул» не их дело…

— А долго еще ждать разговенья! — сказал Прекрасновкусов. — Теперь еще грешно, а то бы мы, Илюша, того… по единой… А что, господа, не пропустить ли нам по одной? Ведь водка постная!

А? Давайте-ка!

Идея пришлась моим приятелям по вкусу. Подошли к столу, налили и выпили. Закусили селедочкой, а на скоромное только взглянули. Прекрасновкусов похвалил водку и, желая узнать, какого она завода, выпил другую. Илюша сконфузился и тоже пожелал узнать… Выпили, но не узнали.

— Славная водка! — сказал Прекрасновкусов. — У моего дяди свой винокуренный завод был. Так вот у него, у дяди-то, была, так сказать…

И гость рассказал нам, как он с дядиной «обже»[121] на каланче свидание имел. Мои приятели окружили его и попросили рассказать еще что-нибудь… Еще раз выпили. Дробискулов очень ловко захватил рукавом кусочек колбасы, взял его в носовой платок и, сморкаясь, незаметно положил в рот. Прекрасновкусов съел кусок пасхи из творога.

— А я и забыл, что она скоромная! — сказал он, глотая. — Надо ее запить…

Говорят, что в полночь звонили к заутрене, но мы не слышали этого звона. В полночь мы ходили вокруг стола и спрашивали себя: что бы

---

[121] Примечания: 121
«Она» *(франц,* objet).

еще выпить… этакое? Дробискулов сидел в углу и, конфузясь, глодал заливного поросенка. Прекрасновкусов бил кулаком по своему портфелю и говорил:

— Вы меня не любите, а я вот вас… ллюблю! Честное и блаа-родное слово, ллюблю! Я куроцап, волк, коршун, птица хищная, но во мне все-таки есть настолько чувств и ума, чтоб понимать, что меня не следует любить. Я, например, вот взял праздничные… Ведь взял? А завтра я приду и скажу, что не брал… Разве можно любить меня после этого?

Дробискулов, покончив с поросенком, победил свою робость и сказал:

— А я? Меня еще можно любить… Я образованный человек… Я ведь не своим делом занялся. Не мое это дело! Я к нему и призвания никакого не имею… Так только, пур манже![122] Я… стихотворец… Н-да… В пьяном виде протоколы в стихах составляю. Я и гласность люблю. Не нравятся мне газеты только за то, что в них пристрастия много. Я не разбирал бы там, кто консерватор, кто либерал. Беспристрастие — первое дело! Консерватор нагадил — бей в морду; либерал напакостил

---

[122] Примечания: 122
Ради хлеба! *(франц,* pour manger)

— лупи в харю! Всех лупи! Моя мечта — газету издавать. Хе-хе… Сидел бы я себе в редакции, морду бы надувал да конвертики распечатывал. А в конвертиках всякое бывает… всякое… Хе-хе-хе… Я распечатал бы, прочел бы да и… цап его, сотрудника-то! Нешто не любопытно?

В три часа гости взяли свои портфели и ушли в трактир, беспорядков искать. От закуски моей остались одни только ножи, вилки да две ложки. Остальные шесть ложек исчезли…

Съезд естествоиспытателей в Филадельфии (Статья научного содержания)

Первым читался реферат «О происхождении человека», посвященный памяти Дарвина. Ввиду того, что зала заседания соединена телефоном, реферат этот читался шепотом. Почтенный референт заявил, что он вполне соглашается с Дарвином. Виновата во всем обезьяна. Он сказал, что не будь обезьяны, не было бы людей, а где нет людей, там нет и преступников. Съезд единогласно порешил: выразить обезьяне свое неудовольствие и довести обо всем до сведения г. прокурора (!). Из возражений наиболее выдаются следующие:

1. Французский делегат, вполне соглашаясь с мнением съезда, не находит, однако, способов уяснить себе возможность происхождения от обезьяны таких резких типов, как торжествующая свинья и плачущий крокодил. Заявляя об этом, почтенный оппонент демонстрировал перед съездом изображения торжествующей свиньи и плачущего крокодила. Съезд был приведен в

тупик и постановил: отложить решение этого вопроса до следующей сессии и перед решением его заткнуть чем-нибудь телефонную трубку.

2. Германский делегат, он же и иностранный корреспондент газеты «Русь», склонен скорей думать, что человек произошел от обезьяны и попугая, от обоих вместе. Все человечество, по его мнению, гибнет от подражания иностранцам. (Из телефонной трубки слышен гул одобрения.)

3. Бельгийский делегат согласен со съездом только относительно, ибо, по его мнению, далеко не все народы произошли от обезьяны. Так, русский произошел от сороки, еврей от лисицы, англичанин от замороженной рыбы. Довольно оригинально доказывает он происхождение русского от сороки. Съезду, находившемуся под впечатлением бушевских и макшеевских процессов, не трудно было согласиться с последним доказательством… («Times»).

Кое-что
Мамаша и Г. Лентовский

Была половина второго ночи. Я тихо и смирно сидел у себя в кабинете и пописывал плохую повесть. Ничто не мешало мне, и я писал бы до самого света, как вдруг… Умоляю вас, читатель, не имейте мамаш!

В передней звякнул звонок, заворчала кухарка, и ко мне в кабинет влетела мамаша. Щеки ее пылали, глаза блестели, губы дрожали, и все лицо было буквально залито счастьем. Не снимая шляпы, калош и ридикюля, вся мокрая от дождя и забрызганная грязью, она повисла мне на шею.

— Все видела, — простонала она.

— Что с вами, maman? Откудова вы? — изумился я.

— Из «Эрмитажа». Все видела, удостоилась!

— Что же вы видели?

— Всех! И турков, и черкесов, и туркестанцев… всех! Халаты такие, чалмы! Всех иностранцев видела! Черные все такие, в шапках! Ах!

Я усадил мамашу в кресло, снял с нее шляпу и вытер ее мокрое счастливое лицо полотенцем.

— Я очень счастлива! — продолжала мамаша. — Все нации видела. В особенности мне понравился один иностранец… Вообрази… Высокий, чрезвычайно статный, широкоплечий брюнет. От его черных глаз так и веет зноем юга! На нем длинная-предлинная хламида темно-синего цвета, живописно спускающаяся до самых пят. У плеч эта хламида стянута в красивые складки… О, эти иностранцы умеют одеваться! На голове красивая шапочка, на ногах ботфорты. А чего стоят брелоки! В руках его палка… Наверное, испанец.

— Мамаша, да ведь это Лентовский! — воскликнул я.

— Не может быть! Я за ним весь вечер проходила! Ни на кого не глядела, а только на него и смотрела! Не может быть! Он сел ужинать, и я все время стояла недалеко от стола и не отрывала от него глаз!

Мамаша сильно встревожилась и еще раз описала мне костюм интересного иностранца. Не желая разочаровывать ее, я еще раз вытер ее мокрое лицо полотенцем, согласился с ней и пожелал ей спокойной ночи.

Злодеи и Г. Егоров

Была прекрасная, чудная полночь. Свежий, душистый ветерок дул ко мне в открытое окно и заигрывал с огнем моей лампы.

У меня сидел известный звукоподражатель г. Егоров. Я и он пили чай с ромом и под шумок самовара услаждали друг друга беседами. Все было тихо, смирно, ничто не мешало нам, и г. Егоров готов уже был усладить слух мой кошачьим пеньем, как за дверью моего кабинета послышался подозрительный шорох. Я слегка приотворил дверь, взглянул в свою спальную и помертвел. Ко мне в окно лез огромнейший человечина с топором в руке. За ним лез другой, за этим третий, и скоро моя спальная наполнилась злодеями.

— Надо их убить! — сказал один из них.

— Я готов, атаман! Мой топор сгорает от нетерпения тарарахнуть по чьей-нибудь голове.

— Иди и исполняй, мы же примемся за драгоценности!

Ну, как тут не помертветь? Я схватил г. Егорова за руку.

— Мы погибли! — прошептал я.

— Нимало! — сказал г. Егоров. — Мы сейчас их

прогоним!

Сказавши это, г. Егоров присел у двери на корточки, заворчал и залаял цепной собакой.

— Куси, рви! — закричал я. — Иван, Петр… Сидор, сюда!

Г-н Егоров залаял сразу на несколько голосов, и моя скромная обитель наполнилась собачьим лаем. Казалось, что лаяла целая свора. И что же? Злодеями обуял панический страх, и они стушевались. Мы были спасены. Объявляю печатно г. Егорову мою искреннейшую благодарность.

Находчивость Г. Родона

Десятого мая, в час пополудни, в саду «Эрмитаж» во время репетиции случился скандал. Гг. Чернов и Вальяно, куря сигары, заронили искру в чье-то кисейное платье, только что принесенное горничной и лежавшее на сцене на табурете. Платье, разумеется, загорелось. В какие-нибудь две минуты пламя охватило табурет, столы, перешло на кулисы и готово уже было пожрать весь театр. Можете себе вообразить панику задыхавшихся в дыму артистов и горе г. Лентовского! Артистки попадали в обморок. К несчастью, на сцене не было ни одного пожарного, не было воды. И вот,

когда уже огненные языки зализали потолок и потянулись к оркестру, чтобы охватить весь театр, в голове г. Родона мелькнула идея.

— Эврика! — крикнул он. — Мы спасены! Друзья, за мной!

Артисты двинулись за ним в уборную. Он оделся и загримировался пожарным. Товарищи последовали его примеру, и скоро сцена наполнилась пожарными. Театр был спасен.

Бенефис соловья
(Рецензия)

Мы заняли места у берега речки. Впереди нас круто спускался коричневый глинистый берег, а за нашими спинами темнела широкая роща. Расположились мы животами на молодой, мягкой травке, головы подперли кулаками, а ногам дали полную волю: суйся куда знаешь. Весенние пальто мы сняли, но двугривенных за хранение их не платили, ибо около нас, слава богу, капельдинеров не было. Роща, небо и поле вплоть до самой глубокой дали были залиты лунным светом, а вдали тихо мерцал красный огонек. Воздух был тих, прозрачен, душист… Все благоприятствовало бенефицианту. Оставалось ему только не злоупотреблять нашим терпением и поскорей начинать. Но он долго не начинал… В ожидании его мы, согласно программе, слушали других исполнителей.

Вечер начался пением кукушки. Она лениво закукукала где-то далеко в роще и, прокукукав раз десять, умолкла. Тотчас же над нашими головами с резким писком пронеслись два кобчика.

Запела затем контральто иволга, певица известная, серьезно занимающаяся. Мы прослушали ее с удовольствием и слушали бы долго, если бы не грачи, летевшие на ночевку… Вдали показалась черная туча, двинулась к нам и с карканьем опустилась на рощу. Долго не умолкала эта туча.

Когда кричали грачи, загалдели и лягушки, живущие в камышах на казенных квартирах, и целые полчаса концертное пространство было полно разнообразных звуков, слившихся скоро в один звук. Где-то закричал засыпающий дрозд. Ему аккомпанировали речная курочка и камышовка. За сим последовал антракт, наступила тишина, изредка нарушаемая пением сверчка, сидевшего в траве возле публики. В антракте наше терпение достигло своего апогея: мы начинали уже роптать на бенефицианта. Когда на землю спустилась ночь и луна остановилась среди неба над самой рощей, настала и его очередь. Он показался в молодом кленовнике, порхнул в терновник, повертел хвостом и стал неподвижен. На нем серый пиджак… вообще он игнорирует публику и является перед ней в костюме мужика-воробья. (Стыдно, молодой человек! Не публика для вас, а вы для публики!) Минуты три сидел он молча, не двигаясь… Но вот зашумели вер-

хушки деревьев, задул ветерок, затрещал громче сверчок, и под аккомпанемент этого оркестра бенефициант исполнил свою первую трель. Он запел. Не берусь описывать это пение, скажу только, что сам оркестр умолк от волнения и замер, когда артист, слегка приподняв свой клюв, засвистал и осыпал рощу щелканьем и дробью… И сила и нега в его голосе… Впрочем, не стану отбивать хлеб у поэтов, пусть они пишут. Он пел, а кругом царила внимающая тишина. Раз только сердито заворчали деревья и зашикал ветер, когда вздумала запеть сова, желавшая заглушить артиста…

Когда засерело небо, потухли звезды и голос певца стал слабее и нежнее, на опушке рощи показался повар помещика-графа. Согнувшись и придерживая левой рукой шапку, он тихо крался. В правой руке его было лукошко. Он замелькал между деревьями и скоро исчез в чаще. Певец попел еще немного и вдруг умолк. Мы собрались уходить.

— Вот он, шельма! — услышали мы чей-то голос и скоро увидели повара. Графский повар шел к нам и, весело смеясь, показывал нам свой кулак. Из его кулака торчали головка и хвост только что пойманного им бенефицианта. Бедный артист!

Избавь бог всякого от подобного сбора!

— Зачем вы его поймали? — спросили мы повара.

— А в клетку!

Навстречу утру жалобно закричал коростель и зашумела роща, потерявшая певца. Повар сунул любовника розы в лукошко и весело побежал к деревне. Мы тоже разошлись.

Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало

Посвящается Л. П. Пальмину

— Тссс… Пойдемте в швейцарскую, здесь неудобно… Услышит… Отправились в швейцарскую. Швейцара Макара, чтоб он не подслушал и не донес, поспешили услать в казначейство. Макар взял рассыльную книгу, надел шапку, но в казначейство не пошел, а спрятался под лестницей: он знал, что бунт будет… Первый заговорил Кашалотов, за ним Дездемонов, после Дездемонова Зрачков… Забушевали опасные страсти! По красным лицам забегали судороги, по грудям застучали кулаки…

— Мы живем во второй половине XIX столетия, а не черт знает когда, не в допотопное время! — заговорил Кашалотов. — Что дозволялось этим толстопузам прежде, того не позволят теперь! Нам надоело, наконец! Прошло уже то время, когда… И т. д…

Дездемонов прогремел приблизительно то же самое. Зрачков даже выругался неприлично… Все загалдели! Нашелся, впрочем, один благоразум-

ный. Этот благоразумный состроил озабоченное лицо, вытерся засморканным платочком и проговорил:

— Ну, стоит ли? Ах… Ну, положим, пусть… это правда; но с какой стати? Какою мерою мерите, такою и вам возмерится: и против вас бунтовать будут, когда вы будете начальниками. Верьте слову! Губите только себя.

Но не послушали благоразумного. Ему не дали договорить и оттиснули его к двери. Видя, что благоразумием ничего не возьмешь, он стал неблагоразумным и сам забурлил.

— Пора же наконец дать ему понять, что мы такие же люди, как и он! — сказал Дездемонов. — Мы, повторяю, не холуи, не плебеи! Мы не гладиаторы! Издеваться над собой мы не позволим! Он тыкает на нас, не отвечает на поклоны, морду воротит, когда доклад делаешь, бранится… Нынче и на лакеев тыкать нельзя, а не то что на благородных людей! Так и сказать ему!

— А намедни обращается ко мне и спрашивает: «В чем это у тебя рыло? Пойди к Макару, пусть он тебе шваброй вымоет!» Хороши шутки! А то однажды…

— Иду я с женой однажды, — перебил Зрачков, — встречается он… «А ты, говорит, губастый,

вечно с девками шляешься! Среди бела дня даже!» Это, говорю, моя жена, ваше — ство… И не извинился, а только губами чмокнул! Жена от этого самого оскорбления три дня ревмя ревела. Она не девка, а напротив… сами знаете…

— Одним словом, господа, жить так долее невозможно! Или мы, или он, а вместе служить нам ни в каком случае невозможно! Пусть или он уйдет, или мы уйдем! Лучше без должности жить, чем реноме свое в ничтожестве иметь! Теперь XIX столетие. У всякого свое самолюбие есть! *Я хоть* и маленький человек, а все-таки я не субъект какой-нибудь и у меня в душе свой жанр есть! Не позволю! Так и сказать ему! Пусть один из нас пойдет и скажет ему, что так невозможно! От нашего имени! Ступай! Кто пойдет? Так-таки прямо и сказать! Не бойтесь, ничего не будет! Кто пойдет? Тьфу, черт… охрип совсем…

Стали выбирать депутата. После долгих споров и пререканий самым умным, красноречивым и самым смелым признан был Дездемонов. В библиотеке записан, пишет прекрасно, с барышнями образованными знаком — значит, умен: найдется, что и как сказать. А о смелости и толковать нечего. Всем известно, как он однажды потребовал у квартального извинения, когда тот в клубе

принял его за «человека»; не успел квартальный нахмуриться на это требование, как молва о смелости расплылась уже по миру и заняла умы…

— Ступай, Сеня! Не бойся! Так и скажи ему! Накося выкуси, мол! Не на тех наскочил, мол, ваше — ство! Шалишь! Ищи себе других холуев, а мы сам с усам, сами, ваше-ство, умеем фертикулясы выкидывать. Нечего тень наводить! Так-то… Ступай, Сеня… друг… Причешись только… Так и скажи…

— Вспыльчив я, господа… Наговорю, чего доброго. Шел бы Зрачков лучше!

— Нет, Сеня, ты иди… Зрачков молодец только против овец, да и то в пьяном виде… дурак он, а ты все-таки… Иди, душечка…

Дездемонов причесался, поправил жилет, кашлянул в кулак и пошел… Все притаили дыхание. Войдя в кабинет, Дездемонов остановился у двери и дрожащей рукой провел себя по губам: ну, как начать? Под ложечкой похолодело и перетянуло, точно поясом, когда он увидел лысину с знакомой черненькой бородавкой… По спине загулял ветерок… Это не беда, впрочем; со всяким от непривычки случается, робеть только не нужно… Смелей!

— Эээ… чего тебе?

Дездемонов сделал шаг вперед, шевельнул языком, но не издал ни одного звука: во рту что-то запуталось. Одновременно почувствовал депутат, что не в одном только рту идет путаница: и во внутренностях тоже… Из души храбрость пошла в живот, пробурчала там, по бедрам ушла в пятки и застряла в сапогах… А сапоги порванные… Беда!

— Эээ… чего тебе? Не слышишь?

— Гм… Я ничего… Я только так. Я, ваше — ство, слышал… слышал…

Дездемонов придержал язык, но язык не слушался и продолжал:

— Я слышал, что ее — ство разыгрывают в лотерею карету… Билетик, ваше — ство… Кгм… ваше — ство…

— Билет? Хорошо… У меня пять билетов осталось, только… Все пять возьмешь?

— Не… не… нет, ваше — ство… Один билетик… достаточно…

— Все пять возьмешь, я тебя спрашиваю?

— Очень хорошо-с, ваше — ство!

— По шести рублей… Но с тебя можно по пяти… Распишись… От души желаю тебе выиграть…

— Хе-хе-хи-с… Мерси-с, ваше — ство… Гм… Очень приятно…

— Ссступай!

Через минуту Дездемонов стоял среди швейцарской и, красный как рак, со слезами на глазах просил у приятелей 25 рублей взаймы.

— Отдал ему, братцы, 25 рублей, а это не мои деньги! Это теща дала за квартиру заплатить… Дайте, господа! Прошу вас!

— Чего же ты плачешь? В карете ездить будешь…

— В карете… Карета… Людей пугать я каретой буду, что ли? Я не духовное лицо! Да куда я ее поставлю, если выиграю? Куда я ее дену?

Говорили долго, а пока они говорили, Макар (он грамотен) записывал, записав же… и т. д. Длинно, господа! Во всяком случае из сего проистекает мораль: не бунтуй!

О том, как я в законный брак вступил (Рассказец)

Когда пунш был выпит, родители пошептались и оставили нас.

— Валяй! — шепнул мне папаша, уходя. — Наяривай!

— Но могу ли я объясняться ей в любви, — прошептал я, — ежели я ее не люблю?

— Не твое дело… Ты, дурак, ничего не понимаешь…

Сказав это, папаша измерил меня гневным взглядом и вышел из беседки. Чья-то старушечья рука показалась в притворенной двери и утащила со стола свечку. Мы остались в темноте.

«Ну, чему быть, того не миновать!» — подумал я и, кашлянув, сказал бойко:

— Обстоятельства мне благоприятствуют, Зоя Андреевна. Мы наконец одни и темнота способствует мне, ибо она скрывает стыд лица моего… Стыд сей от чувств происходит, коими моя душа пылает…

Но тут я остановился. Я услышал, как билось сердце Зои Желваковой и как стучали ее зубки.

Во всем ее организме происходило дрожание, которое было слышимо и чувствуемо через дрожание скамьи. Бедная девочка не любила меня. Она ненавидела меня, как собака палку, и презирала, ежели только можно допустить, что глупые презирать способны. Я теперь на орангуташку похож, безобразен, хоть и украшен чинами и орденами, тогда же я всем зверям подобен был: толстомордый, угреватый, щетинистый… От постоянного насморка и спиртуозов нос имел красный, раздутый. Ловкости моей не могли завидовать даже медведи. А касательно душевных качеств и говорить нечего. С нее же, с Зои-то, когда еще моей невестой не была, неправедную взятку взял. Я остановился, потому что мне жалко ее стало.

— Выйдемте в сад, — сказал я. — Здесь душно…

Вышли и пошли по аллейке. Родители, подслушивавшие за дверью, при нашем появлении юркнули в кусты. По Зоиному лицу забегал лунный свет. Глуп я был тогда, а сумел прочесть на этом лице всю сладость неволи! Я вздохнул и продолжал:

— Соловей поет, женушку свою забавляет… А кого-то я, одинокий, могу позабавить?

Зоя покраснела и опустила глазки. Это ей было

приказано так сактрисничать. Сели на скамью, лицом к речке. За речкой белела церковь, а позади церкви возвышался господина графа Кулдарова дом, в котором жил конторщик Больницын, любимый Зоею человек. Зоя, как села на скамью, так и вперила взгляд свой в этот дом… Сердце у меня съежилось и поморщилось от жалости. Боже мой, боже мой! Царство небесное нашим родителям, но… хоть бы недельку в аду они посидели!

— От одной особы все мое счастье зависит, — продолжал я. — Я питаю к этой особе чувства… обоняние… Я люблю ее, и ежели она меня не любит, то я, значит, погиб… помер… Эта особа есть вы. Можете вы меня любить? а? Любите?

— Люблю, — прошептала она.

Я, признаться, помертвел от этого ее слова. Думал я раньше, что она закандрычится и откажет мне, так как сильно другого любит. Надеялся я на это страсть как, а вышло насупротив… Не хватило у ней силы против рожна идти.

— Люблю, — повторила она и заплакала.

— Не может этого быть-с! — заговорил я, сам не зная, что говорю, и дрожа всем телом. — Разве это возможно? Зоя Андреевна, голубушка моя, не верьте! Ей же богу, не верьте! Не люблю я вас! Будь я трижды анафема проклят, ежели я

люблю! И вы меня не любите! Все это чепуха одна только…

Я вскочил и забегал около скамьи.

— Не надо! Все это одна только комедь! Женят нас насильно, Зоя Андреевна, ради имущественных интересов; какая же тут любовь? Мне легче камень осельный на шею, чем вас за себя взять, вот что! Какого ж черта! Какое они имеют полное право? Что мы для них? Крепостные? Собаки? Не женимся! Назло! Дряни этакие! Довольно уж мы им поблажку делали! Пойду сейчас и скажу, что не хочу жениться на вас, вот и все!

Лицо Зои вдруг перестало плакать и в мгновение ока высохло.

— Пойду и скажу! — продолжал я. — И вы тоже скажете. Вы скажете им, что вовсе меня не любите, а что любите Больницына. И я буду руку Больницына держать… Мне известно, как страстно вы его любите!

Зоя засмеялась от счастья и заходила рядом со мной.

— Да ведь и вы любите другую, — сказала она, потирая руки. — Вы любите мадемуазель Дэбе.

— Да, — говорю, — мадемуазель Дэбе. Она хоть не православная и не богатая, а я ее люблю за ум и душеспасительные качества… Пусть про-

клинают, а я женюсь на ней. Я люблю ее, может быть, больше, чем жизнь люблю! Я без нее жить не могу! Ежели я не женюсь на ней, то я и жить не захочу! Сейчас пойду… Пойдемте и скажем этим шутам… Спасибо вам, голубушка… Как вы меня утешили!

В душу мою хлынуло счастье, и стал я благодарить Зою, а Зоя меня. И оба мы, счастливые, благодарные, стали друг другу руки целовать, благородными друг друга называть… Я ей руки целую, а она меня в голову, в мою щетину. И, кажется, даже обнял ее, этикеты забыв. И, можно вам сказать, это объяснение в нелюбви было счастливее любого любовного объяснения. Пошли мы, радостные, розовые и трепещущие, к дому, волю нашим родителям объявить. Идем и друг друга подбодряем.

— Пусть нас поругают, — говорю, — побьют, выгонят даже, да зато мы счастливы будем!

Входим в дом, а там у дверей стоят родители и ждут. Глядят на нас, видят, что мы счастливы, и давай махать лакею. Лакей подходит с шампанским. Я начинаю протестовать, махать руками, стучать… Зоя плачет, кричит… Шум поднялся, гвалт, и не удалось выпить шампанского.

Но нас все-таки поженили.

Сегодня мы празднуем нашу серебряную свадьбу. Четверть столетия вместе прожили! Сначала жутко приходилось. Бранил ее, лупцевал, принимался любить ее с горя… Детей имели с горя… Потом… ничего себе… попривыкли… А в настоящий момент стоит она, Зоечка, за моей спиной и, положив ручки на мои плечи, целует меня в лысину.

Из дневника помощника бухгалтера

1863 г. Май, 11. Наш шестидесятилетний бухгалтер Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля и заболел по сему случаю белою горячкой. Доктора, со свойственною им самоуверенностью, утверждают, что завтра помрет. Наконец таки я буду бухгалтером! Это место мне уже давно обещано.

Секретарь Клещев пойдет под суд за нанесение побоев просителю, назвавшему его бюрократом. Это, по-видимому, решено.

Принимал декокт от катара желудка.

1865 г. Август, 3. У бухгалтера Глоткина опять заболела грудь. Стал кашлять и пьет молоко с коньяком. Если помрет, то место останется за мной. Питаю надежду, но слабую, ибо, по-видимому, белая горячка не всегда смертельна!

Клещев вырвал у армянина вексель и порвал. Пожалуй, дело до суда дойдет.

Одна старушка (Гурьевна) вчера говорила, что у меня не катар, а скрытый геморрой. Очень может быть!

1867 г. Июнь, 30. В Аравии, пишут, холера. Быть может, в Россию придет, и тогда откроется много

вакансий. Быть может, старик Глоткин помрет и я получу место бухгалтера. Живуч человек! Жить так долго, по-моему, даже предосудительно.

Что бы такое от катара принять? Не принять ли цитварного семени?

1870 г. Январь, 2. Во дворе Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верная примета, и мы с нею до двух часов ночи говорили о том, как я, ставши бухгалтером, купаю себе енотовую шубу и шлафрок. И, пожалуй, женюсь. Конечно, не на девушке — это мне не по годам, а на вдове.

Вчера Клещев выведен был из клуба за то, что вслух неприличный анекдот рассказывал и смеялся над патриотизмом члена торговой депутации Понюхова. Последний, как слышно, подает в суд.

Хочу с катаром к доктору Боткину сходить. Говорят, хорошо лечит…

1878 г. Июнь, 4. В Ветлянке, пишут, чума. Народ так и валится, пишут. Глоткин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если придет чума, то уж наверное я буду бухгалтером.

1883 г. Июнь, 4. Умирает Глоткин. Был у него и со слезами просил прощения за то, что смерти его

с нетерпением ждал. Простил со слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудевый кофий.

А Клещев опять едва не угодил под суд: заложил еврею взятый напрокат фортепьян. И несмотря на все это, имеет уже Станислава и чин коллежского асессора. Удивительно, что творится на этом свете!

Инбиря 2 золотника, калгана 1 Уг зол., острой водки 1 зол., семибратней крови 5 зол.; все смешав, настоять на штофе водки и принимать от катара натощак по рюмке.

Того же года. Июнь, 7. Вчера хоронили Глоткина. Увы! Не в пользу мне смерть сего старца! Снится мне по ночам в белой хламиде и кивает пальцем. И, о горе, горе мне, окаянному: бухгалтер не я, а Чаликов. Получил это место не я, а молодой человек, имеющий протекцию от тетки-генеральши. Пропали все мои надежды!

1886 г. Июнь, 10. У Чаликова жена сбежала. Тоскует, бедный. Может быть, с горя руки на себя наложит. Ежели наложит, то я — бухгалтер. Об этом уже разговор. Значит, надежда еще не потеряна, жить можно и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не жениться, ежели представится

хороший случай, только нужно посоветоваться с кем-нибудь; это шаг серьезный.

Клещев обменялся калошами с тайным советником Лирмансом. Скандал!

Швейцар Паисий посоветовал от катара сулему употреблять. Попробую.

Весь в дедушку

Душная ночь, с открытыми настежь окнами, с блохами и комарами. Жажда, как после селедки. Я лежу на своей кровати, ворочаюсь с боку на бок и стараюсь уснуть. За стеной, в другой комнате, не спит и ворочается мой дедушка, отставной генерал, живущий у меня на хлебах. Обоих нас кусают блохи, и оба мы сердимся на них и ворчим. Дедушка кряхтит, сопит и шуршит своим накрахмаленным колпаком.

— Безумец! — бормочет он. — Ммо… молокосос! Мало тебя пороли, бессмысленный молодой человек!

— Кого это вы, дедушка?

— Известно кого… Поблажку вам дают, балуют, не взыскивают с вас… (Дедушка втягивает в себя воздух и разражается старческим кашлем.) Прогнать бы тебя сквозь строй разика три, так ты понял бы… Почему не купил персидского порошку? Почему, я тебя спрашиваю? Леность? Нерадение?

— Дедушка, вы не даете мне спать! Замолчите!

— Не рассуждать! Понимай, с кем разговариваешь! (Дедушка громко чешется и возвышает

голос.) Повторяю: почему ты не купил персидского порошку? И как ты смеешь, милостивый государь, позволять себе такие возмутительные поступки, что на тебя даже поступают жалобы? А? Вчера полковник Дубякин жаловался, что ты у него жену увез! Кто это тебе позволил? И какое ты имеешь право?

Дедушка долго бранит меня и с брани переходит на мораль: седьмая заповедь, брачные основы и пр.

— Все это я понимаю лучше вас, дедушка, — говорю я. — Каюсь, меня мучает совесть, но ничего я не могу с собой поделать. Весь в вас! С кровью и плотью унаследовал от вас и все ваши добродетели. Трудно бороться с наследственностью!

— Я… я чужих жен не трогал… Выдумываешь!

— Будто бы? А лет десять тому назад, когда вам было шестьдесят лет, припомните-ка, вы увезли у ближнего не жену, не соломенную вдову, а невесту! Вспомните-ка Ниночку.

— Я того… я венчался…

— Еще бы! Ниночку воспитывали, лелеяли и готовили совсем не для шестидесятилетнего старца. На этой умнице и красавице женился бы любой добрый молодец, и у нее уже был подходящий жених, а вы пришли со своим чином и

деньгами, попугали родителей и вскружили семнадцатилетней девочке голову разной мишурой. Как она плакала, когда венчалась с вами! Как каялась потом, бедняжка! И с пьяницей-поручиком бежала потом, только чтоб от вас подальше… Гусь вы, дедушка!

— Постой… постой… Это не твое дело… Вот ежели бы тебя разиков пять сквозь строй, так ты бы не того… не ограбил бы сестру свою Дашу… Обидчик… За что ты у нее сто десятин оттягал?

— С вас пример взял. Весь в вас, дедушка! У вас научился грабастать! Помните, когда вы служили в интендантстве, потом когда вас назначили в Уфимскую губернию и…

И долго этак мы спорим. Дедушка обвиняет меня в двадцати преступлениях, и все двадцать я сваливаю на родовое, на наследственность. Наконец дедушка хрипнет и начинает от злости царапать стену.

— Вот что, дедушка, — говорю я. — Нам долго так не уснуть. Давайте-ка выкупаемся и водочки выпьем. Отлично уснем!

Дедушка, сердито шамкая губами, одевается, и мы идем к речке. Ночь хорошая, лунная. Выкупавшись, мы возвращаемся к себе. Графинчик стоит на столе. Я наливаю две рюмки. Дедушка

берет одну рюмку, крестится и говорит:

— Вот ежели бы тебя… разиков десять сквозь строй… понимал бы тогда! Пья… пьяница!

Проворчав, дедушка сердито выпивает и закусывает колбасой. Я тоже — потому что унаследовал любовь к спиртным напиткам — выпиваю и иду спать.

И этак у нас каждую ночь.

Козел или негодяй?

Знойное «после обеда». На кушетке в гостиной полулежит барышня лет восемнадцати. По ее лицу гуляют мухи, у ног валяется открытая книга, рот полуоткрыт, дыхание чуть-чуть… Она спит.

В гостиную входит старичок из породы гоголевских мышиных жеребчиков. Увидев спящую девушку, он ухмыляется и подходит к ней на цыпочках.

— Какая… прелесть! — шепчет он, шамкая губами. — Спящая… хе-хе… красавица… Как жаль, что я не художник! Эта головка… эта ручка!

Старец наклоняется к ручке девушки, гладит ее своей закорузлой рукой и… чмок! Девушка глубоко вздыхает, открывает глаза и с недоумением смотрит на старца.

— Ах… это вы, князь? — бормочет она, пересиливая сон. — Pardon, я, кажется, уснула!

— Ну да, вы спите, — лепечет князь. — Вы и теперь спите, а я вам снюсь… Вы это во сне меня видите… Спите-спите… Я только снюсь вам…

Девушка верит и закрывает глаза.

— Как я несчастна! — шепчет она, засыпая. — Вечно мне снятся то козлы, то негодяи!

Князь слышит этот шепот, конфузится и на цыпочках стушевывается…

Кое-что 2
Г-н Гулевич (автор) и утопленник

В пятницу, 10 июня, в саду «Эрмитаж», на глазах публики, покончил с собой известный талантливый публицист Иван Иванович Иванов. Он утопился в пруду… Мир праху твоему, честный, благородный, погибший во цвете лет труженик! (Покойному не было еще 30 лет.)

Еще утром в пятницу покойный употреблял огуречный рассол и писал игривый фельетон, в полдень он весело обедал в кругу своих друзей, в семь часов вечера гулял по саду с кокотками, а в восемь… лишил себя жизни! Иван Иванович слыл за человека веселого, беспечного, любившего пожить…

О смерти он никогда не думал и не раз хвастался, что проживет «еще столько же», хоть и пьянствует смертельно. Можете же себе поэтому представить, как удивленно вытянулись физиономии всех знавших его, когда из зеленого пруда был вытащен его труп!

— Тут что-то да не так! — пронеслось по саду. — Тут пахнет насилием! У покойного нет ни

кредиторов, ни жены, ни тещи… он любил жизнь! Он не мог сам утопиться!

Мысль о насилии уступила свое место подозрению, когда звукоподражатель г. Егоров заявил, что он видел, как за четверть часа до своей трагической кончины покойный катался в лодке с г. Гулевичем (автором). Принялись искать г. Гулевича, и оказалось, что автор в скобках бежал.

Задержанный в г. Серпухове г. Гулевич (автор) показал сначала, что знать ничего не знает, потом же, когда ему сказали, что сознание облегчает вину, он заплакал и чистосердечно во всем покаялся. На предварительном дознании он показал следующее.

— С Ивановым знаком я недавно. Познакомился с ним, потому что уважаю людей печати (в протоколе слово «уважаю» подчеркнуто). В родстве с ним не состоял, делов никаких не имел. В злополучный вечер угощал его чаем и портером, потому что уважаю литературу («уважаю» опять подчеркнуто и рядом с ним мелким протокольным почерком написано: «Какое упорство!!»). После чая Иван Иванович сказал, что недурно бы теперь на лодочке покататься. Я согласился с ним, и мы сели в лодку.

«Расскажите-ка что-нибудь!» — попросил меня

Иван Иванович, когда мы отъехали на средину пруда.

— Я не заставил долго упрашивать себя и начал свое классическое: «Если вам будет угодно»... После первых же двух-трех фраз Иван Иванович ухватился за живот, покачнулся, и широколиственная листва (?) «Эрмитажа» огласилась дружным (?) смехом маститого публициста... Когда я (автор) оканчивал второй анекдот, Иван Иванович захохотал, покачнулся от хохота... Это был гомерический хохот. Так мог хохотать один только Гомер (?). Он покачнулся, повалился на край... лодка наклонилась, и серебристая зыбь скрыла от глаз благодарной России... и — не могу! меня... душат слезы!!

Это показание несколько несогласно с показанием г. Егорова. Маститый звукоподражатель показал, что Иванов вовсе не хохотал. Напротив, когда он слушал г. Гулевича (автора), лицо его было донельзя печально и кисло. Г-н Егоров, находясь на берегу, слышал и видел, как в конце второго анекдота Иванов схватил себя за голову и воскликнул: «Как все старо и скучно на этом свете! Какая тоска!» Воскликнул и — бултых в воду!

Суду остается теперь решить, какое из этих показаний наиболее заслуживает доверия. Г-н

Гулевич взят на поруки.

Смерть Иванова не первый смертельный случай в саду «Эрмитаж», и пора уже оградить ни в чем не повинную публику от повторения подобных случаев… Впрочем, я шучу.

Сущая правда

Шесть коллежских регистраторов и один не имеющий чина сидели в пригородной роще и пьянствовали.

Пьянство было шумное, но печальное и грустное. Не видно было ни улыбок, ни радостных телодвижений; не слышно было ни смеха, ни веселого говора… Пахло чем-то похоронным…

Не далее как неделю тому назад коллежский регистратор Канифолев, явившись в присутствие в пьяном виде, поскользнулся на чьем-то плевке, упал на стеклянный шкаф, разбил его и сам разбился. На другой же день после этого грехопадения он потерял две бумаги из дела № 2423. Мало этого… Он приходил в присутствие, имея в кармане порох и пистоны. Вообще же он ведет жизнь нетрезвую и буйную. Все было принято во внимание. Он слетел и теперь кушал прощальный обед.

— Вечная тебе память, Алеша! — говорили чиновники перед каждой рюмкой, обращаясь к Канифолеву. — Аминь тебе!

Канифолев, маленький человечек с длинным заплаканным лицом, после каждого подобного

приветствия всхлипывал, стучал кулаком по столу и говорил:

— Все одно погибать!

И изгнанник с ожесточением выпивал свою рюмку, громко всхлипывал и лез лобызать своих приятелей.

— Меня прогнали! — говорил он, трагически мотая головой. — Прогнали за то, что я выпивохом! А не понимают того, что я пил с горя, с досады!

— С какого горя?

— А с такого, что я не мог ихней неправды видеть! Меня их неправда подлая за сердце ела! Видеть я не мог равнодушно всех их пакостей! Этого они не хотели понять… Ладно же! Я им покажу, где раки зимуют! Покажу я им! Пойду и прямо в глаза наплюю! Всю сущую правду им выскажу! Всю правду!

— Не выскажешь… Одно хвастовство только… Все мы мастера в пьяном виде глотку драть, а чуть что, так и хвост поджал… И ты такой…

— Ты думаешь, не выскажу? Ты думаешь? Аааа… ты так думаешь… Ладно… Хорошо, посмотрим… Будь я трижды анафема… лопни… Подлецом меня в глаза обзови, плюнь тогда, ежели не выскажу!

Канифолев стукнул кулаком по столу и побаг-

ровел.

— Все одно погибать! Сейчас же пойду и выскажу! Сию минуту! Он тут недалеко с женой сидит! Пропадать так пропадать, шут возьми, а я им открою глаза! Все на чистую воду выведу! Узнают, что значит Алешка Канифолев!

Канифолев рванулся с места и, покачиваясь, побежал… Когда приятели протянули за ним руки, чтобы удержать его за фалды, он был уже далеко. А когда они надумали побежать за ним и удержать его, он стоял уже перед столом, за которым сидело начальство, и говорил:

— Я, ваше — ство, ворвался к вам в дом без доклада, но все это я как честный человек, а потому извините… Я, ваше — ство, выпивши, это верно, — говорил он, — но я в памяти-с! Что у трезвого на душе, то у пьяного на языке, и я вам всю сущую правду выскажу! Да-с, ваше — ство! Довольно терпеть! Почему, например, у нас в канцелярии полы давно не крашены? Зачем вы дозволяете бухгалтеру спать до одиннадцати часов? Отчего вы Митяеву позволяете брать на дом газеты из присутствия, а другим не позволяете? Все одно мне погибать, и я вам всю сущую…

И эту сущую правду говорил Канифолев с дрожью в голосе, со слезами на глазах, стуча кулаком

по груди.

Начальство смотрело на него, выпуча глаза, и не понимало, в чем дело.

Злой мальчик

Иван Иваныч Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды, между густыми кустами молодого ивняка. Чудное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты от мира — видят вас одни только рыбы да пауки-плауны, молнией бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю.

— Я рад, что мы наконец одни, — начал Лапкин, оглядываясь. — Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна… Очень многое… Когда я увидел вас в первый раз… У вас клюет… Я понял тогда, для чего я живу, понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную, трудовую жизнь… Это, должно быть, большая клюет… Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно! Подождите дергать… пусть лучше клюнет… Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я

рассчитывать — не на взаимность, нет! — этого я не стою, я не смею даже помыслить об этом, — могу ли я рассчитывать на… Тащите!

Анна Семеновна подняла вверх руку с удилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка.

— Боже мой, окунь! Ай, ах… Скорей! Сорвался!

Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и… бултых в воду!

В погоне за рыбой Лапкин, вместо рыбы, как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно прижал ее к губам… Та отдернула, но уже было поздно: уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятвы, уверения… Счастливые минуты! Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливое обыкновенно носит отраву в себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз. Когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели: в воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался.

— А-а-а… вы целуетесь? — сказал он. — Хорошо

же! Я скажу мамаше.

— Надеюсь, что вы, как честный человек… — забормотал Лапкин, краснея. — Подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко… Полагаю, что вы, как честный и благородный человек…

— Дайте рубль, тогда не скажу! — сказал благородный человек. — А то скажу.

Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уже больше не целовались.

На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось, и, чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семеновной, туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних.

— Подлец! — скрежетал зубами Лапкин. — Как мал, и какой уже большой подлец! Что же из него дальше будет?!

Весь июнь Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков; и ему все было мало, и в конце концов

он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы.

Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина:

— Сказать? А?

Лапкин страшно покраснел и зажевал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убежала в другую комнату.

И в таком положении молодые люди находились до конца августа, до того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, какой это был счастливый день! Поговоривши с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах у влюбленных, когда Коля плакал и умолял их:

— Миленькие, славненькие, голубчики, не буду! Ай, ай, простите!

И потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватываю-

щего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши.

3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка

Адмиральский час. Час, названный так в честь вице-адмиралов и контр-адмиралов.

Актер. Истинный христианин, соблюдающий посты.

Вестия. Талантливый человек.

Ватер-клозет. По замечанию одного статского советника, кабинет задумчивости.

Гонорар. Произведение, получаемое от умножения числа строк на число, редко превышающее 5.

Институт урядников. Институт, в который не советую вам отдавать ваших дочерей. Прием во всякое время года. Принимаются куры, гуси и прочая живность.

Каналья. Бранное слово, употребляемое иногда в ласкательном смысле либеральными квартальными надзирателями.

Коллежский регистратор. Среди великих мира сего то же, что пескарь среди рыб.

Куроцап (от латинских слов: «сто» — забочусь и «sapor» — лакомый кусок). Блюститель, заботя-

щийся о куске обывателя.

Курс. Барометр, который легко можно испортить.

Обже. Чья-либо «она», живущая на иждивении «его».

Субъект. Ругательное слово.

Гра-ля-ля. Мужские панталоны на языке дачниц.

Человек без селезенки. Псевдоним, под которым, быть может, скрывается король Сандвичевых островов или испанский гранд. Но, кто бы он ни был, он почтительнейше ставит точку.

Перепутанные объявления

С предлагаемыми объявлениями случился на праздниках маленький скандал, не имеющий, впрочем, особенной важности и не предусмотренный законодателем: набрав их и собирая в гранки, наборщик уронил весь шрифт на пол. Гранки смешались и вышла путаница, не имеющая, впрочем, уголовного характера. Вот что получилось по тиснении:

Трехэтажный дворник ищет места гувернантки.

«Цветы и змеи» Л. И. Пальмина с прискорбием извещают родных и знакомых о кончине супруга и отца своего камер-юнкера А. К. Пустоквасова.

С дозволения начальства сбежал пудель фабрики Сиу и К°.

Жеребец вороной масти, скаковой, специалист по женским и нервным болезням, дает уроки фехтования.

Общество пароходства «Самолет» ищет места горничной.

Редакция журнала «Нива» имеет для рожениц отдельные комнаты. Секрет и удобства. Дети и нижние чины платят половину. Просят не тро-

гать руками.

Конкурсное правление по делам о несостоятельности купца Кричалова продает за ненадобностью рак желудка и костоеду.

По случаю ненастной погоды зубной врач Крахтер вставляет зубы. Панихиды ежедневно.

Новость! Студент-математик с золотою медалью, находясь в бедственном положении, предлагает почтеннейшей публике белье и приданое. Обеды и завтраки по разнообразнейшим меню.

С 1-го февраля будет выходить без предварительной цензуры акушерка Дылдина. Всякая подделка строго преследуется законом.

Приданое

Много я видал на своем веку домов, больших и малых, каменных и деревянных, старых и новых, но особенно врезался мне в память один дом. Это, впрочем, не дом, а домик. Он мал, в один маленький этаж и в три окна, и ужасно похож на маленькую, горбатую старушку в чепце. Оштукатуренный в белый цвет, с черепичной крышей и ободранной трубой, он весь утонул в зелени шелковиц, акаций и тополей, посаженных дедами и прадедами теперешних хозяев. Его не видно за зеленью. Эта масса зелени не мешает ему, впрочем, быть городским домиком. Его широкий двор стоит в ряд с другими, тоже широкими зелеными дворами, и входит в состав Московской улицы. Никто по этой улице никогда не ездит, редко кто ходит.

Ставни в домике постоянно прикрыты: жильцы не нуждаются в свете. Свет им не нужен. Окна никогда не отворяются, потому что обитатели домика не любят свежего воздуха. Люди, постоянно живущие среди шелковиц, акаций и репейника, равнодушны к природе. Одним только дачникам бог дал способность понимать красоты природы,

остальное же человечество относительно этих красот коснеет в глубоком невежестве. Не ценят люди того, чем богаты. «Что имеем, не храним»; мало того, — что имеем, того не любим. Вокруг домика рай земной, зелень, живут веселые птицы, в домике же, — увы! Летом в нем знойно и душно, зимою — жарко, как в бане, угарно и скучно, скучно…

В первый раз посетил я этот домик уже давно, по делу: я привез поклон от хозяина дома, полковника Чикамасова, его жене и дочери. Это первое мое посещение я помню прекрасно. Да и нельзя не помнить.

Вообразите себе маленькую сырую женщину, лет сорока, с ужасом и изумлением глядящую на вас в то время, когда вы входите из передней в залу. Вы «чужой», гость, «молодой человек» — и этого уже достаточно, чтобы повергнуть в изумление и ужас. В руках у вас нет ни кистеня, ни топора, ни револьвера, вы дружелюбно улыбаетесь, но вас встречают тревогой.

— Кого я имею честь и удовольствие видеть? — спрашивает вас дрожащим голосом пожилая женщина, в которой вы узнаете хозяйку Чикамасову.

Вы называете себя и объясняете, зачем пришли.

Ужас и изумление сменяются пронзительным, радостным «ах!» и закатыванием глаз. Это «ах», как эхо, передается из передней в зал, из зала в гостиную, из гостиной в кухню… и так до самого погреба. Скоро весь домик наполняется разноголосыми радостными «ах». Минут через пять вы сидите в гостиной, на большом, мягком, горячем диване, и слышите, как ахает уж вся Московская улица.

Пахло порошком от моли и новыми козловыми башмаками, которые, завернутые в платочек, лежали возле меня на стуле. На окнах герань, кисейные тряпочки. На тряпочках сытые мухи. На стене портрет какого-то архиерея, написанный масляными красками и прикрытый стеклом с разбитым угольником. От архиерея идет ряд предков с желто-лимонными, цыганскими физиономиями. На столе наперсток, катушка ниток и недовязанный чулок, на полу выкройки и черная кофточка с живыми нитками. В соседней комнате две встревоженные, оторопевшие старухи хватают с пола выкройки и куски ланкорта…

— У нас, извините, ужасный беспорядок! — сказала Чикамасова.

Чикамасова беседовала со мной и конфузливо косилась на дверь, за которой все еще подбирали

выкройки. Дверь тоже как-то конфузливо то отворялась на вершок, то затворялась.

— Ну, что тебе? — обратилась Чикамасова к двери.

— Ou est ma cravate, laquelle mon pere m'avait envoyee de Koursk?[123] — спросил за дверью женский голосок.

— Ah, est-ce que, Marie, que...[124] Ах, разве можно... Nous avons done chez nous un homme tres peu connu par nous...[125] Спроси у Лукерьи...

«Однако как хорошо говорим мы по-французски!» — прочел я в глазах у Чикамасовой, покрасневшей от удовольствия.

Скоро отворилась дверь, и я увидел высокую худую девицу лет девятнадцати, в длинном кисейном платье и золотом поясе, на котором, помню, висел перламутровый веер. Она вошла, присела и вспыхнула. Вспыхнул сначала ее длинный, несколько рябоватый нос, с носа пошло к глазам, от глаз к вискам.

— Моя дочь! — пропела Чикамасова. — А это,

---

[123] Примечания: 123
Где мой галстук, который прислал мне отец из Курска? *(франц.)*

[124] Примечания: 124
Ах, разве, Мария... *(франц.)*

[125] Примечания: 125
У нас же человек, очень мало нам знакомый... *(франц.)*

Манечка, молодой человек, который…

Я познакомился и выразил свое удивление по поводу множества выкроек. Мать и дочь опустили глаза.

— У нас на Вознесенье была ярмарка, — сказала мать. — На ярмарке мы всегда накупаем материй и шьем потом целый год до следующей ярмарки. В люди шитье мы никогда не отдаем. Мой Петр Семеныч достает не особенно много, и нам нельзя позволять себе роскошь. Приходится самим шить.

— Но кто же у вас носит такую массу? Ведь вас только двое.

— Ах… разве это можно носить? Это не носить! Это — приданое!

— Ах, maman, что вы? — сказала дочь и зарумянилась. — Они и вправду могут подумать… Я никогда не выйду замуж! Никогда!

Сказала это, а у самой при слове «замуж» загорелись глазки.

Принесли чай, сухари, варенья, масло, потом покормили малиной со сливками. В семь часов вечера был ужин из шести блюд, и во время этого ужина я услышал громкий зевок; кто-то громко зевнул в соседней комнате. Я с удивлением поглядел на дверь: так зевать может только мужчина.

— Это брат Петра Семеныча, Егор Семеныч… — пояснила Чикамасова, заметив мое удивление. — Он живет у нас с прошлого года. Вы извините его, он не может выйти к вам. Дикарь такой… конфузится чужих… В монастырь собирается… На службе огорчили его… Так вот с горя…

После ужина Чикамасова показала мне епитрахиль, которую собственноручно вышивал Егор Семеныч, чтобы потом пожертвовать в церковь. Манечка сбросила с себя на минуту робость и показала мне кисет, который она вышивала для своего папаши. Когда я сделал вид, что поражен ее работой, она вспыхнула и шепнула что-то на ухо матери. Та просияла и предложила мне пойти с ней в кладовую. В кладовой я увидел штук пять больших сундуков и множество сундучков и ящичков.

— Это… приданое! — шепнула мне мать. — Сами нашили.

Поглядев на эти угрюмые сундуки, я стал прощаться с хлебосольными хозяевами. И с меня взяли слово, что я еще побываю когда-нибудь.

Это слово пришлось мне сдержать лет через семь после первого моего посещения, когда я послан был в городок в качестве эксперта по одному судебному делу. Зайдя в знакомый домик,

я услыхал те же аханья… Меня узнали… Еще бы! Мое первое посещение в жизни их было целым событием, а события там, где их мало, помнятся долго. Когда я вошел в гостиную, мать, еще более потолстевшая и уже поседевшая, ползала по полу и кроила какую-то синюю материю; дочь сидела на диване и вышивала. Те же выкройки, тот же запах порошка от моли, тот же портрет с разбитым угольником. Но перемены все-таки были. Возле архиерейского портрета висел портрет Петра Семеныча, и дамы были в трауре. Петр Семеныч умер через неделю после производства своего в генералы.

Начались воспоминания… Генеральша всплакнула.

— У нас большое горе! — сказала она. — Петра Семеныча — вы знаете? — уже нет. Мы с ней сироты и сами должны о себе заботиться. А Егор Семеныч жив, но мы не можем сказать о нем ничего хорошего. В монастырь его не приняли за… за горячие напитки. И он пьет теперь еще больше с горя. Я собираюсь съездить к предводителю, хочу жаловаться. Вообразите, он несколько раз открывал сундуки и… забирал Манечкино приданое и жертвовал его странникам. Из двух сундуков все повытаскал! Если так будет продолжаться, то моя

Манечка останется совсем без приданого…

— Что вы говорите, maman! — сказала Манечка и сконфузилась. — Они и взаправду могут бог знает что подумать… Я никогда, никогда не выйду замуж!

Манечка вдохновенно, с надеждой глядела в потолок и видимо не верила в то, что говорила.

В передней юркнула маленькая мужская фигурка с большой лысиной и в коричневом сюртуке, в калошах вместо сапог, и прошуршала, как мышь.

«Егор Семеныч, должно быть», — подумал я.

Я смотрел на мать и дочь вместе: обе они страшно постарели и осунулись. Голова матери отливала серебром, а дочь поблекла, завяла, и казалось, что мать старше дочери лет на пять, не больше.

— Я собираюсь съездить к предводителю, — сказала мне старуха, забывши, что уже говорила об этом. — Хочу жаловаться! Егор Семеныч забирает у нас все, что мы нашиваем, и куда-то жертвует за спасение души. Моя Манечка осталась без приданого!

Манечка вспыхнула, но уже не сказала ни слова.

— Приходится все снова шить, а ведь мы не бог

знает какие богачки! Мы с ней сироты!

— Мы сироты! — повторила Манечка.

В прошлом году судьба опять забросила меня в знакомый домик. Войдя в гостиную, я увидел старушку Чикамасову. Она, одетая во все черное, с плерезами, сидела на диване и шила что-то. Рядом с ней сидел старичок в коричневом сюртуке и в калошах вместо сапог. Увидев меня, старичок вскочил и побежал вон из гостиной…

В ответ на мое приветствие старушка улыбнулась и сказала:

— Je suis charmee de vous revoir, monsieur[126].

— Что вы шьете? — спросил я немного погодя.

— Это рубашечка. Я сошью и отнесу к батюшке спрятать, а то Егор Семеныч унесет. Я теперь все прячу у батюшки, — сказала она шепотом.

И, взглянув на портрет дочери, стоявший перед ней на столе, она вздохнула и сказала:

— Ведь мы сироты!

А где же дочь? Где же Манечка? Я не расспрашивал; не хотелось расспрашивать старушку, одетую в глубокий траур, и пока я сидел в домике и потом уходил, Манечка не вышла ко мне, я не слышал ни ее голоса, ни ее тихих, робких шагов…

---

[126] Примечания: 126

Я рада видеть вас снова, месье *(франц.).*

Было все понятно и было так тяжело на душе.

Справка

Был полдень. Помещик Болдырев, высокий плотный мужчина с стриженой головой и с глазами навыкате, снял пальто, вытер шелковым платком лоб и несмело вошел в присутствие. Там скрипели…

— Где здесь я могу навести справку? — обратился он к швейцару, который нес из глубины присутствия поднос со стаканами. — Мне нужно тут справиться и взять копию с журнального постановления.

— Пожалуйте туда-с! Вот к энтому, что около окна сидит! — сказал швейцар, указав подносом на крайнее окно.

Болдырев кашлянул и направился к окну. Там за зеленым, пятнистым, как тиф, столом сидел молодой человек с четырьмя хохлами на голове, длинным угреватым носом и в полинялом мундире. Уткнув свой большой нос в бумаги, он писал. Около правой ноздри его гуляла муха, и он то и дело вытягивал нижнюю губу и дул себе под нос, что придавало его лицу крайне озабоченное выражение.

— Могу ли я здесь… у вас, — обратился к нему

Болдырев, — навести справку о моем деле? Я Болдырев… И кстати же мне нужно взять копию с журнального постановления от второго марта.

Чиновник умокнул перо в чернильницу и поглядел: не много ли он набрал? Убедившись, что перо не капнет, он заскрипел. Губа его вытянулась, но дуть уже не нужно было: муха села на ухо.

— Могу ли я навести здесь справку? — повторил через минуту Болдырев. — Я Болдырев, землевладелец…

— Иван Алексеич! — крикнул чиновник в воздух, как бы не замечая Болдырева. — Скажешь купцу Яликову, когда придет, чтобы копию с заявления в полиции засвидетельствовал! Тысячу раз говорил ему!

— Я относительно тяжбы моей с наследниками княгини Гугулиной, — пробормотал Болдырев. — Дело известное. Убедительно вас прошу заняться мною.

Все не замечая Болдырева, чиновник поймал на губе муху, посмотрел на нее со вниманием и бросил. Помещик кашлянул и громко высморкался в свой клетчатый платок. Но и это не помогло. Его продолжали не слышать. Минуты две длилось молчание. Болдырев вынул из кармана рублевую

бумажку и положил ее перед чиновником на раскрытую книгу. Чиновник сморщил лоб, потянул к себе книгу с озабоченным лицом и закрыл ее.

— Маленькую справочку… Мне хотелось бы только узнать, на каком таком основании наследники княгини Гугулиной… Могу ли я вас побеспокоить?

А чиновник, занятый своими мыслями, встал и, почесывая локоть, пошел зачем-то к шкапу. Возвратившись через минуту к своему столу, он опять занялся книгой: на ней лежала рублевка.

— Я побеспокою вас на одну только минуту… Мне справочку сделать, только…

Чиновник не слышал; он стал что-то переписывать.

Болдырев поморщился и безнадежно поглядел на всю скрипевшую братию.

«Пишут! — подумал он, вздыхая. — Пишут, чтобы черт их взял совсем!»

Он отошел от стола и остановился среди комнаты, безнадежно опустив руки. Швейцар, опять проходивший со стаканами, заметил, вероятно, беспомощное выражение на его лице, потому что подошел к нему совсем близко и спросил тихо:

— Ну, что? Справлялись?

— Справлялся, но со мной говорить не хотят.

— А вы дайте ему три рубля… — шепнул швейцар.

— Я уже дал два.

— А вы еще дайте.

Болдырев вернулся к столу и положил на раскрытую книгу зеленую бумажку.

Чиновник снова потянул к себе книгу и занялся перелистыванием, и вдруг, как бы нечаянно, поднял глаза на Болдырева. Нос его залоснился, покраснел и поморщился улыбкой.

— Ах… что вам угодно? — спросил он.

— Я хотел бы навести справку относительно моего дела… Я Болдырев.

— Очень приятно-с! По Гугулинскому делу-с? Очень хорошо-с! Так вам что же, собственно говоря?

Болдырев изложил ему свою просьбу.

Чиновник ожил, точно его подхватил вихрь. Он дал справку, распорядился, чтобы написали копию, подал просящему стул — и все это в одно мгновение. Он даже поговорил о погоде и спросил насчет урожая. И когда Болдырев уходил, он провожал его вниз по лестнице, приветливо и почтительно улыбаясь и делая вид, что он каждую минуту готов перед просителем пасть ниц. Болдыреву почему-то стало неловко и, повинуясь

какому-то внутреннему влечению, он достал из кармана рублевку и подал ее чиновнику. А тот все кланялся и улыбался и принял рублевку, как фокусник, так что она только промелькнула в воздухе…

«Ну, люди…» — подумал помещик, выйдя на улицу, остановился и вытер лоб платком.

Мои чины и титулы

Я посланник. Каждое утро жена *посылает* меня на рынок за провизией.

Я надворный советник. Каждое утро перед уходом на рынок я *советуюсь на дворе* с дворником по поводу текущих вопросов.

Я городовой, потому что я живу в *городе,* а не в деревне.

Я дворянин — это несомненно. По вечерам я прогуливаюсь по *двору,* летом люблю спать на *дворе,* часто беседую с *дворником,* и собаки мои называются *дворняжками.*

Я товарищ прокурора Ивана Иваныча, который иногда заходит ко мне и на основании всех статей X тома Свода законов пьет у меня пиво. Отношения наши самые *товарищеские.*

Я был особой IV, III, II и даже I классов, когда учился в гимназии.

Я следователь по особо важным делам. Не вынося посредственности, я обыкновенно *следую* примеру только того, кто совершает *особенно важные дела*...

Я кавалер, потому что имею Анну на шее... и какую Анну! Толстую, краснощекую, строптивую...

Я благочинный. Никто не ведет себя так *благочинно,* как я. Засвидетельствовать это могут наши дворники.

Я кассир, потому что имею кассу; бухгалтер, потому что веду лавочную, прачечную и записную книжки; письмоводитель, потому что веду переписку; сторож, потому что всегда сторожу свое добро, и звонарь, потому что часто звоню в мой колокольчик.

Я целовальник, потому что люблю целоваться.

Я тайный советник, потому что *советуюсь* с женой *тайно* от тещи.

Я сведущий человек по части выпивки и закуски.

Я батарейный командир, когда в моем распоряжении *батарея* бутылок.

Я человек без селезенки, когда ставлю точку.

Дура, или Капитан в отставке (Сценка из несуществующего водевиля)

Свадебный сезон. *Отставной капитан Соусов* (сидит на клеенчатом диване, поджав под себя одну ногу и держась обеими руками за другую. Говорит и покачивается). *Сваха Лукинишна* (расплывшаяся старуха с глупым, но добродушным лицом, помещается в стороне на табурете. На лице выражение ужаса, смешанного с удивлением. В профиль похожа на улитку, en face — на черного таракана. Говорит с подобострастием и после каждого слова икает).

Капитан. Впрочем, ежели взглянуть на это с точки зрения, то Иван Николаич поступил весьма существенно. Он хорошо сделал, что женился. Будь ты хоть профессор, хоть гений, а ежели ты не женат, то ты и гроша медного не стоишь. Ни ценза в тебе, ни общественного мнения… Кто не женат, тот не может иметь в обществе настоящий вес. Возьмем хоть меня для примера… Я человек образованного класса, домовладелец, при деньгах… Чин тоже вот… и орден, а что с меня толку? Кто я, ежели

взглянуть на меня с точки зрения? Бобыль… Синоним какой-то, и больше ничего (задумывается). Все женаты, у всех есть деточки, один только я… как в романсе этом… (поет тенором печальный романс). Так вот и в моей жизни… Хоть бы какую завалящую невесту!

Лукинишна. Зачем завалящую? За тебя, батюшка, и не завалящая пойдет. При твоем благородстве и, можно сказать, при твоих таких качествах за тебя любая пойдет, и с деньгами…

Капитан. С деньгами мне не нужно. Я не позволю себе сделать такой подлости, чтоб на деньгах жениться. Я сам имею деньги и желаю, чтоб не я женин хлеб ел, а чтоб она мой. Ежели бедную возьмешь, то она будет чувствовать, понимать… Во мне нет настолько эгоизма, чтоб я из-за интереса…

Лукинишна. Оно действительно, батюшка… Иная бедная покрасивей богачки будет…

Капитан. И красоты мне тоже не надо. К чему она? С лица воды не пить. Красота должна быть не в естестве, а в душе… Мне нужны доброта, кротость, невинность этакая… Я желаю, чтоб жена меня уважала, почитала…

Лукинишна. Гм… Как же ей тебя не почитать, ежели ты для нее законный супруг есть? Образования в

ней нет, что ли?

Капитан. Постой, не перебивай. И образованной мне тоже не нужно. Без образования нынче нельзя, это конечно, но образование разное бывает. Приятно, ежели жена по-французски и по-немецки, на разные голоса там, очень приятно; но что из этого толку, ежели она не умеет тебе пуговки, положим, пришить? Я образованного класса, принят везде, с князем Канителиным, могу сказать, все одно, как вот с тобой теперь, но я имею простой характер. Мне нужна простая девушка. Ума мне не нужно. Ум в мужчине имеет вес, а женское существо может и без ума обойтись.

Лукинишна. Это верно, батюшка. Про умных нынче и в газетах писано, что они не годятся.

Капитан. Дура и любить тебя будет, и почитать, и чувствовать, какого я звания человек. Страх в ней будет. А умная будет хлеб твой кушать, но чувствовать она не будет, чей это хлеб. Дуру мне и ищи… Так и знай: дуру. Есть у тебя такая на примете?

Лукинишна. Разные есть на примете (задумывается). Какую же тебе? Дур-то много, да все умные дуры… У кажинной дуры свой ум… Тебе совсем дуру? (Думает.) Есть у меня одна дурочка, да не знаю, пондравится ли… Купеческого она звания

и тысяч пять приданого… Собой не то, чтобы не красива, а так — ни то, ни се… худенькая, тонюсенькая… Ласковая, деликатная… Доброты страсть сколько! Последнее отдаст, ежели кто попросит… Ну, и кроткая… Мать ее за волосья, а она хоть бы тебе пискнула — ни словечка! И страх в ней от родителев вложен, и в церковь ее водят, и в хозяйстве, ежели что… Но это самое (водит пальцем около лба)… Не осуди ты меня, грешницу, за мои осуждения, а истинное мое тебе слово, как перед богом: не в себе она! Дура… Молчит, молчит, как убитая молчит… Сидит, молчит, да вдруг ни с того ни с сего — прыг! Словно ты ее кипятком ошпарил. Вскочит со стула, как угорелая, и давай молоть… Мелет, мелет… Без конца-краю мелет… И родители у нее дураки тогда выходят, и пища не такая, и слова не такие ей говорят. И жить будто ей не с кем, и жизнь-то ее будто заели… «Понять, говорит, вы меня не можете…» Дура девка! Сватался за нее купец Кашалотов — отказала ведь! Засмеялась ему в лицо, и только… Богатый купец, красивый, алигантный, словно молоденький офицерик. А то, бывает, возьмет какую ни на есть дурацкую книжку, пойдет в чулан и давай читать…

Капитан. Ну, эта дура не подходит мне под катего-

рию… Другую поищи (встает и глядит на часы)… А пока бонжур! Мне идти пора… Пойду по своей холостой части…

Лукинишна. Иди, батюшка! Скатертью дорожка! (Встает.) В субботу ввечеру зайду касательно невесты (идет к двери)… Ну, а тово… по холостой части тебе не требуется?

В ландо

Дочери действительного статского советника Брындина, Кити и Зина, катались по Невскому в ландо. С ними каталась и их кузина Марфуша, маленькая шестнадцатилетняя провинциалка-помещица, приехавшая на днях в Питер погостить у знатной родни и поглядеть на «достопримечательности». Рядом с нею сидел барон Дронкель, свежевымытый и слишком заметно вычищенный человечек в синем пальто и синей шляпе. Сестры катались и искоса поглядывали на свою кузину. Кузина и смешила, и компрометировала их. Наивная девочка, отродясь не ездившая в ландо и не слыхавшая столичного шума, с любопытством рассматривала обивку в экипаже, лакейскую шляпу с галунами, вскрикивала при каждой встрече с вагоном конножелезки… А ее вопросы были еще наивнее и смешнее…

— Сколько получает жалованья ваш Порфирий? — спросила она, между прочим, кивнув на лакея.

— Кажется, сорок в месяц…

— Не-уже-ли?! Мой брат Сережа, учитель, получает только тридцать! Неужели у вас в Петербурге

так дорого ценится труд?

— Не задавайте, Марфуша, таких вопросов, — сказала Зина, — и не глядите по сторонам. Это неприлично. А вон поглядите, — поглядите искоса, а то неприлично, — какой смешной офицер! Ха-ха! Точно уксусу выпил! Вы, барон, бываете таким, когда ухаживаете за Амфиладовой.

— Вам, mesdames, смешно и весело, а меня терзает совесть, — сказал барон. — Сегодня у наших служащих панихида по Тургеневе, а я по вашей милости не поехал. Неловко, знаете ли… Комедия, а все-таки следовало бы поехать, показать свое сочувствие… идеям… Mesdames, скажите мне откровенно, приложа руку к сердцу, нравится вам Тургенев?

— О да… понятно! Тургенев ведь…

— Подите же вот… Всем, кого ни спрошу, нравится, а мне… не понимаю! Или у меня мозга нет, или же я такой отчаянный скептик, но мне кажется преувеличенной, если не смешной, вся эта галиматья, поднятая из-за Тургенева! Писатель он, не стану отрицать, хороший… Пишет гладко, слог местами даже боек, юмор есть, но… ничего особенного… Пишет, как и все русские писаки… Как и Григорьевич, как и Краевский… Взял я вчера нарочно из библиотеки «Заметки охотника»,

прочел от доски до доски и не нашел решительно ничего особенного… Ни самосознания, ни про свободу печати… никакой идеи! А про охоту так и вовсе ничего нет. Написано, впрочем, недурно!

— Очень даже недурно! Он очень хороший писатель! А как он про любовь писал! — вздохнула Кити. — Лучше всех!

— Хорошо писал про любовь, но есть и лучше. Жан Ришпен, например. Что за прелесть! Вы читали его «Клейкую»? Другое дело! Вы читаете и чувствуете, как все это на самом деле бывает! А Тургенев… что он написал? Идеи все… но какие в России идеи? Все с иностранной почвы! Ничего оригинального, ничего самородного!

— А природу как он описывал!

— Не люблю я читать описания природы. Тянет-тянет… «Солнце зашло… Птицы запели… Лес шелестит…» *Я всегда* пропускаю эти прелести. Тургенев хороший писатель, я не отрицаю, но не признаю за ним способности творить чудеса, как о нем кричат. Дал будто толчок к самосознанию, какую-то там политическую совесть в русском народе ущипнул за живое… Не вижу всего этого… Не понимаю…

— А вы читали его «Обломова»? — спросила Зина. — Там он против крепостного права!

— Верно… Но ведь и я же против крепостного права! Так и про меня кричать?

— Попросите его, чтоб он замолчал! Ради бога! — шепнула Марфуша Зине.

Зина удивленно поглядела на наивную, робкую девочку. Глаза провинциалки беспокойно бегали по ландо, с лица на лицо, светились нехорошим чувством и, казалось, искали, на кого бы излить свою ненависть и презрение. Губы ее дрожали от гнева.

— Неприлично, Марфуша! — шепнула Зина. — У вас слезы!

— Говорят также, что он имел большое влияние на развитие нашего общества, — продолжал барон. — Откуда это видно? Не вижу этого влияния, грешный человек. На меня, по крайней мере, он не имел ни малейшего влияния.

Ландо остановилось возле подъезда Брындиных.

В Москве на Трубной площади

Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую называют Трубной, или просто Трубой; по воскресеньям на ней бывает торг. Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну. Если светит солнце и на небе нет облаков, то пение и запах сена чувствуются сильнее, и это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко. По одному краю площадки тянется ряд возов. На возах не сено, не капуста, не бобы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, черные и серые дрозды, синицы, снегири. Все это прыгает в плохих, самоделковых клетках, поглядывает с завистью на свободных воробьев и щебечет. Щеглы по пятаку, чижи подороже, остальная же птица имеет самую неопределенную ценность.

— Почем жаворонок?

Продавец и сам не знает, какая цена его жаворонку. Он чешет затылок и запрашивает сколько бог на душу положит — или рубль, или три копейки, смотря по покупателю. Есть и дорогие птицы.

На запачканной жердочке сидит полинялый старик-дрозд с ощипанным хвостом. Он солиден, важен и неподвижен, как отставной генерал. На свою неволю он давно уже махнул лапкой и на голубое небо давно уже глядит равнодушно. Должно быть, за это свое равнодушие он и почитается рассудительной птицей. Его нельзя продать дешевле как за сорок копеек. Около птиц толкутся, шлепая по грязи, гимназисты, мастеровые, молодые люди в модных пальто, любители в донельзя поношенных шапках, в подсученных, истрепанных, точно мышами изъеденных брюках. Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых… Они мало смыслят в птицах.

Зато любителя не обманешь. Любитель издали видит и понимает птицу.

— Положительности нет в этой птице, — говорит любитель, засматривая чижу в рот и считая перья в его хвосте. — Он теперь поет, это верно, но что ж из эстого? И я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой; запой в одиночку, ежели можешь… Ты подай мне того вон, что сидит и молчит! Тихоню подай! Этот молчит, стало быть, себе на уме…

Между возами с птицей попадаются возы и с

другого рода живностью. Тут вы видите зайцев, кроликов, ежей, морских свинок, хорьков. Сидит заяц и с горя солому жует. Морские свинки дрожат от холода, а ежи с любопытством посматривают из-под своих колючек на публику.

— Я где-то читал, — говорит чиновник почтового ведомства, в полинялом пальто, ни к кому не обращаясь и любовно поглядывая на зайца, — я читал, что у какого-то ученого кошка, мышь, кобчик и воробей из одной чашки ели.

— Очень это возможно, господин. Потому кошка битая, и у кобчика, небось, весь хвост повыдерган. Никакой учености тут нет, сударь. У моего кума была кошка, которая, извините, огурцы ела. Недели две полосовал кнутищем, покудова выучил. Заяц, ежели его бить, спички может зажигать. Чему вы удивляетесь? Очень просто! Возьмет в рот спичку и — чирк! Животное то же, что и человек. Человек от битья умней бывает, так и тварь.

В толпе снуют чуйки с петухами и утками под мышкой. Птица все тощая, голодная. Из клеток высовывают свои некрасивые, облезлые головы цыплята и клюют что-то в грязи. Мальчишки с голубями засматривают вам в лицо и тщатся узнать в вас голубиного любителя.

— Да-с! Говорить вам нечего! — кричит кто-то сердито. — Вы посмотрите, а потом и говорите! Нешто это голубь? Это орел, а не голубь!

Высокий, тонкий человек с бачками и бритыми усами, по наружности лакей, больной и пьяный, продает белую, как снег, болонку. Старуха-болонка плачет.

— Велела вот продать эту пакость, — говорит лакей, презрительно усмехаясь. — Обанкрутилась на старости лет, есть нечего и теперь вот собак да кошек продает.

Плачет, целует их в поганые морды, а сама продает от нужды. Ей-богу, факт! Купите, господа! На кофий деньги надобны.

Но никто не смеется. Мальчишка стоит возле и, прищурив один глаз, смотрит на него серьезно, с состраданием.

Интереснее всего рыбный отдел. Душ десять мужиков сидят в ряд. Перед каждым из них ведро, в ведрах же маленький кромешный ад. Там в зеленоватой, мутной воде копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки-жерлянки, тритоны. Большие речные жуки с поломанными ногами шныряют по маленькой поверхности, карабкаясь на карасей и перескакивая через лягушек. Лягушки лезут на жуков, тритоны на

лягушек. Живуча тварь! Темно-зеленые лини, как более дорогая рыба, пользуются льготой: их держат в особой баночке, где плавать нельзя, но все же не так тесно…

— Важная рыба карась! Держаный карась, ваше высокоблагородие, чтоб он издох! Его хоть год держи в ведре, а он все жив! Неделя уж как поймал я этих самых рыбов. Наловил я их, милостивый государь, в Перерве и оттуда пешком. Караси по две копейки, вьюны по три, а малявки гривенник за десяток, чтоб они издохли! Извольте малявок за пятак. Червячков не прикажете ли?

Продавец лезет в ведро и достает оттуда своими грубыми, жесткими пальцами нежную малявку или карасика, величиной с ноготь. Около ведер разложены лески, крючки, жерлицы, и отливают на солнце пунцовым огнем прудовые червяки.

Около возов с птицей и около ведер с рыбой ходит старец-любитель в меховом картузе, железных очках и калошах, похожих на два броненосца. Это, как его называют здесь, «тип». За душой у него ни копейки, но, несмотря на это, он торгуется, волнуется, пристает к покупателям с советами. За какой-нибудь час он успевает осмотреть всех зайцев, голубей и рыб, осмотреть до тонкостей, определить всем, каждой из этих

тварей породу, возраст и цену. Его, как ребенка, интересуют щеглята, карасики и малявки. Заговорите с ним, например, о дроздах, и чудак расскажет вам такое, чего вы не найдете ни в одной книге. Расскажет вам с восхищением, страстно и вдобавок еще и в невежестве упрекнет. Про щеглят и снегирей он готов говорить без конца, выпучив глаза и сильно размахивая руками. Здесь на Трубе его можно встретить только в холодное время, летом же он где-то за Москвой перепелов на дудочку ловит и рыбку удит.

А вот и другой «тип» — очень высокий, очень худой господин в темных очках, бритый, в фуражке с кокардой, похожий на подьячего старого времени. Это любитель; он имеет немалый чин, служит учителем в гимназии, и это известно завсегдатаям Трубы, и они относятся к нему с уважением, встречают его поклонами и даже придумали для него особенный титул: «ваше местоимение». Под Сухаревой он роется в книгах, а на Трубе ищет хороших голубей.

— Пожалуйте! — кричат его голубятники. — Господин учитель, ваше местоимение, обратите ваше внимание на турманов! Ваше местоимение!

— Ваше местоимение! — кричат ему с разных

сторон.

— Ваше местоимение! — повторяет где-то на бульваре мальчишка.

А «его местоимение», очевидно, давно уже привыкший к этому своему титулу, серьезный, строгий, берет в обе руки голубя и, подняв его выше головы, начинает рассматривать и при этом хмурится и становится еще более серьезным, как заговорщик.

И Труба, этот небольшой кусочек Москвы, где животных любят так нежно и где их так мучают, живет своей маленькой жизнью, шумит и волнуется, и тем деловым и богомольным людям, которые проходят мимо по бульвару, непонятно, зачем собралась эта толпа людей, эта пестрая смесь шапок, картузов и цилиндров, о чем тут говорят, чем торгуют.

Новая болезнь и старое средство

Сечение по своим симптомам аналогично перемежающейся лихорадке (febris intermittens). Перед сечением больной бледен от спазма периферических сосудов. Зрачки его расширены. Нужно вообще заметить, что вид начальства раздражает вазомоторный центр и nervus oculomotorius. Больной чувствует озноб. Во время сечения мы замечаем повышение температуры и гиперестезию кожи. После сечения больной чувствует жар. Он весь в поту.

На основании этой аналогии я советую учащимся перед уходом в училище принимать хинин.

Признательный немец

Я знал одного признательного немца.

Впервые встретил я его во Франкфурте-на-Майне. Он ходил по Dummstrasse[127] и водил обезьянку. На лице его были написаны голод, любовь к отечеству и покорность судьбе. Он жалобно пел, а обезьянка плясала. Я сжалился над ними и дал им талер.

— О, благодарю вас! — сказал мне немец, прижимая к груди талер. — Благодарю! До могилы я не забуду вашего подаяния!

Во второй раз встретил я этого немца во Франкфурте-на-Одере. Он ходил по Eselstrasse[128] и продавал жареные сосиски. Завидев меня, он прослезился, поднял глаза к небу и сказал:

— О, благодарю вас, мейн герр! Я никогда не забуду того талера, которым вы спасли от голода меня и мою покойную обезьяну! Ваш талер тогда дал нам комфорт!

В третий раз встретил я его в России (in diesem

---

[127] Примечания: 127
Глупой улице *(нем).*

[128] Примечания: 128
Ослиной улице *(нем.).*

Russland). Здесь он преподавал русским детям древние языки, тригонометрию и теорию музыки. В свободное от уроков время он искал себе место директора железной дороги.

— О, я помню вас! — сказал он мне, пожимая мою руку. — Все русские люди нехорошие люди, но вы исключение. Я не люблю русских, но о вас и вашем талере буду помнить до могилы!

Больше мы с ним не встречались.

Мои остроты и изречения

Если я побил, положим, живущего со мной в одном квартале г. Крокодилова в то время, когда он брал с моего домохозяина взятку, то не значит ли это, что я побил его при исполнении им его служебных обязанностей?

* * *

У мужика Петра было 5 гусей, 6 уток и 10 кур. На свои именины он зарезал одного гуся и двух кур. Спрашивается, что у него осталось, если известно, что во время обеда заходила к нему одна личность, и что это за личность? Ответ: остались одни только перья.

* * *

Принц Гамлет сказал: «Если обращаться с каждым по заслугам, кто же избавится от пощечины?» Неужели это может относиться и к театральным рецензентам?

* * *

В России больше охотнорядских мясников, чем мяса.

* * *

Превышение власти и административный произвол дантиста заключаются в вырывании здорового зуба рядом с больным. Это сказал один околоточный, читая «Логику» Милля.

* * *

Очковая змея — и либералка и в то же время консерваторка. Либерализм ее заключается в ношении очков. Все же остальные ее качества следует отнести к консерватизму.

Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу на выставке в Амстердаме

1) Нижегородская ярмарочная комиссия и томская публика — за анонимные письма. 2) Полковник Грачев в Симферополе — за бесподобное направление и сочинительство. 3) Город Москва — за купца Кукина. 4) Уездный помпадур Шлитер в Оренбурге — за приготовление и учет фальшивых векселей. 5) Коллежские регистраторы в Петербурге — за эластические спинные хребты. 6) Консисторские чиновники — за цыганскую совесть. 7) Администрация театра в Ростове-на-Дону — за отменное тупоумие, выразившееся особенно рельефно в постановке живых картин в день тургеневских похорон. 8) Управа в Могилеве-на-Днестре — за подложные свидетельства. 9) Русский целковый — за сжимаемость при всех температурах. 10) Русские просители — за замазку. 11) Кондуктора К. — Х. — А. и Донецкой каменноугольной ж. д. — за зайцев. 12) Педагоги в Твери — за отменную нетенденциозность в оценке таких плохих писателей, как какой-нибудь

Тургенев. 13) Г-н Пчельников и его фактотум жидок Гершельман в Московской дирекции театров — за распорядительность, тактичность вообще и за циркуляр к балеринам в особенности. 14) Я — за то, что я

Дочь коммерции советника (Роман)

Коммерции советник Механизмов имеет трех дочерей: Зину, Машу и Сашу. За каждой из них положено в банк по сто тысяч приданого. Впрочем, не в этом дело.

Саша и Маша особенного из себя ничего не представляют. Они отлично пляшут, вышивают, вспыхивают, мечтают, любят поручиков — и больше, кажется, ничего; но зато старшая, Зина, принадлежит к числу редких, недюжинных натур. Легче встретиться на жизненном пути с непьющим репортером, чем с этакой натурой.

Были именины Саши. Мы, соседи-помещики, нарядились в лучшие одежды, запрягли лучших коней и поехали с поздравлениями в имение Механизмова. Лет 20 тому назад на месте этого имения стоял кабак. Кабак рос, рос и вырос в прекраснейшую ферму с садами, прудами, фонтанами и бульдогообразными лакеями. Приехав и поздравив, мы тотчас же сели обедать. Подали суп жульен. Перед жульен мы выпили по две рюмки и закусили.

— Не выпить ли нам по третьей? — предложил Механизмов. — Бог троицу любит и тово… трее хвациунт консылиум[129]… Латынь, братцы! Яшка, подай-ка, свиная твоя морда, с того стола селедочку! Господа дворяне, ну-кася! Без церемониев! Митрий Петрыч, же ву при але машер![130]

— Ах, папа! — заметила Маша. — Зачем же ты пристаешь? Ты точно купец Водянкин… с угощениями.

— Знаю, что говорю! Твое дело — зась! Это я только при гостях позволяю им на себя тыкать! — зашептал мне через стол Механизмов. — Для цивилизации! А без гостей — ни-ни!

— Из хама не выйдет пана! — вздохнул сидевший рядом со мной генерал с лентой. — Свиньей был, свинья и есть…

Механизмов мало-помалу напился, вспомнил свою кабацкую старину и задурил. Он икал, брался говорить по-французски, сквернословил…

— Перестань! — заметил ему его друг генерал. — Всякому безобразию есть свое приличие! Какой же ты… братец!

---

[129] Примечания: 129

Tres facium consilium *(лат.)* — трое составляют совет.

[130] Примечания: 130

Я вас прошу, начинайте, дорогуша! (искаж. *франц.* — je vous prie allez, ma chere).

— Безображу не за твои деньги, а за свои! Сам «Льва и Солнца» имею! Господа, а сколько вы с меня взяли, чтоб меня в почетные мировые произвести?

На одном конце стола отчаянно заворочался и треснул чей-то стул. Мы поглядели по направлению треска и увидели два больших черных глаза, метавших молнии и искры на Механизмова. Эти два глаза принадлежали Зине, высокой, стройной брюнетке, затянутой во все черное. По ее бледному лицу бегали розовые пятна, а в каждом пятне сидела злоба.

— Прошу тебя, отец, перестать! — сказала Зина. — Я не люблю шутов!

Механизмов робко взглянул на ее глаза, завертелся, выпил залпом стакан коньяку и умолк.

«Эге! — подумали мы. — Эта не Саша и не Маша… С этой нельзя шутить… Натура недюжинная… Тово-с…»

И я залюбовался разгневанным лицом. Признаюсь, я и ранее был неравнодушен к Зине. Она прекрасна, глядит, как Диана, и вечно молчит. А вечно молчащая дева, сами знаете, носит в себе столько тайн! Это бутыль с неизвестного рода жидкостью — выпил бы, да боишься: а вдруг яд?

После обеда я подошел к Зине и, чтобы пока-

зать ей, что есть люди, которые понимают ее, заговорил о среде заедающей, о правде, труде, женской свободе. С женской свободы под влиянием «шофе» переехал я на паспортную систему, денежный курс, женские курсы… Я говорил с жаром, с дрожью, раз десять порывался схватить ее за руку… Говорил, впрочем, искренно и складно, точно передовую статью вслух читал. А она слушала и глядела на меня. Глаза ее становились все шире и круглее… Щеки заметно побледнели под влиянием моей речи… Наконец в глазах ее почему-то мелькнул испуг.

— Неужели вы говорите все это искренно? — спросила она, почему-то млея от ужаса.

— Я… не искренно?!.. Вам? Мне… Да клянусь вам, что…

Она схватила меня за руку, нагнулась к моему лицу и, задыхаясь, прошептала:

— Будьте сегодня в десять часов вечера в мраморной беседке… Умоляю вас! Я вам все скажу! Все!

Прошептала и скрылась за дверью. Я замер…

«Полюбила! — подумал я, заглядывая на себя в зеркало. — Не устояла!»

Я — к чему скромничать? — обаятельный мужчина. Рослый, статный, с черной, как смоль,

бородой… В голубых глазах и на смуглом лице выражение пережитого страдания. В каждом жесте сквозит разочарованность. И, кроме всего этого, я богат. (Состояние нажил я литературой.)

В десятом часу я уже сидел в беседке и умирал от ожидания. В моей голове и в груди шумела буря. В сладкой, мучительной истоме закрывал я глаза и во мраке своих орбит видел Зину… Рядом с ней во мраке торчала почему-то и одна ехидная картинка, виденная мной в каком-то журнале: высокая рожь, дамская шляпка, зонт, палка, цилиндр… Да не осудит читатель меня за эту картинку! Не у одного только меня такая клубничная душа. Я знаю одного поэта-лирика, который облизывается и причмокивает губами всякий раз, когда к нему, вдохновенному, является муза… Ежели поэт позволяет себе такие вольности, то нам, прозаикам, и подавно простительно.

Ровно в десять у дверей беседки показалась освещенная луной Зина. Я подскочил к ней и схватил ее за руку.

— Дорогая моя… — забормотал я. — Я люблю вас… Люблю бешено, страстно!

— Позвольте! — сказала она, садясь и медленно поворачивая ко мне свое бледное лицо. — Отстраните (sic!) вашу руку!

Это было сказано так торжественно, что быстро один за другим повыскакивали из моей головы и цилиндр, и палка, и женская шляпка, и рожь…

— Вы говорите, что вы меня любите… Вы тоже мне нравитесь. Я могу выйти за вас замуж, но прежде всего я должна спасти вас, несчастный. Вы на краю погибели. Ваши убеждения губят вас! Неужели, несчастный, вы этого не видите? И неужели вы смеете думать, что я соединю свою судьбу с человеком, у которого такие убеждения? Нет! Вы мне нравитесь, но я сумею пересилить свое чувство. Спасайтесь же, пока не поздно! На первый раз хоть вот… вот это прочтите! Прочтите и вы увидите, как вы заблуждаетесь!

И она сунула в мою руку какую-то бумагу. Я зажег спичку и в своей бедной руке увидел прошлогодний нумер «Гражданина». Минуту я сидел молча, неподвижно, потом вскочил и схватил себя за голову.

— Батюшки! — воскликнул я. — Одна во всем Лохмотьевском уезде недюжинная натура, да и та… и та дура! Боже мой!

Через десять минут я уже сидел в бричке и катил к себе домой.

Опекун

Я поборол свою робость и вошел в кабинет генерала Шмыгалова. Генерал сидел у стола и раскладывал пасьянс «каприз де дам».

— Что вам, милый мой? — спросил он меня ласково, кивнув на кресло.

— Я к вам, ваше — ство, по делу, — сказал я, садясь и неизвестно для чего застегивая свой сюртук. — Я к вам по делу, имеющему частный характер, не служебный. Я пришел просить у вас руки вашей племянницы Варвары Максимовны.

Генерал медленно повернул ко мне свое лицо, со вниманием поглядел на меня и уронил на пол карты. Он долго шевелил губами и выговорил:

— Вы… тово?.. Вы рехнулись, что ли? Вы рехнулись, я вас спрашиваю? Вы… осмеливаетесь? — прошипел он, багровея. — Вы осмеливаетесь, мальчишка, молокосос?! Осмеливаетесь шутить… милостисдарь…

И, топнув ногою, Шмыгалов крикнул так громко, что даже дрогнули стекла.

— Встать! Вы забываете, с кем вы говорите! Извольте-с убираться и не показываться мне на глаза! Извольте выйти! Вон-с!

— Но я хочу жениться, ваше превосходительство!

— Можете жениться в другом месте, но не у меня! Вы еще не доросли до моей племянницы, милостисдарь! Вы ей не пара! Ни ваше состояние, ни ваше общественное положение не дают вам права предлагать мне такое… предложение! С вашей стороны это дерзость! Прощаю вам, мальчишка, и прошу вас больше меня не беспокоить!

— Гм… Вы уже пятерых женихов спровадили таким образом… Ну, шестого вам не удастся спровадить. Я знаю причину этих отказов. Вот что, ваше превосходительство… Даю вам честное и благородное слово, что, женившись на Варе, я не потребую от вас ни копейки из тех денег, которые вы растратили, будучи Вариным опекуном. Даю честное слово!

— Повторите, что вы сказали! — проговорил генерал каким-то неестественно-трескучим голосом, нагнувшись и подбежав ко мне рысцой, как раздразненный гусак. — Повтори! Повтори, негодяй!

Я повторил. Генерал побагровел и забегал.

— Этого еще недоставало! — задребезжал он, бегая и поднимая вверх руки. — Недоставало еще, чтобы мои подчиненные наносили мне страш-

ные, несмываемые оскорбления в моем же доме! Боже мой, до чего я дожил! Мне… дурно!

— Но уверяю вас, ваше превосходительство! Не только не потребую, но даже ни единым словом не намекну вам на то, что вы по слабости характера растратили Варины деньги! И Варе прикажу молчать! Честное слово! Чего же вы кипятитесь, комод ломаете? Не отдам под суд!

— Какой-нибудь мальчишка, молокосос… нищий… осмеливается говорить прямо в лицо такие мерзости! Извольте выйти, молодой человек, и помните, что я этого никогда не забуду! Вы меня страшно оскорбили! Впрочем… прощаю вам! Вы сказали эту дерзость по легкомыслию своему, по глупости… Ах, не извольте трогать у меня на столе своими пальцами, черт вас возьми! Не трогайте карт! Уходите, я занят!

— Я ничего не трогаю! Что вы выдумываете? Я даю честное слово, генерал! Даю слово, что даже не намекну! И Варе запрещу требовать с вас! Что же вам еще нужно? Чудак вы, ей-богу… Растратили вы десять тысяч, оставленные ее отцом… Ну что ж? Десять тысяч не велики деньги… Можно простить…

— Я ничего не растрачивал… да-с! Я вам сейчас докажу! Сейчас вот… Я докажу!

Генерал дрожащими руками выдвинул из стола ящик, вынул оттуда кипу каких-то бумаг и, красный как рак, начал перелистывать. Перелистывал он долго, медленно и без цели. Бедняга был страшно взволнован и сконфужен. К его счастью, в кабинет вошел лакей и доложил о поданном обеде.

— Хорошо… После обеда я вам докажу! — забормотал генерал, пряча бумаги. — Раз навсегда… во избежание сплетни… Дайте только пообедать… увидите! Какой-нибудь, прости господи… молокосос, шаромыжка… молоко на губах не обсохло… Идите обедать! Я после обеда… вам…

Мы пошли обедать. Во время первого и второго блюда генерал был сердит и нахмурен. Он с остервенением солил себе суп, рычал, как отдаленный гром, и громко двигался на стуле.

— Чего ты сегодня такой злой? — заметила ему Варя. — Не нравишься ты мне, когда ты такой… право…

— Как ты смеешь говорить, что я тебе не нравлюсь! — окрысился на нее генерал.

Во время третьего и последнего блюда Шмыгалов глубоко вздохнул и замигал глазами. По лицу его разлилось выражение пришибленности, забитости… Он стал казаться таким несчастным,

обиженным! На лбу и на носу его выступил крупный пот. После обеда генерал пригласил меня к себе в кабинет.

— Голубчик мой! — начал он, не глядя на меня и теребя в руках мою фалду. — Берите Варю, я согласен… Вы хороший, добрый человек… Согласен… Благословляю вас… ее и тебя, мои ангелы… Ты меня извини, что до обеда я бранил тебя здесь… сердился… Это ведь я любя… отечески… Но только тово… я истратил не десять тысяч, а тово… шестнадцать… Я и те, что тетка Наталья ей оставила, ухнул… проиграл… Давай на радостях… шампанского стебанем… Простил?

И генерал уставил на меня свои серые, готовые заплакать и в то же время ликующие глаза. Я простил ему еще шесть тысяч и женился на Варе.

Хорошие рассказы всегда оканчиваются свадьбой!

Знамение времени

В гостиной со светло-голубыми обоями объяснялись в любви.

Молодой человек приятной наружности стоял, преклонив одно колено, перед молодой девушкой и клялся.

— Жить я без вас не могу, моя дорогая! Клянусь вам! — задыхался он. — С тех пор, как я увидел вас, я потерял покой! Дорогая моя, скажите мне… скажите… Да или нет?

Девушка открыла ротик, чтобы ответить, но в это время в дверях показалась голова ее брата.

— Лили, на минутку! — сказал брат.

— Чего тебе? — спросила Лили, выйдя к брату.

— Извини, моя дорогая, что я помешал вам, но… я брат, и моя священная обязанность — предостеречь тебя… Будь поосторожнее с этим господином. Держи язык за зубами… Поберегись сказать что-нибудь лишнее.

— Но он делает мне предложение!

— Это твое дело… Объясняйся с ним, выходи за него замуж, но ради бога будь осторожна… Я знаю этого субъекта… Большой руки подлец! Сейчас же донесет, ежели что…

— Merci, Макс… А я и не знала!

Девушка воротилась в гостиную. Она ответила молодому человеку «да», целовалась с ним, обнималась, клялась, но была осторожна: говорила только о любви.

В почтовом отделении

Хоронили мы как-то на днях молоденькую жену нашего старого почтмейстера Сладкоперцева. Закопавши красавицу, мы, по обычаю дедов и отцов, отправились в почтовое отделение «помянуть».

Когда были поданы блины, старик-вдовец горько заплакал и сказал:

— Блины такие же румяненькие, как и покойница. Такие же красавцы! Точь-в-точь!

— Да, — согласились поминавшие, — она у вас действительно была красавица… Женщина первый сорт!

— Да-с… Все удивлялись, на нее глядючи… Но, господа, любил я ее не за красоту и не за добрый нрав. Эти два качества присуще — ственны всей женской природе и встречаются довольно часто в подлунном мире. *Я ее любил* за иное качество души. А именно-с: любил я ее, покойницу, дай бог ей царство небесное, за то, что она, при бойкости и игривости своего характера, мужу своему была верна. Она была верна мне, несмотря на то, что ей было только двадцать, а мне скоро уж шестьдесят стукнет! Она была верна мне, старику!

Дьякон, трапезовавший с нами, красноречивым мычанием и кашлем выразил свое сомнение.

— Вы не верите, стало быть? — обратился к нему вдовец.

— Не то что не верю, — смутился дьякон, — а так… Молодые жены нынче уж слишком тово… рандеву, соус провансаль…

— Вы сомневаетесь, а я вам докажу-с! Я в ней поддерживал ее верность разными способами, так сказать, стратегического свойства, вроде как бы фортификации. При моем поведении и хитром характере жена моя не могла изменить мне ни в каком случае. Я хитрость употреблял для охранения своего супружеского ложа. Слова такие знаю, вроде как бы пароль. Скажу эти самые слова и — баста, могу спать в спокойствии насчет верности…

— Какие же это слова?

— Самые простые. Я распространял по городу нехороший слух. Вам этот слух доподлинно известен. Я говорил всякому: «Жена моя Алена находится в сожительстве с нашим полицеймейстером Иваном Алексеичем Залихватским». Этих слов было достаточно. Ни один человек не осмеливался ухаживать за Аленой, ибо боялся полицеймейстерского гнева. Как, бывало, увидят

ее, так и бегут прочь, чтоб Залихватский чего не подумал. Хе-хе-хе. Ведь с этим усастым идолом свяжись, так потом не рад будешь, пять протоколов составит насчет санитарного состояния. К примеру, увидит твою кошку на улице — и составит протокол, как будто это бродячий скот.

— Так жена ваша, значит, не жила с Иваном Алексеичем? — удивились мы протяжно.

— Нет-с, это моя хитрость… Хе-хе… Что, ловко надувал я вас, молодежь? То-то вот оно и есть.

Прошло минуты три в молчании. Мы сидели и молчали, и нам было обидно и совестно, что нас так хитро провел этот толстый красноносый старик.

— Ну, бог даст, в другой раз женишься! — проворчал дьякон.

Юристка

Дочь одного европейского министра юстиции, часто помогавшая своему папа в составлении всевозможных законопроектов, говорила своему отцу, будучи

18 лет: Запрети, папа, в своих законах этим негодным женихам приставать к девушкам! Когда они понадобятся, им скажут! Запрети также, кстати, молодым людям жениться ранее 35 лет. Ранние браки отнимают у нас лучших кавалеров!

20 лет: Можно, пожалуй, папа, позволить жениться и ранее 30 лет. Сделай уж им уступку! Так и быть…

22 лет: Ах да, кстати… Если увидишь министра внутренних дел, то попроси его, чтобы он предписал губернаторам брать с каждого холостяка штраф в размере 30–40 франков в год.

25 лет: Удивляюсь тебе, папа! Куда девался твой административный гений? Ты словно не замечаешь, что вокруг тебя делается! Как можно скорей проектируй штраф с холостяков в размере 1500 франков с каждого ежегодно! Надо же, наконец, принять меры!

28 лет: Ты, папа, просто глуп… Ну, можно ли вести так дело? В уложении о наказаниях у тебя нет ни одной статьи против этих негодных холостяков! Назначь ежегодно поголовный штраф по крайней мере в 10 000 франков! К этому штрафу прибавь месяца 2 тюремного заключения с лишением некоторых особенных прав и преимуществ, и ты скоро не увидишь в нашем государстве ни одной засидевшейся девушки!

30 лет: Сто тысяч франков! Наконец двести тысяч! Скорее! Год тюремного заключения… 30 горячих! А если вам не будут повиноваться, никто не помешает вам потребовать роту солдат! Скоррее… вв арвар!!

35 лет: Смертная казнь через расстреляние! Умоляю, отец! Неужели ты не видишь, что я… готова повыцарапать всем глаза? Смертная казнь… Нет… пожизненное одиночное тюремное заключение! Это посильней будет! Да пиши же поскорей…

40 лет: Папочка… милый… ангел… Сходи к министру финансов и попроси его ассигновать сумму для выдачи ежегодных премий холостякам, намеревающимся жениться… Сходи, милый! Будь так добр! И запрети кстати молодым людям жениться на девушках, не достигших 35—40-лет-

него возраста… Папочка, голубчик!

Из дневника одной девицы

13-го октября. Наконец-то и на моей улице праздник! Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами взад и вперед ходит высокий, статный брюнет с глубокими черными глазами. Усы — прелесть! Ходит уже пятый день, от раннего утра до поздней ночи, и все на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания.

15-го. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он, бедняжка, ходит. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответил обворожительной улыбкой. Кто он? Сестра Варя говорит, что *он* в нее влюблен и что ради нее мокнет на дожде. Как она неразвита! Ну, может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела нам получше одеваться и сидеть у окон. «Может быть, он жулик какой-нибудь, а может быть, и порядочный господин», — сказала она. Жулик… quel…[131] Глупы вы, мамаша!

16-го. Варя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, что *он* любит меня, а не ее! Нечаянно уронила *ему* на тротуар записочку. О, коварщик!

---

[131] Примечания: 131
Какой *(франц.).*

Написал у себя мелом на рукаве: «После». А потом ходил, ходил и написал на воротах vis-a-vis: «Я не прочь, только после». Написал мелом и быстро стер. Отчего у меня сердце так бьется?

17-го. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница! Сегодня *он* остановил городового и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Интригу затевает! Подкупает, должно быть… Тираны и деспоты вы, мужчины, но как вы хитры и прекрасны!

18-го. Сегодня, после долгого отсутствия, приехал ночью брат Сережа. Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал.

19-го. Гадина! Мерзость! Оказывается, что *он* все эти двенадцать дней выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся.

Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу». Скотина… Показала ему язык.

Начальник станции

Начальника станции «Дребезги» зовут Степаном Степанычем, а фамилия его Шептунов. С ним в минувшее лето случился маленький скандал. Этот скандал, несмотря на свою видимую ничтожность, обошелся ему очень дорого. Благодаря ему он потерял свою новую форменную фуражку и веру в человечество.

Летом поезд № 8 проходил через его станцию в 2 часа 40 минут ночи. Время самое неудобное. Вместо того, чтобы спать, Степан Степаныч должен был гулять по платформе и торчать около телеграфистки почти до утра.

Его помощник, Алеутов, каждое лето ездил куда-то жениться, и бедному Шептунову одному приходилось дежурить. Большое свинство со стороны судьбы! Впрочем, он скучал не каждую ночь. Иногда ночью приходила к нему на станцию из соседнего княжеского имения жена управляющего Назара Кузьмича Куцапетова, Марья Ильинична. Дама эта была не особенно молода, не особенно красива, но, господа, в темноте и столб за городового примешь, да, кстати сказать, скука такая же не тетка, как и голод: все

сойдет! Когда Куцапетова приходила на станцию, Шептунов брал ее обыкновенно под руку, спускался с нею вниз с платформы и шел к товарным вагонам. Там, у вагонов, в ожидании поезда № 8, он начинал свои клятвы и продолжал их вплоть до свистка.

Так в одну прекрасную ночь стоял он с Марьей Ильиничной у вагонов и ожидал поезд. По безоблачному небу тихо, чуть заметно плыла луна. Она заливала своим светом станцию, поле, необозримую даль… Кругом было тихо, спокойно… Шептунов держал Марью Ильиничну за талию и молчал. Она тоже молчала. Оба были в каком-то сладостном, тихом, как лунный свет, забытьи…

— Какая чудная погода! — изредка вздыхал Шептунов. — Ты не озябла?

Вместо ответа она теснее и теснее прижималась к его форменному сюртуку.

В 2 часа 20 минут начальник станции поглядел на часы и сказал:

— Скоро поезд придет… Давай, Маша, глядеть на путь… Кто из нас первый увидит огни поезда, тот, значит, дольше любить будет… Давай глядеть…

Они вперили свой взгляд в глубокую даль. Кое-где на бесконечном пути ласково мигали огоньки. Поезда не было еще видно… Вглядыва-

ясь в даль, Шептунов увидел нечто другое… Он увидел две длинные тени, шагавшие через шпалы… Тени двигались прямо к нему и делались все больше и шире… Одна тень, по-видимому, исходила от человеческой фигуры, другая — от длинной палки, которую держала фигура…

Тень приближалась. Скоро послышалось, что насвистывали из «Мадам Айго».

— Не ходить по рельсам! Запрещено… — крикнул Шептунов. — Долой с рельсов!

— Не распоряжайся, сволочь! — послышался ответ.

Обруганный Шептунов рванулся вперед, но в это время Марья Ильинична ухватилась за его фалды.

— Ради бога, Степа! — зашептала она. — Это мой муж! Назарка!

Не успела она это сказать, как Куцапетов стоял уже перед оскорбленным начальником станции. Оскорбленный Шептунов вскрикнул, ударился головой о что-то железное и нырнул под вагон. Выползши на животе из-под вагона, он побежал по полотну. Прыгая через шпалы, спотыкаясь о рельсы, он, как сумасшедший, как собака, которой привязали к хвосту колючую палку, полетел к водокачалке…

«Какая у него, однако… палка!» — думал он, улепетывая.

Добежав до водокачалки, он остановился, чтобы перевести дух, но в это время послышались шаги. Оглянулся он и увидел сзади себя быстро двигавшуюся тень человека с тенью палки. Объятый паническим страхом, он побежал далее.

— Погодите! Постойте! — услышал он за собой голос Куцапетова. — Стойте! Берегитесь! Поезд!

Шептунов поглядел вперед и увидел перед собой поезд с парой страшных, огненных глаз… Волосы его стали дыбом… Сердце застучало и вдруг замерло… Он собрал все свои силы и прыгнул, куда глаза глядят… Секунды четыре он летел в воздухе, потом упал на что-то твердое и покатое и покатился вниз, цепляясь за репейник.

«Насыпь, — подумал он. — Ну, это ничего. Лучше с насыпи скатиться, чем дворянину принять побои от хама».

Через минуту возле его правого уха ступил в лужу большой, тяжеловесный сапог. По спине у него заходили ощупывающие руки…

— Это вы? — услышал он голос Куцапетова. — Вы, Степан Степаныч?

— Пощадите! — простонал Шептунов.

— Что с вами, ангел мой? Чего вы испужались?

Это я, Куцапетов! Неужели не узнали? Я бежал за вами, бежал… Кричал, кричал… Чуть было под поезд не попали, ангел мой… Маша, как увидела, что вы побегли, тоже испужалась и на платформе теперь без чувств лежит… Вы, может быть, испужались, что я вас сволочью назвал? Вы не обижайтесь… Я вас за стрелочника принял…

— Ах, не издевайтесь… Если мстить, то мстите поскорей… Я в ваших руках… — простонал Шептунов. — Бейте… увечьте…

— Гм… Что с вами, батюшка? Ведь я к вам по делу шел, благодетель! Я и бежал за вами, чтобы о деле поговорить…

Куцапетов помолчал и продолжал:

— Дело важное-с… Маша моя говорила мне, что вы из-за удовольствия изволите с ней путаться. Я касательно этого ничего-с, потому что мне от Марьи Ильинишны приходится в общем сюжете кукиш с маслом, но ежели рассуждать по справедливости, то соблаговолите со мной договор сделать, потому что я муж, глава все-таки… по писанию. Князь Михайла Дмитрич, когда с ней путались, мне в месяц две четвертные выдавали. А вы сколько пожалуете? Уговор лучше денег. Да вы встаньте-с…

Шептунов поднялся. Чувствуя себя поломан-

ным, исковерканным, он поплелся к насыпи…

— Сколько вы пожалуете? — продолжал Куцапетов. — С вас я четвертную возьму… И потом-с, хотел попросить у вас, нет ли у вас местечка моему племяннику…

Шептунов, ничего не слыша и не видя, кое-как доплелся до станции и повалился в постель. Проснувшись на другой день, он не нашел своей форменной фуражки и одного погона.

Ему и до сих пор совестно.

Сборник для детей

Предисловие. Милые и дорогие дети! Только тот счастлив в этой жизни, кто честен и справедлив. Мерзавцы и подлецы не могут быть счастливы, а потому будьте честны и справедливы. Не мошенничайте в картах не потому, что за это могут съездить подсвечником, а потому, что это нечестно; почитайте старших не потому, что за непочтение угощают березовой кашей, а потому, что этого требует справедливость. Привожу вам в назидание несколько сказок и повестей…

1. Наказанная скупость. Три приятеля, Иванов, Петров и Смирнов, зашли в трактир пообедать. Иванов и Петров были нескупы, а потому тотчас же потребовали себе по шестидесятикопеечному обеду. Смирнов же, будучи скуп, отказался от обеда. Его спросили о причине отказа.

— Я не люблю трактирных щей, — сказал он. — Да и к тому же у меня в кармане всего-навсего шесть гривен. Надо же и на папиросы себе оставить. Вот что: я скушаю яблоко.

Сказав это, Смирнов потребовал яблоко и стал есть его, с завистью поглядывая на друзей, евших щи и вкусных рябчиков. Но мысль, что он мало

потратился, утешала его. Каково же было его удивление, когда на поданном счете прочел он следующее: «2 обеда — 1 р. 20 к.; яблоко — 75 коп.». С этих пор он никогда не скупится и не покупает фруктов в трактирных буфетах.

2. Дурной пример заразителен. Червонец подружился с тестовским рублевым обедом и стал совращать его с пути истины.

— Друг мой! — говорил он рублевому обеду. — Погляди на меня! Я много меньше, но сколь я лучше тебя! Не говоря уже о том сиянии, которое я испускаю из себя, как я дорог! Номинальная моя стоимость равна 5 р. 15 к., а между тем люди дают за меня восемь с хвостиком!

И долго таким образом смущал он рублевый обед. Обед слушал-слушал и наконец совратился. Через несколько времени он говорил русскому кредитному рублю:

— Как жаль мне тебя, несчастный целковый! И как ты смешон! Моя номинальная стоимость равна рублю, а между тем за меня платят теперь в трактирах рубль с четвертаком, ты же… ты! о, стыд! ты дешевле своей стоимости! Ха-ха!

— Друг мой! — кротко заметил ему рубль. — Ты и друг твой, червонец, построили свое величие на моем унижении, и я рад, что мог служить вам!

Рублевому обеду стало стыдно.

3. Примерная неблагодарность. Один благочестивый человек в день своих именин созвал к себе во двор со всего города хромых, слепых, гнойных и убогих и стал угощать их обедом. Угощал он их постными щами, горохом и пирогами с изюмом. «Кушайте во славу божию, братья мои!» — говорил он нищим, упрашивая их есть. Те ели и не благодарили. Пообедав, убогие, хромые, слепые и гнойные наскоро помолились богу и вышли на улицу.

— Ну, что? Как угостил вас благочестивый человек? — обратился к одному из хромых стоявший неподалеку городовой.

Хромой махнул рукой и ничего не ответил. Тогда городовой с тем же вопросом обратился к одному из гнойных.

— Аппетит только испортил! — ответил гнойный, с досадой махнув рукой. — Сегодня нам предстоит еще обедать на похоронах купчихи Ярлыковой!

4. Постойное возмездие. Один злой мальчик имел дурную привычку писать на заборах неприличные слова. Он писал и думал, что не будет за это наказан. Но, дети, ни один злой поступок не проходит без наказания. Однажды, идя мимо

забора, злой мальчик взял мел и на самом видном месте написал: «Дурак! Дурак! Дурак!» Проходили мимо забора люди и читали. Прошел Умный, прочел и пошел далее. Прошел Дурак, прочел и отдал злого мальчика под суд за диффамацию.

— Отдаю его под суд не потому, что мне обидно это писанье, — сказал Дурак, — а из принципа!

5. Излишнее усердие. В одной газете завелись черви.

Тогда редактор призвал болотных птиц и сказал им: «Клюйте червей!» Птицы стали клевать и склевали не только червей, но и газету, и самого редактора.

6. Ложь до правды стоит. Персидский царь Дарий, умирая, призвал к себе сына своего Артаксеркса и сказал ему:

— Сын мой, я умираю! После моей смерти созови со всей земли мудрецов и предложи им на разрешение эту задачу. Решивших сделай своими министрами.

И, нагнувшись к уху сына, Дарий прошептал ему тайну задачи.

После смерти отца Артаксеркс созвал со всей земли мудрецов и, обратись к ним, сказал:

— Мудрецы! Отец поручил мне дать вам вот эту задачу на разрешение. Кто решит ее, тот будет

моим министром.

И Артаксеркс задал мудрецам задачу. Всех мудрецов было пять.

— Но кто же, государь, будет контролировать наши решения? — спросил царя один из мудрецов.

— Никто, — отвечал царь. — Я поверю вашему честному слову. Если вы скажете, что вы решили, я поверю, не проверяя вас.

Мудрецы сели за стол и стали решать задачу. В тот же день вечером один из мудрецов явился к царю и сказал:

— Я решил задачу.

— Отлично. Будь моим министром.

На другой день задача была решена еще тремя мудрецами. Остался за столом один только мудрец, именем Артозостр. Он не мог решить задачи. Прошла неделя, прошел месяц, а он все сидел за задачей и потел над ее разрешением. Прошел год, прошло два года. Он побледнел, похудел, осунулся, перепачкал сто стоп бумаги, но до решения было еще далеко.

— Вели его казнить, царь! — говорили четыре министра, решившие задачу. — Он, выдавая себя за мудреца, обманывал тебя.

Но царь не казнил Артозостра, а терпеливо

ждал. Через пять лет пришел к царю Артозостр, пал перед ним на колени и сказал:

— Государь! Эта задача неразрешима!

Тогда царь поднял мудреца, поцеловал его и сказал:

— Ты прав, мудрый! Эта задача действительно неразрешима. Но, решая ее, ты разрешил главную задачу, написанную на моем сердце: ты доказал мне, что на земле есть еще честные люди. А вы, — обратился он к четырем министрам, — жулики!

Те сконфузились и спросили:

— Теперь нам, стало быть, убираться отсюда?

— Нет, оставайтесь! — сказал Артаксеркс. — Вы хоть и жулики, но мне тяжело с вами расстаться. Оставайтесь.

И они, слава богу, остались.

7. И за зло нужно быть благодарным. «О, Зевс великий! О, сильный громовержец! — молился один поэт Зевсу. — Пошли мне для вдохновения музу! Молю тебя!»

Зевс не учил древней истории. Немудрено поэтому, что он ошибся и вместо Мельпомены послал к поэту Терпсихору. Терпсихора явилась к поэту, и последний вместо того, чтобы работать в журналах и получать за это гонорар, поступил в танцкласс. Танцевал он сто дней и сто ночей

напролет, пока не подумал:

«Меня не послушал Зевс. Он посмеялся надо мной. Я просил у него вдохновения, а он научил меня выкидывать коленце…»

И дерзкий написал на Зевса едкую эпиграмму. Громовержец разгневался и швырнул в него одну из своих молний. Так погиб поэт.

Заключение. Итак, дети, добродетель торжествует.

В гостиной

Становилось темней и темней… Свет, исходивший от камина, слегка освещал пол и одну стену с портретом какого-то генерала с двумя звездами. Тишина нарушалась треском горевших поленьев, да изредка сквозь двойные оконные рамы пробивался в гостиную шум шагов и езды по свежему снегу.

Перед камином, на голубой, покрытой кружевной кисеей кушетке, сидела парочка влюбленных. Он, высокий, статный мужчина с роскошными, выхоленными бакенами и правильным греческим носом, сидел развалясь, положа ногу на ногу, и лениво потягивал ароматный дымок из дорогой гаванской сигары. Она, маленькое, хорошенькое созданье с льняными кудрями и быстрыми, лукавыми глазками, сидела рядом с ним и, прижавшись головкой к его плечу, мечтательно глядела на огонь. На лицах обоих была разлита мягкая нега… Движения были полны сладкой истомы…

— Я люблю вас, Василий Лукич! — шептала она. — Ужасно люблю! Вы так красивы! Недаром баронесса глядит на вас, когда бывает у Павла

Иваныча. Вы очень нравитесь женщинам, Василий Лукич!

— Гм… Мало ли чего! А как на вас, Настя, профессор смотрит, когда вы Павлу Петровичу приготовляете чай! Он в вас влюблен — это как дважды два…

— Оставьте ваши насмешки!

— Ну, как не любить такое милое существо? Вы прекрасны! Нет, вы не прекрасны, а вы грациозны! Ну, как тут не любить?

Василий Лукич привлек к себе хорошенькое созданье и начал осыпать его поцелуями. В камине раздался треск: загорелось новое полено. С улицы донеслась песня…

— Лучше вас во всем свете нет! Я вас люблю, как тигр или лев…

Василий Лукич сжал в своих объятиях молодую красавицу… Но в это время из передней послышался кашель, и через несколько секунд в гостиную вошел маленький старичок в золотых очках. Василий Лукич вскочил и быстро, в замешательстве, сунул в карман сигару. Молодая девушка вскочила, нагнулась к камину и стала копаться в нем щипцами… Увидев смущенную парочку, старик сердито кашлянул и нахмурился.

— Не обманутый ли это муж? — спросит, быть может, читатель.

Старик прошелся по гостиной и снял перчатки.

— Как здесь накурено! — проговорил он. — Опять ты, Василий, курил мои сигары?

— Никак нет-с, Павел Иваныч! Это… это не я-с…

— Я тебе дам расчет, если еще раз замечу… Ступай, приготовь мне фрачную пару и почисти штиблеты… А ты, Настя, — обратился старик к девушке, — зажги свечи и поставь самовар…

— Слушаю-с! — сказала Настя.

И вместе с Василием вышла из гостиной.

Экзамен
(Из беседы двух очень умных людей)

На днях явился в кабинет отца старший сын и заявил ему, что он желает выйти из-под его опеки и самостоятельно вступить в свет. Заявление это он мотивировал своим недавно наступившим совершеннолетием (ему исполнилось ровно 21 год).

— Хорошо, сын мой! — сказал отец, выслушав его. — Я согласен, но прежде, чем начать самостоятельную жизнь, ты должен выдержать у меня маленький житейский экзамен. Садись, я тебя проэкзаменую…

Сын сел. Отец нахмурился и начал:

— Чем пахнет во рту, когда ешь колбасу?

— Колбасной лавкой.

— Так, сын мой. Что жены мылят без мыла?

— Головы мужей.

— Что было бы, если бы люди ходили вверх ногами?

— Тогда Пироне шил бы шапки, а Ноша шил бы сапоги…

— Совершенно верно. Отчего вода в море со-

леная?

— Оттого, что в нем плавают селедки…

— Старо, старо! Свое что-нибудь придумай!

— Оттого в море вода соленая, что… что… в нем купаются иногда юмористы.

— Пожалуй… Прежде спрашивали: от чего гуси плавают? Мы отвечали: от берега… Теперь ты ответь мне: от чего уплывают гуси лапчатые?

— От долгов, воинской повинности…

— Отчего не носят очков на затылке?

— Потому что очки разбиваются от подзатыльников.

— Почему человека нельзя назвать свиньей?

— Потому что он потащит к мировому.

— Какой чиж кончил курс в университете?

— Доктор Чиж.

— Кого можно назвать падшим созданием?

— Человека, упавшего с каланчи.

— Где можно взять взаймы денег?..

Сын поднял вверх голову и задумался.

— Не знаешь, сынок? Ну, не годишься же ты в свет… Поживи под моей опекой еще месяц!

Через месяц будет новый экзамен.

Либерал
(Новогодний рассказ)

Прекрасную и умилительную картину представляло собой человечество в первый день нового года. Все радовались, ликовали, поздравляли друг друга. Воздух оглашался самыми искренними и сердечными пожеланиями. Все были счастливы и довольны…

Один только губернский секретарь Понимаев был недоволен. В новогодний полдень он стоял на одной из столичных улиц и протестовал. Обняв правой рукой фонарный столб, а левой отмахиваясь неизвестно от чего, он бормотал вещи непростительные и предусмотренные… Возле него стояла его жена и тащила его за рукав. Лицо ее было заплакано и выражало скорбь.

— Идол ты мой! — говорила она. — Наказание ты мое! Глаза твои бесстыжие, махамет! Иди, тебе говорю! Иди, покедова не прошло время, и распишись! Иди, пьяная образина!

— Ни в каком случае! Я образованный человек и не желаю подчиняться невежеству! Иди сама расписывайся, если хочешь, а меня оставь!.. Не

желаю быть в рабстве.

— Иди! Ежели ты не распишешься, то горе тебе будет! Выгонят тебя, подлеца моего, и тогда я с голоду, значит, сдыхай? Иди, собака!

— Ладно… И погибну… За правду? Да хоть сейчас!

Понимаев поднял руку, чтобы отмахнуться от жены, и описал ею в воздухе полукруг… Шедший мимо околоточный надзиратель в новой шинели остановился на секунду и, обратясь к Понимаеву, сказал:

— Стыдитесь! Ведите себя по примеру прочих!

Понимаеву стало совестно. Он стыдливо замигал глазами и отдернул от фонарного столба руку. Жена воспользовалась этим моментом и потащила его за рукав вдоль по улице, старательно обходя все, за что можно ухватиться. Минут через десять, не более, она дотащила своего мужа до подъезда начальника.

— Ну, иди, Алеша! — сказала она нежно, введя мужа на крыльцо. — Иди, Алешечка! Распишись только, да и уходи назад. А я тебе за это коньяку к чаю куплю. Не буду тебя ругать, когда ты выпивши… Не губи ты меня, сироту!

— Ааа… гм… Это, стало быть, его дом? Отлично! Очень хорошо-с! Ррраспишемся, черт возьми! Так

распишемся, что долго будет помнить! Все ему напишу на этой бумаге! Напишу, какого я мнения! Пусть тогда гонит! А ежели выгонит, то ты виновата! Ты!

Понимаев покачнулся, пхнул плечом дверь и с шумом вошел в подъезд. Там около двери стоял швейцар Егор с свежевыбритой, новогодней физиономией. Около столика с листом бумаги стояли Везувиев и Черносвинский, сослуживцы Понимаева. Высокий и тощий Везувиев расписывался, а Черносвинский, маленький рябенький человечек, дожидался своей очереди. У обоих на лицах было написано: «С Новым годом, с новым счастьем!» Видно было, что они расписывались не только физически, но и нравственно. Увидев их, Понимаев презрительно усмехнулся и с негодованием запахнулся в шубу.

— Разумеется! — заговорил он. — Разумеется! Как не поздравить его пр-во? Нельзя не поздравить! Ха, ха! Надо выразить свои рабские чувства!

Везувиев и Черносвинский с удивлением поглядели на него. Отродясь они не слыхали таких слов!

— Разве это не невежество, не лакейство? — продолжал Понимаев. — Брось, не расписывайся!

Вырази протест!

Он ударил кулаком по листу и смазал подпись Везувиева.

— Бунтуешь, ваше благородие! — сказал Егор, подскочив к столу и подняв лист выше головы. — За это, ваше благородие, вашего брата… знаешь как?

В это время дверь отворилась и в подъезд вошел высокий пожилой мужчина в медвежьей шубе и золотой треуголке. Это был начальник Понимаева, Велелептов. При входе его Егор, Везувиев и Черносвинский проглотили по аршину и вытянулись. Понимаев тоже вытянулся, но усмехнулся и крутнул один ус.

— А! — сказал Велелептов, увидев чиновников. — Вы… здесь? М-да… друзья… Понятно… (очевидно, что его пр-во был слегка навеселе). Понятно… И вас также… Спасибо, что не забыли… Спасибо… М-да… Приятно видеть… Желаю вам… А ты, Понимаев, уж назюзюкался? Это ничего, не конфузься… Пей, да дело разумей… Пейте и веселитесь…

— Всяк злак на пользу человека, ваше-ство! — рискнул вставить Везувиев.

— Ну да, понятно… Как ты сказал? Где злак? Ну, идите себе… с богом… Или нет… Вы были уже у

Никиты Прохорыча? Не были еще? Отлично. Я дам вам книги… отнесите к нему… Он дал мне почитать «Странник» за два года… Так вот его надо отнести… Пойдемте, я вам дам… Скиньте шубы!

Чиновники сняли шубы и пошли за Велелептовым. Сначала они вошли в приемную, а потом в большую, роскошно убранную залу, где за круглым столом сидела сама генеральша. По обе стороны ее сидели две молодые дамы, одна в белых перчатках, другая в черных. Велелептов оставил в зале чиновников и пошел к себе в кабинет. Чиновники сконфузились.

Минут десять стояли они молча, не двигаясь и не зная, куда девать свои руки. Дамы говорили по-французски и то и дело вскидывали на них глаза… Мука! Наконец из кабинета показался Велелептов, держа в обеих руках по большой связке книг.

— Вот, — сказал он. — Отдайте ему и поблагодарите… Это «Странник». Я читал иногда по вечерам… А вам… спасибо, что не забыли… пришли почтить… Чиновников моих рассматриваете? — обратился Велелептов к дамам. — Хе, хе… Смотрите, смотрите… Это вот Везувиев, это Черносвинский… а это мой Понимаев. Вхожу однажды в дежурную, а он, этот Понимаев, там

машину представляет. Каков? Пш-пш-пш! Свистит этак, ногами топочет… Натурально так выходило… М-да… А ну-ка, изобрази! Представька нам.

Дамы вперили в Понимаева глаза и заулыбались. Он закашлялся.

— Не умею… Забыл, ваше — ство… — пробормотал он. — Не могу и не желаю.

— Не желаешь? — удивился Велелептов. — А? Жаль… Шаль, что не можешь уважить старика… Прощай… Обидно… Ступай…

Везувиев и Черносвинский затолкали в бок Понимаева. Да и сам он испугался своего отказа. В глазах его помутилось… Черные перчатки смешались с белыми, лица покосились, мебель запрыгала, и сам Велелептов обратился в большой кивающий палец. Постояв немного и пробормотав что-то, Понимаев прижал к груди «Странник» и вышел на улицу. Там он увидел свою жену, бледную, дрожавшую от холода и ужаса. Везувиев и Черносвинский стояли уже возле нее и, сильно жестикулируя руками, говорили ей что-то ужасное и сразу в оба уха. «Что теперь будет?!» — читалось в их фигурах и движениях. Понимаев, безнадежно взглянув на жену, поплелся с книгами за приятелями.

Воротясь домой, он не обедал и чаю не пил… Ночью его разбудил кошмар.

Он поднялся и поглядел в темноту. Черные и белые перчатки, бакены Велелептова — все это заплясало перед его глазами, закружилось, и он вспомнил минувшее.

— Скотина я, скотина! — проворчал он. — Протестуй ты, осел, ежели хочешь, но не смей не уважать старших! Что стоило тебе представить машину?

Более он не мог уснуть. Всю ночь до самого утра промучили его угрызения совести, тоска и всхлипывания жены. Поглядевшись утром в зеркало, он увидел не себя, а чью-то другую физиономию, бледную, истощенную, печальную…

— Не пойду на службу! — решил он. — Все одно… Один конец!

Весь второй день нового года он посвятил хождению из угла в угол.

Ходил он, вздыхал и думал:

— У кого бы это револьвер достать? Чем этак жить, так лучше уж… право… Пулю в лоб, и конец…

На третий день он бежал от тоски на службу.

«Что-то будет?!» — думали все чиновники, поглядывая на него из-за чернильниц.

То же самое думал и Понимаев.

— Что ж? — шепнул он Везувиеву. — Пусть гонит! Ему же скверно будет, ежели руки на себя наложу.

В И часов приехал Велелептов. Проходя мимо Понимаева и взглянув на его бледное, сильно похудевшее, испуганное лицо, он остановился, покачал головой и сказал:

— А здорово ты тогда хватил, братец! До сих пор рожа в свои рамки не вошла. Надо быть, друг, поумеренней… Нехорошо… Долго ли здоровье потерять?

И, похлопав Понимаева по плечу, Велелептов прошел далее.

«Только-то?» — подумало все присутствие.

Понимаев засмеялся от удовольствия. Даже пискнул по-птичьи — так ему было приятно! Но скоро лицо его изменилось… Он нахмурился и осклабился презрительной улыбкой.

— Счастье твое, что я тогда был выпивши! — проворчал он вслух вслед Велелептову. — Счастье твое, а то бы… Помнишь, Ве-зувиев, как я его отщелкал?

Придя со службы домой, Понимаев обедал с большим аппетитом.

Завещание старого, 1883-го года

Любезнейший сын мой, 1884-й год!

Находясь в здравом рассудке и при полной памяти, несколько, впрочем, «под шефе» (был, знаешь, у Саврасенкова и хватил перед отъездом Уг бутылки финь-шампань; но «шефе» не возбраняет стряпать нотариальные акты никому, даже нотариусам), завещаю тебе следующее:

1) Весь земной шар с его пятью частями света, океанами, Кордильерами, газетами, компрачикосами, Парижем, кокотками обоих полов и всех возрастов, Северным полюсом, персидским порошком, театром Мошнина, мазью Иванова, Шестеркиным, обанкротившимися помещиками, одеколоном, крокодилами, Окрейцем и проч.

2) Денег тебе не завещаю, ибо оных не имею. За все мое годовое пребывание на земном шаре не видал их нигде, даже в кассе такой богатой дороги, как Лозово-Севастопольская. Нечто похожее на деньги видел я только в ссудных кассах, за голенищами господ кабатчиков, в сундуке таганрогского турка Вальяно и в карманах московских официантов.

3) Купно с старыми калошами завещаю тебе

то, что завещали мне деды и прадеды (начиная с 1800 года) и что придется тебе, вероятно, оставить твоим внукам и правнукам:

a) Хор песенников и рожечников.

b) Композиторов полек и вальсов.

c) Рассказчика Гулевича (автора), его фрак, цилиндр и манеры.

Если сумеешь продать это старье старьевщикам-татарам, то тебя назовут по крайней мере благодетелем человечества.

4) Окончи дело Корсова с Закжевским и в угоду московским барыням начни другое.

5) Расставь в этом завещании знаки препинания, а если сам не умеешь, то поручи это сделать кому-нибудь из сотрудников «Будильника».

6) В качестве секретаря беру с собою в Лету поэта и экспедактора Сталинского.

7) Беру с собою и шубу художника Ч., чем делаю великое одолжение господам эстетикам.

8) Больше я тебе ничего не завещаю.

Твой отец, 1883 год.

С подлинным верно:

Брат моего брата.

Контракт 1884 года с человечеством

Марка в 60 к.

Тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года, января l-го дня, мы, нижеподписавшиеся, Человечество с одной стороны и Новый, 1884 год — с другой, заключили между собою договор, по которому: 1) Я, Человечество, обязуюсь встретить и проводить Новый, 1884 год с шампанским, визитами, скандалами и протоколами. 2) Обязуюсь назвать его именем все имеющиеся на земном шаре календари. 3) Обязуюсь возлагать на него великие надежды. 4) Я, Новый, 1884 год, обязуюсь не оправдать этих надежд. 5) Обязуюсь иметь не более 12 месяцев. 6) Обязуюсь дать всем Касьянам, желающим быть именинниками, двадцать девятое февраля. 7) В случае неисполнения одною из сторон какого-либо из пунктов платится 10 000 рублей неустойки кредитными бумажками по гривеннику за рубль. 8) Договор этот с обеих сторон хранить свято и ненарушимо; подлинный договор иметь Человечеству, а копию — Новому, 1884 году.

Новый, 1884 год руку к сему приложил.

Человечество.

Договор этот явлен у меня, Человека без селезенки, временного нотариуса, в конторе моей, находящейся у черта на куличках, не имеющим чина Новым, 1884 годом, живущим в календаре губернского секретаря А. Суворина, и Человечеством, живущим под луной, лично мне известными и имеющими законную правоспособность к совершению актов.

Городского сбора взыскано 18 руб. 14 коп., на «Корневильские колокола» 3 руб. 50 коп., в пользу раненных в битве Б. Маркевича с Театрально-литературным комитетом 1 руб. 12 коп.

Нотариус: *Человек без селезенки.*

М. П.

75 000

Ночью, часов в 12, по Тверскому бульвару шли два приятеля. Один — высокий, красивый брюнет в поношенной медвежьей шубе и цилиндре, другой — маленький, рыженький человек в рыжем пальто с белыми костяными пуговицами. Оба шли и молчали. Брюнет слегка насвистывал мазурку, рыжий угрюмо глядел себе под ноги и то и дело сплевывал в сторону.

— Не посидеть ли нам? — предложил наконец брюнет, когда оба приятеля увидели темный силуэт Пушкина и огонек над воротами Страстного монастыря.

Рыжий молча согласился, и приятели уселись.

— У меня есть к тебе маленькая просьба, Николай Борисыч, — сказал брюнет после некоторого молчания. — Не можешь ли ты, друг, дать мне взаймы рублей десять-пятнадцать? Через неделю отдам…

Рыжий молчал.

— Я не стал бы тебя и беспокоить, если бы не нужда. Скверную штуку сыграла со мной сегодня судьба… Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет… Нужно ей за свою сестренку в гим-

назию заплатить… Я, знаешь, заложил и вот… при тебе сегодня в стуколку нечаянно проиграл…

Рыжий задвигался и крякнул.

— Пустой ты человек, Василий Иваныч! — сказал он, покрививши рот злой усмешкой. — Пустой человек! Какое ты право имел садиться с барынями играть в стуколку, если ты знал, что эти деньги не твои, а чужие? Ну, не пустой ли ты человек, не фат ли? Постой, не перебивай… Дай я тебе раз навсегда выскажу… К чему эти вечно новые костюмы, эта вот булавка на галстухе? Для тебя ли, нищего, мода? К чему этот дурацкий цилиндр? Тебе, живущему на счет жены, платить пятнадцать рублей за цилиндр, когда отлично, не в ущерб ни моде, ни эстетике, ты мог бы проходить в трехрублевой шапке! К чему это вечное хвастанье своими несуществующими знакомствами? Знаком и с Хохловым, и с Плевако, и со всеми редакторами! Когда ты сегодня лгал о своих знакомствах, у меня за тебя глаза и уши горели! Лжешь и не краснеешь! А когда ты играешь с этими барынями, проигрываешь им женины деньги, ты так пошло и глупо улыбаешься, что просто… пощечины жалко!

— Ну оставь, оставь… Ты не в духе сегодня…

— Ну, пусть это фатовство есть мальчишество,

школьничество… Я согласен допустить это, Василий Иваныч… ты еще молод… Но не допущу я… не пойму одной вещи… Как мог ты, играя с теми куклами… сподличать? Я видел, как ты, сдавая, достал себе из-под низу пикового туза!

Василий Иваныч покраснел, как школьник, и начал оправдываться. Рыжий настаивал на своем. Спорили громко и долго. Наконец оба мало-помалу умолкли и задумались.

— Это правда, я сильно завертелся, — сказал брюнет после долгого молчания. — Правда… Весь я потратился, задолжался, растратил кое-что чужое и теперь не знаю, как выпутаться. Знаешь ли ты то невыносимое, скверное чувство, когда все тело чешется и когда у тебя нет средства от этой чесотки? Нечто вроде этого чувства я испытываю теперь… Весь по уши залез в дебри… Совестно и людей, и самого себя… Делаю массу глупостей, гадостей, из самых мелких побуждений, и в то же время никак не могу остановиться… Скверно! Получи я наследство или выиграй, так бросил бы, кажется, все на свете и родился бы снова… А ты, Николай Борисыч, не осуждай меня… не бросай камня… Вспомни пальмовского Неклюжева…

— Помню я твоего Неклюжева, — сказал рыжий. — Помню… Сожрал чужие деньги, нало-

пался и после обеда захотел покейфовать: перед девчонкой расхныкался!.. До обеда, небось, не похныкал… Стыдно писателям идеализировать подобных подлецов! Не будь у этого Неклюжева счастливой наружности и галантных манер, не влюбилась бы в него купеческая дочка и не было бы раскаяния… Вообще подлецам судьба дает счастливые наружности… Все ведь вы купидоны. Вас любят, в вас влюбляются… Вам страшно везет по части женщин!

Рыжий встал и заходил около скамьи.

— Твоя жена, например… честная, благородная женщина… за что она могла полюбить тебя? За что? И сегодня вот, целый вечер, в то время, когда ты врал и ломался, не отрывала от тебя глаз хорошенькая блондинка… Вас, Неклюжевых, любят, вам жертвуют, а тут всю жизнь работаешь, бьешься как рыба об лед… честен, как сама честность, и — хоть бы одна счастливая минута! А еще тоже… помнишь? Был я женихом твоей жены Ольги Алексеевны, когда она еще не знала тебя, был немножко счастлив, но подвернулся ты и… я пропал…

— Рррревность! — усмехнулся брюнет. — А я и не знал, что ты так ревнив!

По лицу Николая Борисыча пробежало чувство

досады и гадливости… Он машинально, сам того не сознавая, протянул вперед руку и… махнул ею. Звук пощечины нарушил тишину ночи… Цилиндр слетел с головы брюнета и покатился по утоптанному снегу. Все это произошло в одну секунду, неожиданно, и вышло глупо, нелепо. Рыжему тотчас же стало стыдно этой пощечины. Он уткнул лицо в полинялый воротник своего пальто и зашагал по бульвару. Дойдя до Пушкина, он оглянулся на брюнета, постоял минуту неподвижно и, словно испугавшись чего-то, побежал к Тверской…

Василий Иваныч долго просидел молча и не двигаясь. Мимо него прошла какая-то женщина и со смехом подала ему его цилиндр. Он машинально поблагодарил, поднялся и пошел.

«Сейчас зуденье начнется, — думал он через полчаса, взбираясь по длинной лестнице к себе на квартиру. — Достанется мне от супруги за проигрыш! Всю ночь будет проповедь читать! Черт бы ее взял совсем! Скажу, что потерял деньги…»

Дойдя до своей двери, он робко позвонил. Его впустила кухарка…

— Проздравляем вас! — сказала ему кухарка, ухмыляясь во все лицо.

— С чем это?

— А вот увидите-с! Смилостивился бог!

Василий Иванович пожал плечами и вошел в спальную.

Там за письменным столом сидела его жена Ольга Алексеевна, маленькая блондиночка с папильотками в волосах. Она писала. Перед ней лежало несколько уже готовых, запечатанных писем. Увидев мужа, она вскочила и бросилась ему на шею.

— Ты пришел? — заговорила она. — Какое счастье! Ты не можешь себе представить, какое счастье! Со мной истерика была, Вася, от такой неожиданности… На, читай!

И она, прыгнув к столу, взяла газету и поднесла ее к лицу мужа.

— Читай! Мой билет выиграл 75 000! Ведь у меня есть билет! Честное слово, есть! Я скрывала его от тебя, потому что… потому что… ты бы заложил его. Николай Борисыч, когда был женихом, подарил мне этот билет, а потом не захотел его взять обратно. Какой хороший человек этот Николай Борисыч! Теперь мы ужасно богаты! Ты теперь исправишься, не будешь вести беспорядочную жизнь. Ведь ты кутил и обманывал меня от недостатков, от бедности. Я это понимаю. Ты умный, порядочный…

Ольга Алексеевна прошлась по комнате и засмеялась.

— Вот неожиданность! Ходила я, ходила из угла в угол, бранила тебя за твое распутство, ненавидела и потом села от тоски газету читать… И вдруг вижу!.. Написала всем письма… сестрам, матери… То-то обрадуются, бедные! Но куда же ты?

Василий Иваныч заглянул в газету… Ошеломленный, бледный, не слушая жены, он простоял некоторое время молча, что-то придумывая, потом надел свой цилиндр и вышел из дому.

— На Большую Дмитровку, номера N N! — крикнул он извозчику.

В номерах он не застал того, кто ему был нужен. Знакомый ему номер был заперт.

«Она, должно быть, в театре, — подумал он, — а из театра… ужинать поехала… Подожду немного…»

И он остался ждать… Прошло полчаса, прошел час… Он прошелся по коридору и поговорил с сонным лакеем… Внизу на номерных часах пробило три… Наконец, потеряв терпение, он начал медленно спускаться вниз к выходу… Но судьба сжалилась над ним…

У самого подъезда он встретился с высокой, тощей брюнеткой, окутанной в длинное боа. За

ней по пятам следовал какой-то господин в синих очках и мерлушковой шапке.

— Виноват, — обратился Василий Иваныч к даме. — Могу ли я обеспокоить вас на одну минуту?

Дама и мужчина нахмурились.

— Я сейчас, — сказала дама мужчине и пошла с Василием Ивановичем к газовому рожку. — Что вам нужно?

— Як тебе… к вам, Надин, по делу, — начал, заикаясь, Василий Иваныч. — Жаль, что с тобою этот господин, а то я бы тебе все рассказал…

— Да что такое? Мне некогда!

— Завела себе новых обожателей, да и некогда! Хороша, нечего сказать! За что ты прогнала меня от себя под Рождество? Ты не захотела со мной жить, потому что… потому что я тебе не доставлял достаточно средств к жизни… Вот ты и неправа, оказывается… Да… Помнишь ты тот билет, что я подарил тебе на именины? На, читай! Он выиграл 75 000!

Дама взяла в руки газету и жадными, словно испуганными глазами стала искать телеграммы из Петербурга… И она нашла…

В это же самое время другие глаза, заплаканные, тупые от горя, почти безумные, глядели в

шкатулку и искали билета… Всю ночь искали эти глаза и не нашли. Билет был украден, и Ольга Алексеевна знала, кто украл его.

В эту же самую ночь рыжий Николай Борисыч ворочался с боку на бок и старался уснуть, но не уснул до самого утра. Ему было стыдно той пощечины.

Марья Ивановна

В роскошно убранной гостиной, на кушетке, обитой темно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина лет двадцати трех. Звали ее Марьей Ивановной Однощекиной.

— Какое шаблонное, стереотипное начало! — воскликнет читатель. — Вечно эти господа начинают роскошно убранными гостиными! Читать не хочется!

Извиняюсь перед читателем и иду далее. Перед дамой стоял молодой человек лет двадцати шести, с бледным, несколько грустным лицом.

— Ну, вот, вот… Так я и знал, — рассердится читатель. — Молодой человек и непременно двадцати шести лет! Ну, а дальше что? Известно что… Он попросит поэзии, любви, а она ответит прозаической просьбой купить браслет. Или же наоборот, она захочет поэзии, а он… И читать не стану!

Но я все-таки продолжаю. Молодой человек не отрывал глаз от молодой женщины и шептал:

— Я люблю тебя, чудная, даже и теперь, когда от тебя веет холодом могилы!

Тут уж читатель выйдет из терпения и начнет

браниться:

— Черт их подери! Угощают публику разной чепухой, роскошно убранными гостиными да какими-то Марьями Ивановнами с могильным холодом!

Кто знает, может быть, вы и правы в своем гневе, читатель. А может быть, вы и неправы. Наш век тем и хорош, что никак не разберешь, кто прав, кто виноват. Даже присяжные, судящие какого-нибудь человечка за кражу, не знают, кто виноват: человечек ли, деньги ли, что плохо лежали, сами ли они, присяжные, виноваты, что родились на свет. Ничего не разберешь на этой земле!

Во всяком случае, если вы правы, то и я не виноват. Вы находите, что этот мой рассказ не интересен, не нужен. Допустим, что вы правы и что я виноват… Но тогда допустите хоть смягчающие вину обстоятельства.

В самом деле, могу ли я писать интересное и только нужное, если мне скучно и если вот уже две недели у меня перемежающаяся лихорадка?

— Не пишите, если у вас лихорадка.

Так-то так… Но, чтобы долго не разговаривать, представьте себе, что у меня лихорадка и дурное настроение; в это же самое время у другого

литератора тоже лихорадка, у третьего беспокойная жена и болят зубы, четвертый страдает меланхолией. Мы все четверо не пишем. Чем же прикажете наполнить номера газет и журналов? Не теми ли произведениями, которые вы, читатели, шлете ежедневно пудами в редакции наших газет и журналов? Из ваших тяжелых пудов едва ли можно выбрать маленький золотничок, да и то с великой натяжкой, с великим усилием.

Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики, сколько нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица, у нас такие же нервы, такие же внутренности, нас мучает то же самое, что и вас, скорбей у нас несравненно больше, чем радостей, и если бы мы захотели, то каждый день могли бы иметь повод к тому, чтобы не работать. Каждый день, уверяю вас! Но если бы мы послушались вашего «не пишите», если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.

А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель. Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неинтересной, хотя она и не возбуждает в вас ни смеха, ни гнева, ни радости, но все

же она есть и делает свое дело. Без нее нельзя… Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками, нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде: левой! правой!

Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая. Нас мало, нас можно пересчитать по пальцам. А где мало служащих, там нельзя проситься в отпуск, даже на короткое время. Нельзя и не принято.

— Но все-таки могли бы сюжет избрать посерьезнее! Ну что толку в этой Марье Ивановне, право? Мало ли кругом таких явлений, мало ли кругом вопросов, которые…

Вы правы, много и явлений и вопросов, но укажите, что собственно вам нужно. Если вы так возмущены, то укажите, заставьте меня окончательно поверить, что вы правы, что вы в самом деле очень серьезный человек и что ваша жизнь очень серьезна. Укажите же, будьте определенны, иначе я могу подумать, что вопросов и явлений, о которых вы говорите, нет вовсе, что вы просто милый малый, которому иногда нравится от

нечего делать потолковать о серьезном.

Но пора, однако, кончить рассказ.

Долго стоял молодой человек перед прекрасной женщиной. Наконец он снял сюртук, стащил с себя сапоги и прошептал:

— Прощай, до завтра!

Затем он растянулся на диване и укрылся плюшевым одеялом.

— При даме?! — изумится читатель. — Да это чушь, чепуха! Это возмутительно! Городовой! Цензура!

Да постойте, не спешите, серьезный, строгий, глубокомысленный читатель. Дама в роскошно убранной гостиной была написана масляными красками на холсте и висела над диваном. Теперь можете возмущаться сколько вам угодно.

И как это терпит бумага! Если печатают такой вздор, как «Марья Ивановна», то, очевидно, потому, что лет более ценного материала. Это очевидно. Садитесь же поскорее, излагайте ваши глубокие, великолепные мысли, напишите целые три пуда и пошлите в какую-нибудь редакцию. Садитесь поскорей и пишите! Пишите и посылайте поскорей!

И вам возвратят назад.

Молодой человек

За столом, покрытым внушительными чернильными пятнами, сидит Правдолюбов. Перед ним стоит Упрямов, молодой человек с выражением легкомыслия на лице.

Правдолюбов*(со слезами на глазах).* Молодой человек! У меня у самого есть дети… есть сердце… Я понимаю… потому-то мне так и горько. Уверяю вас, как честный человек, что ваше запирательство послужит вам только во вред. Скажите нам откровенно, куда вы шли сейчас?

Упрямов. В… в редакцию юмористического журнала.

Правдолюбов. Гм… Вы, стало быть, юморист? *(Качает укоризненно головой)* Стыдитесь! Так молод и так испорчен… А это что у вас в руках?

Упрямов. Рукописи.

Правдолюбов. Дайте их сюда! *(Берет и рассматривает)* Тэк-с… посмотрим… Это что такое?

Упрямов. Темы для передовых рисунков.

Правдолюбов*(вспыхивает негодованием, но, скоро поборов чувство, становится хладнокровным и беспристрастным à la судебный пристав).* Это что же нарисовано?

Упрямов. Это, видите ли, нарисован человек. Одной ногой стоит он в России, другой в Австрии. Он показывает фокусы. «Господа! — говорит он. — Рубль, переложенный из правого кармана в левый, обращается в 65 копеек!» В пандан к этому рисунку приложен другой. Вы видите, вот кредитный рубль с ручками и ножками. Он то и дело падает, а за ним бегает немец и обрезывает его ножницами… Поняли? Это вот кабак… Это вот наша пресса, а это пресс… А это вот насадители березового леса; тут же и дети, просящие каши… Каша, как известно, разная бывает… Тут вот нарисован лакей…

Правдолюбов. А кто это в мышеловке?

Упрямов. Это тайный советник Россицкий; на крючке казенное сало…

Правдолюбов*(при слове «сало» облизывается).* Тайный Советник… *(Краснеет за человечество)* Так молод и так испорчен… Да знаете ли вы, милостисдарь, что тайный советник соответствует в армии генерал-лейтенанту? Неужели вы этого не понимаете? Какое грубое непонимание, какое профанирование! *(Вздыхает)* Что же мне теперь делать с вами? Что? *(Задумывается, но скоро личное чувство берет верх над чувством долга, и добыча выскользает из рук)* Не могу я вас видеть,

жалкий, несчастный молодой человек! Вы мне противны, вы жалки! Идите прочь! Пусть наказанием послужит вам мое презрение!

Упрямов *(нисколько не раскаиваясь и улыбаясь двусмысленно, уходит в редакцию).*

Perpetuum mobile

Судебный следователь Гришуткин, старик, начавший службу еще в дореформенное время, и доктор Свистицкий, меланхолический господин, ехали на вскрытие. Ехали они осенью по проселочной дороге. Темнота была страшная, лил неистовый дождь.

— Ведь этакая подлость, — ворчал следователь. — Не то что цивилизации и гуманности, даже климата порядочного нет. Страна, нечего сказать! Европа тоже, подумаешь… Дождь-то, дождь! Словно нанялся, подлец! Да вези ты, анафема, поскорей, если не хочешь, чтобы я тебе, подлецу этакому, негодяю, все зубы выбил! — крикнул он работнику, сидевшему на козлах.

— Странно, Агей Алексеич! — говорил доктор, вздыхая и кутаясь в мокрую шубу. — Я даже не замечаю этой погоды. Меня гнетет какое-то странное, тяжелое предчувствие. Вот-вот, кажется мне, стрясется надо мной какое-то несчастие. А я верю в предчувствия и… жду. Все может случиться. Трупное заражение… смерть любимого существа…

— Хоть при Мишке-то постыдитесь говорить

о предчувствиях, баба вы этакая. Хуже того, что есть, не может быть. Этакий дождь — чего хуже? Знаете что, Тимофей Васильич? Я более не в состоянии так ехать. Хоть убейте, а не могу. Нужно остановиться где-нибудь переночевать… Кто тут близко живет?

— Яван Яваныч Ежов, — сказал Мишка. — Сейчас за лесом, только мостик переехать.

— Ежов? Валяй к Ежову! Кстати, давно уж не был у этого старого грешника.

Проехали лес и мостик, повернули налево, потом направо и въехали в большой двор председателя мирового съезда, отставного генерал-майора Ежова.

— Дома! — сказал Гришуткин, вылезая из тарантаса и глядя на окна дома, которые светились. — Это хорошо, что дома. И напьемся, и наедимся, и выспимся…

Хоть и дрянной человечишка, но гостеприимен, надо отдать справедливость.

В передней встретил их сам Ежов, маленький, сморщенный старик с лицом, собравшимся в колючий комок.

— Очень кстати, очень кстати, господа… — заговорил он. — А мы только что сели ужинать и буженину едим, тридцать три моментально. А у

меня, знаете, товарищ прокурора сидит. Спасибо ему, ангелу, заехал за мной. Завтра с ним на съезд ехать. У нас завтра съезд… тридцать три моментально…

Гришуткин и Свистицкий вошли в зал. Там стоял большой стол, уставленный закусками и винами. За одним прибором сидела дочь хозяина Надежда Ивановна, молодая брюнетка, в глубоком трауре по недавно умершем муже; за другим, рядом с ней, товарищ прокурора Тюльпанский, молодой человек с бачками и множеством синих жилок на лице.

— Знакомы? — говорил Ежов, тыча во всех пальцами. — Это вот прокурор, это — дочь моя…

Брюнетка улыбнулась и, прищурив глаза, подала новоприбывшим руку.

— Итак… с дорожки, господа! — сказал Ежов, наливая три рюмки. — Дерзайте, людие божии! И я выпью за компанию, тридцать три моментально. Ну-с, будемте здоровы…

Выпили. Гришуткин закусил огурчиком и принялся за буженину. Доктор выпил и вздохнул. Тюльпанский закурил сигару, попросив предварительно у дамы позволения, причем оскалил зубы так, что показалось, будто у него во рту по крайней мере сто зубов.

— Ну, что ж, господа? Рюмки-то ведь не ждут! А? Прокурор! Доктор! За медицину! Люблю медицину. Вообще люблю молодежь, тридцать три моментально. Что бы там ни говорили, а молодежь всегда будет идти впереди. Ну-с, будемте здоровы.

Разговорились. Говорили все, кроме прокурора Тюльпанского, который сидел, молчал и пускал через ноздри табачный дым. Было очевидно, что он считал себя аристократом и презирал доктора и следователя. После ужина Ежов, Гришуткин и товарищ прокурора сели играть в винт с болваном. Доктор и Надежда Ивановна сели около рояля и разговорились.

— Вы на вскрытие едете? — начала хорошенькая вдовушка. — Вскрывать мертвеца? Ах! Какую надо иметь силу воли, какой железный характер, чтобы не морщась, не мигнув глазом, заносить нож и вонзать его по рукоятку в тело бездыханного человека. Я, знаете ли, благоговею перед докторами. Это особенные люди, святые люди. Доктор, отчего вы так печальны? — спросила она.

— Предчувствие какое-то… Меня гнетет какое-то странное, тяжелое предчувствие. Точно ждет меня потеря любимого существа.

— А вы, доктор, женаты? У вас есть близкие?

— Ни души. Я одинок и не имею даже знакомых. Скажите, сударыня, вы верите в предчувствия?

— О, я верю в предчувствия.

И в то время, как доктор и вдовушка толковали о предчувствиях, Ежов и следователь Гришуткин то и дело вставали из-за карт и подходили к столу с закуской. В два часа ночи проигравшийся Ежов вдруг вспомнил о завтрашнем съезде и хлопнул себя по лбу.

— Батюшки! Что же мы делаем?! Ах мы беззаконники, без-законники! Завтра чуть свет на съезд ехать, а мы играем! Спать, спать, тридцать три моментально! Надька, марш спать! Объявляю заседание закрытым.

— Счастливы вы, доктор, что можете спать в такую ночь! — сказала Надежда Ивановна, прощаясь с доктором. — Я не могу спать, когда дождь барабанит в окна и когда стонут мои бедные сосны. Пойду сейчас и буду скучать за книгой. Я не в состоянии спать. Вообще, если в коридорчике на окне против моей двери горит лампочка, то это значит, что я не сплю и меня съедает скука…

Доктор и Гришуткин в отведенной для них комнате нашли две громадные постели, постланные на полу, из перин. Доктор разделся, лег и укрылся

с головой. Следователь разделся и лег, но долго ворочался, потом встал и заходил из угла в угол. Это был беспокойнейший человек.

— Я все про барыньку думаю, про вдовушку, — сказал он. — Этакая роскошь! Жизнь бы отдал! Глаза, плечи, ножки в лиловых чулочках… огонь-баба! Баба — ой-ой! Это сейчас видно! И этакая красота принадлежит черт знает кому — правоведу, прокурору! Этому жилистому дуралею, похожему на англичанина! Не выношу, брат, этих правоведов! Когда ты с ней о предчувствиях говорил, он лопался от ревности! Что говорить, шикарная женщина! Замечательно шикарная! Чудо природы!

— Да, почтенная особа, — сказал доктор, высовывая голову из-под одеяла. — Особа впечатлительная, нервная, отзывчивая, такая чуткая. Мы вот с вами сейчас уснем, а она, бедная, не может спать. Ее нервы не выносят такой бурной ночи. Она сказала мне, что всю ночь напролет будет скучать и читать книжку. Бедняжка! Наверное, у ней теперь горит лампочка…

— Какая лампочка?

— Она сказала, что если около ее двери на окне горит лампочка, то это значит, что она не спит.

— Она тебе это сказала? Тебе?

— Да, мне.

— В таком случае я тебя не понимаю! Ведь ежели она это тебе сказала, то значит ты счастливейший из смертных! Молодец, доктор! Молодчина! Хвалю, друг! Хоть и завидую, но хвалю! Не так, брат, за тебя рад, как за правоведа, за этого рыжего каналью! Рад, что ты ему рога наставишь! Ну, одевайся! Марш!

Гришуткин, когда бывал пьян, всем говорил «ты».

— Выдумываете вы, Агей Алексеич! Бог знает что, право… — застенчиво отвечал доктор.

— Ну, ну… не разговаривай, доктор! Одевайся и валяй… Как, бишь, это поется в «Жизни за царя»? И на пути любви денек срываем мы как бы цветок… Одевайся, душа моя. Да ну же! Тимоша! Доктор! Да ну же, скотина!

— Извините, я вас не понимаю.

— Да что же тут не понимать! Астрономия тут, что ли? Одевайся и иди к лампочке, вот и все понятие.

— Странно, что вы такого нелестного мнения об этой особе и обо мне.

— Да брось ты философствовать! — рассердился Гришуткин. — Неужели ты можешь еще колебаться? Ведь это цинизм!

Он долго убеждал доктора, сердился, умолял, даже становился на колени и кончил тем, что громко выбранился, плюнул и повалился в постель. Но через четверть часа вдруг вскочил и разбудил доктора.

— Послушайте! Вы решительно отказываетесь идти к ней? — спросил он строго.

— Ах… зачем я пойду? Какой вы беспокойный человек, Агей Алексеич! С вами ездить на вскрытие — это ужасно!

— Ну так, черт вас возьми, я пойду к ней! Я… я не хуже какого-нибудь правоведа или бабы доктора. Пойду!

Он быстро оделся и пошел к двери.

Доктор вопросительно поглядел на него, как бы не понимая, потом вскочил.

— Вы, полагаю, это шутите? — спросил он, загораживая Гришуткину дорогу.

— Некогда мне с тобой разговаривать… Пусти!

— Нет, я не пущу вас, Агей Алексеич. Ложитесь спать… Вы пьяны!

— По какому это праву ты, эскулап, меня не пустишь?

— По праву человека, который обязан защитить благородную женщину. Агей Алексеич, опомнитесь, что вы хотите делать! Вы старик!

Вам шестьдесят семь лет!

— Я старик? — обиделся Гришуткин. — Какой это негодяй сказал тебе, что я старик?

— Вы, Агей Алексеич, выпивши и возбуждены. Нехорошо! Не забывайте, что вы человек, а не животное! Животному прилично подчиняться инстинкту, а вы царь природы, Агей Алексеич!

Царь природы побагровел и сунул руки в карманы.

— Последний раз спрашиваю: пустишь ты меня или нет? — крикнул он вдруг пронзительным голосом, точно кричал в поле на ямщика. — Каналья!

Но тотчас же он сам испугался своего голоса и отошел от двери к окну. Он хотя был и пьян, но ему стало стыдно этого своего пронзительного крика, который, вероятно, разбудил всех в доме. После некоторого молчания к нему подошел доктор и тронул его за плечо. Глаза доктора были влажны, щеки пылали…

— Агей Алексеич! — сказал он дрожащим голосом. — После резких слов, после того, как вы, забыв всякое приличие, обозвали меня канальей, согласитесь, нам уже нельзя оставаться под одной крышей. Я вами страшно оскорблен… Допустим, что я виноват, но… в чем я, в сущности, виноват?

Дама честная, благородная, и вдруг вы позволяете себе подобные выражения. Извините, мы более не товарищи.

— И отлично! Не надо мне таких товарищей.

— Я уезжаю сию минуту, больше оставаться я с вами не могу, и… надеюсь, мы больше не встретимся.

— Вы уедете на чем-с?

— На своих лошадях.

— А я на чем же уеду? Вы что же это! До конца хотите подличать? Вы меня привезли на ваших лошадях, на ваших же обязаны и увезти.

— Я вас довезу, если угодно. Только сейчас… Я сейчас еду. Я так взволнован, что больше не могу здесь оставаться.

Затем Гришуткин и Свистицкий молча оделись и вышли на двор. Разбудили Мишку, потом сели в тарантас и поехали…

— Циник… — бормотал всю дорогу следователь. — Если не умеешь обращаться с порядочными женщинами, то сиди дома, не бывай в домах, где женщины…

Себя ли это бранил он или доктора, трудно было понять. Когда тарантас остановился около его квартиры, он спрыгнул и, скрываясь за воротами, проговорил:

— Не желаю быть знакомым!

Прошло три дня. Доктор, окончив свою визитацию, лежал у себя на диване и, от нечего делать, читал в «Календаре для врачей» фамилии петербургских и московских докторов, стараясь отыскать самую звучную и красивую. На душе у него было тихо, хорошо, плавно, как на небе, в синеве которого неподвижно стоит жаворонок, и это благодаря тому, что в прошлую ночь он видел во сне пожар, что означало счастье. Вдруг послышался шум подъехавших саней (выпал снежок), и на пороге показался следователь Гришуткин. Это был неожиданный гость. Доктор поднялся и поглядел на него сконфуженно и со страхом. Гришуткин кашлянул, потупил глаза и медленно направился к дивану.

— Я приехал извиниться, Тимофей Васильич, — начал он. — Я был по отношению к вам немножко нелюбезен и даже, кажется, сказал вам какую-то неприятность. Вы, конечно, поймете мое тогдашнее возбужденное состояние, вследствие наливки, выпитой у той старой канальи, и извините…

Доктор привскочил и, со слезами на глазах, пожал протянутую руку.

— Ах… помилуйте! Марья, чаю!

— Нет, не надо чаю… Некогда. Вместо чаю, если можно, прикажите квасу подать. Выпьем квасу и поедем труп вскрывать.

— Какой труп?

— Да все тот же унтер-офицерский, который тогда ездили вскрывать, да не доехали.

Гришуткин и Свистицкий выпили квасу и поехали на вскрытие.

— Конечно, я извиняюсь, — говорил дорогой следователь, — я тогда погорячился, но все же, знаете ли, обидно, что вы не наставили рогов этому прокурору… ккканалье.

Проезжая через Алимоново, они увидели около трактира ежовскую тройку…

— Ежов тут! — сказал Гришуткин. — Его лошади. Зайдемте, повидаемся… Выпьем зельтерской воды и кстати на сиделочку поглядим. Тут знаменитая сиделка! Баба ой-ой! Чудо природы!

Путники вылезли из саней и пошли в трактир. Там сидели Ежов и Тюльпанский и пили чай с клюквенным морсом.

— Вы куда? Откуда? — удивился Ежов, увидев Гришуткина и доктора.

— На вскрытие все ездим, да никак не доедем. В заколдованный круг попали. А вы куда?

— Да на съезд, батенька!

— Зачем так часто? Ведь вы третьего дня ездили!

— Кой черт, ездили… У прокурора зубы болели, да и я не в себе как-то был все эти дни. Ну, что пить будете? Присаживайтесь, тридцать три моментально. Водки или пива? Дай-ка нам, брат сиделочка, того и другого. Ах, что за сиделка!

— Да, знаменитая сиделка, — согласился следователь. — Замечательная сиделка. Баба ой-ой-ой!

Через два часа из трактира вышел докторский Мишка и сказал генеральскому кучеру, чтобы тот распряг и поводил лошадей.

— Барин велел… В карты засели! — сказал он и махнул рукой. — Теперь до завтраго отсюда не выберемся. Н-ну, и исправник едет! Стало быть, до послезавтра тут сидеть будем!

К трактиру подкатил исправник. Узнав ежовских лошадей, он приятно улыбнулся и вбежал по лесенке…

Месть женщины

Кто-то рванул за звонок. Надежда Петровна, хозяйка квартиры, в которой происходила описываемая история, вскочила с дивана и побежала отворить дверь.

«Должно быть, муж…» — подумала она.

Но, отворив дверь, она увидела не мужа. Перед ней стоял высокий, красивый мужчина в дорогой медвежьей шубе и золотых очках. Лоб его был нахмурен и сонные глаза глядели на мир божий равнодушно-лениво.

— Что вам угодно? — спросила Надежда Петровна.

— Я доктор, сударыня. Меня звали сюда какие-то… э-э-э… Челобитьевы… Вы Челобитьевы?

— Мы Челобитьевы, но… ради бога, извините, доктор. У моего мужа флюс и лихорадка. Он послал вам письмо, но вы так долго не приезжали, что он потерял всякое терпение и побежал к зубному врачу.

— Гм… Он мог бы сходить к зубному врачу и не беспокоя меня…

Доктор нахмурился. Прошла минута в молчании.

— Извините, доктор, что мы вас обеспокоили и заставили даром проехаться… Если бы мой муж знал, что вы приедете, то, верьте, он не побежал бы к дантисту… Извините…

Прошла еще одна минута в молчании. Надежда Петровна почесала себе затылок.

«Чего же он ждет, не понимаю?» — подумала она, косясь на дверь.

— Отпустите меня, сударыня! — пробормотал доктор. — Не держите меня. Время так дорого, знаете, что…

— То есть… Я, то есть… Я не держу вас…

— Но, сударыня, не могу же я уехать, не получив за свой труд!

— За труд? Ах, да… — залепетала Надежда Петровна, сильно покраснев. — Вы правы… За визит нужно заплатить, это верно… Вы трудились, ехали… Но, доктор… мне даже совестно… муж мой пошел из дому и взял с собой все наши деньги… Дома у меня теперь решительно ничего нет…

— Гм… Странно… Как же быть? Не дожидаться же мне вашего мужа! Да вы поищите, может быть, найдется что-нибудь… Сумма, в сущности, ничтожная…

— Но уверяю вас, что муж все унес… Мне совестно… Не стала бы я из-за какого-нибудь рубля

переживать подобное… глупое положение…

— Странный у вас, у публики, взгляд на труд врачей… ей-богу, странный… Словно мы и не люди, словно наш труд не труд… Ведь я ехал к вам, терял время… трудился…

— Да я это очень хорошо понимаю, но, согласитесь, бывают же такие случаи, когда в доме нет ни копейки!

— Ах, да какое же мне дело до этих случаев? Вы, сударыня, просто… наивны и нелогичны… Не заплатить человеку… это даже нечестно… Пользуетесь тем, что я не могу подать на вас мировому и… так бесцеремонно, ей-богу… Больше, чем странно!

Доктор замялся. Ему стало стыдно за человечество… Надежда Петровна вспыхнула. Ее покоробило…

— Хорошо! — сказала она резким тоном. — Постойте… Я пошлю в лавочку, и там, может быть, мне дадут денег… Я вам заплачу.

Надежда Петровна пошла в гостиную и села писать записку к лавочнику. Доктор снял шубу, вошел в гостиную и развалился в кресле. В ожидании ответа от лавочника, оба сидели и молчали. Минут через пять пришел ответ. Надежда Петровна вынула из записочки рубль и сунула его

доктору. У доктора вспыхнули глаза.

— Вы смеетесь, сударыня, — сказал он, кладя рубль на стол. — Мой человек, пожалуй, возьмет рубль, но я… нет-с, извините-с!

— Сколько же вам нужно?

— Обыкновенно я беру десять… С вас же, пожалуй, я возьму и пять, если хотите.

— Ну, пяти вы от меня не дождетесь… У меня нет для вас денег.

— Пошлите к лавочнику. Если он мог дать вам рубль, то почему же ему не дать вам и пяти? Не все ли равно? Я прошу вас, сударыня, не задерживать меня. Мне некогда.

— Послушайте, доктор… Вы не любезны, если… не дерзки! Нет, вы грубы, бесчеловечны! Понимаете? Вы… гадки!

Надежда Петровна повернулась к окну и прикусила губу. На ее глазах выступили крупные слезы.

«Подлец! Мерзавец! — думала она. — Животное! Он смеет… смеет! Не может понять моего ужасного, обидного положения! Ну, подожди же… черт!»

И, немного подумав, она повернула свое лицо к доктору. На этот раз на лице ее выражалось страдание, мольба.

— Доктор! — сказала она тихим, умоляющим голосом. — Доктор! Если бы у вас было сердце, если бы вы захотели понять… вы не стали бы мучить меня из-за этих денег… И без того много муки, много пыток.

Надежда Петровна сжала себе виски и словно сдавила пружину: волосы прядями посыпались на ее плечи…

— Страдаешь от невежды мужа… выносишь эту жуткую, тяжелую среду, а тут еще образованный человек позволяет себе бросать упрек. Боже мой! Это невыносимо!

— Но поймите же, сударыня, что специальное положение нашего сословия…

Но доктор должен был прервать свою речь. Надежда Петровна пошатнулась и упала без чувств на протянутые им руки… Голова ее склонилась к нему на плечо.

— Сюда, к камину, доктор… — шептала она через минуту. — Поближе… Я вам все расскажу… все…

Через час доктор выходил из квартиры Челобитьевых. Ему было и досадно, и совестно, и приятно…

«Черт возьми… — думал он, садясь в свои сани. — Никогда не следует брать с собой из дому

много денег! Того и гляди, что нарвешься!»

Ванька

Был второй час ночи.

Коммерции советник Иван Васильевич Котлов вышел из ресторана «Славянский базар» и поплелся вдоль по Никольской, к Кремлю. Ночь была хорошая, звездная… Из-за облачных клочков и обрывков весело мигали звезды, словно им приятно было глядеть на землю. Воздух был тих и прозрачен.

«Около ресторана извозчики дороги, — думал Котлов, — нужно отойти немного… Там дальше дешевле… И к тому же мне надо пройтись: я объелся и пьян».

Около Кремля он нанял ночного ваньку.

— На Якиманку! — скомандовал он.

Ванька, малый лет двадцати пяти, причмокнул губами и лениво передернул вожжами. Лошаденка рванулась с места и поплелась мелкой, плохенькой рысцой… Ванька попался Котлову самый настоящий, типичный… Поглядишь на его заспанное, толстокожее, угреватое лицо — и сразу определишь в нем извозчика.

Поехали через Кремль.

— Который теперь час будет? — спросил вань-

ка.

— Второй, — ответил коммерции советник.

— Так-с… А теплей стало! Были холода, а теперь опять потеплело… Хромаешь, подлая! Э-э-э… каторжная!

Извозчик приподнялся и проехался кнутом по лошадиной спине.

— Зима! — продолжал он, поудобней усаживаясь и оборачиваясь к седоку. — Не люблю! Уж больно я зябкий! Стою на морозе и весь коченею, трясусь… Подуй холод, а у меня уж и морда распухла… Комплекцыя такая! Не привык!

— Привыкай… У тебя, братец, ремесло такое, что привыкать надо…

— Человек ко всему привыкнуть может, это действительно, ваше степенство… Да покеда привыкнешь, так раз двадцать замерзнешь… Нежный я человек, балованный, ваше степенство… Меня отец и мать избаловали. Не думали, что мне в извозчиках быть. Нежность на меня напускали. Царство им небесное! Как породили меня на теплой печке, так до десятого годка и не снимали отте-да. Лежал я на печке и пироги лопал, как свинья какая непутная… Любимый у них был… Одевали меня наилучшим манером, грамоте для нежности обучали. Бывалыча и бо-

сиком не пробеги: «Простудишься, миленькой!» Словно не мужик, а барин. Побьет отец, а мать плачет… Мать побьет — отцу жалко. Поедешь с отцом в лес за хворостом, а мать тебя в три шубы кутает, словно ты в Москву собрался аль в Киев…

— Разве богато жили?

— Обнаковенно жили, по-мужицки… День прошел — и слава богу. Богаты не были, да и с голоду, благодарить бога, не мерли. Жили мы, барин, в семействе… семейством, стало быть… Дед мой тогда жив был, да коло него два сына жили. Один сын, отец мой тоись, женатый был, другой неженатый. А я один паренечек был всего-навсего, всей семье на утеху — ну и баловали. Дед тоже баловал… У деда, знаешь, деньга была припрятана, и он воображение в себе такое имел, что я не пойду по мужицкой части… «Тебе, — говорит, — Петруха, лавку открою. Расти!» Напускали на меня нежность-то, напускали, холили-холили, а вышло потом такое недоумение, что совсем не до нежности… Дядя-то мой, дедов сын, а отцов брат, возьми и выкрадь у деда его деньги. Тыщи две было… Как выкрал, так с той поры и пошло разоренье… Лошадей продали, коров… Отец с дедом наниматься пошли… Известно, как это у нас в крестьянстве… А меня, раба божьего, в пастухи…

Вот она, нежность-то!

— Ну, дядя-то твой? Он же что?

— Он ничего… как и следовает… Снял на большой дороге трах-тир и зажил припеваючи… Годов через пять на богатой серпуховской мещанке женился. Тысяч восемь за ней взял… После свадьбы трахтир сгорел… Отчего, это самое, ему не гореть, ежели он в обчестве застрахован? Так и следовает… А после пожара уехал он в Москву и снял там бакалейную лавку… Таперь, говорят, богат стал и приступу к нему нет… Наши мужики, хабаровские, видели его тут, сказывали… Я не видел… Фамилия его будет Котлов, а по имени и отечеству Иван Васильев… Не слыхали?

— Нет… Ну, поезжай скорей!

— Обидел нас Иван Васильев, ух как обидел! Разорил и по миру пустил… Не будь его, нешто я мерз бы тут при своей этой самой комплекцыи, при моей слабости? Жил бы я да поживал в своей деревушке… Эхх! Звонят вот к заутрене… Хочется мне господу богу помолиться, чтоб взыскал с него за всю мою муку… Ну, да бог с ним! Пусть его бог простит! Дотерпим!

— Направо к подъезду!

— Слушаю… Ну, вот и доехали… А за побасенку пятачишко следовало бы…

Котлов вынул из кармана пятиалтынный и подал его ваньке.

— Прибавить бы следовало! Вез ведь как! Да и почин…

— Будет с тебя!

Барин дернул звонок и через минуту исчез за резною дубовою дверью.

А извозчик вскочил на козлы и поехал медленно обратно… Подул холодный ветерок… Ванька поморщился и стал совать зябкие руки в оборванные рукава.

Он не привык к холоду… Балованный…

На охоте

Собачья выставка с ее борзыми и гончими напомнила мне один маленький эпизод, имевший большое влияние на мою жизнь.

В одно прекрасное утро я получил от дяди, помещика Екатеринославской губернии, письмо. Между прочим он писал:

«Если не приедешь ко мне на будущей неделе, то и племянником считать тебя не буду, отца твоего из поминальной книжки вычеркну… Поохотимся, — приезжай!..»

Надо было поехать.

Дядя встретил меня с распростертыми объятиями и, как это водится даже у самых гостеприимных охотников, не дав мне оправиться после долгой дороги и отдохнуть, повел меня на псарню показывать мне своих лошадей и собак. Собаки, по моему мнению, бывают большие, маленькие и средние, белые, черные и серые, злые и смирные; дядя же различал между ними крапчатых, темно-багряных, сохастовых, лещеватых, черноногих, черных в подпалинах, брудастых — совсем собачий язык, и мне кажется, что если бы собаки умели говорить, то говорили бы именно на таком

языке. Дядя показывал, целовал собак в морды и все требовал, чтобы я щупал собачьи морды, трогал лапы.

На другой день утром меня нарядили в полушубок и валенки и повезли на охоту.

Я вспоминаю теперь большой ольховый лес, седой от инея. Тишина в нем царит гробовая. От леса до горизонта тянется белое поле… И конца не видно этому полю. В лесу и по полю скачут на конях полушубки… У всех лица озабоченные, напряженные, словно всем этим полушубкам предстоит открыть что-то новое, необыкновенное… Дядя мой, красный как рак, скачет от одного полушубка к другому, отдает приказания, сыплет ругательства… Слышны трубные звуки… Эту картину вспоминаю я теперь. Помню также, как подъехал ко мне дядя и повел меня на окраину леса.

— Стой тут… Как зверь побежит на тебя из лесу, так и стреляй!

— Но ведь я, дядюшка, и ружья-то держать путем не умею!

— Пустяки… Приучайся… Ну, смотри же!.. Чуть только зверь — пли!!.

Сказавши это, дядя отъехал от меня, и я остался один. Полушубки поскакали в лес. Долго я ждал

зверя. Ждал я, а сам в это время думал о Москве, мечтал, дремал…

«А что если я убью зверя? — воображал я. — Убью я, а не они! То-то потеха будет!»

После долгого ожидания послышался наконец сдержанный собачий лай… По лесу понеслось ауканье… Я взвел курок и насторожил зрение и слух… У меня забилось сердце, и проснулся во мне инстинкт хищника-охотника. Затрещали недалеко от меня кусты, и я увидел зверя… Зверь, какой-то странный, на длинных ногах и с колючей мордой, несся прямо на меня… Я нажал пальцем, загремел выстрел, и все было кончено. Ура! Мой зверь подпрыгнул, упал и закорчился.

— Сюда! Ко мне! — закричал я. — Дядюшка!

Я указал на умирающего зверя. Дядя поглядел на него и схватил себя за голову.

— Это мой Скачок! — закричал он. — Моя собака!.. Моя горячо любимая собака!..

И, прыгнув с лошади, он припал к своему Скачку. А я поскорее в сани — и был таков.

Непреднамеренное убийство Скачка навсегда рассорило меня с дядей. Он перестал мне высылать содержание. Умирая же, три года тому назад, он приказал передать мне, что он и после смерти не простит мне убийства его любимой собаки. И

имение свое он завещал не мне, а какой-то даме, своей бывшей любовнице.

О женщины, женщины!

Сергей Кузьмич Почитаев, редактор провинциальной газеты «Кукиш с маслом», утомленный и измученный, воротился из редакции к себе домой и повалился на диван.

— Слава богу! Я дома наконец… Отдохну душой здесь… у домашнего очага, около жены… Моя Маша — единственный человек, который может понять меня, искренно посочувствовать…

— Чего ты сегодня такой бледный? — спросила его жена, Марья Денисовна.

— Да так, на душе скверно… Пришел вот к тебе и рад: душой отдохну.

— Да что случилось?

— Вообще скверно, а сегодня в особенности. Петров не хочет больше отпускать в кредит бумагу. Секретарь запьянствовал… Но все это пустяки, уладится как-нибудь… А вот где беда, Манечка… Сижу я сегодня в редакции и читаю корректуру своей передовой. Вдруг, знаешь, отворяется дверь и входит князь Прочуханцев, давнишний мой друг и приятель, тот самый, что в любительских спектаклях всегда первых любовников играет и что актрисе Зрякиной за один поцелуй свою

белую лошадь отдал. «Зачем, думаю, черти принесли? Это недаром… Зрякиной, думаю, пришел рекламу делать»… Разговорились… То да се, пятое, десятое… Оказывается, что не за рекламой пришел. Стихи свои принес для напечатания…

«Почувствовал, говорит, я в своей груди огненный пламень и… пламенный огонь. Хочется вкусить сладость авторства…»

Вынимает из кармана розовую раздушенную бумажку и подает…

«Стихи, говорит… Я, говорит, в них несколько субъективен, но все-таки… И Некрасов был субъективен…»

Взял я эти самые субъективные стихи и читаю… Чепуха невозможнейшая! Читаешь их и чувствуешь, что у тебя глаза чешутся и под ложечкой давит, словно ты жернов проглотил… Посвятил стихи Зрякиной. Посвяти он мне эти стихи, я бы на него мировому подал! В одном стихотворении пять раз слово «стремглав»! А рифма! Ландышей вместо ландышей! Слово «лошадь» рифмует с «ношей»!

«Нет, говорю, вы мне друг и приятель, но я не могу поместить ваших стихов…»

«Почему-с?»

«А потому… По независящим от редакции об-

стоятельствам… Не подходят под программу газеты…»

Покраснел я весь, глаза стал чесать, соврал, что голова трещит… Ну как ему сказать, что его стихи никуда не годятся? Он заметил мое смущение и надулся, как индюк.

«Вы, говорит, сердиты на Зрякину, а потому и не хотите печатать моих стихов. Я понимаю… Па-анимаю, милостивый государь!»

В лицеприятии меня упрекнул, назвал филистером, клерикалом и еще чем-то… Битых два часа читал мне нотацию. В конце концов пообещал затеять интригу против моей особы… Не простившись уехал… Такие-то дела, матушка! 4-го декабря, на Варвару, Зрякина именинница — и стихи должны появиться в печати во что бы то ни стало… Хоть умри, да помещай! Напечатать их невозможно: газету осрамишь на всю Россию. Не напечатать тоже нельзя: Прочуханцев интригу затеет — и ни за грош пропадешь. Изволь-ка теперь придумать, как выбраться из этого ерундистого положения!

— А какие стихи? О чем? — спросила Марья Денисовна.

— Ни о чем… Ерунда… Хочешь, прочту? Начинаются они так:

Сквозь дым мечтательной сигары
Носилась ты в моих мечтах,
Неся с собой любви удары
С улыбкой пламенной в устах…

А потом сразу переход:

Прости меня, мой ангел белоснежный,
Подруга дней моих и идеал мой нежный,
Что я, забыв любовь, стремглав туда бросаюсь,
Где смерти пасть… О, ужасаюсь!

И прочее… чепуха.

— Что же? Это стихи очень милые! — всплеснула руками Марья Денисовна. — Даже очень милые! Чем не стихи? Ты просто придираешься, Сергей! «Сквозь дым… с улыбкой пламенной»… Значит, ты ничего не понимаешь! Ты не понимаешь, Сергей!

— Ты не понимаешь, а не я!

— Нет, извини… Прозы я не понимаю, а стихи я отлично понимаю! Князь превосходно сочинил! Отлично! Ты ненавидишь его, ну, и не хочешь печатать!

Редактор вздохнул и постучал пальцем сначала

по столу, потом по лбу…

— Знатоки! — пробормотал он, презрительно улыбаясь.

И, взяв свой цилиндр, он горько покачал головой и вышел из дома…

«Иду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок… О женщины, женщины! Впрочем, все бабы одинаковы!» — думал он, шагая к ресторану «Лондон».

Ему хотелось запить…

Наивный леший
(Сказка)

В лесу, на берегу речки, которую день и ночь сторожит высокий камыш, стоял в одно прекрасное утро молодой, симпатичный леший. Возле него на травке сидела русалочка, молоденькая и такая хорошенькая, что, знай я ее точный адрес, бросил бы все — и литературу, и жену, и науки — и полетел бы к ней… Русалочка была нахмурена и сердито теребила зеленую травку.

— Я прошу вас понять меня, — говорил леший, заикаясь и конфузливо мигая глазами. — Если вы поймете, то не будете так строги. Позвольте мне объяснить вам все с самого начала… 20 лет тому назад на этом самом месте, когда я просил у вас руки, вы сказали, что только в таком случае выйдете за меня замуж, если у меня не будет глупого выражения лица, а для этого вы посоветовали мне отправиться к людям и поучиться у них уму-разуму. Я, как вам известно, послушал вас и отправился к людям. Отлично… Придя к ним, я прежде всего справился, какие есть специальности и ремесла. Один правовед сказал мне,

что самая лучшая и безвредная специальность — это лежать на диване, задрав вверх ноги, и плевать в потолок; но я, честный, глупый леший, не поверил ему! Прежде всего я попал по протекции в почтмейстеры. Ужасная, ma chere, должность! Письма обывателей до того скучны, что просто тошно делается!

— Зачем же вы их читали, если они скучны?

— Так принято… Да и к тому же нельзя без этого… Письма разные бывают… Иной подписывается «поручик такой-то», а под этим поручиком Лассаля понимать надо или Спинозу… Ну-с… потом поступил я по протекции в брандмейстеры… Тоже ужасная должность!

То и дело пожар… Сядешь, бывало, обедать или в винт играть — пожар. Ляжешь спать — пожар. А изволь-ка тут ехать на пожар, если еще и из естественной истории известно, что казенных лошадей нельзя кормить овсом. Раз я велел накормить лошадей овсом, и — что ж вы думаете? — ревизор так удивился, что мне даже совестно стало… Бросил…

Есть, ma chere, на земле люди, которые смотрят за тем, чтобы у ближних в головах и карманах ничего лишнего не было. От брандмейстера к этой должности рукой подать. Я поступил. Вся

моя служба на первых порах состояла в том, что я принимал от людей «благодарности»… Сначала мне это ужасно нравилось… В наш практический век такие чувства, как благодарность, могут не нравиться только камню и должны быть поощряемы… Но потом я совсем разочаровался. Люди ужасно испорчены… Они благодарят купонами 1889 года и даже пускают в ход фальшивые купоны. И к тому же — благодарят, а у самих в глазах никаких приятных чувств не выражается… Пошло! От этой должности к педагогии рукой подать. Поступил я в педагоги. Сначала мне повезло, и даже директор несколько раз мне руку пожимал. Ему ужасно нравилось мое глупое лицо. Но увы! Прочел я однажды в «Вестнике Европы» статью о вреде лесоистребления и почувствовал угрызения совести. Мне и ранее, откровенно говоря, было жаль употреблять нашу милую, зеленую березу для таких низменных целей, как педагогия.

Выразил я директору свое сомнение, и мое глупое выражение лица было сочтено за подложное. Я — фюйть! Потом поступил я в доктора. Сначала мне повезло. Дифтериты, знаете ли, тифы… Хотя я и не увеличил процента смертности, но все-таки был замечен. В повышение меня назна-

чили врачом в Московский воспитательный дом. Здесь, кроме рецептов и посещения палат, с меня потребовали реверансов, книксенов и уменья с достоинством ездить на запятках… Старший доктор Соловьев, тот самый, что в Одессе, на съезде, себя на эмпиреях чувствовал, требовал даже от меня, чтобы я делал ему глазки. Когда я сказал, что реверансы и глазки не преподаются на медицинском факультете, меня сочли за вольнодумца и не помнящего родства…

После неудачного докторства занялся я коммерцией. Открыл булочную и стал булки печь. Но, ma chere, на земле так много насекомых, что просто ужас! Какой калач ни взломай, во всяком таракан или мокрица сидит.

— Ах, полно вам чепуху пороть! — воскликнула русалочка, выйдя из терпения. — Кой черт просил вас, дурака этакого, поступать в брандмейстеры и булки печь? Неужели вы, скотина вы этакая, не могли на земле найти что-нибудь поумнее и возвышеннее? Разве у людей нет наук, литературы?

— Я, знаете ли, хотел поступить в университет, да мне один акцизный сказал, что там все беспорядки… Был я и литератором… черти понесли меня в эту литературу! Писал я хорошо и даже надежды подавал, но, ma chere, в кутузках так

холодно и так много клопов, что даже при воспоминании пахнет в воздухе клопами. Литературой я и кончил… В больнице помер… Литературный фонд похоронил меня на свой счет. Репортеры на десять рублей на моих похоронах водки выпили. Дорогая моя! Не посылайте меня вторично к людям! Уверяю вас, что я не вынесу этого испытания!

— Это ужасно! Мне жаль вас, но поглядитесь вы в реку! Ваше лицо стало глупее прежнего! Нет, ступайте опять! Займитесь науками, искусствами… путешествуйте, наконец! Не хотите этого? Ну, так ступайте и последуйте тому совету, который дал вам правовед!

Леший начал умолять… Чего уж он только не говорил, чтобы избавиться от неприятной поездки! Он сказал, что у него нет паспорта, что он на замечании, что при теперешнем курсе тяжело совершать какие бы то ни было поездки, но ничто не помогло… Русалочка настояла на своем. И леший опять среди людей. Он теперь служит, дослужился уже до статского советника, но выражение его лица нисколько не изменилось: оно по-прежнему глупое.

Прощение

В прощальный день я, по христианскому обычаю и по добросердечию своему, прощаю всех…

Торжествующую свинью прощаю за то, что она… содержит в себе трихины.

Прощаю вообще все живущее, теснящее, давящее и душащее… как то: тесные сапоги, корсет, подвязки и проч.

Прощаю аптекарей за то, что они приготовляют красные чернила.

Взятку — за то, что ее берут чиновники.

Березовую кашу и древние языки — за то, что они юношей питают и отраду старцам подают, а не наоборот.

«Голос» — за то, что он закрылся.

Статских советников — за то, что они любят хорошо покушать.

Мужиков — за то, что они плохие гастрономы.

Прощаю я кредитный рубль… Кстати: один секретарь консистории, держа в руке только что добытый рубль, говорил дьякону: «Ведь вот, поди ж ты со мной, отец дьякон! Никак я не пойму своего характера! Возьмем хоть вот этот рубль, к примеру… Что он? Падает ведь, унижен,

осрамлен, очернился паче сажи, потерял всякую добропорядочную репутацию, а люблю его! Люблю его, несмотря на все его недостатки, и прощаю… Ничего, брат, с моим добрым характером не поделаешь!» Так вот и я…

Прощаю себя за то, что я не дворянин и не заложил еще имения отцов моих.

Литераторов прощаю за то, что они еще и до сих пор существуют.

Прощаю Окрейца за то, что его «Луч» не так мягок, как потребно.

Прощаю Суворина, планеты, кометы, классных дам, *ее* и, наконец, точку, помешавшую мне прощать до бесконечности.

Сон репортера

«Настоятельно прошу быть сегодня на костюмированном балу французской колонии. Кроме вас, идти некому. Дадите заметку, возможно подробнее. Если же почему-либо не можете быть на балу, то немедленно уведомьте — попрошу кого-нибудь другого. При сем прилагаю билет. Ваш… (следует подпись редактора).

P. S. Будет лотерея-аллегри. Будет разыграна ваза, подаренная президентом французской республики. Желаю вам выиграть».

Прочитав это письмо, Петр Семеныч, репортер, лег на диван, закурил папиросу и самодовольно погладил себя по груди и по животу. (Он только что пообедал.)

— Желаю вам выиграть, — передразнил он редактора. — А на какие деньги я куплю билет? Небось, денег на расходы не даст, ска-атина. Скуп, как Плюшкин. Взял бы он пример с заграничных редакций… Там умеют ценить людей. Ты, положим, Стэнли, едешь отыскивать Ливингстона. Ладно. Бери столько-то тысяч фунтов стерлингов! Ты, Джон Буль, едешь отыскивать «Жаннетту». Ладно. Бери десять тысяч! Ты идешь описывать

бал французской колонии. Ладно. Бери… тысяч пятьдесят… Вот как за границей! А он мне прислал один билет, потом заплатит по пятаку за строчку и воображает… Ска-а-тина!..

Петр Семеныч закрыл глаза и задумался. Множество мыслей, маленьких и больших, закопошилось в его голове. Но скоро все эти мысли покрылись каким-то приятным розовым туманом. Из всех щелей, дыр, окон медленно поползло во все стороны желе, полупрозрачное, мягкое… Потолок стал опускаться… Забегали человечки, маленькие лошадки с утиными головками, замахало чье-то большое мягкое крыло, потекла река… Прошел мимо маленький наборщик с очень большими буквами и улыбнулся… Все утонуло в его улыбке и… Петру Семенычу начало сниться.

Он надел фрак, белые перчатки и вышел на улицу. У подъезда давно уже ожидает его карета с редакционным вензелем. С козел соскакивает лакей в ливрее и помогает ему сесть в карету, подсаживает его, точно барышню-аристократку.

Через какую-нибудь минуту карета останавливается у подъезда Благородного собрания. Он, нахмурив лоб, сдает свое платье и с важностью идет вверх по богато убранной, освещенной лест-

нице. Тропические растения, цветы из Ниццы, костюмы, стоящие тысячи.

— Корреспондент… — пробегает шепот в многотысячной толпе. — Это он…

К нему подбегает маленький старичок с озабоченным лицом, в орденах.

— Извините, пожалуйста! — говорит он Петру Семенычу. — Ах, извините, пожалуйста!

И вся зала вторит за ним:

— Ах, извините, пожалуйста!

— Ах, полноте! Вы меня конфузите, право… — говорит репортер.

И он вдруг, к великому своему удивлению, начинает трещать по-французски. Ранее знал одно только «mercі», а теперь — на поди!

Петр Семеныч берет цветок и бросает сто рублей, и как раз в это время подают от редактора телеграмму: «Выиграйте дар президента французской республики и опишите ваши впечатления. Ответ на тысячу слов уплачен. Не жалейте денег». Он идет к аллегри и начинает брать билеты. Берет один… два… десять… Берет сто, наконец тысячу и получает вазу из севрского фарфора. Обняв обеими руками вазу, спешит дальше.

Навстречу ему идет дамочка с роскошными льняными волосами и голубыми глазами. Костюм

у нее замечательный, выше всякой критики. За ней толпа.

— Кто это? — спрашивает репортер.

— А это одна знатная француженка. Выписана из Ниццы вместе с цветами.

Петр Семеныч подходит к ней и рекомендуется. Через минуту он берет ее под руку и ходит, ходит… Ему многое нужно разузнать от француженки, очень многое… Она так прелестна!

«Она моя! — думает он. — А где я у себя в комнате поставлю вазу?» — соображает он, любуясь француженкой.

Комната его мала, а ваза все растет, растет и так разрослась, что не помещается даже в комнате. Он готов заплакать.

— А-а-а… так вы вазу любите больше, чем меня? — говорит вдруг ни с того, ни с сего француженка и — трах кулаком по вазе!

Драгоценный сосуд громко трещит и разлетается вдребезги. Француженка хохочет и бежит куда-то в туман, в облако. Все газетчики стоят и хохочут… Петр Семеныч, рассерженный, с пеной у рта, бежит за ними и вдруг, очутившись в Большом театре, падает вниз головой с шестого яруса.

Петр Семеныч открывает глаза и видит себя на

полу, около своего дивана. У него от ушиба болят спина и локоть.

«Слава богу, нет француженки, — думает он, протирая глаза. — Ваза, значит, цела. Хорошо, что я не женат, а то, пожалуй, дети стали бы шалить и разбили вазу».

Протерев же глаза как следует, он не видит и вазы.

«Все это сон, — думает он. — Однако уже первый час ночи… Бал давно уже начался, пора ехать… Полежу еще немного и — марш!»

Полежав еще немного, он потянулся и… заснул — и так и не попал на бал французской колонии.

— Ну, что? — спросил у него на другой день редактор. — Были на балу? Понравилось?

— Так себе… Ничего особенного… — сказал он, делая скучающее лицо. — Вяло. Скучно. Я написал заметку в двести строк. Немножко браню наше общество за то, что оно не умеет веселиться. — И, сказавши это, он отвернулся к окну и подумал про редактора:

— Ска-атина!!

Два письма
I. Серьезный вопрос

Милый и дорогой мой дядюшка, Анисим Петрович!

Сейчас был у меня Ваш земляк Курошеев и сообщил мне, между прочим, что на днях воротился из-за границы со своей семьей Ваш сосед Мурдашевич. Это известие тем более поразило меня, что ранее ходили слухи, что Мурдашевичи навсегда останутся за границей.

Дорогой и милый дядюшка! Если Вы хотя немного любите вашего племянника, то съездите, голубчик, к Мурдашевичу и узнайте, как поживает его воспитанница, Машенька. Исповедую Вам сокровенную тайну моей души. Только Вам одному могу довериться. Я люблю Машеньку, люблю страстно, больше жизни! Шесть лет разлуки ни на йоту не уменьшили моей любви к ней. Жива ли она, здорова? Напишите, в каком виде Вы ее застали, помнит ли она меня, любит ли по-прежнему? Могу ли я написать к ней письмо? Все узнайте, голубчик, и опишите обстоятельнее.

Скажите ей, что я уже не тот робкий, бедный

студент… Я уже присяжный поверенный, имею практику, деньги… Одним словом, для полного счастья не хватает у меня только ее одной… Только!

В ожидании скорейшего ответа обнимаю.

Владимир Гречнев.

II. Обстоятельный ответ

Милый мой племянник Володя!

Получивши же твое письмо, я на другой день поехал к Мурдашевичу. Славный он человек! Постарел и поседел в заграница, но сохранил в себе воспоминание обо мне, своем старинном Друге, так что, когда я вошедши, он обнял меня и, долго смотря мне в лице, сказал робким, нежным возгласом: «Не узнаю!» Когда же я назвал свою фамилию, он еще раз обнял меня и сказал: «Теперь припоминаю». Хороший человек! Будучи у него, выпил и закусил, потом же и за проферансишку сели по одной десятой. Во многих видах и разных манерах объяснял он мне про заграницу и много смешил меня игривым описанием смешных немецких нравов. Но наука, говорит, у немцев далеко пошла. Показывал мне также картину, купленную проездом через Италию, изобража-

ющую женского пола одну особу в странной, неприличной одежде. Видел я и Машеньку. Была в богатом платье розового цвета с протчими украшениями драгоценного свойства. Тебя она помнит и даже прослезилась глазами, когда о тебе спрашивала. Ждет от тебя письма и благодарит за память и чувства. Ты пишешь, что имеешь практику и деньги! Береги, душенька, деньги и веди себя умеренно и воздержно. Я, когда будучи в молодости, предавался сластолюбивым излишествам, но кратковременно и воздержно, и все-таки каюсь. Засим благословляю и желаю всего лучшего.

Твой дядя и доброжелатель Анисим Гречнев.

P. S. Пишешь ты хоть непонятно, но очень заманчиво и красноречиво. Показывал твое письмо всем соседям. Прочитавши его, сочли тебя как бы сочинителем, так что даже сын отца Григория, Владимир, переписал его с тем, чтобы послать в газету. Показывал его также Машеньке и ее мужу, немцу Урмахеру, за которого Машенька вышла замуж в прошлом годе. Немец прочел и похвалил. И теперь я всем показываю твое письмо и читаю. Пиши еще! А икра у Мурдашевича очень вкусная.

Жалобная книга

Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера?!»

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками.

Под рожицей написано:

«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. *Я — морда* твоя».

«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».

«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».

«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня Грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ива-

новича Ищеева который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».

«Никандров социалист!»

«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка… (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим… (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки… (далее все зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».

«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».

«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.».

«Господа! Тельцовский шуллер!»

«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай жандарм!»

«Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении, чего бы покушать, я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».

«Лопай, что дают»…

«Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай

отдаст в кассу Андрею Егорычу».

«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».

«Добродетелью украшайтесь».

«Катинька, я вас люблю безумно!»

«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».

«Хоть ты и седьмой, а дурак».

Чтение
(Рассказ старого воробья)

Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидел антрепренер нашего театра Галамидов и говорил с ним об игре и красоте наших актрис.

— Но я с вами не согласен, — говорил Иван Петрович, подписывая ассигновки. — Софья Юрьевна — сильный, оригинальный талант! Милая такая, грациозная… Прелестная такая…

Иван Петрович хотел дальше продолжать, но от восторга не мог выговорить ни одного слова и улыбнулся так широко и слащаво, что антрепренер, глядя на него, почувствовал во рту сладость.

— Мне нравится в ней… э-э-э… волнение и трепет молодой груди, когда она читает монологи… Так и пышет, так и пышет! В этот момент, передайте ей, я готов… на все!

— Ваше превосходительство, извольте подписать ответ на отношение херсонского полицейского правления касательно…

Семипалатов поднял свое улыбающееся лицо и увидел перед собой чиновника Мердяева.

Мердяев стоял перед ним и, выпучив глаза, подносил ему бумагу для подписи. Семипалатов поморщился: проза прервала поэзию на самом интересном месте.

— Об этом можно бы и после, — сказал он. — Видите ведь, я разговариваю! Ужасно невоспитанный, неделикатный народ! Вот-с, господин Галамидов… Вы говорили, что у нас нет уже гоголевских типов… А вот вам! Чем не тип? Неряха, локти продраны, косой… никогда не чешется… А посмотрите, как он пишет! Это черт знает что! Пишет безграмотно, бессмысленно… как сапожник! Вы посмотрите!

— М-да… — промычал Галамидов, посмотрев на бумагу. — Действительно… Вы, господин Мердяев, вероятно, мало читаете.

— Этак, любезнейший, нельзя! — продолжал начальник. — Мне за вас стыдно! Вы бы хоть книги читали, что ли…

— Чтение много значит! — сказал Галамидов и вздохнул без причины. — Очень много! Вы читайте и сразу увидите, как резко изменится ваш кругозор. А книги вы можете достать где угодно. У меня, например… Я с удовольствием. Завтра же я завезу, если хотите.

— Поблагодарите, любезнейший! — сказал

Семипалатов.

Мердяев неловко поклонился, пошевелил губами и вышел.

На другой день приехал к нам в присутствие Галамидов и привез с собой связку книг. С этого момента и начинается история. Потомство никогда не простит Семипалатову его легкомысленного поступка! Это можно было бы, пожалуй, простить юноше, но опытному действительному статскому советнику — никогда! По приезде антрепренера Мердяев был позван в кабинет.

— Нате вот, читайте, любезнейший! — сказал Семипалатов, подавая ему книгу. — Читайте внимательно.

Мердяев взял дрожащими руками книгу и вышел из кабинета. Он был бледен. Косые глазки его беспокойно бегали и, казалось, искали у окружающих предметов помощи. Мы взяли у него книгу и начали ее осторожно рассматривать.

Книга была «Граф Монте-Кристо».

— Против его воли не пойдешь! — сказал со вздохом наш старый бухгалтер Прохор Семеныч Будылда. — Постарайся как-нибудь, понатужься… Читай себе помаленьку, а там, бог даст, он забудет, и тогда бросить можно будет. Ты не пугайся… А главное — не вникай… Читай и не вникай в эту

умственность.

Мердяев завернул книгу в бумагу и сел писать. Но не писалось ему на этот раз. Руки у него дрожали и глаза косили в разные стороны: один в потолок, другой в чернильницу. На другой день пришел он на службу заплаканный.

— Четыре раза уж начинал, — сказал он, — но ничего не разберу… Какие-то иностранцы…

Через пять дней Семипалатов, проходя мимо столов, остановился перед Мердяевым и спросил:

— Ну, что? Читали книгу?

— Читал, ваше превосходительство.

— О чем же вы читали, любезнейший? А ну-ка, расскажите!

Мердяев поднял вверх голову и зашевелил губами.

— Забыл, ваше превосходительство… — сказал он через минуту.

— Значит, вы не читали или, э-э-э… невнимательно читали! Авто-мма-тически! Так нельзя! Вы еще раз прочтите! Вообще, господа, рекомендую. Извольте читать! Все читайте! Берите там у меня на окне книги и читайте. Парамонов, подите, возьмите себе книгу! Подходцев, ступайте и вы, любезнейший! Смирнов — и вы! Все, господа!

Прошу!

Все пошли и взяли себе по книге. Один только Будылда осмелился выразить протест. Он развел руками, покачал головой и сказал:

— А уж меня извините, ваше превосходительство… Скорей в отставку… Я знаю, что от этих самых критик и сочинений бывает. У меня от них старший внук родную мать в глаза дурой зовет и весь пост молоко хлещет. Извините-с!

— Вы ничего не понимаете, — сказал Семипалатов, прощавший обыкновенно старику все его грубости.

Но Семипалатов ошибался: старик все понимал. Через неделю же мы увидели плоды этого чтения. Подходцев, читавший второй том «Вечного жида», назвал Будылду «иезуитом»; Смирнов стал являться на службу в нетрезвом виде. Но ни на кого не подействовало так чтение, как на Мердяева. Он похудел, осунулся, стал пить.

— Прохор Семеныч! — умолял он Будылду. — Заставьте вечно бога молить! Попросите вы его превосходительство, чтобы они меня извинили… Не могу я читать. Читаю день и ночь, не сплю, не ем… Жена вся измучилась, вслух читавши, но, побей бог, ничего не понимаю! Сделайте божескую милость!

Будылда несколько раз осмеливался докладывать Семипалатову, но тот только руками махал и, расхаживая по правлению вместе с Галамидовым, попрекал всех невежеством. Прошло этак два месяца, и кончилась вся эта история ужаснейшим образом.

Однажды Мердяев, придя на службу, вместо того, чтобы садиться за стол, стал среди присутствия на колени, заплакал и сказал:

— Простите меня, православные, за то, что я фальшивые бумажки делаю!

Затем он вошел в кабинет и, став перед Семипалатовым на колени, сказал:

— Простите меня, ваше превосходительство: вчера я ребеночка в колодец бросил!

Стукнулся лбом о пол и зарыдал…

— Что это значит?! — удивился Семипалатов.

— А это то значит, ваше превосходительство, — сказал Будыл-да со слезами на глазах, выступая вперед, — что он ума решился! У него ум за разум зашел! Вот что ваш Галамидка сочинениями наделал! Бог все видит, ваше превосходительство. А ежели вам мои слова не нравятся, то позвольте мне в отставку. Лучше с голоду помереть, чем этакое на старости лет видеть!

Семипалатов побледнел и прошелся из угла

в угол.

— Не принимать Галамидова! — сказал он глухим голосом. — А вы, господа, успокойтесь. Я теперь вижу свою ошибку. Благодарю, старик!

И с этой поры у нас больше ничего не было. Мердяев выздоровел, но не совсем. И до сих пор при виде книги он дрожит и отворачивается.

Жизнеописания достопримечательных современников
I. Письмо в редакцию

Милостивый государь, господин редактор!

На прошлой неделе в пятницу скончался раком в желудке мой старший брат Петр Гурьич Хрусталев, штабс-капитан, живший на 2-й Ямской в доме купца Чернобрюхова и называвший себя юмористически по случаю запоя «шнапс-капитаном». Будучи умирая, он подозвал меня к своему смертному одру и сказал жалостным голосом:

— Никифор! Мне капут и предел… Но я не унываю, ибо жизнь человеческая по естеству своему, как и все прочее, заключена в рамки. Так уж в природе испокон века ведется. Ежели бы все люди жили да не умирали, то не было бы для них места не только в домах, но и на крышах… Слушай! Ты знаешь, что всю мою жизнь я страдал от дурного качества, а именно от запоя. Кроме того, я имел склонность к литературе. Возьми эту тетрадь и после смерти моей отнеси в какую-нибудь редакцию, дабы узнали люди, что я за человек и как я все понимаю. Попроси, чтоб напечатали

крупным шрифтом.

Сказавши это, братец дал мне тетрадь и помер. На тетради этой написано: «Жизнеописания достопримечательных современников». В сочинениях я по невежеству мало понимаю, но «Жизнеописания» братца мне ужасно нравятся. Слогом своим и красноречием они похожи несколько на «Сторонние сообщения» г. Николая Базунова, помещаемые в «Новостях дня», а потому имею честь просить, ваше высокоблагородие, не побрезговать и исполнить волю почившего.

Его брат *Никифор Хрусталев*

II. Александр Иванович Иванов

Знаменитый изобретатель подседно-копытной, колесной и иных мазей

Александр Иванович Иванов, сей великий подседно-копытный муж, родился в XIX веке от бедных, но благородных родителей, в неизвестном месте. По мнению весьма многих ученых историков и философов, день и час его рождения совпадает с появлением на небе кометы 1848 года. Парижская же Академия наук отрицает это и днем его рождения называет 23-е марта 1849 г. — день, в который происходило изверже-

ние Везувия. Рассказывают, что А. И. в первую минуту своей жизни, взглянув на принимавшую его повитуху, горько заплакал и этим уже показал свое недовольство современной медициной. В первые же годы опытный глаз мог подметить в младенце его гениальные подседно-копытные и лишайные способности. В то время, когда его сверстники предавались детским забавам, он сидел где-нибудь в уголку и копался в разных жидких хозяйственных необходимостях. Так, он любил размешивать ваксу, лепить человечков из замазки, делать тесто из песочку и прочее подобное, говорящее не столько о пользе совершаемого, сколько о наклонностях и таланте совершающего. Любимое также его занятие было ходить босиком, подсучив брюки, по лужицам и прочим не сухим местам. Семи лет он был отдан родителями на обучение грамоте и числам. Научившись быстро читать, он показал еще новую особенность своего характера. А именно: он стал прилежно и внимательно читать объявления Гюйо, Иоганна Гоффа и соотечественника нашего Леухина. Когда его спрашивали о причинах, по коим он предпочитает эти объявления всем прочим отраслям науки, то он скромно отвечал: «Я учусь». Научившись чтению, писанию по

прописи и арифметике, он бросил науку и посвятил свою жизнь изысканию новых средств для излечения страждущих лошадей, а если хватит способностей, то и людей. Он смешивал песок с медом, мед с ваксой, ваксу с салом и мешал до тех пор эти и многие другие вещества, пока не получалась пертурбация, не имеющая ни запаха, ни вида, но зато годная на всякое употребление. Обмазавшись этою мазью и не умерев от этого, А. И. заключил весьма резонно, что эта мазь целительна и что ее следует продавать по 2 рубля за банку. Заключив таковое, он напечатал в газетах объявления, и с этих пор (1875 год) начинается слава его. Но где слава, там завистники и недоброжелатели. Мазь, могущая излечивать всякие болезни и в то же время употребляемая с успехом вместо помады, ваксы, дегтя и замазки, привела многие недалекие умы в смятение. Посыпались обвинения в шарлатанстве, нахальстве и эксплуатации невежеством. И, к стыду человечества, эти обвинения доходили иногда до того, что великий изобретатель неоднократно был привлекаем в качестве обвиняемого в камеру мирового судьи. Но в то же время не дремала и справедливость. Еще издревле известно, что добродетель торжествует, а порок побеждается. Покупатели толпами

ходили к А. И. в его магазин, помещающийся на Страстном бульваре, и нарасхват покупали его мазь. Мало того, тысячи благодарственных адресов посыпались по адресу бессмертного целителя. В довершение всего Неаполитанская Академия наук избрала его в свои почетные члены и этим ясно показала, что мы не умеем ценить наших. В 1882 г. Варшавская кондитерская избрала его в свои почетные посетители. В 1883 г. «Венеция» и «Прага» провозгласили великого изобретателя своим почетным потомственным завсегдатаем, а в сем, 1884 г. за изобретенный им «Рафанистроль» он попал в мои «Жизнеописания достопримечательных современников». Ибо новою мазью его я не только пользовался от прыщей, но также лечился ею от запоя и употреблял ее от клопов и прочих паразитов.

Штабс-капитан *Хрусталев*

Плоды долгих размышлений

Старшие — те же мертвецы: о них «aut bene, aut nihil».

* * *

Мы живем не для того, чтобы есть, а для того, чтобы не знать, что нам есть.

* * *

Нам нужно только то, что нам нужно…

* * *

Женщине легче найти многих мужей, чем одного…

* * *

Прочность и постоянство законов природы заключаются в том, что их не может обойти ни один адвокат (кроме Лохвицкого, конечно).

* * *

Водка бела, но красит нос и чернит репутацию.

* * *

Можно сказать: «Я друг этого дома», но нельзя сказать: «Я друг этого деревянного дома». Из этого

следует, что, говоря о предметах, нужно скрывать их качества…

* * *

Поостерегись выписывать в пост «Иллюстрированный мир», иначе рискуешь оскоромиться кукишем с маслом.

Несколько мыслей о душе

По мнению начитанных гувернанток и ученых губернаторш, душа есть неопределенная объективность психической субстанции. Я не имею причин не соглашаться с этим.

У одного ученого читаем: «Чтобы отыскать душу, нужно взять человека, которого только что распекало начальство, и перетянуть ремнем его ногу. Затем вскройте пятку и вы найдете искомое».

Я верую в переселение душ… Эта вера далась мне опытом. Моя собственная душа за все время моего земного прозябания перебывала во многих животных и растениях и пережила все те стадии и животные градации, о которых трактует Будда…

Я был *щенком,* когда родился, *гусем лапчатым,* когда вступил в жизнь. Определившись на государственную службу, я стал *крапивным семенем.* Начальник величал меня *дубиной,* приятели — *ослом,* вольнодумцы — *скотиной.* Путешествуя по железным дорогам, я был *зайцем,* живя в деревне среди мужичья, я чувствовал себя *пиявкой.* После одной из растрат я был некоторое время

козлом отпущения. Женившись, я стал *рогатым скотом.* Выбившись, наконец, на настоящую дорогу, я приобрел брюшко и стал *торжествующей свиньей.*

Говорить или молчать? (Сказка)

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были себе два друга: Крюгер и Смирнов. Крюгер обладал блестящими умственными способностями, Смирнов же был не столько умен, сколько кроток, смирен и слабохарактерен. Первый был разговорчив и красноречив, второй же — молчалив.

Однажды оба они ехали в вагоне железной дороги и старались победить одну девицу. Крюгер сидел около этой девицы и рассыпался перед ней мелким бесом, Смирнов же молчал, мигал глазами и с вожделением облизывался. На одной станции Крюгер вышел с девицей из вагона и долго не возвращался. Возвратившись же, мигнул глазом и прищелкнул языком.

— И как это у тебя, брат, ловко выходит! — сказал с завистью Смирнов. — И как ты все это умеешь! Не успел подсесть к ней, как уж и готово… Счастливчик!

— А ты чего же зеваешь? Сидел с ней три часа и хоть бы одно слово! Молчит, как бревно! Мол-

чанием, брат, ничего не возьмешь на этом свете! Ты должен быть боек, разговорчив! Тебе ничто не удается, а почему? Потому что ты тряпка!

Смирнов согласился с этими доводами и решил в душе изменить свой характер. Через час он, поборов робость, подсел к какому-то господину в синем костюме и стал с ним бойко разговаривать. Господин оказался очень словоохотливым человеком и тотчас же начал задавать Смирнову вопросы, преимущественно научного свойства. Он спросил его, как ему нравится земля, небо, доволен ли он законами природы и человеческого общежития, коснулся слегка европейского свободомыслия, положения женщин в Америке и проч. Смирнов отвечал умно, охотно и с восторгом. Но каково, согласитесь, было его удивление, когда господин в синем костюме, взяв его на одной станции за руку, ехидно улыбнулся и сказал:

— Следуйте за мной.

Смирнов последовал и исчез, неизвестно куда. Через два года он встретился Крюгеру бледный, исхудалый, тощий, как рыбий скелет.

— Где ты пропадал до сих пор?! — удивился Крюгер.

Смирнов горько улыбнулся и описал ему все пережитые им страдания.

— А ты не будь глуп, не болтай лишнего! — сказал Крюгер. — Держи язык за зубами — вот что!

Гордый человек
(Рассказ)

Дело происходило на свадьбе купца Синерылова.

Шафер Недорезов, высокий молодой человек, с выпученными глазами и стриженой головой, во фраке с оттопыренными фалдочками, стоял в толпе барышень и рассуждал:

— В женщине нужна красота, а мужчина и без красоты обойдется. В мужчине имеют вес ум, образование, а красота для него — наплевать! Ежели в твоем мозге нет образованности и умственных способностей, то грош тебе цена, хоть ты раскрасавец будь… Да-с… Не люблю красивых мужчин! Фи донк![132]

— Это вы потому так объясняете, что сами некрасивы. А вон, посмотрите в дверь, в другую комнату, сидит мужчина! Вот это так настоящий красавец! Одни глаза чего стоят! Поглядите-ка! Прелесть! Кто он?

Шафер поглядел в другую комнату и презрительно усмехнулся. Там, развалясь, сидел на

---

[132] Примечания: 132
Фу! *(франц.* Fi done!)

кресле красивый черноглазый брюнет. Положив ногу на ногу и играя цепочкой, брюнет щурил глаза и с достоинством поглядывал на гостей. На его губах играла презрительная улыбка.

— Ничего особенного! — сказал шафер. — Так себе… Даже урод, можно сказать. И лицо какое-то дурацкое… На шее кадык в два аршина.

— А все-таки душка!

— По-вашему, красивый, а по-моему — нет. А ежели красивый, то, значит, глупый человек, без образования. Кто он будет?

— Не знаем… Должно быть, некупеческого звания…

— Гм… Готов в лотерею пари держать, что глупый человек… Ногами болтает… Противно глядеть! Сичас я узнаю, что это за птица… какого он ума человек. Сичас.

Шафер кашлянул и смело пошел в другую комнату. Остановившись перед брюнетом, он еще раз кашлянул, немного подумал и начал:

— Как поживаете-с?

Брюнет поглядел на шафера и усмехнулся.

— Понемножечку, — сказал он нехотя.

— Зачем же понемножечку? Нужно всегда вперед идти.

— Зачем же непременно вперед?

— Да так. Все таперича вперед идет. И елехтричество, ежели взять, и телеграфы, финифоны там всякие, телефоны. Да-с! Прогресс, к примеру, возьмем… Что это слово обозначает? А то оно обозначает, что всякий должен вперед идти… Вот и вы идите вперед…

— Куда же мне, например, теперь идти? — усмехнулся брюнет.

— Мало ли куда идти? Была бы охота… Местов много… Да вот хоть бы к буфету, примерно… Не желаете ли? Для первого знакомства, по коньячишке… А? Для идеи…

— Пожалуй, — согласился брюнет…

Шафер и брюнет направились к буфету. Стриженый официант, во фраке и с белым запачканным галстухом, налил две рюмки коньяку. Шафер и брюнет выпили.

— Хороший коньяк, — сказал шафер, — но есть предметы посущественней… Давайте, для первого знакомства, выпьем красненького по стаканчику…

Выпили по стакану красного.

— Таперича как мы с вами познакомились, — сказал шафер, вытирая губы, — и, можно сказать, выпили…

— Не «таперича», а «теперь»… — поправил брю-

нет. — Говорить еще не умеете, а про телефоны объясняете. При такой необразованности, будь я на вашем месте, я молчал бы, не срамился… Таперича… таперича… Ха!

— Чего же вы смеетесь? — обиделся шафер. — *Я это для* смеху говорил «таперича», для шутки… Зубы-то нечего показывать! Это девицам ндравится, а я не люблю зубов-то… Кто вы будете? С какой стороны?

— Не ваше дело…

— Звание ваше какое? Фамилия?

— Не ваше дело… Я не такой дурак, чтоб всякому встречному свое звание объяснял… Я настолько гордый человек, что не очень-то распространяюсь с вашим братом. Я на вас мало обращаю внимания…

— Ишь ты… Гм… Так не скажете, как ваша фамилия?

— Не желаю… Ежели всякому балбесу имя свое произносить и рекомендоваться, то языка не хватит… И я настолько гордый человек, что вы для меня все едино, как официант… Невежество!

— Ишь ты… Какие вы благородные… Ну, мы сейчас узнаем, что вы за артист будете.

Шафер поднял вверх подбородок и направился к жениху, который в это время сидел с невестой

и, красный, как рак, моргал глазами…

— Никиша! — обратился шафер к жениху, кивая на брюнета. — Как фамилия этого артиста?

Жених отрицательно замотал головой.

— Не знаю, — сказал он. — Это не мой знакомый. Должно полагать, отец его пригласил. Ты у отца спроси.

— Да твой отец в кабинете в пьянственном недоумении… храпит, как зверь лютый. А вы не знаете его? — обратился шафер к невесте.

Невеста сказала, что не знает брюнета. Шафер пожал плечами и начал расспрашивать гостей. Гости заявили, что они первый раз в жизни видят брюнета.

— Жулик он, значит, — решил шафер. — Без билета сюда припожаловал и гуляет, будто у знакомых. Аадно! Мы ему покажем «таперича»!

Шафер подошел к брюнету и подбоченился.

— А билет у вас есть для входа? — спросил он. — Извольте показать ваш билет.

— Я настолько гордый человек, что не стану какому-нибудь субъекту свой билет показывать. Отойдите от меня… Чего пристал?

— Стало быть, у вас нет билета? А коли нет билета, значит, вы жулик. Теперь нам известно, с какой вы стороны и как ваше звание. Знаем

таперича… теперь, то есть, что вы за агент… Вы жулик — вот и все.

— Скажи мне эту грубость умный человек, я бы его по морде, а с вас, дураков, и спрашивать нечего.

Шафер забегал по комнатам, собрал человек шесть приятелей и с ними подошел к брюнету.

— Позвольте, милостивый государь, поглядеть ваш билет! — сказал он.

— Не желаю. Отстаньте, пока я не того…

— Не желаете билета показывать? Стало быть, вы без билета вошли? По какому праву? Вы жулик, значит? Извольте уходить отсюда! Пожалуйте-с! Милости просим! Мы вас сичас с лестницы…

Шафер и его приятели взяли под руки брюнета и повели его к выходу. Гости загалдели. Брюнет громко заговорил о невежестве и о своем самолюбии.

— Пожалуйте-с! Милости просим, красивый мужчина! — бормотал торжествующий шафер, ведя его к двери. — Знаем мы вас, красавцев!

У самой двери на брюнета натянули его пальто, надели на него шапку и толкнули в спину. Шафер хихикнул от удовольствия и стукнул его перстнем по затылку… Брюнет покачнулся, упал на спину и съехал вниз по лестнице.

— Прощайте! Кланяйтесь там! — торжествовал шафер.

Брюнет поднялся, похлопал по пальто и, подняв вверх голову, сказал:

— Дураки по-дурацкому и поступают. Я гордый человек и унижаться перед вами не стану, а пусть вам мой кучер объяснит, что я за человек. Пожалуйте сюда! Григорий! — крикнул он на улицу.

Гости спустились вниз. Через минуту в сени вошел со двора кучер.

— Григорий! — обратился к нему брюнет. — Кто я буду?

— Хозяин — Семен Пантелеич…

— А какое во мне звание, и как я до этого звания достиг?

— Почетный гражданин, а до звания этого вы достигли учением…

— Где я нахожусь и какая моя служба?

— Служите-с на фабрике купца Подщекина в механиках по технической части, а жалованья вам положено три тысячи…

— Теперь поняли? А вот вам и мой билет! Приглашал на свадьбу меня женихов отец, купец Синерылов, который теперь в пьяном виде…

— Голубчик мой! Милая ты моя душа! — заголосил шафер. — Чего же ты раньше этого не

говорил?

— Гордый я человек… Самолюбие во мне… Прощайте-с!

— Ну, нет, стой… Грех, брат! Поворачивай оглобли, Семен Пантелеич! Теперь видно, что ты за человек такой… Пойдем, выпьем за твое образование… для идеи…

Гордый человек нахмурился и пошел наверх. Через две минуты он стоял уже у буфета и пил коньяк.

— Без гордости на этом свете не проживешь, — объяснял он. — Никому никогда не уступлю! Никому! Понимаю себе цену. Впрочем, вам, невежам, не понять!

Альбом

Титулярный советник Кратеров, худой и тонкий, как адмиралтейский шпиль, выступил вперед и, обратясь к Жмыхову, сказал:

— Ваше превосходительство! Движимые и тронутые всею душой вашим долголетним начальничеством и отеческими попечениями…

— Более чем в продолжение целых десяти лет, — подсказал Закусин.

— Более чем в продолжение целых десяти лет, мы, ваши подчиненные, в сегодняшний знаменательный для нас… тово… день подносим вашему превосходительству, в знак нашего уважения и глубокой благодарности, этот альбом с нашими портретами и желаем в продолжение вашей знаменательной жизни, чтобы еще долго-долго, до самой смерти, вы не оставляли нас…

— Своими отеческими наставлениями на пути правды и прогресса… — добавил Закусин, вытерев со лба мгновенно выступивший пот; ему, очевидно, очень хотелось говорить и, по всей вероятности, у него была готова речь. — И да развевается, — кончил он, — ваш стяг еще долго-долго на поприще гения, труда и общественного

самосознания!

По левой морщинистой щеке Жмыхова поползла слеза.

— Господа! — сказал он дрожащим голосом. — Я не ожидал, никак не думал, что вы будете праздновать мой скромный юбилей… Я тронут… даже… весьма… Этой минуты я не забуду до самой могилы, и верьте… верьте, друзья, что никто не желает вам так добра, как я… А ежели что и было, то для вашей же пользы…

Жмыхов, действительный статский советник, поцеловался с титулярным советником Кратеровым, который не ожидал такой чести и побледнел от восторга. Затем начальник сделал рукой жест, означавший, что он от волнения не может говорить, и заплакал, точно ему не дарили дорогого альбома, а, наоборот, отнимали… Потом, немного успокоившись и сказав еще несколько прочувствованных слов и дав всем пожать свою руку, он, при громких радостных кликах, спустился вниз, сел в карету и, провожаемый благословениями, уехал. Сидя в карете, он почувствовал в груди наплыв неизведанных доселе радостных чувств и еще раз заплакал.

Дома ожидали его новые радости. Там его семья, друзья и знакомые устроили ему такую овацию,

что ему показалось, что он в самом деле принес отечеству очень много пользы и что, не будь его на свете, то, пожалуй, отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилейный обед весь состоял из тостов, речей, объятий и слез. Одним словом, Жмыхов никак не ожидал, что его заслуги будут приняты так близко к сердцу.

— Господа! — сказал он перед десертом. — Два часа тому назад я был удовлетворен за все те страдания, которые приходится переживать человеку, который служит, так сказать, не форме, не букве, а долгу. Я за все время своей службы непрестанно держался принципа: не публика для нас, а мы для публики. И сегодня я получил высшую награду! Мои подчиненные поднесли мне альбом... Вот! Я тронут.

Праздничные физиономии нагнулись к альбому и стали его рассматривать.

— А альбом хорошенький! — сказала дочь Жмыхова, Оля. — Я думаю, он рублей пятьдесят стоит. О, какая прелесть! Ты, папка, отдай мне этот альбом. Слышишь? Я его спрячу... Такой хорошенький.

После обеда Олечка унесла альбом к себе в комнату и заперла его в стол. На другой день она вынула из него чиновников и побросала их на

пол, и вместо них вставила своих институтских подруг. Форменные вицмундиры уступили свое место белым пелеринкам. Коля, сынок его превосходительства, подобрал чиновников и раскрасил их одежды красной краской. Безусым нарисовал он зеленые усы, а безбородым — коричневые бороды. Когда нечего уже было красить, он вырезал из карточек человечков, проколол им булавкой глаза и стал играть в солдатики. Вырезав титулярного советника Кратерова, он укрепил его на коробке из-под спичек и в таком виде понес его в кабинет к отцу.

— Папа, монумент! Погляди!

Жмыхов захохотал, покачнулся и, умилившись, поцеловал взасос Колину щечку.

— Ну, иди, шалун, покажи маме. Пусть и мама посмотрит.

Несообразные мысли

Один учитель древних языков, человек на вид суровый, положительный и желчный, но втайне фантазер и вольнодумец, жаловался мне, что всегда, когда он сидит на ученических extemporalia или на педагогических советах, его мучают разные несообразные и неразрешимые вопросы. То и дело, жаловался он, залезают в его голову вопросы вроде: «Что было бы, если бы вместо пола был потолок и вместо потолка пол? Что приносят древние языки: пользу или убыток? Каким образом учителя делали бы визиты директору, если бы последний жил на луне?» и т. д. Все эти и подобные вопросы, если они неотвязно сидят в голове, именуются в психиатрии «насильственными представлениями». Болезнь неизлечимая, тяжелая, но для наблюдателя интересная. На днях учитель явился ко мне и сказал, что его стал мучить вопрос: «Что было бы, если бы мужчины одевались по-женски?» Вопрос несообразный, сверхъестественный и даже неприличный, но нельзя сказать, чтобы на него трудно было ответить. Педагог ответил себе на него так: если бы мужчины одевались по-женски, то — коллеж-

ские регистраторы носили бы ситцевые платья и, пожалуй, по высокоторжественным дням — барежевые. Корсеты они носили бы рублевые, чулки полосатые, бумажные; декольте не возбранялось бы только в своей компании…

почтальоны и репортеры, шагая через канавы и лужи, были бы привлекаемы за проступки против общественной нравственности; московский Юрьев ходил бы в кринолине и ватном капоте; классные сторожа Михей и Макар каждое утро ходили бы к «самому» затягивать его в корсет; чиновники особых поручений и секретари благотворительных обществ одевались бы не по средствам; поэт Майков носил бы букольки, зеленое платье с красными лентами и чепец; телеса И. С. Аксакова покоились бы в сарафане и душегрейке; заправилы Лозово-Севастопольской дороги, по бедности, щеголяли бы в исподнице и т. д.

А вот и разговоры:

— Тюник, ваше — ство, выше всякой критики-с! Турнюр великолепен-с! Декольте несколько велико.

— По форме, братец! Декольте IV класса! А ну-ка, поправь мне внизу оборку! и т. д.

Самообольщение
(Сказка)

Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел одну дурную привычку, а именно: сидя в компании, он любил кичиться своими дарованиями, которых, надо отдать ему полную справедливость, было у него очень много. Он кичился своим умом, энергией, силой, образом мыслей и проч.

— Я силен! — говорил он. — Хочу — подкову сломаю, хочу — человека с кашей съем… Могу и Карфаген разрушить и гордиевы узлы мечом рассекать. Вот какой я!

Он кичился, и все ему удивлялись. К несчастью, пристав не кончил нигде курса и не читал прописей; он не знал, что самообольщение и гордость суть пороки, недостойные благородной души. Но случай вразумил его. Однажды зашел он к своему Другу, старику брандмейстеру, и, увидев там многочисленное общество, начал кичиться. Выпив же три рюмки водки, он выпучил глаза и сказал:

— Глядите, ничтожные! Глядите и разумейте! Солнце, которое вот на небеси с прочими свети-

лами и облаками! Оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь! Я же могу! Могу!

Старик брандмейстер подал ему четвертую рюмку и заметил дружески:

— Верю-с! Для человеческого ума нет ничего невозможного. Сей ум все превзошел. Может он и подковы ломать, и каланчу до неба выстроить, и с мертвого взятку взять… все может! Но, Петр Евтропыч, смею вам присовокупить, есть одно, чего не может побороть не только ум человеческий, но даже и ваша сила.

— Что же это такое? — презрительно усмехнулся самообольщенный.

— Вы можете все пересилить, но не можете пересилить самого себя. Да-с! «Гноти се автóн», — говорили древние… Познай самого себя… А вы себя ни познать, ни пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь. Да-с!

— Нет, пойду! И себя пересилю!

— Ой, не пересилите! Верьте старику, не пересилите!

Поднялся спор. Кончилось тем, что старик брандмейстер повел гордеца в мелочную лавочку и сказал:

— Сейчас я вам докажу-с… У этого вот лавоч-

ника в этой шкатулке лежит десятирублевка. Если вы можете пересилить себя, то не берите этих денег…

— И не возьму! Пересилю!

Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил десятирублевку и судорожно сунул ее к себе в карман.

— Да! — сказал он. — Теперь понимаю!

И с тех пор он уж никогда не кичился своей силой.

Из огня да в полымя

У регента соборной церкви Градусова сидел адвокат Калякин и, вертя в руках повестку от мирового на имя Градусова, говорил:

— Что ни говорите, Досифей Петрович, а вы виноваты-с. Я уважаю вас, ценю ваше расположение, но при всем том с прискорбием должен вам заметить, что вы были неправы. Да-с, неправы. Вы оскорбили моего клиента Деревяшкина… Ну, за что вы его оскорбили?

— Кой черт его оскорблял? — горячился Градусов, высокий старик с узким, мало обещающим лбом, густыми бровями и с бронзовой медалькой в петлице. — Я ему только мораль нравственную прочел, только! Дураков нужно учить! Ежели дураков не учить, то тогда от них прохода не будет.

— Но, Досифей Петрович, вы ему не наставление прочли. Вы, как заявляет он в своем прошении, публично тыкали на него, называли его ослом, мерзавцем и тому подобное… и даже раз подняли руку, как бы желая нанести ему оскорбление действием.

— Как же его не бить, ежели он того стоит? Не понимаю!

— Но поймите же, что вы не имеете на это никакого права!

— Я не имею права? Ну, уж это извините-с… Подите кому Другому рассказывайте, а меня не морочьте, сделайте милость. Он у меня после того, как его из архиерейского хора честью по шее попросили, в моем хоре десять лет прослужил. Я ему благодетель, ежели желаете знать. Ежели он сердится, что я его из хора прогнал, то сам же он виноват. Я его за философию прогнал. Философствовать может только образованный человек, который курс кончил, а ежели ты дурак, не высокого ума, то ты сиди себе в уголку и молчи… Молчи да слушай, как умные говорят, а он, болван, бывало, так и норовит, чтоб что-нибудь этакое запустить. Тут спевка или обедня идет, а он про Бисмарка да про разных там Гладстонов. Верите ли, газету, каналья, выписывал! А сколько раз я его за русско-турецкую войну по зубам бил, так вы себе представить не можете! Тут нужно петь, а он наклонится к тенорам да и давай им рассказывать про то, как наши динамитом турецкий броненосец «Лютфи-Джелил» взорвали… Нешто это порядок? Конечно, приятно, что наши победили, но из этого не следует, что петь не надо… Можешь и после обедни поговорить. Свинья,

одним словом.

— Стало быть, вы и прежде его оскорбляли!

— Прежде он и не обижался. Чувствовал, что я это для его же пользы, понимал!.. Знал, что старшим и благодетелям грех прекословить, а как в полицию в писаря поступил — ну и шабаш, зазнался, перестал понимать. Я, говорит, теперь не певчий, а чиновник. На коллежского регистратора, говорит, экзамен держать буду. Ну и дурак, говорю… Поменьше бы ты, говорю, философию разводил да почаще бы нос утирал, так это лучше было бы, чем о чинах думать. Тебе, говорю, не чины свойственны, а убожество. И слушать не хочет! Да вот хоть бы взять этот случай — за что он на меня мировому подал? Ну, не хамово ли отродье? Сижу я в трактире Самоплюева и с нашим церковным старостой чай пью. Публики тьма, ни одного свободного места… Гляжу, и он сидит тут же, со своими писарями пиво трескает. Франт такой, морду поднял, орет… руками размахивает… Прислушиваюсь — про холеру говорит… Ну, что вы с ним тут поделаете? Философствует! Я, знаете ли, молчу, терплю… Болтай, думаю, болтай… Язык без костей… Вдруг на беду машина заиграла… Расчувствовался он, хам, поднялся и говорит своим приятелям: «Выпьем, говорит, за

процветание! Я, говорит, сын своего отечества и славянофил своей родины! Положу свою единственную грудь! Выходите, враги, на одну руку! Кто со мной не согласен, того я желаю видеть!» И как стукнет кулаком по столу! Тут уж я не вытерпел… Подхожу к нему и говорю деликатно: «Послушай, Осип… Ежели ты, свинья, ничего не понимаешь, то лучше молчи и не рассуждай. Образованный человек может умствовать, а ты смирись. Ты тля, пепел…»

Я ему слово, он мне десять… Пошло и пошло… Я ему, конечно, на пользу, а он по глупости… Обиделся — вот и подал мировому…

— Да, — вздохнул Калякин. — Плохо… Из-за каких-нибудь пустяков и черт знает что вышло. Человек вы семейный, уважаемый, а тут суд этот, разговоры, перетолки, арест… Покончить это дело нужно, Досифей Петрович. Есть у вас один выход, на который соглашается и Деревяшкин. Вы пойдете сегодня со мной в трактир Самоплюева в шесть часов, когда собираются там писаря, актеры и прочая публика, при которой вы оскорбили его, и извинитесь перед ним. Тогда он возьмет свое прошение назад. Поняли? Полагаю, что вы согласитесь, Досифей Петрович… Говорю вам, как другу… Вы оскорбили Деревяшкина, осрамили

его, а главное заподозрили его похвальные чувства и даже… профанировали эти чувства. В наше время, знаете ли, нельзя так. Надо поосторожней. Вашим словам придан оттенок этакий, как бы вам сказать, который в наше время, одним словом, не того… Сейчас без четверти шесть… Угодно вам идти со мной?

Градусов замотал головой, но когда Калякин нарисовал ему в ярких красках «оттенок», приданный его словам, и могущие быть от этого оттенка последствия, Градусов струсил и согласился.

— Вы, смотрите же, извинитесь как следует, по форме, — учил его адвокат по пути в трактир. — Подойдите к нему и на «вы»… «Извините… беру свои слова назад» и прочее тому подобное.

Придя в трактир, Градусов и Калякин нашли в нем целое сборище. Тут сидели купцы, актеры, чиновники, полицейские писаря — вообще вся «шваль», имевшая обыкновение собираться в трактире по вечерам, пить чай и пиво. Между писарями сидел и сам Деревяшкин, малый неопределенного возраста, бритый, с большими неморгающими глазами, придавленным носом и такими жесткими волосами, что, при взгляде на них, являлось желание чистить сапоги… Его

лицо было так счастливо устроено, что, раз взглянувши на него, можно было узнать все: что он и пьяница, и поет басом, и глуп, но не настолько, чтоб не считать себя очень умным человеком. Увидев входящего регента, он приподнялся и, как кот, пошевелил усами. Сборище, по-видимому предуведомленное о том, что будет публичное покаяние, навострило уши.

— Вот… Господин Градусов согласен! — сказал Калякин, входя.

Регент кое с кем поздоровался, громко высморкался, покраснел и подошел к Деревяшкину.

— Извините… — забормотал он, не глядя на него и пряча в карман платок. — При всем обществе беру свои слова назад.

— Извиняю! — пробасил Деревяшкин и, победоносно взглянув на всю публику, сел. — Я удовлетворен! Господин адвокат, прошу прекратить мое дело!

— Я извиняюсь, — продолжал Градусов. — Извините… Не люблю неудовольствий… Хочешь, чтоб я тебе «вы» говорил, изволь, буду… Хочешь, чтоб я тебя за умного почитал, изволь… Мне наплевать… Я, брат, не злопамятен. Шут с тобой…

— Да вы позвольте-с! Вы извиняйтесь, а не ругайтесь!

— Как же мне еще извиняться? Я извиняюсь! Только что вот не «выкнул», так это по забывчивости. Не на коленки же мне становиться… Извиняюсь и даже благодарю бога, что у тебя хватило ума это дело прекратить. Мне некогда по судам шляться… Век я не судился, судиться не буду и тебе не советую… вам то есть…

— Конечно! Не желаете ли выпить для сан-стефанского миру?

— И выпить можно… Только ты, брат, Осип, свинья… Это я не то что ругаюсь, а так… к примеру… Свинья, брат! Помнишь, как ты у меня в ногах валялся, когда тебя из архиерейского хора по шее? А? И ты смеешь на благодетеля жалобу подавать? Рыло ты, рыло! И тебе не стыдно? Господа посетители, и ему не стыдно?

— Позвольте-с! Это опять выходит ругательство!

— Какое ругательство? Я тебе только говорю, наставляю… Помирился и в последний раз говорю, я ругаться не думаю… Стану я с тобой, с лешим, связываться после того, как ты на своего благодетеля жалобу подал! Да ну тебя к черту! И говорить с тобой не желаю! А ежели я тебя сейчас свиньей нечаянно обозвал, так ты и есть свинья… Вместо того, чтоб за благодетеля вечно бога

молить, что он тебя десять лет кормил да нотам выучил, ты жалобу глупую подаешь да разных чертей адвокатов подсылаешь.

— Позвольте же, Досифей Петрович, — обиделся Калякин. — Не черти у вас были, а я был!.. Поосторожней, прошу вас!

— Да нешто я про вас? Ходите хоть каждый день, милости просим. Только мне удивительно, как это вы курс кончили, образование получили, а вместо того, чтоб этого индюка наставлять, руку его держите. Да я бы его на вашем месте в остроге сгноил! И потом, чего вы сердитесь? Ведь я извинялся? Чего же вам от меня еще нужно? Не понимаю! Господа посетители, вы будьте свидетелями, я извинялся, а извиняться в другой раз перед каким-нибудь дураком я не намерен!

— Вы сами дурак! — прохрипел Осип и в негодовании ударил себя по груди.

— Я дурак? Я? И ты можешь мне это говорить?..

Градусов побагровел и затрясся…

— И ты осмелился? На же тебе!.. И кроме того, что я тебе, подлецу, сейчас оплеуху дал, я еще на тебя мировому подам! Я покажу тебе, как оскорблять! Господа, будьте свидетели! Господин околоточный, что же вы стоите там и смотрите? Меня оскорбляют, а вы смотрите? Жалованье

получаете, а как за порядком смотреть, так и не ваше дело? А? Вы думаете, что на вас и суда нет?

К Градусову подошел околоточный, и — началась история.

Через неделю Градусов стоял перед мировым судьей и судился за оскорбление Деревяшкина, адвоката и околоточного надзирателя, при исполнении последним своих служебных обязанностей. Сначала он не понимал, истец он или обвиняемый, потом же, когда мировой приговорил его «по совокупности» к двухмесячному аресту, то он горько улыбнулся и проворчал:

— Гм… Меня оскорбили, да я же еще и сидеть должен… Удивление… Надо, господин мировой судья, по закону судить, а не умствуя. Ваша покойная маменька, Варвара Сергеевна, дай бог ей царство небесное, таких, как Осип, сечь приказывала, а вы им поблажку даете… Что ж из этого выйдет? Вы их, шельмов, оправдаете, другой оправдает… Куда же идти тогда жаловаться?

— Приговор может быть обжалован в двухнедельный срок… и прошу не рассуждать! Можете идти!

— Конечно… Нынче ведь на одно жалованье не проживешь, — проговорил Градусов и подмигнул значительно. — Поневоле, ежели кушать хочет-

ся, невинного в кутузку засадишь… Это так… И винить нельзя…

— Что-с?!

— Ничего-с… Это я так… насчет хапен зи гевезен… Вы думаете, как вы в золотой цепе, так на вас и суда нет? Не беспокойтесь… Выведу на чистую воду!

Закипело дело «об оскорблении судьи»; но вступился соборный протоиерей, и дело кое-как замяли.

Перенося свое дело в съезд, Градусов был убежден, что не только его оправдают, но даже Осипа посадят в острог. Так он думал и во время самого разбирательства. Стоя перед судьями, он вел себя миролюбиво, сдержанно, не говоря лишних слов. Раз только, когда председатель предложил ему сесть, он обиделся и сказал:

— Нешто в законах написано, чтоб регент рядом со своим певчим сидел?

А когда съезд утвердил приговор мирового судьи, он прищурил глаза…

— Как-с? Что-с? — спросил он. — Это как же прикажете понимать-с? Это вы о чем же-с?

— Съезд утвердил приговор мирового судьи. Если вы недовольны, то можете подавать в сенат.

— Так-с. Чувствительно вас благодарим, ваше

превосходительство, за скорый и праведный суд. Конечно, на одно жалованье не проживешь, это я отлично понимаю, но извините-с, мы и неподкупный суд найдем.

Не стану приводить всего того, что Градусов наговорил съезду… В настоящее время он судится за «оскорбление съезда» и слушать не хочет, когда знакомые стараются объяснить ему, что он виноват… Он убежден в своей невинности и верует, что рано или поздно ему скажут спасибо за открытые им злоупотребления.

— Ничего с этим дураком не поделаешь! — говорит соборный настоятель, безнадежно помахивая рукой. — Не понимает!

«Кавардак в Риме»
Комическая странность в 3-х действиях, 5-ти картинах, с прологом и двумя провалами

Действующие лица:

Граф Фалькон и, очень толстый человек.

Графиня, его неверная жена.

Луна, приятная во всех отношениях планета.

Артур, художник-чревовещатель, поющий чревом.

Гессе, художник. Просят не смешивать со спичечным фабрикантом и коробочным сатириком Гессе.

Сиротка, в красных чулочках. Невинна и добродетельна, но не настолько, чтобы стесняться в выборе мужского костюма.

Лентовский, с ножницами. Разочарован.

Касса, старая дева.

БольшойСбор) ее дети

Маленький Соор) ее дети

Барабанщики, факиры, монахини, лягушки, бык из папье-маше, один лишний художник, тысяча надежд, злые гении и проч.

Пролог

Начинается апофеозом по рисунку Шехтеля: Касса, бледная, тощая, держит на руках голодного сына своего, Маленького Сбора, и с мольбою глядит на публику. Лентовский заносит кинжал, стараясь убить Маленького Сбора, но это ему не удается, так как кинжал туп. Картина. Бенгальские огни, стоны... Через сцену пролетает вампир.

Лентовский. Убью тебя, о, ненавистный ребенок! Иван, подай мне сюда другой нож! *(*Иван, похожий на Андраши, *подает ему нож, но в это время спускается* Злой гений*)*

Злой гений*(шепчет* Лентовскому*).* Поставь «Кавардак в Риме» — и дело в шляпе: Маленький Сбор погибнет.

Лентовский*(хлопает себя по лбу).* И как это я раньше не догадался! Григорий Александрович, ставьте «Кавардак в Риме»! *(Слышен голос Арбенина: «Шикарно!»)* С прроцессией, черт возьми! *(Засыпает в сладких надеждах)*

Действие I

Сиротка*(сидит на камушке).* Я влюблена в Артура… Больше я вам ничего не могу сказать. Сама я маленькая, голос у меня маленький, роль маленькая, а если я говорю большие длинноты, так на то у вас уши и терпение есть. Я-то еще ничего, а вот подождите-ка, какой длиннотой угостит вас сейчас Тамарин! Еще и не так поморщитесь! *(Киснет.)*

Луна. Гм! *(Зевает и хмурится.)*

Рафаэли-Тамарин*(входит). Я* сейчас вам расскажу… Дело, видите ли, вот в чем… *(набирает в себя воздуху и начинает длиннейший монолог. Два раза он садится, пять раз утирает пот, в конце концов хрипнет и, чувствуя в горле предсмертную агонию, умоляюще глядит на Лентовского).*

Лентовский*(звякая ножницами).* Ужо надо будет урезать.

Луна*(хмурясь).* Не удрать ли? Судя по первому действию, из оперетки одна только грусть выйдет.

Рафаэли*(покупает у Сиротки картину Артура за тысячу рублей).* Выдам за свою картину.

Фалькони*(входит с графиней).* В первом действии

не нужны ни я, ни моя супруга, но тем не менее волею автора позвольте представиться… Моя супруга, изменщица. Прошу любить и жаловать… Если не смешно, то извините.

Графиня *(изменяет мужу).* Беда быть женою ревнивого мужа! *(Изменяет мужу.)*

Гессе. Я лишний на сцене, а между тем стою здесь… Куда деть руки? *(Не зная, куда деть руки, ходит.)*

Сиротка *(взяв от Рафаэли деньги, едет в Рим к Артуру, в которого влюблена. Для неизвестной цели переодевается в мужское платье. За ней едут в Рим все).*

Луна. Какая смертоносная скучища… Не затмиться ли мне? *(Начинается затмение луны.)*

Действия II и III

Графиня *(изменяет мужу).* Артур душка…

Сиротка. Поступлю к Артуру в ученики. *(Поступает и киснет. Ей подносят венок honoris causa.[133])*

Артур. Я влюблен в графиню, но мне нужна не такая любовь… Я хочу любить тихо, платони-

---

[133] Примечания: 133
Ради почета *(лат.).*

чески...

Графиня *(изменяет мужу).* Какой хороший мальчишка *(заглядывается на* Сиротку*).* Дай-ка я с ним поцелуюсь! *(Изменяет мужу и Артуру.)*

Артур. Я возмущен!

Сиротка *(переодевается в женское платье). Я* женщина! *(Выходит за внезапно полюбившего ее Лртура.)*

Публика. Это и все? Гм...

Процессия: толпа людей, одетых лягушками, несет бумажного быка и две бочки.

Оперетка *(проваливаясь).* Уж сколько на этом самом месте разных разностей проваливалось!

Лентовский *(хватая проваливающуюся* Оперетку *за шиворот).* Нет, стой! *(Начинает урезывать ее ножницами.)* Стой, матушка... Мы тебя еще починим... *(Урезав, пристально смотрит.)* Только испортил, черт возьми.

Оперетка. Уж чему быть, тому не миновать. *(Проваливается.)*

Апофеоз. Лентовский на коленях. Добрый гений, защищая *Кассу* с ребенком, стоит перед ним в позе проповедника... В перспективе стоят новые оперетки и Большой Сбор.

Затмение Луны
(Из провинциальной жизни)

№ 1032 *Пиркулярно.*

22 сентября в 10 часов вечера имеет быть затмение планеты Луны. Так как подобное явление природы не только не предосудительно, но даже поучительно в том рассуждении, что даже и планеты законам природы часто повинуются, то в видах поощрения предлагаю вам, ваше благородие, сделать распоряжение о зажжении в этот вечер в вашем участке всех уличных фонарей, дабы вечерняя темнота не мешала начальствующим лицам и жителям обозревать оное затмение, а также прошу вас, милостивый государь, строго следить, чтобы на улицах не было по сему поводу сборищ, радостных криков и прочее. О лицах, превратно истолковывающих оное явление природы, если таковые окажутся (на что я, впрочем, зная здравомыслие обывателей, не надеюсь), прошу доносить мне.

Тнилодушин.

Верно: Секретарь Трясунов.

В ответ на отношение вашего высокоблагоро-

дия за № 1032 имею честь заявить, что в моем участке уличных фонарей не имеется, а посему затмение планеты Луны произошло при полной темноте воздуха, но, несмотря на это, многими было видимо в надлежащей отчетливости. Нарушений общественной тишины и спокойствия, равно как превратных толкований и выражений неудовольствия, не было, за исключением того случая, когда домашний учитель, сын дьякона Амфилохий Бабельмандебский, на вопрос одного обывателя, в чем заключается причина сего потемнения планеты Луны, начал внушать длинное толкование, явно клонящееся к разрушению понятий здравого смысла. В чем же заключалось его толкование, я не понял, так как он, объясняя по предметам науки, употреблял в своих словах много иностранных выражений.

Укуси-Каланчевский.

В ответ на отношение вашего высокоблагородия за № 1032 имею честь донести, что во вверенном мне участке затмения Луны не было, хотя, впрочем, на небе и происходило некоторое явление природы, заключавшееся в потемнении лунного света, но было ли это затмение, доподлинно сказать не могу. Уличных фонарей по тщательном розыске оказалось в моем

участке только три, кои после омытия стекол и очищения внутренностей были зажжены, но все эти меры не имели надлежащей пользы, так как означенное потемнение происходило тогда, когда фонари вследствие дутия ветра и проникновения в разбитые стекла потухли и, следовательно, не могли прояснять означенной в отношении вашего высокоблагородия темноты. Сборищ не было, так как все обыватели спали за исключением одного только писца земской управы Ивана Авелева, который сидел на заборе и, глядя в кулак на потемнение, двухсмысленно улыбался и говорил: «По мне хоть бы и вовсе Луны не было… Наплевать!» Когда же я ему заметил, что сии слова легкомысленны, он дерзко заявил: «А ты, мымра, чего за Луну заступаешься? Нешто и ее ходил с праздником поздравлять?» Причем присовокупил безнравственное выражение в смысле простонародного ругательства, о чем и имею честь донести.

Глоталов.

С подлинным верно: Человек без селезенки.

На кладбище

«Где теперь его кляузы,
ябедничество, крючки, взятки?»

Гамлет

— Господа, ветер поднялся, и уже начинает темнеть. Не убраться ли нам подобру-поздорову?

Ветер прогулялся по желтой листве старых берез, и с листьев посыпался на нас град крупных капель. Один из наших поскользнулся на глинистой почве и, чтобы не упасть, ухватился за большой серый крест.

— «Титулярный советник и кавалер Егор Грязноруков…» — прочел он. — Я знал этого господина… Любил жену, носил Станислава, ничего не читал… Желудок его варил исправно… Чем не жизнь? Не нужно бы, кажется, и умирать, но — увы! — случай стерег его… Бедняга пал жертвою своей наблюдательности. Однажды, подслушивая, получил такой удар двери в голову, что схватил сотрясение мозга (у него был мозг) и умер. А вот под этим памятником лежит человек, с пеленок ненавидевший стихи, эпиграммы… Словно в насмешку, весь его памятник испещрен

стихами… Кто-то идет!

С нами поравнялся человек в поношенном пальто и с бритой, синевато-багровой физиономией. Под мышкой у него был полуштоф, из кармана торчал сверток с колбасой.

— Где здесь могила актера Мушкина? — спросил он нас хриплым голосом.

Мы повели его к могиле актера Мушкина, умершего года два назад.

— Чиновник будете? — спросили мы у него.

— Нет-с, актер… Нынче актера трудно отличить от консисторского чиновника. Вы это верно заметили… Характерно, хотя для чиновника и не совсем лестно-с.

Насилу мы нашли могилу актера Мушкина. Она осунулась, поросла плевелом и утеряла образ могилы…

Маленький дешевый крестик, похилившийся и поросший зеленым, почерневшим от холода мохом, смотрел старчески уныло и словно хворал.

— «Забвенному другу Мушкину»… — прочли мы.

Время стерло частицу *не* и исправило человеческую ложь.

— Актеры и газетчики собрали ему на памятник и… пропили, голубчики… — вздохнул актер,

кладя земной поклон и касаясь коленами и шапкой мокрой земли.

— То есть как же пропили?

— Очень просто. Собрали деньги, напечатали об этом в газетах и пропили… Это я не для осуждения говорю, а так… На здоровье, ангелы! Вам на здоровье, а ему память вечная.

— От пропивки плохое здоровье, а память вечная — одна грусть. Дай бог временную память, а насчет вечной — что уж!

— Это вы верно-с. Известный ведь был Мушкин, венков за гробом штук десять несли, а уж забыли! Кому люб он был, те его забыли, а кому зло сделал, те помнят. Я, например, его во веки веков не забуду, потому, кроме зла, ничего от него не видел. Не люблю покойника.

— Какое же он вам зло сделал?

— Зло великое, — вздохнул актер, и по лицу его разлилось выражение горькой обиды. — Злодей он был для меня и разбойник, царство ему небесное. На него глядючи и его слушаючи, я в актеры поступил. Выманил он меня своим искусством из дома родительского, прельстил суетой артистической, много обещал, а дал слезы и горе… Горька доля актерская! Потерял я и молодость, и трезвость, и образ божий… За душой ни гроша,

каблуки кривые, на штанах бахрома и шахматы, лик словно собаками изгрызен… В голове свободомыслие и неразумие… Отнял он у меня и веру, злодей мой! Добро бы талант был, а то так, ни за грош пропал… Холодно, господа почтенные… Не желаете ли? На всех хватит… Бррр… Выпьем за упокой! Хоть и не люблю его, хоть и мертвый он, а один он у меня на свете, один, как перст. В последний раз с ним вижусь… Доктора сказали, что скоро от пьянства помру, так вот пришел проститься. Врагов прощать надо.

Мы оставили актера беседовать с мертвым Мушкиным и пошли далее. Заморосил мелкий холодный дождь.

При повороте на главную аллею, усыпанную щебнем, мы встретили похоронную процессию. Четыре носильщика в белых коленкоровых поясах и в грязных сапогах, облепленных листвой, несли коричневый гроб. Становилось темно, и они спешили, спотыкаясь и покачивая носилками…

— Гуляем мы здесь только два часа, а при нас уже третьего несут… По домам, господа?

Гусиный разговор

В синеве небесной, совершая свой обычный перелет, длинной вереницей летели дикие гуси. Впереди летели старики, гусиные действительные статские советники, позади — их семейства, штаб и канцелярия. Старики, кряхтя, решали текущие вопросы, гусыни говорили о модах, молодые же гусаки, летевшие позади, рассказывали друг другу сальные анекдоты и роптали. Молодым казалось, что старики летят вперед не так быстро, как того требуют законы природы…

— Так нельзя лететь! — говорили они, когда истощался запас сальных анекдотов. — Это черт знает на что похоже! Летим, летим и еще до Черного моря не долетели! Эй, вы, ваше-ство! Будете вы по-божески лететь или нет?

Рассудительные же старики рассуждали иначе:

— И не понимаю, зачем только мы летим, Гусь Гусич! — говорил один старичок другому, записывавшему фамилии роптавших. — Летим на Запад, в неведомую бездну, в страну опереток! Согласен, оперетка хорошая вещь, даже необходимая, но поймите же, что мы для нее еще не

созрели! Для нас с вами куплет «Все мы невинны от рожденья», пожалуй, еще ничего, для ума же несозревшего он гибель.

— Душевно рад, ваше-ство, что нахожу в вас соучастника в своей скорби. Природа заставляет нас лететь, здравый же смысл вопрошает: ну, к чему мы летим? Сидеть бы нам зиму здесь, где и места много, и яства изобильны, и гусиная нравственность самобытна. Взгляните вы на этих свойских гусей! Сколь завидна их доля! Живут оседло… Тут у них и даровой корм, и вода, и навоз, в недрах коего заключается много богатств, и многоженство, освященное веками… И сколькими важными поступками летописи их украшены! Не спаси они Рима, этого рассадника римских тлетворных идей, они не знали бы себе в истории соперников! Взгляните, какие они сытые, довольные, как нравственны их жены!

— Но, ваше-ство, — вмешался один гусак из породы молодых да ранних, — за это видимое довольство с них берут слишком дорого. Они платят своею независимостью. Из них, ваше-ство, приготовляют «гуся с капустой», гусиное сало и гусиные перья!

— Вот если бы у тебя в голове было поменьше таких идей, — огрызнулся старик, — то ты не

говорил бы так со старшими! Как твоя фамилия?

И так далее. До места своего назначения гуси летели благополучно. Особенного ничего не произошло. Раз только старики, увидев на земле молоденькую свойскую гусыню, моргнули глазами, прищелкнули языками и, забрав фуражные деньги, спустились вниз, но и то ненадолго. Гусыня деньги взяла, но чувства стариков отвергла, сославшись на свою невинность.

Язык до Киева доведет

Куда, милай, скрылся?
Где тибя сыскать?

Нар. песня

1-й. — Снять шапку! Здесь не приказано!

2-й. — У меня не шапка, а цилиндр!

1-й. — Это все равно-с!

2-й. — Нет, не все равно-с… Шапку и за полтинник купишь, а поди-ка цилиндр купи!

1-й. — Шапку или шляпу… вообще…

2- й (снимая шляпу). — Так вы выражайтесь ясней… *(Дразнит.)* Шапку, шапку…

1-й. — Прошу не разговаривать! Вы мешаете прочим слушать!

2-й. — Это вы разговариваете и мешаете, а не я. Я молчу, брат… И вовсе молчал бы, ежели бы б меня б не трогали б.

1-й. — Тссс…

2-й. — Нечего тсыкать… *(Помолчав.) Я* и сам умею тсыкать… А глаза нечего на меня пялить… Не боюсь… Не таких видывал…

Жена 2-го. — Да перестань! Будет тебе!

2-й. — Чего ж он ко мне пристал? Ведь я его не

трогал? Ведь нет? Так чего же он ко мне лезет? Или, может быть, вы хотите, чтоб я на вас господину приставу пожалился?

1-й. — После, после… Замолчите…

2-й. — Ага, испужался! То-то… Молодец, как это говорится, против овец, а против молодца сам овца.

В публике. — Тссс…

2-й. — Даже публика заметила… Для порядку поставлен, а сам беспорядки делает… *(Саркастически улыбается.)* Еще тоже медали на грудях… сабля… Народ, посмотришь!

(1-й уходит на минутку.)

2-й. — Стыдно стало, ушел… Стало быть, совесть еще не совсем потеряна, если слов стыдится… Поговори он еще, так я бы ему еще и не то сказал. Знаю, как с ихним братом обращаться!

Жена 2-го. — Молчи, публика глядит!

2-й. — Пущай глядит… Свои деньги заплатил, а не чужие… А ежели разговариваю, так не выводи из терпения… Ушел тот… эн-тот самый, ну и молчу теперь… Ежели меня никто не трогает, так зачем я стану разговаривать? Разговаривать незачем… Я понимаю… *(Аплодирует.)* Бис! Бис!

1, 3, 4, 5 и 6-й (словно вырастая из земли). — Пожалуйте! Идите-с!

2-й. — Куда это? *(Бледнея.)* За какое самое?

1, 3,4, 6 и 6-й. — Пожалуйте-с! *(Берут под руки 2-го.)* Не болтайте ногами… Пожалуйте-с! *(Влекут.)*

2-й. — Свои деньги заплативши и вдруг… это самое… *(Увлекается.) В публике.* — Жулика вывели!

И прекрасное должно иметь пределы

В записной книжке одного мыслящего коллежского регистратора, умершего в прошлом году от испуга, было найдено следующее:

Порядок вещей требует, чтобы не только злое, но даже и прекрасное имело пределы. Поясню примерами:

Даже самая прекрасная пища, принятая через меру, производит в желудке боль, икоту и чревовещание.

Лучшим украшением человеческой головы служат волосы. Но кто не знает, что сии самые волосы, будучи длинны (не говорю о женщинах), служат признаком, по коему узнаются умы легкомысленные и вредоносные?

Один чиновник, сын благочестивых и добронравных родителей, считал за большое удовольствие снимать перед старшими шапку. Это прекрасное качество его души особенно бросалось в глаза, когда он нарочно ходил по городу и искал встречи со старшими только для той цели, чтобы лишний раз снять перед ними шапку и тем воздать должное. Натура его была до того почтительная и уважительная, что он снимал шапку

не только перед своим непосредственным и косвенным начальством, но даже и перед старшими возрастом. Следствием такого благородства души его было то, что ему каждую секунду приходилось обнажать свою голову. Однажды, встретясь в одно зимнее, холодное утро с племянником частного пристава, он снял шапку, застудил голову и умер без покаяния. Из этого явствует, что быть почтительным необходимо, но в пределах умеренности.

Не могу также умолчать и про науку. Наука имеет многие прекрасные и полезные качества, но вспомните, сколько зла приносит она, ежели предающийся ей человек переходит границы, установленные нравственностью, законами природы и прочим? Горе тому, который… Но умолчу лучше…

Фельдшер Егор Никитыч, лечивший мою тетеньку, любил во всем точность, аккуратность и правильность — качества, достойные души возвышенной. На всякое действие и на всякий шаг у него были нарочитые правила, опытом установленные, а в исполнении сих правил он отличался примерным постоянством. Однажды, придя к нему в пять часов утра, я разбудил его и, имея на лице написанную скорбь, воскликнул:

— Егор Никитыч, поспешите к нам! Тетенька истекает кровью!

Егор Никитыч встал, надел сапоги и пошел в кухню умываться. Умывшись с мылом и почистивши зубы, он причесался перед зеркалом и начал надевать брюки, предварительно почистив их и разгладив руками. Затем он почистил щеткой сюртук и жилетку, завел часы и аккуратненько прибрал свою постель. Покончив с постелью, он, как бы давая мне урок аккуратности, стал пришивать к пальто сорвавшуюся пуговку.

— Кровью истекает! — повторил я, изнемогая от понятного нетерпения.

— Сию минуту-с… Только вот богу помолюсь.

Егор Никитыч стал перед образами и начал молиться.

— Я готов… Только вот пойду на улицу, погляжу, какие надевать калоши — глубокие или мелкие?

Когда, наконец, мы вышли из его дома, он запер свою дверь, помолился набожно на восток и всю дорогу, идя тихо по тротуару, старался ступать на гладкие камни, боясь испортить обувь. Придя к нам, мы тетушку в живых уже не застали. Стало быть, и пунктуальность должна иметь пределы.

Писание, по-видимому, занятие прекрасное.

Оно обогащает ум, набивает руку и облагораживает сердце. Но много писать не годится. И литература должна иметь предел, ибо многое писание может произвести соблазн. Я, например, пишу эти строки, а дворник Евсевий подходит к моему окну и подозрительно посматривает на мое писание. В его душу я заронил сомнение. Спешу потушить лампу.

Вывеска

В Ростове-на-Дону, на Садовой улице, над лавкою одного торговца могильными памятниками висит такая вывеска:

«Памятных дел мастер».

Сообщил Лн. Ч.

Свадьба с генералом
(Рассказ)

Отставной контр-адмирал Ревунов-Караулов, маленький, старенький и заржавленный, шел однажды с рынка и нес за жабры живую щуку. За ним двигалась его кухарка Ульяна, держа под мышкой кулек с морковью и пачку листового табаку, который почтенный адмирал употреблял «от клопов, тли (она же моль), тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище».

— Дядюшка! Филипп Ермилыч! — услыхал он вдруг, поворачивая в свой переулок. — А я только что у вас был, целый час стучался! Как хорошо, что мы не разминулись!

Контр-адмирал поднял глаза и увидел перед собою своего племянника Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в страховом обществе «Дрянь».

— У меня к вам есть просьба, — продолжал племянник, пожимая дядюшкину руку и приобретая от этого сильный рыбий запах. — Сядемте на скамеечку, дядюшка… Вот так… Ну-с, дело вот в чем…

Сегодня венчается мой хороший друг и приятель, некто Любимский… человек, между нами говоря, прелестнейший… Да вы, дядюшка, положите щуку! Что она будет вам шинель пачкать?

— Это ничего… Гадость рыба, грош цена, а между тем икра — удивление! Распороть ей брюхо, выпустить оттеда икру, смешать ее, знаешь, с толчеными сухариками, лучком, перцем и — приидите, насладимся!

— Человек прекраснейший… Служит оценщиком в ссудной кассе, но вы не подумайте, что это какой-нибудь замухрышка или валет… В ссудных кассах нынче и благородные дамы служат… Семейство, могу вас уверить… отец, мать и прочие… люди превосходные, радушные такие, религиозные… Одним словом, семья русская, патриархальная, от которой вы будете в восторге…

Женится Любимский на сиротке, по любви… Славные люди!.. Так вот не можете ли вы, дорогой дядечка, оказать честь этой семье и пожаловать сегодня к ним на свадебный ужин?

— Но ведь я тово… незнаком! Как я поеду?

— Это ничего не значит! Не к баронам и не к графам ведь ехать! Люди простые, без всяких этикетов… Русская натура: милости просим, все знакомые и незнакомые! И к тому же… я вам

откровенно… семья патриархальная, с разными предрассудками, причудами… Смешно даже… Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе присутствовал генерал! Тысячи рублей им не надо, а только посадите за их стол генерала! Согласен, грошовое тщеславие, предрассудок, но… но отчего же не доставить им этого невинного удовольствия? Тем более, что и вам не будет там скучно… Нарочно для вас припасли бутылочку цимлянского и омаров жестяночку… Да и блеснете, откровенно говоря. Теперь ваш чин пропадает даром, как бы зарыт в землю, и никто не чувствует, что вы такого звания, а там, по крайней мере, всем понятно будет! Да ей-богу!

— Но прилично ли это будет для меня, Андрюша? — спросил контр-адмирал, задумчиво глядя на извозчика. — *Я,* знаешь, подумаю…

— Странно, о чем тут можно думать? Езжайте, вот и все! А что насчет приличия, то даже обидно… Точно я могу родного дядю повести в неприличное место!

— Пожалуй… Как знаешь…

— Так я за вами вечерком заеду… Этак часиков в одиннадцать, попоздней, чтобы как раз на ужин попасть… по-аристократически…

В И часов Нюнин заехал за дядюшкой. Реву-

нов-Караулов надел свой мундир и штаны с золотыми лампасами, нацепил ордена — и они поехали. Свадебный ужин уже начался, когда взятый из трактира напрокат лакей снимал с адмирала пальто с капюшоном, и мать жениха, г-жа Любимская, встречая его в передней, щурила на него глаза.

— Генерал? — вздыхала она, вопросительно глядя на Андрюшу, снимавшего пальто, и кланяясь. — Очень приятно, ваше превосходительство… Но какие неосанистые… завалященькие… Гм… Никакой строгости в виде и даже еполетов нету… Гм… Ну, все равно, не ворочаться же, какого бог дал… Так и быть, пожалуйте, ваше превосходительство! Слава богу, хоть орденов много…

Контр-адмирал поднял вверх свежевыбритый подбородок, внушительно кашлянул и вошел в зал… Тут его взорам представилась картина, способная размягчить и обратить в пепел даже камень. Посреди залы стоял большой стол, уставленный закусками и бутылками… За столом, на самом видном месте, сидел жених Любимский во фраке и белых перчатках. По его вспотевшему лицу плавала улыбка. Очевидно, его услаждали не столько предлежащие яства, сколько предвкушение предстоящих брачных наслаждений.

Около него сидела невеста с заплаканными глазами и с выражением крайней невинности на лице. Контр-адмирал сразу понял, что она добродетельна. Все остальные места были заняты гостями обоего пола.

— Контр-адмирал Ревунов-Караулов! — крикнул Андрюша.

Гости поглядели исподлобья на вошедших, почтительно вытерли губы и приподнялись.

— Позвольте представить, ваше превосходительство! Новобрачный Эпаминонд Саввич Любимский с супругою… Иван Иваныч Ять, служащий на телеграфе… Иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий Спиридоныч Дымба… Федор Яковлевич Наполеонов и… прочие… Садитесь, ваше-ство!

Контр-адмирал покачнулся, сел и тотчас же придвинул к себе селедку.

— Как вы его отрапортовали? — обратилась шепотом хозяйка к Андрюше, подозрительно и озабоченно поглядывая па сановного гостя. — Я просила генерала, а не этого… как его… котр… конр…

— Контр-адмирала… Но вы не понимаете, Настасья Тимофеевна. Поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по та-

бели о рангах соответствует генерал-майору, постольку контр-адмирал соответствует действительному статскому советнику… Разница только в ведомствах, суть же — один черт… Одна цена.

— Да, да… — подтвердил Наполеонов. — Это верно…

Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку цимлянского.

— Кушайте, ваше-ство! Извините только, пожалуйста… У себя там вы привыкли к деликатности, а у нас так просто!

— Да-с… — начал контр-адмирал после продолжительного молчания. — В старину люди всегда жили просто и были довольны… Я человек, который в чинах, и то живу просто…

— Вы давно в отставке, ваше-ство?

— С 1865-го года… В старину все просто было… Но…

Адмирал сказал «но», перевел дух и в это время увидел молодого гардемарина, сидевшего против него.

— Вы тово… во флоте, стадо быть? — спросил он.

— Точно так, ваше-ство!..

— Ага… Так… Чай, теперь все пошло по-новому, не так, как при нас было… Белотелые все пошли,

пушистые… Впрочем, флотская служба всегда была трудная… Это не то, что пехота какая-нибудь или, положим, кавалерия… В пехоте ничего умственного нет. Там даже и мужику понятно, как и что… А вот у нас с вами, молодой человек, нет-с! Шутишь! У нас с вами есть над чем задуматься… Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное… ээ… недоумение… Например: марсовые к вантам, на фок и грот! Что это значит? Это значит, что которые приставлены для закрепления брамселей, должны непременно находиться в это время на марсах, иначе надо командовать: салеитовые к вантам! Тут уж другой смысл… Хе-хе… Тонкость, что твоя математика! А вот ежели, идучи полным ветром… дай бог память… На брамсели и бом-брамсели! Тут марсовые, которые назначены для отдачи марселей и бом-брамселей, что есть духу бегут с марсов на салинги и бом-салинги, потом… дай бог память… расходятся по реям и раскрепляют означенные паруса, а в это время — понимаете? — в это самое время! — люди, которые внизу, становятся на брам и бом-брам-шкоты, фалы и брасы…

— За здоровье достоуважаемых гостей! — провозгласил жених.

— Да-с, — перебил контр-адмирал, поднима-

ясь и чокаясь. — Мало ли разных команд… Да вот хоть бы эту взять… дай бог память… брам и бом-брам-шкоты тянуть, фалы поднимаааай!!. Хорошо-с… Но что это значит и какой здесь смысл? Очень просто! Тянут, знаете ли, брам и бом-брам-шкоты и поднимают фалы… все вдруг! Причем уравнивают бом-брам-шкоты и бом-брам-фалы при подъеме, а в это время, глядя по надобности, потравливают брасы сих парусов, а когда уж, стало быть, шкоты натянуты и фалы все до места подняты, то брам и бом-брам-брасы вытягиваются и реи брасопятся соответственно направлению ветра…

— Дядюшка! — шепнул Андрюша. — Хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь другом. Это непонятно гостям и… скучно.

— Постой… Я рад, что молодого человека встретил… Молодой человек! Я всегда желал и… желаю… От души желаю! Дай бог… Мне приятно… Да-с… А вот ежели корабль лежит бейдевинд правым галсом под всеми парусами, исключая грота, то как надлежит командовать? Очень просто… дай бог память… Всех на вееерх, через фордевинд поворачивать! Ведь так? Хе-хе…

— Будет, дядюшка! — шепнул Андрюша.

Но дядюшка не унимался. Он выкрикивал

команду за командой и каждый свой хриплый выкрик пояснял длинным комментарием. Приближался уж конец ужина, а между тем по его милости не было сказано еще ни одного длинного тоста, ни одной речи. Иван Иваныч Ять, у которого давно уже висела на языке цветистая речь, начал беспокойно вертеться на стуле, морщиться и шептаться с соседями. Раз, когда за десертом адмирал поперхнулся цимлянским и закашлялся, он воспользовался паузой, вскочил и начал:

— В сегодняшний, так сказать, день… Гм… в который мы, собравшись для чествования нашего любимого…

— Да-с… — перебил его адмирал. — И ведь все это надо помнить! Например… дай бог память… бейфуты и топенанты раздернуть, бакштаги с правой за марс!

— Мы люди темные, ваше превосходительство, — сказала хозяйка, — ничего этого самого не понимаем, а вы расскажите нам лучше что-нибудь касающее…

— Вы не понимаете, потому что… термины! Конечно! А молодой человек понимает… Да. Старину с ним вспомнил… А ведь приятно, молодой человек! Плывешь себе по морю, горя не знаючи, и…

Адмирал прослезился и заговорил дрожащим голосом:

— Например… дай бог память… Кливер поднимай, пошел браса, фока и грота-галсы садить!

Адмирал вытер глаза, всхлипнул и продолжал:

— Тут сейчас поднимают кливер-фалы, брасопят грот-марсель и прочие, что над оным, паруса в бейдевинд, а потом садят до места фока и грота-галсы, тянут шкоты и выбирают булиня… Пла… плачу… Рад…

— Генерал, а безобразите! — вспыхнула хозяйка. — Постыдились бы на старости лет! Мы вам не за то деньги платили, чтоб вы безобразили!

— Какие деньги? — вытаращил глаза контр-адмирал.

— Известно какие… Небось, уж получили через Андрея Ильича четвертную! А вам, Андрей Ильич, грех! Мы вас не просили такого нанимать…

Старик взглянул на вспыхнувшего Андрюшу, на хозяйку — и все понял. «Предрассудок» патриархальной семьи, о котором говорил ему Андрюша, предстал перед ним во всей его пакости… В один миг слетел с него хмель… Он встал из-за стола, засеменил в переднюю и, одевшись, вышел…

Больше уж он никогда не ходил на свадьбы.

К характеристике народов (Из записок одного наивного члена русского географического общества)

Французы замечательны своим легкомыслием. Они читают нескромные романы, женятся без позволения родителей, не слушаются дворников, не уважают старших и даже не читают «Московских ведомостей». Они до того безнравственны, что все французские консистории завалены бракоразводными делами. Сара Бернар, например, так часто разводится с мужьями, что один секретарь консистории по ее милости нажил себе два дома. Женщины поступают в опереточные актрисы и гуляют по Невскому, а мужчины пекут французские булки и поют «Марсельезу». Много альфонсов: Альфонс Додэ, Альфонс Ралле и другие…

Шведы воевали с Петром Великим и дали нашему соотечественнику Лапшину идею шведских спичек, но не научили его, как делать эти спички легко зажигающимися и годными для употребления. Ездят на шведках, слушают в ресторанах пение шведок и подмазывают колеса норвеж-

ским дегтем. Живут в местах отдаленных.

Греки занимаются по преимуществу торговлей. Продают губки, золотых рыбок, сантуринское вино и греческое мыло, не имеющие же торговых прав водят обезьян или занимаются преподаванием древних языков. В свободное от занятий время ловят рыбу около одесской и таганрогской таможен. Питаются недоброкачественной пищей, приготовляемой в греческих харчевнях, от нее же и умирают. Между ними попадаются иногда и высокие люди: так, содержатель татарского ресторана в Москве Владос очень высокий и очень толстый человек.

Испанцы дни и ночи играют на гитарах, дерутся под окнами на дуэлях и ведут переписку с звенигородским помещиком Константином Шиловским, сочинившим «Тигренка» и «Желаю быть испанцем». На государственную службу не принимаются, так как носят длинные волосы и пледы. Женятся по любви, но тотчас же после свадьбы закалывают своих жен от ревности, несмотря даже на увещания испанских околоточных, которых в Испании уважают. Занимаются приготовлением шпанских мушек.

Черкесы все до единого имеют титул «сиятельства». Едят шашлык, пьют кахетинское и дерутся

в редакциях. Занимаются выделыванием старинного кавказского оружия, ни о чем никогда не думают и имеют длинные носы для удобнейшего вывода их из публичных мест, где они производят беспорядки.

Персы воюют с русскими клопами, блохами и тараканами, для каковой цели приготовляют персидский порошок. Воюют уже давно, однако же еще не победили и, судя по размерам купеческих перин и щелей в чиновничьих кроватях, победят едва ли скоро. Богатые персы сидят на персидских коврах, а бедные — на колах, причем первые испытывают гораздо большее удовольствие, чем вторые. Носят орден «Льва и Солнца», каковой орден имеют наш Юлий Шрейер, завоевавший себе персидские симпатии, Рыков, оказавший России персидские услуги, и многие московские купцы за неослабную поддержку причин упомянутой войны с насекомыми.

Англичане очень дорого ценят время. «Время — деньги», говорят они, и потому своим портным вместо денег платят временем. Они постоянно заняты: говорят речи на митингах, ездят на кораблях и отравляют китайцев опиумом. У них нет досуга… Им некогда обедать, бывать на балах, ходить на рандеву, париться в бане. На ранде-

ву вместо себя посылают они комиссионеров, которым дают неограниченные полномочия. Дети, рожденные от комиссионеров, признаются законными. Живет этот деловой народ в английских клубах, на английской набережной и в английском магазине. Питается английской солью и умирает от английской болезни.

Картинки из недавнего прошлого

В правлении общественного банка, в кабинете директора за приличной закуской сидят сам директор Рыков и господин с седыми бакенами, Анной на шее и с сильным запахом флер-д'оранжа. На бритой физиономии последнего плавает снисходительная улыбка, в движениях мягкость…

— Да, — говорит господин, сбрасывая пепел с сигары. — Такие-то дела! Тут роды у жены, потом поездка в Ниццу, там свадьба сестры… по горло! Насилу к вам собрался. Собирался, собирался и наконец таки я у вас, душа моя… Ну? Как живут мои векселя? Чай, скучают? Хе-хе… Срок им был в августе, а теперь уже декабрь. Как вам нравится подобная аккуратность? Хе-хе… Кому-кому, а уж служащему по финансам следовало бы быть аккуратнее… Pardon, извиняюсь!

— Что вы… помилуйте-с! Мы и забыли-с!.. Хе-хе…

— Там по векселям моим приходится, кажется, тысяч триста да процентов… если не вру, тысяч двадцать с хвостом. Так? Векселя, конечно, мы перепишем, душа моя Иван Гаврилыч, а вот как

быть с процентами — ей-богу, не знаю… Сейчас уплатить их вам я не могу, так их оставить тоже неудобно. Вы, голубчик, бухгалтерию знаете лучше меня и знаете все эти тонкости… Как быть?

— Очень просто-с! Векселя мы заменим новыми, а проценты, ваше-ство, припишем к капитальному долгу…

— Вы велики, моншер! Ну-с, теперь вторая просьба… Жена моя купила себе маленькую дачу… этакую ферму, знаете ли… с рассрочкой на три года. Завтра, душа моя, представьте, срок платежа. До зарезу нужно сорок четыре тысячи! Я знаю, вы мне не откажете, дорогой мой, но вот одно только неудобство… здесь в Скопине, кроме вас, никого нет у меня знакомого! Кто надпишет мне бланк?

— Это не суть важно, ваше-ство… Мы вам найдем бланконад-писателя. Иван, поди сюда!

Входит сторож Иван.

— Подай чаю, — говорит ему Рыков, — да вот надпиши его-ству бланок!

Бланк надписывается, и довольный господин презентует Ивана двугривенным.

* * *

Заседание скопинской думы. Рассматриваются годовые отчеты банка. Рыков сидит рядом с головою.

— Нам, господа, нужно выбрать кассира банка, — говорит голова. — Рекомендую Кичкина. Человек честный и порядочный…

— Отсутствующие не могут быть избираемы, — говорит Рыков, подозревающий в Кичкине человека «вредного».

— А где же Кичкин, братцы? — шепчутся друг с другом гласные, переглядываясь. — Нешто его нет?

— Нету… *Он* так устроил, что Кичкину понадобилось из города уехать, рельсы смотреть, и повестку ему вручили в тот самый раз, когда он на поезд садился…

— Хитер, шельма! Афонасова споил, Ивана подкупил, Егора в кабалу взял… Отчеты эти самые, положим, рассматривать… Да для че их глядеть? Один смех только! Жульничество!

— А вы, господин, потише-с! — шипит чуйка с красным носом и в новых сапогах гармонийкой, по всем признакам клеврет Рыкова. — Сами должны, а такие слова говорите!

— Не я один должен, все должны *ему*|

— Все и молчите.

— Отчеты, господа, я полагаю утвердить без прений, — говорит голова. — В банке все обстоит благополучно, а ежели газеты и пишут, то сами знаете, газеты на то и созданы духом нечистым, чтоб *лжу* бесовскую в *людей* вселять… Нахожу все верным и обстоятельным… Никто ничего не желает возразить?

Семен, Петр и Иона хотели бы возразить, но каждый из них должен по 30 000.

— В таком разе предлагаю, — продолжает голова, — выразить нашу благодарность И. Г. Рыкову за отличное ведение банковых дел!

— Благодарим! Благодарим!

Рыков кивает головой и уезжает восвояси.

* * *

Почтовая контора. Почтмейстер Перов, получающий ежемесячно от Рыкова 57 руб., беседует с «просителем» (в Скопине почтмейстер — начальство).

— Что вам угодно?

— Два месяца тому назад я послал письмо в редакцию «Нового времени», и письмо это оказывается не полученным. Могу ли я узнать о

судьбе этого письма? Потом — я не получил 41 № «Вестника», где помещены корреспонденции из Скопина. Клуб тоже не получил этого нумера.

— Прошу не облокачиваться!

— Третьего дня мой знакомый не получил «Новостей», где тоже есть корреспонденция из Скопина. Потом-с — не можете ли вы объяснить, где то мое письмо, которое я послал в июле в Москву, в редакцию «Курьера»? Оно, представьте, тоже не получено!

— Теперь уже 3 часа, и прием всякого рода корреспонденций прекращен! Приходите завтра!

Страшная ночь

Иван Петрович Панихидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом:

— Темная, беспросветная мгла висела над землей, когда я, в ночь под Рождество 1883 года, возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве, у Успения-на-Могильцах, в доме чиновника Трупова, стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетущи…

«Жизнь твоя близится к закату… Кайся…»

Такова была фраза, сказанная мне на сеансе Спинозой, дух которого нам удалось вызвать. Я просил повторить, и блюдечко не только повторило, но еще и прибавило: «Сегодня ночью». *Я не* верю в спиритизм, но мысль о смерти, даже намек на нее повергают меня в уныние. Смерть, господа, неизбежна, она обыденна, но, тем не менее, мысль о ней противна природе человека… Теперь же, когда меня окутывал непроницаемый

холодный мрак и перед глазами неистово кружились дождевые капли, а над головою жалобно стонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал человеческого звука, душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх. Я, человек свободный от предрассудков, торопился, боясь оглянуться, поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения.

Панихидин порывисто вздохнул, выпил воды и продолжал:

— Этот неопределенный, но понятный вам страх не оставил меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этаж дома Трупова, отпер дверь и вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно. В печи плакал ветер и, словно просясь в тепло, постукивал в дверцу отдушника.

«Если верить Спинозе, — улыбнулся я, — то под этот плач сегодня ночью мне придется умереть. Жутко, однако!»

Я зажег спичку… Неистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего отдушника

жалобно провизжала о помощи…

«Плохо в такую ночь бесприютным», — подумал я.

Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгоралась сера и я окинул глазами свою комнату, мне представилось зрелище неожиданное и ужасное… Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички! Тогда, быть может, я ничего не увидел бы и волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери и, полный ужаса, отчаяния, изумления, закрыл глаза…

Посреди комнаты стоял гроб.

Синий огонек горел недолго, но я успел различить контуры гроба… Я видел розовый, мерцающий искорками, глазет, видел золотой, галунный крест на крышке. Есть вещи, господа, которые запечатлеваются в вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видели их одно только мгновение. Так и этот гроб. Я видел его одну только секунду, но помню во всех малейших чертах. Это был гроб для человека среднего роста и, судя по розовому цвету, для молодой девушки. Дорогой глазет, ножки, бронзовые ручки — все говорило за то, что покойник был богат.

Опрометью выбежал я из своей комнаты и, не

рассуждая, не мысля, а только чувствуя невыразимый страх, понесся вниз по лестнице. В коридоре и на лестнице было темно, ноги мои путались в полах шубы, и как я не слетел и не сломал себе шеи — это удивительно. Очутившись на улице, я прислонился к мокрому фонарному столбу и начал себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыхание сперло…

Одна из слушательниц припустила огня в лампе, придвинулась ближе к рассказчику, и последний продолжал:

— Я не удивился бы, если бы застал в своей комнате пожар, вора, бешеную собаку… Я не удивился бы, если бы обвалился потолок, провалился пол, попадали стены… Все это естественно и понятно. Но как мог попасть в мою комнату гроб? Откуда он взялся? Дорогой, женский, сделанный, очевидно, для молодой аристократки, — как мог он попасть в убогую комнату мелкого чиновника? Пуст он или внутри его — труп? Кто же *она,* эта безвременно покончившая с жизнью богачка, нанесшая мне такой странный и страшный визит? Мучительная тайна!

«Если здесь не чудо, то преступление», — блеснуло в моей голове.

Я терялся в догадках. Дверь во время моего

отсутствия была заперта и место, где находился ключ, было известно только моим очень близким друзьям. Не друзья же поставили мне гроб. Можно было также предположить, что гроб был принесен ко мне гробовщиками по ошибке. Они могли обознаться, ошибиться этажом или дверью и внести гроб не туда, куда следует. Но кому не известно, что наши гробовщики не выйдут из комнаты, прежде чем не получат за работу или, по крайней мере, на чай?

«Духи предсказали мне смерть, — думал я. — Не они ли уже постарались кстати снабдить меня и гробом?»

Я, господа, не верю и не верил в спиритизм, но такое совпадение может повергнуть в мистическое настроение даже философа.

«Но все это глупо, и я труслив, как школьник, — решил я. — То был оптический обман — и больше ничего! Идя домой, я был так мрачно настроен, что не мудрено, если мои больные нервы увидели гроб… Конечно, оптический обман! Что же другое?»

Дождь хлестал меня по лицу, а ветер сердито трепал мои полы, шапку… Я озяб и страшно промок. Нужно было идти, но… куда? Воротиться к себе — значило бы подвергнуть себя риску

увидеть гроб еще раз, а это зрелище было выше моих сил. Я, не видевший вокруг себя ни одной живой души, не слышавший ни одного человеческого звука, оставшись один, наедине с гробом, в котором, быть может, лежало мертвое тело, мог бы лишиться рассудка. Оставаться же на улице под проливным дождем и в холоде было невозможно.

Я порешил отправиться ночевать к другу моему Упокоеву, впоследствии, как вам известно, застрелившемуся. Жил он в меблированных комнатах купца Черепова, что в Мертвом переулке.

Панихидин вытер холодный пот, выступивший на его бледном лице, и, тяжело вздохнув, продолжал:

— Дома я своего друга не застал. Постучавшись к нему в дверь и убедившись, что его нет дома, я нащупал на перекладине ключ, отпер дверь и вошел. Я сбросил с себя на пол мокрую шубу и, нащупав в темноте диван, сел отдохнуть. Было темно… В оконной вентиляции тоскливо жужжал ветер. В печи монотонно насвистывал свою однообразную песню сверчок. В Кремле ударили к рождественской заутрене. Я поспешил зажечь спичку. Но свет не избавил меня от мрачного настроения, а напротив. Страшный, невыразимый

ужас овладел мною вновь… Я вскрикнул, пошатнулся и, не чувствуя себя, выбежал из номера…

В комнате товарища я увидел то же, что и у себя, — гроб!

Гроб товарища был почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно мрачный колорит. Как он попал сюда? Что это был оптический обман — сомневаться уже было невозможно… Не мог же в каждой комнате быть гроб! Очевидно, то была болезнь моих нервов, была галлюцинация. Куда бы я ни пошел теперь, я всюду увидел бы перед собой страшное жилище смерти. Стало быть, я сходил с ума, заболевал чем-то вроде «гробомании», и причину умопомешательства искать было недолго: стоило только вспомнить спиритический сеанс и слова Спинозы…

«Я схожу с ума? — подумал я в ужасе, хватая себя за голову. — Боже мой! Что же делать?!»

Голова моя трещала, ноги подкашивались… Дождь лил, как из ведра, ветер пронизывал насквозь, а на мне не было ни шубы, ни шапки. Ворочаться за ними в номер было невозможно, выше сил моих… Страх крепко сжимал меня в своих холодных объятиях. Волосы мои встали дыбом, с лица струился холодный пот, хотя я и

верил, что то была галлюцинация.

— Что было делать? — продолжал Панихидин. — Я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. К счастью, я вспомнил, что недалеко от Мертвого переулка живет мой хороший приятель, недавно только кончивший врач, Погостов, бывший со мной в ту ночь на спиритическом сеансе. Я поспешил к нему… Тогда он еще не был женат на богатой купчихе и жил на пятом этаже дома статского советника Кладбищенского.

У Погостова моим нервам суждено было претерпеть еще новую пытку. Взбираясь на пятый этаж, я услышал страшный шум. Наверху кто-то бежал, сильно стуча ногами и хлопая дверьми.

— Ко мне! — услышал я раздирающий душу крик. — Ко мне! Дворник!

И через мгновение навстречу мне сверху вниз по лестнице неслась темная фигура в шубе и помятом цилиндре…

— Погостов! — воскликнул я, узнав друга моего Погостова. — Это вы? Что с вами?

Поравнявшись со мной, Погостов остановился и судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, тяжело дышал, дрожал. Глаза его беспорядочно блуждали, грудь вздымалась…

— Это вы, Панихидин? — спросил он глухим

голосом. — Но вы ли это? Вы бледны, словно выходец из могилы… Да полно, не галлюцинация ли вы?.. Боже мой… вы страшны…

— Но что с вами? На вас лица нет!

— Ох, дайте, голубчик, перевести дух… Я рад, что вас увидел, если это действительно вы, а не оптический обман. Проклятый спиритический сеанс… Он так расстроил мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчас домой, увидел у себя в комнате… гроб!

Я не верил своим ушам и попросил повторить.

— Гроб, настоящий гроб! — сказал доктор, садясь в изнеможении на ступень. — Я не трус, но ведь и сам черт испугается, если после спиритического сеанса натолкнется в потемках на гроб!

Путаясь и заикаясь, я рассказал доктору про гробы, виденные мною…

Минуту глядели мы друг на друга, выпуча глаза и удивленно раскрыв рты. Потом же, чтобы убедиться, что мы не галлюцинируем, мы принялись щипать друг друга.

— Нам обоим больно, — сказал доктор, — стало быть, сейчас мы не спим и видим друг друга не во сне. Стало быть, гробы, мой и оба ваши, — не оптический обман, а нечто существующее. Что же теперь, батенька, делать?

Простояв битый час на холодной лестнице и теряясь в догадках и предположениях, мы страшно озябли и порешили отбросить малодушный страх и, разбудив коридорного, пойти с ним в комнату доктора. Так мы и сделали. Войдя в номер, зажгли свечу, и в самом деле увидели гроб, обитый белым глазетом, с золотой бахромой и кистями. Коридорный набожно перекрестился.

— Теперь можно узнать, — сказал бледный доктор, дрожа всем телом, — пуст этот гроб или же… он обитаем?

После долгой, понятной нерешимости доктор нагнулся и, стиснув от страха и ожидания зубы, сорвал с гроба крышку. Мы взглянули в гроб и…

Гроб был пуст…

Покойника в нем не было, но зато мы нашли в нем письмо такого содержания:

«Милый Погостов! Ты знаешь, что дела моего тестя пришли в страшный упадок. Он залез в долги по горло. Завтра или послезавтра явятся описывать его имущество, и это окончательно погубит его семью и мою, погубит нашу честь, что для меня дороже всего. На вчерашнем семейном совете мы решили припрятать все ценное и дорогое. Так как все имущество моего тестя заключается в гробах (он, как тебе известно,

гробовых дел мастер, лучший в городе), то мы порешили припрятать самые лучшие гробы. Я обращаюсь к тебе, как к другу, помоги мне, спаси наше состояние и нашу честь! В надежде, что ты поможешь нам сохранить наше имущество, посылаю тебе, голубчик, один гроб, который прошу спрятать у себя и хранить впредь до востребования. Без помощи знакомых и друзей мы погибнем. Надеюсь, что ты не откажешь мне, тем более, что гроб простоит у тебя не более недели. Всем, кого я считаю за наших истинных друзей, я послал по гробу и надеюсь на их великодушие и благородство.

Любящий тебя Иван Челюстин».

После этого я месяца три лечился от расстройства нервов, друг же наш, зять гробовщика, спас и честь свою, и имущество, и уже содержит бюро погребальных процессий и торгует памятниками и надгробными плитами. Дела его идут неважно, и каждый вечер теперь, входя к себе, я все боюсь, что увижу около своей кровати белый мраморный памятник или катафалк.

Не в духе

Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и проиграл восемь рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но бес жадности и корыстолюбия сидел в ухе станового и упрекал его в расточительности.

— Восемь рублей — экая важность! — заглушал в себе Прачкин этого беса. — Люди и больше проигрывают, да ничего. И к тому же деньги дело наживное… Съездил раз на фабрику или в трактир Рылова, вот тебе и все восемь, даже еще больше!

— «Зима… Крестьянин, торжествуя…» — монотонно зубрил в соседней комнате сын станового, Ваня. — «Крестьянин, торжествуя… обновляет путь…»

— Да и отыграться можно… Что это там «торжествуя»?

— «Крестьянин, торжествуя, обновляет путь… обновляет…»

— «Торжествуя…» — продолжал размышлять

Прачкин. — Влепить бы ему десяток горячих, так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать, лучше бы подати исправно платил… Восемь рублей — экая важность! Не восемь тысяч, всегда отыграться можно…

— «Его лошадка, снег почуя… снег почуя, плетется рысью как-нибудь…»

— Еще бы она вскачь понеслась! Рысак какой нашелся, скажи на милость! Кляча — кляча и есть… Нерассудительный мужик рад спьяну лошадь гнать, а потом как угодит в прорубь или в овраг, тогда и возись с ним… Поскачи только мне, так я тебе такого скипидару пропишу, что лет пять не забудешь!.. И зачем это я с маленькой пошел? Пойди я с туза треф, не был бы я без двух…

— «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая… бразды пушистые взрывая…»

— «Взрывая… Бразды взрывая… бразды…» Скажет же этакую штуку! Позволяют же писать, прости господи! А все десятка, в сущности, наделала! Принесли же ее черти не вовремя!

— «Вот бегает дворовый мальчик… дворовый мальчик, в салазки Жучку посадив… посадив…»

— Стало быть, наелся, коли бегает да балуется… А у родителей нет того в уме, чтоб мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, лучше бы

дрова колол или Священное Писание читал… И собак тоже развели… ни пройти, ни проехать! Было бы мне после ужина не садиться… Поужинать бы, да и уехать…

— «Ему и больно и смешно, а мать грозит… а мать грозит ему в окно…»

— Грози, грози… Лень на двор выйти да наказать… Задрала бы ему шубенку да чик-чик! чик-чик! Это лучше, чем пальцем грозить… А то, гляди, выйдет из него пьяница… Кто это сочинил? — спросил громко Прачкин.

— Пушкин, папаша.

— Пушкин? Гм!.. Должно быть, чудак какой-нибудь. Пишут-пишут, а что пишут — и сами не понимают. Лишь бы написать!

— Папаша, мужик муку привез! — крикнул Ваня.

— Принять!

Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более он утешал себя, тем чувствительнее становилась для него потеря. Так было жалко восьми рублей, так жалко, точно он в самом деле проиграл восемь тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, Прачкин стал у окна и, тоскуя, вперил свой печальный взор в снежные сугробы… Но вид сугробов только растеребил его сердечную рану. Он напомнил

ему о вчерашней поездке к воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатило под душу… Потребность излить на чем-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящих отлагательства. Он не вынес…

— Ваня! — крикнул он. — Иди, я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил!

Предписание
(Из захолустной жизни)

Ввиду наступления высокоторжественного праздника Рождества Христова и принимая во внимание, что в праздничные дни в приемной бывает большое стечение поздравителей, вменяю вам, милостивый государь, в обязанность строжайше наблюдать, чтобы поздравители, ожидая в приемной, не толпились, не курили табаку и не производили шума, каковой мог бы помешать надлежащему ходу порядка, а также чтобы они не рассыпали крупы, гороха, муки и прочих съестных припасов ни на лестнице, ни в приемной, а также вменяю вам в обязанность внушать поздравителям, по возможности вежливо и учтиво, чтобы имеющаяся при них живность имела мертвый вид, дабы свиниными, гусиными и прочими животными криками поздравители не нарушали надлежащей тишины и спокойствия. Нарушители же сего будут привлекаемы к строгой ответственности по установленному порядку.

Коллежский советник и кавалер М. Пауков.

Секретарь Ехидов.

С подлинным верно:
Человек без селезенки

Праздничная повинность

…лукавых простаков,
Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором.

Грибоедов

Был новогодний полдень. Вдова бывшего черногубского вице-губернатора Лягавого-Грызлова, Людмила Семеновна, маленькая шестидесятилетняя старушка, сидела у себя в гостиной и принимала визитеров. Судя по количеству закусок и питий, приготовленных в зале, число визитеров ожидалось громадное, но пока явился поздравить с Новым годом только один — старший советник губернского правления Окуркин, дряхлый человечек с лицом желто-лимонного цвета и с кривым ртом. Он сидел в углу около бочонка с олеандром и, осторожно нюхая табак, рассказывал «благодетельнице» городские новости.

— Вчера, матушка, с каланчи чуть было не свалился пьяный солдат, — рассказывал он. — Перевесился, знаете ли, через перилу, а перила

— хрусь! Хрустнула, знаете ли… К счастию, в ту пору жена ему на каланчу обед принесла и за фалду удержала. Коли б не жена, свалился бы, шельмец… Ну-с… А третьего дня, матушка, ваше превосходительство, у контролера банка Перцева сборище было… Все чиноши собрались и насчет сегодняшних визитов рассуждали. В один голос порешили, шуты этакие, не делать сегодня визитов.

— Ну, уж это ты, батюшка, завираешься, — усмехнулась старуха. — Как же это без визитов обойтись?

— Ей-богу-с, ваше превосходительство. Удивительно, но верно… Согласились все заместо визитов собраться сегодня в клубе, поздравить друг дружку и взнести по рублю в пользу бедных.

— Не понимаю… — пожала плечами хозяйка. — Диковинное что-то рассказываешь…

— Так, матушка, теперь во многих городах делается. Не ходят с поздравлениями. Дадут по рублю и шабаш! Хе-хе-хе. Не нужно ни ездить, ни поздравлять, не нужно на извозчика тратиться… Сходил в клуб и сиди себе дома.

— Оно и лучше, — вздохнула старуха. — Пусть не ездиют. Нам же покойнее…

Окуркин испустил громкий, трескучий вздох, покачал головой и продолжал:

— За предрассудок почитают… Лень старшего почтить, с праздником его поздравить, вот и предрассудок. Нынче ведь старших за людей не считают… Не то, что прежде было.

— Что ж? — вздохнула еще раз хозяйка. — Пусть не ездиют! Не хотят — и не нужно.

— Прежде, матушка, когда либерализмы этой не было, визиты не считались за предрассудок. Ездили с визитами не то что с принуждением, а с чувством, с удовольствием… Бывало, исходишь все дома, остановишься на тротуаре и думаешь: «Кого бы это еще почтить?» Любили мы, матушка, старших… Страсть как любили! Помню, покойник Пантелей Степаныч, дай бог ему царство небесное, любил, чтоб мы почтительны были… Храни бог, бывало, ежели кто визита не сделает — скрежет зубовный! В одни святки, помню, болен я был тифом! И что ж вы думаете, матушка? Встал с постели, собрал силы свои расслабленные и пошел к Пантелею Степанычу… Прихожу. От меня так и пышет, так и пышет! Хочу сказать «с новым годом», а у меня выходит «флюст бей козырем!» Хе-хе… Бред-с… А то, помню, у Змеищева оспа была. Доктора, конечно, запретили ходить к

нему, а нам начхать на докторов: пошли к нему и поздравили. Не считали за предрассудок. Я выпью, матушка, ваше превосходительство…

— Выпей, выпей… Все одно никто не придет, некому пить… Чай, твои-то правленские придут.

Окуркин безнадежно махнул рукой и покривил рот в презрительную усмешку.

— Хамы… Все одним миром мазаны.

— То есть как же это, Ефим Ефимыч? — удивилась старуха. — И Верхушкин, стало быть, не придет?

— Не придет… В клубе-с…

— Ведь я же ему, разбойнику этакому, крестной матерью прихожусь! Я его к месту пристроила!

— Не чувствует-с… Вчера к Перцеву первым явился.

— Ну те так и быть уж… Забыли старуху и пусть их, а твоим правленским грех. А Ванька Трухин? Неужто и он не придет?

Окуркин безнадежно махнул рукой.

— И Подсилкин? Тоже? Ведь я же его, подлеца этакого, из грязи за уши вытянула! А Прорехин?

Старуха назвала еще десяток имен, и всякое имя вызывало на губах Окуркина горькую улыбку.

— Все, матушка! не чувствуют!

— Спасибо… — вздохнула Лягавая-Грызлова,

нервно заходив по гостиной. — Спасибо… Ежели им опротивела благодетельница… старуха… ежели я такая скверная, противная, то пусть…

Старуха опустилась в кресло. Морщинистые глазки ее замигали.

— Я вижу, что я уже больше не нужна им. И не надо… Уйди и ты, Ефим Ефимыч… Я не держу. Все уходите.

Хозяйка прижала к лицу платок и захныкала. Окуркин поглядел на нее, испуганно почесал затылок и робко подошел к ней…

— Матушка… — сказал он плачущим голосом. — Ваше превосходительство! Благодетельница!

— Уйди и ты… Ступай… Все ступайте…

— Матушка, ангельчик мой… Не плачьте-с… Голубушка! Я пошутил… Ей-богу, пошутил! Наплюйте мне в лицо, старой морде, если я не шутил… Все придут-с! Матушка!

Окуркин стал перед старухой на колени, взял ее жилистую руку и ударил ею себя по лысине.

— Бейте, матушка, ангел мой! Не шути, образина! Не шути! По щеке! по щеке! Так тебе, брехуну окаянному!

— Нет, не шутил ты, Ефим Ефимыч! Чувствует мое сердце!

— Разразись… тресни подо мной земля! Чтоб

мне дня не прожить, ежели… Вот увидите-с! А пока прощайте, матушка… Не достоин за свои злые шутки продолжать ласку вашу. Скроюсь… Уйду, а вы воображайте, что прогнали меня, махамета зловредного. Ручечку… поцелую…

Окуркин поцеловал взасос старухину руку и быстро вышел…

Через пять минут он был около клуба. Чиновники уже поздравили друг друга, взнесли по рублю и выходили из клуба.

— Стойте! Вы! — замахал им руками Окуркин. — Что это вы вздумали, умники? Отчего не идете к Людмиле Семеновне?

— Нешто вы не знаете? Визитов мы нынче не делаем!..

— Знаю, знаю… Мерси вас… Ну вот что, цивилизованные… Ежели сейчас не пойдете к ведьме, то горе вам… Ревма ревет! Такое на вас молит, что и татарину не пожелаю.

Чиновники переглянулись и почесали затылки…

— Гм… Да ведь ежели к ней идти, так придется идти ко всем…

— Что ж делать, миленькие? И ко всем сходите… Не отвалятся ноги… Впрочем, по мне как знаете, хоть и не ходите… Только вам же хуже будет!

— Черт знает что! Ведь мы уж и по рублю заплатили! — простонал Яшкин, учитель уездного училища…

— Рубль… А место еще не потерял?

Чиновники еще раз почесались и, ропща, направились к дому Лягавой-Грызловой.

Дело о 1884 годе
(От нашего корреспондента)

Сегодня уже шестой день, как в N-ской судебной палате слушается дело о не имеющем чина 1884-м годе, обвиняемом в преступлениях по должности. Суд заметно утомлен. Подсудимый плачет и то и дело шепчется со своим защитником. Сегодняшний день начался осмотром вещественных доказательств… Когда, по требованию прокурора, в суде читался «Гражданин» и показывался нумер «Луча» с портретом Окрейца, публика была выведена из залы заседания, дабы упомянутые предметы не могли произвести соблазна… За сим начались прения сторон.

— Прошу, ваше-ство, — окончил свою речь защитник, — занести в протокол, что во все время моей речи г. прокурор кашлял, сморкался и стучал графином…

Председатель. Подсудимый, ваше последнее слово!

Подсудимый *(плачет).* Пожалуй, скажу что-нибудь, хоть и бесполезно, коли заранее порешили меня упечь. Меня обвиняют, во-первых, в бездействии — в том, что я ничего не делал, что при мне ни на-

сколько не поднялось экономическое положение, не повысился курс, засела в тине промышленность и проч… Не я виноват в этом… Вспомните, что я застал, когда был назначен на новогоднее место… *(Рассказывает, что он застал.)*

Председатель. Это дела не касается! Извольте говорить по существу!

Подсудимый*(испугавшись).* Слушаю, ваше-ство! Г-н прокурор обвиняет меня в том, что время мое растрачено на пустяки, на переливание из пустого в порожнее… Правда, в бытность мою на земле не было сделано ничего путного. Выпускали ярлыки нового образца для бутылок, клали латки на лохмотья, заставляли дураков богу молиться, а они лбы разбивали…

Председатель. Подсудимый, если вы будете касаться личностей, то я вас лишу слова.

Подсудимый. О чем же мне говорить? *(Задумывается)* Хорошо, перейду к печати… Говорят, что все журналы были пусты, бессодержательны, что в печати преобладал кукиш в кармане, что таланты словно в воду канули… Что же я мог поделать, если…

Председатель. Г-н судебный пристав! Вывести подсудимого из залы!

По выводе обвиняемого из залы заседания,

присяжным был вручен вопросный лист.

Суд приговорил: не имеющего чина 1884 года, лишив всех прав состояния, сослать в Лету на поселение навсегда.

Масленичные правила дисциплины

§. Масленица получила свое название от русского слова «масло», которое в изобилии употребляется во время блинов, как чухонское, и после блинов, как oleum ricini[134].

§. По мнению Гатцука, Суворина и других календаристов, она начинается 28-го января и кончается 3-го февраля. Замоскворецкие же пупсики и железнодорожные бонзы начинают ее 1-го января и кончают 31-го декабря.

§. Перед масленицей сходи к мастеру и полуди свой желудок.

§. Всю неделю помни, что ты невменяем и родства не помнящий, а посему остерегай себя от совершения великих дел, дабы не впасть в великие ошибки. Истребляй блины, интригуй вдову Попову, сокрушай Ланина, сбивай с окружающих тебя предметов зеленых чертиков, но не выбирай городских голов, не женись, не строй железных дорог, не пиши книг нравственного содержания и прочее.

§. Тратясь на муку, водку и зернистую икру,

---

[134] Примечания: 134
Касторовое масло *(лат)*

не забывай, что тебе предстоит еще ведаться с аптекарской таксой.

§. Если тебе ведением или неведением друзья твои или враги наставят фонарь, то не ходи в городскую управу и не предлагай там услуг в качестве уличного фонаря, а ложись спать и проспись.

§. Не все коту масленица, придет и великий пост. Если ты кот, то имей это в виду.

Служебные пометки

В книге «входящих» под литерой Д, № 8, год 80–81, на полях и пустых местах имеются карандашные пометки, сделанные разными почерками. Так как все они носят печать мудрости и полны высокого значения, то надо думать, что они принадлежат лицам начальствующим. Выбираю самые лучшие и характерные:

«Так и быть. Дать отсрочку на 2 месяца и сказать ему, чтобы он в другой раз не смел входить в присутствие в калошах».

«На прошение губернского секретаря Осетрова об единовременном пособии могу ответить указанием на Римскую империю, погибшую от роскоши. Роскошь и излишества ведут к растлению нравов; а я желаю, чтобы все были нравственны. Впрочем, пусть Осетров сходит в вицмундире к купцу Хихикину и скажет ему, что его дело близится к концу».

«Птица узнается по перьям, хороший проситель по благодарности».

«Хотя по точному смыслу ст. 64, и. 1 Уст. о герб, сборе прошения о выдаче свидетельств о бедности не подлежат гербовому сбору, но, тем не

менее, объявить вдове Вониной, что в неприлеплении ею шестидесятикопеечной марки я усматриваю не столько понимание духа законов, сколько желание действовать самовольно помимо указаний надлежащего начальства. Если действительно не нужна была бы марка, то отлепили бы мы ее сами, она же распоряжаться не может. Отказать».

«Делицын, расписывайся поразборчивее! Ты не тайный советник…»

«Хотя в этом прошении и нет точных указаний на чувство благодарности, но, тем не менее, из некоторых пунктов явствует, что к нему было кое-что приложено… Где деньги?» Под этой фразой другим почерком написано: «Честь имею донести вашему высокородию,

что деньги в количестве 75 руб. во время вашего отсутствия были отнесены Смирновым супруге вашей Евдокии Трифоновне. Лягавов».

На бумаге с заголовком «Совершенно секретно» написано: «Надписи вроде «секретно» и «совершенно секретно» мне не понятны. К чему из сих поучительных фактов делать тайну? Пусть бы все читали и казнились…»

«Сему рапорту о болезни не верю. Шулябин пишет, что он болен, а между тем мне известно,

что он сидит теперь дома и под видом геморроя пишет мещанам прошения.

Чтоб был завтра на службе!»

В бане

I

— Эй, ты, фигура! — крикнул толстый белотелый господин, завидев в тумане высокого и тощего человека с жиденькой бородкой и с большим медным крестом на груди. — Поддай пару!

— Я, ваше высокородие, не банщик, я цирульник-с. Не мое дело пар поддавать. Не прикажете ли кровососные баночки поставить?

Толстый господин погладил себя по багровым бедрам, подумал и сказал:

— Банки? Пожалуй, поставь. Спешить мне некуда.

Цирульник сбегал в предбанник за инструментом, и через какие-нибудь пять минут на груди и спине толстого господина уже темнели десять банок.

— Я вас помню, ваше благородие, — начал цирульник, ставя одиннадцатую банку. — Вы у нас в прошлую субботу изволили мыться, и тогда же еще я вам мозоли срезывал. Я цирульник Михайло… Помните-с? Тогда же вы еще изволили меня насчет невест расспрашивать.

— Ага… Так что же?

— Ничего-с… Говею я теперь и грех мне осуждать, ваше благородие, но не могу не выразить вам по совести. Пущай меня бог простит за осуждения мои, но невеста нынче пошла все непутящая, несмысленная… Прежняя невеста желала выйтить за человека, который солидный, строгий, с капиталом, который все обсудить может, религию помнит, а нынешняя льстится на образованность. Подавай ей образованного, а господина чиновника или кого из купечества и не показывай — осмеет! Образованность разная бывает… Иной образованный, конечно, до высокого чина дослужится, а другой весь век в писцах просидит, похоронить не на что. Мало ли их нынче таких? К нам сюда ходит один… образованный.

Из телеграфистов… Все превзошел, депеши выдумывать может, а без мыла моется. Смотреть жалко!

— Беден, да честен! — донесся с верхней полки хриплый бас. — Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души. Невежа!

Михайло искоса поглядел на верхнюю полку… Там сидел и бил себя по животу веником тощий

человек с костистыми выступами на всем теле и состоящий, как казалось, из одних только кожи да ребер. Лица его не было видно, потому что все оно было покрыто свесившимися вниз длинными волосами. Видны были только два глаза, полные злобы и презрения, устремленные на Михайлу.

— Из энтих… из длинноволосых! — мигнул глазом Михайло. — С идеями… Страсть сколько развелось нынче такого народу! Не переловишь всех… Ишь, патлы распустил, шкилет! Всякий христианский разговор ему противен, все равно, как нечистому ладан. За образованность вступился! Таких вот и любит нынешняя невеста. Именно вот таких, ваше высокородие! Нешто не противно? Осенью зовет меня к себе одна священникова дочка. — «Найди, говорит, мне, Мишель», — меня в домах Мишелем зовут, потому, я дам завиваю, — «найди, говорит, мне, Мишель, жениха, чтоб был из писателей». А у меня, на ее счастье, был такой… Ходил он в трактир к Порфирию Емельянычу и все стращал в газетах пропечатать. Подойдет к нему человек за водку деньги спрашивать, а он сейчас по уху… «Как? С меня деньги? Да знаешь ты, кто я такой? Да знаешь ты, что я могу в газетах пропечатать, что ты душу загубил?» Плюгавый такой, оборванный. Прельстил я его поповскими

деньгами, показал барышнин портрет и сводил. Костюмчик ему напрокат достал… Не понравился барышне! «Меланхолии, говорит, в лице мало». И сама не знает, какого ей лешего нужно!

— Это клевета на печать! — послышался хриплый бас с той же полки. — Дрянь!

— Это я-то дрянь? Гм!.. Счастье ваше, господин, что я в эту неделю говею, а то бы я вам за «дрянь» сказал бы слово… Вы, стало быть, тоже из писателей?

— Я хотя и не писатель, но не смей говорить о том, чего не понимаешь. Писатели были в России многие и пользу принесшие. Они просветили землю, и за это самое мы должны относиться к ним не с поруганием, а с честью. Говорю я о писателях как светских, так равно и духовных.

— Духовные особы не станут такими делами заниматься.

— Тебе, невеже, не понять. Димитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Филарет Московский и прочие другие святители церкви своими творениями достаточно способствовали просвещению.

Михайло покосился на своего противника, покрутил головой и крякнул.

— Ну, уж это вы что-то тово, сударь… — пробор-

мотал он, почесав затылок. — Что-то умственное… Недаром на вас и волосья такие. Недаром! Мы все это очень хорошо понимаем и сейчас вам покажем, какой вы человек есть. Пущай, ваше благородие, баночки на вас постоят, а я сейчас… Схожу только.

Михайло, подтягивая на ходу свои мокрые брюки и громко шлепая босыми ногами, вышел в предбанник.

— Сейчас выйдет из бани длинноволосый, — обратился он к малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло, — так ты, тово… погляди за ним. Народ смущает… С идеями… За Назаром Захарычем сбегать бы…

— Ты скажи мальчикам.

— Сейчас выйдет сюда длинноволосый, — зашептал Михайло, обращаясь к мальчикам, стоявшим около одежи. — Народ смущает. Поглядите за ним да сбегайте к хозяйке, чтоб за Назаром Захарычем послали — протокол составить. Слова разные произносит… С идеями…

— Какой же это длинноволосый? — встревожились мальчики. — Тут никто из таких не раздевался. Всех раздевалось шестеро. Тут вот два татара, тут господин раздевшись, тут из купцов двое, тут дьякон… а больше и никого… Ты, знать,

отца дьякона за длинноволосого принял?

— Выдумываете, черти! Знаю, что говорю!

Михайло посмотрел на одежу дьякона, потрогал рукой ряску и пожал плечами… По лицу его разлилось крайнее недоумение.

— А какой он из себе?

— Худенький такой, белобрысенький… Бородка чуть-чуть… Все кашляет.

— Гм!.. — пробормотал Михайло. — Гм!.. Это я, значит, духовную особу облаял… Комиссия отца Денисия! Вот грех-то! Вот грех! А ведь я говею, братцы! Как я теперь исповедаться буду, ежели я духовное лицо обидел? Господи, прости меня, грешного! Пойду прощения просить…

Михайло почесал затылок и, состроив печальное лицо, отправился в баню. Отца дьякона на верхней полке уже не было. Он стоял внизу у кранов и, сильно раскорячив ноги, наливал себе в шайку воды.

— Отец дьякон! — обратился к нему Михайло плачущим голосом. — Простите меня, Христа ради, окаянного!

— За что такое?

Михайло глубоко вздохнул и поклонился дьякону в ноги.

— За то, что я подумал, что у вас в голове есть

идеи!

II

— Удивляюсь я, как это ваша дочь, при всей своей красоте и невинном поведении, не вышла до сих пор замуж! — сказал Никодим Егорыч Потычкин, полезая на верхнюю полку.

Никодим Егорыч был гол, как и всякий голый человек, но на его лысой голове была фуражка. Боясь прилива к голове и апоплексического удара, он всегда парился в фуражке. Его собеседник Макар Тарасыч Пешкин, маленький старичок с тонкими синими ножками, в ответ на его вопрос пожал плечами и сказал:

— А потому она не вышла, что характером меня бог обидел. Смирен я и кроток очень, Никодим Егорыч, а нынче кротостью ничего не возьмешь. Жених нынче лютый — с ним и обходиться нужно сообразно.

— То есть, как же лютый? С какой это вы точки?

— Балованный жених… С ним как надо? Строгость нужна, Никодим Егорыч. Стесняться с ним не следовает, Никодим Егорыч. К мировому, по мордасам, за городовым послать — вот как надо! Негодный народ. Пустяковый народ.

Приятели легли рядом на верхней полке и заработали вениками.

— Пустяковый… — продолжал Макар Тарасыч. — Натерпелся я от их, каналиев. Будь я характером посолиднее, моя Даша давно бы уже была замужем и деток рожала. Да-с… Старых девок теперь, в женском поле, сударь мой, ежели по чистой совести, половина на половину, пятьдесят процентов. И заметьте, Никодим Егорыч, каждая из этих самых девок в молодых годах женихов имела. А почему, спрашивается, не вышла? По какой причине? А потому, что удержать его, жениха-то, родители не смогли, дали ему отвертеться.

— Это верно-с.

— Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующий. Любит он все это на шерамыжку да с выгодой. Задаром он тебе и шагу не ступит. Ты ему удовольствие, а он с тебя же деньги требует. Ну, и женится тоже не без мыслей. Женюсь, мол, так деньгу зашибу. Это бы еще ничего, куда ни шло — ешь, лопай, бери мои деньги, только женись на моем дите, сделай такую милость, но бывает, что и с деньгами наплачешься, натерпишься горя-горе-ванского. Иной сватается-сватается, а как дойдет до самой точки, до

венца, то и назад оглобли, к другой идет свататься. Женихом хорошо быть, одно удовольствие. Его и накормят, и напоят, и денег взаймы дадут — чем не жизнь? Ну, и строит из себя жениха до старости лет, покуда смерть — и жениться ему не нужно. И уж лысина во всю голову, и седой весь, и колени гнутся, а он все жених. А то бывают, которые не женятся по глупости… Глупый человек сам не знает, что ему надобно, ну и перебирает: то ему нехорошо, другое неладно. Ходит-ходит, сватается-сватается, а потом вдруг ни с того ни с сего: «Не могу, говорит, и не желаю». Да вот хоть взять, к примеру, господина Катавасова, первого Дашиного жениха. Учитель гимназии, титулярный тоже советник… Науки все выучил, по-французски, по-немецки… математик, а на поверку вышел болван, глупый человек — и больше ничего. Вы спите, Никодим Егорыч?

— Нет, зачем же-с? Это я закрыл глаза от удовольствия…

— Ну, вот… Начал он около моей Даши ходить. А надо вам заметить, Даше тогда и двадцати годочков еще не было. Такая была девица, что просто всем на удивление. Финик! Полнота, формалистика в теле и прочее. Статский советник Цицеронов-Гравианский — по духовному

ведомству служит — на коленях ползал, чтоб к нему в гувернантки пошла — не захотела! Начал Катавасов ходить к нам. Ходит каждый день и до полночи сидит, все с ней про разные науки там и физики… Книжки ей носит, музыку ее слушает… Все больше на книжки напирает. Даша-то моя сама ученая, книги ей вовсе не надобны, баловство одно только, а он — то прочти, другое прочти; надоел до смерти. Полюбил ее, вижу. И она, заметно, ничего. «Не нравится, говорит, он мне за то, что он, папаша, не военный». Не военный, а все-таки ничего. Чин есть, благородный, сытый, трезвый — чего же тут еще? Посватался. Благословили… Про приданое не спросил даже. Молчок… Словно он не человек, а дух бесплотный, и без приданого может. Назначили и день, когда венчать. И что же вы думаете? А? За три дня до свадьбы приходит ко мне в лавку этот самый Катавасов. Глаза красные, личность бледная, словно с перепугу, весь дрожит. Что угодно-с? — «Извините, говорит, Макар Тарасыч, но я жениться на Дарье Макаровне не могу. Я, говорит, ошибся. Я, говорит, взирая на ее цветущую молодость и наивность, думал найти в ней почву, так сказать, свежесть, говорит, душевную, а она уже успела приобрести склонности, говорит. Она наклонна, говорит, к

мишуре, не знает труда, с молоком матери всосала...» И не помню, что она там всосала... Говорит, а сам плачет. А я? Я, сударь мой, побранился только, отпустил его. И к мировому не сходил и начальству его не жаловался, по городу не срамил. Пойди я к мировому, так, небось, испугался бы срама, женился бы. Начальство, небось, не поглядело бы, что она там всосала. Коли смутил девку, так и женись. Купец вон Клякин, — слышали? — даром что мужик, а поди-кася какую штуку того... У него жених тоже упорствовать стал, в приданом заметил что-то как будто не то, так он, Клякин-то, завел его в кладовую, заперся, вынул, знаете ли, из кармана большой револьвер с пулями, как следует заряженный, и говорит: «Побожись, говорит, перед образом, что женишься, а то, говорит, убью сию минуту, подлец этакой. Сию минуту!» Побожился и женился молодчик. Вот видите. А я бы так не способен. И драться даже не того... Увидал мою Дашу консисторский чиновник, хохол Брюзденко. Тоже из духовного ведомства. Увидал и влюбился. Ходит за ней красный как рак, бормочет разные слова, и изо рта у него жар пышет. Днем у нас сидит, а ночью под окнами ходит. И Даша его полюбила. Глаза его хохлацкие ей понравились. В них, говорит, огонь

и черная ночь. Ходил-ходил хохол и посватался. Даша, можно сказать, в восторге и восхищении, дала свое согласие. — «Я, говорит, папаша, понимаю, это не военный, но все же из духовного ведомства, а это все равно, что интендантство, и поэтому я его очень люблю». Девица, а тоже поди разбирает нынче: интендантство! Осмотрел хохол приданое, поторговался со мной и только носом покрутил — на все согласен, свадьбу бы только поскорей; но в тот самый день, как обручать, поглядел на гостей да как схватит себя за голову. «Батюшки, говорит, сколько у них родни! Не согласен! Не могу! Не желаю!» И пошел и пошел… Я уж и так и этак… Да ты, говорю, ваше высокородие, с ума сошел, что ли? Ведь больше чести, ежели родни много! Не соглашается! Взял шапку да и был таков.

Был и такой случай. Посватал мою Дашу лесничий Аляляев. Полюбил ее за ум и поведение… Ну и Даша его полюбила. Характер его положительный ей нравился. Человек он, действительно, хороший, благородный. Посватался и все, этак, обстоятельно. Приданое все до тонкостей осмотрел, все сундуки перерыл, Матрену поругал за то, что та салопа от моли не уберегла. И мне реестрик своего имущества доставил. Благородный чело-

век, грех про него что худое сказать. Нравился он мне, признаться, до чрезвычайности. Торговался он со мной два месяца. Я ему восемь тысяч даю, а он просит восемь с половиной. Торговались-торговались; бывало, сядем чай пить, выпьем по пятнадцати стаканов, и все торгуемся. Я ему двести накинул — не хочет! Так и разошлись из-за трехсот рублей. Уходил, бедный, и плакал… Уж больно любил Дашу! Ругаю теперь себя, грешный человек, истинно ругаю. Было б мне отдать ему триста или же попугать, на весь город посрамить, или завести бы в темную комнатку да по мордасам. Прогадал я, вижу теперь, что прогадал, дурака сломал. Ничего не поделаешь, Никодим Егорыч: характер у меня тихий!

— Смирны очень. Это верно-с. Ну, я пойду, пора… Голова тяжела стала…

Никодим Егорыч в последний раз ударил себя веником и спустился вниз. Макар Тарасыч вздохнул и еще усерднее замахал веником.

«О марте. Об апреле. О мае. Об июне и июле. Об августе»
(Филологические заметки)
О марте

Месяц март получил свое название от Марса, который, если верить учебнику Иловайского, был богом войны. Формулярный список этого душки-военного затерян, а посему о личности его почти ничего не известно. Судя по характеру его амурных предприятий и кредиту, которым пользовался он у Бахуса, следует думать, что он, занимая должность бога войны, был причислен к армейской пехоте и имел чин не ниже штабс-капитана. Визитная карточка его была, вероятно, такова: «Штабс-капитан Марс, бог войны». Стало быть, март есть месяц военных и всех тех, кои к военному ведомству прикосновенность имеют: интендантов, военных врачей, батальных художников, институток и проч. Числится в штате о рангах третьим месяцем в году и имеет с дозволения начальства 31 день. Римляне в этом месяце праздновали так называемые Гилярии — торжество в честь Никиты Гилярова-Плато-

нова и богини Цибеллы. Цибеллой называлась богиня земли. Из ее метрической выписи явствует, что она была дочкой Солнца, женою Сатурна, матерью Юпитера, — одним словом, особой астрономической, имеющей право на казенную квартиру в Пулковской обсерватории. Изобрела тамбур, тромбон, свирель и ветеринарное искусство. Была, стало быть, и музыкантшей и коновалом — комбинация, современным музыкантшам неизвестная. В этом же месяце римляне праздновали и именины Венеры, богини любви, брака (законного и незаконного), красоты, турнюров и ртутных мазей. Родилась эта Венера из пены морской таким же образом, как наши барышни родятся из кисеи. Была женою хромого Вулкана, чеканившего для богов фальшивую монету и делавшего тонкие сети для ловли храбрых любовников. Состояла на содержании у всех богов и бескорыстно любила одного только Марса. Когда ей надоедали боги, она сходила на землю и заводила здесь интрижки с чиновниками гражданского ведомства: Энеем, Адонисом и Другими. Покровительствует дамским парикмахерам, учителям словесности и доктору Тарновскому. В мартовский праздник ей приносили в жертву котов и гимназистов, начинающих влюбляться

обыкновенно с марта. У наших предков март назывался Березозолом. Карамзин думал, что наши предки жгли в марте березовый уголь, откуда, по его мнению, и произошло прозвище Березозол. Люди же, которых много секли, знают, что это слово происходит от слова «береза» и «зла», ибо никогда береза не работает так зло и энергично, как перед экзаменами. У нашего Нестора март был первым месяцем в году. У римлян тоже.

Об апреле

Апрель получил свое название от латинского глагола 4-го спряжения aperire, что значит открывать, разверзать, ибо в этом месяце земля разверзается для того, чтобы выпустить из себя растения. Так у юноши разверзается подбородок, чтобы дать беспрепятственный пропуск желающей расти бороде. В царствование Нерона этот месяц был назван Neroneus за заслуги, оказанные Нероном отечеству, но потом, по недосмотру римской полиции и по охлаждении римского патриотизма, утерял это прозвище. Имеет 30 дней по числу иудиных сребреников. На памятниках древности этот месяц изображается брандахлыстом, пляшущим, подмигивающим

левым глазом и с поднятыми фалдами. В руках его кастаньеты, у ног свирель, из кармана глядит полуштоф. Очевидно, был пьяницей, знал много скабрезных анекдотов и жил на неопределенные средства. Обыкновенно перед его изображением ставилась статуя Венеры. На подножии этой статуи юный читатель мог бы усмотреть немало геометрических фигур, относящихся к подобию треугольников и к учению о пределах. Как Апрель, так и Венера в геометрии ничего не смыслили, а посему здесь следует усматривать аллегорию: для наслаждений любви можно попрать ногами даже геометрию — смысл, если принять во внимание близость экзаменов, губительный! Предки наши именовали апрель кветенем, или цветенем, в честь цветов, которые цветут в этом месяце в цветочных горшках Петербургской стороны и на физиономиях юнкеров.

Обычай надувать ближних в первый день апреля существует всюду, даже на берегу Маклая. О происхождении этого обычая толкуют различно. Одни говорят, что он получил свое начало в Ост-Индии, где индусы в этот день занимаются невинным надувательством: посылают друг друга в разные места под вымышленными предлогами и потом хохочут над обманутыми.

Другие же ставят этот обычай в связь с отчетами, которые в древности изготовляли чиновники консисторий к первому апреля. Ввиду того, что взаимное надувательство стало в наше время явлением обыденным, обычай этот утерял свою соль и стал постепенно стушевываться; в старину же, когда меньше врали, он был в большой моде. Рассказывают, что в один из первых апрелей труппа немецких актеров, дававших представления в Петербурге во времена Петра, пообещала «блистательное представление» и, когда в театр припожаловала публика, вывесила на занавесе транспарант с надписью «Первое апреля». Спектакля не было. Петр не рассердился на эту шутку и только, выходя из театра, проговорил: «Вольность комедьянтов!» Если эта труппа не забыла собрать перед спектаклем с публики деньги, то нужно пожалеть, что не все наши актеры-современники знакомы с этим историческим анекдотом.

О мае

Месяц любви, сирени и белых ночей. Месяц, когда поэты обвиняют соловьев в незаконном сожительстве с розами и когда даже отставные, заржавленные фельдфебеля поддаются нежной

страсти. Получил он свое название по приказанию Ромула от majores — старшин, или сенаторов, которые за старостью лет заседали в римском сенате и посыпали песком деловые бумаги. Другие же говорят, что он назван в честь плеяды Майи, родившейся от Атланта. Маленький, но щекотливый вопрос: как мог Атлант стать отцом, если он должен был день и ночь, не отдыхая ни секунды, держать на плечах своды небесные? Оставляю этот вопрос открытым…

Сама Майя родила биржевого зайца и гешефтмахера Меркурия. У древних май был посвящен старости, и в этом месяце строжайше запрещалось вступать в брак. Всякого, женившегося в этом месяце, называли азинусом, стультусом и тряпкой. «Май — месяц любви, но не брака, — пишет Корнелий Непот. — Не раскисайте же, граждане, и не попадайте на удочку! Знайте, что майская любовь кончается в начале июня, и то, что в мае казалось вашей разгоряченной фантазии эфиром, в июне будет казаться бревном» (XXVI, 7). По мнению россиян, кто женится в мае, тот будет весь век маяться — и это справедливо. У астрономов май занимает в эклиптике третье место и солнце вступает в знак близнецов, у дачниц же он занимает первое место, так как военные

выступают в лагери. Если лагери находятся близко к дачам, то знак близнецов может служить предостережением: не увлекайтесь в мае, чтобы зимою не иметь дела с двойнями! В мае родятся майские жуки, майоры и поэты à la Майков.

Об июне и июле

В мае и в августе русские люди ходят в шубах и щелкают зубами; следовательно, русское лето состоит только из июня и июля. Среди дачных бурь и штилей, в вихре Цукк и Монбазонш, эти два месяца проходят так быстро, что пора уже считать их за один месяц, тем более, что оба они начинаются с *ию,* стоят в календаре рядышком и оба потогонны… Соединение двух месяцев в один повело бы за собой уменьшение расходов: 20-е число случилось бы однажды, а не дважды. Июнь получил свое название от слова *junior,* что значит юноша, гимназист, ибо в этом месяце гимназисты созревают и хотя, созревши, плода не дают, но тем не менее получают аттестаты зрелости.

У римлян июнь был посвящен Меркурию, богу второй гильдии, занимавшемуся коммерцией. Сей Меркурий считается покровителем содержателей ссудных касс, шулеров и купеческих

саврасов. Давал богам деньги под проценты, плясал в салонах «кадрель» и пил по девяти самоваров в день; имел медаль за службу в благотворительных учреждениях, куда поставлял бесплатно дрова, наживая при этом «рупь на рупь»; любил Москву, где держал кабак, ел в балаганах голубей и издавал благонамеренно-ерническую газету. В июне произошли следующие события: издан указ, воспрещавший продавать на базарах живых людей, и основано училище правоведения для разведения на Руси товарищей прокурора… В этом же месяце, по свидетельству Иловайского, в Париже происходили кровавые события (вероятно, дизентерия). Июль же, по протекции Марка Антония, получил свое название от Юлия Цезаря, милого малого, перешедшего Рубикон и написавшего «De bello gallico» — произведение, по мнению учителей латинского языка, достойное 12 уроков в неделю. Был посвящен его превосходительству г. директору небесной канцелярии, действительному статскому советнику и кавалеру Юпитеру. Будучи происхождения божеского, г. Юпитер, тем не менее, занимался одними только человеческими делами: играл в винт, пил горькую и прохаживался по части клубнички. Юным классикам не безызвестны

его ухаживания за коровой Ио. Солнце в июле вступает в знак Аьва, чего ради все кавалеры «Льва и Солнца» в июле именинники. Для писателей июль несчастный месяц. Смерть своим неумолимым красным карандашом зачеркнула в июле шестерых русских поэтов и одного Памву Берынду. У нас в России вследствие сильных июльских жаров князь Мещерский пишет записки, читаемые на провинциальных сценах Андреевым-Бурлаком. За июлем следует осень.

Об августе

Месяц всякого рода плодов. Поселянин собирает в житницы плоды своего годового труда и кладет зубы на полку. Кабатчики получают долги, кулаки почивают от дел. Изобилие плодов земных поражает иностранца в такой степени, что у него делаются схватки: среднее яблоко стоит 50 коп., груша — рубль, а покупка арбуза влечет за собою карманную чахотку. Барыни едут ради виноградного лечения в Ялту, где виноград только вдвое дороже, чем в Гельсингфорсе… Август плодовит во всех отношениях. Тот ненастный вечер, в который дева шла в пустынных местах и держала в трепетных руках плод, был именно в августе. Пло-

ды же злонравия поспевают у нас ежемесячно. У римлян август был шестым в году и назывался sextilis'ом, у нас же он восьмой и называется августом в честь римского императора Августа, основавшего, как известно, августинский орден и сочинившего романс «Ах, мейн либер Августин». В этом месяце солнце вступает в знак Девы, отчего природа приобретает вид томный, кислый, меланхолический. Все, что веселило взор летом, в августе наводит уныние. Листья желтеют, трава ржавеет, дачники чумеют и бегут с дач в города, где поедаются живьем домовладельцами. Дни становятся короче, точно дневной свет поступает в ведение интендантского ведомства, печенки, ревматизмы и злые жены разыгрываются, как неподмазанные двери во время сквозного ветра. Светлые брюки, соломенные шляпы, пикейные жилетки, кители, крылатки — все это посыпается от моли вонючим нафталином и прячется на чертовски долгое время в мамашины или бабушкины сундуки. Одетые в чиновничьи капюшоны на вате, идут театральный, учебный и свадебный сезоны. Кто летом ленился, шалил и родителей не слушался, тот в августе учись или женись… Умнее всех оказываются в августе птицы и медведи. Первые собираются толпами и стараются улететь

как можно подальше от зимы с ее увеселениями, рецензиями, единицами, сугробами, вторые же берут лапы в зубы, безмятежно засыпают и будут спать, несмотря ни на что; даже если Цукки согласится остаться на всю зиму в России, и тогда они не проснутся. В августе начинается так называемое «бабье лето», когда природа — совершенная баба: то улыбается, то куксит. У наших предков август назывался серпенем. «В первых числах сего серпения, — писали предки, — секретарь Обдиранский купно с делопроизводителем Облупанским заткнули за пояс Мамая»…

Не тлетворные мысли

Хотите, чтобы на Северном полюсе произрастали финики и ананасы? Пошлите туда секретарей духовных консисторий и письмоводителей врачебных управ. Лучше их никто не сумеет *нагреть место.*

Все в природе целесообразно. Преображая человека под конец его жизни в песочницу, природа тем самым засыпает чернильные кляксы, произведенные им в продолжение всей его жизни…

И дальние родственники суть наши ближние. Люби их.

Не место красит человека, а человек место. Посему не театр красит городового, стоящего у театрального подъезда, а городовой красит театр.

Лучше развратная канарейка, чем благочестивый волк.

Если жена твоя часто плачет, то употребляй промокательную бумагу. Не остроумно, но зато практично.

Женский тост

— Господа! После тоста иностранного не трудно перейти к тостам странным, но я уберегусь от этой опасности и провозглашу — *женский тост!*

Жалею, что, идя сюда на обед, я не захватил с собой крупповской пушки, чтобы салютовать в честь женщин. Женщина по Шекспиру ничтожество, а по-моему она — все! (Крики: *довольно! садитесь!)* Без нее мир был бы то же, что скрипач без скрипки, что без пистолета прицел и без кларнета клапан. *(Не остро! садитесь!)* Лично же для нас женщину не может заменить никакой аванс. Скажите вы мне, поэты, кто вдохновлял вас и вливал в ваши холодные жилы огонь, когда вы в прекрасные лунные ночи, возвратившись из rendez-vous, садились за стол и писали стихотворения, которые частью вам возвращались редакцией, частью же, за недостатком материала, печатались, претерпев значительное сокращение? А вы, юмористы-прозаики, неужели не согласитесь с тем, что ваши рассказы утеряли бы девять десятых своей смехотворности, если бы в них отсутствовала женщина? Не самые ли лучшие те анекдоты, соль которых прячется в

длинных шлейфах и турнюрах? Вам, художникам, нет надобности напоминать, что многие из вас сидят здесь только потому, что умеют изображать женщин. Научившись рисовать женщину с ее хаосом лифов, оборок, тюников, фестончиков, переживя карандашом все капризы ее юродствующей моды, вы прошли такую тяжелую школу, после которой изобразить вам какую-нибудь «Вальпургиеву ночь» или «Последний день Помпеи» — раз плюнуть! Господа, кто разрешает от бремени наши карманы, кто нас любит, пилит, прощает, обирает? Кто услаждает и отравляет наше существование? *(Старо! будет!)* Кто украшает своим присутствием нашу сегодняшнюю трапезу? Ах! Немного спустя и выйдя отсюда, мы будем слабы, беззащитны… Расшатанные, сядем мы на извозчиков и, клюя носом, забыв адресы наших квартир, поедем странствовать во тьме. И кто же, какая светлая звезда встретит нас в конечном пункте нашего странствования? Все та же женщина! Урррааа!

Правила для начинающих авторов (Юбилейный подарок – вместо почтового ящика)

Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!» Если же, несмотря на такую экзекуцию, оный младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните на младенца рукой и пишите «пропало». Писательский зуд неизлечим.

Путь пишущего от начала до конца усыпан тернием, гвоздями и крапивой, а потому здравомыслящий человек всячески должен отстранять себя от писательства. Если же неумолимый рок, несмотря на все предостережения, толкнет когонибудь на путь авторства, то для смягчения своей участи такой несчастный должен руководствоваться следующими правилами:

1) Следует помнить, что случайное авторство и авторство a propos лучше постоянного писа-

тельства. Кондуктору, пишущему стихи, живется лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах.

2) Следует также зарубить себе на носу, что неудача на литературном поприще в тысячу раз лучше удачи. Первая наказуется только разочарованием да обидною откровенностью почтового ящика, вторая же влечет за собою томительное хождение за гонораром, получение гонорара купонами 1899 года, «последствия» и новые попытки.

3) Писанье как «искусство для искусства» выгоднее, чем творчество за презренный металл. Пишущие домов не покупают, в купе первого класса не ездят, в рулетку не играют и стерляжьей ухи не едят. Пища их — мед и акриды приготовления Саврасенкова, жилище — меблированные комнаты, способ передвижения — пешее хождение.

4) Слава есть яркая заплата на ветхом рубище певца, литературная же известность мыслима только в тех странах, где за уразумением слова «литератор» не лезут в «Словарь 30 000 иностранных слов».

5) Пытаться писать могут все без различия званий, вероисповеданий, возрастов, полов, обра-

зовательных цензов и семейных положений. Не запрещается писать даже безумным, любителям сценического искусства и лишенным всех прав. Желательно, впрочем, чтобы карабкающиеся на Парнас были по возможности люди зрелые, знающие, что слова «ехать» и «хлеб» пишутся через «ять».

6) Желательно, чтобы они по возможности были не юнкера и не гимназисты.

7) Предполагается, что пишущий, кроме обыкновенных умственных способностей, должен иметь за собою опыт. Самый высший гонорар получают люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы, самый же низший — натуры нетронутые и неиспорченные. К первым относятся: женившиеся в третий раз, неудавшиеся самоубийцы, проигравшиеся в пух и прах, дравшиеся на дуэли, бежавшие от долгов и проч. Ко вторым: не имеющие долгов, женихи, непьющие, институтки и проч.

8) Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. А посему не робей… Клади перед собой бумагу, бери в руки перо и, раздражив пленную мысль, строчи. Строчи о чем хочешь: о чернос-

ве, погоде, говоровском квасе, Великом океане, часовой стрелке, прошлогоднем снеге… Настрочивши, бери в руки рукопись и, чувствуя в жилах священный трепет, иди в редакцию. Снявши в передней калоши и справившись: «Тут ли г. редактор?», входи в святилище и, полный надежд, отдавай свое творение… После этого неделю лежи дома на диване, плюй в потолок и услаждай себя мечтами, через неделю же иди в редакцию и получай свою рукопись обратно. За сим следует обивание порогов в других редакциях… Когда все редакции уже обойдены и нигде рукопись не принята, печатай свое произведение отдельным изданием. Читатели найдутся.

9) Стать же писателем, которого печатают и читают, очень трудно. Для этого: будь безусловно грамотен и имей талант величиною хотя бы с чечевичное зерно. За отсутствием больших талантов, дороги и маленькие.

10) Будь порядочен. Не выдавай краденого за свое, не печатай одного и того же в двух изданиях зараз, не выдавай себя за Курочкина и Курочкина за себя, иностранное не называй оригинальным и т. д. Вообще помни десять заповедей.

11) В печатном мире существуют приличия. Здесь так же, как и в жизни, не рекомендуется

наступать на любимые мозоли, сморкаться в чужой платок, запускать пятерню в чужую тарелку и т. д.

12) Если хочешь писать, то поступай так. Избери сначала тему. Тут дана тебе полная свобода. Можешь употребить произвол и даже самоуправство. Но, дабы не открыть во второй раз Америки и не изобрести вторично пороха, избегай тем, которые давным-давно уже заезжены.

13) Избрав тему, бери в руки незаржавленное перо и разборчивым, не каракулистым почерком пиши желаемое на одной стороне листа, оставляя нетронутой другую. Последнее желательно не столько ради увеличения доходов бумажных фабрикантов, сколько ввиду иных, высших соображений.

14) Давая волю фантазии, приудержи руку. Не давай ей гнаться за количеством строк. Чем короче и реже ты пишешь, тем больше и чаще тебя печатают. Краткость вообще не портит дела. Растянутая резинка стирает карандаш нисколько не лучше нерастянутой.

15) Написавши, подписывайся. Если не гонишься за известностью и боишься, чтобы тебя не побили, употреби псевдоним. Но памятуй, что какое бы забрало ни скрывало тебя от публики, твоя

фамилия и твой адрес должны быть известны редакции. Это необходимо на случай, ежели редактор захочет тебя с Новым годом поздравить.

16) Гонорар получай тотчас же по напечатании. Авансов избегай. Аванс — это заедание будущего.

17) Получивши гонорар, делай с ним, что хочешь: купи себе пароход, осуши болото, снимись в фотографии, закажи Финляндскому колокол, увеличь женин турнюр в три раза… одним словом, что хочешь. Редакция, давая гонорар, дает и полную свободу действий. Впрочем, ежели сотрудник пожелает доставить редакции счет, из которого будет видно, как и куда истратил он свой гонорар, то редакция ничего не будет иметь против.

18) В заключение прочти еще раз первые строки этих «Правил».

Красная горка

Так называется у нас Фомина неделя, у древних же россиян это имя носил праздник в честь весны, совпадавший по времени как раз с Фоминой неделей. Весна не чиновная особа и чествовать ее не за что, но древляне, кривичи, мерь и прочие наши прародители, не имея среди себя заслуженных статских советников и полицеймейстеров, поневоле должны были чествовать не людей, а времена года и другие отвлеченности. Так как от невежества мы ушли, но к цивилизации, слава богу, еще не дошли, а обретаемся на золотой середине, то этот языческий праздник сохранился и до нашего времени во всей своей полноте. Празднуется он на горах и пригорках, где прежде всего тает снег и показывается зеленая травка — отсюда и название праздника. Следовало бы по-настоящему назвать его зеленой горкой, но предки наши уродились в наших современников: придавать всему выдающемуся красную окраску было их страстью.

Девицы, весна, лучшие площади, самая вкусная рыба — все это называлось красным и находилось под подозрением. В наше время Красная горка

празднуется таким образом. Парни и девки с лицами, усыпанными в честь весны веснушками, собравшись где-нибудь на пригорке, устраивают хороводы и поют песни. Песни поются всякие, без разбора и без всякой системы. Одни поют: «А-ах ты, пташка тинарейка», другие же, послужившие в городе в коридорных или горничных, лупят «Наш Китай страна свободы» или «Когда супруг захочет вдруг» — смесь языческих воззрений с гуманитарными… Вперемежку с песнями дубасят в честь весны друг друга в спину, вспоминают после каждого слова родителей и говорят о недоимках. Дело кончается тем, что подъезжает к толпе урядник и, попрекнув невежеством, приглашает публику сдать назад. В древности же Красная горка праздновалась с разумением. Кавалеры и барышни, сомкнувшись в тесный grand-rond[135], начинали чинно и благородно петь песни — «веснянки», в которых воспевались Сварог, И. С. Аксаков, гром, весенний дождь и проч. Всякий, затягивавший шансонетку или начинавший играть на губах, с позором изгонялся. Содержание «веснянок» тогда могло считаться вполне цензурным: солнце, олицетворенное

[135] Примечания: 135
Большой круг *(франц).*

под видом князя, едет к светлой княгине-весне, истребляя на пути ледяные препятствия; в конце концов, когда препятствия обойдены, солнце заключает в свои объятия освобожденную весну — и капитала нет и невинность не соблюдена, но тем не менее трогательно… Теперь же, когда гражданские браки запечатлены презрением всех благомыслящих людей, когда за присвоение не принадлежащего княжеского титула виновные наказуются по всей строгости законов, подобные песни ни печатаемы, ни распеваемы быть не могут.

В наше время на Красной горке обыватели идут на погосты и под видом поминовения родственников устраивают там целые пикники. Поминовения сопровождаются возлияниями и щедрой раздачей куличей, что весьма нравится сверхштатным дьяконам и вдовым псаломщикам, не знающим, «где главу преклонити» и где оскорбленному есть чувству уголок. Но ничем другим не угодила так россиянам Красная горка, как свадебным зудом. После восьминедельного запрещения обыватели входят в такой мариажный азарт, что девицы едва успевают ловить момент, а папаши — отсчитывать прилагательное… Выходят замуж все, в розницу и оптом, и

попадают в число мудрых дев не только достойные, но даже бракованные и уцелевшие после пожаров и наводнений… Такую свадебную эпидемию можно объяснить только атмосферными влияниями и долгим постом… Странно, у нас в пост жениться нельзя, а после Пасхи можно, у евреев же наоборот, в пост можно, после Пасхи нельзя; стало быть, евреи смотрят на брак, как на нечто постное.

В 20 верстах от Кронштадта есть возвышенность, усыпанная красным песком и именуемая Красной горкой. На ней была построена телеграфная станция, и на этой Красной горке женятся одни только телеграфисты. Кстати анекдот. Один немец, член нашей Академии наук, переводя что-то с русского на немецкий, фразу: «он женился на Красной горке», перевел таким образом: «Er heiratete die m-lle Krasnaja Gorka»[136].

[136] Примечания: 136
«Он женился на m-lle Красная Горка» *(нем.).*

Жизнь прекрасна!
(Покушающимся на самоубийство)

Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200 000, получить Белого Орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным — все эти блага тленны и поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже». А это нетрудно:

Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб.

Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а торжествуя восклицай: «Хорошо, что это не городовые!»

Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не в глаз!»

Если твоя жена или свояченица играет гаммы, то не выходи из себя, а не находи себе места от радости, что ты слушаешь игру, а не вой шакалов

или кошачий концерт.

Радуйся, что ты не лошадь конножелезки, не коховская «запятая», не трихина, не свинья, не осел, не медведь, которого водят цыгане, не клоп… Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный… Радуйся, что в данную минуту ты не сидишь на скамье подсудимых, не видишь пред собой кредитора и не беседуешь о гонораре с Турбой.

Если ты живешь в не столь отдаленных местах, то разве нельзя быть счастливым от мысли, что тебя не угораздило попасть в столь отдаленные?

Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что у тебя болят не все зубы.

Радуйся, что ты имеешь возможность не читать «Гражданина», не сидеть на ассенизационной бочке, не быть женатым сразу на трех…

Когда ведут тебя в участок, то прыгай от восторга, что тебя ведут не в геенну огненную.

Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: «Как я счастлив, что меня секут не крапивой!»

Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.

И так далее… Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного

ликования.

На гулянье в Сокольниках

День 1 мая клонился к вечеру. Шепот сокольницких сосен и пение птиц заглушены шумом экипажей, говором и музыкой. Гулянье в разгаре. За одним из чайных столов Старого Гулянья сидит парочка: мужчина в лоснящемся цилиндре и дама в голубой шляпке. Пред ними на столе кипящий самовар, пустая водочная бутылка, чашки, рюмки, порезанная колбаса, апельсинные корки и проч. Мужчина пьян жестоко… Он сосредоточенно глядит на апельсинную корку и бессмысленно улыбается.

— Натрескался, идол! — бормочет дама сердито, конфузливо озираясь. — Ты бы, прежде чем пить, рассудил бы, бесстыжие твои глаза. Мало того, что людям противно на тебя глядеть, ты и себе самому всякое удовольствие испортил. Пьешь, например, чай, а какой у тебя теперь вкус? Для тебя теперь что мармелад, что колбаса — все равно… А я-то старалась, брала чего бы получше…

Бессмысленная улыбка на лице мужчины сменяется выражением крайней скорби.

— М-маша, куда это людей ведут?

— Никуда их не ведут, а они сами гуляют.

— А зачем городовой идет?

— Городовой? Для порядка, а может быть, и гуляет… Эка, до чего допился, уж ничего и не смыслит!

— Я… я ничего… Я художник… жанрист…

— Молчи! Натрескался, ну и молчи… Ты, чем бормотать, рассуди лучше… Кругом деревья зеленые, травка, птички на разные голоса… А ты без внимания, словно тебя и нет тут… Глядишь и как в тумане… Художники норовят теперь природу подмечать, а ты — как зюзя…

— Природа… — говорит мужчина и крутит головой. — Пр-рирода… Птички поют… крокодилы ползают… львы… тигры…

— Мели, мели… Все люди как люди… под ручку гуляют, музыку слушают, один ты в безобразии. И когда это ты успел? Как это я недоглядела?

— М-маша, — бормочет цилиндр, бледнея. — Скорей…

— Чего тебе?

— Домой желаю… Скорей…

— Погоди… Потемнеет, тогда и пойдем, а теперь совестно идти: качаться будешь… Люди смеяться станут… Сиди и жди…

— Н-не могу! Я… я домой…

Мужчина быстро поднимается и, качаясь, вы-

ходит из-за стола. Публика, сидящая на других столах, начинает посмеиваться… Дама конфузится…

— Убей меня бог, ежели еще хоть раз с тобой пойду, — бормочет она, поддерживая мужчину. — Один срам только… Добро бы законный был, а то так… с ветру…

— М-маша, где мы?

— Молчи! Постыдился бы, все люди пальцами показывают. Тебе-то, как с гуся вода, а мне-то каково? Добро бы законный был, а то… так… Даст рубль и месяц попрекает: «Я тебя кормлю! Я тебя содержу!» Очень мне нужно! Да плевать я хотела на твои деньги! Возьму и уйду к Павлу Иванычу…

— М-маша… домой… Извозчика найми…

— Ну, иди… Ступай по аллее прямо, а я пойду в сторонке… Мне с тобой совестно идти… Иди прямо!

Дама ставит своего «незаконного» лицом к выходу и дает ему легкий толчок в спину. Мужчина подается вперед и, покачиваясь, толкаясь о проходящих и скамьи, спешит вперед… Дама идет позади и следит за его движениями. Она сконфужена и встревожена.

— Палочек, сударь, не желаете ли? — обраща-

ется к шагающему мужчине человек с вязанкой палок и тростей. — Самые лучшие… перцовые… бамбук-с…

Мужчина глупо глядит на продавца палок, потом поворачивает назад и мчится в противоположную сторону. На лице у него выражение ужаса.

— Куда это тебя нелегкая несет? — останавливает его дама, хватая за рукав. — Ну, куда?

— Где Маша?.. М-маша ушла…

— А я-то кто?

Дама берет под руку мужчину и ведет его к выходу. Ей совестно.

— Убей меня бог, ежели хоть еще раз с тобой пойду… — бормочет она, вся красная от стыда. — Последний раз терплю такой срам… Накажи меня бог… Завтра же уйду к Павлу Иванычу!

Дама робко поднимает глаза на публику, в ожидании увидеть на лицах насмешливые улыбки. Но видит она одни только пьяные лица. Все качаются и клюют носами. И ей становится легче.

Женщина с точки зрения пьяницы

Женщина есть опьяняющий продукт, который до сих пор еще не догадались обложить акцизным сбором. На случай, если когда-нибудь догадаются, предлагаю смету крепости означенного продукта в различные периоды его существования, беря в основу не количество градусов, а сравнение его с более или менее известными напитками:

Женщина до 16 лет — дистиллированная вода.

16 лет — ланинская фруктовая.

От 17 до 20 — шабли и шато д'икем.

От 20 до 23 — токайское.

От 23 до 26 — шампанское.

26 и 27 лет — мадера и херес.

28 — коньяк с лимоном.

29, 30, 31, 32 — ликеры.

От 32 до 35 — пиво завода «Вена».

От 35 до 40 — квас.

От 40 до 100 лет — сивушное масло.

Если же единицей меры взять не возраст, а семейное положение, то:

Жена — зельтерская вода.

Теща — огуречный рассол.

Прелестная незнакомка — рюмка водки перед

завтраком.

Вдовушка от 23 до 28 лет — мускат-люнель и марсала.

Вдовушка от 28 и далее — портер.

Старая дева — лимон без коньяка.

Невеста — розовая вода.

Тетенька — уксус.

Все женщины, взятые вместе — подкисленное, подсахаренное, подкрашенное суриком и сильно разбавленное «кахетинское» братьев Елисеевых.

Дипломат
(Сценка)

Жена титулярного советника Анна Львовна Кувалдина испустила дух.

— Как же теперь быть-то? — начали совещаться родственники и знакомые. — Надо бы мужа уведомить. Он хоть не жил с нею, но все-таки любил покойницу. Намеднись приезжал к ней, на коленках ползал и все: «Анночка! Когда же наконец ты простишь мне увлечение минуты?» И все в таком, знаете, роде. Надо дать знать…

— Аристарх Иваныч! — обратилась заплаканная тетенька к полковнику Пискареву, принимавшему участие в родственном совещании. — Вы друг Михаилу Петровичу. Сделайте милость, съездите к нему в правление и дайте ему знать о таком несчастье!.. Только вы, голубчик, не сразу, не оглоушьте, а то как бы и с ним чего не случилось. Болезненный. Вы подготовьте его сначала, а потом уж…

Полковник Пискарев надел фуражку и отправился в правление дороги, где служил новоиспеченный вдовец. Застал он его за выведением

баланса.

— Михайлу Петровичу, — начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и утирая пот. — Здорово, голубчик! Да и пыль же на улицах, прости господи! Пиши, пиши… Я мешать не стану… Посижу и уйду… Шел, знаешь, мимо и думаю: а ведь здесь Миша служит! Дай зайду! Кстати же и тово… дельце есть…

— Посидите, Аристарх Иваныч… Погодите… Я через четверть часика кончу, тогда и потолкуем…

— Пиши, пиши… Я ведь так только, гуляючи… Два словечка скажу и — айда!

Кувалдин положил перо и приготовился слушать. Полковник почесал у себя за воротником и продолжал:

— Душно у вас здесь, а на улице чистый рай…

Солнышко, ветерочек этакий, знаешь ли… птички… Весна! Иду себе по бульвару, и так мне, знаешь ли, хорошо!.. Человек я независимый, вдовый… Куда хочу, туда и иду… Хочу — в портерную зайду, хочу — на конке взад и вперед проедусь, и никто не смеет меня остановить, никто за мной дома не воет… Нет, брат, и лучше житья, как на холостом положении… Вольно! Свободно! Дышишь и чувствуешь, что дышишь! Приду сейчас

домой и никаких… Никто не посмеет спросить, куда ходил… Сам себе хозяин… Многие, братец ты мой, хвалят семейную жизнь, по-моему же она хуже каторги… Моды эти, турнюры, сплетни, визг… то и дело гости… детишки один за другим так и ползут на свет божий… расходы… Тьфу!

— Я сейчас, — проговорил Кувалдин, берясь за перо. — Кончу и тогда…

— Пиши, пиши… Хорошо, если жена попадется не дьяволица, ну а ежели сатана в юбке? Ежели такая, что по целым дням стрекозит да зудит?.. Взвоешь! Взять хоть тебя к примеру… Пока холост был, на человека похож был, а как женился на своей, и захирел, в меланхолию ударился… Осрамила она тебя на весь город… из дому прогнала… Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего…

— В нашем разрыве я виноват, а не она, — вздохнул Кувалдин.

— Оставь, пожалуйста! Знаю я ее! Злющая, своенравная, лукавая! Что ни слово, то жало ядовитое, что ни взгляд, то нож острый… А что в ней, в покойнице, ехидства этого было, так и выразить невозможно!

— То есть как в покойнице? — сделал большие глаза Кувалдин.

— Да нешто я сказал: в покойнице? — спохватился Пискарев, краснея. — И вовсе я этого не говорил… Что ты, бог с тобой… Уж и побледнел! Хе-хе… Ухом слушай, а не брюхом!

— Вы были сегодня у Анюты?

— Заходил утром… Лежит… Прислугой помыкает… То ей не так подали, другое… Невыносимая женщина! Не понимаю, за что ты и любишь ее, бог с ней совсем… Дал бы бог, развязала бы она тебя, несчастного… Пожил бы ты на свободе, повеселился… на другой бы оженился… Ну, ну, не буду! Не хмурься! Я ведь так только, по-стариковски… По мне, как знаешь… Хочешь — люби, хочешь — не люби, а я ведь так… добра желаючи… Не живет с тобой, знать тебя не хочет… что ж это за жена? Некрасивая, хилая, злонравная… И жалеть не за что… Пущай бы…

— Легко вы рассуждаете, Аристарх Иваныч! — вздохнул Кувалдин. — Любовь — не волос, не скоро ее вырвешь.

— Есть за что любить! Акроме ехидства ты от нее ничего не видел. Ты прости меня, старика, а не любил я ее… Видеть не мог! Еду мимо ее квартиры и глаза закрываю, чтобы не увидеть… Бог с ней! Царство ей небесное, вечный покой, но… не любил, грешный человек!

— Послушайте, Аристарх Иваныч… — побледнел Кувалдин. — Вы уже во второй раз проговариваетесь… Умерла она, что ли?

— То есть кто умерла? Никто не умирал, а только не любил я ее, покойницу… тьфу! то есть не покойницу, а ее… Аннушку-то твою…

— Да она умерла, что ли? Аристарх Иваныч, не мучайте меня! Вы как-то странно возбуждены, путаетесь… холостую жизнь хвалите… Умерла? Да?

— Уж так и умерла! — пробормотал Пискарев, кашляя. — Как ты, брат, все сразу… А хоть бы и умерла! Все помрем, и ей, стало быть, помирать надо… И ты помрешь, и я…

Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами…

— В котором часу? — спросил он тихо.

— Ни в котором… Уж ты и рюмзаешь! Да не умерла она! Кто тебе сказал, что она померла?

— Аристарх Иваныч, я… я прошу вас. Не щадите меня!

— С тобой, брат, и говорить нельзя, словно ты маленький. Ведь не говорил же я тебе, что она преставилась? Ведь не говорил? Чего же слюни распускаешь? Поди, полюбуйся — живехонька! Когда заходил к ней, с теткой бранилась… Тут отец Матвей панихиду служит, а она на весь

дом орет.

— Какую панихиду? Зачем ее служить?

— Панихиду-то? Да так… словно как бы вместо молебствия. То есть… никакой панихиды не было, а что-то такое… ничего не было.

Аристарх Иваныч запутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять.

— Кашель у меня, братец… Не знаю, где простудился…

Кувалдин тоже поднялся и нервно заходил около стола.

— Морочите вы меня, — сказал он, теребя дрожащими руками свою бородку. — Теперь понятно… все понятно. И не знаю, к чему вся эта дипломатия! Почему же сразу не говорить? Умерла ведь?

— Гм… Как тебе сказать? — пожал плечами Пискарев. — Не то чтобы умерла, а так… Ну вот ты уж и плачешь! Все ведь умрем! Не одна она смертная, все на том свете будем! Чем плакать-то при людях, взял бы лучше да помянул! Перекрестился бы!

Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледнел и, упавши в кресло, залился истерическим плачем… Из-за столов повскакивали его сослуживцы и бросились к

нему на помощь. Пискарев почесал затылок и нахмурился.

— Комиссия с такими господами, ей-богу! — проворчал он, растопыривая руки. — Ревет… ну, а отчего ревет, спрашивается? Миша, да ты в своем уме? Миша! — принялся он толкать Кувалдина. — Ведь не умерла же еще! Кто тебе сказал, что она умерла? Напротив, доктора говорят, что есть еще надежда! Миша! А Миша! Говорю тебе, что не померла! Хочешь, вместе к ней съездим? Как раз и к панихиде поспеем… то есть, что я? Не к панихиде, а к обеду. Мишенька! уверяю тебя, что еще жива! Накажи меня бог! Лопни мои глаза! Не веришь? В таком разе едем к ней… Назовешь тогда чем хочешь, ежели… И откуда он это выдумал, не понимаю? Сам я сегодня был у покойницы, то есть не у покойницы, а… тьфу!

Полковник махнул рукой, плюнул и вышел из правления. Придя в квартиру покойницы, он повалился на диван и схватил себя за волосы.

— Ступайте вы к нему сами! — проговорил он в отчаянии. — Сами его подготовляйте к известию, а меня уж избавьте! Не желаю-с! Два слова ему только сказал… Чуть только намекнул, поглядите, что с ним делается! Помирает! Без чувств! В другой раз ни за какие коврижки!.. Сами идите!..

О том, о сем…

Одна из пьес московского драматурга М — да потерпела фиаско на первом же представлении. Прогуливаясь по театральному фойе и сумрачно поглядывая по сторонам, автор спросил встретившегося ему приятеля:

— Что вы думаете о моей пьесе?

— Я думаю, — отвечал приятель, — что вы гораздо лучше чувствовали бы теперь себя, если бы эта пьеса была написана не вами, а мною.

* * *

Один помещик, зазвав к себе своего старого друга, велел подать полубутылку старого цимлянского…

— Ну, как ты находишь вино? — спросил он друга, когда вино было выпито. — Каков букет, какова крепость! Сейчас видно, что ему пятьдесят лет…

— Да, — согласился приятель, косясь на полубутылку, — только оно слишком мало для своих лет…

* * *

Актер пристает к своему антрепренеру, моля о выдаче жалованья и грозя в противном случае умереть с голодухи.

— Полноте, батенька, врать-то… — говорит антрепренер. — По вашим розовым, пухлым щекам не видать, чтоб вы с голоду дохли…

— Да что вы на лицо-то глядите! Лицо-то ведь не мое, а хозяйкино! Хозяйка кормит меня в кредит!

* * *

Одному офицеру под Севастополем лопнувшей гранатой оторвало ногу. Он не пал духом и стал носить искусственную конечность. В минувшую русско-турецкую кампанию во время взятия Плевны ему оторвало другую ногу. Бросившиеся к нему на помощь солдаты и офицеры были крайне озадачены его спокойным видом…

— Вот дураки-то! — смеялся он. — Только заряд потеряли даром… Того не знают, что у меня в обозе есть еще пара хороших ног!

Финтифлюшки

Один российский самодур, некий граф Рубец-Откачалов, ужасно кичился древностью своего рода и доказывал, что род его принадлежит к самым древним… Не довольствуясь историческими данными и всем тем, что он знал о своих предках, он откопал где-то два старых, завалящих портрета, изображавших мужчину и женщину, и под одним велел подписать: «Адам Рубец-Откачалов», под другим — «Ева Рубец-Откачалова»…

* * *

Другого графа, возведенного в графское достоинство за свои личные заслуги, спросили, почему на его карете нет герба.

— А потому, — отвечал он, — что моя карета гораздо старее моего графства…

* * *

Управляющий имениями одного помещика доложил своему барину, что на его землях охотятся соседи, и просил разрешения не дозволять

больше подобного своевольства…

— Оставь, братец! — махнул рукой помещик. — Мне много приятнее иметь друзей, нежели зайцев.

* * *

Очень рассеянный, но любивший давать отеческие советы, мировой судья спросил однажды у судившегося у него вора:

— Как это вы решились на воровство?

— С голода, ваше высокородие! Голод ведь и волка из лесу гонит!

— Напрасно, он должен работать! — строго заметил судья.

* * *

Прокурор окружного суда, узнав в одном из подсудимых своего товарища по школе, спросил его между прочим, не знает ли он, что сталось и с остальными его товарищами?

— Исключая вас и меня, все в арестантских ротах, — отвечал подсудимый.

Ворона

Было не больше шести часов вечера, когда блуждавший по городу поручик Стрекачев, идя мимо большого трехэтажного дома, случайно бросил взгляд на розовые занавески бельэтажа.

— Тут мадам Дуду живет… — вспомнил он. — Давно уж я у нее не был. Не зайти ли?

Но прежде, чем решить этот вопрос, Стрекачев вынул из кармана кошелек и робко взглянул в него. Увидел он там один скомканный, пахнущий керосином рубль, пуговицу, две копейки и — больше ничего.

— Мало… Ну, да ничего, — решил он. — Зайду так, посижу немножко.

Через минуту Стрекачев стоял уже в передней и полною грудью вдыхал густой запах духов и глицеринового мыла. Пахло еще чем-то, чего описать нельзя, но что можно обонять в любой женской, так называемой одинокой квартире: смесь женских пачулей с мужской сигарой. На вешалке висело несколько манто, ватер-пру-фов и один мужской лоснящийся цилиндр. Войдя в залу, поручик увидел то же, что видел он и в прошлом году: пианино с порванными нотами,

вазочку с увядающими цветами, пятно на полу от пролитого ликера… Одна дверь вела в гостиную, другая в комнатку, где m-me Дуду спала или играла в пикет с учителем танцев Вронди, старцем, очень похожим на Оффенбаха. Если взглянуть в гостиную, то прямо видна была дверь и из нее выглядывал край кровати с кисейным розовым пологом. Там жили «воспитанницы» m-me Дуду, Барб и Бланш.

В зале никого не было. Поручик направился в гостиную и тут увидел живое существо. За круглым столом, развалясь на диване, сидел какой-то молодой человек с щетинистыми волосами и синими мутными глазами, с холодным потом на лбу и с таким выражением, как будто вылезал из глубокой ямы, в которой ему было и темно и страшно. Одет он был щегольски, в новую триковую пару, которая носила еще на себе следы утюжной выправки; на груди болтался брелок; на ногах лакированные штиблеты с пряжками, красные чулки. Молодой человек подпирал кулаками свои пухлые щеки и тускло глядел на стоявшую перед ним бутылочку зельтерской. Тут же на другом столе было несколько бутылок, тарелка с апельсинами.

Взглянув на вошедшего поручика, франт выта-

ращил глаза, разинул рот. Удивленный Стрекачев сделал шаг назад… Во франте с трудом узнал он писаря Филенкова, которого он не далее как сегодня утром распекал в канцелярии за безграмотно написанную бумагу, за то, что слово «капуста» он написал так: «копусста».

Филенков медленно поднялся и уперся руками о стол. Минуту он не спускал глаз с лица поручика и даже посинел от внутреннего напряжения.

— Ты как же это сюда попал? — строго спросил у него Стрекачев.

— Я, ваше благородие, — залепетал писарь, потупя взор, — на дне рождения-с… При всеобщей повинной военности, когда всех уравняли, которые…

— Я тебя спрашиваю, как ты сюда попал? — возвысил голос поручик. — И что это за костюм?

— Я, ваше благородие, чувствую свою виновность, но… ежели взять, что при всеобщей повинной… военной всеобщности всех уравняли, и к тому как я все-таки человек образованный, не могу на дне рождения мамзель Барб существовать в форме нижнего чина, то я и надел оный костюм соответственно своему домашнему обиходу, как я, значит, потомственный почетный гражданин.

Увидев, что глаза поручика становятся все сердитее, Филенков умолк и нагнул голову, словно ожидая, что его сейчас трахнут по затылку. Поручик раскрыл рот, чтобы произнести «пошел вон!», но в это время в гостиную вошла блондинка с поднятыми бровями, в капоте ярко-желтого цвета. Узнав поручика, она взвизгнула и бросилась к нему.

— Вася! Офицер!!

Увидев, что Барб (это была одна из воспитанниц m-me Дуду) фамильярна с поручиком, писарь оправился и ожил. Растопырив пальцы, он выскочил из-за стола и замахал руками.

— Ваше благородие! — заговорил он, захлебываясь. — Со днем рождения имею честь поздравить любимого существа! В Париже такой не сыщешь! Именно-с! Огонь! Трех сотенных не пожалел, а сшил ей этот капот по случаю дня рождения любимого существа! Ваше благородие, шампанского! За новорожденную!

— А где Бланш? — спросил поручик.

— Сейчас выйдет, ваше благородие! — ответил писарь, хотя вопрос относился не к нему, а к Барб. — Сию минуту! Девица а ля компрене аревуар консоме! Намедни купец из Костромы приезжал, пятьсот отвалил… Легко ли дело, пять-

сот! Я тыщу дам, только спервоначалу характер мой уважь! Так ли я рассуждаю? Ваше благородие, пожалуйте-с!

Писарь подал поручику и Барб по стакану шампанского, а сам выпил рюмку водки. Поручик выпил, но тотчас же спохватился.

— Ты, я вижу, позволяешь себе лишнее, — сказал он. — Ступай-ка отсюда и скажи Демьянову, чтобы он тебя посадил на сутки.

— Ваше благородие, да, может, вы думаете, что я какой ни на есть свинья? Так вы думаете? Господи! Да ведь мой папаша потомственный почетный гражданин, орденов кавалер! Меня, ежели желаете знать, генерал крестил. А вы думаете, что я ежели писарь, то уж и свинья?.. Пожалуйте еще стаканчик… шипучечки… Барб, лупи! Не стесняйся, за все можем заплатить. При современной образованности всех уравняли. Генеральский или купеческий сын идет на службу все равно как мужик. Я, ваше благородие, был и в гимназии, и в реальном, и в коммерческом… Везде выгоняли! Барб, лупи! Бери радужную, посылай за дюжинкой! Ваше благородие, стаканчик!

Вошла m-me Дуду, высокая полная дама с ястребиным лицом. За ней семенил Вронди, похожий

на Оффенбаха. Немного погодя вошла и Бланш, маленькая брюнетка, лет 19-ти, со строгим лицом и с греческим носом, по-видимому, еврейка. Писарь выбросил еще одну радужную.

— Жарь на все! Жги! Позвольте мне эту вазу разбить! От чувств!

M-me Дуду начала рассказывать, что теперь всякая честная девушка может составить себе приличную партию и что девушкам пить неприлично, а если она и позволяет своим девочкам пить, то только потому, что надеется, что мужчины порядочные, а будь мужчины другие, она и сидеть бы им здесь не позволила.

От вина и соседства Бланш у поручика стала кружиться голова, и он забыл о писаре.

— Музыку! — кричал отчаянным голосом писарь. — Подавай музыку! На основании приказа за номером сто двадцатым предлагаю вам танцевать! Ти-ише! — продолжал орать во все горло писарь, думая, что это не он сам кричит, а кто-то другой. — Ти-ише! Я желаю, чтоб танцевали! Вы должны мой характер уважить! Качучу! Качучу!

Барб и Бланш посоветовались с m-me Дуду, старик Вронди сел за пианино. Танец начался. Филенков, топая в такт ногами, следил за движениями четырех женских ног и ржал от

удовольствия.

— Рви! Верно! Чувствуй! Отдирай, примерзло!

Немного погодя вся компания поехала в колясках в «Аркадию». Филенков ехал с Барб, поручик с Бланш, Вронди с m-me Дуду. В «Аркадии» заняли стол и потребовали ужин. Тут Филенков до того допился, что охрип и потерял способность махать руками. Он сидел мрачный и говорил, моргая глазами, как бы собираясь заплакать:

— Кто я? Нешто я человек? Я ворона! Потомственный почетный гражданин… — передразнил он себя. — Ворона ты, а не гра… гражданин.

Поручик, отуманенный вином, почти не замечал его. Раз только, увидев в тумане его пьяную физиономию, он нахмурил брови и сказал:

— Ты, я вижу, позволяешь себе очень…

Но тотчас же потерял способность соображать и чокнулся с ним. Из «Аркадии» поехали в Крестовский сад. Тут m-me Дуду простилась с молодежью, сказав, что она вполне надеется на порядочность мужчин, и уехала с Вронди. Потом потребовали для освежения кофе с коньяком и ликеров. Потом квасу, и водки, и зернистой икры. Писарь вымазал себе лицо икрой и сказал:

— Я теперь араб или вроде как бы нечистый дух.

На другой день утром поручик, чувствуя в голове свинец, а во рту жар и сухость, отправился к себе в канцелярию. Филенков сидел на своем месте в писарской форме и дрожащими руками сшивал какие-то бумаги. Лицо его было сумрачно, не гладко, точно булыжник, щетинистые волосы глядели в разные стороны, глаза слипались… Увидев поручика, он тяжело поднялся, вздохнул и вытянулся во фронт. Поручик, злой и не опохмелившийся, отвернулся и занялся своим делом. Минут десять длилось молчание, но вот глаза его встретились с мутными глазами писаря, и в этих глазах прочел он все: красные занавесочки, раздирательный танец, «Аркадию», профиль Бланш…

— При всеобщей повинной военности… — забормотал Филенков, — когда даже… профессоров в солдаты берут… когда всех уравняли… и даже свобода гласности…

Поручик хотел распечь его, послать к Демьянову, но махнул рукой и сказал тихо:

— А ну тебя к черту!

И вышел из канцелярии.

Кулачье гнездо

Вокруг заброшенной барской усадьбы средней руки группируется десятка два деревянных, на живую нитку состроенных дач. На самой высокой и видной из них синеет вывеска «Трактир» и золотится на солнце нарисованный самовар. Вперемежку с красными крышами дач там и сям уныло выглядывают похилившиеся и поросшие ржавым мохом крыши барских конюшен, оранжерей и амбаров.

Майский полдень. В воздухе пахнет постными щами и самоварною гарью. Управляющий Кузьма Федоров, высокий пожилой мужик в рубахе навыпуск и в сапогах гармоникой, ходит около дач и показывает их дачникам-нанимателям. На лице его написаны тупая лень и равнодушие: будут ли наниматели или нет, для него решительно все равно. За ним шагают трое: рыжий господин в форме инженера-путейца, тощая дама в интересном положении и девочка-гимназистка.

— Какие, однако, у вас дорогие дачи, — морщится инженер. — Все в четыреста да в триста рублей… ужасно! Вы покажите нам что-нибудь подешевле.

— Есть и подешевле… Из дешевых только две остались… Пожалуйте!

Федоров ведет нанимателей через барский сад. Тут торчат пни да редеет жиденький ельник; уцелело одно только высокое дерево — это стройный старик тополь, пощаженный топором словно для того только, чтобы оплакивать несчастную судьбу своих сверстников. От каменной ограды, беседок и гротов остались одни только следы в виде разбросанных кирпичей, известки и гниющих бревен.

— Как все запущено! — говорит инженер, с грустью поглядывая на следы минувшей роскоши. — А где теперь ваш барин живет?

— Они не барин, а из купцов. В городе меблированные комнаты содержат… Пожалте-с!

Наниматели нагибаются и входят в маленькое каменное строение с тремя решетчатыми, словно острожными, окошечками. Их обдает сыростью и запахом гнили. В домике одна квадратная комнатка, переделенная новой тесовой перегородкой на две. Инженер щурит глаза на темные стены и читает на одной из них карандашную надпись: «В сей обители мертвых заполучил меланхолию и покушался на самоубийство поручик Фильдекосов».

— Здесь, ваше благородие, нельзя в шапке стоять, — обращается Федоров к инженеру.

— Почему?

— Нельзя-с. Здесь был склеп, господ хоронили. Ежели которую приподнять доску и под пол поглядеть, то гробы видать.

— Какие новости! — ужасается тощая дама. — Не говоря уж о сырости, тут от одной мнительности умрешь! Не желаю жить с мертвецами!

— Мертвецы, барыня, не тронут-с. Не бродяги какие-нибудь похоронены, а ваш же брат — господа. Прошлым летом здесь, в этом самом склепе, господин военный Фильдекосов жили и остались вполне довольны. Обещались и в этом году приехать, да вот что-то не едут.

— Он на самоубийство покушался? — спросил инженер, вспомнив о надписи на стене.

— А вы откуда знаете? Действительно, это было, сударь. И из-за чего-то вся канитель вышла! Не знал он, что тут под полом, царствие им небесное, покойники лежат, ну и вздумал, значит, раз ночью под половицу четверть водки спрятать. Поднял эту доску, да как увидал, что там гробы стоят, очумел. Выбежал наружу и давай выть. Всех дачников в сумление ввел. Потом чахнуть начал. Выехать не на что, а жить страшно. Под

конец, сударь, не вытерпел, руку на себя наложил. Мое то счастье, что я с него вперед за дачу сто рублей взял, а то так бы и уехал, пожалуй, от перепугу. Пока лежал да лечился, попривык… ничего… Опять обещался приехать: «Я, говорит, такие приключения смерть как люблю!» Чудак!

— Нет, уж вы нам другую дачу покажите.

— Извольте-с. Еще одна есть, только похуже-с.

Кузьма ведет дачников в сторону от усадьбы, к месту, где высится оборванная клуня… За клуней блестит поросший травою пруд и темнеют господские сараи.

— Здесь можно рыбу ловить? — спрашивает инженер.

— Сколько угодно-с… Пять рублей за сезон заплатите и ловите себе на здоровье. То есть удочкой в реке можно, а ежели пожелаете в пруду карасей ловить, то тут особая плата.

— Рыба пустяки, — замечает дама, — и без нее можно обойтись. А вот насчет провизии. Крестьяне носят сюда молоко?

— Крестьянам сюда не велено ходить, сударыня. Дачники провизию обязаны у нас на ферме забирать. Такое уж условие делаем. Мы не дорого берем-с. Молоко четвертак за пару, яйца, как обыкновенно, три гривенника за десяток, масло

полтинник… Зелень и овощь разную тоже у нас должны забирать.

— Гм… А грибы у вас есть где собирать?

— Ежели лето дождливое, то и гриб бывает. Собирать можно. Взнесете за сезон шесть рублей с человека и собирайте не только грибы, но даже и ягоды. Это можно-с. К нашему лесу дорога идет через речку. Желаете — в брод пойдете, не желаете — идите через лавы. Всего пятачок стоит через лавы перейтить. Туда пятачок и оттеда пятачок. А ежели которые господа желают охотиться, ружьем побаловаться, то наш хозяин не прекословит. Стреляй сколько хочешь, только фитанцию при себе имей, что ты десять рублей заплатил. И купанье у нас чудесное. Берег чистенький, на дне песок, глубина всякая: и по колено, и по шею. Мы не стесняем. За раз пятачок, а ежели за сезон, то четыре с полтиной. Хоть целый день в воде сиди!

— А соловьи у вас поют? — спрашивает девочка.

— Намеднись за рекой пел один, да сынишка мой поймал, трактирщику продал. Пожалте-с!

Кузьма вводит нанимателей в ветхий сарайчик с новыми окнами. Внутри сарайчик разделен перегородками на три каморки. В двух каморках

стоят пустые закрома.

— Нет, куда же тут жить! — заявляет тощая дама, брезгливо оглядывая мрачные стены и закрома. — Это сарай, а не дача. И смотреть нечего, Жорж… Тут, наверное, и течет и дует. Невозможно жить!

— Живут люди! — вздыхает Кузьма. — На бесптичье, как говорится, и кастрюля соловей, а когда нет дач, так и эта в добрую душу сойдет. Не вы наймете, так другие наймут, а уж кто-нибудь да будет в ней жить. По-моему, эта дача для вас самая подходящая, напрасно вы, это самое… супругу свою слушаете. Лучше нигде не найтить. А я бы с вас и взял бы подешевле. Ходит она за полтораста, а я бы сто двадцать взял.

— Нет, милый, не идет. Прощайте, извините, что обеспокоили.

— Ничего-с. Будьте здоровы-с.

И, провожая глазами уходящих дачников, Кузьма кашляет и добавляет:

— На чаек бы следовало с вашей милости. Часа два небось водил. Полтинничка-то уже не пожалейте!

Кое-что об А. С. Даргомыжском

Вот две маленькие были об А. С. Даргомыжском, слышанные мною о нем от одного из его почитателей и хороших знакомых, Вл. П. Б-ва.

* * *

Случилось, что Александр Сергеевич и автор «Тарантаса» граф В. А. Соллогуб по приезде в Москву остановились в одно и то же время на квартире г. Б.

Однажды в сумерках граф лежал на диване и что-то читал, а композитор стоял посреди комнаты и думал думу.

— Послушай, Александр Сергеич, — обратился литератор к композитору, — будь другом, поставь поближе ко мне свечу, а то ничего не видно…

— В данную минуту мне приходится оригинальничать, — сказал Даргомыжский, принимая с комода свечу и ставя ее на столик перед В. А. Соллогубом. — Обыкновенно я ставлю свечи перед образами, теперь же приходится ставить свечу перед образиной…

* * *

В одно время мнительному А. С. казалось, что московское отделение Русского музыкального общества с Н. Г. Рубинштейном во главе питает к нему неприязненные чувства, и он стал избегать встреч с директором Общества, а при встречах на мнимую неприязнь отвечал холодом и сухостью. Заметив в приятеле такую перемену, Н. Г. Рубинштейн совершенно потерялся в догадках и в конце концов отнес ее на долю сплетен.

— Что мне делать! — недоумевал он однажды, беседуя с г. Б-ым. — Даргомыжский совсем от рук отбился. Холоден, сентябрем глядит, избегает меня… Что я ему сделал? За что он на меня сердится?

— А ты объяснись с ним, — посоветовал г. Б.

— Где же я могу с ним объясниться? И как? Он бегает меня!

— Погоди, я это устрою. Позову его к себе, а ты придешь и объяснишься с ним… Ты подойди к нему и, знаешь, этак дружески возьми его за руку и скажи: «Дорогой мой, откуда эта холодность? Ведь вы знаете, я вас всегда так любил, так уважал ваш талант…» и все в таком же роде, потом обойми его и поцелуй… по-дружески… Раскиснет!

Н. Г. Рубинштейн принял этот план целиком… Надо сказать, что покойный А. С. терпеть не мог целоваться с мужчинами.

— С женщиной еще так и сяк, — говаривал он, — с мужчиной же — ну тебя к черту!

Чтобы рассердить А. С. и вывести его из себя, достаточно было кому-либо из представителей непрекрасного пола подкрасться к нему и чмокнуть его в щеку…

— Дурак! — бранился он, вытирая рукавом место поцелуя. — Дурак! Болван!

Свидание было устроено.

— Дорогой мой! — начал Н. Г. Рубинштейн, беря за руку композитора. — Скажите, ради бога, за что вы на меня сердитесь? Что я вам сделал худого? Напротив, я всегда любил вас, уважал ваш талант…

И Н. Г. обнял А. С. и быстро поцеловал его в губы. Каково же было его удивление, когда А. С. вместо того, чтобы раскиснуть, вырвался из объятий Н. Г. и, выбегая из комнаты, пустил по адресу директора Общества и г. Б-ва внушительного «дурака».

Впоследствии, когда мир был водворен, это свидание, устроенное г. Б. на потеху, долго смешило как Н. Г., так и самого А. С.

Бумажник

Три странствующих актера — Смирнов, Попов и Балабайкин шли в одно прекрасное утро по железнодорожным шпалам и нашли бумажник. Раскрыв его, они, к великому своему удивлению и удовольствию, увидели в нем двадцать банковых билетов, шесть выигрышных билетов 2-го займа и чек на три тысячи. Первым делом они крикнули «ура», потом же сели на насыпи и стали предаваться восторгам.

— Сколько же это на каждого приходится? — говорил Смирнов, считая деньги. — Батеньки! По пяти тысяч четыреста сорока пяти рублей! Голубчики, да ведь это умрешь от таких денег!

— Не так я за себя рад, — сказал Балабайкин, — как за вас, голубчики мои милые. Не будете вы теперь голодать да босиком ходить. Я за искусство рад… Прежде всего, братцы, поеду в Москву и прямо к Айе: шей ты мне, братец, гардероб… Не хочу пейзанов играть, перейду на амплуа фатов да хлыщей. Куплю цилиндр и шапокляк. Для фатов серый цилиндр.

— Теперь бы на радостях выпить и закусить, —

заметил jeune premier[137] Попов. — Ведь мы почти три дня питались всухомятку, надо бы теперь чего-нибудь этакого… А?..

— Да, недурно бы, голубчики мои милые… — согласился Смирнов. — Денег много, а есть нечего, драгоценные мои. Вот что, миляга Попов, ты из нас самый молодой и легкий, возьми-ка из бумажника рублевку и маршируй за провизией, ангел мой хороший… Воо-оон деревня! Видишь, за курганом белеет церковь? Верст пять будет, не больше… Видишь? Деревня большая, и ты все там найдешь… Купи водки бутылку, фунт колбасы, два хлеба и сельдь, а мы тебя подождем здесь, голубчик, любимый мой…

Попов взял рубль и собрался уходить. Смирнов со слезами на глазах обнял его, поцеловал три раза, перекрестил и назвал его голубчиком, ангелом, душой… Балабайкин тоже обнял и поклялся в вечной дружбе — и только после целого ряда излияний, самых чувствительных, трогательных, Попов спустился с насыпи и направил стопы свои к темневшей вдали деревеньке.

«Ведь этакое счастье! — размышлял он дорогой. — Не было ни гроша, да вдруг алтын. Махну

---

[137] Примечания: 137
Первый любовник *(франц.).*

теперь в родную Кострому, соберу труппу и выстрою там свой театр. Впрочем… за пять тысяч нынче и сарая путного не выстроишь. Вот если бы весь бумажник был мой, ну, тогда другое дело… Такой бы театрище закатил, такой, что мое почтение. Собственно говоря, Смирнов и Балабайкин — какие это актеры? Это бездарности, свиньи в ермолке, тупицы… Они деньги на пустяки изведут, а я бы пользу отечеству принес и себя бы обессмертил… Вот что я сделаю… Возьму и положу в водку яду. Они умрут, но зато в Костроме будет театр, какого не знала еще Россия. Кто-то, кажется, Мак-Магон, сказал, что цель оправдывает средства, а Мак-Магон был великий человек».

Пока он шел и рассуждал так, спутники его Смирнов и Балабайкин сидели и вели такую речь:

— Наш друг Попов славный малый, — говорил Смирнов со слезами на глазах, — люблю я его, глубоко ценю за талант, влюблен в него, но… знаешь ли? — эти деньги сгубят его… Он или пропьет их, или же пустится в аферу и свернет себе шею. Он так молод, что ему рано еще иметь свои деньги, голубчик ты мой хороший, родной мой…

— Да, — согласился Балабайкин и поцеловался со Смирновым. — К чему этому мальчишке день-

ги? Другое дело мы с тобой… Мы люди семейные, положительные… Для нас с тобой лишний рубль многое уж значит… (Пауза.) Знаешь что, брат? Не станем долго разговаривать и сентиментальничать: возьмем да и убьем его!.. Тогда тебе и мне придется по восьми тысяч. Убьем его, а в Москве скажем, что он под поезд попал… Я тоже люблю его, обожаю, но ведь интересы искусства, полагаю, прежде всего. К тому же он бездарен и глуп, как эта шпала.

— Что ты, что?! — испугался Смирнов. — Это такой славный, честный… Хотя с другой стороны, откровенно говоря, голубчик ты мой, свинья он порядочная, дурррак, интриган, сплетник, пройдоха… Если мы в самом деле убьем его, то он сам же будет благодарить нас, милый ты мой, дорогой… А чтобы ему не так обидно было, мы в Москве напечатаем в газетах трогательный некролог. Это будет по-товарищески.

Сказано — сделано… Когда Попов вернулся из деревни с провизией, товарищи обняли его со слезами на глазах, поцеловали, долго уверяли его, что он великий артист, потом вдруг напали на него и убили. Чтобы скрыть следы преступления, они положили покойника на рельсы… Разделив находку, Смирнов и Балабайкин, рас-

троганные, говоря друг другу ласковые слова, стали закусывать, в полной уверенности, что преступление останется безнаказанным… Но добродетель всегда торжествует, а порок наказывается. Яд, брошенный Поповым в бутылку с водкой, принадлежал к сильно действующим: не успели друзья выпить по другой, как уже бездыханные лежали на шпалах… Через час над ними с карканьем носились вороны.

Мораль: когда актеры со слезами на глазах говорят о своих дорогих товарищах, о дружбе и взаимной «солидарности», когда они обнимают и целуют вас, то не очень увлекайтесь.

Сапоги

Фортепианный настройщик Муркин, бритый человек с желтым лицом, табачным носом и с ватой в ушах, вышел из своего номера в коридор и дребезжащим голосом прокричал:

— Семен! Коридорный!

И, глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка или что он только что у себя в номере увидел привидение.

— Помилуй, Семен! — закричал он, увидев бегущего к нему коридорного. — Что же это такое? Я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня выходить босиком! Отчего ты до сих пор не даешь мне сапог? Где они?

Семен вошел в номер Муркина, поглядел на то место, где он имел обыкновение ставить вычищенные сапоги, и почесал затылок: сапог не было.

— Где ж им быть, проклятым? — проговорил Семен. — Вечером, кажись, чистил и тут поставил… Гм!.. Вчерась, признаться, выпивши был… Должно полагать, в другой номер поставил. Именно так и есть, Афанасий Егорыч, в другой

номер! Сапог-то много, а черт их в пьяном виде разберет, ежели себя не помнишь… Должно, к барыне поставил, что рядом живет… к актрисе…

— Изволь я теперь из-за тебя идти к барыне, беспокоить! Изволь вот из-за пустяка будить честную женщину!

Вздыхая и кашляя, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал.

— Кто там? — послышался через минуту женский голос.

— Это я-с! — начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой. — Извините за беспокойство, сударыня, но я человек болезненный, ревматический… Мне, сударыня, доктора велели ноги в тепле держать, тем более, что мне сейчас нужно идти настраивать рояль к генеральше Шевелицыной. Не могу же я к ней босиком идти!..

— Да вам что нужно? Какой рояль?

— Не рояль, сударыня, а в отношении сапог! Невежда Семен почистил мои сапоги и по ошибке поставил в ваш номер. Будьте, сударыня, столь достолюбезны, дайте мне мои сапоги!

Послышалось шуршанье, прыжок с кровати и шлепанье туфель, после чего дверь слегка отворилась и пухлая женская ручка бросила к ногам

Муркина пару сапог. Настройщик поблагодарил и отправился к себе в номер.

— Странно… — пробормотал он, надевая сапог. — Словно как будто это не правый сапог. Да тут два левых сапога! Оба левые! Послушай, Семен, да это не мои сапоги! Мои сапоги с красными ушками и без латок, а это какие-то порванные, без ушек!

Семен поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился.

— Это сапоги Павла Александрыча… — проворчал он, глядя искоса.

Он был кос на левый глаз.

— Какого Павла Александрыча?

— Актера… каждый вторник сюда ходит… Стало быть, это он вместо своих ваши надел… Я к ней в номер поставил, значит, обе пары: его и ваши. Комиссия!

— Так поди и перемени!

— Здравствуйте! — усмехнулся Семен. — Поди и перемени… А где ж мне взять его теперь? Уж час времени, как ушел… Поди, ищи ветра в поле!

— Где же он живет?

— А кто ж его знает! Приходит сюда каждый вторник, а где живет — нам неизвестно. Придет, переночует, и жди до другого вторника…

— Вот видишь, свинья, что ты наделал! Ну, что мне теперь делать! Мне к генеральше Шевелицыной пора, анафема ты этакая! У меня ноги озябли!

— Переменить сапоги недолго. Наденьте эти сапоги, походите в них до вечера, а вечером в театр… Актера Блистанова там спросите… Ежели в театр не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникам сюда и ходит…

— Но почему же тут два левых сапога? — спросил настройщик, брезгливо берясь за сапоги.

— Какие бог послал, такие и носит. По бедности… Где актеру взять?.. «Да и сапоги же, говорю, у вас, Павел Александрыч! Чистая срамота!» А он и говорит: «Умолкни, говорит, и бледней! В этих самых сапогах, говорит, я графов и князей играл!» Чудной народ! Одно слово, артист. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актеров — ив острог.

Бесконечно кряхтя и морщась, Муркин натянул на свои ноги два левых сапога и, прихрамывая, отправился к генеральше Шевелицыной. Целый день ходил он по городу, настраивал фортепиано, и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги с латками и с покривившимися каблуками! Кроме нрав-

ственных мук, ему пришлось еще испытать и физические: он натер себе мозоль.

Вечером он был в театре. Давали «Синюю Бороду». Только перед последним действием, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя в мужскую уборную, он застал в ней весь мужской персонал. Одни переодевались, другие мазались, третьи курили. Синяя Борода стоял с королем Бобешем и показывал ему револьвер.

— Купи! — говорил Синяя Борода. — Сам купил в Курске по случаю за восемь, ну, а тебе отдам за шесть… Замечательный бой!

— Поосторожней… Заряжен ведь!

— Могу ли я видеть господина Блистанова? — спросил вошедший настройщик.

— Я самый! — повернулся к нему Синяя Борода. — Что вам угодно?

— Извините, сударь, за беспокойство, — начал настройщик умоляющим голосом, — но, верьте… я человек болезненный, ревматический. Мне доктора приказали ноги в тепле держать…

— Да вам, собственно говоря, что угодно?

— Видите ли-с… — продолжал настройщик, обращаясь к Синей Бороде. — Того-с… эту ночь вы изволили быть в меблированных комнатах

купца Бухтеева… в 64 номере…

— Ну, что врать-то! — усмехнулся король Бобеш. — В 64 номере моя жена живет!

— Жена-с? Очень приятно-с… — Муркин улыбнулся. — Оне-то, ваша супруга, собственно мне и выдали ихние сапоги… Когда они, — настройщик указал на Блистанова, — от них ушли-с, я хватился своих сапог… кричу, знаете ли, коридорного, а коридорный и говорит: «Да я, сударь, ваши сапоги в соседний номер поставил!» Он по ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил в 64 номер мои сапоги и ваши-с, — повернулся Муркин к Блистанову, — а вы, уходя вот от ихней супруги, надели мои-с…

— Да вы что же это? — проговорил Блистанов и нахмурился. — Сплетничать сюда пришли, что ли?

— Нисколько-с! Храни меня бог-с! Вы меня не поняли-с… Я ведь насчет чего? Насчет сапог! Вы ведь изволили ночевать в 64 номере?

— Когда?

— В эту ночь-с.

— А вы меня там видели?

— Нет-с, не видел-с, — ответил Муркин в сильном смущении, садясь и быстро снимая сапоги. — Я не видел-с, но мне ваши сапоги вот ихняя

супруга выбросила… Это вместо моих-с.

— Так какое же вы имеете право, милостивый государь, утверждать подобные вещи? Не говорю уж о себе, но вы оскорбляете женщину, да еще в присутствии ее мужа!

За кулисами поднялся страшный шум. Король Бобеш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и изо всей силы ударил кулаком по столу, так что в уборной по соседству с двумя актрисами сделалось дурно.

— И ты веришь? — кричал ему Синяя Борода. — Ты веришь этому негодяю? О-о! Хочешь, я убью его, как собаку? Хочешь? Я из него бифштекс сделаю! Я его размозжу!

И все, гулявшие в этот вечер в городском саду около летнего театра, рассказывают теперь, что они видели, как перед четвертым актом от театра по главной аллее промчался босой человек с желтым лицом и с глазами, полными ужаса. За ним гнался человек в костюме Синей Бороды и с револьвером в руке. Что случилось далее — никто не видел. Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, две недели лежал больной и к словам «я человек болезненный, ревматический» стал прибавлять еще «я человек раненый»…

Нервы

Дмитрий Осипович Ваксин, архитектор, воротился из города к себе на дачу под свежим впечатлением только что пережитого спиритического сеанса. Раздеваясь и ложась на свое одинокое ложе (мадам Ваксина уехала к Троице), Ваксин стал невольно припоминать все слышанное и виденное. Сеанса, собственно говоря, не было, а вечер прошел в одних только страшных разговорах. Какая-то барышня ни с того ни с сего заговорила об угадывании мыслей. С мыслей незаметно перешли к духам, от духов к привидениям, от привидений к заживо погребенным… Какой-то господин прочел страшный рассказ о мертвеце, перевернувшемся в гробу. Сам Ваксин потребовал блюдечко и показал барышням, как нужно беседовать с духами. Вызвал он, между прочим, дядю своего Клавдия Мироновича и мысленно спросил у него: «Не пора ли мне дом перевести на имя жены?» — на что дядя ответил: «Во благовремении все хорошо».

«Много таинственного и… страшного в природе… — размышлял Ваксин, ложась под одеяло. — Страшны не мертвецы, а эта неизвестность…»

Пробило час ночи. Ваксин повернулся на другой бок и выглянул из-под одеяла на синий огонек лампадки. Огонь мелькал и еле освещал киот и большой портрет дяди Клавдия Мироныча, висевший против кровати.

«А что, если в этом полумраке явится сейчас дядина тень? — мелькнуло в голове Ваксина. — Нет, это невозможно!»

Привидения — предрассудок, плод умов недозрелых, но, тем не менее, все-таки Ваксин натянул на голову одеяло и плотнее закрыл глаза. В воображении его промелькнул перевернувшийся в гробу труп, заходили образы умершей тещи, одного повесившегося товарища, девушки-утопленницы… Ваксин стал гнать из головы мрачные мысли, но чем энергичнее он гнал, тем яснее становились образы и страшнее мысли. Ему стало жутко.

«Черт знает что… Боишься, словно маленький… Глупо!»

«Чик… чик… чик», — стучали за стеной часы. В сельской церкви на погосте зазвонил сторож. Звон был медленный, заунывный, за душу тянущий… По затылку и по спине Ваксина пробежали холодные мурашки. Ему показалось, что над его головой кто-то тяжело дышит, точно дядя

вышел из рамы и склонился над племянником… Ваксину стало невыносимо жутко. Он стиснул от страха зубы и притаил дыхание. Наконец, когда в открытое окно влетел майский жук и загудел над его постелью, он не вынес и отчаянно дернул за сонетку.

— Дементрий Осипыч, was wollen Sie?[138] — послышался через минуту за дверью голос гувернантки.

— Ах, это вы, Розалия Карловна? — обрадовался Ваксин. — Зачем вы беспокоитесь? Гаврила мог бы…

— Хаврилу ви сами в город отпустил, а Глафира куда-то с вечера ушла… Никого нет дома… Was wollen Sie doch?[139]

— Я, матушка, вот что хотел сказать… Тово… Да вы войдите, не стесняйтесь! У меня темно…

В спальную вошла толстая, краснощекая Розалия Карловна и остановилась в ожидательной позе.

— Садитесь, матушка… Видите ли, в чем дело… — «О чем бы ее спросить?» — подумал Ваксин, косясь на портрет дяди и чувствуя, как душа его

---

[138] Примечания: 138
Что вы хотите? *(нем.)*

[139] Примечания: 139
Что же вы хотите? *(нем.)*

постепенно приходит в покойное состояние. — Я, собственно говоря, вот о чем хотел просить вас… Когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он… тово… зашел гильз купить… Да вы садитесь!

— Гильз? Хорошо! Was wollen Sie noch?[140]

— Ich will…[141] Ничего я не will, но… Да вы садитесь! Я еще что-нибудь надумаю…

— Неприлишно девице стоять в мужчинской комнат… Ви, я вижу, Деметрий Осипыч, шалюй… насмешкин… Я понимай… Из-за гильз шеловека не будят… Я понимай…

Розалия Карловна повернулась и вышла. Ваксин, несколько успокоенный беседой с ней и стыдясь своего малодушия, натянул на голову одеяло и закрыл глаза. Минут десять он чувствовал себя сносно, но потом в его голову полезла опять та же чепуха… Он плюнул, нащупал спички и, не открывая глаз, зажег свечу. Но и свет не помог. Напуганному воображению Ваксина казалось, что из угла кто-то смотрит и что у дяди мигают глаза.

— Позвоню ей опять, черрт бы ее взял… — по-

---

[140] Примечания: 140
Что вы еще хотите? *(нем.)*

[141] Примечания: 141
Я хочу… *(нем.)*

решил он. — Скажу ей, что я болен… Попрошу капель.

Ваксин позвонил. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз, и словно в ответ на его звон, зазвонили на погосте. Охваченный страхом, весь холодный, он выбежал опрометью из спальной и, крестясь, браня себя за малодушие, полетел босой и в одном нижнем к комнате гувернантки.

— Розалия Карловна! — заговорил он дрожащим голосом, постучавшись в дверь. — Розалия Карловна! Вы… спите? Я… тово… болен… Капель!

Ответа не последовало. Кругом царила тишина…

— Я вас прошу… понимаете? Прошу! И к чему эта… щепетильность, не понимаю, в особенности, если человек… болен? Какая же вы, право, цирлих-манирлих. В ваши годы…

— Я вашей жена буду говорил… Не дает покой честный девушк… Когда я жил у барон Анциг и барон захотел ко мне приходить за спишки, я понимай… я сразу понимай, какие спишки, и сказала баронесс… Я честный девушк…

— Ах, на какого черта сдалась мне ваша честность? Я болен… и капель прошу. Понимаете? Я болен!

— Ваша жена честный, хороший женщин, и вы

должны ее любить. Ja![142] Она благородный! Я не желай быть ее враг!

— Дура вы, вот и все! Понимаете? Дура!

Ваксин оперся о косяк, сложил руки накрест и стал ждать, когда пройдет его страх. Вернуться в свою комнату, где мелькала лампадка и глядел из рамы дядюшка, не хватало сил, стоять же у дверей гувернантки в одном нижнем платье было неудобно во всех отношениях. Что было делать? Пробило два часа, а страх все еще не проходил и не уменьшался. В коридоре было темно и из каждого угла глядело что-то темное. Ваксин повернулся лицом к косяку, но тотчас же ему показалось, что кто-то слегка дернул его сзади за сорочку и тронул за плечо…

— Черт подери… Розалия Карловна!

Ответа не последовало. Ваксин нерешительно открыл дверь и заглянул в комнату. Добродетельная немка безмятежно спала. Маленький ночник освещал рельефы ее полновесного, дышащего здоровьем тела. Ваксин вошел в комнату и сел на плетеный сундук, стоявший около двери. В присутствии спящего, но живого существа он почувствовал себя легче.

---

[142] Примечания: 142
Да! *(нем.)*

«Пусть спит, немчура… — думал он. — Посижу у нее, а когда рассветет, выйду… Теперь рано светает».

В ожидании рассвета, Ваксин прикорнул на сундуке, подложил руку под голову и задумался.

«Что значит нервы, однако! Человек развитой, мыслящий, а между тем… черт знает что! Совестно даже»…

Скоро, прислушавшись к тихому, мерному дыханию Розалии Карловны, он совсем успокоился…

В шесть часов утра жена Ваксина, воротившись от Троицы и не найдя мужа в спальной, отправилась к гувернантке попросить у нее мелочи, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя к немке, она увидала картину: на кровати, вся раскинувшись от жары, спала Розалия Карловна, а на сажень от нее, на плетеном сундуке, свернувшись калачиком, похрапывал сном праведника ее муж. Он был бос и в одном нижнем. Что сказала жена и как глупа была физиономия мужа, когда он проснулся, предоставляю изображать другим. Я же, в бессилии, слагаю оружие.

Вверх по лестнице

Провинциальный советник Долбоносов, будучи однажды по делам службы в Питере, попал случайно на вечер к князю Фингалову. На этом вечере он, между прочим, к великому своему удивлению, встретил студента-юриста Щепоткина, бывшего лет пять тому назад репетитором его детей. Знакомых у него на вечере не было, и он от скуки подошел к Щепоткину.

— Вы это… тово… как же сюда попали? — спросил он, зевая в кулак.

— Так же, как и вы…

— То есть, положим, не так, как я… — нахмурился Долбоносов, оглядывая Щепоткина. — Гм… тово… дела ваши как?

— Так себе… Кончил курс в университете и служу чиновником особых поручений при Подоконникове…

— Да? Это на первых порах недурно… Но… ээ… простите за нескромный вопрос, сколько дает вам ваша должность?

— Восемьсот рублей…

— Пф!.. На табак не хватит… — пробормотал Долбоносов, опять впадая в снисходительно-по-

кровительственный тон.

— Конечно, для безбедного прожития в Петербурге этого недостаточно, но кроме того ведь я состою секретарем в правлении Угаро-Дебоширской железной дороги… Это дает мне полторы тысячи…

— Дааа, в таком случае, конечно… — перебил Долбоносов, причем по лицу его разлилось нечто вроде сияния. — Кстати, милейший мой, каким образом вы познакомились с хозяином этого дома?

— Очень просто, — равнодушно отвечал Щепоткин. — Я встретился с ним у статс-секретаря Лодкина…

— Вы… бываете у Лодкина? — вытаращил глаза Долбоносов…

— Очень часто… Я женат на его племяннице…

— На пле-мян-ни-це? Гм… Скажите… Я, знаете ли… тово… всегда желал вам… пророчил блестящую будущность, высокоуважаемый Иван Петрович…

— Петр Иваныч…

— То есть, Петр Иваныч… А я, знаете ли, гляжу сейчас и вижу — что-то лицо знакомое… В одну секунду узнал… Дай, думаю, позову его к себе отобедать… Хе-хе… Старику-то, думаю, небось

не откажет! Отель «Европа», № 33… от часу до шести…

Дачники

По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась: вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то, по ту сторону рельсов, кричал коростель…

— Как хорошо, Саша, как хорошо! — говорила жена. — Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок! Как милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы! Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то, есть люди… цивилизация… А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?

— Да… Какие, однако, у тебя руки горячие! Это оттого, что ты волнуешься, Варя… Что у нас сегодня к ужину готовили?

— Окрошку и цыпленка… Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык.

Луна, точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами…

— Поезд идет! — сказала Варя. — Как хорошо!

Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни.

— Проводим поезд и пойдем домой, — сказал Саша и зевнул. — Хорошо нам с тобой живется, Варя, так хорошо, что даже невероятно!

Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи…

— Ах! Ах! — послышалось из одного вагона. — Варя с мужем вышла нас встретить! Вот они! Варенька!.. Варечка! Ах!

Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная пожилая дама и высокий, тощий господин с седыми бачками, потом два гимназиста, навьюченные багажом, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка.

— А вот и мы, а вот и мы, дружок! — начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. — Чай,

заждался! Небось, бранил дядю за то, что не едет! Коля, Костя, Нина, Фифа… дети! Целуйте кузена Сашу! Все к тебе, всем выводком, и денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним? Ты, пожалуйста, без церемонии.

Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина: он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяла; балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду, кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят, тетушка целые дни толкует о своей болезни (солитер и боль под ложечкой) и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих…

И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей:

— Это они к тебе приехали… черт бы их побрал!

— Нет, к тебе! — отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. — Это не мои, а твои родственники!

И обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой:

— Милости просим!

Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась; казалось, ей было приятно, что у

нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение:

— Милости просим! Милости просим, дорогие гости!

Стража под стражей
(Сценка)

Видали ли вы когда-нибудь, как навьючивают ослов? Обыкновенно на бедного осла валят все, что вздумается, не стесняясь ни количеством, ни громоздкостью: кухонный скарб, мебель, кровати, бочки, мешки с грудными младенцами… так что навьюченный азинус представляет из себя громадный, бесформенный ком, из которого еле видны кончики ослиных копыт. Нечто подобное представлял из себя и прокурор Хламовского окружного суда, Алексей Тимофеевич Балбинский, когда после третьего звонка спешил занять место в вагоне. Он был нагружен с головы до ног… Узелки с провизией, картонки, жестянки, чемоданчики, бутыль с чем-то, женская тальма и… черт знает чего только на нем не было! С его красного лица лился ручьями пот, ноги гнулись, в глазах светилось страдание. За ним с пестрым зонтичком шла его жена Настасья Львовна, маленькая весноватая блондинка с выдающеюся вперед нижнею челюстью и с выпуклыми глазами — точь-в-точь молодая щука, когда ее тянут

крючком из воды… Заняв после долгих странствований по вагонам место и свалив на скамьи багаж, прокурор вытер со лба пот и направился к выходу.

— Куда это ты? — спросила его жена.

— Хочу, душенька, в вокзал сходить… рюмку водки выпить…

— Нечего там выдумывать… Сиди…

Балбинский вздохнул и покорно сел.

— Возьми на руки эту корзину… Тут посуда…

Балбинский взял на руки большую корзину и с тоской взглянул на окно… На четвертой станции жена послала его в вокзал за горячей водой, и тут около буфета он встретился со своим приятелем, товарищем председателя Плинского окружного суда Фляжкиным, уговорившимся вместе с ним ехать за границу.

— Батенька, да что же это такое? — налетел на него Фляжкин. — Ведь это свинство по меньшей мере. Уговорились вместе в одном вагоне ехать, а вас нелегкая в III класс понесла! Зачем вы в III классе едете? Денег у вас нет, что ли?

Балбинский махнул рукой и замигал глазами.

— Мне теперь все равно… — проворчал он, — хоть на тендере ехать. Гляжу, гляжу да, кажется, кончу тем, что с собой порешу… под поезд бро-

шусь… Вы не можете себе, голубчик, представить, до чего заездила меня моя благоверная! То есть так заездила, что удивительно, как я еще жив до сих пор. Боже мой! Погода великолепная… воздух этот… ширь, природа… все условия для безмятежного жития. Одна мысль, что за границу едем, должна была бы, кажется, приводить в телячий восторг… Так нет! Нужно было злому року навязать мне на шею это сокровище! И ведь какая насмешка судьбы! Нарочно, чтоб избавиться от супруги, придумал я болезнь печенок… за границу хотел удрать… Всю зиму о свободе мечтал и во сне и наяву себя одиноким видел. И что же? Навязалась со мной ехать! Уж я и так и этак — ничего! «Поеду да поеду», хоть ты тресни! Ну, вот, поехали… Предлагаю ехать во II классе… Ни за что! Как это, мол, можно так тратиться? Я ей все резоны представляю… Говорю, что и деньги у нас есть, и престиж наш падет, ежели мы будем в III классе ездить, что и душно, и вонь… не слушает! Бес экономии обуял… Теперь хоть этот багаж взять… Ну для чего мы такую массу с собой тащим? Для чего все эти узелки, картонки, сундучки и прочая дрянь? Мало того, что в багажный вагон десять пудов сдали, мы еще в нашем вагоне четыре скамьи заняли. Кондуктора то и дело про-

сят расчистить место для публики, пассажиры сердятся, она с ними в пререкания вступает… Совестно! Верите ли? В огне горю! А отойти от нее — сохрани бог! Ни на шаг от себя не отпускает. Сиди около нее и на коленях громадную корзину держи. Сейчас вот за горячей водой послала. Ну, прилично ли прокурору суда с медным чайником ходить? Ведь тут в поезде, небось, свидетели и подсудимые мои едут! Пропал к черту престиж! А это, батенька, впредь мне наука! Чтоб знал, что значит личная свобода! Иной раз увлечешься и, знаете ли, ни за что ни про что человечину под стражу упечешь. Ну, теперь я понимаю… проникся… Понимаю, что значит быть под стражей! Ох, как понимаю!

— Небось, рады бы пойти на поруки? — усмехнулся Фляжкин.

— С восторгом! Верите ли? При всей своей бедности десять тысяч залога внес бы… Но однако бегу… Небось, уж горячку порет… Быть головомойке!

В Вержболово Фляжкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в окне одного из вагонов III класса сонную физиономию Балбинского.

— На минуточку, — закивал ему прокурор. — Моя еще спит, не просыпалась. Когда она спит,

я относительно свободен… Выйти-то из вагона нельзя, но зато корзинку можно пока на пол поставить… Хоть за это спасибо. Ах, да! *Я вам* не говорил? У меня радость!

— Какая?

— Две картонки и один мешочек у нас украли… Все-таки легче… Вчера съели гуся и все пирожки… Нарочно больше ел, чтоб меньше багажа осталось… Да и воздух же у нас в вагоне! Хоть топор вешай… Пфф… Не езда, а чистая мука…

Прокурор повернулся назад и поглядел со злобой на свою спавшую супругу.

— Варварка ты моя! — зашептал он. — Мучительница, Иродиада ты этакая! Скоро ли я, несчастный, избавлюсь от тебя, Ксантиппа? Верите ли, Иван Никитич? Иной раз закрою глаза и мечтаю: а что, если бы да кабы она да попала бы ко мне в когти в качестве подсудимой? Кажется, в каторгу бы упек! Но… просыпается… Тссс…

Прокурор в мгновение ока состроил невинную физиономию и взял на руки корзину.

В Эйдкунене, идя за горячей водой, он глядел веселее.

— Еще две картонки украли! — похвастался он перед Фляжкиным. — И уже мы все калачи съели… Все-таки легче…

В Кенигсберге же он совсем преобразился. Вбежав утром в вагон к Фляжкину, он повалился на диван и залился счастливым смехом.

— Голубчик! Иван Никитич! Дай обнять! Извини, что я тебе «ты» говорю, но я так рад, так ехидно счастлив!

Я сво-бо-ден! Понимаешь? Сво-бо-ден! Жена бежала!

— То есть как бежала?

— Вышла ночью из вагона, и до сих пор ее нет. Бежала ли она, свалилась ли под вагон, или, быть может, на станции где-нибудь осталась… Одним словом, нет ее!.. Ангел ты мой!

— Но послушай же, — встревожился Фляжкин. — В таком случае телеграфировать надо!

— Храни меня создатель! То есть так я теперь эту свободу чувствую, что описать тебе не могу! Пойдем по платформе пройдемся… на свободе подышим!

Приятели вышли из вагона и зашагали по платформе. Прокурор шагал и каждый свой вздох сопровождал восклицаниями: «Как хорошо! Как легко дышится! Неужели же есть такие люди, которым всегда так живется?»

— Знаешь что, брат? — решил он. — Я сейчас к тебе в вагон переберусь. Развалимся и заживем

на холостую ногу.

И прокурор опрометью побежал в свой вагон за вещами. Минуты через две он вышел из своего вагона, но уже не сияющий, а бледный, ошеломленный, с медным чайником в руках. Он пошатывался и держался за сердце.

— Вернулась! — махнул он рукой, встретив вопросительный взгляд Фляжкина. — Оказывается, что ночью вагоны перепутала и по ошибке в чужой попала. Шабаш, брат!

Прокурор остановился перед Фляжкиным и вперил в него взгляд, полный тоски и отчаяния. На глазах его навернулись слезы. Минута прошла в молчании.

— Знаешь что? — сказал ему Фляжкин, нежно беря его за пуговицу. — Я на твоем месте… сам бы бежал…

— То есть как?

— Беги — вот и все… А то ведь этак зачахнешь, на тебя глядючи!

— Бежать… бежать… — задумался прокурор. — А ведь это идея! Так я, братец, вот что сделаю: сяду на встречный поезд и айда! Скажу ей потом, что по ошибке сел. Ну, прощай… В Париже встретимся…

Мои жены
(Письмо в редакцию – Рауля Синей Бороды)

Милостивый государь!

Оперетка «Синяя Борода», возбуждающая в Ваших читателях смех и созидающая лавры гг. Лодию, Чернову и проч., не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление… Искренно жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи. Не касаясь сущности оперетки, не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны, я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле Синей Бороде. Все эти частности — возмутительная ложь, которую и считаю нужным, м. г., опровергнуть через посредство Вашего уважаемого журнала, прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в наглой лжи, а г. Лентовского в потворстве этому

постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, м. г., я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними, но виноват ли я, что homo sum et humani nihil a me alienum puto?[143] Кроме права выбора, над человеком тяготеет еще «закон необходимости». Я должен был выбирать одно из двух: или поступать в разряд сорви-голов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практический, я остановился на второй. Я женился. Да, я женился и во все время моей женатой жизни денно и нощно завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть, и тещу, тестя, свекровь… и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что все это не похоже на женолюбие. Далее автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после

[143] Примечания: 143

Замечу кстати, что, учась в гимназии, я имел по-латыни всегда пятерки.

свадьбы — post primam noctem[144][145]. Чтобы не взводить на меня такой чудовищной небылицы, автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список, но он этого не сделал и очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не pour plaisir[146], как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель мне приходилось переживать прежде, чем я решался угостить одно из этих маленьких, тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками! Не блажь, не плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, не жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая, раздирательная опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал в лавочку за

---

[144] Примечания: 144
Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо *(лат.).*

[145] Примечания: 145
После первой брачной ночи *(лат.).*

[146] Примечания: 146
Ради удовольствия *(франц.).*

спичками. (Да простят мне женщины! Револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором.) Из нижеприведенной характеристики всех семи мною отравленных жен читателю и Вам, м. г., станет очевидным, насколько не опереточны были причины, заставлявшие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой: «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню».

№ 1. Маленькая брюнетка с длинными кудрявыми волосами и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красива. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и уменьем постоянно молчать — редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов! Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась, но зато за все время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого дви-

жения: когда нужно было плакать, она плакала, когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый, молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но, держу пари на что хотите, ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни, от утра до вечера, она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила… Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь… Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне, если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят и чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах!

Ни у Тестова, ни в Ново-Московском никогда не едал я того, что умели приготовлять ее паль-

чики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифстексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден или недоволен кушаньем, было для нее одним из ужасных страданий… Но ничто не повергало ее в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы… Мое самое не долгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара… и сколько мучительных секунд сидит в ее памяти! Когда после приятельской попойки я возвращался домой «подшофе» и, благодушествуя, располагался на диване с романом Габорио, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая!

Золотая муха только тогда ласкает взор и приятна, когда она летает перед вашими глазами минуту, другую и… потом улетает в пространство, но если же она начнет гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос — и все это неотступно, не обращая никакого внимания на ваши отмахивания, то вы, в конце концов,

стараетесь поймать ее и лишить способности надоедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих насморков, кашля, легкой головной боли заездили меня. В конце концов я не вынес… Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и голубиная кротость ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее…

№ 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько эта была непоседа, шумна и подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов, я же нимало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом, и пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась, не пила,

а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить… Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов-мужчин, холодные души, бешеный вальс… От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бобеша… Увидав меня в халате, в туфлях и с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за «медведя» Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Volens-nolens[147], чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться… Скоро такая жизнь утомила меня, и я послал за доктором…

№ 3. Высокая стройная блондинка с голубыми глазами. На лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регуляр-

---

[147] Примечания: 147
Волей-неволей *(лат.).*

ную жизнь, имела своего «собственного бога» и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной…

— Нечестно, — говорила она мне, — носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного!

«Боже, отчего она страдает? Что за причина? — спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам. — О, эти мне гражданские скорби!»

Человек любит загадки — вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки, и я наскочил в нем на следующий перл: «Желание спасти бедного рара, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка: я вышла за богатого Рауля. Прости меня, мой Поль!» Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульцинеи своей он больше уж не видел… Вместе со своими принципами она отправилась ad patres[148].

№ 4. Девица с правильным, но вечно испуган-

---

[148] Примечания: 148
К праотцам *(лат.).*

ным и удивленным лицом. Купеческая дочка. Вместе с 200 тыс. приданого внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь пред тобою…». Когда она не спала и не ела, она играла, когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы (я теперь без жил), а слова любимого романса «стою очарован» пелись с таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх: пришел доктор, и гаммы кончились…

№ 5. Длинноносая гладковолосая женщина с строгим, никогда не улыбающимся лицом. Была близорука и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться, одевалась просто и странно: черное платье с узкими рукавами, широкий пояс… во всей одежде какая-то плоскость, утюжность — ни одного рельефа, ни одной небрежной складки! Понравилась она мне своею оригинальностью: была не дура. Училась она за границей, где-то у немцев, проглотила всех Боклей и Миллей и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об «умном»… Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались

с ее языка… Беседуя с нею в первый раз, я мигал глазами и чувствовал себя дуралеем. По лицу моему догадалась она, что я глуп, но не стала смотреть на меня свысока, а напротив, наивно стала учить меня, как мне перестать быть дуралеем… Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны!

Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский; тут же кстати научила меня измерять черепа и доказала, что френология как наука никуда не годится. Я слушал, слушал… Дальнейшая наша жизнь состояла из слушанья… Она говорила, а я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю… Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе…

— Не мешай мне… Я думаю… — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями…

Через неделю же после свадьбы в моей башке сидело убеждение: умные женщины тяжелы для нашего брата, ужасно тяжелы! Вечно чувство-

вать себя как на экзамене, видеть перед собою серьезное лицо, бояться сказать глупое слово, согласитесь, ужасно тяжело! Как вор, подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины!

№ 6. Девочка, прельстившая меня своею наивностью и нетронутостью натуры. Это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшееся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни и тысячи и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавеле. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала гранд-шиком. Вышла за меня только потому, что я знатен, и изменила мне за два дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я кстати уж отравил и ее…

№ 7. Эта умерла по ошибке: выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. (Тещ отравляю я нашатырным спиртом.) Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе…

Я кончил… Думаю, м. г., что всего вышеписан-

ного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и г. Лентовского, попавшего впросак, вероятно, по неведению. Во всяком случае жду от г. Лентовского печатного разъяснения. Примите и проч.

Рауль Синяя Борода.

Ратификовал: Л. Чехонте.

Надул
(Очень древний анекдот)

Во время оно в Англии преступники, присужденные к смертной казни, пользовались правом при жизни продавать свои трупы анатомам и физиологам. Вырученные таким образом деньги они отдавали своим семьям или же пропивали. Один из них, уличенный в ужасном преступлении, позвал к себе ученого медика и, вдоволь поторговавшись с ним, продал ему собственную особу за две гинеи. Но получивши деньги, он вдруг принялся хохотать…

— Чего вы смеетесь?! — удивился медик.

— Вы купили меня, как человека, который должен быть повешен, — сказал, хохоча, преступник, — но я надул вас! Я буду сожжен! Ха-ха!

Интеллигентное бревно (Сценка)

Архип Елисеич Помоев, отставной корнет, надел очки, нахмурился и прочел: «Мировой судья… округа… участка приглашает вас и т. д. и т. д. в качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова… Мировой судья П. Шестикрылов».

— Это от кого же? — поднял глаза Помоев на рассыльного.

— От г. мирового судьи-с, Петра Сергеича-с… Шестикрылова-с…

— Гм… От Петра Сергеича? Зачем же это он меня приглашает?

— Должно, на суд… Там написано-с…

Помоев прочел еще раз повестку, поглядел с удивлением на рассыльного и пожал плечами…

— Псс… в качестве обвиняемого… Забавник этот Петр Сергеич! Ну ладно, скажи: хорошо! Пусть только фриштик получше приготовит… Скажи: буду! Наталье Егоровне и деточкам кланяйся!

Помоев расписался и отправился в комнату, где жил брат его жены поручик Питкин, приехавший

к нему в отпуск.

— Посмотри-кася, какую цидулу мне Петька Шестикрылов прислал, — сказал он, подавая Питкину повестку. — К себе в четверг зовет… Поедешь со мной?

— Да он тебя не в гости зовет, — сказал Питкин, прочитав повестку. — Он вызывает тебя на суд в качестве обвиняемого… Судить тебя будет…

— Меня-то? Псс… Молоко у него на губах еще не обсохло, чтоб меня судить… Мелко плавает… Это он так, в шутку…

— Вовсе не в шутку! Не понимаешь ты, что ли? Тут ясно сказано: в оскорблении действием… Ты Гришку побил, вот и суд.

— Чудак ты, ей-богу! Да как же он может меня судить, ежели мы с ним, можно сказать, друзья? Какой он мне судья, ежели мы вместе и в карты играли, и пили, и черт знает чего только ни делали? И какой он судья? Ха-ха! Петька — судья! Ха-ха!

— Смейся, смейся, а вот он как засадит тебя, не по дружбе, а на основании законов, под арест, так не до смеха будет!

— Ты очумел, брат! Какое тут основание законов, ежели он у меня Ваню крестил? Поедем к нему в четверг, вот и увидишь, какие там за-

коны…

— А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя и его в неловкое положение поставишь… Пусть решает заочно…

— Нет, зачем заочно? Поеду, погляжу, как это он судить будет… Любопытно поглядеть, какой из Петьки судья вышел… Кстати же давно у него не был… неловко…

В четверг Помоев отправился с Ниткиным к Шестикрылову. Мирового застали они в камере за разбирательством.

— Здорово, Петюха! — сказал Помоев, подходя к судейскому столу и подавая руку. — Судишь помаленьку? Крючкотворствуешь? Суди, суди… я погожу, погляжу… Это, рекомендую, брат моей жены… Жена здорова?

— Да… здорова… Посидите там… в публике…

Пробормотавши это, судья покраснел. Вообще начинающие судьи всегда конфузятся, когда видят в своей камере знакомых; когда же им приходится судить знакомых, то они делают впечатление людей, проваливающихся от конфуза сквозь землю. Помоев отошел от стола и сел на передней скамье рядом с Ниткиным.

— Важности-то сколько у бестии! — зашептал он на ухо Питкину. — Не узнаешь! И не улыб-

нется! В золотой цепи! Фу ты, ну ты! Словно и не он у меня на кухне сонную Агашку чернилами разрисовал. Потеха! Да нешто такие люди могут судить? Я тебя спрашиваю: могут такие люди судить? Тут нужен человек, который с чинами, солидный… чтоб, знаешь, страх внушал, а то посадили какого-то и — на, суди! Хе-хе…

— Григорий Власов! — вызвал мировой. — Господин Помоев!

Помоев улыбнулся и подошел к столу. Из публики вылез малый в поношенном сюртуке с высокой тальей, в полосатых брючках, надетых в короткие рыжие голенища, и стал рядом с Помоевым.

— Г-н Помоев! — начал мировой, потупя глаза. — Вы обвиняетесь в том, что-о-о… оскорбили действием вашего служащего… вот Григория Власова. Признаете вы себя виновным?

— Еще бы! Да ты давно таким серьезным стал? Хе-хе…

— Не признаете? — перебил его судья, ерзая от конфуза на стуле. — Власов, расскажите, как было дело!

— Очень просто-с! Я у них, изволите ли видеть, в лакеях состоял, в рассуждении, как бы камельдинер… Известно, наша должность каторжная,

ваше в-е… Они сами встают в девятом часу, а ты будь на ногах чуть свет… Бог их знает, наденут ли они сапоги, или щиблеты, или, может, целый день в туфлях проходят, но ты все чисть: и сапоги, и щиблеты, и ботинки… Хорошо-с… Зовут это они меня утром одеваться. Я, известно, пошел… Надел на них сорочку, надел брючки, сапожки… все, как надо… Начал надевать жилет… Вот они и говорят: «Подай, Гришка, гребенку. Она, говорят, в боковом кармане в сюртучке». Хорошо-с… Роюсь я это в боковом кармане, а гребенку словно черт слопал — нету! Рыл-ся-рылся и говорю: «Да тут нет гребенки, Архип Елисеич!» Они нахмурились, подошли к сюртуку и достали оттуда гребенку, но не из бокового кармана, как велели, а из переднего. «А это же что? Не гребенка?» — говорят, да тык меня в нос гребенкой. Так всеми зубцами и прошлись по носу. Целый день потом кровь из носу шла. Сами изволите видеть, весь нос распухши… У меня свидетели есть. Все видели.

— Что вы скажете в свое оправдание? — поднял мировой глаза на Помоева.

Помоев поглядел вопросительно на судью, потом на Гришку, опять на судью и побагровел.

— Как я должен это понимать? — пробормотал он. — За насмешку?

— Тут никакой над вами насмешки нет-с, — заметил Гришка, — а вам по чистой совести. Не давайте воли рукам.

— Молчи! — застучал Помоев палкой о пол. — Дурак! Шваль!

Мировой быстро снял цепь, выскочил из-за стола и побежал к себе в канцелярию.

— Прерываю заседание на пять минут! — крикнул он по дороге.

Помоев пошел за ним.

— Послушай, — начал мировой, всплескивая руками, — скандал ты мне устроить хочешь, что ли? Или тебе приятно слушать, как твои же кухарки да лакеи в своих показаниях будут тебя чистить, осла этакого? Зачем ты приехал? Без тебя я не мог дела решить, что ли?

— Я же у него и виноват! — растопырил руки Помоев. — Сам комедию эту устроил и на меня же сердится! Посади этого Гришку под арест, и… и все!

— Гришку под арест! Тьфу! Каким дураком был ты, таким и остался! Ну, как же это можно Гришку под арест!

— Посади, вот и все! Не меня же сажать!

— Прежние времена теперь, что ли? Гришку он побил и Гришку же под арест! Удивительная

логика! Да ты имеешь какое-нибудь понятие о теперешнем судопроизводстве?

— Отродясь я не судился и судьей не был, а так я понимаю, что явись ко мне с жалобой на тебя этот самый Гришка, я так бы его с лестницы спустил, что и внукам запретил бы жаловаться, а не то, чтобы еще позволять ему замечания свои хамские делать. Скажи просто, что насмеяться хочешь, прыть свою показать... вот и все! Жена, как прочла повестку да как увидала, что ты всем кухаркам и скотницам повестки прислал, удивилась. Не ожидала она от тебя таких штук. Нельзя так, Петя! Так друзья не делают.

— Но пойми же ты мое положение!

И Шестикрылов принялся объяснять Помоеву свое положение.

— Ты посиди здесь, — кончил он, — а я пойду и заочно решу. Ради бога не выходи! Со своими допотопными понятиями, ты такое ляпнешь там, что, чего доброго, придется протокол составлять.

Шестикрылов пошел в камеру и занялся разбирательством. Помоев, сидя в канцелярии за одним из столиков и перечитывая от нечего делать свежеизготовленные исполнительные листы, слышал, как мировой склонял Гришку к миру. Гришка долго топорщился, но наконец

согласился, потребовав за обиду десять рублей.

— Ну, слава богу! — сказал Шестикрылов, входя по прочтении приговора в канцелярию. — Спасибо, что дело так кончилось… Словно тысяча пудов с плеч свалилась. Заплатишь ты Гришке 10 рублей и можешь быть покоен.

— Я Гришке… десять… рублей?! — обомлел Помоев. — Да ты в уме?..

— Ну, да ладно, ладно, я за тебя заплачу, — махнул рукой Шестикрылов, поморщившись. — Я и сто рублей готов дать, только чтоб не заводить неудовольствий. И не дай бог знакомых судить. Лучше, брат, чем Гришек бить, приезжай всякий раз ко мне и лупи меня! Это в тысячу раз легче. Пойдем к Наташе есть!

Через десять минут приятели сидели в апартаментах мирового и завтракали жареными карасями.

— Ну хорошо, — начал Помоев, выпивая третью, — ты Гришке 10 рублей присудил, а на сколько же ты его в арестантскую упек?

— Я его не упекал. За что же его?

— Как за что? — вытаращил глаза Помоев. — А за то, чтоб жалобы не подавал! Нешто он смеет на меня жалобы подавать?

Мировой и Питкин принялись объяснять По-

моеву, но он не понимал и стоял на своем.

— Что ни говори, а не годится Петька в судьи! — вздохнул он, беседуя с Ниткиным на обратном пути. — Человек он добрый, образованный, услужливый такой, но... не годится! Не умеет по-настоящему судить... Хоть жалко, а придется его на следующее трехлетье забастовать! Придется!..

Рыбье дело
(Густой трактат по жидкому вопросу)

Сегодняшнюю весьма передовую статью нашу мы посвящаем несчастным дачникам, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязана нитка и червяк… Мы даем (даром, заметьте!) целый трактат советов рыболовам. Чтобы придать нашему труду побольше серьезности и учености, мы глубокомысленно делим его на параграфы и пункты.

1. Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, реках, прудах, а под Москвою также в лужицах и канавах.

Примечание. Самая крупная рыба ловится в живорыбных лавках.

2. Ловить нужно вдали от населенных мест, иначе рискуешь поймать за ногу купающуюся дачницу или же услышать фразу: «Какую вы имеете полную праву ловить здесь рыбу? Или, может, по шее захотелось?»

3. Прежде чем закидывать удочку, нужно надеть на крючок приманку, какую угодно, судя по роду рыбы… Можешь ловить и без приманки, так

как все равно ничего не поймаешь.

Примечание. Хорошенькие дачницы, сидящие на берегу с удочкой для того только, чтобы привлечь внимание женихов, могут удить и без приманки. Нехорошенькие же дачницы должны пускать в ход приманку: сто — двести тысяч или что-нибудь вроде…

4. Сидя с удочкой, не махай руками, не дрыгай ногами и не кричи караул, так как рыба не любит шума. Уженье не требует особенного искусства: если поплавок неподвижен, то это значит, что рыба еще не клюет; если он шевелится, то торжествуй: твою приманку начинают пробовать; если же он пошел ко дну, то не трудись тащить, так как все равно ничего не вытащишь.

Эту сторону нашего трактата мы находим достаточно вычерпанной (на дне ничего не осталось). В следующий раз мы подробно уясним животрепещущий вопрос о том, какие породы рыб можно изловить животрепещущими в мутной московской воде.

В прошлом нумере «Будильника» на даче» мы с непостижимым глубокомыслием и невероятной ученостью «третировали» вопрос о способах ловить рыбу. Переходим теперь к той части нашего трактата, где говорится о рыбьих породах.

В окрестностях Москвы ловятся следующие породы рыб:

a) *Щука.* Рыба некрасивая, невкусная, но рассудительная, положительная, убежденная в своих щучьих правах. Глотает все, что только попадается ей на пути: рыб, раков, лягушек, уток, ребят… Каждая щука в отдельности съедает гораздо больше рыбы, чем все посетители Егоровского трактира. Сыта никогда не бывает и постоянно жалуется на упадок дел. Когда ей указывают на ее жадность и на несчастное положение мелкой рыбешки, она говорит: «Поговори мне еще, так живо в моем желудке очутишься!» Когда же подобное указание делают ей старшие чином, она заявляет: «И-и, батюшка, да кто ж таперича рыбешку не ест? Так уж спокон века положено, чтоб мы, щуки, всегда сыты были». Когда ее пугают пропечатанием в газете, она говорит: «А мне плевать!»

b) *Еловль.* Рыбий интеллигент. Галантен, ловок, красив и имеет большой лоб. Состоит членом многих благотворительных обществ, читает с чувством Некрасова, бранит щук, но, тем не менее, поедает рыбешек с таким же аппетитом, как и щука. Впрочем, истребление пескарей и уклеек считает горькою необходимостью, потребностью

времени… Когда в интимных беседах его попрекают расхождением слова с делом, он вздыхает и говорит:

— Ничего не поделаешь, батенька! Не созрели еще пескари для безопасной жизни, и к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен?

c) *Налим.* Тяжел, неповоротлив и флегматичен, как театральный кассир. Славится своей громадной печенкой, из чего явствует, что он пьет горькую. Живет под корягами и питается всякой всячиной. По натуре хищен, но умеет довольствоваться падалью, червяками и травой. «Где уж нам со щуками да головлями равняться? Что есть, то и едим. И на том спасибо». Пойманный на крючок, вытаскивается из воды, как бревно, не изъявляя никакого протеста… Ему на все плевать…

d) *Окунь.* Красивая рыбка с достаточно острыми зубами. Хищен. Самцы состоят антрепренерами, а самки дают концерты.

e) *(Ерш.* Бойкий и шустрый индивидуй, воображающий, что он защищен от щук и головлей «льготами», данными ему природой, но, тем не менее, преисправно попадающий в уху.

f) *Карась.* Сидит в тине, дремлет и ждет, когда его съест щука. Сызмальства приучается к мысли,

что он хорош только в жареном виде. Поговорку «На то и щука в море, чтоб карась не дремал» понимает в смысле благоприятном для щуки…

— Денно и нощно должны мы быть готовы, чтоб угодить госпоже щуке… Без ихних благодеяниев…

g) *Пескарь.* Преисправный посетитель ссудных касс, плохих летних увеселений и передних. Служит на Московско-Курской дороге, подносит благодарственные адресы щукам и день и ночь работает, чтобы головли ходили в енотах.

h) *Плотва.* Маленькая, получахоточная рыбка, прозябающая в статистах или доставляющая плохие переводы в толстые журналы. В изобилии поедается щукой и окунем. Самки живут на содержании у налимов и линей.

i) *Линь.* Ленивая, слюнявая и вялая рыба в черно-зеленом вицмундире, дослуживающая до пенсиона. Нюхает табак в одну ноздрю, объегоривает карасей и лечится от завалов.

k) *Уклейка.* Ловится на муху. Нищенка.

l) *Лещ.* Держит трактиры на большой дороге и занимается подрядами. Делает вид, что питается постной пищей. Съевши рыбку, быстро вытирает губы, чтобы «господа» не приметили…

Лошадиная фамилия

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он наковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! Сила ему такая дадена…

— Где же он теперь?

— А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами

и кормится. Ежели, у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает… Тамошних, саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так… у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

— Ну, ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь… Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

— Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть… Его благородию господину Якову Васильичу… Васи-

льичу…

— Ну?

— Васильичу… Якову Васильичу… а по фамилии… А фамилию вот и забыл!.. Васильичу… Черт… Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил… Позвольте-с…

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!

— Сейчас… Васильичу… Якову Васильичу… Забыл! Такая еще простая фамилия… словно как бы лошадиная… Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте… Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло…

— Жеребятников?

— Никак нет. Постойте… Кобылицын… Кобылятников… Кобелев…

— Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

— Нет, и не Жеребчиков… Лошадинин… Лошаков… Жеребкин… Все не то!

— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчас. Лошадкин… Кобылкин… Коренной…

— Коренников? — спросила генеральша.

— Никак нет. Пристяжкин… Нет, не то! Забыл!

— Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал. — Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков… Жеребковский… Жеребенко… Нет, не то! Лошадинский… Лошадевич… Жеребкович… Кобылянский…

Немного погодя его позвали к господам.

— Вспомнил? — спросил генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую… В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию…

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? Жеребовский?

— Никак нет, — отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. — Коненко… Конченко… Жеребеев… Кобыле ев…

— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уздечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами…

— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал… В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.

— Нет, не Меринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство,

лошадиная… Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный… Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

— Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил терпеть…

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича… Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны…

— Буланов… Чересседельников… — бормотал он. — Засупонин… Лошадский…

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой…

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная

собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— На-кося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

Необходимое предисловие

Молодая, только что повенчанная пара едет из церкви восвояси.

— Ну-ка, Варя, — говорит муж, — возьми-ка меня за бороду и рвани изо всех сил.

— Бог знает что ты выдумываешь!

— Нет, нет, пожалуйста! Прошу тебя! Возьми и рвани без всяких церемоний…

— Полно, для чего тебе это?

— Варя, я прошу… требую наконец! Если ты любишь меня, то возьмешь меня за бороду и дернешь… Вот моя борода, рви!

— Ни за что! Причинять боль человеку, которого я люблю больше жизни… нет, никогда!

— Но я прошу! — начинает сердиться новоиспеченный супруг. — Понимаешь? Я прошу и… требую!

Наконец, после долгих ломаний, недоумевающая жена запускает свои маленькие ручки в мужнину бороду и рвет ее, насколько хватает сил… Муж даже не морщится…

— Представь, а мне ведь нисколько не больно! — говорит он. — Ей-богу, не больно! А ну-ка, постой, теперь я тебя…

Муж берет жену за несколько волосков, что около виска, и сильно дергает. Жена громко взвизгивает.

— Теперь, мой друг, — резюмирует муж, — ты видишь, что я во много раз сильнее и выносливее тебя. Это тебе необходимо знать на случай, если когда-нибудь в будущем полезешь на меня с кулаками или пообещаешь выцарапать мне глаза… Одним словом, жена да убоится мужа своего!

Нечто серьезное

Ввиду пересмотра «Уложения о наказаниях» не мешало бы кстати внести в него статьи:

О составляющих сообщества любителей сценического искусства и равно о тех, кои, зная о существовании таковых сообществ, не доносят о том, куда следует.

О тех, кои, не имея таланта и дарования, ради корысти, суетной славы или другой личной выгоды, позволяют себе на публичных концертах и семейных вечерах петь романсы или куплеты. (Для таковых самой лучшей исправительной мерой может служить намордник.)

О гимназистах, употребляющих в любовных письмах цитаты из известных авторов (Прудон, Бокль и проч.) без указания источников.

О болеющих писательским зудом и изолировании таковых от общества.

О постройке за городом на счет земства толстостенных зданий специально для девиц, уличаемых в злоупотреблении гаммами.

Об изгнании из отечества лиц, кои, выдавая себя за женихов, обедают ежедневно на счет отцов, имеющих дочерей.

О предании рецензентов суду за лихоимство.

О статских советниках, присваивающих себе титул превосходительства.

О педагогах, занимающихся лесоистреблением.

О супругах вице-губернаторов, предводителей и старших советников, кои, пользуясь галантностью и услужливостью секретарей, экзекуторов и чинов полиции, неустанно распространяют подписные листы «в пользу одного бедного семейства», «на обед в честь Ивана Иваныча» и проч., чем и порождают в обывателях малодушный страх перед филантропией.

О девицах, из каких-либо видов скрывающих свой возраст.

О браке муз с безумными и сумасшедшими поэтами.

Жених и папенька
(Нечто современное)

СЦЕНКА

— А вы, я слышал, женитесь! — обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. — Когда же мальчишник справлять будете?

— Откуда вы взяли, что я женюсь? — вспыхнул Милкин. — Какой это дурак вам сказал?

— Все говорят, да и по всему видно… Нечего скрытничать, батенька… Вы думаете, что нам ничего не известно, а мы вас насквозь видим и знаем! Хе-хе-хе… По всему видно… Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, ужинаете, романсы поете… Гуляете только с Настенькой Кондрашкиной, ей одной только букеты и таскаете… Все видим-с! Намедни встречается мне сам Кондрашкин-папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба… Что ж? Дай бог! Не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина… Ведь семь дочек у бедняги! Семь! Шутка ли? Хоть бы одну бог при-

вел пристроить…

«Черт побери… — подумал Милкин. — Это уж десятый говорит мне про женитьбу на Настеньке. И из чего заключили, черт их возьми совсем! Из того, что ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой… Не-ет, пора уж прекратить эти толки, пора, а то того и гляди, что женят, анафемы!.. Схожу завтра объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту, и — айда!»

На другой день после описанного разговора Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина.

— Петру Петровичу! — встретил его хозяин. — Как живем-можем? Соскучились, ангел? Хе-хе-хе… Сейчас Настенька придет… На минутку к Гусевым побежала…

— Я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне, — пробормотал Милкин, почесывая в смущении глаз, — а к вам… Мне нужно поговорить с вами кое о чем… В глаз что-то попало…

— О чем же это вы собираетесь поговорить? — мигнул глазом Кондрашкин. — Хе-хе-хе… Чего же вы смущены так, милаша? Ах, мужчина, мужчина! Беда с вами, с молодежью! Знаю, о чем это вы

хотите поговорить! Хе-хе-хе… Давно пора…

— Собственно говоря, некоторым образом… дело, видите ли, в том, что я… пришел проститься с вами… Уезжаю завтра…

— То есть как уезжаете? — спросил Кондрашкин, вытаращив глаза.

— Очень просто… Уезжаю, вот и все… Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство… Дочери ваши такие милые… Никогда не забуду минут, которые…

— Позвольте-с… — побагровел Кондрашкин. — Я не совеем вас понимаю. Конечно, каждый человек имеет право уезжать… можете вы делать все, что вам угодно, но, милостивый государь, вы… отвиливаете… Нечестно-с!

— Я… я… я не знаю, как же это я отвиливаю?

— Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадеживал, балясы тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг, на тебе, уезжаю!

— Я… я не обнадеживал..

— Конечно, предложения вы не делали, да разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? Каждый день обедал, с Настей по целым ночам под ручку… да нешто все это спроста делается? Женихи только ежедневно обедают, а не будь вы женихом, нешто я стал бы вас кормить?

Да-с! нечестно! Я и слушать не желаю! Извольте делать предложение, иначе я… тово…

— Настасья Кирилловна очень милая… хорошая девица… Уважаю я ее и… лучшей жены не желал бы себе, но… мы не сошлись убеждениями, взглядами.

— В этом и причина? — улыбнулся Кондрашкин. — Только-то? Да душенька ты моя, разве можно найти такую жену, чтоб взглядами была на мужа похожа? Ах, молодец, молодец! Зелень, зелень! Как запустит какую-нибудь теорию, так ей-богу… хе-хе-хе… в жар даже бросает… Теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости и сгладятся… Мостовая, пока новая — ездить нельзя, а как пообъездят ее немножко, то мое почтение!

— Так-то так, но… я недостоин Настасьи Кирилловны…

— Достоин, достоин! Пустяки! Ты славный парень!

— Вы не знаете всех моих недостатков… Я беден…

— Пустое! Жалованье получаете и слава богу…

— Я… пьяница…

— Ни-ни-ни!.. Ни разу не видал пьяным!.. — замахал руками Кондрашкин. — Молодежь не

может не пить… Сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого…

— Но ведь я запоем. Во мне наследственный порок!

— Не верю! Такой розан и вдруг — запой! Не верю!

«Не обманешь черта! — подумал Милкин. — Как ему, однако, дочек спихнуть хочется!»

— Мало того, что я запоем страдаю, — продолжал он вслух, — но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру…

— Милаша, да кто же их не берет? Хе-хе-хе. Эка, поразил!

— И к тому же я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решения моей судьбы… Я скрывал от вас, но теперь вы должны все узнать… Я… я состою под судом за растрату…

— Под су-дом? — обомлел Кондрашкин. — Н-да… новость… Не знал я этого. Действительно, нельзя жениться, покуда судьбы не узнаешь… А вы много растратили?

— Сто сорок четыре тысячи.

— Н-да, сумма! Да, действительно, Сибирью история пахнет… Этак девчонка может ни за грош пропасть. В таком случае нечего делать, бог с вами…

Милкин свободно вздохнул и потянулся к шляпе…

— Впрочем, — продолжал Кондрашкин, немного подумав, — если Настенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь, ежели она жертв боится? И к тому же, Томская губерния плодородная. В Сибири, батенька, лучше живется, чем здесь. Сам бы поехал, коли б не семья. Можете делать предложение!

«Экий черт несговорчивый! — подумал Милкин. — За нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только с плеч спихнуть».

— Но это не все… — продолжал он вслух. — Меня будут судить не за одну только растрату, но и за подлог.

— Все равно! Одно наказание!

— Тьфу!

— Чего это вы так громко плюете?

— Так… Послушайте, я вам еще не все открыл… Не заставляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни… страшную тайну!

— Не желаю я знать ваших тайн! Пустяки!

— Не пустяки, Кирилл Трофимыч! Если вы услышите… узнаете, кто я, то отшатнетесь… Я… я беглый каторжник!!.

Кондрашкин отскочил от Милкина, как ужа-

ленный, и окаменел. Минуту он стоял молча, неподвижно и глазами, полными ужаса, глядел на Милкина, потом упал в кресло и простонал:

— Не ожидал… — промычал он. — Кого согрел на груди своей! Идите! Ради бога уходите! Чтоб я и не видел вас! Ох!

Милкин взял шляпу и, торжествуя победу, направился к двери…

— Постойте! — остановил его Кондрашкин. — Отчего же вас до сих пор еще не задержали?

— Под чужой фамилией живу… Трудно меня задержать…

— Может быть, вы и до самой смерти этак проживете, что никто и не узнает, кто вы… Постойте! Теперь ведь вы честный человек, раскаялись уже давно… Бог с вами, так и быть уж, женитесь!

Милкина бросило в пот… Врать дальше беглого каторжника было бы уже некуда, и оставалось одно только: позорно бежать, не мотивируя своего бегства… И он готов уж был юркнуть в дверь, как в его голове мелькнула мысль…

— Послушайте, вы еще не все знаете! — сказал он. — Я… я сумасшедший, а безумным и сумасшедшим брак возбраняется…

— Не верю! Сумасшедшие не рассуждают так логично…

— Стало быть, не понимаете, если так рассуждаете! Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей?

— Не верю! И не говорите!

— В таком случае я вам от доктора свидетельство доставлю!

— Свидетельству поверю, а вам нет… Хорош сумасшедший!

— Через полчаса я принесу вам свидетельство… Пока прощайте…

Милкин схватил шляпу и поспешно выбежал. Минут через пять он уже входил к своему приятелю доктору Фитюеву, но, к несчастью, попал к нему именно в то время, когда он поправлял свою куафюру после маленькой ссоры со своей женой.

— Друг мой, я к тебе с просьбой! — обратился он к доктору. — Дело вот в чем… Меня хотят открутить во что бы то ни стало… Чтобы избегнуть этой напасти, я придумал показать себя сумасшедшим… Гамлетовский прием, в некотором роде… Сумасшедшим, понимаешь, нельзя жениться… Будь другом, дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший!

— Ты не хочешь жениться? — спросил доктор.

— Ни за какие коврижки!

— В таком случае не дам я тебе свидетельства, — сказал доктор, трогаясь за свою куафюру. — Кто не хочет жениться, тот не сумасшедший, а напротив, умнейший человек… А вот когда захочешь жениться, ну тогда приходи за свидетельством… Тогда ясно будет, что ты сошел с ума…

Гость
(Сценка)

У частного поверенного Зельтерского слипались глаза. Природа погрузилась в потемки. Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, и прилегли стада. Жена Зельтерского давно уже пошла спать, прислуга тоже спала, вся живность уснула, одному только Зельтерскому нельзя было идти в спальную, хотя на его веках и висела трехпудовая тяжесть. Дело в том, что у него сидел гость, сосед по даче, отставной полковник Перегарин. Как пришел он после обеда и как сел на диван, так с той поры ни разу не поднимался, словно прилип. Он сидел и хриплым, гнусавым голосом рассказывал, как в 1842 г. в городе Кременчуге его бешеная собака укусила. Рассказал и опять начал снова. Зельтерский был в отчаянии. Чего он только ни делал, чтобы выжить гостя! Он то и дело посматривал на часы, говорил, что у него голова болит, то и дело выходил из комнаты, где сидел гость, но ничто не помогало. Гость не понимал и продолжал про бешеную собаку.

«Этот старый хрыч до утра просидит! — злился

Зельтерский. — Такая дубина! Ну, уж если он не понимает обыкновенных намеков, то придется пустить в ход более грубые приемы».

— Послушайте, — сказал он вслух, — знаете, чем нравится мне дачная жизнь?

— Чем-с?

— Тем, что здесь можно жизнь регулировать. В городе трудно держаться какого-нибудь определенного режима, здесь же наоборот. В девять мы встаем, в три обедаем, в десять ужинаем, в двенадцать спим. В двенадцать я всегда в постели. Храни меня бог лечь позже: не отделаться на другой день от мигрени!

— Скажите… Кто как привык, это действительно. Был у меня, знаете ли, один знакомый, некто Клюшкин, штабс-капитан. Познакомился я с ним в Серпухове. Ну-с, так вот этот самый Клюшкин…

И полковник, заикаясь, причмокивая и жестикулируя жирными пальцами, начал рассказывать про Клюшкина. Пробило двенадцать, часовую стрелку потянуло к половине первого, а он все рассказывал. Зельтерского бросило в пот.

«Не понимает! Глуп! — злился он. — Неужели он думает, что своим посещением доставляет мне удовольствие? Ну как его выжить?»

— Послушайте, — перебил он полковника, —

что мне делать? У меня ужасно болит горло! Черт меня дернул зайти сегодня утром к одному знакомому, у которого ребенок лежит в дифтерите. Вероятно, я заразился. Да, чувствую, что заразился. У меня дифтерит!

— Случается! — невозмутимо прогнусавил Перегарин.

— Болезнь опасная! Мало того, что я сам болен, но могу еще и других заразить. Болезнь в высшей степени прилипчивая! Как бы мне вас не заразить, Парфений Саввич!

— Меня-то? Ге-ге! В тифозных гошпиталях живал — не заражался, а у вас вдруг заражусь! Хе-хе… Меня, батенька, старую кочерыжку, никакая болезнь не возьмет. Старики живучи. Был у нас в бригаде один старенький старичок, подполковник Требьен… французского происхождения. Ну-с, так вот этот Требьен…

И Перегарин начал рассказывать о живучести Требьена. Часы пробили половину первого.

— Виноват, я вас перебью, Парфений Саввич, — простонал Зельтерский. — Вы в котором часу ложитесь спать?

— Когда в два, когда в три, а бывает так, что и вовсе не ложусь, особливо ежели в хорошей компании просидишь или ревматизм разгуляется.

Сегодня, например, я часа в четыре лягу, потому до обеда выспался. Я в состоянии вовсе не спать. На войне мы по целым неделям не ложились. Был такой случай. Стояли мы под Ахалцыхом…

— Виноват. А вот я так всегда в двенадцать ложусь. Встаю я в девять часов, так поневоле приходится раньше ложиться.

— Конечно. Раньше вставать и для здоровья хорошо. Ну-с, так вот-с… стоим мы под Ахалцыхом…

— Черт знает что. Знобит меня, в жар бросает. Всегда этак у меня перед припадком бывает. Надо вам сказать, что со мною случаются иногда странные, нервные припадки. Часу этак в первом ночи… днем припадков не бывает… вдруг в голове начинается шум: жжж… Я теряю сознание, вскакиваю и начинаю бросать в домашних чем попало. Попадется под руку нож — я ножом, стул — я стулом. Сейчас знобит меня, вероятно, перед припадком. Всегда знобом начинается.

— Ишь ты… А вы полечились бы!

— Лечился, не помогает… Ограничиваюсь только тем, что занедодго до припадка предупреждаю знакомых и домашних, чтоб уходили, а леченье давно уже бросил…

— Пссс… Каких только на свете нет болезней! И

чума, и холера, и припадки разные…

Полковник покачал головой и задумался. Наступило молчание.

«Почитаю-ка ему свое произведение, — надумал Зельтерский. — Там у меня где-то роман валяется, в гимназии еще писал… Авось службу сослужит…»

— Ах, кстати, — перебил Зельтерский размышления Перегарина, — не хотите ли, я почитаю вам свое сочинение? На досуге как-то состряпал… Роман в пяти частях с прологом и эпилогом…

И, не дожидаясь ответа, Зельтерский вскочил и вытащил из стола старую, заржавленную рукопись, на которой крупными буквами было написано: «Мертвая зыбь. Роман в пяти частях».

«Теперь наверное уйдет, — мечтал Зельтерский, перелистывая грехи своей юности. — Буду читать ему до тех пор, пока не взвоет…»

— Ну, слушайте, Парфений Саввич…

— С удовольствием… я люблю-с…

Зельтерский начал. Полковник положил ногу на ногу, поудобней уселся и сделал серьезное лицо, очевидно, приготовился слушать долго и добросовестно… Чтец начал с описания природы. Когда часы пробили час, природа уступила свое место описанию замка, в котором жил герой

романа граф Валентин Бленский.

— Пожить бы в этаком замке! — вздохнул Перегарин. — И как хорошо написано! Век бы сидел да слушал!

«Ужо погоди! — подумал Зельтерский. — Взвоешь!»

В половину второго замок уступил свое место красивой наружности героя… Ровно в два чтец тихим, подавленным голосом читал:

— «Вы спрашиваете, чего я хочу? О, я хочу, чтобы там, вдали, под сводами южного неба ваша маленькая ручка томно трепетала в моей руке… Только там, там живее забьется мое сердце под сводами моего душевного здания… Любви, любви!..» Нет, Парфений Саввич… сил нет… Замучился!

— А вы бросьте! Завтра дочитаете, а теперь поговорим… Так вот-с, я не рассказал вам еще, что было под Ахалцыхом…

Измученный Зельтерский повалился на спинку дивана и, закрыв глаза, стал слушать…

«Все средства испробовал, — думал он. — Ни одна пуля не пробила этого мастодонта. Теперь до четырех часов будет сидеть… Господи, сто целковых дал бы теперь, чтобы сию минуту завалиться дрыхнуть… Ба! Попрошу-ка у него денег взаймы!

Прелестное средство…»

— Парфений Саввич! — перебил он полковника. — Я опять вас перебью. Хочется мне попросить вас об одном маленьком одолжении… Дело в том, что в последнее время, живя здесь на даче, я ужасно истратился. Денег нет ни копейки, а между тем в конце августа мне предстоит получка.

— Однако… я у вас засиделся… — пропыхтел Перегарин, ища глазами фуражки. — Уж третий час… Так вы о чем же-с?

— Хотелось бы у кого-нибудь взять взаймы рублей двести, триста… Не знаете ли вы такого человечка?

— Где ж мне знать? Однако… вам бай-бай пора… Будемте здоровы… Супруге вашей…

Полковник взял фуражку и сделал шаг к двери.

— Куда же вы?.. — заторжествовал Зельтерский. — А мне хотелось вас попросить… Зная вашу доброту, я надеялся…

— Завтра, а теперь к жене марш! Чай, заждалась друга сердешного… Хе-хе-хе… Прощайте, ангел… Спать!

Перегарин быстро пожал Зельтерскому руку, надел фуражку и вышел. Хозяин торжествовал.

Утопленник
(Сценка)

На набережной большой, судоходной реки суматоха, какая обыкновенно бывает в летние полудни. Нагрузка и разгрузка барок в разгаре. Слышатся, не переставая, ругань и шипенье пароходов.

— Тирли… тирли… — стонут блоки-лебедки.

В воздухе стоит запах вяленой рыбы и дегтя… К агенту общества пароходства «Щелкопер», сидящему на берегу у самой воды и поджидающему грузоотправителя, подходит приземистая фигура, с страшно испитым, опухшим лицом, в рваном пиджаке и латаных полосатых брюках. На голове ее полинявшая фуражка с полупившимся козырьком и с пятном, оставшимся от когда-то бывшей кокарды… Гастух сполз с воротничка и ерзает по шее…

— Виват господину купцу! — хрипит фигура, делая под козырек. — Живьо! Не желаете ли, ваше высокостепенство, утопленника посмотреть?

— А где утопленник? — спрашивает агент.

— В действительности утопленника не суще-

ствует, но я могу вам его представить. Прыжок в воду и — пред вами гибель утопающего человека! Картина не столь печальная, сколько ироническая в смысле своих комедийных свойств… Позвольте, господин купец, представить!

— Я не купец.

— Виноват… Миль пардон… Нынче и купцы стали ходить в партикулярном, так что сам Ной не сумел бы отделить чистых от нечистых. Но тем лучше, что вы интеллигент… Мы поймем друг друга… Я тоже из благородных… Обер-офицерский сын и в свое время был представлен к чину XIV класса… Итак, милорд, артист художеств предлагает вам свои услуги… Один прыжок в воду, и перед вами картина.

— Нет, благодарю вас…

— Если вас тревожат соображения материального свойства, то спешу вас успокоить… С вас я возьму недорого… За утопление себя в сапогах — два рубля, без сапог — только рубль…

— Почему же такая разница!

— Потому что сапоги составляют самую дорогую часть одежды и сушить их весьма трудно. Ergo, вы позволяете заработать?

— Нет, я не купец и не люблю таких сильных ощущений…

— Гм… Вы, насколько я понимаю вас, вероятно, незнакомы с сущностью дела… Вы думаете, что я предлагаю вам нечто грубое, невежественное, но тут кроме юмористического и сатирического ничего не будет-с… Вы лишний раз улыбнетесь и — только… Ведь смешно видеть, как человек плавает в одежде и борется с волнами! И к тому же… дадите заработать.

— А вы бы, чем утопленников изображать, делом бы занялись.

— Делом… Каким же делом? Благородного занятия мне не дадут, благодаря склонности моей к алкоголизму, да и протекция необходима-с, а за простое, чернорабочее ремесло мешает мне взяться мое благородство.

— А вы наплюйте на ваше благородство.

— То есть как же это наплевать? — спрашивает фигура, гордо поднимая голову и усмехаясь. — Если птица понимает, что она птица, то как же благородному человеку не понимать своего звания? Я хоть и беден, оборван, нищ, но я горррд… Кровью своей горд!

— Однако гордость не мешает вам плавать в одежде…

— Краснею! Ваше замечание имеет свою долю горькой истины. Сейчас видно просвещенно-

го человека! Но прежде, чем бросать камнем в грешника, вы должны выслушать… Точно, между нами есть много субъектов, которые, забыв свое достоинство, позволяют невежественным купцам мазать себе голову горчицей, мазаться в бане сажей и изображать дьявола, одеваться в бабье платье и выделывать непристойности, но я… я далек от всего этого! Сколько бы мне купец ни давал денег, я не позволю вымазать свою голову горчицей и другим, хотя бы благородным, веществом. В изображении же утопленника я не вижу ничего позорного… Вода предмет мокрый, чистый. От окунутия не запачкаешься, а напротив, еще чище станешь. И медицина не против этого… Впрочем, если вы не согласны, то я могу взять и дешевле… Извольте, я за рубль в сапогах…

— Нет, не нужно…

— Почему же-с?

— Не нужно, вот и все…

— Поглядели бы, как я захлебываюсь… Лучше меня по всей реке никто не умеет тонуть… Ежели б господа доктора убедились, как я делаю мертвое лицо, они бы меня возвысили… Извольте, я с вас только шесть гривен возьму! Почин дороже денег… С другого бы я и трех рублей не взял, но по лицу замечаю, что вы хороший господин. С

ученых я беру дешевле…

— Оставьте меня, пожалуйста!

— Как знаете!.. Вольному воля, спасенному рай, только напрасно вы не соглашаетесь… В другой раз захотите и десять рублей дать, да не найдете утопленника…

Фигура садится на берегу повыше агента и, громко сопя, начинает рыться в карманах…

— Гм… черрт… — бормочет она. — Где ж это мой табак? Знать, на пристани забыл… Заспорил с офицером о политике и куда-то сгоряча портсигар сунул… Нынче в Англии перемена министерства… Чудят люди! Позвольте, ваше высокоблагородие, папироску!

Агент подает фигуре папиросу. В это время на берегу показывается грузоотправитель-купец, которого поджидает агент. Фигура вскакивает, прячет папиросу в рукав и делает под козырек.

— Виват, ваше степенство! — хрипит он. — Живьо!

— Ааа… Это вы! — говорит агент купцу. — Долгонько заставили ждать себя! А тут без вас вот этот ферт меня замучил! Лезет со своими представлениями! Предлагает за шесть гривен утопленника представить…

— Шесть гривен? Ну это, брат, облопаешь-

ся, — говорит купец. — Красная цена четвертак. Вчерась нам тридцать человек на реке кораблекрушение представляли и всего-навсего пятерку взяли, а ты… ишь ты! Шесть гривен! Так и быть, бери три гривенника!

Фигура надувает щеки и презрительно усмехается.

— Три гривенника… Нынче кочан капусты эту цену стоит, а вы хотите утопленника… Жирно будет…

— Ну, не надо… Некогда с тобой тут…

— Так и быть уж, для почину… Только вы не рассказывайте купцам, что я так дешево взял.

Фигура снимает сапоги и, нахмурившись, задрав вверх подбородок, подходит к воде и делает неловкий прыжок… Слышится звук падения тяжелого тела в воду… Всплывши наверх, фигура нелепо размахивает руками, болтает ногами и старается изобразить на лице своем испуг… Но вместо испуга получается дрожь от холода…

— Тони! Тони! — кричит купец. — Будет плавать, тони!..

Фигура мигает глазами и, растопырив руки, погружается с головой. В этом и заключается все представление. «Утонув», фигура вылезает из воды и, получив свои три гривенника, мокрая

и дрожащая от холода, продолжает свой путь по берегу.

Женское счастье

Хоронили генерал-лейтенанта Запупырина. К дому покойника, где гудела похоронная музыка и раздавались командные слова, со всех сторон бежали толпы, желавшие поглядеть на вынос. В одной из групп, спешивших к выносу, находились чиновники Пробкин и Свистков. Оба были со своими женами.

— Нельзя-с! — остановил их помощник частного пристава с добрым, симпатичным лицом, когда они подошли к цепи. — Не-ельзя-с! Пра-ашу немножко назад! Господа, ведь это не от нас зависит! Прошу назад! Впрочем, так и быть, дамы могут пройти… пожалуйте, mesdames, но… вы, господа, ради бога…

Жены Пробкина и Свисткова зарделись от неожиданной любезности помощника пристава и юркнули сквозь цепь, а мужья их остались по сю сторону живой стены и занялись созерцанием спин пеших и конных блюстителей.

— Пролезли! — сказал Пробкин, с завистью и почти ненавистью глядя на удалявшихся дам. — Счастье, ей-богу, этим шиньонам! Мужскому полу никогда таких привилегий не будет, как

ихнему, дамскому. Ну, что вот в них особенного? Женщины, можно сказать, самые обыкновенные, с предрассудками, а их пропустили; а нас с тобой, будь мы хоть статские советники, ни за что не пустят.

— Странно вы рассуждаете, господа! — сказал помощник пристава, укоризненно глядя на Пробкина. — Впусти вас, так вы сейчас толкаться и безобразить начнете; дама же, по своей деликатности, никогда себе не позволит ничего подобного!

— Оставьте, пожалуйста! — рассердился Пробкин. — Дама в толпе всегда первая толкается. Мужчина стоит и глядит в одну точку, а дама растопыривает руки и толкается, чтоб ее нарядов не помяли. Говорить уж нечего!

Женскому полу всегда во всем фортуна. Женщин и в солдаты не берут, и на танцевальные вечера им бесплатно, и от телесного наказания освобождают… А за какие, спрашивается, заслуги? Девица платок уронила — ты поднимай, она входит — ты вставай и давай ей свой стул, уходит — ты провожай… А возьмите чины! Чтоб достигнуть, положим, статского советника, мне или тебе нужно всю жизнь протрубить, а девица в какие-нибудь полчаса обвенчалась со статским

советником — вот уж она и персона. Чтоб мне князем или графом сделаться, нужно весь свет покорить, Шипку взять, в министрах побывать, а какая-нибудь, прости господи, Варенька или Катенька, молоко на губах не обсохло, покрутит перед графом шлейфом, пощурит глазки — вот и ваше сиятельство… Ты сейчас губернский секретарь… Чин этот себе ты, можно сказать, кровью и потом добыл; а твоя Марья Фоминишна? За что она губернская секретарша? Из поповен и прямо в чиновницы. Хороша чиновница! Дай ты ей наше дело, так она тебе и впишет входящую в исходящие.

— Зато она в болезнях чад родит, — заметил Свистков.

— Велика важность! Постояла бы она перед начальством, когда оно холоду напускает, так ей бы эти самые чада удовольствием показались. Во всем и во всем им привилегия! Какая-нибудь девица или дама из нашего круга может генералу такое выпалить, чего ты и при экзекуторе не посмеешь сказать. Да… Твоя Марья Фомиш-на может смело со статским советником под ручку пройтись, а возьми-ка ты статского советника под руку! Возьми-ка попробуй! В нашем доме, как раз под нами, брат, живет какой-то профессор с

женой… Генерал, понимаешь, Анну первой степени имеет, а то и дело слышишь, как его жена чешет: «Дурак! дурак! дурак!» А ведь баба простая, из мещанок. Впрочем, тут законная, так тому и быть… испокон века так положено, чтоб законные ругались, но ты возьми незаконных! Что эти себе дозволяют! Во веки веков не забыть мне одного случая. Чуть было не погиб, да так уж, знать, за молитвы родителей уцелел. В прошлом году, помнишь, наш генерал, когда уезжал в отпуск к себе в деревню, меня взял с собой, корреспонденцию вести… Дело пустяковое, на час работы. Отработал свое и ступай по лесу ходить или в лакейскую романсы слушать. Наш генерал — человек холостой. Дом — полная чаша, прислуги, как собак, а жены нет, управлять некому. Народ все распущенный, непослушный… и над всеми командует баба, экономка Вера Никитишна. Она и чай наливает, и обед заказывает, и на лакеев кричит… Баба, братец ты мой, скверная, ядовитая, сатаной глядит. Толстая, красная, визгливая… Как начнет на кого кричать, как поднимет визг, так хоть святых выноси. Не так руготня донимала, как этот самый визг. О господи! Никому от нее житья не было. Не только прислугу, но и меня, бестия, задирала… Ну, думаю, погоди; улучу

минутку и все про тебя генералу расскажу. Он погружен, думаю, в службу и не видит, как ты его обкрадываешь и народ жуешь, постой же, открою я ему глаза. И открыл, брат, глаза, да так открыл, что чуть было у самого глаза не закрылись навеки, что даже теперь, как вспомню, страшно делается. Иду я однажды по коридору, и вдруг слышу визг. Сначала думал, что свинью режут, потом же прислушался и слышу, что это Вера Никитишна с кем-то бранится: «Тварь! Дрянь ты этакая! Черт!» — Кого это? — думаю. И вдруг, братец ты мой, вижу, отворяется дверь и из нее вылетает наш генерал, весь красный, глаза выпученные, волосы, словно черт на них подул. А она ему вслед: «Дрянь! Черт!»

— Врешь!

— Честное мое слово. Меня, знаешь, в жар бросило. Наш убежал к себе, а я стою в коридоре и, как дурак, ничего не понимаю. Простая, необразованная баба, кухарка, смерд — и вдруг позволяет себе такие слова и поступки! Это значит, думаю, генерал хотел ее рассчитать, а она воспользовалась тем, что нет свидетелей, и отчеканила его на все корки. Все одно, мол, уходить! Взорвало меня… Пошел я к ней в комнату и говорю: «Как ты смела, негодница, говорить такие слова вы-

сокопоставленному лицу? Ты думаешь, что как он слабый старик, так за него некому вступиться?» — Взял, знаешь, да и смазал ее по жирным щекам разика два. Как подняла, братец ты мой, визг, как заорала, так будь ты трижды неладна, унеси ты мое горе! Заткнул я уши и пошел в лес. Этак часика через два бежит навстречу мальчишка. «Пожалуйте к барину». Иду. Вхожу. Сидит, насупившись, как индюк, и не глядит.

— «Вы что же, говорит, это у меня в доме выстраиваете?» — «То есть как? — говорю. Ежели, говорю, это вы насчет Никитишны, ваше-ство, то я за вас же вступился». — «Не ваше дело, говорит, вмешиваться в чужие семейные дела!» — Понимаешь? Семейные! И как начал, брат, он меня отчитывать, как начал печь — чуть я не помер! Говорил-говорил, ворчал-ворчал, да вдруг, брат, как захохочет ни с того ни с сего. — «И как, говорит, это вы смогли?! Как это у вас хватило храбрости? Удивительно! Но надеюсь, друг мой, что все это останется между нами… Ваша горячность мне понятна, но согласитесь, что дальнейшее пребывание ваше в моем доме невозможно…» — Вот, брат! Ему даже удивительно, как это я смог такую важную паву побить. Ослепила баба! Тайный советник, Белого Орла имеет, начальства над

собой не знает, а бабе поддался… Ба-альшие, брат, привилегии у женского пола! Но… снимай шапку! Несут генерала… Орденов-то сколько, батюшки светы! Ну, что, ей-богу, пустили дам вперед, разве они понимают что-нибудь в орденах?

Заиграла музыка.

После бенефиса
(Сценка)

Трагик Унылов и благородный отец Тигров сидели в 37 номере гостиницы «ВЪнецыя» и пожинали плоды бенефиса. Перед ними на столе стояли водка, плохое красное, полубутылка коньяку и сардины. Тигров, толстенький угреватый человек, созерцательно глядел на графин и угрюмо безмолвствовал. Унылов же пламенел. Держа в одной руке пачку ассигнаций, в другой карандаш, он ерзал на стуле, как на иголках, и изливал свою душу.

— Что меня утешает и бодрит, Максим, — говорил он, — так это то, что меня молодежь любит. Гимназистики, реалистики — мелюзга, от земли не видно, но ты не шути, брат! Сидят, бестии, на галерке, у черта на куличках, за тридцать копеек, но только их и слышно, клопов этаких. Первые критики и ценители! Иной с воробья ростом, под стол пешком ходит, а на морденку взглянешь — совсем Добролюбов. Как они вчера кричали! Уны-ло-ва! Унылова!! Вообще, братец, не ожидал.

Шестнадцать раз вызвали! И «ам ноше»[149] не дурно: 123 рубля 80 копеек! Выпьем!

— Ты же, Васечка, тово… — забормотал Тигров, конфузливо мигая глазами, — презентуй мне сегодня двадцать талеров. В Елец надо съездить. Там дядька помер. После него, может быть, осталось что-нибудь. Коли не дашь, придется пешедралом махать. Дашь?

— Гм… Но ведь ты не отдашь, Максим!

— Не отдам, Васечка… — вздохнул благородный отец. — Где ж мне взять? Уж ты так… по дружбе.

— Постой, может быть, мне не хватит. Покупки нужно будет сделать да заказать кое-что. Давай считать.

Унылов потянул к себе бумагу, в которой был завернут коньяк, и стал писать на ней карандашом.

— Тебе 20, сестре послать 25… Бедная женщина уж три года просит прислать что-нибудь. Обязательно пошлю! Это такая милая… хорошая. Пару себе новую сшить рублей в 30. За номер и за обед я еще подожду отдавать, успею. Табаку фунта три… щиблеты… Что еще? Выкупить фрак… часы. Куплю тебе новую шапку, а то в этой ты на

---

[149] Примечания: 149
Сунуть в карман *(франц,* empocher).

черта похож… Совестно с тобой по улице ходить. Постой, еще чего?

— Купи, Васечка, револьвер для «Блуждающих огней». Наш не стреляет.

— Да, правда. Антрепренер, подлец, ни за что не купит. Бутафории знать не хочет, антихрист этакий. Ну, стало быть, шесть-семь рублей на револьвер. Что еще?

— В баню сходи, с мылом помойся.

— Баня, мыло и прочее — рубль.

— Тут, Васечка, татарин ходит, отличное чучело лисицы продает. Вот купил бы!

— Да на что мне лисица?

— Так. На стол поставить. Проснешься утром, взглянешь, а у тебя на столе зверь стоит и… и так на душе весело станет!

— Роскошь! Лучше я себе портсигар новый куплю. Вообще, знаешь, следовало бы мне свой гардероб ремонтировать. Надо бы сорочек со стоячими воротниками купить. Стоячие воротники теперь в моде. Ах, да! Чуть было не забыл! Пикейную жилетку!

— Необходимо. В крыловских пьесах нельзя без пикейной жилетки. Щиблеты с пуговками… тросточка. Прачке будешь платить?

— Нет, погожу. Перчатки нужно белые, черные

и цветные. Что еще? Соды и кислоты. Касторки раза на три… бумаги, конвертов. Что еще?

Унылов и Тигров подняли на потолок глаза, наморщили лбы и стали думать.

— Персидского порошку! — вспомнил Унылов. — Житья нет от краснокожих. Что еще? Батюшки, пальто! Про самое главное-то мы и забыли, Максим! Как зимой без пальто? Пишу 40. Но… у меня не хватит! Наплевал бы ты на своего дядьку, Максим!

— Не могу. Единственный родственник и вдруг наплевать! Неверное после него осталось что-нибудь.

— Что? Пенковая трубка, тетушкин портрет? Ей-богу, наплюй!

— Не понимаю, что у тебя за эго… эгои… эгоистицизм такой, Васечка? — замигал глазами Тигров. — Будь у меня деньги, да нешто бы я пожалел? Сто… триста… тысячу… бери сколько хочешь! У меня после родителей десять тысяч осталось. Все актерам роздал!..

— Ладно, ладно, бери свои двадцать!

— Мерси. Карманы все порваны, некуда положить. Но, однако, шестой час уже, пора мне на вокзал.

Тигров тяжело поднялся и стал натягивать на

свое шаровидное тело маленькое, узкоплечее пальто.

— Ты же, Васечка, не говори нашим, что я уехал, — сказал он. — Наш подлец бунт поднимет, ежели узнает, что я уехал не сказавшись. Пусть думают, что я в запое. Проводил бы ты меня, Васечка, на вокзал, а то неровен час зайду по дороге в трактир и все твои талеры ухну. Знаешь мою слабость! Проводи, голубчик!

— Ладно.

Актеры оделись и вышли на улицу.

— Что бы такое купить? — бормотал Унылов, заглядывая по дороге в окна магазинов и лавок. — Погляди, Максим, какой чудный окорок! Будь полный сбор, накажи меня бог, купил бы. А знаешь, почему не было полного сбора? Потому что у купца Чудакова была свадьба. Все плутократы там были. Вздумали же, черти, не вовремя жениться! Погляди-ка, какой в окне цилиндр! Купить нешто? Впрочем, шут с ним.

Придя на вокзал, приятели уселись в зале первого класса и задымили сигарами.

— Черт возьми, — поморщился Унылов, — мне что-то пить захотелось. Давай пива выпьем. Челаэк, пива! Еще первого звонка не было, так что тебе нечего спешить. Ты же, карапуз, не долго

езди. Сдери с мертвого дядьки малую толику и назад. Вот что, эээ… чеаэк! Не нужно пива! Дай бутылку Нюи! Выпьем с тобой на прощанье красненького… и езжай себе.

Через полчаса актеры оканчивали уж вторую бутылку. Подперев свою горячую голову кулаками, Унылов глядел любвеобильными глазами на жирное лицо Тигрова и бормотал коснеющим языком:

— Главное зло в нашем мире — это антрр… репрренер. Только тогда артист будет крепко стоять на ногах, когда он в своем деле будет дер… держаться коллективных начал…

— На паях.

— Да, на паях. Парршивое вино. Вот что, выпьем рейнвейнцу!

— Васечка… второй звонок.

— Начхай. С ночным поездом уедешь, а теперь я тебе… выскажу. Челаэк, бутылку рейнского! Антррепрр… енер видит в артисте вещь… мя-со для пушек. Он кулак. Ему не понять артиста. Взять хоть тебя. Ты человек без таланта, но… ты полезный актер. Тебя нужно ценить. Постой, не лезь целоваться, неловко!.. Я тебя за что люблю? За твою душу… истинно артистическое сердце. Максим, я тебе завтра пару заказываю. Все для

тебя. И лисицу даже. Дай пожать руку!

Прошел час. Артисты все еще сидели и беседовали.

— Дай только бог встать мне на ноги, — говорил Унылов, — и ты увидишь… Я покажу тогда, что значит сцена! Ты у меня двести в месяц получать будешь… Мне бы только на первый раз тысячу рублей… летний театр снять… Вот что, не съесть ли нам что-нибудь? Ты хочешь есть? Ты откровенно… Хочешь? Челаэк, пару жареных дупелей!

— Теперь не бывает-с дупелей, — сказал человек.

— Черрт возьми, у вас никогда ничего не бывает! В таком случае, болван, подай… какая у вас там есть дичь? Всю подай! Привыкли, подлецы, купцов кормить всякой дрянью, так думают, что и артист станет есть их дрянь! Неси все сюда! Подай также ликеры! Максим, сигар хочешь? Подашь и сигар.

Немного погодя к приятелям пристал комик Дудкин.

— Нашли, где пить! — удивился Дудкин. — Едем в «Бель-вю». Там теперь все наши…

— Счет! — крикнул Унылов.

— Тридцать шесть рублей двадцать копеек…

— Получай… без сдачи! Едем, Максим! Наплюй

на дядьку! Пусть бедный Йорик остается без наследников! Давай сюда двадцать рублей! Завтра поедешь!

В «Бель-вю» приятели потребовали устриц и рейнского.

— И сапоги тебе завтра куплю, — говорил Унылов, наливая Тигрову. — Пей! Кто любит искусство, тот… За искусство!

Пошли в ход искусство, коллективные начала, паи, единодушие, солидарность и прочие актерские идеалы… Поездка же в Елец, покупка чаю, табаку и одежи, выкуп заложенного и уплата сами собой улеглись в далекий… очень далекий ящик. Счет «Бельвю» съел всю бенефисную выручку.

Общее образование (Последние выводы зубоврачебной науки)

— Не повезло мне по зубной части, Осип Францыч! — вздыхал маленький поджарый человечек в потускневшем пальто, латаных сапогах и с серыми, словно ощипанными, усами, глядя с подобострастием на своего коллегу, жирного, толстого немца в новом дорогом пальто и с гавайкой в зубах. — Совеем не повезло! Собака его знает, отчего это так! Или оттого, что нынче зубных врачей больше, чем зубов… или у меня таланта настоящего нет, чума его знает! Трудно фортуну понять. Взять, к примеру, хоть вас. Вместе мы в уездном училище курс кончили, вместе у жида Берки Швахера работали, а какая разница! Вы два дома и дачу имеете, в коляске катаетесь, а я, как видите, яко наг, яко благ, яко нет ничего. Ну, отчего это так?

Немец Осип Францыч кончил курс в уездном училище и глуп, как тетерев, но сытость, жир и собственные дома придают ему массу самоуверенности. Говорить авторитетно, фи-

лософствовать и читать сентенции он считает своим неотъемлемым правом.

— Вся беда в нас самих, — вздохнул он авторитетно в ответ на жалобы коллеги. — Сам ты виноват, Петр Ильич! Ты не сердись, но я говорил и буду говорить: нас, специалистов, губит недостаток общего образования. Мы залезли по уши в свою специальность, а что дальше этого, до того нам и дела нет. Нехорошо, брат! Ах, как нехорошо! Ты думаешь, что как научился зубы дергать, так уж и можешь приносить обществу пользу? Ну, нет, брат, с такими узкими, односторонними взглядами далеко не пойдешь… ни-ни, ни в каком случае. Общее образование надо иметь!

— А что такое общее образование? — робко спросил Петр Ильич.

Немец не нашелся, что ответить, и понес чепуху, но потом, выпивши вина, разошелся и дал своему русскому коллеге уразуметь, что он понимает под «общим образованием». Пояснил он не прямо, а косвенно, говоря о другом.

— Главнее всего для нашего брата — приличная обстановка, — рассказывал он. — Публика только по обстановке и судит. Ежели у тебя грязный подъезд, тесные комнаты да жалкая мебель, то значит, ты беден, а ежели беден, то, стало быть, у

тебя никто не лечится. Не так ли? Зачем я к тебе пойду лечиться, если у тебя никто не лечится? Лучше я пойду к тому, у кого большая практика! А заведи ты себе бархатную мебель да понатыкай везде электрических звонков, так тогда ты и опытный, и практика у тебя большая. Обзавестись же шикарной квартирой и приличной мебелью — раз плюнуть. Нынче мебельщики подтянулись, духом пали. В кредит сколько хочешь, хоть на сто тысяч, особливо ежели подпишешься под счетом: «Доктор такой-то». И одеваться нужно прилично. Публика так рассуждает: если ты оборван и в грязи живешь, то с тебя и рубля довольно, а если ты в золотых очках, с жирной цепочкой, да кругом тебя бархат, то уж совестно давать тебе рубль, а надо пять или десять. Не так ли?

— Это верно… — согласился Петр Ильич. — Признаться сказать, я сначала завел себе обстановку. У меня все было: и бархатные скатерти, и журналы в приемной, и Бетховен висел около зеркала, но… черт его знает! Затмение дурацкое нашло. Хожу по своей роскошной квартире, и совестно мне отчего-то! Словно я не в свою квартиру попал или украл все это… не могу! Не умею сидеть на бархатном кресле, да и шабаш! А тут еще моя жена… простая баба, никак не хочет

понять, как соблюдать обстановку. То щами или гусем навоняет на весь дом, то канделябры начнет кирпичом чистить, то полы начнет мыть в приемной при больных… черт знает что! Верите ли, как продали всю эту обстановку с аукциона, так я словно ожил.

— Значит, не привык к приличной жизни… Что ж? Надо привыкать! Потом, кроме обстановки, нужна еще вывеска. Чем меньше человек, тем вывеска его должна быть больше. Не так ли? Вывеска должна быть громадная, чтобы даже за городом ее видно было. Когда ты подъезжаешь к Петербургу или к Москве, то, прежде чем увидишь колокольни, тебе станут видны вывески зубных врачей. А там, брат, врачи не нам с тобой чета.

На вывеске должны быть нарисованы золотые и серебряные круги, чтобы публика думала, что у тебя медали есть: уважения больше! Кроме этого, нужна реклама. Продай последние брюки, а напечатай объявление. Печатай каждый день во всех газетах. Ежели кажется тебе, что простых объявлений мало, то валяй с фокусами: вели напечатать объявление вверх ногами, закажи клише «с зубами» и «без зубов», проси публику не смешивать тебя с другими дантистами, пуб-

ликуй, что ты возвратился из-за границы, что бедных и учащихся лечишь бесплатно… Нужно также повесить объявление на вокзале, в буфетах… Много способов!

— Это верно! — вздохнул Петр Ильич.

— Многие также говорят, что, как ни обращайся с публикой, все равно… Нет, не все равно! С публикой надо уметь обращаться… Публика нынче хоть и образованная, но дикая, бессмысленная. Сама она не знает, чего хочет, и приноровиться к ней очень трудно. Будь ты хоть распрепрофессор, но ежели ты не умеешь подладиться под ее характер, то она скорей к коновалу пойдет, чем к тебе… Приходит ко мне, положим, барыня с зубом. Разве ее можно без фокусов принять? Ни-ни! Я сейчас нахмуриваюсь по-ученому и молча показываю на кресло: ученым, мол, людям некогда разговаривать. А кресло у меня тоже с фокусами: на винтах! Вертишь винты, а барыня то поднимается, то опускается. Потом начнешь в больном зубе копаться. В зубе чепуха, вырвать надо и больше ничего, но ты копайся долго, с расстановкой… раз десять зеркало всунь в рот, потому что барыни любят, если их болезнями долго занимаются. Барыня визжит, а ты ей: «Сударыня! мой долг облегчить ваши ужасные страдания, а потому

прошу относиться ко мне с доверием», и этак, знаешь, величественно, трагически… А на столе перед барыней челюсти, черепа, кости разные, всевозможные инструменты, банки с адамовыми головами — все страшное, таинственное. Сам я в черном балахоне, словно инквизитор какой. Тут же около кресла стоит машина для веселящего газа. Машину-то я никогда не употребляю, но все-таки страшно! Зуб рву я огромнейшим ключом. Вообще, чем крупнее и страшнее инструмент, тем лучше. Рву я быстро, без запинки.

— И я рву недурно, Осип Францыч, но черт меня знает! Только что, знаете, сделаю тракцию и начну зуб тянуть, как откуда ни возьмись мысль: а что если я не вырву или сломаю? От мысли рука дрожит. И это постоянно!

— Зуб сломается, не твоя вина.

— Так-то так, а все-таки. Беда, ежели апломба нет! Хуже нет, ежели ты себе не веришь или сомневаешься. Был такой случай. Наложил я щипцы, тащу… тащу и вдруг, знаете, чувствую, что очень долго тащу. Пора бы уж вытащить, а я все тащу. Окаменел я от ужаса! Надо бы бросить да снова начать, а я тащу, тащу… ошалел! Больной видит по моему лицу — тово, что я швах, сомневаюсь, вскочил да от боли и злости как

хватит меня табуретом! А то однажды ошалел тоже и вместо больного здоровый зуб вырвал.

— Пустяки, со всяким случается. Рви здоровые зубы, до больного доберешься. А ты прав, без апломба нельзя. Ученый человек должен держать себя по-ученому. Публика ведь не понимает, что мы с тобой в университете не были. Для нее все доктора. И Боткин доктор, и я доктор, и ты доктор. А потому и держи себя как доктор. Чтоб поученей казаться и пыль пустить, издай брошюрку «О содержании зубов». Сам не сумеешь сочинить, закажи студенту. Он рублей за десять тебе и предисловие накатает и из французских авторов цитаты повыдергает. Я уж три брошюры выпустил. Еще что? Зубной порошок изобрети. Закажи себе коробочки со штемпелем, насыпь в них, чего знаешь, навяжи пломбу и валяй: «Цена 2 рубля, остерегаться подделок». Выдумай и эликсир. Наболтай чего-нибудь, чтоб пахло да щипало, вот тебе и эликсир. Цен круглых не назначай, а так: эликсир № 1 стоит 77 к., № 2 — 82 к. и т. д. Это потаинственнее. Зубные щетки продавай со своим штемпелем по рублю за штуку. Видал мои щетки?

Петр Ильич нервно почесал затылок и в волнении зашагал около немца…

— Вот поди же ты! — зажестикулировал он. — Вот оно как! Но не умею я, не могу! Не то чтобы я это шарлатанством или жульничеством считал, а не могу, руки коротки! Сто раз пробовал, и ни черта не выходило. Вы вот сыты, одеты, дома имеете, а меня — табуретом! Да, действительно, плохо без общего образования! Это вы верно, Осип Францыч! Очень плохо!

Психопаты
(Сценка)

Титулярный советник Семен Алексеич Нянин, служивший когда-то в одном из провинциальных коммерческих судов, и сын его Гриша, отставной поручик — личность бесцветная, живущая на хлебах у папаши и мамаши, сидят в одной из своих маленьких комнаток и обедают. Гриша, по обыкновению, пьет рюмку за рюмкой и без умолку говорит; папаша, бледный, вечно встревоженный и удивленный, робко заглядывает в его лицо и замирает от какого-то неопределенного чувства, похожего на страх.

— Болгария и Румелия — это одни только цветки, — говорит Гриша, с ожесточением ковыряя вилкой у себя в зубах. — Это что, пустяки, чепуха! А вот ты прочти, что в Греции да в Сербии делается, да какой в Англии разговор идет! Греция и Сербия поднимутся, Турция тоже… Англия вступится за Турцию.

— И Франция не утерпит… — как бы нерешительно замечает Нянин.

— Господи, опять о политике начали! — кашля-

ет в соседней комнате жилец Федор Федорыч. — Хоть бы больного пожалели!

— Да, и Франция не утерпит, — соглашается с отцом Гриша, словно не замечая кашля Федора Федорыча. — Она, брат, еще не забыла пять миллиардов! Она, брат… эти, брат, французы себе на уме! Того только и ждут, чтоб Бисмарку фернапиксу задать да в табакерку его чемерицы насыпать! А ежели француз поднимется, то немец не станет ждать — коммен зи гер[150], Иван Андреич, шпрехен зи дейч!..[151] Хо-хо-хо! За немцами Австрия, потом Венгрия, а там, гляди, и Испания насчет Каролинских островов… Китай с Тонкином, афганцы… и пошло, и пошло, и пошло! Такое, брат, будет, что и не снилось тебе! Вот попомни мое слово! Только руками разведешь…

Старик Нянин, от природы мнительный, трусливый и забитый, перестает есть и еще больше бледнеет. Гриша тоже перестает есть. Отец и сын — оба трусы, малодушны и мистичны; душу обоих наполняет какой-то неопределенный, беспредметный страх, беспорядочно витающий в пространстве и во времени: что-то будет!!. Но

---

[150] Примечания: 150
Подойдите сюда *(нем.* kommen Sie her).

[151] Примечания: 151
Говорите ли вы по-немецки? *(нем.* sprechen Sie deutsch?)

что именно будет, где и когда, не знают ни отец, ни сын. Старик обыкновенно предается страху безмолвствуя, Гриша же не может без того, чтоб не раздражать себя и отца длинными словоизвержениями; он не успокоится, пока не напугает себя вконец.

— Вот ты увидишь! — продолжает он. — Ахнуть не успеешь, как в Европе пойдет все шиворот-навыворот. Достанется на орехи! Тебе-то, положим, все равно, тебе хоть трава не расти, а мне — пожалуйте-с на войну! Мне, впрочем, плевать… с нашим удовольствием.

Попугав себя и отца политикой, Гриша начинает толковать про холеру.

— Там, брат, не станут разбирать, живой ты или мертвый, а сейчас тебя на телегу и — айда за город! Лежи там с мертвецами! Некогда будет разбирать, болен ты или уже помер!

— Господи! — кашляет за перегородкой Федор Федорыч. — Мало того, что табаком начадили да сивухой навоняли, так вот хотят еще разговорами добить!

— Чем же, позвольте вас спросить, не нравятся вам наши разговоры? — спрашивает Гриша, возвышая голос.

— Не люблю невежества… Уж очень тошно.

— Тошно, так и не слушайте… Так-то, брат папаша, быть делам! Разведешь руками, да поздно будет. А тут еще в банках воруют, в земствах… Там, слышишь, миллион украли, там сто тысяч, в третьем месте тысячу… каждый день! Того дня нет, чтоб кассир не бегал.

— Ну, так что ж?

— Как что ж? Проснешься в одно прекрасное утро, выглянешь в окно, ан ничего нет, все украдено. Взглянешь, а по улице бегут кассиры, кассиры, кассиры… Хватишься одеваться, а у тебя штанов нет — украли! Вот тебе и что ж!

В конце концов Гриша принимается за процесс Мироновича.

— И не думай, не мечтай! — говорит он отцу. — Этот процесс во веки веков не кончится. Приговор, брат, решительно ничего не значит. Какой бы ни был приговор, а темна вода во облацех! Положим, Семенова виновата… хорошо, пусть, но куда же девать те улики, что против Мироновича? Ежели, допустим, Миронович виноват, то куда ты сунешь Семенову и Безака? Туман, братец… Все так бесконечно и туманно, что не удовлетворятся приговором, а без конца будут философствовать… Есть конец света? Есть… А что же за этим концом? Тоже конец… А что

же за этим вторым концом? И так далее… Так и в этом процессе… Раз двадцать еще разбирать будут и то ни к чему не придут, а только туману напустят… Семенова сейчас созналась, а завтра она опять откажется — знать не знаю, ведать не ведаю. Опять Карабчевский кружить начнет… Наберет себе десять помощников и начнет с ними кружить, кружить, кружить…

— То есть как кружить?

— Да так: послать за гирей водолазов под Тучков мост! Хорошо, а тут сейчас Ашанин бумагу: не нашли гири! Карабчевский рассердится… Как так не нашли? Это оттого, что у нас настоящих водолазов и хорошего водолазного аппарата нет! Выписать из Англии водолазов, а из Нью-Йорка аппарат! Пока там гирю ищут, стороны экспертов треплют. А эксперты кружат, кружат, кружат. Один с другим не соглашается, друг другу лекции читают… Прокурор не соглашается с Эргардом, а Карабчевский с Сорокиным… и пошло, и пошло! Выписать новых экспертов, позвать из Франции Шарко! Шарко приедет и сейчас: не могу дать заключения, потому что при вскрытии не была осмотрена спинная кость! Вырыть опять Сарру! Потом, братец ты мой, насчет волос… Чьи были волоса? Не могли же они сами на полу вырасти, а

чьи-нибудь да были же! Позвать для экспертизы парикмахеров! И вдруг оказывается, что один волос совсем похож на волос Монбазон! Позвать сюда Монбазон! И пошло, и пошло. Все завертится, закружится. А тут еще англичане-водолазы в Неве найдут не одну гирю, а пять. Ежели не Семенова убила, то настоящий убийца наверное туда десяток гирь бросил. Начнут гири осматривать. Первым делом: где они куплены? У купца Подскокова! Подать сюда купца! «Г-н Подскоков, кто у вас гири покупал?» — «Не помню». — «В таком случае назовите нам фамилии ваших покупателей!» Подскоков начнет припоминать да и вспомнит, что ты у него что-то когда-то покупал. Вот, скажет, покупали у меня товар такие-то и такие-то и между прочим титулярный советник Семен Алексеев Нянин! Подать сюда этого титулярного советника Нянина! Пожалуйте-с!

Нянин икает, встает из-за стола и, бледный, растерянный, нервно семенит по комнате.

— Ну, ну… — бормочет он. — Бог знает что!

— Да, подать сюда Нянина! Ты пойдешь, а Карабчевский тебя глазами насквозь, насквозь! «Где, спросит, вы были в ночь под такое-то число?» А у тебя и язык прильпе к гортани. Сейчас сличат те волосы с твоими, пошлют за Иванов-

ским, и пожалуйте, г. Нянин, на цугундер!

— То… то есть как же? Все знают, что не я убил! Что ты?

— Это все равно! Плевать на то, что не ты убил! Начнут тебя кружить и до того закружат, что ты встанешь на колени и скажешь: я убил! Вот как!

— Ну, ну, ну…

— Я ведь только к примеру. Мне-то все равно. Я человек свободный, холостой. Захочу, так завтра же в Америку уеду! Ищи тогда, Карабчевский! Кружи!

— Господи! — стонет Федор Федорыч. — Хоть бы у них глотки пересохли! Черти, да вы замолчите когда-нибудь или нет?

Нянин и Гриша умолкают. Обед кончился, и оба они ложатся на свои кровати. Обоих сосет червь.

Индейский петух
(Маленькое недоразумение)

— Чучело ты, чучело! Образина ты лысая! — говорила однажды Пелагея Петровна своему супругу, отставному коллежскому секретарю Маркелу Ивановичу Лохматову. — У всех мужья как мужья, одну только меня господь наказал сокровищем-лежебоком! У сестры Глашеньки муж и носки штопает, и кур кормит, и за провизией на рынок ходит. Прасковьи Ивановнин муж, и что это за человек! — только и ищет, чем бы жене своей угодить: то клопов из кроватей вываривает, то шубу выбивает, чтоб моль не поела, то рыбу чистит. Один только ты у меня, нечистый тебя знает, в кого уродился! День-деньской лежишь, как анафема, на диване и только и знаешь, что водку трескаешь да про Румелию балясы точишь!..

— Что же мне делать? — робко спросил Маркел Иваныч.

— Что делать! Да мало ли делов? Куда в хозяйстве ни сунься, везде дело. Взять хоть индейского петуха. Уж неделя, как тварь не пьет, не ест…

вот-вот издохнет, а тебе и горя мало, наказание ты мое! У, так и тресну по уху! А ведь петух-то какой! Гора, а не петух! За пять рублей другого такого не купишь!

— Что же мне тово… с петухом делать? Не к доктору же с ним идти!

— Зачем к доктору? Доктора не обучены птицам… Ты у людей порасспроси… Люди все знают… А то и сам бы, дуралей, своим умом пораскинул, как и что. В аптеку бы сходил. В аптеке много лекарств!

— Пожалуй, я схожу в аптеку, — согласился Лохматов. — Пожалуй.

— И сходи! Дайте, скажи, мне на десять копеек крепительного!

Маркел Иванович лениво поднялся с дивана, вздохнул и стал натягивать на себя панталоны (когда он сидит дома, Пелагея Петровна из экономии держит его в одном нижнем). Он был выпивши, в голове его от одного виска к другому перекатывалась тяжелая, свинцовая пуля, но мысль, что он идет сейчас делать дело, подбодрила его. Одевшись, он взял трость и степенно зашагал к аптеке.

— Вам что угодно? — спросил его в аптеке толстый лысый провизор с большими, пушистыми

бакенами.

— Мне чего-нибудь этакого… — начал робко Маркел Иванович, почтительно глядя на пушистые бакены. — У меня, собственно говоря, нет рецепта, и я сам не знаю, что мне нужно, может быть, вы мне посоветуете что-нибудь.

— Да, а что случилось?

— Дело в том, что уж неделя, как не пьет, не ест. Все время, знаете ли, слабит. Скучный такой, унылый, словно потерял что-нибудь или совесть нечиста.

Провизор приподнял углы губ, прищурился и обратился в слух. Фармацевты вообще любят, когда к ним обращаются за медицинскими советами.

— А… гм… — промычал он. — Жар есть?

— Этого я вам не могу сказать, не знаю… Уж вы будьте такие добрые, дайте чего-нибудь. Верите ли? Смотреть жалко! Был здоров, ходил по двору, а теперь на тебе! — ни с того ни с сего нахмурился, наершился и из сарая не выходит.

— В сарае нельзя… Теперь холодно.

— Хорошо, мы его в кухню возьмем… А жалко будет, ежели тово… околеет. Без него индейки жить не могут.

— Какие индейки? — вытаращил глаза про-

визор.

— Обыкновенные… с перьями.

— Да вы про кого говорите?

— Про индейского петуха.

На лице провизора изобразилось «тьфу!». Углы губ опустились, и по строгому лицу пробежала тучка.

— Я… не понимаю, — обиделся провизор.

— Не понимаете, какой это индейский петух? — в свою очередь не понял Лохматов. — Есть обыкновенные петухи, что с курами ходят, а то индейский… большой такой, знаете ли, с хоботом на носу… и еще так посвистишь ему, а он растопырит крылья, нахохлится и — блы-блы-блы…

— Мы индюков не лечим… — пробормотал провизор, обидчиво отводя глаза в сторону.

— Да их и лечить не нужно… Дать какого-нибудь пустяка и больше ничего… Ведь это не человек, а птица… и от пустяка поможет.

— Извините, мне некогда.

— Я знаю, что вам некогда, но сделайте такое одолжение! Что вам стоит дать чего-нибудь? Чего хотите, то и дайте, я не стану разговаривать. Будьте столь достолюбезны!

Просительный тон Маркела Ивановича тронул провизора. Он опять нахмурился, поднял углы

губ и задумался.

— Вы говорите, что не пьет, не ест… что его слабит?

— Да-с… Крепительного чего-нибудь.

— Погодите, я сейчас.

Провизор отошел к шкафчику, достал оттуда какую-то книгу и погрузился в чтение. Лицо его приняло сократовское выражение и на лбу собралось так много морщин, что Маркел Иванович, глядя на него, побоялся, как бы от напряжения кожи не порвалась провизорская лысина.

— Я вам порошок дам, — сказал провизор, кончив чтение.

— Покорнейше вас благодарю. Только, извините за выражение, как я ему этот порошок дам? Ведь он не клюет! Ежели бы он понимал свою пользу, а то ведь птица глупая, нерассудительная. Положишь перед ним порошок, а он и без внимания.

— В таком случае я вам капель дам.

— Ну, капли другое дело. Капли насильно влить можно.

Провизор повернул голову в сторону и прокричал что-то по-немецки.

— Ja![152] — откликнулся маленький черненький фармацевт.

Лохматов направился туда, где возился этот фармацевт, облокотился о стойку и стал ждать.

«Как он, собака, все это ловко! — думал он, следя за движениями пальцев фармацевта, делившего какой-то порошок на доли. — И на все ведь это нужна наука!»

Покончив с порошками, фармацевт взял флакон, наболтал в него коричневой жидкости, завернул в бумагу и подошел к Лохматову.

— Вам на десять копеек капель? — спросил он.

— Индейскому петуху.

— Что? — вытаращил глаза фармацевт.

— Индейскому петуху.

— С вами говорят по-человечески, — вспыхнул фармацевт, — вы и должны отвечать по-человечески.

— Как же вам еще отвечать? Говорю, что индейскому петуху, так, значит, и индейскому петуху. Не орлу же!

— Я это могу на свой счет принять! — нахохлился аптекарь.

— Зачем же на свой счет принять? Я сам за-

---

[152] Примечания: 152
Да! *(нем.)*

плачу.

— Но мне некогда с вами шутить!

Фармацевт отложил в сторону флакон с каплями, отошел в сторону и, сердито фыркая, стал что-то тереть в ступке.

Маркел Иванович подождал еще немного, потом пожал плечами, вздохнул и вышел из аптеки. Придя домой, он снял сюртук, панталоны и жилет, почесался, покряхтел и лег на диван.

— Ну, что? был в аптеке? — набросилась на него Пелагея Петровна.

— Был… ну их к черту!

— Где же лекарство?

— Не дают! — махнул рукой Маркел Иванович и укрылся ватным одеялом.

— Уу… так и дам по уху!

Средство от запоя

В город Д., в отдельном купе первого класса, прибыл на гастроли известный чтец и комик г. Фениксов-Дикобразов 2-й. Все встречавшие его на вокзале знали, что билет первого класса был куплен «для форса» лишь на предпоследней станции, а до тех пор знаменитость ехала в третьем; все видели, что, несмотря на холодное, осеннее время, на знаменитости были только летняя крылатка да ветхая котиковая шапочка, но, тем не менее, когда из вагона показалась сивая, заспанная физиономия Дикобразова 2-го, все почувствовали некоторый трепет и жажду познакомиться. Антрепренер Почечуев, по русскому обычаю, троекратно облобызал приезжего и повез его к себе на квартиру.

Знаменитость должна была начать играть дня через два после приезда, но судьба решила иначе; за день до спектакля в кассу театра вбежал бледный, взъерошенный антрепренер и сообщил, что Дикобразов 2-й играть не может.

— Не может! — объявил Почечуев, хватая себя за волосы. — Как вам это покажется? Месяц, целый месяц печатали аршинными буквами,

что у нас будет Дикобразов, хвастали, ломались, забрали абонементные деньги, и вдруг этакая подлость! А? Да за это повесить мало!

— Но в чем дело? Что случилось?

— Запил, проклятый!

— Экая важность! Проспится.

— Скорей издохнет, чем проспится! Я его еще с Москвы знаю: как начнет водку лопать, так потом месяца два без просыпа. Запой! Это запой! Нет, счастье мое такое! И за что я такой несчастный! И в кого я, окаянный, таким несчастным уродился! За что… за что над моей головой всю жизнь висит проклятие неба? (Почечуев трагик и по профессии и по натуре: сильные выражения, сопровождаемые биением по груди кулаками, ему очень к лицу.) И как я гнусен, подл и презренен, рабски подставляя голову под удары судьбы! Не достойнее ли раз навсегда покончить с постыдной ролью Макара, на которого все шишки валятся, и пустить себе пулю в лоб? Чего же жду я? Боже, чего я жду?

Почечуев закрыл ладонями лицо и отвернулся к окну. В кассе, кроме кассира, присутствовало много актеров и театралов, а потому дело не стало за советами, утешениями и обнадеживаниями; но все это имело характер философский или

пророческий; дальше «суеты сует», «наплюйте» и «авось» никто не пошел. Один только кассир, толстенький, водяночный человек, отнесся к делу посущественней.

— А вы, Прокл Львович, — сказал он, — попробуйте полечить его.

— Запой никаким чертом не вылечишь!

— Не говорите-с. Наш парикмахер превосходно от запоя лечит. У него весь город лечится.

Почечуев обрадовался возможности ухватиться хоть за соломинку, и через какие-нибудь пять минут перед ним уже стоял театральный парикмахер Федор Гребешков. Представьте вы себе высокую, костистую фигуру со впалыми глазами, длинной жидкой бородой и коричневыми руками, прибавьте к этому поразительное сходство со скелетом, которого заставили двигаться на винтах и пружинах, оденьте фигуру в донельзя поношенную черную пару, и у вас получится портрет Гребешкова.

— Здорово, Федя! — обратился к нему Почечуев. — Я слышал, дружок, что ты того… лечишь от запоя. Сделай милость, не в службу, а в дружбу, полечи ты Дикобразова! Ведь, знаешь, запил!

— Бог с ним, — пробасил уныло Гребешков. — Актеров, которые попроще, купцов и чиновников

я, действительно, пользую, а тут ведь знаменитость, на всю Россию!

— Ну, так что ж?

— Чтоб запой из него выгнать, надо во всех органах и суставах тела переворот произвесть. Я произведу в нем переворот, а он выздоровеет и в амбицию… «Как ты смел, — скажет, — собака, до моего лица касаться?» Знаем мы этих знаменитых!

— Ни-ни… не отвиливай, братец! Назвался груздем — полезай в кузов! Надевай шапку, пойдем!

Когда через четверть часа Гребешков входил в комнату Дикобразова, знаменитость лежала у себя на кровати и со злобой глядела на висячую лампу. Аампа висела спокойно, но Дикобразов 2-й не отрывал от нее глаз и бормотал:

— Ты у меня повертишься! Я тебе, анафема, покажу, как вертеться! Разбил графин, и тебя разобью, вот увидишь! А-а-а… и потолок вертится… Понимаю: заговор! Но лампа, лампа! Меньше всех, подлая, но больше всех вертится! Постой же…

Комик поднялся и, потянув за собой простыню, сваливая со столика стаканы и покачиваясь, направился к лампе, но на полпути наткнулся на что-то высокое, костистое…

— Что такое!? — заревел он, поводя блуждающими глазами. — Кто ты? Откуда ты? А?

— А вот я тебе покажу, кто я... Пошел на кровать!

И не дожидаясь, когда комик пойдет к кровати, Гребешков размахнулся и трахнул его кулаком по затылку с такой силой, что тот кубарем полетел на постель. Комика, вероятно, раньше никогда не били, потому что он, несмотря на сильную хмель, поглядел на Гребешкова с удивлением и даже с любопытством.

— Ты... ты ударил? По... постой, ты ударил?

— Ударил. Нешто еще хочешь?

И парикмахер ударил Дикобразова еще раз, по зубам. Не знаю, что тут подействовало, сильные ли удары, или новизна ощущения, но только глаза комика перестали блуждать и в них замелькало что-то разумное. Он вскочил и не столько со злобой, сколько с любопытством стал рассматривать бледное лицо и грязный сюртук Гребешкова.

— Ты... ты дерешься? — забормотал он. — Ты... ты смеешь?

— Молчать!

И опять удар по лицу. Ошалевший комик стал было защищаться, но одна рука Гребешкова сда-

вила ему грудь, другая заходила по физиономии.

— Легче! Легче! — послышался из другой комнаты голос Почечуева. — Легче, Феденька!

— Ничего-с, Прокл Львович! Сами же потом благодарить станут!

— Все-таки ты полегче! — проговорил плачущим голосом Почечуев, заглядывая в комнату комика. — Тебе-то ничего, а меня мороз по коже дерет. Ты подумай: среди бела дня бьют человека правоспособного, интеллигентного, известного, да еще на собственной квартире… Ах!

— Я, Прокл Львович, бью не их, а беса, что в них сидит. Уходите, сделайте милость, и не беспокойтесь. Лежи, дьявол! — набросился Федор на комика. — Не двигайся! Что-о-о?

Дикобразовым овладел ужас. Ему стало казаться, что все то, что раньше кружилось и было им разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову.

— Караул! — закричал он. — Спасите! Караул!

— Кричи, кричи, леший! Это еще цветки, а вот погоди, ягодки будут! Теперь слушай: ежели ты скажешь еще хоть одно слово или пошевельнешься, убью! Убью и не пожалею! Заступиться, брат, некому! Не придет никто, хоть из пушки пали. А ежели смиришься и замолчишь, водочки

дам. Вот она, водка-то!

Гребешков вытащил из кармана полуштоф водки и блеснул им перед глазами комика. Пьяный, при виде предмета своей страсти, забыл про побои и даже заржал от удовольствия. Гребешков вынул из жилетного кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштоф. Когда водка вспенилась и замутилась, он принялся всыпать в нее всякую дрянь. В полуштоф посыпались селитра, нашатырь, квасцы, глауберова соль, сера, канифоль и другие «специи», продаваемые в москательных лавочках. Комик пялил глаза на Гребешкова и страстно следил за движениями полуштофа. В заключение парикмахер сжег кусок тряпки, высыпал пепел в водку, поболтал и подошел к кровати.

— Пей! — сказал он, наливая пол-чайного стакана. — Разом!

Комик с наслаждением выпил, крякнул, но тотчас же вытаращил глаза. Лицо у него вдруг побледнело, на лбу выступил пот.

— Еще пей! — предложил Гребешков.

— Не… не хочу! По… постой…

— Пей, чтоб тебя!.. Пей! Убью!

Дикобразов выпил и, застонав, повалился на подушку.

Через минуту он приподнялся, и Федор мог убедиться, что его специя действует.

— Пей еще! Пущай у тебя все внутренности выворотит, это хорошо. Пей!

И для комика наступило время мучений. Внутренности его буквально переворачивало. Он вскакивал, метался на постели и с ужасом следил за медленными движениями своего беспощадного и неугомонного врага, который не отставал от него ни на минуту и неутомимо колотил его, когда он отказывался от специи. Побои сменялись специей, специя побоями. Никогда в другое время бедное тело Фениксова-Дикобразова 2-го не переживало таких оскорблений и унижений, и никогда знаменитость не была так слаба и беззащитна, как теперь. Сначала комик кричал и бранился, потом стал умолять, наконец, убедившись, что протесты ведут к побоям, стал плакать. Почечуев, стоявший за дверью и подслушивавший, в конце концов не выдержал и вбежал в комнату комика.

— А ну тебя к черту! — сказал он, махая руками. — Пусть лучше пропадают абонементные деньги, пусть он водку пьет, только не мучь ты его, сделай милость! Околеет ведь, ну тебя к черту! Погляди: совсем ведь околел! Знал бы, ей-богу

не связывался…

— Ничего-с… Сами еще благодарить будут, увидите-с… Ну, ты что еще там? — повернулся Гребешков к комику. — Влетит!

До самого вечера провозился он с комиком. И сам умаялся, и его заездил. Кончилось тем, что комик страшно ослабел, потерял способность даже стонать и окаменел с выражением ужаса на лице. За окаменением наступило что-то похожее на сон.

На другой день комик, к великому удивлению Почечуева, проснулся, — стало быть, не умер. Проснувшись, он тупо огляделся, обвел комнату блуждающим взором и стал припоминать.

— Отчего это у меня все болит? — недоумевал он. — Точно по мне поезд прошел. Нешто водки выпить? Эй, кто там? Водки!

В это время за дверью стояли Почечуев и Гребешков.

— Водки просит, стало быть, не выздоровел! — ужаснулся Почечуев.

— Что вы, батюшка, Прокл Львович? — удивился парикмахер. — Да нешто в один день вылечишь? Дай бог, чтобы в неделю поправился, а не то что в день. Иного слабенького и в пять дней вылечишь, а это ведь по комплекции тот же

купец. Не скоро его проймешь.

— Что же ты мне раньше не сказал этого, анафема? — застонал Почечуев. — И в кого я несчастным таким уродился! И чего я, окаянный, жду еще от судьбы? Не разумнее ли кончить разом, всадив себе пулю в лоб, и т. д.

Как ни мрачно глядел на свою судьбу Почечуев, однако через неделю Дикобразов 2-й уже играл и абонементных денег не пришлось возвращать. Гримировал комика Гребешков, причем так почтительно касался к его голове, что вы не узнали бы в нем прежнего заушателя.

— Живуч человек! — удивлялся Почечуев. — Я чуть не помер, на его муки глядючи, а он как ни в чем не бывало, даже еще благодарит этого черта Федьку, в Москву с собой хочет взять! Чудеса, да и только!

Дорогая собака

Поручик Дубов, уже не молодой армейский служака, и вольноопределяющийся Кнапс сидели и выпивали.

— Великолепный пес! — говорил Дубов, показывая Кнапсу свою собаку Милку. — Замеча-тельная собака! Вы обратите внимание на морду! Морда одна чего стоит! Ежели на любителя наскочить, так за одну морду двести рублей дадут! Не верите? В таком случае вы ничего не понимаете…

— Я понимаю, но…

— Ведь сеттер, чистокровный английский сеттер! Стойка поразительная, а чутье… нюх! Боже, какой нюх! Знаете, сколько я дал за Милку, когда она была еще щенком? Сто рублей! Дивная собака! Ше-ельма, Милка! Ду-ура, Милка! Поди сюда, поди сюда… собачечка, песик мой…

Дубов привлек к себе Милку и поцеловал ее между ушей. На глазах у него выступили слезы.

— Никому тебя не отдам… красавица моя… разбойник этакий. Ведь ты любишь меня, Милка? Любишь?.. Ну, пошла вон! — крикнул вдруг поручик. — Грязными лапами прямо на мундир

лезешь! Да, Кнапс, полтораста рублей дал, за щенка! Стало быть, было за что! Одно только жаль: охотиться мне некогда! Гибнет без дела собака, талант свой зарывает… Потому-то и продаю. Купите, Кнапс! Всю жизнь будете благодарны! Ну, если у вас денег мало, то извольте, я уступлю вам половину… Берите за пятьдесят! Грабьте!

— Нет, голубчик… — вздохнул Кнапс. — Будь ваша Милка мужеского пола, то, может быть, я и купил бы, а то…

— Милка не мужеского пола? — изумился поручик. — Кнапс, что с вами? Милка не мужеского… пола?! Ха-ха! Так что же она по-вашему? Сука? Ха-ха… Хорош мальчик! Он еще не умеет отличить кобеля от суки!

— Вы мне говорите, словно я слеп или ребенок… — обиделся Кнапс. — Конечно, сука!

— Пожалуй, вы еще скажете, что я дама! Ах, Кнапс, Кнапс! А еще тоже в техническом кончили! Нет, душа моя, это настоящий, чистокровный кобель! Мало того, любому кобелю десять очков вперед даст, а вы… не мужеского пола! Ха-ха…

— Простите, Михаил Иванович, но вы… просто за дурака меня считаете… Обидно даже…

— Ну, не нужно, черт с вами… Не покупайте… Вам не втолкуешь! Вы скоро скажете, что у нее

это не хвост, а нога… Не нужно. Вам же хотел одолжение сделать. Вахрамеев, коньяку!

Денщик подал еще коньяку. Приятели налили себе по стакану и задумались. Прошло полчаса в молчании.

— А хоть бы и женского пола… — прервал молчание поручик, угрюмо глядя на бутылку. — Удивительное дело! Для вас же лучше. Принесет вам щенят, а что ни щенок, то и четвертная… Всякий у вас охотно купит. Не знаю, почему это вам так нравятся кобели! Суки в тысячу раз лучше. Женский пол и признательнее и привязчивее… Ну, уж если вы так боитесь женского пола, то извольте, берите за двадцать пять.

— Нет, голубчик… Ни копейки не дам. Во-первых, собака мне не нужна, а во-вторых, денег нет.

— Так бы и сказали раньше. Милка, пошла отсюда!

Денщик подал яичницу. Приятели принялись за нее и молча очистили сковороду.

— Хороший вы малый, Кнапс, честный… — сказал поручик,

вытирая губы. — Жалко мне вас так отпускать, черт подери… Знаете что? Берите собаку даром!

— Куда же я ее, голубчик, возьму? — сказал

Кнапс и вздохнул. — И кто у меня с ней возиться будет?

— Ну, не нужно, не нужно… черт с вами! Не хотите, и не нужно… Куда же вы? Сидите!

Кнапс, потягиваясь, встал и взялся за шапку.

— Пора, прощайте… — сказал он, зевая.

— Так постойте же, я вас провожу.

Дубов и Кнапс оделись и вышли на улицу. Первые сто шагов прошли молча.

— Вы не знаете, кому бы это отдать собаку? — начал поручик. — Нет ли у вас таких знакомых? Собака, вы видели, хорошая, породистая, но… мне решительно не нужна!

— Не знаю, милый… Какие же у меня тут знакомые?

До самой квартиры Кнапса приятели не сказали больше ни одного слова. Только когда Кнапс пожал поручику руку и отворил свою калитку, Дубов кашлянул и как-то нерешительно выговорил:

— Вы не знаете, здешние живодеры собак принимают или нет?

— Должно быть, принимают… Наверное не могу сказать.

— Пошлю завтра с Вахромеевым… Черт с ней, пусть с нее кожу сдерут… Мерзкая собака! Отвра-

тительная! Мало того, что нечистоту в комнатах завела, но еще в кухне вчера все мясо сожрала, п-п-подлая… Добро бы, порода хорошая, а то черт знает что, помесь дворняжки со свиньей. Спокойной ночи!

— Прощайте! — сказал Кнапс.

Калитка хлопнула, и поручик остался один.

Контрабас и флейта
(Сценка)

В одну из репетиций флейтист Иван Матвеич слонялся между пюпитров, вздыхал и жаловался:

— Просто несчастье! Никак не найду себе подходящей квартиры! В номерах мне жить нельзя, потому что дорого, в семействах же и частных квартирах не пускают музыкантов.

— Перебирайтесь ко мне! — неожиданно предложил ему контрабас. — Я плачу за комнату двенадцать рублей, а если вместе жить будем, то по шести придется.

Иван Матвеич ухватился за это предложение обеими руками. Совместно он никогда ни с кем не жил, опыта на этот счет не имел, но рассудил a priori, что совместное житье имеет очень много прелестей и удобств: во-первых, есть с кем слово вымолвить и впечатлениями поделиться, во-вторых, все пополам: чай, сахар, плата прислуге. С контрабасистом Петром Петровичем он был в самых приятельских отношениях, знал его за человека скромного, трезвого и честного, сам он

был тоже не буен, трезв и честен — стало быть, пятак пара. Приятели ударили по рукам, и в тот же день кровать флейты уже стояла рядом с кроватью контрабаса.

Но не прошло и трех дней, как Иван Матвеич должен был убедиться, что для совместного житья недостаточно одних только приятельских отношений и таких «общих мест», как трезвость, честность и не буйный характер.

Иван Матвеич и Петр Петрович с внешней стороны так же похожи друг на друга, как инструменты, на которых они играют. Петр Петрович — высокий, длинноногий блондин с большой стриженой головой, в неуклюжем, коротко-хвостом фраке. Говорит он глухим басом; когда ходит, то стучит; чихает и кашляет так громко, что дрожат стекла. Иван же Матвеич изображает из себя маленького, тощенького человечка. Ходит он только на цыпочках, говорит жидким тенорком и во всех своих поступках старается показать человека деликатного, воспитанного. Приятели сильно расходятся и в своих привычках. Так, контрабас пил чай вприкуску, а флейта внакладку, что при общинном владении чая и сахара не могло не породить сомнений. Флейта спала с огнем, контрабас без огня. Первая каждое

утро чистила себе зубы и мылась душистым глицериновым мылом, второй же не только отрицал то и другое, но даже морщился, когда слышал шуршанье зубной щетки или видел намыленную физиономию.

— Да бросьте вы эту мантифолию! — говорил он. — Противно глядеть! Возится, как баба!

Нежную, воспитанную флейту стало коробить на первых же порах. Ей особенно не понравилось, что контрабас каждый вечер, ложась спать, мазал себе живот какою-то мазью, от которой пахло до самого утра протухлым жареным гусем, а после мази целых полчаса, пыхтя и сопя, занимался гимнастикой, т. е. методически задирал вверх то руки, то ноги.

— Для чего это вы делаете? — спрашивала флейта, не вынося сопенья.

— После мази это необходимо. Нужно, чтоб мазь по всему телу разошлась… Это, батенька, ве-ли-ко-лепная вещь! Никакая простуда не пристанет. Помажьте-ка себе!

— Нет, благодарю вас.

— Да помажьте! Накажи меня бог, помажьте! Увидите, как это хорошо! Бросьте книгу!

— Нет, я привык всегда перед сном читать.

— А что вы читаете?

— Тургенева.

— Знаю… читал… Хорошо пишет! Очень хорошо! Только, знаете ли, не нравится мне в нем это… как его… не нравится, что он много иностранных слов употребляет. И потом, как запустится насчет природы, как запустится, так взял бы и бросил! Солнце… луна… птички поют… черт знает что! Тянет, тянет…

— Великолепные у него есть места!..

— Еще бы, Тургенев ведь! Мы с вами так не напишем. Читал я, помню, «Дворянское гнездо»… Смеху этого — страсть! Помните, например, то место, где Лаврецкий объясняется в любви с этой… как ее?., с Лизой…

В саду… помните? Хо-хо! Он заходит около нее и так и этак… со всякими подходцами, а она, шельма, жеманится, кочевряжится, канителит… убить мало!

Флейта вскакивала с постели и, сверкая глазами, надсаживая свой тенорок, начинала спорить, доказывать, объяснять…

— Да что вы мне говорите? — оппонировал контрабас. — Сам я не знаю, что ли? Какой образованный нашелся! Тургенев, Тургенев… Да что Тургенев? Хоть бы и вовсе его не было.

И Иван Матвеич, обессиленный, но не побеж-

денный, умолкал. Стараясь не спорить, стиснув зубы, он глядел на своего укрывающегося одеялом сожителя, и в это время большая голова контрабаса казалась ему такой противной, глупой деревяшкой, что он дорого бы дал, если бы ему позволили стукнуть по ней хоть разик.

— Вечно вы спор поднимаете! — говорил контрабас, укладывая свое длинное тело на короткой кровати. — Ха-рак-тер! Ну, спокойной ночи. Тушите лампу!

— Мне еще читать хочется…

— Вам читать, а мне спать хочется.

— Но, я полагаю, не следует стеснять свободу друг друга…

— Так вот и не стесняйте мою свободу… Тушите!

Флейта тушила лампу и долго не могла уснуть от ненависти и сознания бессилия, которое чувствует всякий, сталкиваясь с упрямством невежды. Иван Матвеич после споров с контрабасом всякий раз дрожал, как в лихорадке. Утром контрабас просыпался обыкновенно рано, часов в шесть, флейта же любила спать до одиннадцати. Петр Петрович, проснувшись, принимался от нечего делать за починку футляра от своего контрабаса.

— Вы не знаете, где наш молоток? — будил он флейту. — Послушайте, вы! Соня! Не знаете, где наш молоток?

— Ах… Я спать хочу!

— Ну и спите… Кто вам мешает? Дайте молоток и спите.

Но особенно солоно приходились флейте субботы. Каждую субботу контрабас завивался, надевал галстух бантом и уходил куда-то глядеть богатых невест. Возвращался он от невест поздно ночью, веселый, возбужденный, в подпитии.

— Вот, батенька, я вам скажу! — начинал он делиться впечатлениями, грузно садясь на кровать спящей флейты. — Да будет вам спать, успеете! Экий вы соня! Хо-хо-хо… Видал невесту… Понимаете, блондинка, с этакими глазами… толстенькая… Ничего себе, канашка. Но мать, мать! Жох старуха! Дипломатия! Без адвоката окрутит, коли захочет! Обещает шесть тысяч, а и трех не даст, ей-богу! Но меня не надуешь, не-ет!

— Голубчик… спать хочу… — бормотала флейта, пряча голову под одеяло.

— Да вы слушайте! Какой вы свинья, ей-богу! Я у вас по-дружески совета прошу, а вы рожу воротите… Слушайте!

И бедная флейта должна была слушать до тех

пор, пока не наступало утро и контрабас не принимался за починку футляра.

— Нет, не могу с ним жить! — жаловалась флейта на репетициях. — Верите ли? Лучше в слуховом окне жить, чем с ним… Совсем замучил!

— Отчего же вы от него не уйдете?

— Неловко как-то… Обидится… Чем я могу мотивировать свой уход? Научите, чем? Уж я все передумал!

Не прошло и месяца совместного жития, как флейта начала чахнуть и плакаться на судьбу. Но жизнь стала еще невыносимей, когда контрабас вдруг, ни с того ни с сего предложил флейте перебираться с ним на новую квартиру.

— Эта не годится… Укладывайтесь! Нечего хныкать! От новой квартиры до кухмистерской, где вы обедаете, немножко далеко, но это ничего, много ходить полезно.

Новая квартира оказалась сырой и темной, но бедная флейта помирилась бы и с сыростью и с темнотой, если бы контрабас не изобрел на новоселье новых мук. Он в видах экономии завел у себя керосиновую кухню и стал готовить на ней себе обеды, отчего в комнате был постоянный туман. Починку футляра по утрам заменил он хрипеньем на контрабасе.

— Не чавкайте! — нападал он на Ивана Матвеича, когда тот ел что-нибудь. — Терпеть не могу, если кто чавкает над ухом! Идите в коридор да там и чавкайте!

Прошел еще месяц, и контрабас предложил перебираться на третью квартиру. Здесь он завел себе большие сапоги, от которых воняло дегтем, и в литературных спорах стал употреблять новый прием: вырывал из рук флейты книгу и сам тушил лампу. Флейта страдала, изнывала от желания стукнуть по большой стриженой голове, болела телом и душой, но церемонилась и деликатничала.

— Скажешь ему, что я не хочу с ним жить, а он и обидится! Не по-товарищески! Уж буду терпеть!

Но такая ненормальная жизнь не могла долго тянуться. Кончилась она для флейты престранным образом. Однажды, когда приятели возвращались из театра, контрабас взял под руку флейту и сказал:

— Вы извините меня, Иван Матвеич, но я наконец должен вам сказать… спросить то есть… Скажите, что это вам так нравится жить со мной? Не понимаю! Характерами мы не сошлись, вечно ссоримся, опротивели друг другу… Не знаю, как вы, но я совсем очумел… Уж я и так и этак…

и на квартиры перебирался, чтоб вы от меня ушли, и на контрабасе по утрам играл, а вы все не уходите! Уйдите, голубчик! Сделайте такую милость! Вы извините меня, но долее терпеть я не в состоянии.

Флейте этого только и нужно было.

Руководство для желающих жениться (Секретно)

Так как предмет этой статьи составляет мужскую тайну и требует серьезного умственного напряжения, на которое весьма многие дамы не способны, то прошу отцов, мужей, околоточных надзирателей и проч, наблюдать, чтобы дамы и девицы этой статьи не читали. Это руководство не есть плод единичного ума, но составляет квинтэссенцию из всех существующих оракулов, физиономик, кабалистик и долголетних бесед с опытными мужьями и компетентнейшими содержательницами модных мастерских.

Введение. — Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь ее, дочери всю жизнь жили бы на шее отцов и многие музыканты сидели бы без хлеба, так как тогда не было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. Холостому завязывает галстук горничная, а женатому жена. Брак хорош также своею доступностью. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоро-

вым, больным, русским, китайцам… Исключение составляют только безумные и сумасшедшие, дураки же, болваны и скоты могут жениться сколько им угодно.

Руководство I. — Ухаживая за девицей, обращай внимание прежде всего на наружность, ибо по наружности узнается характер особы. В наружности различай: цвет волос и глаз, рост, походку и особые приметы. По цвету волос женщины делятся на блондинок, брюнеток, шатенок и проч. *Блондинки* обыкновенно благонравны, скромны, сентиментальны, любят папашу и мамашу, плачут над романами и жалеют животных. Характером они прямолинейны, в убеждениях строго консервативны, с буквой Ъ не в ладу. К чужим любвям они относятся чутко, в своей же собственной любви они холодны, как рыбы. В самую патетическую минуту блондинка может зевнуть и сказать: «Не забыть бы послать завтра за коленкором!» Выйдя замуж, они скоро киснут, толстеют и вянут. Плодовиты, чадолюбивы и плаксивы. Мужьям неверности не прощают, сами же изменяют охотно. Жены-блондинки обыкновенно мистичны, подозрительны и считают себя страдалицами. *Брюнетки* не так рассудительны, как блондинки. Они подвижны, непостоянны, ка-

призны, вспыльчивы, часто ссорятся с мамашами и бьют по щекам горничных. Начинают «не обращать внимания» на гадких мужчин уже с 12 лет, учатся плохо, ненавидят классных дам, любят романы, причем пропускают описания природы и прочитывают объяснения в любви по пяти раз. Они пылки, страстны и любят с азартом, сломя голову, задыхаясь… Жена-брюнетка — это целая инквизиция. С одной стороны, такая страсть, что чертям тошно, с другой — капризы, наряды, бесшабашная логика, визг, писк… С изменою мужей мирятся скоро, платя им тою же монетою. *Шатенки* от блондинок не ушли и к брюнеткам не пришли. Составляют нечто среднее между теми и другими. Считают себя брюнетками. *Рыжие* лукавы, лживы, злы, коварны… Любви без коварства не понимают. Обыкновенно бывают очень хорошо сложены и имеют на всем теле великолепную розовую кожу. Говорят, что черти и лешие обязательно женятся на рыжих. Где лживость, там трусость и малодушие. Достаточно хорошенько прикрикнуть на рыжую («Я тебе!»), чтобы она свернулась в калачик и полезла целоваться. Не забывай, что Мессалина и Нана были рыжие. *Прическа* при выборе жены имеет тоже не малое значение. Волоса гладко причесанные,

прилизанные, с белым пробором означают простоватость, ограниченность желаний… Такая прическа наича-ще бывает у швеек, лавочниц и купеческих дочек. Подстриженная прядь волос, спущенная на лоб, означает суетную мелочность, ограниченность ума и похотливость. Этою прядью стараются обыкновенно скрыть узкий лоб… Шиньон и вообще орнаменты из чужих волос говорят за безвкусие, отсутствие фантазии и о том, что в прическу вмешивалась мамаша. Волоса, зачесанные сзади наперед, предполагают в женщине желание нравиться не только спереди, но и сзади. Такая прическа, если она не вершится тяжелой вавилонской башней, означает вкус и легкость нрава. Вьющиеся волосы говорят за игривость и художественность натуры. Прическа небрежная, всклоченная предполагает сомнение или душевную леность. Под стрижеными волосами скрывается образ мыслей. Если женщина седа или лыса и в то же время желает выйти замуж, то, значит, у нее много денег. Чем меньше в прическе шпилек, тем женщина изобретательнее и тем вернее, что у нее не чужие волосы. Теперь *о цвете глаз.* Голубые глаза с поволокой означают верность, покорность и кротость. Голубые выпученные бывают наичаще у женщин-шулеров и

продажных. Черные глаза означают страстность, вспыльчивость и коварство. Заметь, что у умных женщин редко бывают черные глаза. Серые бывают у щеголих, хохотуний и дурочек. Карие предполагают любовь к сплетням и зависть к чужим нарядам. *Рост* выбирай средний. Высокие женщины грубоваты и больно бьют, маленькие же в большинстве случаев бывают егозы и любят визжать, царапаться и подпускать шпильки. Горбатых избегай: эти злы и ехидны. *Походка* торопливая, с оглядками, говорит о ветрености и легкомыслии. Походка ленивая бывает у женщин, сердце которых уже занято, — тут ты не пообедаешь. Походка утичья, с перевальцем и виляньем турнюра, есть признак добродушия, податливости и иногда тупости. Походка горделивая, лебединая бывает у *этих* дам и содержанок. Чем спесивее походка, тем, значит, старее и богаче содержатель. Такая походка у девиц означает самомнение и ограниченность. Если барыня не идет, а плывет, как пава, то поворачивай оглобли: она накормит, утешит, но непременно возьмет под башмак. *Особые приметы* не многочисленны. Ямочки на щеках означают кокетство, тайные грешки и добродушие. Ямочки на щеках и прищуренные глаза обещают многое, но

не для платониста. Усики говорят о бесплодии. Длинные ногти бывают у белоручек. Слившиеся брови означают, что данная особь будет строгой матерью и бешеной тещей. Веснушки наичаще замечаются у рыжих чертовок, рабынь и дурочек. Пухленькие и сдобненькие барышни с одутлыми щеками и красными руками наивны, в слове *еще* делают четыре ошибки, но зато они скоро выучиваются печь вкусные пироги и шить мужу бархатные жилетки.

Руководство II. — Не моги жениться без приданого. Жениться без приданого все равно, что мед без ложки, Шмуль без пейсов, сапоги без подошв. Любовь сама по себе, приданое само по себе. Запрашивай сразу 200 000. Ошеломив цифрой, начинай торговаться, ломаться, канителить. Приданое бери обязательно *до* свадьбы. Не принимай векселей, купонов, акций и каждую сторублевку ощупай, обнюхай и осмотри на свет, ибо нередки случаи, когда родители дают за своими дочерями фальшивые деньги. Кроме денег, выторгуй себе побольше вещей. Жена, даже плохая, должна принести с собою:

a) побольше мебели и рояль;

b) одну перину на лебяжьем пуху и три одеяла: шелковое, шерстяное и бумажное;

c) два меховых салопа, один для праздников, другой для будней;

d) побольше чайной, кухонной и обеденной посуды;

e) 18 сорочек из лучшего голландского полотна, с отделкой; 6 кофт из такого же полотна с кружевной отделкой; 6 кофт из нансу; 6 пар панталон из того же полотна и столько же пар из английского шифона; 6 юбок из мадаполама с прошивками и обшивками; пеньюар из лучшей батист-виктории; 4 полупеньюара из батист-виктории; 6 пар панталон канифасовых. Простынь, наволочек, чепчиков, чулков, бумазейных юбок, подвязок, скатертей, платков и проч, должно быть в достаточном количестве. Все это сам осмотри, сочти, и чего недостанет, немедленно потребуй. Детского белья не бери, так как существует примета: есть белье — детей нет, дети есть — белья нет;

f) вместо платьев, фасон коих скоро меняется, требуй материи в штуках;

g) без столового серебра не женись.

Женившись, будь с женою строг и справедлив, не давай ей забываться и при каждом недоразумении говори ей: «Не забывай, что я тебя осчастливил!»

Писатель

В комнате, прилегающей к чайному магазину купца Ершакова, за высокой конторкой сидел сам Ершаков, человек молодой, по моде одетый, но помятый и, видимо, поживший на своем веку бурно. Судя по его размашистому почерку с завитушками, капулю и тонкому сигарному запаху, он был не чужд европейской цивилизации. Но от него еще больше повеяло культурой, когда из магазина вошел мальчик и доложил:

— Писатель пришел!

— А!.. Зови его сюда. Да скажи ему, чтоб калоши свои в магазине оставил.

Через минуту в комнатку тихо вошел седой, плешивый старик в рыжем, потертом пальто, с красным, помороженным лицом и с выражением слабости и неуверенности, какое обыкновенно бывает у людей, хотя и мало, но постоянно пьющих.

— А, мое почтение… — сказал Ершаков, не оглядываясь на вошедшего. — Что хорошенького, господин Гейним?

Ершаков смешивал слова «гений» и «Гейне», и они сливались у него в одно — «Гейним», как он

и называл всегда старика.

— Да вот-с, заказик принес, — ответил Гейним. — Уже готово-с…

— Так скоро?

— В три дня, Захар Семеныч, не то что рекламу, роман сочинить можно. Для рекламы и часа довольно.

— Только-то? А торгуешься всегда, словно годовую работу берешь. Ну, показывайте, что вы сочинили?

Гейним вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке.

— У меня еще вчерне-с, в общих чертах-с… — сказал он. — Я вам прочту-с, а вы вникайте и указывайте в случае, ежели ошибку найдете. Ошибиться не мудрено, Захар Семеныч… Верите ли? Трем магазинам сразу рекламу сочинял… Это и у Шекспира бы голова закружилась.

Гейним надел очки, поднял брови и начал читать печальным голосом и точно декламируя:

— «Сезон 1885—86 г. Поставщик китайских чаев во все города Европейской и Азиатской России и за границу, З. С. Ершаков. Фирма существует с 1804 года». Все это вступление, понимаете, будет в орнаментах, между гербами. Я одному купцу

рекламу сочинял, так тот взял для объявления гербы разных городов. Так и вы можете сделать, и я для вас придумал такой орнамент, Захар Семеныч: лев, а у него в зубах лира. Теперь дальше: «Два слова к нашим покупателям. Милостивые государи! Ни политические события последнего времени, ни холодный индифферентизм, все более и более проникающий во все слои нашего общества, ни обмеление Волги, на которое еще так недавно указывала лучшая часть нашей прессы, — ничто не смущает нас. Долголетнее существование нашей фирмы и симпатии, которыми мы успели заручиться, дают нам возможность прочно держаться почвы и не изменять раз навсегда заведенной системе как в сношениях наших с владельцами чайных плантаций, так равно и в добросовестном исполнении заказов. Наш девиз достаточно известен. Выражается он в немногих, но многозначительных словах: добросовестность, дешевизна и скорость!!»

— Хорошо! Очень хорошо! — перебил Ершаков, двигаясь на стуле. — Даже не ожидал, что так сочините. Ловко! Только вот что, милый друг… нужно тут как-нибудь тень навести, затуманить, как-нибудь этак, знаешь, фокус устроить… Публикуем мы тут, что фирма только что получила

партию свежих первосборных весенних чаев сезона 1885 года… Так? А нужно кроме того показать, что эти только что полученные чаи лежат у нас в складе уже три года, но, тем не менее, будто из Китая мы их получили только на прошлой неделе.

— Понимаю-с… Публика и не заметит противоречия. В начале объявления мы напишем, что чаи только что получены, а в конце мы так скажем: «Имея большой запас чаев с оплатой прежней пошлины, мы без ущерба собственным интересам можем продавать их по прейскуранту прошлых лет… и т. д.» Ну-с, на другой странице будет прейскурант. Тут опять пойдут гербы и орнаменты… Под ними крупным шрифтом: «Прейскурант отборным ароматическим, фучанским, кяхтинским и байховым чаям первого весеннего сбора, полученным из вновь приобретенных плантаций»… Дальше-с: «Обращаем внимание истинных любителей на лянсинные чаи, из коих самою большою и заслуженною любовью пользуется «Китайская эмблема, или Зависть конкурентов» 3 р. 50 к. Из розанистых чаев мы особенно рекомендуем «Богдыханская роза» 2 р. и «Глаза китаянки» 1 р. 80 к.» За ценами пойдет петитом о развеске и пересылке чая. Тут

же о скидке и насчет премий: «Большинство наших конкурентов, желая завлечь к себе покупателей, закидывает удочку в виде премий. Мы с своей стороны протестуем против этого возмутительного приема и предлагаем нашим покупателям не в виде премии, а бесплатно все приманки, какими угощают конкуренты своих жертв. Всякий купивший у нас не менее чем на 50 р., выбирает и получает бесплатно одну из следующих пяти вещей: чайник из британского металла, сто визитных карточек, план города Москвы, чайницу в виде нагой китаянки и книгу «Жених удивлен, или Невеста под корытом», рассказ Игривого Весельчака».

Кончив чтение и сделав кое-какие поправки, Гейним быстро переписал рекламу начисто и вручил ее Ершакову. После этого наступило молчание… Оба почувствовали себя неловко, как будто совершили какую-то пакость.

— Деньги за работу сейчас прикажете получить или после? — спросил Гейним нерешительно.

— Когда хотите, хоть сейчас… — небрежно ответил Ершаков. — Ступай в магазин и бери чего хочешь на пять с полтиной.

— Мне бы деньгами, Захар Семеныч.

— У меня нет моды деньгами платить. Всем

плачу чаем да сахаром: и вам, и певчим, где я старостой, и дворникам. Меньше пьянства.

— Разве, Захар Семеныч, мою работу можно равнять с дворниками да с певчими? У меня умственный труд.

— Какой труд! Сел, написал и все тут. Писанья не съешь, не выпьешь… плевое дело! И рубля не стоит.

— Гм… Как вы насчет писанья рассуждаете… — обиделся Гейним. — Не съешь, не выпьешь. Того не понимаете, что я, может, когда сочинял эту рекламу, душой страдал. Пишешь и чувствуешь, что всю Россию в обман вводишь. Дайте денег, Захар Семеныч!

— Надоел, брат. Нехорошо так приставать.

— Ну, ладно. Так я сахарным песком возьму. Ваши же молодцы у меня его назад возьмут по восьми копеек за фунт. Потеряю на этой операции копеек сорок, ну, да что делать! Будьте здоровы-с!

Гейним повернулся, чтобы выйти, но остановился в дверях, вздохнул и сказал мрачно:

— Россию обманываю! Всю Россию! Отечество обманываю из-за куска хлеба! Эх!

И вышел. Ершаков закурил гавайку, и в его комнате еще сильнее запахло культурным че-

ловеком.

Брак через 10–15 лет

На этом свете все совершенствуется: шведские спички, оперетки, локомотивы, вина Дейре и человеческие отношения. Совершенствуется и брак. Каков он был и каков теперь, вы знаете. Каков он будет лет через 10–15, когда вырастут наши дети, угадать не трудно. Вот вам схема романов этого близкого будущего.

В гостиной сидит девица лет 20–25. Одета она по последней моде: сидит сразу на трех стульях, причем один стул занимает она сама, два другие — ее турнюр. На груди брошка, величиной с добрую сковороду. Прическа, как и подобает образованной девице, скромная: два-три пуда волос, зачесанных кверху, и на волосах маленькая лестница для причесывающей горничной. Тут же на пианино лежит шляпа девицы. На шляпе искусно сделанная индейка на яйцах в натуральную величину.

Звонок. Входит молодой человек в красном фраке, узких брюках и в громадных, похожих на лыжи, башмаках.

— Честь имею представиться, — говорит молодой человек, расшаркиваясь перед девицей, — по-

мощник присяжного поверенного Балалайкин!..

— Очень приятно… Чем могу быть полезна?

— Меня направило к вам «Общество заключения счастливых браков».

— Очень приятно… Садитесь!

Балалайкин садится и говорит:

— «Общество» указало мне на несколько невест, но думаю, что ваши условия для меня будут самыми подходящими. Из этой вот записки, данной мне секретарем «Общества», видно, что вы приносите с собой мужу дом на Плющихе, 40 тысяч деньгами и тысяч на пять движимого имущества… Так ли это?

— Нет… За мною идет только 20 000, — кокетничает девица.

— В таком случае, сударыня, виноват… извините за беспокойство… честь имею кланяться…

— Нет, нет… я пошутила! — смеется девица. — В вашей записке все верно… Деньги, дом и движимое… В «Обществе» вам, конечно, говорили, что ремонт дома будет производиться на счет мужа… и… и… — я ужасно застенчива! — и деньги муж получает не все сразу, а с рассрочкой на три года…

— Нет, сударыня, — вздыхает Балалайкин, — нынче с рассрочкой никто не женится! Если уж

вы так настаиваете на рассрочке, то извольте, я дам вам год…

Девица и Балалайкин начинают торговаться. Девица в конце концов сдается и довольствуется годом рассрочки.

— Теперь позвольте узнать ваши условия! — говорит она. — Вам сколько лет? Где служите?

— Собственно говоря, я не сам женюсь, а хлопочу за своего клиента… Я комиссионер…

— Но ведь я просила «Общество» не присылать ко мне комиссионеров! — обижается девица.

— Вы, сударыня, не сердитесь… Клиент мой человек пожилой, страдающий ревматизмом, сырой… Ходить по невестам, хлопотать у него нет сил, так что volens-nolens[153] ему приходится действовать через третье лицо. Но вы не беспокойтесь, я дорого не возьму…

— Условия вашего клиента?

— Мой клиент — мужчина 52 лет… Несмотря на такой возраст, он еще имеет людей, которые дают ему взаймы. Так, у него два портных, шьющих на него в кредит. В лавочках отпускают ему по книжке сколько угодно. Никто лучше его не может уходить от извозчиков в проходные воро-

---

[153] Примечания: 153
Волей-неволей *(лат.).*

та и т. д. Не стану распространяться в похвалах его деловитости, скажу только для полной характеристики, что он ухитряется даже в аптеке забирать в кредит.

— Он только и живет займами?

— Займы — это его главное занятие. Но, как натура широкая, не узкая, он не довольствуется одною только этою деятельностью… Без преувеличения можно сказать, что лучше его никто не сбудет с рук фальшивого купона… Кроме того, он состоит опекуном своей племянницы, что дает ему около трех тысяч в год… Далее, в театрах он выдает себя за рецензента и таким образом получает от актеров бесплатные ужины и контрамарки… Два раза он судился за растрату и ныне еще под судом за подлог…

— Разве еще существует суд?

— Да, как остаток не совсем еще отжившей средневековой морали… Но можно надеяться, сударыня, пройдет еще год-два, и культурный человек расстанется и с этим устаревшим обрядом… Так какой ответ прикажете передать моему клиенту?

— Скажите, что я подумаю…

— О чем же думать, сударыня? Не смею советовать вам, но, желая вам добра, не могу не

выразить своего удивления… Человек порядочный, блестящий во всех отношениях и… и вдруг вы не соглашаетесь сразу, зная, как гибельна может быть для вас проволочка. Ведь пока вы будете думать, он войдет в соглашение с другой невестой!

— Это правда… В таком случае я согласна…

— Давно бы так! Позволите получить с вас задаток?

Девица дает комиссионеру 10–20 рублей. Тот берет, расшаркивается и идет к двери.

— А расписку? — останавливает его девица.

— Mille pardons[154], сударыня! Я совсем забыл! Ха-ха…

Балалайкин пишет расписку, шаркает еще раз и уходит, девица же закрывает лицо и падает на диван.

— Как я счастлива! — восклицает она, охваченная новым, неведомым ей доселе чувством. — Как я счастлива! Я… люблю и любима!!

Конец. Такова свадьба близкого будущего. А давно ли, читатель, невесты ходили в кринолинах, а женихи щеголяли в полосатых брюках и во фраках с искрой? Давно ли жених, прежде чем

---

[154] Примечания: 154
Тысяча извинений *(франц.)*.

влюбиться в невесту, должен был переговорить с ее папашей и мамашей?

Соловьи, розы, лунные ночи, душистые записочки, романсы… все это ушло далеко-далеко… Шептаться в темных аллейках, страдать, жаждать первого поцелуя и проч, теперь также несвоевременно, как одеваться в латы и похищать сабинянок. Все совершенствуется!

Тряпка
(Сценка)

Был вечер. Секретарь провинциальной газеты «Гусиный вестник» Пантелей Диомидыч Кокин шел в дом фабриканта, коммерции советника Блудыхина, где в этот вечер имел быть любительский спектакль, а после оного танцы и ужин.

Секретарь был весел, счастлив и доволен. Будущее представлялось ему блестящим… Он воображал, как он, пахнущий духами, завитой и галантный, войдет в большую освещенную залу. На лицо он напустит меланхолию и равнодушие, в походку и в пожимание плечами вложит чувство собственного достоинства, говорить будет небрежно, нехотя, взгляду постарается придать выражение усталое, насмешливое, одним словом, будет держать себя как представитель печати! Проходящие мимо него кавалеры и барышни будут переглядываться и шептаться:

— Это из редакции. Недурен!

Он в «Гусином вестнике» только секретарь. Его дело не путать адресы, принимать подписку и глазеть, чтоб типографские не крали редак-

ционного сахара — только, но кому из публики известен круг его деятельности? Раз он из редакции, стало быть, он литератор, хранилище редакционных тайн. Боже, а как действуют на женщин редакционные тайны! Кокин, наверное, встретит на вечере Клавдию Васильевну. Он норовит пройти мимо нее раз пять и сделать вид, что не замечает ее. Когда она выйдет из терпения и первая окликнет его, он небрежно поздоровается с ней, слегка зевнет, взглянет на часы и скажет:

— Какая скука! Хоть бы скорей кончалась эта чепуха… Уже двенадцать часов, а мне еще нужно номер выпустить и просмотреть кое-какие статейки…

Клавдия Васильевна поглядит на него с благоговением, снизу вверх, как глядят на монументы. Очень возможно, что она спросит, кто это в последнем номере поместил такое язвительное стихотворение про актрису Кишкину-Брандахлыцкую? Тогда он поднимет глаза к потолку, таинственно промычит и скажет: «М-да»… Пусть думает она, что это он написал! За сим танцы, ужин, выпивка… После выпивки блаженное настроение, провожание Клавдии Васильевны до ее дома и мечты, мечты… Конечно, все это суетно,

мелочно, не серьезно, но ведь молодость имеет свои права, господа!

У освещенного подъезда Блудыхинского дома секретарь увидел два ряда экипажей. Двери отворял и затворял толстый швейцар с булавой. Верхнее платье принимали лакеи, одетые в синие фраки и красные жилетки. Антре[155] было великолепное, с цветами, коврами и зеркалами. Секретарь небрежно сбросил на руки лакея свою шубу, провел рукой по волосам, поднял с достоинством голову…

— Из редакции! — проговорил он, поравнявшись с двумя лакеями, которые стояли на нижней ступени антре и отрывали углы у билетов…

— Нельзя! нельзя! Не пускать! — послышался в это время сверху резкий, металлический голос. — Не пускать!

Кокин взглянул наверх. Там на верхней ступени стоял толстый человек во фраке и глядел прямо на него. Будучи уверен, что резкий голос не к нему относится, секретарь занес ногу на ступень, но в это время к ужасу своему заметил, что лакеи делают движение, чтобы загородить ему дорогу.

---

[155] Примечания: 155
Вход *(франц,* entree).

— Не пускать! — повторил толстяк.

— То есть… почему же меня не пускать? — обомлел Кокин. — Я из редакции!

— Потому-то и не пускать, что из редакции! — ответил толстяк, раскланиваясь с какой-то дамой. — Нельзя!

Секретарь ошалел, точно его оглоблей по голове съездили. Прежде всего он ужасно сконфузился. Как хотите, а густой запах виолет де парм, новые перчатки и завитая голова плохо вяжутся с унизительной ролью человека, которого не пускают и перед которым лакеи растопыривают руки, да еще при дамах, при прислуге!

Кроме стыда, недоумения и удивления, секретарь почувствовал в себе пустоту, разочарование, словно кто взял и отрезал в нем ножницами мечты о предстоящих радостях. Так должны чувствовать себя люди, которые вместо ожидаемой «благодарности» получают подзатыльник.

— Я не понимаю… я из редакции! — забормотал Кокин. — Пустите!

— Не велено-с! — сказал лакей. — Отойдите-с от лестницы, вы проходить мешаете.

— Странно! — пробормотал секретарь, стараясь улыбнуться с достоинством. — Очень странно… Гм.

Мимо него с веселым смехом и шурша модными платьями одна за другой проходили барышни и дамы… То и дело хлопала дверь, пролетал по передней сквозной ветер, и на лестницу всходила новая партия гостей…

«Почему же это не велено меня пускать? — недоумевал секретарь, все еще не придя в себя от неожиданного реприманда и даже не веря своим глазам. — Тот толстый сказал, что потому-то и не пускать, что я из редакции… Но почему же? Черт их подери… Не дай бог, знакомые увидят, что я здесь мерзну, спросят, в чем дело… Срам!»

Кокин сделал еще раз попытку ступить на лестницу, но его еще раз осадили… Он пожал плечами, высморкался, подумал, опять подошел к лакеям… его опять осадили. Наверху заиграл оркестр. У секретаря затрепетало под сердцем, захватило дух от желания поскорее очутиться в большой зале, держать высоко голову, играть терпением Клавдии Васильевны. Музыка сразу воскресила и взбудоражила в нем мечты, которыми он услаждал себя, идя на вечер…

— Послушайте, — крикнул он толстяку, который то появлялся наверху, то исчезал. — Отчего меня не пускают?

— Что-с? Из редакции никого не пускать!

— Но… но почему же? Вы объясните, по крайней мере!

— Г-н Блудыхин не велел! Не мое дело-с! Мне не велено, я и не пускаю!.. Позвольте пройти даме! Ты же смотри, Андрей, из редакции никого! Не велел хозяин!

Кокин пожал плечами и, чувствуя, как глупо и некстати это пожатие, отошел от лестницы… Что делать? Конечно, самое лучшее, что мог сделать в данном случае Кокин, это — побежать скорее в редакцию и сообщить редактору, что дурак Блудыхин сделал такое-то распоряжение. Редактор бы удивился, засмеялся и сказал: «Ну, не идиот ли? Нашел чем мстить за рецензии! Не понимает, осел, что если мы ходим на его вечера, то этим самым не он нам делает одолжение, а мы ему! Ах, да и дурак же, господи помилуй! Ну, погоди же, поднесу я тебе в завтрашнем номере гвоздику!»

Так бы отнесся к событию редактор… Ну, а дальше что? Дальше секретарь, как порядочный человек, должен был бы остаться дома и пренебречь Блудыхиным. Этого потребовали бы и его гордость и достоинство редакции. Но, господа, все это хорошо в теории, на практике же, когда куплены новые перчатки, заплачено цирульнику за завивку, когда там наверху ждали Клавдия Ва-

сильевна, закуска и выпивка, совсем нехорошо…

«Ждал этого вечера два месяца, мечтал, готовился! — думал Кокин. — Целых два месяца ходил по городу, нового сюртука искал… дал слово Клавдии и вдруг… Нет, это невозможно! Тут недоразумение какое-нибудь… Ей-богу, недоразумение! И в редакцию незачем ходить, стоит только с распорядителем поговорить…»

— Послушайте! — обратился Кокин к толстяку, — вы позвольте мне хоть наверх пойти… В залу я не войду, а поговорю только с распорядителем или с г. Блудыхиным!

— Идите, только знайте, что в залу вас ни за что не пустят!

«Боже мой! — думал Кокин, идя вверх по лестнице. — Эти две дамы, что идут, слышали его слова… Срам! Стыд! Уйти бы мне, ей-богу…»

Наверху, около входа в залу, стоял рыженький распорядитель с бантом на лацкане. Тут же за столиком сидела какая-то разодетая дама и продавала афишки.

— Скажите, пожалуйста, — обратился к ним секретарь плачущим голосом, — отчего это распорядились не пускать никого из редакции? За что?

— Сами вы, господа, виноваты! — отвечал ры-

женький. — Вам почетные билеты посылают, вас в первый ряд всегда сажают, а вы пасквили пишете…

— Господи, да ведь… Послушайте…

В это время за дверью послышались громкие аплодисменты и симпатичный голос княжны Рожкиной, певшей «Я вновь пред тобою…» У секретаря затрепетало под сердцем. Муки Тантала были ему не по силам.

— Какие же пасквили? — обратился он к даме. — Положим, сударыня, в газете и были пасквили, но чем же я виноват? Виноват редактор, сотрудники, а я-то тут при чем? Я только секретарь… на манер бухгалтера. Я совсем не писатель… Ей-богу, я не писатель! Послушайте, я даже честное слово даю, что я не писатель!

— Мы ничего не можем для вас сделать, — вздохнула дама. — Это приказание самого Блудыхина… Впрочем… вы можете купить билет!

«Черт возьми, как же мне это раньше не пришло в голову?» — подумал Кокин и тотчас же вспомнил, что у него в кармане только сорок копеек, взятые им на случай, ежели Клавдия Васильевна захочет, чтоб ее провожали на извозчике. — В таком случае я поговорю с Блудыхиным! — сказал он.

— Подождите антракта…

Кокин стал ждать… За дверью трещали аплодисменты, пели знакомые женские голоса, смеялись… Там кипела жизнь! А бедный секретарь стоял перед дверью в позе кающегося грешника, à la Генрих в Каноссе, и глядел на дверь, как лошадь, которая чует близко присутствие овса, но не видит его… Долго он ждал антракта, но наконец за дверью задвигались стулья, зашумели, заговорили; распахнулась дверь, и в коридор повалила публика.

«А ведь счастье было так близко, так возможно! — подумал секретарь, заглянув в открывшуюся дверь. — Нет, я не могу даже допустить мысли, что меня не пустят…»

Скоро показался сам Блудыхин, розовый, сияющий… Кокин заходил около него, долго не решался заговорить с ним и наконец решился…

— Виноват-с… я побеспокою вас… Вы, Анисим Иваныч, приказали никого не впускать из редакции…

— Да, так что же?

— Я и пришел вот… Но я не понимаю! Вы согласитесь сами! Чем я виноват? Редакторы или сотрудники виноваты, их и не пускайте, но я… честное слово, не писатель!..

— Ааа… вы, стало быть, из редакции? — спросил Блудыхин, растопыривая ноги в виде буквы А и закидывая назад голову. — Вы, конечно, в претензии? Но послушайте! Пусть будет свидетельницей публика! Господа публика, будьте судьями! Вот господин корреспондент на меня в прретензии за то, так сказать, что я… эээ… некоторым образом выказал прротест… Взгляд мой на печать, надеюсь, известен. Я всегда за печать! Но, господа… (Блудыхин состроил умоляющее лицо) господа, надо же иметь границы! Ругайте вы актеров, пьесу, обстановку, но зачем писать несообразности? Зачем? В последнем номере вашей газеты была великолепная статья… ве-лико-лепная! Но, описывая живую картину «Юдифь и Олоферн», в которой участвовала моя дочь, он… Бог знает что! Меч, говорит, который держала в руках Юдифь, так, говорит, длинен, что им можно зарезать только издали или же взлезши на крышу… При чем тут крыша? Моя дочь прочла и… заплакала! Это, господа, не критика! Не-ет-с, это не критика! Это личности! Придрался человек к мечу, просто чтоб насолить мне…

— Я… я с вами согласен! — залепетал Кокин, чувствуя на себе сотни глаз. — Я сам всегда против ругательств… Но, ей-богу… ну, при чем тут

я? Я, честное слово, не писатель! Я секретарь… Я вам даже больше скажу, но… между нами, конечно… статью эту писал сам редактор… («К чему я, скотина, это говорю?» — подумал Кокин.) Но он хороший… честный человек. Если и написал что-нибудь этакое, то нечаянно… по легкомыслию…

Овечий тон секретаря умилил Блудыхина. Коммерции советник взял за пуговицу Кокина и принялся снова выкладывать перед ним свой взгляд на печать. В груди секретаря закопошилась сразу тысяча чувств. Ему было лестно, что с ним откровенничает такая важная птица, как Блудыхин; он чувствовал, что его сейчас, наверное, впустят в залу, что недоразумение уже кончено, что он опять может мечтать… но в то же время ему было страшно совестно, гнусно, мерзко… Он чувствовал, что благодаря своей тряпичности предал себя, редактора, «Гусиный вестник», предал публично, при знакомых, как самый последний Иуда! Ему бы нужно было наплевать, выругаться, посмеяться, а он просил, унижался, чуть ли не плакал… Ах!

Блудыхин говорил, говорил. Порисовавшись и поломавшись вдоволь, он уже взял секретаря под руку, и уже секретарь был у входа в Эдем, как послышался крик:

— Анисим Иваныч! Генерал приехал!

Блудыхин встрепенулся и, оставив Кокина, опрометью полетел вниз по лестнице. Секретарь постоял немного, походил, поправил галстух. Он уж ничего не ждал, не желал. Когда началось второе действие и он подошел к двери, распорядитель не пустил его.

— Блудыхин нам ничего не сказал. Нельзя!

Через десять минут секретарь скреб своими большими калошами мерзлую землю. Он шел домой, но лучше, если бы он шел в прорубь! Ему было стыдно, противно. Противны были ему и его запах духов, и новые перчатки, и завитая голова. Так бы он и ударил себя по этой голове!

Моя беседа с Эдисоном (От нашего собственного корреспондента)

Я был у Томаса Эдисона. Это очень милый, приличный малый. Все комнаты его завалены телефонами, микрофонами, фотофонами и прочими «фонами».

— Я русский! — отрекомендовался я Эдисону. — Много наслышан о ваших талантах. Хотя ваши изобретения и не вошли еще в программу наших средне-учебных заведений, но, тем не менее, ваше имя часто упоминается в газетных «смесях».

— Очень рад, но предупреждаю вас, что дать вам денег взаймы, ей-богу, не могу!

— Я и не прошу! — сконфузился я от такого неожиданного афронта.

— Вы извините, но я читал и слышал, что брать у всех взаймы — национальная особенность русских.

— Помилуйте, что вы!

Посидели, поболтали.

— Ну, что изобрели хорошенького? — спросил я. — Чай, чертову пропасть наизобретали всякой

всячины! Например, это что за висюлька?

— Это гастрономофон… Вы ставите перед этим отверстием раскаленный уголь… закручиваете этот винтик, придавливаете эту штучку, отмыкаете ток и за сто, двести миль отсюда получаете отражение угля в увеличенном виде. На отражении вы можете варить и жарить все, что вам угодно…

— Аааа… скажите! А это что такое?

— Это вещь крайне необходимая для туристов. Рекомендую вашему вниманию. На наши деньги стоит рубль, на ваши — три рубля. Положим, вы уезжаете из России в Америку и оставляете дома жену. Путешествуете вы год, два, три… и чем вы можете поручиться, что дорогой вам не захочется иметь сына, которому вы могли бы оставить свое доброе имя? Тогда стоит только подойти к этой проволоке, проделать кое-какие манипуляции, и на другой же день вы получаете телеграмму: сын родился!

— Аааа… Но у нас, Томас Иваныч, это еще проще делается. Поедешь в Америку, а дома приятеля оставишь… Телеграммы, конечно, не получишь, но зато, когда домой возвратишься, найдешь у себя не одного, а трех-четырех: здравствуйте, папаша! У нас один доктор был командирован за

границу с ученою целью. Приезжает обратно, а у него девять дочек.

— И что же?

— И ничего! Объяснил себе как-то по-ученому: мерцательный эпителий, кровяное давление, то да се… А это что за мантифолия?

— Это пластинка для расследования мыслей. Стоит только приложить ее ко лбу испытуемого, пустить ток — и тайны разоблачены…

— Аааа… Впрочем, у нас это проще делается. Залезешь в письменный стол, распечатаешь письмо, два, три и — все, как на ладони! У нас бишопизм в сильном ходу!

И таким образом я осмотрел все новые изобретения. Мои похвалы так понравились Эдисону, что, прощаясь со мной, он не вытерпел и сказал:

— Ну, так и быть уж, бог с вами! Нате вам взаймы!

Святая простота
(Рассказ)

К отцу Савве Жезлову, престарелому настоятелю Свято-Троицкой церкви в городе П., нежданно-негаданно прикатил из Москвы сын его Александр, известный московский адвокат. Вдовый и одинокий старик, узрев свое единственное детище, которого он не видал лет 12–15, с тех самых пор, как проводил его в университет, побледнел, затрясся всем телом и окаменел. Радостям и восторгам конца не было.

Вечером в день приезда отец и сын беседовали. Адвокат ел, пил и умилялся.

— А у тебя здесь хорошо, мило! — восторгался он, ерзая на стуле. — Уютно, тепло, и пахнет чем-то этаким патриархальным. Ей-богу, хорошо!

Отец Савва, заложив руки назад и, видимо, ломаясь перед старухой-кухаркой, что у него такой взрослый и галантный сын, ходил около стола и старался в угоду гостю настроить себя на «ученый» лад.

— Такие-то, брат, факты… — говорил он. — Вышло именно так, как я желал в сердце своем:

и ты и я — оба по образованной части пошли. Ты вот в университете, а я в киевской академии кончил, да… По одной стезе, стало быть… Понимаем друг друга… Только вот не знаю, как нынче в академиях. В мое время сильно на классицизм налегали и даже древнееврейский язык учили. А теперь?

— Не знаю. А у тебя, батя, бедовая стерлядь. Уже сыт, но еще съем.

— Ешь, ешь. Тебе нужно больше есть, потому что у тебя труд умственный, а не физический… гм… не физический… Ты университант, головой работаешь. Долго гостить будешь?

— Я не гостить приехал. Я, батя, к тебе случайно, на манер deus ex machina. Приехал сюда на гастроли, вашего бывшего городского голову защищать. Вероятно, знаешь, завтра у вас суд будет.

— Тэк-с… Стало быть, ты по судебной части? Юриспрудент?

— Да, я присяжный поверенный.

— Так… Помогай бог. Чин у тебя какой?

— Ей-богу, не знаю, батя.

«Спросить бы о жалованье, — подумал отец Савва, — но по-ихнему это вопрос нескромный… Судя по одежде и в рассуждении золотых часов, должно полагать, больше тысячи получает».

Старик и адвокат помолчали.

— Не знал я, что у тебя стерляди такие, а то бы я к тебе в прошлом году приехал, — сказал сын. — В прошлом году я тут недалеко был, в вашем губернском городе. Смешные у вас тут города!

— Именно смешные… хоть плюнь! — согласился отец Савва. — Что поделаешь! Далеко от умственных центров… предрассудки. Не проникла еще цивилизация…

— Не в том дело… Ты послушай, какой анекдот со мной вышел. Захожу я в вашем губернском городе в театр, иду в кассу за билетом, а мне и говорят: спектакля не будет, потому что еще ни одного билета не продано! А я и спрашиваю: как велик ваш полный сбор? Говорят, триста рублей! Скажите, говорю, чтоб играли, я плачу триста… Заплатил от скуки триста рублей, а как стал глядеть их раздирательную драму, то еще скучнее стало… Ха-ха…

Отец Савва недоверчиво поглядел на сына, поглядел на кухарку и хихикнул в кулак…

«Вот врет-то!» — подумал он.

— Где же ты, Шуренька, взял эти триста рублей? — спросил он робко.

— Как где взял? Из своего кармана, конечно…

— Гм… Сколько же ты, извини за нескромный

вопрос, жалованья получаешь?

— Как когда… В иной год тысяч тридцать заработаю, а в иной и двадцати не наберется… Годы разные бывают.

«Вот врет-то! Хо-хо-хо! Вот врет! — подумал отец Савва, хохоча и любовно глядя на посоловевшее лицо сына. — Брехлива молодость! Хо-хо-хо… Хватил — тридцать тысяч!»

— Невероятно, Сашенька! — сказал он. — Извини, но… хо-хо-хо… тридцать тысяч! За эти деньги два дома построить можно…

— Не веришь?

— Не то что не верю, а так… как бы этак выразиться… ты уж больно тово… Хо-хо-хо… Ну, ежели ты так много получаешь, то куда же ты деньги деваешь?

— Проживаю, батя… В столице, брат, кусается жизнь. Здесь нужно тысячу прожить, а там пять. Лошадей держу, в карты играю… покучиваю иногда.

— Это так… А ты бы копил!

— Нельзя… Не такие у меня нервы, чтоб копить… (адвокат вздохнул). Ничего с собой не поделаю. В прошлом году купил я себе на Полянке дом за шестьдесят тысяч. Все-таки подмога к старости! И что ж ты думаешь? Не прошло и двух

месяцев после покупки, как пришлось заложить. Заложил и все денежки — фюйть! Овое в карты проиграл, овое пропил.

— Хо-хо-хо! Вот врет-то! — взвизгнул старик. — Занятно врет!

— Не вру я, батя.

— Да нешто можно дом проиграть или прокутить?

— Можно не то что дом, но и земной шар пропить. Завтра я с вашего головы пять тысяч сдеру, но чувствую, что не довезти мне их до Москвы. Такая у меня планида.

— Не планида, а планета, — поправил отец Савва, кашлянув и с достоинством поглядев на старуху-кухарку. — Извини, Шуренька, но я сомневаюсь в твоих словах. За что же ты получаешь такие суммы?

— За талант…

— Гм… Может, тысячи три и получаешь, а чтоб тридцать тысяч, или, скажем, дома покупать, извини… сомневаюсь. Но оставим эти пререкания. Теперь скажи мне, как у вас в Москве? Чай, весело? Знакомых у тебя много?

— Очень много. Вся Москва меня знает.

— Хо-хо-хо! Вот врет-то! Хо-хо! Чудеса и чудеса, брат, ты рассказываешь.

Долго еще в таком роде беседовали отец и сын. Адвокат рассказал еще про свою женитьбу с сорокатысячным приданым, описал свои поездки в Нижний, свой развод, который стоил ему десять тысяч. Старик слушал, всплескивал руками, хохотал.

— Вот врет-то! Хо-хо-хо! Не знал я, Шуренька, что ты такой мастер балясы точить! Хо-хо-хо! Это я тебе не в осуждение. Мне занятно тебя слушать. Говори, говори.

— Но, однако, я заболтался, — кончил адвокат, вставая из-за стола. — Завтра разбирательство, а я еще дела не читал. Прощай.

Проводив сына в свою спальню, отец Савва предался восторгам.

— Каков, а? Видала? — зашептал он кухарке. — То-то вот и есть… Университант, гуманный, эмансипе, а не устыдился старика посетить. Забыл отца и вдруг вспомнил. Взял да и вспомнил. Дай, подумал, своего старого хрена вспомню! Хо-хо-хо. Хороший сын! Добрый сын! И ты заметила? Он со мной, как с ровней… своего брата ученого во мне видит. Понимает, стало быть. Жалко, дьякона мы не позвали, поглядел бы.

Изливши свою душу перед старухой, отец Савва на цыпочках подошел к своей спальной и

заглянул в замочную скважину. Адвокат лежал на постели и, дымя сигарой, читал объемистую тетрадь. Возле него на столике стояла винная бутылка, которой раньше отец Савва не видел.

— Я на минуточку… поглядеть, удобно ли, — забормотал старик, входя к сыну. — Удобно? Мягко? Да ты бы разделся.

Адвокат промычал и нахмурился. Отец Савва сел у его ног и задумался.

— Так-с… — начал он после некоторого молчания. — Я все про твои разговоры думаю. С одной стороны, благодарю за то, что повеселил старика, с другой же стороны, как отец и… и образованный человек, не могу умолчать и воздержаться от замечания. Ты, я знаю, шутил за ужином, но ведь, знаешь, как вера, так и наука осудили ложь даже в шутку. Кгм… Кашель у меня. Кгм… Извини, но я как отец. Это у тебя откуда же вино?

— Это я с собой привез. Хочешь? Вино хорошее, восемь рублей бутылка.

— Во-семь? Вот врет-то! — всплеснул руками отец Савва. — Хо-хо-хо! Да за что тут восемь рублей платить?

Хо-хо-хо! Я тебе самого наилучшего вина за рубль куплю. Хо-хо-хо!

— Ну, маршируй, старче, ты мне мешаешь…

Айда!

Старик, хихикая и всплескивая руками, вышел и тихо затворил за собою дверь. В полночь, прочитав «правила» и заказав старухе завтрашний обед, отец Савва еще раз заглянул в комнату сына.

Сын продолжал читать, пить и дымить.

— Спать пора… раздевайся и туши свечку… — сказал старик, внося в комнату сына запах ладана и свечной гари. — Уже двенадцать часов… Ты это вторую бутылку? Ого!

— Без вина нельзя, батя… Не возбудишь себя, дела не сделаешь.

Савва сел на кровать, помолчал и начал:

— Такая, брат, история… М-да… Не знаю, буду ли жив, увижу ли тебя еще раз, а потому лучше, ежели сегодня преподам тебе завет мой… Видишь ли… За все время сорокалетнего служения моего скопил я тебе полторы тысячи денег. Когда умру, возьми их, но…

Отец Савва торжественно высморкался и продолжал:

— Но не транжирь их и храни… И, прошу тебя, после моей смерти пошли племяннице Вареньке сто рублей. Если не пожалеешь, то и Зинаиде рублей 20 пошли. Они сироты.

— Ты им пошли все полторы тысячи… Они мне не нужны, батя…

— Врешь?

— Серьезно… Все равно растранжирю.

— Гм… Ведь я их копил! — обиделся Савва. — Каждую копеечку для тебя складывал…

— Изволь, под стекло я положу твои деньги, как знак родительской любви, но так они мне не нужны… Полторы тысячи — фи!

— Ну, как знаешь… Знал бы я, не хранил, не лелеял… Спи!

Отец Савва перекрестил адвоката и вышел. Он был слегка обижен… Небрежное, безразличное отношение сына к его сорокалетним сбережениям его сконфузило. Но чувство обиды и конфуза скоро прошло… Старика опять потянуло к сыну поболтать, поговорить «по-ученому», вспомнить былое, но уже не хватило смелости обеспокоить занятого адвоката. Он ходил, ходил по темным комнатам, думал, думал и пошел в переднюю поглядеть на шубу сына. Не помня себя от родительского восторга, он охватил обеими руками шубу и принялся обнимать ее, целовать, крестить, словно это была не шуба, а сам сын, «университант»… Спать он не мог.

Mari d'Elle

Подпраздничная ночь. Опереточная певица Наталья Андреевна Бронина, по мужу Никиткина, лежит у себя в спальной и всем своим существом предается отдыху. Она сладко дремлет и думает о своей маленькой дочери, живущей где-то далеко у бабушки или тетушки… Эта девочка для нее дороже публики, букетов, рецензий, поклонников… и она рада думать о ней до самого утра. Она счастлива, покойна и жаждет только одного, чтобы ей не помешали безмятежно валяться, дремать, мечтать о дочке.

Вдруг певица вздрагивает и широко открывает глаза: в передней раздается резкий, отрывистый звонок. Не проходит и десяти секунд, как дребезжит другой звонок, третий. Отворяется шумно дверь и в переднюю, стуча ногами, как лошадь, отдуваясь от холода и фыркая, кто-то входит.

— Черт возьми, некуда шубу повесить! — слышит артистка хриплый бас. — Известная артистка, посмотришь! Получает пять тысяч в год, а не может себе порядочной вешалки завести!

«Муж… — морщится певица. — И, кажется, привел с собой ночевать одного из своих приятелей…

Противно!»

Пропал покой. Когда в передней утихают громкое сморканье и установка калош, певица слышит в своей спальной осторожные шаги… Это вошел ее муж, mari d'elle, Денис Петрович Никиткин. От него несет холодом и запахом коньяка. Он долго ходит по спальной, тяжело дышит и, натыкаясь в потемках на стулья, чего-то ищет…

— Ну, чего тебе? — стонет певица, когда ей надоедает эта возня. — Ты меня разбудил.

— Я, душенька, спички ищу. Ты… ты, стало быть, не спишь? А я тебе поклон принес. Кланяется тебе этот… как его?., рыжий, что постоянно тебе букеты подносит. Загвоздкин… Сейчас только что у него был.

— Зачем ты у него был?

— Да так… Посидели, потолковали… выпили. Как хочешь, Натали, а не нравится мне этот субъект. Ужасно не нравится! Такой болван, каких мало. Богач, капиталист, тысяч шестьсот имеет, а нисколько в нем этого не заметно. Для него деньги, что псу редька. И сам не трескает и другим не дает. Надо капитал в оборот пускать, а он за него держится, расстаться боится… А что толку в лежачем капитале? Лежачий капитал — это та же трава.

Mari d'elle нащупывает край кровати и, отдуваясь, садится у ног жены.

— Лежачий капитал — это вред… — продолжает он. — Почему в России дела хуже пошли? А потому, что у нас лежачих капиталов много, кредита боятся… Не то, что в Англии… В Англии, брат, нет таких гусей, как Загвоздкин… Там каждая копейка в оборот пускается… Да… В сундуках там не держат…

— Ну и отлично. Я спать хочу.

— Я сейчас… О чем, бишь, я? Да… По нынешним временам Загвоздкина повесить мало… Подлец и дурак… Дурак и больше ничего. Ежели б я без ручательства у него просил взаймы, а то ведь и ребенку видно, что тут никакого риска нет. Не понимает, осел! За десять тысяч он сто бы получил. Через год бы у него еще сто тысяч было! Просил, толковал… так и не дал, болван!

— Надеюсь, что ты не от моего имени у него взаймы просил!

— Гм… Странный вопрос… — обижается mari d'elle. — Во всяком случае он мне бы скорей дал десять тысяч, чем тебе. Ты женщина, а я все-таки мужчина, деловой человек. А какой проект я ему предлагал! Не воздушные шары, не химеры какие-нибудь, а дело, суть! Ежели на понимаю-

щего человека наскочить, так за одну идею могут тысяч двадцать дать! Ты даже поймешь, ежели тебе рассказать, в чем дело. Только ты тово… не разболтай… ни-ни… Да я, кажется, уже говорил тебе. Говорил я тебе про кишки?

— Мм… после…

— Говорил, кажется… Понимаешь, в чем дело? Теперь гастрономические магазины и колбасники получают кишки на месте и за дорогую цену. Ну-с, а ежели привозить сюда кишки с Кавказа, где они нипочем, выбрасываются, то… как по-твоему? У кого колбасники будут покупать кишки: здесь в бойнях или у меня? Конечно, у меня! Ведь я буду продавать в десять раз дешевле! Теперь станем так рассуждать: ежегодно в столицах и в центрах покупается этих самых кишок на… положим, на пятьсот тысяч. Это минимум. Ну-с, а ежели…

— Завтра расскажешь… После…

— Да, правда… Тебе спать хочется, pardon… Сейчас уйду… Что ни говори, а с капиталом куда ни сунься, везде можно дело сделать… С капиталом даже на окурках можно миллион нажить… Взять хоть ваше театральное дело. Почему, например, Лентовский прогорел? Очень просто! С самого начала не так дело повел. Капитала нет,

а он во всю ивановскую жарит, сломя голову… Нужно сначала капиталом заручиться, а потом потихоньку да полегоньку… Нынче на частном или народном театре отлично нажить можно… Ежели ставить настоящие пьесы, по дешевой цене пустить, да публике в жилку попасть, то в первый же год сто тысяч в карман положишь… Ты вот не понимаешь, а я верно говорю… Тоже ведь и ты лежачие капиталы любишь, не лучше этого шута Загвоздкина… Копит и сама не знает для чего… Не слушаешься, не хочешь… Пустила бы в оборот, так не мыкалась бы по свету белому… Ведь для первого раза, чтоб частный театр устроить, довольно и пяти тысяч… Не так, конечно, как Лентовский, а скромно… потихоньку… Антрепренер у меня уже есть, помещение я присмотрел… денег только нет… Если б ты понимала, то давно бы уже рассталась со своими этими разными пятипроцентными… процентными, выигрышными…

— Нет, merci… Ты и так уж меня достаточно пощипал… Будет с меня, наказана…

— Если по-бабьи рассуждать, то конечно… — вздыхает Никиткин, поднимаясь. — Конечно!

— Будет с меня… Ну, ступай, не мешай мне спать… Надоело твои бредни слушать.

— Гм… Тэк-с… Конечно! Пощипал… обобрал… мы что сами даем, то помним, а что берем, того не помним.

— Я у тебя никогда ничего не брала.

— Так ли? А когда мы еще не были известной артисткой, то на чей счет мы жили? А кто, позвольте вас спросить, вытянул вас из нищеты и осчастливил? Этого вы не помните?

— Ну, ступай, спи. Поди проспись.

— Ежели я кажусь вам пьян… ежели я для такой персоны низок, то я могу вовсе уйти.

— И уходи. Отлично сделаешь.

— И уйду. Довольно уж я унижался. И уйду.

— Ах, боже мой! Да уходи же! Я буду очень рада!

— Ладно. Увидим.

Никиткин что-то бормочет про себя и, натыкаясь на стулья, выходит из спальной. Засим доносится из передней шепот, шарканье калош и звук запираемой двери. Mari d'elle всерьез обиделся и ушел.

«Слава богу, ушел… — думает певица. — Теперь спать можно». И, засыпая, она думает о своем mari d'elle: кто он и откуда взялось это наказание? Когда-то он жил в Чернигове и служил там бухгалтером. Как обыкновенный, серенький

обыватель, а не mari d'elle, он был очень сносен: ходил на службу, получал жалованье, и все его проекты и затеи не шли дальше новой гитары, модных брюк и янтарного мундштука. Ставши же «мужем знаменитости», он совсем преобразился. Певица помнит, что когда впервые она объявила ему, что поступает на сцену, он долго ломался, возмущался, жаловался ее родителям, гнал ее из дому. Пришлось поступать на сцену без его позволения. Потом же, узнав по газетам и от людей, что она берет хорошие куши, он «простил» ее, бросил бухгалтерию и стал ее прихвостнем. Диву давалась артистка, глядя на прихвостня: когда и где успел он приобрести новые вкусы, лоск и замашки? Где он узнал вкус устриц и бургонских вин? Кто научил его одеваться по моде, причесываться, говорить Натали вместо Наташа?

«Странно… — думает певица. — Прежде, бывало, получит жалованье и прячет, а теперь и ста рублей в день ему мало. Бывало, при гимназистах говорить боялся, чтоб глупости не сказать, а теперь даже с князьями фамильярничает… Дрянной человечишка!»

Но вот певица опять вздрагивает: опять в передней дребезжит звонок. Горничная, бранясь и сердито шлепая туфлями, идет отворять дверь.

Опять кто-то входит и стучит, как лошадь.

«Вернулся? — думает певица. — Когда же наконец дадут мне покой? Это возмутительно!»

Артисткой овладевает злоба.

«Постой же… Я покажу тебе, как комедии играть! Ты у меня уйдешь! Я заставлю тебя уйти!»

Бронина вскакивает и босая бежит в маленький зал, где обыкновенно спит на диване ее mari. Застает она его в то время, когда он раздевается и старательно складывает свою одежду на кресло.

— Ты же ушел! — говорит она, глядя на него блестящими, ненавидящими глазами. — Зачем же ты вернулся?

Никиткин молчит и только сопит…

— Ты же ушел! Изволь сию же минуту убираться! Сию же минуту! Слышишь?

Mari d'elle кашляет и, не глядя на жену, снимает помочи.

— Если ты, нахал, не уйдешь, то я уйду! — продолжает певица, топая босой ногой и сверкая глазами. — Я уйду! Слышишь ты, нахал… негодяй, лакей? Вон!

— Постыдилась бы хоть при посторонних… — бормочет муж.

Певица оглядывается и теперь только видит незнакомую ей актерскую физиономию… Физио-

номия, видевшая оголенные плечи и босые ноги артистки, сконфужена и готова провалиться…

— Рекомендую… — бормочет Никиткин. — Провинциальный антрепренер Безбожников.

Певица вскрикивает и убегает к себе в спальную.

— Вот-с… — говорит mari d'elle, растягиваясь на диване. — Все шло как по маслу. Милый, разлюбезный мой, хороший… Поцелуи и объятия… А как только дело коснулось до денег, то… как видите… Великое дело деньги!.. Спокойной ночи.

Через минуту слышится храп.

Антрепренер под диваном (Закулисная история)

Шел «Водевиль с переодеванием». Клавдия Матвеевна Дольская-Каучукова, молодая, симпатичная артистка, горячо преданная святому искусству, вбежала в свою уборную и начала сбрасывать с себя платье цыганки, чтобы в мгновение ока облечься в гусарский костюм. Во избежание лишних складок, чтобы этот костюм сидел возможно гладко и красиво, даровитая артистка решила сбросить с себя все до последней нитки и надеть его поверх одеяния Евы. И вот, когда она разделась и, пожимаясь от легкого холода, стала расправлять гусарские рейтузы, до ее слуха донесся чей-то вздох. Она сделала большие глаза и прислушалась. Опять кто-то вздохнул и даже как будто прошептал:

— Грехи наши тяжкие… Оxx…

Недоумевающая артистка осмотрелась и, не увидев в уборной ничего подозрительного, решила заглянуть на всякий случай под свою единственную мебель — под диван. И что же? Под диваном она увидела длинную человеческую

фигуру.

— Кто здесь?! — вскрикнула она, в ужасе отскакивая от дивана и прикрываясь гусарской курткой.

— Это я… я… — послышался из-под дивана дрожащий шепот. — Не пугайтесь, это я… Тсс!

В гнусавом шепоте, похожем на сковородное шипение, артистке не трудно было узнать голос антрепренера Индюкова.

— Вы?! — возмутилась она, красная как пион. — Как… как вы смели? Это, значит, вы, старый подлец, все время здесь лежали? Этого еще недоставало!

— Матушка… голуба моя! — зашипел Индюков, высовывая свою лысую голову из-под дивана. — Не сердитесь, драгоценная! Убейте, растопчите меня как змия, но не шумите! Ничего я не видел, не вижу и видеть не желаю. Напрасно даже вы прикрываетесь, голубушка, красота моя неописанная! Выслушайте старика, одной ногой уже в могиле стоящего! Не за чем иным тут валяюсь, как только ради спасения моего! Погибаю! Глядите: волосы на голове моей стоят дыбом! Из Москвы приехал муж моей Глашеньки, Прындин. Теперь ходит по театру и ищет погибели моей. Ужасно! Ведь, кроме Глашеньки, я ему, злодею

моему, пять тысяч должен!

— Мне какое дело? Убирайтесь сию же минуту вон, иначе я… я не знаю, что с вами, с подлецом, сделаю!

— Тсс! Душенька, тсс! На коленях прошу, ползаю! Куда же мне от него укрыться, ежели не у вас? Ведь он везде меня найдет, сюда только не посмеет войти! Ну, умоляю! Ну, прошу! Часа два назад я его видел! Стою это я во время первого действия за кулисами, гляжу, а он идет из партера на сцену.

— Стало быть, вы и во время драмы здесь валялись? — ужаснулась артистка. — И… и все видели?

Антрепренер заплакал:

— Дрожу! Трясусь! Матушка, трясусь! Убьет, проклятый! Ведь уж раз стрелял в меня в Нижнем… В газетах писали!

— Ах… это, наконец, невыносимо! Уходите, мне пора уже одеваться и на сцену выходить! Убирайтесь, иначе я… крикну, громко расплачусь… лампой в вас пущу!

— Тссс!.. Надежда вы моя… якорь спасения! Пятьдесят рублей прибавки, только не гоните! Пятьдесят!

Артистка прикрылась кучей платья и побежа-

ла к двери, чтобы крикнуть. Индюков пополз за ней на коленях и схватил ее за ногу повыше лодыжек.

— Семьдесят пять рублей, только не гоните! — прошипел он, задыхаясь. — Еще полбенефиса прибавлю!

— Лжете!

— Накажи меня бог! Клянусь! Чтоб мне ни дна, ни покрышки… Полбенефиса и семьдесят пять прибавки!

Дольская-Каучукова минуту поколебалась и отошла от двери.

— Ведь вы все врете… — сказала она плачущим голосом.

— Провались я сквозь землю! Чтоб мне царствия небесного не было! Да разве я подлец какой, что ли?

— Ладно, помните же… — согласилась артистка. — Ну, полезайте под диван.

Индюков тяжело вздохнул и с сопеньем полез под диван, а Дольская-Каучукова стала быстро одеваться. Ей было совестно, даже жутко от мысли, что в уборной под диваном лежит посторонний человек, но сознание, что она сделала уступку только в интересах святого искусства, подбодрило ее настолько, что, сбрасывая с себя

немного спустя гусарское платье, она уже не только не бранилась, но даже и посочувствовала:

— Вы там выпачкаетесь, голубчик Кузьма Алексеич! Чего я только под диван ни ставлю!

Водевиль кончился. Артистку вызывали одиннадцать раз и поднесли ей букет с лентами, на которых было написано: «Оставайтесь с нами». Уходя после оваций к себе в уборную, она встретила за кулисами Индюкова. Запачканный, помятый и взъерошенный, антрепренер сиял и потирал руки от удовольствия.

— Ха-ха… Вообразите, голубушка! — заговорил он, подходя к ней. — Посмейтесь над старым хрычом! Вообразите, то был вовсе не Прындин! Ха-ха… Черт его возьми, длинная рыжая борода меня с панталыку сбила… У Прындина тоже длинная рыжая борода…

Обознался, старый хрен! Ха-ха… Напрасно только беспокоил вас, красавица…

— Но вы же смотрите, помните, что мне обещали, — сказала Дольская-Каучукова.

— Помню, помню, родная моя, но… голубушка моя, ведь то не Прындин был! Мы только насчет Прындина условились, а зачем я буду обещание исполнять, ежели это не Прындин? Будь то Прындин, ну, тогда, конечно, другое дело, а то ведь,

сами видите, обознался… Чудака какого-то за Прындина принял!

— Как это низко! — возмутилась актриса. — Низко! Мерзко!

— Будь это Прындин, конечно, вы имели бы полное право требовать, чтоб я обещание исполнил, а то ведь черт его знает, кто он такой. Может, он сапожник какой или, извините, портной — так мне и платить за него? Я честный человек, матушка… Понимаю…

И отойдя, он все жестикулировал и говорил:

— Если бы то был Прындин, то, конечно, я обязан, а то ведь кто-то неизвестный… какой-то, шут его знает, рыжий человек, а вовсе не Прындин.

Ряженые

Выходите на улицу и глядите на ряженых.

Вот солидно, подняв с достоинством голову, шагает что-то нарядившееся *человеком.* Это «что-то» толсто, обрюзгло и плешиво. Одето оно щегольски, по моде и тепло. На груди брелоки, на пальцах массивные перстни. Говорит оно чепуху, но с чувством, с толком, с расстановкой. Оно только что пообедало, напилось елисеевского пойла и теперь решает вопрос: отправиться ли к Адели, лечь ли спать, или же засесть за винт? Через три часа оно будет ужинать, через пять — спать. Завтра проснется в полдень, пообедает, напьется пойла и опять примется за тот же вопрос. Послезавтра тоже… Кто это?

Это — *свинья.*

Вот мчится в роскошных санях старушенция в костюме *дамы благотворительницы.* Нарядилась она умело: на лице тупая важность, в ногах болонка, на запятках лакей. В саквояже покоятся собранные ею для страждущего человечества 1013 р. 43 к. Из этих денег только 43 коп. получат бедные, остальные же 1013 р. пойдут на расходы по благотворению. Благотворительность она лю-

бит, ибо нигде нельзя так много с таким вкусом судачить, перебирать косточки ближних, дьяволить и вылезать сухой из воды, как на почве благотворительности… Хотите знать, кто эта благотворительница?

Это — *чертова перечница.*

Вот бежит *лисица…* Гримировка великолепная: даже рыльце в пушку. Глядит она медово, говорит тенорком, со слезами на глазах. Если послушать ее, то она жертва людской интриги, подвохов, неблагодарности. Она ищет сочувствия, умоляет, чтобы ее поняли, ноет, слезоточит. Слушайте ее, но не попадайтесь ей в лапы. Она обчистит, обделает под орех, пустит без рубахи, ибо она — *антрепренер.*

Вот шествует нарядившийся *рецензентом.* Этот загримировался неудачно. По его бесшабашному лаю, хватанию за икры, скаленью зубов нетрудно узнать в нем — *цепного пса.*

Несколько поодаль от него прыгает нарядившийся *драматургом.* Этот что-то прячет под полой и робко озирается, словно стянул что-то… Он одет франтом, болтает по-французски и хвастает, что состоит в переписке с Сарду. Талант у него необычайный, печет драмы, как блины, и может писать двумя руками сразу. Но совре-

менники не признают его… Они знают, что под оболочкой драматурга скрывается — *закройщик модной мастерской.*

Вот идет субъект, загримировавшийся *забулдыгой.* На нем рваная шапчонка, порыжелое пальто и нечищеные калоши… Он косится на дома и ищет вывески «Питейный дом» или «Трактир». Ему нужно выпить… Пьет он каждые десять минут: днем водку, ночью пиво, утром содовую воду. Состояние «под шофе» — его норма. Только в пьяном виде он и может говорить умно, мыслить, зарабатывать себе кусок хлеба, любить ближнего, презирать. Трезвый же он вял, глуп, жесток. Живет он по-свински. У него ни кола ни двора. Обитает где-то у черта на куличках, на задворках, снимая у вдовы-чиновницы темную и сырую комнату. Семьи у него нет, да и трудно представить его семейным. Умрет он под забором, но похоронят его с шиком, с некрологами и с речами, потому что он — *талант.*

А вот стоит нарядившийся *талантом.* Он сосредоточен, нахмурен и лаконичен. Не мешайте ему: думает или наблюдает. Раскусить его, что он за птица, трудно, потому что он редко снисходит до откровенности. Обыкновенно он не разборчив, но, <встретив> где-нибудь в ресторане или на

вечере благоговеющего перед талантами юнца, он постарается выложить всю свою «программу»: все на этом свете не годится, все испошлилось, изгадилось, продалось, истрепалось; если человечеству угодно спастись, то оно должно поступать вот этак, не иначе. Тургенев, по его мнению, хорош, но… Толстой тоже хорош, но… Говоря же о своей «программе», он никогда не прибавляет этого «но». Все его не понимают, все подставляют ему ножку, но, тем не менее, он всюду сует свой нос, всюду нюхает, везде вертится, как черт перед заутреней.

Его выносят, не гонят, потому что на безрыбье и рак рыба и потому, что в России до конца дней можно быть «начинающим и подающим надежды». Своей работе он придает громадное значение и потому бережет себя, как зеницу ока. Он не пьет, часто ездит лечиться и оберегает себя строгим комфортом. Дома, когда он сидит у себя в кабинете и творит «новое слово», все ходят на цыпочках. Храни бог, если в кабинете не 15 градусов, если за дверью звякнет блюдечко или запищит ребенок — он схватит себя за волосы и грудным голосом скажет: «Прррроклятие… Нечего сказать, хороша жизнь писательская!» Когда он пишет, он священнодействует: морщит лоб, кусает перо,

пыхтит, сопит, то и дело зачеркивает… Чтобы выжать из мозгов мысль, остроту, удачное сравнение, он пускает в дело пресс в сорок лошадиных сил; чтобы быть реальным, художественным, он тянется к аршину, фотографии, манекенам. Работает он только для искусства… Впрочем, если г. Вольфу угодно будет предложить ему заказ в 10 листов по 300 руб. за лист, то он возблагодарит создателя… Вероятно, вы его уже узнали…

Это — *гусь лапчатый.*

Новогодние великомученики

На улицах картина ада в золотой раме. Если бы не праздничное выражение на лицах дворников и городовых, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взад и вперед, с треском и шумом снуют парадные сани и кареты… На тротуарах, высунув языки и тараща глаза, бегут визитеры… Бегут они с таким азартом, что ухвати жена Пантефрия какого-нибудь бегущего коллежского регистратора за фалду, то у нее в руках осталась бы не одна только фалда, но весь чиновничий бок с печенками и с селезенками…

Вдруг слышится пронзительный полицейский свист. Что случилось? Дворники отрываются от своих позиций и бегут к свистку…

— Разойдитесь! Идите дальше! Нечего вам здесь глядеть! Мертвых людей никогда не видали, что ли? Нарррод…

У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых калошах… Возле его мертвецки бледного, свежевыбритого лица валяются разбитые очки. Шуба на груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака и Станислава третьей

степени. Грудь медленно и тяжело дышит, глаза закрыты…

— Господин! — толкает городовой чиновника. — Господин, не велено тут лежать! Ваше благородие!

Но господин — ни гласа, ни воздыхания… Повозившись с ним минут пять и не приведя его в чувство, блюстители кладут его на извозчика и везут в приемный покой…

— Хорошие штаны! — говорит городовой, помогая фельдшеру раздеть больного. — Должно, рублей шесть стоят. И жилетка ловкая… Ежели по штанам судить, то из благородных…

В приемном покое, полежав часа полтора и выпив целую склянку валерьяны, чиновник приходит в чувство… Узнают, что он титулярный советник Герасим Кузьмич Синклетеев.

— Что у вас болит? — спрашивает его полицейский врач.

— С Новым годом, с новым счастьем… — бормочет он, тупо глядя в потолок и тяжело дыша.

— И вас также… Но… что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка! Вы пили что-нибудь?

— Не… нет…

— Но отчего же вам дурно сделалось?

— Ошалел-с… Я… я визиты делал…

— Много, стало быть, визитов сделали?

— Не… нет, не много-с… От обедни пришедши… выпил я чаю и пошел к Николаю Михайлычу… Тут, конечно, расписался… От-теда пошел на Офицерскую… к Качалкину… Тут тоже расписался… Еще помню, тут в передней меня сквозняком продуло… От Качалкина на Выборгскую сходил, к Ивану Иванычу… Расписался…

— Еще одного чиновника привезли! — докладывает городовой.

— От Ивана Иваныча, — продолжает Синклетеев, — к купцу Хрымову рукой подать… Зашел поздравить… с семейством… Предлагают выпить для праздника… А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь… Ну, выпил рюмки три… колбасой закусил… Оттеда на Петербургскую сторону к Лиходееву… Хороший человек…

— И все пешком?

— Пешком-с… Расписался у Лиходеева… От него пошел к Пелагее Емельяновне… Тут завтракать посадили и кофеем попотчевали. От кофею распарился, оно, должно быть, в голову и ударило… От Пелагеи Емельяновны пошел к Облеухову… Облеухова Василием звать, именинник… Не съешь именинного пирога — обидишь…

— Отставного военного и двух чиновников

привезли! — докладывает городовой…

— Съел кусок пирога, выпил рябиновой и пошел на Садовую к Изюмову… У Изюмова холодного пива выпил… в горло ударило… От Изюмова к Кошкину, потом к Карлу Карлычу… оттеда к дяде Петру Семенычу… Племянница Настя шоколатом попоила… Потом к Ляпкину зашел… Нет, вру, не к Ляпкину, а к Дарье Никодимовне… От нее уж к Ляпкину пошел… Ну-с, и везде хорошо себя чувствовал… Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был, у полковника Порошкова был, и там себя хорошо чувствовал… У купца Дунькина был… Пристал ко мне, чтоб я коньяк пил и сосиску с капустой ел… Выпил я рюмки три… пару сосисок съел — и тоже ничего… Только уж потом, когда от Рыжова выходил, почувствовал в голове… мерцание… Ослабел… Не знаю, отчего…

— Вы утомились… Отдохните немного, и мы вас домой отправим…

— Нельзя мне домой… — стонет Синклетеев. — Нужно еще к зятю Кузьме Вавилычу сходить… к экзекутору, к Наталье Егоровне… У многих я еще не был…

— И не следует ходить.

— Нельзя… Как можно с Новым годом не поздравить? Нужно-с… Не сходи к Наталье Егоровне,

так жить не захочешь… Уж вы меня отпустите, г. доктор, не невольте…

Синклетеев поднимается и тянется к одежде.

— Домой езжайте, если хотите, — говорит доктор, — но о визитах вам думать даже нельзя…

— Ничего-с, бог поможет… — вздыхает Синклетеев. — Я потихонечку пойду…

Чиновник медленно одевается, кутается в шубу и, пошатываясь, выходит на улицу.

— Еще пятерых чиновников привезли! — докладывает городовой. — Куда прикажете положить?

Шампанское
(Мысли с новогоднего похмелья)

Не верьте шампанскому… Оно искрится, как алмаз, прозрачно, как лесной ручей, сладко, как нектар; ценится оно дороже, чем труд рабочего, песнь поэта, ласка женщины, но… подальше от него! Шампанское — это блестящая кокотка, мешающая прелесть свою с ложью и наглостью Гоморры, это позлащенный гроб, полный костей мертвых и всякия нечистоты. Человек пьет его только в часы скорби, печали и оптического обмана.

Он пьет его, когда бывает богат, пресыщен, то есть когда ему пробраться к свету так же трудно, как верблюду пролезть сквозь игольное ушко.

Оно есть вино укравших кассиров, альфонсов, безуздых саврасов, кокоток… Где пьяный разгул, разврат, объегориванье ближнего, торжество гешефта, там прежде всего ищите шампанского. Платят за него не трудовые деньги, а шальные, лишние, бешеные, часто чужие…

Вступая на скользкий путь, женщина всегда начинает с шампанского, — потому-то оно и ши-

пит, как змея, соблазнившая Еву!

Пьют его обручаясь и женясь, когда за две-три иллюзии принимают на себя тяжелые вериги на всю жизнь.

Пьют его на юбилеях, разбавляя лестью и водянистыми речами, за здоровье юбиляра, стоящего обыкновенно уже одною ногою в могиле.

Когда вы умерли, его пьют ваши родственники от радости, что вы оставили им наследство.

Пьют его при встрече Нового года: с бокалами в руках кричат ему «ура» в полной уверенности, что ровно через 12 месяцев дадут этому году по шее и начихают ему на голову. Короче, где радость по заказу, где купленный восторг, лесть, словоблудие, где пресыщение, тунеядство и свинство, там вы всегда найдете вдову Клико. Нет, подальше от шампанского!

Неудача

Илья Сергеич Нейлов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, объяснение в любви; объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин.

— Клюет! — шептал Нейлов, дрожа от нетерпения и потирая руки. — Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идем благословлять… Накроем… Благословение образом свято и ненарушимо… Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает.

А за дверью происходил такой разговор:

— Оставьте ваш характер! — говорил Щупкин, зажигая спичку о свои клетчатые брюки. — Вовсе я не писал вам писем!

— Ну да! Будто я не знаю вашего почерка! — хохотала девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало. — Я сразу узнала! И какие вы странные! Учитель чистописания, а почерк как у курицы! Как же вы учите писать, если сами плохо пишете?

— Гм!.. Это ничего не значит-с. В чистописании

главное не почерк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени… Да что почерк! Пустое дело! Некрасов писатель был, а совестно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк.

— То Некрасов, а то вы… (вздох). Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал!

— Стихи и я могу написать вам, ежели желаете.

— О чем же вы писать можете?

— О любви… о чувствах… о ваших глазах… Прочтете — очумеете… Слеза прошибет! А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать?

— Велика важность!.. Да хоть сейчас целуйте!

Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнущей яичным мылом, ручке.

— Снимай образ! — заторопился Пеплов, толкнув локтем свою жену, бледнея от волнения и застегиваясь. — Идем! Ну!

И, не медля ни секунды, Пеплов распахнул дверь.

— Дети… — забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая глазами. — Господь вас благословит, дети мои… Живите… плодитесь… размножай-

тесь…

— И… и я благословляю… — проговорила мамаша, плача от счастья. — Будьте счастливы, дорогие! О, вы отнимаете у меля единственное сокровище! — обратилась она к Щупкину. — Любите же мою дочь, жалейте ее…

Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова.

«Попался! Окрутили! — подумал он, млея от ужаса. — Крышка теперь тебе, брат! Не выскочишь!»

И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: «Берите, я побежден!»

— Бла… благословляю… — продолжал папаша и тоже заплакал. — Наташенька, дочь моя… становись рядом… Петровна, давай образ…

Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило от гнева.

— Тумба! — сердито сказал он жене. — Голова твоя глупая! Да нешто это образ?

— Ах, батюшки-светы!

Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен: мамаша впопыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его су-

пруга Клеопатра Петровна, с портретом в руках, стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал.

К сведению мужей
(Научная статья)

По мере того, как прогрессировала человеческая мысль, вместе с другими насущными вопросами разрабатывались и способы покорения чужих жен. Эти способы могут служить прекрасным мерилом человеческого развития. Чем тоньше и грациознее способ, тем совершеннее человек — и наоборот. Оставляя в стороне способы, которые употребляются австралийскими дикарями и московским купечеством, все ныне употребляемые способы легко можно подвести под несколько определенных типов.

Самый обычный и употребительный — это *старый способ,* известный добродетельным людям по романам. Тут на первом плане томное выражение лица, загадочно-жгучий взор, провожание, «понимание друг друга без слов», просиживание по целым часам рядом на диване, романсы, записочки и прочая канитель. Барыня «терпит» около себя вздыхателя, смеется над ним вместе с мужем, но уехал муж — чичисбей, не зевай: барыня «фатально» падает и просит никому не

говорить. Этот способ очень любим и поощряется барынями лет 26–35. Он легок, а потому и употребляется чаще всего людьми неизобретательными, юными и нищими духом. В большом ходу он у младших межевых чиновников, мелких железнодорожников и отставных юнкеров.

Способ кузенов. Тут измена бывает не преднамеренная. Она происходит без предисловий, без приготовлений, а *нечаянно,* сама собою, где-нибудь на даче или в карете, под влиянием неосторожно выпитого шампанского или чудной лунной ночи.

Способ по теории нищей братии: просите и дастся вам. Не справляясь, нравитесь вы *ей* или нет, вы с первого же абцуга начинаете приставать к ней, как банный лист, как репейник… Вы не отходите от нее ни на один шаг и в этом отношении соперничаете с ее тенью: она от вас, вы за ней… Комплименты, любезности, объяснения в любви — ваша речь. Вы умоляете, клянетесь, обещаете застрелиться… Вам смеются в лицо, вас отталкивают, презирают, пугают гневом мужа, но, тем не менее, вы смело идете дальше. Улучив удобную минутку, вы падаете на колени, прижимаетесь к ее руке… Она вспыхивает, плюет, бьет вас по щеке, но вы не идете вспять… Как истый нищий,

вы продолжаете подавать ей шубку, прислуживать за ужином, заглядывать умоляюще в глаза… Вам, наконец, грубо отказывают от дома. Но и это не беда. У вас еще в запасе бомбардировка письмами и подсылка третьих лиц. И к тому же, где бы она ни была вне дома, она всюду видит вас: в театре, на скачках, в собрании… «Подайте милостыньку!» — умоляют ее ваши глаза. И так далее. Проходит полгода, год… и скала трогается. В конце концов к вам или привыкают, или же подают вам милостыню для того только, чтобы отвязаться… Главное, нужно помнить, что aqua cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo[156]…

Способ ошеломляющий, когда вы берете жену приступом, во что бы то ни стало, не жалея ни смелости, ни нахальства. Тут действуете вы наудачу, напролом и… если не вылетите из окна третьего этажа, или не сломаете шеи, кувыркаясь вниз по крутой лестнице, то вас можно поздравить с полным успехом. Женщины вообще не против ошеломляющих моментов.

Способ à la граф Нулин, нередко практикуемый проезжими поручиками и адвокатами, едущими на съезд мировых судей. Из 100 случаев не удают-

---

[156] Примечания: 156

Капля долбит камень не силою, но частым падением *(лат.).*

ся только 5, да и то по не зависящим от редакции обстоятельствам.

Способ тонкий. Самый умный, ехидный и самый опасный для мужей. Понятен он только психологам и знатокам женского сердца. По этому способу вы, покоряя чью-нибудь жену, держите себя как можно дальше от нее. Почувствовав к ней влечение, род недуга, вы перестаете бывать у нее, встречаетесь с ней возможно реже, мельком… Тут вы действуете на расстоянии. Все дело в некоторого рода гипнотизации.

Она не должна видеть, но должна чувствовать вас, как кролик чувствует взгляд удава. Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка, причем самой лучшей передаточной проволокой может служить сам муж…

Вот вы встречаете мужа где-нибудь в клубе или в театре…

— А как поживает ваша супруга? — спрашиваете вы его между прочим. — Милейшая женщина! Ужасно она мне нравится! То есть черт знает, как нравится!

— Гм… Чем же это она вам так понравилась? — спрашивает довольный супруг.

— И вы еще спрашиваете?! Прелестнейшее, поэтическое создание… Впрочем, вы, мужья,

прозаики, не понимаете!.. Поймите, что это идеальная женщина! Я радуюсь за вас! Таких-то именно в наше время и нужно женщин… именно таких! Красавица, полная жизни и правды, искренняя и в то же время загадочная… Такие женщины, если полюбят, то уж любят сильно, всем пылом… и проч…

Супруг в тот же день, ложась спать, не утерпит, чтобы не сказать жене:

— Видал я Петра Иваныча… Ужасно тебя расхваливал. И красавица ты, и загадочная… и будто любить ты способна как-то особенно… С три короба наговорил… Ха-ха…

Немного спустя вы опять норовите встретиться с супругом.

— Кстати, милый мой… — говорите вы ему. — Заезжал ко мне вчера один художник… Получил он от какого-то князя заказ: написать за 2000 руб. головку типичной русской красавицы. Просил поискать для него натурщицу. Хотел было я направить его к вашей жене, да постеснялся… А ваша жена как раз бы подошла. Прелестная головка!

Нужно быть слишком нелюбезным супругом, чтобы не передать этого жене. Утром жена долго глядится в зеркало в думает:

«Откуда он взял, что у меня чисто русское лицо?!»

После этого, заглядывая в зеркало, она всякий раз думает о вас. Между тем нечаянные встречи ваши с ее мужем продолжаются. После одной из встреч муж приходит домой и начинает всматриваться в лицо жены.

— Что ты вглядываешься? — спрашивает она.

— Да тот чудак, Петр Иваныч, нашел, что будто у тебя один глаз темнее другого. Не нахожу этого, хоть убей!

Жена опять к зеркалу.

— Видал в театре Петра Иваныча, — говорит муж после восьмой или девятой встречи. — Просит извинения, что не может заехать к тебе: некогда! Чудак, ей-богу! Пристал ко мне, как с ножом к горлу: «Отчего ваша жена на сцену не поступает? С этакой, говорит, наружностью, с таким развитием и уменьем чувствовать грешно жить дома!» Ха-ха… Далась ты ему! «Не будь, говорит, я занят, отбил бы я у вас ее…» Что ж, говорю, отбивайте… «Вы, говорит, не понимаете ее! Ее понять нужно! Это, говорит, натура недюжинная, ищущая выхода!» Ха-ха… Ну, думаю, пожил бы ты с ней, так другое бы запел…

И бедной женой постепенно овладевает страст-

ная жажда встречи с вами. Вы единственный человек, который понял ее, и только вам может она рассказать многое… очень многое! Но вы упорно не едете и не попадаетесь ей на глаза. Не видела она вас давно, но ваш мучительно сладкий яд уже отравил ее. Муж, зевая, передает ей ваши слова, а ей кажется, что она слышит вас, видит блеск ваших глаз…

Наступает пора ловить момент. В один из вечеров приходит муж домой и говорит жене:

— Встретил я сейчас Петра Иваныча… Скучный такой… Жалуется, что тоска одолела. «С тоски, говорит, и домой не хожу, всю ночь по N-скому бульвару гуляю…» Чудак!

Жена вся в жару… Ей страстно хотелось бы пойти на N-ский бульвар и взглянуть хоть одним глазом на человека, который сумел так понять ее и который теперь почему-то в тоске. Кто знает? Поговори она теперь с ним, скажи ему слова два утешения, быть может, он перестал бы страдать…

«Но это дико… невозможно», — думает она.

Дождавшись, когда уснет муж, она поднимает свою горячую голову, прикладывает палец к губам и думает. Что, если она рискнет выйти сейчас из дому? После можно будет соврать

что-нибудь, сказать, что она бегала в аптеку, к зубному врачу…

— Пойду! — решает она.

План у нее уже готов: до бульвара на извозчике, на бульваре она пройдет мимо *него*, взглянет и — назад… Этим она не скомпрометирует ни себя, ни мужа… И она одевается, тихо выходит из дому и спешит к бульвару. На бульваре темно, пустынно… Но вот она видит чей-то силуэт. Это, должно быть, *он*… Дрожа всем телом, медленно приближается она к вам… вы идете к ней… Минуту вы стоите молча и глядите друг другу в глаза… Проходит еще минута молчания и… кролик беззаветно падает в пасть удава.

Первый дебют
(Рассказ)

Помощник присяжного поверенного Пятеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишка N, куда ездил защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге. На душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя оскорбленным, провалившимся, оплеванным. Ему казалось, что истекший день, день его долгожданного и многообещавшего дебюта, искалечил на веки вечные его карьеру, веру в людей, мировоззрение.

Во-первых, его безобразно и жестоко обвиняемый. До суда лавочник так искренно мигал глазами и так чистосердечно, просто расписывал свою невинность, что все собранные против него улики в глазах психолога и физиономиста (каковыми считал себя юный защитник) имели вид бесцеремонных натяжек, придирок и предубеждений. На суде же лавочник оказался плутом и дрянью, и бедная психология пошла к черту.

Во-вторых, он, Пятеркин, казалось ему, вел себя на суде невозможно: заикался, путался в

вопросах, вставал перед свидетелями, глупо краснел. Язык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в скороговорках. Речь свою говорил он вяло, словно в тумане, глядя через головы присяжных. Говорил и все время казалось ему, что присяжные глядят на него насмешливо, презрительно.

В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурора и гражданский истец, старый, матерый адвокат, вели себя не товарищески. Они, казалось ему, условились игнорировать защитника и если поднимали на него глаза, то только для того, чтобы поупражнять на нем свою развязность, поглумиться, эффектно окрыситься. В их речах слышались ирония и снисходительный тон. Говорили они и точно извинения просили, что защитник такой дурачок и барашек. Пятеркин в конце концов не вынес. Во время перерыва он подбежал к гражданскому истцу и, дрожа всем телом, наговорил ему кучу дерзостей. Потом, когда заседание кончилось, он нагнал на лестнице товарища прокурора и этому поднес пилюлю.

В-четвертых… Впрочем, если перечислять все то, что мутило и сосало теперь за сердце моего героя, то нужно в-пятых, шестых… до сотых включительно…

«Позор… мерзость! — страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник. — Кончено! К черту адвокатура! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение… подальше от этих господ… подальше от этих дрязг».

— Да езжай же, черт тебя возьми! — набросился он на возницу. — Что ты едешь, точно мертвого жениться везешь? Гони!

— Гони… гони… — передразнил возница. — Нешто не видишь, какая дорога? Черта погони, так и тот замучается. Это не погода, а наказание господне.

Погода была отвратительная. Она, казалось, негодовала, ненавидела и страдала заодно с Пятеркиным. В воздухе, непроглядном, как сажа, дул и посвистывал на все лады холодный влажный ветер. Шел дождь. Под колесами всхлипывал снег, мешавшийся с вязкою грязью. Буеракам, колдобинам и размытым мостикам не было конца.

— Зги не видать… — продолжал возница. — Этак мы и до утра не доедем. Придется на ночь у Луки остановиться.

— У какого Луки?

— Тут по дороге в лесу старик такой живет. Заместо лесника его держут. Да вот она и изба самая.

Послышался хриплый собачий лай, и между голыми ветками замелькал тусклый огонек. Каким бы вы ни были мизантропом, но если ненастною, глухою ночью вы увидите лесной огонек, то вас непременно потянет к людям. То же случилось и с Пятеркиным. Когда телега остановилась у избы, из единственного окошечка которой робко и приветливо выглядывал свет, ему стало легче.

— Здорово, старик! — сказал он ласково Луке, который стоял в сенях и обеими руками чесал себе живот. — Можно у тебя переночевать?

— Мо… можно… — проворчал Лука. — Тут уж есть двое… Пожалуйте в светелку…

Пятеркин нагнулся, вошел в светелку и… мизантропия воротилась к нему во всей своей силе. За маленьким столом, при свете сальной свечки, сидели два человека, имевших такое сильное влияние на его настроение: товарищ прокурора фон Пах и гражданский истец Семечкин. Подобно Пятеркину, они возвращались из N и тоже попали к Луке. Увидев входящего защитника, оба они приятно удивились и привскочили.

— Коллега! Какими судьбами? — заговорили они. — И вас загнало сюда ненастье? Милости просим! Присаживайтесь.

Пятеркин думал, что, увидев его, они отвер-

нутся, почувствуют неловкость и умолкнут, а потому такая дружеская встреча показалась ему по меньшей мере нахальством.

— Я не понимаю… — пробормотал он, с достоинством пожимая плечами. — После того, что между нами произошло, я… я даже удивляюсь!

Фон Пах удивленно поглядел на Пятеркина, пожал плечами и, повернувшись к Семечкину, продолжал прерванную беседу:

— Ну-с, читаю я дознание… А в дознании, батенька, противоречие на противоречии… Пишет, например, становой, что умершая крестьянка Иванова, когда ушла от гостей, была мертвецки пьяна и умерла, пройдя три версты пешком. Как она могла пройти три версты пешком, если была мертвецки пьяна? Ну, разве это не противоречие? А?

Пока фон Пах таким образом разглагольствовал, Пятеркин сел на скамью и принялся осматривать свое временное жилище… Лесной огонек поэтичен только издалека, вблизи же он — жалкая проза… Здесь освещал он маленькую, серую каморку с кривыми стенами и с закопченным потолком. В правом углу висел темный образ, из левого мрачным дуплом глядела неуклюжая печь. На потолке по балкам тянулся длинный

шест, на котором когда-то качалась колыбель. Ветхий столик и две узкие, шаткие скамьи составляли всю мебель. Было темно, душно и холодно. Пахло гнилью и сальной гарью.

«Свиньи… — подумал Пятеркин, косясь на своих врагов. — Оскорбили человека, втоптали его в грязь и беседуют теперь, как ни в чем не бывало».

— Послушай, — обратился он к Луке, — нет ли у тебя другой комнаты? Я здесь не могу быть.

— Сени есть, да там холодно-с.

— Чертовски холодно… — проворчал Семечкин. — Знал бы, напитков и карт с собой захватил. Чаю напиться, что ли? Дедусь, сочини-ка самоварчик!

Через полчаса Лука подал грязный самовар, чайник с отбитым носиком и три чашки.

— Чай у меня есть… — сказал фон Пах. — Теперь бы только сахару достать… Дед, дай-ка сахару!

— Эва! Сахару… — ухмыльнулся в сенях Лука. — В лесу сахару захотели! Тут не город.

— Что ж? Будем пить без сахару, — решил фон Пах.

Семечкин заварил чай и налил три чашки.

«И мне налили… — подумал Пятеркин. — Очень нужно! Наплевали в рожу и потом чаем угощают.

У этих людей просто самолюбия нет. Потребую у Луки еще чашку и буду одну горячую воду пить. Кстати же у меня есть сахар».

Четвертой чашки у Луки не оказалось. Пятеркин вылил из третьей чашки чай, налил в нее горячей воды и стал прихлебывать, кусая сахар. Услыхав громкое кусанье, его враги переглянулись и прыснули.

— Ей-богу, это мило! — зашептал фон Пах. — У нас нет сахару, у него нет чая… Ха-ха… Весело! Какой же, однако, он еще мальчик! Верзила, а настолько еще сохранился, что умеет дуться, как институтка… Коллега! — повернулся он к Пятеркину. — Вы напрасно брезгаете нашим чаем… Он не из дешевых… А если вы не пьете из амбиции, то ведь за чай вы могли бы заплатить нам сахаром!

Пятеркин промолчал.

«Нахалы… — подумал он. — Оскорбили, оплевали и еще лезут! И это люди! Им, стало быть, нипочем те дерзости, которые я наговорил им в суде… Не буду обращать на них внимание… Лягу…»

Около печи на полу был расстелен тулуп… У изголовья лежала длинная подушка, набитая соломой… Пятеркин растянулся на тулупе, поло-

жил свою горячую голову на подушку и укрылся шубой.

— Какая скучища! — зевнул Семечкин. — Читать холодно и темно, спать негде… Брр!.. Скажите мне, Осип Осипыч, если, например, Лука пообедает в ресторане и не заплатит за это денег, то что это будет: кража или мошенничество?

— Ни то, ни другое… Это только повод к гражданскому иску…

Поднялся спор, тянувшийся полтора часа. Пятеркин слушал и дрожал от злости… Раз пять порывался он вскочить и вмешаться в спор.

«Какой вздор! — мучился он, слушая их. — Как отстали, как нелогичны!»

Спор кончился тем, что фон Пах лег рядом с Пятеркиным, укрылся шубой и сказал:

— Ну, будет… Мы своим спором не даем спать господину защитнику. Ложитесь…

— Он, кажется, уже спит… — сказал Семечкин, ложась по Другую сторону Пятеркина. — Коллега, вы спите?

«Пристают… — подумал Пятеркин. — Свиньи…»

— Молчит, значит спит… — промычал фон Пах. — Ухитрился уснуть в этом хлеву… Говорят, что жизнь юристов кабинетная… Не кабинетная,

а собачья… Ишь ведь куда черти занесли! А мне, знаете ли, нравится наш сосед… как его?.. Шестеркин, что ли? Горячий, огневой…

— М-да… Лет через пять хорошим адвокатом будет… Есть у мальчика манера… Еще на губах молоко не обсохло, а уж говорит с завитушками и любит фейерверки пускать… Только напрасно он в своей речи Гамлета припутал.

Близкое соседство врагов и их хладнокровный, снисходительный тон душили Пятеркина. Его распирало от злости и стыда.

— Ас сахаром-то история… — ухмыльнулся фон Пах. — Сущая институтка! За что он на нас обиделся? Вы не знаете?

— А черт его знает…

Пятеркин не вынес. Он вскочил, открыл рот, чтобы сказать что-то, но мучения истекшего дня были уж слишком сильны: вместо слов из груди вырвался истерический плач.

— Что с ним? — ужаснулся фон Пах. — Голубчик, что с вами?

— Вы… вы больны? — вскочил Семечкин. — Что с вами? Денег у вас нет? Да что такое?

— Это низко… гадко! Целый день… целый день!

— Душенька моя, что гадко и низко? Осип Оси-

пыч, дайте воды! Ангел мой, в чем дело? Отчего вы сегодня такой сердитый? Вы, вероятно, защищали сегодня в первый раз? Да? Ну, так это понятно! Плачьте, милый… Я в свое время вешаться хотел, а плакать лучше, чем вешаться. Вы плачьте, оно легче будет.

— Гадко… мерзко!

— Да ничего гадкого не было! Все было так, как нужно. И говорили вы хорошо, и слушали вас хорошо. Мнительность, батенька! Помню, вышел я в первый раз на защиту. Штанишки рыжие, фрачишко музыкант одолжил. Сижу я, и кажется мне, что над моими штанишками публика смеется. И подсудимый-то, выходит, меня надул, и прокурор глумится, и сам-то я глуп. Чай, порешили уже адвокатуру к черту? Со всеми это бывает! Не вы первый, не вы последний. Недешево, батенька, первый дебют стоит!

— А кто издевался? Кто… глумился?

— Никто! Вам только казалось это! Всегда дебютантам это кажется. Вам не казалось ли также, что присяжные глядели вам в глаза презрительно? Да? Ну, так и есть. Выпейте, голубчик. Укройтесь.

Враги укрыли Пятеркина шубами и ухаживали за ним, как за ребенком, всю ночь. Страдания истекшего дня оказались пуфом.

У телефона

— Что вам угодно? — спрашивает женский голос.

— Соединить с «Славянским Базаром».

— Готово!

Через три минуты слышу звонок… Прикладываю трубку к уху в слышу звуки неопределенного характера: не то ветер дует, не то горох сыплется… Кто-то что-то лепечет…

— Есть свободные кабинеты? — спрашиваю я.

— Никого нет дома… — отвечает прерывистый детский голосок. — Папа и мама к Серафиме Петровне поехали, а у Луизы Францовны грипп.

— Вы кто? Из «Славянского Базара»?

— Я — Сережа… Мой папа доктор… Он принимает по утрам…

— Душечка, мне не доктор нужен, а «Славянский Базар»…

— Какой базар? (смех). Теперь я знаю, кто вы… Вы Павел Андреич… А мы от Кати письмо получили! (смех). Она на офицере женится… А вы когда же мне краски купите?

Я отхожу от телефона и минут через десять опять звоню…

— Соединить со «Славянским Базаром»! — прошу я.

— Наконец-то! — отвечает хриплый бас. — И Фукс с вами?

— Какой Фукс? Я прошу соединить со «Славянским Базаром»!!

— Вы в «Славянском Базаре»! Хорошо, приеду… Сегодня же и кончим наше дело… Я сейчас… Закажите мне, голубчик, порцию селянки из осетрины… Я еще не обедал…

«Тьфу! Черт знает что! — думаю я, отходя от телефона. — Может быть, я с телефоном обращаться не умею, путаю… Постой, как нужно? Сначала нужно эту штучку покрутить, потом эту штуку снять и приложить к уху… Ну-с, потом? Потом эту штуку повесить на эти штучки и повернуть три раза эту штучку… Кажется, так!»

Я опять звоню. Ответа нет. Звоню с остервенением, рискуя отломать штучку. В трубке шум, похожий на беготню мышей по бумаге…

— С кем говорю? — кричу я. — Отвечайте же! Громче!

— Мануфактура. Тимофея Ваксина сыновья…

— Покорнейше благодарю… Не нужно мне вашей мануфактуры…

— Вы Сычов? Миткаль вам уж послан…

Я вешаю трубку и опять начинаю экзаменовать себя: не путаю ли я? Прочитываю «правила», выкуриваю папиросу и опять звоню. Ответа нет…

«Должно быть, в «Славянском Базаре» телефон испортился, — думаю я. — Попробую поговорить с «Эрмитажем»…»

Вычитываю еще раз в правилах, как беседовать с центральной станцией, и звоню…

— Соедините с «Эрмитажем»! — кричу я. — С «Эрми-та-жем»!!

Проходит пять минут, десять… Терпение начинает мало-помалу лопаться, но вот — ура! — слышится звонок.

— С кем говорю? — спрашиваю я.

— Центральная станция…

— Тьфу! Соедините с «Эрмитажем»? Ради бога!

— С Феррейном?

— С «Эр-ми-та-жем»!!

— Готово…

«Ну, кажется, кончились мои мучения… — думаю я. — Уф, даже пот выступил!»

Звонок. Хватаюсь за трубку и взываю:

— Отдельные кабинеты есть?

— Папа и мама уехали к Серафиме Петровне, у Луизы Францовны грипп… Никого нет дома!

— Это вы, Сережа?

— Я… А вы кто? (смех)… Павел Андреич? Отчего вы у нас вчера не были? (смех). Папа китайские тени показывал… Надел мамину шляпу и представил Авдотью Николаевну…

Сережин голос вдруг обрывается и наступает тишина. Я вешаю трубку и звоню минуты три, до боли в пальцах.

— Соедините с «Эрмитажем»! — кричу я. — С рестораном, что на Трубной площади! Да вы слышите или нет?

— Отлично слышу-с… Но здесь не «Эрмитаж», а «Славянский Базар».

— Вы «Славянский Базар»?

— Точно так… «Славянский Базар»…

— Уф! Ничего не понимаю! У вас есть свободные кабинеты?

— Сейчас узнаю-с…

Проходит минута, другая… По трубке пробегает легкая голосовая дрожь… Я вслушиваюсь и ничего не понимаю…

— Отвечайте же: есть кабинеты?

— Да вам что нужно? — спрашивает женский голос.

— Вы из «Славянского Базара»?

— Из центральной станции…

(ПРОДОЛЖЕНИЕ ДО NEC PEUS ULTRA[157]).

[157] Примечания: 157
Донельзя, до крайних пределов *(лат.).*

Открытие

Навозну кучу разрывая,
Петух нашел жемчужное зерно…

Крылов

Инженер статский советник Бахромкин сидел у себя за письменным столом и, от нечего делать, настраивал себя на грустный лад. Не далее как сегодня вечером, на бале у знакомых, он нечаянно встретился с барыней, в которую лет 20–25 тому назад был влюблен. В свое время это была замечательная красавица, в которую так же легко было влюбиться, как наступить соседу на мозоль. Особенно памятны Бахромкину ее большие глубокие глаза, дно которых, казалось, было выстлано нежным голубым бархатом, и длинные золотисто-каштановые волосы, похожие на поле поспевшей ржи, когда оно волнуется в бурю перед грозой… Красавица была неприступна, глядела сурово, редко улыбалась, но зато, раз улыбнувшись, «пламя гаснущих свечей она улыбкой оживляла»… Теперь же это была худосочная, болтливая старушенция с кислыми глазами и

желтыми зубами… Фи!

«Возмутительно! — думал Бахромкин, водя машинально карандашом по бумаге. — Никакая злая воля не в состоянии так напакостить человеку, как природа. Знай тогда красавица, что со временем она превратится в такую чепуху, она умерла бы от ужаса…»

Долго размышлял таким образом Бахромкин и вдруг вскочил, как ужаленный…

— Господи Иисусе! — ужаснулся он. — Это что за новости? Я рисовать умею?!

На листе бумаги, по которому машинально водил карандаш, из-за аляповатых штрихов и каракуль выглядывала прелестная женская головка, та самая, в которую он был когда-то влюблен. В общем рисунок хромал, но томный, суровый взгляд, мягкость очертаний и беспорядочная волна густых волос были переданы в совершенстве…

— Что за оказия? — продолжал изумляться Бахромкин. — Я рисовать умею! Пятьдесят два года жил на свете, не подозревал в себе никаких талантов, и вдруг на старости лет — благодарю, не ожидал, — талант явился! Не может быть!

Не веря себе, Бахромкин схватил карандаш и около красивой головки нарисовал голову

старухи… Эта удалась ему так же хорошо, как и молодая…

— Удивительно! — пожал он плечами. — И как недурно, черт возьми! Каков? Стало быть, я художник! Значит, во мне призвание есть! Как же я этого раньше не знал? Вот диковина!

Найди Бахромкин у себя в старом жилете деньги, получи известие, что его произвели в действительные статские, он не был бы так приятно изумлен, как теперь, открыв в себе способность творить. Целый час провозился он у стола, рисуя головы, деревья, пожар, лошадей…

— Превосходно! Браво! — восхищался он. — Поучиться бы только технике, совсем бы отлично было.

Рисовать дольше и восхищаться помешал ему лакей, внесший в кабинет столик с ужином. Съевши рябчика и выпив два стакана бургонского, Бахромкин раскис и задумался… Вспомнил он, что за все 52 года он ни разу и не помыслил даже о существовании в себе какого-либо таланта. Правда, тяготение к изящному чувствовалось всю жизнь. В молодости он подвизался на любительской сцене, играл, пел, малевал декорации… Потом, до самой старости, он не переставал читать, любить театр, записывать на память

хорошие стихи… Острил он удачно, говорил хорошо, критиковал метко. Огонек, очевидно, был, но всячески заглушался суетою…

«Чем черт не шутит, — подумал Бахромкин, — может быть, я еще умею стихи и романы писать? В самом деле, что если бы я открыл в себе талант в молодости, когда еще не поздно было, и стал бы художником или поэтом? А?»

И перед его воображением открылась жизнь, не похожая на миллионы других жизней. Сравнивать ее с жизнями обыкновенных смертных совсем невозможно.

«Правы люди, что не дают *им* чинов и орденов… — подумал он. — Они стоят вне всяких рангов и капитулов…

Да и судить-то об их деятельности могут только избранные…»

Тут же, кстати, Бахромкин вспомнил случай из своего далекого прошлого… Его мать, нервная, эксцентричная женщина, идя однажды с ним, встретила на лестнице какого-то пьяного безобразного человека и поцеловала ему руку. «Мама, зачем ты это делаешь?» — удивился он. — «Это поэт!» — ответила она. И она, по его мнению, права… Поцелуй она руку генералу или сенатору, то это было бы лакейством, самоуничижением, ху-

же которого для развитой женщины и придумать нельзя, поцеловать же руку поэту, художнику или композитору — это естественно…

«Вольная жизнь, не будничная… — думал Бахромкин, идя к постели. — А слава, известность? Как я широко ни шагай по службе, на какие ступени ни взбирайся, а имя мое не пойдет дальше муравейника… У них же совсем другое… Поэт или художник спит или пьянствует себе безмятежно, а в это время незаметно для него в городах и весях зубрят его стихи или рассматривают картинки… Не знать их имен считается невоспитанностью, невежеством… моветонством…»

Окончательно раскисший Бахромкин опустился на кровать и кивнул лакею… Лакей подошел к нему и принялся осторожно снимать с него одежду за одеждой.

«М-да… необыкновенная жизнь… Про железные дороги когда-нибудь забудут, а Фидия и Гомера всегда будут помнить… На что плох Тредьяковский, и того помнят… Бррр… холодно!.. А что, если бы я сейчас был художником? Как бы я себя чувствовал?»

Пока лакей снимал с него дневную сорочку и надевал ночную, он нарисовал себе картину… Вот он, художник или поэт, темною ночью плетется

к себе домой… Лошадей у талантов не бывает; хочешь не хочешь, иди пешком… Идет он жалкенький, в порыжелом пальто, быть может, даже без калош… У входа в меблированные комнаты дремлет швейцар; эта грубая скотина отворяет дверь и не глядит… Там, где-то в толпе, имя поэта или художника пользуется почетом, но от этого почета ему ни тепло, ни холодно: швейцар не вежливее, прислуга не ласковее, домочадцы не снисходительнее… Имя в почете, но личность в забросе… Вот он, утомленный и голодный, входит наконец к себе в темный и душный номер… Ему хочется есть и пить, но рябчиков и бургонского — увы! — нет… Спать хочется ужасно, до того, что слипаются глаза и падает на грудь голова, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей… Воду наливай себе сам, раздевайся сам… ходи босиком по холодному полу… В конце концов он, дрожа, засыпает, зная, что у него нет сигар, лошадей… что в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем — чековой книжки…

Бахромкин покрутил головой, повалился в пружинный матрац и поскорее укрылся пуховым одеялом.

«Ну его к черту! — подумал он, нежась и сладко засыпая. — Ну его… к… черту… Хорошо, что я… в

молодости не тово... не открыл...»

Лакей потушил лампу и на цыпочках вышел.

Переполох

Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Кушкиных, где она жила в гувернантках, застала необыкновенный переполох. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как рак.

Сверху доносился шум.

«Вероятно, с хозяйкой припадок… — подумала Машенька, — или с мужем поссорилась…»

В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеич, маленький, еще не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Он был красен. Его передергивало… Не замечая гувернантки, он прошел мимо нее и, поднимая вверх руки, воскликнул:

— О, как это ужасно! Как бестактно! Как глупо, дико! Мерзко!

Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувство, которое так знакомо людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у

богатых и знатных. В ее комнате делали обыск. Хозяйка Федосья Васильевна, полная, плечистая дама с густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у ее стола и вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки… Очевидно, появление гувернантки было для нее неожиданно, так как, оглянувшись и увидев ее бледное, удивленное лицо, она слегка смутилась и пробормотала:

— Pardon[158], я… я нечаянно рассыпала… зацепила рукавом…

И, сказав еще что-то, мадам Кушкина зашуршала шлейфом и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодела от страха… Что Федосья Васильевна искала в ее сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала

---

[158] Примечания: 158
Извините *(франц.).*

гривенники и старые марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. Этажерка с книгами, поверхность стола, постель — все носило на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельем тоже. Белье было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оставила его Машенька, уходя из дому. Обыск, значит, был настоящий, самый настоящий, но к чему он, зачем? Что случилось? Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который все еще продолжался, заплаканную горничную; не имело ли все это связи с только что бывшим у нее обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и вся холодная опустилась на корзину с бельем.

В комнату вошла горничная.

— Лиза, вы не знаете, зачем это меня… обыскивали? — спросила у нее гувернантка.

— У барыни пропала брошка в две тысячи… — сказала Лиза.

— Да, но зачем же меня обыскивать?

— Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали… Нас раздевали всех догола и обыскивали… А я, барышня, вот как перед богом… Не то чтоб ихнюю брошку, но даже к туалету близко не подходила. Я и в полиции то же скажу.

— Но… зачем же меня обыскивать? — продолжала недоумевать гувернантка.

— Брошку, говорю, украли… Барыня сама своими руками все обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали. Чистый срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли! Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего.

— Но ведь это, Лиза, низко… оскорбительно! — сказала Машенька, задыхаясь от негодования. — Ведь это подлость, низость! Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах?

— В чужих людях живете, барышня, — вздохнула Лиза. — Хоть вы и барышня, а все же… как бы прислуга… Это не то, что у папаши с мамашей жить…

Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никогда еще над нею не совершали такого насилия, никогда еще ее так глубоко не оскорбляли, как теперь… Ее, благовоспитанную, чувствительную девицу, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину! Выше такого оскорбления, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страх: что теперь

будет!? В голову ее полезли всякие несообразности. Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть догола и обыскать, потом вести под конвоем по улице, засадить в темную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова. Кто вступится за нее? Родители ее живут далеко в провинции; чтобы приехать к ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать.

«Побегу ко всем судьям и защитникам… — думала Машенька, дрожа. — Я объясню им, присягну… Они поверят, что я не могу быть воровкой!»

Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежат сладости, которые она, по старой институтской привычке, прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли, что эта ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросило в жар, стало стыдно, и от всего этого — от страха, стыда, от обиды началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот.

— Пожалуйте кушать! — позвали Машеньку.

«Идти или нет?»

Машенька поправила прическу, утерлась мок-

рым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать… За одним концом стола сидела Федосья Васильевна, важная, с тупым, серьезным лицом, за другим — Николай Сергеич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках.

Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жеванье и стук ложек о тарелки.

Разговор начала сама хозяйка.

— Что у нас к третьему блюду? — спросила она у лакея томным, страдальческим голосом.

— Эстуржон а ля рюсс! — ответил лакей.

— Это, Феня, я заказал… — поторопился сказать Николай Сергеич. — Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, ma chere[159], то пусть не подают. Я ведь это так… между прочим…

Федосья Васильевна не любила кушаний, которые заказывала не она сама, и теперь глаза у нее наполнились слезами.

— Ну, перестанем волноваться, — сказал сладким голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка касаясь ее руки и улыбаясь также сладко. — Мы и без того достаточно нервны. Забудем

---

[159] Примечания: 159
Моя дорогая *(франц).*

о броши! Здоровье дороже двух тысяч!

— Мне не жалко двух тысяч! — ответила хозяйка, и крупная слеза потекла по ее щеке. — Меня возмущает самый факт! Я не потерплю в своем доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня — это такая неблагодарность! Так платят мне за мою доброту…

Все глядели в свои тарелки, но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на нее все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу.

— Pardon, — пробормотала она. — Я не могу. Голова болит. Уйду.

И она встала из-за стола, неловко гремя стулом и еще больше смущаясь, и быстро вышла.

— Бог знает что! — проговорил Николай Сергеич, морщась. — Нужно было делать у нее обыск! Как это, право… некстати.

— Я не говорю, что она взяла брошку, — сказала Федосья Васильевна, — но разве ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо верю этим ученым беднячкам.

— Право, Феня, некстати… Извини, Феня, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски.

— Я не знаю ваших законов. Я только знаю,

что у меня пропала брошка, вот и все. И я найду эту брошку! — она ударила по тарелке вилкой, и глаза у нее гневно сверкнули. — А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела!

Николай Сергеич кротко опустил глаза и вздохнул. Машенька между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину.

Лежа, она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить ею в лицо этой самодурке. Если бы бог дал, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния и если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню! О, если бы получить большое наследство, купить коляску и прокатить с шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала!

Но все это мечты, в действительности же оставалось только одно — поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего нет, но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты,

ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на своем мнимом аристократизме, опротивела ей до того, что кажется, все на свете стало грубо и неприглядно оттого, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.

— Можно войти? — спросил за дверью Николай Сергеич; он подошел к двери неслышно и говорил тихим, мягким голосом. — Можно?

— Войдите.

Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.

— Это что же? — спросил он, указывая на корзину.

— Укладываюсь. Простите, Николай Сергеич, но я не могу долее оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот обыск!

— Я понимаю… Только вы это напрасно… Зачем? Обыскали, а вы того… что вам от этого? Вас не убудет от этого.

Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергеич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать еще, и продолжал заискивающим голосом:

— Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная, нельзя судить строго…

Машенька молчала.

— Если уж вы так оскорблены, — продолжал Николай Сергеич, — то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините.

Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и лишнего человека даже у прислуги; и извинение его тоже ничего не значило.

— Гм… Молчите? Вам мало этого? В таком случае я за жену извиняюсь. От имени жены… Она поступила нетактично, я признаю, как дворянин…

Николай Сергеич прошелся, вздохнул и продолжал:

— Вам надо еще, значит, чтоб у меня ковыряло вот тут, под сердцем… Вам надо, чтобы меня совесть мучила…

— Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты, — сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами. — Зачем же вам мучиться?

— Конечно… Но вы все-таки того… не уезжайте… Прошу вас.

Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеич остановился у окна и забарабанил по стеклу.

— Для меня подобные недоразумения — это чистая пытка, — проговорил он. — Что же мне, на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать, но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы ее не щадите. Или хотите, чтоб я сказал вам то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чем даже перед смертью на духу не признаюсь?

Машенька молчала.

— Я взял у жены брошку! — быстро сказал Николай Сергеич. — Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я…

взял… Только, конечно, я надеюсь на вашу скромность… Ради бога, никому ни слова, ни полнамека!

Машенька, удивленная и испуганная, продолжала укладываться; она хватала свои вещи, мяла их и беспорядочно совала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеичем, она не могла

оставаться ни одной минуты и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом доме.

— И удивляться нечего… — продолжал Николай Сергеич, помолчав немного. — Обыкновенная история! Мне деньги нужны, а она… не дает. Ведь этот дом и все это мой отец наживал, Марья Андреевна! Все ведь это мое, и брошка принадлежала моей матери, и… все мое! А она забрала, завладела всем… Не судиться же мне с ней, согласитесь… Прошу вас, убедительно, извините и… и останьтесь. Tout comprendre, tout pardonner[160]. Остаетесь?

— Нет! — сказала Машенька решительно, начиная дрожать. — Оставьте меня, умоляю вас.

— Ну, бог с вами, — вздохнул Николай Сергеич, садясь на скамеечку около чемодана. — Я, признаться, люблю тех, кто еще умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел… Так, стало быть, не остаетесь? Я понимаю… Иначе и быть не может… Да, конечно… Вам-то хорошо, а вот мне так — тпррр!.. Ни на шаг из этого погреба. Поехать бы в какое-нибудь наше имение, да там везде сидят эти женины прохвосты… управляющие,

---

[160] Примечания: 160
Все понять, все простить *(франц.).*

агрономы, черт бы их взял. Закладывают, перезакладывают... Рыбы не ловить, травы не топтать, деревьев не ломать.

— Николай Сергеич! — послышался из залы голос Федосьи Васильевны. — Агния, позови барина!

— Так не остаетесь? — спросил Николай Сергеич, быстро поднимаясь и идя к двери. — А то бы остались, ей-богу. Вечерком я заходил бы к вам... толковали бы. А? Останьтесь! Уйдете вы, и во всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно!

Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло, но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел.

Через полчаса она была уже в дороге.

Беседа пьяного с трезвым чертом

Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лахматов, сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него черт… Но не пугайтесь, читательница. Вы знаете, что такое черт? Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки… Прическа à la Капуль. Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой… Вместо пальцев — когти, вместо ног — лошадиные копыта. Лахматов, увидев черта, несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился.

— С кем я имею честь говорить? — обратился он к непрошенному гостю.

Черт сконфузился и потупил глазки.

— Вы не стесняйтесь, — продолжал Лахматов. — Подойдите ближе… Я человек без предрассудков,

и вы можете говорить со мной искренно… по душе… Кто вы?

Черт нерешительно подошел к Лахматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился.

— Я черт, или дьявол… — отрекомендовался он. — Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии г. Сатаны!

— Слышал, слышал… Очень приятно. Садитесь! Не хотите ли водки? Очень рад… А чем вы занимаетесь?

Черт еще больше сконфузился…

— Собственно говоря, занятий у меня определенных нет… — ответил он, в смущении кашляя и сморкаясь в «Ребус». — Прежде, действительно, у нас было занятие…

Мы людей искушали… совращали их с пути добра на стезю зла… Теперь же это занятие, антрну-суади[161], и плевка не стоит…

Пути добра нет уже, не с чего совращать. И к тому же люди стали хитрее нас… Извольте-ка вы искусить человека, когда он в университете все науки кончил, огонь, воду и медные трубы прошел! Как я могу учить вас украсть рубль, ежели

---

[161] Примечания: 161
Между нами будь сказано (*франц,* entre nous soit dit).

вы уже без моей помощи тысячи цапнули?

— Это так… Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь?

— Да… Прежняя должность наша теперь может быть только номинальной, но мы все-таки имеем работу… Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала… В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся… Ни рожна мы в этом не смыслим… Многие из нас сотрудничают в «Ребусе», есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди… Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты, вообще очень дельные и уважаемые люди!

— Извините за нескромный вопрос: какое содержание вы получаете?

— Положение у нас прежнее-с… — ответил черт. — Штат нисколько не изменился… По-прежнему квартира, освещение и отопление казенные… Жалованья же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными и потому что черт — должность почетная… Вообще, откровенно говоря, плохо живется, хоть по миру иди… Спасибо людям, научили нас взятки брать, а то

бы давно уже мы переколели… Только и живем доходами… Поставляешь грешникам провизию, ну и… хапнешь… Сатана постарел, ездит все на Цукки смотреть, не до отчетности ему теперь…

Лахматов налил черту рюмку водки. Тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада, излил свою душу, поплакал и так понравился Лахматову, что тот оставил его даже у себя ночевать. Черт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез.

Глупый француз

Клоун из цирка братьев Гинц, Генри Пуркуа, зашел в московский трактир Тестова позавтракать.

— Дайте мне консоме! — приказал он половому.

— Прикажете с пашотом или без пашота?

— Нет, с пашотом слишком сытно… Две-три гренки, пожалуй, дайте…

В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины.

«Как, однако, много подают в русских ресторанах! — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. — Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?»

Сосед между тем помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в пять минут…

— Челаэк! — обернулся он к половому. — Подай еще порцию! Да что у вас за порции такие? Подай

сразу штук десять или пятнадцать! Дай балыка., семги, что ли?

«Странно… — подумал Пуркуа, рассматривая соседа. — Съел пять кусков теста и еще просит! Впрочем, такие феномены не составляют редкости… У меня у самого в Бретани был дядя Франсуа, который на пари съедал две тарелки супу и пять бараньих котлет… Говорят, что есть также болезни, когда много едят…»

Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Пуркуа, ел он их спеша, едва разжевывая, как голодный…

«Очевидно, болен… — подумал француз. — И неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и трех кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придется платить за всю гору!»

— Дай еще икры! — крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. — Не забудь зеленого луку!

«Но… однако, уж половины горы нет! — ужаснулся клоун. — Боже мой, он и всю семгу съел? Это даже неестественно… Неужели человеческий

желудок так растяжим? Не может быть! Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за пределы живота… Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги… Боже, уже нет горы!»

— Подашь бутылку Пюи… — сказал сосед, принимая от полового икру и лук. — Только погрей сначала… Что еще? Пожалуй, дай еще порцию блинов… Поскорей только…

— Слушаю… А на после блинов что прикажете?

— Что-нибудь полегче… Закажи порцию селянки из осетрины по-русски и… и… Я подумаю, ступай!

«Может быть, это мне снится? — изумился клоун, откидываясь на спинку стула. — Этот человек хочет умереть! Нельзя безнаказанно съесть такую массу! Да, да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть!»

Пуркуа подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шепотом:

— Послушайте, зачем вы так много ему подаете?

— То есть, э… э… они требуют-с! Как же не пода-

вать-с? — удивился половой.

— Странно, но ведь он таким образом может до вечера сидеть здесь и требовать! Если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите метрд'отелю, пригласите полицию!

Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел.

«Дикари! — возмутился про себя француз. — Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может съесть на лишний рубль! Ничего, что умрет человек, была бы только выручка!»

— Порядки, нечего сказать! — проворчал сосед, обращаясь к французу. — Меня ужасно раздражают эти длинные антракты! От порции до порции изволь ждать полчаса! Этак и аппетит пропадет к черту, и опоздаешь… Сейчас три часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обеде.

— Pardon, monsieur[162], — побледнел Пуркуа, — ведь вы уж обедаете!

— Не-ет… Какой же это обед? Это завтрак… блины…

Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку, поперчил кайенским перцем и

---

[162] Примечания: 162
Извините *(франц).*

стал хлебать…

«Бедняга… — продолжал ужасаться француз. — Или он болен и не замечает своего опасного состояния, или же он делает все это нарочно… с целью самоубийства… Боже мой, знай я, что наткнусь здесь на такую картину, то ни за что бы не пришел сюда! Мои нервы не выносят таких сцен!»

И француз с сожалением стал рассматривать лицо соседа, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари…

«По-видимому, человек интеллигентный, молодой… полный сил… — думал он, глядя на соседа. — Быть может, приносит пользу своему отечеству… и весьма возможно, что имеет молодую жену, детей… Судя по одежде, он должен быть богат; доволен… но что же заставляет его решаться на такой шаг?.. И неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть? Черт знает как дешево ценится жизнь! И как низок, бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь! Быть может, его еще можно спасти!»

Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу.

— Послушайте, monsieur, — обратился он к нему

тихим, вкрадчивым голосом. — Я не имею чести быть знаком с вами, но, тем не менее, верьте, я друг ваш… Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы еще молоды… у вас жена, дети…

— Я вас не понимаю! — замотал головой сосед, тараща на француза глаза.

— Ах, зачем скрытничать, monsieur? Ведь я отлично вижу! Вы так много едите, что… трудно не подозревать…

— Я много ем?! — удивился сосед. — Я?! Полноте… Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел?

— Но вы ужасно много едите!

— Да ведь не вам платить! Что вы беспокоитесь? И вовсе я не много ем! Поглядите, ем, как все!

Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов… За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру… с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин.

«О, страна чудес! — думал Пуркуа, выходя из ресторана. — Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса! О страна, чудная страна!»

Блины

Вы знаете, что блины живут уже более тысячи

лет, с самого, что называется, древле-славянского ab ovo…[163] Они появились на белый свет раньше русской истории, пережили ее всю от начала до последней странички, что лежит вне всякого сомнения, выдуманы так же, как и самовар, русскими мозгами… В антропологии они должны занимать такое же почтенное место, как трехсаженный папоротник или каменный нож; если же у нас до сих пор и нет научных работ относительно блинов, то это объясняется просто тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними…

Поддаются времена и исчезают мало-помалу на Руси древние обычаи, одежды, песни; многое уже исчезло и имеет только исторический интерес, а между тем такая чепуха, как блины, занимает в современном российском репертуаре такое же прочное и насиженное место, как и 1000 лет тому назад. Не видно и конца им и в будущем…

Принимая во внимание почтенную давность блинов и их необыкновенную, веками засвидетельствованную стойкость в борьбе с новаторством, обидно думать, что эти вкусные круги из теста служат только узким целям кулинарии и

---

[163] Примечания: 163
С яйца, с момента возникновения… *(лат.)*

благоутробия… Обидно и за давность и за примерную, чисто спартанскую стойкость… Право, кухня и чрево не стоят тысячи лет.

Что касается меня, то я почти уверен, что многоговорящие старики-блины, помимо кулинарии и чревоугодия, имеют и другие конечные цели… Кроме тяжелого, трудно переваримого теста, в них скрыто еще что-то более высшее, символическое, быть может, даже пророческое… Но что именно?

Не знаю и знать не буду. Это составляло и составляет поднесь глубокую, непроницаемую *женскую тайну,* до которой добраться так же трудно, как заставить смеяться медведя… Да, блины, их смысл и назначение — это тайна женщины, такая тайна, которую едва ли скоро узнает мужчина. Пишите оперетку!

Со времен доисторических русская женщина свято блюдет эту тайну, передавая ее из рода в род не иначе, как только через дочерей и внучек. Если, храни бог, узнает ее хоть один мужчина, то произойдет что-то такое ужасное, чего даже женщины не могут представить себе. Ни жена, ни сестра, ни дочь… ни одна женщина не выдаст вам этого секрета, как бы вы дороги ей ни были, как бы она низко ни пала. Купить или выменять

секрет невозможно. Его женщина не проронит ни в пылу страсти, ни в бреду. Одним словом, это единственная тайна, которая сумела в течение 1000 лет не просыпаться сквозь такое частое решето, как прекрасная половина!..

Как пекут блины? Неизвестно… Об этом узнает только отдаленное будущее, мы же, не рассуждая и не спрашивая, должны есть то, что нам подают… Это тайна!

Вы скажете, что и мужчины пекут блины… Да, но мужские блины не блины. Из их ноздрей дышит холодом, на зубах они дают впечатление резиновых калош, а вкусом далеко отстают от женских… Повара должны ретироваться и признать себя побежденными…

Печенье блинов есть дело исключительно женское… Повара должны давно уже понять, что это есть не простое поливание горячих сковород жидким тестом, а священнодействие, целая сложная система, где существуют свои верования, традиции, язык, предрассудки, радости, страдания… Да, страдания… Если Некрасов говорил, что русская женщина исстрадалась, то тут отчасти виноваты и блины…

Я не знаю, в чем состоит процесс печения блинов, но таинственность и торжественность,

которыми женщина обставила это священнодействие, мне несколько известны… Тут много мистического, фантастического и даже спиритического… Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень…

Во-первых, ни одна женщина, как бы она развита ни была, ни за что не начнет печь блины 13-го числа или под 13-е, в понедельник или под понедельник. В эти дни блины не удаются. Многие догадливые женщины, чтобы обойти это, начинают печь блины задолго до масленицы, таким образом домочадцы получают возможность есть блины и в масленичный понедельник и 13-го числа.

Во-вторых, накануне блинов всегда хозяйка о чем-то таинственно шепчется с кухаркой. Шепчутся и глядят друг на друга такими глазами, как будто сочиняют любовное письмо… После шептания посылают обыкновенно кухонного мальчишку Егорку в лавочку за дрожжами… Хозяйка долго потом смотрит на принесенные дрожжи, нюхает их и, как бы они идеальны ни были, непременно скажет:

— Эти дрожжи никуда не годятся. Поди, скверный мальчишка, скажи, чтобы тебе получше

дали…

Мальчишка бежит и приносит новые дрожжи… За сим берется большая черепяная банка и наливается водой, в которой распускаются дрожжи и немного муки… Когда дрожжи распустились, барыня и кухарка бледнеют, покрывают банку старой скатертью и ставят ее в теплое место.

— Смотри же, не проспи, Матрена… — шепчет барыня. — И чтоб у тебя банка все время в тепле стояла!

За сим следует беспокойная, томительная ночь. Обе, кухарка и барыня, страдают бессонницей, если же спят, то бредят и видят ужасные сны… Как вы, мужчины, счастливы, что не печете блинов!

Не успеет засереть за окном хмурое утро, как барыня, босая, разлохмаченная и в одной сорочке, бежит уже в кухню.

— Ну, что? Ну, как? — забрасывает она вопросами Матрену. — А? Отвечай!

А Матрена стоит уже у банки и сыплет в нее гречневую муку…

В-третьих, женщины строго следят за тем, чтобы кто-нибудь из посторонних или из домочадцев-мужчин не вошел в кухню в то время, когда там пекутся блины… Кухарки не пускают в это время даже пожарных. Нельзя ни входить,

ни глядеть, ни спрашивать… Если же кто-нибудь заглянет в черепяную банку и скажет: «Какое хорошее тесто!», то тогда хоть выливай — не удадутся блины! Что говорят во время печения блинов женщины, какие читают они заклинания — неизвестно.

Ровно за полчаса до того момента, когда тесто поливается на сковороды, красная и уже замученная кухарка льет в банку немного горячей воды или же теплого молока. Барыня стоит тут же, что-то хочет сказать, но под влиянием священного ужаса не может выговорить. А домочадцы в это время, в ожидании блинов, шагают по комнатам и, глядя на лицо то и дело бегающей в кухню хозяйки, думают, что в кухне родят или же, по меньшей мере, женятся.

Но вот, наконец, шипит первая сковорода, за ней другая, третья… Первые три блина — это макулатура, которую может съесть Егорка… зато четвертый, пятый, шестой и т. д. кладутся на тарелку, покрываются салфеткой и несутся в столовую к давно уже жаждущим и алчущим. Несет сама хозяйка, красная, сияющая, гордая… Можно думать, что у нее на руках не блины, а ее первенец.

Ну, чем вы объясните этот торжествующий

вид? К вечеру барыня и кухарка от утомления не могут ни стоять, ни сидеть. Вид у них страдальческий… Еще бы, кажется, немного, и они прикажут долго жить…

Такова внешняя сторона священнодействия. Если бы блины предназначались исключительно только для низменного чревоугодия, то, согласитесь, тогда непонятны были бы ни эта таинственность, ни описанная ночь, ни страдания… Очевидно, что-то есть, и это «что-то» тщательно скрыто.

Глядя на дам, следует все-таки заключить, что в будущем блинам предстоит решение какой-либо великой, мировой задачи.

О бренности
(Масленичная тема для проповеди)

Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины… Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина… Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, шатолароз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая семга и проч. Подтыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки… Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастьем…

— Ну, можно ли так долго? — поморщился он, обращаясь к жене. — Скорее, Катя!

Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами… Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и

аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной… Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился… Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот…

Но тут его хватил апоплексический удар.

Персона

«Вакансия на должность писца имеется в канцелярии г. Податного инспектора, на жалованье 250 руб. в год. Лица, окончившие по меньшей мере уездное училище или 3 кл. гимназии, должны обращаться письменно с приложением *своего жизнеописания*, адресуя прошение на имя г. Податного инспектора в д. Поджилкиной по Гусиной улице».

Прочитав в двадцатый раз это объявление, Миша Набалдашников, молодой человек с прыщеватым лбом, с носом красным от застарелого насморка, в брюках кофейного цвета, походил, подумал и сказал, обращаясь к своей мамаше:

— Кончил я не три класса гимназии, а четыре. Почерк у меня великолепнейший, хоть в писатели или в министры иди. Ну-с, а жалованье, сами видите, великолепное — 20 руб. в месяц! При нашей бедности я бы и за пять пошел! Что ни говорите, а место самое подходящее, лучше и не надо… Только вот одно тут скверно, мамаша: жизнеописание писать нужно!

— Ну, так что ж? Возьми и напиши…

— Легко сказать: напиши! Чтоб сочинить жиз-

неописание, нужно талант иметь, а как его без таланта напишешь? А написать как-нибудь, зря, пятое через десятое, сами понимаете, неловко. Тут ведь сочинение не учителю подавать, а при прошении, в канцелярию вместе с документами! Мало того, чтоб было на хорошей бумаге и чисто написано, нужно еще, чтоб хороший слог был… Конечно! А то как вы думали? Ежели этак со стороны поглядеть на податного инспектора Ивана Андреича, то он не важная шишка… Губернский секретарь, шесть лет без места ходил и по всем лавочкам должен, но ежели вникнуть, то не-е-т, мамаша, это персона, важная личность! Видали, что в объявлении сказано? «Адресуя прошение»… Проше-ние! А прошения ведь подаются только значительным лицам! Нам с вами или дяденьке Нилу Кузьмичу не подадут прошения!

— Это так… — согласилась мамаша. — А на что ему понадобилось твое жизнеописание?

— Этого не могу вам сказать… Должно быть, нужно!

Миша еще раз прочел объявление, заходил из угла в угол и отдался мечтам… Кто хоть раз в жизни сидел без места и томился от безделья, тот знает, как взбудораживают душу объявления вроде вышеписанного. Миша, с самой гимназии

не съевший ни одного куска без того, чтоб его не попрекнули в дармоедстве, щеголявший в старых брюках дяденьки Нила Кузьмича и выходивший на улицу только по вечерам, когда не видно было его рваных сапог и облезлого пиджака, воспрянул духом от одной только возможности получить место. 20 рублей в месяц — деньги не малые. Правда, на них лошадей не заведешь и свадьбы не сыграешь, но зато их вполне достаточно, чтобы в первый же месяц, как мечтал Миша, купить себе новые брюки, сапоги, фуражку, гармонийку и дать матери на провизию рублей 5–6. Как бы там ни было, маленькое жалованье гораздо лучше большого безденежья. Но Мишу не так занимали 20 рублей, как то блаженное время, когда мать перестанет колоть ему глаза его тунеядством и походя реветь, а дядюшка Нил Кузьмич прекратит свои нотации и клятвенные обещания выпороть племянника-дармоеда.

— Чем шморгать-то из угла в угол, — перебила его мечтания мамаша, — сел бы лучше да и сочинил…

— Не умею я, мамаша, сочинять, — вздохнул Миша. — Признаться, я уж раз пять садился за писанье, а ни черта у меня не выходит. Хочу писать по-умному, а выходит просто, словно тетке в

Кременчуг пишешь…

— Ничего, что просто… Инспектор не взыщет… За мои матерние молитвы и терпение господь смягчит его сердце: не рассердится, ежели что… Небось, и сам-то он в твои годы не бог весть как учен был!

— Пожалуй, еще попробую, только знаю, что опять ничего не выйдет… Хорошо, попробую…

Миша сел за стол, положил перед собой лист бумаги и задумался. После долгого таращенья глаз на потолок он взял перо и, раскачав кисть руки, как это делают все почитатели собственного почерка, начал: «Ваше высокоблагородие! Родился я в 1867 году в городе К. от отца Кирилла Никаноровича Набалдашникова и матери Наталии Ивановны. Отец мой служил на сахарном заводе купца Подгойского в конторщиках и получал 600 рублей в год. Потом он уволился и долго жил без места. Потом…»

Дальше отец спился и умер от пьянства, но это уж была семейная тайна, которую Мише не хотелось сообщать его высокоблагородию. Миша подумал немного, зачеркнул все написанное и, после некоторого размышления, написал снова то же самое…

«Потом он скончался, — продолжал он, — в

бедности, оплакиваемый женой и горячо любящим сыном, который у него был только я один, Михаил. Когда мне исполнилось 9 лет, меня отдали в приготовительный класс, за меня платил Подгойский, но когда отец уволился от него и он перестал за меня платить, я вышел из IV класса. Учился я посредственно, в I и III классе сидел по 2 года, но по чистописанию и поведению получал всегда пять». И т. д.

Исписал Миша целый лист. Писал он искренно, но бестолково, без всякого плана и хронологического порядка, повторяясь и путаясь. Вышло что-то размазанное, длинное и детски-наивное… Кончил Миша так: «Теперь же я живу на средства моей матери, которая не имеет никаких средств к жизни, а потому всепокорнейше прошу Ваше высокоблагородие, дайте мне место, чтоб я мог жить и кормить мою болезненную мать, которая тоже просит Вас. И извините за беспокойство» (Подпись).

На другой день, после долгих ломаний и застенчивой нерешительности, это жизнеописание было переписано начисто и вместе с документами отправлено по назначению, а через две недели Миша, истомившийся от ожиданий, дрожа всем телом, стоял в передней податного инспектора и

ждал гонорара за свое сочинение.

— Позвольте узнать, где здесь канцелярия? — спросил он, заглядывая из передней в большую, скудно меблированную комнату, где на диване лежал какой-то рыжий человек в туфлях и в летней крылатке вместо халата.

— А что вам нужно? — спросил рыжий человек.

— Тут я… две недели тому назад прошение подал… о месте писца… Могу я видеть г. инспектора?

— Это просто возмутительно… — пробормотал рыжий, придавая своему лицу страдальческое выражение и запахиваясь в крылатку. — Сто человек на день! Так и ходят, так и ходят! Да неужели, господа, у вас другого дела нет, как только мне мешать?

Рыжий вскочил, расставил ноги и сказал, отчеканивая каждое слово:

— Тысячу раз говорил уж я всем, что у меня писец есть! Есть, есть и есть! Пора уже перестать ходить! Уж есть у меня писец! Так всем и передайте!

— Виноват-с… — забормотал Миша. — Я не знал-с…

И, неловко поклонившись, Миша вышел… Го-

норар — увы и ах!

Отрава

На земле весь род людской…

и т. д.

Из арии Мефистофеля

Петр Петрович Лысов идеалист до конца ногтей, хотя и служит в банкирской конторе Куист и К°. Он поет жиденьким тенором, играет на гитаре, помадится и носит светлые брюки, а все это составляет признаки, по которым идеалиста можно отличить от материалиста за десять верст. На Любочке, дочери отставного капитана Кадыкина, он женился по самой страстной любви… Верите ли, он так любил свою невесту, что если бы ему предложили выбирать между миллионом и Любочкой, то он, не думая, остановился бы на последней… Черту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не преминул вмешаться.

Накануне свадьбы (черт зачертил именно с этого времени) капитан Кадыкин позвал к себе в кабинет Лысова и, взяв его любовно за пуговицу, сказал:

— Надо тебе заметить, любезный друг Петя, что я некоторым образом тово… Уговор лучше

денег… Чтобы потом, собственно говоря, не было никаких неудовольствий, надо нам заранее уговориться… Ты знаешь, я ведь за Любочкой не тово… ничего я за Любочкой не даю!

— Ах, не все ли это равно? — вспыхнул идеалист. — И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгах, а на девице!

— То-то… Я ведь это для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты все-таки знал… Человек я, конечно, не бедный, имею состояние, но ведь, сам видишь, у меня кроме Любочки еще пятеро… Так-то, друг милый Петя… Охохоххх… (капитан вздохнул). Оно, конечно, и тебе трудно будет, ну, да что делать! Крепись как-нибудь… В случае, ежели что-нибудь этакое… детородность, там, или другое какое событие, то могу помогать… Понемножку могу… Даже сейчас могу…

— Выдумали, ей-богу! — махнул рукой Лысов.

— Сейчас я могу тебе четыреста рублей одолжить… Больше, извини, хотел бы дать, но хоть режь!

Кадыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и подал ее Лысову.

— На, бери! — сказал он. — Ровно четыреста! Я бы и сам получил по этому исполнительному листу, да знаешь, возиться некогда, а ты когда

захочешь, тогда и получишь… Прямо без всякого стеснения ступай к доктору Клябову и получай… А ежели он зафордыбачится, то к судебному приставу…

Как ни отнекивался Лысов и как ни доказывал, что женится не на деньгах, а на девице, но кончил тем, что сложил вчетверо исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в карете с венчанья, Лысов держал Любочку за талию и говорил ей:

— Третьего дня ты плакала, что у нас в семейном очаге фортепиано не будет… Радуйся, Любубунчик! Я тебе за четыреста рублей пианино куплю…

После свадебного ужина, когда молодые остались одни, Лысов долго ходил из угла в угол, потом вдохновенно мотнул головой и сказал жене:

— Знаешь что, Люба? Не лучше ли нам подождать покупать пианино? А, как ты думаешь? Давай-ка мы сначала мебели купим! За четыреста рублей отличную меблировку можно завести! Так разукрасим комнаты, что чертям тошно будет! В ту комнату мы поставим диван и кресла с шелковой, знаешь, обивкой… Перед диваном, конечно, круглый стол с какой-нибудь этакой, черт ее побери, заковыристой лампой… Здесь

вот мы поставим мраморный рукомойник. Ву компрене?[164] Ха-ха… В этот промежуток мы втиснем гардероб или комод с туалетом… То есть, черт знает как хорошо все это выйдет!

— Нужно будет и занавески к окнам.

— Да, и занавески! Завтра же пойду к этому доктору! Только бы мне застать его, черта… Эти доктора народ жадный, имеют привычку чуть свет на практику выезжать… Уж ты извини, Люба, я завтра пораньше встану…

В восемь часов утра Лысов тихонько встал, оделся и отправился пешком к доктору Клябову. Без четверти в девять он уже стоял в докторской передней.

— Доктор дома? — спросил он горничную.

— Дома-с, но они спят и не скоро встанут-с.

От такого ответа лицо Лысова поморщилось и стало таким кислым, что горничная испугалась и сказала:

— Если он вам так нужен, то я могу его разбудить! Пожалуйте в кабинет!

Лысов снял шубу и вошел в кабинет…

«А хорошо живет каналья! — подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. — Одна

---

[164] Примечания: 164
Вы понимаете? *(франц.* Vous comprenez?)

софа, небось, рублей четыреста стоит…»

Минут через десять послышался отдаленный кашель, потом шаги, и в кабинет вошел доктор Клябов, неумытый, заспанный.

— Что у вас? — спросил он, садясь против Лысова.

— Я, г. доктор, собственно говоря, не болен, — начал идеалист, мило улыбаясь, — а пришел к вам по делу… Видите ли, я вчера женился и… мне очень нужны деньги… Вы меня премного обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу…

— По какому исполнительному листу? — вытаращил глаза доктор.

— А вот по этому… Я Лысов и женился на дочери Кадыкина. Я ему зять и он, то есть тесть, передал мне этот лист. То есть Кадыкин!

— Бог знает что! — махнул рукой Клябов, поднимаясь и делая плачущее лицо. — Я думал, что вы больны, а вы с ерундой какой-то… Это даже бессовестно с вашей стороны! Я сегодня в седьмом часу лег, а вы черт знает из-за чего будите! Порядочные люди уважают чужой покой… Мне даже совестно за вас!

— Виноват, я думал-с… — сконфузился Лысов, — я не знал-с…

И, видя, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал:

— А когда же прикажете за получением приходить?

— Никогда… Я этому Кадыкину уж тысячу раз говорил, чтобы он оставил меня в покое! Надоели!

Тон и обращение доктора сконфузили Лысова, но и озлили.

— В таком случае, — сказал он, — извините, я должен буду обратиться к судебному приставу и… наложить запрещение на ваше имущество!..

— Сколько угодно! Этот ваш Затыкин, или — как его? — Кадыкин знает, что имущество не мое, а женино.

Выйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости.

«Невежа! — думал он. — Скотина! Живет так богато, имеет практику и долгов не платит! Ну, постой же…»

Вечером, вместо того, чтобы ложиться спать, Лысов сел писать к доктору письмо… В этом письме он категорически и угрожая судебным приставом просил уведомить его, в какой день и час доктора можно застать дома. Не получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо…

Наконец, истратив попусту шесть городских марок, он возмутился и пошел к судебному приставу…

Пока он таким образом писал письма и делал визиты судебному приставу, время шло, и натура человеческая работала… Лысову скоро стало казаться, что четыреста рублей ему необходимы крайне, позарез, что удивительно, как это он мог ранее без них обходиться. Не говоря уж о меблировке, которую можно отложить на будущее, этими деньгами нужно уплатить прежние должишки, портному, в лавочку… Когда дней через десять после свадьбы Любочка попросила у Лысова пять рублей для кухарки, то тот сказал:

— Это уж я из докторских ей дам, а сейчас у меня нет… Знаешь что? Схожу-ка я сегодня к доктору! Попрошу его, чтоб он хоть по частям выплачивал. На это он наверное согласится!..

Придя к доктору, он застал у него в приемной много больных. Пришлось ожидать очереди. Прочитав все газеты, лежавшие на столе, и истомившись до сухоты в горле и нытья под ложечкой, он наконец вошел в кабинет доктора.

— Вы опять! — поморщился Клябов.

Лысов сел и чистосердечно объяснил доктору, как Кадыкин подарил ему исполнительный лист

и как нужны ему деньги.

— Вы можете мне по десяти рублей выплачивать… — кончил он. — Я и на это согласен!

— Вы, извините, просто психопат… — ухмыльнулся Клябов. — Кто же, скажите пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы?

— Я принял, потому что думал, что вы будете тово… добросовестны!

— Вот как! Не вам-с говорить о добросовестности! Вы знаете, откуда взялся этот долг? Когда я был студентом, то взял у вашего тестя только пятьдесят рублей, остальные же все проценты! И я не заплачу… По принципу не заплачу! Ни копейки!

Возвратился Лысов домой от доктора утомленный, злой.

— Не понимаю я твоего отца! — сказал он Любочке. — Ведь это низко, подло! Точно у него не нашлось для меня четырехсот рублей! Мне приданого не нужно, но я из принципа! Я теперь с твоим отцом и говорить не хочу… Скряга, грошовник! Назло вот поди и скажи ему, чтобы он взял свой глупый исполнительный лист и вместо него прислал мне четыреста рублей… Слышишь? Поди, так и скажи…

— Как же я ему скажу? Мне неловко, Петя.

— Ла… для тебя он, значит, дороже мужа! По-твоему, он прав? Я не взял с него ничего приданого, и он же еще прав!

Любочка заморгала глазами и заплакала.

— Начинается… — пробормотал Лысов. — Этого еще недоставало! Ну, пожалуйста, матушка, без этих штук! У меня чтоб этого не было! Меня, брат, этим не убедишь… не проймешь! Я этого не люблю! Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место! Слышишь?

И Лысов постучал по столу корешком книги… Этим стуком и завершился медовый месяц…

Мой разговор с почтмейстером

— Скажите, пожалуйста, Семен Алексеич, — обратился я к почтмейстеру, получая от него денежный пакет на один (1) рубль, — зачем это к денежным пакетам прикладывают пять печатей?

— Нельзя без этого… — ответил Семен Алексеич, значительно пошевелив бровями.

— Почему же?

— А потому… Нельзя!

— Видите ли, насколько я понимаю, эти печати требуют жертв как со стороны обывателей, так и со стороны правительства. Увеличивая вес пакета, они тем самым бьют по карману обывателя, отнимая же у чиновников время для их прикладывания, они наносят ущерб казначейству Если и приносят они кому-нибудь видимую пользу, то разве только сургучным фабрикантам…

— Надо же и фабрикантам чем-нибудь жить… — глубокомысленно заметил Семен Алексеич.

— Это так, но ведь фабриканты могли бы приносить пользу отечеству и на другом поприще… Нет, серьезно, Семен Алексеич, какой смысл имеют эти пять печатей? Нельзя же ведь думать, чтобы

они прикладывались зря! Имеют они значение символическое, пророческое, или иное какое? Если это не составляет государственной тайны, то объясните, голубчик!

Семен Алексеич подумал, вздохнул и сказал:

— М-да… Стало быть, без них нельзя, ежели их прикладывают!

— Почему же? Прежде, когда конверты были без подклейки, они, быть может, имели смысл как предохранительное средство от посягателей, теперь же…

— Вот видите! — обрадовался почтмейстер. — А нешто посягателей нет?

— Теперь же, — продолжал я, — у конвертов есть подклейка из гуммиарабика, который прочнее всякого сургуча. К тому же вы запаковываете пакеты во столько бумаг и тюков, что пробраться к ним трудно даже инфузории, а не то что вору. И от кого запечатывать, не понимаю! Публика у вас не ворует, а ежели который из ваших нижних чинов захочет посягнуть, так он и на печати не посмотрит. Сами знаете, печать снять и опять к месту приложить — раз плюнуть!

— Это верно… — вздохнул Семен Алексеич. — От своих воров не убережешься…

— Ну, вот видите! К чему же печати?

— Ежели во все входить… — протяжно произнес почтмейстер, — да обо всем думать, как, почему да зачем, так это мозги раскорячатся, а лучше делай так, как показано… Право!

— Это справедливо… — согласился я. — Но позвольте еще один вопрос… Вы специалист по почтовой части, а потому скажите, пожалуйста, отчего это, когда человек родится или женится, то не бывает таких процедур, как ежели он деньги отправляет или получает? Взять для примера хоть мою мамашу, которая посылала мне этот самый рубль. Вы думаете, ей это легко пришлось? Не-ет-с, легче ей еще пятерых детей произвесть, чем этот рубль посылать… Судите сами… Прежде всего ей нужно было пройти три версты на почту. На почте нужно долго стоять и ждать очереди. Цивилизация ведь не дошла еще на почте до стульев и скамей! Старушка стоит, а тут ей: «Погодите! Не толпитесь! Прошу не облокачиваться!»

— Без этого нельзя…

— Нельзя, но позвольте… Дождалась очереди, сейчас приемщик берет пакет, хмурится и бросает назад. «Вы, говорит, забыли написать «денежное»… Моя старушенция идет с почты в лавочку, чтоб написать там «денежное», из лавочки опять на почту ждать очереди… Ну-с, приемщик

опять берет пакет, считает деньги и говорит: «Ваш сургуч?» А у моей мамаши этого сургуча даже в воображении нет. Дома его держать не приходится, а в лавочке, сами знаете, гривенник за палочку стоит. Приемщик, конечно, обижается и начинает суслить пакет казенным сургучом. Такие печати-щи насуслит, что не лотами, а берковцами считать приходится. «Вашу, говорит, печатку!» А у моей мамаши, кроме наперстка да стальных очков — никакой другой мебели…

— Можно и без печатки…

— Но позвольте… Засим следуют весовые, страховые, за сургуч, за расписку, за… голова кружится! Чтобы рубль послать, непременно нужно с собой на всякий случай два иметь… Ну-с, рубль записывают в 20-ти книгах и, наконец, посылают… Получаете теперь вы его здесь, на своей почте. Вы первым делом его в 20-ти книгах записываете, пятью номерами номеруете и за десять замков прячете, словно разбойника какого или святотатца. Засим почтальон приносит мне от вас объявление, и я расписуюсь, что объявление получено такого-то числа. Почтальон уходит, а я начинаю ходить из угла в угол и роптать: «Ах, мамаша, мамаша! За что вы на меня прогневались? И за какую такую провинность вы мне этот

самый рубль прислали? Ведь теперь умрешь от хлопот!»

— А на родителей грех роптать! — вздохнул Семен Алексеич.

— То-то вот оно и есть! Грех, но как не возроптать? Тут дела по горло, а ты иди в полицию и удостоверяй личность и подпись… Хорошо еще, что удостоверение только 10–15 коп. стоит, — а что, если б за него рублей пять брали? И для чего, спрашивается, удостоверение? Вы, Семен Алексеич, меня отлично знаете… И в бане я с вами бывал, и чай пивали вместе, и умные разговоры разговаривали… Для чего же вам удостоверение моей личности?

— Нельзя, форма!.. Форма, сударь мой, это такой предмет, что… лучше и не связываться… Формалистика, одним словом!

— Но ведь вы меня знаете!

— Мало ли что! Я знаю, что это вы, ну… а вдруг это не вы? Кто вас знает! Может, вы инкогнито!

— И рассудили бы вы: какой мне расчет подделывать чужую подпись, чтоб украсть деньги? Ведь это подлог-с! Гораздо меньшее наказание, ежели я просто приду сюда к вам и хапну все пакеты из сундука… Нет-с, Семен Алексеич, за границей это дело проще поставлено. Там почта-

льон входит к вам и — «Вы такой-то? Получите деньги!»

— Не может этого быть… — покачал головой почтмейстер.

— Вот вам и не может быть! Там все зиждется на взаимном доверии… Я вам доверяю, вы мне… Намедни приходит ко мне квартальный надзиратель получать судебные издержки… Ведь я же не потребовал от него удостоверения личности, а так ему деньги отдал! Мы, обыватели, не требуем с вас, а вы…

— Ежели во все вникать, — перебил меня Семен Алексеич, грустно усмехаясь, — да ежели все решать, как, что, почему да зачем, так, по-моему, лучше…

Почтмейстер не договорил, махнул рукой и, подумав немного, сказал:

— Не нашего ума это дело!

О женщинах

Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и злокачественным. Она стоит на таком низком уровне физического, нравственного и умственного развития, что судить ее и зубоскалить над ее недостатками считает себя вправе всякий, даже лишенный всех прав прохвост и сморкающийся в чужие платки губошлеп.

Анатомическое строение ее стоит ниже всякой критики. Когда какой-нибудь солидный отец семейства видит изображение женщины «о натюрель», то всегда брезгливо морщится и сплевывает в сторону. Иметь подобные изображения на виду, а не в столе или у себя в кармане, считается моветонством. Мужчина гораздо красивее женщины. Как бы он ни был жилист, волосат и угреват, как бы ни был красен его нос и узок лоб, он всегда снисходительно смотрит на женскую красоту и женится не иначе, как после строгого выбора. Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина.

Один отставной поручик, обокравший тещу и

щеголявший в женихах полусапожках, уверял, что если человек произошел от обезьяны, то сначала от этого животного произошла женщина, а потом уж мужчина. Титулярный советник Слюнкин, от которого жена запирала водку, часто говаривал: «Самое ехидное насекомое в свете есть женский пол».

Ум женщины никуда не годится. У нее волос долог, но ум короток; у мужчины же наоборот. С женщиной нельзя потолковать ни о политике, ни о состоянии курса, ни о чиншевиках. В то время, когда гимназист III класса решает уже мировые задачи, а коллежские регистраторы изучают книгу «30 000 иностранных слов», умные и взрослые женщины толкуют только о модах и военных.

Логика женщины вошла в поговорку. Когда какой-нибудь надворный советник Анафемский или департаментский сторож Дорофей заводят речь о Бисмарке или о пользе наук, то любо послушать их: приятно и умилительно; когда же чья-нибудь супруга, за неимением других тем, начинает говорить о детях или пьянстве мужа, то какой супруг воздержится, чтобы не воскликнуть: «Затарантила таранта! Ну, да и логика же, господи, прости ты меня грешного!» Изучать науки женщина неспособна. Это явствует уже из

одного того, что для нее не заводят учебных заведений. Мужчины, даже идиот и кретин, могут не только изучать науки, но даже и занимать кафедры, но женщина — ничтожество ей имя! Она не сочиняет для продажи учебников, не читает рефератов и длинных академических речей, не ездит на казенный счет в ученые командировки и не утилизирует заграничных диссертаций. Ужасно неразвита! Творческих талантов у нее — ни капли. Не только великое и гениальное, но даже пошлое и шантажное пишется мужчинами, ей же дана от природы только способность заворачивать в творения мужчин пирожки и делать из них папильотки.

Она порочна и безнравственна. От нее идет начало всех зол. В одной старинной книге сказано: «Mulier est malleus, per quem diabolus mollit et malleat univer sum mundum»[165]. Когда диаволу приходит охота учинить какую-нибудь пакость или каверзу, то он всегда норовит действовать через женщин. Вспомните, что из-за Бель Элен вспыхнула Троянская война, Мессалина совратила с пути истины не одного паиньку… Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только

[165] Примечания: 165

«Женщина это молот, которым дьявол размягчает и молотит весь мир» *(лат).*

потому, что на это толкают их жены. Это совершенно верно. Пропивают, в винт проигрывают и на Амалий тратят чиновники только жалованье… Имущества антрепренеров, казенных подрядчиков и секретарей теплых учреждений всегда записаны на имя жены. Распущена женщина донельзя. Каждая богатая барыня всегда окружена десятками молодых людей, жаждущих попасть к ней в альфонсы. Бедные молодые люди!

Отечеству женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов.

Короче, она лукава, болтлива, суетна, лжива, лицемерна, корыстолюбива, бездарна, легкомысленна, зла… Только одно и симпатично в ней, а именно то, что она производит на свет таких милых, грациозных и ужасно умных душек, как мужчины… За эту добродетель простим ей все ее грехи. Будем к ней великодушны все, даже кокотки в пиджаках и те господа, которых бьют в клубах подсвечниками по мордасам.

Знакомый мужчина

Прелестнейшая Ванда, или, как она называлась в паспорте, почетная гражданка Настасья Канавкина, выписавшись из больницы, очутилась в положении, в каком она раньше никогда не бывала: без приюта и без копейки денег. Как быть?

Она первым делом отправилась в ссудную кассу и заложила там кольцо с бирюзой — единственную свою драгоценность. Ей дали за кольцо рубль, но... что купишь за рубль? За эти деньги не купишь ни модной, короткой кофточки, ни высокой шляпы, ни туфель бронзового цвета, а без этих вещей она чувствовала себя точно голой. Ей казалось, что не только люди, но даже лошади и собаки глядят на нее и смеются над простотой ее платья. И думала она только о платье, вопрос же о том, что она будет есть и где будет ночевать, не тревожил ее нисколько.

«Хоть бы мужчину знакомого встретить... — думала она. — Я взяла бы денег... Мне ни один не откажет, потому что...»

Но знакомые мужчины не встречались. Их не трудно встретить вечером в «Ренессансе», но в «Ренессанс» не пустят в этом простом платье и

без шляпы. Как быть? После долгого томления, когда уже надоело и ходить, и сидеть, и думать, Ванда решила пуститься на последнее средство: сходить к какому-нибудь знакомому мужчине прямо на квартиру и попросить денег.

«К кому бы сходить? — размышляла она. — К Мише нельзя — семейный… Рыжий старик теперь на службе…»

Ванда вспомнила о зубном враче Финкеле, выкресте, который месяца три назад подарил ей браслет и которому она однажды за ужином в Немецком клубе вылила на голову стакан пива. Вспомнив про этого Финкеля, она ужасно обрадовалась.

«Он наверное даст, лишь бы только мне дома его застать… — думала она, идя к нему. — А не даст, так я у него там все лампы перебью».

Когда она подходила к двери зубного врача, у нее уже был готов план: она со смехом взбежит по лестнице, влетит к врачу в кабинет и потребует 25 рублей… Но когда она взялась за звонок, этот план как-то сам собою вышел из головы. Ванда вдруг начала трусить и волноваться, чего с ней раньше никогда не бывало. Она бывала смела и нахальна только в пьяных компаниях, теперь же, одетая в обыкновенное платье, очутившись

в роли обыкновенной просительницы, которую могут не принять, она почувствовала себя робкой и приниженной. Ей стало стыдно и страшно.

«Может быть, он уж забыл про меня… — думала она, не решаясь дернуть за звонок. — И как я пойду к нему в таком платье? Точно нищая или мещанка какая-нибудь…»

И нерешительно позвонила.

За дверью послышались шаги; это был швейцар.

— Доктор дома? — спросила она.

Теперь ей приятнее было бы, если бы швейцар сказал «нет», но тот, вместо ответа, впустил ее в переднюю и снял с нее пальто. Лестница показалась ей роскошной, великолепной, но из всей роскоши ей прежде всего бросилось в глаза большое зеркало, в котором она увидела оборвашку без высокой шляпы, без модной кофточки и без туфель бронзового цвета. И Ванде казалось странным, что теперь, когда она была бедно одета и походила на швейку или прачку, в ней появился стыд и уж не было ни наглости, ни смелости, и в мыслях она называла себя уже не Вандой, а как раньше, Настей Канавкиной…

— Пожалуйте! — сказала горничная, провожая ее в кабинет. — Доктор сейчас… Садитесь.

Ванда опустилась в мягкое кресло.

«Так и скажу: дайте взаймы! — думала она. — Это прилично, потому что ведь он знаком со мной. Только вот если б горничная вышла отсюда. При горничной неловко… И зачем она тут стоит?»

Минут через пять отворилась дверь и вошел Финкель, высокий черномазый выкрест с жирными щеками и с глазами навыкате. Щеки, глаза, живот, толстые бедра — все это у него было так сыто, противно, сурово. В «Ренессансе» и в Немецком клубе он обыкновенно бывал навеселе, много тратил там на женщин и терпеливо сносил их шутки (например, когда Ванда вылила ему на голову пиво, то он только улыбнулся и погрозил пальцем); теперь же он имел хмурый, сонный вид и глядел важно, холодно, как начальник, и что-то жевал.

— Что прикажете? — спросил он, не глядя на Ванду.

Ванда поглядела на серьезное лицо горничной, на сытую фигуру Финкеля, который, по-видимому, не узнавал ее, и покраснела…

— Что прикажете? — повторил зубной врач уже с раздражением.

— Зу… зубы болят… — прошептала Ванда.

— Ага… Какие зубы? Где?

Ванда вспомнила, что у нее есть один зуб с дуплом.

— Внизу направо… — сказала она.

— Гм!.. Раскрывайте рот.

Финкель нахмурился, задержал дыхание и стал рассматривать больной зуб.

— Больно? — спросил он, ковыряя в зубе какой-то железкой.

— Больно… — солгала Ванда. — «Напомнить ему, — думала она, — так он наверное бы узнал… Но… горничная! Зачем она тут стоит?»

Финкель вдруг засопел, как паровоз, прямо ей в рот и сказал:

— Я не советую вам плюмбуровать его… Из етова зуба вам никакого пользы, все равно.

Поковыряв еще немножко в зубе и опачкав губы и десны Ванды табачными пальцами, он опять задержал дыхание и полез ей в рот с чем-то холодным… Ванда вдруг почувствовала страшную боль, вскрикнула и схватила за руку Финкеля.

— Ничего, ничего… — бормотал он. — Вы не пугайтесь… Из этим зубом вам все равно мало толку. Надо быть храброй.

И табачные, окровавленные пальцы поднесли к ее глазам вырванный зуб, а горничная подошла и подставила к ее рту чашку.

— Дома вы холодной водой рот полоскайте… — сказал Финкель, — и тогда кровь остановится…

Он стоял перед ней в позе человека, который ждет, когда же наконец уйдут, оставят его в покое…

— Прощайте… — сказала она, поворачиваясь к двери.

— Гм!.. А кто же мне заплатит за работу? — спросил смеющимся голосом Финкель.

— Ах, да… — вспомнила Ванда, покраснела и подала выкресту рубль, вырученный ею за кольцо с бирюзой.

Выйдя на улицу, она чувствовала еще больший стыд, чем прежде, но теперь уж ей было стыдно не бедности. Она уже не замечала, что на ней нет высокой шляпы и модной кофточки. Шла она по улице, плевала кровью, и каждый красный плевок говорил ей об ее жизни, нехорошей, тяжелой жизни, о тех оскорблениях, какие она переносила и еще будет переносить завтра, через неделю, через год — всю жизнь, до самой смерти…

— О, как это страшно! — шептала она. — Как ужасно, боже мой!

Впрочем, на другой день она уже была в «Ренессансе» и танцевала там. На ней была новая, громадная, красная шляпа, новая модная кофточ-

ка и туфли бронзового цвета. И ужином угощал ее молодой купец, приезжий из Казани.

Литературная табель о рангах

Если всех живых русских литераторов, соответственно их талантам и заслугам, произвести в чины, то:

Действительные тайные советники (вакансия).

Тайные советники: Лев Толстой, Гончаров.

Действительные статские советники: Салтыков-Щедрин, Григорович.

Статские советники: Островский, Лесков, Полонский.

Коллежские советники: Майков, Суворин, Гаршин, Буренин, Сергей Максимов, Глеб Успенский, Катков, Пыпин, Плещеев.

Надворные советники: Короленко, Скабичевский, Аверкиев, Боборыкин, Горбунов, гр. Салиас, Данилевский, Муравлин, Василевский, Надсон, Н. Михайловский.

Коллежские асессоры: Минаев, Мордовцев, Авсеенко, Незлобии, А. Михайлов, Пальмин, Трефолев, Петр Вейнберг, Салов.

Титулярные советники: Альбов, Баранцевич, Михневич, Златовратский, Шпажинский, Сергей Атава, Чуйко, Мещерский, Иванов-Классик, Вас.

Немирович-Данченко.

Коллежские секретари: Фруг, Апухтин, Вс. Соловьев, В. Крылов, Юрьев, Голенищев-Кутузов, Эртель, К. Случевский.

Губернские секретари: Нотович, Максим Белинский, Невежин, Каразин, Венгеров, Нефедов.

Коллежские регистраторы: Минский, Трофимов, Ф. Берг, Мясницкий, Линев, Засодимский, Бажин.

Не имеющий чина: Окрейц.

Счастливчик

Со станции Бологое, Николаевской железной дороги, трогается пассажирский поезд. В одном из вагонов второго класса «для курящих», окутанные вагонными сумерками, дремлют человек пять пассажиров. Они только что закусили и теперь, прикорнув к спинкам диванов, стараются уснуть. Тишина.

Отворяется дверь, и в вагон входит высокая, палкообразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто, сильно напоминающая опереточных и жюль-верновских корреспондентов.

Фигура останавливается посреди вагона, сопит и долго щурит глаза на диваны.

— Нет, и это не тот! — бормочет она. — Черт знает что такое! Это просто возмутительно! Нет, не тот!

Один из пассажиров всматривается в фигуру и издает радостный крик:

— Иван Алексеевич! Какими судьбами? Это вы?

Палкообразный Иван Алексеевич вздрагивает, тупо глядит на пассажира и, узнав его, весело всплескивает руками.

— Га! Петр Петрович! — говорит он. — Сколько зим, сколько лет! А я и не знал, что вы в этом поезде едете.

— Живы, здоровы?

— Ничего себе, только вот, батенька, вагон свой потерял и никак теперь его не найду, этакая я идиотина! Пороть меня некому!

Палкообразный Иван Алексеевич покачивается и хихикает.

— Бывают же такие случаи! — продолжает он. — Вышел я после второго звонка коньяку выпить. Выпил, конечно. Ну, думаю, так как станция следующая еще далеко, то не выпить ли и другую рюмку. Пока я думал и пил, тут третий звонок… я, как сумасшедший, бегу и вскакиваю в первый попавшийся вагон. Ну, не идиотина ли я? Не курицын ли сын?

— А вы, заметно, в веселом настроении, — говорит Петр Петрович. — Подсаживайтесь-ка! Честь и место!

— Ни-ни… пойду свой вагон искать! Прощайте!

— В потемках вы, чего доброго, с площадки свалитесь. Садитесь, а когда подъедем к станции, вы и найдете свой вагон. Садитесь!

Иван Алексеевич вздыхает и нерешительно садится против Петра Петровича. Он, видимо,

возбужден и двигается, как на иголках.

— Куда едете? — спрашивает Петр Петрович.

— Я? В пространство. Такое у меня в голове столпотворение, что я и сам не разберу, куда я еду. Везет судьба, ну и еду. Ха-ха… Голубчик, видали ли вы когда-нибудь счастливых дураков? Нет? Так вот глядите! Перед вами счастливейший из смертных! Да-с! Ничего по моему лицу не заметно?

— То есть заметно, что… вы того… чуточку.

— Должно быть, у меня теперь ужасно глупое лицо! Эх, жалко, зеркала нет, поглядел бы на свою мордолизацию! Чувствую, батенька, что идиотом становлюсь. Честное слово! Ха-ха… Я, можете себе представить, брачное путешествие совершаю. Ну, не курицын ли сын?

— Вы? Разве вы женились?

— Сегодня, милейший! Повенчался и прямо на поезд.

Начинаются поздравления и обычные вопросы.

— Ишь ты… — смеется Петр Петрович. — То-то вы франтом таким разрядились.

— Да-с… Для полной иллюзии даже духами попрыскался. По уши ушел в суету! Ни забот, ни мыслей, а одно только ощущение чего-то

этакого… черт его знает, как его и назвать… благодушия, что ли? Отродясь еще так себя великолепно не чувствовал!

Иван Алексеевич закрывает глаза и крутит головой.

— Возмутительно счастлив! — говорит он. — Да вы сами посудите. Пойду я сейчас в свой вагон. Там, на диванчике, около окошка сидит существо, которое, так сказать, всем своим существом предано вам. Этакая блондиночка с носиком… с пальчиками… Душечка моя! Ангел ты мой! Пупырчик ты этакий! Филлоксера души моей! А ножка! Господи! Ножка ведь не то, что вот наши ножищи, а что-то этакое миниатюрное, волшебное… аллегорическое! Взял бы да так и съел эту ножку! Э, да вы ничего не понимаете! Ведь вы материалисты, сейчас у вас анализ, то да се! Сухие холостяки, и больше ничего! Вот когда женитесь, то вспомните! Где-то теперь, скажете, Иван Алексеевич? Да-с, так вот пойду я сейчас в свой вагон. Там уж меня с нетерпением ждут… предвкушают мое появление. Навстречу мне улыбка. Я подсаживаюсь и этак двумя пальчиками за подбородочек…

Иван Алексеевич крутит головой и закатывается счастливым смехом.

— Потом кладешь свою башку ей на плечико и обхватываешь рукой талию. Кругом, знаете ли, тишина… поэтический полумрак. Весь бы мир обнял в эти минуты. Петр Петрович, позвольте мне вас обнять!

— Сделайте одолжение.

Приятели при дружном смехе пассажиров обнимаются, и счастливый новобрачный продолжает:

— А для большего идиотства или, как там в романах говорят, для большей иллюзии, пойдешь к буфету и опрокидонтом рюмочки две-три. Тут уж в голове и в груди происходит что-то, чего и в сказках не вычитаешь. Человек я маленький, ничтожный, а кажется мне, что и границ у меня нет… Весь свет собой обхватываю!

Пассажиры, глядя на пьяненького, счастливого новобрачного, заражаются его весельем и уж не чувствуют дремоты. Вместо одного слушателя около Ивана Алексеевича скоро появляется уж пять. Он вертится, как на иголках, брызжет, машет руками и болтает без умолку. Он хохочет, и все хохочут.

— Главное, господа, поменьше думать! К черту все эти анализы… Хочется выпить, ну и пей, а нечего там философствовать, вредно это или

полезно… Все эти философии и психологии к черту!

Через вагон проходит кондуктор.

— Милый человек, — обращается к нему новобрачный, — как будете проходить через вагон № 209, то найдите там даму в серой шляпке с белой птицей и скажите ей, что я здесь!

— Слушаю. Только в этом поезде нет 209 №. Есть 219!

— Ну, 219! Все равно! Так и скажите этой даме: муж цел и невредим!

Иван Алексеевич хватает вдруг себя за голову и стонет:

— Муж… Дама… Давно ли это? Муж… Ха-ха… Пороть тебя нужно, а ты — муж! Ах, идиотина! Но она! Вчера еще была девочкой… козявочкой… Просто не верится!

— В наше время даже как-то странно видеть счастливого человека, — говорит один из пассажиров. — Скорей белого слона увидишь.

— Да, а кто виноват? — говорит Иван Алексеевич, протягивая свои длинные ноги с очень острыми носками. — Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты! Да-с, а вы как думали? Человек есть сам творец своего собственного счастия. Захотите, и вы будете счастливы, но вы ведь

не хотите. Вы упрямо уклоняетесь от счастья!

— Вот те на! Каким образом?

— Очень просто!.. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Настал этот период, ну и люби во все лопатки, а вы ведь не слушаетесь природы, все чего-то ждете. Далее… В законе сказано, что нормальный индивидуй должен вступить в брак… Без брака счастья нет. Приспело время благоприятное, ну и женись, нечего канителить… Но ведь вы не женитесь, все чего-то ждете! Засим в писании сказано, что вино веселит сердце человеческое… Если тебе хорошо и хочется, чтобы еще лучше было, то, стало быть, иди в буфет и выпей. Главное — не мудрствовать, а жарить по шаблону! Шаблон великое дело!

— Вы говорите, что человек творец своего счастия. Какой к черту он творец, если достаточно больного зуба или злой тещи, чтоб счастье его полетело вверх тормашкой? Все зависит от случая. Случись сейчас с нами кукуевская катастрофа, вы другое бы запели…

— Чепуха! — протестует новобрачный. — Катастрофы бывают только раз в год. Никаких случаев я не боюсь, потому что нет предлога случаться этим случаям. Редки случаи! Ну их к черту! И

говорить даже о них не хочу! Ну, мы, кажется, к полустанку подъезжаем.

— Вы теперь куда едете? — спрашивает Петр Петрович. — В Москву или куда-нибудь южнее?

— Здравствуйте! Как же это я, едучи на север, попаду куда-нибудь южнее?

— Но ведь Москва не на севере.

— Знаю, но ведь мы сейчас едем в Петербург! — говорит Иван Алексеевич.

— В Москву мы едем, помилосердствуйте!

— То есть как же в Москву? — изумляется новобрачный.

— Странно… Вы куда билет взяли?

— В Петербург.

— В таком случае поздравляю. Вы не на тот поезд попали.

Проходит полминуты молчания. Новобрачный поднимается и тупо обводит глазами компанию.

— Да, да, — поясняет Петр Петрович. — В Бологом вы не в тот поезд вскочили… Вас, значит, угораздило после коньяку во встречный поезд попасть.

Иван Алексеевич бледнеет, хватает себя за голову и начинает быстро шагать по вагону.

— Ах, я идиотина! — негодует он. — Ах, я подлец, чтобы меня черти съели! Ну, что я теперь

буду делать? Ведь в том поезде жена! Она там одна, ждет, томится! Ах, я шут гороховый!

Новобрачный падает на диван и ежится, точно ему наступили на мозоль.

— Несчастный я человек! — стонет он. — Что же я буду делать? Что?

— Ну, ну… — утешают его пассажиры. — Пустяки… Вы телеграфируйте вашей жене, а сами постарайтесь сесть по пути в курьерский поезд. Таким образом вы ее догоните.

— Курьерский поезд! — плачет новобрачный, «творец своего счастья». — А где я денег возьму на курьерский поезд? Все мои деньги у жены!

Пошептавшись, смеющиеся пассажиры делают складчину и снабжают счастливца деньгами.

Рисунки Николая Павловича Чехова

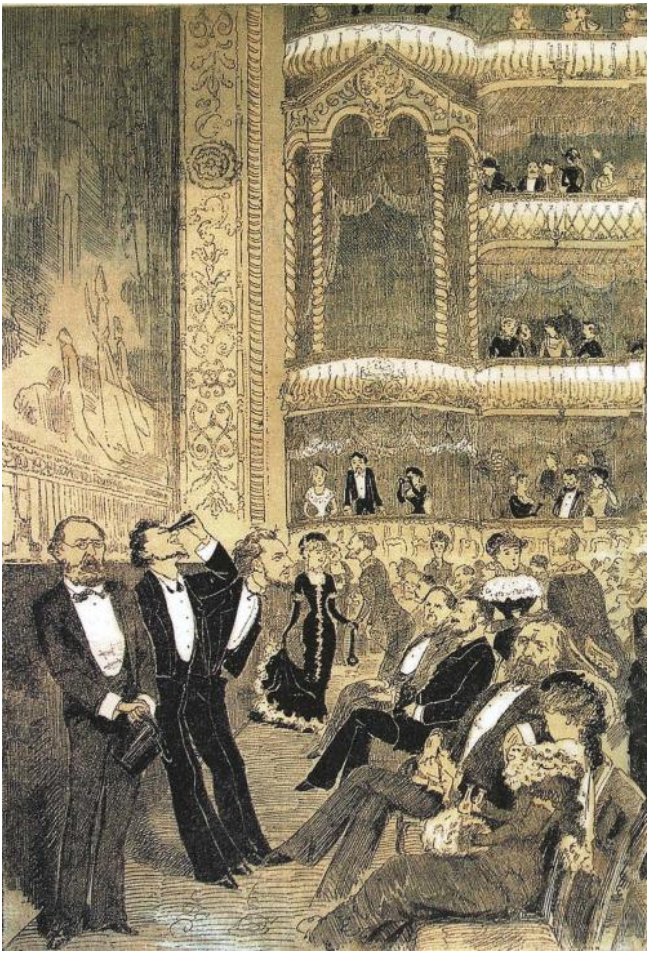


На пороге, подняв голову, стояла княгиня, крас-

ная, дрожащая от гнева и стыда… Минуты две длилось молчание.

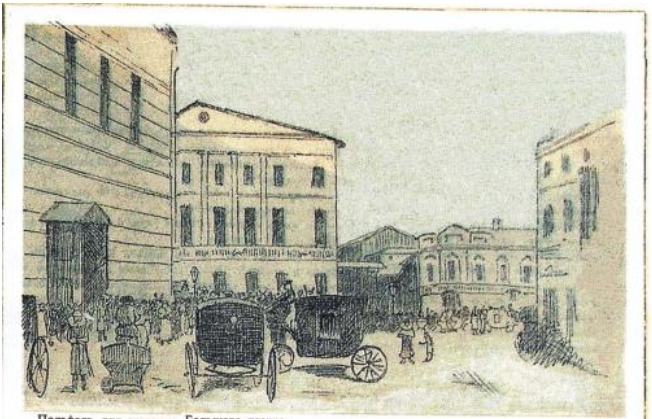
— Дочь князя, — заговорила княгиня, — и невеста князя ходит на свидания с поручиком!? С Евграшкой! Мерзкая!

«После свидания». Рисунок к рассказу А. П. Чехова «Зеленая коса»

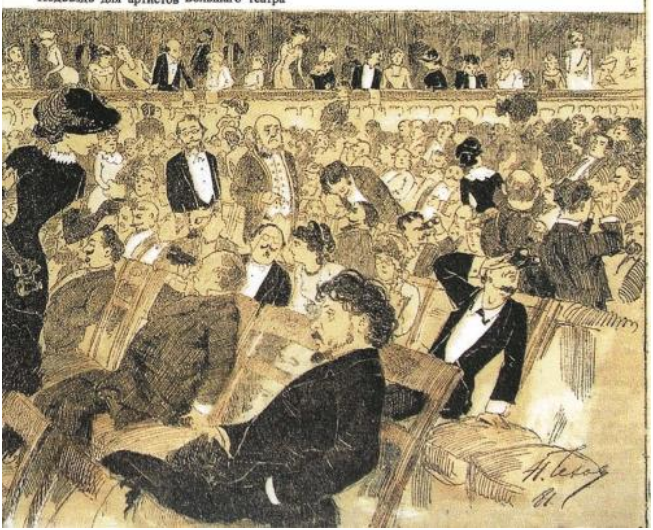


Журнал «Москва», 1882, № 15

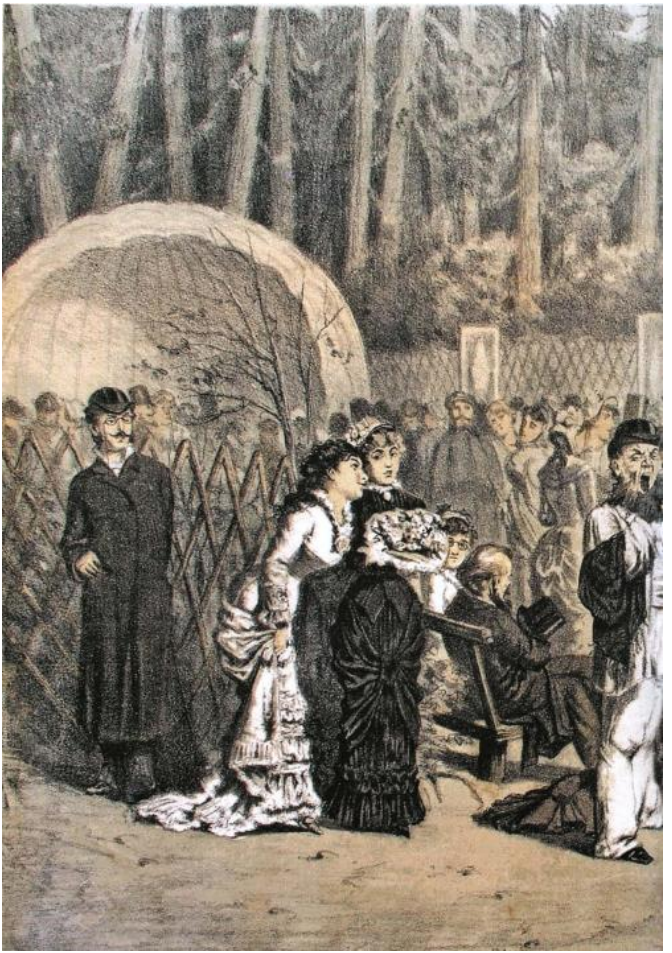
Кресла оркестра Большого театра на представлениях Сары Бернар.

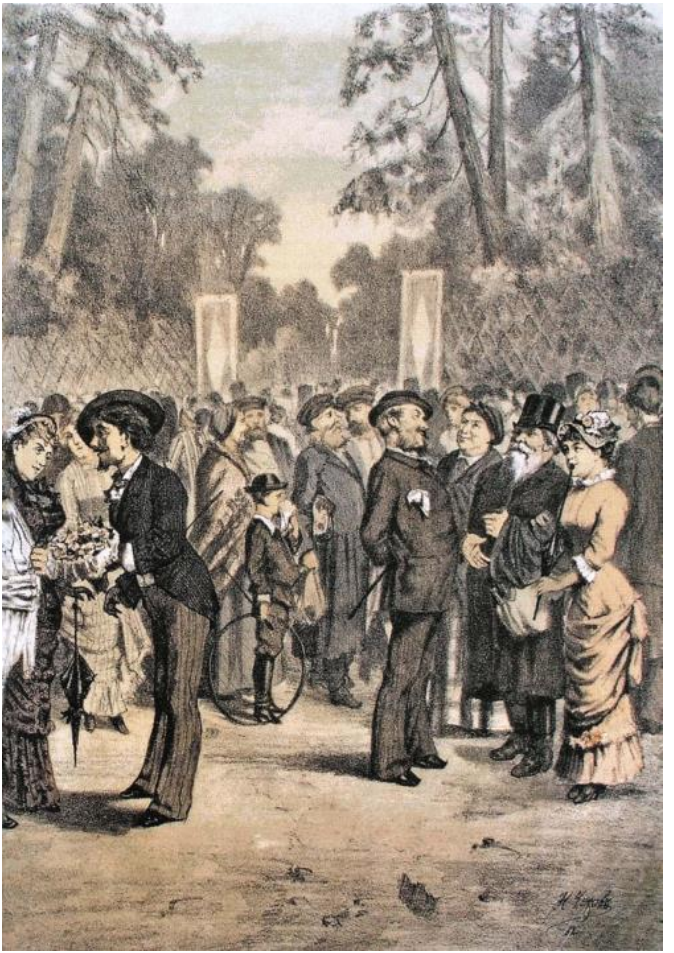


Подъѣздъ для артистов Большаго театра



Журнал «Зритель», 1881, № 25-26





Гуляние первого мая в Сокольниках.
Журнал «Москва», 1882, № 163.



— Если ты так несчастна со мной, так ступай к своей матери.

— Вот еще что выдумал: она и так насилу со мной развязалась!..

«Медовый месяц». Журнал «Сверчок», 1887, № 32



— Барыня дома?
— Никак нет-с. Ушедши.
— Одна?

— Никак нет-с, вдвоем…
— С кем же это?
— С ихней собачкой-с.
«Вдвоем». Журнал «Сверчок», 1887, № 10



— Позвольте, Макарыч, коробочку спичек.

— Вам каких требуется? Которыя не зажигаются или которыя не тухнут?

«В мелочной лавке».
Журнал «Сверчок», 1887, №42